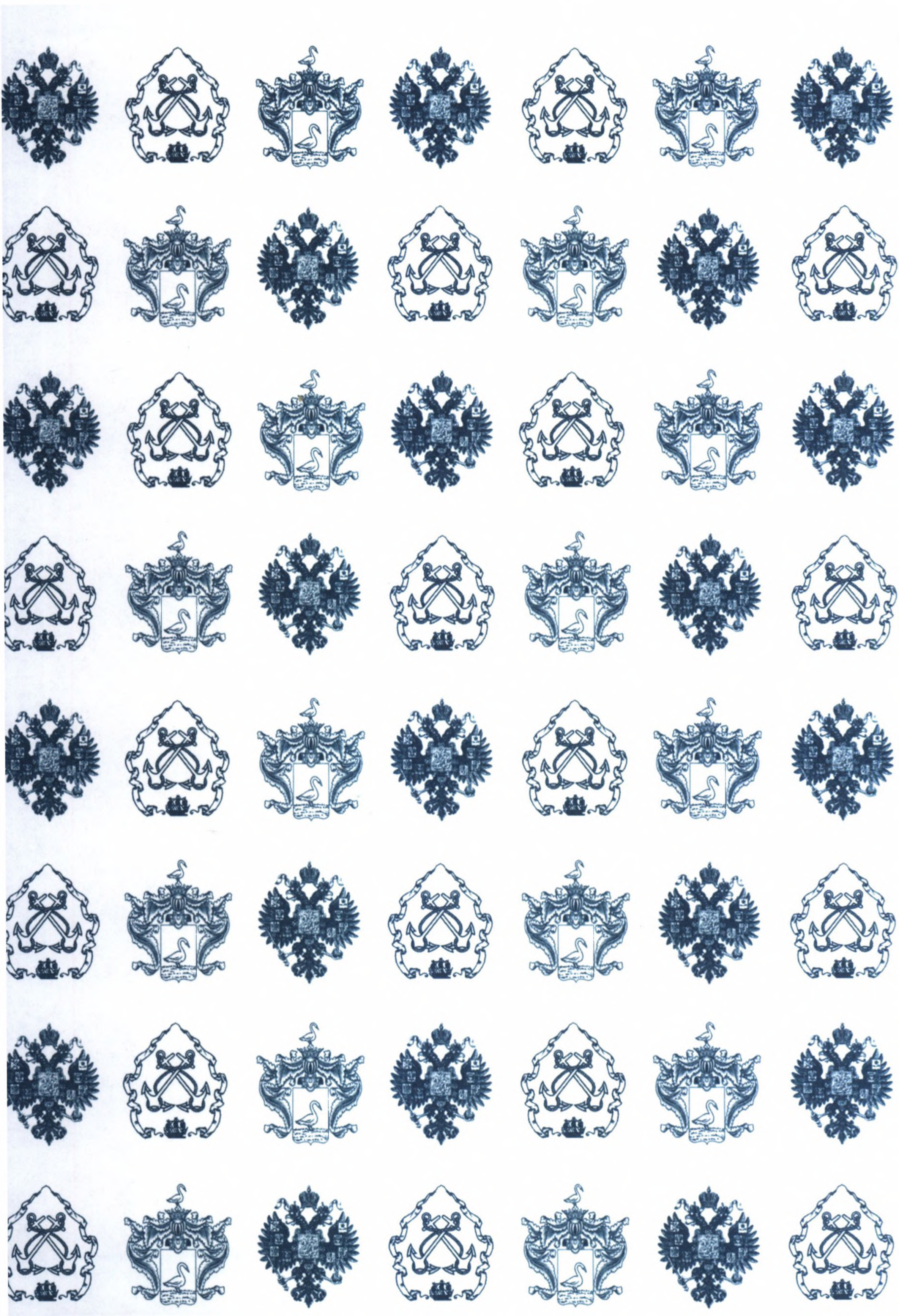
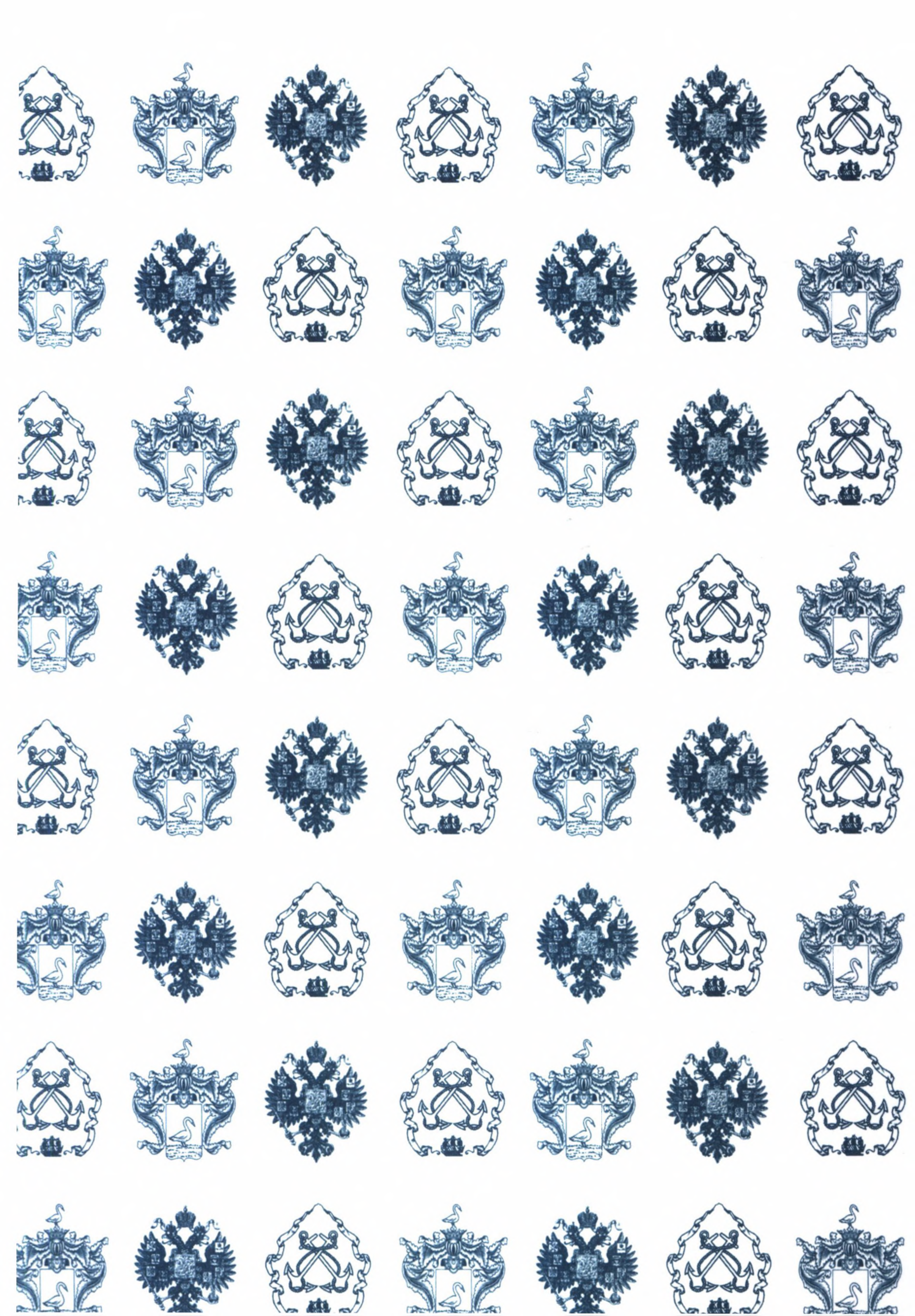
И. А. ШЕСТАКОВ

ПОЛВЕКА ОБЫКНОВЕННОЙ ЖИЗНИ





Эти шесть частей написаны собственною моею рукою. Упоминаемые в них факты выбраны из дневника, который имел обыкновение вести, с немногими перерывами, с 18$^{\text{ти}}$ летняго возраста. Самыя "Воспоминания" приведены мною в порядок в первые три года после удаления моего из службы — т. е. в 1870—71 и 72, за границею, где я искал отдыха от разных треволнений, и кончены

$\frac{1}{13}$ Генв. 1881 И. А. Шестаков

Эти шесть частей написаны собственною моею рукою. Упоминаемые в них факты выбраны из дневника, который имел обыкновение вести, с немногими перерывами, с 18 $^{\text{ти}}$ летняго возраста. Самыя "Воспоминания" приведены мною в порядок в первые три года после удаления моего из службы — т. е. в 1870—71 и 72, за границею, где я искал отдыха от разных треволнений, и кончены

$\frac{1}{13}$ Генв. 1881 И. А. Шестаков

1820–1888

И. А. ШЕСТАКОВ

ПОЛВЕКА ОБЫКНОВЕННОЙ ЖИЗНИ

Воспоминания
(1838–1881 гг.)

Санкт-Петербург
«Судостроение»
2006

ББК 63.3(2)6-8
Ш 51

Федеральная программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

Составитель В. В. Козырь

Ш 51 **Шестаков И. А.**
Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838–1881 гг.) / Сост., предисл. и коммент. В. В. Козыря. СПб: Судостроение, 2006. – 784 с., ил.

ISBN 5–7355–0620–X

Мемуары выдающегося русского государственного и военного деятеля XIX в., генерал-адъютанта, морского министра России адмирала Ивана Алексеевича Шестакова публикуются впервые. В воспоминаниях автор дает совершенно новое представление о быте и нравах своих современников, о состоянии русского флота. Глубокое знание морского и инженерного дела, замечательные организаторские способности помогли Шестакову реализовать грандиозную программу строительства российского парового флота, о чем немало говорится в книге. Жизненные наблюдения одного из самых образованных людей России XIX в. актуальны и сегодня и будут интересны каждому.

Книга подготовлена военным историком, капитаном 1 ранга В. В. Козырем.

Воспоминания И. А. Шестакова представляют большой интерес для тех, кто связал свою жизнь с морем и флотом, а также для широкого круга читателей.

ББК 63.3(2)

ISBN 5–7355–0620–X

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами книга воспоминаний адмирала Ивана Алексеевича Шестакова, выдающегося государственного и военного деятеля России XIX века, генерал-адъютанта, управляющего Морским министерством в 1882—1888 годах.

Он был ученым-гидрографом и ученым-кораблестроителем, составил «Лоцию Черного моря», наблюдал за постройкой первых винтовых кораблей Российского флота за границей и командовал этими кораблями, занимался военно-дипломатической деятельностью. Переход к строительству железных и броненосных кораблей в России, развитие и становление отечественного парового флота проходили не только при активном участии, но и под непосредственным руководством И. А. Шестакова. Возглавляя Кораблестроительное отделение Морского технического комитета, адмирал И. А. Шестаков во многом лично определял облик Российского флота своего времени.

Основанные на точных расчетах и богатом жизненном опыте автора проекты преобразования Российского флота во многом актуальны и сегодня.

Путь книги воспоминаний И. А. Шестакова к читателю оказался весьма непростым. При жизни автора была предпринята только одна попытка публикации (и то частично): в 1873 году в «Русском архиве» была напечатана первая глава (со значительными изменениями и купюрами), в которой давались весьма правдивые и резкие характеристики высокопоставленных российских чинов, в том числе и самого Николая I. Александру II, сыну Николая I, естественно, не пришлась по душе такая критика, он не мог допустить, чтобы один из министров порицал существующие порядки. Повелением государя рукопись была отдана на «хранение» в Императорскую публичную библиотеку с тем, чтобы записки не были «оглашаемы» раньше, чем через 50 лет после кончины адмирала. Однако «хранение» затянулось на гораздо больший срок.

До последнего времени имя автора было известно только узкому кругу специалистов-историков. Теперь с мыслями одного из высокообразованных людей России могут ознакомиться все, кого волнует история нашего Отечества, в особенности те молодые люди, которые служат или готовятся к служению Родине в рядах Военно-Морского Флота.

Принципиальность и честность, твердость и бескомпромиссность в отстаивании своей позиции, простота и открытость души, личная скромность и незаурядный пытливый ум — это те качества, которыми всегда славились лучшие представители русских морских офицеров. Иван Алексеевич Шестаков обладал такими качествами в полной мере. Сейчас, с возрождением Российского Военно-Морского Флота, большое значение приобретает воспитание молодых офицеров в духе славных флотских традиций. Как мне кажется, книга воспоминаний И. А. Шестакова в полной мере может служить этим целям.

*Главнокомандующий
Военно-Морским Флотом
Российской Федерации, адмирал
В. В Масорин*

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

10 сентября 1883 года морской министр вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков попросил зайти в его кабинет лейтенанта Рафаила Михайловича де Рибаса, флигель-адъютанта капитана 1 ранга Николая Александровича Наваховича и исправлявшего должность директора Инспекторского департамента морского министерства контр-адмирала Николая Ивановича Казнакова.

Офицерам предстояло засвидетельствовать своими подписями, что зачитанное им завещание министра написано его собственной рукой и что «генерал-адъютант, вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков, которого они при этом видели, находится в здравом уме и твердой памяти».[1]

В завещании речь шла о воспоминаниях «Полвека обыкновенной жизни», написанных адмиралом на основе собственных дневников, которые он вел всю жизнь, начиная с восемнадцатилетнего возраста.

Часть этих дневников была опубликована при жизни адмирала. В 1873 году в журнале «Русский архив», издававшемся Петром Бартеневым, появилась первая глава воспоминаний со значительными купюрами. Объяснение такого не очень корректного обращения с авторским текстом привел в предисловии Ф. В. Чижов: «Недавность передаваемых в них событий, имена действовавших лиц, или еще живых или оставивших представителями своего имени ближайших родственников — и то, и другое не позволяет печатать эти записки вполне».[2]

Адмирал И. А. Шестаков скончался 21 ноября 1888 года в Севастополе и похоронен в склепе Владимирского собора, где уже покоились останки его учителей и сослуживцев — М. П. Лазарева, П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, В. И. Истомина.

Так как покойный был генерал-адъютантом и государственным чиновником самого высокого ранга, по существовавшим законам империи его архив подлежал разбору государственным секретарем; им в то время являлся А. А. Половцев. При разборе архива адмирала Половцев обнаружил записки «Полвека обыкновенной жизни», которые весьма его заинтересовали, о чем имеется запись в дневнике: «Сижу целый день дома и наслаждаюсь чтением записок Шестакова».[3]

Несмотря на то, что в завещании ничего не говорилось о сроках публикации воспоминаний, вдова адмирала Мария Ивановна Шестакова (речь идет о второй жене, урожденной Девиллер) заявила Половцеву, что покойный супруг ее, якобы, высказывал пожелание не публиковать мемуары в течение 50 лет после его кончины.

Сообщение тут же поддержали, в особенности генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, который сделал все от него зависящее, чтобы упрятать дневники в ореховую шкатулку Рукописного отделения Императорской публичной библиотеки. При жизни морской министр и генерал-адмирал не питали друг к другу симпатий. И вот, наконец, представился удобный случай сполна отплатить строптивому морскому министру. Император Александр III распорядился, чтобы рукописи считались «не подлежащими оглашению». Так и пролежали бы записки в шкатулке Рукописного отдела. Помог случай.

В 1913 году Морской Генеральный штаб разрабатывал тему базирования сил Балтийского флота на случай войны. Начальник Морского Генерального штаба светлейший князь вице-адмирал А. А. Ливен вспомнил, что этой проблемой занимался И. А. Шестаков, и предположил, что некоторые сведения можно почерпнуть из его записок, хранившихся в публичной библиотеке.

По ходатайству А. А. Ливена, морской министр адмирал И. К. Григорович 22 июля 1913 г. получил от Николая II разрешение извлечь сроком на 10 суток записки Шестакова «при условии сохранения абсолютной секретности».

Но, давая разрешение на просмотр рукописей, император ничего не сказал о том, что с

них нельзя снимать копии, а лишь распорядился о «сохранении абсолютной секретности». Поэтому 10 унтер-офицеров Морского Генерального штаба были посажены за пишущие машинки, и за 10 дней воспоминания и дневники перепечатали. Оригиналы же к назначенному сроку возвратили в публичную библиотеку.

Со временем копии оказались в историческом отделе Морского Генерального штаба, а после революции 1917 года — в Центральном государственном военно-морском архиве.

В 1946 году в «Морском сборнике» № 2 появилась статья научного сотрудника Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина А. Н. Михайловой «Дневники и мемуары адмирала И. А. Шестакова». Повествованием о жизни и деятельности И. А. Шестакова заинтересовался 1-й заместитель наркома ВМФ, Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков. Началась активная переписка между Ленинградом и Москвой по поводу издания воспоминаний Шестакова.

Несмотря на свою болезнь и организационные неурядицы, Исаков успел написать предисловие к воспоминаниям Шестакова, и при участии Военно-морского издательства был создан оригинал-макет первого тома рукописи.

Однако дело дальше не пошло: Военно-морское издательство ликвидировали, а в 1950 году и самого Исакова отправили в отставку.

Вскоре после этого попытку довести до конца начатую работу предпринял историк, профессор Московского Государственного университета Петр Андреевич Зайончковский. Но к этому времени изменились идеологические задачи: началась широкая публикация воспоминаний героев недавно закончившейся войны. Обращать внимание читающей публики на воспоминания мало кому известного царского адмирала посчитали неуместным.

Новая волна интереса к творчеству И. А. Шестакова пришла в середине 90-х годов прошлого века. В печати появился ряд статей, посвященных И. А. Шестакову как государственному деятелю и писателю.

В этот период мне случайно попалась на глаза стопка пожелтевших листов машинописного текста. Уже первые страницы были настолько интересны, что в течение трех дней 700 листов воспоминаний были прочитаны и оставили ошеломляющее впечатление. Ознакомившись в Центральной военно-морской библиотеке с биографией И. А. Шестакова, я направился в Государственную публичную библиотеку для поиска оригинала рукописи. В Рукописном фонде удалось обнаружить оригинал-макет первой книги воспоминаний и подлинные дневники последних лет жизни морского министра.

Чтобы привлечь внимание общественности к рукописи, я выступил на 1-й Международной научно-технической конференции, посвященной 300-летию Российского флота. И хотя после нее в различных печатных органах появился ряд статей, посвященных жизни и судьбе адмирала, особого интереса у читателей творчество Шестакова не вызывало. Без особой надежды на успех я передал рукопись в издательство «Судостроение», благодаря чему, в итоге, мы имеем возможность познакомиться с воспоминаниями, написанными в период становления парового флота — важнейшей эпохи в истории флота России.

Со дня кончины выдающегося военно-морского и государственного деятеля — адмирала Ивана Алексеевича Шестакова (1820—1888) — прошло более века. Признанный при жизни, он неведом сегодня широкому кругу читателей, знаком лишь немногим историкам, и это при том, что адмирал оставил огромное литературное наследие. Кроме мемуаров «Полвека обыкновенной жизни», его перу принадлежат и поныне неопубликованные дневники за 1882—1888 гг., когда автор был морским министром, а также многочисленные статьи в журнале «Морской сборник». Совместно с Г. И. Бутаковым им составлена «Лоция Черного моря». Шестаков перевел с английского языка шеститомный труд Д. Джемса «История английского флота».

До сих пор в Центральном Государственном архиве военно-морского флота лежит неопубликованная переписка с генерал-адмиралом

великим князем Константином Николаевичем в период, когда И. А. Шестаков был военно-морским агентом на юге Европы. В этих письмах изложены его взгляды по многим вопросам строительства отечественного флота.

И. А. Шестаков имел счастье общаться с выдающимися военно-морскими деятелями своего времени. Его учителями были М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. Долгие годы дружбы связывали его с Г. И. Бутаковым. Вместе с генерал-адмиралом Константином Николаевичем, адмиралом А. А. Поповым и выдающимся промышленником Н. И. Путиловым он создавал современный паровой, а затем и броненосный флот.

«Полвека обыкновенной жизни» отражают взгляды И. А. Шестакова на многие не только флотские, но и государственные дела.

Интересны выводы Шестакова из общения с чиновничьим людом во время службы в Таганроге и Вильнюсе. По его мнению, в этой среде «ловкость...господствует над достоинством», они «не слуги достойного правителя, а угодники, не затрудняющиеся никакими средствами для достижения личных выгод». А потому «из всех местничеств чиновничье самое комичное и вместе стойкое».

Несмотря на то что Шестаков был убежденным монархистом, это не мешало ему видеть пороки монархического строя. В Николае I он узрел человека, который «гасил искры самосознания везде, куда могла достать его тяготеющая рука».

Давая обобщающую оценку самодержавному режиму николаевского времени и отдельным лицам, составляющим его опору, И. А. Шестаков констатировал: «Мне случалось встречать в жизни людей, не бравших каждодневно ванны и не правивших ногти, но все-таки нравственно более опрятных, нежели те, с которыми я сошелся в "грязной яме"».

Шестаков не успел закончить свой труд описания переходной эпохи от крепостничества к вольному хлебопашеству и от флота парусного к флотам паровому и броненосному. Неожиданная кончина не позволила ему обработать дневники последних восьми лет жизни. Но даже короткие пометки, сделанные «для памяти», показывают широту взглядов автора и критический подход к окружающей действительности.

Разумеется, Шестаков в своих записках был не всегда прав в оценке тех или иных лиц и характеров, что и признавал сам: «Природа наделила меня гордостью не в меру ни моим способностям, ни положению, унаследованному мною в обществе. Эта гордость претила мне уступать своевременно, заставляла забывать, что для достижения полезных целей требуются жертвы и что первее всего должно приносить в жертву господствующую страсть свою, как бы ни казалась она извинительна в собственных глазах и в мнении общества».

Публикация трудов И. А. Шестакова, предпринятая издательством «Судостроение», является завершающим этапом усилий, приложенных И. С. Исаковым, П. А. Зайончковским и другими лицами для ознакомления читателей с мемуарами одного из выдающихся деятелей России XIX века.

«Полвека обыкновенной жизни» излагаются в версии, предложенной И. С. Исаковым в 1946 году, из рукописи исключены места, касающиеся сугубо личной жизни автора.

В начале книги приведена вступительная статья Адмирала Флота Советского Союза, Героя Советского Союза, члена-корреспондента Академии Наук СССР И. С. Исакова, в которой содержится критический анализ творчества И. А. Шестакова. Написанная в 1946 г., она не лишена политической окраски, но, тем не менее, достаточно полно характеризует творческую палитру автора.

В. В. Козырь

1 РГИА, ф. 725. оп. 1, д. 10, л. 1, 2.

2 Русский архив. 1873. Кн. 1. стр. 164—200.

3 Дневник государственного секретаря Половцева А. А. (В 2 томах). М.: Наука, 1966. Т. 2. стр. 127

АДМИРАЛ ШЕСТАКОВ И ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯ»

Предлагаемое вниманию читателя издание воспоминаний адмирала И. А. Шестакова «Полвека обыкновенной жизни» печатается по подлиннику рукописи, хранящейся в Государственной ордена Трудового Красного Знамени публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

До настоящего времени была сделана только одна попытка их публикации, еще при жизни автора: в 1873 году «Русский архив», издаваемый Петром Бартеневым, напечатал первую главу «Воспоминаний» и то с значительными купюрами и без окончания,[1] что можно объяснить только цензурными условиями... Первое ознакомление с рукописью, особенно в части характеристики и оценок, которые автор мемуаров дает Николаю I, показывает, что безуспешность попытки издания хотя бы нескольких глав (как обещал читателям Чижов) несомненно была вызвана тем, что Николай I «оставил представителем своего имени» Александра II, которого отнюдь не устраивала широкая огласка таких критических и резких суждений о венценосном родителе, тем более что они исходили от дворянина, флотского офицера действительной службы и флигель-адъютанта, т. е. от доверенного лица, причисленного к императорской свите. Конечно, суть дела была не столько в сыновнем благоговении к памяти отца, сколько в необходимости поддержания принципа «неприкосновенности особы монарха», которая обеспечивалась от любой публичной критики всей системой государственного управления и прежде всего цензурой.

По тем же причинам еще более невероятно было бы ожидать опубликования «Воспоминаний» в царствование Александра III, особенно учитывая то обстоятельство, что к этому времени к основной рукописи прибавились более едкие дневники, а официальное положение автора еще сильнее возросло: он стал генерал-адъютантом царя, полным адмиралом, наконец, управляющим морским министерством, т. е. одной из опор того самодержавия, которое он критиковал. Кроме того, необходимо учитывать, что Шестаков был широко известен не только в России, но и за границей, что придало бы публикации его мемуаров еще более скандальный характер. В то же время, до самых последних своих дней, этот «беспокойный адмирал» не оставил привычки изливать в дневниках все, чем возмущался, и, видимо, не отрекся от своих писаний прежних лет, так как, судя по завещательной записи, подготавливал их для опубликования после своей смерти. Естественно, что Александр III не смог допустить такого опасного прецедента, чтобы российские порядки и царствующий дом всенародно были охаяны одним из его министров.

Вот почему мы находим в официальном отчете Императорской публичной библиотеки за 1889 год такое свидетельство: «Государю-Императору благоугодно было Высочайше повелеть передать и означенный дневник, о котором в завещании покойного адмирала не содержалось никаких указаний, равным образом в Императорскую публичную библиотеку для совместного с помянутыми его записками хранения, с тем, чтобы как записки, так и этот дневник не были оглашаемы ранее пятидесяти лет со дня кончины адмирала Шестакова...».[2]

С 1889 года литературное наследство адмирала, запечатанное в деревянном ларце,

было похоронено в архивах библиотеки и тем самым было исключено из научно-исторического и литературного обихода. Можно предполагать, что публикация «Русского архива» все же сыграла положительную роль в том смысле, что спасла записки от полного сокрытия их в недрах «собственной Его Величества канцелярии» или просто от уничтожения. Дело в том, что, несмотря на старания министерства двора и даже второй жены покойного адмирала, в петербургских кругах знали не только о факте существования записок, но и о том, «что в дневнике Шестакова много обличений».[3] В этих условиях уничтожить «Воспоминания» и позднейшие дневники, очевидно, не решились и, скрыв их за семью печатями с сомнительной ссылкой на волю самого Шестакова, предоставили разбираться с этим делом следующему поколению.

Но все же в записки Шестакова пришлось заглянуть до наступления срока, установленного высочайшим повелением. Накануне Первой мировой войны Морской Генеральный штаб, подготавливая предложения по усилению Балтийского флота и его баз, вынужден был обратиться к различным источникам и документам предшествовавшего периода, для обоснования своих расчетов. При этом вспомнили и о дневниках Шестакова.

По ходатайству начальника Морского Генерального штаба вице-адмирала А. А. Ливена, морской министр адмирал И. К. Григорович 22 июля 1913 года получил разрешение Николая II извлечь на короткий срок записки и дневники из хранилища, с тем, чтобы выбрать из них необходимые справки, «при условии сохранения абсолютной секретности». Эта оговорка к разрешению показывает, что последний царь из дома Романовых кое-что знал о характере дневников Шестакова. Когда же начальник Морского Генерального штаба бегло ознакомился с содержанием записок, то заинтересовался ими шире, чем это нужно было для его служебной работы, и, вопреки указаниям царя, решил негласно снять с них копии. Несколько сотрудников Исторической части Морского Генерального штаба были посажены за перепечатку, получив приказание — во избежание огласки факта существования копии записок, самое копирование произвести скрытно, скопированные материалы хранить в секретном шкафу и не делать предметом праздного любопытства. После снятия копий подлинники рукописи были по частям возвращены ничего не подозревавшему директору библиотеки, который снова их опечатал. Так появился на свет машинописный экземпляр рукописи Шестакова, но им мог пользоваться только исключительно ограниченный круг лиц морского министерства. С ликвидацией Морского Генерального штаба после Октябрьской революции, этот экземпляр попал в Центральный государственный военно-морской архив в Ленинграде, где и хранится до сего времени в так называемом Сборном фонде.

Настоящее издание является публикацией в сокращенном виде «Воспоминаний» адмирала Шестакова, охватывающих период его жизни до 1881 года, т. е. до шестидесятилетнего возраста. Дневники, на основе которых автор написал эти воспоминания, названные им «Полвека обыкновенной жизни», очевидно, уничтожены, так как следов их обнаружить не удалось. Рукописи последующих дневников, за время министерской деятельности И. А. Шестакова, т. е. с 1882 по 1888 годы, еще находятся в стадии изучения.

История рукописей Шестакова сама по себе представляет определенный археографический интерес,[4] но мы ограничиваем свою задачу в данной статье разъяснением только одного вопроса, почему предпринято настоящее издание «Воспоминаний», причем не полностью, а в сокращенном виде.

Прежде чем ответить на этот вопрос, целесообразно кратко ознакомить читателя с основными биографическими данными об авторе «Воспоминаний», так как по ряду причин, и прежде всего из-за сокрытия его руко-

писей, имя И. А. Шестакова мало известно широкому кругу советских читателей, даже моряков, за исключением ограниченной группы военно-морских историков.

Мемуарный характер «Воспоминаний» освобождает от необходимости приводить подробности, но, поскольку сам Шестаков не особенно заботился о хронологии и рукопись прерывается накануне важнейшего этапа его жизни, а существующие о нем справки в биографических словарях и в старых энциклопедиях[5] грешат многими неточностями, мы приведем наиболее существенные моменты из его биографии.

Иван Алексеевич Шестаков родился 1 (13) апреля 1820 года в семье отставного морского офицера, состоявшего на гражданской службе. В десятилетнем возрасте он был отдан в Морской корпус, директором которого в то время был известный мореплаватель адмирал И. Ф. Крузенштерн. В 1834 году Шестаков блестяще сдал экзамены, но не был выпущен в офицеры по молодости, так как имел от роду неполных пятнадцать лет. Оставленный при корпусе фельдфебелем гардемаринской роты, Шестаков, в результате нескольких столкновений с воспитателями, в частности за попытку организовать любительскую постановку комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», был исключен из училища и возвращен родителям.

Этот первый конфликт способного и своенравного юноши с блюстителями николаевских порядков, так печально для него закончившийся, бесспорно, сыграл некоторую роль при формировании личности Шестакова на первом этапе его сознательной жизни и помог ему уже с юношеских лет критически воспринимать и оценивать многие события, происходившие во время царствования Николая I, а также самого царя, с которым он неоднократно сталкивался.

В 1836 году М. П. Лазарев, друг его отца, бывший в то время главным командиром Черноморского флота и портов, согласился принять молодого Шестакова гардемарином и в дальнейшем следил за его воспитанием и службой. К декабрю 1837 года Шестаков уже имел значительный морской опыт, накопленный в блокаде кавказского побережья, получил солдатский Георгиевский крест за один из боев и был произведен в офицеры.

Свое первое заграничное плавание в 1838–1840 годах на корвете «Ифигения» в Архипелаге и Средиземном море молодой любознательный мичман завершил переводом книги «Лоция Ионических островов и Архипелага, содержащая также наставление для плавания Дарданеллами, Мраморным морем и Константинопольским проливом», составленной английским гидрографом И. Нори. Эта книга как полезная для моряков Черноморского флота, по приказанию адмирала Лазарева, была издана в Николаеве в 1841 году.

В чине лейтенанта назначенный адъютантом к М. П. Лазареву Шестаков в 1843 году перевел на русский язык и издал 6 томов составленной Д. Джемсом «Истории Великобританского флота от времен французской революции по Наваринское сражение» (Николаев, 1845 г.).

В последующий период жизни автор «Воспоминаний» выходит на поприще самостоятельной и ответственной деятельности.

С 1847 по 1850 годы, будучи командиром тендера «Скорый», Шестаков (совместно с Г. И. Бутаковым, командовавшим тендером «Поспешный») провел описные и гидрографические работы по всему черноморскому побережью, результатом чего было издание в 1851 году «Лоции Черного моря».

В 1850 году И. А. Шестаков был послан в Англию для наблюдения за постройкой паровой шхуны «Аргонавт», по готовности которой привел ее из Лондона в Николаев. Этим определился весь последующий служебный путь будущего адмирала, который стал одним из первых командиров, а затем и строителей, паровых кораблей, флагманом паровой эскад-

ры и, наконец, одним из организаторов перевооружения русского флота на паровые винтовые и, позже, на броненосные корабли.

В 1852 году Шестаков вторично был послан в Англию для размещения заказа на постройку двух винтовых корветов.[6] Начавшаяся Крымская война не дала возможности закончить это поручение, и он вынужден был возвратиться в Петербург в необычной роли дипломатического курьера, с извещением о разрыве с Англией.

Отличное выполнение двух командировок было отмечено тем, что Шестаков, несмотря на молодость лет и капитан-лейтенантский чин, был назначен в 1854 году членом Пароходного комитета, руководившего разработкой проектов паровых судов и их постройкой. Дальнейшая его служба была связана с генерал-адмиралом великим князем Константином Николаевичем, который, управляя морским министерством, в первое время окружал себя способными молодыми офицерами русского флота.

Во время Крымской войны Шестаков эпизодически привлекался к решению вопросов обороны Свеаборга и финских шхер, но главным его делом было проектирование и руководство спешной постройкой паровых канонерских лодок, предназначенных для обороны Кронштадта, а затем — организация и наблюдение за постройкой винтовых корветов, заложенных в Петербурге.

В 1856 году, будучи капитаном I ранга, Шестаков командируется в США для заключения контракта и наблюдения за постройкой большого 70-пушечного винтового фрегата «Генерал-Адмирал». Постройка заняла два года, в течение которых автор «Воспоминаний» успел объездить северные и южные штаты накануне гражданской войны и побывать на Кубе. В качестве командира построенного корабля Шестаков после приемных испытаний привел его в 1859 году в Кронштадт и за успешное строительство и переход в Россию получил звание флигель-адъютанта.

С 1860 по 1862 годы Шестаков был в должности командующего эскадрой (из четырех паровых фрегатов) в Средиземном море, где совместно с английской и французской эскадрами участвовал в вооруженной демонстрации у сирийского побережья, в связи с резней христиан, учиненной Турцией в своих владениях.

Помимо приведенных основных данных из послужного списка Шестакова,[7] необходимо учитывать, что еще со времени пребывания в Америке и позже в Средиземном море он вел деятельную переписку с министерством по важнейшим вопросам преобразования флота. Ему как исключительно сведущему моряку посылали из Петербурга на отзыв главнейшие проекты намечаемых преобразований, на что получали от него рецензии или контрпроекты. Таким образом он неофициально принимал активное участие в подготовляемой военной реформе, в создании новой организации флота и его перевооружении.

По возвращении в Петербург уже контр-адмиралом Шестаков был назначен членом морского ученого и кораблестроительного технического комитетов, в составе которых принимал активное участие в разработке мероприятий по обновлению флота и его органов управления. Переведенный в 1863 году на должность помощника главного командира Кронштадтского порта, в связи с ожидавшимся разрывом с Англией и Францией из-за попытки вмешательства их в польские дела, Шестаков много сделал для приведения крепости и флота в боеспособное состояние. Одновременно он руководил снаряжением и подготовкой к скрытному выходу крейсерской эскадры контр-адмирала С. С. Лесовского для демонстрации у берегов Северной Америки. Плавание эскадры было затем отлично осуществлено и, оказав значительную моральную и фактическую поддержку северянам, в то же время расхолодило пыл англичан, ввиду создания реальной угрозы их океанским коммуникациям.[8]

В этот период службы начинаются конфликты Шестакова с управляющим морским министерством Н. К. Краббе, авторитет которого Шестаков не хотел признавать и к карьере которого относился очень ревниво, так как Краббе не имел такого морского и боевого опыта, стажа командования и технических знаний, какими обладал сам Шестаков, ему подчиненный. Шестаков считал, что его начальник обязан своей карьерой исключительно придворной ловкости.[9] Последствием столкновений с Краббе явилось увольнение Шестакова с должности помощника главного командира Кронштадтского порта, а затем длительный заграничный отпуск, завуалировавший постепенное отстранение его от дел морского ведомства.

По возвращении из отпуска, в 1856 году, вытесненный с флота Шестаков в поисках работы перешел в министерство внутренних дел и был назначен таганрогским градоначальником. С болью в сердце расстался адмирал с любимым делом, но, верный своим убеждениям и характеру, с тем же рвением принялся за работу на новом поприще. Затем, в 1868 году, Шестаков получил назначение на должность виленского губернатора, однако и здесь не смог удержаться больше одного года. Разойдясь во взглядах по вопросам управления с генерал-губернатором А. Л. Потаповым и не допуская вмешательства в свои методы работы, он пошел на открытый разрыв со своим начальством, за что был уволен с должности, исключен из свиты царя и снова зачислен в списки флота.

Это был третий случай в жизни Шестакова, когда обрывалась его служебная карьера из-за нежелания приспосабливаться к начальству, которое он не уважал. Так как главой морского министерства оставался все тот же Краббе, к этому времени произведенный в полные адмиралы, то Шестакову не удалось найти достойного приложения своих сил и способностей, почему в 1869 году он ушел в отставку и уехал за границу для лечения жены. Вынужденное бездействие продолжалось более трех лет, после чего опальный контр-адмирал в отставке предпринял попытку возвратиться к практической деятельности. Не желая совсем терять такого полезного человека, но в то же время намереваясь держать его подальше от министерства как опасного конкурента, Краббе, при содействии Константина Николаевича, создал специально для Шестакова должность «временного морского агента в южных государствах Европы, в Австрии и Италии», на которую неудобный адмирал был назначен в 1873 году. Этот период военно-дипломатической работы затянулся почти на восемь лет, причем Шестаков сумел на ней успешно применить свои знания и опыт и дал много ценных материалов для русского морского министерства по технике и организации европейских флотов, интенсивно развивавших броненосное судостроение.

После смерти Краббе (1876 г.) опальный адмирал первое время не возвращался в Петербург по той причине, что его жена угасала от туберкулеза, и только в 1881 году, когда она скончалась, он снова начал активную службу во флоте, будучи назначен председателем кораблестроительного отделения морского технического комитета, в котором возглавил разработку новой морской кораблестроительной программы, рассчитанной на двадцать лет.

Долголетний опыт, накопленные технические знания и неукротимая энергия позволили ему сразу же выдвинуться на этой работе, и вскоре после вступления на престол Александр III назначил его управляющим морским министерством (11 января 1882 года). Наконец, адмирал добился цели и теперь мог в известной мере реализовать те свои замыслы, которые вынашивал долгие годы.

За шесть лет управления министерством И. А. Шестаков развил исключительно напряженную деятельность по созданию русского броненосного флота и развитию военных портов и баз. Он беспрестанно объезжал заводы, верфи, приморские крепости (включая

Владивосток), особое внимание уделяя любимому им Черноморскому флоту. Одновременно Шестаков не менее энергично занимался проблемой организации управления, подготовкой и воспитанием кадров флота. Пользуясь относительным доверием царя, он имел довольно широкие возможности, ограниченные только финансовыми затруднениями государства и слабостью отечественной промышленности. Однако и на этот раз планы Шестакова нашли серьезную помеху в лице великого князя Алексея Александровича, нового генерал-адмирала (с 1883 года) и номинального главы морского ведомства, бездарного и совершенно равнодушного к судьбам флота. Упорно отстаивая свою линию, Шестаков все же не рискнул идти на открытый конфликт с окружением Алексея, а ограничивался тем, что свое негодование и презрение к августейшим бездельникам изливал в дневниках, которые продолжал вести до последних дней жизни.

Смерть застала адмирала Шестакова 21 ноября (3 декабря) 1888 года на шестьдесят девятом году жизни в любимом им Севастополе, во время очередной служебной поездки, когда уже были спущены на воду его детища — броненосцы «Чесма» и «Екатерина II».

В заключение надо прибавить, что с ранних лет Шестаков старался принимать участие в общественной жизни, правда, в самых скромных рамках, допускаемых дворянско-помещичьей средой николаевской эпохи. Наиболее значительным выражением этой деятельности является его участие в периодической печати не только по узко профессиональным вопросам, но и по разным другим проблемам, с которыми он апеллировал к русской общественности. Очевидно, по этой причине Иван Алексеевич Шестаков, помимо своих мемуаров и дневников, был зачислен в список русских писателей.[10]

Как видно из этого краткого перечня, жизнь Шестакова была довольно интересной и разнообразной, поэтому название, избранное им для воспоминаний, — «Полвека обыкновенной жизни» — приходится принять как претенциозный авторский прием. Более подробное знакомство с мемуарами показывает, что для своего времени и для того класса, из которого вышел Шестаков, жизнь его была не совсем обычной.

Ознакомление с настоящими мемуарами, некоторыми свидетельствами современников, а также с теми официальными документами морского министерства, которые имеют отношение к жизни и деятельности И. А. Шестакова, позволяет восстановить основные черты его внутреннего облика.

Прежде всего Шестаков должен быть отмечен как талантливый и передовой для своего времени офицер русского флота. Воспитанник лазаревской школы второго поколения, которая вслед за Нахимовым, Корниловым, Истоминым и другими дала таких его сверстников, как Г. И. Бутаков, А. А. Попов, С. С. Лесовской, — он принадлежал к той группе моряков, на долю которых выпала видная роль возрождения русского флота после упадка его в царствование Николая I и трагической расплаты во время Крымской войны. Наряду с другими сотрудниками великого князя Константина Николаевича, Шестаков был участником военной реформы шестидесятых годов и активным деятелем последующих преобразований флота.

Шестаков жил и работал в исключительно интересный период последовательного перехода от парусного флота к паровому и от деревянного корабля к железному, а затем к броненосному. Начав службу на парусных кораблях, он позже принимал участие в постройке и плавал на пароходофрегатах смешанной конструкции, имевших деревянные корпуса и рангоут одновременно с паровыми машинами, затем строил паровые корабли с железными корпусами, но с сохраненным парусным вооружением (для увеличения района плавания) и, наконец, был организатором постройки первых броненосных кораблей русского

флота. Таким образом, вся техническая эволюция флота, происшедшая в течение середины XIX века на базе общего индустриального развития, прошла при непосредственном и активном участии Шестакова.

Можно напомнить, что лучшие офицеры этой плеяды, несмотря на то, что в морском корпусе не получали инженерной подготовки, став зрелыми командирами, сумели сочетать в себе способности конструкторов и строителей кораблей новых типов (А. А. Попов, И. А. Шестаков и др.),[11] благодаря высокой технической грамотности и непрерывной работе над совершенствованием своих знаний. Эта традиция была продолжена в следующем поколении С. О. Макаровым, который, будучи строевым офицером, стал изобретателем первых торпедных катеров, создателем первого в мире мощного ледокола «Ермак» и многих усовершенствований в оружии флота, а также корифеем современной теории кораблестроения А. Н. Крыловым, который начал службу, а затем и научную деятельность во флоте, по окончании Морского корпуса.

Любовь к флоту, привитая с детства ветераном-отцом, лазаревская школа, воспитавшая чувство ответственности за поручаемое дело, и сознание значимости профессии военного моряка для государства были той благоприятной почвой, на которой И. А. Шестаков благодаря упорному изучению военных наук и современных технических проблем, относящихся к кораблестроению и вооружению, сделался одним из самых образованных и передовых в профессиональном отношении офицеров русского флота. Этому же способствовало обстоятельное ознакомление с состоянием промышленности и техническим уровнем Англии, США и других стран, а также с организацией их морских сил. Любя море и свою специальность, он в то же время был достаточно широко развит, чтобы уметь выходить за рамки узко профессионального мышления. Об этом свидетельствуют его успехи на военно-дипломатическом поприще, интерес к общественным явлениям и осуждение той отчужденности морских офицеров от армии, т. е. того флотского чванства, которым были заражены его товарищи по оружию даже в период боевого взаимодействия с сухопутными войсками.

Пожалуй, ничто так не выделяет Шестакова из среды его сослуживцев и особенно преемников по морскому министерству, как правильное понимание роли флота в составе вооруженных сил России. Будучи отличным моряком, ревниво отстаивавшим интересы флота на всех этапах своей деятельности, он в то же время никогда не был сторонником идей самодовлеющей морской мощи и самостоятельной морской стратегии.

В одной из своих докладных записок «О десантной емкости кораблей» Шестаков писал: «... нужно иметь постоянно в виду, что нам придется всегда действовать рука об руку с армией». Важно отметить, что к такому заключению он пришел не в итоге решения технической проблемы (десантной емкости), а на основе анализа конкретных условий политической обстановки, своеобразия географического положения России и из учета вероятных стратегических задач, стоящих перед ее вооруженными силами в целом.

Агентские донесения Шестакова для своего времени могут быть названы образцовыми, так как он никогда не ограничивался точной статистикой, всегда сопровождал свои наблюдения обстоятельным и критическим анализом и не боялся делать весьма смелые прогнозы. Не его вина в том, что многие ценные сведения, сообщаемые им из-за границы, оставались неиспользованными и хоронились в сейфах морского министерства. Признание отчетов и предложений Шестакова автоматически должно было повести к признанию их автора, а это не устраивало его недоброжелателей в министерстве.

Участие в операциях у кавказского побережья и под Кронштадтом, командование кораблями и, позднее, эскадрой, длительные пла-

вания и строительство кораблей обогатили Шестакова боевым, командным и техническим опытом, который очень пригодился ему во время работы под шпилем петербургского Адмиралтейства и в последующем помог сохранять живую связь с флотом, понимать его нужды и потребность в непрерывном совершенствовании. Иначе говоря, он обладал теми качествами, которые создали ему прочный авторитет, которого так не хватало многим его предшественникам типа маркиза де Траверсе, светлейшего князя Меншикова, адмирала Краббе и других руководителей морского министерства, из числа авантюристов, случайных для флота людей или вышедших из флота, но бывших не столько моряками, сколько придворными или классными чиновниками.

Умерший в 1945 году Герой Социалистического Труда академик А. Н. Крылов приводит в своих воспоминаниях интересную сцену, происшедшую при встрече Шестакова-министра с известным физиком Краевичем в стенах Морской академии и характеризующую Шестакова как человека, глубоко понимавшего необходимость перестройки учебного процесса для подготовки квалифицированных кадров флота в новых условиях, и тут же добавляет от себя: «Шестаков был умный человек».[12] Надо полагать, что вытеснение парусных кораблей паровыми броненосными происходило с меньшими затруднениями, чем изменение «парусной» психологии старых морских сановников, засевших в различных органах морского ведомства и в Адмиралтейств-совете. Впрочем, эти блюстители «священных традиций» крепостнической эпохи сопротивлялись не столько введению паровых машин и винтов, сколько нарушению старых порядков, на смену которым неизбежно приходили новшества, связанные с коренной реформой всей организации вооруженных сил.

Не менее ценно другое свидетельство А. Н. Крылова, показывающее, как престарелый Шестаков до конца своих дней не утратил интереса и понимания полезности новейших технических усовершенствований для развития морского дела. За два года до смерти морской министр высмотрел на первой электротехнической выставке в Петербурге (1886 г.) экспонированные парижской фирмой Брегэ дромоскоп и дефлектор французского адмирала Фурнье и тотчас предложил Гидрографическому управлению создать специальную комиссию для сличения их с отечественными приборами.[13] Сравнение показало, что в русском флоте изученность вопросов, относящихся к девиации магнитных компасов, стоит на значительно более высоком уровне и что нам нечему учиться у французов, но в данном случае важно отметить стремление Шестакова не упустить ничего нового, изучить и, если годится, использовать. Еще более характерен интерес, проявленный адмиралом к первым проектам автоматического путепрокладчика (Джевецкий-Брауэр), построенного в России в 1873–1876 годах,[14] т. е. к тому сложному навигационному прибору, который смог получить удовлетворительное конструктивное завершение только пятьдесят лет спустя.

Эта способность заглядывать вперед и предусматривать направление технического прогресса является характерной чертой Шестакова. Она подчеркнуто выявилась в период работы междуведомственной комиссии, решавшей вопрос о приобретении одного из первых образцов торпед. В то время как представители военного ведомства высказались против покупки, один Шестаков настаивал и настоял на приобретении торпед, так как отчетливо понимал, что именно этот вид оружия имеет перспективу и будет непрерывно совершенствоваться. Только благодаря его настоянию русский Черноморский флот смог первым применить торпеду в боевых условиях, а Степан Осипович Макаров — держать в страхе намного более сильный турецкий флот, находившийся под командованием английского наемника на турецкой службе адмирала Го-

барт-паши, и нанести ему чувствительные потери (в Русско-турецкую войну 1877–78 гг.).

Тяготение к новому, передовому во всех областях морского дела и потребность учиться этому новому, чтобы передать знания своим подчиненным, неизменно сопровождает Шестакова до последних лет жизни.

Сейчас, задним числом, можно оспаривать целесообразность некоторых его административных начинаний и нововведений в области организации флота, можно продолжить старую дискуссию о вреде установленного им ценза при прохождении службы офицеров, но в целом прогрессивная и полезная роль Шестакова в истории русского флота остается бесспорной.

Не Шестаков несет ответственность за то, что у него не было достойных преемников и что, несмотря на все его труды, последующий период существования русского флота закончился через двадцать семь лет разгромом на Дальнем Востоке. Империю Александра III в первый период царствования Николая II после Шестакова обслуживали три бесталанных и вороватых морских министра – Н. М. Чихачев, П. П. Тыртов и Ф. К. Авелан, – больше связанных с Зимним дворцом, чем с флотом. Эти адмиралы вполне отвечали требованиям авантюристической и реакционной политики русского самодержавия, приведшей к «преступной и позорной войне», в которой «военное могущество самодержавной России оказалось мишурным».[15] Наличие в составе русского флота отдельных талантливых флагманов и капитанов, как выдающийся флотоводец, изобретатель и ученый С. О. Макаров, даровитый адмирал Н. О. Эссен, или знаменитых кораблестроителей, вроде И. Г. Бубнова и А. Н. Крылова, конечно, не могло повлиять на общий ход событий.

Поэтому, временно оставляя в стороне вопрос о значимости публикуемых воспоминаний в части, касающейся общественной и политической жизни России прошлого века, можно сказать, что авторитетность свидетельств автора в области специальных вопросов, относящихся к жизни и деятельности флота на рубеже двух технических эпох, должна быть оценена достаточно высоко, конечно, при условии критического учета субъективных моментов, неизбежных в любых мемуарах. Объективная ценность «Воспоминаний» адмирала Шестакова именно в этой области возрастает благодаря тому, что описываемый им период истории нашего флота (между Крымской и Русско-японской войной) изучен и освещен в литературе очень слабо.

Первое впечатление от разнохарактерного содержания мемуаров может натолкнуть на мысль о том, что автор воплощает в себе тот тип «просвещенного» русского барина, который обладал обширными и разносторонними, но дилетантскими познаниями во многих областях знаний и никогда не умел приложить свои силы хотя бы на скромном, но полезном практическом поприще. Однако такое впечатление было бы ошибочным.

В данном случае мы имеем дело с весьма практичным, целеустремленным и энергичным человеком, умевшим напористо добиваться поставленной цели и принесшим много реальной пользы русскому флоту. Пространные рассуждения на историко-философские темы, дидактическое резонерство по религиозно-моральным вопросам и дилетантские рассуждения об искусстве, попадающиеся в его дневниках (кстати сказать, лучше всего иллюстрирующие идеалистическую философию автора), обусловлены прежде всего в ы н у ж д е н н ы м б е з д е л ь е м, на которое обрекали Шестакова его начальники, подвергая опале.

Сам Шестаков так отзывается о себе в одном из писем, относящемся еще к 1853 году: «Деятельность для меня необходима, и я сложу руки разве только в гробу».[16] Он оказался верен себе и умер во время служебной командировки, до последнего момента лично руководя строительством флота и Севастопольского порта, хотя к этому времени уже не мог ходить и его возили в специальном кресле.

Характерной чертой Шестакова, которая определяет почти все помыслы и деяния его жизни, является его любовь к родине. Это – одна из самых сильных сторон его личности, определяющая многие поступки автора «Воспоминаний» и поднимающая его над большинством коллег, эгоизм которых и преклонение перед всем иностранным так претили Шестакову даже в ту эпоху, когда, по выражению Герцена, «у Петербурга душа [была] на Западе».

Именно при путешествиях на Запад контрасты начинались каждый раз уже непосредственно на границе, и Шестаков с досадой и горечью вспоминает за рубежом свою страну, где «в столице человек теряет достоинство, а в провинции тухнет всякая искра благодатной мысли», где все «действия основаны на тупой вере в традиции или непогрешимость одного смертного», т. е. царя. Однако, как бы не были сильны эти контрасты, Шестаков ни на минуту не отрекается от своей родины, от всего русского и делает все возможное, чтобы поддержать достоинство России.

В одном из посланий А. В. Головнину он пишет: «Долг совести побуждает меня помнить, что я прежде всего русский, а потом уже русский моряк». И до конца своих дней Шестаков не изменил этому долгу, заботясь не только о росте и усилении русского флота и его кадров, но и о развитии отечественной судостроительной промышленности.

В воспоминаниях, как и в материалах, относящихся к практической деятельности адмирала, нельзя найти тенденции призывать варягов, т. е. привлекать иностранных советников или инструкторов к делу строительства и организации управления русским флотом или другими областями государственного механизма. Шестаков всегда делал ставку на русского человека, умел выискивать самородков и выдвигать способных русских людей. Он искренне радуется, когда узнает, в критический период полукустарной постройки канонерских лодок, что для расточки парового цилиндра корабельной машины смекалистый чиновник Путилов (будущий известный заводчик) ухитрился успешно использовать... каретную мастерскую министерства двора, конечно, без ведома дворцового начальства. С теплотой и гордостью вспоминает строитель первых канонерок «золотые руки» богатого на выдумку крепостного мастерового и мечтает о тех возможностях, которые открылись бы, если б русский крестьянин был поставлен в более человеческие условия.

Конечно, с позиций либерального дворянства, но он искренне любил Россию и русский народ (см. его оценку Отечественной войны как народной: «в двенадцатом году поднялась на врага земля» и др.). Находясь длительное время за границей и следя за техникой кораблестроения, Шестаков не переставая думал о России, и, периодически возвращаясь домой, он стремился не подражать, но, критически переработав, применить в русских условиях все полезное, чему научился. Следующий отрывок из его письма характеризует отношение Шестакова к использованию иностранной кораблестроительной техники: «Путятин говорил против постройки судов в Англии и в этом был совершенно прав, но, увлекшись успехами новых английских винтовых фрегатов, хотел, чтобы мы снимали с них копии, и решительно браковал заказываемые мной большие корветы». Суть же дела заключалась в том, что Шестаков заключил контракт на постройку корветов по оригинальным тактико-техническим заданиям, утвержденным вице-адмиралом В. А. Корниловым, в элементах которых были учтены особенности Черного моря и выполнения намечаемых боевых задач по взаимодействию с армией (включая переброску десанта и его последующую поддержку). Таким образом, свой проект, составленный с учетом конкретных задач и театра, Шестаков противопоставлял «английской копии», кстати сказать, рассчитанной на охрану колониальных, т. е. океанских, коммуникаций.

Для правильной оценки взаимоотношений морского ведомства с иностранной промышленностью и роли самого Шестакова, необходимо подчеркнуть, что заказывавшиеся за границей суда строились не только по отечественным требованиям или эскизным проектам, но очень часто были для своего класса кораблей передовыми образцами военной и технической мысли, служившими затем прототипом для иностранных флотов. Особенно это видно на примере постройки винтового фрегата «Генерал-Адмирал» с весьма оригинальными для того времени элементами. Таким образом, заграничные заказы для Шестакова были вынужденным методом реализации русских идей, для осуществления которых не было еще собственной промышленной базы. Иностранные фирмы и адмиралтейства охотно шли на выполнение таких подрядов, так как, помимо коммерческой прибыли, имели возможность заимствовать достижения нашей отечественной науки и в то же время тормозить развитие русской судостроительной промышленности.

Пробыв в общей сложности более пятнадцати лет за границей, Шестаков все же не стал одним из тех энглизированных россиян, какими были многие его коллеги и начальники, даже не выезжавшие из Петербурга. В этом патриотизме и в принципиальности Шестакова — источник его большой моральной силы.

Вот почему он презирает эмигрантов-легитимистов, которым русский двор и дворянское общество из чувства классовой солидарности широко открыло свои салоны и кошельки и о которых автор воспоминаний иронически говорит, что эти «поборники добрых начал нашли в доброй России больше, нежели потеряли в прекрасной Франции». Очевидно, за примерами не приходилось далеко ходить: молодой Шестаков застал еще последствия «управления» маркиза де Траверсе; будучи лейтенантом, наблюдал французских помещиков, вернее плантаторов, высочайшим повелением наделенных русскими рабами на побережьи Новороссии; позже встречал их в качестве консулов и советников русских посольств, не утруждавших себя изучением русского языка, но представлявших интересы Российской империи в других странах. Не склонен Шестаков романтизировать и янки: «Не ищите в Штатах высоких нравственных побуждений, они не существуют».[17] Озабоченный тем, как «избавить Россию от тяжкой подати иностранным заводчикам», Шестаков, несмотря на все свои симпатии к общественному укладу США того времени, отвергал соблазнительные предложения, когда «многие, симпатизирующие нашим рублям американские пройдохи не давали покоя своими проектами и требованиями о доставке оружия, новых снарядов и т. п.».

Принадлежность к морской профессии избавила нашего капитана, а затем и адмирала, от увлечения и прусской системой с ее эффектными победами в 1870—1871 гг., высоко оцененными при русском дворе, так как старейшему русскому флоту с его славной историей нечему было учиться у потомков ганзейских купцов, только начинавших обзаводиться морской силой.

Нельзя, конечно, исключать и эгоистических побуждений в линии поведения Шестакова. Будучи весьма честолюбивым и самоуверенным, он своего личного упустить в жизни не хотел и напористо добирался к кормилу правления флотом. И там, где его признавали и продвигали, его критический пафос охлаждался, как было первое время при великом князе Константине Николаевиче, и, наоборот, там, где ставили препоны его служебной карьере, Шестаков становился жестоким обличителем интриганов типа Головнина, Краббе или, позже, великого князя Алексея. Но к чести автора «Воспоминаний» надо сказать, что его честолюбие по существу было здоровым. Он добивался своего признания непрестанным совершенствованием и полезной деятельностью, никогда не поступаясь чувством долга перед родиной и не прибегая к недостой-

ным средствам, чтобы получить лишний орден или чин. Личные стремления к власти он в значительной мере сочетал с желанием добиться такого положения и условий, при которых мог бы приносить еще большую пользу русскому флоту.

За Шестакова говорит и его принципиальность в серьезных вопросах, и чувство собственного достоинства. В тех случаях, когда ему, что называется, наступали на ногу, он не боялся идти на конфликт, даже если знал, что тем самым испортит себе карьеру. Три раза своенравного Шестакова сбрасывали с намеченного им пути, и все три раза он не пошел на компромисс со своей совестью, чтобы ни чем не быть обязанным персонам, которых он не уважал.

Так, в кратком виде, может быть охарактеризован профессиональный и моральный облик довольно необычного царского градоначальника, губернатора и, наконец, министра, который нажил себе много врагов, но не нажил капитала; не был акционером иностранных или российских фирм; всю жизнь прожил на содержание, получаемое от казны, и после смерти не оставил вдове ничего, кроме пенсии.

Отдавая должное Шестакову как крупному специалисту, честному патриоту и интересному мемуаристу, тут же надо оговорить, что его никак нельзя идеализировать. Также было бы ошибкой преувеличивать государственную роль Шестакова вне сферы компетенции морского ведомства. В последнем отношении он намного уступает как государственный деятель такому своему современнику, как Д. А. Милютин.

Шестаков, бесспорно, выделяется из рядов своих коллег-администраторов или товарищей по оружию, хотя бы потому, что научился находить в основе всех социальных явлений экономические предпосылки. Он убедился в том, что пришедшая к власти буржуазия подняла Англию, Францию и США на более высокий социальный и экономический уровень, намного обогнав абсолютную монархию Романовых с средневековым землевладением, при котором невозможно было дальнейшее развитие производительных сил России, вопреки общему ходу исторического процесса. Больше того, присмотревшись пристальнее к развитию промышленного капитализма в Великобритании, в параграфы конституции которой он первое время непреложно верил, Шестаков понял даже то, что «влияние промышленности иногда насилует правительство», хотя и не понял того, что это правительство обслуживает только интересы промышленников и ленд-лордов и что «насилие» вскрывается только тогда, когда их притязания вступают в противоречие.

Весьма возможно, что если бы отставной капитан-лейтенант и провинциальный совестный судья Алексей Антипович Шестаков оставил в наследство своему сыну Ивану тысячи крепостных и большие поместья, то мы имели бы перед собой воспоминания о полувеке действительно обыкновенной жизни обыкновенного русского помещика. Но иные материальные условия, в которых оказался Шестаков, сразу же постаравшийся избавиться от нескольких бездоходных десятин и сотни крепостных, помогли сформироваться более современному мировоззрению, довольно типичному для некоторых представителей мелкопоместного и незнатного дворянства в эпоху расцвета промышленного капитализма, и сделали автора мемуаров убежденным врагом крепостного права.

Однако в своих социально-политических выводах Шестаков не смог подняться выше позиций буржуазного либерализма. Его политическое кредо определялось мечтой о конституционной монархии во главе с «добрым и просвещенным» царем. При этом он твердо верил, что путем последовательных реформ, гуманной политики и честного служения родине со стороны дворянства и самого «первого дворянина» можно было бы вывести Россию из экономической и культурной отсталости без особых потрясений.

Любые более радикальные социальные взгляды он считал «безумными фантазиями» и категорически восставал против «буйств и зверства», т. е. каких-либо насильственных, революционных действий, для достижения даже своих скромных политических чаяний.

В роли виленского губернатора, вступившего в оппозицию к генерал-губернатору, это был всего только педантичный законник, не признававший административного произвола генерала Потапова, заигрывавшего с польскими магнатами. Но законность, которую отстаивал Шестаков, была царской законностью полукрепостной России, примененной к условиям колонизированной Польши. Вряд ли строгое выполнение установлений Российской империи приносило какое-либо облегчение участи закабаленных польских крестьян и рабочих.

Взывая к тени Петра Первого, долго и тщетно присматривался Шестаков к представителям царствующего дома и его окружению, отыскивая тех людей, которые могли бы, по его мнению, выполнить историческую миссию преобразования России в «идеальную монархию», но так и умер, не найдя своего идеала. Одно время он готов был видеть в великом князе Константине Николаевиче человека, способного, по его мнению, выполнить эту миссию, но очень скоро разочаровался в нем так же, как и в Александре II, и позже – в Александре III. Но служил он им всем честно, не жалея своих сил.

На первый взгляд кажется противоречивой следующая коллизия: офицер из помещиков-дворян, причисленный к свите царя, хотя и с периодическими провалами, но все же двигающийся по иерархической лестнице до предельных высот, всю жизнь остро критикует не только царей, великих князей и сановников, но и существо некоторых особо вопиющих сторон самой системы государственного устройства. Следующие основные причины обусловили возможность появления такого феномена.

Прежде всего, отсутствие у Шестакова больших поместий или капитала и перспективы их получения в будущем. Кроме того, военно-морской флот по своей технической сущности всегда предъявлял самые повышенные требования к тяжелой промышленности и часто даже стимулировал достижение более высокого уровня конструктивной мысли, нового качества материалов или более совершенной технологии. Вот почему глубокое изучение своей профессии, участие в проектировании и постройке кораблей привело Шестакова к изучению не только отечественных возможностей, но и экономики, технических условий производства и положения рабочих в передовых капиталистических странах Западной Европы и Америки. Естественно, что для способного и образованного офицера такие наблюдения были поучительны не только в области его морской специальности. Несмотря на внешнее увлечение парламентской системой Англии и государственным устройством Соединенных Штатов своего времени, Шестаков сумел сохранить изрядную долю критического отношения к виденному и слышанному, подмечая оборотную сторону медали. Так, например, первое посещение редакции и типографии «независимой» газеты «Таймс» произвело на неопытного флотского офицера такое сильное впечатление техническим оснащением и оперативностью организации, что он узрел в этом органе самых консервативных кругов правящей верхушки подлинный и нелицеприятный голос английского народа. Но, приглядевшись к жизни и сопоставив фактические события с фальсифицированной информацией и тенденциозными комментариями, он написал: «Еще до Синопа я начал войну с "Таймсом" по поводу его лживых отчетов о наших действиях и, когда он отказался напечатать мое письмо, обратился в "United Service Gazette"». После того как и эта газета уклонилась от публикации его опровержений, Шестаков окончательно убедился, насколько ошибался в своем представ-

лении о «свободе печати» в руках британской буржуазии, уже предвкушавшей прибыли от предрешенной войны.

Подобные разочарования (а их было немало как в Европе, так и в Америке) все же не могли смягчить глубокой неудовлетворенности от уродливых общественных и политических условий российской действительности. К тому же история подвела некоторые итоги, вследствие которых офицер-патриот тяжело пережил гибель любимого им Черноморского флота, падение Севастополя и последующее принятие унизительных статей Парижского трактата. Но главное заключалось в том, что за поражением вооруженных сил и дипломатии он ясно различал поражение режима. Поэтому корни оппозиционности Шестакова заключались в сознании отсталости России, губительности внутренней политики и несостоятельности некоторых притязаний во внешней. Недаром он пишет, что был свидетелем «многих лет беспримерного гнета, сотен тысяч жертв и великого национального унижения».

В этом — основная причина его горечи, неудовлетворенности и того негодования, которое он изливал в дневниках, и в этом же можно найти объяснение значительной части его поступков.

Не русский народ, долготерпение которого и героизм в критические для родины моменты он наблюдал на протяжении своей сознательной жизни и прошлое которого знал из истории, нес ответственность за свою отсталость.

Поэтому Шестакову, умному, либерально настроенному и честному, претили коррупция и эгоизм царской бюрократии, паразитическое существование августейших особ, косность и бессмысленная жестокость помещиков, с преступным упорством тормозивших развитие России и делавших ее аграрным придатком к Западной Европе из личных корыстных побуждений и из страха перед неизбежным ростом пролетариата. Привыкнув с юных лет добиваться своей цели упорной работой, Шестаков презирал влиятельных бездельников — не только безграмотных и бездарных, но и более способных и образованных, как светлейший князь А. С. Меншиков и прочие ему подобные, — тем самым наживая все больше врагов из рядов своего класса.

Чем же объяснить то, что он добился высокого ранга в рядах той иерархии, которую хаял, и почему ему временами прощались отдельные выходки и критика существующих порядков и главных фигур империи?

Такое положение можно объяснить тем, что свои протесты и сетования он изливал интимно, в дневниках, и самые резкие из них отнюдь не оглашал всенародно. Благодаря этому общественное значение критики Шестакова оставалось ничтожным. Те же немногие обличительные статьи и выступления, которые выносились им наружу, не выходили из рамок того легального либерализма, который, под давлением событий, допускался иногда официальной цензурой.

Дальше фрондерства, конфликтов с бездарным начальством, резких докладов и острых сарказмов в мемуарах Шестаков не пошел. Он хотел врачевать болезни монархического строя, но вовсе не предполагал потрясать его устои. Больше того, как только этим устоям грозила реальная опасность, он готов был бороться с любым видом революционной угрозы.

Презирая значительное число представителей своего класса, Шестаков в то же время органически не был способен бороться против этого класса как такового, так как для России не допускал приемлемой даже буржуазную республику. Не случайно поэтому, что он смог стать министром в самый мрачный период реакции. Вынужденный приспосабливаться к режиму и пряча свое частичное возмущение и недовольство в дневниках, которые скрывал от нескромных взглядов, Шестаков был использован целиком в интересах

реакции, вместе со своим платоническим либерализмом, который, к тому же, с годами значительно тускнел.

Такой человек, как Шестаков, был необходим всем трем царям благодаря своим знаниям, опыту, энергии и честности, с которой он служил родине, т. е. монархии, так как он отождествлял эти понятия. Вот почему «беспокойному адмиралу» прощались изредка резкие выражения в докладных записках или в официальных телеграммах.

Критическое отношение к правящей клике привело к тому, что адмирала терпели, но использовали преимущественно как морского специалиста, техника, организатора флота и не подпускали к тому интимному дворцовому кругу, который определял внешнюю и внутреннюю политику России и в то же время служил посредником для иностранного капитала. У этой правящей клики хватало ума понять, что на открытый разрыв со своим классом Шестаков не пойдет. Больше того, когда появилась угроза того, что смещенный и обиженный губернатор мог сделать критический шаг, как было в момент отъезда за границу опального контр-адмирала, то в Петербурге догадались, играя на чувствительных струнах его души, учредить для него специальную должность и придумать интересную работу (морского агента), после чего периодически посылали ордена и однажды даже поздравили с производством в вице-адмиралы. Благодаря этому Краббе и Головнину с высочайшего благословения удалось «обезвредить» Шестакова почти на восемь лет. Сейчас трудно сказать, насколько серьезно в морском ведомстве пользовались плодами его зарубежной работы с 1873 по 1881 год. Ушедший с головой в изучение организации иностранных флотов и новой техники кораблестроения и вооружения, Шестаков так до конца и не понял, что его морально шантажируют.

Попытка его хотя бы после смерти рассчитаться со своими оппонентами также не удалась. Опять самодержавие оказалось сильнее, и на записки и дневники Шестакова был наложен пятидесятилетний запрет. Так полвека воспоминаний, одновременно с автором, были еще на полвека похоронены от взоров людей.

Если такой крупный деятель был забыт не только широкой русской общественностью, но даже и в среде последующих поколений моряков, несмотря на его несомненные заслуги перед флотом, то это является естественным результатом мести Александра III и преемников Шестакова, не раздвоенных никакими либеральными иллюзиями. Арест, наложенный на литературное наследство адмирала, о факте которого, конечно, все знали, в условиях восьмидесятых годов автоматически означал запрещение вспоминать и тем более писать о своенравном министре.[18] Этим и объясняется исключительная скудность литературы о Шестакове. Иначе говоря, это была последняя опала уже покойного адмирала, которой воспользовались его преемники с тем, чтобы постараться стереть следы его деятельности или присвоить авторство некоторых его начинаний.

По тем же причинам не случаен факт, что о Шестакове вспомнили, вернее пришлось вспомнить, после тяжелых событий Русско-японской войны, в период нового форсированного строительства русского флота и военно-морских баз. Но и в этом случае, через двадцать пять лет после смерти адмирала, его последняя услуга флоту оказалась анонимной.

Эта краткая характеристика И. А. Шестакова сделана нами не столько для восстановления облика одного из деятелей русского флота, сколько для того, чтобы читатель мог правильнее понять и оценить авторские трактовки людей и событий, описываемых в «Воспоминаниях». Что касается самих мемуаров, то заранее надо оговорить, что их основная ценность заключается отнюдь не в разоблачениях николаевского режима, запоздавших почти

на сто лет. Критическое отношение автора к современникам и некоторым политическим и общественным явлениям, вместе с его личными моральными качествами, принимается нами как своеобразная гарантия правдивости и относительной объективности Шестакова, что подтверждается при сопоставлении с другими источниками. Его оценки подчас очень убедительны и, очевидно, приближаются к действительности больше, чем многие официальные или панегирические свидетельства, которыми так богата литература описываемого периода.

Оставляя в стороне интимную часть мемуаров и опущенные малоценные места из них, надо сказать, что значимость публикуемой части «Воспоминаний» определяется прежде всего материалами по истории русского флота (а отчасти и иностранных) в период его полного технического переоснащения. Поскольку эта перестройка материальной базы и техники флота естественно повлекла за собой изменение его состава, организации, системы управления, подготовки кадров, а также переоборудование портов, баз и всей системы снабжения, — мы находим в мемуарах много интересных свидетельств, относящихся к этим вопросам, причем по некоторым из них автор дает подробности, не известные до последнего времени.

Бесспорный интерес представляют те места «Воспоминаний», которые показывают, как линия внешней политики царского правительства влияла на развитие русского флота и, в свою очередь, как флот использовался в качестве инструмента внешней политики России.

Из области международных отношений, пожалуй, впервые встречается в нашей литературе подробное описание таких событий, как грандиозные демонстративные маневры, вернее политическая инсценировка, британского флота на Спидхедском рейде, в присутствии королевы Виктории, во время которых условный «русский» флот был разгромлен в потешном сражении еще до начала Крымской войны.[19] Не меньший интерес представляет описание вооруженной демонстрации европейских флотов в Средиземном море после резни христиан, учиненной турками в Сирии, и вся закулисная дипломатическая возня, связанная с этим вопросом.[20] Кроме того, Шестаков интересно освещает некоторые стороны борьбы за аннулирование тех статей Парижского трактата, в силу которых временно была закрыта для России возможность содержания флота на Черном море, и процесс последующего возрождения этого флота, в чем он лично принимал большое участие.

Из современной ему боевой деятельности русского флота, о которой можно найти материалы и в других источниках, автор дает как участник или очевидец много интересных деталей. К таким эпизодам можно отнести блокадные действия Черноморского флота у кавказского побережья; совместные его операции с кавказской армией; подробности гибели Бестужева-Марлинского под Адлером; так называемую «Мофетову битву» под Кронштадтом и многое другое. Не потеряли не только исторического интереса, но и некоторой доли практического значения взгляды автора на методы воспитания и обучения кадетов, команд и офицеров, выработанные в школе таких замечательных педагогов-воспитателей, какими были Лазарев, Корнилов и Нахимов, и особенно в части требований, предъявляемых к русским морякам во время заграничных плаваний, или к их поведению на военно-дипломатической работе.

Историческая ценность свидетельств Шестакова еще более поднимается там, где отдельные документы или официальные письма (Нахимова, Корнилова и др.) он приводит текстуально, использовав свой семейный архив, до того никому неизвестный. В освещении условий общественной жизни автор не дает ничего принципиально нового, но его мемуары восполняют наши представления об эпохе благодаря обилию интересных подроб-

ностей, правда, ограниченных сферой его наблюдений. Он был свидетелем многих значительных политических событий, войн и революций, так как жил и путешествовал по России, Западной Европе и Америке в период свершения или в процессе их назревания. Многократное пребывание Шестакова на Босфоре позволило ему оставить в своих записках несколько поучительных описаний той закулисной политической игры, в которой «западные державы, неустойчивые, малодушные, всегда взаимно друг другу не доверяющие, всегда сначала поощряют султана к сопротивлению царю, агрессивности которого они боятся, а кончают тем, что вынуждают султана к уступкам, боясь, что всеобщая война может привести к всеобщей революции.[21]

Не менее интересно передает автор отдельные штрихи реакции американской общественности на итоги Крымской войны. Очень красочно показан встреченный им на пароходе безмерно невежественный и столь же нахальный янки, который хвастался высокими качествами американских генералов, – устойчивый тип бизнесмена, не только сохранивший некоторые эти свойства вплоть до наших дней, но и многократно их приумноживший.

Благодаря большой любознательности и общительности Шестаков проходит через порты, заводы и верфи почти всех стран мира, посещает как обязательные для его положения придворные приемы, дипломатические салоны, деловые клубы, посольства и т. д., так и вовсе не обязательные для него заседания английской палаты и французского национального собрания, лекции по политической экономии в Коллеж де Франс и международные выставки, кубинские плантации и различные общественные собрания. Его впечатления, иногда весьма обстоятельные, подчас бывают поверхностны, так как обусловлены классовой ограниченностью, но почти всегда остры и интересны. Наблюдательность, чувство юмора и умение легко излагать свои мысли делают его занимательным бытописателем.

Кто-то сказал, что если бы исчезли все документы, книги и свидетельства о XVIII столетии, то историю нравов этого века можно было бы восстановить по мемуарам Казановы. Хотя между почтенным адмиралом и самозванным кавалером де Сенгальт нет ничего общего, кроме литературной плодовитости на старости лет, все же можно утверждать, что мемуары Шестакова дают очень много для того, чтобы представить быт и нравы середины XIX века, во всяком случае так живо и убедительно, как нельзя было бы их установить из современных официальных документов или научных исторических трудов и даже из некоторых литературных произведений.

Есть некоторые частности в «Воспоминаниях», представляющие для специалистов несомненный интерес, например характеристика внутренней обстановки в США непосредственно перед войной северян с конфедератами. Для изучающих эту войну совершенно ясно встает в представлении общая обстановка, уклад жизни и некоторые характерные особенности социальных отношений, сыгравшие значительную роль в ходе восстания и последующем поражении южан. То, что с достаточной объективностью описывает офицер русского флота, объехавший северные и южные штаты буквально накануне войны, трудно найти в сохранившихся материалах или позднейших трудах по этому вопросу.[22]

Чем особенно богаты мемуары Шестакова, так это краткими, но меткими характеристиками громадного числа политических и общественных деятелей. Трудно сосчитать количество императоров, королей, вице-королей, президентов, премьеров, министров, дипломатов, с которыми он встречался и которые в той или иной мере играли роль на политической арене XIX века. Пестрый калейдоскоп этих портретов определяется не толь-

ко личным тщеславием автора, но и его установкой, что «люди делают историю», на основании чего он посвятил им столько места в своих воспоминаниях. Некоторые из этих портретов бесспорно дороги для нас (Лазарев, Нахимов, Корнилов и др.); иные — интересны для лучшего понимания тех событий, на которые они влияли, тем более, что в других источниках о них имеются только официальные или официозные характеристики (великий князь Константин Николаевич, Краббе, Головнин и др.). В отдельных выведенных им типах можно ясно разглядеть щедринских героев.

Вот почему можно считать, что опубликование мемуаров и дневников И. А. Шестакова должно принести свою долю пользы для изучения истории русского флота и его военно-морского искусства, а также истории русского общественного быта второй половины XIX века.

В заключение необходимо обратить внимание на тот факт, что, как и всякие мемуары, «Воспоминания» Шестакова, несмотря на относительную их добросовестность, конечно, не свободны от субъективной оценки событий, людей и действий самого автора; поэтому его свидетельства должны приниматься с критическим учетом побуждений, влиявших на впечатления или оценки, которые в свою очередь изменялись на протяжении его жизненного пути. В частности можно заметить, что некоторые трактовки событий, пережитых в юные годы, — позднее, при переработке дневников в воспоминания «Полвека обыкновенной жизни», — подверглись исправлениям в соответствии с изменением взглядов автора, с годами терявшего свой либеральный пыл. Но при сопоставлении «Воспоминаний» с многими другими мемуарами можно также заметить, что в них относительно меньше элементов самореабилитации, обычно являющихся основным импульсом при подобных литературных излияниях бывших государственных деятелей. Если ведение дневников в юношеские годы было привычкой, унаследованной от отца, а в период опалы решающую роль играла потребность в самореабилитации, то в последние годы жизни Шестаков, добившийся всего, о чем мечтал, скорее искал возможность в мемуарах и дневниках еще более утвердить свою личность.

Кроме привычки и необходимости заполнять досуги, ведение записей можно объяснить еще и тем, что, попав в своеобразные условия, Шестаков не мог ни с кем делиться своими сокровенными мыслями, не решаясь в то же время открыто изливать свою горечь, досаду и презрение к ближайшему окружению. Таким образом, ведение дневника стало уже потребностью, как бы духовной отдушиной, для этого деятельного и своенравного человека, не без дальнего расчета — получить моральную компенсацию за годы опалы, хотя бы после смерти. Наконец, проглядывает и дидактическая тенденция, т. е. желание Шестакова передать свои нравоучения и житейский опыт, говоря его языком, «умудряющимся соотечественникам».

Остается разъяснить, почему понадобилось сокращать текст рукописи «Воспоминаний» И. А. Шестакова. Для этого прежде всего надо обратиться к объему рукописи, а затем к оценке ее отдельных частей.

Из числа наиболее известных мемуаров русских военных деятелей наследство Шестакова — «Воспоминания» и «Дневник» (свыше 5 000 страниц) — уступает по объему, пожалуй, только «Воспоминаниям» и «Дневнику» Д. А. Милютина.[23] Помимо того, плоды литературной деятельности адмирала весьма неравномерны по качеству, особенно если оценивать их на основании тех предпосылок, которые нами сделаны выше, для утверждения целесообразности издания «Воспоминаний».

Дело в том, что дважды подвергавшийся опале и по натуре весьма деятельный адмирал и губернатор очень тяготился невольными вакациями и поэтому периодически разряжал

свою энергию литературными упражнениями, занося в дневники все, чем занят был его ум или чувства, вплоть до выражения лирических настроений, возбуждаемых красотами природы, или морально-религиозных философствований, возникавших по различным поводам. Поэтому для уплотнения более полезных материалов мы опустили многое из того, что в настоящее время не представляет познавательной ценности.

Вовсе опущена интимная сторона жизни автора, его переживания, связанные с длительной болезнью жены, и поэтические упражнения адмирала. Также опущены почти все «философические» рассуждения на моральные и религиозные темы, так как на досуге он был весьма склонен к резонерству. Значительно урезаны описания природы (Альпы, Куба, Ниагара, Миссисипи и многое другое), за исключением тех отдельных мест, которые позволяют установить маршруты путешествий автора, имеют известное значение для стратегической оценки местности или характеризуют современные ему условия судоходства (устье Дуная, дельта Миссисипи и т. п.).

Опущены или очень сокращены подробные технические описания американских пароходов, кубинских сахарных заводов, табачных фабрик или машин для прессования хлопка и многих других технических и промышленных объектов, привлекавших внимание любознательного Шестакова, который детально описывает не только оборудование, но и технологию производства и порядок эксплуатации механизмов.

Исключены описания ритуалов придворных приемов и празднеств, а также характеристика тех царских родичей и придворных, которые не играли заметной политической роли в истории России. Кроме того, мы считали возможным опустить политические и дипломатические анекдоты в тех случаях, когда Шестаков не был очевидцем или непосредственным слушателем, а передает их, так сказать, по наслышке.

Считая, что подробное изложение деятельности таганрогского градоначальника (включая анализ городского бюджета) представляет сейчас ограниченный интерес, мы значительно сократили соответствующие главы, так же как и те, которые относятся к мероприятиям Шестакова в должности виленского губернатора и к его полемике с генерал-губернатором Потаповым.

Несмотря на такие купюры, мы все же оставили некоторые из мест, содержащих впечатления Шестакова и бытовые зарисовки, характеризующие как самого автора, так и среду, в которой протекали основные события. Что касается свидетельств, относящихся к истории флота, его учреждений или политических событий, участником которых был И. А. Шестаков, наиболее значительные из них приводятся в настоящем издании в неприкосновенном виде.

Мы сочли необходимым также сохранить в точности стиль подлинника, который, несмотря на некоторое своеобразие изложения и претенциозность, не затрудняет восприятия мыслей автора.

Адмирал Флота Советского Союза
И. С. Исаков

Примечания

[1] «Русский архив», 1873, кн. 1, стр. 164—200.

[2] Отчет Императорской публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893, стр. 123.

[3] См. Дневник А. В. Богданович. «Три последних самодержца». Изд. Френкель. М.-П., 1924, стр. 93 (Запись от 17 апреля 1889 г.).

[4] Краткую историю рукописей читатель может найти в интересной статье научного сотрудника Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина А. Н. Михайловой: «Дневники и мемуары адмирала И. А. Шестакова». — «Морской сборник», 1946, № 2, стр. 119—123.

[5] См. например: Русский биографический словарь, издаваемый Русским историческим обществом, т. 23. СПб., 1911, стр. 233—238; Леер. Энциклопедия военных и морских наук, т. 8. СПб., 1897, стр. 357—358; Энциклопедический словарь, изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, полутом 78. СПб., 1903, стр. 532 и др.

[6] Английское правительство конфисковало корветы, почти законченные постройкой, дооборудовало их и послало в состав флота, действовавшего против России на Балтийском море, причем им были даны названия «Казак» и «Татарин».

[7] См. также Общий морской список. Часть 12. СПб., 1900, стр. 313—320.

[8] Значимость так называемой «американской экспедиции русского флота» определялась тем, что одновременно с внезапным появлением эскадры Лесовского у атлантического побережья США эскадра контр-адмирала Попова появилась в Сан-Франциско, сделав переход из Владивостока.

[9] Шестаков в своей оценке Краббе сходится с Д. А. Милютиным, который в своем «Дневнике» дает Краббе-министру уничтожающую характеристику: «Что же касается адм. Краббе, то его едва ли можно и считать в числе министров: принятая им на себя шутовская роль и эротические его разговоры ставят его вне всякого участия в серьезных делах государственных» (Дневник Д. А. Милютина. 1873—1875. Том первый. М., изд. Госуд. библиотеки им. Ленина, 1947, стр. 120).

[10] См.: Д. Д. Языков. «Обзор жизни и трудов покойных русских писателей». Выпуск 8. М., 1900, стр. 129—130. Надо оговориться, что в этом обзоре приводится не более одной пятой публикованных литературных трудов И. А. Шестакова, так как только за период с 1858 по 1862 гг. в «Морском сборнике» опубликовано 36 его статей и докладов.

[11] К этой же категории людей должен быть отнесен капитан 1 ранга А. Ф. Можайский (1825—1890), бывший талантливым конструктором и опытным строевым офицером с большим стажем плавания; ему принадлежит не только идея создания первого в мире самолета, но и разработка его технического проекта и сама постройка.

[12] А. Н. Крылов. Мои воспоминания. М.-Л., изд. Академии наук СССР, 1945, стр. 111.

[13] А. Н. Крылов. Мои воспоминания. М.-Л., изд. Академии наук СССР, 1945, стр. 88.

[14] А. Н. Крылов. Мои воспоминания. М.-Л., изд. Академии наук СССР, 1945, стр. 89.

[15] В. И. Ленин. Сочинения. 4-е изд., том 8. Госполитиздат, 1947, стр. 12 и 35.

[16] Письмо из Лондона; опубликовано Л. И. Шестаковой, сестрой композитора М. И. Глинки. — «Русская старина», т. LXII, апрель 1889 г., стр. 169.

[17] Его статья «Между делом». — «Морской сборник», 1858. № 11. Часть неофициальная, стр. 25.

[18] Небезынтересно отметить следующее. В конце официального некролога, помещенного после смерти И. А. Шестакова в «Морском сборнике», 1888, № 23, упоминалось,

что «подробная биография покойного будет помещена в ближайшей книжке «Морского сборника». Но она не появилась ни в «ближайшей книжке», ни в годовщину смерти, ни позднее.

[19] О маневрах на Спидхедском рейде см. также статью А. Горковенко «Смотр и маневры английского флота в Портсмуте, 30 июля 1853 года». («Морской сборник», 1853, № 8, стр. 162–168).

[20] Этот эпизод участия русского флота в решении средиземноморских вопросов почти совсем не освещен в нашей литературе.

[21] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Том IX. М., ИМЭЛ, 1932, стр. 435.

[22] Интересна деталь. Шестаков путешествовал по Миссисипи в то время, когда на одном из речных пароходов служил никому не известный Сэмюэль Клеменс (впоследствии знаменитый писатель Марк Твэн), только что сдавший экзамен на лоцмана и младший брат которого погиб при взрыве парохода во время гонок, практиковавшихся между судами-конкурентами. Такие гонки Шестаков очень живо описал в своем дневнике 20 февраля 1858 г. и, затем, переработав запись в статью, опубликовал ее под названием «Дедушка Миссисипи» («Морской сборник»,1861, № 3). Марк Твэн, бросив лоцманство, вспомнил аналогичные эпизоды из своей жизни значительно позже и впервые поместил очерки о жизни на Миссисипи в журнале «Атлантик» в 1874 г. Таким образом, в русской печати эти дикие нравы американского Запада так своеобразно (чтобы не сказать больше) осваивавшего технику, были описаны на 13 лет раньше, чем с ними познакомились янки из восточных штатов.

[23] См. Дневник Д. А. Милютина. 1873–1875. Том первый М., Изд. Госуд. Библиотеки им. Ленина. 1947.

ОТ РЕДАКЦИИ

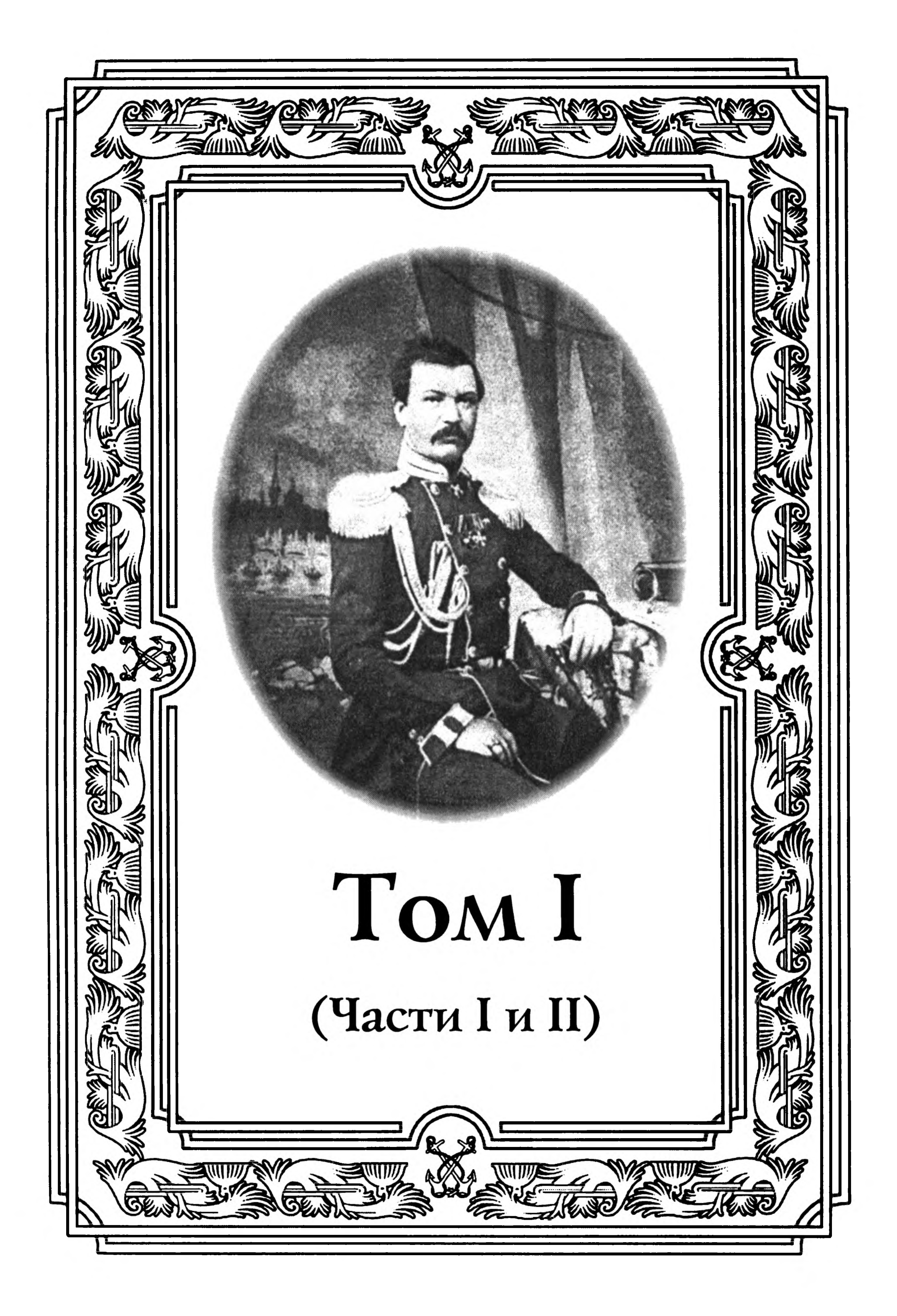
Публикация воспоминаний адмирала И. А. Шестакова (включая предисловие и комментарии) подготовлена военным историком, капитаном 1 ранга В. В. Козырем по имеющемуся у него одному из списков рукописи, составленному по указанию Адмирала Флота Советского Союза И. С. Исакова.

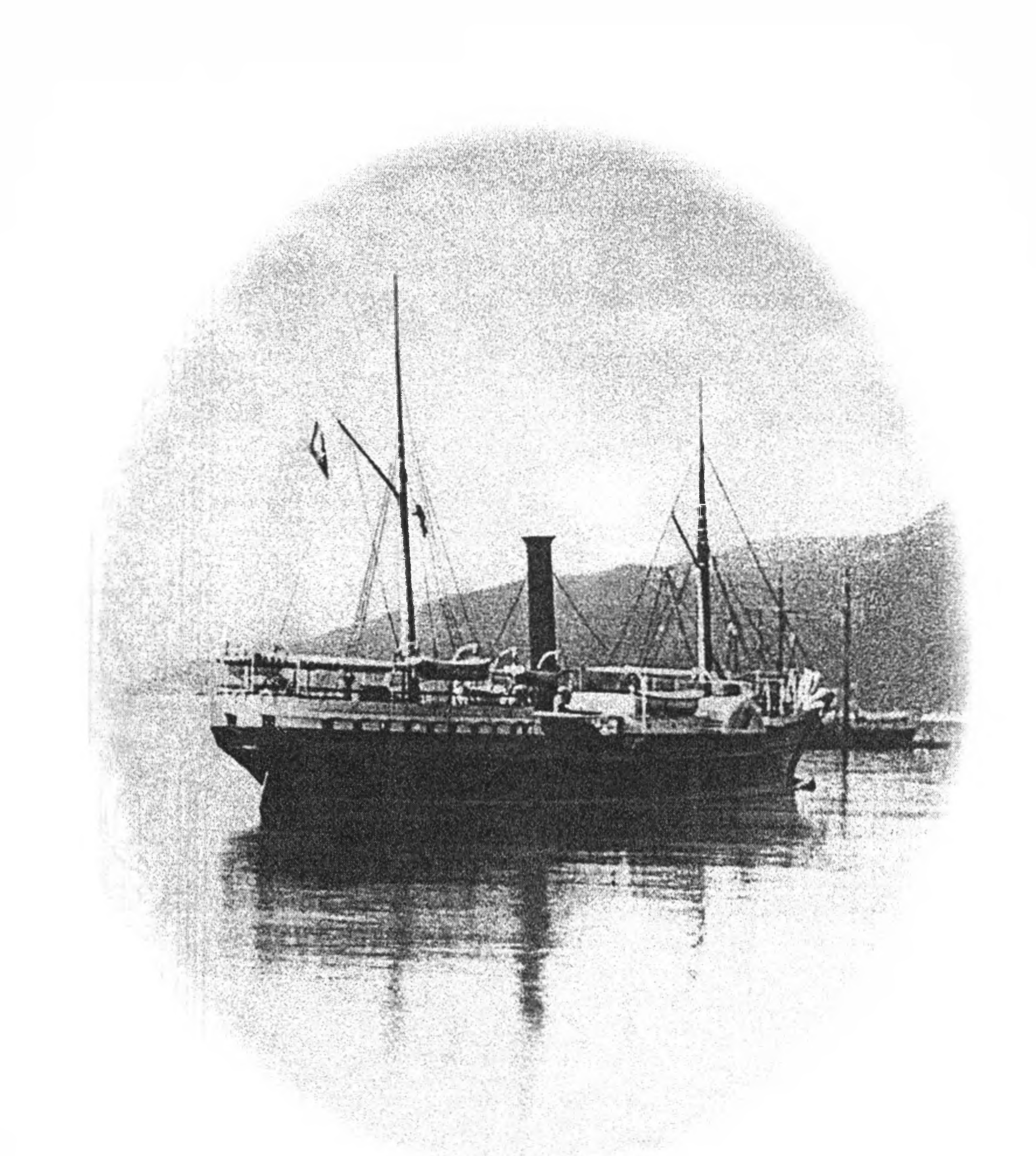
В целом текст дается соответственно нормам современного русского языка, в отдельных случаях сохранены некоторые особенности стиля и правописания XIX в. Оставлено авторское сокращение слов, написание фамилий, титулов царских особ, географических названий и названий кораблей.

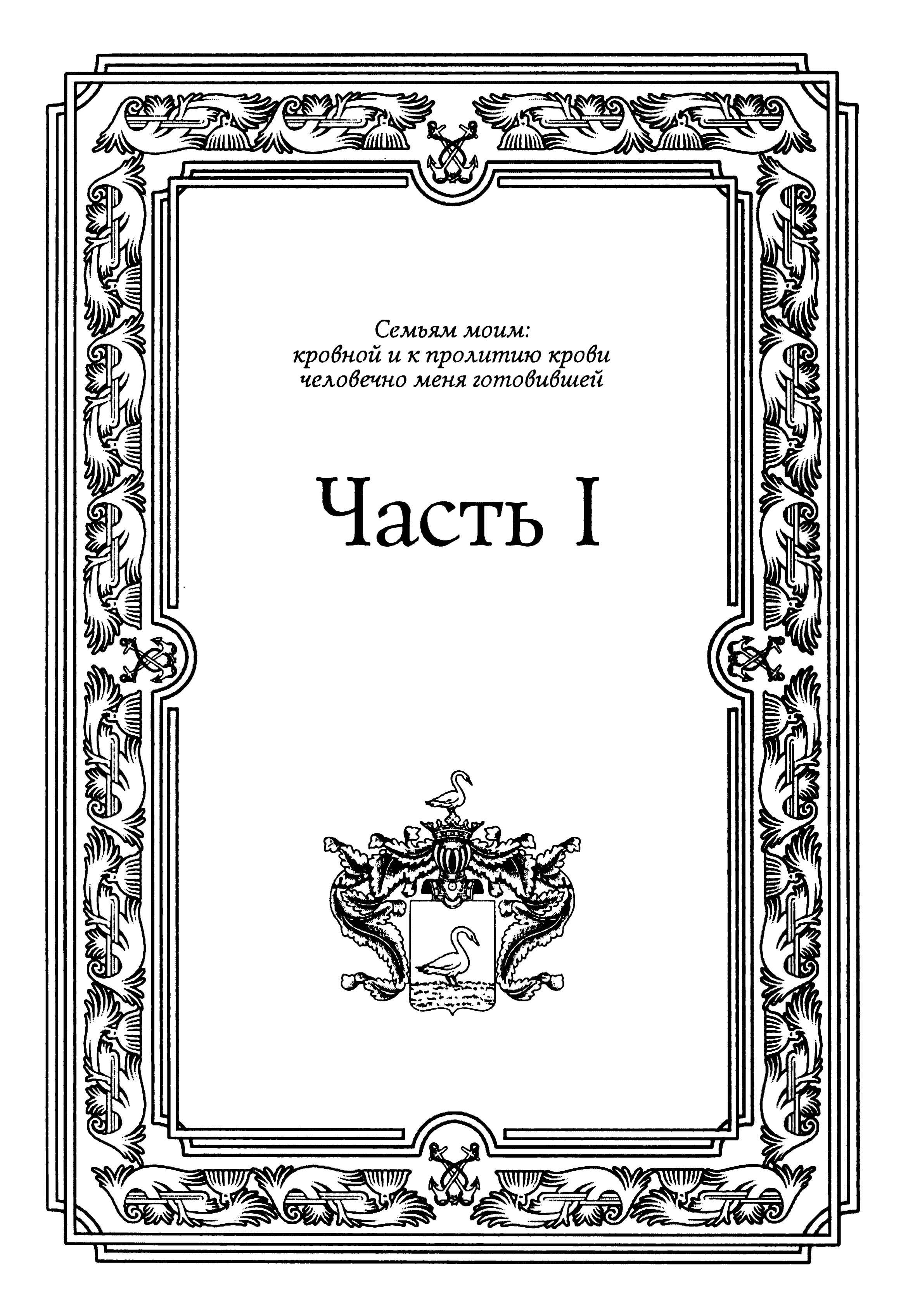
Встречавшиеся в рукописи пропуски букв, опечатки, орфографические ошибки исправлены без пометок. Сноски обозначаются арабскими цифрами и помещены в примечаниях к каждой части.

Сохранена авторская датировка событий, т. к., находясь за границей, Шестаков часто указывал двойные даты, что связано со следующей особенностью: в XIX в. существовало различие в 12 дней между новым европейским (григорианским) и принятым тогда в России старым (юлианским) стилями летоисчисления. Текст, написанный на иностранном языке, соответствует языку оригинала, в большинстве случаев дается перевод на русский язык.

Приведенный в начале книги автограф написан тогда, когда рукопись еще не была полностью подготовлена автором к публикации. Поэтому Шестаков пишет о шести частях. Фактически книга состоит из семи частей.


Том I
(Части I и II)





Семьям моим:
кровной и к пролитию крови
человечно меня готовившей

Часть I

ГЛАВА I

МОЕ ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО

Несколько слов о моей семье. Эпизоды из военной и гражданской службы в царствование Александра I. Домашнее воспитание в тридцатых годах. Государственное воспитание в тот же период времени.

Едва ли бы мог я подобрать более подходящий эпиграф к моим воспоминаниям. Челн мой, прихотливо носившийся по волнам жизни в молодости, ныне на шестом десятке, отрепанный противными ветрами, помятый подводными скалами, потертый столкновениями и различными препятствиями, достиг, наконец, порта отдохновения. Насколько сам я правил неискусно собственным кораблем, и как часто налетали на меня противники, судья — читатель.

Предлагаю не роман, а истинную быль, подчас лишенную всякой занимательности. Не моя вина, если жизнь сложилась без поражающих обстоятельств, и кто вздумает искать в моих сказаниях увлекающих случайностей, не удовлетворит себя и не поймет моей цели. При убеждении, что в каждую эпоху, даже наиболее богатую событиями, всего занимательнее сами люди, на них преимущественно я обращаю внимание и упоминаю факты для того только, чтобы выставить причастных к ним деятелей.

Род мой происходит из дворян... впрочем, это не интересно ни для кого. Нельзя, однако ж, избежать совершенно отчета о моем происхождении.

Я родился в 1820 году 1 апреля. Какой же православный решится поверить самому рождению моему, не только допустить, чтоб из него вышло путное.

Первое место в моих воспоминаниях принадлежит матери. С 18 лет она променяла Москву, начинавшую веселиться на своем великом пепелище со всею яростью славянского веселья, на убогую хату в Смоленской губернии, и 18 других лет провела безвыездно в деревне, вскармливая двенадцать детей, заботясь о них до одичалости. Я рос со склонностью заикаться, несколько вислоухим и близоруким. В первые десять лет моей жизни та же неустанно нежная рука подвязывала лентою мои уши и потом держала книгу, постепенно отдаляя ее от моих глаз для изощрения зрения; тот же преисполненный доброты голос беспрестанно повторял мне говорить медленно, и мать находила наслаждение в моих усилиях заменить обыкновенный треск слова певучими растянутыми звуками, которые мало-помалу вытесняли уродливые staccato.[1] Теперь, на шестом десятке, мне чужды всякие хронические недуги, пук волос еще щетинится при раздражении, а в минуты радости не стыдятся выказаться здоровые зубы, готовые

преодолеть всякое препятствие. Ушные мускулы окрепли так, что в корпусе никто не бил меня ребром ладони по ушам, чему подвергались вислоухие. Близорукость не помешала мне прослужить во всех званиях и обязанностях 30 лет в морской службе; относительно же недостатка слова последующая жизнь выказала, может быть, что я перешел к другой крайности. Все эти усовершенствования произвела мягкая рука женщины. Ее ангельский лепет учил меня всех прощать, зла не помнить и всегда говорить правду; но я лишился шестнадцати лет охранявшего меня духа любви и истины, и жестокая щетка жизни соскребла с меня, вместе с некоторыми неправильными наростами, и мягкорунные нити материнской ткани. Матушке приходилось бороться с своенравною природою. В замечаниях отца, озаглавленных «О детях», вижу следующие подробности, доставляющие ключ к выяснению моего будущего: «Сложения довольно крепкого, упрям и вспыльчив, на втором году был наказан за упрямство. Понятия и память хороши, но не так быстры, как у старшего брата (Николая), зато в характере более твердости; к наукам способен».

Выражение «убогая хижина», которое я употребил, коснувшись перехода матери из московских палат в деревню, буквально точно. До сих пор еще в Смиловском доме можно видеть три комнаты с маленькими окнами и неподшитыми балками, свидетельствующие о его первоначальном назначении. В них жил до нашествия Наполеона староста Григорий, а барский дом стоял на противоположном крае большого двора. Настоящие господские хоромы разрослись неправильно из избы старосты, по мене размножения семейства, и образовали издевающуюся над законами архитектуры уродливость, которую покойный Михаил Петрович Лазарев, до старости чтивший классическое зодчество, прозвал мыльным заводом. Неуклюжий завод этот давал, однако ж, нередко ночлег 60—80 гостям; правда, незатейливый, как все касавшееся жизни в деревне в то незатейливое время, но без неприятных излишеств и вполне удовлетворявший нравственным требованиям. Прежний дом был сожжен корпусом Нея или тем, что после него осталось, когда он ударился о Милорадовича на речке Лосмине, под Красным, и пробирался на правый берег Днепра, к Гусиному, через нашу усадьбу.

В памяти моей осталась старая, сухая, как вылежалая кость, несомненная дева, Надежда Семеновна, бывшая в двенадцатом году и до конца своей жизни нашей верной ключницей. Упоминаю о ней не только по поводу нашего разорения, но потому что эта почтенная ветла была alter ego[2] матушки, хотя не существовало двух женщин, так мало между собою схожих. Все в доме ее боялись и уважали, и не только в доме, но на деревне и во всем околотке Надежда Семеновна была в большом почете, хотя, как говорится, не касалась деревни и околотка пальцем, едва ли выходивши когда-нибудь за узорчатую решетку двора. Легенда ее была известна старому и малому. Она до того озлилась на французов, грабивших наш дом, что рассерженные в свою очередь мародеры хотели лишить ее будущей известности. Вираго освирепела и вступила в зверский бой; противники бежали, и слава ее осталась обеспеченною. Вероятно, бездельники были остановлены прибытием начальника или страхом быть перенятыми нашими отрядами; но народ, склонный приписывать успех единственно силе, возвел Надежду Семеновну в богатыри, и с нею никто не спорил.

Староста Григорий пользовался таким же почетом, но как патриарху почет ему и подобал. Во время печального начала моего самосознания, к которому веду речь, Григорий был величественный 80-летний старец саженного роста, горбившийся разве только в минуты забытья. На мощных, без малейшего скоса плечах бодро высилась изукрашенная львиною гривою голова; густая борода сочеталась с гривою в библейской гармонии и окаймляла еще свежие румяные щеки, подступавшие с чисто

славянской особенностью к сереньким глазам. Огонь их потух уже и заменился преисполненной мысли пытливой темностью. Вечный работник, три четверти века поднимавшийся ранее дня, Григорий представлял собою величавый образец чувства долга. Не суетное повышение — уже пятьдесят лет он был на высшей ступени крестьянской иерархии, — не слава или известность — он родился и умер рабом, не расчеты личного благосостояния — он пережил наследников и отказал все церкви — побуждали ветхозаветного старца к всегдашней деятельности. Барская земля, амбары, луга и стада были собственным его достоянием. Раскладывая навоз, он лелеял ниву, будто живое существо, самодовольно гладил свою шелковую бороду, любуясь бороздами, измельчавшими пашню в порошок, способный принять малейшую влагу, и гордо высился, опираясь правой рукой на длинный посох и воткнувши левую за кушак, когда ссыпали в амбары благодатную жатву. Во всем, что относилось к жизни, он был истинный мудрец, разбирал причины встречавшихся случайностей с поразительною верностью и не менее точно угадывал последствия. Он часто брал меня с собою на поля, где встречались еще остатки жертв гигантского безумия. Разговор заходил о памятном нашествии и, если б историк-философ послушал выводы Григория, почему принял в войне деятельное участие народ, он отрекся бы от скептицизма, приписывающего восстание помещичьей власти, и убедился бы, что в двенадцатом году поднялась на врага земля. Бойкая память Григория указывала лысинки, полянки и рвы, где было особенно густо устлано трупами 6 ноября, а свежая, ясная, как азбука, речь переносила к памятному дню без всяких усилий воображения. И с виду и умом богатырь был Григорий Федорыч. Все, что жило кругом, низко ему кланялось; да и сам барин ломал ему шапку, хотя не любил кланяться.

Я упомянул о Надежде Семеновне и Григории Федорыче, потому что сроднился с ними в горький час смерти матушки. Печальное обстоятельство привело меня к страдальческому одру ее из Петербурга не совсем ожиданно, и в 16 лет среди слишком еще юных братьев и сестер я один мог понимать всю важность нашей потери и нравственное состояние отца.

Отец имел влияние на всю мою жизнь; с ним до 36-летнего возраста я был постоянно в умственном общении, делил чувства и впечатления. У деда моего было трое детей: два сына и дочь, заменившая моим малолетним сестрам мать. Почему дед, отставной кавалерист, поместил обоих сыновей в Морской шляхетный корпус, мне неизвестно. Знаю только, что старший, Александр, делал с Сенявиным кампанию в Средиземном море и в 1811 году возвратился через Вену в Петербург с командою проданного французам в Венеции фрегата «Автроил». Вступая в Кронштадт, команда проходила мост, под нею обрушившийся. Дядя был единственной жертвой и умер морской смертью в Петровском канале. Отец по окончанию курса в корпусе был послан усовершенствоваться в морских познаниях в Англию, где пробыл до разрыва с тамошним правительством, последовавшего за Тильзитским миром. Из сохранившихся аттестатов различных английских командиров видно, что его величали из вежливости волонтером, но считали able seaman, по-нашему матросом первой статьи. Школа была суровая, как видно из его вседневных записок. Он возвратился в отечество через Швецию, позднее других товарищей, вместе с М. П. Лазаревым. Оба подоспели к постыдной ханыковской кампании, были взяты на «Благодать» как ретивые молодые офицеры и посланы буксировать «Всеволод», ставший на мель у входа в Балтийский порт. Корабль был взят неприятелем, но подробности случая далеко еще не разъяснены, и простой, незатейливый рассказ участника, может быть, послужит материалом для будущего историка ханыковских подвигов. Разумеется, я опущу то-

мительные технические подробности и передам только то, что имеет интерес или рисует характер деятелей.

1 мая 1808 года отец мой, «по словесному приказанию господина адмирала и кавалера Петра Ивановича Ханыкова», вышел на рейд с бомбардирским судном «Домкрат», вооруженным «медною пятипудовой мортирой и восьмью чугунными трехфунтовыми флаконетами». В тот же день начали кампанию корабли «Гавриил», «Зачатие Св. Анны» и «Эмгейтен», корвет «Помона», бомбардирские суда «Бобр» и «Единорог», люгер «Великий Князь» и пассажбот «Сокол». По мере изготовления выходили на рейд и другие суда, осужденные на бесславное крейсерство; имена их увидим при описании плачевного его результата. Бомбардиров отшвартовали у Рифсбанка, как называет отец отмель, ныне застроенную фортом Павла; а несколько судов с частью гребной флотилии отделили на северный фарватер. До 17 июня, т. е. два с половиной месяца, флот упражнялся на рейде в стрельбе из пушек и различных маневрах. Общие распоряжения по флоту и фортам делались главным командиром Ханыковым, поднимавшим при сигналах на Кроншлоте «флаг первого адмирала»; непосредственно же за рейдом наблюдал со стопушечного корабля «Гавриил» контр-адмирал и кавалер Алексей Ефимович Мясоедов. Кроме экзерциций, время вначале употреблялось на борьбу со льдом, который носило по рейду и в особенности спирало у Рифсбанка. До 16 мая, т. е. слишком две недели, в отцовском журнале беспрестанные отметки: «Адмиральский сигнал, а для чего, по неимению сигнальной книги, нам неизвестно», — и только 16-го «привез командующий с "Гавриила" денную и нощную книги».[3] 12-го мая « в начале 10 часа изволил прибыть Е. И. В. на Рифсбанк; с ним министр военных морских сил г. адмирал и кавалер П. В. Чичагов и пр... В половине 10-го отбыл государь от той крепости и поехал во флот». 23 мая вновь «прибыл на Рифсбанк министр П. В. Чичагов и за ним вскоре главный командир П. И. Ханыков и все прочие флагманы, в присутствии коих производилась пальба с ядрами в цель».

В начале июня начали посылаться в море фрегаты и мелкие суда, вообще возвращавшиеся с известием, что ничего не видели.

«4 июля в ½ 7 на "Благодати" спустили брейд-вымпел, а подняли адмиральский флаг П. И. Ханыкова. Весь флот салютовал по 11 выстрелов каждый. "Благодать" отвечала из того же числа. Тогда и "Кроншлот" салютовал из 11, а с "Благодати" 11 же отвечали». Петр Иванович, как видно, любил гром и торжественность.

«6 июля, в начале 1 часа, — пишет домкратский мичман в своем дневнике, — по ордеру от главнокомандующего П. И. Ханыкова, я был отослан со всем экипажем с "Домкрата" на "Благодать", куда в ½ сего часа явился... 17-го, в начале 2-го, прибыл к нам на корабль датский капитан-командир Герберт и лейтенант Литкен; в 1½ 2часа "Гермион" подошел к нам под корму; тогда отправили мы на гребном катере датского капитана, назначенного на корабль "Орел"». В каком положении Герберт находился на Орле, в дневнике отца не сказано; во всяком случае присутствие его, как увидим ниже, не принесло пользы.

Наконец, 17 июля, заключив, вероятно, что флот достаточно изготовлен, адмирал вышел из Кронштадта при северо-восточном ветре. Можно судить о порядке на кораблях по занесенному в записки отца обстоятельству, случившемуся на самой «Благодати». «В начале часа вахтенный на баке мичман П. Секерин уверял командующего, что кливер убран, тогда же примечено командующим, что оный не был убран». Командующим был не кто иной, как Ф. Т. Быченский, рассказами о котором старые моряки пугали еще нас в начале службы. Как распорядился он с Секериным, в записках не значится; верно, бумага не вынесла.

Все сигналы и маневры тщательно записаны в журнале. Не видно, чтоб происходили столкновения при значительных маневрах или

случились повреждения в рангоуте; ветер стоял все время северо-восточный, т. е. попутный, однако ж не прежде ¼ 4 часа, 20 июля, «прошли на перпендикуляре курса Родшерскую башню», когда в 8-м часу утра с «Гогланда» дали знать, что на западную сторону судов не видать. Нельзя не заметить, что в осторожности не было недостатка у адмирала, вышедшего искать англо-шведский флот.

До августа продолжали крейсировать, весьма тщательно оберегаясь дозорными судами, и заходили на сутки в Гангут. С 4 августа «Мельпомена», «Помона» и «Гермион», оберегавшие флот, начинают беспрестанно уведомлять о неприятельских судах: то «видны два корабля к NW под парусами», то «четыре стоят в Орезунде»; другие «подходят к северным шкерам». Ханыков — не Ушаков и постоянно совершает ту же эволюцию: поворотит к неприятелю, придет на вид его и, отворотивши, сделает сигнал «сомкнуть линию и прибавить парусов».

Наступило злополучное 14 августа. «В ½ 1-го увидели неприятеля при ветре от востока... Легли от неприятеля — и опять велено «всем нести возможные паруса». Отдалившись, снова поворотили к северу и «в ½ 4-го увидели десять неприятельских судов под ветром». Отворотили к югу, но «в ½ 5-го по сигналу убавили парусов для поджидания отставших к северу "Борея", "Всеволода", "Орла", "Михаила" и "Гавриила"».

Силы Ханыкова состояли из 100-пушечных кораблей: «Благодать» и «Гавриил», 74-пушечных: «Зачатие Св. Анны», «Орел», «Северная звезда», «Эмгейтен», «Герой», «Борей», «Всеволод» и «Архистратиг Михаил»; фрегатов: «Счастливый», «Тихвинская богородица», «Феодосий», «Аргус», «Быстрый», «Кастор», «Полукс», «Волхов», «Помона», «Мельпомена» и «Гермион»; шлюпов: «Лизета», «Топаз» и «Жемчуг». «Благодать», «Анна» и «Архистратиг Михаил» — те самые корабли, которые, по преданию, доставили случай Пушкину, еще ребенку, выказать свои сатирические дарования. При спуске на воду «Анна» сошла благополучно, «Михаил» задел угол эллинга, а «Благодать» остановилась. У Пушкина по Ганнибалам было немало родни во флоте. Вероятно, при нем рассказывали о памятном происшествии. Спрошенный о впечатлении, произведенном рассказом, Пушкин будто бы ответил:

«Михаил» угол зацепил,
А «Благодать»
Приказала подождать.

Спуск происходил в присутствии Павла Петровича, и к прежнему экспромту будущий поэт прибавил другой:

Все противилось уроду,
И «Благодать» не лезла в воду.

Не особенно отважно было бы в предшествовавшие дни, когда неприятель показывался там и сям, частями и на якоре даже, напасть на него большими силами. Хитрыми эволюциями Ханыков выказал явную нерешительность, и союзники выступили в море уже в числе десяти кораблей, как мы видели выше. Во главе их флота и значительно впереди шли два английских корабля.

«В 6-м часу, увидя два английских корабля, приближающиеся к "Всеволоду", велено при пушечном выстреле "Гавриилу" и "Михаилу" идти на помощь. В ¼ 6-го английский корабль с "Всеволодом" вступил в бой. В начале 7-го велено "Гавриилу" и "Орлу" опуститься и атаковать на ближайшем расстоянии. "Гавриил" спустился под одними марселями, а "Орел" не пошел. В ¼ 7-го, по приказанию адмирала, по сигналу, с флотом мы спустились к неприятелю под всеми парусами, дабы атаковать на ближайшее расстояние, но два английских корабля спустиль к шведскому флоту. В ½ 7-го велено построиться в линию баталии на левый глас, что вскоре исполнено. "Всеволод" сделал сигнал, что не может держаться в линии. В исходе 8-го велено "Кастору" и "Полуксу" взять "Всеволода" на бук-

сир. "Полукс" взял его на буксир, но по нерадению оборвался буксир и "Полукс" ушел, а англичане преследовали "Всеволода". В 9-м часу сделан от нас сигнал, что адмирал, по крепости ветра, спускается в Рогервик и флоту следовать и прибавить парусов. В ½ 10-го, по требованию "Всеволодом" помощи, велено "Гавриилу", "Зачатию", "Эмгейтену" и "Герою" идти на помощь. Англичане вторично отошли. В 10 часов велено флоту приготовиться к бою и стать на шпринг. В 11-м велено воротиться кораблям от помощи. Послали шлюпку с лейтенантом Богдановым и мичманом Лазаревым на "Всеволод". "Всеволод" требует помощи гребных судов. В ½ 12-го стали на якорь плехт[4] в Балтийском порте».

«15 августа ветер умеренный, небо ясное; весь флот на якоре, кроме "Всеволода", который, казалось, был на мели... В 5-м часу утра я был послан туда с пятью баркасами, куда и прибыл в исходе 6-го. Я взошел на корабль, а баркасы буксировали корабль. Увидели спускающиеся к нам два корабля английских. Передний был контр-адмиральский, называемый "Центавр". В последний раз уже завезли верп.[5] "Центавр" приближается, но не палит. На "Всеволоде" тянулись вперед, пока не увидели, что неприятель близко к нам. Ударили тревогу и перестали тянуться вперед». Поставили часть парусов. «...Наш корабль несет на мель. "Центавр" перешел поперек носу, а потом поворотил..., сцепился с нашим бушпритом, дал три залпа по кораблю. Мы палили из нескольких пушек по другому кораблю, к нам приближающемуся; а "Центавр", будучи у нас перед носом, находился в безопасности от наших пушек. В ½ 9-го с "Центавра" абордировали нас, но тогда мы оба были уже на мели, и вскоре потом, прокричав с обоих кораблей (английских) по три раза "Ура!", корабль "Всеволод" был взят и от близкого расстояния к центаврским пушкам пыжами был в форштевне зажжен. Между тем другой английский корабль "Имплекабль", подходя к нашему, увидел, что "Центавр" на мели. Не доходя, бросил якорь и с кормы подал на "Центавр" кабельтов, где, закрепивши оный, стянул "Центавра" с мели. С "Центавра" приметили два трехмачтовых судна под парусами в Рогервике и притом, видя "Всеволода"в носу горящего, оставили "Всеволод", где еще около 200 человек и три офицера находились, в числе коих и я. С помощью четырех человек я с мичманом М. Лазаревым, по счастью, залили пламя, но искр и дыму никак во всю ночь потушить не могли. Штиль. Многие бросаются с корабля за борт, там и погибают. При рассвете, что было 5-го в половине, пришли десять неприятельских гребных судов, свезли остальных людей и зажгли корабль, который в 8 часов взорвало. Лейтенант Богданов, Лазарев и я попались на "Имплекабль", 74-пушечный корабль под командою капитана Мартена... Раненых, в числе коих лейтенант Богданов, отослали в Рогервик».

«16 августа. В 3 ½ часа пополудни стали на якорь. Почти штиль. Весь флот на якоре... На корабле сем повредило бизань-мачту, на кою наложены были пять вымбовок и принайтовлены, и несколько дыр на верхней палубе и на шканцах; убитых 8 и 14 раненых».[6]

«17 августа... Узнал, что "Имплекабль" и "Центавр" отрубили по два якоря при взятии "Всеволода"...».

«18 августа... Меня послали на "Центавр" по требованию контр-адмирала, дабы прислать кого-нибудь из русских, знающих поанглийски, что надо было для подписки капитана Руднева (командира "Всеволода") списка, сколько человек на "Всеволоде" находилось...».

«20 августа. Пришел с белым флагом катер "Топаз" для перевоза пленных. В 9 часов сто матросов с "Имплекабля", лейтенанта "Всеволода" Арцыбашева, Лазарева и меня ссадили на "Балтик" для переезда к нашему флоту. В Англии не сомневались ни минуту в непрочности тильзитских условий, и адмирал Сомарец, истребивши приз, чего не мог не сделать как англичанин, отпустил пленных».

Еще несколько выписок, и неудачная кампания кончится.

«21 августа ветер умеренный, небо светло, облачно. В ½ 2-го четыре неприятельских (корабля) снялись с якорей и стали держать к нам. В 3 часа "Виктори" также снялся. В исходе 4-го всему нашему флоту учинен сигнал "приготовиться к бою" Лазарев и я сосланы были на берег, поелику мы с тем отпущены были из плену, чтобы не служить нам против шведского короля и его союзников в сей войне или до размена. В ¼ 5-го "Виктори" подошел к крепости на Малом Роге, открыл огонь на крепость и на флот; тогда же с оной крепости открыли огонь. В 5 часов с бомбардирского начали бомбардировать. "Виктори", поставя брамсели и фок, поворотил прочь».

С 21 августа по 21 сентября, почти ежедневно, неприятельские суда подходили к нашему флоту, бросали бомбы и получали в ответ выстрелы с укреплений. С наших кораблей свозили орудия, посылали людей воздвигать батареи на берегу, а также почти ежедневно переговаривались с неприятелем, забиравшим наши купеческие суда и отсылавшим пленных. 30 августа Чичагов осматривал все корабли и некоторые мелкие суда. 19 сентября Чичагов вновь прибыл ко флоту. «Поутру начали таскать корабельные пушки с батарей к пристани, откуда их во весь день таскали на принадлежащие суда».

«20 сентября – та же работа. На "Благодати" спустили адмиральский флаг и подняли брейд-вымпел. В 8 часов я и М. Лазарев, по приказанию Ф. Т. Быченского, перебрались на корабль "Благодать" с берегу. В 5 часов адмирал Ханыков с частью своей свиты съехал на берег. На рассвете увидели поднятый на "Гавриле" контр-адмирала Ломена флаг».

Осенние бури заставили союзников удалиться, и 21 сентября «в ¼ 3-го с "Гавриила" велено всему флоту выпустить или отрубить канаты и вступить под паруса».

22-го «Благодать» вбежала на Кронштадтский рейд без парусов – так свирепо дул западный ветер – и застала там всю эскадру, не замедлившую втянуться в гавань.

Удачное бегство от значительно превосходных уже неприятельских сил не восстановило, конечно, потерянной части. Всех виновнее был избранный начальник. На него обрушился справедливый, хотя не в свойственной обычной мягкости форме, гнев покойного Александра Павловича. Ханыков был разжалован в матросы.[7]

Отец продолжал служить и скоро приобрел имя отличного офицера. Командиры брали его нарасхват, видя в нем познания, необыкновенную ревность и строгость к собственным поступкам. Его знал весь флот по лихим выходкам. Вообще отец долго, после отставки даже, был популярен между сослуживцами, и уважение к нему выказывалось прежними товарищами вниманием ко мне, хотя служба моя отделялась от его службы 25 годами времени. В 1813 году, при осаде Данцига, отец получил мучительную рану. Ядро оторвало у него пятку, раздробивши кость, и операция очистки раны от множества костяных обломков была мучительнее самой раны. Неприятная случайность привела его в Кенигсбергский госпиталь, где он пробыл более года. Здесь он приступил к правильным подневным запискам, которые не прекращал до самой смерти. Вел он записки и прежде, даже в английском флоте, но те ограничивались подробностями служебными. По временам, однако же, и в них встречаются рассуждения вследствие чтения различных философических сочинений, выказывающие, что моряк не довольствовался только познанием моря; но в Кенигсберге чтения и рассуждения его стали серьезнее, дельнее и в особенности приняли религиозно-философический характер.

По излечении раны отец переехал в Петербург и явился к заменившему П. В. Чичагова французскому эмигранту маркизу Де-Траверсе. Политически убитый на Березине, некогда сильный в советах Александра, Чичагов ценил отца и обещал ему перед кампанией началь-

ническое положение. Инвалид решился высказать это маркизу, прибавя, что и несчастная случайность делает его неспособным к побегушкам и посылкам. Маркиз, авантюрист, каких немало дала нам эмиграция или, лучше, собственная слепая ненависть к французской революции, мало думал о пользе флота; напротив, был очень рад видеть равнодушие к нему государя, так как у самого не лежала к морю придворная душа. «Обратитесь к моему предшественнику», — отвечал маркиз с иронией, и отец отправился в годовой отпуск. Конечно, деду нетрудно было склонить его к отставке. Единственный отпрыск семейства, разоренные нашествием имения, начинавшие слабеть собственные силы и, наконец, необходимость избрать товарища жизни — все это сеялось дедом на почве, взъерошенной негодованием. Вдобавок уездное дворянство захотело иметь отца судьей. Дело было решено, и связь с коронной службой навсегда покончена.

Через два года отец привез в хижину старосты Григория 19-летнюю жену, как я упоминал уже прежде. С небольшим год привел в спокойное дотоле убежище большого сорванца, старшего брата моего Николая, а полтора года позже родился пишущий эти строки. Предоставляю читателю прибрать мне приличную кличку; сам же замечу, что мне будто с рождения суждено было кричать «мне душно здесь»... от меня начинается перестройка избы в барский дом.

С отцом и матерью я провел десять лет. Прежде, нежели коснусь домашнего моего воспитания, познакомлю читателя несколько ближе с его верховным распорядителем. Начну с общественной деятельности отца. Красинский суд достался ему с множеством не только не конченных, но даже не начатых дел и был сущий гальюн,[8] как выражался отец на морском наречии. Ежедневно новый судья приезжал ранним утром из деревни, за семь верст, и учился, как говорил, у секретаря и членов. Через некоторое время роли изменились. Видя, что слова наставников в деле правосудия не сходятся с действиями, отец объявил, что следует и им от него позаимствовать. Поздно вечером, возвращаясь к молодой жене, он давал каждому члену, по-корабельному, свою долю труда к следующему дню, а секретаря после тщетных увещаний запирал в суде на замок. К исходу трехлетия в суде не оказалось более дел; возникавшие кончались неизменно миром или по негласному решению судьи.

Жизнь отца была связана нравственно и умственно с моей до самой его кончины, но чтоб избежать повторений, сделаю здесь же общий очерк этого проникнутого борьбой и трудом существования. До 60 с лишком лет он нес бремя общественной службы, никогда не отказываясь от выборов и от обязанностей, большей частью лишенных всякого вознаграждения. Последние шесть лет его общественной деятельности проведены в звании совестного судьи. Дело требовало постоянной жизни в губернском городе, отстоявшем от нашей усадьбы на 40 верст. Поздно вечером каждую пятницу труженик возвращался в семейство и в понедельник снова был в присутствии. Он любил ездить по ночам, чтоб не терять времени, и постоянно употреблял ту же четверку вороных, прозванных «бессмертными». В редкие наезды мои домой мне случалось делить с ним эти ночные странствования. «Бессмертные» трогались с места бойкой рысью. Отец немедленно засыпал; за ним успокаивались лакей и кучер — и колесница сама собой двигалась по большой смоленско-красинской дороге столь же исторической, сколько гористой. Разумные животные приостанавливали бег перед каждым пригорком, бережно взвозили нас на вершины и снова пускались резвой рысью, по временам всхрапывая, почуяв волка. «Бессмертные», также по собственному побуждению, входили шагом в узкие Молохские ворота и городской рысцой подкатывали нас к крыльцу дома, где содержащее останавливалось с обычным, приятным путнику скрипом, а содержимое просыпалось, причем кучер Михайло обыкновенно приговари-

вал «славно докатили», напоминая крыловскую муху на возу.

Приступая к воспоминаниям о собственной моей личности, коснусь бегло всего нашего семейства. Из двенадцати детей, шестеро достигли сознательного возраста, четыре сына и две дочери. Все сыновья служили во флоте; два меньшие продолжали домашнее воспитание до 15-летнего возраста, а старшие, т. е. брат Николай и я, оставались дома только до 11 и 10 лет. Сестры вышли в свое время замуж, и старшая умерла вследствие первых родов; младшая составляет со мною остаток довольно многочисленного рода, значащегося в российском гербовнике; но едва ли кому-либо из членов этого рода приходило в голову рыться в своих пергаментах. Не подлежит сомнению, что Федор Шестаков сопровождал княжну Елену в Вильну как невесту Ольгерда, а Иван, пишущий эти строки, через три года выпровожен из той же Вильны, как неспособный сочетать браком законность с удобствами местной власти. Брат Николай, даровитый малый, безвременно сложил кости на Кавказе. Злая черноморская горячка сломила его удалую беззаботную натуру. Следовавший за мной Дмитрий умер от холеры в Петербурге, куда только что прибыл, поступивши по смерти М. П. Лазарева, у которого был адъютантом, адъютантом же к князю А. С. Меншикову. Младший брат Петр состоял адъютантом при В. А. Корнилове по день его геройской смерти, а потом командовал Волынским и Селенгинским редутами, с которыми погиб 26 мая 1855 года. Товарищем моим в детстве был сын родной сестры матери К. И. Скюдери, Александр, также павший во главе своего Одесского полка в битве на Черной речке 4 августа. Как видно, многие кровные мои заплатили жизнью долг свой России.

Итак, до десяти лет я рос дома под непосредственным наблюдением отца, очерченного выше в служебном отношении. Мое воспитание зависело преимущественно от частной жизни его. Отец происходил от здорового сильного корня и расцвел более в ширину, нежели в высоту. При тучности и весьма короткой шее природа назначила ему кратковременную жизнь, но не даром носил он большую голову. Разум привил к нему необыкновенную силу воли и настойчивость. Всю жизнь он вставал рано, был ежеминутно занят или двигался. Задавши себе целью привести в порядок и очистить имение, он сделался известным хозяином; вечером в рабочую пору он не кончал дня, не убедившись лично, что заданная работа сделана. Зимой в шесть часов утра он отправлялся, как говорил, по адмиралтейству, т. е. по различным мастерским, им устроенным, и в заведенную им крестьянскую школу. Кроме воды, ничего не пил, жестко постил в постные дни и вообще мало давал себе покоя. От вечернего чая до полночи он обыкновенно беседовал в семействе или с приезжими и днем отдыхал пять-шесть минут на кожаном диване. Только такой жизнью отец и мог прожить 70 лет и сойти в могилу с густой седой головой, без преждевременных недугов. Как все мыслящие люди, обреченные обстоятельствами не делиться мыслями, отец писал очень много, всегда стоя; он оставил десятки томов, выписок, мнений, заметок и за 43 года дневник. Разбирая эту летопись с любопытством, усиленным единокровием, я дивлюсь мощи его соображения, оригинальности и верности взгляда, прилежанию и начитанности; но... что за страна, где в столицах человек теряет достоинство, а в провинции тухнет всякая искра благодатной мысли?

Покойный был не менее строг к другим; его считали суровым хозяином, любившим, чтобы его слушали. В распущенную деревенскую сферу он ввел корабельную точность и крепко держал бразды власти до самого исхода жизни. Ту же строгость он внес в семейные отношения. С детьми он игрывал подчас, как ребенок, но до пятилетнего только возраста; там начиналось учение и ломка природы, без пыла и гнева, с неослабным постоянством и почти педантской регулярностью. В настоящее время отца сочли

бы человеком весьма жестким, и мне в молодости он казался суровым. Помню, как в 25 лет, будучи командиром, я получил от него весьма сильные наставления, хотя восемь лет уже находился вне родительской опеки. В ответе моем заключалось первое мое сопротивление. Старик тотчас понял, что пора слепого повиновения прошла, написал ко мне дружеское письмо, прибавил, что между нами нет судьи, кроме взаимного доверия и любви, и с тех пор отношения наши уравнялись, души уловили одна другую и держались в тесных объятиях до самой его смерти в 1856 году.

Нас начали учить рано и учили много. В 8 часов утра мы занимались уже с русским учителем, проходившим с нами грамматику, историю и географию; от него переходили к какому-то землемеру, преподававшему математику; впрочем, на этот предмет, к несказанному нашему горю, отец всегда находил сам время и прошел с нами геометрию, прямолинейную тригонометрию и часть алгебры. Вместо отдыха нас придвигали к фортепиано, где меня немилосердно бил по пальцам какой-то Худоба, вполне стоивший своего имени, или отдавали в распоряжение пана Садовского, весьма бесцеремонно выкручивавшего мне ноги. После обеда, до 6 часов, шли иностранные языки, французский и немецкий; английскому учили шутя. Французский преподавал наш строгий гувернер Delattre, а на немецком упражнялась с нами коварная frau Werner, узкая щепетильная немка, будто не замечавшая наших проказ и дивившая нас своим терпением. На другой день только, в час обеда, мы познавали ее коварство, облекаясь в колпак с надписью «грубиян», «невежа» и т. п. и садясь в угол за особый стол. Delattre, в качестве гувернера присутствовавший на всех уроках учителей мужского пола, был совершенно иного склада. Он требовал не только внимания к преподавателю, но и к самому себе, не дозволял ни малейшей свободы в позах, никакого развлечения и, убежденный в необходимости кого-либо из нас выйти из класса, звал соотечественника своего Collet, нашего дядьку, и приказывал ему возвратить тотчас отлучившегося. Но Delattre решал все сам, иногда даже очень больно. Зимой он обыкновенно старался действовать убеждением, но летом, когда начинались правильные прогулки, становился настоящим школьным учителем, ломал первый прут и наказывал. Сад наш разделялся двумя прудами на фруктовый и так называемый английский. Последний служил лобным местом. В один из приездов домой со службы я как-то гулял по нему с отцом и высказал, что место будит во мне не совсем приятные воспоминания. Выслушавши отчет о них, отец усомнился в справедливости слов моих и спросил, отчего же мы не жаловались. Я не мог, конечно, представить вещественных улик по истечении многих лет, а что касается до жалоб, мы не слыхали их ни от кого в доме и сами заразились примером. Впрочем, нам беспрестанно твердили не жаловаться и не приказывать. То и другое вряд ли могло случаться, так как система отца требовала личного удовлетворения всех нужд и полнейшей независимости от чужой помощи. Мы сами готовили и убирали наши кровати, прибирали спальню, чистили платье, три раза в неделю башмаки, чтоб уметь и это делать, и даже носили каждый свой прибор, чтоб зашить прореху в куртке или на штанах. Кто считал себя не в состоянии этого сделать, обыкновенно являлся к обеду оборванным; отец говорил, что Василий – портной – очень занят, и обыкновенно продолжал неблагообразную выставку несколько дней. В часы свободы мы бегали, ездили верхом, ловили рыбу и ходили на охоту, все сопровождаемые аргусом Delattre'ом и его преданным помощником Collet'ом; иногда, но весьма редко, отец брал нас собой, что было истинным праздником.

С такой-то веревочки пустили нас с братом в 1830 году в среду пятисот воспитанников Морского кадетского корпуса. Вступительный экзамен, конечно, весьма нестрогий, вполне удовлетворил отцовское самолюбие. По-

чтенный директор И. Ф. Крузенштерн наговорил отцу много приятного и впоследствии долгое время хвалил нас в своих письмах к нему.

Может быть, повесть о состоянии Морского корпуса в мое время многим покажется жестокой. В предупреждение скорого заключения я попрошу вспомнить, что происшествия 1825 года,[9] имевшие влияние на склад общественной жизни вообще в России, отразились преимущественно в воззрении правительства на воспитание юношества. «Пагубные идеи» хотели отсекать в самом зародыше или, вернее, в таком возрасте, когда едва ли зарождаются какие-нибудь идеи. Бесчисленные перевороты, совершавшиеся прежде 14 декабря келейно, в стенах дворцов, шайками недовольных придворных, в изменнической тишине ночи, не пугали царей. На них смотрели как на семейное дело, до которого народу не было никакой надобности. Совсем иначе представился правителям вопрос, когда в перевороте вздумало принять участие общество, средь дневного света, в виду народа. Низкое преступление, купленное убийство извинялось таинственностью, формами. Когда же вышло на борьбу открытое недовольство, решившееся изменить порядок вещей легкомысленным, но явным образом, правительство, мирившееся с тайным злодейством, ужаснулось дерзости нескрывавшегося сопротивления, и то, что проходило безнаказанно избранным сбирам[10] белой кости, стало неслыханным преступлением, пройдя сквозь общественное участие, повело за собой нероновские мучения и разразилось ожесточенным гонением на мысль. Сборища молодых людей в учебных заведениях представляли удобное поле для новых экспериментов. Там легко было прилагать новый метод en grand.[11] Прежде в школах были жестоки по невежеству, грубости; с начала николаевской эпохи стали жестоки по убеждению, из фанатизма. В этот-то переход от одного уродства к другому, еще более безобразному, судьба предоставила меня попечению правительства. Во все государственные заведения, не в одни военные только, назначали бессердых муштровщиков, известных способностью выбивать вздор из головы, а стали учить «по-нашему: раз, два..., а книги сохранять лишь для больших оказий».

Потому ли, что флот не мог быть страшным, или по противоречию в действиях, произволу свойственному, Морской корпус отдали И. Ф. Крузенштерну, едва ли не единственному представителю гуманности в то железное время, придавши ему, однако, в помощники контр-адмирала Качалова. 14 декабря Качалов догадался подмочить часть патронов бунтовавшего Гвардейского экипажа; педагогические же его достоинства ограничивались знанием великой науки шагистики и необыкновенной невучестью голоса в командовании на плаце. Не помогли, впрочем, Крузенштерну ни его личные убеждения и качества, ни европейская известность. Подчиненные воспитатели очень скоро поняли, что дело не в директоре, издевались над воззрениями ученого старца, на полвека опередившего свое время, и сообща, варварским скопом, беспрестанно доказывали ему несостоятельность его мечтаний. Прикащичье самолюбие их оскорбилось положительным запретом нового хозяина бить и сечь без его ведома. До Крузенштерна каждый офицер имел неограниченное право на тело воспитанника; секли с проигрыша, с перепоя, после ссоры между собой, в восторге от актрисы или в досаде на лакея; короче, царил прутовый произвол. В мое время, несмотря на человечные стремления директора, встречавшего, как я сказал выше, рассчитанное сопротивление, ввелась прутовая система. До физических наказаний Крузенштерн требовал опытов убеждения, влияния средств нравственных, но подчиненные его были к тому решительно не способны и выводили старика из терпения, подробно излагая ему каждый раз употребленные ими якобы педагогические усилия; в самом же деле усилия эти ограничивались бранью и толчками, и доклады о них делались единственно с целью прибли-

зить виновных к юдоли плача и страданий. Сечение разделялось на три разряда: келейное, при роте и при собрании целого корпуса. В приказах директора не означалось число ударов, а как Бог на душу положит, так и драли. Мне, например, 11-летнему дали двести ударов за грубость; но моя доля не столь еще была плачевна. Были аматёры,[12] секшие без счета, с циническими приговорками, а мудрый Качалов, исполнявший обязанность главного заплечного мастера и заведывавший экзекуциями генеральными, давал до шестисот ударов, вероятно, для поддержки достоинства своего адмиральского звания. Исполнители были подобающим образом дрессированы, и мне не довелось никогда видеть впоследствии что-либо подобного. Всем памятен барабанщик Дубаков, истязавший не только больно, но красиво. Одним словом, сечение, доведенное до степени искусства, вошло в программу Морского корпуса, даже заняло в ней почетное место. Конечно, нужно принять в расчет время и трудность вести пятьсот юношей, у которых кровь вращается быстро; но все же, разбирая подробности системы, продумывая ее градации, наконец, недоумевая перед чудовищностью масштаба, трудно прибрать извинительные причины, хотя время действительно было бессмысленное. Добро бы думали вгонять нравственные принципы через накожный процесс, или смирять унижением, или, наконец, действовать на других, еще не испытавших героического лекарства, но нуждающихся в нем. Нет, секли, вовсе не соображаясь ни с физическими силами пациента, ни с его психологическими условиями, просто совсем не думали, и досада на лишение произвола прохаживалась по нашим спинам без зазрения. Таким своеволием в наказаниях и недобросовестностью в средствах привести к ним думали вкоренить в нас понятия о дисциплине! Публичные наказания имели на присутствовавших различные действия: одни, сохранившие еще стыд и врожденные чувства, плакали из сострадания к несчастному, другие скрежетали зубами от злобы на его мучителей; третьи, утерявшие уже всякую человечность, любовались выхлестами Дубакова и судорогами страдавшего; наконец, между истязаемыми весьма много было таких, которые скрывали упорно всякое чувство боли. Не двигаться, как труп, не испускать ни малейшего стона, так, чтобы при всеобщем безмолвии раздавался единственно свист лозы, считалось молодечеством и давало право на некоторое уважение товарищей. Мудрено ли, что при бессердии воспитателей воспитанники скоро теряли подогревающий душу огонек семейной нежности и сами превращались в юных спартанцев. Побои и колотушки раздавались неумолчно в часы досуга, и большая или меньшая степень выносливости без жалоб служила мерилом нравственной силы и вела к повышению в той же, разумеется, сфере, т. е. избитый избивал в свою очередь других. Так действовал в корпусе закон возмездия.

Учили нас многому и, как выбор профессоров зависел единственно от умного и ученого директора, учили толково. Образовательная сторона корпуса оставила во мне благодарные воспоминания, которые едва ли могут иметь непосредственно за мною следовавшие. Крузенштерн сошел в могилу, и преемники его стали набирать учителей «числом поболее, ценою подешевле».

В мое время немало было преподавателей достойных, известных: Устрялов, Плаксин, Шульгин и другие. Они-то мирили нас с горькой долей, не только радея по долгу о нашем умственном развитии, но и смягчая нашу ожесточенность отвлеченными беседами, которые дозволяли себе по временам как минутное развлечение от сосредоточенности, требующейся преподаванием.

От их благотворного влияния мы переходили беспромежуточно в фельдфебельские рукавицы велемудрого Качалова. Наука ремешков, приведшая к столь плачевному концу царствование и самого царя, тогда вводилась со всем рвением неофитства, со всей си-

лой жалкого самолюбия, удовлетворяющегося автоматическими движениями масс по одному слову, даже по отрывистому звуку тупого барабана. Нас занимали фронтом тотчас после классов, на тощий желудок, для легкости движений, и здесь-то экс-гвардеец Качалов, довольствовавшийся званием нашего батальонного командира, несмотря на адмиральский чин, выказывал свои наполеоновские способности. Водили нас взводами и целыми колоннами по огромной корпусной зале, в ногу, вовсе не думая о законах механики и требованиях архитектуры. Певец парадного плаца и Михайловского манежа одушевлялся воинственным огнем, без сомнения мечтал о сражениях, в которых не бывал, и, приходя в ярость от ошибок, вдруг останавливал массы и впадал в красноречие. Ни мы, ни офицеры, к которым толкования преимущественно обращались, ничего не понимали; да и сам профессор сознавал, кажется, неудобопонятность своей фразеологии, повторял несколько раз любимое «коль скоро» и затем давал знак рукой. Барабанщики понимали и принимали; профессор продолжал шевелить губами и судорожно пожимать плечами, но до нас доходила только барабанная трескотня. Все это ничему не мешало бы, если б держалось в пределах умеренности; но — поверят ли? — от этой кукольной комедии зависела будущность; внимание высокопоставленных и августейших лиц к подобного рода бирюлькам искажало юношеские понятия и направляло соревнование наше в самые пустые каналы. Сведут, бывало, всех кадет на плац или в манеж, и каждый раз возвратимся оттуда с смешными или печальными рассказами, надолго остававшимися в памяти молодежи и никак не поддерживавшими в ней уважения к воспитателям. Однажды на репетиции какого-то парада офицер наш, маршировавший на фланге взвода, был сбит лошадью горца и довольно долго оставался врастяжку. Михаил Павлович прислал адъютанта спросить, не укусила ли его лошадь. «Скажите Его Высочеству, разве лошади задом кусаются», — и весь взвод разразился хохотом. В другой раз тот же ловкий на слово Михаил Павлович, провожая изумленными глазами нашего старика-директора, семенившего не в такт на правом фланге взвода, не выдержал: «Странно. Крузенштерн кругом света обошел, а вокруг манежа не умеет». Рикорд, только что возвратившийся из Средиземного моря, где при обстоятельствах, сопровождавших первые годы греческой независимости, имя его произносилось с уважением и стало известно всей Европе, был назначен дивизионным начальником и aussitot pris, aussitot pendu,[13] — буквально поражен Николаем Павловичем за то, что барабанщик забил поход, когда взвод проходил мимо грозного муштровщика. «Ты сегодня первый вице-адмирал, а завтра будешь матросом», — закричал разгневанный царь, и бедного Рикорда перевезли домой через Неву без чувств. Подобные легенды оживляли корпусную монотонность и находили между нами немало одобрителей. Без исключения то были бездарные ленивцы, видевшие в шагистике легкое средство стать невеждами-офицерами. Им прибавляли за фронт известное число баллов к скудному итогу, полученному в науках, и таким образом вытягивали в офицеры, хотя в кончике выпуска. В кадетах есть оригинальная способность подмечать все выдающееся, будь то смешное или жалкое, и определять сущность подмеченного самым лаконичным выражением. Способность эту по недостатку специальной номенклатуры можно назвать «кадетством». Меткое кадетство окрестило последний десяток выпускных Николаевским десятком. Нечего сказать — внушили нам дисциплину!

Личное участие государя в наших порядках выказалось в мое время дважды, в самых первых порах и в последние дни моего пребывания в корпусе. В 1830 году кадеты вышли из терпения, так скверно кормили нас. Сначала кричали из-за угла эконому различные плоскости, помню, что самое любимое было слово «говядка», само по себе ничего не значащее,

не менее того бесившее разжиревшего за наш счет кормителя нашего. От «говядки», вовсе не улучшившей говядины, перешли к шиканью, шарканью при входе в обеденный зал, общему хохоту по условленному сигналу, и, наконец, подошвообразное вещество, которого не могли переварить даже кадетские желудки, полетело в виновника наших страданий. Вот наделавший столько шуму бунт Морского корпуса. На наше несчастье летом отряд гардемарин под начальством Ф. П. Литке, возвращаясь от Исландии, зашел в Шербург именно в то время, когда меняли белый флаг на трехцветный. Сентябрьские корпусные беспорядки в пораженном воображении императора были неминуемо связаны с июльской революцией и завезены из Франции. Барабан скоро собрал всех воспитанников в общий зал, и, едва успели мы построиться, явился Николай Павлович. Медленно, безмолвно, отсекая порывисто каждый шаг, двинулся величавый царь прямо к гардемаринской роте и после краткой речи, которую вынесли мои покорные уши, но не решается передать стыдливое перо, потребовал немедленной выдачи зачинщика, упомянувши смущенным гардемаринам, уже готовившимся к выпуску, что он их не пожалеет, что ему «нужны лбы, а не головы», и извергнув с свойственной ему легкостью целый поток нравоучений. Вышел неуклюжий, ни в чем не повинный Большев. Державный на месте велел снять с него куртку и надеть матросскую шинель; но, вероятно, не считая наказания достаточным для остальных, а, может быть, видя в простаке революционного эмиссара, прибавил — «и высечь при корпусе». Корпусный Пилат принял несчастного в свои мучительные руки и истязал до тех пор, пока бедный Большев догадался промолвить, что он и без того страшно наказан. Тогда только Качалов вспомнил, что поистине с одного вола дерут две шкуры и распустил нас по каморам.

В другой раз по поводу какой-то ошибки на разведке император прислал флигель-адъютантов Назимова, Астафьева и Гогеля учить нас денно и нощно фронтовому делу. Исполнители грозной воли старались по возможности смягчить ее; не менее того, в течение нескольких недель классы были заперты, и нас всецело предали муштре.

Такими эпизодами знаменовалось шестилетнее почти пребывание мое под отеческой сенью правительства. По прошествии четырех лет я экзаменовался в офицеры, выдержал экзамен блистательно; в науках я был из первых, если не первым по выпуску, и хотя мне сулили эполеты, если окажусь довольно развитым, однако ж оставили в корпусе по недостатку лет с производством, в утешение, в фельдфебели гардемаринской роты. Мне было от роду 14 лет 9 месяцев; не знаю, на каких соображениях основывалось начальство, радевшее о дисциплине, назначая фельдфебелем ребенка, когда в роте были даже 22-летние! Новое звание не избавило меня от грубого обращения. Именно тогда преобразовывали зазнавшуюся гардемаринскую роту. Реформа привела к тому, что из 114 воспитанников, уже готовых стяжать плоды учения, 60 разосланы рядовыми или унтер-офицерами на Кавказ и в другие полки армии или отданы на попечение родителей. Стольких жертв не стоила, кажется, сама июльская революция, от которой велось счисление не в одной обновленной Франции, но и в обновленном Морском корпусе.

В период повторения твердо выученных задов обратил на меня внимание светлейший князь Меншиков, тогда всесильный помощник государя по флоту, обновлявший его не плебейской грубостью, а макиавеллическими приемами, сеявшими в сплоченном дотоле цементом товарищества сословии раздоры, взаимное недоверие и подозрительность. Описание Александровской мануфактуры, представленное мною после осмотра ее, удостоилось светлейшего внимания. Князь стал звать меня к себе, ласкал, развивал зародившуюся любознательность и вообще приятно удивлял меня человечным обращением. При всем уме, трудолюбии и начитанности князь Меншиков тогда уже поражал меня

каким-то потемкинским sans façon[14] в разговорах и страстью к балагурству. Английская набережная, на которой стоял казенный дом, впоследствии ему подаренный, была в то время фешенебельным гулянием. Князь устроил выступное окно и из него караулил появление императора, как истый царедворец, желая насладиться его лицезрением. В часы ожидания двигались по набережной различные личности, и острый на язык князь не пропускал никого без колких, иногда не совсем нравственных замечаний. Но тех, к которым особенно лежала его сатирическая душа, светлейший брал на язык у самого Исакиевского моста и не спускал до будки в другом конце набережной. Он нисколько не стеснялся окружавшей его молодежи, утверждал, что Чернышев взял Кассель мошенническим образом, что графиня Чернышева однажды обратилась к нему с вопросом: «Quelle est cette vielle, qu'Alexandre a pris?» и что он отвечал ей: «Babylone, madame!»;[15] или, завидя Воронцова, начинал повествовать о своей осаде Варны, потом переходил к продолжению ее и рисовал преемника такими чертами, как будто после него, светлейшего, одолевал Варну какой-нибудь мастеровой саперного батальона. Но какой мерой мерите, такой и воздастся вам. После предсмертных неудач не щадили в свою очередь и зоила Английской набережной. Не раз, через много лет, случалось мне слышать, проходя памятное окно, замечания не менее едкие на обветшавшего критика и нелестные намеки на бессильную уже его злобу. Страсть к балагурству подметили усердные подчиненные. Всех услужливей и искусней в шутовском отношении был молодой неуч — мичман Краббе.

Не спасло меня и покровительство светлейшего. На грубости я отвечал дерзостями, остался еще на год от выпуска и, наконец, на третий год был возвращен домой униженный, но не смиренный... Горькая судьба привела меня к еще более горькому факту — ко гробу матери...

Когда утомленный полвеком взгляд смотрит сквозь призму опытности на это хаотическое, безрадостное и бессознательное для мучителей и мучеников прошедшее, тщетно силится разум дойти до причин существовавшего порядка. Дорого достается России всякое улучшение, медленно подвигается она к усовершенствованию! Потребовалось тридцать лет беспримерного гнета, сотни тысяч жертв и великое национальное унижение, чтоб она додумалась до аксиомы, на которой зиждется человеческая жизнь с начала мира; чтоб убедилась, что действия, основанные на тупой вере в традиции или непогрешимость одного смертного, несвойственны природе человека; что все, так называемые непреложные истины, служат средством тлетворным, разлагающим, если рядом нет умственной оценки причин и последствий.

ГЛАВА II

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ПРИ М. П. ЛАЗАРЕВЕ

Гонение на греков. Нравственная сила Черноморского флота. Суровая школа кавказского крейсерства. Занятие Черноморской береговой линии. Раевский, Анреп и др. Действительность и фикция (по поводу реляций).

Педагогическое воспитание мое кончилось; началось воспитание жизни, и во всем, привившемся ко мне с тех пор, дурном и хорошем, я уже сознательно виновен. Горькое событие, разделившее эти важные эпохи моей жизни, без всякого сомнения имело на меня благодетельное нравственное влияние. Озлобление, приставшее от примеров торжества насилия, фаворитизма и праздности, обильно представлявшихся в корпусе, не могло устоять против удара судьбы, против невзгоды, выказавшей мне сравнительную ничтожность прежних неудач. Последние минуты любимого существа разрыхлили почву и приготовили ее к совершенно противоположным влияниям: к усвоению разумной покорности власти, действовавшей рассудительно, как необходимая общественная функция; к оценке справедливости как главнейшей основы общественного здания и к уважению труда как первенствующего условия обязательств, прав и взаимных отношений людей. Эти добрые семена начинал в то время сеять на поле своей деятельности адмирал Михаил Петрович Лазарев, доведший в 18-летнее управление бывший Черноморский флот до нравственной мощи, с которой он так героически заключил свое существование в 1855 году, искупив доблестной гибелью грехи безумия власти и пагубное равнодушие к ним современного апатичного общества. По старым дружеским отношениям Михаил Петрович советовал отцу прислать меня к нему, не теряя времени, и в исходе 1831 года я плавал уже по Черному морю гардемарином.

Будущему исследователю русской жизни в эпоху, на которую я теперь указываю, предстоит достойная анализа случайность. Нужно выяснить, сделать доступным для понятия каждого, каким образом человек,[16] не выходивший из ряда обыкновенных по образованию, лишенный всякого блеска, всяких внешностей, увлекающих массы, смог верно схватить пригодные средства, угадать схороненную под спудом священную искру, раздуть ее в пламя и возжечь в апатическом дотоле сословии светоч чувства долга, бескорыстного трудолюбия и самолюбия и самоличной оценки, несравненно более строгой, нежели воззрения начальства, короче, создать многочисленную корпорацию, чуждую двигателей тогдашней общественной среды, жившую особенной, можно сказать, республиканской жизнью. И это в государстве, где железная воля воплощен-

ной необузданности гнула всех долу, растапливала в том же горниле самовластия таланты и бездарность, достоинства и посредственность, добродетели и пороки, чувства, свойственные разумному творению, и чисто животные побуждения и выливала в единообразную форму тупой, неодолимой никакими страданиями покорности. Правда, милостивое провидение, жалея Русь, не допустило еще к нам в то время нового, сильного пособника гнета в виде телеграфов и железных дорог, но подозрительность уже развила III отделение и ввела в наш кодекс дух sui generis,[17] проникавший в общественные фибры, хотя против него и вздымалась человеческая природа. 18-летнее существование в подобных условиях явного общества людей, исключительно служащих, сплоченного, недоступного растлевающим влияниям взаимного недоверия и сыщицких попыток извне, составляет трудно объяснимую аномалию. Прошедшие через подобную школу свободой не тешатся, они с нею срастаются.

Лазарев, назначенный главным начальником флота, застал его отдыхавшим на лаврах последней турецкой кампании. Насколько отдых этот был основателен, известно уже из истории; что он был положительно вреден, как всякий продолжительный отдых, доказала Босфорская экспедиция 1833 года. Ее значение и цель наших морских сил на юге выказались осязательно, но вместе с тем уяснилась необходимость всегдашней готовности, вечного бодрствования, на которые тогдашний личный состав и состояние материальной части никак не дозволяли рассчитывать. Опыт в подчиненном положении, где недостатки усматриваются легче и удобнее, в особенности знакомство с личностями не в тумане канцелярской атмосферы, а на доступном безошибочной оценке поле живой действительности, приобретенные адмиралом во время командования Босфорской экспедицией, утвердили его взгляд и укрепили решимость изменить совершенно существовавший порядок. Он провел эту решимость до конца, не останавливаясь с препятствиями, не колеблясь в мерах и стоически вынося оскорбления из Петербурга, на которые не скупились в начале предпринятой им реформы. Когда дело наладилось, когда убедились, что перемены не были безотчетным взметом новой метлы, а указывались насущной необходимостью, положение деятеля изменилось, и ему протягивали дружескую руку помощи; но вначале тьма препятствий остановила бы человека иного закала.

Усовершенствование материальной части не представляло затруднений. Познания и ревность при данных правительством средствах скоро подвинули дело, в котором адмирал находил истинное наслаждение и отдохновение душе, болевшей от интендантских и канцелярских уязвлений. Не в кораблях и адмиралтействах было главное и труднейшее дело. В величественные массы, в затейливые механизмы нужно было вдунуть дыхание жизни, провести в них электрический ток, одарить их силой мысли, духом ревности. Предстояло создать людей.

Прискорбны гонения вообще, в особенности поднимаемые на целые сословия, общества или расы. Но если крепко сплотившаяся ассоциация упорно держится привычек, вредящих общей пользе, если слепая к новым требованиям, она отвергает прогресс только потому, что им изменяется существующее, если, вдобавок, за упорство и недвижимость закоснелых староверов может в будущем пострадать государство, общественному деятелю, крепкому убеждением и преданностью родине, никто не может вменить в преступление ожесточенной борьбы с подобными элементами. Он не должен поступать иначе; грустная доля жертвовать многими в его положении освещается уверенностью, что обеспечивается польза и спокойствие всех. Наряду с усилиями по возрождению флота, вместе с приглашениями прежних сослуживцев придти помочь ему в многотрудном деле, Лазарев начал преследовать греческий элемент тем с боль-

шей ревностью, что нестрогие принципы местного греческого общества возмущали его как человека.

Выходцы из Архипелага после Чесменской кампании основали, как известно, колонию в Балаклаве, у самых вод, омывающих Севастополь. Нет сомнения, они внесли в местность дух морской предприимчивости и даже торговли, мелочной, не оживляющей целые края, но все же распространяющей в населении взаимные сношения, указывающей людям взаимную надобность, чего до них в Крыму не существовало при страже ханского произвола. Мудрость состояла тогда в умении хоронить богатство от хищнических поползновений власти. Колония с влечениями к морю скоро подметила выгоды государственной службы во вновь приобретенном Россией отдаленном крае. Когда с кончиной Екатерины прошла крымская лихорадка, и политика наша в силу обстоятельств променяла восточный вопрос на западный, плодородная Новороссия и чудный Крым с его дивной гаванью перестали притягивать искателей выгодных положений из коренной России, и архипелагские выходцы мало-помалу завладели всеми отраслями государственной службы, как своим достоянием. Балаклавская колония, имея под рукой целый флот, вползла в него со всей ловкостью и хитростью, свойственными племени, заняла все места и до того сохранила свою особенность, что еще в 1831 году случалось слышать комментарии русских командных слов на греческом языке, и я сам был свидетелем, как лейтенант Левшин обратился к адмиралу с просьбой перевести его с корабля «Анапа» на другой, так как он не слыхал в кают-компании русского наречия.

Было бы несправедливо отрицать пользу греческого элемента в начале существования Черноморского флота. В подчиненном положении как помощники русских, водивших эскадры, греки в ближайших сношениях с набранными от сохи матросами передавали им свою морскую бойкость и предприимчивость. В образовании и истории Черноморского флота им отходит важная доля и, конечно, никто не станет винить их в усилиях монополизировать сподручную отрасль службы при дремлющем или близоруком правительстве. Но еще менее можно отвергать у правительства права пробудиться, стать чутким к истинным своим интересам и желать положить конец ненормальному антинациональному порядку вещей, оскорбляющему народное самолюбие в настоящем и чреватому бедами в будущем. Военная сила должна быть народная по преимуществу. В случаях, для которых она содержится с огромным бременем для страны, требуются не только познания, но напряжение всех нравственных сил; недостаточно мочь разить врага отечества, нужно сильно желать того. Подобное независимое душевное состояние требуется от защитника чести и целости государства во всякой войне, безразлично от племени, с которым она ведется. Каким же образом допускать, чтоб столь дорогие интересы находились в грозные исторические моменты в руках людей, отделяющих подданство от племенного происхождения? На каком политическом расчете можно дозволять неминуемо раздваивающемуся в известных условиях лицу пользоваться выгодами военного учреждения в мирное время, при вероятности, что в военное, для которого учреждение исключительно существует, совесть или крик души помешают исполнению служебного долга?

Была и другая, чисто нравственная причина, требовавшая изменения приросших к службе невыгодных для нее условий. Большинство служивших греков были собственниками в Севастополе или в ближайшем с городом соседстве. Соблазнительная близость арсенала и адмиралтейства, доставлявших огромные средства, вместе с властью распоряжаться рабочей государственной силой смешали понятия о частной собственности с казенной. Выписали людей других взглядов, совпадавших с взглядом начальника, поставили их сразу в

значащее положение и поручили им проповедовать словом и делом новое учение. Нахимов, Корнилов, Путятин и другие сослуживцы адмирала с давнего времени, люди совершенно различных темпераментов и воззрений на многое, дружно сходились в служебных принципах, усвоенных ими в долгом товариществе с человеком, который исповедовал ту же служебную веру. Скоро около каждого собрались кружки, и пропаганда пошла весьма успешно среди молодежи, восприимчивой к добру, если только дают себе труд и умеют проводить его, не пугаясь, как чумы, временных увлечений. Нравы были грубы, и в прямой пропорции к грубости нравов, как всегда и везде, стоял нравственный уровень, действовало, или правильнее, дремало чувство собственного достоинства. Меры, принятые для привития к сословию более строгих понятий о должном и недолжном, были различны, и секрет умения Лазарева вести сословие помимо собственной его личности, вызывавшей невольное уважение, состоял главнейше в оправданной опытом аксиоме: окружите человека порядочностью, и он станет порядочным человеком. Корабли стали отделывать щеголевато, допустили послабление в форме, не делавшей различия между грязным и опрятным человеком, строго соблюдали дни отдохновения, в которые каждый работник периодически становится мыслящим смертным, с обычной душой, жадной к высшим нравственным впечатлениям, и, наконец, ввели довольно свободный дух критики; но это заслуживает более живого воспоминания, в особенности, если принять в соображение, что теперь еще, 35 годами позже описываемой эпохи, после бедственной крымской кампании, в которой наряду с нашей стойкостью выказывалось бесстыдное хищничество, находятся государственные светила, по положению по крайней мере, которые вменяют в преступление К. П. Кауфману, что он вызвал подчиненных к строгому взаимному наблюдению и товарищескому осуждению. В их мнении рассуждать о действиях служащих может только прямое начальство, и «самосуды», как прозвали выражение мнений о товарищах эти цинические насмешники над всем, что поднимает человека в собственных глазах, кажутся им чудовищным нарушением прав власти. Ввели, однако ж, суды чести в полках, составленных из тех же элементов, что чиновничество. Но нет никого слепее тех, кто не хочет видеть; им, этим знатокам человечества, страшна даже мысль, напоминающая, что если б ареопаги чести существовали в их время, они никогда не достигли бы настоящих своих положений. Главными же средствами к введению порядочности были клуб и библиотека. В предсмертной истории Черноморского флота эти общественные удобства играли роль важных законодательных учреждений. Свободное время, буйно разметываемое дотоле по грязным притонам разврата, начали сносить в великолепный клуб. Нельзя было вносить грязь и грубость в светлые, пышно убранные комнаты; трудно было не воздержаться на глазах всего сословия, собиравшегося в том же месте; еще страннее было бы не посещать классической по архитектуре и современной по содержанию библиотеки, богатой специальными книгами, моделями, превосходными картами и инструментами, содержимой в порядке, для русских заведений подобного рода тогда еще новом. Каждый из нас входил в храм мудрости, высившийся на самой маковке городской горы, с некоторым благоговением. Живо помню впечатление, произведенное пожаром, почти истребившим библиотеку на третий год ее существования. Молодежь, и даже не молодежь, выказала геройское самоотвержение, спасая дорого стоившие предметы; это было общее бедствие; от адмирала до мичмана все принимали в нем сердечное участие. Даже сам М. П. Лазарев, хранивший чувства как святое неотъемлемое достояние, написал такое исполненное горести и душевных страданий представление, что государь приказал тотчас

возобновить библиотеку в прежнем виде, и она снова поднялась, еще более величественная, над живым еще тогда Севастополем.

С библиотекой и клубом связаны два обстоятельства, показывающие, как легко распоряжается произвол чужой собственностью и теряет свою. Бесконечная история сенявинских призов известна всем служащим во флоте. Большинство участников, имевших на них право, отошли в описываемое время к праотцам, некоторые без прямых наследников или с такими, которым нужно было доказать права свои. Не стеснявшаяся законом и законностью власть порешила дело. Невыплаченные призовые деньги велено было присоединить к суммам, образовавшимся из известных процентов жалования нашего, которые удерживали каждую треть, и все употребить на воздвигавшиеся здания. С другой стороны, различные предметы, необходимые для устраиваемых сословных учреждений, выписывались из-за границы и подлежали таможенным пошлинам, составляющим долю средств той же власти. Как-то утром, проснувшись, севастопольцы увидели на библиотеке мраморные статуи и барельефы. Таможенное начальство удивилось внезапному явлению и донесло на Архимеда и Ксенофонта, как на либр-эшанжистов.[18] Наслали целую комиссию. Статуи оказались привезенными на возвращавшемся с заграничной станции бриге, были бережно выгружены и вознесены на место без малейшего участия риска.

В числе средств к возвышению сословия в собственных глазах я указал на легкость, которая была допущена в разборе действий сослуживцев, даже начальствующих, разумеется, вне службы. Служба велась очень строго, и в ее жесткие часы не терпелось никаких проявлений самостоятельности. Зато в часы свободы языки развязывались на «мысе свободных размышлений», как называли обрыв бульвара, а преимущественно на Екатерининской (vulgo[19] Графской) пристани. Кто бывал в Севастополе, конечно, заметил вход в город со стороны гавани. Широкая каменная лестница ведет к площадке, удачно окаймленной колоннадой, представляющей подражание славным пропилеям. С площадки движения на кораблях и на шлюпках были как на ладони. К пристани после дневных работ причаливала освободившаяся с флота молодежь; город, с своей стороны, высылал туда представителей. Пропилеи и голубое небо напоминали древнюю Элладу, и место обращалось в истинный форум. Сначала гордые летами подсмеивались над этим ареопагом, но впоследствии, когда суждение и критика приобрели по своей серьезности права гражданства, старость стала прислушиваться к мнениям молодости. Склонные по закону природы к спокойствию и застою невольно одушевлялись пылом нового поколения, которое вначале вели к развитию. На Графской пристани совершался утешительный процесс взаимодействия возрастов и понятий, от которого не спасались и, к чести их следует прибавить, не уклонялись и самые авторитеты, хотя их честное, бескорыстное слово долго было законом. Читатель видит, что я недаром включил Графскую пристань в число социальных учреждений Севастополя и Черноморского флота.

Службой считалось только то, что вело прямо к цели — пребывание в море, или, как выражались, в походе. Необходимые канцелярии и береговые места вели свое обычное, неизменное и ничем несокрушимое существование, городили горы предписаний и отношений, но на Черном море в действительности «администрация служила флоту, а не флот администрации». Главное гнездо канцелярии, Николаев, был заперт для офицеров как чумный квартал. Высылкой наплывавших туда охотников до окольных путей ревностно и подчас оригинально занимался начальник штаба С. П. Хрущов. Его аргусовский взгляд вымаргивал безошибочно искателя канцелярской протекции и нередко прикидывавшегося больным ловкого пройдоху бережно в тиши ночной переносили с постелью на пароход или транспорт,

уходивший с рассветом в Севастополь. Таланту, энергии, страсти к деятельности открывалось широкое море; там и только там можно было ожидать служебных благ и внимания начальства. Не как на исключение, а как на факт, повторявшийся с многими, укажу на первые одиннадцать лет собственной службы: из них семь в положении подчиненного и четыре командиром я провел в море, за исключением одиннадцати месяцев, употребленных на печатание переведенной мною многотомной истории английского флота. Эти постоянные плавания, совершенно отвечая специальным требованиям дела, вовсе не мешали разнообразному развитию молодежи. Суровое кавказское крейсерство учило только жесткому ремеслу; зато заграничные станции, которые адмирал смог монополизировать для Черноморского флота, доставляли средства разнообразить и расширять кругозор.

В походах, как я сказал, царила большая строгость. Не раз случалось мне впоследствии слышать (от людей в походах не бывавших) укор, что в Черном море матроса не жалели. Едва ли в какой-либо отрасли русской службы заботились о нижних чинах с такой ревностью и бескорыстием. Правда, на телесные наказания не скупились, но где же тогда отвергали это зверское средство? К побуждениям наших руководителей, взросших на английских понятиях о морской дисциплине, присоединились отечественные заимствования от соседей в виде шпицрутенов и т. п., и, наконец, самих нас не жалели в школах. Все это не оправдывает, но должно быть включено в число облегчающих приговор причин. Повторяю: были строги, очень строги, но вместе старались быть если не правыми, то справедливыми в жестокости и, карая, ухватывались за всякий случай взлелеять обреченного на суровую долю матроса. Лучшим доказательством тому служило санитарное состояние кавказских эскадр при условиях, чрезвычайно невыгодных.

По Адрианопольскому трактату, Порта отказалась от всякого покровительства горским племенам, обитающим исторический перешеек между Каспием и Черным морем. Война за господство на перешейке, перерезанном гигантским хребтом, велась с большею или меньшею деятельностью с того времени, как могучий Петр отодвинул турецкое владычество от берегов Азовского моря. Кавказские герои приобретали костьми и кровью заповедные горские трущобы. Сам кавказский орел, быстрый и зоркий Ермолов, неохотно витал по недоступным твердыням и, видя суетность случайных набегов и разгромов, положил основание системе постоянного сгнетения горцев в тесное пространство. Но пока берег представлял удобную окраину для сношений через море с Турцией, усилия смирить непокорных не могли быть действительны. Кавказское население получало морем все нужное, в особенности соль, огнестрельные снаряды и даже предводителей: из числа польских эмигрантов, дышавших непримиримой к нам злобой. Не одни, впрочем, поляки, а всякого рода и племени авантюристы стекались на вершины Кавказа «преломить копье» в борьбе свободного народа с алчным деспотизмом, как представляли вопрос европейские глашатаи. Поборникам права не приходило в голову, что на Кавказе с одной стороны боролись дикари, не признававшие у себя иного права, кроме права сильного, а с другой стороны стояло право самосохранения. Они не хотели уяснить себе, что историческими этапами русский люд перешагнул за Дон, разошелся по плодоносным равнинам между Доном и Кубанью и уперся в крепкий кряж, с которого туземцы не только мешали дальнейшим его успехам, но всякому мирному прогрессу на пространстве, уже занятом. Весьма понятно, что при таком воззрении политики, которым не давалась политика дома, и торгаши, не умевшие вести честную торговлю, пользовались открытым прибрежьем, представлявшим множество пунктов для пристанища.

Тотчас после Андрианопольского мира правительство объявило восточный берег Чер-

ного моря в блокаде, которую англичане не признавали до фактического доказательства ее действительности. Впрочем, блокады не было, а была «собственных берегов стража», как самим нам приказывали накрепко называть наблюдение за кавказским прибрежьем. Дело в том, что при начальном учреждении наблюдения по всему берегу мы стояли только в Анапе и Сухуме. Вскоре устроили укрепление в Гаграх, но форт обратили в острог штрафованных, и гарнизон буквально не смел выказывать из казарм носу. Промежуток между Анапой и Гаграми в 300 верст, несомненно, принадлежал горцам; но Европу хотели отуманить, опасаясь возбудить щекотливость морских держав понятной для них номенклатурой. Так сложили и объявление о недоступности кавказского берега; об умножении же нашего на нем владычества стали заботиться только в конце тридцатых годов.

От Черноморского флота содержалась у берега постоянная эскадра, располагавшаяся в Сухуме, как безопасном убежище, на многих якорях, потихоньку гноившая там паруса и снасти и с почестями предавшая земле и воде бесчисленные жертвы горячек и лихорадок, зарождавшихся в местных миазмах, но широко разраставшихся в грязном бездействии на кораблях.

С 1836 года кавказское крейсерство приняло другой характер. Велено было держать под парусами постоянных крейсеров на близких дистанциях, одинаково летом и зимой. Новая эра началась удачно полонением, наделавшим столько шума в современных политических кружках, взятием английской шхуны «Vixen». Каковы бы ни были употребляемые средства — и опыт доказал ошибочность их, — покойный император крепко стоял за внешнее достоинство России. Очень хорошо помню, с какой британской наглостью шкипер шхуны, и не только грубый шкипер, но и сам хитростный Бель, разделивший участь экипажа, утверждали, что вслед за объяснениями правительства шхуну отпустят немедленно. Случилось иначе, и «Vixen», если не ошибаюсь, до самого севастопольского погрома перевозила, вместо политических агентов запада к горцам, масло и сало с нашего Дальнего Востока для надобностей маяков и адмиралтейств.

Крейсерство велось с неуклонной точностью и хотя, конечно, не прекратило совершенно подвоза, но служило отличной школой мореплавания, нигде никогда не существовавшей. Северные моря по условиям природы не доступны плавателям в зимнее время. Черное море представляет незамерзающий бассейн со всеми суровыми особенностями северных морей. В декабре, январе и феврале к бурям, постоянно выметающим море с осени до весны, присоединяется чисто северная стужа. Снасти и паруса коченеют и самые суда обмерзают до того, что при ослаблении сил экипажа, ускоряемом морозом, подвергаются гибели. Плачевная участь тендера «Струя», вдавленного в пучину массой приставшего к нему льда, памятна всем нам. Это случилось ночью, при таком реве ветра, что стоявшие вблизи суда не слышали выстрелов, возвещавших бедствие, и видели только пламя их. Впоследствии подняли из воды эту чудовищную гробницу 50 человек и по хронометру командира, остановившемуся в роковой момент, узнали точное время небывалого крушения. Вообще крейсерство у Бреста английских эскадр в революционные войны считается самым трудным подвигом из числа многих, выпадавших на долю моряков; но англичане имели огромный флот, дозволявший частые смены крейсеров, и не подвергались таким жестоким климатическим условиям. Нас же посылали на шесть или на семь месяцев и разделяли на две смены между негостеприимным морем и портами, в которых свирепствовала злая лихорадка, влачилась самая унылая, безотрадная жизнь. О пароходных сообщениях с плодородными новороссийскими губерниями тогда еще не думали; консервы только что начинали пробивать свой животворный путь к обреченным на скудную пищу желудкам и стоили весьма до-

рого. Кавказ не прошел еще через производительные руки графа М. С. Воронцова, и раскинутые по берегу форты нередко жили нашей помощью, не только не могли уделять чего-нибудь нам. Даже за офицерским столом освежались чайками, катранами и считали за истинный пир, когда подавалось тугое мясо буйволов. Прогулки никакой, и единственное развлечение матросов состояло в кратковременном съезде в импровизированные на зачумленном берегу парусинные бани.

При таких физических и нравственных лишениях только крепкие духом могли выносить тяготевшую над ними судьбину. Вымирали целые команды, например на фрегате «Архипелаг», где меня посылали с вахты ночью не наблюдать за бодрствованием часовых у фонарей соответственно принятому порядку, а отбирать мертвых от умиравших в рядах несчастных, устилавших палубу, — и это при зловонии трюма, не чищенного со времени спуска на воду, и при таком бедственном положении, что фрегат едва не потонул в виду берега от течи в корпусе.

С 1833 года условия несколько изменились. Дерзнули нарушить положение: матросам стали отпускать теплую одежду, лимонный и имбирный сок, сбитень и другие предохраняющие средства; офицерам назначили двойное жалованье и двойные порционы, что при совершенном недостатке местной промышленности и сообщений с южными нашими портами было крайне необходимо; главное же, держали экипажи в непрерывной деятельности. Занятое до утомления тело и вечно бодрствовавший с определенной целью дух не были способны к размышлениям, которые при отсутствии развлечений и единообразии скуки непременно обратились бы в безвыходности положения и навели бы сплин, предрасполагающий к недугам.

Употребленные средства, несмотря на относительную скудность их, имели благотворные результаты при господствующем настроении. Скоро стали ходить на Кавказ не одни enfants perdus;[20] стало стыдно возвращаться в Севастополь с недочетом в людях, и командира, допускавшего развитие болезни, кроме начальственных исследований, от которых ему не здоровилось, окончательно хоронили в общем мнении архонты Графской пристани. Кажется, во всем этом не было равнодушия к матросу, в котором упрекали нас магнаты устланных коврами петербургских канцелярий.

Нелегко давалась опытность на кавказском прибрежье, не удовольствиями прививалась любовь к делу на этих скалах, то манивших тропической почти роскошью растительности, то отталкивавших полярной угрюмостью. Много надежд, ожиданий и жизней разбилось об их изменнические утесы! Но все относительно, и ничем не сокрушаемая веселость беспечной молодости находила сладкую пищу даже за этой трапезой вечного труда и непрерывного уныния. Мне особенно памятны семь осенних и зимних месяцев, проведенных в отряде, вверенном адмиралу Конотопцеву. Не одних умников заставляют Богу молиться. В лице эскадронного начальника Провидение послало нам соперника безрадостной зимней природы. В страшный холод велись летние порядки; палубы гладились и, как Конотопцев выражался, подбривались (т. е. обрезались мохры, взъерошенные мытьем с камнем): всякая одежда, кроме форменных сюртуков (пальто тогда не были еще придуманы), строго воспрещалась, и адмирал показывал в том легкий для него пример. Увесистое туловище, пришедшее мне на память, когда я в первый раз увидел гиппопотама в лондонском зоологическом саду, было с избытком ограждено от стужи милостивой природой. Мудрец, до обморока боявшийся Михаила Петровича, держал нас в бессменном крейсерстве. Бывало, подходишь к скверному порту после отвратительной трехнедельной сатурналии по леденеющим волнам, у входа встречают шлюпки с адмиральского фрегата «Флора», наполненные водой и провизией. Пошлешь про себя попечительному начальству пригоршню благословений и

снова отправляешься сновать вдоль берега в надежде, что в этот раз встретишь бури без мороза, по крайней мере. На наше счастье, случались, однако же, повреждения, требовавшие якорной стоянки, и такие случайности не подчинялись гнетущей способности и давящей воле начальника. Счастливый крейсер становился бок о бок с «Флорой», и здесь выказывалась осязательно заботливость мудрого промысла, радеющего о человеке среди его вздохов, печалей и страданий. Адмирал — «слова умного не выговорил с роду», но был одержим бесом авторства, сам сочинял приказы и деятельно переписывался с различными местными властями, неизменно начиная свои послания личным местоимением «Я» и продолжая их в диктаторском тоне, сквозь который однообразно тянулась негармоническая нота его пошлой личности. Двое матросов с «Флоры» бежали в горы, и адмирал обратился с просьбой к начальнику Сухумского отдела Н. Н. Муравьеву (ныне графу Амурскому) способствовать отысканию бежавших, а сам отправился на северную станцию, поручивши наблюдение за южной старшему из командиров. Прошло несколько времени, и Сухум снова увидел флаг начальника морских сил. Оставленный командир ушел в море по неотложной надобности, и Конотопцев, воодушевясь путешествием, сочинил на тему «о бежавших» следующую диссертацию: «Я отношением моим от такого-то числа просил о поимке двух матросов, бежавших с фрегата «Флора». Не получая до сих пор соответствующих извещений, покорнейше прошу через местных князей возвратить бежавших. Я не сомневаюсь, что одаренные милостями Государя-Императора, они поспешат выполнить Ваши требования. Я, — отвечал Муравьев, подражая диссертанту, — при отношении моем к оставшемуся вместо В. П.[21] командиру брига "Персей" капитан-лейтенанту Иванову прислал возвращенных местными князьями трех беглых матросов. Три, как В. П., вероятно, известно больше двух, и я думал, что удовлетворил с избытком ваши ожидания. Оставаясь при том же убеждении и ныне, имею честь присовокупить, что входить в официальную оценку моих отношений к здешним князьям никто не имеет права, кроме прямого моего начальства, которому я препроводил Ваше требование для соображения могущих существовать между нами отношений». Конотопцев, беспрестанно повторявший — «это мне удивительно», но не мог в течение месяцев надивиться, чем Муравьев обиделся.

Все эти выходки вольного, по положению пишущего пера, тщательно заносились в «Сказания о Конотопцеве» офицерами «Флоры» и хранились для утешения злополучных крейсеров. Тотчас по приходе мы отправлялись в «столицу» за новостями. После устных анекдотов о начальничьих выходках начиналась перлюстрация его произведений, изданных во всеобщее сведение или добытых вследствие нарушения канцелярской тайны. Смеху не было конца. Адмирал, живший над кают-компанией, в справедливом мщении выпроваживал нас снова в крейсерство, куда мы шли уже с резвым расположением духа.

Но в кавказских походах была и доля поэзии, к которой пора перейти от однообразной тоскливой прозы. Я сказал уже, что наша власть над прибрежьем была чисто номинальная. Турецкие контрабандисты приставали в долинах, перерезающих прибрежный кряж. Легко избегая преследований крейсеров, они вытаскивали свои суда на берег, и только изредка случалось нам подоспеть вовремя и помешать выгрузке удачными выстрелами. Еще реже, вследствие настойчивых предписаний не терять даром людей, решались мы выбрасывать на берег кучку смельчаков с зажигательным снадобьем и жечь контрабандиста, уже считавшего себя в безопасности. Подобные паллиативные меры не имели иных результатов, кроме водворения на крейсерах привычки к бдительности; собственно же кавказскую войну нимало не двигали. Занятие удобных для пристанища пунктов указывалось здравым

смыслом и вначале производилось двумя способами. Изведавший Кавказ Вельяминов отправлялся с северной линии на перевал к поморью; в то же время с юга закавказские войска подходили к пунктам, назначенным для занятия, морем на судах. Так началось в 1837 году систематическое занятие берега. Впоследствии, убедившись в сравнительной легкости десантов, прибегали исключительно к высадкам, и в них флот приобрел некоторую славу не подвигами храбрости, а точностью и истинно патриотическим рвением, с которым помогал сухопутным силам.

В 1838 году восемь судов единовременно погибли на грозном берегу с значительной потерей в людях, не оставляя своих постов на флангах высаженных отрядов или подвозя им все нужное. В этом повальном крушении было много эпизодов хладнокровного мужества, выставленных адмиралом Лазаревым столь живо и верно, что государь велел передать дело воле божией без всяких следствий и благодарил моряков за самоотвержение. Но не все разбивались с одинаковым искусством, хотя причина крушения была та же, и ближайшее начальство, всегда справедливое в оценке действий подчиненных, разобрало каждое разбитие по щепочке. Выказавшие знание дела были награждены; остальным, лишившимся судов по несчастному обстоятельству, не встретилось уже случайности вновь командовать и жутко досталось им на Графской пристани.

Итак, с 1837 года монотонный свист кавказского крейсерства начинают по временам разнообразить игривые звуки боевой тревоги. Первым десантным предприятием командовал сам главный начальник кавказского корпуса барон Розен. К 22 июня в Сухум-Кальском рейде собрались фрегаты «Анна», «Штандарт» и «Агатополь», бриг «Аякс», люгер «Глубокий», тендера «Легкий» и «Струя», транспорты «Ахиоло», «Чапман» и несколько купеческих судов для принятия отряда из полков Мингрельского, Тифлисского и Грузинского гренадерского. Полки были в двухбатальонном составе и при них до 600 закавказских милиционеров. Скоро перевозные средства увеличились прибытием фрегата «Архипелаг», корвета «Ифигения», брига «Полукс», шхун «Гонец» и «Вестовой»; но с приращением сил не вырос до уровня обстоятельств добрый старец Эсмонт, командовавший эскадрой; да, кажется, и другой старец Розен пугал себя воображаемыми затруднениями. Начали тем, что адмирал с начальником штаба кавказского корпуса Вальховским отправились предварительно осмотреть местность будущего подвига, на которую взглянул уже своим смышленым взглядом командир мой Е. В. Путятин, следуя к сборному пункту из Севастополя с фрегатом «Агатополь». К 2 июля недоумения и колебания одолены преимущественно ретивым Е. В. Путятиным, и мы отправились к Адлеру, забравши войско. Все суда были, конечно, парусные и прихоти атмосферы задержали нас до 7-го числа. В этот день мы подошли к пункту атаки.

Мыс Адлер образовался от наносов реки Мзымты, впадающей в море пятью рукавами после быстрого бега по самой широкой из прибрежных кавказских долин. Местность, еще не тронутая истребительным русским топором, была покрыта сравнительно мелким лесом, но по северной окраине долины тянулся девственный бор, перевитый ползучими растениями и представлявший непроходимую чащу. Горцы очень хорошо поняли, что мы захотим стать твердой ногой у самой речки, но не будем пытаться высадиться у нее. Мелководье около устья не дозволяло судам приблизиться на действительный выстрел для очищения нужного войску пространства. Северная окраина долины, поросшая вековым лесом, представляла наиболее удобную местность для приближения судов, хотя десанту предстояло здесь больше опасности. Извергаемые волнами песок и голыш, встречая препятствие в теснившихся к самому берегу сплоченных дубах и гигантском орешнике, образовали прочный

вал, за которым горцы засели в ожидании непрошеных гостей. Эскадра медленно приближалась к берегу, и наш нетерпеливый командир, вообще дороживший временем, еще на ходу приготовил шлюпки для принятия войск. На других судах «поспешали тихо» и предпочли совершить операцию уже на якоре. Эскадра вытянулась в линию и открыла огонь, мы стояли на правом фланге, очень близко от берега, и метко били песчаное прикрытие, поверх которого сначала виднелись остроконечные башлыки горцев. Но действие тяжелых снарядов, проводивших по лесу борозды опустошения, заставили горцев отказаться от бесполезного молодечества. Десант собирался, между тем, за судами, и когда берег был достаточно обстрелян, двинулся к нему, паля из шлюпочных орудий. Путятин распоряжался высадкой на быстрой гичке и пристал значительно прежде прочих. Удивительно, что горцы не наказали его за смелость, тем более что в самый высаживавшийся отряд, состоявший из 600 человек, сделали залп, которым убили одного солдата.

Столько толковали о густоте населения Адлера, о воинственности его, в особенности о существовании среди его отчаянных абреков, что мы ожидали страшного отпора. Оказалось, что первая попытка стоила одного только человека. Шлюпки отвалили за новым войском, а высаженное построилось в колонну на узкой полосе Щебня, между лесом и морем. Его тотчас оградили цепью стрелков 4-го батальона Мингрельского полка под командой дежурного штаб-офицера А. А. Альбрандта, известного кавказского храбреца, не терявшего в деле хладнокровия, несмотря на вулканическую натуру. Стрелки расползлись по лесу, шагав в 50 от колонны, и скоро затрещала живая перестрелка. 4-я карабинерная рота того же полка выделена из колонны на помощь стрелкам и послана в лес под начальством князя Туманова. Здесь представилось новое доказательство, к каким важным последствиям ведут на войне самые ничтожные ошибки. Вместо того чтоб вести подкрепление кучей, Туманов тотчас за валом рассыпал его и заиграл «вперед». Стрелки Альбрандта, принявши сигнал, двинулись далее в лес; тумановские пробрались сквозь них, торопясь помочь собратам, а альбрандтовские, в свою очередь принимая выстрелы товарищей за горские, углублялись далее и далее. Лес, как я сказал, был перевит ползучими растениями и представлял чащу, в которой пары не могли видеть одна другую. Не только линии стрелков, но друзья и недруги перемешались между собой. Черкесы влезли на деревья и оттуда низали наших беспощадно. Александр Бестужев шутил около высадившегося с первым отрядом генерал-майора Вальховского, потом обрывисто прекратил шутки и, сказавши «Альбрандт безумствует, пойду приведу его в себя» или что-то в этом роде (в общем разговоре и трескотне выстрелов хорошенько я не мог расслышать, хотя стоял очень близко), перешагнул за вал. Через некоторое время я услышал ясно, как Вальховский посылал воротить цепь прапорщика Запольского, и не более как через пять-шесть минут увидел этого даровитого и в высшей степени симпатичного юношу, стонавшего на руках солдат от смертельной раны в живот. Между тем чисто физическое утомление пробиравшейся между пнями и колючками цепи остановило ее. Из посланных в лес воротились 587 человек. Четыре офицера остались в числе жертв, в том числе князь Туманов. Черкес повалил князя пистолетным выстрелом в упор, когда шашка его разлетелась вдребезги о головной убор горца. Бестужев также не возвращался. Солдаты рассказывали, будто двое несли его, раненого, и были застигнуты черкесами, изрубившими одного из носильщиков; другой бежал, оставя еще дышавшую жертву; спасшегося даже указывали и слушали от него различные подробности. Но самое основание рассказа было невероятно. Каким образом человека довольно тучного, как Бестужев, могли нести двое в сплетенном гибкими лозами лесе? Впослед-

ствии входили в сообщение с горцами, сулили им деньги, но о Бестужеве не знают ничего верного до сей поры. Вот мой простой, записанный в тот же вечер на биваке рассказ о преждевременном конце Марлинского.

«Радостно и шумно кочуем мы на быстрой Мзымте, — писал 17-летний тогда повествователь, — но старые солдаты едва участвуют в общем веселье; вспоминается им Бестужев, так недавно одушевлявший их молодецкой песней.[22] Думал ли кто-нибудь, чтоб эта песня была последним его твореньем?». Скоро прелесть слога Марлинского для меня исчезла и его вычурные тирады казались мне произведением чопорного франта слова.

Собравшийся отряд двинулся по кромке леса к самому мысу под начальством генерал-майора Симборского, и вечером наши огни играли уже в шумной речке. На другой день с обычной церемонией главнокомандующий заложил укрепление Св. Духа, перекрестил мыс Адлер в Константиновский — и русский доморощенный механик скоро привел роскошную долину в свойский порядок. Прочие подробности об укреплении занятого пункта, вероятно, также мало в настоящее время интересуют читающего, как и пишущего, и я распространился о высадке потому только, что она была первая и стоила таланта нуждающейся в талантах России.

Желая скорее получить эполеты, легче покупавшиеся военным ухарством, нежели мирным трудолюбием, я оставался при сухопутном отряде два месяца, видел некавказские распоряжения гвардейского генерала, слышал воркотню нестеснявшихся кровных кавказцев, дивился, как Аргутинский чинил прорехи Симборского и горевал вместе с тифлисцами над бесполезной потерей сотни храбрых, нанесенной нам черкесами 18 июля уже за Мзымтой вследствие того, что начальство, ожидавшее прибытия государя, хотело показать ему воздвигнутое якобы волшебством укрепление и посылало всех на работу, ограждая самой жиденькой цепью.

За Мзымту мы перебрались способом, заслуживающим моих товарищеских воспоминаний. Нужно было, разумеется, устроить мост, дело нелегкое при страшной быстрине реки и строчивших с противоположного берега черкесских пулях. Лейтенант Безобразов переплыл с тоненьким шнуром в руке, по нем передали веревку и, наконец, установили правильное сообщение. Представили Безобразова к Владимиру, но владыко мира определил ему другой крест. Жестокая горячка свела решительного молодого человека в могилу и впоследствии, посещая Адлер, я не мог отыскать последнего жилища храбреца.

Безжалостная лихорадка унесла более тысячи жертв, но такие подробности в реляциях не писались, и нас скоро отблагодарили наградами, в том числе меня солдатским Георгием. Нас притравливают к крови на случай необходимости кровопусканий. На службе или на отдыхе схватишь, бывало, ружье и бежишь пострелять в черкеса; вот и все мои подвиги. Признаюсь, однако ж, впоследствии, когда развернувшийся ум начал рисовать передо мной возможность успеха, я не бегал уже на всякий дымок и даже прятался за пни и деревья, вовсе не желая, чтобы мои надежды и ожидания оборвались на меткой пуле невидимого для меня варвара. Тем с большим удовольствием ношу я крест, напоминающий скоротечную, беззаботную, не зараженную никакими расчетами юношескую жизнь.

По поводу изменений, совершаемых воспитанием в человеческой природе, припоминаю эпизод той же кавказской войны. При занятии одного из прибрежных пунктов я участвовал, уже офицером, в морском батальоне, которому назначено было занять гору над долиной, где высадилось войско. Насколько мы отличились, не значится в моих записках. Стоит только в них, что были убитые и раненые и что Раевский велел назвать гору «Морской»; но занесено подробно следующее происшествие. Отступавшие черкесы оставили раненого. Пробегая мимо него, гардемарин, безумный

мальчик лет 19-ти, выстрелил в несчастного из пистолета и был на месте преступления нами высечен. Больно и грубо выказывала себя наша человечность, но были несомненные признаки ее присутствия. Осмотреть возникшее на костях погребенных жертв укрепление помешала Николаю Павловичу бурная погода, когда в сентябре, сделавши смотр Черноморскому флоту, он проходил место наших подвигов перед путешествием по Кавказу, где кавказцы скоро убедились, что не одни Кази-Муллы и Хаджи-Берзеки грозны.

1840 год был особенно памятен на кавказском берегу, уже уставленном многими укреплениями. Образовалась Черноморская береговая линия и для нее особенное управление в Керчи; начальником был назначен Н. Н. Раевский. Линия имела уже свои транспорты и пароходы, связанные с флотом единственно персоналом, и тот доставлялся по указаниям линейского начальства. Охраняющая берег эскадра продолжала отделяться от флота, и положение ее значительно облегчилось, так как вся транспортировка отошла к кавказской флотилии. Приемы перевозочной службы совершенно иные, нежели чисто военной. Наряду с случайностями, образующими хороших моряков, усваивается купеческая медленность и вкрадываются купеческие воззрения. Скоро кавказская флотилия приняла особый характер, совершенно отчуждивший ее от флота. Несколько тружеников постоянно работали между укреплениями; большинство же завелось в Керчи хозяйством, снискало расположение незнакомого с делом сухопутного начальства и открывало новую Колхиду в древней Пантикапее,[23] забывая старую, для которой флотилия была создана. Сам Раевский женился, стал нуждаться в обществе и охотно окружал себя моряками и семействами их, увеличивавшими суету в его гостиных. Керчь стала Капуей, но ей готовилось страшное пробуждение.

Весной 1840 года Хаджи-Берзек сумел соединить горное население и направить его к одной цели. Прибрежные укрепления, которым сообщилась керченская вялость, были большей частью забраны и разорены. Подвиги частной храбрости навели блеск на это мрачное обстоятельство; тем не менее плоды трехлетних усилий были уничтожены и предстояло возобновить их с быстротой, доказать горцам ничтожность их попыток и остановить успехи, которые могли весьма легко повести к общему на Кавказе взрыву.

Все силы флота и 16-я дивизия у корпуса, стоявшая в Крыму, были употреблены для восстановления пострадавшего нашего влияния. Сам главный командир,[24] предоставлявший дотоле легкие отличия подчиненным адмиралам, взял на этот раз дело в свои опытные руки и, сглаживая личным влиянием шероховатости, возникшие между флотом и армией вследствие неудач, в дружеском сообществе с пробудившимся начальником линии, приступил к поправлению береговых дел. Главнокомандующий на Кавказе Головин также принял участие. Отнятые пункты были снова заняты и вместо прежних укреплений воздвигнуты более прочные, способные устоять против всяких покушений горцев.

В этом вторичном занятии берега участвовали исключительно крымские полки, не привыкшие ни к местности, ни к передвижению морем. Нам приходилось осязать невыгоду таких сравнительных новобранцев и не раз вздыхать по бодрым кавказцам, усвоившим уже море и его прихоти. Но мало-помалу наловчились и крымцы. Постоянные перевозки на кораблях для военных действий и неизбежных смотров скоро ознакомили их со всеми подробностями десантных экспедиций, так что дивизию забирали в несколько часов. Остряки-мичманы уверяли, что для этого не требовалось никаких приготовлений; стоило только послать корабельных боцманов по солдатским казармам просвистеть «по кораблям марш», — и всякий обозный или амуничный ящик находил належалое уже место, каждый солдат занимал знакомый куток. Действитель-

но, десантное дело в Черноморском флоте было доведено до той чуждой суетливости быстроты, без которой успех подобных предприятий всегда гадателен.

Много лет мы братались с 16-й дивизией, и она должна иметь место в моих воспоминаниях. Хлебосольные начальники немало оживляли гарнизонный быт, мирясь с казачеством постоянного морского общества, и ослабляли несколько фронтовую чопорность. Армейская raideur[25] доставляла обильную пищу мичманскому остроумию; но шутки не носили характера язвительных насмешек, сеющих злобу; мнительность не вкрадывалась в дружество, которому нечего было опасаться столкновения интересов, и шутки повторялись охотно теми, в кого были направлены. Но мы перестреливались шутками, уже познакомившись. Вначале моряки и сухопутные избегали друг друга, отчасти глядя на начальства, пребывавшие в холодной вежливости и натянутых отношениях.

Пожиная легкие лавры в прибрежной войне, балуясь успехами после долгого бездействия и не подозревая возможности неудач, Раевский скоро обленился, сложил бремя забот на Г. И. Филипсона, а сам выставлял свою личность в сношениях с Петербургом и людьми, расположение которых могло быть для него полезно. Сменивший на Кавказе Розена Головин, участвуя в одной из первых высадок Раевского, подвергся и первой его выходке. В зной кавказский день место было занято без потери. Головин обрадовался и выражал свое удовольствие. «Так Ваше Высокопревосходительство довольны? – спросил Раевский и на утвердительный ответ тотчас просил награды. – Какой? – возразил сконфуженный Главнокомандующий. – Позвольте снять сюртук». И действительно, я не могу себе представить видной массивной фигуры Раевского иначе как в рубахе, с отложным воротом и с длинным чубуком в зубах. Так он принимал всех и пропускал мимо себя церемониальным маршем войска, подражая цинической простоте Суворова, но не имея на нее права по суворовским победам. В другой раз, получивши от Головина какие-то советы по предстоявшим действиям на берегу, а от подчиненного ему начальника I отдела береговой линии контр-адмирала Серебрякова предположения о понадобившейся в его отделе сухопутной экспедиции, Раевский начинал донесение военному министру описанием «морских соображений генерала Головина и сухопутных соображений адмирала Серебрякова», смеясь, разумеется, над теми и другими. Такими, ничего не выказывавшими и ни к чему не ведшими выходками Раевский заставлял о себе говорить, пока факты открыли глаза снисходительных к нему властей и он должен был сойти в неизвестность и уединение, где вскоре был совершенно забыт. Наследник славного имени, одаренный способностями и рыцарскими чувствами, разнообразно образованный и счастливо созданный, Раевский, казалось, должен был занять видное место в ряду современных деятелей. Но причудливо разлагались элементы жизни в реторте державного химика, искавшего своего рода философский камень для пригнетения всех к равенству ничтожества. Условия, которые везде облегчили бы успех в России того времени вели к странным, трудно угадываемым результатам. Баловень судьбы и общества, достойный их милостей, сделался нахалом-сибаритом, искал известности в суетных проблесках ума и кончил жизнь в бесславном отчуждении, грызя свою богатую натуру.

Временная неудача повела к прочному утверждению нашей власти на берегу, и в 1841 году, когда Раевский был уже заменен Анрепом, нужно было придумывать особые комбинации, чтоб напомнить о существовании береговой линии и притягивать к ней милостивое монаршее воззрение. Преимущественно с этой извинительной при существовавшей обстановке целью, частью же с намерением уничтожить влияние на убыхов Хаджи-Берзека в исходе сентября новый начальник линии собрал на Адлере довольно значительный от-

ряд. Экспедиция представляла особый способ сочетания сухопутных действий с морскими, и потому перед прощанием с моей кавказской службой я обрисую ее несколькими чертами.

Если предположить, что попытка Анрепа имела серьезную цель, то следовало идти от Адлера к Сочи горами. Только на этом пути можно было наказать чувствительно дерзких убыхов и вместе с тем проложить дорогу через населенные непокорным племенем места. Так вначале и решили; но забывши, что в войне, в особенности горной, быстрота — первое условие успеха, провели значительное время на Адлере в сборе и дали возможность горцам узнать о намерении нашем и принять все меры. Настал, наконец, момент движения. До Анрепа дошли слухи, что избранный им путь укреплен и загорожен препятствиями до такой степени, что отряд неминуемо сделается жертвой. Об экспедиции были уже сделаны донесения; отказаться от нее не дозволяло самосохранение от друзей, и генерал решился тянуться от Адлера к Сочи окраиной берега, призвавши на помощь контр-адмирала Станюковича с крейсеровавшей у берега эскадрой.

До речки Мыццы отряд двигался без всякой тревоги, встречая препятствие единственно в узкости прибрежья, но за Мыццой дела приняли иной вид. Гора не пошла к Магомету, так Магомет пошел к ней. Хаджи-Берзек, оставя укрепленную им горную линию, стал на прибрежных высотах и приготовился наказать противника, решившегося бороться с его влиянием. Шествие отряда по узкой покрытой щебнем и песком колее, под крутыми скатами, с impedimento[27] в виде стада рогатого скота, представляло повисшим на смежных вершинах убыхам выбор жертв. Без помощи эскадры, как сам Анреп сознал впоследствии, Хаджи-Берзек поднялся бы в глазах приверженцев на новую громадную груду русских костей — и помощь эта оказана адмиралом Станюковичем с свойственным ему знанием дела и пылом возбужденного самолюбия. Корабли опережали войско на версту или полторы, метя прибрежные вершины сокрушительными выстрелами. Часть эскадры следовала позади войска и беспрерывным огнем не дозволяла горцам собираться в тылу его. Рядом с авангардом шли шлюпки, устилавшие картечью путь непосредственно впереди войска, и в таком же отношении к арьергарду помещались другие шлюпки. У кордебаталии[27] выстраивались в порядке переводные баркасы, на которые подбирали раненых и убитых. Прилепившись таким образом к эскадре, сухопутный отряд прошел в двое суток каких-нибудь четырнадцать верст, конечно, с потерей, но урон мог казаться ничтожным в сравнении с тем, который имел бы место без распорядительности Станюковича, а главное без великости русского бога. Дивная погода дозволяла нам рассчитывать с уверенностью.

Временные привалы представляли зрелище, напоминавшее иорданские караваны. Поморье было так узко, что многие солдаты стояли в воде; в них через цепь, расположенную в полгоры, строчили горцы из метких винтовок. Скот, одуревший от суматохи и безводья с самой Мыццы, тискался между тем, что должно было быть рядами, а шумная конная милиция давила целых, раненых и убитых. Недосчитались более пятисот человек по приходе в Сочи, в том числе храброго ротмистра Ляунена, готовившегося принять начальство над II отделением линии. Арьергард охраняли шлюпки с нашего брига «Фемистокл», порученные мне как старшему офицеру. Не одно громкое спасибо посылал мне командовавший арьергардом К. К. Данзас, бывший секундант Пушкина. Горцы особенного налегали, когда отряд проходил ущелья, пользуясь удобством местности, и против ущелий солдаты падали десятками. В последнем перед Сочи — убыхи особенно больно тиснули. Данзас вел колонну мерным шагом, и я, в свою очередь, закричал ему: «Бегом!». Солдаты послушались, и вслед за ними мы засыпали ущелье картечью из пяти каронад.

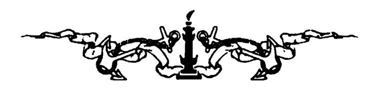
Дошло, наконец, до Сочи наше нерадостное шествие. Видимым плодом экспедиции было занятие горы, командовавшей Сочи, с которой Хаджи-Берзек бомбардировал перед тем укрепление; но результата этого гораздо проще и безопаснее можно было достичь, действуя из самой Сочи.

В представлении М. П. Лазареву о заслугах Станюковича генерал Анреп, изложив свой взгляд на действия начальника эскадры в продолжении семимесячного крейсерства, так переходит к специальному случаю, в котором особенно выказалось усердие Станюковича: «Решив движение отряда из Адлера в Сочи, по укрепленному 28-верстному дефиле (генерал перестроил фикцию в факт и придумал номенклатуру, соответственную отложенному первоначальному намерению, а не действительности), я знал, что оно возможно только при содействии флота; но в этом я не мог сомневаться и был уверен, что в случае надобности контр-адмирал Станюкович сделает невозможное. События оправдали мою уверенность».

При движении отряда 8, 9 и 10 октября по прибрежью между укреплениями Св. Духа и Навагинским (Адлером и Сочи) два парохода вели на бакштове[28] корабль «Три иерарха» и фрегат «Агатополь» на ближний картечный, а иногда и на ружейный выстрел от берега; они обстреливали местность впереди авангарда, очищали долины и сбивали прочные завалы, устроенные горцами по всему берегу. Мелкие суда эскадры, пользуясь легким юго-восточным ветром, следовали за арьергардом и не допускали там неприятеля собираться. Все эти распоряжения делались по условленным сигналам с точностью, которая не оставляла ничего желать лучшего.

«Между тем азовские лодки[29] и вооруженные баркасы с флота обстреливали картечью берег на ближайшем расстоянии и перевозили на суда убитых и раненых; последние находили там скорую помощь и истинно братское участие... В. П. известны дарования, морская опытность и заслуги контр-адмирала Станюковича; я, с своей стороны, могу только доложить, что не в силах человека было оказать более усердия, готовности для успеха в этом трехдневном бое».

Не было ни дефиле, ни успеха, разве весьма относительного. Никто не ожидает точности в официальных реляциях. Степень искажения истины, по самолюбию или чувству самосохранения, зависит от правил пишущего. Есть, однако ж, пределы, полагаемые тем же чувством заботливости о себе, напоминающим о возможности несогласия соучастников с взглядами оправдывающегося деятеля. Впоследствии, коротая крейсерство, я составил для «Морского сборника» статью «Короткий глас в прошедшее», в которой правдиво, но весьма умеренно изложил обстоятельства перехода. Анреп уже не командовал линией. Сочли, однако ж, нужным послать статью на его рецензию, и она явилась, преобразованная с милой шуткой в выноске. Редакция «была уверена, что исправления участником увенчают ее занимательность». Цензура — немой оратор, поражающий весьма действительными, хотя и бессловесными доводами.



ГЛАВА III

ВОСТОК В СОРОКОВЫХ ГОДАХ

Первый поход за границу. Босфор. Сдатие места. Успехи католицизма. Греция в начале царствования баварской династии. Катакази, Lagréné, Lyons, Lalande, Stopfod, Непир, La Susse, принц Жуанвильский.

18-ти лет я отправился в первое заграничное путешествие.[30] При первом моем знакомстве с поэтическими берегами Босфора и Средиземного моря беспечное мичманство рыскало с восторгом по славному прошедшему и прелестному настоящему, дотоле доступному только воображению, а теперь представлявшемуся воочию, наполнявшему душу, жадную еще к впечатлениям.

Не трудно было мне, юноше, знакомиться с поэтическим веком. Требования возраста, искавшего наслаждений и в настоящем, не мешали изучать прошедшее, и легко переходил я от утомляющего наблюдательностью Анахарсиса, через сплинозного Байрона к настоящим выродившимся обитателям Эллады, находя одинаково занимательными рассказы пораженного греческим строем пытливого скифа, строфы причудливого островитянина и суетность нынешних греков, растящих мельчайшие страсти на классической почве предков.

Но чтоб восхищаться местами, на которых древний мир оставил величественные признаки своего существования, русскому моряку следовало каждый раз испрашивать разрешения новой власти, выкинутой течением исторических событий на живописные берега Босфора. В екатерининское время мы беспрепятственно сообщались с Средиземным морем. Если б мудрая правительница продолжала преследовать восточный проект, вероятно, проливы еще при ней были бы навсегда объявлены свободными, и не пришлось бы нам устилать трупами пространство от Дуная до Босфора. К сожалению, в последние годы царствования ясный ум императрицы подернуло страхом французской революции, и политика наша совратилась с естественного пути. Впоследствии выдумали равновесие — и мусульманская болячка упорно привилась к христианскому телу Европы.

В описываемое мною время влияние наше на Босфоре, благодаря Адрианопольскому миру и позднейшей помощи, оказанной султану против Мехмета-Али, было весьма сильным. Махмуд доживал в убеждении, что русский царь самый бескорыстный его союзник. Какие перемены совершились в самое короткое время! Друзья стали недругами, влияние наше заменилось господством запада, и самая сила, которая наряду с дружбой упрочивала это влияние, исчезла в странно предпринятой и еще страннее веденной неравной войне. Твердого, свыкшегося с Россией в борьбе и

союзе Махмуда заменил неопытный 20-летний Абдул-Меджид. Наши интересы ускользнули из ловких рук А. П. Бутенева, главное же, Николай Павлович, возгордившийся весом, который имел в делах Европы со времени буржуазной французской революции, разбрасывал свое политическое значение по кафедрам германских университетов, разил своими перунами профессоров, тешился покорностью тронов, не замечая, что поднимаются против него народы, и готовил общее на нас восстание. А казалось, легко было справиться с гаремным юношей, заступившим твердого Махмуда!

Многое изменилось с 24 июля 1843 года, когда мягкий словом, но твердый волей Бутенев после тринадцатилетнего господства на Босфоре вручал новому султану свои отзывные грамоты. Нас проводили залами беглербейского дворца, уставленными подарками гиперборейского царя,[31] и сам брат солнца, шурин луны, свет, ниспосланный Аллахом на вселенную, неисчерпаемый кладезь мудрости — 20-летний Абдул, противно обычаю, трепетно привставал с дивана, произнося имя своего северного друга. Через два года значение русского императора выразилось еще раз приемом, сделанным юному тогда генерал-адмиралу.[32] Затем бесполезное требование выдачи Бема и товарищей после нерасчетливой помощи, оказанной Австрии, нанесло первый удар нашему влиянию, но Порта изведала уже возможность быть виновной перед Россией, а в таких случаях труден первый шаг. Из дипломатической бравады 1849 года вырос грозный бедами 1854 год.

В сороковых годах подрастали еще Фуад и Али, так действительно освободившие Турцию от единичного нашего влияния и связавшие ее коллективным попечительством великих держав. Фуад уже бывал при разных европейских дворах. Впоследствии я познакомился с ним ближе по поводу беспорядков в Ливане, куда привела нас судьба в иных положениях, но помню, что в первый раз мы встретились на бале, который давал В. П. Титов по случаю инвеституры[33] новых господарей Молдавии и Валахии. В пустом разговоре о европейских развлечениях Фуад утверждал, что в вопросе об удовольствиях все зависит от большей или меньшей свободы взгляда. Независимость, или лучше своеобразность, его взгляда, чуждого привычки, осталась у меня в памяти, и через двадцать лет я напомнил о случае полномочному комиссару. Свободный от всяких предрассудков, Фуад рубил тогда турецкие головы для успокоения взволнованной дамасской резней Европы. Ревность Европы к status quo[34] на Босфоре едва ли имеет причины продолжаться после открытия Суэцкого канала и ввиду попыток соединить Средиземное море с Индийским океаном железной дорогой. Для Среднеазийского Востока точно так же, как для Индийского, проложена новая легчайшая путина; а раз что обеспечена торговля, политическая зависть скоро уляжется в наше меркантильное время. Босфор будет важен исключительно для России, и к нему снова должны возвратиться все усилия нашей дипломатии; на них только не будет преступно тратить средства и мощь русского народа. Константинополь станет, по выражению императора Александра Павловича, только «дверью в наш дом», и долго ли будет 80-миллионное население терпеть привратника, противного его выгодам и воле?

Случилось мне видеть Турцию и во время самой оживленной борьбы за влияние на Босфоре. Всякий лечил «больного человека»[35] по-своему. Гатти-шерифы и танзиматы высыпали наружу Оттоманской империи вследствие предписаний европейских докторов, но, выгнавши их, медики не соглашались в дальнейшем лечении. Временно оставленный в покое турецкий организм снова втягивал худосочие, разлагался более и более, опять подвергался чистительному режиму и, наконец, починенный и приободренный, впущен в общеевропейский мир.

Из похождений моих по турецкому кочевью, путешествие к святым местам, конечно, более других случайностей осталось не только

в памяти, но и в духовных представлениях прошлого. Жалобно начало ныть утомленное сердце, когда при входе в храм Гроба Господня я увидел мусульманскую стражу, нисколько не стеснявшуюся значением места и цинически отправлявшую все требования жизни. Еще более поразила меня причина, по которой присутствие стражников сделалось печальной необходимостью. Поклонники различных христианских исповеданий до того озлобляются друг против друга, что нередко случаются драки у самого гроба, у мест, ознаменованных последними земными подвигами того, кто учил милосердию и любви. К цинизму пришельцев присоединяется болтливость местных духовных чичероне, считающих обязанностью делать пояснения на факты, которые разъясняются несравненно понятнее божественной книгой Нового завета, и прибавляющих собственные комментарии на случайности новейшего времени.

25 лет назад католицизм довольствовался в святых местах убогим проявлением. Портрет Людовика-Филиппа в католической части храма представлял едва ли не единственное вещественное приношение католического мира. С тех пор удобство сообщений и политические перемены возвысили западную церковь в ущерб восточной, и католики приобрели громадное значение. Католицизм показал туземцам, что земное благосостояние не враждебно христианскому учению, и они жадно бросились на соблазнительную приманку, преподнесенную изворотливым и вкрадчивым Валергой.

Что касается до общехристианского вопроса на Востоке, служащего предлогом всех попыток изменить существующее там положение дел, странно, как могли не согласиться христианские правительства в случайностях, представлявшихся вследствие соперничества Мехмета-Али с султаном. В 1833 году главными деятелями были мы, в 1840 – Западная Европа, за исключением Франции. Политика и религиозное чувство были бы удовлетворены образованием между противниками нейтральной полосы, за независимостью которой Европа следила бы тем более зорко, что в ней хранится залог верования ее народов. В особенности в последнюю турецко-египетскую войну предстоял к тому удобный случай; но, участвуя в ней только наградами, мы не могли иметь решающего голоса в окончательном устройстве турецко-египетских дел, а англичан пугал тот же меркантильный призрак, и они удовольствовались суетной славой сочетать имена Розов, Стопфордов и Непиров с остатками финикийской истории. Легкое, но бесплодное торжество, имевшее в глазах людей посвященных даже шуточный характер. Каждый, впрочем, может заключить, больших ли усилий стоило разгромить беззащитный Бейрут или взять приступом едва стоявшие стены Сидона. Самая Акра, Гибралтар Сирии, некогда остановивший Наполеона, была разрушена фокусом. Английский пароход, делавший рекогносцировку, наметил буями место для кораблей, назначенных атаковать крепость. Египтяне, наведя заблаговременно орудия на положенные знаки, для избежания лишнего урона завалили нижнюю часть амбразур плотно убитым песком и щебнем в уверенности, что не придется понижать пушек; а союзники стали ближе, и все крепостные снаряды перелетали за них. Подобные удачные хитрости удовлетворили самолюбие ополчившейся Европы и заставили забыть не только святое прошедшее, но и грозившую опасность общеевропейской войны в настоящем.

Часть молодости моей прошла в сношениях с представителями европейского разногласия на Востоке. Кроме дипломатического представительства, каждая нация держала в водах Архипелага силы более или менее значительные, смотря по состоянию политического барометра. Соединение больших флотов в Смирне и в Пирее имело влияние на местную жизнь и придавало обществу европейский оттенок. В Греции, этой колыбели народного правления, после неудачной попытки восстановления прерванных преданий в лице Каподистрии сочли нужным иметь двор с до-

рогостоящей его внешностью и сокровенными интригами. Может быть, под влиянием монархической Европы монархическое правление утвердится и на свободной с начала исторических времен почве Греции, несмотря на воспоминания, возбуждаемые дивными памятниками республики; но выбор первого монарха не обещал подобного исхода. Если покровительствующие державы желали доказать, что в политике согласие зависит от сочетания самых разнородных, даже противоположных элементов, такой эксперимент указывал, конечно, на выбор правителя из германской расы. Поэтический склад греческого народа, ухватывающегося за все, что может возбудить восторг, и охотно ему предающегося, поставили лицом к лицу с натянутостью немецкого феодализма, хранящего связывающий этикет, как догмат, укрепляющего им значение микроскопических престолов.

В мое время только что сотворили для Греции короля.[36] Самолюбие греков было временно удовлетворено этим признаком равенства вновь созданной страны с другими государствами Европы. К тому же король был молод, а королева, не только как королева, но как женщина, хотела нравиться. Я был свидетелем восторга, с которым встречали царственную чету, в особенности красавицу Амалию, в первые годы их царения, и через двадцать с небольшим лет пришлось мне видеть тот же восторг по поводу отъезда царственной четы в изгнание. За ними не оставалось наследника, и греко-баварская линия представляет с трудом уловимое мгновение в греческой истории.

Я назвал прежде представителей европейских государств на Востоке представителями европейского разногласия. В самом деле, посланники покровительствующих правительств соединялись только их поварами и заимствованной у туземного общества страстью к необузданной игре. Специальное назначение их состояло в разложении населения соответственно видам их правительств и собственным взглядам, в образовании партий. Ни для кого не казалось странным, говоря о выдающейся туземной личности, делать прежде всего вопрос, к какой партии она принадлежала, и получать в ответ — русской, английской или французской. Греков будто не было, и туземцы чванились преданностью посланникам как гражданской доблестью. Нашему представителю, Г. А. Катакази, родом греку, единоверие народов и собственное происхождение облегчали путь к влиянию, которое могло быть весьма полезно для России, пока любовь к Греции не пересиливала чувства долга, но происшествия 1843 года представили еще раз доказательство неосторожности вверять интересы государства людям, чуждым его народности. Катакази испил горькую чашу за свои действия в пользу вытребованной от Оттона конституции. Всякий, кто знал его, конечно, не припишет его поведение к самостоятельности, решившейся не соглашаться во взглядах даже с Николаем Павловичем. Во всяком случае, ему следовало откровенно признать себя неспособным жертвовать пользой Греции для выгод русского правительства и удалиться, а не оставаться со всеми выгодами русского посланника и употреблять их на цели, несогласные с видами правительства.

Единственными представителями русской народности в Греции были мы, моряки. Наш официальный защитник и покровитель был к нам равнодушен до того, что мы находили развлечение и встречали принятое в общественных отношениях внимание преимущественно в домах французского посланника Lagréné, женатого на русской, и английского Lyons'а, моряка, принимавшего нас как собратов по оружию. Причины холодности Катакази крылись в прежних его сношениях с флотом, именно с эскадрой графа Л. П. Гейдена, при котором он состоял в качестве дипломатического чиновника. Вид моряков живо напомнил ему Наварин и переходившее за пределы равнодушия участие, принятое им в сражении. Lagréné помнил петербургское радушие, и жена его не считала соотечественников за невеж, недостойных ее салона.

Адмирал Lyons более других возбуждал в нас сочувствие. Профессиональное сродство, конечно, играло в наших отношениях немаловажную роль, но и личность почтенного моряка немало усиливала к нему наше уважение. Он держал себя совершенно отлично от прочих. Долгая служба на корабле, где все поступки явны, откровенны, не допустила привиться к нему дипломатической недоверчивости, излишней осторожности, опасения компрометироваться, которые так оскорбляют каждого, находящегося в общественных отношениях с дипломатами. Он остался радушным, не тревожащимся страхом случайностей моряком. Откровенность ему нравилась, и нередко он с терпением выслушивал наши рассуждения о сравнительном положении русского и английского флотов, очевидно, загораясь сам огнем, который подогревал наши юные умствования. Иногда он снисходил даже до полуполитических бесед с нами; я помню диспут, который имел с ним насчет Канады и вообще английских колоний. Lyons утверждал, что со времени войны за американскую независимость система английского правительства состоит в том, чтоб допускать в заморских владениях возможную самостоятельность и вовсе не противиться их независимости. Разговор шел по случаю высказанного тогда Канадой желания отделиться от Англии. «Поэтому, — возразил я, — все Ваши действия в Индии и, согласитесь, многие из них подлежат осуждению — не имеют извинения даже в государственных требованиях. — Вы смотрите ошибочно, — отвечал Lyons, — Индия не колония, а владение — that is a pocession, not a colony». Спор врезался у меня в памяти как проявление условности английского либерализма.

В сороковых годах пар не сообщил еще флотам подвижности, и морские державы, как я прежде сказал, содержали в Леванте, на самом месте возможности разногласий, большие силы. Последняя борьба Мехмета-Али с Портой заключила этот обычай. Вслед за ней корабли превратились в пароходы и в случае надобности могли прибыть в Архипелаг через несколько дней из Мальты и Тулона. Постоянное присутствие значительных сил, готовых поддержать требования правительств, стало дорогостоящей роскошью; но в мое время Пирей и Смирна были портами первенствующих держав. Соперничество военных судов различных наций представляло для моряков обстоятельства весьма возбудительного свойства. Много удали разнообразило собственно служебную жизнь нашу. Технические споры, кончавшиеся проверкой мнений на деле, гонки, пари и всякого рода состязания, вводили в дело жизненность и держали нас в вечном напряжении; не только незаметно, но приятно готовились мы к строгому испытанию, ожидавшему нас по возвращении в Черное море. Тесная афинская гавань, испещренная флагами всех наций, была ареной наших Олимпийских игр, в которых, вспоминаю с гордостью, мы нередко бывали победителями. Собраты по оружию, весьма хорошо понимавшие, что совершенство на море достигается не проповедью, приписывали наши успехи ревности и любви к профессии; но праздные критики, а их в Греции более, нежели где-нибудь, относили все к кнуту, единственному, по мнению их, двигателю России. По этому случаю не могу забыть преоригинального анекдота. В одном из афинских журналов, наблюдавшем за состязанием на Пирейском рейде, объясняли победу нашей шхуны зверским обращением командира с подчиненными, прибавляя, что от русских, этих впущенных в Европу татар, иного и ожидать невозможно. Командир шхуны, носивший французскую фамилию, ответил статьей от чужого имени, в которой ограничился одним только опровержением — именно, что фамилия явно указывает на французское его происхождение. Это заставило смеяться друзей и недругов и своеобразного полемиста более не задевали.

Достойно завершалась эра парусного мореплавания в водах классического Леванта. Английский флот, в старческих руках адмирала

Стопфорда, вращался нравственно на помощнике его, шумном Непире. Как все Непиры, он соединял славолюбие с словолюбием и способностью к действительному делу. Последующее его бездействие перед Кронштадтом показывает только силу рутины английского адмиралтейства, державшегося старых деревянных стен до того, что они стали положительно негодны к военным предприятиям, а никак не слабость духа начальника. Конечно, эти деревянные стены долго охраняли Англию, за ними хранилась бездна славы, но можно было вовремя одуматься и приготовить соответственные борьбе в новых условиях средства. Непир виноват в том только, что сам разделял отчасти заблуждения адмиралтейства и по фамильному недостатку слишком болтливо приступил к делу.

Французским флотом командовал также старец – живой Lalande, сын знаменитого астронома. Подобных людей уже не встречаем более в расшатавшемся французском обществе. В Lalande'е с скромностью, внешней мягкостью и любезностью старой французской школы соединялись основательные знания, твердость и уважительная неспособность мириться с различными началами и знаменами. Нельзя было поручить лучшим рукам принца Жуанвильского надежду французского флота, тогда только возрождавшегося после революционного разгрома. Молодой «великий адмирал» командовал фрегатом «Belle-Poule» и вместе исправлял должность начальника штаба. В эскадре Lalande'a были, впрочем, соединены обрывки всех эпох, так быстро следовавших одна за другой во Франции. Помощник его La Susse, впоследствии его заменивший, был строгий муштровщик, но ничего более. Не раз говаривал он мне очень наивно, что желал бы служить в России, где муштровать можно во всю охоту, во Франции же встречались иногда препятствия.

Убеленный временем адмирал был большой почитатель прекрасного пола, в чем, конечно, нет ничего дурного, но офицер, и даже командир, становившийся его соперником, тотчас удалялся под служебным предлогом. Не знаю, имел ли La Susse основание думать, что в России муштра въедается в человека до того, что душит самые нежные и сокровенные чувства, только tant va la cruche a l'eau qu'a la fin elle se brise.[37] Новое правительство назначило его командовать флотом в последнем восточном столкновении. Втянувши в дело Англию, Наполеон, естественно, желал быть коновожатым, а La Susse увлекся в Афинах на пути к славе коварной ее сестрой и соперницей и опоздал придти к Дарданеллам, где неувлекающиеся британцы опередили его. Нежно настроенный адмирал был заменен Hamelin'ом и заснул навеки под тюльерийскими каштанами, в виду гордого еще флага, покаравшего его цесаря. Впрочем, не ему было пенять на произвол власти и силы. В своем рвении поддерживать дисциплину La Susse постоянно оскорблял душу дисциплины – закон. Однажды в моем присутствии он велел наказать матроса. Командир корабля заметил, что закон требует обсуждения вины комиссией из трех лиц. «Вот вам три лица, – возразил без всякого обсуждения La Susse, – я, вы и La Roncière»; последний стоял около адмирала как его адъютант. La Susse же доставил мне случай видеть наказание, которое я знал только из заплесненных фолиантов голландских и петровских уставов – купание с райны. Положим, у нас наказывали телесно, точно так же, как у французов, и несравненно человечней, нежели у англичан, но мы делали это келейно.

Между служебными обязанностями и общественными развлечениями находилось время для оживления классических воспоминаний в тех самых местах, где зародились факты. Не довольствуясь случайностями, которые доставляла служба, мы скитались по Элладе на лошаках, ослах и на прибрежных лодках, в которых не было недостатка среди морского населения.

Юношеское мое знакомство с отчизной Аристида и Фемистокла продолжалось восемнадцать месяцев и прервалось в двадцать лет от роду.

ГЛАВА IV

ПАЛЕРМСКАЯ ОДИССЕЯ 1845–1846 гг.

Плавание в придворных водах. Первая встреча с великим князем Константином Николаевичем. Палермская Одиссея. Легко ли при дворе ответить на вопрос о погоде? Государь в Неаполе и Риме. Прибытие Великого Князя Константина Николаевича. Мальта и сэр Уильям Паркер. Итальянский карнавал.

В числе служебных случайностей, имевших влияние на последующую жизнь мою, встреча с великим князем Константином Николаевичем занимает бесспорно самое знаменательное место. Государь послал его в 1845 году посмотреть на Черноморский флот, на часть тех сил, которые со временем должны были подчиниться его влиянию. М. П. Лазарева уведомили, что к нему «явится лейтенант для служения под его начальством». Чуждый придворного этикета, адмирал принял молодого великого князя совершенно по-начальнически, относя официальные вежливости к его ментору, Ф. П. Литке. Не знаю, как истолковали простоту адмирала в Петербурге, но окружавшим великого князя прием показался весьма странным. Вместо строя разнокалиберных эполет и разноцветных мундиров, к которым привык глаз августейшего путешественника, его встретил в прихожей адмиральского дома адъютант, а начальник ждал в приемной зале, где и произошла первая встреча, заключилось первое знакомство.

Служба Константина Николаевича в Черноморском флоте началась прогулкой в Константинополь и по Архипелагу на пароходе «Бессарабия», изготовленном заблаговременно. Персонал парохода был набран исключительно для этого случая, в числе офицеров, с которыми не опасались познакомить юного генерал-адмирала, находился я. За исключением Ф. С. Лутковского, Великого Князя окружали люди с нерусскими именами. Случайность эта, помню, очень огорчала всех нас, черноморцев, считавших себя вправе думать, что и коренные русские способны на полезное. Но во главе иностранного великокняжеского дома стоял человек, утерявший партикуляризм в деятельной службе на море. Литке тогда уже считался членом немецкой партии, но в долгих сношениях с различными национальностями побледнела его собственная. Литке был холоден до важности, несколько резок и сух, как морской сухарь; но эти недостатки свойственны многим русским, невыкупающими их достоинствами приставленного к Константину Николаевичу ментора.

Мальчик генерал-адмирал (ему было тогда 17 лет) был чрезвычайно любознателен, соображал новые, не представлявшиеся ему еще факты и вопросы с сметливостью, которой завидовал изощренный уже опытом ум, и был необыкновенно честолюбив в лучшем смысле слова: ему хотелось делать все ловче и смыш-

леннее других. Недостатки и промахи великого князя происходили от порывистости, вызываемой педантским усилием обуздать довольно независимую природу. Литке находил непристойное или недолжное там, где каждый свободный от предвзятого взгляда увидел бы только следствие невинной резвости, и останавливал питомца, в высшей степени самолюбивого, жесткими замечаниями. В продолжение месячного плавания, где все были ежечасно лицом к лицу, я беспрестанно слышал между Литке и великим князем разговоры и споры о научных предметах, но никогда не был свидетелем рассуждений о нравственных вопросах, преимущественно направляющих жизнь, указывающих ей должную торную тропу.

Первый, если не ошибаюсь, из христиан Великий Князь был впущен в мечеть Иова (Эйуба), где совершается коронация султанов, препоясывающих меч Османа. Дозволение это было сочтено всеми за особый знак внимания Порты к сыну русского Императора. Впрочем, султан всячески старался выказать уважение своему гостю и принимал его с пышным восточным радушием. Казалось бы, весьма пристойно было генерал-адмиралу представиться падишаху окруженным моряками, но в силу какого-то расчета миссии мы лишены были этой чести. В доказательство того, что невнимание к сослуживцам исходило не от великого князя и его руководителей, скромные пени наши дошли куда следует, и при прощальной аудиенции моряки присутствовали.

Пароход обошел с августейшим своим пассажиром некоторые порты Мраморного моря и Архипелага и в заключение пристал к Святой горе, против русского монастыря. Великого князя к посещению побуждало положение, им занимаемое в чтущей Афон России. Не решаюсь через столько лет утверждать верность моих впечатлений, но не могу скрыть, что в давно минувший момент посещение Константином Николаевичем Афона пристально наблюдавший за ним очевидец внес в свои заметки неприятное для него самого обвинение: «Князь вышел на берег с равнодушием англичанина, разгоняющего сплин».

Мы разделились на две партии для осмотра афонских святилищ по недостатку помещения в монастырях. Великий Князь начал с севера, а наша партия с юга. Весть о прибытии к Горе царского сына обнеслась мгновенно по всем монастырям и скитам. Естественно, его ждали с нетерпением, и в Иверской обители на нашу долю выпали изготовленные для него почести. Иноки вышли далеко за стены монастыря и, заключивши, что младший из нас по наружности великий князь, привязались к весьма молодому офицеру, лобызали его ноги и выказывали всячески свою радость. Весь хор монастырских колоколов приветствовал наше шествие. Никто не мог выяснить заблуждения по незнанию греческого языка и, подходя к кресту, который держал на паперти храма архимандрит в полном облачении, сконфуженный капитан наш жалобным голосом просил как-нибудь исправить ошибку, объяснить, что между нами великого князя нет. «Как нет!», — отвечал сердитый русский звук из-под митры. Архимандрит бывал в России, говорил по-русски и сначала огорчился ролью, которую придала ему случайность, но тотчас смирение сана взяло верх, и братия искренне радовалась и неважным посетителям.

По возвращении в Россию генерал-адмирал, чтоб не терять времени, выдерживал карантин в крейсерстве с эскадрой, нарочно для него приготовленной.

В половине сороковых годов возвращавшиеся с востока подвергались еще трехнедельной обсервации.[38] Хлор и марганец не считались уже необходимыми для очищения путешественников, но по-прежнему оставалась неодолимая скука самого несносного из заключений среди кипящей вокруг жизни, без всякой возможности участия в общей суете. «Бессарабии», впрочем, посчастливилось.

Плавание с генерал-адмиралом было только началом знакомства моего с двором и его условиями, представляющимися чем-то таин-

ственным и заманчивым, живущим обычной общественной жизнью. Едва успели мы переболтать о подробностях всех занимавшего путешествия с будущим начальником флота, прискакал фельдъегерь с приказанием государя послать «Бессарабию» в Геную, куда направлялась императрица Александра Федоровна, искавшая сил в живительном климате Сицилии. Генерал-адмирал по окончании крейсерства на Черном море поспешил в Петербург и там должен был сесть на эскадру, отправлявшуюся в средиземные воды для надобностей и развлечения державной путешественницы. Государю хотелось, чтоб сын встретил знакомых, и «Бессарабия» отправилась, не теряя времени, по назначению с тем же составом офицеров.

Мы не сообщались с Константинополем, желая прийти на место с чистым патентом,[39] схватили только на лету новость о падении недавно еще всемогущего Риза-паши и через восемь суток стояли в «гордой Генуе», готовые принять высокую гостью. Расчеты двора всегда оказываются неверными; множество соображений, которые не придут и в ум простого смертного, нарушают их точность. Так случилось и в этот раз. Что-то задержало в Петербурге саму императрицу, а в Милане на нее набежало внезапно известие о скором прибытии государя. Облетев юг России, сделав смотр Черноморскому флоту, державный супруг спешил устроить лично немощную жену в зимнем ее убежище.

Целых полтора месяца ждали мы гостей, уже не без тревоги с тех пор, как сделалось известным прибытие грозного властелина. Время это я употребил на изучение исторического города, лишенное уже, вследствие наросста лет, поэзии первого беглого знакомства с Италией в 1839 году. Судьба определила нам плавать в придворных водах. Мы застали в Генуе великую княгиню Елену Павловну с двумя дочерьми и супругом Елисаветы Михайловны, герцогом Адольфом Нассауским. Она жила на Villa di Serra, у западных ворот города, пользуясь возможным вниманием местных сардинских властей и очаровывая взамен всех, кто находился с нею в сношениях. Великая Княгиня, и впоследствии сохранившая неистощимый капитал любезности, тратила эту монету принцев с искусством и ловкостью опытного банкира, убежденного в огромных процентах. К сожалению, далеко не все принцы понимают, что дешевый для них не бумажный даже знак ценится всеми, что им так легко спекулировать и приобретать много без малейшего риска. Елена Павловна подарила нас несколькими посещениями.

В Генуе присоединился к нам из Балтики пароход «Камчатка», на котором императорская фамилия в то время обыкновенно совершала путешествия. Командир ее И. И. Шанц посмотрел недружелюбным взглядом на расположение к нам Елены Павловны и начал подозревать, что хотят косить у него под ногами, в особенности когда Великая Княгиня избрала перед отъездом наш пароход, как прощальный пункт со всеми генуэзскими властями, хотя «Камчатка» представляла более обширное и удобное помещение. Скоро начали говорить явно, что императрица предпочтет для перехода на Сицилию «Бессарабию», и прибывший министр двора, князь П. М. Волконский, чуя, откуда дул ветер, кончил осмотр «Камчатки» замечанием о чрезвычайной сложности ее машины. «Лопнет винтик, — прибавил князь, — и полетишь в небо. — Хорошо, если в небо, — возразил Шанц, — а как к ч...». Шанц, шероховатый моряк с несомненными достоинствами, избрал оригинальность как средство утвердиться в известном положении. Свойский ум финляндца угадал верно: Николай Павлович до самой кончины выносил его оригинальность, привык к ней, а привычка была одним из составных элементов самобытной натуры покойного императора. И в этом случае он не изменил ей, нашел «Бессарабию» тесной и отдался тому же Шанцу, покончив решительным словом всю поднявшуюся на него интригу.

За несколько дней перед прибытием русского монарха въехал в свою вечно хмурившуюся Геную Карл-Альберт, тогда еще не намагнетизированный объединитель Италии, а полновластный правитель скромного Пьемонта. Как бы ни был ограничен круг его влияния, Карл-Альберт ревниво стерег свое самодержавие. Опыт полной случайностей жизни утвердил его во мнении, что несравненно выгоднее и спокойнее сажать непокорных подданных в крепости, нежели брать их штурмом. Монарх был одним из самых твердых поборников абсолютизма.

Настал, наконец, знаменательный день. Император, въехавши в Геную, представился тотчас королю и вслед за тем посетил наш пароход с принцем Кариньянским. Не было конца похвалам только что осмотренному Черноморскому флоту; Николай Павлович, видимо, хотел сразу пленить наши служебные сердца и сказал вступившему в командование обоими пароходами графу Гейдену, что ему такой флот во сне не снился.

Тотчас по отъезде с парохода императора мы поспешили в Bisagno, высохшее лоно реки, обтекающей Геную с востока, где Карл-Альберт в честь смотролюбивого гостя собрал свою небольшую, но разумно и действительно созданную армию. Крутые берега были усеяны зрителями, и лоно реки представляло сцену, на которой не могло укрыться малейшее движение. Величественный северный монарх явился перед сроднившимся с изяществом населением в кафтане, удачно драпировавшем его классические формы. Толпа клокотала сдерживаемым восторгом, когда перед ней в духе и плоти красовался образ, переносивший мысль к чудным мифологическим типам, ей знакомым по бесчисленным хранилищам. Николай Павлович объехал линии и стал Марсом среди окаймленного живыми цветами поля. Будущий страдалец Кустоццы повел свои темные ряды мимо сочувствовавшего ему еще гостя. От чествуемого властелина края, над которым не заходит солнце, также далека была тогда мысль, что померкнет и его звезда, что и он испытает превратность судьбы... Принявши военную почесть, государь ловко подскакал к королю и отблагодарил братским поцелуем. Окружные горы встрясло восторгом, и едва ли не в первый раз Николай Павлович подвергся вульгарному процессу рукоплесканий.

Время, проведенное в Генуе, употреблено на различные царские забавы, и в день нашего отплытия весь город был на воде, провожая ликованиями царствующую чету.

Обычные награды оставили разноцветный след свой за царским посещением Генуи. И под голубым сводом эти мишурные блестки производят те же влияния, что под свинцовым северным небом, где иначе знали бы звезды только по астрономическим атласам или по аллегорическим изречениям поэтов. На всякую сияющую звезду обыкновенно приходятся десятки нахмуренных ликов, не попавших в число избранных. Так и в Генуе генерал-губернатор маркиз Паулуччи очень огорчился Владимирской лентой.

В Палермо встретили высоких путешественников все сицилийские экс-гранды, утешавшиеся в потере вице-королевского значения родного острова различными придворными обязанностями при Фердинанде, темничной памяти. По истинно отвратительному обычаи неаполитанского двора дамы бросались к руке государя и привели его в неописанное смущение. Легко вообразить чувства Николая Павловича, справедливо считавшего себя как нельзя более мужчиной, когда к нему обращались с любезностями, предназначенными нежному полу. Впрочем, пораженный рыцарь схоронил отвращение и тотчас начал устраивать в своей средиземной колонии своеобразный порядок. Кавалерский стол и развлекательные вечера начались с первого дня, как в Петергофе. Также внезапно государь являлся, где его менее ожидали, и с тем же постоянством вместо отдохновения занимался муштрой. Русская почва, представляемая в силу ин-

тернациональных законов двумя пароходами, вводила государя в легкое и всегда приятное для него искушение. По ней же носились и громы его, бессильные на чужбине; впрочем, Николай Павлович хотел быть милостивым, насколько мог, и лишь изредка легкие порывы осиливали успокоительное влияние зелени померанцев и мирт. Не менее того эти дуновения Борея достались преимущественно на мою долю. В одну из экзерциций, которые производил государь, чтоб не терять привычки, матросы второпях продели наоборот какую-то веревку, и маневр замедлился. На вопрос государя «кто виноват» оробевший командир мой указал на меня, ни в чем не повинного, и высочайшие уста изрекли мне заточение на 24 часа. Впрочем, от «Бессарабии» до Оливуцы было недалеко. Через несколько часов плен мой кончился, и в тот же вечер я участвовал в оливуцких развлечениях.

Болезнь императрицы, ожидания местного общества, требования службы — все было принято в расчет сообразительным владыкой. В Оливуцу начали собираться дважды в неделю: по вторникам исключительно русская колония, а по воскресеньям все палермитанское общество, имевшее приезд ко двору; порядок этот соблюдался и по отъезде учредителя. Трудно было изменить им заведенное. Однажды мы явились поздно, и на замечание государя мичман Авинов возразил, что мы не могли добыть экипажей и пришли пешком — так и брякнул. Шувалова покоробило, в суставах его пронеслась дрожь. Николай Павлович так пронизал его взглядом, что с той поры за нами присылали более экипажей, нежели нужно.

Воскресные парады, разумеется, шли своим чередом. Не забывались ни выходы, ни представления. В Палермо приехали по болезни, но все-таки приехал двор, где запрещено болеть до нарушения требований представительности. К тому же визит хозяина обетованной земли требовал известных церемоний. Страшный Bomba скоро явился приветствовать гостей, но с подобающим смирением, хотя и старался приободриться перед северным витязем всей высотой фальшивых внутренних каблуков. Его неаполитанское величество прибыл на одном из прекрасных для того времени своих пароходов. В виду всех наехавшие встретить повелителя quasi — верные подданные пали вместе с ним на колени с благодарной молитвой о благополучном его путешествии. За взаимными приветствиями монархов последовали представления окружающих. Наш поклон королю совпал с приемом сицилийского общества, и мы снова были свидетелями лобызания дамами мужских рук, на этот раз не избегавших прикосновения розовых губок.

Пошли и здесь венценосные забавы. Коекакое войско было собрано для услаждения самого быстрого строевого взгляда Европы. Воины Фердинанда, годные на дело сбиров, в котором преимущественно их упражняли, не показались грозными Николаю Павловичу. Вероятно, государь невысоко ценил неаполитанское войско, иначе не ответил бы приглашением Фердинанда посмотреть его смоленых ратников на «Камчатке». Как ни силился Николай Павлович наперекор силе вещей выпрямить сгибаемого специальной службой матроса и привить к разумному труженику, от которого стихии требуют соображения и находчивости, мертвящий дух темпистики и шагистики, дело не спорилось, не подчинялось даже его воле. Чтоб поразить Фердинанда последним впечатлением, государь взял ружье и повертел им с отменным искусством; король, подражая, неловкостью своей напомнил матросам пословицу о конском копыте и раковой клешне. После турнира на палубе «Камчатки» рыцари строя расстались заклятыми друзьями, и Фердинанд, всегда опасавшийся потрясений в огнедышащей своей столице, скоро отправился под охранительные пушки Сант-Эльмо.

Наезжали и другие посетители, между прочими французский посланник при неаполитанском дворе герцог Монтебелло, бывший впоследствии представителем у нас второй

Империи. Не помогло, однако ж, герцогу происхождение от одного из лучших военных людей наполеоновской эпохи, которой Николай Павлович прощал ее революционное рождение ради военной славы и успешного подавления революции. Монтебелло ответили, что в Палермо нет русского императора, а граф Романов желает отдохнуть в кругу друзей и в тишине частной жизни. Нерасположение покойного государя к узурпатору Людовику-Филиппу не прекращалось до самого переворота, изменившего судьбу его. Людовик лег на ложе покрытых плесенью законности Бурбонов, и нераздельно с ним вспоминался Филипп l'Egalité, с его поведением в последние дни старой французской монархии. Такое прошедшее не могло возбудить симпатий откровенного прямого поборника самовластия. Но дорогой ему произвол был возможен лишь при опоре на могучие и терпеливые русские выи; к тому же русский властелин любил Россию. Не мила была любовь, но самое чувство не подлежало сомнению. В атмосфере пресмыкательства и раболепия едва ли возможно было Николаю Павловичу не считать себя неизмеримо совершенней всего, что окружало его. Как бы близко ни стояли подданные к этой поражавшей честной дикостью душе, преданность их не выражалась иначе как подлым страхом, уважение выказывалось только отталкивающей низостью.

Однажды государю захотелось произвести пароходам смотр. Высочайший приезд был обусловлен хорошей погодой. С утра небо хмурилось, и с ним хмурились придворные, придумывая, как ответить на вероятные вопросы государя по-придворному, т. е. ничего не высказывая и отклоняя от себя последствия своенравия атмосферы. Николай Павлович пожелал, наконец, знать, какова погода. Началась страшная суматоха: советовались с местной прислугой, хотели, чтоб садовник Оливуцы стал во что бы то ни было оракулом, справлялись даже, бойко ли кричал петух и кричал ли он, по обыкновению, к хорошей погоде; наконец, когда с «Камчатки» прислали узнать, не отложил ли император намерения, втолкнули посланного в кабинет уже сердившегося повелителя. Чистосердечный лейтенант ответил весьма прямо и просто, что в настоящее время погода не препятствует смотру, и весь ералаш царедворцев разрешился нехитростными словами посланного офицера. Унизанные звездами, стоявшие близко к светилу, привыкшие к лучам его и вдобавок неизменно ими согреваемые, не посмели взять на себя самой ничтожной ответственности.

Устроивши в Палермо перенесенный в него из северной Пальмиры двор, Николай Павлович поспешил к труду через Неаполь и Рим. Честь отвоза выпала в этот раз на нашу долю. Перед отъездом государь получил известие о прибытии великого князя Константина в Англию после бурного перехода из Балтики. Корабль «Ингерманланд» вынес дурную погоду благополучно, но сопровождавший его корвет «Князь Варшавский» расшатало, и нашли нужным чинить его. Государь назвал обстоятельство срамным и сказал нам, что не заплатит ни копейки, а велит отнести все расходы на свидетельствовавшую корвет комиссию. Самодержавец не подозревал, что под ним также были самодержцы, которые не только могли повелеть комиссии найти корвет годным, но даже избавить ее от взыскания, наложенного безграничной царской волей.

Еще раз были мы обласканы в присутствии государя императрицей и великой княжной, прибывшими на наш пароход, и отправились в Неаполь с августейшим пассажиром, уверенным в соблюдении заведенного им строя.

Титул графа Романова, не раз уже мною приведенный, выражал намерение государя путешествовать инкогнито, будто в то же время можно было не узнать повелителя России. Странная прихоть ставила в затруднение иностранные дворы и в особенности озабочивала наших представителей, да и вообще весь служилый люд. На нас оправдывались слова сказки: «Перевернешься — бьют, не довер-

нешься — бьют», и мы решительно не знали, какому святому молиться. В Неаполь мы тоже везли графа Романова. Король встретил нас у Капри, но также инкогнито, не решившись признаться, и под вечер мы бросили якорь у Кастель дель Ово.

Право русской почвы, присущее кораблям, было употреблено в дело и в Неаполе. Не один Везувий метал там пламя. Началось арестом на пароходе присланного из дворца какого-то кнехта,[40] потом явился с тем же назначением камердинер Малышев, объявивший, что им не кончится, что государь очень гневен и будет гневаться долго, если не найдут его туфлей. На другой день под полом царской каюты нашли неугомонные туфли — и Везувий потух. Злобно смеялись мы над жертвами царского гнева, потому что они были виновниками сего. Едва ли какому-либо смертному прислуживали небрежней, чем русскому императору, чуждому прихотей. Он имел миллионы рабов и ни одного лакея.

Неаполь повили лентами и осветили звездами, как Палермо и Геную, и государь переехал в Рим сухим путем. Как раз перед его прибытием слепое орудие ксендзов, глупая полька, наполнила тогда еще католическую Италию воплями об истязаниях, которым подвергли ее в России с целью будто бы принудить к принятию православия. Разумеется, как дело шло о варварской России, всему поверили и даже толковали, что главе католицизма невозможно будет принять его гонителя. Однако ж приняли, и еще так хорошо, что в Чивитта-Веккии, куда мы перешли вслед за государем, патеры радостно сообщали нам, будто оба папы[41] отслужили друг другу обедни. С этой необычайной новостью мы отправились обратно в Палермо, где наивность невежд-патеров всех развеселила и вместе успокоила сомнения.

Не только мы, но и оливуцкие отшельницы вздохнули свободней с отъездом императора. Такова была сила тяготения Николая Павловича, совершенно противная в практике великой теории Ньютона.

Здесь центр надавливал все окружающее, и как бы ни силился суровый царь пленять вниманием и обходительностью, с трепетом принимались его ласки и во временном затишьи все чуяли невольно приближение бури грознее прежних.

Вместо мужа, иногда стеснявшего присутствие, скоро прибыл сын, который мог только придать более живости удовольствиям; а до них покойная императрица, наперекор слабой своей природе, была большая охотница.

Путешествие великого князя имело главной целью развлечение страдавшей матери, но само собой, при удобном случае, он должен был видеть все примечательное на исторических берегах Средиземного моря и дополнить личными наблюдениями знания, почерпнутые в книгах. По недостатку времени — при дворе всегда спешат — вместо тяжелого на передвижения парусного корабля великий князь должен был обежать смежные места на нашем пароходе, употребленном между тем для перевоза в Неаполь курьеров и различной челяди по надобностям двора.

Трудно представить высокое мнение, которое имеют о себе эти сателлиты августейших планет. Поставленные мелочными требованиями повседневной жизни в положение видеть детали, они сторожат за всеми действиями с истинно холопским любопытством и передают самые сокровенные тайны из столь же холопского чванства. Не могу вспомнить без смеха, как важно и торжественно после откровенной беседы камердинер графа А. Ф. Орлова, Григорий, лечившийся у нас, прибавил: «Что эти Карамзины знают? Не им писать историю, не так смотрят и не то видят». Упрекавший историографа в неверности взгляда незадолго перед тем, во время остановки государя в Николаеве, вздумал требовать за обедом шампанского. Хозяин — адмирал — не имел ни средств, ни желания поить лакеев дорогим вином и передал дерзкое требование графу Орлову. Барин, говорят, выказал наследственную силу, сломавши стул на спине карам-

зинского рецензента. Если критик из прихожей вел записки для будущих летописцев России, едва ли поместил он в них этот эпизод, хотя в некотором смысле он рисовал время.

Наконец Константин Николаевич предпринял учено-артистический поход вокруг Сицилии и на Мальту. Начали мы Мессиной, потом через Этну, Катанию, Сиракузы и Джирдженти окружили весь остров. Благодатная Сицилия искушала корыстолюбие всех народов. Греки, карфагеняне, римляне, сарацины, норманны, испанцы поочередно вторгались в нее, и следы различных племен представили бы неподдающийся исследованиям лабиринт, если б буйная природа острова не стряхивала по временам произведений его притеснителей. Землетрясения исправляли и упрощали его историю, разметывая в прах видимые ее скрижали. Остались только памятники свободного и потому несокрушимого греческого зодчества. Их не тронули фуги природы и пощадила сама злобная Этна.

Налюбовавшись вдоволь громадными руинами Джирдженти, плавающими в феврале в розовом море цветущих миндальных деревьев, мы перешли в Мальту, где августейший турист вновь должен был обратиться в специалиста и от поэзии природы, от впечатлений древнего мира перейти к сухой вещественности и крепкой действительности английского владычества.

Губернатор Мальты почему-то считает себя совершенно особым представителем и присваивает вице-королевские права. Не знаю, с какого времени он пользуется этими преимуществами и кто более виновен в его заблуждении. Верно только, что английские законы молчат о его исключительном значении. Адъютант явился с обычным приветствием и извинением, что начальник по болезни не может приехать поклониться высокому гостю. Через несколько лет, когда Константин Николаевич приходил в Мальту уже под своим флагом, мальтийский сатрап тоже нашел затруднения насчет первого визита.

Моряки, привыкшие к интернациональным сношениям, вели себя совершенно иначе. Главнокомандующий средиземным флотом sir William Parker тотчас явился к великому князю со всеми наличными командирами, хотя пользовался общей известностью с тех пор, как с лордом Эльгином впервые пробил китайскую стену. Паркер, моряк старого закала по привычке командовать с трудом подчинялся разнородному в составе английскому адмиралтейству и был очень неприятен властям в ежедневных сношениях. Но в Англии нелегко уничтожить человека с некоторой известностью, и враги избавлялись от неудобного адмирала, назначая его на дальние станции. По необщительности губернатора Паркер взял на себя обязанность принять высокого путешественника, показал ему все примечательное и пригласил на свой корабль «Гибернию», с которым были связаны воспоминания истребления части французского флота на рейде острова Э в 1805 году. Угрюмый Паркер обращался к своему гостю с исполненным уважения вниманием, но во внимании его проглядывало патриархальное участие старца к юноше. После завтрака адмирал просил дозволения представить своих однокорабельщиков, и в каюте «Гибернии» явились к великому князю все офицеры. Видно было, что на поклоны на английском флоте не обращали особого внимания. Все офицеры показались нам очень пожилыми; впоследствии в откровенной беседе моряки объяснили тайну поражающей старости персонала адмиральского корабля. Паркер не мог выносить привычки к табаку и набирал к себе офицеров с условием не курить не только на корабле, но где бы то ни было. В требовании этом был чистый произвол, но служба на английском адмиральском корабле так выгодна, начальник, по неотъемлемому праву, может подвигать подчиненных так быстро, что нашелся нужный контингент староверов.

Сходство мальтийской гавани с севастопольской было замечено великим князем,

только что познакомившимся с нашим несравненным портом, и сходство это не ограничивалось топографическими частностями. Та же ослепительная белизна почвы и зданий, так же всюду проникающая известковая пыль и, наконец, то же беззаботное мичманство, не знающее наций и климатов. На Мальте сильный гарнизон, но англичане как-то умеют обратить мертвую крепость в живой промышленный город; военные заметны, но не ощутительны.

Кроме всего морского, величавые, вполне сохранившиеся остатки рыцарского ордена привлекали внимание путешественника, сколько по своему значению, столько и по памятованию, что в собственном роде его заключилось почетное звание гроссмейстера ордена. Причудливый Павел Петрович не поехал на Мальту отстаивать лично свое владение, и счел удобным из-за гроссмейстерской мантии ввести в войну с Англией Россию, которой от мантии было ни тепло, ни холодно.

Приближалось, однако ж, время масленицы, и для незнакомых с ощущениями итальянского карнавала нет серьезного предмета, от которого не следовало бы на время отвернуться. «Бессарабия» скоро поместилась на обычном своем месте под Монте Пилигримо, за Палермской молой, и мы стали готовиться к участию в общем безумии.

Карнавальный сезон открылся балом в казино. Бешеная масленица с громким неистовым хохотом ворвалась в убаюканный негой Палермо. Тот же гам и гвалт, что на православной блинолюбивой Руси, только суматоха на юру, у всех на глазах, благодаря климату. Карнавал пирует на улице; пир доступен каждому и удовольствия при участии толпы шумнее, разительней.

В Риме, где всегда много художников, карнавал представляет некоторую артистическую занимательность, но общий дух его едва ли более поразителен, нежели был в Палермо в 1846 году. Карнавальная горячка свирепствовала там во всей безумной своей силе.

Развлечения для моряка великого князя должны были замениться суровым делом, но прежде нежели возвратиться к специальности, ему следовало познакомиться с вечным городом. Мы надеялись сопровождать великого князя по римским древностям, но встретили неожиданное препятствие в весьма незанимательной развалине, представшей перед нами в виде князя П. М. Волконского. Он лечился в Риме и на весну захотел переехать в Неаполь, опасаясь, чтоб лихорадки Кампаньи не ускорили разложения страдавшего от различных недугов тела. Высадя великого князя в Чивитта-Веккии, мы тотчас перешли в Неаполь с светлейшими мощами, которым едва ли придут поклониться; наше же собственное поклонение праху Цезарей и Сципионов на этот раз не удалось. Римские герои отступили перед невским фельдмаршалом. Вековая история в жизни человека несравненно менее самой ничтожной действительности.

Наступило, однако ж, время отъезда императрицы. По возвращении в Палермо мы стали свыкаться с мыслью о скорой разлуке с благословенными местами, в которых жизнь наполнялась столькими новыми впечатлениями. Августейшая больная, видимо, силилась выказать, что огромные траты принесли ей пользу, но мы не замечали ощутительной перемены и приписывали ее бодрость силе воли и требованиям положения. Жизнь двора в Палермо стоила больших сумм, и праздные языки в России подводили баснословные итоги, но нужно помнить, что Николай Павлович неожиданно увеличил предполагавшиеся издержки своим не входившим в программу появлением. Покойный государь, почасту врезавшийся в утвержденные уже бюджеты своевольной фантазией, и в этом случае опрокинул все расчеты, так что нельзя отнести тягостных для России издержек на счет страдалицы, никогда не имевшей важного значения в смысле политическом.

Императрица пробыла в Неаполе месяц. Жизнь в столице связывала ее отношениями

к местному двору, нам же, напротив, доставляла несравненно более свободы. Мы в приятном обществе наслаждались дивными окрестностями с тем большим рвением, что наступал конец нашему южному пиру. Скоро мы должны были разойтись по родным мерзлым болотам и пыльным степям.

Мы ристали по окрестностям Неаполя без перерыва и устали, будто желая сделать запас впечатлений на долгий безотрадный пост в однообразной России. Смотр эскадре, сделанный королем, и отправление Константина Николаевича в поход по портам временно напоминали нам о служебной зависимости. С отъездом императрицы из Неаполя настала вновь жесткая действительность. В отечестве меня ожидало непрерывное четырехгодовое странствование на утлом кораблике с специальной целью и с несносным врагом духа — ответственностью. Пока я тонул в роскоши южной природы, служба не переставала течь обычной струей и вынесла меня в положение, где, несмотря на естественные требования возраста, душа и воображение уступают напряжению мысли и разума: я стал начальником.

ГЛАВА V

ЕЩЕ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Вновь пахнет Русью. Адмирал Лазарев хочет, чтоб русский флот плавал по русским картам. Тендер «Скорый». Греческая архитектура в картонных постройках. Как муштровались таланты в николаевское время. Айвазовский и его картины. К характеристике П. С. Нахимова. Отправляюсь в первый поход начальником на «русской тройке» и «первый блин комом».

Возвращение к суровому делу после пленительной Капуи было едва ли не первой из многочисленных случайностей жизни, выказавших мне, что нет ничего стоящего особенного сожаления или заслуживающего особенно сильного желания.

Переход от классических берегов Италии, представлявших вместе и живой интерес минуты, к ингульским бульварам[42] с чиновниками, которым рок определил незаметно переписаться в вечность под жалкой тенью назначенной акации, — это изменение богатой разнообразием и пищей для воображения картины на стереотип тоскливой жизни маленького письменного города не осталось без влияния на мой юмор. Мелкие условия провинциального существования еще более хмурили его. Ссоры о первенстве и происхождении между сообщниками по ремеслу, жившими дружным посягательством на казенное достояние, казались особенно забавными после придворной жизни. Там местничество играло не меньшую роль, посягательство на выгодную милость было не менее обще и ревностно; но те же пороки и причуды в различных сферах приобретают различные оттенки, различно действующие на того же наблюдателя. Из всех местничеств чиновничье самое комическое и вместе самое стойкое. Нет и разрядных книг, которые можно было бы кстати сжечь. Просто привычка, обычай, уступающий, как все обычаи, более ясному взгляду массы.

Грустно было вращаться в такой сфере; к счастью, прямое настойчивое дело отвлекло от пристального внимания к настоящему и выгладило из памяти фантасмагорию прошедшего. Небольшой тендер[43] «Скорый» завладел мной нераздельно и потребовал от меня больших усилий. Восхищаясь прелестями Италии, я не мог наблюдать за ним и отстал от товарищей; а в тогдашнем Черноморском флоте медленность могла набросить неблагоприятную тень, хотя бы отставший и не был виновен в ней. Тем более строгого суждения должно было ожидать от сословия, что назначение командирами меня и трех-четырех товарищей было первым опытом между молодыми людьми, взращенными М. П. Лазаревым на новой арене его деятельности на Черном море. До того времени он выбирал прежних сослуживцев на севере, являвшихся уже с некоторой опытностью после долгого служения с ним в разных положениях. Нахимовы, Корниловы, Путятины наезжали из-за моря с репутацией,

совершенно заслуженной, но за морем составленной. Такой репутации никто поверить не может и вследствие невозможности поверки она легче принимается за непреложное данное. Мы же взросли на глазах сословия; все наши действия имели свидетелей-очевидцев, разбирались на местных ареопагах и естественно подвергались откровенной критике, а товарищество и дружество умеют метать острые стрелы ее со всей ядовитостью, не исключаемой ими jalousie de métier.[44]

Нужно было торопиться с изготовлением тендера, а между тем встретилось побочное дело, поглотившее немногие свободные от адмиралтейских хлопот минуты. Им началась четырехгодовая работа, продержавшая меня и товарища моего Г. И. Бутакова в постоянном плавании, не всегда приятном при технических условиях возлюбленных покойным Михаилом Петровичем тендеров, но отличавшемся, взамен того, совершенной независимостью от промежуточных начальников между нами и высшей властью. Но прежде нежели приступлю к подробностям дела, коснусь случайностей, приведших меня к участию в нем.

В самом начале службы я предпринял перевод истории английского флота Джемса. Труд этот был произведением восторженного состояния умов черноморцев и страсти их ко всему морскому. Не вращайся я в такой возбуждающей сфере, конечно, подвиги английских моряков, описанные плодовитым и патриотическим пером, никогда не появились бы в русской печати. Настойчивость, терпение и интерес труда поддерживались случайностями деятельной службы, и в свободные часы крейсерств росло мало-помалу шеститомное издание, появившееся в 1845 году в довольно изящном виде благодаря внимательному участию покойного адмирала. В крейсерствах по Средиземному морю внимание мое было поражено отсутствием изданий морской географии на русском языке и, напротив, многочисленностью их на английском. Результатом был перевод наставлений для плавания по Архипелагу Н'ори; а потом по поручению Михаила Петровича, описания берегов Испании и Португалии Тофино.[45] Мы пользовались в различных плаваниях не только иностранными сочинениями, для большинства непонятными, но и иностранными картами. Адмирал, вполне понимая неудобство такого порядка вещей, начал перепечатывать иностранные карты в Николаевском депо и хотел иметь русские издания морской картографии всех вод, омывающих Европу от Черного моря до Балтийского. При картах должны были прилагаться подробные описания берегов по лучшим иностранным источникам. Смерть помешала исполнению этого плана, но к нему было приступлено еще при жизни Михаила Петровича. Первые издания поставили депо[46] на ту высокую (по времени) степень искусства, в которой оно существовало до севастопольского крушения и последовавшего за ним уничтожения всего полезного, заведенного с таким постоянным и просвещенным трудом. Ложные взгляды на экономию вмиг истребили даже следы многолетних усилий, а техника требует совершенства, не являющегося в нужный момент, по заказу, какие бы траты ни делали. Известное время здесь непременный условный элемент.

В ряду карт и описаний, входивших в патриотический план адмирала, первое место, само собой, должно было занимать Черное море. Прекрасная по времени опись капитана Манганари существовала в роскошном издании, но наставлений для плавания не было. Обратились к трудолюбивому составителю черноморских карт и через некоторое время Манганари прислал рукопись, совершенно не соответствовавшую его описи. Очевидно важный предмет морской топографии и наглядной географии, на техническом языке соединенных под названием лоции, был упущен гидрографом при описи моря. Труд, занявший столько лет жизни, оставил в памяти Манганари следы, и довольно глубокие, но недостаточные для того, чтоб написать подробные

наставления, легко приложимые к плаванию и необходимые в пособие к немой карте.

Начальник гидрографической части в Николаеве генерал-майор Кумани, опасаясь, чтоб известная вражда его с Манганари не повела к толкованиям, для него невыгодным, просил адмирала поручить разбор представленных Манганари записок лицам, чуждым всяких сношений с автором. Выбор Михаила Петровича пал на Г. И. Бутакова и меня как занимавшихся технической литературой, не уклоняясь от действительной службы на море. Поспешное произведение Манганари ни в каком отношении не удовлетворяло цели, и грек, радостно топивший грека, торжествовал над врагом, отстранивши, по-видимому, себя от всякого участия в неприятном для Манганари выводе. В Одессе жил на покое французский шкипер Taitbout, когда-то плававший по Черному морю и на досуге издавший «Portulan de la mer noire»,[47] тощий указатель некоторых портов с детски нацарапанными видами их. Кумани предложил удовольствоваться переводом этого жалкого издания, выпущенного в свет много лет назад с чисто спекулятивной целью, как многое печатаемое на общепонятном языке великого народа[48] под громкими научными вывесками. Давать в наставление плавателям в половине XIX века такую верхоглядную книжицу в техническом отношении было бы также уместно, как предлагать им в руководство Перипл Арриана. Перипл знакомит с древним Понтом Эвксиниским и имеет, по крайней мере, несомненное археологическое достоинство; творение же Taitbout не давало никакого понятия ни о прошлом, ни о настоящем. Адмирал принял предложение со всей снисходительностью к воззрениям запоздалого почитателя нового Пиндара и его аргонавтских сказаний и тотчас же решил приступить к делу сызнова, особой экспедицией. Таким образом, стали мы с Бутаковым дополнять Манганари, что не совсем было по сердцу описателю Черного моря, имевшему право на нераздельность репутации, приобретенной истинным трудом, и опрокинули расчеты Кумани и Taitbout, которые о Черном море мало думали, а хотели только возмутить воду, чтоб поймать в ней что-либо, для себя пригодное. Впрочем, Кумани был человек умный, многосторонне образованный и при разумном руководстве полезный. Его увлекла в этом случае ненависть к Манганари, чисто греческая, непримиримая, способная и в наше время поднять ожесточенную десятилетнюю борьбу из личного вопроса и вести ее так же, как встарь, в ущерб общему благу.

Решенная экспедиция требовала утверждения из Петербурга, и тендера начали деятельно к ней готовиться. Адмирал, регулярно посещавший работы, не оставлял и наших челнов без личного наблюдения. Я говорил уже, что он был страстный почитатель греческой архитектуры. За недостатком прочных грандиозных построек, в которых можно было бы тешить вкус к классическому зодчеству, Михаил Петрович ввел греческие ордера в отделку кораблей. Теперь, когда никто уже не трудится даром, когда в каждом деле прежде всего ищут если не пользы, то выгоды, подобные детские потехи кажутся странными; но адмирал хотел довести все адмиралтейские работы до совершенства, и мы считали себя обязанными помогать ему в достижении цели. Мода на архитектурные и малярные украшения занимала умы и нередко совращала рвение с пути более полезного, по крайней мере, более соответственного способностями. Но тогда каждый платил дань влиянию свыше. Государь считал себя великим архитектором и знатоком искусства, и все подчинялось этой иллюзии. Самый художнический талант не смел проявляться в свободных формах; ему указывалось поприще; его окаймляли известной рамой. Таким мучеником насилия в искусстве был Айвазовский, в это время выставивший первые специальные картины свои. Я ездил любоваться ими в Феодосию.

Не знаю, какой прибрежный вид Айвазовского обратил на него высочайшее внимание.

Вдохновленный взгляд тогда еще истинного художника ловил в воздухе, на небе и на воде скоротечные прелести и гармонически соединял их в той же картине. Не мог не поймать ее прелестей взгляд, от которого ничто не укрывалось; только Николай Павлович подметил в ней излишнюю ширь и тотчас заключил ее в известные пределы. Айвазовский был сделан штатным морским живописцем, его одели в нарочно измышленный мундир, заставили писать то, что требовалось, и кисть, осмелившуюся выказаться своеобразной, подвергли морской дисциплине. Айвазовский думал удовлетворить требованиям, вставляя в свои морские виды одинокую ладью с парусом, мило смятым шалуном-ветром, с беспечно раскинувшимся в живописном рубище рыбаком, с тканью сети, просвечивавшей в прозрачной влаге. Нет. Нужны были целые флоты, всплески ядер, зарево выстрелов и боевых пожаров; корабли должны были сделаться главными сюжетами, а не эффектными аксессуарами; вытянутые строи их, воспламененный их перунами воздух, в природной красе своей столь милый воображению художника, взбитая ядрами вода должны были звенеть и клокотать под кистью, которая до тех пор переливала на полотно бальзам художнической души, взлелеянной нежностью и тишиной крымской атмосферы и спокойствием родного Феодосийского залива. Пошла горемычная кисть писать грозные корабли с их разрушительными жерлами и в беспорядочно распущенном парусе, в произвольно раскиданных всплесках мнила хотя отчасти удовлетворить прежнему разгулу. Ее пристегнули к боцманской дудке, вынудили аккуратно обрамливать паруса и намечать по линейке брызги падающих в воду снарядов. Фантазии художника нельзя было разыграться даже в изображении местности; тот же меловой Севастополь, который можно было облить, по крайней мере, теплым светом, тот же тонущий в неразлагаемой гуще Кронштадт или Ревельские холмы, необъяснимо исчезающие в непонятном чухонском небе. Впрочем, к чему было пытаться оживлять подробностями монотонность главных сюжетов? Корабли в колониях, с парусами в геометрических рамах, грозные твердыни в правильных линиях, палящие пушки — все это была только эмблема, ярко расписанная аллегория. Требовалось видимое, поражающее торжество силы, и по полотну стлалась одна идея, одно только представление поражало воображение зрителя. Корабли, крепости, самое море и воздух уступали воле, власти.

Много лет спустя, судьба привела меня к круглому обеденному столу властелина иной уже России.[49] По стенам висели творения Айвазовского. Зашла речь о его начинаниях, о постепенном развитии его таланта. Государь утверждал весьма справедливо, что Айвазовский был морским живописцем поневоле; я решился высказать, что нелюбое сделалось любым, разумея, что Айвазовскому платили весьма щедро за совращение его гения. Может быть замечание, имевшее некоторую тень противоречия взгляду, нисходившему с такой высоты, вписалось в мою черную книгу. Меня никогда не познакомили с ее содержанием; дай бог, чтоб в ней не оказалось ничего худшего.

Живописное путешествие в Феодосию было целым происшествием. Обыкновенно же, после дня, проведенного на тендерах, собиралась наша товарищеская артель в знакомом николаевцам сереньком домике. Этот домик, или лучше павильон, стоял на краю большого двора адмиральского дворца, над самым Ингулом, и сторожил вытянутый по обрывистому берегу бульвар. Из окон представлялась вся панорама бульвара, до самого адмиралтейства. Служебные случайности преимущественно разнообразили вечерние беседы наши. Утомление тела исключало возможность серьезного умственного напряжения.

Между подоспевшими кстати новостями случившаяся неудача у кавказского берега заняла несколько заседаний нашего трибунала. Корвет «Пилад» и бриг «Паламед» на пути к укреплению Субаши встретили двух контра-

бандистов и при бывшем штиле послали шлюпки схватить их. До тех пор подобные встречи обходились без боя, но в этот раз смоглеры[50] оказали упорное сопротивление и убили первыми выстрелами начальника одной из шлюпок, лейтенанта Суткового. Командовавший другой, лейтенант Станюкович, хотел отомстить за смерть товарища и бросился на абордаж, но был отозван сигналом с корвета. Причиной неудачи главнее всего был недостаток единства командования шлюпками, в чем исключительно виновен старший из командиров, Юрковский; но уверенность в легкости добычи также играли немаловажную роль в этом прискорбном для самолюбия черноморцев случае; притом шлюпочные каронады, единственное тогда средство борьбы с винтовками контрабандистов, опрокидывались после каждого выстрела. Государь метко решил, что виной всему нераспорядительность командиров, и адмирал сообщил подчиненным вполне заслуженный высочайший приговор.

В это время проживал в Николаеве на пути к заграничным водам П. С. Нахимов. Болезненное тело не помешало бодрому духу воскипеть негодованием. Участь виновных, по мнению будущего героя Синопа, был решена по слишком поверхностным данным. Нахимов принялся за разбор дела, будто оправдывая самого себя, и через несколько дней явился к адмиралу с кипой чертежей и комментариев, прося подвергнуть случай подробному и внимательному исследованию. Легко догадаться, что вышло бы, если бы подобное дело попало в руки начальников полицейского покроя, выкраивающих свои выгоды из материи верноподданичества. К счастию Нахимова и России, Михаил Петрович посмотрел на выходку хладнокровно, иначе едва ли бы удалось Нахимову впоследствии гордиться, что не высочайшая воля, а «статут Ордена Св. Георгия указывал ему награду за подвиг», как выразился умевший кстати разоблачаться Николай Павлович в рескрипте своем победителю при Синопе. Неважный случай этот замечателен как характеристическая черта исторической личности. Детская скорость, с которой Нахимов набросился на решение государя, и горячность к защите обиженной слабости, младенчество сердца, всегда сбивавшего смысл, хотя крепкой, и рыцарская порывистость души — Нахимов в этом ничтожном случае был не менее симпатичен и увлекателен, нежели в десятимесячном пожаре Севастополя. Его чистая душа не знала страха, не допускала, чтоб величие могло не тронуться вздохами слабого и страждущего.

Современно с кипучей выходкой Нахимова на севере случилось происшествие, выставляющее ее еще более рельефно. Командир корабля «Гангут» Лавров поссорился с адмиралом Карповым, имевшим на корабле флаг. Князь Меншиков, необычайно ловко мывший грязное белье дома, в это время страдал тяжкой болезнью и сдал обязанность В. А. Перовскому. «Казак во главе флота», как подсмеивались над ним заграничные публицисты, судя о человеке по его мундиру, понадеявшись на личные отношения к императору, безбоязненно передал ему неприятное происшествие. Капитан с именем стал матросом, был прислан к нам на службу и десятилетним страданием убедился, что покойный государь не признавал христианской добродетели — милосердия. Голос за Лаврова неоднократно доносился до чуждого снисходительности слуха из того же Черного моря, но участь страдальца изменилась не прежде, как строгий судья его перешел в иной мир и познал там на себе отраду помилования.

Нахимов был особенно резкий поклонник правды и прямодушия, но на Черном море тогда вообще веяло этим духом, и проявления уменья жить, как принято формулировать выгодные уклонения совести, по редкости своей обращали общее, невыгодное для умелого внимание. Между тем новый строй понятий напирал на нас с севера в лице выпускаемых воспитанников адмирала Римского-Корсакова не почтенного Воина Андреевича, кончив-

шего драгоценную для юношества жизнь в неустанном добросовестном педагогическом труде, а его соименника, выказавшего римское в том только, что, подобно римским императорам, он сам казнил себя, предвидя гибельный конец своих деяний. Младший брат мой, Петр, скоро, впрочем, понявший среду, в которую попал, приехал ко мне в это время вновь испеченным мичманом, но уже умевшим отличить рубль от копейки фарисейской монеты. Строгая дисциплина напоказ, напоказ же выставляемое образование, ограничивавшееся развязностью не по летам, уменье жить, преподанное примерами наставника, лгавшего без запинки и на глазах кадет безбоязненно морочившего строгого императора, какое-то равнодушие ко всему достойному, циническая материальная оценка всех благородных порывов души — эти отрицательные качества отвратительного истого roué[51] одолели моего доброго, далеко не обиженного природой Петра. При всем влиянии естественной любви я видел в нем нравственную тряпицу, одинаково годную для обертки дурного и хорошего, пропитанную светским раствором, тщательно прикрывавшим содержание. Адмирал тотчас заметил ужасы данного Петру направления и послал его в поход вместе с братом Дмитрием. Нахимов, принимавший участие во всех нас, вмешался и в этом случае. По его мнению, от совместного служения братьев могла страдать служба. Не пришло служаке в голову, что предоставленный самому себе, без сердечного к нему участия, шатавшийся в понятиях новобранец мог навсегда стать к службе негодным. Строгого Катона, однако ж, не послушали, и Петр блистательно опроверг его доводы, весьма быстро сделался сдержанным рассудительным старшим офицером, был любим товарищами и ценим начальниками. После смерти Корнилова, при котором состоял адъютантом, он подвергся той же славной доле, командуя Волынским и Селенгинским редутами. Начало было сомнительное, и конец служит новым доказательством важности влияния среды на юную личность.

Всему настает конец, даже нескончаемым работам по отделке и изготовлению кораблей к походу. В исходе октября 1846 года я поднял условный знак командования[52] на тендере и думал тотчас же отправиться в Севастополь, но последние расчеты с адмиралтейством обыкновенно тянутся долго и опрокидывают предположения. Оказываются недоделанными ничтожные, но необходимые принадлежности, нет требуемой законом подписи какого-нибудь мастера или содержателя,[53] а там свой счетный чиновник надавал много лишних подписей. Нужно все привести в порядок, очистить, говоря канцелярским языком; иначе ни за что ни про что попадешь под ответ. Не избежал и я этой процедуры. Русское «авось» предательски нашептывало свои поощрения, и 4 ноября, не желая отстать от товарищей, я двинулся в путь между льдин. Холода наступили ранее обыкновенного, и все предвещало окончание навигации по реке.

Мой «Скорый», несмотря на название, поплелся по замерзавшей реке ощупью, в страшную метель и крепкий пронзительный ветер. Товарищ мой, И. С. Унковский, командовавший адмиральской яхтой «Орианда», провожал меня некоторое время, щеголяя своей красавицей без всякого сострадания ко мне, неучу, и, наконец, отворотил укрыться на зиму в тихом Ингуле.

С разными препятствиями я вышел через неделю в большой мелководный лиман Днепра и там начал лавировать к морю при противном ветре и пяти-шести градусах мороза. Не поворотил раз, не поворотил другой, сердясь на тендер, когда вина была преимущественно в моем упрямстве и горячности, и, наконец, врезался в мель у Кинбурнского берега. Стать на мель не диво, в особенности там, где воды немного, и в обыкновенное время над таким положением в замкнутом лимане подшучивали бы только специальные критики, но меня преследовал генерал-мороз. Не теряя

минуты, я принял нужные меры и даже решительные: выбросил многие тяжести, по мирному времени не необходимые, вылил пресную воду, ссаживал всю команду на шлюпки, но «авось» наскочило на лихую беду. За грозным главнокомандующим понеслось свирепое войско в виде обширных островов льда из замерзавшего Днепра. На бедный «Скорый», стоявший поперек течения, валила вся река охладевшей плотной струей. Шесть дней и шесть ночей неприятель без устали шел на приступ с оглушительным треском. Мои тридцать новобранцев устроили подпоры, чтобы нас не повалило на бок, выдвинули багры и с концов били льдины чугунными гирями, стараясь дробить их и не допускать резать дно или взбираться на палубу. Все подвижные части рангоута были спущены на воду и привязаны вдоль тендера в пищу ненасытному льду, чтоб он не грыз самого судна. Наконец, небольшая команда выбилась из сил; сам я устрашился положения, имея всего на неделю провизии, и решился при первой возможности перебрать команду на берег. На седьмой день мы двинулись в рассчитанном беспорядке по остановившемуся на время льду и к ночи достигли безлюдной Кинбурнской косы, часах в четырех от крепости. Офицер, посланный вперед уведомить коменданта об изготовлении нужного для тридцати человек, усталых и голодных, возвратился в овечий загон, служивший нам убежищем, с уведомлением, что в такое позднее время коменданта беспокоить нельзя; велели прийти завтра.

Утром по глубокому песку и голи двинулись мы к Кинбурну, не подозревая, что там готовится драма, в которой нам суждено было стать не только действующими, но и страдательными лицами. Комендант генерал-майор Линден спал до 12-го часа. Плац-адъютант, черствая душа, которую мягчили только палки в прежнее время солдатства, требовал письменных доказательств моей личности и, когда я удивился его равнодушию к людям, выворотил против меня пословицу «сытый голодному не товарищ», придуманную, конечно, в пользу голодных, а не сытых. После неотступных просьб и угроз согласились, наконец, пригреть моих ребят на обывательских квартирах; относительно же прокормления больной комендант, до которого я добился в продолжении дня, уверял, что не может помочь мне, но обыватели покормят матросов. И действительно покормили добрые податные люди, которыми живет государство; даже не дивились и не спрашивали, почему им, податным, приходится кормить служилых людей, когда тут же стояли государственные магазины с государственным провиантом.

Видя, что в Кинбурне чужая нация и вдобавок враждебная, я пытался всячески перебраться на противоположный берег, в Очаков, где была кое-какая морская власть, обязанная ко мне сочувствием. Нанятая рыбацкая ладья, тотчас по отчале превратилась в сюжет для кисти Айвазовского. Паруса изорвало ветром в лохмотья, рыбаки начали реветь и метаться, словно одержимые бесом, и самый челн потек, как решето. Поневоле понадобилось вновь обратиться к блаженному коменданту, имевшему в своем распоряжении военный катер для перевоза почты. Послали за начальником катера, и после странного дружеского обращения генерала с рябым боцманом мы пустились сквозь лед в Очаков по милости Макара Кузьмина, с поразительным тактом забывшего отношения свои к его превосходительству лишь только я сел в шлюпку.

В Очакове неожиданная встреча с И. С. Унковским очень обрадовала меня, а дружеское его участие ободрило в печальном моем положении. О бедствиях тендера в Николаеве ничего не знали. На все вопросы адмирала телеграф отвечал, будто я стою во льду на якоре, а не на мели. Мы стали хлопотать о средствах достичь тендера при первой возможности. Вода в лимане прибывала, и все предвещало южный ветер. К невыразимой нашей радости тендер, с которого мы не сводили глаз, понесло к нам течением. Унковский распоряжался

именем главного командира, пославшего его с нужным полномочием, и в пустынном Очакове выросли не из земли, а из воды средства перебрать нас на тендер сквозь ледяную кашу. Видимых повреждений, исключая рангоута, изгрызенного льдом, не было, и мы стали тотчас готовиться к выходу в море. Связавши морскими хитросплетениями поломанные части деревьев и пристегнувши к ним паруса, мы взяли из магазинов нужный провиант и вышли из лимана на простор при ветре, остановившем лед. В сравнительно безопасном положении этом я хотел окончательно осмотреться, отправил донесение адмиралу с чистосердечным сознанием в своей вине и решился по приведении всего в порядок продолжать путь к Севастополю. К счастью, изготовления несколько затянулись, и вскоре из Николаева прибыл курьер с приказанием не идти в море, а дожидаться высланного уже за мной парохода. Михаил Петрович, знавший молодость и понимавший, как легко губят людей с самолюбием несвоевременными начальническими рецензиями, подарил меня самым утешительным письмом, уверял, будто «все, что требовалось от благоразумия и сил человеческих, сделано», что «всему виной слишком позднее время года», и убеждал не пускаться в море без конвоя. Через двое суток «Скорый», доведенный до Севастополя пароходом «Бессарабия», стоял уже в адмиралтействе, вытащенный на берег. Подводная обшивка левой стороны оказалась исщепленной льдом почти до киля, а между рулем и кузовом судна прищемило медный обломок перерезанной рулевой связи, мешавший действовать рулем на буксире парохода. Если б промедление в изготовлении к походу после крушения не устранило моего первоначального намерения пуститься в Черное море одиноким, едва ли бы пришлось мне описывать мою первую неудачу в начальническом положении и вспоминать о благодушии М. П. Лазарева и истинной дружбе И. С. Унковского.

В письме к отцу Михаил Петрович так передавал мою неудачу... «Благодаря Бога все окончилось благополучно и тендер уже в Севастополе, хотя не без потерь и повреждений, которые, впрочем, исправят без больших хлопот. Надобно же было, как нарочно, в то самое время, как он вышел, наступить необыкновенным в здешнем крае морозам. Он лавировал в лимане против устья Днепра и два раза сряду не поворотил оверштаг, стал поворачивать через фордевинд и приткнулся к мели. Покуда завозили верп и старались стянуться, вода убыла, мороз усилился, понесло лед большими массами и затерло бедного «Скорого» так, что он был в опасном положении, но провидение, умудряющее слепцов, решило по-своему и сверх всякого ожидания умудрило так, что он теперь snug and safe[54] в Севастополе, но не без повреждений и потерь. Он потерял свой баркас и верпы с кабельтовыми, гик и гафель, которые спустил за борт для предохранения обшивки своей от трения льдом. Мороз, как нарочно, продолжался все это время до девяти градусов при свежем от NO ветре, и, несмотря на все эти неудачи, мне приятно передать тебе, что Ваня твой выдержал невзгоду с той твердостью, которой я всегда ожидал от него. Несмотря на холод, на новую неопытную команду и на изнурение ее, все шло, как следовало на исправном военном судне, и сбылась пословица: «Мала птичка, да ноготок остер».

Пока исправляли тендер, нравственное состояние его командира, несколько встревоженное неудачей, было предметом общественного участия. В обществе, где господствует известная специальность, где нет вне ее событий, которые могли бы доставить пищу салонному говору, выдающиеся по специальности или по сопряженным с ней случайностям личности притягивают к себе внимание даже прекрасного пола.

После крушения в море горечи и разочарования благодетельная служба носила меня целые года по Черному морю. Деятельность соскребла с души следы временного бездействия.

ГЛАВА VI

ЭКСПЕДИЦИЯ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ЧЕРНОГО МОРЯ

Дипломатическое искусство с простой точки зрения. Безводная Одесса. Французско-херсонские колонии. Балаклава и ее важность. Алупка, Орианда и Ливадия. Пестель. Новый воронцовский Кавказ. Севастопольские гвельфы и гибеллины.

В начале 1847 года одобрили из Петербурга план М. П. Лазарева об экспедиции по Черному морю с целью составления необходимых для плавания по нем указаний. Описание берегов, принадлежащих Турции, требовало дипломатической переписки, всегда подчиненной побочным обстоятельствам и потому медленно ведущей к цели. Мне кажется, в дипломатических сношениях вообще утомление играет важную роль и употребляется как средство. Мяньем и выворачиванием того же вопроса обращают его в такую надоедающую пищу, что более нервная сторона уступает, лишь бы только развязаться с несносным кошмаром. Кажется, не требовалось длинных нот, чтоб допустить к осмотру портов два ничтожных тендера; однако дело длилось два слишком года и доставило нашей константинопольской миссии неприятное уклонение от обычных тем. Требование, сделанное заблаговременно, пошло мытарствовать между министрами, уполномоченными и драгоманами, а мы отправились исследовать собственные приморские владения.

Начали визитом к Taitbout, к тому самому, чьи сказания о Черном море относились к временам героическим. Старик дал очень хороший совет — не пропускать ни малейшей зазубрины берега, представляющего безопасные убежища там, где, по взгляду издали, всего менее можно ожидать их. Это наставление утвердило нас в принятом намерении, и в течение четырех лет мы притыкались (иногда не в том смысле, который разумел Taitbout, а в общепонятном по этимологии слова) ко всякому мыску, охватывавшему хотя микроскопическую частицу от Черноморского бассейна. Наши наблюдения и выводы изданы в 1851 году особой книгой; здесь же, в описании моей жизни, я коснусь только случайностей и личностей, на которые пришлось набежать между делом. Заглядывавши в каждую норку, приходилось сталкиваться с хозяевами и беседами с ними развлекаться в монотонной работе.

Отходным пунктом была Одесса, «Одесса пыльная, Одесса грязная», как заклеймил ее бессмертный и безмерно своенравный Пушкин в хандре поэтического сплина. Упустивши эпитет, который часто вспоминается ее 150-тысячному населению, он забыл назвать ее безводной, для чего на месте же готова и рифма — «хлебородная», пожалуй, «свободная», какой Одесса была сравнительно с Петербургом во времена изгнания поэта. Без

воды Одесса и до сих пор и, право, не знаешь чему более дивиться: выбору ли Ришелье, которого так прославляют за основание в безводной степи главного порта южной России, или тому, что в течение восьмидесяти лет одесситы обходятся без воды.

Следующим полем наших изысканий были два длинных песчаных полуострова, Тендра и Джиралгач, пристегнутые к материку Херсонской губернии едва заметным перешейком. За обоими — хорошие убежища против бурь и непогод, но я плаваю в воспоминаниях, а не по бурной стихии, и пройдусь с читателем по этим песчаным отрыжкам моря, представляющим огромную важность в экономическом смысле.

Когда «дух безначалья и мятежа обуял Западную Европу», как возгласил русский владыка, недовольные новым порядком вещей во множестве искали спасения в Богом спасаемой России. Ришелье занялся устройством города, повторяющего мифологическую легенду о Тантале, вечно томимом жаждой, стоя в воде; но другие соотечественники его, питомцы знаменитой политехнической школы, были практичные и начали устраивать свое состояние. У них отняли во Франции дорогие привилегии, и новое свое поприще в доверчивой, гостеприимной России они, естественно, начали испрошением исключительностей. Потье и Вассалю правительство дало в вечное владение по 80 тысяч десятин херсонской приморской земли, с тем чтоб через два года они развели в этих царствах тонкорунных подданных. Казенный транспортный корабль под начальством Томиловского был отдан им в распоряжение. Выходцам, конечно, не приходило в мысль заботиться о чести русского флага. Покровительство его отстранило всякое подозрение, и несмотря на строжайшие запретительные законы, существовавшие в Испании, les messieurs de la vieille roche[55] выкрали мериносов, утвердили за собой огромные земли и развели промышленность, под которую, к сожалению, в наше время подрывается Австралия. Овцы особенно любят солоноватую траву, растущую под морскими брызгами. В мое время каждая овца давала до трех рублей чистого дохода, да за право ловить рыбу по огромному протяжению берега хозяева взимали по 25 копеек с ставки. Нечего и говорить, что поборники добрых начал нашли в доброй России более, нежели потеряли в прекрасной Франции. В русско-французских владениях Херсонской губернии даже в усадьбах разбогатевших овцеводов не встречалось малейшего признака образованной жизни. Французская любезность выродилась; французское копейничество приказывало важным языком манифеста принести местного кислого винограда и предлагало его с торжественностью, соблюдаемой при поднесении Золотого Руна. Глаза ежила доходность, скопидомство, и оставалось утешаться тем только, что не было надобности в обрусении места; сами французы стали степняками.

Совершенно иначе действовал в смежной местности природный русский барин. Граф М. С. Воронцов приобрел двадцать тысяч десятин около ак-мечетской бухты, на северо-западном берегу Крыма. Ак-Мечеть расположена в 55 верстах от Евпатории, ставшей отпускным портом соли потому только, что в ней случилось небольшое татарское население, когда в Ак-Мечети его вовсе не было. Открытое положение Евпаторийского рейда, подверженного всей ярости волнения, неудобно не только для каботажных судов, но для самых совершенных кораблей, что доказано гибелью в крымскую кампанию французского корабля «Генрих IV». Многие из соляных озер, питающих евпаторийскую торговлю, ближе к Ак-Мечети, нежели к Евпатории; а до перекопских — расстояние от Ак-Мечети значительно короче. Очевидные экономические выгоды и условия безопасности торговли побуждали графа к усилиям перевести ее в свои владения. К бухте были передвинуты 185 душ из Киевской губернии и татарские семейства на весьма выгодных для них условиях; построена це-

лая слобода, церковь, соляные магазины, удобная каменная пристань и дом для таможенного ведомства. Но в Петербурге не знали относительных условий Ак-Мечети и Евпатории, как не знали многого, что знать следовало, а зорко следили за возраставшим значением начальника Новороссийского края и злорадостно останавливали его при удобном случае. Предоставленная исключительно собственному развитию Ак-Мечеть поднималась медленно, хотя некоторые евпаторийские купцы и перенесли в нее свои соляные склады, назначенные для Одессы и Херсона.

На пути к волшебным замкам Алупки, к тогда еще тихим, усыпляющим лужайкам сравнительно скромной Ливадии лежала древняя бухта Символов, теперь смрадная Балаклава. Здесь царило нераздельно и неслиянно с русским греческое население, занимавшееся ловлей рыбы и контрабандой, которая велась деятельно с двух сторон. Привозимые с моря турецкие товары пропускались в Крым, а выкраденные из Севастополя казенные припасы препровождались за море; и эта торговля, как скалка в ткацком станке, сновала от одного конца Балаклаво-Севастопольской дороги к другому. В один злополучный день балаклавцам пришло в голову показать Николаю Павловичу цвет их колонии, балаклавский батальон с ее Ахиллом, полковником Манто. Нестроевой аллюр подскакавшего балаклавского полубога, отличный от русского мундир, и эллино-славянский язык, на котором Манто выговорил обычное строевое приветствие, неприятно поразили государя, не подозревавшего, чтоб в воинстве его могло быть разнообразие. В наше просвещенное время для изгнания из русской земли нерусского духа придумывают процентные сборы, декабрьский закон о переходе недвижимой собственности не по наследству и другие замысловатые меры. Истинный художник высказывается простотой форм. Манто и балаклавцам скомандовали «в Колхиду» — и с тех пор балаклавское население поубавилось и утеряло несколько свою особенность. На пути нового Язона не нашлось мудреца Финея, который дал бы средство избежать обычной кавказской доли, и крымские аргонавты с Кавказа не возвращались.

Не может быть сомнения, что задолго до Николая Павловича иная сила тряхнула балаклавскую местность, образовала в ней провал и расщемила ограждавший ее скалистый берег. Прежние люди, в скромности своей пользовавшиеся всем, что давала природа, поспешили употребить в дело естественную гавань Балаклавы; в ней видны еще следы генуэзских укреплений и торговых построек. Тесный, едва заметный вход ведет во внутреннее озеро, окраенное утесистыми возвышенностями. Только в северном углу, обращенном к Севастополю, подходит к бухте низменность, по которой раскинуты здания. Трудность входа не помешала, однако же, англичанам в 1855 году втянуть в Балаклаву огромный корабль и затем воспользоваться прекрасной гаванью для подвоза всего нужного армии.

Со времени удачного уничтожения Парижского трактата, те, которым надлежит радеть о восстановлении Черноморского флота, решили по-прежнему строить корабли в Николаеве, а Севастополь по-прежнему же иметь главным портом действующих сил. Удаление строительных верфей на 60 миль от моря по извилистой, часто суживающейся реке указывается, по-видимому, легкостью защиты самой реки, так и Николаева, расположенного в пункте, удобно притягивающем средства России. Но река замерзает, а море перед ней свободно круглый год, следовательно, водное сообщение между Николаевом и Севастополем во время войны немыслимо. Блокада днепровского лимана чрезвычайно удобна и не потребует больших сил по недействительности кораблей, которые там можно изготовить, но нельзя привести в порядок и потому, что кораблям этим придется прорываться у Очакова гусем, по весьма узкому фарватеру. Какие бы запасы и склады в Николаеве ни накопляли, они станут бесполезны, когда всего более

понадобятся при объявлении войны. Их придется возить в Севастополь железной дорогой, а самое накопление запасов и материалов в мирное время будет обходиться дороже в Николаеве, нежели в Севастополе.

Три предмета должны теперь решать с экономической точки зрения выбор местности для военного порта: провиант, уголь и железо. Дерево входит едва заметно в постройку кораблей и о нем, конечно, никто не станет заботиться. Весь южный уголь лежит в крае, легко сообщающемся с Севастополем самым экономическим путем — морем. Там же с большими затратами создается железное производство и в той же благодатной местности зреет сам-двадцать пшеница. В военное время издержки доставки будут те же, для питания верфей и флота займутся только дороги Азовского района и Крымская; пути же Киево-Одесско-Харьковского района останутся свободными для скучения войск в тех пунктах северо-западного черноморского прибережья и бессарабской границы, на которые неприятель может направить свои усилия. Итак, мне кажется, чисто в экономических расчетах и в отношении к общей государственной защите разумней сосредоточить все относящееся ко флоту в Севастополе.

Безопасность самого порта и флота составляет, разумеется, вопрос существенной важности. Николаев, конечно, безопасен, но в нем спасаются только вновь строящиеся суда, обреченные, как прежде сказано, на бездействие во все время войны. Севастополь подвержен бомбардированию при нынешней сказочной дальности выстрелов, но от бомбардировки с моря, во-первых, можно отбомбардироваться самому, а во-вторых, незачем строить в Севастополе чего-либо необходимого для существования флота, исключая укреплений, защищающих рейд и обстреливающих пространство, занятое минами. Все верфи, мастерские и магазины можно иметь в Балаклаве, не поддающейся изъяну с моря, так как перед ней с чрезвычайной опасностью можно стоять в таком только расстоянии, с которого не перебросишь бомбы через скалы у входа; о выстрелах же на ходу говорить нечего. Несколько мортирных и других батарей на каменистых стенах между монастырем Св. Георгия и обрубом Айи без труда отобьют охоту всякой попытки на Балаклаву. Уже железная дорога от нее до Севастополя, оберегаемая с запада укреплениями, для которых есть выгодные пункты, обеспечит сообщение флота с припрятанными магазинами и необходимыми заведениями, но имея в виду важность пункта и помня, что лучший способ обороны нередко есть нападение, не следует делать дела наполовину. В наше время прорыть корабельный канал в 12—15 верст чуть-чуть труднее, чем, бывало, вырыть колодезь. Доки и корабельные бассейны в Балаклаве должны соединяться таким каналом с Севастополем, у входа на его рейд. Выгода переводить по этой искусственной линии обороны блиндированные паровые батареи очевидна; блокада двух выходов в чистое море потребует более сил, нежели блокады Севастополя и Очаковского прохода, и при трудности стеречь Балаклаву в юго-западный ветер, выход из нее наших сил и удачный набег на неприятеля в том или в другом виде и месте представляется утешительной возможностью. Для новой осады Севастополя неприятелю останется пустынный, лишенный убежищ Херсонесский мыс или северная сторона, с которой можно высадить десант, но снабжать его во время долгой осады невозможно, если мы имеем средства скоро собрать армию через Перекоп и Чонгар.

Алупка, Orианда и Ливадия — эти три перла крымского венца — двадцать пять лет назад уже были перлами. И тогда на южном берегу живал двор, было светило и (были) усредные сателлиты, всякому двору свойственные, была неожиданность в радостях и печалях, составляющая неизбежное условие придворного существования. Граф, впоследствии князь Воронцов, охотно знакомивший всех с своей Алупкой при ежегодных посещениях, когда был еще новороссийским генерал-губернатором, наезжал

уже изредка с Кавказа, но с большей пышностью. Не блеск мундиров только, но прочная истинно боевая слава слепила в причудливых чертогах мецената-воина, и в розовых кустах, так пленительно улыбающихся под самой сердитой бровью Ай-Петроса, в зеленых кущах, поднимающихся от моря к самой ступне хмурого утеса, нередко слышался хриплый военный голос, звучала возгласы, без которых полк не двигается и корабль не поворачивается. Сколько Алупка привлекала оживлением, столько соседка ее Ливадия, ждавшая служившего за морями хозяина, отличалась тишиной, даже грустью. Над лужайкой перед домом горевали плакучие ивы, рисуя свои томные силуэты на темной зелени окружающих лавров. Место собирало все добрые, тихие чувства и побуждения. Прошло несколько лет, и тихий луг обратился в шумный двор, скрипевший суетностью; по нему носилось тщеславие, злобная зависть, металась в гордых или гневных порывах душа. Но все же в новой Ливадии умели отрешиться от Петербурга; на прозрачное южное море не перенесли построек, тщетно силящихся отразиться в мутной Маркизовой луже.

Орианда, красавица Орианда, ущемленная скалами между Алупкой и Ливадией, не избежала ингерманландского влияния. Срезали с невских тундр геометрически правильный нарост и всадили его меж олеандров и мирт, не покрививши ни одной линии, хоть бы для гармонии с причудливыми окрестными скалами, сохранивши все углы, чтоб ими резало зрение, отдыхающее на зелени южных рощ и на синеве южных волн. Из странного северного тщеславия устроили оранжерею, будто мало чудес на открытом вольном воздухе, и обнесли ее казарменным прямоугольником; дали мало света и воздуха, тщательно отодвинули от окон дивные перспективы, которые просились в них, и самое море, представляющее величие беспредельности, скаредно подпустили к одной только террасе.

Воронцовские владения тянутся и за Ливадию, по высотам ялтинского залива, вплоть до казенного Никитского сада. Теперь и к Ялтинской бухте примкнула избыточная праздность, но четверть века назад на склонах ялтинских высот рассыпались мелкие владельцы, растившие грозди и давившие вино не из любви к живописной природе. Промышленный прогресс Крыма в их скромных хозяйствах выказывался несравненно более, нежели в барских поместьях смежных магнатов. Магарачские однодворцы пили сами и давали другим хорошее вино, тогда как на обедах Воронцова подавалась микстура пяти-шести различных рецептов, а сам хозяин неизменно придерживался хереса, предоставляя пользоваться собственными его произведениями посторонним.

Феодосия, утерявшая генуэзское значение, не приобрела российского, как ни старались ее бывшие градоначальники, как ни силился познакомить с ней Россию Айвазовский своей теплой кистью. А. И. Казначеев, управлявший городом до первой турецкой войны, отрыл в городских архивах мысль об учреждении в Феодосии склада анатолийских товаров и развивал всю выгоду подобного учреждения, угрожая в противном случае переходом малоазийской торговли в чужие руки. Казначеев считал себя оракулом и горячо выставляя мне свою дальновидность, высказывал сетования, усугубленные недавними неудачами в должности таврического губернатора. В этих неудачах он, может быть, и не повинен: трудно, чтоб удалось что-нибудь человеку с собственными взглядами и убеждениями, но предсказания его сбылись не вследствие его провидения, а по силе естественных законов. Короткий путь выгодней длинного и, какие магазины ни строй, товары замком не удержишь. Если б единовременно с предложением Казначеева стали тянуть через всю Россию железную дорогу, понятно, мысль его могла бы осуществиться; но между возлюбленной им Феодосией и западной нашей границей двигались мешавшие всякому движению крымские пески и мякла всепоглощающая новороссийская

грязь. Мудрено ли, что торговля пошла на большой европейский рынок — Лондон — непрерывным водным путем, сокращенным и урегулированным введением в торговые сношения пара!

Преемник Казначеева В. И. Пестель, как римлянин эпохи падения, несравненно более думал о бороздах, которые проводило время по его экс-гвардейской наружности, нежели о проведении по Крыму удобных путей, и осторожно поглаживал свои приструненные бакенбарды, когда кипучий предместник неосторожно горевал о невозможности провести полезную мысль. Одаренный счастливым непестелевским равнодушием он принимал все гораздо хладнокровней. Лишь только зазорники-союзники высадили во владениях Пестеля свои полчища, губернатор, удивленный действием без разрешения, бежал из Симферополя.

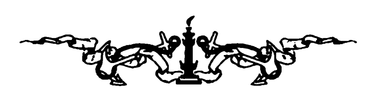
На Кавказе, куда мы перенесли наши исследования, действительно многое изменилось к лучшему. Береговые укрепления, лишенные почти средств сообщения с внешним миром, довольствовавшиеся неверными, всегда гадательными сношениями через парусные крейсера или такие же транспортные суда, теперь были связаны пароходами, обходившими их через известные промежутки времени. В помощь пароходам и самим крейсерам, трудно справлявшимся с контрабандными лодками, образовали флотилию баркасов с азовскими казаками, довольно привычными к службе этого рода, хотя далеко не так смелыми, как деды, почасту набегавшими на Трапезонд и другие пункты анатолийского берега. Самые укрепления, похожие дотоле на остроги, в которых гарнизоны боролись с внешними врагами и выносили без возможности борьбы козни внутренних лиходеев, стали военными поселениями. Начала проникать в них торговля, учреждались местные клубы, и жгучее солнце не томило уже обитателей; все проходы и переходы были усажены виноградом, перекинувшим свои тенистые лозы на берег Колхиды по следам заботливого нового начальника. Боевая машина — терпкий бесстрашный кавказский солдат перестал быть машиной. Война продолжалась по-прежнему, без строгой системы, но важное в борьбе с восточными народами условие — постоянство успеха — снова перешло на нашу сторону после первых неудач в экспедициях, указанных из Петербурга. Памятные жертвоприношения Ичкерии и Дарго научили нового первосвященника осторожности и осязательно выказали ему, как опасно пренебрегать старыми опытными деятелями, не соответствовавшими, может быть, требованиям нового времени, но ревниво хранившими зажженный Ермоловым боевой светильник. Отстраненный от даргинского похода пылкий Фрейтаг, которому поручено было накосить сена для отряда, отправлявшегося в несчастную экспедицию с уверенностью выйти на линию, выкосил препятствия, которых не удалось бы преодолеть Воронцову, не захотевшему воспользоваться его знанием, и отмстил за пренебрежение по-кавказски — вырвавши начальника из беды. Теперь Салты изгладили память Дарго, и к знамени бескорыстия и заботливости о солдате, поднятому новым начальником, возвратилась слава, без которой даже человеколюбие будет тщетно силиться возбудить в воине самоуважение и самоуверенность.

Но разливка нового вина в новые меха провела по кавказским хребтам ощутительный след. Имя главнокомандующего само по себе было знаменем и притянуло в горы искателей карьеры и почестей. Между новыми деятелями были такие, которые умели проводить новое нравственное учение, сохраняя прежние славные предания, но многие под рьяностью к улучшениям скрывали личные виды на повышение только, и на Кавказе завелась спекуляция в том, что никак не должно подлежать биржевым сделкам — в боевой репутации. Коменданты укреплений начали придумывать вылазки, даже выдумывать их, и грязной ложью приобретали то, что прежде добывалось чистой кровью.

Собственные берега заняли нас до 1849 года. Зима прерывала занятия, требовавшие тщательного и близкого осмотра прибрежных предметов, и мы провели первую зиму на Кавказе в составе охранявшей прибрежье эскадры. По временам мы заглядывали и в Севастополь для снабжения. В одно из таких посещений меня выбрали членом комиссии для ревизии библиотеки. Я говорил уже прежде об этом истинно общественном учреждении, поднявшем умственный уровень сословия. Первые избранные директоры, в числе которых В. А. Корнилов был наиболее действующим лицом, с самого начала поставили библиотеку на совершенно общественную ногу. За благочинием, требуемым умственными занятиями, следили весьма строго, и в отношении к пользованию книгами соблюдалось совершенное равенство. Постановления устава были обязательны для каждого, несмотря на противящуюся равноправию военную иерархию, и все приняло должный ход. Немало было борьбы с привычками к привилегиям и с злом в различных видах, но настойчивость Корнилова помирила всех с новым порядком вещей. Верховное наблюдение над книгохранилищем перешло в 1847 году в другие руки по случаю командировки Корнилова в Англию: уверенность в прочности заведенного им порядка ослабила контроль, и наше любимое детище начало спотыкаться и совращаться с указанного пути. Комиссия наша захотела сохранить за библиотекой прежнюю действительность и вошла во все подробности управления ею. Директоры, большей частью начальники ревизующих, некстати призвали на помощь чинопочитание и уговорили сговорчивого командира порта закрыть комиссию на том основании, что долгой ревизией она лишает возможности пользоваться книгами. Устав воспрещал раздачу во время проверки. В Николаеве к главному попечителю библиотеки пошли жалобы на произвольное действие его представителя в Севастополе вместе с нашими требованиями; мы же выставлялись как нарушители воинского порядка, и наша ревность к общим выгодам рисовалась устрашающей кистью духа сопротивления. Но Михаил Петрович не пугался подобными образами, малюемыми невежеством или лукавством, цепкими к дурным привычкам. Комиссии, конечно, не восстановили — этого не дозволяли условия военного общества, но требования ее найдены согласными с уставом и потому подлежащими непременному и немедленному исполнению. Многие из директоров сложили звание; вместо них выбрали новых, и дело кончилось.

Севастополь был связан с окрестными жителями, в том числе с иноками Георгиевского монастыря, развлекавшимися от монастырского уединения на флоте в качестве священников. Настоятель и митрополит Агафангел издавна сжился с городом и всегда охотна участвовал в местных религиозных торжествах. Не знаю, хотел ли старец укрепить верой расшатавшиеся столбы общественного разума или бойким подвигом оживить собственную дряхлость в глазах нового поколения. 6 января он отказался сойти к воде по Екатерининской пристани, пока не закроют статуй в нишах, входивших в город пропилей. Статуи закрыли и на пристани поговорили в течение нескольких заседаний о нелогичности митрополита, с одной стороны, чересчур щекотливого к присутствию греческих богов, с другой, слишком равнодушного к христианским преданиям и к русским обычаям и с готовностью святившего соленую воду вместо пресной.

Другую зиму, мешавшую нашей работе, я провел в родной Смоленской губернии, где важный, всех касавшийся вопрос разбудил тогда сонные умы и вывел смоленских дворян из апатии, в которой они сладко убаюкивались кстати и некстати припоминаемой славой двенадцатого года.



ГЛАВА VII

ПЛАВАНИЕ У ТУРЕЦКИХ БЕРЕГОВ

Николай Павлович пытается освободить крестьян. Любимые царские приемы в политических сношениях с Портой. Отправляюсь для исследования турецких берегов. В. П. Титов. Сэр Стратфорд Каннинг. Наша константинопольская линия. Приставленные к нам соглядатаи. Малоазийская природа и торговля. Синоп. Трапезонд. Турецкая невоздержанность. Батум. Слабость турецкого правительства. Странное равнодушие к Батуму на Адрианопольских переговорах.

В 1847 году в апогее внутреннего могущества и внешнего влияния Николай Павлович подумал, наконец, о единственном подвиге, которым мог бы искупить грехи беспредельной своей власти. Он захотел употребить произвол на изменение судьбы миллионов подданных. Без такого изменения правда была немыслима, как бы совершенно и прогрессивно ни разрабатывались административные подробности управления. Надолго прерванная слабая нить александровских благих намерений должна была снова связаться уже твердой рукой, нешатавшейся уже волей. Дворянству было предложено обратить на крепостной вопрос внимание, разумеется, принимая во внимание решимость царя изменить существующий порядок.

Но, как бомба, треснула февральская революция. Ее осколки расшатали все европейские троны, что было не удивительно, но вместе произвели совершенно неожиданное явление — Николай Павлович выказал неуверенность в своем могуществе, закрыл все комитеты и комиссии и собственными руками вырвал единственную блистательную страницу истории своего царствования.

Великое начинание пришло внезапно к странному, почти шуточному концу. По случаю европейских смут явился манифест, на который мне случилось уже указать прежде. Военная темпистика была введена в слог царского воззвания. «Да не будет так», — прокомандовал повелитель 70 миллионов, вовсе не разумевших, что именно не должно быть так, и, топнувши на Европу, забыл об освобождении в упоительном самодовольстве. Красноречие манифеста давало идею о приеме, который намерен был проделать исполин, вертевший в своих руках силу России.

Вмешательство Николая Павловича в европейские смуты немедленно выказалось на Черном море изготовлением гребной флотилии для Дуная. У государя вошло в обычай при каждом политическом затруднении грозить Турции. Едва ли можно отнести этот норов к ясному пониманию русских интересов; ими тотчас жертвовали, коль скоро угрозы возбуждали движение, даже косвенно затрагивавшие главнейший из интересов русского государя — покорность придержащей власти; а какое иное движение было возможно при каждом

случае, представлявшем хотя в туманной дали надежду на освобождение от мусульманского ига? Наша политика на востоке в долгое царствование Николая Павловича выражается всего вернее простонародной поговоркой: «И хочется, и колется». Она не имела оси и хлюпала между Босфором, Сербией, Монте-Негро и княжествами в страхе за собственный дорогой строй, не облегчавшем движения дипломатической колесницы. Трудно было бегунам приноровиться к living возниuе; он хотел единовременно достичь двух пунктов на различных концах того же ипподрома и разрывался между противоположными желаниями, пока личная гордость одолела неосновательное чувство самосохранения, и Россия была брошена в несчастную войну. В нашей политической слабости (где колебание, там твердость немыслима) виновник ее тешился угрозами, обманывал себя наведенным в 1829 году на Турцию страхом и, забывая скоротечность этого чувства, мнил продлить его то устрашающими выставками сил на южных границах, то ребяческими посылками в помощь дипломатам по ремеслу дипломатов par la volonté de S. M.[56] Пароходы внезапно являлись на Босфоре с военными генералами, которым поручалось разнообразить монотонность дипломатических нот ухарством военного лаконизма и прерывать скрип перьев бренчаньем сабли. Наступал уже, впрочем, момент, когда турки догадались, что звук русской сабли просто любимая нота Николая Павловича, а не прелюдия в давно сочиненной и тщательно оркестрованной партитуре, но пока приготовления на Дунае не тревожили их, и в это именно время они разрешили нам исследовать анатолийские и румелийские прибрежные местности.

Начало наших исследований на турецких берегах не лишено было некоторого комизма. Тендера чудились грозной тучей, готовой нахлынуть на владения калифа, и чтоб приучить понемногу турок к близившемуся бедствию, Титов советовал начать с востока, от Трапезонда, и постепенно приближаться к Стамбулу. Назначенные сопровождать нас соглядатаи успели бы в это время ознакомиться с родом и степенью опасности и вовремя передали бы свои наблюдения Порте. Чужеземные послы через консулов также уверились бы в действительности готовившейся напасти и взяли бы меры к отвращению ее. Вообще вопрос, веденный с истинно дипломатической медленностью, должен был по разрешении приводиться в исполнение с такой же осторожностью. В Николаеве, где знали, что за сила два тендера, и понимали, что результаты наших исследований будут полезны для мореплавателей вообще, а не русскому только флоту, никак не могли угадать причин колебаний нашей миссии, сочли их явным недоразумением и, чтоб рассеять все сомнения, велели нам плыть прямо в Буюк-Дере. Медленность и осторожность, опрокинутые таким образом предписанием М. П. Лазарева, имели начало в личном характере В. П. Титова, оплетенном враждебными его природе условиями. При горячей любви к России, при твердости духа и убеждения, которую он выказал впоследствии, Владимир Павлович был несносно медлен и до крайнего момента нерешителен. Перед прибытием нашим в Босфор проказница-судьба свела Фабия-Кунктатора с пылким М. Х. Граббе, присланным для переговоров касательно действий наших против венгров со стороны княжеств. У обоих были те же строгие понятия о чести и долге, оба одинаково любили отечество и ревностно подвизались на его пользу; только в силу личных темпераментов те же достоинства и те же взгляды выказывались совершенно различно. И перо Титова, и сабля Граббе одинаково стояли за благо и достоинство России, но медленный Титов, казалось, двигался за пером, а у борзого Граббе сабля ходила по воле руки. Симпатичный человек сабли окрестил столь же симпатичного человека пера Капун-Пашой, и прозвание, нисколько не умаляя качеств и ценности дипломата, обнаруживало только находчивость и меткость воина. Впрочем, в положении определенном Титов умел

решаться. Официальный характер его образовался в ртутной изменчивости нашей восточной политики. Вынужденный плавать между Сциллой и Харибдой, Титов видел лучшее средство избежать крушения и промахов в медленности, представляющей вероятие благоприятных неожиданностей более, нежели быстрота. Он имел правилом не только долго взвешивать и обсуждать, но, по возможности, отлагать, чтоб скорым действием не поставить себя в необходимость сделки с собственной, весьма строгой совестью.

Система Титова, верная в отношении к своему правительству, не имевшему системы, едва ли была пригодна на месте, где приходилось бороться с сильными влияниями, встречать бодрствующих и деятельных соперников. Франция, следуя семейной политике Орлеанов, желавших во что бы то ни стало войти в сонм законных властителей Европы, не требовала от нашего посланника слишком пристальной наблюдательности, тем более что представитель ее, генерал Опик, смотрел гордым, привыкшим повелевать взглядом на мелочи дипломатических сношений, а эти мелочи особенно ценятся в стране чисто восточной, где форма подавляет сущность. Не так судил о восточной церемонии представитель издавна постигшей восток Англии, сэр Стратфорд Каннинг, впоследствии лорд Рэдклиф. В нем Титов имел стойкого, опасного противника, бросавшегося безбоязненно поперек его пути при каждом удобном случае в уверенности, что правительство не осудит его слишком строго за неудачи в действиях, предпринятых с известной, согласной с постоянной английской политикой целью. В Константинополе, помимо торговых выгод, утвержденных договорами, Англия преследовала единственную мысль — не допускать преобладания русского влияния. С открытием Суэцкого канала важность Константинополя для торговой Англии значительно уменьшилась. На новом пути есть пункты сообщения с Азией, несравненно более верные для преобладающей морской державы, нежели Стамбул и Дарданеллы, всегда доступные с суши. Но Константинополь до сих пор тревожит английских правителей. В сороковых годах он и должен был тревожить их, и в выборе представителя на Босфоре, в сохранении его, несмотря на перемены министерств, в снисходительности к порывам его раздражительного нрава выказывалось, насколько в Англии польза государственная выше всяких других соображений и как там ценятся способные люди, даже неприятные власти. Каннинг вследствие английского воспитания особенно взвешивал качества людей, с которыми имел дело, и скоро изучил тайные двигатели порочного правительства, при котором был аккредитован. Понимая, что в стране, где закон — мертвая буква, личность имеет громадное значение, физически неутомимый Каннинг бросался в каик с восходом солнца и ехал к какому-либо влиятельному сановнику обделывать дела, как товарищи его, заспавшиеся до поздней ночи или до раннего утра, предавались еще необходимому покою. Следуя привычкам турок, он являлся к ним гораздо ранее своих собратов, а там, где все зависит от взгляда личностей, первое впечатление, прежде выраженное желание направляют дело. Каннингу не приходилось переделывать то, что сделали его товарищи: он всегда опережал их. Каннинг с чувством долга соединял ненависть к России; удовлетворяя Англию, он насыщал собственную страсть и в жажде мщения, всегда более или менее ослепляющего.

А. П. Озеров приехал в Константинополь из Тавриза, где был довольно долго нашим консулом. Пограничный с Кавказом пост в царствование Николая был не розовым ложем и в условиях отношений наших к слабому, но все же державному соседу требовал деятельности, быстрой находчивости и присутствия духа. Приходилось беспрестанно забирать дезертиров, укрощать и даже хватать перебегавших кавказских владетелей и иным образом хозяйничать в чужой земле. Не смея сопротивляться явно, не решаясь опираться на свою госу-

дарственную независимость, персидское правительсво, под рукой, покровительствовало всем недовольным нами, и консул с шестью казаками должен был расстраивать азиатские козни.

Конечно, влияние нашего посланника Симонича облегчало тавризскому консулу успех. Симонич хозяйничал en grand,[57] сменял владетелей провинций, родных и друзей шаха, и в случае непокорности препровождал их своими средствами в Тегеран. До гератской экспедиции, в которой английская последовательность сломила наше казачество, мы обращались с Персией, как с подвластной провинцией, но лишь для удовлетворения тщеславия, чтоб только знали, мол, наших. Преследование беглых солдат и укрывавшихся в Персии поляков не составляло еще всего. Полезней было бы для России, если б в период нераздельного влияния нашего в Персии мы утвердили бы за собой выгодную торговлю хлопчатобумажными тканями, которые персияне особенно ценят по принятому у нас способу беления, англичанами не употребляемому. Московский купец Вышегородцев делал опыт и утверждал, что торговля может получить развитие. Но правительство наше, гонявшееся только за грозным значением, вовсе не думало об экономическом господстве в Персии, столь полезном для наших фабрик, и русские подданные Ралли наводняли Персию английскими тканями. Товар контрабандным путем пробивался на Кавказ и там сбывался за звонкую монету, которая потом переходила в большом количестве на константинопольский рынок.

В буюкдерском обществе мы находили истинное утешение после тоскливых исследований полуварварских местностей. Приятно и разнообразно проходило короткое время отдыха среди людей различных воззрений.

В числе разочарований, которые пришлось испытать на Босфоре, было летучее знакомство с Ламартином. Я застал царя фантазеров и утопистов нашего времени на палубе парохода возле бутылки мадеры. Прозаическое занятие для творца Méditations. Длинный расплывшийся у конца нос, осененный вакхическим заревом, изобличал непоэтическую слабость, но разграничивал глаза, полные еще блеска и способные передавать душе всякие образы. Дражайшая половина его торговала турецкие трубки с ловкостью и щебетаньем истинной femme de ménage.[58] Не следовало бы известностям выказываться нараспашку. Прелесть не в том, что ясно видится, а в том, что ловко скрывается от зрителя.

Султан Абдул-Меджид понимал значение своего края и прочность владычества калифов в Европе. В это время архитектор Фоцатти реставрировал Св. Софию, разумеется, в мусульманском стиле. Золотые поля мозаичных образов в куполе покрывались золотистой краской так прозрачно, что очерки христианских изображений виднелись сквозь слой ее. И в этом христианское усердие Фоцатти было неповинно. Султан приказал покрыть купол так, чтоб можно было снять краску, не вредя мозаики.

Политика, поэзия и другие привлекательные средства разнообразить жизнь давались нам кратковременно, лишь при посещениях кормившего нас Босфора. Вообще же плавание наше у турецких берегов было бы в высшей степени тоскливо, если б над печальной действительностью не ставал на каждом шагу образ великого прошлого. Не доверяя учености нашей цели, Порта дала нам конвоиров будто для облегчения сношений с прибрежным населением. Два брига, когда могли, следовали за нами. Старший из командиров Этем-бей, сознавал свое турецкое невежество и выказывал желание выйти из него, но товарищ его, Сали-Капитан, считал себя истинно правоверным, т. е. неизмеримо совершенней всяких христианских собак, хотя, конечно, опасался выказывать свое превосходство в нашем присутствии. Добродушный Этем хвастал, что имеет книгу, из которой можно узнать имена морей, рек и заливов — это по части учености, а касательно светскости — пил, не мор-

щась, теплую воду из полоскательных чашек после обеда. В наших сношениях иногда налетали тучки. Туркам хотелось спать спокойно каждую ночь, праздновать свои и наши праздники. Почти всегда мы уходили вперед, а они отставали, оставляли место, окончивши исследования, тогда как они только достигали его, заглядывали туда, куда они не решались за нами следовать; вообще дело не спорилось, пока мы не предложили Этем-бею в очищение и для спокойствия его турецкой совести дать нам турецких офицеров. Присланный ко мне скромный любознательный юноша был столько же доволен новым своим положением, сколько я возможностью развязаться с неудобными друзьями. «Звезда» и «Блеск Победы» — так назывались сопровождавшие нас бриги — с тех пор редко мерцали в глазах наших и соединялись с нами только там, где важные местные власти могли засвидетельствовать перед Портой о ревностном исполнении ими долга.

Малоазийская природа поражает живописной дикостью. Везде отсутствие человеческого труда и равнодушие к драмам естественным. Кое-какая торговая деятельность сосредоточена в руках греков, занимающих все прибрежные местности. Мусульмане не дорожат морем и более отступают внутрь страны.

Из Малой Азии турки пользуются строевым лесом. Между Пендеркалией и Амастро есть богатые угольные копи, но их разрабатывали самым невежественным образом и бросали при малейших затруднениях, хотя пласты упирались в самое море. Ангорская шерсть составляет другой малоазийский продукт, но руно совершенно изменяется тотчас к востоку за рекой Кизыл-Ирмак и не сохраняет своего достоинства северней Кастамбула. Плоды, табак и пиявки — также значительная отрасль отпускной торговли, преимущественно из Самсуна. Пиявки, как все чрезвычайно выгодное, были на откупу. Правительство получало четыре миллиона пиастров, и, чтоб судить о выгодах откупщиков, нужно знать, что в наше время пиявка стоила в Константинополе пять копеек, а в Самсуне поселяне приносили око за три и четыре рубля; в оке, средним числом, до 1500 пиявок. Правда, подрядчики затратили вначале порядочный капитал, вырыли до двадцати пиявочных бассейнов и провели в них текучую воду, но все же, выигрыш был громадный и француз-откупщик, разлакомившийся на высокие проценты, убеждал меня, что не может быть ничего вредней свободного пиявочного промысла, допущенного у нас. По его словам, такая свобода вела чуть не к гибели России. Дело в том, что он пытался охватить монополией Кавказ и хлопотал о привилегии в прикубанских землях, но не имел успеха.

В Синопе, через пять лет столь памятном в летописях нашего флота, был в то время губернатором Туфан-паша, вице-адмирал. Наш Этем-эффенди обращался к нему с рабской почтительностью и особенно робел на данном нами обеде, где Туфан совершенно забыл законы Магомета. По тщательном исследовании причин страха бедный Этем признался, что во времена он служил под начальством Туфана на корабле и был приглашен им к обеду. Туфан требовал, чтоб все присутствовавшие пили вино; Этем крепко держался закона и был побит чубуком. Дрожь Этема сделалась понятной. Действительно, Туфан в антимусульманском виде был очень неприятен.

В Трапезонде мы нашли довольно значительное европейское общество. Консулы разных держав не замедлили сделать нам визиты, pour attraper quelque coups de canon,[59] как выражался наш приятель Герси, почтенный представитель наших, к сожалению весьма незначительных, торговых интересов в Трапезонде. Часто случалось мне встречаться с восточными консулами. Имея в силу конвенций судебные атрибуты, они считали себя гораздо более нежели торговыми агентами, и если не все горячо вступались за подданных своих правительств, то без исключения все страдали пороховой горячкой. Где бы на востоке ни бро-

сил якорь военный корабль, тотчас наезжали консулы, поистине на огонек, предлагали свои услуги, получали условные семь выстрелов и avec force révérences[61] возвращались домой. Герси жил набобом и пользовался большим уважением. Он познакомил нас с местными властями на роскошном обеде. Генерал-губернатор Гайредин-Паша был начальником штаба в Шумле во время осады ее нашими войсками и, кажется, удостоился по заключении мира особого внимания Николая Павловича как искусный и деятельный противник. По крайней мере, он отзывался о русских и царе их с большим уважением, и на нас пала доля желания его выказывать это чувство при удобном случае. Он облегчал нам все надобности, давал проводников, заботился о нашей безопасности в поездках и задавал нам истинно восточные пиры.

У Гайредина жил на хлебах товарищ его, Дервиш-паша, турок старого закала во всем, исключая покорности главному запретному закону Магомета. Современные турки или следуют строго Корану и чрезвычайно воздержанны или переступают Рубикон — и тогда им море становится по колено. Дервиш-паша был из числа последних, несмотря на мучительную рану: 12-фунтовое ядро сорвало ему правую половину спины и язва не закрывалась. Обыкновенно он ел первое блюдо, затем спрашивал чубук и между глотками дыма пил стаканами попеременно коньяк и шампанское. Желудок этого варвара положительно был вылужен и принимал огненную струю, как воду. И при таком образе жизни Дервиш тянул седьмой десяток. Истинно дивна живучесть человека! Как часто встречаются люди, которые сразу уморили бы всякую скотину, если бы вздумали делать над ней малую долю опытов, производимых над самими собой.

В Батуме встретили мы достойного сподвижника Дервиш-Паши каймакама Абдул-Галуб-эффенди, пухлого турка, не могшего еще прийти в себя после путешествия в Тифлис и относившего к кавказским дорогам недуги тела, изнемогавшего от невоздержанной жизни. Абдулу как пограничному начальнику велено было лично приветствовать Воронцова при его вступлении в должность. После предварительной переписки Абдул получил разрешение прибыть в Тифлис и на границе был встречен каким-то зауряд-хорунжим, исполнившим повеление начальства с казацкой прытью и точностью. Абдул был доставлен к Воронцову с помятыми таратайкой ребрами и, как умильно ни смотрели жадные турецкие глаза на подаренную Воронцовым драгоценную табакерку, вслед за улыбкой, вызванной блеском камней, каймакама судорожно подергивало при неизбежном воспоминании о казацкой скачке по горам и долам.

На нашей странной закавказской границе среди белого дня шли разбои и грабежи. Как образчик турецкого владычества в отдаленных от Стамбула местностях стоит выставить отношения, существовавшие между местной правительственной властью и Гассан-беем, кабулетским феодалом, явно покровительствовавшим разбоям и, несмотря на то, в силу местного значения, возведенным Портой в звание мудира, некоторым образом местного губернатора. Абдул-Галуб-эффенди с помощью нашего агента Boso знал наперечет все проделки Гассана и усердно желал схватить его, да не хватало мо́чи. Абдул пригласил нас на пикник в дремучий лес, зажарил там, как водится, упитанного барана и напился до положения риз. Перед возвращением в Батум на нас налетел красавец Гассан-бей с огромной вооруженной свитой. Пикник происходил на кабулетской земле, и владетель счел долгом приветствовать русских гостей и начальника в своем владении. Это была простая и весьма естественная вежливость, но Гассан не удовольствовался ею. Ему хотелось, как говорят турки, наплевать каймакаму в бороду и выказать свое молодечество в глазах подчиненных Абдулу батумцев. Облеченные в яркие цвета, разбойники провожали нас до самых тендеров с неистовыми гиками, джигитовали и стреляли мимо ушей пуля-

ми в выражение радости. Как ни качался Абдул-Галуб в своем седле, чувство начальнического достоинства пробудилось, вероятно, от гассановских выстрелов, и он послал гонца вперед с приказанием стрелять при въезде нашем из пушек. Абдулу хотелось показать Гассану, что и у него есть сила. Соперничество кончилось тем, что у одного из турецких артиллеристов оторвало руку, за которую, разумеется, мы заплатили, так как стрельба к нам относилась.

Гассан, заставивши Абдула «наесться грязи»,[61] так неотвязчиво и радушно звал нас к себе, что мы согласились сделать ему визит. О переговорах касательно выдачи укрывшихся в Турции венгров доходили уже смутные слухи, и мы были не прочь втянуть наших конвоиров в представление, которое не могло быть мило их мусульманской гордости. Гассан, конечно, выказал бы нам возможное внимание, и приставленные к нам блюстители волей неволей должны были стать свидетелями чествования морских гяуров, которые начинали в это время поднимать на Босфоре такой шум. Действительно, Гассан отнес к нам все почести. Гроза заставила нас провести у него ночь, и на другой день он торжественно сопутствовал нам до нашей границы, в полутора часов ходу от Кабулет. Вызванный нами начальник пограничного карантина велел уже казаку седлать коня и мчаться в крепость Св. Николая с донесением о вражьем наваждении, но был приведен в себя чистотой нашего русского наречия.

Эта болотистая, лихорадочная граница, проведенная по быстрому Чороху в трех часах от Батума, оттого только не мешает сну наших дипломатов, что по отдаленности никогда не представлялась им даже в грезах. Зато каждый, видевший местность и знающий условия нашего кавказского прибрежья, смотрит на нее как на самую злую насмешку над дипломатической проницательностью, в особенности вспоминая, что Адрианопольский мир заключен в виду Стамбула после победоносной войны. Войска наши были у Эрзерума, и весь край к северу, до самого моря, фактически находился в наших руках. По всему протяжению берега от Керчи Батум представляет единственное безопасное убежище и самый лучший пункт для наблюдения за попытками с анатолийского берега. И, несмотря на успехи, несмотря на важность Батума, мы согласились на границу в трех часах от него. Мне неизвестна дипломатическая история Адрианопольского трактата, но писавшим его русским мужам были неведомы науки международных хитростей, конечно, столь же неизвестны были условия Батума, может быть, самое существование его; а незевака-мичман, призванный к спросу, уяснил бы дело.

От Батума мы возвратились в Константинополь, чтоб предпринять после некоторого отдыха осмотр румелийского берега. В это именно время отношения наши к Турции приняли сомнительный характер, несколько отразившийся и на нашей экспедиции. Европа, остававшаяся равнодушной к нашим венгерским успехам, не могла отнестись с тем же хладнокровием к нашим повенгерским требованиям, и Каннинг с жадностью ухватился за случайность, которую противник доставлял его давней неизменной ненависти.

ГЛАВА VIII

КОНЕЦ ЭКСПЕДИЦИИ

Николай Павлович требует выдачи венгров, укрывшихся в Турции. Противодействие Каннинга. Титов прекращает сношения с Портой. Мы продолжаем работу. Едва не потерпел крушение. Румелийский берег. Значение Сизополя. Русские палки и турецкие батоги. Окончание нашей экспедиции. Прием наших турецких спутников в России. Конец командования тендером и турецкой дружбой. Взгляд на черноморских деятелей. М. П. Лазарев. Я обновляюсь к новой жизни.

По сдаче Гергея венгерцы, не ожидавшие снисхождения от австрийского правительства, перебирались в Турцию. Еще прежде укрылся там же Бем, вытесненный из Трансильвании. Не случилось так, как требовали выгоды человечества и народа, искавшего свободы. Русскими штыками восстановили рухнувший трон Габсбургов, и Россия приобрела нового врага в сочувственной дотоле Венгрии. Если политика государя не указывалась выгодами России, нельзя было отказать ему в личной последовательности; он гасил искры самосознания везде, куда могла достать его тяготеющая рука. Но требование выдачи венгерских вождей и поляков, принимавших участие в венгерском восстании, оказывалось уже бесполезной мстительностью. Европейские правительства, не могшие помешать нашим успехам в Венгрии, ухватились за удобный предлог умалить возросшее от этих успехов влияние государя тем радостней, что были уверены в сочувствии подданных. Каннинг велел Порте не уступать ни под каким видом, ручаясь за материальную помощь Англии. Миролюбивая тогда Франция Людовика-Филиппа не могла одолеть Франции, враждебной всякому деспотизму, и на буксире Англии готова была также поддержать Порту. Вследствие инструкций из Петербурга Титов прервал сношения и готовился по наружности к отъезду, хотя был уверен в мирном решении затруднений. Не могло быть сомнения, что здравый смысл осилит гневный порыв Николая Павловича, тем более что Порта, несмотря на подстрекательства Каннинга, выказывала готовность подчиниться требованиям, хотя бы несколько мирившимся с государственным ее значением. Прекращение сношений напугало ее и, чтоб поставить себя в невозможность вполне удовлетворить государя, она убеждала выходцев к принятию исламизма как единственного средства спасения. Несчастные стали в Виддине переходить в магометанство, но Каннинг, страшась в Англии взрыва негодования к отступникам, при котором правительство не в силах было бы оказать им помощь, послал в Виддин эмиссара ос-

тановить отступничество. Нет сомнения, что православный Николай Павлович сам ужаснулся последствий своей настойчивости, и скоро требования выдачи были заменены предложением заключить выходцев в одном из укрепленных мест Малой Азии. Порта согласилась, но английский флот уже стоял в Дарданеллах. Титов, получивший приказание возобновить сношения в случае согласия, уже собственной инициативой объявил, что не выполнит указаний своего правительства, пока англичане не выйдут из пролива. Французский пыл при умеренности правительства остыл от изменения наших требований, а Англия оставалась в одиночестве. Поднятая суматоха на время утихла, и оскорбленное самолюбие невского падишаха было удовлетворено почтительным поведением падишаха босфорского, пославшего с извинением в Петербург медоточивого Фуад-пашу. С своей стороны, статьей Journal de St. Petersbourg, мы отнесли временный перерыв сношений недоразумению посланника.

Все это творилось, пока мы возвращались из Батума. Отношения наши к конвоирам стали натянутые, и сомнения усилились, когда в Трапезонде мы узнали, что Этем-эффенди и его товарищ заменены Реуфом-эффенди и Ахмет-капитаном. Русофил Гайредин принял нас по-прежнему и мило шутил, утверждая, что мы не заметим плена — так выкажет он нам любовь к русским. Мы отвечали тоже шутками, замечая, что нужно прежде взять, а потом баловать. Какая-то случайность помешала срочному австрийскому пароходу прибыть вовремя, и мы отправились на Трапезонд уже с заряженными пушками, намереваясь зайти в Синоп и там выждать ответа Титова на наши запросы.

В Синопе все разрешилось. Титов писал, что затруднения кончились и мы можем плыть в Босфор со всей уверенностью. Реуф-эффенди чрезвычайно обрадовался прекращению взаимного недоверия и уверял, будто до Синопа не имел ни малейшего известия о неприязненных отношениях между правительствами. Реуф, без сомнения, очищал совесть Кораном, который дозволяет лгать гяуру. Между Стамбулом и малоазийскими портами — беспрестанные сношения каботажными лодками, и по всему берегу давно ходили слухи о несогласии.

Возобновление сношений доброго соседства с Портой повело к возвращению приятеля нашего Этем-бея на прежний пост. Вероятно, его сменили при дипломатическом разрыве по свойственной турецкому правительству подозрительности, опасаясь, что вследствие долгих сношений с нами он из личной приязни пожертвует выгодами государства и не воспользуется могущими представиться случайностями. Дела приняли благоприятный оборот уже в позднее время года, так что мы принялись за румелийский берег не ранее исхода октября.

Море, так немилостиво встретившее меня в начале командования, захотело положить на меня новую метку перед разлукой моей с тендером. Лишь только вышел я из пролива, поднялся сильный северный ветер и развело громадное волнение. Тендер ушел в воду и скоро вынырнул без бушприта. Там, где всего три паруса, отсутствие одного лишает всякой возможности управляться. Волны ходили через палубу и сносили все, что было вделано в корпус. Связи и привязи рвались, как нити, и меня несло к негостеприимному берегу между проливом и Мидией. С разными хитростями удалось поворотить к проливу, но надежда укрыться в нем скоро исчезла. Ветер свирепел, и волной более и более сбивало меня к босфорским скалам. В случае крушения, не только вероятного, но несомненного, не спаслось бы ни одной души у мрачных утесов, окраяющих Босфор. Пока было еще время, я высмотрел удобное для предстоявшего несчастья место и спустился в бухту Килиос. Песчаный кусочек берега давал надежду спасти людей; нужно было только удачно поместиться при дувшем ветре, чтоб в случае разрыва канатов попасть

на песок, а не на скалы. После трехгодового плавания тендер представлял уже стройное целое и без всякой суматохи, несмотря на то, что безжалостный ветер изорвал последние паруса, мы остановились на якорях там, где было нужно. Все зависело от добросовестности мастеровых, ковавших цепи, и от того, без чьей воли не рвется не только цепь, но волос. Двое суток мы качались между жизнью и смертью. Какой-то горький купеческий бриг опрокинуло на наших глазах. Несчастные люди цеплялись за плававшие деревья и отчаянными знаками просили помощи, с нашей стороны немыслимой. В подобные минуты кажется, так и треснет сердце, переполняемое раздирающими ощущениями. В книге судеб моих написано было <u>быть</u> — и через два дня меня утешали в незыблемом Буюк-Дере мои босфорские друзья.

Румелийский берег, на котором подвизались в 1828 и 1829 годах наши предшественники, наводил на более живые и близкие воспоминания, нежели анатолийский. Инада, занятая капитаном Критским с шумной реляцией, если не с громовым боем, привлекла наше любопытство не в гидрографическом только отношении. Нам хотелось отыскать хотя следы форта и цитадели, так грозно расписанных в донесении Критского, но мы набрели только на едва заметные признаки временных насыпей. В двадцать лет прочные стены не могли совершенно изгладиться, и зорок был единственный глаз Критского. Вообще этот глаз служил ему во многих случаях. Впоследствии, когда он был интендантом флота, на все сетования командиров, жаловавшихся, что им не отпускают из адмиралтейства ничего полагаемого по штату, хитрый интендант постоянно возражал: «По штату! Все по штату! По штату полагается два глаза, обхожусь же я одним».

Вся крепость Инады в наше время состояла в литографированном закопченном образе Николая Чудотворца. Приходящие моряки поддерживали перед ним неугасаемую лампаду. Когда не было никого на рейде, мусульманин Мехмед исполнял должность весталки и в нашем присутствии оживил огонь — окаянный, — чтоб зажечь трубку. Мехмед говорил без умолку и без всякого размышления, лишь бы говорить, и пресерьезно уверял, что, плавая в Архипелаге, видел и слышал сирен.

Вообще по тому, что мы видели, победоносные легионы наши стяжали легкую славу на берегу Румелии. Покорение Сизополя[62] было весьма важно как занятие пункта, удобного для пристанища наших кораблей в тылу турецкой армии. Зато в сороковых еще годах можно было видеть на всех станциях и во всех провинциальных трактирах размалеванную картину, изображавшую всадника с выщипанным султаном в шляпе и в ботфортах по пояс, с надписью: «Храбрый адмирал Кумани берет Сизополь». Сизополь действительно стоит внимания при всякой кампании с Турцией, как бы ни вели ее. Если хотят действовать десантом, Бургасский залив представляет многие удобные пункты для своза войск, и Сизополь, находясь при входе в него, служит залогом успеха десантных действий и обеспечения высаженных войск. Если, напротив, предпочтут последовательное наступление через Добруджу, захват Сизополя даст возможность угрожать тылу неприятельской армии, защищающей Балканы. Условия эти не ускользнули от проницательности нового начальника штаба Черноморского флота В. А. Корнилова.[63] Он поручил мне собрать о Сизополе возможные данные, и я объезжал всю окрестную местность, исследовал дороги, источники и набросал с возможной точностью карту местности, которую приложил к моим выводам. Впоследствии записка моя была разбираема на советах по поводу предстоявшего с турками разрыва и служила в числе других документов подкреплением взгляда ретивого Корнилова, убеждавшего в необходимости опередить союзников быстрым сосредоточением войск в Румелии по свободному еще морю и ударом на Константинополь. Но мы всегда думали, что

одни угрозы остановят противников, и никогда не умели на что-либо решаться в должный момент.

Из Бургаса мы ездили в Илиджи, горячие ключи, известные еще римлянам, устроившим здесь термы. Сопровождавший нас Этем-бей хотел принять на свой счет угощение. Турецкие матросы разбрелись по местечку отыскивать съедобные материалы и через некоторое время притащили несчастного, дрожавшего от страха грека. Оказалось, что преступник усомнился в добросовестной расплате и спрятал своих кур. Немедленно началась турецкая расправа, прекращенная только замечанием Бутакова, что действие не согласно с танзиматом. Так расправлялись турки, а рассказ болгарина, бежавшего из молдавской службы, рисовал русские порядки. Беглец уверял, что в молдавской армии ввели екатерининское ученье, что на этом ученьи «дуже бьют и он побег». Наивное сказание о выборе между русскими и турецкими батогами сильно и вместе чрезвычайно ясно выражало положение несчастных придунайских христиан между молотом и наковальней. Курьезно было и то, что все валилось на Екатерину, будто от нее до Николая включительно некому было вводить новых учений. Царица, всего менее о них думавшая, оказывалась виновной в ненавистном нововведении. Но величие имеет свои невыгоды. Как ни воевал лично Николай Павлович на Дунае и за Балканами, а для тамошних народов не было никого на русском троне после Екатерины.

За двухлетнее терпение, с которым конвоиры нехотя плавали по нашим следам, нужно было выказать им какое-либо внимание. Об обыкновенных наградах, так щедро подчас рассыпаемых нашим правительством, нечего было и думать. При тогдашнем настроении государя к босфорскому другу, дерзнувшему поступать по чужим, а не с Невы посылаемым советам, всякая попытка говорить в пользу подданных Порты имела бы вид недозволенной верноподданному смелости. Следовало обойтись своими средствами, и мне впервые случилось употребить в дело дипломатические мои способности. Новый начальник штаба не посмотрел бы снисходительно, если б я обратился прямо к Михаилу Петровичу. Никакие прежние отношения мои к адмиралу не извинили бы меня в глазах самолюбивого Корнилова, если б я решился обойти его. С другой стороны, откровенное изложение взглядов на прием турецких наших приятелей, весьма естественное после долгого с ними знакомства, могло показаться ценившему себя молодому начальнику штаба неуместным желанием навязывать не спрашиваемое мнение. Упроченное службой и долголетним начальническим положением значение Михаила Петровича не требовало в таких случаях особенной осторожности: на прямое изложение мыслей при несогласии он ответил бы точно таким же отказом и, конечно, ни минуты не подумал бы, что его хотят учить. Вопрос представлялся иначе в переговорах с Корниловым, только что начинавшим начальническое поприще с убеждением, весьма основательным, что от природы ему предназначалось действовать в этой сфере. Во-первых, следовало пригласить наших конвоиров в Россию и открытием их любопытству наших учреждений выказать к ним доверие и бескорыстие нашей собственной цели. Затем, имея дело с восточными гостями, нужно было пресытить их церемонностью, кормить на всяком шагу и дивиться их уменью жить. Программа чествования друзей была послана мной еще из Константинополя и удостоилась одобрения. Этем с бригами прибыл вслед за нами в Севастополь, где начался ряд приемов обедом у Михаила Петровича. Обрадовавши нас приказанием сдать, наконец, тендера, адмирал объявил мне и Бутакову, что посылает нас в Англию растянуть члены, скорченные четырехлетней жизнью в каютах, где нельзя было спать во всю длину, но прежде нужно было выказать личную нашу признательность гостям, служить им, в нашу очередь, драгомана-

ми и чичероне и представить отчеты в наших занятиях. В распоряжение гостей дали пароход, и мы возили их целый месяц по черноморским примечательностям, кончивши волшебными прелестями Алупки и вообще южного берега.

Разделались мы, наконец, с турками и торопились привести в порядок наши замечания, чтоб ехать скорей в Англию. Если б Николай Павлович знал, какие живительные корни пускает пребывание в Англии в душевную почву несколько размышляющего человека, то, вероятно, не соглашался бы так легко на командировки туда, но его поражала, на него действовала исключительно внешность, и шумная, болтливая Франция, заставляющая, по словам Карамзина, отнесенным к якобинцам, «ненавидеть свободу», казалась государю несравненно опасней Англии.

Последующие обстоятельства жизни сложились таким образом, что служба моя в Черноморском флоте кончилась с посылкой в Англию, где я пробыл до разрыва, возвратившись зимой 1851 года только на четыре месяца, проведенные в неизбежном кавказском крейсерстве на бриге «Персей». В 1854 году с вестью о выезде из Англии нашего посольства я был послан из Лондона в Петербург и там поступил адъютантом к великому князю Константину Николаевичу. Главнейшая нравственная связь моя с Черноморским флотом, признательность к главному его начальнику, исторгнувшему меня из бездны унижения, рушилась. В 1851 году после мучительной болезни скончался мой благодетель Михаил Петрович, научивший меня полюбить труд и тем самым возбудивший во мне собственные силы. Если б Провидение сохранило полезную для России жизнь его, едва ли какие бы то ни было выгоды соблазнили меня изменить начатой на Черном море карьере; по крайней мере, решимость на подобное изменение без согласия или, точней, приказания адмирала в собственных глазах моих была бы истинной неблагодарностью.

Не раз случалось мне указывать в печати на значение Черноморского флота и различных его деятелей. Корнилов и Нахимов в обстоятельствах минуты были преимущественно предметами моих нравственных очерков, но взгляды мои на этих мужей века, издевающегося над мужами, появлялись в издании, мало расходившемся в публике.[64] Эти взгляды не изменились и поныне.

Желая, чтоб в записках моих могли замечать мои постепенные превращения, я ввожу в них все или почти все в том виде, в каком представлялось оно мне при своевременной наблюдательности, и тогда же заносил на листки впечатлений. Из них почерпнул материалы для биографических очерков павших геройской смертью личностей. У одного в описываемое мною теперь время уже всеми порами была способность властвовать; другой, довольный всяким положением, лишь бы оно доставляло ему возможность быть мучеником долга, обещал то упорное бурное крейсерство, которое кончилось заревом Синопа, ту стойкость в безвыходном положении, которую могла одолеть только сила смерти. Оба по обстоятельствам службы довольно долго влияли на мои молодые лета, и непростительно было бы не дать им в моих воспоминаниях видного места.

Корнилов, и в особенности Нахимов, были произведениями М. П. Лазарева. Своими подвигами они завершили лазаревские предания, выказавшиеся в поражающей нравственной силе самоотвержением черноморцев на севастопольских развалинах. За смертью Михаила Петровича последовали обстоятельства, поглотившие все внимание, потребовавшие всех усилий его почитателей. Этим только можно объяснить и извинить невольное равнодушие к его памяти со стороны близко знавших его подчиненных. В «Морском сборнике» по временам являлись статьи, выказывавшие важность понесенной потери, но в севастопольских громах умирали скромные звуки признательности и благоговейные воспоминания

проходили незамеченными среди потрясающей действительности; притом статьи имели иногда полемический характер, а такую тень недостойно тревожить борьбой мелких расчетов. Пишу это с тем большей смелостью, что лично участвовал в зарождавшейся полемике о покойном адмирале, весьма кстати и ловко усыпленной великим князем Константином Николаевичем без нарушения доставленной им нашему сословному журналу некоторой свободы суждения. Наступит, однако ж, время беспристрастного разбора последней половины николаевского царствования и тогда, может быть, обратят внимание на мои скромные взгляды и мнения. В надежде, что необыкновенный по твердости характера и скромности деятель найдет достойного биографа, я внесу здесь некоторые подробности последних дней жизни, или лучше, предсмертных мучений доблестного слуги России. Брат мой Дмитрий был в это горькое время адъютантом адмирала и в письмах к покойному нашему отцу сообщал все перипетии грустной драмы. «Болезнь адмирала, — писал он 22 октября 1850 года, — беспокоит его по-прежнему и наводит уныние на его семейство и всех окружающих. Приведенные в совершенное замешательство необычайностью ее характера, старшие николаевские врачи опустили руки, признавая болезнь крайне опасной и сознавая недостаточность своих познаний для ее излечения. Вследствие этого был призван из Елисаветграда какой-то смотритель госпиталя, по имени Тарасов... С его появлением все опасения исчезли и надежды на скорое выздоровление Михаила Петровича оживились, но эмпиризм Тарасова встретил камень преткновения... Припадки, нисколько не облегчаясь, становились, напротив, сильнее и чаще и на прошлой неделе до того усилились, что адмирал двое суток не мог принимать никакой пищи; если же после невероятных усилий ему и удавалось проглотить несколько ложек бульона или молока, то жидкость тотчас возвращалась и, производя сильный спазм в горле, принуждала больного выплюнуть ее вместе с мокротой, которой изобилие и необыкновенная вязкость удивляли всех медиков. Озабоченные столь опасными признаками, эскулапы наши решили призвать на совещание искуснейших докторов Одессы, и с этим поручением отправился я на прошедшей неделе в пятницу. Имея письма к известному одесскому хирургу Дидриксу, я все-таки почел нужным явиться к генерал-губернатору Федорову, с тем чтоб просить его совета касательно тех, кого пригласить. Хотя больной и принужденный лежать в постели Федоров тотчас принял меня и, обнаруживая самое живое участие, посоветовал взять в помощь Дидриксу еще одного молодого медика, недавно приехавшего в Одессу, по имени Скоренеков. После разных отнекиваний со стороны Дидрикса, боявшегося повредить своей репутации, если бы случилось, что болезнь адмирала достигла степени неизлечимости, мне удалось уговорить его ехать, и в понедельник я привез его в Николаев. Целые сутки продолжались прения, осмотр больного, щупанье горла зондами, наблюдение признаков и т. п.; наконец, общим сеймом решили, что болезнь серьезна, но не неизлечима, что она требует внимания и строгого соблюдения предписанных советов и что, исполняя определенные условия, через два месяца адмирал может быть совершенно здоров... Из Петербурга извещают, что адмирал получил Андрея Первозванного. Милость очень его обрадовала, а обыкновенно он равнодушен к наградам...».

Сам страдалец от 22 января 1851 года писал к отцу моему: «...Награды, с которой ты меня поздравляешь, я вовсе не ожидал; да и когда бы могло мне прийти в голову быть андреевским кавалером, так мысли мои были далеки от этого. Орден лежит у меня по случаю болезни, продолжающейся уже три месяца, без употребления, и Бог знает, когда я его надену! Если б ты увидел меня теперь, то может быть не узнал бы — так я переменился и похудел... Извини, что запоздал ответом, право, ничего нейдет в голову, все как-то невесело, да

может и ли быть весело при постоянном болезненном чувстве?». В то же время больной находил возможность отвечать и на мои сообщения из Лондона. «Благодарю очень за интересные сведения, вами сообщаемые, — писал он, — но худо, что болезнь мешает мне долго с вами беседовать, пишу стоя», — и вслед за тем входил в такие подробности о строимой под моим наблюдением винтовой шхуне, что нельзя было и подозревать близкого конца ревнителя.

Между тем, когда весть о болезни дошла до Петербурга, князь Меншиков «поспешил довести о том до сведения государя императора»: «Его Величество, выразив самым милостивым образом свое монаршее соболезнование о расстройстве Вашего здоровья, — писал князь, — Высочайше поручить мне изволил убедить Ваше Высокопревосходительство не пренебрегать медицинскими пособиями и употребить все меры, какие только советом врачей предложены будут, “чтоб сохранить, — я привожу здесь милостивое изречение государя, — полезную жизнь Вашу”». «Поспешая Вашему Высокопревосходительству о таковой драгоценной заботливости Его Величества и вместе с тем Высочайшую волю государя о принятии всех мер к восстановлению Вашего здоровья, я считаю почти излишним присовокупить, сколько было горестно и мне узнать о Ваших страданиях, уверенный, что в живейшем участии моем Вы не сомневаетесь». Вслед за тем (28 февраля 1851 года) князь Меншиков уведомлял, что «ежели бы по совету медиков адмирал признал нужным поехать на несколько месяцев за границу, то Е. И. В. изволит на то согласиться, но в сем случае государю угодно знать мнение адмирала, как удобнее и полезнее будет устроить на время его отсутствия Главное управление Черноморским флотом и портами».

На настойчивую заботливость монарха верный слуга его отвечал: «Болезнь моя не в такой еще степени, чтобы препятствовала мне нести обязанности службы по-прежнему, а пользующие меня медики подают надежду на успех настоящего лечения, то по совету их, я решился выждать последствий оного. Буде же последствия эти не оправдают моего ожидания и я найдусь в крайности искать медицинского пособия за границей, тогда только осмелюсь позволить себя воспользоваться неоцененным для меня предложением моего всемилостивейшего государя».

Михаил Петрович считал еще себя способным «нести обязанности службы по-прежнему» 14 марта, а 12 февраля еще брат Дмитрий писал к отцу: «3-го числа я получил, не скажу приказание, а скорее приглашение сесть в карету с моим страждущим адмиралом и ехать с ним сюда (в Одессу) для пользования неуступившей нисколько стараниям николаевских медиков болезни. Мы уже здесь девять суток, и Михаил Петрович пользуется водой у одного здешнего врача Моргена, родом немца. Но лечение это не есть чисто гидропатическое. Кровопускание посредством банок, ставимых на спину и пиявок к горлу, вместе с другими средствами аллопатическими играют тут важную роль. Одна гидропатия была бы ему смертельна, по словам Моргена...». От 16 февраля: «Здоровье адмирала не улучшается, хотя доктор, его пользующий, с полной уверенностью говорит, что адмирал выздоровеет и будет пользоваться лучшим здоровьем, нежели восемь лет назад. Слабость его в последние три дня заметно усилилась; даже милости государя в последнем письме, привезенном флаг-адъютантом Истоминым, не возвращают ему утраченных сил. Передаю Вам слово в слово ласковое послание Императора: “Михаил Петрович, с искренним соболезнованием узнав о расстроенном состоянии Вашего здоровья, я поручил начальнику главного штаба моего выразить Вам как участие мое, так и желание, чтоб вы поспешили прибегнуть к врачебным пособиям для восстановления ваших сил. Усматривая из Вашего к нему отзыва, что несмотря на утомление Вас болезнью, Вы продолжаете неослабно заниматься делами, я опасаюсь,

чтобы труды, для которых, по свойственной Вам ревности к любимому делу, Вы не щадите себя, не усугубили еще более Ваших страданий. А потому, если только с желанием Вашим согласно временно отдохнуть от занятий и путешествие на воды за границу или куда-либо по совету врачей может быть для здоровья вашего целебно, я, озабочиваясь сохранением ценимой мной деятельной и полезной жизни Вашей, не токмо дозволяю, но даже прошу последовать указаниям медиков, не стесняясь нисколько лежащими на Вас обязанностями, как по званию главного командира Черноморского флота и портов, так и николаевского и севастопольского военного губернатора, которые Вы передадите старшему по Вас генерал-лейтенанту Берху. На путевые же издержки, при сохранении Вам всего получаемого Вами на службе содержания, разрешаю Вам взять безотчетно две тысячи червонцев или равную им стоимость другой монетой из сумм, в Вашем распоряжении находящихся.

Дай Бог Вам скорого и совершенного выздоровления, чтобы потом с тем же усердием и той же пользой, какими всегда отличалось достохвальное Ваше служение, продолжать его престолу и Отечеству. Этим искренним желанием сопутствуя вам всюду, пребываю к Вам навсегда благосклонный Николай"».

Продолжаю выписки из писем брата. «Вечером, в тот самый день как приехал Истомин, прискакала из Николаева и Екатерина Тимофеевна (супруга адмирала). Это двойное потрясение произвело на ослабевший организм адмирала самое гибельное влияние... Новый консилиум решил, что адмиралу ехать за границу необходимо... После третьего консилиума решились употребить зонд. Один из семи медиков, бывших при этой операции, некто Дрей, пропустил эластичный зонд в пищеприемное горло без затруднения, но когда конец зонда дошел до соединения горла с желудком, зонд остановился, встретив препятствие. Удостоверившись, что его превозмочь нельзя, доктора объявили, что никакие человеческие усилия не спасут адмирала, и разъехались, прибавя, что им больше при нем делать нечего. Неосторожность этих господ, которые хотя и рассуждали между собой в отдельной комнате, но во время пропускания зонда объяснялись по-французски, открыла глаза несчастному больному. Понимая, что он приговорен к неизбежной смерти, наш бедный адмирал сидел, не трогаясь с того самого стула, на котором оставили его доктора после испытания, поддерживая обеими руками свою почтенную голову. Этой минуты я никогда не забуду. Горячие горькие слезы наши лились тихо, и ничто не нарушало торжественности священного мгновения, в которое наш дивный страдалец читал уже мысленно в книге вечности».

23 февраля Михаила Петровича повезли из Одессы в Вену морем и рекой. Брат провожал его до Галаца. Прощаясь, страдалец потребовал, чтоб Дмитрий писал ему, но дни мученика уже были сочтены. С 11 на 12 апреля, в час ночи, он простился с миром, за несколько дней перед тем толковавши долго с знаменитым венским оптиком о лучших зрительных трубах для флота.

Похороны адмирала происходили в устраиваемом им с такой любовью Севастополе, в виду созданных им горевавших кораблей и в присутствии целого населения, пораженного нелицемерной печалью.

Я горевал о преждевременной утрате начальника в Англии. Вместе с товарищем П. Ю. Лисянским мы сносились с возможными знаменитостями Англии, Франции и Голландии и посылали в Николаев длинные мнения врачей, но 23 апреля к нам прибыл Г. И. Бутаков с горьким известием. На пути в Англию он участвовал в Вене в торжественной церемонии, с которой переносили тело Михаила Петровича на пароход, отправлявшийся вниз по Дунаю, и через неделю передал нам роковую весть.

Завистливая ничтожность силилась впоследствии изгладить всякую память о том, кто был главным виновником единственной отрады нашего национального самолюбия в па-

губную войну, но если бы вследствие гибельного общего растления опрокинулись понятия и сама память стала предательницей, если б признательными усилиями России Севастополь, как Феникс, вновь возродился из пепла краше прежнего, и тогда потомство увидит неизгладимые стогны смерти вокруг воскресшего города и над ними бронзовый лик того, кто умел столь действительно проводить учение о святости обязанности, чья твердая, неколебимая невзгодами и неудачами воля сотворила целое поколение истинных граждан. Промчатся годы, а памятник, воздвигнутый признательностью подчиненных, и груды костей вокруг не перестанут свидетельствовать, что в дальней Тавриде под железным скипетром Николая росло и цвело истинно патриотическое чувство, развивалась громадная нравственная мощь.

Спустя пятнадцать лет, судьба предоставила мне случай принести лепту признательности на могилу доблестного человека произнесением речи при открытии памятника, оконченного уже после севастопольского погрома.[65]

Будто самая прежняя физическая оболочка моя была негодна к предстоявшей новой жизни, сильная нервная горячка, перевернувшая организм, едва не свела меня в могилу. После многочисленных рецидивов я впал в летаргическое состояние и, очнувшись, увидел у болезненного одра моего доброго адмирала, брата и некоторых друзей. Меня считали уже жильцом другого мира, но и в этот раз суждено было быть и даже быть бодрее прежнего. Тендерская жизнь подарила меня мучительными ревматизмами, которые упорная нервная горячка сняла, как рукой. Всем, страдающим острыми болями, я смело рекомендую это средство, героическое, но действительное — разумеется, с сердечным желанием тех же последствий.

Примечания

[1] Staccato — отрывистые звуки.

[2] Alter ego — двойник.

[3] Денная и нощная книги — своды дневных и ночных сигналов.

[4] Плехт — по старой морской терминологии — правый становой якорь.

[5] Верп — запасной вспомогательный якорь.

[6] Речь идет об английском корабле «Имплекабль».

[7] Ханыков приговорен судом к разжалованию в матросы на месяц, но был прощен Александром I.

[8] Гальюн — уборная; морской термин.

[9] Восстание декабристов.

[10] Сбирами назывались младшие прислужники инквизиции, позднее — судебные и полицейские служители папской области; в переносном смысле — презрительная кличка полицейских агентов.

[11] En grand — широко.

[12] Любители.

[13] Как только схвачен, так и повешен.

[14] Бесцеремонностью.

[15] «Что за город взял Александр? — Вавилон, мадам!».

[16] М. П. Лазарев.

[17] Своего рода, особого рода.

[18] Буквально — сторонников свободной торговли, в данном случае — контрабандистов.

[19] По-народному.

[20] По смыслу — «пропащие ребята».

[21] Сокращение «Вашего Превосходительства».

[22] «Плывет по морю флот кораблей», нарочно на адлерскую экспедицию написанную. (Примечание автора).

[23] Древнее название г. Керчь.

[24] Адмирал М. П. Лазарев.

[25] Натянутость, угловатость.

[26] Два значения — препятствие и войсковой обоз.

[27]Средняя, главная часть флота (авангард – кордебаталия – арьергард).

[28] На тросе, выпущенном с кормы корабля, т. е. на буксире.

[29] Употреблялись казаками для рыболовства и каботажа. Флотилия, сформированная из азовских лодок, принимала участие в операциях флота у кавказского побережья.

[30] В 1838 году.

[31] Николая I.

[32] Великому Князю Константину Николаевичу.

[33] Облечение полномочиями.

[34] Существующему положению.

[35] Турцию.

[36] Оттон I (1815–1867), сын Людовика I Баварского.

[37] Повадился кувшин по воду ходить, так ему и голову сложить.

[38] То есть наблюдению в карантине.

[39] То есть с чистым карантинным свидетельством.

[40] Слуги.

[41] То есть глава католицизма и глава православия.

[42] То есть в город Николаев.

[43] Тендер – одномачтовый парусный корабль, в 50–60 тонн водоизмещения с 10–12 пушками небольшого калибра.

[44] Профессиональной зависти (ревности).

[45] Кроме указанных здесь переводов лоций И. А. Шестаковым был выполнен перевод фундаментальной (655 стр.) «Лоции Гибралтарского пролива и Средиземного моря» Джона Парди, которая была издана в Николаеве в 1846 г.

[46] Гидрографическое депо.

[47] «Сборник (альбом) мореходных (компасных) карт Черного моря».

[48] На французском языке.

[49] Речь идет об Александре III.

[50] Контрабандисты.

[51] Повесы.

[52] Вымпел и флаг.

[53] Так называлось должностное лицо в порту или на корабле, ведавшее снабжением артиллерийским, шкиперским и т. п. имуществом.

[54] В укрытии и безопасности.

[55] «Господа старого закала», в смысле старая аристократия.

[56] То есть воле Его Величества; намек на миссию Меншикова.

[57] Широко.

[58] Домашней хозяйки, экономки.

[59] Чтобы поймать несколько пушечных выстрелов, т. е. чтобы получить положенный салют.

[60] С глубокими поклонами.

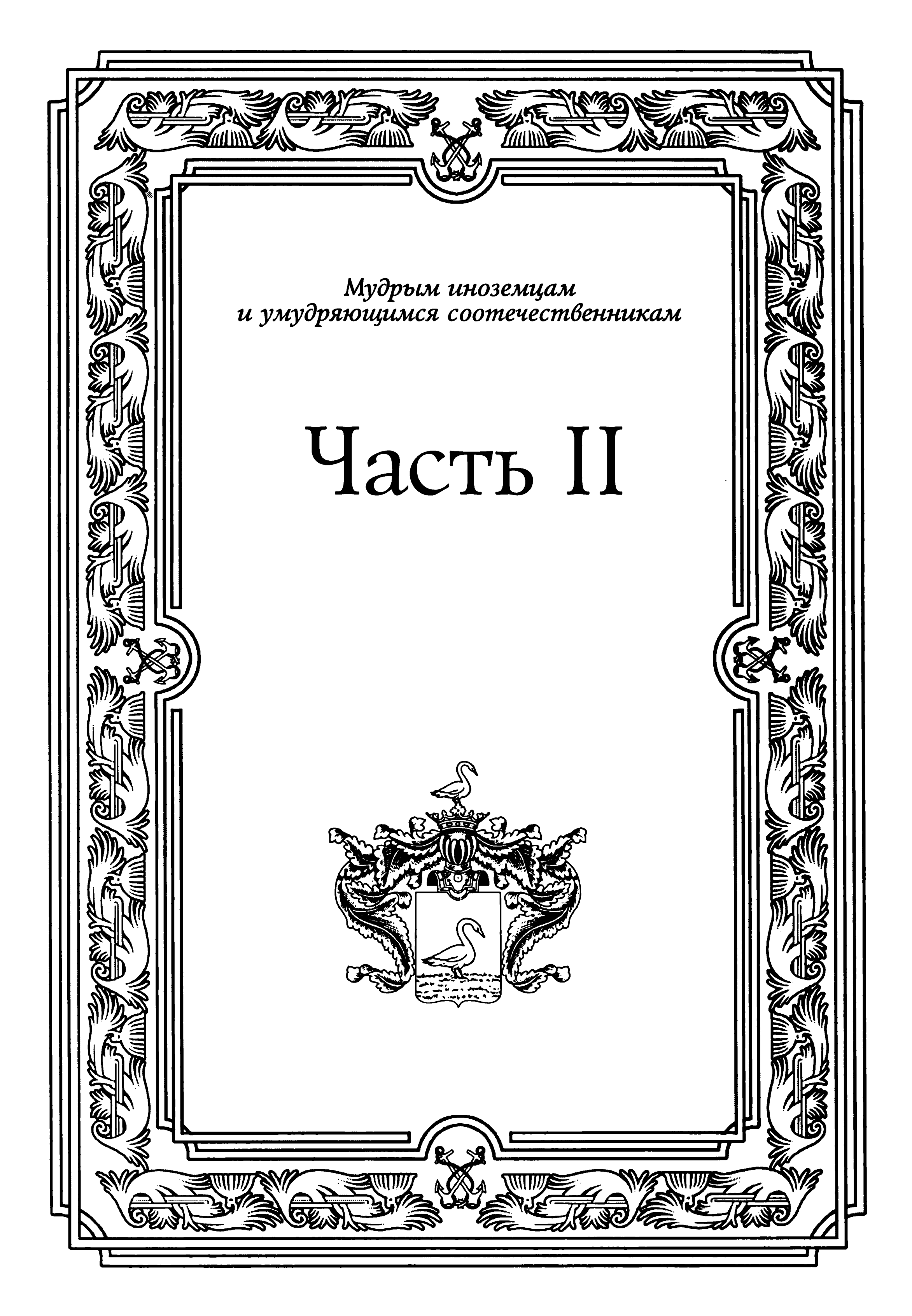
[61] Чисто восточное выражение превосходства.

[62] Укрепленный пункт на берегу Бургасского залива.

[63] В. А. Корнилов был назначен и. д. начальника штаба Черноморского флота в апреле 1848 г.

[64] В «Морском сборнике» за 1855 г. №№ 8, 11, 12.

[65] Бронзовый памятник работы академика Пименова, был открыт в Севастополе 9 сентября 1867 г.



Мудрым иноземцам
и умудряющимся соотечественникам

Часть II

ГЛАВА I

ДОМА И НА ЧУЖБИНЕ

Цель посылки моей в Англию. Генерал-губернатор Федоров. Бессарабская езда. Черновиц и наши союзники австрийцы. В Бреславле просятся в союз пруссаки. Мирная Саксония, встревоженная Бакуниным. Берлин. Дунай и наши промыслы на его устьях. Будапешт. Первый въезд цесаря после венгерского восстания.

Единственная в то время цель моего служебного честолюбия была достигнута. Меня посылали в Англию, мне предоставляли возможность приобрести познания, необходимые для моряка, посвятившего себя профессии, и для облегчения путей к специальному усовершенствованию поручали наблюдение за постройкой небольшой винтовой шхуны для кавказского ведомства. Во введении винтового двигателя на Черном море мне пришлось, таким образом, принять деятельное участие.

Вступление в историю русского винтового флота довольно любопытно. Всем известно, что в 1854 году, в момент надобности, мы очутились с большим флотом прежнего неподвижного состава, совершенно неспособным предпринять какие-либо движения в виду неприятеля, не только бороться с ним, но немногие знают, что мы взялись за новую идею единовременно с передовыми морскими державами и что вместе с первыми опытами в Англии у нас выстроили винтовой фрегат «Архимед». По несчастию, «Архимед» сложил кости на Борнгольме на второй год существования, и случайность поселила к новому роду судов предубеждение. Трудно, невозможно противиться ошибочным воззрениям и опровергать ложные заключения там, где не допускается независимых взглядов даже в специальных вопросах. Новая система была похоронена вместе с «Архимедом», и только громы Крымской войны пробудили сочувствие к ней, но восемнадцать дорогих лет были безвозвратно потеряны, и в решительный миг флоту нашему пришлось прибегнуть к самоубийству, как в Севастополе, или сносить унижение бездействия при многочисленности, негодной к делу, как в Кронштадте. В 1850 году, с назначением Корнилова начальником штаба, на Черном море начали, однако ж, серьезно думать о новой силе, и небольшая шхуна «Аргонавт» была бы отцом Черноморского винтового флота, если б вскоре самый флот не прекратил свое существование и не лишился вместе права возрождения.

«Аргонавт» служил доказательством случайной пользы во всяком деле свежего, не заплесненного от рутины взгляда. В нем почуяла надобность кавказская власть, а не черноморская. Разумеется, нужно принять в соображение, с одной стороны, всемогущество графа Воронцова и отсутствие всяких препятствий к исполнению его желаний, с другой, напротив, всю трудность провести новую идею в во-

енном флоте, где к устарелым понятиям начальников с репутацией, созданной на прихотливых парусах, требовавших большого искусства и долговременной опытности, присоединялось упорство высшей воли. Воронцов потребовал, чтоб ему выстроили винтовое судно для снабжения изолированных фортов кавказского прибережья рогатым скотом; до того времени его большей частью бросали в море парусные транспорты, кормившие гарнизоны. В наблюдении за постройкой этого судна и состояло возложенное на меня поручение.

В исходе октября 1850 года я прибыл в Одессу за транспортом и по этому поводу познакомился с новороссийским генерал-губернатором Федоровым, оставленным Воронцовым как его alter ego в крае, куда новый кавказский наместник не переставал смотреть с участием и любовью с непокоренных еще вершин, требовавших ближайшего его внимания. Федоров был самородок и как произведение собственной сметки заслуживает внимания, хотя в прочих отношениях можно было бы обойти его без особенного сожаления. На вопрос мой, принимает ли генерал-губернатор, швейцар отвечал: «Позвоните». По звонку отпер дверь сам Федоров и, пригласивши меня в кабинет, предложил высказать надобность. Деловой, в высшей степени логический прием тотчас поставил меня в должные рамки. Я вручил официальную бумагу от адмирала Лазарева и просил выдать мне заграничный паспорт. Федоров позвонил: вошел чиновник. При нем прописана резолюция «сей час исполнить» — и вместе проговорена сухим начальническим тоном. Я высказал генерал-губернатору, как приятно поразила меня простота его приема и в особенности отсутствие всяких промежуточных инстанций. Разговорившийся тертый калач, как сам он называл себя, начал выяснять зловредность докладов всякого рода, их влияние на просителей и на самих начальников и уверял, что принимал своих чиновников точно так же, как меня, с той только разностью, что не впускал их в кабинет, а отбирал кипы приносимых ими бумаг и приказывал возвращаться из соседней комнаты, когда позовет. Этим способом он оберегался от личного влияния докладчика. Федоров сеял на восприимчивой почве. Когда впоследствии мне пришлось самому принимать доклады, только текущие распорядительные дела я подписывал в присутствии скреплявшего их; все же дела судные и требовавшие справок с законами или размышления присылались мне на вечер, и я рассматривал их в тишине уединения.

Действие различных приемов и влияний Федоров изведал в долгой полицейской службе. К сожалению, в ней же приобрел он иную опытность, без которой обходиться можно, и изловчился в разных штуках. Покойный М. П. Лазарев, бывший начальником штаба в Николаеве, когда Федоров служил там полицеймейстером, не называл его иначе, как «выжигою». Спустя несколько лет, николаевский «выжига», перейдя через бессарабское губернаторство, стал высшим начальником края и в новом достоинстве с старыми полицейскими ухватками не замедлил прискакать в Николаев с визитом к человеку, не высоко его ценившему. Старая страсть взяла, однако ж, свое, и в начале Крымской войны Федоров был отставлен за действия, в которых не остановили его даже горькие для России обстоятельства. Он умел делать дело, но еще хитрее обделывал делишки.

Дважды выезжал я из России южными путями. В этот раз я помчался по Бессарабии со всею ненасытностью давнего желания. Мне хотелось скорее распроститься с Россией, будто в пределах ее я еще подлежал остановке и даже возвращению. Моему степному бегу предшествовала молва об ожидаемом важном иностранце, «одолжившем царя деньгами», как выражались станционные смотрители. Действительно, скоро нагнала меня английская дорожная карета, выполированная, как шкатулка, и устроенная, как изящный будуар. Из кареты вылезла пара типических рыжих

бакенбардов, принадлежавших мистеру Henry Bingham Baring, дальнему родственнику главы известного банкирского дома, совершенно не участвовавшему в расчетах этого дома с нашим правительством, но пользовавшимся в безлюдных бессарабских степях его обаянием. Путешественник понял, что на грязной бессарабской станции чопорность английских салонов была бы не у места и тут же познакомился со мною единственно на основании служебной моей внешности. Беринг ехал из Севастополя и вылил нежный бальзам на мою черноморскую душу, передавая трезвым английским слогом приятные впечатления, им вынесенные. Мы продолжали путь, попеременно обгоняя друг друга. В беззащитной перекладной на меня наседала такая кора пыли, что, опасаясь сращения ее с кожей, я мылся чуть ли не на каждой станции. Этим объясняется возможность соперничества в быстроте по русским дорогам лондонского экипажа с самоделкой-телегой. Впрочем, одолжившего царю денег одолжали такой ездой, что он ждал ежеминутно гибели и с стоицизмом британца выносил испытание, утешаясь мыслью, что, без сомнения, ни один английский экипаж не подвергался подобным истязаниям.

В Кишиневе я наехал на забавную сцену. Курьер Беринга перебранивался с каким-то господином в глянцевитой от употребления ермолке и таком же сером пылевике. Господин выходил из себя истинно по-славянски; курьер ломаным русским языком силился не отставать от него, а огненные бакенбарды, высунувшись из кареты, тряслись от смеха, как встревоженные осенним порывом сухие ветви. Курьер на одно из приветствий барина в ермолке выразил предположение, что он, вероятно, пьян, на что барин вспыхнул, как порох, и заревел на разных диалектах: «Как! Comment! Я пьян! Я генерал, général», — и Беринг помирал со смеху. «Слышали ли вы когда-нибудь подобный аргумент, — спросил он меня, — будто генерал не может быть пьян, как всякий другой!» Англичанин не мог никак построить логический вывод такого рода: русский генерал может быть пьян, но не может выносить, чтоб это замечали ему другие.

Докатил я, наконец, до Новоселец и переехал мост, тщательно оберегаемый часовыми двух империй. Скоро натуральная дорога заменилась шоссе, ходившая ходуном телега — уютной плетеной натычайкой, и полупустынная степь — живописными отрогами Карпат с густонаселенными скатами. Вместо безалаберного грязного Кишинева показался сравнительно стройный и сравнительно же опрятный Черновиц, где был конец моей монгольской езде и начиналось путешествие на европейских началах, хотя новая страна была Австрия.

В черновицком трактире за обедом я узнал от австрийских офицеров о неминуемости войны между Австрией и Пруссией и о желании, будто бы, государя нашего стать на сторону Австрии. Офицеры приходили в восторг от надежд на повышение, были уверены в успехе и обращались со мной, как с братом по оружию. В месте совершенно новом такая случайность — находка. Офицеры познакомили меня с будущим товарищем по дилижансу, поручиком Фидлером, ехавшим к отцу, тогдашнему краковскому коменданту, и в его приятном обществе я совершил весь несносный путь от Черновиц до Кракова.

В Кракове спутник Фидлер, переговоривший с отцом, советовал мне не ехать через Пруссию, утверждая, что союз Австрии с Россией в предстоявшей войне несомненен, но в Бреславле, куда я направил путь уже по железной дороге, уверяли, что Россия на стороне Пруссии, и студенты не дали спать целую ночь, распевая воинственные песни тринадцатого года. Эти упования обеих сторон на Россию высказывали только ее важность в глазах соперников, и если б Николай Павлович не помешал тогда немцам поссориться, вероятно, германское единство не осуществилось бы так скоро, не была бы сбита с ног Франция и не имели бы мы вместо слабых соседей одного, чересчур уже веского. Но счастливая судьба

Германии помогала ей с разных сторон и разными средствами. В 1850 году один сосед вмешался слишком много, в 1866 другой — слишком мало, и германское постоянство одинаково воспользовалось ретивостью и бездействием: изношенная хламида Германского союза преобразилась в броню могучей Германии.

Австрия, сбереженная нами в предшествовавшем году, покоилась еще под охраною военного положения. Все места на пути моем, в особенности навязанный Австрии Николаем Павловичем <u>вольный</u> Краков, были наполнены гарнизонами. Следов пароксизма, встрясшего Германию за Февральской революцией, уже не было. Говорливый хозяин "Hotel de Berlin» в Дрездене показывал мне только пули на стенах гостиницы и рассказывал, видимо, без малейшего сочувствия про подвиги <u>великого</u> Бакунина, неразборчивого в средствах дилетанта революций, искавшего во всех углах Европы возможности прикрыть побуждения личных страстей обаятельной мантией борца свободы.

В Дрездене у секретаря посольства Петерсона мне случилось видеть любопытную коллекцию плакард,[1] прокламаций и других признаков кратковременной горячки, привитой Бакуниным. Очевидно, весь ералаш был напускной и дрезденцы давно уже очнулись от одурения. В мой проезд их тревожило опасение предстоявшей борьбы Австрии с Пруссией. Войско, побратавшееся в предшествовавшем году с пруссаками в прекращении бакунинских беспорядков, было недовольно близившейся случайностью стать во враждебные Пруссии ряды, куда тянули саксонское правительство, исторические предания и чувство самосохранения. Народ грустно смотрел на перевозку дрезденских драгоценностей в неприступный Кенигштейн, в убеждении, что, как бы ни сложились союзы, Саксония не минует своей исторической участи быть полем решения чужих несогласий.

Фронтовой Берлин также забывал в 1850 году кровавые следствия ошибки в условном сигнале с балкона королевского дворца. С тогдашним героем дворцового плаца принцем Прусским я встречался по приезде в Англию в Букингемском дворце, где не увлекающиеся революционными забавами и равнодушные к чужой крови англичане выказывали будущему германскому императору большое внимание. Выметенный им Берлин показался мне мизерной копией с дурного, но, по крайней мере, пышного оригинала. Везде пахло Петербургом, и сонная Шпрее, сопоставленная величественной Неве, будто в насмешку пущенной быстро природой по болотистым низям, выставляла еще резче картину немецкого подражания славянской размашистости. С тех пор много раз случалось мне бывать в Берлине, и впечатления мои изменялись с быстрой постепенностью. Город рос, украшался и становился совершенной европейским. Фронтовой отпечаток не изглаживался, но вместе слоились признаки промышленности и науки.

Возвращаясь в мае 1852 года в Англию после кратковременной отлучки, я избрал до Берлина иной путь. Та же бессарабская степь подходила тогда к Рени, нашему пограничному городку на Дунае. Та же тряская телега катила меня по однообразной глади, лишенной всяких примет и занимательности. Только Кагульская колонна, теперь напоминающая про русскую славу чужеземцам, но тогда еще гордо поднимавшаяся в наших пределах, остановила истомившийся от праздности взор мой. Я вышел поклониться мысленно праху Румянцева у подножья памятника его решимости, помянул царицу севера и, проехавши еще две станции, уперся в Дунай у крыльца начальника таможни, старика Соловьева, к которому был направлен Федоровым. Соловьев был прежде в Сулине, на устьях Дуная, где кроме заведывания таможней, распоряжался очисткой устья от наносов. Золотое было дно это Дунайское грязное устье! Мы чистили, сверху вновь заносило, машины жгли уголь, требовали починки, люди также стоили денег, и все шло обычным ходом к общему удоволь-

ствию, пока, наконец, надоело пересекаемой Дунаем Европе сносить постепенное систематическое заграждение главного водяного пути, и парижским миром прекратили наши святотатственные усилия. Лысенький старичок с багровым черепом и сизым носом, знаменитый в дунайских летописях Соловьев, приобрел геростратовскую известность стараниями уничтожить судоходные достоинства Дуная и, начерпавши из тинистого лона бездну денег, подсмеивался над бессильным тогда гневом всех придунайских стран. Но даровому коню в зубы не смотрят. Мне подарила Соловьева услужливая воля Федорова, велевшего приехать прямо к нему и распоряжаться его именем. И благо мне было встретить в Рени такого бывалого человека, как Соловьев.

Дунай с Прутом затопили всю местность, в том числе дорогу от Рени до Галаца. Нужно было найти средство достичь Галаца вовремя, чтобы не опоздать на пароход, отправлявшийся в Вену. Без магического влияния Соловьева я пропал бы в притоне лихорадок и комаров, каким был Рени, и комары, вдобавок, нелюдские: какие-то отборные гренадеры, истинные шавки по злости, особенно лакомые на свежую, непридунайскую кровь.

Допотопная каравелла с четырьмя молдаванами приняла мое обреченное на страдание тело, таявшее в накаленном дунайском русле. Ни малейшего дуновения, отражение ярких лучей с зеркальной поверхности жжет глаза, постепенно превращается в жидкость, и бессовестные комары-гренадеры, пользуясь беззащитным положением, разят своими жалами. В Галаце пристань была завалена лесом, и мы причалили почти за городом, но кое-как добрался я, наконец, до грязной Albergo dei Vapori.

Захотелось взглянуть на главный дунайский порт, соперничающий с Одессой, и соперничество, с первого взгляда, показалось нешуточным. Множество кораблей всасывали в себя пшеницу или грузились лесом. Операции производились у самой пристани, на стесненном пространстве, и торговая деятельность представлялась живее, нежели в Одессе, где тогда она раскидывалась по обширному рейду. Самый город показался мне в наиболее выгодном условии. Поднялся ветер, взбил под облака мельчайшую пыль, и я поспешил укрыться на «Фридрихе», прекрасном пароходе венской компании, приспособленном на американский лад, отплывшим через несколько часов в Орсову.

Браилов, Журжа, Крайово — места, упитанные русской кровью, поддавали нам контингенты путешественников, отправлявшихся в Париж проматывать доходы с своих скучных поместий. Мало-помалу сводилось знакомство и становились шумнее и развязнее те разнородные, во все стороны кидающиеся речи, которые нельзя определить иначе, как придумавши новую номенклатуру. Эти железнодорожные или дилижансо-пароходные перекаты слова при недостатке содержания имеют важное достоинство сокращать время, налегающее на стремящегося к цели путника с особенной тягостью. Для таких речей спутники мои, почти без исключения молдо-валахи, были особенно подручны. Парижский жаргон, откровенность полуобразованности, истинно румынская способность не углубляться в предмет, даже не договорить, когда он начинает надоедать серьезностью, — все вместе бьет довольно действительно время без малейшего личного усилия. Стоит только слушать и под стать кивать головой. Некоторые речи задевали, однако ж, русское мое сердце. О войске нашем большей частью молдо-валахи, и в особенности нежные доли их, я не вхожу в точные арифметические определения — отзывались с похвалой, высказывались даже надежды на скорое вступление его в княжество, но действия наших консулов осуждались единодушно. Галацкий префект Куза извинился за откровенность соотечественников, нимало меня, впрочем, не оскорбившую, и с видимым презрением и ces rustres de Valaques,[2] которых молдаване того времени считали несрав-

ненно себя ниже, начал рассказывать, как в княжествах ни одно место не дается без покровительства русского консула, какие употребляются для того меры, на кого именно действуют, чтоб добиться консульского ходатайства, и всякого рода подробности.

Между румынскими равнинами и холмистой Болгарией плыли мы довольно приятно трое суток до Орсовы, проходя на пути Силистрию, Рушук, Виддин и другие места, более или менее шевелящие русскую память. Пассажиры начали уже сходиться теснее, и какой-то боярин, участвовавший в 1848 году в сопротивлении Михалаки Стурдзе, тогдашнему господарю, рассказал мне, как, по повелению Николая Павловича, был схвачен и вместе с другими под конвоем полковника Мищенко отправлен в Мачин на заточение. Нанятые лодочники-греки были подкуплены английским консулом Канингемом и высадили полковника в Браилове, где пленники разбежались. Железные ворота при бывшем полноводии пропустили нас беспрепятственно, но на пароход насело множество пассажиров с подушками и тюфяками, набитыми пухом и разною живностью, так что в Орсове стало уже душно и жутко. Это было только введение к неприятностям, ожидавшим нас в Австрии.

В Орсове начинались цесарские владения, а в то время из всех границ австрийская была самая несносная. Немецкая точность сочеталась на ней с восточной ленью, и обе различными путями выводили злополучного странника из терпения. Нас высадили на берег со всеми пожитками и под сильным конвоем повели в дощатый изрезанный окнами сарай; стекольчатой переборкой отделялась в нем политическая канцелярия. Окна тотчас заперли из опасения, чтоб мы не сообщались с внешним миром, и мы подверглись в раскаленных солнцем стенах процессу медленного печения. Таможенные усердно перерывали наши чемоданы, отбирали всякую щепотку табаку и откладывали все печатное. Австрия все еще была на военном положении, по обыкновению, злобу на революционеров правительство вымещало на неповинных ни в чем прохожих.

Мы выносили и терпели несносность таможенных и черепашью медленность полицейского чиновника, но пробило 12 часов, и сердитые глаза наши увидели сквозь переборку странное зрелище. Чиновник прекратил визитацию, запер наши документы в стол и направился флегматически к выходу, сказавши, что ему пора обедать. Рослый тевтон-медик в турецкой скуфье и с мечом служебного достоинства у бедра разразился градом немецких ругательств, крикнул по-французски, что нельзя подчиняться подобным стеснениям, и сопровождаемый всеми страждущими зашагал вслед за внимательным к желудку чиновником. Немногочисленной страже оставалось только стрелять в нашу пеструю толпу, чего она не сделала, вероятно, обезоруженная плачевными нашими физиономиями. На подхватывавшем нас пароходе действительно готов был завтрак. Нам и не грезилось, что мы государственные преступники, но скоро явился гонец с грозным требованием коменданта, скомандовавшего к себе весь пароход. Наружная лестница вела прямо во второй этаж начальничьего дома, и на площадке издали рисовался комендант в шарфе и всех признаках своего величия. Грозный вид не обещал ничего приятного. Тевтон в феце и с бренчавшим по ступеням мечом, как обер-забияка, шел впереди. Вдруг общее движение приостановилось. Тевтон с комендантом душили друг друга в объятиях. Оказалось, что они были школьные товарищи и встречались после долгой разлуки. Чувствительное немецкое сердце тронулось приятной неожиданностью, и мы были отпущены с миром. Едва ли когда-нибудь нарушение законов военного положения завершалось таким милым образом, и мы продолжали плыть вверх по Дунаю на тесном «Hermione», вспоминая с удовольствием о дневных приключениях.

Три дня плавания привели нас к Пешту, столице гордой Венгрии, так недавно вынуж-

денной склонить выю перед Габсбургским орлом. Мне случилось здесь быть свидетелем унижения целого народа, в недобрый час, под влиянием нерасчетливого нетерпения, поднявшегося за свое достоинство. Именно в день нашего прихода торжествующий император въезжал в непокорную, но усмиренную венгерскую свою столицу в первый раз после бедственного восстания. Народ, как всегда, спешил на зрелище и толпился к пристани у великолепного висячего моста, где император, следовавший из Вайцена на пароходе, должен был выступить на подавленную мятежную почву. Войска было много, и зеленые ветви на головных уборах выказывали миролюбивое его настроение, однако ж, нас легонько и хитро сжали между двух рядов солдат, так что не было средства пошевелиться во все время торжественной церемонии. Франц-Иосиф, тогда еще новичок в деле, краснея и неловко привставая в седле, проехал по рядам и робко скользнул по висячему мосту в прочное офенское убежище. Иллюминация, обрисовавшая огненными чертами холмы Офена, узорчатый мост и длинную Пештскую набережную, была очень эффектна и заставила бы склонных к зрелищам жителей забыть на время повод цесарского нашествия, но официальная услужливость некстати придумала осветить гигантским vivat стены возводимой на Блоксберге крепости. Народ принял неловкость за злое издеванье, и трудно было прибрать другую причину. Блоксберг командует всей окрестной местностью, и правительство, наученное Гергеем, бомбардировавшим с горы Офен, поспешило воздвигнуть на ней укротителя. Различные поднимавшиеся уже бастионы смотрели прямо в широкие улицы Пешта и сулили неудобное попечительство.

На другой день я взглянул с необъяснимой дрожью на закоулок, в котором испуганный произвол сгубил втихомолку, без обычных формальностей бесстрашного правосудия, несчастного Батияни, и поместился у цепного моста, зная, что вся венгерская знать поедет изъявлять цесарю чувства преданности. Грустно было смотреть на гордых магнатов в их великолепных национальных нарядах, ехавших шагом по цепному мосту на представление, столь прискорбное для их самолюбия. К вечеру юный Франц-Иосиф ориентировался в новом положении и в возлюбленном венгерцами гусарском ментике проскакал по Stadtsmelde к публичному гулянью, кишевшему народом. Толпу пронизало магнетическим током, и громким Eplieu не было конца.

Пешт и встретившаяся случайность задержали меня несколько дней. Кстати, везде в Альт-Офене главная верфь Дунайской пароходной компании и специальное с ней знакомство также требовало остановки. На этой верфи лучше, нежели где-либо, понимают условия постройки мелкосидящих пароходов, их требуют капризы Дуная, в некоторые времена года чрезвычайно мелкого, и каждый желающий узнать самые удачные системы соединения прочности с легкостью научится в Альт-Офене несравненно более, нежели на всех верфях Англии и Америки.

Через 24 часа по отплытии из Пешта мы были в Вене, тогда занявшей меня несравненно более исторически, нежели действительностью настоящего, но через двадцать лет Вена сгладила душившие ее гласисы и обставилась по прежним очеркам их великолепными дворцами.

Чтоб вполне оценить Вену и измерить способность ее доставлять разного рода наслаждения, нужно не только посещать Пратер, Фольксгартен, осматривать Бельведер и Бург или любоваться Баденом и Шенбруном, следует непременно взобраться на Каленберг. Здесь, на том самом месте, где явился трепетавшей в страхе Вене избавитель ее Собиески, невольно приходишь в трепет восторга, окидывая взглядом окрестную местность.

Какая бы судьба ни предстояла Вене, не отвоевать жесткому Берлину ее праздничной особенности.

Следовавшие на запад из Вены и Дрездена выезжали неминуемо на берлино-кельнский путь, имеющий то важное достоинство, что им безостановочно и скоро минуют разные немецкие города, не представляющие никакого интереса. Впрочем, поневоле я провел ночь в Ганновере. Тогдашний владетель насиловал путешественников. Зная, что никто не остановится в столице гвельфов, слепой потомок их не дозволял железной дороге действовать ночью в своих владениях и брал со всех проезжих подать в виде издержек за ночлег в им же устроенной около станции гостинице. С той поры география Германии изменилась, столицы стали провинциальными городами, а короли перестали быть чем-нибудь. Какое дело, что орудием этой революции был поборник Божией милости, коли всем стало легче — и проезжим, и жителям. Впрочем, задолго еще до политического объединения северной Германии произошло торгово-промышленное объединение, уничтожившее несносные заставы в стране, где что ни шаг, то новое царство. Каково было несчастному путешественнику подчиняться этим стеснениям, придуманным каждым владетелем на свой самодержавный лад. Слава Богу, все изменилось, и теперь можно промчаться от Берлина до Парижа или до Остенде, строя из вагона носы Брауншвейгам, Ганноверам и tutti quanti.[3]

ГЛАВА II

ЛОНДОН В 1851 ГОДУ

Первое впечатление от Лондона. Барон Ф. И. Бруннов. Протоиерей Е. И. Попов. Английская дружба. Поиски Франклина. Политехническое заведение. Всемирная выставка. Русское отделение на выставке. Особенности правительственного механизма в Англии. Истинное значение прессы. Открытие парламента. Почему у английских министров достает времени на все, а у наших его нет даже на дело. Н. А. Огарев — преобразователь русского флота. Парламентские заседания.

Уже на пути из Лувра в значительном еще расстоянии от Лондона ожидание чего-то невиданного, недоступного континентально настроенному воображению, перехватило дух. Не одни мы мчались к всасывающей столице. Рядом, почти по параллельным путям, спешили другие поезда, из-за каждого холма показывались новые, на станциях скрещивались побочные, и все с гулом, свистом и бешеной скоростью неслись к тому же пункту. Мысль и выгода катили вперегонку, торопясь на всесветный рынок для скорейшего сбыта. Наш поезд был почтовый, и наравне с нами бежали торговые экспрессы, силясь доказать, что век наш есть век материальных благ и без них обходиться не может.

Стадо поездов пригнало английской по преимуществу силой к Лондонскому мосту. Сотни тысяч писем и десятки тысяч путешественников рассыпались по Лондону. Целых полчаса ехал я шагом на другую сторону реки, а река тянулась узенькой, с трудом уловимой в извилинах лентой между сплоченными по обеим сторонам кораблями. Очевидно, корабли стояли в реке, но воды не было видно. Лес мачт поднимался на Темзе во всю даль взгляда и где-то очень далеко у моря разрастался шире и шире, развертывался и, наконец, в виде новых чуждых моему новороссийскому взгляду колосьев исчез в серо-синем небе. Зрение притупилось о беспредельность.

На пути по городу опять поезда: в полвысоты зданий, по крышам, даже ныряющие в недра земли. Везут меня самым тихим шагом между мамонтами-омнибусами и пробивающимися в промежутки ловкими двухколесными бричками; тротуары несутся мимо рысью; все лавки да товарные склады один другого краше и богаче; полиции незаметно, мундира не распознаешь в телескоп, не звенит ни одна сабля, ни одного праздного стеклышка в ленивом глазу; все стремится к цели, спешит к делу. Высадили меня в Голден-Скуэре, и в каком-то умственном столпотворении я провел первый день лондонской жизни, запершись в комнате, стараясь хоть сколько-нибудь выстроить мысли, растасованные не совсем ясными впечатлениями.

Нужно было, однако ж, как можно скорей выйти из неприятной неопределеннос-

ти, и я начал на другой день рыскать, куда глаза глядели, чтоб познакомиться с общим характером города. Инстинкт привел меня к воде, и я взглянул пристальнее на ту же Темзу с гревзендского парохода. Грязные, заваленные и заставленные набережные, вовсе не похожие на тамошние, петербургские, окаймляют берега и подходят к самому центру города. Давним актом парламента постановлено никогда не строить мостов ниже лондонского, и торговая деятельность кипит в самом сердце Сити. Вся вселенная торгует на этих засаленных набережных, очевидно устроенных для пользования рекой, а не для украшения ее. Берегов недостаточно для скорой выгрузки мировых богатств, и с обеих сторон реки вырыли огромные стойла. В них привязывают крылатых бегунов, стремящихся к Лондону по всем направлениям горизонта и быстро развьючивают для нового океанского бега. Эти стойла, сливаясь вследствие изгибов реки, и показались мне при въезде бором корабельных мачт. Не было момента, чтоб мы не встречали другой пароход или не сторонились от грузной баржи. Пристали в Блекуоле; во все глаза посмотрел я на целые флоты в доке, на выстроенный вокруг него сущий город амбаров и сараев и помчался обратно в Лондон между трубами домов и фабрик.

Выбрал другое направление, третье; все та же горячечная деятельность, та же суета промышленности, та же несчетная толпа в вечном движении и нигде ни малейшего признака кем-либо наводимого или кем-нибудь ощущаемого страха. Не хмурились на меня казармы, не приводили в робость дворцы, не пугали плацы, захватывающие дух обширностью. Время и пространство явно ценилось дорого. Наступил праздник, и торжище обратилось в пустыню. Лондон внезапно замер. Оказалось, что в нем радуются будням, а не праздникам, чтут труд, а не праздность. Совсем иной склад, иной общественное устройство, совершенно другие начала жизни. Как же не дивиться свыкнувшемуся с континентальными порядками и не почесать затылка с желанием выявить себе новый, отличный от европейского мир, уразуметь его тайны и представления?

В надежде облегчить предстоявшую мне задачу, я пошел поклониться нашему представителю барону Ф. И. Бруннову. Прием был чрезвычайно ласковый, сладкоречивый, если не чистоголосый, так как барон не мог одолеть русского произношения, но такой, какого можно ожидать от наторелого дипломата, придерживающегося правила, что слово дано, чтоб скрывать мысль. С тех пор я не видел барона, исключая высокоторжественых дней, в которые представитель России облекался в верноподданническую мантию и дешевым официальным способом с подобающим умилением в голосе обыкновено выражал свою преданность государю в прихожей посольской церкви. Выбор места для торжества показывал жившим в Лондоне немногим русским, что барон готов был с ними сходиться там, где все напоминало о будущем мире; в настоящем же он предоставлял нас на собственный произвол, вероятно, желая скорее приучить нас к требованиям страны, основанным на self-help и self-government.[4] Четыре года провел я в Англии по поручению правительства, и если б синопские взрывы не потрясли спокойных кресел барона и не осветили в туманной дали возможность и вероятие расстаться с удобным великолепным кабинетом, он, конечно, не вспомнил бы, что на волнах лондонской сумятицы носится какой-то моряк, нуждавшийся в его помощи.

В Англии, как известно, везде необходимо введение, рекомендация и чем важнее покровительствующее лицо, тем удобнее и легче покровительствуемый достигает цели. Я был послан открывать и сообщать возможные сведения по морской части и едва ли когда-либо выполнял возлагавшиеся на меня поручения с такой ревностью, как в Англии. Без устали и с вниманием, усилившимся по мере того, как рос опыт своеобразной английской жизни, я

рыскал по адмиралтействам, фабрикам, заводам, различным ученым и учебным заведениям и очень благодарен барону, не мешавшему мне удовлетворять любопытство и любознательность. Немногие развлечения в трудовой жизни зависели отчасти от национального представителя, и барон всегда с готовностью снабжал меня разрешениями на присутствие на королевских приемах, при открытии палат или выставки на похоронах Веллингтона и прочих официальных случайностях. Касательно же знакомств, полезных для достижения цели или вводивших в известный круг влиятельных деятелей того времени, осторожный блюститель русской пользы обыкновенно пропускал мимо мелких ее искателей. Если не было вероятия, чтоб о нем позаботились из Петербурга важные лица, то не заботился о нем и Филипп Иванович, ограничиваясь в те торжественные дни и в той же церковной прихожей приветствиями вроде «как изволите поживать», «соблаговолил ли вам преподать некоторые советы наш многоуважаемый пастырь» и тому подобной саксонско-русской фразеологией. В самом деле, давно живший в Лондоне и действительно всеми уважаемый пастырь наш Е. И. Попов не только преподавал советы, но фактически был несравненно полезнее посланника и, если б пребывание мое в Англии отразилось впоследствии и некоторой пользой в России, я обязан почтенному Евгению Ивановичу во многом. Его всегдашняя готовность открывать и указывать нужные пути, даже облегчать их личным участием и влиянием была для меня так же важна, как последствия дружеских сношений, завязанных полвека прежде отцом моим. На английском фрегате «Lavinia» он сошелся с юным мичманом Мейнелем. Несмотря на полувековой разрыв в знакомстве, Мейнель, уже адмирал, адъютант королевы и член парламента от какого-то гнилого местечка тотчас пришел ко мне, получивши рекомендательное письмо смоленского фермера, прежнего сослуживца. Мейнель-то и показывал мне, как можно русскому в Англии обходиться без покровительства его присяжных защитников. Проживая сезон в городе, он часто звал меня на пышные свои обеды, на загородные пикники, скачки и гонки. Милый старец придет, бывало, в мое скромное жилище рано утром или поздно вечером, чтоб застать меня, и предложит что-нибудь заманчивое или сторожит меня у какой-нибудь неминуемой двери и ведет знакомить с very useful man[5] или с very respectable lady,[6] никогда не забывая прибавить, что я — сын первого его друга. Многим обязан я старику Мейнелю.

Консул Е. И. Кремер был приятным собеседником в праздные часы, большой знаток гастрономических специальностей различных лондонских таверн и вообще добрый, чрезвычайно покладистый малый, но он сжился с халатом в притоне модных холостяков Albany House и показывался в деловом Сити, где было консульство, только по нужде, т. е. при надобности в деньгах. Виельгорский и Блудов состояли младшими секретарями. Эти лица с полковником К. И. Швабе, присланным от Балтийского флота, агентом министерства финансов Каменским и моими товарищами П. Ю. Лисянским и Г. И. Бутаковым составляли в первый год моего пребывания в Англии всю русскую колонию в Лондоне. Существовавший запрет на выезд из отечественных пределов едва давал возможность побеситься в сумасбродном Париже, и на чинный, серьезный Лондон не хватало у русских ни желания, ни времени.

В очерченной обстановке пронеслись без малого четыре года моей жизни. Она была трудовая, по преимуществу специальная, но все же подчинялась общим условиям жизни в многолюдном центре. Как бы ни выделялась специальность из всего, что удовлетворяет человека, совершенное безучастие в общем движении, трущемся о него в разных видах и с разных сторон, немыслимо, в особенности в узле интересов мира.

В исходе 1850 года английскую публику занимала судьба Франклина. Не только правительство, но частные лица силились убедиться в участи смелых полярных плавателей. Экспедиция Форсифа, снаряженная супружеской любовью леди Франклин, только что возвратилась из неудачного поиска. Форсифа единодушно обвиняли в недостатке настойчивости, и по поводу всех занимавшего вопроса мне случилось вскоре по приезде в Англию свидеться с знаменитым картографом Arrowsmith'ом, продававшим мне впоследствии карты по цене, соответствовавшей его иудейской наружности. Arrowsmith дорого ценил свои произведения, но страстно любил дело. Тогда он еще утверждал, что Франклин затерт льдом в канале Веллингтона, и настаивал, чтобы послали в поиски вдруг четыре судна с наставлением пробиваться во льды эшелонами. Передовое в случае задержки передало бы известие второму за ним, второе — третьему, а это — последнему, которое должно было оставаться на вольной воде. Предположения Arrowsmith вполне оправдались, хотя не согласно с его планом.

В кабинете Arrowsmith, весьма легко доступном любопытным, лежала карта новейших полярных открытий с наклеенными на нее клапанами, относившимися к последним изысканиям. Говорливый картограф охотно пояснял планы, не требовавшие, впрочем, разъяснения, по ним ленивое любопытство могло узнать достаточно, чтоб предмет не казался тайнами далай-ламы, а любознание возбуждалось в такой мере, что увлекалось изданными о разных попытках сочинениями. Так учатся в Англии без усилий и даром; на шиллинг можно узнать многое.

Программа политехнического заведения привлекла меня в один из первых моих лондонских вечеров. Я опустился в водолазном колоколе, выслушав предварительно объяснение начал, на которых он устроен, видел опыт над действием кислорода, примененный к вседневной жизни, любовался также, с толкованием, исчезающими видами и, наконец, был увлечен живым популярным изложением необходимости искусства в обществе. Законы водолазного колокола и теплорода, положим, были мне известны и прежде; не менее того, опыт над собственным существом навсегда уже утвердил их в моей памяти и осязательно подтвердил сухую науку.

Необходимость искусств доказывалась, к сожалению, кроме слова, пением и музыкой. В этом отношении, как известно, англичане тщетно силятся одолеть посредственность; и осязательные доказательства политехнических лекторов были очень забавны, в особенности по части музыки. В Англии меня нередко дарили музыкальными отправлениями, иначе не могу назвать потребность петь или играть организма, совершенно лишенного необходимого для того органа. Несносны буквоеды, но нотоеды, какими бывают большинство англичан, заботящихся исключительно о механической точности исполнения, невыносимы. Английская музыка возможна только как побочное средство, которым пользуются по произволу или вовсе не пользуются, например, в здании всемирной выставки, где множество предметов весьма действительно уничтожали влияние свистов, щелчков, гиканий и чиханий, которые там сбывали за музыку, тогда как звуки оправдывали только теорию Дарвина, что человек не был бы музыкантом, если бы не происходил по прямой линии от попугая или обезьяны.

Выставка занимала все умы, напрягала эгоизмы и выставляла в резких чертах все особенности английского порядка вещей. В исполнении этой новой тогда идеи устройство достойного вместилища едва ли было не самое занимательное. Требовалось воздвигнуть в семь месяцев громадное здание, удовлетворяющее надобностям совершенно исключительным, прихотливым и до бесконечности разнообразным. Удобство подступа было главнейшим условием там, где приходилось помещать грузные огромные произведения, требовавшие

вместе с тем бережного с ними обращения. Нужное количество света нелегко было добыть в коптящем небо Лондоне, и решились в временный ущерб местному населению отрезать под здание часть Гайд-парка, главного лондонского легкого. Только там можно было рассчитывать на удовлетворительное освещение предметов в обычные лондонские дни.

В истории постройки хрустального дворца была сторона комическая. Многие консерваторы смотрели искоса на готовившееся вселенское торжество. В нижнем парламенте саженный полковник Сибторп неустанно ревел, что выставка испортит Англию; наедут презренные иностранцы, ввезут свои грязные обычаи, и все доброе старое опрокинется вверх дном. Свои иеремиады Сибторп неизменно оканчивал пальбой по хрустальному дворцу к принцу Альберту, бывшему во главе строительной комиссии. Здание, по словам оратора, было прозрачным кунштуком и воздвигалось для удовлетворения тщеславия принца, которого Англия и без того одевала, кормила и обмывала. Были и у нас люди, убеждавшие Николая Павловича, что железные дороги испортят его Россию.

«Аргонавт» открыл мне доступ в хрустальную Колхиду, где собиралось золотое руно всех стран. Строители и заводчики, с которыми я имел дело, выставляли свои изделия и входили в здание во всякое время. Они воспользовались возможностью оказать мне услугу и вводили меня как члена фирм или под другими специальными предлогами и значениями. Любопытно было следить, как быстро городили этот истинно карточный замок. Все поднималось и устанавливалось машинами, совокуплялось по соответствующим номерам и в несколько часов преображалось в стройное вместилище из кучи чугунных колонн, балок, карнизов и досок. Разбор и направление в должные части здания привозимых отовсюду выделенных уже материалов требовали немалой распорядительности, точности и даже дисциплины со стороны всех участвовавших.

Мало-помалу здание наполнялось произведениями различных народов, и сцена переносила к библейским сказаниям о вавилонском столпотворении живой, совершено тождественной действительности.

К объявленному сроку все разнообразные произведения чинно и изящно разместились в назначенных каждой нации отделениях. Россия отличалась роскошью, но относительно уменья выказать произведения в привлекательных формах, подать товар лицом, что было необходимо для привлечения внимания проходивших мимо тысяч, далеко отстала от соперников. Беглый взгляд сравнения, брошенный на наше отделение и на противоположное ему французское, привел меня, помню, в отчаяние. Живописными разноцветными каскадами валились с высоты кисея, газ, тарлатан и другие ничтожные легкости, а наши богатые парчовые ткани уныло висели вышедшим из стирки бельем за стеклами бутылочного отлива. Наш остроумный покровитель, бывший ex officio[7] попечителем русской выставки, отвечал весьма удачно на сетования об отсутствии вкуса в убранстве русского отделения. «Чего же Вы хотите, – возразил Бруннов, – нужно было прислать обойщиков, а прислали сенатора». Сенатор в этом случае ничему не мешал; он был большой ценитель и даже знаток промышленных произведений, но можно было и следовало принанять искусного обойщика. Промах тем более казался странным, что на первой выставке мы заботились, очевидно, поразить внешностью, заражавшею тогда все в русском царстве. Не было кровельного железа, медных листов, лакированной посуды, дешевых семимильных и вместе вечных наших сапог; тороватое, истинно восточное употребление малахита, глыбы серебра, в которые так смело и искусно врезался Сазиков, и дикие по недоступности произведения петергофской гранильной фабрики поражали блеском и роскошью толпу зевак; но видевшие в выставке цель облегчения и улучшения общего благосостояния отходи-

ли, горестно пораженные мыслью, как далека была от осуществления мечта их в стране, растянувшейся чуть не на половину европейского материка.

К первому мая, как было назначено, собрались в хрустальном дворце все чудеса и причуды. Три часа прошли незаметно в созерцании наставленных чудес и разных известных личностей, тоже редкостей своего рода, собиравшихся у приготовленного внизу трона. Дряхлый «Железный герцог» по военной привычке к аккуратности явился первым и был приветствован громкими «ура». Такое же шумное внимание оказала публика тогдашнему премьеру лорду Джону Росселю, вошедшему едва заметно с притворной скромностью, скрывавшей уверенность, что соединение всех языц под сенью английской державы произошло преимущественно с его помощью и с его согласия. Представители всех стран, доверивших Англии произведения своего промышленного гения, заняли указанные церемониалом места, и ровно в полдень с восторженными кликами завалившего парк народа внеслась в сокровищницу мировой гениальности слабая женщина без всяких признаков устрашающего могущества.

Принявши приветствие и прослушав краткую молитву Кентерберийского епископа, королева обошла все здание, опираясь на принца Альберта, с тех пор приобретшего в Англии личное значение. Истинные сановники придавали блеск шествию. Поддерживая друг друга, шли Веллингтон и Энгльзи, товарищи дивных ратных дел, маститые участники в оргиях безумной силы, дожившие до небывалого торжества общего согласия.

Выставка доставила Англии миллионы и большую нравственную пользу. Вращаясь в кругу тружеников разного рода, я видел влияние ее на изолированных дотоле гордых островитян. С английским чистосердием они сознавались, что многого не ведали, что во многом отстали, что и вне Англии многому можно научиться и не мало заимствовать.

На благотворное влияние выставки рассчитывали, впрочем, не одни энтузиасты только, ухватывающиеся с жадностью за малейшие поводы к торжеству любимых идей. Далеко не сентиментальное английское правительство, занявшись сначала, разумеется, выкладкой выгод, которые выставка доставит Англии, видело в ней общего примирителя и сочло нужным утвердить общие надежды авторитетом собственных взглядов. В тронной речи при открытии парламента королева высказалась о предстоявшем торжестве как о средстве связать народы взаимной дружбой и, чтоб не мешать распространению такой же уверенности в публике, слегка лишь и с большой осторожностью коснулась раздражавших вопросов и о внутреннем недуге — борьбе в Ирландии земледельцев с землевладельцами.

Ширь английского могущества ведет к непрестанным затруднениям и столкновениям, но мудро устроенный парламентский механизм продолжает двигаться и все двигать к цели, то устраняя, то уничтожая встречающиеся препятствия, нередко даже пользуясь ими как средствами для сообщения движению большей легкости и правильности.

Главное преимущество английского правительства, ему одному свойственное, состоит в возможности знать в данный момент истинное мнение и желание страны. Зоркая пресса знакомит народ с мельчайшими фактами, с вероятными последствиями для Англии всяких случайностей, но этим полицейским надзором и кончается ее роль. Печать намечает все, что творится в кругу влияния Англии, а круг этот — вселенная; она посвящает даже более крупным явлениям передовые статьи, без которых ни один журнал существовать не может, но все известия и статьи служат единственно к привлечению общего внимания на случайность; взгляды же на случающееся вырабатываются помимо журналистики разнородными способами и доходят до правительства несомненным общим мнением, а не утопиями и фантазиями немногих владеющих

способностью красно выражать весьма некрасивые виды и помыслы. Журналы бьют только набат. Вечно занятая трудовая масса прислушивается к звону и, если шум не из-за пустяков, приступает к обсуждению факта на бесчисленных митингах по поводу различных торжеств, на обедах и при всяких проявлениях общественной жизни. Правительство узнает таким образом влияние случайности на различные слои населения, как и в какой степени она действует на разные интересы, и в самом разнообразии взглядов и мнений находит средства провести собственный взгляд, если он не согласуется с понятиями большинства. Толпа способна увлекаться, но вместе с тем весьма способна отличить настоящую пользу от видимой, лишь бы ее осязательно ей представили. Парламентские вакации употребляются правительством на такие разъяснения. Министры и члены обоих парламентов разъезжают по местностям, где особенно сильно общее мнение, за которым привыкли следовать остальные, и живым словом выставляют правильность известных взглядов, выраженных на митингах, или опровергают бредни говорунов, не имеющих понятия о требованиях государства и управлении им. На этих же правительственно-народных сходках они щупают народный пульс относительно собственных замыслов в будущем, пускают пробные шары и, сговорившись непосредственно с управляемыми, открывают парламентскую кампанию с запасами возможных современных сведений, во всеоружии не кажущегося, а действительного общего сочувствия. Приводя к подобным результатам вечным своим бодрствованием, пресса, конечно, оказывается властью, но эта четвертая власть только содействует остальным трем, не имея никакого влияния на сущность их решений.

Единственная видимая власть в Англии — полицейская; государственные же деятели понимают, что чванная выставка власти раздражает без всякой цели и пользы. Имея действительное значение и влияние, они пренебрегают внешностью и надевают на себя вериги официальности как можно реже и на необходимое только время. Церемония открытия парламента, высшего правительственного органа, явно выставляет тон, господствующий в английской правительственной сфере.

В год выставки парламент был открыт самой королевой. Ловкость извозчика беспрепятственно высадила меня у башни Виктории. Вежливый официант усадил меня на галерее по левую сторону трона и счел обязанностью познакомить с местностью. Против трона была трибуна для стенографов и журналистов; остальные части галереи занимались любопытными, как и я. Внизу, на банкетах, сидели семейства правителей Англии по рождению, а на особенном возвышении, по правую руку трона, сияли в звездах и золоте иностранные представители. Лорды помещались, как кто мог, и были в красных мантиях своего сана, накинутых сверх обыкновенных утренних костюмов. В два часа пушечные выстрелы дали знать о приближении королевы. Чрез несколько минут Виктория вошла в безмолвно почтительное собрание данных ей природой советников, пригласила их сесть и велела позвать своих <u>верных плебеян</u>. В беспорядке и с шумом, несколько оправдывавшими официальное их название, члены нижнего парламента столпились у решетки не переступаемого для них предела аристократического святилища, охраняемого черной тростью церемониймейстера. Королева прочла речь, поданную ей лордом-канцлером, объявила сессию открытой, и через четверть часа зала опустела. С радостной торопливостью расстались правители целых царств с внешними признаками величия и обратились в граждан, подлежавших наравне со всеми указаниям и сдерживающей власти полицейского.

Кстати о полицейской власти, вспоминаю удивление Н. А. Огарева ее, как он выражался, наглости. Огарев имел в Петербурге завод, на котором выделывались заслонки, решетки и тому подобные произведения. Когда Николай

Павлович вновь задумал о винтовом флоте, бывший измайловец или семеновец в силу заводской своей специальности был послан за границу ознакомиться с требованиями современных морских сил. Забавно готовились отчеты будущего нашего военного Уорта об английском и французском флотах и учреждениях, с ними связанных. Однажды войдя к нему для разъяснений записки, для него составленной шарлатаном Collas (секретарем комиссии, исследовавшей состояние французского флота по назначению национального собрания), я встретился с выходившим фельдмаршалом лордом Гардингом. Мы подошли к окну посмотреть, не прокричат ли Гардингу «ура», как обыкновенно делали при проезде Веллингтона, но в Англии замечают людей, а не фельдмаршалов, и старик сел в свой брум без всяких оваций. Кучер хотел двинуться по James street, но полицейский остановил его и, встретив возражения, взял фельдмаршальского коня под уздцы и своротил фельдмаршала в боковую улицу. Генеральское достоинство Огарева не выдержало такого самоуправства. «Где же тут свобода? Какая же это страна, где... полицейский берет чуть ли не за воротник заслуженного героя» и т. п. Тирады, уместные в Северной Пальмире, но высказывавшие совершенное незнание азбуки страны, в которую на все способный генерал прибыл с целью изучить тайны превращения парусного корабля в паровой.

Так-то тратится время. Впоследствии мне случилось беседовать с графом П. Д. Киселевым о том, как туго проводится всякое дело в России сравнительно со странами, где мне приходилось трудиться в течение службы. Двадцатилетняя министерская опытность графа Киселева остановила мои умствования немногими словами. По его расчету, за необходимыми жизненными отправлениями человеку остается четырнадцать часов в день на работу всякого рода; из них двенадцать русский министр должен употреблять исключительно на усилия держаться на месте; «много ли остается посвятить делу».

Если самое открытие парламента происходит без особенной торжественности, то обыкновенные заседания еще проще. Законодатели миллионов собираются в палате с несравненно меньшей важностью, нежели писцы в наших департаментах. Посещая нижний парламент, мне часто случалось слышать от соседей невыгодные о нем суждения, которые сводились более или менее к тому же заключению — не было обаяния, pas de prestige.[8] Президент в громадном парике, удобно скрывающем дремоту, сидит в сонном уединении; представители власти раскинуты по скамьям между членами; все в шляпах и в положениях физической независимости, не совсем изящных, но требуемых телом, обреченным на долгую неподвижность; многие даже предаются кейфу, вероятно, ради того, что в круг парламентского влияния входит и ленивый восток. Нет трибуны, не в меру возбуждающей оратора, каждый говорит с места, снявши шляпу, вставши и обращаясь к президенту. Парламентский язык вообще очень ясный, не допускающий даже обиняков; мысль и мнение высказываются в необделанных, грубых даже формах, но обе стороны складывают их под парик спикера, невозмутимо слушающего самые жесткие обвинения, самые едкие сарказмы. Англо-саксонская природа не увлекается ни блеском речи, ни вспышками остроумия, нужно чтоб то и другое вели к делу, и если заговорит человек, который непременно удовлетворит этому условию, вид парламента мгновенно изменяется. Бодрствующие члены будят соседей, отдохновительные позы заменяются внимательными, и все обращается в слух. Из французского заседания выйдешь более удовлетворенным, может быть как праздный, непричастный к делу слушатель, вынесешь обыкновенные впечатления занимательного представления; английское заставит заинтересоваться вопросом и проследить его до решения. Устроился механизм, обеспечивающий, с одной стороны, прочность правительства, с другой, устраняющий злоупотребления власти и

вырабатывающий постепенное расширение личных прав. Вещественный признак власти, трон, поставлен на подобающую высоту; ничья святотатственная рука не дерзнет трогать этот краеугольный камень общего благосостояния. Страсти, источник всякого зла, не могут касаться священных ступеней престола; его выделили из житейских треволнений.

При английском дворе принято два способа сношения подданных с повелительницей. На выходах (levees) представляются мужчины по разным случаям. Салоны (drawing rooms) предназначаются для дам, но некоторые лица другого пола допускаются для большей торжественности. Приемы производятся не в Букингемском дворце, где королева живет обыкновенной жизнью, а в Сент-Джемском. Любопытство и желание видеть людей, гремевших на всю вселенную, побуждали меня не пропускать сент-джемских торжеств, и я нередко являлся на выходы и в салоны. На первом выходе я был представлен ее величеству в числе других нашим посланником. Бруннов называл нас по фамилии, мы низко кланялись и отходили в группу любопытных. На последующих выходах мы проходили за Брунновым мимо королевы, стараясь подражать его искусству свидетельствовать почтение, и затем, поклонившись стоявшему возле принцу Альберту, скрывались в толпе. Бруннов не забывал напоминать нам всякий раз о необходимости обратить почтительное внимание на мужа королевы, что не всегда делали англичане, смотревшие на достойного уважения принца с материальной точки зрения разводителей улучшенных пород.

ГЛАВА III

АНГЛИЙСКИЕ ПОРЯДКИ

Инвалидные дома. Британский музей. Печатня газеты «Times». Клубы. Демократизм и рабочий вопрос. Валлис. Сноудон. Остров Уайт. Эпсомские скачки. Гонка яхт.

Два дворца в Лондоне были достойны внимания: инвалидные дома в Челси и Гринвиче, обращенные в убежище славной заслугами дряхлости из прежних королевских чертогов.

Английские инвалидные дома были лучшими образцами приложения теории общественной помощи. При обоих домах существовали школы для бездомного юношества. Перед старцами были живые призраки их прежних дней, так утешающие отживающую духовную природу; перед юношами проносилась славная жизнь, к ним соприкасались доблестные примеры, прививались увлекательные назидания говорливого прошедшего. Дети воспламенялись угасающим огнем дедов и обыкновенно предавались тому же ремеслу. И школы кантонистов могут приносить пользу, лишь бы держались условий, в которых они возможны. Школа в Челси была вместе и семинария, приготовлявшая учителей для армии.

В обоих домах инвалиды пользовались большой свободой. Только те стеснения, без которых невозможна жизнь под одной крышей нескольких сот человек, напоминали старцам, что они в заведении, подчиняющемся особым правилам. Все требуемое обыденными нуждами было устроено так, чтобы слабые пенсионеры могли исполнять свои надобности при самых незначительных усилиях. Для старости необходимо по временам полное уединение. С этой целью части дортуаров были отгорожены переборками и разделены на каюты, где каждый скрывал свою стыдливую немощь и удовлетворял чувству собственности. Каюты составляли личное владение инвалидов и украшались ими произвольно. В Гринвиче они были особенно кокетливы; по старой привычке моряки обвешивали их разнообразными воспоминаниями богатой случайностями жизни. Мне пришлось видеть странное доказательство цепкости старости за все напоминающее ей прошедшее. Сержант, служивший с адмиралом Кетсом, сохранил орудие пытки, которым бичевали его в последний раз, и по этому поводу рассказал несколько суровых примеров тогдашней дисциплины в английском флоте. «У сэра Примроза, — прибавил старец, перейдя в патетический тон с трогательной слабостью 90-летнего чувства, — этого совсем не было. На корабле жили три ангела (дочери адмирала), у которых мы были под крылышком».

Беспрестанные посещения оставляли в заведениях неприятные следы. Любопытные охотно дарили представителей другого столетия, и дряхлые болтуны всегда имели средства увеселяться тем, что, по словам царя-пророка, веселит сердце человека. Происходили беспорядки, укрощение их при слабости виновных не выносилось общественным чувством. Между тем, странно было бы даже пытаться иско-

ренить привычки долгой жизни в последние часы ее. Общее мнение вынудило правительство распустить инвалидов и предоставить им полную свободу частной жизни на средства, которые употреблялись прежде для содержания заведений. Решимость правительства в этом случае едва ли обдуманна. С вниманием и терпением можно было бы найти приличные меры; теперь же предоставили старцев влиянию собственных пороков и алчности негодяев, которых соблазняет легкость поживы на счет людей, не имеющих почти сознания.

В числе предметов, напоминающих о прежних днях, удивил меня в Гринвичском доме бюст В. Я. Чичагова с известными плохими стихами Екатерины. Гордость сына, оскорбленного в отечестве, понудила его искать на чужбине уважение и внимание к семейной памяти. Бюст подарен березинским изгнанником.

В памяти моей я перехожу с удовольствием к святилищу истинно человеческих способностей, к Британскому музею. Без путеводной нити легко заблудиться в этом лабиринте учености, но судьба послала мне отличного проводника, знакомого со всеми закоулками и знавшего содержание их, как свои пять пальцев. Руководитель мой, некто Бах, одна из таинственных личностей, попадающихся в Лондоне, выехал из России и почему-то не мог уже в нее возвратиться. Может быть, он увлекся политическими умозрениями, но любовь к науке, очевидно, лежала в основе его жизни, и правление музея воспользовалось его разнородными познаниями.

Бах приводил в порядок книгохранилище и с охотой не один раз путешествовал со мной по уставленным шкапами чугунным галереям. Ядро библиотеки — книги Георга III, подаренные Георгом IV. Царский дар хранится в особом отделении и состоит из самых драгоценных изданий. Здесь я увидел златоустого Маколи за маленьким столиком, отгороженным от окружающей суеты громадными фолиантами. Первый том трудов его уже вышел в свет, и я пожирал с увлечением эти выводы предвзятой мысли, представляющие различных исторических деятелей несравненно занимательнее и назидательнее, нежели вышло бы, если бы историк задался исторической истиной.

Особенно полно юридическое отделение, в мое время отданное в непосредственное заведование Баха. От русских законов был особый, своего рода запах, поражавший при приближении. Французская коллекция отличалась обширностью, чего и следует ожидать от страны, где законы издаются и уничтожаются с такой легкостью. На будущее время полнота книгохранилища обеспечена актом парламента, обязывающим каждого издателя присылать в библиотеку экземпляр издания.

Когда в 1848 году началось новое извержение революционного вулкана, правление музея обязало своих комиссионеров собирать все памфлеты, плакарды и т. п. симптомы народной лихорадки. Современная летопись общественной жизни всегда имеет свою ценность, но особенно занимательна в общие кризисы, в эпохи возбуждения. Революционная коллекция Британского музея и полнейшее собрание всех газет, издаваемых с половины прошлого столетия, доставят будущему историку неоцененный материал для выводов причин фактов из аналитического разбора разносторонних современных взглядов.

К знаменитой Magna charta прикладываются, как к чтимым святыням. Чтобы посмотреть на обгорелые остатки скрижалей английской свободы, нужно было обратиться к особому кустодию. Старичок с пергаментным ликом приобрел в долгом отправлении должности неизменную почтительность выражения и благоговейную кротость поступи. Дрожащей рукой от отпирал кивот и потом ею же охранял исторические страницы от тлетворности дыхания любопытствующих. Magna charta пострадала при пожаре Ashburnhaur House, где хранилась до перенесения в музей.

Как коллекция древностей Британский музей особенно замечателен по остаткам ма-

лоазийского просвещения. Развалины Ликии, Ниневии и Эфеса придали музею отличительный археологический характер. В особом отделении хранятся мраморы Эльгина, за которые предал его анафеме Байрон. Будто с целью яснее выказать вандализм Эльгина, среди колонн без капителей, обезглавленных статуй и исковерканных барельефов высится модель Парфенона в прежнем его величии. Впрочем, Байрон, почерпнувший свой восторг к Греции в далеком прошлом, посмотрел на Эльгиновский грабеж с наивностью поэтического негодования. Не может быть сомнения, что в этом случае расхищение повело к сохранению. В тогдашнем состоянии Греции Акрополис был мелочной лавочкой, и остатки искусства, которыми все дивятся, разошлись бы археологической пылью по полкам туристов, страдающих антикварной манией.

Из особенного склада общественной английской жизни выходят и особенные явления, обладающие недоумением континентального жителя. В мое время один из собственников газеты «Times» выдавал замуж дочь. Все говорили о богатстве невесты и прочности ее состояния. Не в землях, не в государственных фондах состояло приданое: отец передавал дочери вечное право на шесть столбцов объявлений в журнале.

Не раз ходил я в темную грязную Printing Square любоваться современным процессом печатания, так же не схожим с гутенберговым, как картечница с пращой Давида, хотя оба мечут тот же снаряд гибели. «Times» выходил тогда ежедневно в сорока тысячах экземплярах. Механический набор еще не был выдуман, но все остальное делалось двенадцатисильной машиной, сцепленной с чудодействующим станком Эпльгета. Видя, как в пять часов сорок тысяч листов покрываются выжимками новостей из всех пунктов земного шара и потом разбрасываются по миру всеми способами движения — от простой ходьбы до волшебного лёта локомотива — поневоле сознаешь, что печать — сила.

В начале пятидесятых годов «Times» не был еще допускаем в главные квартиры и кабинеты. Доктор Рёссель, по его велению сделавший более кампаний, нежели любой генерал, еще не придал журналу приманивающего значения вестника кровавых подвигов; Бисмарк еще не посылал ему своих откровений, но внимание к общественным интересам, строгое наблюдение за всем, что может вредить им, открытие самых таинственных преступлений, самых ловких мошенничеств возвысили газету до необходимости. Издавна привыкли глотать ее вместе с утренним чаем или кофе везде, где чай и кофе в употреблении. Выбор статей и редакция их строги и достойны. Noblesse oblige,[9] а «Times» — своего рода аристократ по преемству. Грошевые писцы никогда не считались в числе его сотен корреспондентов и в некоторых правительственных архивах номера его сохраняются в порядке и с тщанием, которые прилагают к хранению документов. Многие искусные дипломаты не читают ничего, кроме «Times». Внимательный просмотр газеты достаточно руководит их в различных дипломатических случайностях, и главнейший труд континентальных представителей состоит в том, чтобы высмеивать по «Times» и уметь представлять догадки журнала в виде собственных дальновидных заключений. Несмотря на такой почет, все же «Times» не направляет и не создает мнения; он угадывает его по известным признакам и в данных обстоятельствах, имея везде смышленых доносчиков, втирающихся ловко в общество людей, от которых случайности более или менее зависят, внимательно прислушивающихся к мнениям веских в обществе личностей. Эти направляющие мнения бегут в Printing Square прямо с языка высказывающих их и там слагаются на общую потребу в литеры так гармонически, что компиляция кажется оригинальным произведением. Поэтому «Times» не имеет определенного цвета, а принимает современные и своевременные оттенки. Вращающимся в жизненной действительности нельзя пренебрегать

им. «Times» редко ошибается в проявлениях общественного мнения, им будто предсказываемых, и положительно никогда не решается перечить этому мнению.

Журналы, митинги и банкеты — все это средства распространения известных воззрений; зарождаются же они в клубах, приготовительных лабораториях английского общественного мнения. Каждая политическая партия, всякий крупный интерес, все служебные сословия имеют свои клубы. Специальное назначение клуба — соединять людей тех же взглядов, побуждаемых теми же двигателями; общая же всем клубам цель — хозяйственная. Совокупление небольших пожертвований дает возможность каждому жертвователю пользоваться удобствами роскошной жизни без обязательства чьему-либо гостеприимству. Весьма многие англичане проводят в клубе все время и до того сжились с ними, что считают их своими жилищами и не выставляют на карточках никакого адреса, кроме клубного. В клубе берут утренние ванны, завтракают, читают газеты и книги, обедают, пишут письма и беседуют по вечерам, короче, отправляют все требования жизни, исключая сон, для чего обыкновенно нанимается уютная чистенькая комната ближе к небу, нежели к земле. Патрон мой Мейнель записал меня почетным членом в оба клуба Соединенных служб (старший и младший) на все время пребывания моего в Англии, и там я ознакомился близко с нравственными особенностями английского морского сословия, не уловимыми при посещениях адмиралтейств и кораблей. Почтенная старость и энергия, свойственная средней поре жизни, становились одинаково сообщительны после возбуждающих яств английской кухни, приправленных безупречным вином. Высказывались мнения совершенно противоположные, но с свойственной даже пьяным британцам трезвостью, без негодований на упорство противника, напротив, с уважением к нему, как доказательству стойкости в убеждении. Наспорившись досыта, расходились без малейшей неприязни.

Аристократический Pall-Mall весь уставлен клубами, соперничающими в удобстве и роскоши. Занятая клубами часть города и великолепие их указывают с первого знакомства, что клубы в Англии — не демократическое учреждение, но демократические нужды всегда имеют в них своих представителей.

Демократизм в Англии развивается преимущественно между заводскими и фабричными рабочими. В разных странах пришлось мне вращаться в этой среде, и я утверждаю по собственному наблюдению, что, за исключением Штатов, положение рабочего несравненно сноснее в Англии, нежели где-либо. Близорукие и слепотствующие по упорству приписывают брожение рабочих классов неугомонным глашатаям всяких утопий, ведущих к беспорядку и слабости или даже поощрению законов, допускающих свободно действовать в Англии буйным страстям всей Европы. Эти условия, может быть, ускоряют развязку; несомненно даже, что вмешательства апостолов беспорядка придают вопросу часто бедственный характер, но развязка неминуема, потому что к ней ведет неодолимая сила обстоятельств, созданных требованиями богатства, от которых само оно ни за что не откажется.

Избыток капиталов порождает роскошь с ее беспредельными требованиями. Рядом с этим идут недавно еще немыслимые открытия в области положительных знаний. На то и другое рабочий дает свой труд, свое искусство, и мало-помалу идет к убеждению, что в разъединенной несходством выгоды цепи человечества он составляет необходимое соединительное звено. Единодушие и солидарность рабочих, не ограничивающиеся ремеслом и даже страной, а обнимающие многие государства, вовсе не удивительны; в наше время рабочий неизбежно становится космополитом. Для удовлетворения ненасытной роскоши промышленность сосредоточивается в громадных фабриках, на которых только и возможно экономическое приложение механической силы, облегчающей и совершенствующей труд. Эти

фабрики работают для всех народов и на них-то рабочий свыкается с мыслью, что он — производитель на поле вселенной. Мало того: его везут в дальние страны — в саратовские степи или на бразильские пампасы, в пески Африки или на вершины Альп, где он осязательно убеждается, что он — гражданин мира, и чувствует, что без него обойтись невозможно. Недавно еще скромный униженный труженик думал, что он только способен чинить дорогу своего околотка или ковать местных лошадей; мир кончился для него пределами прихода. Теперь он вяжет противоположные края земли, вырабатывает орудия торговли, войны, мира; более того — живит душу человека, требующую скорых, беспрепятственно достигаемых наслаждений. Возможно ли рабочему в новом мире оставаться в прежнем положении? Странно ли, что при убеждении в своей необходимости и могуществе, присущем сплоченным теми же интересами массам, рабочие становятся горды и требовательны? Было время, ученые, доктора, композиторы, вообще все занимающиеся так называемыми либеральными профессиями считались также за париев, не смели пользоваться выгодами и почетом, предоставленными исключительно рождению и силе. Времена изменились. Мы теперь видим ученых ректоров в горностаевых мантиях, атрибутах своего высокого происхождения, горделиво шествующих тотчас за принцами крови в государственных процессиях. Воспользуются правом греться на солнце и рабочие.

И почему ремесленный труд не заслуживает такого же внимания, как земледельческий? Освободили же последний, уничтожили же вассальные, рабские и другие отношения, державшие земледельцев в неодолимой зависимости, оставя за ними клок земли, в крайних случаях избавляющий его от произвола крупного собственника. Почему же не хотят обратить внимание точно на такую же зависимость промышленного рабочего? Везде правительства более или менее обязаны были принять на себя посредничество между земледельцами и землевладельцами; точно так же сила обстоятельств заставит их стать между рабочими и капиталистами. Форма посредничества будет зависеть от местных отношений труда к запросу на него: образуются ли самостоятельные артели с государственной помощью в соперничестве с капиталистами или государство удовлетворит капиталистов за их учреждения взысканием стоимости с рабочих тем или иным образом, только не истязаниями и силой; власть должна будет содействовать освобождению труда, иначе Луи-Бланы и Бакунины в самом деле возьмут верх. Не все народы готовы к ассоциации, как англичане, и не на всякой почве рядом со строгой подчиненностью охранительным законом могут процветать ремесленные союзы. Страх имущих, исключительно составляющих правительства, ослепляет и вводит в заблуждение бескорыстных в вопросе правителей.

В Лондоне немало рабочих агломераций разного рода. Между ними несравненно менее солидарности, нежели в исключительно мануфактурных городах, вследствие самой разнородности занятий. Чисто физическая причина, громадность расстояний также представляет препятствия к стачкам и соглашениям. Не совсем удобно идти за десятки верст слушать нового пророка; подумаешь, почешешь затылок, да и останешься дома, у дела. Впрочем, лондонские рабочие сравнительно свободнее других. Запрос на работу так велик, что соперничество хозяев ставит мастерового или поденщика в возможность настаивать на своих требованиях. Бесчисленные механические заводы, фабрики растительных, животных и минеральных продуктов и необъятные доки занимают сотни тысяч рук. Понятно, какое разнообразное приложение силы и искусства требуется выгрузкой и сортировкой всякого рода сырья, добываемого между Архангельском и Патагонией, поперек всего земного шара, развозкой материала, распределением его по соответствующим мастерским, наконец, самым превращением его в предметы

потребления. Железные дороги, паровые подъемные машины и тому подобные приспособления заменяют множество рук, но не уменьшают надобности в них. Потребности растут быстро, и механический прогресс производится необходимостью удовлетворять их, а не на счет личного труда.

Сообщения между различными частями Лондона, где торговля и промышленность разместились с наибольшей выгодой, и теми, где поселились богатые потребители, требуют беспрепятственных переправ через Темзу, и число мостов на ней растет чуть не ежегодно. Нельзя, однако ж, строить их ниже Лондонского моста в силу акта парламента, о котором я упоминал уже. Ухитрились сделать подводный туннель, но в стране практичности также случаются промахи и недочеты. Туннель высверлили под дном Темзы, но когда пришлось устраивать в него спуски с поверхности, ценность зданий, которые нужно было снести для достижения цели, оказалась столь великой, что компания удовольствовалась витыми лестницами для пешеходов. Дорогое приложение предприимчивости и механики свидетельствует, что и англичане иногда действуют очертя голову. Впрочем, в этом царстве машин и длинных кошелей нередко предпринимают работы на удивление, а не на пользу. Другой способ соединения противоположных берегов Britania Bridge, висящий в воздухе над Менайским проливом, представляет, так же как подземный Темзенский туннель, грандиозную бредню воображения англичан, сосредоточенного на механике по неспособности к изящным искусствам.

В моей рабочей лондонской жизни поездка к Менайскому мосту была памятным и вместе приятным событием. Несмотря на выставку и на лондонские удовольствия, ум мой положительно утомился однообразием занятий. Разговоры о деле, изучение различных вопросов, передвижения с целью увидеть какое-либо новое изобретение, короче, жизнь впопыхах, перемежавшаяся изредка общественными отношениями, которые в Англии суть поистине обязанности, и нелегкие, утомили меня нравственно. Я почувствовал надобность пожить некоторое время без цели, не задаваясь никакими результатами.

Это ощущение стало для меня возможно только на пароходе в Ирландском канале, когда скрылся из виду уменьшенный снимок с Лондона, Ливерпуль, и я плыл с живописной целью вдоль берегов Валлиса, в обществе таких же, как я, сорвавшихся с цепи труда узников. Проворные спекулянты предлагали услуги и разделяли путешественников на партии, рассчитывая по шести человек в каждый экипаж. Часа через три по выходе из Мерси[10] мы вошли в Менайский пролив между горами Валлиса и улыбающимися скатами острова Энгльзи. Здесь-то переброшен знаменитый Britania Bridge, затмивший славу дивного произведения Тэльфорда — огромного висячего моста, соединявшего оба берега до железнодорожной линии.

Отдавшись в распоряжение спекулянта, мы должны были следовать внушениям его любопытства и подчиняться его взглядам на красоты природы. Впрочем, и то и другое, даже самое плавание парохода, были рассчитаны с целью доставить наибольшее наслаждение в кратчайший срок. Мы пробежали проливом, пронеслись под обоими мостами и, обросивши взглядом целое, пристали к городу Карнарвон, на валлийской стороне, где приступили к частностям. Один из спутников, адвокат ремеслом, радовался вакации по-английски; развлечения, доставляемые прелестными видами и немыслимой в дымном Лондоне прозрачностью воздуха, казались ему недостаточными отводами памяти от труженической жизни, и адвокат запасся эликсиром забвения, чтобы продлить бесчувственное почти состояние, в которое привел себя еще на пароходе. Не раз случалось мне быть свидетелем разгула англичан, даже образованных и принадлежащих к высшему кругу. В поездках за город принято вести себя более или менее свободно. Грубые

способы веселиться особенно не к лицу натурам, облагороженным воспитанием, но в Англии едва ли не следует быть в этом отношении более снисходительным, нежели в других странах; так немилосердно стиснут там человек между тяжким трудом и невыносимыми условиями общественной порядочности. Все же неприятно сообщество встряхивающих натуру героическими средствами.

Мы начали осмотром Карнарвонского замка с его Орлиной башней. Отсюда взгляд обнимает весь пролив. Замок в истории Англии играет не последнюю роль. Многие английские титулы и привилегии происходят от странных случайностей. Эгинкоуртская битва, например, в которой англичане вследствие распространившейся эпидемии сражались без нижней одежды, дала право некоторым фамилиям являться ко двору в костюмах, напоминающих подвиг предков, спасших выбитого из седла короля и вместе оставивших на нем следы верноподданнической преданности. Валлийцы не хотели покориться англичанам иначе, как чтобы король родился на их земле. Эдуард VI заперся с королевой в Карнарвонском замке, и там родился сын, от которого передается наследникам английского престола титул принца валлийского.

Узкая долина, или, лучше, трущоба, залитая длинным озером, провела нас мимо черных аспидных ломок к живописной горной площадке. Приехавший любоваться природой адвокат заснул мертвым сном в удобном номере трактира, а мы отправились бродить по окрестностям. За первым озером тянулось другое, подходившее к самому пику Сноудона, и оба соединялись протоком. Место чудное по дикости и совершенно безмятежное. Только эхо взрывов аспидных ломок нарушает упоительную тишину. Вдоль обоих озер проложены рельсы, по которым спускают аспидные доски к гавани на проливе. Тысячи рабочих едва заметны на крутых неровностях, обрубаемых и разрываемых порохом гор. И здесь — механика и муравьиный труд, которых не избегнешь в Англии никаким упорством праздности и лени. Чтобы укрыться от человеческой суеты, нужно было полезть под облака, на вершину Сноудона.

Лучшее средство отрешиться от набивших душевную оскомину впечатлей — подняться с некоторым усилиями на высокую гору. Под ногами виднелась бездна с громадным зеркальным дном, в котором отражался сам Сноудон. Весь Валлис расстилался причудливыми хребтами, а на крайнем западе едва заметной струйкой бежал Менайский пролив; за ним беспредельное море сливалось с небом слоем тумана. В ясное ласковое утро собирались с ломки рабочие, живущие по берегам озер до самого Карнарвона. Часть плыла озерами в длинных ладьях, другая катилась по смежным с озерами рельсам на самокатках, приводимых в движение ногами. Соревнование тружеников, спешивших на работу в расположении духа, соответствовавшем радостной улыбке окрестной местности, продлило сноудонские впечатления до самого Britania Bridge, куда мы пустились по шоссе вдоль противоположного ломкам берега обоих озер. Адвокат перещеголял всех нас восторгом, и очень естественно: все прелести двоились в его глазах, не успевших еще смежиться после свежих утренних возлияний.

На Уайте также можно было отвести душу, замученную лондонской суматохой. Всюду тишина, деревенская простота и даже радушие; нет гула поездов; совсем не Англия. Я обошел остров большей частью пешком, не пропуская ни одного ущелья, ни одного утеса, с которого виднелась столбовая дорога мира — Английский канал. По-моему, красота Уайта относительная; без потребности разогнать сплин ее, может быть, и не заметили бы. Уютность английских деревенских жилищ и роскошь английской зелени, особенно пышной на острове, к которому подходит теплое океанское течение, придают немало прелести, но прославленные Шанклин, Вентнор, Бор Чёрчь, разные шайны (овраги), клифы (утесы) и кипы

(обрубы) не останавливают глаза, избалованного итальянскими, греческими, малоазийскими и другими приморскими видами.

Без приятного общества Уайт показался бы мне унылым. На пути я еще познакомился с одним из мировых судей острова, капитаном Кером, жившим в Нитоне. Кер был твердый протекционист и вообще упорный консерватор. Демократизм, по мнению его, въедался глубже и глубже в английский общественный строй, и стоглавая гидра напала, наконец, на хранимый богом и удачным разъединением с материком Англии Уайт. Действительно, на бывших в мое время выборах демократы одержали верх, и я видел везде карикатуры консервативного кандидата, капитана Гамонда, представлявшие его на корабле в полной морской форме с тогдашним орудием дисциплины в руках. Но Кер из любви к неизменности на все новое смотрел слишком враждебным взглядом.

Кратковременные отлучки из Лондона для прогулок дали мне возможность выжить без малого четыре года в среде, исключительно занимавшей мозги, натрудившей их до изнеможения и вместе с тем совершенно чуждой чувства, необходимого для души, еще не изжившейся. Не мудрено, что всякая перемена в лондонском настроении духа казалась мне облегчением от ярма и что я особенно говорлив в случаях, производивших благодатное влияние на мой юмор.

В самом Лондоне трудно разнообразить жизнь. Опера и французский театр едва были доступны моим средствам. Каждый вход стоил гинею и требовал белого галстука. Пантомимы и бурлески забавны два-три раза, но англичане не умеют смешить и смеяться, как соседи их на другой стороне канала. Разные погреба, в которых потчуют даром сверлящими ухо звуками и за большую цену полощут желудок в пиве или спиртованном вине, посещаются только для очищения туристской совести, как чисто английские особенности. Не развлечешься, смотря на вылитые в одну форму лица, покрасневшие за обедом в таверне без музыки и багровеющие к ночи под музыку в погребе. Да, в английском полусвете чересчур уж мрачно. Внешняя обстановка убежищ его несравненно богаче, нежели в Париже, но там умеют принарядить дрянные чуланы и выставить привлекательно порочность. В Лондоне веселятся по наряду, потому что принято в известные дни и положенным по штату порядком. Такие дни — скачка в Эпсоме и гонка яхт Темзенского клуба.

В день эпсомских скачек, Derby day, весь Лондон с утра надевает на себя личину веселости. Так ведется издавна; в общественном календаре против одного из первых чисел апреля означено <u>веселиться</u> и указано, каким именно способом. От Лондона в Эпсом ведут две железные дороги, средство передвижения скорое и дешевое. Нет, бери непременно экипаж и отправляйся на скачки старым долгим и дорогостоящим путем; того требует единственный деспот в Англии — обычай. Щегольские экипажи, ковчеги-омнибусы, вертлявые таратайки, даже бог знает откуда вырытые прежние почтовые кареты тянутся рядами через Вестминстерский мост к ипподрому в тридцати верстах от города. Праздная аристократия, деловое gentry[11] и оторвавшееся от конторок лавочничество валят смешанной массой. Везде корзины со съедобным снадобьем и увеселяющими напитками; разговоры громче обыкновенных, похожих в Лондоне на причитание; слышны смех и даже вольный хохот; самые лакеи, сидящие в городе на козлах неподвижным статуями, по дороге в Эпсом становятся людьми тела и крови и дозволяют себе свободные движения; короче, все принимает вид, который в Лондоне бил бы по лбу, как дубиной, казался бы chocking.[12] Общая картина дает понятие о переселении иудеев: так громаден лондонско-эпсомский путь и так величественны запасы, назначенные потешить и радовать желудки после трехчасовой поездки ранним утром на настоящем воздухе, которым дышишь, а не тем, который глотаешь в Лондоне.

У Эпсомского гипподрома празднующий Лондон раскидывается табором. Устроенные трибуны занимаются только официальными лицами или записными охотниками, для которых мир начинается у лошадиной гривы и кончается у хвоста. Дилетанты остаются в экипажах и громоздятся на них в разных положениях; неимущая толпа теснится между лошадьми и колесами. Отовсюду торчат вопрошающие руки с книжечками и карандашами; каждый предлагает знакомому пари и торопится вписывать условия. Даже дети участвуют в игре на конфеты, куклы, игрушки и т. п.

Долгий звон колокола дает знать о начале скачек. Все становятся на цыпочки, и выстраивается ряд полицейских, растянувшись во всю ширину бега. К ставке выводят коней; в ногах скакунов состояния тысяч, возложивших на них свои надежды. Еще звонок — и началось состязание. Момент поистине возбудительный. Я видел 32 лошади, зараз бросившиеся на арену. «Ураган» Tedington оставил за собой на полдлины «Вихря» Marlborough-Buck, и целые состояния рухнули, сотни тысяч фунтов перешли из одних карманов в другие. Какая дикая забава! От бессмысленного животного зависит благополучие разумного человека! От бесчестности ездока — более или менее стесненное положение и даже репутация именитого хозяина, часто правящего людьми с непогрешимой мудростью и обманутого подкупностью лакея! Но посмотрите, что творится кругом в общем возбуждении. Накрахмаленные дэнди Coventry и Reform клубов с вывороченными на бок галстуками, вдавленными шляпами, с объедками на усах и бородах, в опустошенных корзинах на головах для защиты от солнца бессознательно бьют в ладоши или в плачевном забвении, свеся ноги с карет и козел, мечтают об утерянном приличии. Ladies, прозрачные, воздушные ladies, падающие в обморок от названия панталон, рвут своими нежными ручками жареных цыплят и индеек, употребляют вышлифованные ноготки вместо соляных совков, даже, забывши всякий стыд, пьют прямо из горлышка: стаканы и рюмки уже перебиты чересчур расходившимися спутниками. На обратном пути все торопятся сбыть по дороге остаток городской сдержанности. Тридцать верст усеяны осколками бутылок, корками плодов, костьми и объедками зелени.

Около половины того же освобожденного от приличия апреля смотрел я на бег яхт, не менее занимательный, нежели скачка. Здесь уже не вышколенное животное решает дело, не от одного искусника зависит успех борьбы. Нет ремесла, которое не входило бы в снаряжение яхты, и удача основывается столько же на познаниях строителя, сколько на искусстве каждого рабочего и навыке всякого матроса. Арена также представляет более затруднений, и атмосфера неожиданного, принимающая участие, часто опрокидывает все расчеты. Искусство и случайность вступают в упорный спор, и соперничество их производит неожиданности, поддерживающие напряжение внимания и любопытства.

Знакомые членов клуба собрались у Лондонского моста на пароходе «Ruby», под флаг комодора лорда Альфреда Педжета. Десять красавиц держались на сворках, ожидая от нас условного знака. Облачное небо дышало перемежающимися порывами, и, выждавши удобного дуновения, комодор выпалил из пушки. Как испуганные птицы, вспорхнули яхты, вмиг распустили белые крылья и, прильнувши кокетливо к воде, понеслись вниз по реке к Грэвзенду.

Тысячи мелочей, не уловимых непосвященному глазу, приводят в восторг знатока и заставляют его дрожать всем существом в ожидании результата своевременной ловкости или догадки. Если ристалище — между берегами, где ветер всегда своенравничает, неожиданности — чаще и разнообразнее. Далеко убежал «Москито», и торжествуют возлагавшие на него надежды. Вдруг замер ветер за каким-то мыском, крылья счастливца опустились и в желчной дремоте он видит, как несется сзади

«Цинтия» с попутным порывом. У досадного мыса ветер изменил и «Цинтии», но прежним ходом она успела пробежать мимо «Москито» и оставила его за собой. В свою очередь, «Москито» получил благодетельный порыв и силится вновь занять прежнее место, но на «Цинтии» темзенский домовой, лоцман Бриго, знающий реку, как свои карманы. Он прижался к левому берегу так плотно, что нельзя проскользнуть между ним и «Цинтией», и «Москито» поневоле держит правее, равняется с соперником сподветра, и паруса его виснут, закрытые парусами «Цинтии». На «Цинтии» развесили все платки и скатерти единственно с целью отнять у «Москито» ветер, и «Москито» сердится, как привязанный страсбургский гусь. К Нору[13] ветер устанавливается, но делается противным — и здесь начинается состязание искусства; одна яхта пробирается в полосе меньшего течения, другая — в струе более постоянного и сильного ветра, третья, зная каждый вершок речного дна, идет ближе к берегу, чтобы не терять времени на лишний поворот, — все разными неправдами пробираются к маяку, где мы стоим уже настороже. У маяка — половина пути. При дувшем ветре здесь вопрос решался почти наверное, так как обратно к Эриту яхты понеслись бы уже попутным курсом. Мужчины вынули хронометры, дамы стали с записными книжками, и на столах наставили рюмок. Сорванец «Москито» юркнул мимо нас первым, и в честь его поднялись бокалы, завеяли платки и заискрилось шампанское. Счастливец обошел пароход, приставил крыльев[14] и с уверенностью в победе направился к конечному пункту гонки. Мы перешли туда же и остановились на якоре. На пароходе москитовцы бесновались и начали пир горой. Среди шума и возлияний вдруг раздались восклицания удивления. Пока пировали москитовцы, ветер почти затих, прилив пошел с моря и, подхвативши прежде «Цинтию», пронес ее вперед «Москито», а затем ветер снова заиграл, и к нам первой подходила «Цинтия». Ее защитники, в свою очередь, начали радоваться , и скоро все на пароходе колебалось от восторгов и сильных ощущений.

Гонявшиеся яхты, сообразно величине их были разделены на три категории. Призы достались «Цинтии», «Мазепе» и «Уистеру». Победители облепили пароход со всех сторон, и хозяева их перешли к нам увенчаться лаврами. Великий жрец, комодор, по беспристрастию радовался за всех соперников и до того расчувствовался, что с трудом был поставлен на будку, служившую трибуной, откуда приветствовал победителей неизбежными спичами. Призы состояли в статуе Нептуна на морском коне, в вазе для цветов и в кубке для вина. «Цинтии» достался Нептун, но лорд Альфред смешал его с кубком. Ошибка была исправлена общим участием в разборе призов, но когда наступила очередь «Мазепы», выигравшего вазу, рука комодора, по привычке, вновь взялась за кубок. Опять разбор, и в этот раз со спором. Комодору казалось, что он держит вазу, остальным же чудился кубок. Наконец, чистосердечный председатель прекратил церемонию, сознавшись, что от души радовался искусству, выказанному почтенными владельцами яхт, и пристрастие его к кубку не могло быть ни для кого удивительным. Три громких «Ура!» в честь ловко вывернувшегося из затруднения комодора завершили день, и скоро общество развезли по домам в закрытых от наглого любопытства экипажах. На другой день я видел лорда Альфреда в мундире адъютанта королевы в Сент-Джемском дворце как ни в чем не бывало. Что город — то норов, что деревня — то обычай!

ГЛАВА IV

ПАРИЖ. ГОЛЛАНДИЯ

Первое знакомство с Парижем. Следы февральской революции и приготовления к декабрьскому перевороту. Только в Париже можно праздно проводить время. Национальное собрание. Встреча с Дантесом. Маскарад. Продовольствие Лондона. Мясной флот. Вылощенная Голландия. Барон Мальтиц. Саардам.

Живши в нескольких часах от Парижа, трудно удержаться от искушения. Там есть именно то, чего недостает в Лондоне: жизнь, свободная от давления мысли, разгул, удобство нравов и отсутствие обычая.

Справляясь с дневником, вижу, что первое знакомство мое с Парижем было кратковременно. Я не мог вынести более десяти дней жизни, в которой чувства и страсти крутились с какой-то захватывающей дух быстротой. Я не предавался, однако ж, особенным излишествам, просто бездельничал в известном парижском свете и раскидывался по его притонам. Не делая ничего очень дурного, я бил время до того пусто, что возвратился в Лондон недовольный собой и приятелями, показавшими мне Париж во всем слепящем блеске.

Чувственность, присущая нашей природе, проявлялась в одинаковой мере во все эпохи человечества, даже христианское просвещение оказалось бессильным против естественного закона.

Расслабляющие средства в Париже продаются с аукциона среди белого дня, пользоваться ими в моде. Страсти, имеющие основание в различии полов, будут существовать, пока природа человека не изменится, пока он не перестанет быть животным, но бесстыдное их удовлетворение низводит человека на уровень низших пород.

Впрочем, несмотря на то, что мне случилось быть в первый раз в Париже и с порядочным запасом лондонского сплина, я посвящал целые дни знакомству с монументальным городом и успевал видеть многое, хотя везде встречал более или менее отталкивающую грубость, без которой французские чиновники и официалисты всех родов не могут понимать свободы. Республика была при последнем издыхании. В Елисейском дворце уже готовился тайный скоп, который должен был отдать Францию на двадцатилетнее царение цинического эпикуреизма, изгладившее остатки спасенных от революций качеств и кончившееся небывалым крушением. Парижане подозревали готовившийся переворот; переменой пахло уже в воздухе, но роскошествующая пугливая буржуазия безмолвно одобряла заранее всякий порядок, который упрочил бы за нею хотя на время пользование настоящими благами. Все ждали реакции как неминуемого завершения всякого порыва к свободе. В книге судеб Франции уже написано век искать истины и не доискаться, всегда бояться свое-

волия власти и подчиняться самому необузданному произволу.

Наружные признаки оправдывали жажду парижан к спокойствию. Президент, без сомнения, с умыслом оставлял в Тюильри[15] следы неистовств черни и на различных памятниках — знаки революционного опьянения. Зеркальные галереи дворца были в черепках, портреты изодраны, и сама статуя мира, поднесенная Парижем первому Наполеону, помятая народной мощью, свидетельствовала, как хозяйничала толпа в жилище королей. Источник всех парижских волнений — предместье Св. Антония — из груды неочищенных еще развалин утешалось июльской колонной, сообщающей ему какое-то инбирное настроение. Но Париж бульваров, театров и кофеен, Париж зевак и гастрономов был в неизменно привлекательном своем виде. Какие бы бури ни носились над Парижем, какими бы волнами ни заливало его, когда наступит тишь, останется несравненная панорама Елисейских полей с их величавой аркой, прохладительная зелень тюильрийского сада и великолепный, нигде не существующий городской вид площади Согласия с ее обелиском, зданиями министерств и gardemeuble[16] с греческой колоннадой Св. Магдалины в конце Rue Royale и с портиком Bourbon за Сеной; останутся веселые холмы, уставленные роскошными виллами, и между ними река, оживляющая картину, струящаяся разнообразными воспоминаниями об удали Генриха IV и сарданапальской неге Людовика XIV, о буйствах 93 года и зверстве Конвента. С башни Notre Dame читаешь всю историю Франции в видимых памятниках и дивишься живучести Парижа, хорошеющего после каждого кризиса, а их было немало.

Впоследствии часто случалось мне бывать в Париже. Проводя сряду несколько месяцев, я убедился, что в нем можно жить обыкновенной жизнью гораздо приятнее, нежели гденибудь, пользуясь выгодами всемирного центра удовольствий и предаваясь им в меру, но в первый раз я приехал с целью развлечься, стряхнуть лондонскую серьезность, побульварничать. Только в Париже можно обойтись без дела, без определенных занятий. Незаметно проходит день в пристойном верхоглядстве, и не успеешь оглянуться, наступает вечер с его удовольствиями, может быть в строгом смысле не совсем пристойными, но избавляющими от всякой надобности быть в обществе, от обязательства кому бы то было. К ночи наберешься настроения духа, при котором возможны только легкие грезы, а не кошмары, как за каналом или на Неве, где весельчакшпиц[17] в золотой ризе бессовестно радуется вздохам и страданиям.

Между развлечениями Парижа Национальное собрание особенно привлекало меня. Тьер, Бау, Беррье, Дюпен и другие личности, которых знал по журналам, были налицо, и я с жадностью смотрел на них. Собрание занималось процессом Шангарнье, командовавшего парижским гарнизоном. Елисейская партия, занимавшая правые скамьи, знала, что генерал в нужный момент расстроит ее мрачные планы, а Горе не нравилась стойкость его и решимость не задумываться над средствами для пресечения всякого беспорядка. Положение политического человека между двумя партиями с собственными взглядами и убеждениями может быть весьма почтенно и вселяет уважение, но никто не возьмется страховать его на один день. Тьер, сидевший в центре, играл пассивную роль, но в тот вечер, когда правая сторона соединилась с Горою, чтобы опрокинуть Шангарнье, небольшая фигура экс-министра Орлеанов отличалась злой насмешкой; молча смотрел он на чесаных и нечесаных собратов, ревевших во все легкие. Собрание устранило единственного человека, который мог бы спасти его в следующем декабре, и успех Людовика-Наполеона был обеспечен.

С Шангарнье возились несколько дней сряду, и пришлось нагнать потерянное время ускорением дел. Законы без раздражающего

политического значения, но тем не менее важные, касавшиеся общего благосостояния, проходили десятками, без особых прений. Остановились только на двух: можно ли сажать депутата за долги в тюрьму и как лучше устроить парижские бойни. Против первого особенно витийствовал убитый впоследствии на баррикадах депутат Montgean; растрепавши волосы и закинувши на спину лацканы сюртука, Montgean находил закон чудовищным и дивился, что предлагают отдавать в жертву бессердечным кредиторам депутатов, жертвующих стране своим именем и достоянием. «У вас нет ни того, ни другого», — возразили со скамей, и собрание пришло в веселый экстаз. О парижских бойнях говорил Leboeuf. Лишь только президент прочел содержание закона и объявил имя первого оратора, ни один из членов не усидел на месте. «Он говорит в свою пользу — мы не знали, что он член собрания», «Leboeuf — компетентный судья в деле»[18] — и другие возгласы, доказывавшие, как трудно французам не мешать серьезное со смешным. Тщетно Дюпен звонил в колокол, собранию нужно было выхохотаться и проостриться прежде, нежели приступить к обсуждению вопроса. Наконец, устали горловые мускулы и сделалась тишь. Но Leboeuf, над которым шутили так бесцеремонно, не захотел остаться без ответа и, вместо того чтобы воспользоваться вниманием расположенного, наконец, слушать его собрания, обратился к нему с балагурной выходкой. «Господа, — сказал он, — уверяю вас, я здесь не по личному вопросу». Опять общая истерика, и весь вечер прошел в остротах насчет имени оратора, говорившего о мясниках и бойнях. Сущий Пале-Ройяль, и для сравнения я тотчас отправился смотреть Grassot Levassor и Ravel.

В капище распущенности и безумия ввел меня старый приятель при помощи Геккерена. Невольный убийца лучшего русского таланта, впоследствии завербованный империей в пособники и ставший одним из влиятельных сенаторов, в мой республиканский визит был еще отставным русским гвардейцем, знавшим все парижские трущобы и охотно знакомившим с ними друзей. Мы вошли с настоящей дамой, желавшей видеть, как веселятся парижане. Какой-то pierrot,[19] принявши ее за птицу своего полета, отпустил скромный комплимент и вмиг очутился внизу входной лестницы. Дюжий Геккерен употребил с ним весьма звонкое убеждение, прибавя громовым голосом: «porter sa au peuple souverain»,[20] Республиканской выходкой нашего чичероне началась сатурналия.

Пять—шесть тысяч человек, собравшихся облегчить благодетельным весельем неизбывную тяготу жизни, отрешиться от свинцовых дум, достойны снисходительного и вместе внимательного наблюдения. На балах этих народный характер выказывается во всей своей спасительной легкости. Подумаешь, что у этих беснующих балагуров нет никаких забот, что жизнь их течет млеком и медом, а между тем, сияющий радостью дебардер[21] или семенящий ногами pierrot просто разъярились от мюзаровского смычка и под его чарующим влиянием забыли на миг смрад и темень своих мансард, свои гнущие в дугу конторки. Посмотрите на их движения, это явно следствие экстаза, возбуждения, как у дервишей; нормальная веселость так не коверкается. В их же среде более счастливые веселятся скромнее. Зоркие полицейские подмечают особенно одержимых бесом и после первого предостережения обыкновенно выводят чересчур восторженных опомниться на свежий воздух. Выведенные и невыведенные идут в те же кофейни длить вечерний разгул до восхода солнца.

Оргия в полном смысле слова, грубая и шумная; после нее болит голова и усталое тело жаждет покоя, но лишь только освежатся мозги, только что возвратятся силы, вечерний паяц снова принимается за работу, может быть даже в лучшем настроении духа. Кратковременное беснование не мешает вечному труду, и не оперные балы сгубили Францию. В раз-

врате-искусстве зародился стыд Седана и Меца; мужские качества и гражданские доблести разложились в раздушенных салонах Мессалин, где роскошь угадывает причуды праздной неги, в будуарах, где придуманы изящные мелочи для расслабляющих наслаждений.

Лондон — громадный потребитель. Едва ли кто-либо сосчитал его население, да и в самых пределах города до сих пор еще не сходятся.[22] Легко представить себе, чего требуют миллионы желудков, возбужденных усиленной физической деятельностью. Смежные края европейского материка непрерывно шлют в Лондон свои произведения; мясо и все молочное доставляется преимущественно из Голландии. На тучных польдерах[23] там вскармливается рогатый скот почти исключительно для лондонского рынка, и потребность в нем так велика, что существует целый паровой флот, специально приспособленный к надобностям рогатых пассажиров. Легко было взять в образец один из таких бычачьих пассажботов и по нем устроить назначенный для той же цели «Аргонавт», но по грешной привычке находить во всем недостатки, а также по желанию ближе ознакомиться с требованиями перевоза живого груза мне захотелось до приступа к делу пройтись на скотоперевозочном пароходе в Голландию и обратно и проследить все подробности операции. Знакомые доставили случай перейти в Роттердам на одном из лучших пароходов «Earl of Auckland», и таким образом мне удалось взглянуть на своебытных людей, прозванных китайцами Европы по старой привязанности к старому, когда в окружающем их мире один день совершенно стирает предшествующий и все дышит какою-то ненавистью к сделанному уже, к оконченному и жаждет нового.

Где-то около Тауэра с грязнейшей набережной переступил я на «Earl of Auckland». Мое путешествие зависело исключительно от любезности директора компании и было бесплатное. Вследствие этого я запасся вином и всякими гастрономическими снадобьями, чтобы приобрести расположение капитана, багрового моряка, очевидно, поддававшегося подобным искушениям. Мы вышли из Темзы на ночь и скоро встретили обычные любезности Северного моря. Капитан уже успел познакомиться с достоинствами моего погребца и ночью, промокши на палубе, вполз ко мне в каюту, вышарил старого знакомого и, облобызавшись с ним наскоро, снова поднялся на палубу. Капитанские визиты повторялись довольно часто, и к утру запас мой порядочно истощился, но голландский берег был уже в виду и там можно было возобновить запасы.

Мы вошли в одно из устьев Мааса и направились к Роттердаму Гельветилюйским каналом. Пароход шел самым тихим ходом в силу строго соблюдаемого закона, охраняющего берега каналов. Несмотря на собственные средства движения, нам впрягли четверку коней. Так водилось встарь, когда по каналам плавали одни трехшюйты,[24] и введения пара голландцы не заметили. Между станциями рядом с пароходом шел соглядатай, наблюдавший, чтобы скорость наша не превышала узаконенной. Телеграфная проволока тянулась вдоль канала к Роттердаму, и по ней легко было бы проверять нас, но электричество, как и пар, не удостоилось внимания голландцев, и начиненный сыром проводник гонялся за пароходом на собственной паре с видимым убеждением, что исполняет необходимую обязанность. Вымытые, вылощенные домики с неизбежными деревянными колоннами у дверей чинно стояли на пути, и допотопные трехшюйты едва заметно двигались, воистину влекомые лошадьми. Домики, трехшюйты, столбы и шлюзы — все казалось только что из-под малярной кисти и составляло разительный контраст с оборжавленным и закопченным нашим пароходом. Кругом необозримые поля живой зелени, окраенные со стороны океана песчаными буграми, которые море набрасывает против себя в защиту Голландии от своей лютости. Тишина и безмолвие не нарушают-

ся даже при пропуске шлюзами; все творится будто заведенными машинами; везде строгий порядок, но без капли или звука жизни, особенно поражающий после лондонских порядков, царящих также строго, но над шумной деятельностью.

Пришли мы в Роттердам и прислонились к великолепной набережной, усаженной тенистыми липами. Этой набережной связывается центральная промышленность Европы с самым дальним востоком и произведениями его богатой природы; у нее стоят лучшие купеческие корабли мира, непрерывно меняя грузы, но все втихомолку, с несуетливой поспешностью, ведомой только голландцам. Прошелся по нарезанному каналами городу, напоминающему Венецию, разумеется, кроме неба; заглянул на биржу, в склады — везде тишь.

Из Роттердама я переехал в Гаагу по железной дороге, кажущейся не у места в этой стране медленности и спокойствия. Хотелось познакомиться с морскими учреждениями и нужна была помощь посланника. В тогдашнем представителе нашем бароне Мальтице, прозванном товарищами le baron de la malice,[25] я нашел очень вежливого человека, готового быть полезным. Барон познакомил меня с адмиралом Lucas, морским министром, и водил к другим правительственным личностям, выказывал большую предупредительность и внимание. Он терпеливо выслушивал длинные перечни моих нужд и лично удовлетворял моим просьбам, гуляя со мною по городу, без сомнения, надоевшему ему до смерти. И за все это барон требовал от меня только минутного снисхождения. Проходя мимо католической церкви, он непременно входил в храм, преклонял колено и совершал условную аблюцию.[26] Мальтиц был твердый католик.

При вдовствующей королеве Анне Павловне была православная церковь. Анна Павловна жила в весьма скромном доме с большим садом, около Wilhelmplatz. Там совершалось богослужение. С крошечной русской колонией я познакомился после первой обедни и скоро узнал все придворные подробности. Королева не ладила с мужем, что вовсе не было удивительно. Первая жена принца Альберта Прусского резво развлекалась в своем вдовстве, а строгая Анна Павловна сердилась в своем одиночестве, по природе вспыхивала не всегда кстати. И в Голландии, где все так отлично от остальной Европы, двор, как двор; меньше роскоши, скромнее жизнь, но те же мелкие страсти и также сильно их действие.

Осмотревши галереи и музеи, я отправился в Амстердам. По дороге взглянул на гарлемские луковицы и полюбовался упорной работой над осушкой Гарлемского озера. Между рассадниками тюльпанов в Гарлеме стоит мрачнейшая по архитектуре ратуша; на балконе ее до сих пор казнят смертью и клеймят на спине каленым железом. Любовь к цветам и к подобного рода зрелищам совмещается только в голландской природе. Вообще как-то странно видеть в народе, измыслившем жесточайшие кары за преступления, расположение к нежности и проявление филантропии.

Амстердам, как известно, шатается на сваях, в которых безустанно плещет волна. Непрочность основания не помешала голландскому упорству воздвигнуть великолепный город, когда-то игравший ту же роль, что в наше время Лондон. Богатство сохранилось и доселе; что дом — то дворец, с висячими садами, кабинетами редкостей и картинными галереями. Только все это под замком, и нужна сильная протекция, чтобы проникнуть в чертоги амстердамских крезов, неохотно обнаруживающих свои средства. Меня познакомил с Амстердамом старик Брюнэ, тогдашний наш генеральный консул, бывший по уши в делах, сам очень богатый и коротко знавший всех царей амстердамской биржи. Нарочно для меня он созвал их вечером. Толковали все время о различных средствах набивать копейку; наука вовсе не далась мне, и я заснул бы от тоски, если бы между гостями не был консул Соединенных Штатов, оригинал, каких в заморской

республике немало. Покойный король, приезжая в Амстердам, имел обыкновение принимать всех консулов и, желая кончить аудиенцию, обыкновенно протягивал руку Брюнэ как старшему по времени назначения и человеку, уважаемому им лично. Представитель Штатов вздумал на последнем предсмертном приеме короля обидеться предпочтением, оказанным русскому консулу. Король, как водилось, дал руку Брюнэ и поклонился. Вместо ответного поклона и удаления американец подхватил опускавшуюся королевскую руку, потряс ее с американской энергией и прибавил: «God bless you Sir».[27] Нарушитель европейского придворного этикета смешил меня во весь вечер и спас от сплина.

Как русский, разумеется, я поехал на поклон в Саардам. Пока приготовляли лодку для переезда на другой берег Эя, я взошел на Башню слез, высящуюся над Амстердамской набережной. Когда на белом свете жены любили еще мужей, прежние голландки слезно провожали с башни удалявшихся спутников жизни. Теперь с той же башни, вероятно, своевременно дают знать женам о несвоевременном возвращении мужей. Дорога шла через Брук.

К хижине Петра Великого в Саардаме подъехать нельзя: нужно оставить экипаж и пройти узким переулком. Невольная дань уважения памяти венценосца-труженика. Благоговение Анны Павловны покрыло покривившуюся от времени избу кирпичным колпаком. Голландские короли, император Александр I, наследник и другие высокорожденные лица ознаменовали надписями на мраморных досках поклонение гению того, кто

И академик, и герой,
И мореплаватель, и плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

На плите, напоминающей посещение наследника русского престола, чувствительный Жуковский нацарапал следующий экспромт:

Над мирной хижиною сей,
Витают ангелы святые;
Великий Князь, благоговей!
Здесь колыбель Империи твоей,
Здесь родилась великая Россия.

Чересчур свободное обращение поэта с действительностью. Родись хоть на самом Парнасе, броди сколько душе угодно в мире фантазии, и все же вспоминать о святых ангелах по поводу Петра неловко. Мало ли о чем ином, не святом, но полезном и назидательном можно было вспоминать в саардамской хижине.

ГЛАВА V

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС В 1845 ГОДУ

Кратковременное возвращение в Россию. Устройство управления Черноморским флотом по смерти М. П. Лазарева. Опять кавказское крейсерство. Соломон-Серебряков. Возвращение в Англию. Мы принимаемся серьезно за реформы флота. Мой проект. Частная моя жизнь в Лондоне. Последняя встреча моя с братом Дмитрием. Смерть Веллингтона. Смотр Черноморского флота и утверждение моих предположений высшей властью. Императорский Париж. Признание империи Николаем. Вопрос о «святых местах». Смотр английского флота как враждебная нам демонстрация. Первая Венская конференция. В Константинополе сказывается общее мнение. Исакчинское дело и посылка Нахимова в крейсерство. Весть о Синопском сражении и слова Кларендона. Письма Корнилова и Нахимова после Синопа. Бруннов приподнимается с кресла. Союзные флоты входят в Черное море: Бруннов совсем встает с кресла и шлет меня в Петербург с известием о разрыве.

В декабре 1851 года я оставил Англию и отправился с «Аргонавтом» в Черное море. Здесь меня ждало уже назначение на бриг «Персей». Местное управление по смерти М. П. Лазарева составилось из придуманного находчивым князем Меншиковым М. Б. Берха, доброго старика, вовсе не мечтавшего о подобном наследии. Само собой, правил флотом В. А. Корнилов, которого князь не счел еще созревшим для самостоятельной власти. В Севастополе княжил С. П. Хрущов с обычными титулами командира порта и временного губернатора, а интендантская часть, по желанию Корнилова, была в руках Метлина, которого покойный Михаил Петрович под конец не жаловал за частые споры с местными севастопольскими властями, вводившие главного начальника в щекотливые затруднения. Берх весьма хорошо понимал свое положение и мирился с ним, но своенравный Хрущов не мог переварить господства сравнительно молодого начальника штаба. Вскоре после моего прибытия в Севастополь лейтенант Шемякин представил поднятое им безымянное письмо, в котором извещали, что 26 декабря злоумышленники намерены сжечь весь флот. Обстоятельство привлекло из Николаева деятельного начальника штаба. Принятыми Корниловым мерами Хрущов оскорбился и напомнил, что он местный военный губернатор. «Времен-

ный», — отвечал лаконически едкий Корнилов, — и действительно, когда в Петербурге узнали о предстоящей флоту беде, прислали флигель-адъютанта Истомина произвести следствие, и через несколько месяцев Хрущова передвинули в адмиралтейств-совет. Освободившись от неудобного сотрудника в Севастополе, Корнилов навязал себе собственными руками тяжелый камень в Николаеве. Ему хотелось быстро выказать свои способности и знания, но для этого надобились средства, а над черноморской казной сидел упорный и скупой Метлин, подчас злорадостно придерживавший товарища своим non possumus.[28]

Искусственное составление князем Меншиковым Черноморской иерархии отразилось отчасти и на моей личности. «Аргонавтом» остались довольны, и Хрущов приказал мне принять бриг «Персей» для предстоявшего заграничного плавания. В Николаеве не совсем согласились с распоряжением Хрущова, велели мне сдать бриг и привести «Аргонавт» в реку, свободную еще ото льда. Показавши товар лицом, я возвратился в Севастополь, где вновь принял «Персей», но перед отправлением в Средиземное море был послан на Кавказ.

Мне, вынужденному впоследствии удалиться из службы, извинительно утешаться воспоминаниями, что было время, когда на меня смотрели иначе. Конечно, и люди были иные. Посылая меня в Англию, покойный Михаил Петрович писал к отцу от 13 ноября 1850 года: «... Назначение Вани последовало, так сказать, в вознаграждение за исполненный им полезный труд» (разумея участие мое в составлении руководства для плавания по Черному морю). Год спустя, когда не стало уже нашего начальника, новые власти были ко мне столь же снисходительны: «Дети Ваши, — писал к отцу В. А. Корнилов, — сослуживцы мои по Черноморскому флоту, принадлежали всегда к той же школе (т. е. к школе М. П. Лазарева), и, конечно, если будут продолжать путь, ими избранный, то всякое начальство будет смотреть на них, как на офицеров, заслуживающих особенного внимания. Иван Алексеевич на днях привел нам преполезную шхуну и, пробыв здесь несколько дней, возвратился в Севастополь, где примет бриг. Из этого вы видите, что и нынешнее временное управление флотом не оставляет в покое полезных людей».

Четырехмесячное зимнее крейсерство обрусило меня самым действительным образом: шторм за штормом, повеление за повелением и все приятности сугубой подчиненности начальнику эскадры и начальнику береговой линии. В то время последней распоряжался вице-адмирал Л. М. Серебряков, над сухопутными распоряжениями которого когда-то подсмеивался Н. Н. Раевский. Но выбор Серебрякова, человека разумного и вдобавок восточной крови, оказался чрезвычайно удачным. Зоил Меншиков прозвал адмирала Соломоном, намекая на армянское его происхождение. Серебряков весьма мудро вел дела с горцами и в нужных случаях к армянской хитрости прикидывал истинно славянскую решимость. Меня послали к нему с известием о вторжении убыхов в Абхазию, где в то время распоряжался Колюбакин, известный под прозванием «немирного», в отличие от брата сравнительно кроткого характером. Серебряков распечатал пакет и велел мне идти в Новороссийск взглянуть, все ли там благополучно, но у самого выхода из Керчи нагнал меня на пароходе, набрал кое-какой отряд, посадил ко мне сотню солдат и отправился на помощь Колюбакину. Дорогой он пристал к Сочи, высадил войско и начал жечь аулы отлучившихся в Абхазию убыхов. Таким действием он мгновенно оттянул от Колюбакина ворвавшихся в Абхазию горцев и прибыл в Сухум, уже оправившийся от страха. Подобными расчетливыми и решительными мерами Серебряков обратил меншиковское прозвище из насмешки в почетный, вполне им заслуженный титул. Старик любил выказывать проблески своего армянского гения и подчас даже рассказывать о

них. Восточная душа ликовала, когда случалось обмануть противников, а обманы были часты и удачны.

После крейсерства я отправился в Николаев готовиться к годовому плаванию в чуждых водах. «Персей» был превосходное судно во всех отношениях. Быстротой хода и другими качествами он вполне тешил морскую мою душу, но, переходя часто из рук в руки, до того истерся, что нужно было совершенно обновить его прежде, нежели показать иностранцам. Корнилов согласился с моими требованиями, но все соображения приводили неизбежно к расходам, а у сундука стоял Метлин с церберовской верностью и собственным духом противоречия. Пришлось мне с «Персеем» лавировать между Сциллой и Харибдой. Я пошел прямо на опасность, казавшуюся мне меньшей: представил Корнилову записку о надобностях и почтительно объявил ему, что не решусь показаться на ристалище всех флотов Европы с бригом в его тогдашнем виде, хотя весьма ценю лестное для меня назначение. Корнилов значительно улыбнулся, медленно отложил в сторону мои сетования и начал длинную речь о необходимости преобразования флота на новый лад. Начало, разумея «Аргонавт», по мнению его, было удачно, и следовало торопиться. Он сделал уже нужное представление и, не оправдывая вполне мою щекотливость, выразил готовность укротить мое самолюбие вторичной посылкой в Англию, в этот раз для заказа корветов для Черноморского флота и машин для кораблей, которые предполагалось удлинить в выстроенных уже севастопольских доках.

В мае 1852 года я снова скакал по бессарабской степи и плыл по Дунаю, как упоминал в главе I. На этот раз снисходительность разумного человека спасла меня от упорства собственного неразумения, и служба, которую я считал конченной, продлилась еще двадцать лет.

С 1852 года я начал принимать непосредственное участие в вопросах, касавшихся флота вообще. Участие это продолжалось около десяти лет, и упомянутый год в жизни моей довольно знаменателен.

В. А. Корнилов, на которого я смотрел несколько недоверчиво, опасаясь его самолюбия и страшась за собственное, вывел меня из сомнения своевременным избавлением от влияния Метлина. Я скоро заметил, что Корнилов, не связанный побочными условиями, был самолюбив исключительно для пользы. К мешавшим ему достичь ее Владимир Алексеевич был неумолим, но умел владеть собой в сношениях с людьми, плывшими с ним в одной струе. Перед отправлением моим он долго и подробно высказывал свои предположения касательно преобразования флота, на что государь изъявил уже согласие, и снабдил меня чертежами первых судов, которыми начиналась для черноморских наших сил новая эра. Касательно машины для кораблей, я должен был собрать возможные технические и хозяйственные данные и представить все на окончательное его решение.

Прошло несколько месяцев в беспрерывных разъездах по английским портам, в переговорах с заводчиками и строителями, в знакомстве с новейшими образчиками морского строительного искусства. Были собраны возможные данные и приготовлены различные чертежи, аналитические и критические описания всего виденного. Через все мною замеченное проходила одна мысль: очевидно, сами англичане не приблизились еще к окончательному решению в вопросе о винтовых судах, не выработали еще убеждения, какой род судов был лучший и наиболее удовлетворял требованиям. Идея о негодности парусных кораблей для военных надобностей охватила давно уже всю Англию и, как целость ее зависит от действительности морских сил, торопилась создать паровой флот, не заботясь об издержках и не придерживаясь никакой системы. Распиливали и наставляли старые корабли, принимали и выполняли всякие проекты, обещавшие успех, вставляли в

корабли механизмы полные и вспомогательные, делали винты подъемные и постоянные, короче, пользовались огромными государственными и частными средствами Англии и массой технических познаний в стране без определенного плана, лишь бы только скорее задымился флот во всем его составе. Такая щедрость и нерасчетливость были возможны в стране, где от флота зависит самое существование, где влияние промышленности иногда насилует правительство и вынуждает его на предприятия, не согласные с собственным убеждением, где, наконец, плательщики податей, по чувству самосохранения, никогда не отказывают в расходах на флот. Наши морские силы содержались с известной ограниченной целью, предназначались для определенных случайностей, а главнее всего, финансы наши не дозволяли прихотливого разнообразия и сомнительных опытов. Мне велено было выстроить определенные суда и заказать известной силы механизмы, но знакомство с тем, что делалось в Англии, убедило меня, что первым приступом к преобразованию нашего флота должно быть ясное определение цели, с которой он содержится, и затем средств и способов для достижений целей нужных; короче, по-моему, следовало прежде, нежели приступать к огромным тратам, дать себе отчет, чего мы хотим, и решить, каким образом достичь желаемого самым экономическим, требуемым нашей сравнительной бедностью способом.

Эти соображения заставили меня приложить к отчетам, которые начальство требовало, собственные взгляды, которых оно не спрашивало. Взгляды мои во многом расходились с предложениями, высказанными мне в Николаеве. Самые суда, которые должны были служить ядром нового флота, начерченные николаевскими инженерами весьма искусно, но без внимания к подробностям, им по новизне дела чуждым, пришлось изменить от носа до кормы; корабельные же механизмы могли определиться тогда только, когда решили бы, чего от кораблей ожидают. Чтобы помочь разрешению и насколько от меня зависело поставить распорядителей на твердый определенный путь, я счел долгом выяснить собственное воззрение на будущий Черноморский флот. «Преобразование английского и французского флотов в парусно-паровые, – писал я, – само собою требует соответственной реформы в нашем, если мы не хотим в случае войны убедиться, что морские силы наши в их настоящем положении только обременяют финансы и подвергают честь и самолюбие наши горьким случайностям.

Для избежания бесполезных расходов, в которых со временем придется раскаиваться, нужно теперь же определить, из каких именно судов должен состоять будущий флот наш и какой силы машины достаточны для того, чтобы он был действителен при возможно меньших издержках. Пользуясь примерами Англии и Франции относительно общей реформы флотов, нужно применить вопрос к нашим требованиям и вникнуть в наши обстоятельства. Здесь прежде всего представляется решение следующей задачи: какая цель Черноморского флота и вероятное его употребление в случае войны».

«Принявши пятнадцать лет за средний век судов, мы должны рассчитывать все изменения на этот период времени или, по большей мере, на двадцать лет – срок годности машин. Думаю, согласятся, что на такой период мы не вправе смотреть далее Босфора, Дарданелл и Средиземного моря, и то последнее может предстоять только в случае необыкновенных успехов, предполагающих стечение счастливейших обстоятельств и екатерининскую магию. Значит, вопрос о степени силы пара, необходимой для наших кораблей, разрешается самой природой. Течение в проливах до пяти узлов. Нужно, чтобы корабли могли преодолеть его, т. е. ходили бы под парами до восьми узлов. Так как эта скорость с излишком достаточна для управления судном в бою и удовлетворяет по приведенному

мною расчету капризу вод, в которых случится действовать, то добиваться большей нет надобности».[29]

«Вторая часть вопроса состоит в определении, из каких именно судов должен состоять флот, дабы избежать издержек, сопряженных с раздроблением экипажей на множество бесполезных судов разного ранга, которые придется разоружить в случае войны. Сильные трехдечные корабли, движущиеся легко при всяких обстоятельствах ветра и течения, без сомнения, необходимы как потому, что они более прочих действительны в линии и против батарей, так и в том важном отношении, что они возьмут гораздо более десанта, нежели двухдечные. Этот важный предмет, забор десанта, нужно иметь постоянно в виду, ибо нам придется всегда (в течение сказанных двадцати лет) действовать рука об руку с армией, занимая укрепленные места или целые страны, и этот образ действия продолжится до тех пор, пока мы не перешагнем за все внутренние моря. Подобный гигантский успех может допускать патриотически настроенное воображение, но не расчет».

«Кроме кораблей нужны легкие, но вместе довольно сильные суда, по возможности экономные, для наблюдения за неприятелем и для coups de main,[30] требующих быстроты и решимости при возможно меньшей численной силе войск, хотя довольно уважительной. На долю каких судов придется отнести эту обязанность партизан?».

В это время прибыл в Англию Е. В. Путятин с поручением государя составить проект преобразования флота. Николай Павлович уже решил обратить весь Балтийский флот в паровой и соглашался отпускать на то ежегодно до миллиона рублей. Путятин говорил против постройки судов в Англии и в этом был совершено прав, но увлекшись, как мне показалось, успехами новых английских винтовых фрегатов, хотел, чтобы мы снимали с них копии и решительно браковал заказываемые мной большие корветы. Государь должен был получить в Берлине соображения Путятина и затем располагал сделать смотр Черноморскому флоту; тогда окончательно решился бы вопрос о преобразовании последнего. Зная, как важно не упустить удобный момент, я торопился с отчетами и возражениями на предложения, в мнении моем не совсем нам пригодные. Уведомивши Корнилова о переговорах с Путятиным, я настаивал, что нам, черноморцам, фрегаты не нужны.

«Англичане и французы сохраняют фрегаты, — писал я, — по многим причинам, у нас не существующим. Главные из них следующие: если одна нация считает нужным иметь такого рода суда, то для равенства условий другая не может отбросить их, иначе фрегатам придется встречаться с судами слабейшими. Англии фрегаты нужны для дальних посылок в военное время, имеющих целью покровительство торговли и подданных, разбросанных во всех углах мира. Такие суда, забирая много запасов, для дальних командировок удобны, стоят гораздо менее кораблей и в отношении к странам, куда посылаются, достаточно грозны, но к чему фрегаты нам, запертым в морях внутренних, не требующих более трех суток перехода из одного конца в другой? В линии фрегаты драться не могут, а все надобности мы можем выполнить большими корветами. При восемнадцати огромных орудиях на одной палубе[31] такое судно может взять на короткое расстояние ту же тысячу человек и довезет их к месту назначения так же верно, но несравненно с меньшими издержками, потому что потребует только 250 человек экипажа, когда фрегату нужно 500, и для скорости 8 ½ или 9 узлов нуждается в машине в 250 сил, а фрегату для той же скорости нужно 360 сил. Для действия против легких береговых батарей, обыкновенно воздвигаемых для защиты жителей от покушений неприятеля и для охранения пунктов подвоза к армии различных припасов с моря, корветы достаточны».

«Кроме этих двух классов судов, составляющих, так сказать, тело флота, необходимы быстрые винтовые пароходы для посылок. Цель эта, пока не уничтожатся теперешние колесные пароходы, будет выполняться ими, а потом я предлагаю ввести небольшие трехмачтовые шхуны, вооруженные шестью пушками значительного калибра. Такие шхуны построятся с двоякой целью: первая уже мною означена, вторая состоит в охранении наших границ по Дунаю и в способности этих судов содействовать армии при переправе через реку и взятии крепостей. Раз что река пройдена, а это случится в начале войны, шхуны обратятся ко флоту».

«Как аргумент против введения фрегатов прибавлю еще то обстоятельство, что измененные суда этого рода не войдут в севастопольские фрегатские доки и придется сделать огромные издержки для этого предмета, ибо на корабельные доки рассчитывать нельзя; при реформе все три будут постоянно заняты!»

В заключение всех отчетов и соображений я просил дозволить мне осмотреть французские порты и флот и прислать мне помощника. Ответ на всякий вопрос из России, а их было немало, требовал особой поездки. Как ни удобны в Англии сообщения, все же перемещения требовали времени и отрывали от труда, в котором непрерывность часто была главным условием.

Для новых винтовых кораблей нужно было углубить Днепровский лиман, по которому проводили строившиеся в Николаеве суда, и приспособить к новым требованиям флота Лазаревское адмиралтейство.[32] Покойный Михаил Петрович успел при жизни отсечь нужную площадь от горы, разделявшей Южную и Корабельную бухты, и устроить на берегу последней запасные магазины: в верховье Корабельной бухты вырыли доки, и адмиралу удалось еще полюбоваться введенным в них транспортом «Березань». Все это было только вступлением к осуществлению обширного проекта; исполнение его при местных естественных выгодах сделало бы из Севастополя несравненный военный порт, и работы остались бы едва ли не самым монументальным памятником николаевского царствования.

Устройство доков в месте, лишенном благодетельного влияния прилива и отлива, представляет большие затруднения. Из различных систем устройств в Севастополе приняли шлюзную. Корабль, проходя через три шлюза, поднимался на пять сажень выше уровня моря и там опускался на твердые подставы, а вода из-под него уходила в море естественным током. Для наполнения шлюзных отделений и самых доков провели струю за восемнадцать верст из Черной речки и для вящей уверенности устроили сильный водоподъемный механизм, чтобы накачивать воду из моря. Около самых доков назначалось быть адмиралтейству, названному Лазаревским. Крутой утес упирался в бухту в этом месте, и прежде всего нужно было выкроить из него требуемое для адмиралтейских зданий пространство.

Семилетняя работа увенчалась полным успехом, и план для адмиралтейских учреждений был готов. Планы адмиралтейства были давно уже утверждены, но перед самым приступом к делу все сомнения насчет перестройки флотов на новый лад уже устранились успехами винтовых двигателей в Англии и Франции.

Следовало и нам приступить к реформе, не теряя времени, и, разумеется, приспособить к новым требованиям наши адмиралтейства. Все это было возложено на меня и толкло меня между Лондоном, Манчестером, Ливерпулем, Глазго, Ньюкаслом и другими портовыми и фабричными пунктами Англии. Там особенно удачно углубили реку, в ином месте устроили удобные и экономические мастерские, в третьем — просто и ловко провели воду и т. д. Все нужно было видеть собственными глазами, применить к нашим условиям, нанести на планы и уяснить описаниями. И с моей стороны была неминуемая

медленность, а тут еще подоспел высочайший смотр на Черном море — обстоятельство у нас всегда великой важности, останавливающее многое. На этом смотре были порешены все вопросы о флоте, но пока разбирались с финансовыми затруднениями, прошел 1852 год, и только на последних днях его я получил дозволение приступить к делу.

«За сообщенные подробности о пильном заводе, кузнице и прочем так Вам благодарен, — писал В. А. Корнилов, — что вдобавок к настоящему письму официальной бумагой поручаю Вам помочь нам в постройке Лазарева адмиралтейства и взять на себя все хлопоты по этому важному государственному делу. Подряды состоялись, деньги отпущены и нужные работы разложены на 1854, 1855 и 1856 годы. Пересмотрите прилагаемые планы, вникните во все подробно, заберите цены и пришлите нам с Вашими мнениями... О поездке Вашей во Францию доложу князю по возвращении его из Константинополя... Попова имею в виду прислать к Вам по просьбе Вашей, но теперь еще несколько рано... Касательно шлюпок и машин для кораблей нельзя не одобрить Ваши предположения совершенно, и доставленные описи возвращаю Вам без всяких пометок. Цель Черноморского флота Вы понимаете давно и дельно, и составленные сообразно ей размещения вполне удовлетворяют назначению судов...». На всем dossier[33] было надписано: «Одобряю совершенно и утверждаю все без исключения. В. Корнилов».

Корветы были тотчас же начаты, но со всем остальным я поспешал медленно. Посылка князя Меншикова в Константинополь и принятые за нею меры против Турции ставили нас в положение весьма сомнительное. Чем более торопили из России, тем яснее видел я, живши на месте, что нам не дадут времени привести в исполнение наших планов и всякая затрата денег в Англии будет бесполезной жертвой, которой неминуемо воспользуется английское правительство. Подрядчики откровенно говорили мне, что будут стоять за наши заказы, как за частную собственность, пока от них не потребуют утверждения показаний присягой, но тогда объявят, что по совести считают себя в обязательствах с русским правительством.

Последующие обстоятельства оправдали мои ожидания. Строившиеся корветы были захвачены английским правительством на верфи Питчера в Норфлите; журналы потребовали высылки «русских шпионов», в особенности специалистов, и пропали все труды мои. Не время было жалеть о личной неудаче, когда скоро пошли прахом несравненно важнейшие усилия всей России. Больно то только, что дорогой моему сердцу и разуму Севастополь стал грудой развалин, и самый Черноморский флот прекратил надолго свое бытие. А еще прискорбнее, что в севастопольских развалинах погребены люди, составлявшие исключение в тогдашней официальной России. Сохраненные с опытностью, наросшей на них в год великой беды, они стали бы твердыми центрами нового движения; их авторитет трудно было бы отвергнуть.

Очертивши официальную мою жизнь в течение 1852 и 1853 годов, скажу несколько слов о частной и перечислю главнейшие обстоятельства, нарушавшие несколько монотонность усиленных трудов по службе.

Приятель Meynell в этот раз был твердой, неизменной моей опорой. За его лукулловскими обедами входил я в круг известных тогда личностей, преимущественно моряков. Так я познакомился с сэром Томасом Гербертом, героем Параны, несчастным Прайсом, впоследствии застрелившимся, не вынеся петропавловской неудачи, Динсом Дундасом, командовавшим английским флотом на Черном море в начале Крымской войны, и различными ватерлооскими ветеранами.

На дружеских обедах Мейнеля, или точнее после них, более всех доставалось Дундасу как личности во власти судей. Он был первым морским лордом и не сокрушался пенями товарищей. У Мейнеля сходились смертельные

враги, но на английских началах, т. е. они резались политически и официально со всей английской откровенностью, не переставая быть закадычными друзьями в частной жизни. У нас такие несообразности немыслимы, потому что нет партий, нет возможности тушить страсти честными, открытыми прениями; прибегают к уловкам, к козням, образуют шайки и клики, которые величают европейским прозвищем «партий» и, вредя друг другу втихомолку, келейно, впадают в средства, при которых взаимное уважение и, следовательно, приязнь немыслимы.

Лишь только я принялся за хлопоты по возложенным на меня поручениям брат Дмитрий письмом из Парижа уведомил меня о скором прибытии своем в Англию. По смерти своего адмирала[34] он оставался в довольно неопределенном и вместе свободном положении, которым воспользовался, чтобы совершить путешествие вокруг Европы. Яхта князя Виктора Барятинского была в Петербурге, и владелец, новороссийский помещик, хотел перевести ее на свои черноморские воды. Брат поехал в столицу, принял яхту в свое распоряжение и, доведя ее к острову Уайту, шмыгнул на несколько дней в соблазнительный Париж. Я помчался в Портсмут, а Дмитрий в это время прилетел из Парижа прямо в Лондон. Без английских средств сообщения и телеграфов мы непременно разъехались бы, и мне было бы не суждено встретиться в этом мире с близким человеком, которого любил всей душой. Через год злая холера унесла его вслед за покойным его покровителем в полной силе лет и среди надежд на заманчивую будущность.

Не соглашавшийся с моими воззрениями Е. В. Путятин успел представить свои проекты в Берлине и снова возвратился в Англию ожидать фрегата «Паллада» для порученной ему экспедиции в Японию. Черноморцами тогда пользовались, и Унковский был назначен на фрегат командиром. Эта случайность столкнула нас на чужбине, и мы вместе прожили некоторое время в Лондоне, разумеется, перебирая старое, родное, начинавшее уже для меня тускнеть вдали от отчизны. Однажды, возвращаясь из какой-то поездки в окрестности Лондона, мы увидели корабли на реке с опущенными флагами, лавки запертыми и вообще город в траурном виде. Телеграф принес весть о кончине Веллингтона, занемогшего накануне в Walmer Castle. Поразительно было это мгновенное изъявление уважения к памяти человека, над которым пронеслось столько жизненных бурь, в которого била волна судьбы подчас со всей яростью. Приверженцы всех идей и партий знали, что ватерлооский старец не пожертвует убеждениями, не станет гоняться за популярностью или колебаться с целью выйти во всяком случае сухим из воды. Все его действия были резки и решительны, как ответ прискакавшему ординарцу, спрашивавшему под Ватерлоо, что делать Гессенской дивизии, громимой нещадно французскими батареями. «Стоять и умирать», — проговорил твердо невозмутимый Веллингтон и вслед за тем, завидя, как ломит его линию безумно храбрый Ней, подскакал к отдыхавшим гвардейцам и решил битву лаконическим словом: «Up guards! And at them!».[35] И в мирное время герцог не изменил своему упорному боевому характеру. При чартистском движении он решился подавить народное волнение во что бы то ни стало и принял меры, вследствие которых чудовищная петиция, назначенная к подаче парламенту в присутствии полумиллиона недовольных, смиренно проехалась от места сходки через ватерлооский мост на одноконном извозчике. Чартисты в отмщение выбили окна герцогского дома, выходящие на Гайд-парк. Герцог не внимал впоследствии никаким просьбам. Тщетно приходили к нему депутации, напрасно посылались адресы — Гайд-паркский фасад оставался с заделанными окнами до самой смерти Веллингтона как доказательство не народной неблагодарности, — герцог не рассчитывал никогда на благодарность современников, — а народной изменчивости.

Покойник был фельдмаршалом всех европейских армий, и потому к погребению его стеклись военные депутации разных стран. От нас были присланы князь И. Д. Горчаков, флигель-адъютант Бенкендорф, полковник генерального штаба Черницкий и состоявший при Горчакове адъютантом Сухтелен. Австрийцы, обиженные недавним приемом Гайнау, не прислали представителей. В назначенный день (6/18 ноября 1852 г.) Лондон опустел с восьми часов утра. Все население разместилось по пути процессии в Pall-Mall, Странде и Флитстрите. От герцогского дома в Гайд-парке до собора Св. Павла были устроены места на миллион с лишком зрителей, все без исключения были заняты и, кроме того, крыши зданий усеяны любопытными. Мы с Унковским проехали беспрепятственно пустыми боковыми улицами к самому собору и благодаря мундирам тотчас же вошли внутрь. Достойно удивления, что при случае, скучившем все лондонское население в нескольких тесных улицах, только один человек лишился жизни, и тот споткнулся с крыши, слишком загоревавши о Веллингтоне.

Громадный склеп Св. Павла — иначе нельзя назвать храма, украшенного исключительно надгробными памятниками — был одет черным сукном до самого купола и обнесен скамьями, расположенными амфитеатром. В ожидании начала князь Горчаков спокойно глазел на двадцать тысяч собравшихся зрителей, положивши по свойственной ему рассеянности русский жезл на гробницу, привлекавшую общее внимание. Служба состояла из пения псалмов, и когда хор пел «и они погребли его, и царь возрыдал и весь народ с ним», принц Альберт пролил горячие слезы, но публика, в противоположность предшественникам, оглашавшим тот же храм воплями при погребении Нельсона, не выказала особенной чувствительности, правда, не было тех возбуждающих причин, которые усиливали горе провожавших в вечность трафальгарского героя. После стиха «и царь сказал подданным: разве не знаете вы, что в сей день пал великий муж Израиля» заиграли похоронный марш Генделя. Унылые звуки, казалось, навели страх смерти на присутствовавшие тысячи, все оцепенели, замерли, и при общем безмолвии великолепный гроб с герцогской короной стал медленно опускаться в недра земли с помощью нарочно устроенного механизма. Скрылся изукрашенный саркофаг, принесенный в дар смерти людским тщеславием, но от отшедшего героя оставалось еще что-то суетное, и могила не закрывалась, ожидая своего достояния. Четверть часа своды громадного собора оглашались титулами усопшего, наконец, церемониймейстер ордена подвязки, раздробивши маршальский жезл, низринул его с гордой шляпой в ненасытную пропасть. Для Веллингтона все земное кончилось... А там, на противной стороне канала, суетность в этот миг создавала новый призрак. Империя была уже фактически сотворена, и 2 декабря гамский узник готовился объявить Европе заточение буйной Франции.

Единовременно почти с Веллингтоном умер другой фельдмаршал,[36] но смерть его заметили только на улицах одной столицы по форменной церемонии, прекратившей на время обычное движение. Петербургу, давно не видевшему фельдмаршальских похорон, зрелище, как писали мне, доставило немалое развлечение. Задержанный погребением князя Волконского император промедлил со смотром Черноморского флота, произвел его только в сентябре, остался доволен и осыпал всех милостями. «Здесь все еще делается Михаилом Петровичем», — писал к императрице признательный владыка и был особенно внимателен к ближайшим помощникам покойного.

Все мои предположения были одобрены и утверждены. Корнилов, уведомляя об этом, прислал мне разные сетования обойденных мною подрядчиков, чтобы мне не могло прийти и тени мысли, будто жалобы пройдох могут иметь влияние на мои выборы! Пустивши в ход различные работы, я отправился провет-

риться в Париж, уже сбросивший республиканскую простоту, которая так ему не к лицу, и начинавший облекаться в цесаревскую пышность.

Едва ли кому-нибудь удавалось осмотреть в один приезд все достопримечательности Парижа. То следы свежей революции так обезобразили публичные памятники, что их совестно открывать любопытному взору иностранцев, то на время восстановленная власть из уважения к искусству и народной славе исправляет, восстанавливает разрушенное, и все-таки нет доступа. Взошел я и на этот раз на Нотрдамскую колокольню. Арена возможных страстей расстилалась передо мной в пределах внешних фортов. Миллион буйных голов, ускромленных железной рукой, суетился по привычке, без всякой цели. Над ними в неизменном сером сюртуке и в исторической шляпе смотрел на придавленный Париж родоначальник новейшего укротителя. Через тридцать лет после того, как он рассчитался со всем земным, одна сила его имени ускромила страсти, потушила пламя и заковала необузданную свободу в цепи строгого порядка. Поразительно скоро свыкаются парижане с новым складом вещей. Низвергнута трибуна, на журналы наложена печать молчания, говоруны немеют, завидя полицейского, запрещено все, кроме праздности и площадных шуток, — и легкомысленная толпа не замечает перемены, будто не было 1793 года. Да что 1793! Забыты даже свежие эпизоды 30-го, 48-го, 49-го и 51-го. Устояло только балагурство.

Император с маской непроницаемости явился в публике; ему бессознательно рукоплескали и гордились заголовками указов «Божией милостью и волей народа», не замечая, что эта воля подавлена, уничтожена. Впрочем, перемена началась кстати: народ стал вежливее, пристойнее, на время притаилась даже безнравственность. Мопа не хотел краснеть от уличного разврата, и новое правительство требовало благонравия, хотя в нем играла немалую роль свобода нравов королевы Гортензии.

Наполеона чрезвычайно обрадовало признание нашим государем совершившегося во Франции факта. Это признание состоялось во время пребывания моего в Париже, и поверенный в наших делах Н. Д. Киселев был немедленно принят с радостной вестью. Не увлекаясь, однако же, беспримерной удачей, новый император весьма хорошо видел, что мирные его речи никого не успокаивали, что империя везде возбуждала сомнения. Вынужденный к осторожности упорством недоверия Европы, Наполеон начал думать о союзах на черный день и стал вызывать их из обычной сумы европейских раздоров на Востоке. Выбор поля действия был удачен. Англия, всегда чуткая к тому, что творится на Босфоре, наверное подала бы ему руку в случае, если бы дела дошли до крайности с Россией. Самый предмет действия — «святые места» и покровительство католикам — склоняли на сторону императора духовенство и клерикалов, что было необходимо для упрочения нового порядка в самой Франции.

Не мне писать историю вопроса о «святых местах». Вспоминаю о том только, что свершалось на моих глазах, было очевидно для всех в среде, где мне пришлось случайно вращаться. В начале февраля приехал в Лондон старый мой знакомый В. П. Титов, оставивший временно свой пост в Константинополе. Он сообщил мне некоторые, дозволительные разумеется, подробности о затеянном Лявалеттом деле и о посылке князя Меншикова для уничтожения успехов французского правительства. В английских журналах и обществе вовсе не заботились в это время о Турции. По поводу поднявшейся тревоги к мусульманскому владычеству относились довольно равнодушно: налегали только на необходимость мер, обеспечивающих интересы Англии на всякую случайность. До какой степени была основательна уверенность нашего правительства, что Англия устранится от деятельного участия в поднявшемся на Босфоре споре, и кто виноват в том, что вскоре из-

менившиеся в Англии взгляды не были своевременно приняты в соображение, не берусь решать по совершенному неведению. Между нами, русскими, жившими в Лондоне, да потом и в самом Петербурге, носились упорные слухи, будто Бруннов представлял положение бледнее, нежели оно рисовалось на самом деле, и даже уверял, что из личного доверия к государю английское правительство не решится на крайние меры. Этого нельзя утверждать или опровергать иначе, как зная содержание депеш, но по действиям нашего правительства ввиду того, что стало явно твориться в Англии, нужно предполагать необъяснимое упорство или заблуждение; в последнем, если оно действительно имело место, нельзя оправдать нашего посланника, видевшего, как поднималась против нас гроза. Пока споры на Босфоре ограничивались религиозным вопросом, в Англии смотрели на схватку, как на случай, доставлявший возможность вовремя вмешаться с решающим голосом и окончить вопрос без тягостей для податного люда. Но когда, уладивши специальный вопрос о святых местах, Меншиков стал требовать, чтобы все касающееся христиан православного исповедания впредь решалось не иначе, как по предварительному соглашению с нашим правительством, дело приняло чисто политический общеевропейский характер. Чтобы избежать удара, ослаблявшего государственную самостоятельность, Порта отвечала положительным отказом и министерство, в некоторой степени нам благоприятное, было заменено упорными противниками России. Меншикову оставалось только выехать, что он и сделал в начале мая 1853 года. Наполеон достиг цели. Англия стала нам явно противодействовать, а отсюда до союза с Францией было недалеко.

В апреле горькие семейные обстоятельства заставили меня отлучиться на три недели в Россию. Умер брат Дмитрий, только что прибывший в Петербург к новой обязанности, и смерть его так сильно потрясла отца, что я счел нужным утешить его хотя бы кратковременным присутствием. Возвращаясь через Варшаву, я узнал от генерал-квартирмейстера, что с князем Меншиковым были на Босфоре Корнилов и начальник штаба V корпуса Непокойчицкий. Такая свита не выказывала миролюбивых желаний. Князь тотчас по выезде доносил, между прочим, что действий с Турцией основывать на десанте невозможно. Правильной войны, может быть нельзя было начинать десантом, но для внезапного набега на Босфор флот наш при тогдашнем состоянии босфорской защиты был действителен и, вероятно, появление его для подкрепления требований решило бы дело. Сами англичане и французы склонили бы Порту к уступчивости, лишь бы выпроводить неудобных гостей. Как бы то ни было, донесение Меншикова уже прямо выказывало с нашей стороны расчет прибегнуть к принудительным мерам.

Вследствие выезда князя «Moniteur» объявил, что мир зависит единственно от мудрости нашего императора, но Англия все еще молчала, и когда 18/30 мая Бруннов пожелал узнать, какие инструкции посланы адмиралу, командующему флотом Средиземного моря, Россель и Кларендон отвечали, что неудобно было еще обнаруживать намерений правительства.

14/26 июня, после того как Порта отвергла наш ультиматум, появился манифест государя о выступлении войск наших за границу. Он кончался так: «... Если Порта будет продолжать упорствовать, то, призвав на помощь Всемогущего, мы станем сражаться за права веры православной!». Однако ж, занятие княжеств не приказывали считать началом военных действий против Порты! Рубикон был пройден. Не доверявшая империи Англия связывалась с ней союзом, видя в России, уже несомненно, опасного противника, которого следовало остановить немедленно. Но фонды на лондонской бирже вдруг упали на полтора процента, и вся Англия стала дыбом.

11 августа нового стиля королева делала в Портсмуте смотр флоту, состоявшему сполна из паровых кораблей. Последний королевский смотр происходил в 1814 году в присутствии союзных монархов. Увенчанная успехами Англия показывала сподвижникам силы, с которыми она так удачно оградила себя от полчищ нового Ксеркса. Сорок лет мира прошло с той героической эпохи, и новое поколение было не знакомо с подобными зрелищами. На них английское правительство обыкновенно не любит тратить время, и смотры делаются не иначе, как с политической целью. В этот раз метили прямо в Россию. Оппозиция перед концом сессии стала требовать от министров отчета по восточному вопросу; возбужденная журналами публика присоединила свой повелительный голос, и министрам предстояло обнародовать корреспонденцию, которую они хотели содержать еще в тайне, чтобы несвоевременной откровенностью не задеть самолюбий кабинетов и не ускорить разрыва. Нужно было ускромить крикунов и убедить народ, что честь Англии вне всякого покушения. Министры придумали выказать готовые новые силы, каких не было ни в одном европейском государстве. Смотр 11 августа особенно замечателен в истории флотов. Первый сбор паровых судов и придуманные маневры, весьма, впрочем, незатейливые, завершали парусную эру и были введением в торжество новой силы, вполне подчинившейся воле человека. Стихии изгонялись с арены, на которой та долго властвовала.

Спидхед, рейд Портсмута, представляет необыкновенные удобства для морских зрелищ. По берегам его расположено пять городов, кроме обширного Портсмута, а в различных гаванях обыкновенно стоит множество яхт, этих роскошных и изящных подвижных дач богатого морского населения. За несколько дней перед смотром различные железные дороги приливали путешественников со всех концов Англии, и некоторые отчаянные ротозеи, не надеясь достать квартиры и не имея друзей между яхтенцами, приезжали с непромокаемыми мешками и одеялами в стоической решимости провести ночь под кровом небесным.

Утро 11 августа застало прибрежье Соуф-Си и Энгльзи около Портсмута, усеянное народом. Противоположные холмы Уайта, обыкновенно пустынные, колебались любопытными. Множество яхт картинно колыхались у Соуф-Си с поднятыми парусами, занявши еще с вечера выгодные места, чтобы прилив и теснота не помешали выйти вовремя из Портсмутской гавани. Солнце светило ярко, явление не совсем обыкновенное у берегов туманного Альбиона, и свежий ветерок без мрачности по горизонту еще необыкновеннее довершал то, что англичане называли «королевской погодой», по особенному счастью королевы, в этом отношении от власти не зависящему.

Часу в девятом все зашевелилось. Яхты стали выпархивать на рейд от Райда, Кауса, Портсмута и Саутгемптона. Пароходы различных компаний, уверенные в своих движениях, собрались позднее, украшенные флагами, с музыкой и роем любопытных.

Только свист пара обнаруживал готовность флота двинуться по первой воле державного небывалого дотоле в Англии адмирала. Между тузами разных клубов, извивавшимися в промежутках корабельных линий, сновала и крошка «Island Queen», тендерок в 12 или 14 тонн, с кокетливо скроенными парусами и небольшой каютой для коротеньких морских прогулок. Я предпочел воспользоваться милым приглашением хозяина давке на пароходе. Зная программу смотра, мы выбились против ветра к маяку Неб, откуда могли ясно видеть малейшие движения противников.

Английский флот стоял, вытянувшись в две колонны по Спидхедскому рейду, кончаясь у Осборна, летнего дворца королевы на острове Уайт. Всего собралось двадцать паровых судов под флагом вице-адмирала Кокрена, сидевшего на чудовищном в тогдашнее время «Вел-

лингтоне». Громадная батарея в 130 пушек могла двигаться независимо от атмосферических препятствий по 18 верст в час. Рядом с ней стоял быстрый 90-пушечный «Агамемнон» под флагом контр-адмирала Корри. «Агамемнон» был первым кораблем, нарочно выстроенным для нового двигателя, и во всех отношениях представлял достойный образчик английского искусства. Чтобы выказать, как не вдруг дался успех, морские власти поставили в линиях вслед за «Агамемноном» и «Веллингтоном» первые образчики нового флота, так называемые охранительные корабли, или блокшипы: «Бленгейм», «Эдинбург», «Хог» и «Аякс». К ним приделали винты, как говорится, зря, в предположении, что стоило только навесить их на обыкновенные корабли и вставить в корабли машины. Особые прихоти архимедова двигателя, требовавшие совершенно новых линий,[37] не были тогда известны, и начавши, как я сказал прежде, приделывать винты второпях, без предварительных исследований, англичане должны были в весьма скором времени разобрать кормы тридцати слишком судов, изготовленных по новой системе, и выстроить их сообразно динамическим требованиям нового двигателя. Не мы одни, значит, делаем промахи; да и вообще все новое дается не без труда и неудач. За блокшипами тянулись уже более совершенные винтовые суда; по ним можно было читать историю введения нового средства плавания и борьбы. В самом хвосте стояли вышедшие из моды и коловшие глаза неуклюжие колесные пароходы.

На дальнем восточном горизонте виднелась эскадра контр-адмирала Феншау, вся парусная. Она представляла неприятеля и в данном случае — увы! — русских. По странной случайности начальник ее родился в России, где отец его был на службе, и сам когда-то служил у нас лейтенантом. Корабли Феншау были великолепными памятниками прошедшего с отличными, долго плававшими экипажами, в стройности, которая столько лет казалась нам, начавшим поприще со слабыми парусными средствами, такой грозной. Но усилия командиров и офицеров, рвение команд и самые качества кораблей в этот памятный день должны были уступить новичкам, вспомоществуемым новой чудодейной силой пара. Экипажи предназначенного к торжеству Кокрена были только что набраны; для пополнения их истощили резерв, едва созданный герцогом Нортумберландским, и ограбили портовые адмиралтейские корабли, невозмутимо покоящиеся на якорях в главных гаванях. С такими элементами, по прежним понятиям, не следовало на что-либо решаться, но к кораблям Кокрена пристегнули десять тысяч морских коней[38] и программу начертали так, как, без сомнения, произошло бы в действительности. Англия, казалось, сама себе подписывала приговор, выставляя напоказ тщетность искусства моряков своих, но кому была знакома ее промышленность, становилось ясно, что первенство ее на море при паре станет еще осязательнее.

С буквально кипевшего от движения пароходов и яхт рейда все глаза были устремлены на Осборн. Ретивые наблюдатели заметили спуск королевского флага на замке, и через несколько минут тот же флаг был поднят на яхте «Victoria&Albert», стоявшей у Осборнского прибрежья. Яхта сорвалась с цепи и побежала ко флоту. «Веллингтон» проревел октавой из бомбических пушек, и вслед за тем весь оркестр раздался страшным грохотом. По окончании салюта королевская яхта стояла уже за кормой «Левиафана», а неразлучная спутница ее, красотка «Fairy», мчалась из Портсмута под русским штандартом с великими княжнами Марией и Ольгой. Красота и власть скоро сошлись на палубе «Victoria&Albert» и отправились любоваться 130-пушечным пароходом. В полдень, снова пересевши на яхту, владычица морей невидимой силой двинула свою грозную армаду к несомненной победе. Флот плыл двумя колоннами, вовсе без парусов до маяка Неб. Королева неслась между

линиями несколько впереди адмиралов; за ней скользили «Fairy» и «Elfin», прибрежные придворные яхты, а кругом витали стада яхт-клубов и резали воду частные пароходы. У Неба Кокрен, шедший, как говорится, в зубы ветру, развернул флот в одну линию с быстротой, поразившей самых упрямых защитников старой системы: двадцать кораблей вытянулись на четыре версты в двенадцать минут и бросились на противника.

Обреченный на гибель Феншау показался под всеми парусами. Эскадра его дивила красивой стройностью, поражала порядком, но в бесчисленных маневрах ее видна была жестокость труда. Ничего не делая, не шевеля пальцем, на нее бежал, очертя голову, Кокрен с 1080 страшными орудиями, которые направлялись по произволу, одним командным словом. Парусные корабли ввиду не знавших препон пароходов казались отжившими век красавицами, все еще производящими эффект при появлении, но не способными крутиться в вихре вальса. Феншау попытался, было, уйти, но видя, что всякая надежда на удаление тщетна, выстроил линию, сжал интервалы и, поворотив к бешеному противнику, решился похоронить прежнюю парусную славу с честью. Кокрен быстро охватил его со всех сторон, и после десятиминутной пальбы из прочищавшегося дыма начали показываться корабли Феншау с исковерканными реями, без флагов. Приговор парусным флотам был подписан и скреплен королевой океана.

Победители и побежденные, по-прежнему предводимые королевой, пустились в Спидхед. Представление кончилось особым турниром. Вооруженные шлюпки всего флота бросились на два колесных парохода. Такие отчаянные действия, не раз удававшиеся в революционные войны с потерявшим всякую энергию французским флотом, на техническом языке называются «вырезками». По слову с королевской яхты флотилия ринулась к предметам атаки. В это время погода изменила самой королеве, чтобы остаться верной краю: полил дождь, и нашла мгла. Гром гигантских жерл атакуемых пароходов, гул шлюпочных гаубиц и треск огнестрельного оружия, тысячи огней, блиставших в густом дыме, не проносимом умиравшим уже ветром, и по временам в мгновенном свете выстрелов белые паруса яхт, пробивавшихся сквозь дождевую завесу, — все вместе составляло картину, которой мог тронуться самый равнодушный наблюдатель.

Вырезка пароходов не была еще последним актом чудной драмы. Начался прилив, и яхты спешили укрыться на ночь в Портсмутскую гавань. Ни одного столкновения ни малейшего повреждения; мне, чужеземцу, стало досадно; уязвилось самолюбие, застонала любовь ко всему отечественному, к славе моей родины. Спидхедский смотр был только угрозой; скоро последовали действия и наступило горькое время не для одного русского флота, а для всей России. Мы начали просыпаться после долгой летаргии, но беспощадная к ошибкам история уже написала на строгих листах свое роковое «поздно».

В восточном вопросе более, нежели когда-нибудь, выказалась несостоятельность действий без определенной цели, без должного обдуманного выбора мероприятий, которые в важных случаях имеют больше влияние на решение дел. В международных вопросах, казалось бы, случайности не должно быть места, притом несравненно мудрее устранить ее, нежели уметь ею пользоваться. На Восточной войне создалась преимущественно слава политической мудрости Наполеона, испортившаяся так внезапно, когда способности играть в дипломатические ноты и на политических хитростях случилось помериться с дальновидным и давно обдуманным расчетом, клонившимся к достижению ясно и верно определенной цели, основанным не на шатких средствах благоприятных внезапностей, а на трудовом систематическом приготовлении к важному моменту.

Желая дать почувствовать свое влияние издавна пугавшему могуществом Николаю, Англия и Франция, в особенности Наполеон, нуждавшийся в успехе немедленно по воцарении, вмешались в нашу распрю с турками весьма деятельно. Решили прекратить ее в самом начале и созвали в Вене конференцию. Положили: с одной стороны, заставить турок подписать требованный Меншиковым сенед,[39] с другой, понудить нас дать обязательство, что мы не воспользуемся новыми привилегиями в ущерб власти султана. Чего не смогли или не сумели отвратить, хотели прекратить комическим компромиссом. Средство иногда удается и не кажется смешным потому только, что все отстраняющее войну достойно благодарности человечества, а проделка похожа на дуэль с заранее выговоренным условием стрелять в воздух и в частном быту считалась бы недостойной мистификацией. В этом случае покровители Порты, подвинувшие ее на упорство своей нравственной поддержкой и советами, упустили из виду, что и в Турции может временно появляться народная гордость. Порта нашла Венский проект слишком русским и не приняла его.

Англия и Франция уцепились за наши толкования и объявили, что, предлагая прежнюю ноту, никогда не предполагали в ней смысла, придаваемого циркуляром Нессельроде. Они пожелали составить новую категорическую ноту, не подлежащую произвольному толкованию, но в этот момент вмешалась в дело новая случайность, обнаружившая наряду со многими другими, что весь вопрос велся без строго обдуманного плана. В Константинополе оказалась партия, воинственная, она одержала верх, и народ стал громко требовать войны против гяуров. Слабое правительство должно было удовлетворить требованиям, да оно и не могло продолжать системы пассивного сопротивления, наводнивши Румынию ордами Малой Азии и Сирии с целью защиты своей территории. Эти поборники грабежа и насилия напали бы на своих, и вспыхнуло бы междуусобие. В таком положении султан решился объявить войну. Омер-паша послал князю Горчакову предложение очистить княжество в пятнадцатидневный срок. Мне в Лондоне казалось, что позднее осеннее время и резкая черта раздела армий, мощный Дунай отдаляют столкновение противников в Европе и что война начнется на кавказских границах. Компромиссы, и самые странные, предлагались с такой легкостью, что Европа, очевидно, желала остаться в покое. Могли, как я думал, уговориться, чтобы соседи пролили условное количество крови в азиатской глуши и затем сложили бы доспехи бранные. При этом воображение мое, настроенное близким знакомством с местностью, рисовало упущенный в Адрианопольском трактате Батум закрепленным за нами новыми, несомненными успехами.

После угрозы Омер-паши, посланной 9/21 октября, мы все не решались посмотреть на сложившиеся обстоятельства ясным взглядом действительности и вместо того, чтобы обеспечить начальный успех быстрым переходом Дуная и разбитием турок, по-прежнему довольствовались занятием княжеств как гарантией исполнения наших требований. Следовало, однако ж, приготовить на всякий случай средства к переправе, и Дунайской флотилии нашей велено было перейти из Измаила в Галац. На пути по ней открыли огонь с крепости Исакчи и из расставленных по берегу орудий. Война началась фактически и 20 октября/1 ноября, наконец, объявлена у нас манифестом.

Все еще не допуская возможности вмешательства Англии и Франции, у нас продолжали распоряжаться, как бы вовсе не было вероятности нарушения с ними мира. Мне посылали новые заказы и суда; назначавшиеся из Балтики в Тихий океан не были задержаны в Кронштадте. Фрегат «Аврора» и корвет «Наварин» прибыли в Портсмут и по прежней привычке наших судов зашли в доки.

10/22 ноября я был у Бруннова с подробностями исакчинского дела, сообщенными

мне из Черного моря товарищем Г. И. Бутаковым. Тогда же я передал посланнику известие, что Нахимов послан к анатолийскому берегу наблюдать за движением турок. Барон очень сожалел о таком распоряжении князя Меншикова, и, только что узнавши о выходе англо-французских флотов в Черное море, объяснил себе это решительное движение союзников переданной мной вестью о Нахимове. Союзные флоты приближались на помощь Порте этапами, часто получали приказания, то посылавшие их вперед, то удерживавшие на месте, и когда у нас приступили к вводным в войну распоряжениям, стояли еще в Босфоре.

После исакчинского дела, кончившегося удачным прорывом нашей флотилии к действующей армии, в Англии повсеместно стали собирать митинги и на них доказывать необходимость укротить Россию. Случай на стоявших в Портсмуте судах наших еще более увеличил общее к нам нерасположение. С «Авроры» дезертировали шесть матросов. Посланный офицер догнал их в Гильфорде и с помощью полицейского уговорил воротиться. Сманившие людей поляки начали кричать о нарушении Hebeas corpus[40] и уговорили портсмутских судей послать на фрегат королевский указ о возвращении беглых. Указа вахтенный офицер не принял, и судебный пристав, исполняя закон, оставил пакет на выходной лестнице. Пакет выбросили в воду. Бруннов с обычной ловкостью потушил дело, сказавши, что английские законы могут быть не известны иностранцам и что действия местных властей были бы правильнее, если бы вместо прямых отношений с проходимцами, чуждыми английских обычаев, отнеслись к нему, представителю России в стране. Правительство вполне удовлетворилось неопровержимыми доводами Бруннова, но случай внесли в протокол пеней на Россию, и журналы, даже оправдывавшие поступок аврорского офицера, что со стороны России было бы в высшей степени непристойно подсылать в такое время официальных шпионов в адмиралтейства под предлогом исправления судов.

Действия наши, освобожденные от трудно определяемых условий вооруженного, но не враждебного положения, вначале были чрезвычайно удачны. Взяты были два турецких парохода: один с бою Г. И. Бутаковым, вышедшим из Севастополя с В. А. Корниловым для осмотра турецкого прибрежья; другой, коммерческий — пароходом «Бессарабия». 7/19 ноября[41] фрегат «Флора» отбился от трех турецких пароходов у Пицунды. Пароход «Колхида», подойдя в тумане к укреплению Св. Николая, крайнему пункту нашей кавказской прибрежной линии, стал на мель и был встречен жестоким огнем. Оказалось, что ничтожная крепостца захвачена неприятелем. Четыре часа «Колхида» страдала от метких выстрелов, ее пронизали 120 ядер, но стойкий лейтенант Степанов, заменивший убитого в начале дела капитана Кузьминского, вышел из беды геройски и привел пароход в Сухум. Моряки выказывали действительность 18-летней школы, готовившей их к охранению отечества. Главный виновник первых успехов наших В. А. Корнилов писал к отцу в начале 1854 года: «Ожидание развязки (союзники еще не объявляли войны) всех нас держит в каком-то нелепом положении. Все готовится не утерять доброго имени перед матушкой-Россией и сослужить ей и царю не службишку, которую до сих пор несли, а службу. Благодарю за стихи Глинки и за Ваше внимание к подвигам Черноморского флота. Синопское сражение случилось совершенно кстати и для вопроса, называемого восточным..., и для нашего флота. Не будь это в ноябре, в сезон прекращения безопасной навигации по Черному морю, мы имели бы гораздо менее покойного времени для освежения сил; теперь же, к марту, они будут готовы на новый Синоп. Иван Алексеевич пишет грустные письма, но что же делать? Во всяком случае, если развязкой будет война, он не останется в Англии, а явится к товарищам. Петра Алексеевича (павшего впоследствии на

редутах брата моего) я беру в адъютанты. Он при мне уже около месяца, и я нашел в нем офицера образованного, способного, исполнительного и скромного, надеюсь, что он будет мне добрым помощником. К тому же мне особенно приятны все те имена, которые напоминают благодетеля Черноморского флота и моего собственного М. П. Лазарева!».

В то же время, утешая меня в невольном бездействии, Корнилов прибавлял в письме ко мне: «Экипажи горят нетерпением поучить англичан». Сам чистосердечный герой Синопа со свойственными ему добродушием и скромностью так отвечал в начале того же 1854 года на поздравление отца с Синопской победой: «Лестное внимание, оказанное Вами мне в письме от 28 декабря, обязывает меня принести Вам искреннюю мою признательность и дает право выказать чувства, к большому моему удовольствию согласные с Вашими мыслями о заслугах покойного друга Вашего, благодетеля нашего флота Михаила Петровича. Не только я и прочие личные ученики его, но весь флот наш сознает, что его попечением обязаны мы настоящим состоянием материальной и нравственной силы Черноморского флота. Это общее сознание выразилось принесением на могиле покойного адмирала нашего благодарения Богу за его великую помощь нам при исполнении велений царя и мольбой об упокоении души благодетеля нашего. Потерю его мы чувствуем более, чем когда-либо. Сколько благих намерений его остались неоконченными! Скольких необходимых советов лишились мы! Но и с тем наследством, которое он оставил нам, не трудно было исполнить повеления царские у Анакрии при высадке войск для Кавказа и в Синопе при истреблении турецких судов. Напрасно по Вашей снисходительности приписываете это лично мне. Все это есть следствие трудов Михаила Петровича. Если бы Вы видели суда наши и бодрые команды, им созданные, то уверились бы в справедливости слов моих; в искренности их, надеюсь, не усомнитесь и заочно. Нам оставалось только следовать наставлениям нашего незабвенного начальника и пожать плоды посеянных им семян. Щедроты же милостивого царя и общее сочувствие соотечественников превосходят наши заслуги и ставят нас (разумею весь наш флот) в неоплатный долг перед ними».

«Душевно сожалею, что Иван Алексеевич в это время на чужбине и еще на чужбине, недоброжелательной нам. Какое прекрасное поприще предстояло ему здесь! Но, к утешению его, скажу, что и там труды его для отчизны не напрасны, нам необходимо иметь там соглядатаем дельного моряка. Впрочем, если должен быть разрыв с Англией, это скоро решится, и тогда он, конечно, явится к нам и будет самым действительным участником».

Увы! Синопские громы, на минуту выведшие меня из действительно скорбного положения, на которое намекал Корнилов, были прелюдией к севастопольскому разрушению. Меня мучила собственная безопасность в то время, как сослуживцы жертвовали жизнью, терзала злоба, накоплявшаяся против моего отечества на моих глазах, не было даже возможности отвернуться, чтобы хотя несколько облегчить тяжелое влияние на душу всего, что передо мной творилось.

Живо и теперь еще со злобной грустью вспоминаю Лондон 30 ноября/12 декабря, когда телеграф принес известие о синопской победе. Был истинно декабрьский лондонский день: туман, хоть режь ножом, и всякое движение экипажей прекратилось. Я приехал к Лондонскому мосту и пошел домой в непроницаемой мгле. На каждом перекрестке по обыкновению стояли мальчишки с путеводными факелами, но где бы я ни проходил, все тот же крик раздавался в ушах моих: «Страшное побоище турок в Синопе северными варварами!». В витринах уже были выставлены наскоро намалеванные картины боя; разумеется, истребление судов и гибель людей были представлены в возможно отвращающем виде. Если

магазин случался на перекрестке, угодливые мальчуганы светили прежде всего в витрину и, считая меня англичанином, заставляли любоваться изображением. В тот же вечер Бруннов объявил мне, что, вероятно, должен будет выехать и очень пенял на Нахимова. Барону казалось странным, что эскадра наша крейсеровала не у своего берега, а у неприятельского; конечно, говорил он, в этом случае встреча была неизбежна. Мог ли я объяснить человеку, дорожившему своим кабинетом на Chesham Place до помрачения разума и смотревшему на Россию исключительно как на средство роскошной жизни, что его замечания противны смыслу, не только стратегическим требованиям. 21 декабря пришла весть о победе Андронникова, и Англией овладело чистое беснование. Не только в газетах, но и на митингах кричали, что атака в Синопе была «гнусным покушением» и громили уже Севастополь в отмщение, но сам Кларендон не воздержался официальным приличием и сказал Бруннову: «Вы должны, однако ж, признаться, что стреляли в курятник — You fired in a poultry-yard». Еще до Синопа я начал войну с «Таймсом» по поводу его лживых отчетов о наших действиях, и когда он отказался напечатать мое письмо, обратился в «United Service Gazette». Не помогли никакие знакомства. Обыкновенно строгая к истине Англия просто обезумела от негодования, что чужой флот решился истребить покровительствуемых ею союзников почти под дулами английских пушек. Много смеялись над «перевязочной экспедицией», как называли пароходы, посланные союзными адмиралами из Босфора на место истребления с целью убедиться в значительности турецких потерь. Уверяли, будто Дундас предлагал идти тотчас перехватить Нахимова на пути в Севастополь, но был остановлен несогласием Бараге Д'Илье. С другой стороны, говорили, что, когда Петербург ликовал, узнавши о победах, французский посол явился в Зимний дворец с поздравлением, и государь встретил его словами: «Votre empereur m'a fact dire qu'il me souhaitait de donner une boune raclée auf Turcks, que cela leur ferait du bien: écrivez lui que j'ai suive ses conseils et que je leur en ai donné deux».[42]

Источники, из которых шли эти слухи, заставляют меня предполагать в них долю правды. Все действия европейской дипломатии валили, как говорится, через пень в колоду с самого начала вопроса и не мудрено, что, наконец, колесо докатилось к обрыву. После андронниковской победы Бруннов объявил мне, что ему, вероятно, придется выехать и советовал отнестись за инструкциями прямо в Петербург, что я и сделал.

Общая опасность соединила нас в новый 1854 год у посланника, чего в благоприятные времена мира не случалось. Все чувствовали, что наступающему году назначалось быть знаменательным в летописях России. Дела шли к неминуемой развязке. Мне, так недавно еще видевшему готовые силы Англии и подробно знакомому с приготовлявшимися, можно было восторгаться духом сослуживцев, «горевших нетерпением проучить англичан», но никак не надеяться на его действительность; тем не менее конец тяжелой неопределенности определял будущее. Мое пребывание в Англии нужно было уже считать днями. Турецкое правительство после первых неудач согласилось вступить в переговоры, которые государь, может быть, и допустил бы, но национальное самолюбие Англии и Франции слишком оскорбилось подвигом Нахимова. Союзным флотам было послано повеление войти в Черное море, и адмиралы отрядили в Севастополь пароходы с объявлением, что союзники выступают из Босфора с целью оградить турок от наших нападений и устранять всякое столкновение. Единовременно с пароходами вышел турецкий конвой с войском в Батум. Я считал войну объявленной фактически, но, по странным воззрениям обеих сторон, упорно сохранявших тот же характер неискренности или несмелости, каким отличал-

ся вопрос от начала, формального объявления еще не было, и стоявшие в виду друг друга противники не считались еще неприятелями. «К несчастью, — писал мне Корнилов, — при всей бедности в пароходах на «Владимире» лопнул цилиндр, и теперь годны только бывшие почтовые пароходы, на них поставили по десяти 24-фунтовых пушек, кроме бомбических, — и плавают!». Явно хотели лечь костьми, но что могло сделать рвение и самое искусство против новой силы, известной нам только теоретически? При подвижности нашего флота, нет сомнения, союзники не предписывали бы нам законов на Черном море безнаказанно. Черноморцы не были взращены для покорности, и во главе их стоял человек столько же честолюбивый, сколько предприимчивый.

12 января посол призвал меня к себе, показал бумагу, которой ему разрешалось выслать вовремя наших офицеров, и предложил мне отправить тогда же моих помощников, а самому ехать в Петербург с ответом на только что полученную им ноту. Из Петербурга приказывали выяснить определительно значение входа союзных флотов в Черное море. Если цель их ограничивалась желанием устранить столкновения между нами и турками на море, правительство наше соглашалось на посредничество, но если они хотели явно помогать туркам, посланник должен был немедленно выехать. Кажется, после выхода турецких судов из Босфора в Батум с войском под покровительством союзников подобный вопрос был совершенно лишний, но снова повторяю, все делалось самым странным образом. И союзники не уступали нам в колебаниях. Инструкции, посланные адмиралам, не были откровенно сообщены нашему кабинету. В то время, как военачальники посылали в Севастополь пароходы с сухими и даже высокомерными письмами послов Англии и Франции при Порте, Сеймур и Кастельбажак в Петербурге не решались даже сообщить письменно о выходе флотов в Черное море. Будто хотели взвалить всю ответственность предстоявшей войны на первый выстрел, на второстепенных деятелей, от которых зависело сжечь несколько фунтов пороху! Естественно, Николай Павлович не мог выдержать подобного мучительного положения и потребовал ясности, определенности.

Спуск готовых уже корветов был мной остановлен заблаговременно, чтобы не дразнить еще более публики, и Пальмерстон написал уже подрядчику, что законы Англии не дозволяют вооружать судов против союзников страны. Взглянул я в последний раз на моих детищ, сжал сердце и явился по зову к послу 20 января. Кларендон в этот раз ответил прямо, что союзники будут помогать туркам и препятствовать нам пользоваться морем для подкрепления наших войск на Кавказе. Я уехал с ответом в Петербург в тот же вечер перед выездом самого Бруннова.

Всего приличнее было бы поручить дело одному из членов посольства, но барон оперся на мое близкое знакомство с силами, готовившимися на борьбу с нами. Причина, без сомнения, очень веская, и я не решусь назвать ее предлогом, но мне представились и прикладные соображения совершено иного рода. Барон мог желать скорее избавиться от нетерпеливого бойца, начавшего или пытавшегося воевать в журналах. Но, откровенно скажу, приходило мне в голову и то, что человек, не знакомый с делами посольства, не мог быть вреден барону в Петербурге ни в каком случае.

Как бы то ни было, я попал в столицу, вместо того чтобы явиться прямо на Черное море. На пути со мной случилось довольно забавное обстоятельство. От Кельна я ехал в одном поезде, даже в одном вагоне с курьерами французского и английского кабинета. В Кенигсберге железный путь прекращался, и мои спутники сели в экипажи, содержавшиеся там для кабинет-курьеров каждым правительством; я нанял почтовую карету в Ковно, а там купил возок и отправился далее. Не тре-

бовалось большой прозорливости, чтобы догадаться, что курьеры ехали с теми же известиями, и, чтобы роковая новость не дошла до государя через иностранные миссии прежде, нежели через наше министерство иностранных дел, я не позволял себе ни малейшего отдыха, даже не останавливался для обедов. Однажды ночью на дороге, занесенной снегом, я проснулся от остановки повозки и, спросивши у ямщика причину, получил в ответ, что обгоняет иностранный курьер и ему кричали сзади остановиться. Робкий возница, привыкший, что власть и важность непременно проявлялись криком, смиренно выполнял требование и едва не расстроил моих расчетов.

Рано утром 27 января я ехал к заставе, был, разумеется, остановлен и опрошен, но неприятные мелочи, от которых я успел уже отвыкнуть, не взволновали меня. Иными чувствами была полна душа. Тому семнадцать лет я выезжал из столицы униженным. Вспоминалось мне горькое время, скорбь отца, последние минуты матери; промелькнули главные эпизоды пятнадцатилетней моей службы в самодовольной памяти, и сравнение юноши, изверженного из среды товарищей, с человеком, приобретшим некоторое имя между сослуживцами и даже признанным на минуту нужным в той самой столице, из которой его вывезли с позором, вызвало слезу сердечной благодарности к промыслу.

ГЛАВА VI

КРЫМСКАЯ ВОЙНА

Первые впечатления в столице. Моя записка о силах Англии. Первое знакомство с Балтийским флотом. Я остаюсь в Петербурге. Петербургские салоны. Поездка в Финляндию. Планы нашей защиты. Манифест о войне с Англией и Францией. Бомбардирование Одессы с точки зрения дилетантов. Опустошение финляндских берегов, почитавшихся неприступными. Приближение неприятельского флота к столице и наша система защиты. Падение Бомарзунда. Приготовление союзников к Крымской экспедиции. Паскевич и прохожий. Мы не верим возможности высадки в Крым. Успехи на Кавказе. Постройка экспериментальной паровой лодки. Алминское сражение. Николай Павлович казнит за Австрию флот.

Ямщик мчал меня по пустынным, еще не пробудившимся петербургским улицам в туманно-мразное утро. Невольный страх навели на меня темные стены царского жилища, когда я выехал на необозримую адмиралтейскую площадь. Угрюмо высились Александровская колонна перед самыми окнами гордого повелителя, напоминая славное время, когда Россия, избавившись от страшного нашествия, кончила торжественно в неприятельской столице эру безумных попыток на всеобщее порабощение. Главный штаб и адмиралтейство, передаточные центры мощи, действовавшей в Зимнем дворце, размер плацов, от которых отвык уже глаз, и, наконец, там и сям безмолвные часовые представляли пораженному воображению моему грозного покоившегося богатыря. Можно ли было сомневаться в его могуществе при таких громадных признаках силы.

Остановившись у подъезда графа Нессельроде, я был встречен стоявшим вне дверей военным в шишаке с хвостом или перьями и спрошен повелительным тоном о цели приезда. Получивши ответ, что я из Лондона с депешами, и заключивши по сюртуку, что я не штатский, незнакомец проворчал с досадой учителя, удивленного, что явившийся ученик не знает даже азбуки, что все военные курьеры являются прямо государю и что мне следовало ехать к собственному подъезду. Совершенно упустивши науку о формах одежды, я не знал, какой ранг занимал навязавшийся мне собеседник в военной иерархии, и смиренно возразил Его Превосходительству, что я послан к министру иностранных дел. Должен сознаться, однако ж, что не одно невежество фельдъегеря понудило меня настоять на первоначальном намерении. В Англии был со мной один мундир и, зная, что никакие причины не из-

винят военного, дерзающего ехать по России в общечеловеческом платье, я сшил себе у Пуля то, что он считал военным сюртуком, но нигде не мог достать иных пуговиц, кроме английских. Если бы я предстал перед Николаем Павловичем в сюртуке пулевского покроя, привезенное мной нерадостное известие показалось бы еще неприятнее, и война с англичанами началась бы, без сомнения, поручением коменданту взять в полон обангличанившегося вестника.

Дежурный чиновник (А. Толстой) разбудил Вестмана, тот разбудил графа (для дипломатов тогда было время бессонницы и бодрствования), поднялась суматоха, и мне, наконец, предложили не выезжать никуда до 12 часов, чтобы неприятные слухи не распространились по городу до доклада государю. На нас поднималась вся Европа, даже друзья наши становились к нам в положение весьма сомнительное. Казалось бы, у русского министра иностранных дел не могло быть в голове места на чисто придворные расчеты, а первое, о чем он подумал при получении весьма важного известия, было устранение от себя вспышки царского неудовольствия. Горе стране, где подобные расчеты могут иметь влияние на дела, где государственные люди страшатся подвергнуть себя даже столь ничтожной минутной ответственности!

Всесильный – в данном случае – эполетный мастер будто сговорился с графом Нессельроде и не ранее часа экипировал меня для представления по начальству. Еще в Лондоне писали мне, с какой любовью молодой великий князь, заменивший Меншикова, занимался делом. Я был позван в знакомый с тех пор деятелям всякого рода кабинет, отделанный в чисто русском вкусе. Августейший начальник схватил меня за обе руки, как старого товарища по службе, и вмиг уничтожил во мне всякую неловкость. Лишь только начали мы беседовать об обстоятельствах, приведших меня в столицу, вбежал впопыхах камер-лакей Зернин с известием о прибытии государя. Открыли раму, начали выгонять табачный дым и с ним извергли меня в соседнюю комнату. Отцовско-царское посещение было кратковременно. Государь успел, однако ж, передать сыну привезенное мной известие, объявил, что с новостью приехал его моряк, и приказал подробно расспросить меня об английских силах и средствах. Тогда еще радостно поддавшийся впечатлениям своей щедрой натуры Великий Князь пожалел меня в моем изношенном мундире, с длинными волосами и черноморско-английским прямодушием. О присутствии моем не было сказано нетерпеливому владыке, и тотчас по отъезде его возобновилась прерванная беседа. Возбужденный начальными успехами нашими на Черном море и кипучестью, свойственной молодости, Великий Князь пылал воинственностью и в чисто художественном по восторженности воображении своем рисовал будущие наши удачи. Мне показалось преступным в такой момент утверждать его в заблуждениях и, нисколько не заботясь об изысканности и удобоваримости моих возражений, я постарался представить охотно слушавшему собеседнику всю неподдельную действительность английских морских сил. Великий Князь не совсем соглашался с моим воззрением. На этом первом представлении я оказался плохим придворным и, однако ж, скоро удостоился внимания сына Николая Павловича и даже был поставлен в близкие к нему отношения. Особенно долго говорили о способах преградить неприятелю путь в Севастопольскую бухту. Великий Князь терпеливо выслушал мое мнение, внимательно смотрел на пояснения, которые я делал карандашом на листке бумаги, и, видимо, обрадовался, что мои взгляды совпадали с предположениями Корнилова, от которого имел уже заключение по тому же предмету. И Корнилов, и я считали прорыв на Севастопольский рейд с кораблями-пароходами возможным, а следствия такого решительного действия – стоящими попытки и некоторых потерь. В завершение аудиенции великий князь показал

мне прекрасно составленный альбом черноморских подвигов, причем безыскусственно выказал, как была ему дорога слава сослуживцев, отпустил меня с приказанием подать записку о силах неприятеля, которых можно было ожидать с открытием навигации.

Из Лондона я взял с собой все замечания в особом чемодане и составил требуемую записку наскоро. Нужно было убедить, что мы можем быть атакованы ранней весной и тем возбудить усиленную деятельность, в необходимости которой, очевидно, сомневались. Записка имела единственную цель, ни в каком другом отношении не могла представлять интереса и подавалась лицу, слишком занятому для внимательного обсуждения вводных соображений. Кажется, я могу с уверенностью утверждать, что она оживила наши приготовления, а потому привожу ее в очертании моей обыкновенной жизни.

«Настоящие силы Англии, готовые на всякую случайность в Европе, разделяются на три совершенно отдельные эскадры: Средиземную, находящуюся теперь в Черном море и Константинополе, эскадру Канала, состоящую из кораблей, занимающих станции в портах Англии, и западную, которую можно направить по требованию обстоятельств в помощь одной из первых двух. Средиземная и западная эскадры плавают долгое время; действительность их не подлежит сомнению и изъятиям, которым подвержена эскадра Канала. После краткого обзора сил, уже употребленных в дело, приложен отчет о тех, которые могут быть высланы для будущих действий, и объяснены причины, не дозволяющие определить совершенно точно состав их и способность к бою».

«На Черном море и в Босфоре под начальством адмирала Дундаса десять кораблей, из них три – "Britania", "Trafalgar" и "Queen" – трехдечные. Первые два вооружены определенным числом 32-фунтовых пушек и восемью или десятью бомбическими орудиями: "Queen" имеет всю нижнюю батарею из таких орудий.[43] К числу трехдечных кораблей в отношении силы должно прибавить 91-пушечный "Agamemnon", имеющий также сплошную бомбическую батарею. Четыре корабля – 90-пушечные "Rodney", "London", "Albion" и 84-пушечный "Vengeance" вооружены подобно трехдечным восемью бомбическими пушками; остальные корабли – винтовой "Sanspareil", 70-пушечный, парусный "Bellerophon", 78-пушечный, с шестью бомбическими орудиями каждый, – не грозные по силе, а "Sanspareil" сверх того известен по другим дурным качествам. При эскадре 50-пушечные парусные фрегаты "Леандр" и "Аретуза", 21-пушечный винтовой корвет "Highflyer", который можно принимать за фрегат по артиллерии и размеру членов, и семь колесных пароходов. Из последних четыре – "Furions", "Sidon", "Terrible", "Retribution" – батарейные. "Highflyer" вооружен сполна 8-дюймовыми бомбическими орудиями».

«Западная эскадра под флагом адмирала Корри состоит из 130-пушечного винотового корабля "Duke of Wellington" с целой бомбической батареей, 101-пушечного винтового же "St. Jean d'Are" с такой же батареей и парусного 90-пушечного "Prince Regeut", вооруженного подобно двухдечным кораблям эскадры Дундаса. При эскадре винтовые фрегаты: 60-пушечный "Imperieuse", 47-пушечный "Arrogant" и 31-пушечный "Tribune", корветы: 16-пушечный "Cruiser" и 8-пушечный "Desperate" с бомбическими батареями. Старый фрегат "Амфион" не включен в состав эскадры с намерением, ибо недостатки судна не дозволяют рассчитывать на него ни в каком случае. До сих пор он не сделал ни одного перехода без повреждений в механизме. Сама по себе незначительная, эскадра Корри весьма важна как вспомогательная сколько по силе составляющих ее судов, столько по превосходным качествам их и состоянию экипажей».

«Эскадра Канала помещена в приложенном списке.[44] Парусные корабли с настоящими командами в море еще не были и выходить

не могли, ибо некомплект простирается от 180 до 400 человек. Ни один из кораблей не имеет целой бомбической батареи, но главная сила эскадры будет состоять в новых винтовых кораблях, изготовляемых с особенной поспешностью, не щадя усилий и издержек. Корабли эти можно разделить на два разряда: находящиеся уже под вымпелом в совершенной готовности, исключая экипажи, и не находящиеся под вымпелом, но имеющие машины, артиллерию и весь рангоут готовыми. Оба разряда войдут в состав предполагаемой балтийской эскадры и явятся на место действия вовремя, в большей или меньшей степени порядка, смотря по скорости изготовления, но явятся непременно. В другом списке[45] означены вообще все остальные винтовые корабли, фрегаты и мелкие суда, находящиеся на стапелях в разных степенях готовности, а некоторые даже только в проекте. Те из них, которые могут быть готовы к концу кампании, означены звездочками».

«Состояние английских кораблей, только что набравших команды, не требует пояснений, а как винтовые корабли второго разряда еще не приступали к набору команд при моем отправлении из Англии, а до открытия навигации остается не более трех месяцев, то вряд ли можно предположить, чтобы суда эти представили слишком грозных противников для тех, которые пользуются несомненными выгодами постоянных команд, особенно при принятом теперь в Англии способе комплектования».

«Все попытки, сделанные в последнее время для приобретения матросов, оказались неуспешными. В гардкотные[46] экипажи вступило, впрочем, некоторое число волонтеров, и хотя в акте парламента, их учредившем, оговорено служить им только в 150 милях от своих берегов, рука насилия при обычае правительства удобно толковать постановления и условия, вероятно, не замедлит послать этих волонтеров и в дальние моря, если понадобится. Не решаясь разбирать, до какой степени основательно уверение тех, которые видят в укомплектовании произвольного числа английских кораблей людьми вопрос единственно денежный, считаю долгом прибавить, что в последнее время прибегнули к мере, доселе в Англии неслыханной — набирают на флот взрослых людей, никогда не бывших в море, лишь бы они соединяли в себе физические условия, требуемые суровой службой. Сначала определили известную меру, а потом отвергли всякое стеснение насчет роста. Распоряжение это, кажется, выказывает, что, кроме денежных средств, в вопрос о наборе команд входят другие условия. Насильственный же набор при теперешнем состоянии общественного мнения и торговой деятельности, обратившейся в потребность, которой народ не лишит себя ни на минуту, едва ли возможен!».

Указанные списки с именами кораблей были приложены, и великий князь благодарил меня за труд. Государь сказал, что представленные мною данные не согласны с полученными от посланника и преувеличены, но последующие обстоятельства доказали, что я не только верно сообщил о числе кораблей, но удачно угадал различные эпохи изготовления их.

Располагая тотчас отправиться к товарищам в Севастополь, я хотел взглянуть на Балтийский флот, несравненно менее знакомый мне, нежели иностранные. Взгрустнулось мне, когда я посмотрел на самое дивное творение человеческих способностей, на корабли, которые в только что оставленном мною крае считают одушевленной вещью, сдавленные ледяными оковами в мертвые неподвижные глыбы. Мачеха-природа давала нам лучшее средство отпора; нужно было приложить только небольшую долю искусства, а не бороться с ней совершено тщетно, силясь держать громадный флот, обреченный ежегодно на семимесячное насильственное усыпление. Даже опыт ни к чему не служил нам. Не помня обстоятельств 1833 года, выказывавших, что рано или поздно мы столкнемся с Европой на Черном море, что

там наша Ахиллесова пята, пугливое, несмотря на свою силу, правительство для защиты охраняемой природой искусственной резиденции своей тратило миллионы, оставляя беззащитными берега и море, которые могли привлечь алчность врагов. Всюду раздавались уже громы войны, а Кронштадт был мертв; казалось, мороз охватил самые мозги; на оледенелых гаванях и кораблях едва слышался звук человеческого голоса.

2 февраля, пока я вздыхал над нашей немощностью, прибыл в Петербург курьер и передал мне следующую записку частного секретаря великого князя А. В. Головнина к дежурному генералу: «Его Высочество предполагает назначить капитан-лейтенанта Шестакова членом Пароходного комитета с состоянием по флоту и употреблять его беспрестанно лично для разных поручений; но вместе с тем, его высочество столько милостив, что желает предварительно знать, не противно ли это домашним обстоятельствам и служебным видам и расчетам этого офицера. Его высочество просит завтра же дать ответ!». В последней фразе рельефно выказывалась нетерпеливость, с которой впоследствии пришлось мне считаться и даже бороться. Сосредоточившись на несколько минут, я дал следующий ответ: «Капитан-лейтенант Шестаков имел честь получить записку графа Гейдена и спешит ответить, что он имеет ввиду только пользу службы и единственный расчет его — быть достойным внимания его высочества. Он сегодня же возвращается в Петербург и не замедлит явиться к его высочеству с выражением всеподданнической готовности всегда и во всем исполнять его волю». «Да сбудется предопределенное», — внес я в то же время в свой дневник.

Остановлюсь на минуту на первом шаге новой жизни моей. Прежняя чуть не стенографирована в подневных записках, веденных с 1836 по 1854 год с подробностью и точностью. В них заносились преимущественно воззрения на то, что случалось видеть в беспрестанных странствованиях, а также главнейшие замечания и суждения той эпохи жизни, когда я думал единственно о службе на море и видел в ней благородное, весьма достаточное поле для моих способностей и деятельности. Поистине счастливы страны, где не в редкость люди, подобные бывшему моему начальнику М. П. Лазареву. Без блестящего образования, порождение сурового ремесла, поглотившего всю его личность, с некоторыми ошибочными воззрениями, честный человек этот имел государственный талант заставить каждого ценить свое положение, как бы ни было оно ничтожно, и любить дело ради самого дела, считая пользу всякого рода и объема достойной каких бы то ни было способностей. В Черноморском флоте самые даровитые даже офицеры смотрели на свою профессию как на необходимую в высшей степени для государства, предавались ей всецело и не мечтали о другой более заманчивой и вознаграждающей карьере. Мы вовсе не понимали этих courses au clocher,[47] которые составляют характеристику настоящего времени и столько вредят государственному механизму, случайно вводя в управление им людей новых, никогда серьезно ни к чему не готовившихся. Не говорю уже о вредном влиянии на общество всеобщей жажды к повышению.

В эти-то счастливые годы я шел прямо и твердо по избранному пути, но четырехлетнее пребывание в Англии привило ко мне новые заманчивые воззрения и открыло более обширный горизонт. Я понял, что, не переставая быть моряком, можно и должно стать гражданином. В Англии началось мое политическое образование, поверхностное, несовершенное, ибо прививалось ко мне между делом, отнимавшим много времени, но не менее того оставившее неизгладимые следы. Последующее трехлетнее пребывание в Штатах послужило к дальнейшему развитию моему, и я мог уже смотреть не совершенным невеждой на действия собственного правительства, отшатнувшегося от прежнего застоя после крымского урока и кончины упорного правителя.

Вскоре по моем приезде английский и французский послы получили паспорта, и 12 февраля[48] вышел манифест, в котором объявлялись причины отзыва наших представителей и отъезд иностранных; вместе с тем, правительство обещало отражать всякое нападение с твердостью. Тогда же публиковали в журналах письмо Людовика-Наполеона по поводу Синопской битвы и преисполненный достоинства ответ государя. На сетования, что синопские громы болезненно отозвались в народе и в особенности задели военную честь французской нации, Наполеону отвечали, что он сам предшествовавшими битве поступками привел к такому результату, и заключали ручательством, что Россия 1854 года будет та же, что в 1812.

Неудивительно, что Петербург стал в это время заниматься политикой и что меня, только что прибывшего из фокуса, где накоплялась против нас невзгода, звали в различные салоны с целью оживлять диспуты и беседы мнениями и наблюдениями свежего очевидца. Путы цензуры официальной и тайной были ослаблены, газетам дозволяли помещать все нелепости против России и государя, которыми западные публицисты возбуждали Европу, а с нашей стороны являлись произведения раздраженного поэтического гения, певшего на все лады могущество России, ее способность к долгой борьбе и спасительную связь народа с властью.

В салонах зависть к неожиданным успехам друзей и гнев на не соответствовавшие ожиданиям неудачи врагов уступили место вопросу дня. Толковали о войне, сравнивали силы противников, порицали вражьи и свои распоряжения, заглядывали даже, против обыкновения, в историю и в ней искали тождественных случайностей, чтобы ободрить себя и вывести из прежнего опыта утешительные заключения для настоящего трудного момента. Всего чаще я бывал у графа М. Ю. Виельгорского. Познакомясь и даже сблизясь с сыном его в Лондоне, я стал постоянным посетителем зимних понедельников на Михайловской площади, обыкновенно прекращавшихся с летним перерывом газового освещения. У Виельгорского собирались разные должностные лица, члены совета, сенаторы, специалисты, выставлявшие свои познания в летучих разговорах между входным поклоном и карточным столиком, литераторы, салонные ученые, музыканты и вообще представители всех оттенков странно сложившегося петербургского общества, искавшие значения говорливостью за недостатком основательных достоинств. Сам радушный и добрый хозяин, тип легкомысленных и вместе честно мысливших маркизов, мирил все мнения своей ловкостью, прекращал слишком горячие споры уместным анекдотом, а у него были они готовы на всякий случай, и, наслушавшись всякой всячины, толок все в своей придворной ступке и передавал чрезвычайно занимательно императрице, разумеется, для сообщения кому следует. Я был сначала озадачен дерзостью русских ораторов и снисходительностью русских слушателей. Впоследствии, и очень скоро, убедившись, что в сферах, где все должно представляться ясно, царил мрак нестыдившегося даже невежества, я перестал удивляться недостатку познаний в обществе. Тем не менее, на первых порах, степень развития высоко стоявших в общественном отношении лиц привела меня в ужас. С кем и с чем, думал я, беремся мы за страшное дело борьбы с искусством и знанием? Какая вероятность успеха с подобными данными? Поездка в Финляндию скоро ободрила меня и возбудила отчаявшуюся надежду.

Вслед за манифестом великий князь отправился в Финляндию лично осмотреть тамошние средства и велел мне ехать за ним для заказа на частной гельсингфорской верфи винтового фрегата. Мы пробуждались судорожно и хотели вознаградить прежнюю апатию горячечной деятельности. И в Гельсингфорсе та же печальная картина обледенелого флота, что в кронштадте, то же неодолимое, природой

навязанное бездействие. В числе планов для защиты его высочество объявил мне и другим о намерении собрать весь флот под охрану свеаборгских пушек, на что я отвечал уверенностью, что неприятель не допустит соединения всех наших сил в Свеаборге, что он всегда будет иметь время приблизиться к крепости прежде нашего кронштадтского флота, так как лед в устье Финского залива расходится ранее, нежели у Кронштадта. Желая найти поддержку для исполнения родившейся у него идеи, великий князь обращался к местным властям и морякам финляндского происхождения, которые должны были бы знать местные условия. Его обнадеживали в сбыточности надежды, премного говорили о неприступности Свеаборга и уверяли, что неприятель, не имея карт шхер (которые мы хранили в тайне), никогда не решится идти с флотом в такой лабиринт. Я возражал, что знаю личности английского флота, уверен в том, что направляемые опытными гидрографами, неприятельские корабли пройдут везде, где пройти можно, имея на своей стороне верное средство движения, а касательно неприступности Свеаборгского рейда тогда же выяснилось, что и к аккуратным финляндцам привилась русская беспечность. Мы поехали осмотреть бухту Сандвик и убедились, что в ней мог собраться неприятельский флот и безнаказанно бомбардировать Гельсингфорс и рейд. На вопрос мой, можно ли достичь Сандвика, минуя выстрелы свеаборгских укреплений, никто не мог ответить определенно. Великий Князь скоро уехал, удостоверясь, что я начал дело по постройке фрегата, но через две недели возвратился с государем и наследником.

Николай Павлович, недовольный приемом финляндцев в 1833 году, с того времени не был в Гельсингфорсе. Усилия союзников склонить на их сторону Швецию вынудили его удостовериться лично в чувствах подданных, помнивших еще шведское владычество. Государь был очень мрачен, не скрывал трудности обстоятельств, при всяком случае говорил воинственные речи и, кажется, остался убежден, что финляндцы будут действовать как подданные России. По отъезде его великий князь пробыл еще некоторое время в Гельсингфорсе, распределял свеаборгские силы для будущих действий и, между прочим, совершенно одобрил мои начальные действия касательно постройки фрегата. Опять базой плана был расчет, что если не корабельный флот, то лодки из Биорнеборга, Або, Гельсингфорса и даже Кронштадта могут соединиться и представить неприятелю довольно грозное препятствие. Снова местные знахари вторили предположениям ретивого начальника, а я, не робея, утверждал, что из программы многое нужно будет выкинуть по воле неприятеля, о котором мы составляли мнение, подходившее под наши расчеты, но не совсем точное.

В начале марта, пустивши в ход порученное мне дело, я выехал из Гельсингфорса вслед за великим князем и тогда-то на пути в столицу познал, на чем могут основываться наши надежды, что ободряет нас для предстоящей борьбы. По санному еще пути тянулись конвои с порохом, лесом для лафетов, провиантом для войска; самые орудия, и весьма веские, перевозились гужом. Люди мерзли на дороге, лошади валились от усталости, но люди и самые животные, казалось, были проникнуты желанием сделать должное во что бы то ни стало, и поздняя помощь близилась медленно, но упорно к указанным пунктам. Какая громада терпения и доброй воли! Сколько нравственной силы в покорной, готовой на всякие лишения массе! Чем бы кончилось ополчение на нас Европы, если бы к этому навыку терпеть и страдать приложили своевременно несколько капель разумной предусмотрительности и хотя малую долю искусства запада? Как бы то ни было, встреченные мной на пути войска шли так бодро, с такой детской веселостью, что я поднял понуренную голову и утешился мыслью, что детей особенно хранит неземная сила.

Возвратившись в петербургские салоны, я встретил многих клевретов князя Меншикова, приехавших из Крыма разглашать о пользе пребывания там светлейшего и распространять слухи, клонившиеся к тому, чтобы доказать необходимость княжеского присутствия. Уверяли, что без князя ничего не сделалось бы на Черном море; передавали местные несогласия, которые он прекращал своей находчивостью и авторитетом, в особенности налегли на ссору Корнилова с Нахимовым, и все эти сплетни разносили с такой ревностью, что они достигли уже высочайшего уха. Вероятно, поверивши и убедившись в действительности побочного влияния на непосредственных деятелей, и на севере сложили власть из многих неопределенных положений, как на юге. Только там обстоятельства скоро привели все в ясность и выделили энергии и способности подобающее место, а у нас, где неприятель более угрожал, нежели действовал, начальство над различными частями и в этот важный момент было распределено по мирному, т. е. для удовлетворения самолюбия личностей, а не ввиду спасения России от наступившей беды. Военным губернатором в Кронштадте оставался Литке, начальник штаба его Истомин был назначен начальником штаба на флот, чтобы связать распоряжения береговых властей с флотом, который поручили почтенному и в свое время известному старцу Рикорду. Гребную флотилию доверили вовсе неизвестному, разве по странностям, другому старику — Епанчину, а к нему в менторы назначили ловкого Глазенапа. Все назначения, очевидно, делались в ожидании, что назначенные лица легко поддадутся влиянию молодого августейшего распорядителя. Если бы флот собрался в Свеаборге, великий князь поднял бы там флаг и намерен был взять меня флаг-офицером.

Когда в половине марта пришло известие о прибытии Непира в Винго на Готланде, мне стало ясно, что первое покушение неприятеля будет на Аландские острова. Позиция при входе в два моря была очень выгодна в стратегическом смысле и столь же важна в политическом для влияния на смежную Швецию.

У барона Вревского, управляющего канцелярией военного министра, собирались более серьезные люди, нежели у М. Ю. Виельгорского. Шуточным тоном, сообщенным веселым хозяином, высказывались предположения о будущем и нередко порицания прошедшего, но, несмотря на маску веселости, грусть проглядывала в речах собеседников, более или менее знакомых с нашими средствами. У смешливого барона познакомился я с американцами, приехавшими вместе с посланником Сеймуром выказать свою симпатию к России. Один из них предложил мне вырвать захваченные уже английским правительством корветы мои, продавши их американскому торговому дому. Мы сделали уже такую фиктивную продажу Гамбургскому дому Марк и К° и отвергли услуги заморских приятелей. С вольными гамбургцами Пальмерстон не поцеремонился, и корветы, окрещенные «Казаком» и «Татарином», скоро явились на Балтику. Впоследствии многие симпатизирующие нашим рублям американские пройдохи были на моих руках и не давали мне покоя своими проектами и требованиями. Вревский также не мог избежать их назойливости и разных предложений о доставке оружия, новых снарядов и т. п. Сетуя вместе о докучливости пришельцев, мы невольно вдавались в суждение о материальном снабжении наших войск. Разумеется, выгораживая министерство, Вревский утверждал, что все превосходно; я был совершенно противоположного мнения и однажды сказал без обиняков, что не могу представить себе, видевши стрельбу из энфильских винтовок,[49] как можно бороться с английским войском при наших гладкоствольных ружьях. Многие меня оспаривали, находили в винтовках сложности и утонченности, которые делали их годными только на опытах, а не для настоящего дела, и смеялись над моей англоманией. Помню, как очень почтенный генерал, окинувши насмешливым взглядом моряка, дерзавшего

иметь мнение в военных вопросах, посоветовал мне читать военную историю, чтобы убедиться, что выстрелы никогда не решали дела, а все кончал штык-богатырь. Прошедшее я читал, сколько время позволяло, но настоящее видел, кажется, яснее моего собеседника и точнее заключал о последствиях перестрелки ружьями неравной дальности полета и поразительно различными по точности выстрела. Но, сознавая отсталость нашу, мы утешали себя уверенностью в твердости русской груди, думали утомить искусство костьми и трупами, «закидать врага шапками», как привыкли мы выражаться, надеясь на нашу многочисленность, и в этом случае забывали историю с ее отдаленными Ксерксами и ближайшими к нам Мамаями.

11 апреля, в день Пасхи, прочли в церквах манифест о войне с Англией и Францией. Его ожидали ежеминутно, но все-таки объявление войны произвело сильное ощущение.

Государь был особенно мрачен на выходе. Не сомневаюсь, что христианская совесть властелина упрекала его в этот исторический для России миг. Входя лично во все подробности, он, конечно, вспомнил те моменты, в которые мог бы отвратить поднявшуюся грозу, и был недоволен собой как человек, недостаточно мудро действовавший в весьма важном случае. Не время, однако ж, было предаваться душевным ощущениям. Фактически война уже началась: английский пароход, как утверждали, под австрийским флагом схватил у Евпатории рыбацкую лодку; за ним погнались два наших фрегата, и приз был брошен. В самый день Пасхи пришло известие, что союзники бомбардировали Одессу. Это было следствием перехода наших войск через Дунай и желанием союзных кабинетов усмирить победным бюллетенем западную публику, нетерпеливо выносившую наши успехи в виду и по соседству союзных флотов. Неприятели оправдывали свою атаку пальбой по пароходу «Fury», подходившему к Одессе под переговорным флагом, а Сакен уверял, будто под национальным только. Можно и, по мнению моему, должно было отвергать уверения неприятеля самым откровенным образом, а не возбуждать спора о флаге, в котором обе стороны могли легко остаться при своих мнениях. «Fury» просто хитрил, и хитрость эту следовало ясно выставить. Все убедились бы, что мы не дались в обман, и если не явно, то внутренне признали бы нас правыми. Пароход подошел к карантинной моле, остановился после первого по нем выстрела и послал шлюпку под переговорным флагом, будто с целью узнать, выехал ли английский консул. Шлюпку тотчас отослали назад. Командир парохода, рассчитавши, что посланный на шлюпку офицер, конечно, не успел высмотреть силу батарей, захотел сам убедиться в ней и вместо того, чтобы остаться, согласно законам войны, на месте, в котором встретили его выстрелом, дозволил пароходу, владевшему средствами движения приблизиться прежним ходом. Подобное желание убедиться в силах противника и воротиться к адмиралу не с пустыми руками естественно, но не менее того правила переговоров были в действительности нарушены, и нам следовало стрелять, оберегая себя. К чему же было оправдываться казуистическими увертками? Стоило взглянуть на дело ясно и точно так же описать его. Союзники ухватились за случай, отвечавший их видам, и, подойдя к Одессе, отрядили пароходные эскадры к обоим молам, карантинной и практической. Под влиянием первого пароксизма пороховой горячки нападавшие, разумеется, не отказали себе в удовольствии пострелять и в город, хотя они это отвергали, приводя даже странные доказательства, но, бесспорно, главнейшие усилия их были направлены на практическую гавань, считаемую за казенную собственность. Отряженные к этому пункту девять пароходов маневрировали на мелководье весьма искусно, а раскинутые по берегу наши шесть временных (и вместе жалких) батарей защищались весьма упорно, в особенности передовая, названная впоследствии по имени начальника Ще-

головской. В результате неприятель, говоря языком тех, за кого вступался, «наелся грязи». Перед бомбардированием он требовал за пальбу по «law» выдачи всех судов, стоявших в гавани, и бомбардированием не вытребовал.

Разрушение беззащитной, как говорили, Одессы подняло страшный крик во всей России. По этому предмету писали разные нелепости.

Несомненно то, что бомбардирование Одессы было ошибкой. Кобден и К^0 возопили против нападения на коммерческий город, которым нанесено столько же вреда соотечественниками, сколько русским, а защитники не филантропической, но рациональной идеи вредить неприятелю всеми средствами видели в попытке неудачу. Выбор дня бомбардирования — Страстной пятницы — озлобил без надобности весь православный люд, и с этого времени войне стало сильнее сочувствовать все население.

Вскоре после бомбардирования Одессы выбежал в туман на одесский берег английский пароход «Тигр». Поставленные на высоте пушки принудили беззащитного неприятеля к сдаче. На наши выстрелы он вовсе не мог отвечать, и мы выбирали на палубе жертвы; одной из первых был несчастный командир. Нечем было особенно хвалиться, но рапорт Сакена об этой случайности, начинавшейся подобно донесению Нельсона об абукирской битве, так настроил ребячливое петербургское общество, что несчастье неприятеля сочли нашей победой. Процессия с флагом «Тигра» по петербургским улицам, назначавшаяся для народа, была полезна и извинительна; выставка же трофеев перед флотом, где каждый понимал, что гибель «Тигра» — чистая случайность, уже казалась неизвинительным ребячеством. Не велики же были трофеи, если могли уместиться на едва видной от воды «Фонтанке». Кружок Виельгорского, внявши моим пояснениям, советовал поместить некоторые подробности о «Тигре» в журналах. Я воспользовался данной мне мыслью не для удовлетворения любопытства публики, в сущности мало интересовавшейся, где и как взят «Тигр», благо взят, а с целью выставить стойкость нашей «Колхиды», бывшей под фортом Св. Николая в тех же условиях и вышедшей с честью из весьма опасного положения. Дело «Колхиды» не обратило на себя достаточного внимания, и я положительно оживил память о нем статьей о «Тигре» в «Северной Пчеле». Греч не решился напечатать ее без сношений с разными официальными личностями и поместил почти через месяц после того, как дошло известие.

На севере, когда присоединилась французская эскадра, неприятель открыл военные действия истреблением частной собственности в Ульвборге и Брамштедте. Не считая логичным смотреть на враждебные действия с гуманной точки зрения, скажу и здесь несколько слов касательно стратегических заблуждений наших. Знахари Финляндского прибрежья ожесточенно унижали меня в Гельсингфорсе, когда я утверждал, что английские пароходы войдут, куда войти можно. Случилось мне говорить и с генерал-губернатором Рокасовским и пенять на совершенное почти отсутствие войск по западному берегу Финляндии, когда южный был уставлен ими. Этот Фабий, смешивавший медленность с равнодушием, отвечал, что там, до Улео, держат 800 казаков для передачи известий. Кому? Одна передача без последствий удовлетворяла только праздное любопытство, и Рокасовский опирал свою уверенность в неприступности берега на показания тех же пресловутых моряков. Капитан, мой лондонский приятель, находил подводные скалы по нюху, как собаки в Перигоре находят трюфли, и с помощью шведов вводил пароходы, куда наши суда не решались никогда заглядывать. В Экнес вошел даже большой фрегат.[50]

Разорение местностей Ботанического залива открыло глаза, а отпор, данный неприятелю в Гамле-Карльби, где случилась рота солдат, выказал, как легко можно было оградиться от

неприятельских покушений, распределивши с расчетом весьма небольшие силы.

В начале июня неприятельские флоты избрали Барезунд своим постоянным пребыванием и отряжали крейсера к Ревелю, Свеаборгу и Кронштадту, где корабли наши были скучены на малом рейде. Два стопушечных стояли между Кроншлотом и Кронштадтом, заграждая узкий проход, а за ними к Петергофу тянулись остальные. Уменьшающаяся глубина понудила расположить корабли весьма тесно на малом рейде и в смежных с ним гаванях, так что если бы неприятель решился на отдаленное даже бомбардирование, шальная бомба могла бы сжечь весь флот наш и часть самого Кронштадта. Но без современных средств, застигнутые врасплох, мы суетились и в суете делали, что могли при бедности в силах и людях; это возможное не всегда было должным.

И противники наши, несмотря на превосходство средств и знаний, не решались вдруг схватиться с северным великаном там, где стояла грудь его и, как должно было предполагать, высилась голова. Они подвигались медленно, ощупью и чтобы познакомить своих новобранцев с запахом пороха, а также пощупать вооружение наших приморских батарей. Непир атаковал Гангут четырьмя колесными пароходами. Употребленная сила явно выказывала, что шумило-адмирал не имел в виду ничего решительного. Моллер отбил пароходы и стоил похвалы, но не из чего было делать национального торжества. Озлобленные бездействием англичане начали хватать финляндские суда, возвращавшиеся домой до истечения назначенного в декларации срока. Джон-Буль не мог удержать своей ненависти ко всему не английскому на воде и без всякой совести нарушил условие.

В исходе июня Непир подошел к Кронштадту с девятнадцатью кораблями, задержал двор в Петергофе и продержал жителей столицы некоторое время в ожидании атаки. Он стал на северном фарватере, тогда загражденном только Петровской засекой[51] и природными отмелями. Гребные лодки были собраны с своими жалкими по времени орудиями, но что могли бы сделать неспособные к движению при малейшем ветре ладьи, если бы неприятель имел средства, приспособленные к требованиям исключительной местности? Лодки опирались на очень жидкую линию кораблей, протянутую внутри засеки от Лисьего Носа к военному углу Кронштадтской гавани. Корабли, стоя на мели в илу около двадцати часов в сутки, представляли все невыгоды неподвижных батарей, не имея их прочности, и с мелкосидящими в воде паровыми судами неприятель мог бы без затруднения повредить петардами засеку, смести, как пыль, наши лодки и, обойдя линию кораблей или сжегши их бомбами с дальнего расстояния, атаковать Кронштадт с совершенно беззащитного тыла. К счастью, англичане не имели нужных паровых судов. Хвастливый Непир промерял, высматривал, писал в Англию, что большими кораблями ничего не поделаешь, и не бросался с ними на наши форты, как мы того усердно желали и как требовали крикуны в Англии, не допускавшие, чтобы гранитные форты русских были крепче английских деревянных стен! Мы обозвали Непира трусом и стали ездить за Ораниенбаум, на Бронную гору, любоваться хвастунами, забывая собственное унижение. Непир бездействием даже поворотил назад нашу историю, а мы предавались потешным прогулкам со всей странностью и нестыдливостью моды.

Впрочем, стоянка англичан у Кронштадта не была так бесплодна, как мы думали. Ею совершенно обеспечивался весь Финский залив от наших покушений и отвлекалось внимание наше от настоящей цели союзников. Недели через две, убедившись в действительности средств наших обороняться и в немощности нашей нападать, Непир пошел навстречу эскадре, следовавшей из Булони с десантом под начальством того самого Бараге д'Илье, который представлял Францию на Босфоре, когда

«синопские громы болезненно отозвались» в великой нации.

В исходе июля союзники атаковали Бомарзунд с моря и суши. Недоконченные укрепления, вооруженные слабыми пушками, не устояли против свезенных корабельных орудий, поставленных в траншеях, и самых кораблей, бивших стены на таком расстоянии, что крепостные пушки не хватали до неприятеля. Шеншин дважды пробирался в осажденную крепость с самоотвержением, достойным лучшего результата. Ему дали аксельбант, но этим нельзя было связать изолированные укрепления с средствами России. Они пали, и 2000 пленных с 170 орудиями доставили союзникам первые громкие и важные трофеи. Высокопоставленные лица, между которыми я вращался в эту плачевную эпоху, не переставали до войны твердить, что Бомарзунд защищать нельзя, что укрепления не способны устоять по неготовности, и не принимали никаких мер. На Черном море успели снять всю береговую линию,[52] почему же не очистили вовремя Бомарзунда?

На Черном море, вдали от легко теряющейся центральной власти, дело шло сноснее. Потери прибрежных пунктов на окраинах были неизбежны, но случались и утешительные эпизоды. Мы являлись у Константинополя и жгли подвозившие запасы неприятельские суда в виду босфорских батарей. Пароходы наши отгоняли уединенные крейсеры. Все же была жизнь; видно было, что рассчитывали не на одну упорную инерцию. Но союзники готовились там, как говорится, «схватить быка за рога», и на этой решимости их я должен теперь сосредоточить мои воспоминания.

С мая-месяца союзники без малейшей таинственности начинали собирать в Варне огромные перевозочные средства и значительное войско. Если вначале могли думать, что силы эти назначены для противодействия нам на Дунае, то после неудачной экспедиции в Добруджу и печальных следствий нового для пришельцев климата такое предположение исчезло. Притом мы возвратились уже за Дунай и Серет вследствие настояния австрийского правительства. С самого начала вопроса можно было догадаться, что Австрия не останется равнодушной к происходившему на ее границах. Материальные интересы ее не допускали добросовестного нейтралитета, напротив, вынуждали ее на роль вооруженного посредника, в которой самые ничтожные случайности могут заставить стать на ту или другую сторону. Тогда как союзники пугали Австрию возмущением Италии, а в случае присоединения к ним ручались за спокойствие ломбардо-венецианских ее владений, она вовсе не опасалась, что мы станем возбуждать против нее Венгрию и славянские населения в уверенности, что мы предпочтем пролить море русской крови измене принципам и пособию революционных мер, как бы ни было трудно наше положение. В политических расчетах своих Австрия едва принимала нас в соображение, зная, что подданные ее, как бы ни были недовольны правительством, не захотят променять сносный деспотизм на железное самовластие. Мы всегда колебались, когда революционные средства приходили к нам на подмогу, и даже в эту минуту не протянули пальца Греции, вздумавшей воспользоваться обстоятельствами и подняться против Турции. Наш переход за Дунай прибавил в союзную чашу весов, которые держали в Вене, атом, нарушивший равновесие. Дунай — становая жила южной Германии. Австрия, естественно, встревожилась и вместе с Германией приняла в вопросе неблагоприятное для нас участие. Только Пруссия, не имея прямых интересов на Черном море и в силу династических связей, оставалась в стороне.

Австрия, которую могли бы, может быть, унять в марте месяце, в июне смело потребовала нашего отступления из-за Дуная и очищения княжеств. Она удивила свет неблагодарностью, а мы поразили его нашей простотой и очистили придунайские земли, тотчас занятые собравшимися уже австрийскими

силами. Вероломство Австрии, как называли у нас политическую ее решимость, детски рассчитывая на благодарность в политике, было, впрочем, для нас выгодно. Атакованные во многих пунктах наших неизмеримых границ, мы не оставили бы княжеств по своей воле, вынужденные же к тому могли несколько сосредоточить войска и усилить пункты, действительно подлежавшие нападению.

Эти вводные обстоятельства были необходимы для точного заключения о последующих распоряжениях нашего правительства, и мне остается поместить здесь два—три современных анекдота, обрисовавших личности. Паскевич был против перехода за Дунай без уверенности в Австрии, но вынужденный действовать несогласно с своими взглядами, искал случая выпутаться из положения, которое могло бы нанести решительный удар его имени при конце счастливой карьеры. Он оставался в Бухаресте, как на Цитере, и предоставил непосредственное распоряжение Горчакову. Переправа совершилась благополучно, и когда войска утвердились на правом берегу, осторожный фельдмаршал прибыл взглянуть на них. Случилось, что именно перед проездом его по наведенному мосту затонул один из понтонов. Наехавши на препятствие, Паскевич вошел в припадок бешенства. Как раз у понтона стоял капитал флота Греве, прикомандированный к дунайской армии, человек весьма умный, владевший собой и находчивый. Мост, вода и морской офицер связались воедино в раздраженном воображении фельдмаршала, и он начал укорять Греве, беснуясь более и более по мере того, как ни в чем не повинный капитан со свойственным ему хладнокровием соглашался на все возгласы разъяренного главнокомандующего, повторяя за ним: «Действительно, дурно, Ваша светлость. Совершенно справедливо, Ваша светлость; это недосмотр, неизвинительное упущение и т. п. — Да вы кто такой? — спросил, наконец, фельдмаршал, уверенный, что перед ним стоял виновник, которого следовало проглотить. — Прохожий, Ваша светлость», — отвечал спокойно Греве, и усмиренный фельдмаршал возвратился на левый берег, взявши с собой прохожего. Скоро мост был исправлен, и Паскевич выехал на рекогносцировку со всем штабом. Ядро с турецкой батареи взрыло землю перед его лошадью. Рекогносцировка продолжалась, и в свое время все возвратились в главную квартиру. Через несколько времени П. Е. Коцебу, отлично передававший мне эти подробности, был призван вместе с другими высшими лицами штаба в квартиру главнокомандующего. Он лежал на постели без одежды, и, ощупывая дряхлое тело, доктор убеждал всех присутствовавших, что фельдмаршал тяжело контужен. Находчивость старика, опасавшегося неудачи на закате дней, спасла его репутацию. Вследствие контузии он был окончательно отозван.

Пожертвовавши нашим военным самолюбием по силе обстоятельств, мы, однако ж, не захотели выйти с возможной выгодой из неприятного положения. Отступивши за Серет, мы стояли там с взведенными курками в ожидании нападения, когда никто не думал нападать на нас с этой стороны. Австрийцы были довольны, что без выстрела выжили из соседства неудобных друзей, а союзники, не опасаясь более наших покушений на Добруджу, приложили все внимание к настоящей цели — готовившейся в Варне экспедиции.

Этой цели мы упорно не допускали, как выкажется из неважных, но оправдывающих мое уверение подробностей. Когда я говорил барону Вревскому и другим лицам, знакомым с распоряжениями министерства, что цель союзников — непременно Севастополь, что собираемые средства ни на что другое не могут быть нужны, что участие в союзе англичан ручается за то, что предметом атаки будет военный порт с укрытым в нем флотом, что, наконец, Крым при господстве на омывающем его море представляет возможность атаки с надеждой на успех, меня опровергали с такой же горячностью, с какой я отстаивал мое мнение. Откровенности союзников были самой

тонкой хитростью; они рассчитывали, что мы не поверим экспедиции, в цели которой они чистосердечно сознавались, которую они оглашали так просто и громко, противно принятому способу скрытности в военных делах.

Передаю не праздные толки салонов, а переговоры, в которых принимал личное участие сам военный министр. Сначала уверяли, что союзники направляются на Анапу, чтобы, взявши ее, отрезать нас от Кавказа. Я возражал, что в 1829 году Анапа была еще крепостью, не грозною, но все же крепостью. Князь Меншиков взял ее полутора бригадами с помощью неуверенного в действиях флота. С тех пор Анапа перестала быть крепостью, хотя и может значиться под этим названием в бумагах министерства. Зная место во всей подробности, я решительно отвергал надобность собирать для него и всей северной черноморской линии такие силы и в особенности готовить тяжелую осадную артиллерию. Тогда меня уверяли, что предметом экспедиции, помимо Анапы, может быть Тифлис. Напрасно утверждал я, что по всему пути к Тифлису и для самого Тифлиса вовсе не надобилась осадная артиллерия, а главное, что движение высаженного войска по Кутаисской дороге не может быть обеспечено нужными доставками, что топография края, положивши отдаление войск от моря сначала на единицу, а потом на две, увеличивала затруднения снабжения не вдвое только, а в несравненно более раз, что нужно было смотреть на Варну как на базу действий союзников, и к чему было им отрываться на такое огромное от нее расстояние, когда в виду лежала лакомая добыча. «Чего же Вы хотите? — спрашивали меня. — Более войска в Крым, — отвечал я». Здесь на меня сыпались насмешки, удивлялись, что моя шестнадцатилетняя крымская опытность не убеждала меня в невозможности содержать в Крыму более 30 тысяч войска, а знание всего относившегося до флотов не приводило мне на память, что сам Наполеон при его средствах и гении не мог высадить в Египет более 30 тысяч. Для встречи такого десанта войск в Крыму было достаточно, но думать, что неприятель решится на высадку, значило предполагать в нем самую неосновательную дерзость, просто безумие, чистое, нам прирожденное, но ему не свойственное «авось». Не допускаю мысли, чтобы со мной шутили или, зная, что я вхожу в салоны, думали успокаивать через меня публику. До самого дня Альмы не двинули в Крым ни одного солдата, значит, были убеждены в том, что говорили. Нельзя же предполагать хитростей, в этом случае граничивших с тем, что везде почитается преступной неспособностью или изменой.

Сравнивать положение Наполеона, прорывавшегося в Египет сквозь строй стерегших его сильных эскадр под неутомимо бдительным взглядом Нельсона, с переходом в несколько часов от Варны по совершенно свободному морю в Крым, оберегаемый «гением» В. А. Долгорукова; вычеркивать из памяти полвека человеческого прогресса и ставить в уровень жалкие средства Франции 1796 года с мощью европейского Запада в 1854 году; забывать, что с тех пор пар призван на счастие и гибель человечества; не знать, что в наше время одна торговая компания владеет большими и вернейшими средствами перевоза, нежели вся Европа наполеоновского периода — такое страшное помрачение всех умственных способностей в лицах, обязанных преимущественно радеть о славе и чести моей родины, произвело на меня впечатление несравненно более горькое, нежели безумные крики бешеного патриотизма англичан в последние дни моего пребывания в Англии.

На Кавказе, который, к счастью, мало в столице знали и не жаловали искатели дешевой славы, тупой Реад, заменивший Воронцова, оказался вовсе не таким ограниченным, каким его считали. Без опытности, избалованный долгим бездействием за варшавскими кулисами, Реад не искал личной славы ценой жизни обязанных ему повиноваться, а предоставлял действовать знавшим край способным подчинен-

ным. Врангель, разбивши турок и занявши Баязет, отделил Турцию от Персии и стал на перепутьи английской торговли. Бебутов после кровавого дела рассеял турецкую армию и получил в генерал-лейтенантском чине Андрея Первозванного, что также болезненно отдалось в столичных генералах-парадерах и генералах-лакеях, как синопские громы во французском войске. Если бы Бебутов одержал еще победу, то был бы, несомненно, замучен завистниками.

В июле снова случилось мне быть в Гельсингфорсе. В виду показавшегося уже неприятеля мы были немощны: нечем было отражать самых ничтожных покушений его. Опасаясь шхер, мы берегли неуклюжие колесные пароходы, привыкшие перевозить только двор и иностранных принцев. По возвращении та же картина унижения представлялась мне в Кронштадте. Нывшее сердце решилось на громкий вопль. Если неприятели убеждались, что нам нельзя вредить большими кораблями, то за убеждением неминуемо должна была последовать решимость создать нужные суда, на что громадные механические средства Англии были к услугам правительства. В этом провидении надлежало и нам взяться за новую силу. Видевши первое приложение винта к судну мелкосидящему, но способному возить большие тяжести на реке Гумбер, я в 1852 году еще писал В. А. Корнилову о безотлагательной надобности преобразовать дунайскую нашу флотилию в паровую. Теперь, имея кое-какие чертежи, я вспомнил о проекте и явился к великому князю в Стрельну с убеждением, что англичане к будущему году непременно настроят мелкосидящие паровые суда и что нам следует пытаться выставить такую же силу. Великий князь, чуждый рутинных воззрений и профессиональной зависти, ухватился за мысль радостно и тотчас же поручил составить полные проекты адмиралу Шанцу, жившему в Або, мне и еще двум-трем. Проекты Шанца и мой были одобрены, но, несмотря на ретивость генерал-адмирала, невзирая на то, что не было времени для опытов и следовало торопиться, разные останавливающие влияния одолели даже великого князя. Решили выстроить сначала две лодки: одну в Або, другую в Петербурге, и, испытавши их, строить новые.

Только постоянная поддержка великого князя дала мне возможность доказать, что можно строить и снабжать механизмами целые флотилии в России. Отовсюду я встречал недоброжелательство, упорную медленность, даже порицания. Многие доказывали, что посылка офицеров в Англию вредна, потому что они привыкают к ее средствам и потом подают разные проекты, будто те же средства существуют в России. Но генерал-адмирал не обращал внимания на говор, перешедший уже в салоны, и почти ежедневно посещал мои работы, в техническом отношении я имел прекрасных помощников: поручика Иващенко и главного инженера Николаевской железной дороги Уайненса. Оба горели тем же огнем сопротивления неприятелю во что бы то ни стало, а Уайненс как американец прибавлял еще национальную неприязнь к англичанам. 17 сентября лодка была спущена и до заморозков испробована. Лодка Шанца также пришла из Або в Кронштадт, и возможность создать силу, способную бороться с приготовлявшейся уже в это время в Англии, была доказана.

С 10 еще сентября начали прибегать в Петербург курьеры с известиями о приближении неприятельской армады к крымскому берегу. В Петербурге, где вовсе не думали о Крыме, стали утешаться уверенностью, что князь Меншиков заставит врагов раскаяться в дерзости. Вревский уверял меня, что с нашей стороны могут вступить в бой 47 тысяч человек да восемь тысяч с Хомутовым придут через трое суток. Такое число было означено перед государем на карте быстрыми в походах и не знающими препятствий булавками с разноцветными шляпками, означающими роды войск. Беда была в том, что булавки перетыкались из Казани и из Серета в

Крым тотчас после повеления казанским и серетским полкам маршировать туда по едва проходимым дорогам. Под Альмой оказалось всего 30 с небольшим тысяч.

В самый день торжества предсказания моего рано утром служащий канцелярии князя Меншикова сообщил мне из письма Камовского весть об Альминском сражении. На спуске лодки великий князь был особенно милостив, жал мне руки и радовался доказательству возможности изготовить силы, способные на сопротивление, но утренняя весть навела на меня неодолимую грусть. К чему это рождение новой силы, думал я, когда прежняя, стоившая стольких трудов и честных бескорыстных усилий, в этот момент уже не существует. Так думал весь Петербург, охваченный известием, привезенным адъютантом Меншикова Грейгом. Известия этого не объявляли, но скорбная новость прорвалась из Гатчинского дворца в столицу, и на лету к ней пристали возможные сомнения, обыкновенно рождающиеся в публике в ответ на таинственность власти. Рассказывали, что государь, пораженный безыскусственным докладом Грейга, что некоторые войска бежали, забылся до того, что упрекал его во лжи, даже дозволил себе грозные телодвижения, потом пал на колени и горячо молился. Подобные переходы свойственны счастливо созданным, но избалованным успехами впечатлительным натурам. Без сомнения, известие было громовое, иначе не заставили бы Грейга укрыться на несколько дней на даче в Ораниенбауме. Достоверно то, что все, начиная с царя, считали Севастополь уже взятым и флот уничтоженным. К счастью, союзники потерпели на Альме большой урон и, обойдя через несколько дней южную сторону, не решались войти в беззащитный город tambour battant.[53] Подвигаемый дерзостью приговоренного к смерти St. Arnaud, без сомнения, пошел бы прямо на приступ, но страдания осилили дух умиравшего французского главнокомандующего, и он должен был сдать начальство надеявшемуся еще жить, следовательно, и рассчитывавшему на победу Канроберу. На этот раз Севастополь устоял, и милостивая судьба доставила России в ее неудачах целебное утешение.

Строя экспериментальную лодку, я занимался и другими поручениями великого князя, а также делами Пароходного комитета, в котором состоял членом. На «Тигре» были захвачены различные английские специальные издания, содержащиеся в секрете. Мне поручали переводить их для ознакомления флота со средствами неприятеля, и генерал-адмирал не раз дивился быстроте, с которой я перелагал на наш язык целые брошюры при других занятиях. Надеюсь, что знавшие мой образ жизни в то время не почтут самохвалением уверения мои, что в пламени, объявшем русскую мою душу, я горел денно и нощно, не давая ни себе, ни другим покоя.

В исходе августа Австрия выказала нам, что не довольствуется уже удалением нашим из княжеств, она требовала нашего согласия на предложенные через нее союзниками мирные условия самого унизительного свойства, не оправдывавшиеся еще успехами неприятелей. Двойственность Австрии чрезвычайно рассердила государя. В досаде на себя он искал жертв, и несчастный флот, запертый в Кронштадте, представил пищу царскому гневу. Два обстоятельства, собственно до флота относившиеся, увеличили раздражение государя вследствие австрийской ноты. Катаясь в Кронштадте на лодке совершенно нового образца, великий князь опрокинулся и был спасен со всеми товарищами, исключая адъютанта его Е. А. Голицына. Всеми любимый молодой человек, единственный сын нелюбимого, но известного в обществе отца, безвременно погиб в потешной прогулке. Государь упрекал великого князя, что своим легкомыслием он ввел в тяжелую скорбь целое семейство, и вместо того, чтобы ободрить сына, едва не поплатившегося собственной жизнью, жестко вразумлял его, утверждал, что он еще молод распоряжаться и что отны-

не он сам возьмется за флот — и взялся по-своему.

По удалении Непира к Бомарзунду велено было эскадре нашей выйти к Красной Горке, чтобы утешить команды в долгом бездействии. Эскадра тотчас возвратилась поврежденная, в чем не было ничего удивительного, если вспомнить о прежних порядках, самим же царем заведенных, и о том, что флот простоял все время в готовности не к плаванию, а к тому, чтобы погибнуть на мели с честью. Велено было снарядить следствие, и государь поехал в Кронштадт «приняться за флот». Еще в ковше он совершенно незаслуженно и непристойно оскорбил адъютанта Великого Князя Юшкова, а в Кронштадтской гавани, проезжая мимо корабля «Императрица Александра», по которому стучали в то время десятки конопатчиков, закричал: «Что за шум!». Командир Н. П. Опочинин нагнулся с корабля, чтобы поймать не расслышанные им слова государя, и услышал гневный крик: «Командира на салинг!». На шестом десятке честной трудовой жизни корабельный командир, сам царь по власти и значению, полез, как мог, на кружившую голову высоту и поместился на двух перекладинках, едва достаточных для самого ловкого матроса. Его подвергли этому истинно телесному наказанию три часа и спустили уже сигналом из Петергофа.

Если бы святая истина не требовала жертвы собственных чувств, я не решился бы внести здесь этого в полном смысле кровавого воспоминания. Чтобы ни делали неприятели, какими бы жертвами ни заставили они нас купить избавление столицы, мы с радостью легли бы костьми и как русские выполнили бы свой долг, забывши все счеты. Нас поразил в сердце природный защитник и блюститель нашей чести, нашего достоинства; нас сгубил державный охранитель самого дорогого нашего достояния! С той поры в жизни моей с мыслью о флоте, вскоре увидевшем лучшие дни, вставала постоянно жестокосердая, неумолимая тень великого повелителя, безжалостно изведшего святотатственной рукой дух своих моряков, в это именно время доказывавших, как достойно рассчитывается великодушная русская природа с внутренними гонителями, когда наступает на нее внешняя злоба.

Генерал-адмирал из всех сил старался высказать державному отцу всю незаконность и несправедливость его поступка. Государь не мог понять великости своего заблуждения и даже не согласился дать Опочинину возможность успокоиться от потрясшего его удара в отставке. В числе других и я перебирал все морские законы, искал предшествовавших примеров и вообще в постановлениях и преданиях флота думал найти что-нибудь убедительное для разгневанного самовластия. Тщетны были усилия великого князя и всех помогавших ему в этом горьком случае. Но надломили неудачи и само унижение царственного высокомерия; величавость стала гордостью, строгость — безобразной злостью.

Настало для меня время истинного труда. Удача первых лодок повела к созданию целой флотилии. Изготовление ее было поручено мне и товарищу моему П. Ю. Лисянскому. Решение последовало в исходе 1854 года, но исполнение относится к 1855, и описанием постройки флотилии, доставившей мне отрадное убеждение, что пригодилась на что-нибудь моя служебная ревность, я начну следующую главу.

ГЛАВА VII

МОЕ УЧАСТИЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ СРЕДСТВ К СОПРОТИВЛЕНИЮ НЕПРИЯТЕЛЯМ

Изготовление паровой флотилии. Магик Путилов. Моя записка о надобности флотилии. Первые севастопольские награды. Брат Петр на Волынском и Селенгинском редутах. Ложные слухи об увечьи Петра. Нахимов утешает отца. Последняя беседа Петра с отцом от 20 мая. Его гибель вместе с редутами 27 мая. Участие государя. Моя женитьба.

Новое, небывалое в России дело, требовавшее поспешности, не могло идти без искреннего душевного участия всех соприкасавшихся к нему, а соприкасалось все министерство и весь флот, так как для вызываемой к существованию силы нужно было набрать многочисленный состав офицеров. Паровое дело до тех пор не входило в образовательную программу наших моряков. Небольшое число колесных пароходов употреблявшихся, как я сказал, для надобностей двора, давало нам офицеров, знакомых с его прихотями, но, в свою очередь, приобретавших вредную для службы прихоть к перстням, часам и иностранным декорациям, дававшимся за угождения, а не за исполнение прямых служебных обязанностей. Затруднения к снаряжению паровой флотилии были поэтому не только значительны, но разнообразны. Нужно было выстроить самые суда, снабдить их механизмами и экипажами, познакомить служащих с действием артиллерии, набрать механиков и, наконец, согласовать совокупные маневры лодок на случай борьбы. Все это предстояло сделать в пять—шесть зимних месяцев, при коротких наших днях и морозах, прекращавших работу в обыкновенных обстоятельствах. Задача была поистине трудная и без общего сочувствия невозможная.

С экспериментальной лодкой для меня кончились эксперименты над различными слабостями человеческой натуры. Все впряженные в тяжелую колесницу громадного труда везли дружно, радуясь, что августейший возница погонял и в хвост, и в гриву.

Чисто в техническом отношении изготовление с лишком семидесяти механизмов при наших детских заводских средствах, даже при неуверенности, существуют ли они, представляло важнейшее затруднение. Бросаясь всюду для открытия возможности создать флотилию, мы начинали уже отчаиваться. Однажды вечером генерал-майор Гринвальд, вновь назначенный директор кораблестроительного департамента, пришел ко мне с предложением употребить для снабжения лодок механизмами чиновника особых поручений его, Путилова, ручаясь, что отроет средства, если они толь-

ко существуют хотя бы в зародыше, и оживит такие, которые давно похоронены, но когда-то существовали. Великого князя можно было видеть во всякое время, по докладу простого лакея. Он тотчас был уведомлен о блеснувшей надежде, призвал Путилова — и к лету флотилия была готова.

Кесарю — кесарево! Талантливый, энергичный, ничем не сразимый и никогда не унывающий Путилов составил себе впоследствии завидную славу промышленного деятеля. Мое свидетельство о его первоначальных подвигах, конечно, не прибавит ничего к его репутации. Ничтожные и теперь ненужные лодки исчезают, как пыль, перед миллионами нужных во всех углах России рельсов, перед избавлением России от тяжкой подати иностранным заводчикам, перед проектами Петербургского порта и другими произведениями многообъемлющей промышленной головы тогдашнего моего сотрудника, оказавшегося, вдобавок, корпусным товарищем. Эта голова всегда горела мыслью, ее разрывало идеями и средствами изыскания способов выполнения. В данном случае такие способности были неоценимы. Великий князь тотчас понял важность Путилова и поручил ему хозяйственную часть дела. Все закипело, начало двигаться по дням и часам.

Познакомлю со способностями Путилова анекдотом. Главное наблюдение за постройкой и снабжением лодок было поручено, как я говорил уже, Лисянскому и мне. Мы стояли у Путилова над душой и, не довольствуясь, что труженик сам себе не давал покоя, надоедали ему без всякой жалости. Эффектность — эта язва петербургских деятелей — одолела и не нуждавшегося в туманных способах Путилова. Впоследствии я убедился, что Путилов был прав, стократно прав, но тогда жажда его выставить свои деяния с поражающим блеском была мне не по сердцу и я нередко бывал в бульдожьем настроении против сотрудника и товарища. Какой-то цилиндр не лез в лодку, и я не мог найти его ни на одном из заводов, открытых или воскрешенных Путиловым. Взбешенный моими сомнениями, колдун посадил меня в карету и привез... в придворное экипажное заведение! Там пропадавший без вести рекрут предстал передо мной почти оконченный; его делали тайно, не только без вести для меня, но без ведома министра двора и придворной конторы! Нужна была промышленная находчивость, чтобы заключить, что каретное заведение может делать части парового механизма, и большая способность убеждать других. Легко ли уверить человека, который точил только экипажные оси, что он сам не сует своей силы и способен выточить самый могучий аппарат движения.

Облегчивши душу признанием важности усилий других, позволю себе сказать несколько слов о собственном участии. Опытная лодка всецело принадлежала мне. Между многими предложениями, наставлениями и правилами, мною написанными и утвержденными великим князем, в бумагах моих сохранились записки, поданные перед постройкой опытной лодки и флотилии. Извлечения из них выкажут долю участия, которую я принимал в деле, и, может быть, еще что-нибудь.

Англичане начали строить прибрежные паровые суда единовременно с нами. Газеты твердили о грозной готовившейся против нас силе, восхваляли ее действительность и пророчили несомненный успех. Даже газетные данные влияли на наши воззрения и мешали им установиться, а время требовало поспешности, поэтому еще в вопросе об опытной лодке я старался отстранить несвоевременные колебания и установить взгляды генерал-адмирала на возможном. «Новость предмета, — писал я, осторожно намекая на наши сомнения, — может заставить сравнивать предлагаемую мною лодку со строящимися в Англии и потому считаю уместным теперь же высказать мое мнение о судах этих, предназначенных придать действиям союзников в Балтике более воинственный характер».

«Цель строимых в Англии судов, конечно, указана настоящей войной, но дальновидность не дозволяет делать подобных издержек только на теперешние обстоятельства. Оборона собственных берегов такими судами (о чем был толк в прошлом еще году по вопросу о французском нашествии), действия на реках Африки, Бирманской империи, Китая, обеих Америк и пр., наконец, самый переход к нам и вероятное возвращение глубокой осенью через открытое море — все эти условия требуют судов с морскими качествами, следовательно, значительного объема и силы. Англичане пугают ходкостью своих лодок,[54] но быстрота есть элемент силы на просторе, а не в крутых поворотах шхерного фарватера, где и при совершенном знании местности трудно разбежаться безнаказанно. При двенадцати узлах (т. е. при большой скорости) придется или часто останавливать машину, или уменьшать ход; то и другое ведет к тем большей потере топлива по-пустому, чем больше машина. Впрочем, имея за собой открытое море, английские лодки могут пробегать от пункта к пункту вне шхер, и тогда большая скорость, может статься, полезна. Наши условия совсем иные. Судов с превосходными морскими качествами, требующих, как выше сказано, объема и силы, нам не нужно. Действия наши на лодках ограничатся одними шхерами, с кем бы мы ни воевали, а если бы понадобилось им придти на немецкие мелководья, то паровые лодки предлагаемых мною размеров могут сделать это, верно, не хуже старых парусных, бывших под Данцигом».

Когда опытная лодка была выстроена соответственно моим настояниям и испробована и вслед за тем решились строить целую флотилию, я представил великому князю соображения мои касательно выполнения решимости и вместе общие взгляды на оборону наших берегов.

«В необходимости судов такого рода, отложивши даже в сторону местные соображения, теперь никто сомневаться не может. Неприятель готовит такую же силу и чем другим можно ее отразить? Число нужных судов определится Вашим высочеством, и я считаю долгом сказать только, что главнейшее — механизмы — могут быть приготовлены Александровским заводом (Уайненса), Шепелевским, Эриксоном и Кови в Або.[55] Первый берется их сделать до двадцати в течение зимы и, судя по опыту, выполнит обещание. Вероятно, найдутся и другие заводчики, в точности и рвении коих можно быть столько же уверенным. Постройка не представит, по-видимому, затруднений, но как для нее, так и для механизмов нельзя терять времени... Может быть, придется распиливать лед для раннего спуска лодок и установки механизмов — работа нелегкая, но русскому человеку не новая».

«Механиков можно иметь, переобучивши за зиму выбранных людей на железных дорогах, как Ваше Высочество сами заметили, или просто нанявши имеющихся уже там..., сверх того можно добыть многих, обращавшихся уже с машинами высокого давления на Волге».

«В. В.[56] изволили уже решить состав экипажей лодок. Осмеливаюсь привести еще одно указание опыта. На лодке, где теснота понуждает иметь экипаж по возможности малочисленный, люди, изнеможенные тяжелой двадцатилетней службой, негодны. Огромные орудия требуют сильных упругих мускулов, а жизнь при неизбежном влиянии немилостивой атмосферы — здоровья, не поколебленного еще недугами. Такими людьми и судами, могущими быстро переноситься с места на место и наносить неприятелю удары внезапные, соответственные русской удали, должны командовать офицеры, полные жизни, отваги и крепости нравственной и физической. За зиму им нужно сродниться со своими командами в боевых упражнениях и военном порядке. Начальники и подчиненные должны узнать друг друга. Всякая сила, в особенности морская, действительна тогда только, когда каждый понимает свое дело и порождается между начальником и подчиненными взаимное доверие».

«Движимый желанием пользы, решаюсь прибавить, что, по мнению моему, не должно считать введение паровых лодок мерой временной только, указанной настоящими обстоятельствами. Вековой опыт не отбрасывается безнаказанно. Издавна в тесных водах Балтики мы, датчане и шведы употребляли канонерские лодки, и если требовалось доказательство необходимости их, то возобновление флотилии в текущем году после почти окончательного ее уничтожения утверждает красноречивее всяких доводов, что в ослаблении флотилии была сделана ошибка».

«Переходя от настоящих обстоятельств к нормальному положению Европы, нетрудно, кажется, убедиться, что численность и состав флота нашего в Балтийском море определяются самой местностью и силой прибрежных государств. В отношении к Англии, страны исключительно морской, наши морские сооружения всегда будут недостаточны для нападения, и нужно держать силу, способную ускромить близких соседей и отразить нападения извне. Основываясь на фактах, я определяют силу эту в 15 винтовых кораблей, могущих внезапно подарить 40-тысячный корпус нескромному соседу. Быстрые и могучие, такие противники могут нанести вред и сильнейшему неприятелю. К этому прибавить несколько фрегатов с малой силой для дальнейших плаваний, три—четыре быстрых легких судна для посылок и царские яхты, затем размножить винтовые лодки, а истинно боевую силу для внешнего влияния иметь на Черном море...».

Началась работа единовременно на Охте под наблюдением П. Ю. Лисянского и на Галерном острове — под моим. Почти все, что я скажу о моем отделе, относится к постройке вообще. Подрядчиком по строению был купец Кудрявцев, строивший опытную лодку. Нужно было прежде всего не терять ни минуты времени в непроизводительных проволочках. Начали устройством целых городков для рабочих возле самых мест работы. У Калининского моста внезапно выросли незаконные дощатые постройки, но закон на время закрыл зоркие глаза. В них поместили казарменно сотни плотников, призванных отовсюду с чудодеем-топором, обогревали со всеми предосторожностями, кормили на убой и наблюдали тщательно, чтобы к ним не пристала какая-либо немочь. Верфь была в нескольких шагах, и людям незачем было вставать спозаранку, чтобы утомляться долгих переходом на работу. Самая верфь потребовала приготовления. Нужно было отогреть по возможности почву, чтобы подставы, поддерживающие лодки, стояли на твердом грунте и нем могли скользнуть весной при оттепели. Я называю строившиеся суда лодками по принятой официальной номенклатуре, но судить о размерах их можно вернее, зная, что каждая весила 60 тысяч пудов.[57] Почва Галерного острова оказалась своеобразной. Со времен Петра на ней производили строение, и едва видный в его время над водой остров выпучило над рекой остатками щеп, пеньки, смолы и других материалов кораблестроения. Как мы ни торопились, меры, принятые помощником моим Иващенко, оказались столь предусмотрительными, что во все время постройки подалась одна только подпора, и ту укрепили моментально, так что лодка не успела тронуться. По недостатку места суда строились в два ряда, выровненные, разумеется, по шнуру, и Николай Павлович незадолго до своей смерти удостоил окинуть все равнявшим взглядом своим шеренги будущей паровой кавалерии. И в этот раз, как во все время войны, государь был очень угрюм. Сидя в санях с великим князем, у которого жизнь хлестала тогда всеми порами, державный отец показался мне внезапно постаревшим, опустившимся и поразил меня до того, что я тогда же внес впечатление в мои заметки.

Изготовляемые во всех углах Петербурга механизмы, влекомые по мостовой, тащились к остовам, которые назначались оживить. Неутомимый Путилов грузил тяжелые котлы и

цилиндры на нарочно устроенные телеги, стегал коней, подгонял погонщиков и едва ли подчас не впрягался сам, когда веская колесница встречала препятствия, а их на петербургских улицах немало. Застонавшие, было, перед грозившей им бедой мосты уняли скреплениями и подпорами и все-таки принудили помогать нам.

Канал у Галерного острова углубили, соскребли со дна все следы прежних дел и бездействия. В марте начали разбивать на нем лед и в мерзлую кашу сталкивали оледенелые еще суда. С открытием навигации мы водили всегда под парами лодки в Кронштадт, и там начиналась необходимая в этом случае муштра.

Рядом с постройкой шло образование личного состава. Великий князь и исполнители его воли понимали, что все усилия не послужат ни к чему, если к созданным замысловатым вещам не приложится животворящая искра мысли и разума; они были убеждены, что во всем и везде царит человек с его все живящими и из всего извлекающими пользу духом и способностями. На мою долю достался Гвардейский экипаж с офицерами и матросами, готовыми подчиняться всякому должному направлению, самолюбивыми, ценившими службу, несмотря на прежнее искажение ее цели, бодрыми духом и телом, горевшими желанием показать себя. К сожалению, командир экипажа не соответствовал подчиненным и в сношения со мной вводил странную щепетильность. Однако же я умел выдержать себя и удачно плавал между Великим Князем, командиром будущего отряда гвардейских лодок и его подчиненными, не возбуждая порывистого начальника, по природе не терпевшего сопротивления, не выставляя странностей Мофета его подчиненным и поддерживая в последних огонь ревности и бескорыстного усердия, которым они пылали. Вообще ежедневные в течение шести лет сношения мои с великим князем и флотом были для меня трудной нравственной школой, но я прошел весь курс до конца, не прервал своего воспитания порывом отчаяния или неуместной гордости.

На Галерном острове устроили под навесом батарею, представлявшую палубу лодки с ее орудиями; с нее вместо отдыха стреляли после работы в поставленный на льду сруб, верно изображавший лодку на воде. Артиллеристы приучались к меткой стрельбе, а все будущие деятели на лодках убеждались, что при введенных предохранительных средствах нелегко было неприятелю взорвать лодку бомбой. Практика вселяла двойную уверенность. Будущие механики катались по Царскосельской и Николаевской дорогам, а помощники и машинисты учились на заводах. До того времени на небольшом числе пароходов, бывших во флоте, механиками были иностранцы, преимущественно англичане. Нам пришлось прибегнуть к русской сметке в минуту пожара — и русская сметка вывела, хотя ее вызвали внезапно и изощряли бегом локомотива нередко при двадцати градусах мороза.

Между тем, Севастополь, отпетый в Петербурге, стоял геройски, несмотря на тьмы врагов и наше собственное помрачение. Валились один за другим его твердосердые защитники, которым В. А. Корнилов указал путь к бессмертию своей славной смертью в первый день памятной осады.[58] Встал с колен и Николай Павлович, снова поднялся во весь рост и, перейдя от внезапного уныния к безосновательным надеждам, начал указывать, как должно действовать за две тысячи верст. Метода несколько странная и наделавшая много зла России, но справедливость требует упомянуть, что в этом случае государь последовал своей вредной привычке с пользой. Неприятель подступал окопами и траншеями; инженер-царь советовал контр-апроши. На костях и крови заложили Камчатский, Волынский и Селенгинский редуты, и упорное сопротивление, в котором моряки с затопленного уже флота оказались на суше такими же, какими были на своей стихии, начало обращать внимание всей России. Стали громко говорить, что заслуги севастопольцев забываются равнодуш-

ным правительством, винили князя Меншикова, что он не находил никого достойным похвал в городе, три месяца уже пылавшем в пламени, и удивлялись, что переход от отчаяния к надеждам не имел никаких последствий для тех, кто стойкостью своей возбудил эти надежды. Уведомленный о толках Меншиков прислал к Рождеству громадное представление. Во главе его был штаб покойного Корнилова, в том числе брат мой Петр, уже командовавший новыми восточными редутами. Против имени каждого были расписаны его заслуги, а в третьей графе указывалась испрашиваемая награда. Выразивши всю стойкость командовавшего четвертым бастионом контр-адмирала Ф. М. Новосильского, князь оставил награду на высочайшее усмотрение. Правитель дел князя Камовский рассказывал мне, что, дойдя до имени Новосильского, Меншиков задумался и проговорил: «Дадут, пожалуй, Станиславскую ленту». У Новосильского за Синоп висел Георгий на шее, но на плече еще не было никакого знака. Камовский советовал написать: «К Анне 1-й степени», на что Меншиков возразил: «Не дадут, братец, ты государя не знаешь», — и порешили оставить пробел. И действительно трудно было узнать Николая Павловича, коли не узнал его, как оказалось, за 25 лет все знавший Меншиков. Вероятно, вспомнивши бабку и в этом случае не стыдясь подражать решению, в котором та

За долгое терпенье
Давала души в награжденье,

Государь ко всем наградам, указанным Меншиковым, прибавлял и... кому крест, кому чин. Пробел против имени Новосильского был заполнен ошеломившей нас строкой: «Владимира первой степени». Цифра «1» была зачеркнута и заменена словами «первой» рукой, кажется, самого государя, чтобы не могло быть и речи об ошибке. Новосильский — бесспорно самая блестящая личность во флоте. Ему удалось быть участником во всех выдающихся делах, начиная с памятной битвы брига «Меркурий», за которую он, на первом годе лейтенантства, получил так долго выслуживаемые у нас толстые эполеты. Новосильский всегда считался добрым и бравым Феденькой, как звали его товарищи и не товарищи, и, конечно, заслуживал внимания как усердно исполнявший по мере сил все, что ему поручалось под наблюдением других. Его всегда считали родившимся в сорочке, но великодушный порыв Николая Павловича изменил мнение. Стали сознавать, что Феденька вышел на Божий свет прямо в мундире.

Коснувшись наград севастопольцам, в числе которых был брат Петр, провожу его в славную могилу. Дни молодого ревнителя были уже сочтены. На него сыпались награды: с декабря по май он произведен в капитан-лейтенанты, бывши лейтенантом всего четыре года и имея 25 лет от роду; награжден Владимиром 4-й степени и, наконец, удостоен полевой думой ордена Св. Георгия 4-го класса, по следующему представлению С. А. Хрулева: «Петр Алексеев Шестаков, командуя Селенгинским редутом, а потом заведывая всеми укреплениями за Киленбалкой, возводил их под жестоким огнем неприятельских батарей. Хладнокровие и достойное удивления мужество венчалось полным успехом работ как по устройству, так и по сооружению этих укреплений. Меткий и разрушительный огонь управляемой им артиллерии, несмотря на превосходство неприятеля в средствах и в выгоде местности, уничтожает постоянно все покушения беспрестанно восстанавливаемых батарей, направленных с особой жестокостью на эту часть нашей линии».

Вспоминая о стольких личностях, встречавшихся мне на пути жизни, умолчу ли о кровном, о птенце моем Петре, вступившем в нашу черноморскую семью под моей охраной. Передам эту чистую, юную душу собственными ее предсмертными словами, высказавши уже мнение о нем, мнение героя-начальника. Вот что писал Петр к отцу от 26 февраля 1855 г.:

«Находясь после смерти незабвенного Вла-

димира Алексеевича (Корнилова) со всем штабом его в распоряжении М. Н. Станюковича, я продолжал прежние занятия по батареям, снабжая их людьми, офицерами и материалами... Соскучив хлопотливыми, хотя и не бесполезными занятиями, ставившими меня в неприятные столкновения с начальниками, я давно хотел получить батарею, конечно, по возможности интересную. Случай представился... Князь решился выдвинуть вперед несколько редутов в упор к неприятельским траншеям. Я просил и получил в командование первый из заложенных на нашем левом фланге. Неприятель, увидя работу, сделал ночью нападение на своего нового соседа. Без артиллерии, ничем не прикрытые еще люди, 4 000 Волынского полка под командой храброго А. П. Хрущова (брата нашего адмирала) отбили напор 7 000 французских охотников, потерявших 12 офицеров и 400 солдат убитыми; у нас выбыло из строя 3 офицера и 300 рядовых. Обагренный кровью при рождении редут сделался предметом общего внимания и командование им я считаю истинной наградой».

Действительно, на Волынский и скоро подчиненный брату Селенгинский редуты было обращено общее внимание. Неприятель громил их неустанно, понимая всю важность редутов, беспрестанно срывал валы по мере того, как защитники вновь поднимали их, и держал гарнизоны в вечном огне.

С известием об одном из нападений на редуты прибыл в Петербург граф Сухтелен, адъютант нового крымского главнокомандующего, князя Горчакова. Великий Князь сочувственно передал мне, что брату оторвало ногу, и я уведомил о том отца с возможными предосторожностями. Следовавшие одна за другой смерти брата Дмитрия и только что вышедшей замуж сестры Марии потрясли твердого старика, пережившего тех, кого считал продолжением своим в здешнем мире. Как и какие сердца бились в терзаемом Севастополе, видно из ответа П. С. Нахимова и самого Петра к отцу, тотчас спросившего, как умер сын его.

«Спешу благодарить Вас за внимание ко мне, — писал Нахимов, — почтенный ветеран и представитель начала школы, в последователях которой Вы можете считать весь Черноморский флот. С грустью я должен сознаться, что родоначальник ее, покойный адмирал Михаил Петрович, конечно, готовил нас не для того, чтобы с укреплений Севастополя смотреть, как труды и самые сладкие надежды жизни его рушатся и, может быть, скоро окончательно и бесплодно погибнут. Пересоздавая флот, образуя сословие, которое было бы способно понять и выполнить благородные и глубокие его намерения, он теперь должен быть совершенно счастлив, что смерть не дала ему быть свидетелем уничтожения всего им сделанного. Флот погиб, но не в честном бое, а затоплен нами не от страха сразиться с сильным врагом на море, а из необходимости пожертвовать им для спасения Севастополя, цену которому Россия узнала только теперь!».

«Сын Ваш Петр от Георгиевского креста, который заслужил на прославленных Волынском и Селенгинском редутах и оправдал доверие падшего героя, его начальника, покойного Владимира Алексеевича. До сих пор он цел и невредим, благодаря молитвам почтенного отца своего. Советую Вам не верить никаким слухам, кроме тех, которые Вы получите от друзей из Севастополя, — а нас у него довольно. Племянник Ваш Дровецкой (воспитывавшийся у нас в доме одновременно с братом Петром) был не так счастлив; вторая контузия принудила его искать необходимого отдохновения в кругу родных; он вел себя молодцом и Владимира с бантиком не даром носит!». В то же время адмирал-сердце писал мне: «Зачем, Иван Алексеевич, Вы встревожили Вашего почтенного старика. Или Вы забыли, что у Шестаковых много верных друзей в Черноморском флоте?».

Сам Петр успокаивал отца следующим письмом, последней беседой любящего сына:

«... Попов, пересылая мне записку, вложенную в его конверт, пишет, что успокоил уже

Вас на мой счет. Душевно благодарен за это ему и П. С. Нахимову, который, не шутя, рассердился на всех петербургских вещунов, приезжающих к нам за новостями поверхностными, ни на чем не основанными. Вероятно, и г. Сухтелен, принадлежа к их числу, не потрудился вникнуть в слова, ему сказанные, забывши, что каждый из нас имеет родных, принимающих в нас участие, и решился доложить великому князю небывалое. Впрочем, не один он ошибался в самой простой причине. В последнюю очень сильную бомбардировку редуты наши потеряли две тысячи человек, при переносе раненых на вопросы прохожих обыкновенно отвечают: "Без ноги! С редута Шестакова", – и это не раз подавало повод знакомым считать меня убитым. Но милостью божьей на мне до сих пор нет еще знака от неприятельских выстрелов. Убеждение в неверности сведений, развозимых из Севастополя по России, заставляет меня просить Вас не принимать за верное известие ни от кого, кроме Попова, с которым я заключил на этот случай взаимный контракт...».

«... Новый главнокомандующий французов Пелисье употребляет большие усилия на увеличение орудий и надеется скоро окончить осаду. Трудно предсказать конец, но можно с уверенностью сказать, что г. Пелисье встретит должное сопротивление... Дай Бог оправдать последнюю награду (Георгия 4-го класса), которую ценю выше всех, прежде полученных мною!».

Через семь дней редуты уже не существовали, и о храбром начальнике их не было никакой вести. Вошедший с ним в загробный договор А. А. Попов поберег отца и послал ему следующее, поддерживавшее еще надежду старца письмо:

«Не знаю, как и с чего начать письмо к Вам... Вам известно, что сын Ваш, мой добрый и благородный друг Петр Алексеевич, нес с честью аванпостную службу. Бездарный предместник Хрулева Жабокрицкой и столь же неспособный начальник гарнизона Сакен (ныне граф), несмотря на представления П. А. и многих об опасности состояния редутов, не вздумали усилить их гарнизонов, и неприятель после жестокой бомбардировки, в которую уничтожил артиллерийскую оборону редутов, взял их штурмом. Петр Алексеевич, только что проводивший адмирала Нахимова до Киленбалки, возвращался в это время на свой пост. Увидя опасность, он тотчас же бросился к прикрытию, взял батальон Муромского полка и повел в штыки. Пуля в ногу сразила его; батальон смешался; он остался в руках неприятеля... Далее я ничего не знаю, до сих пор о нем нет никаких известий от неприятеля. Я уже хотел отслужить панихиду за упокой души его, но адмирал Нахимов, А. П. Скюдери (двоюродный брат наш, павший после на Черной речке) и все любившие его удерживают меня, ожидая с уверенностью известия о его жизни».

Князь Меншиков, отозванный от армии и возвратившийся в Петербург в начале 1855 года, лично хвалил мне брата и сожалел о его раннем конце. По словам князя, не грешившего снисходительностью к людям, Петр держал себя с большим достоинством и никогда не принимал участия в «сплетнях между нами», как выразился князь об отношениях его к местным властям.

Долго ходили о брате самые разноречивые слухи. Все знавшие меня или желавшие угодить высоким лицам, принимавшим во мне участие, старались добиться истины и посылали в Петербург последние справки и известия. Даже Горчаков доносил за верное, что брат в плену тяжело раненый, и государь, милостивый к моим трудам, удостоил меня в Петергофе, на ферме, довольно долгим разговором о брате. В то время был захвачен в Финляндии английский лейтенант Дженест, высматривавший под прикрытием парламентарного флага расположение прибрежных отрядов наших. «Мне хотелось проучить его и продержать подольше в плену, – сказал Его Величество, но, узнавши о твоем брате, я велел

тотчас же произвести обмен». Впоследствии справлялись во Франции, в различных депо пленных, предполагая, что Петр ранен так, что не может ни говорить, ни писать. Все было напрасно.

Мне было 34 года. Суровая, строгая обязанность в течение шестнадцати лет поглощала мои способности и данную мне жизненную силу. Непрерывная работа последнего года произвела особенно сильную душевную реакцию: что-то пренебреженное, забытое, обделенное начало требовать участия в моей жизни. Подметив мое настроение, добрые родные стали оказывать мне помощь, равно приятную помогающему и помогаемому, и склонили меня ехать в житницу невест, матушку Москву. Дядя И. С. Храповицкий принял меня под свое сватовское покровительство, поместил у себя на Кисловке и, не теряя времени, познакомил с почтенным семейством, славившимся богатыми невестами.

На Солянке в собственном доме жил князь А. П. Оболенский, не глава семьи, а патриарх племени Оболенских, в особенности с тех пор, как к собственным многочисленным потомкам и родным присоединились Оболенские другой ветви вследствие вторичного брака князя с княжной Н. П. Оболенской же. Сестра княгини Александра Петровна была замужем за Л. И. Михайловским, большим приятелем отца моего и дальним нашим родственником. В 1834 году нежно любившие друг друга супруги скончались через несколько часов один после другого и были вместе погребены в Могилеве, где Алексей Иванович состоял тогда на службе. Отец пригрел у себя временно двух оставшихся после них малюток: одна скончалась у нас в доме, другая, Надя, была взята на попечение дедом, князем Н. П. Оболенским. По рассказам семьи я узнал, что в Москве живет кузина, вышедшая уже из детского возраста и, разумеется, захотел познакомиться с интересной незнакомкой.

Я отправился в Москву более из любопытства, нежели с целью жениться, оторвавшись от дела на рождественские праздники, но никогда не был так мало любознателен. Бывало, в самом ничтожном городке осмотришь все закоулки, а теперь приехал в колыбель отчизны, и какое-то необъяснимое, дотоле незнакомое равнодушие уничтожило всякую во мне деятельность. Дядя тянет в Газетный переулок, а я скачу на Солянку, сижу там целые часы.

7 января я снова был в Петербурге и, переписавшись с отцом, сделал предложение не через попечительницу, заменившую Наде мать, а напрямик, по-морскому, самой кузине, уверенный, что в таком деле важно прежде всего собственное ее согласие. Солянские благодушные старожилы, поняли это и ответили согласием. На масленице я еще раз оторвался от моих галер, примчался, хотя с большими препятствиями, в Москву, стал женихом официально, и весь великий пост ежедневно, а иногда при оказии и дважды в день переписывался с моей будущей женой. Усталый, нередко голодный и измокший возвращался в мой скромный угол и, как был, садился выписывать душу мелкой скорописью. Переписка наша была весьма интересна — мы вполне узнали друг друга за семь недель, и в воскресенье на Фоминой обвенчались в церкви воспитательного дома. Это было 3 апреля, а 4-го мы уехали в Петербург, где тотчас же началась прежняя моя жизнь, т. е. я уходил рано и возвращался домой, правда, с совершенно иными чувствами, в восьмом часу вечера. Больно было нам ломать себя в первые чарующие дни супружества.

ГЛАВА VIII

СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

**Смерть Николая Павловича.
Новый царь оказывается царем. Петербург бодреет.
Похороны. Представление ко двору.
Мои быстрые успехи по службе.
Характер генерал-адмирала.
А. В. Головнин. Бездействие наше в Кронштадте.
Бомбардирование Свеаборга.
Мофетова битва. Постройка корветов.
Снаряжение партизанской эскадры в Архангельске.
А. А. Попов. Остатки черноморцев в Петербурге.
Отъезд мой в Соединенные Штаты.**

1855 год, в который я вступил преждевременно, чтобы не прерывать нити воспоминаний, совершенно изменил жизнь мою и знаменателен в жизни всей России. Волею Провидения сражена сила, запиравшая все отдушины, которыми могли выходить наружу способности и энергия, нарождавшиеся между Уральскими хребтами и Карпатами, от Ледовитого моря до «пламенной Колхиды». Крепкая плотина, задерживавшая стремления духа на Двинах, Днепре, Волге и Доне, даже на Рейне и Дунае, снесена могуществом, помогающим немощному смертному, когда не достает выделенной ему части Божественного влияния на созданный в его потребу мир. 18 февраля Россия стала жить новой жизнью — умер Николай Павлович.

С 16-го еще числа я был в Кронштадте с великим князем. В ночь на 17-е пришло известие о неудовлетворительном ходе болезни государя, а в 10 часов утра — другое, более тревожное. Не желая производить суматохи, великий князь сел за завтрак задумчивый и печальный, потом осмотрел некоторые работы. К трем часам все мы возвратились в Петербург. На столе моем лежали выпущенные один за другим три бюллетеня, громовые, отнимавшие всякую надежду. Генерал-адмирал проехал прямо в Зимний дворец и оставался там до момента кончины отца, полдня 18-го. Весь его штат, в том числе и я, собрался к этому времени на квартире Лисянского, жившего в Мраморном дворце. Вошел фельдъегерь, посланный великим князем из Зимнего дворца с ожидавшимся известием. Приехал вслед за ним сам великий князь, и адъютанты поскакали во все порты с вестью о новом царствовании и с приказаниями приводить войско и народ к новой присяге.

Петербург оцепенел. Начались толки о безвыходности нашего положения, предположения о близкой будущности, о необходимости тотчас покориться требованиям союзников. Размякшее столичное общество,

подчас роптавшее на железную руку, ими помыкавшую, оробело, когда омертвела направлявшая десница, и отчаялось в возможности предпринять что-нибудь без указания павшего богатыря. Горевали на все лады не о покойном, а из страха за собственную кожу; бранили Мандта, порицали членов царственной семьи за то, что они не умели беречь отца, даже не оставляли в покое певчих Исаакиевского собора, за несколько дней перед тем на службе о торжестве православия, запевших Николаю вечную память вместо многая лета.

Не бывши свидетелем, трудно представить трусость, перехватившую дыхание петербургского общества в момент начала нового царствования.

20 февраля все съехались во дворец принести поздравление новому государю. Он вышел к нам видимо расстроенный и после нескольких слов, касавшихся памяти отца, обратился к настоящим обстоятельствам. Понявши мгновенно, что над обязанностями сына в нем с 18 февраля должно было господствовать чувство долга слуги и вожатого России, новый властитель ясной речью, голосом, полным истинной скорби, высказал положение отечества, окруженного врагами, и решимость свою отбивать удары с нашей помощью и преданностью, в которых не сомневался. За несколько минут перед тем они принимал дипломатический корпус и обратился к нему со словами, полными достоинства и истинно царственного патриотизма.

Вот в переводе часть речи императора иностранным министрам:

«Торжественно объявляю, господа, что я остаюсь верен чувствам отца моего и буду настаивать на политических принципах, которыми руководствовался он и мой дядя, император Александр I. Это — принципы, легшие в основание Священного союза. Конечно, не отец мой виновен, если союз более не существует. Его намерения всегда были искренни, и если в последнее время не все признали их чистосердечие, Бог и история несомненно оправдают его. Я готов прямодушно протянуть руку для соглашения на принятых им условиях; как он, и я желаю мира и окончания бедствий войны, но если открывающаяся в Вене конференция не приведет к достойным нам результатам, тогда, господа, в главе верной моей России я пойду на бой с целым народом и скорее погибну, нежели уступлю. Сообщите, господа, слова мои вашим дворам».

Относительно внешней политики речь много выиграла бы при меньшей определенности. Одобрение взглядов отца пораженным его смертью сыном по своей естественности было бы принято всеми за требование приличия, но заплативши дань чувству сына, следовало остановиться и не распространяться о Священном союзе.

Он уже был похоронен; сам Николай Павлович участвовал в его уничтожении, признавши Людовика-Наполеона, и уверение, что новое правительство будет руководствоваться принципами, сплотившими союз, никем уже не признаваемый по словам самого государя, фактически расторгнутый, сердило только Европу и проводило слишком резко будущее направление новой власти, от которого она, вдобавок, тотчас же отказалась. Зато в России речь произвела общий восторг и благодетельные последствия.

Мягкий, благодушный и, как казалось, равнодушный наследник, приосанившись шапкой Мономаха, стал твердым властелином, стойкий в сопротивлении врагам и в покорности царям России. Петербург ободрился и после вступительного царского приема положительно замолк о Николае Павловиче. Останки его были выставлены в Зимнем дворце три недели. Народ валил поклониться праху, но более по религиозному чувству и из уважения к скорби нового государя.

Ясный морозный день похорон для всех участвовавших в церемонии был днем великолепного зрелища, имевшим праздничную

внешность! Не лобызались на улицах, как в день кончины Павла, но встречались радостнее обыкновенного и крепче жали друг другу руки.

Все, что в покойном государе относилось к правителю, что зависело от его политического воспитания или, лучше, от недостатка подготовки к положению, в которое поставила его случайность так враждебно божественному огню, согревающему человечество, наводит столь глубокую грусть на искренних почитателей света и истины, что пораженная мысль переходит с ужасом к воспоминаниям о великом грешнике. Сколько слез, горя, мучений! Сколько безвозвратно погибших, навсегда потерянных жизней! И какая бездна существований, зародившихся с заразой смрадных недугов, привитых своенравной волей одного! Верующий до суеверия, покойный император был предрасположен к фанатизму.

К несчастью России, фанатизм этот избрал стройность во что бы то ни стало, невозможную без уничтожения человека, без совокупления людей в стада, где личность сглаживается бесследно. Он считал себя избранником для торжества самодержавия и скоро смешал его с азиатским произволом. Самодержавие необходимо как известная форма власти, но, очевидно, как форма временная, переходная, годная до тех только пор, пока в массе не вырабатываются способности разумного пособия. Во всякое время можно облекать одно лицо властью неограниченной.

Вихри, кружащие народы, или мгла невежества над ними висящая заставляют прибегать к единой твердой воле, способной даровать тишину или озарить светом; но на это только назначение и должна служить противоестественная сила; к водворению спокойствия и просвещения должна она стремиться исключительно и непременно путями, которые ведут к скорейшему ее упразднению. Николай Павлович, не встречая толкователей истинной веры, впал в ересь и мало-помалу в конечный раскол воли с разумом и здравым смыслом.

«Государство — это я», — говорил безумец, также считавший себя представителем Бога на земле. «Я, — мог сказать его подражатель, — не государство только, а общество, семейство, самая совесть моих поданных» — и в этом ханском произволе тридцать лет стонала добрая, покорная Россия.

Порученная мне постройка флотилии подвигалась, между тем, успешно. Ни сватовство, ни самая женитьба не прервали, даже не замедлили работ. Старик отец, приехавший в Москву на нашу свадьбу, завернул оттуда в скромное убежище нашего счастья. Великий князь, знавший во всех подробностях негласную историю флота и тогда еще жадно ловивший все случаи пленять и шевелить сердца подчиненных, непременно хотел познакомиться с моим инвалидом, напомнил ему все подвиги молодых лет, позабытые уже 70-летним ветераном, и, наконец, отпустил опиравшегося на трость старца с отрывистым приветствием, метившим единовременно в души отца и сына. «Как Вам должно быть приятно, что сын идет по Вашим следам, что из него вышло много толку!». Восхищенный отец обнял меня в карете молча, со слезами. Мы поняли друг друга и расстались.

Время требовало больших жертв и, как ни металась душа моя, ум сохранял нужное спокойствие. К началу навигации, как я говорил уже прежде, лодки были в Кронштадте, и 21 мая, в день тезоименитства генерал-адмирала, я получил воздаяние. Живший с некоторого времени безвыездно в Кронштадте Великий Князь дал знать, что все желающие поздравить его могут встретиться с ним на плавучей пристани у Английской набережной, откуда он тотчас отправится в Царское село. В телеграфической депеше было сказано, чтобы мы с Лисянским непременно были на пристани.

К девяти часам утра на Английской набережной выросли мундиры, ленты и другие знаки тщеславия. Сам светлейший Меншиков как неисправимый царедворец вмешался в толпу прежних подчиненных, спешивших выказать уважение новому, заменившему князя начальнику. Ожидаемый пароход скоро пристал. Жадная быть замеченной толпа бросилась к августейшему имениннику, а он, обратившись с особенным приветствием только к своему предместнику, передал Лисянскому и мне знаки Владимира 4-й степени.

Генерал-адмирал бросился мне на шею, сказал, что очень рад служить вместе и, взявши адъютантские украшения, передал их мне с новыми поцелуями. Начали лобызать меня и присутствовавшие. Я очень хорошо отличал поцелуи братские от иудиных, но тогда мало заботился о последних, а потом забыл, совершенно забыл их.

После необходимых представлений все пошло по-прежнему, и 27 мая в Кронштадте я имел удовольствие увидеть первый выстрел одной из моих лодок, «Бурун», по французскому винтовому фрегату. Молодой командир погорячился; не менее того, флотилия дала неприятелю весть о своем существовании.

На первом представлении в качестве адъютанта государь принял меня с обворожительной лаской. Между августейшими лицами, к которым я приходил с поклоном, Елена Павловна говорила со мною, разумеется, более и долее прочих, пустилась в сетования о наших неудачах, выказавши мне не строгость суждения только, а явную оппозицию, и убедила меня, что посланные ею в Крым сестры милосердия, помимо прямой филантропической цели, служили средствами сношений великой княгини с местом действий. Мне показалось, что любознательность ее заходила слишком далеко, по крайней мере, выказывалась не совсем кстати в первые дни нового, еще не окрепшего в общем мнении правительства. Но всех более, почти исключительно, занимал меня непосредственный мой начальник. Уже полтора почти года я был с ним в ежедневных личных сношениях, говорил о многом — и было о чем беседовать в то время, писал ему еще более, тоном, о котором легко заключить по приведенной записке касательно флотилии, возражал на его пометки против моих мнений, одним словом, не стесняясь, опровергал его мысли и стоял за свои. И тогда, и впоследствии великий князь был умственно милостив ко мне, никогда не оскорблялся моей резкостью и, очевидно, принимал душой, что от души исходило.

Не все, однако же, были так же счастливы, и в обращении со многими я заметил в нем недостатки, совершенно противоположные качествам, выказывавшимся в личных моих с ним сношениях. Сделавшись его адъютантом, я старался собрать для самого себя выводы моих наблюдений, чтобы по ним составить план собственного поведения, и 21 же мая, порадовавшись с женой моему новому успеху, поверил неизменному другу моему, дневнику, мои впечатления. Я назвал адъютантство мое новым успехом. С некоторого времени судьба действительно баловала меня.

За шестнадцать лет службы на Черном море я имел ордена, соответственные чину обер-офицера, — все за военные действия на Кавказе, и только чин капитан-лейтенанта достался мне не в очередь собственно за службу, дополняемую переводами и сочинениями, которые признавали для флота полезными. Масса труда во все это время превосходила без сравнения усилия последних восемнадцати месяцев, но на Черном море, или в Черноморской республике, как я когда-то назвал Черноморский флот, не приучали к мысли, что за всякий труд следовало воздаяние.

По возвращении из Англии я попал в чистый, кровный монархизм. В полтора года я

получил Анну на шею, чин капитана 2 ранга, бывши капитан-лейтенантом четыре только года, Владимира 4-й степени и адъютантские аксельбанты; в следующем 1856 году произведен в капитаны 1 ранга. Скажите, ради здравого понятия о людских слабостях, была ли мне возможность не только сделаться республиканцем, но остаться им, если я был им прежде! Довольно и того уже, что я не перестал быть человеком. Но возвращусь к моему покровителю.

«По образованию, сообразительности и уму выродок в семействе, — писал я нецеремонным языком бесед с самим собою, — гораздо серьезнее братьев, но не изъят умственной лени, как все родные, не способен предаться надолго исследованию и преследованию какой-либо мысли. Беспрестанно живой ум требует нового. Рассудок не подчиняет себе характера, пробивающегося сквозь стеснительный путь приличия и положения. Говорит — просто мудрец, человек самый либеральный и, вдобавок, практический, но поступки не всегда согласны со словами, проглядывает и произвол, и небрежение к человечеству... Ценит он людей, насколько они нужны. Говорят, в начальнике это достоинство, но в человеке, тем более в молодом, подобная расчетливость отвратительна. Едва ли он трудится для истинной пользы флота и государства; по-моему, природная суетливость и безмерное самолюбие подвигают его на деятельность. Ему хочется создать все вдруг, чтобы улучшения были заметны, очевидны каждому... Находясь в беспрестанном сообществе мыслящих людей, он присваивает мысли, ему не принадлежащие, и часто выдает их за свои тому, кто сообщил их ему; это случается со мной нередко. Конечно, это происходит не от лукавства ума, а по забывчивости. Впрочем, великий князь имеет некоторое право выдавать чужие идеи за собственные и вот почему: тотчас по сообщении мысли, или даже ее абриса, он быстро прогонит ее по всем углам мозгов и необычайной сообразительности, анализирует со всех сторон, найдет препятствия или облегчающие исполнение данные, которые и не грезились самому предлагавшему ее, систематически изложит свои взгляды на мысль, уже принявшую вследствие его манипуляции известную толщу, и таким образом восполненную, возвратит идею для дальнейших соображений или для приведения в действие.

Я принял за правило говорить ему всегда правду, как понимаю ее, и молчать, если он держится чего-либо с упорством... Недостаток практичности и знания людей нередко вводит его в ошибки, особенно при скорости и самонадеянности, ему свойственной. Он любит популярность и часто для нее грешит против убеждения. Славяноведы видят в нем опору, но ошибутся, если думают, что через него достижимы серьезные перемены». Портрет моего покровителя дополнится впоследствии не одним штрихом; они клались на полотно по мере того, как сам оригинал доставлял мне краски; теперь же обращусь к сателлитам планеты, которая казалась необходимой в новой солнечной системе, животворившей Россию, и замечания мои отнесу преимущественно к А. В. Головнину.

Александр Васильевич перешел к великому князю от князя Меншикова. Еще до принятия великим князем должности управляющего министерством Николай Павлович поручил ему пересмотр морского уложения. Константин Николаевич принялся за дело со всем рвением молодости, признанной способной на весьма важное занятие, и выбрал Головнина делопроизводителем учрежденного под его председательством комитета. Обращались за мнениями касательно вновь составленного проекта к В. А. Корнилову, прося его разослать экземпляры известным ему личностям. Я только что возвратился из первой поездки в Англию и вместе с другими получил от Владимира Алексеевича на

рассмотрение экземпляр великокняжеского труда. Работа сблизила великого князя с Головниным, и в описываемое мною время он был весьма влиятельным уже частным секретарем его.

Здесь незачем приводить доказательств тех чистых, современных и согласных с пользой государства воззрений, которые проводил еще чистосердечный тогда Великий Князь в своем управлении. Помещу одно только свидетельство наклонности генерал-адмирала ко всему, что удаляло лесть и лживость. К несчастью, пример этот выкажет знакомым с последующими подробностями и ту гибельную перемену, которую успели произвести в способном молодом деятеле.

«В одной замечательной записке "О нынешних тяжелых обстоятельствах России", — пишет таинственный затворник Мраморного дворца,[59] рассылая подписанный обеими руками искреннего еще великого князя циркуляр, — при указании причин, которые довели нас до нынешнего бедственного положения, между прочим, сказано: "Многочисленность форм подавляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то, по крайней мере, постепенно должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды, и редко где окажется прочная плодотворная польза. Сверху — блеск, внизу — гниль. В творениях нашего официального многословия нет места для истины; она затаена между строками, но кто из официальных читателей всегда может обращать внимание на междустрочия?". Прошу В. П-во сообщить эти правдивые слова всем лицам и местам морского ведомства, от которых в начале года мы ожидаем отчетов, и повторить им, что я требую в помянутых отчетах не похвалы, а истины, и в особенности откровенного и глубоко обдуманного изложения недостатков каждой части управления и сделанных в ней ошибок, и что те отчеты, в которых нужно будет читать между строк, будут возвращены мною с большой гласностью».

И через пять-шесть лет поднятое знамя правды и искренности вручили человеку,[60] взросшему в школе, где не только преподавали фальшивость как науку, но где учителя не стыдились даже учеников, обманывая в их глазах верховного ценителя. Прежде лесть и ложь преподносились на умственной рапире, фехтовали способностями, от которых способностями же можно было отпарироваться; теперь стали сыпать тот же ядовитый порошок из картечницы со своеобразной, изобретенной Краббе примесью. Еще прежде сосредоточили в канцелярии деятельность всего министерства до того, что некому было замечать междустрочия. Отчеты сводились и переливались в нужную форму директором, имевшим всегдашний доступ к великому князю как его адъютант, предварительно заручившимся согласием и одобрением генерал-адмирала и подносившим самим им уготовленное яство для несомненной апробации.

Чтобы столь радикально изменить великого князя, Головнин взялся за немногие его недостатки и действовал так настойчиво, что осилил громаду качеств. Великий Князь беспрестанно хотел новых умственных ощущений, чтобы утолить ненасытную свою деятельность. Головнин бросался всюду, везде собирал идеи и проекты, испрашивал устно и письменно, вокруг себя и во всех краях, дальних и близких, неутомимо наполнял целые листы бумаги и даже, несмотря на требовавшую покоя натуру, суетился и двигался в изнуряющие знойные дни и в морозы, от которых цепенела природа; короче, не давал покоя своему болезненному телу, лишь бы иметь всегда в запасе возбудительное лекарство, и не подносил его великому князю боль-

шими дозами, чтобы не истощить запасы, а постепенно, искусно подмечая конец действия прежнего приема.

Страсть Великого Князя к популярности Головнин удовлетворял также неусыпно. Чтобы имя Великого Князя шумело в публике, Головнин склонял его «выбирать новые мехи для нового вина» между воспитанниками лицея, правоведения и университетов (из последних весьма, впрочем, мало), принадлежавшими к известным фамилиям. Этим способом секретарь открывал себе нужные аристократические двери. Ему хотелось скорее взобраться наверх правительственной лестницы, и он не только отстранял все препятствия, но готовил своего патрона подпирать себя и не задумывался даже жертвовать собственными мнениями, если они мешали главной цели.

Непокладистых помощников удаляли, оговаривая их скопом; великого князя убеждали, что флот — недостаточное поле для его способностей, что ему следует быть прямым помощником брата в государственном управлении, что нет людей для нового порядка, необходимого России.

Плодовитый мыслями, но ленивый в изложении их, требовавшем усидчивого труда, Великий Князь сообщал их наметавшемуся в деловой редакции секретарю и через час, много два, получал свою идею в крови и плоти, т. е. на бумаге и в чернилах, готовую для сообщения кому заблагорассудится. Также скоро передавались приказания великого князя, и передачей не кончалось дело. Определены были промежутки времени для запросов о ходе дела, для понуждений и, наконец, для передачи дела другому исполнителю. Все это писалось той же четкой рукой, сообщалось ясным деловым слогом.

Понятно, однако же, что подобный человек скоро стал необходимым желавшему высказать себя великому князю.

Не раз Головнин убеждал меня, что я напрасно ищу в великом князе сочувствия всему возвышенному, истинному, напрасно силюсь прививать мои воззрения к столь несовершенному стеблю, что он имеет бесспорно много способностей, но природа назначила его быть только орудием для выполнения замыслов других.

С своей стороны великая княгиня, заключая из особенного внимания великого князя ко мне, будто я могу иметь на него влияние, не раз вызывала меня на противодействие «à ce vilain bossu»,[61] как выражалась она, гневно вытягивая обворожительные губки. Я совершенно понимал всю несносность головнинского влияния для Великой Княгини, даже иногда ей сочувствовал, но вместе с тем для меня не менее было понятно, что жена хотела устранить вредное на мужа влияние единственно с целью заменить собственным. Я отвечал постоянно, что состою адъютантом <u>при генерал-адмирале</u>, надавливая звуки на этом титуле, и отклонялся от всякого неясного и неявного действия. Во все пять лет адъютантства я был занят особыми поручениями и ни разу не дежурил в приемной Великого Князя.

В июне, в ожидании атаки неприятельского флота, великий князь перебрался на пароход «Рюрик», куда я за ним исследовал. Жену взяла к себе в Петергоф добрая родная А. И. Гейден. Обыкновенно я приезжал на воскресенье, в уверенности, что англичане будут «чтить день субботний», и рано в понедельник возвращался к делу.

Наша линия, оборонявшая слабейший пункт — северный проход между Кронштадтом и матерым берегом, — состояла по-прошлогоднему из нескольких обезмачтованных кораблей и всех девяти колесных пароходов, поставленных туда по моему совету. 150 гребных лодок и 40 винтовых составляли вместе с пароходами подвижную силу, готовую перейти к угрожаемому пункту. Винтовые лодки были разделены на два отряда; каждый имел начальником адмирала, а мы с Лисянским, как выражался великий князь, были «его глазами».

В беспрестанных поездках между «Рюриком», винтовыми лодками и судами, оборонявшими линию, прошло короткое лето.

Неприятель облокировал Кронштадт с самого начала навигации, ставши с главными силами на Северном рейде. Мало-помалу к нему подходили изготовляемые в Англии паровые лодки и бомбарды, но в Балтике вовсе не было покрытых железом батарей, явившихся на Черном море к концу года. По Северному рейду беспрестанно двигались его суда, промеряя и высматривая, а мы не пускали изготовленной за зиму силы вне новой ограды, за зиму же устроенной в трех верстах от Петровской, на северном фарватере.

На юг от форта Павла к Ключинской пристани провели такую же ограду, и неприятелю нужно было разорять их под выстрелами или лезть на укрепленный рейд; ни того, ни другого ему вовсе не хотелось. Вдобавок мы везде набросали мин, тогда только что начинавших входить в систему обороны. Неприятель выуживал их беспрестанно; даже случайно натыкаясь на них, вовсе не терпел от слабых взрывов.

На двух английских пароходах «Merlin» и «Fairfly» перебило от толчка только хрусталь и посуду, а у Свеаборга, наткнувшись на мину, затонул наш пароход «Медведь», да в Кронштадте отрывавшиеся мины по временам били купавшихся людей. Видя нашу бдительность и вместе нерешительность, неприятель не атаковал северной линии, но посылал лодки к Сестрорецку и жег его бомбами. Однажды была перестрелка, не имевшая последствий.

До исхода июля союзники ничего не предпринимали в Финском заливе, кроме атаки наших лодок в Выборге и стрельбы по прибрежным батареям в Нарве. Они выходили на берег в незащищенных пунктах, часто под прикрытием переговорного флага, и в одно из таких покушений был схвачен лейтенант Дженест, о котором я упоминал по поводу предполагавшегося размена брата Петра. Англичане закричали, что мы хватаем парламентеров, а мы криков не слушали и, наконец, решились объявить им, что будем принимать парламентеров только в портах, где есть начальство, пристающих же произвольно к берегу в случае взятия станем считать военнопленными. С этим объявлением я был послан к начальнику английского флота Дундасу, заменившему шумного Непира.

Как ни старался я добраться до адмирала, он меня не принял, ссылаясь на то, что прислали переговаривать офицера неравного с ним чина, а выслал начальника штаба Пелема, тоже адмирала. Чин здесь был ни при чем. Просто Дундасу не хотелось пускать меня в середину флота, и он поручил помощнику встретить меня в начале линии. Впрочем, нечего было высматривать, все средства неприятеля были нам известны и постоянно видны с наших наблюдательных пунктов. Очевидно, он хотел только дразнить нас и, уверившись в спокойствии нашего нрава, лишь изредка стрелял по прибрежным пунктам, более с целью разнообразить томительную блокаду, нежели с намерением вредить нам.

Огромные вооружения союзников возбудили в западной публике соответственные надежды. Севастополь еще дышал, несмотря на потерю передовых редутов и на страшный урон гарнизона. В числе жертв 28 июня пал П. С. Нахимов. Живо помню, как спускаясь с палубы «Рюрика», я встретил у каюты великого князя с телеграфической депешей в руках и с глазами, полными слез. Потеря крепкого и крепившего других своим духом рыцаря произвела впечатление на весь двор и общество. Не имея лично известных качеств, можно ценить доблести в других, особенно по смерти их, притупляющей жало злости.

Драма близилась к концу. Уже начали перекидывать через бухту мост, по которому в

сентябре совершили последний акт, достойно закончивший кровавый и памятный в наших летописях турнир.

Но нужно было немедленно успокоить волнение уже в Англии и Франции, и союзники в исходе июля бомбардировали Севастополь. Флот стал вне выстрелов укреплений; впереди поместились едва видные от воды бомбарды с пятипудовыми мортирами, а лодки выбегали из-за линии и бросали бомбы на ходу. Мортирами же был укреплен низменный островок, и эта неподвижная батарея нанесла крепости наибольший вред.

Огонь продолжался двое суток. Конечно, мы отвечали, но совершенно напрасно, чтобы бодрить только гарнизон. Наши орудия были ничтожны в сравнении с неприятельскими, и снаряды не долетали. В крепости сожжены магазины, казарменные флигели и кое-какие запасы. Последние мы потеряли даром, стоило только свезти их на корабли, стоявшие вне выстрелов на рейде, но в Свеаборге, как вообще на севере, не было ни опытности, ни находчивости, которая приобретается в мирное время только постоянным помышлением о требованиях службы и быстрым исполнением их без начальничьего присмотра, по указанию собственного соображения, совести и чувства долга. В узком Густавсвердском проходе поставили как вещественное препятствие к прорыву стопушечный корабль «Россия». Невынутые мачты его служили явным признаком для направления неприятельских выстрелов, и корабль в первый день потерял без всякой пользы и надобности до ста человек, отвечая одним только орудием, поставленным на верхней палубе и способным стрелять под большим углом возвышения. В ночь корабль убрали.

К Сандгамским батареям, по восточную сторону Свеаборга, неприятель должен был подойти ближе вследствие гидрографических условий местности; два корабля и фрегат пострадали там от наших выстрелов. Кроме истребления того, что могло гореть, Свеаборг потерпел мало; подбито всего три пушки и общий урон не превосходил двухсот человек, но враги отделались, как на маневрах, без потери.

За недостатком современных орудий для обороны надавали свеаборгским защитникам вновь введеные мечи на ордена и дело кончилось к обоюдному удовольствию обеих сторон. Почти единовременно с атакой Свеаборга было действие в Кронштадте наших винтовых лодок; оно перейдет в будущее (если перейдет) под названием Мофетовой битвы.

Государь закладывал новый Кроншлотский форт. Ловкий Мофет, командовавший гвардейским отрядом винтовых лодок нашел нужным именно в это время отправиться на южный фарватер, давно вымеренный и известный, для промера.

Желание показать государю вновь созданную силу в движении и тем угодить создавшему ее Великому Князю само по себе не обвинится строгим даже судьей. По окончании церемонии император пошел на пароходе обратно в Петергоф; великий князь со свитой следовал за ним же. На полпути мы услышали и увидели выстрелы, производимые с двух сторон и, разумеется, тотчас воротились в Кронштадт, прямо к форту Павла. С него государь смотрел до конца на то... чему трудно прибрать название.

Скучавшие, как и мы, союзники, заметив несколько лодок за оградой, отрядили винтовой фрегат и два колесных парохода. Зная, что у нас положены мины, неприятели остановились на благородной дистанции, как говорится, вероятно, потому что на дальнем расстоянии нельзя ввести в дело плебейские кулаки. Началась перестрелка, поворотившая нас обратно в Кронштадт.

Взойдя на валганг Павла, государь послал мена на своем катере узнать, как идет дело, все ли благополучно. Я осмелился просить позволения подойти ближе, выставляя, что нет

ли малейшей опасности атаковать стесненного минами в движениях неприятеля рассыпным строем, а случай прекрасный отучит его тревожить нас даром. «Подожди других лодок, — отвечал государь, — и тогда с Богом!». Действительно, всем лодкам сделан был сигнал, и дым уже покрывал восточный горизонт.

Лодки были кость от костей моих, на них потратил я время, способности, им я пожертвовал душой, которую звала чистая, искренняя привязанность. Вспомнилось мне, что если бы не случай, я пылал бы в это время на священных стенах Севастополя, уже обагренных родной мне кровью. И без огня, зажженного независимо от человека при его рождении, можно ли было в таких условиях остановиться перед какими бы то ни было соображениями?

Я помчался к лодкам с твердым намерением осрамить Мофета и увлечь его за собой. Зарядили детскую катерную карронаду, игравшую в лучах солнца. Передавши Мофету вопрос государя, я греб далее по направлению к неприятелю. Наши ядра летали мимо в ответ на неприятельские, но ни те ни другие не долетали до цели. В этом случае орудия борьбы были равносильны.

Наскучив бесплодной пальбой, неприятель удалился. С катером я пошел прямо к форту Павла хорошо известной мне дорогой, и там, отдавши государю отчет, прибавил, что никакого урона нет и быть не могло, так как противники пугали друг друга на слишком большом расстоянии.

Мое правдивое донесение, видимо, не понравилось; прекративши со мной разговор, государь велел закричать проходившему в то время с лодками герою дня, чтобы он явился тотчас на форт Павел. «Мофет сам нам расскажет», — прибавил государь. И рассказал же Мофет, так что ни в сказках сказать, ни пером описать. Один из неприятельских пароходов был положительно подбит; люди действовали неустрашимо и хладнокровно и пр., и пр. За этим последовало лобызание, а потом — три Георгиевских креста для отличившихся.

Несмотря на возможные развлечения, которые старались доставить нашему августейшему адмиралу новые пособники его по управлению флотом, тоска бездействия в виду неприятеля истомила его и в исходе июля он оставил командование, лишившее всех удовольствий и вовсе не сулившее славы. Успех постройки паровой флотилии до того возвысил мнение его о наших средствах и способностях, что он захотел непременно выстроить для обороны Кронштадта в будущем году 14 мелкосидящих корветов.

Поспешность в деле, которое считал совершенно излишним, очень огорчила меня. Я боролся против исполнения задуманного плана. Все было напрасно: Великий Князь вследствие удачной борьбы с препятствиями пришел к заключению, что для него вовсе не существует препятствий и упорствовал в постройке.

Зная, что мелкосидящие суда удовлетворят только прибрежным надобностям и не будут способны к дальним посылкам, я настаивал, чтобы их строили, имея, по крайней мере, в виду последнюю цель, и, к счастью, настояния мои были приняты. Тотчас по окончании войны Великий Князь, весьма ясно понимавший, что морское искусство стало исчезать не только в рейдовом бездействии на севере, но и в славной береговой деятельности на юге, захотел вновь привить его немедленной высылкой корветов в океанское плавание.

Суда, против которых я употреблял всю энергию сопротивления, данную мне природой, были рассадником нового поколения офицеров, постигших прихоти всех морей и самыми несовершенствами механизмов распространявших знания и опытность в новом паровом деле. Корветы строились на Охте, где образовалась целая колония офицеров, большей частью черноморцев, спасшихся с развалин Севастополя, и где жил я сам в каче-

стве начальника штаба эскадры, вверенной контр-адмиралу Е. А. Беренсу. Постройка продолжалась до осени 1856 года.

Великий Князь, уехавший осенью 1855 года на юг вместе с государем, следил оттуда за ходом работ, и немногие ночи проходили для меня спокойно. Побуждающие телеграммы или курьеры с записками за две тысячи верст бесцеремонно нарушали мои часы отдохновения.

По возвращении генерал-адмирал беспрестанно посещал постройку, и когда в марте 1856 года мир положил конец военным усилиям, новая цель — дальнее плавание — потребовала, по мнению великого князя, той же поспешности. Чтобы настойчивая мысль была приведена в исполнение, я представил прилагаемую записку, поверхностно знакомящую с трудом и препятствиями, при которых дело подвигалось к концу.

«Теперь недостаточно уже привести суда в состояние рейдовой готовности для отражения нападений неприятеля, на что необходимы только некоторая исправность машин и способность к бою в виду порта, ограничивавшаяся при условиях минувшей войны единственно должным состоянием артиллерии. Предстоит выслать корветы в дальнее плавание исправными во всех отношениях, способными выказать иностранцам, что война не только не послужила во вред нашему флоту, но, развив возможную энергию, породила в нас настоящее понятие о морском деле...

Принявши в расчет неопытность нашу в снаряжении паровых судов, неведение большинством офицеров изготовлений к кругосветным плаваниям, поражающий недостаток адмиралтейских средств в здешнем порте и совершенную несоразмерность их к предположенным сооружениям, отсутствие всяких портовых удобств и непривычку назначенных командиров к порядкам здешних адмиралтейств, — нельзя пренебрегать даже самыми мелочными условиями, облегчающими приготовление судов к назначенной Вашим Высочеством цели. При этом убеждении я решаюсь повергнуть на усмотрение Ваше следующие условия, необходимые для удовлетворения Вашей воли:

1. Объявить местам и лицам, от которых снаряжение корветов непосредственно зависит, чтобы они не отвергали требований моих и командиров единственно по не форменности их или потому, что они не пройдут через различные административные инстанции установленным медленным порядком.

2. Чтобы эти места и лица не довольствовались отпиской, а тотчас приступали бы к действительному исполнению требования сами, если дело прямо от них зависит, или вместе с подведомственным им местом. Для этого, чтобы на получаемых бумагах не отмечали только резолюции "Исполнитель" или "Написать туда-то", а прописывали бы и существенные средства, употребленные к скорейшему исполнению, означая время начала полезного действия и следя за ходом бумаги, если она необходимо должна пройти лабиринтом департаментов, отделений и столов.

3. Изыскать меры к понуждению Ижорского завода, от которого изготовление корветов преимущественно зависит, удовлетворять требования наши без отлагательства и пеней на переделки, ибо переделок сих избежать невозможно. Теперь, когда корветы назначены для кампаний, в которых честь служащих на них и целого флота будет зависеть от совершенной исправности мелочей, когда утерянную репутацию морского офицера нельзя вознаградить славой храброго человека, недостатков в сооружении допускать нельзя.[62]

4. Обратить исключительно на корветы все средства Петербургского порта и Охтинской верфи, в особенности по кузнечной и столярной частям, всегда задерживающим вооружение и снаряжение.

5. Теперь же прислать полные команды и такелаж, отделанный в Кронштадте, чтобы каждый командир мог переделать его, ибо по

скорости и неимению места он не мог быть достаточно вытянут и приготовлен с должным тщанием. Все корветы окончить здесь совершенно (разоружив впоследствии для провода баром), чтобы в Кронштадте осталось только принять артиллерию.

6. К исправному сооружению корветов должны содействовать все офицеры и командиры, чего нельзя требовать, если они не будут поставлены в возможно удобные условия. Постоянное присутствие при работах всех служащих необходимо».

«Повергаемые на усмотрение В. И. В. средства и меры выходят, может быть, из разряда указуемых постановлениями и обыкновенно принимаемых при изготовлении судов, но смею уверить, что для всякого адмиралтейства и при какой бы то ни было администрации, даже в странах, где все морское развито более, снаряжение четырнадцати корветов было бы делом нелегким, и решение единственно финансового вопроса для того нигде не было бы достаточно».

«Допустив самое исправное снаряжение судов во всех отношениях (чего нельзя ожидать по новости дела), остается еще принять в расчет набор команд, никогда не бывших вместе, непривычку офицеров к судам подобного рода и недостаток времени к приготовлению командиров для плавания, в которое доселе посылались немногие избранные только, и те готовились заблаговременно.

Взявши в расчет все эти условия, осмеливаюсь утверждать положительно, что высылка четырнадцати судов, только что спущенных на воду глубокой осенью морями, в которых никто из участвующих не имеет опытности, не представляет основательного ручательства в успехе и, может быть, подвергнет настоящее морское управление тем же нареканиям, которыми наделяют прежнее вследствие неоднократных неудачных посылок судов наших в океан.

В короткое время сделано многое, но не столько, чтобы можно было посылать в дальние походы вдруг число судов, превышающее итог подобных посылок в течение тридцати лет.

Умиравшему дана жизнь — подвиг сам по себе великий, — но нельзя требовать чрезмерных усилий от расслабленного, только что исторгнутого из объятий смерти».

Но вначале, как читатель видел, я не сочувствовал спешной постройке корветов даже для исключительно военной цели. Думая новой пищей отклонить великого князя от уготованного его крылатым воображением пира, я приехал к нему в Стрельну 15 августа 1855 года с предложением, по мнению моему, более достойным внимания, нежели постройка нескольких паровых батарей для обороны Кронштадта. Вместо обороны я предлагал нападение в уверенности, что утомленный инерцией сил наших кипучий начальник примет идею с радостью. Появление наших крейсеров в океане, тогда как неприятель запирал нас в наших портах, было бы самым удачным сопротивлением неравной силе. Я предлагал приступить тотчас к постройке в Архангельске шести шхун, указал человека, способного на партизанское дело, и выставил, как мог, весь ужас лондонской биржи при первой вести о нападении русских крейсеров на английскую коммерцию.

Тогда же я указывал на Соединенные Штаты как на источник снабжения крейсеров и даже в случае надобности как на страну, где они могли укрыться с уверенностью в сочувствии населения. Туманы Белого и Ледовитого морей заставляли блокирующие Архангельск неприятельские эскадры уходить ранней осенью; под их же покровом могла выйти в океан партизанская эскадра с назначением, ясно и определенно выраженным в английских морских законах «жечь, истреблять и топить» все вражье, попадающееся под руку.

Я не ошибся. Великий князь не спал ночи при мысли о возможности нападения, но не

остывал и к обороне. Чертежи шхун или клиперов, как назвали суда, были изготовлены помощником моим Иващенко под моим наблюдением, и тотчас же Путилов взялся протащить механизмы сквозь Олонецкие и Архангельские дебри к Белому морю. Но душой предприятия, исполнителем, осуществлявшим идею так ревностно и своеобразно, что поистине ему принадлежала бы слава и честь дела, был А. А. Попов, тогда уже переехавши из разрушенного Севастополя в сиявшую обычной стройностью столицу. Очерчивая современные характеры, я сделал бы непростительный пропуск, если бы не уделил несколько слов этому замечательному сподвижнику генерал-адмирала в его видах на обновляемый флот. Буду говорить только о тогдашнем времени.

Мы вместе воспитывались в Морском корпусе, но сблизились на Черном море. При сильном честолюбии Попов страдал горячкой деятельности, иначе не могу назвать его стремления вечно трудиться и подчас суетиться. При этом светлый ум и твердая воля указали ему необходимость и дали возможность дополнить недостаточное образование. В течение службы без постороннего пособия он усвоил английский и французский языки, учил и читал все относящееся до морского дела и, наконец, стал собственными усилиями весьма замечательным офицером.

Смерть В. А. Корнилова, при котором он состоял, и безвыходность положения Севастополя, которую он очень ясно понимал и видел, побудили Попова, заплативши дань месту, с которым сроднила его служба, прибыть в Петербург для свидания с почтенным, уже угасавшим отцом.

Случайность, как нельзя более, была кстати. Кипятившего Черное море своим пылом Попова послали отапливать Ледовитое, и в исходе 1856 года он вышел со своими крейсерами из Архангельска в Кронштадт уже на мирном положении. Трактат 30 марта положил конец воинственным мечтам, которые Попов, без сомнения, осуществил бы, но не прекратил, а только изменил его деятельность. Клипера вместе с корветами доставили тотчас после войны и доставляли еще долго главнейшие средства образования наших офицеров и защиты интересов наших на Тихом океане, дважды вверенной искусным и непрестанно зудившим рукам Попова.

Я говорил, что на корветы были назначены остатки черноморцев. Клипера также получили командиров и некоторых офицеров из числа севастопольских защитников. Севастополь пал; моряков, сохраненных в памятном побоище, потребовали в Петербург, и после торжественного шествия по России они прибыли в столицу, где, как видели, недолго оставались в покое.

Навык к труду, ревность к долгу и, наконец, морская опытность некоторых надобились для исполнения видов генерал-адмирала. Государь, желая почтить храбрых слуг своих, позвал их в Петергоф на царственный пир, где участвовали только члены императорского дома.

Меня как старого черноморца удостоили той же чести. После обеда Его Величество, желая представить своих витязей императрице, велел мне, знакомому с личностями, «быть церемониймейстером». На представлении защитник Малахова кургана П. А. Карпов, услышав замечание государя, что на Курган напали неожиданно, возразил самым диким в придворном смысле образом, brutalement,[63] как говорят французы, что распущенные слухи несправедливы, что он давал знать по начальству и даже помимо его самому Горчакову о приготовлениях французов к приступу.

Государь милостиво улыбнулся, и церемония прошла со всей придворной пристойностью, несмотря на совершенное неведение дворцовых обычаев представлявшимися и на неопытность мою в должности.

Вскоре после заключения мира великий князь объявил мне, что, когда изготовление

корветов будет приходить к концу, меня командируют в Соединенные Штаты для наблюдения за успехами американского флота и решения вопроса о постройке винтового корабля, затеянного перед самым объявлением войны и войной прерванного. Задушевная мечта моя была близка к осуществлению. Я укрывался за моря далеко от своенравного Петербурга и мог везти туда мало еще привыкшую ко мне жену.

Проводивши несколько корветов в Кронштадт, я съездил в Москву на коронацию, был свидетелем поражающего обряда и тотчас по совершении его поехал в Смоленскую губернию к утомленному жизнью старцу моему. Предсмертное, как следовало ожидать, свидание его со мной продолжалось трое суток. Отец в последнее время быстро слабел. Приезд мой очень обрадовал старика, прощаясь, он выразил надежду видеть меня адмиралом.

Жизнь — дивный дар! Даже старцу трудно свыкнуться с мыслью о разлуке с нею. Судьбе неугодно было доставить отцу лишней радости перед отходом на вечный покой. Через шесть месяцев он умер, как жил, истинным христианином, оставя по себе меня и сестру.

Отправляясь на коронацию, я знал, что отъезд мой за границу последует по возвращении двора в Петербург и потому распустил собственный небольшой двор. Государь намеревался отправиться из Москвы в Тулу, и, опасаясь не увидеть его перед отправлением, я откланялся по возвращении из Смоленска в Кремлевском дворце.

Был общий дипломатический обед, на который позвали и меня в числе прочих членов военного дома. Прежние попытки откланяться не удавались, и великий князь велел мне быть после обеда у подъемной машины, куда государь и императрица непременно должны были придти, удаляясь в свои покои. Государь очень милостиво и любезно пожелал мне успеха.

В Москве же мне разрешили предварительную прогулку по Европе для отдыха. Наша свадебная поездка должна была, таким образом, начаться через полтора года после свадьбы.

Примечания

[1] Объявлений, плакатов (также — пасквилей).
[2] К этим валахским мужикам.
[3] Всем подобным.
[4] Самопомощи (самообслуживании) и самоуправлении.
[5] Очень полезным человеком.
[6] С весьма почтенной дамой.
[7] По долгу службы.
[8] Не было авторитета, престижа.
[9] Благородное происхождение обязывает.
[10] Река Мерсей.
[11] Мелкопоместное дворянство.
[12] Неприличием.
[13] Нор — отмель в устье Темзы, в 48 милях от Лондонского моста.
[14] То есть «прибавил парусов».
[15] Королевский дворец в Париже.
[16] Название здания морского министерства.
[17] Шпиц адмиралтейства.
[18] Игра слов, так как le boeuf — бык, говядина.
[19] Слуга, лакей, в то же время в смысле «паяц».
[20] «Передайте это народу-властителю!».
[21] Грузчик.
[22] То есть самые пределы города еще те, что не установлены.

[23] Участки осушенной земли между дамбами (польдеры).

[24] Трехшюйты (трешкоуты) — деревянные речные (беспалубные) суда для груза до 40 тонн.

[25] Лукавый барон.

[26] Погружение, окунание. При входе в храм католики, прежде чем перекреститься, погружают кончики пальцев в освященную воду.

[27] «Да благословит Вас Бог, государь».

[28] Невозможно, нельзя, т. е. своим запретом.

[29] Нужно помнить, что двадцать лет назад еще не вводили быстроты в расчет военных предприятий, как это делают ныне; она не считалась еще элементом силы. Во флотах первенствующих морских держав шел еще спор о вспомогательных и полных машинах, вероятно, первые одержали бы верх, если бы Франция не стала строить кораблей с сильными механизмами. (Примечание автора).

[30] Ударов.

[31] Заказанные мною корветы имели бомбическую 60-ти фунтовую батарею, чего тогда не было ни в одном флоте. (Примечание автора).

[32] В Севастополе.

[33] Досье — дело, собрание документов, относящихся к одному вопросу.

[34] М. П. Лазарев.

[35] «Гвардия встать (подняться)! И на них!».

[36] Волконский.

[37] То есть обводов (корпуса корабля).

[38] Всем известно, что паровые машины измеряются лошадиными силами. (Примечание автора).

[39] Двухсторонний договор между султаном и царем.

[40] Основной английский закон 1679 г., формально гарантирующий неприкосновенность личности.

[41] И. А. Шестаков ошибается в дате: бой фрегата «Флора» с тремя турецкими военными пароходами произошел 9/21 ноября 1853 г., бой парохода «Колхида» был 20 октября 1853 г.

[42] «Ваш император передал мне свое пожелание задать хорошую трепку туркам, которая пойдет им на пользу; напишите ему, что я последовал его совету и задал им две».

[43] Здесь кстати заметить, что все черноморские корабли наши в это время имели уже целые батареи бомбических орудий. Факт вместе с многими другими свидетельствует, как зорко следили на Черном море за переменами и усовершенствованиями и даже опережали иностранные флоты. Система Пексана, давно предложившего бомбичеекие пушки, была обширно развита в нашем южном флоте и впервые предложена в бою в Синопе. Действием бомб объясняется конечное истребление неприятельской эскадры в неслыханно короткое время. (Примечание автора).

[44] Список в рукописи Шестакова отсутствует.

[45] Список в рукописи Шестакова И. А. отсутствует.

[46] То есть для кораблей береговой охраны.

[47] Скачек с препятствиями.

[48] 1854 года.

[49] Нарезное ружье, заряжавшееся с дула; оно введено в Англии с 1853 г.

[50] Название фрегата у автора отсутствует.

[51] Речь идет о свайных ряжах, установленных под водой для заграждения проходов.

[52] Кавказскую.

[53] С барабанным боем.

[54] Это оказалось неточным журнальным известием. Присланные в Балтику английские лодки не ходили скорее наших. (Примечание автора).

[55] Тогда еще не приискался чародей Путилов. Он нашел нужные средства не только для 32 лодок, о которых думали первоначально, но для 75, изготовленных во время войны в самом Петербурге. Этим соблюдалась большая экономия в перевозке машин, а в особенности выигрывала техническая

часть. Все делалось под глазами. (Примечание автора).

[56] Сокращение Вашего Высочества.

[57] Около 982 тонн.

[58] Шестаков допускает неточность: В. А. Корнилов погиб не в первый день осады, а в день первой бомбардировки, 5/17 октября1854 г.

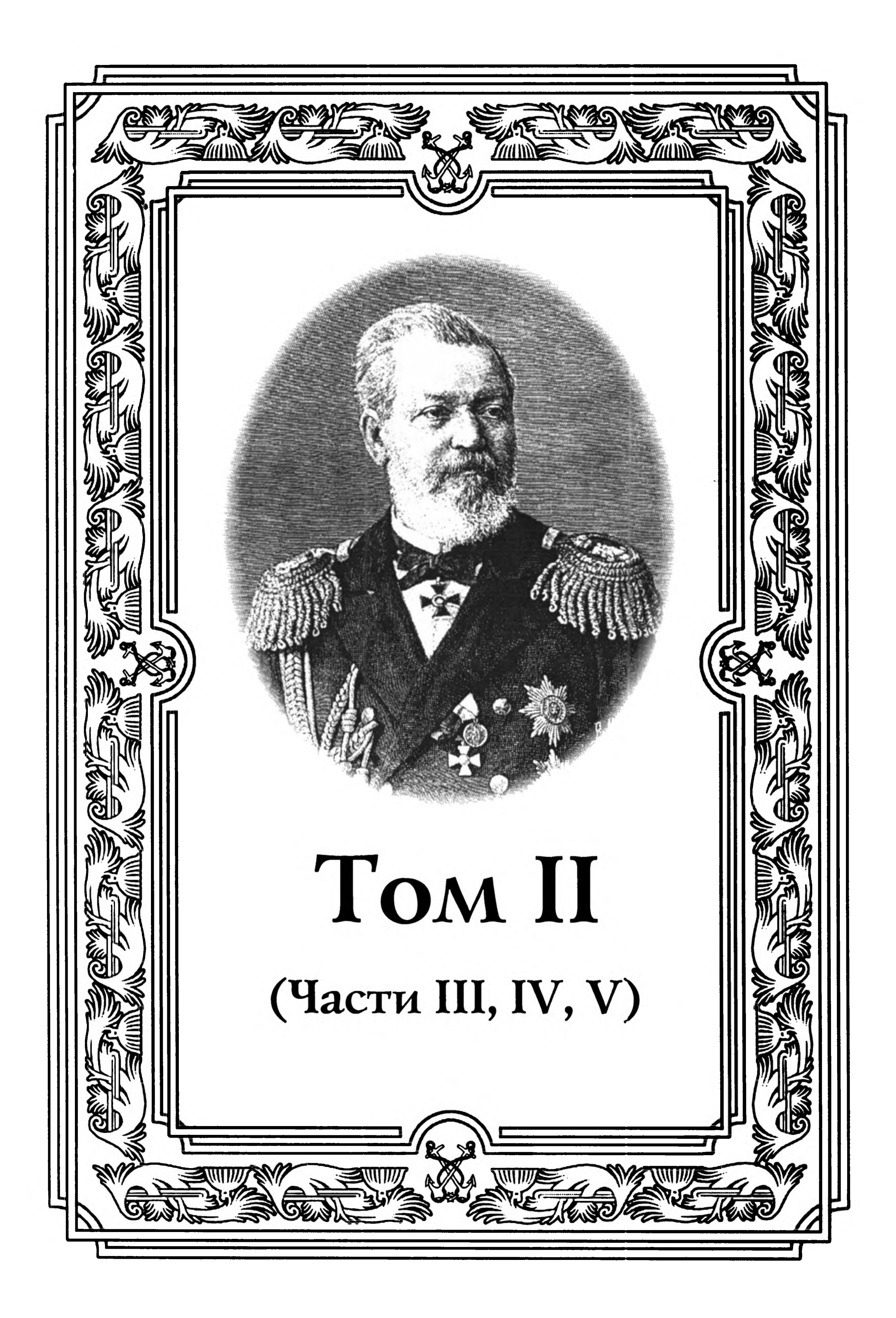
[59] А. В. Головнин.

[60] Речь идет о Н. К. Краббе.

[61] «Этому мерзкому горбуну». (Головнин был горбат).

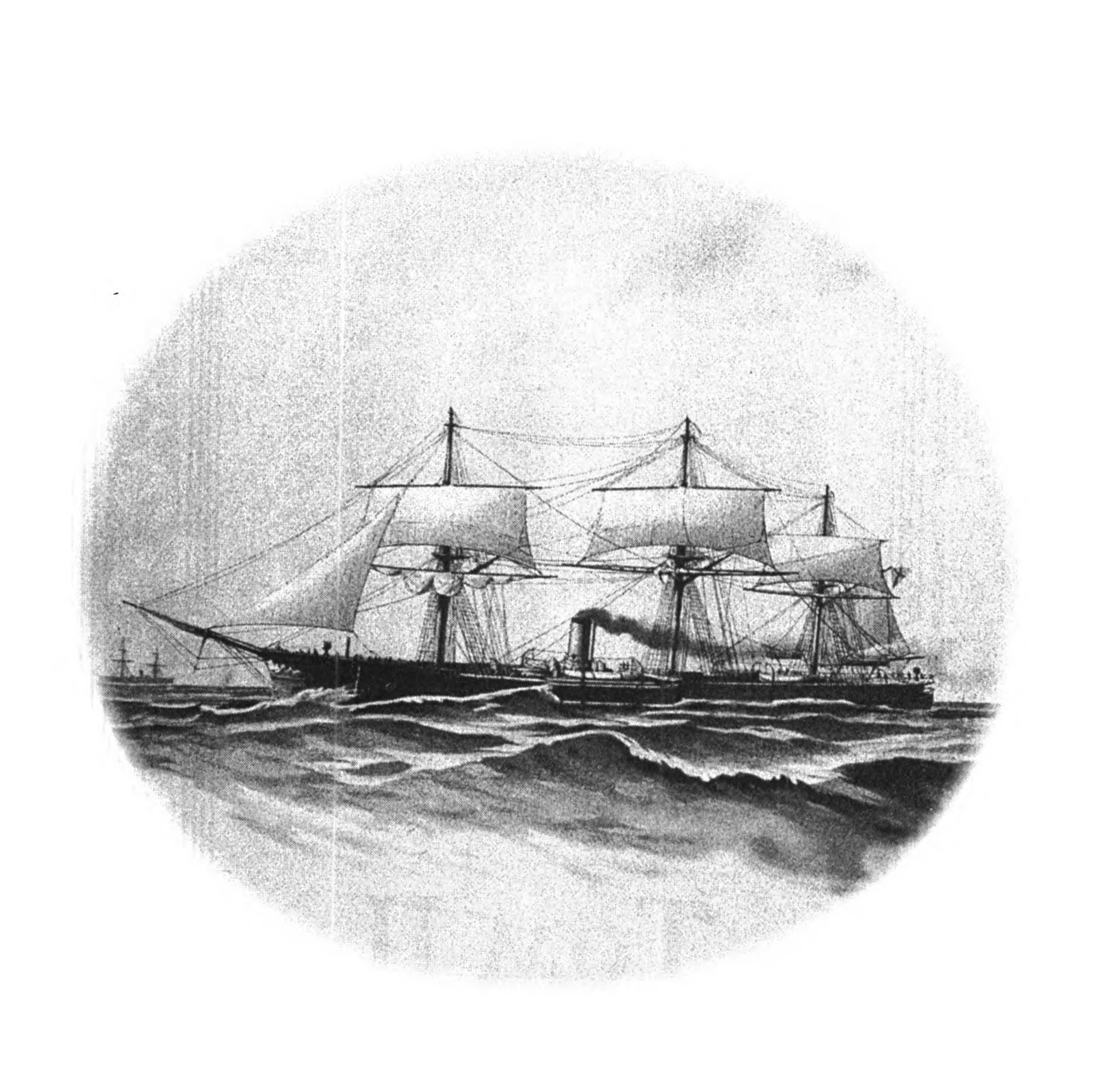
[62] Замечания эти относятся к предстоящим работам, а отнюдь не к совершенным уже. Принятые меры были совершенно удовлетворительны для постройки судов и изготовления рангоута, шлюпок и механизмов, что почти окончено. (Примечание автора).

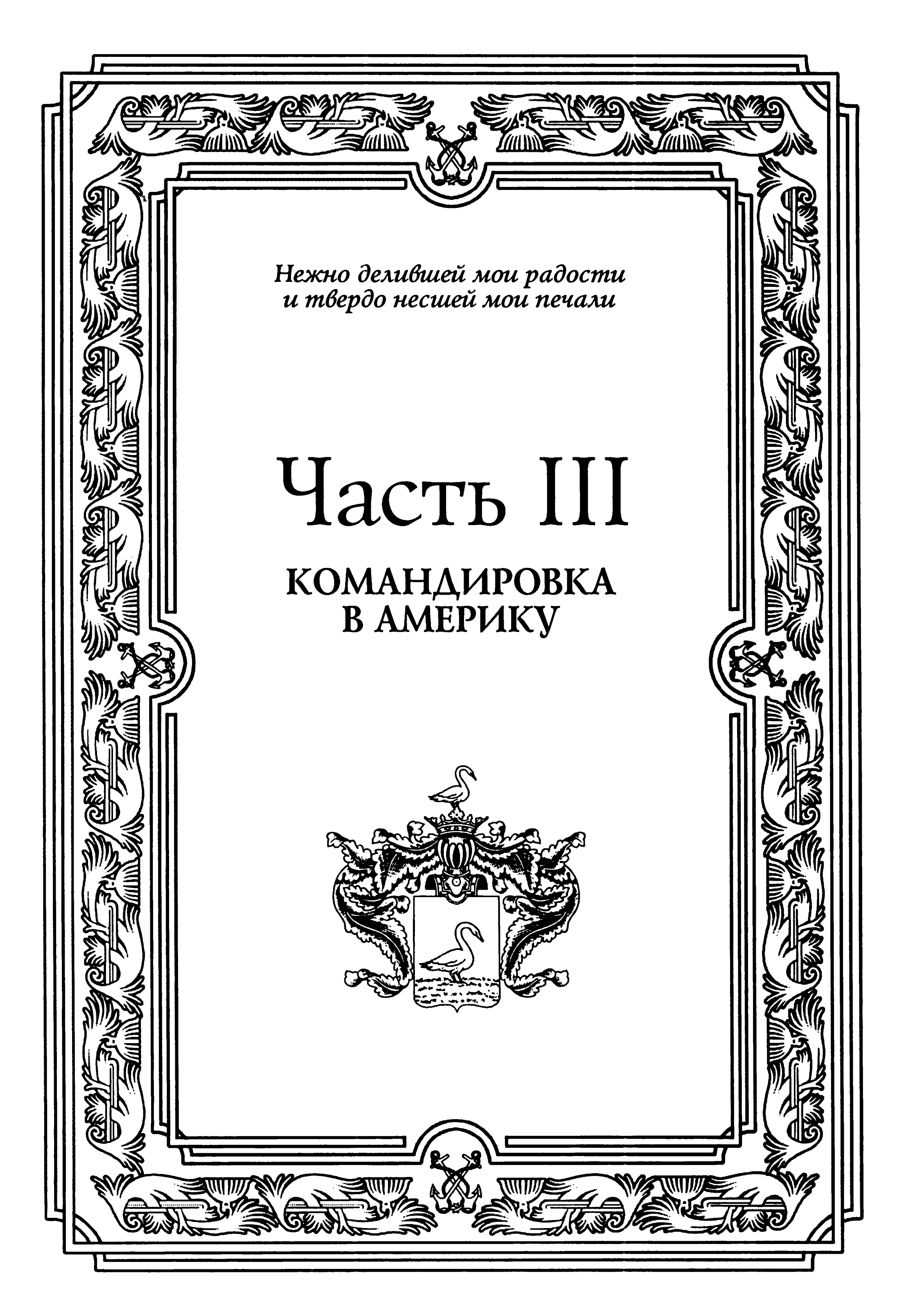
[63] Бессмысленно грубо, зверски грубо.



Том II

(Части III, IV, V)





*Нежно делившей мои радости
и твердо несшей мои печали*

Часть III

КОМАНДИРОВКА В АМЕРИКУ

ГЛАВА I

СВАДЕБНАЯ ПОЕЗДКА

Отплытие из Кронштадта. Наша навязчивость на дружбе с Францией. Свинемюнде. Берлин. Цюрих, Берн и Люцерн из коляски, а не из вагона. Путь через С-т Готард в Италию. Ницца. Тулон. Представление Людовику-Наполеону. Граф П. Д. Киселев. Отъезд мой в Америку.

В исходе октября 1856 года я жил в Кронштадте, сторожа отправление парохода «Олаф», назначенного в распоряжение императрицы Александры Федоровны, проводившей зиму в Ницце. В Средиземное море отправлялась целая эскадра под начальством адмирала Е. А. Беренса. Ей и пароходу велено было ожидать высочайшего напутствия. 29 октября прибыл его величество, и я еще раз откланялся ему на корабле «Выборг» перед самым отплытием в Новый Свет. Последнее действие мое в старом было чрезвычайно неудачно. Принявши протянутую мне милостивую руку, я, по обычаю и вместе от души глубоко сочувствовавший начальным деяниям нового монарха, поцеловал государя в плечо и, поднимаясь, больно ударил его в нагнутое над моею головою лицо. Истинно державная снисходительность одобрила меня и изгнала всякую мысль, чтоб моя неловкость осталась в памяти. Напутствуемый его величеством в дальнее путешествие, я отправился на «Олафе», имевшем повеление завезти в Штеттин меня с женою и семейство лейб-медика Гауровица, сослуживца моего по великокняжескому дворцу.

На переходе от Кронштадта к Свинемюнде я имел время думать и надуматься. Мечтая о предстоявшем наслаждении провести два месяца в сообществе жены, которого до сих пор лишала обязанность, я проходил в памяти и прошедшее.

Отрываясь от отечества на целые годы и начиная разлуку плаванием, в уединяющей беспредельности моря, я обратился мысленно к дорогой отчизне и старался проникнуть в вероятную судьбу ее. Мы только что кончили кровавую войну миром, казавшимся мне непрочным, а многим даже несвоевременным. Недостаток способных и честных людей, без сомнения, более всех других соображений побудил нас к уступкам. Впрочем, вступив в состязание с силами просвещенной Европы без соответственных приготовлений, мы не могли упускать случая, подававшего надежду на мир.

Едва остыли чернила Парижского трактата, принялись за весьма важные внутренние реформы. Война указала нам недостатки нашей административной организации и неспособность администраторов. Нужно было также успокоить общее мнение и отклонить его

от горьких и возбуждающих горечь исследований причин нашего унижения. Взялись за жгучие вопросы: свободу печати, беспрепятственность передвижения и, наконец, за освобождение крестьян. В плавучей темнице моей мне казалось, что принимались вдруг за многое и не видно было достаточно в начинаниях системы; но я утешался уверенностью, что неизбежный временный хаос, производимый ломкою старого, будет иметь непременно полезные последствия — выкажет яснее необходимость порядка и, конечно, не старого, возвращение к которому станет невозможно. Долго думал я, все ошибки и колебания простятся охотно при надежде на улучшения; во внешних сношениях нестройность и суетливость не могут быть терпимы ни минуты. Бывши свидетелем оваций послу Наполеона, сомнительному Морни, видевши уловки, которые употребляли в ущерб Гранвилю и Принцу де Линь, чтобы Морни оказался первоприбывшим, следовательно старшим послом на коронации, я с грустью заключал, что под влиянием обычной впечатлительности, мы вдавались в политику ощущений, жаждали союза с Францией, главной виновницей наших невыгод, и в надежде тотчас изменить навязанное нам силою обстоятельств положение не замечали, что сами навязывались, а великой стране это непристойно и нерасчетливо. Россия может страдать от неудачных войн, временно даже быть сбита, но не должна искать внешней помощи, чтоб вновь стать тем, чем указано ей быть в Европе естественными ее условиями. На возрождение всегда хватит юного еще русского духа. У нас, напротив, строили и даже представляли себе уже выполненными планы, основанные на вражде Франции с Англией, некстати вспоминали прежние их вековые разногласия и закрывали глаза перед современными условиями и причинами, побуждавшими обе страны к миру и взаимным уступкам. Новый министр иностранных дел, долго сбывавший несомненные способности на мелочных политических рынках Германии, грызший удила в неизвестности, хотел блистательно выказать свои блестящие таланты, твердил с наивностью безмерного самолюбия, что поставит Россию на прежнее место без выстрела, rien que pan la layauté de ses intentions,[1] и между тем впадая в ту же политику ощущений, даже в политику мщения, желая посредством Франции наказать Австрию, где потерпел дипломатическую неудачу, или по крайней мере зарубить ей на память свое имя. Наш великий князь, начинавший иметь влияние на общий ход дел, пугал меня своею порывистостью и изменчивостью. Вследствие снисходительности, будто бы нам выказанной Наполеоном на Парижском мировом съезде, и ловкости Морни, для которого не было ничего святого, Великий Князь загорелся желанием познакомиться лично с Наполеоном и бредил поездкою в Париж. Осуществление этого замысла представлялось мне бедственным по вероятным последствиям. Всего лучше было бы, казалось, нам уединиться, как выразился впоследствии князь Горчаков, разъединяя с истинно дипломатическим цинизмом слова от действий, признать про себя промахи и, не сомневаясь ни минуты в нашем достоинстве, вышедшим из борьбы нетронутым благодаря севастопольским героям, не дружиться ни с кем, высматривать. Следовало выжидать, на какие элементы распадется союз, смешанный химиком Наполеоном в антирусской реторте, оказавшейся наиболее сподручною для произведения эссенции, нужной к утверждению его собственного политического здоровья. В море несвязности и прихотливости, на которое мы пустились, я видел спасение только в терпении народа, в его вере в будущность. Эти бессознательные достоинства делают русских способными переносить неудачи, выдерживать возможные ошибки правителей и при счастливых случайностях выходить на должный путь.

С товарищем путешествия, И. С. Гауровицем, мы перебирали возможные случайности. Гауровиц, давно переехавший в Россию и знав-

ший двор, как только можно знать à fond, то, что не имеет фона, имел передо мною выгоду без участия ко всему, что творилось на Руси; он был облечен в неведомую мне броню космополитизма, в полном смысле этого слова, принадлежал к племени, не имеющему отечества. Такое исключительное положение ведет и к исключительному беспристрастию, невозможному, немыслимому для сына отчизны, перед воззрениями которого вечно встает великий, обаятельный, неустранимый ни умом, ни чувством образ своей родины, своего края. Гауровиц искусно вел свою ладью к избранному порту успокоения, но по образованию и, думаю, по требованию истинно-религиозной души, мало заботясь о той или другой нации, смотрел здраво и верно на человеческие нужды и вообще в человеческих вопросах, сколько мне случалось быть свидетелем, часто и довольно жестко опровергал мнения великого князя, которого знал с детского возраста. Мы взвешивали на «Олафе» все вероятия, представляли себе все непредвиденности во флоте, к которым приучил уже нас не старавшийся ничего предвидеть Головнин, поднимались по временам и в высшие сферы; но, не встречая утешающих признаков, снова спускались на море. Таким образом, на рубеже чужбины, я был сердцем и душою на родине, которую люблю тем сильнее, чем чаще обстоятельства жизни разлучают меня с нею.

Мне случалось бывать в Свинемюнде еще в отроческом возрасте. Тогдашние впечатления совершенно изгладились и не послужили бы, впрочем, ни к чему — так быстро улучшились торговые условия местности. В 1833 году небольшой фрегат «Венус», на котором я отвыкал от морской болезни, должен был остановиться далеко на взморье, и мы с трудом, даже с некоторою опасностью съезжали в небольшую приморскую деревушку, тогда оживляемую только говором и плеском собиравшихся на купанье. Через двадцать с небольшим лет «Олаф», значительно больше «Венуса» размером и также глубоко сидевший в воде, прошел беспрепятственно между длинными вытянутыми в море молами в обширный спокойный порт, накопленный кораблями, и прислонился к набережной, уставленной прекрасными зданиями.

Свинемюнде разросся в значительный город и стал отпускным пунктом Штеттина и самого Берлина. Когда мы поплыли по Одеру на маленьком пароходе, нанятом для нас консулом, морское сердце мое съежилось, видя как толково принимаются за все морское даже архисухопутные немцы. Извилистый путь по реке был обставлен указательными знаками так разумно и расчетливо, что плывущему впервые не только не было возможности ошибиться, но нетрудно было угадать направление заблаговременно. Берега шумели паровыми заводами, звенели железным судостроением и были усеяны густым промышленным населением. За четверть века прежде край доставлял только рекрут в армию, растущих на всякой почве, а теперь все оживилось выгодною промышленностью, освободившею Пруссию от дани англичанам. Успехи столь же важные, сколько быстрые.

Штеттин, разумеется, служил нам только пунктом перекидки с парохода на железную дорогу.

Наше чисто туристическое внимание было занято преимущественно Шарлотенбургом и окрестностями Потсдама. Собственно Потсдам смотреть было нечего; казарм, конюшен, манежей, картин, напоминавших только что похороненную нашу славу, и произведений императорской фарфоровой фабрики много у себя, дома; но окрестностями Потсдама я всякий раз любуюсь с новым удовольствием и стараюсь догадаться от чего и для чего зарыли столицу в пески едва текущей Шпреи, когда в получасе были зеленые холмы, упирающиеся в широкий Гавель. Могут ли занимать причуды Sans Souci при общем взгляде на перспективу Гавеля с башни Фридрихсберга? Кроме утешительного воспоминания о минутной покорности дебюта закону и доказательств,

что умный человек способен на большие глупости, убежище великого Фридриха не представляет, по-моему, ничего привлекательного. Все это жалкие усилия человека увековечить свое имя, памятники его тщеславия и, в большинстве случаев, безвкусия и произвола. Картонными замками, людскою кровью напоенными фонтанами и древностями, перенесенными из Никольского ила на бранденбургские пески или парижские мостовые, стараются пополнять истории царствований, над которыми иначе не остановился бы летописец.

Благодаря железным дорогам, уже в 1856 году можно было промчаться через среднюю Германию, не подвергая себя беспрестанным остановкам в постоялых дворах и неизбежным всасываниям баварского пива, наводящего сплин, не английский, при котором приходят еще иногда мысли самоотвержения или самоистребления, а сплин немецкий, притупляющий ум и чувства, нечто вроде турецкого кефа без его неги. В обоих случаях испытываешь нравственное и физическое расслабление, но на Босфоре оно сладко, усыпительно, как тамошняя убаюкивающая природа, а на среднегерманских домиках тупо, немо, бесчувственно.

На пути к Линдау через Аугсбург мы переехали отрог Тирольских Альп.

В Линдау нас перегнали с чугунки на пароход, и мы поплыли к Шафгаузену, заворачивая на пути в швейцарские города Роршах, Романлор и Констанц. То есть последний должен бы быть швейцарским, но в лотерее, устроенной на венском конгрессе, ему выдернулся баденский номер. В Шафгаузене нас вынули из парохода, переложили в омнибус и скоро выбросили у подъезда дорогого Вебера, тотчас нас ободрившего и напомнившего нам своею любезностью, что мы не товарные места, а в некотором смысле люди.

Швейцария еще не была испорчена железными дорогами, и мы отправились в Цюрих по прекрасному шоссе в удобной коляске, но, глазея слишком усердно вверх, забыли, что следует быть внимательным к тому, что творится долу — потеряли паспорта, и для получения новых должны были пуститься в Берн.

Обошли со всех сторон федеральную столицу, дивились с разных пунктов прихотливыми очерками Оберланда, везде видели медведей — на домах, фонтанах и даже живых в городском рве — и встречали жителей, похожих на медведей и выживающих своею нелюбезностью всех европейских представителей. Ни один посланник не жил в Берне; все под разными предлогами старались избежать истинно медвежьего города.

Из Берна, через Тун, мы проехали в Люцерн все тем же барски художническим способом, дозволявшим вдоволь любоваться чистенькими хижинами в цветах и тополях и всматриваться с некоторым ужасом в ледяную шапку Штокгорна и зубья других горнов.

После восхождения на Риги, поворотивши влево по живописному ущелью, стали спускаться к Швицу и через Шинк достигли Бренера, где должны были съесть отвратительный завтрак. В Швейцарии везде пристают не с ножом, а с куском к горлу. Расходы путешественников — единственное достояние содержателей гостиниц; не менее того странно беспрестанно слышать: «Пожалуйста кушайте, не то я буду голоден». Пароход освободил нас от Бренерского трактирщика и повез в Флюэлен, где начинался перевал наш в Италию. Капризная формация приозерных скал поразительна. Местами слои пишут фантастические узоры, а рядом гладкие утесы, будто вылитые, упираются в тихое, прозрачное лоно.

После ночи, проведенной в Флюэлене, мы спустились по С-т-Готардской дороге. Дорога шла довольно ровною местностью вдоль журчащего Рейса до деревушки Амстег, где мы завтракали. Перед самым Амстегом скалы раздвинулись и образовали эллиптическую поляну — утешительную случайность в мире каменных глыб. За Амстегом придорожные скалы становились выше и отвеснее; Рейс бежал уже шумно по своему каменному лону, и шоссе с

трудом пробиралось по трещине между утесами, ощутительно возвышаясь. Почти весь путь до Урзерен Таля мы сделали пешком, вдвоем, среди дикой безмолвной природы.

Утомленный трехлетними постоянными мыслями о черствой службе и раздражением, нераздельным с борьбой, я жадно глотал все, что покоило душу и смиряло кипучее сердце. Нужен был отдых для новой борьбы и дух мой набирался новых сил. В благодательном раздумьи подошли мы к ущелью Шелинен. Природа стала еще грознее.

Ничем не опушенные скалы сдвигаются все более и более, и грозные очерки их, вместе с увеличивающимся грохотом реки, готовят к предугадываемой чувствами поражающей неожиданности. В теснине Рейс делает сумасшедший прыжок сажень в тридцать, и здесь переброшен через ярую волну мост, на который весь гнев реки не имеет ни малейшего влияния. Это знаменитый Чертов мост. Рядом прежний, узкий, безопасный; но и этого не было, когда пробивался здесь Суворов, побеждая природу.

В пробитом туннеле отдохнули утомленные видами глаза. Севши в коляску, мы быстро покатились по берегу Рейса, текущего здесь на просторе привольно, без препятствий, следовательно, без разрешения. Через полчаса нас приютили в Госпитале, откуда с рассветом мы должны были начать подъем на С-т Готард.

Мы ночевали в 4 000 футах над поверхностью моря. С холма, на котором когда-то стоял замок владетеля — без сомнения, грабителя — полный вид на долину, бесплодную, поросшую мохом, но все же приятную, потому что взор тоже любит простор, свободу и скучает долгим стеснением.

Утром мы полезли на С-т Готард. Скалы, скалы и скалы. Когда-нибудь страшная сила встряхнула верхи гор или выдавила на поверхность обломки корней. Приют открылся снежной логовине, казавшейся привлекательною при блеске солнца; отчего мы начали падать вниз бесчисленными изгибами дороги, соперничавшей с только что зародившимся Тессино.

До Айроло будто руку подать, а между тем мы катились добрый час с большою скоростью и только к вечеру приехали в Белинцону, швейцарский еще город, от которого начинается итальянская уже природа.

В Лугано мы остановились на несколько часов, чтоб деспот-желудок не мешал любоваться путем в Комо. Скромный Лугано задумчиво смотрится уже в чисто южное озеро и жалеет, что в жажде предстоящих красот его проезжают без внимания; а стоит познакомиться с этим преддверием Италии и милым соседом очаровательного Комо. Мы засмотрелись на мрачный Сальваторе, на высокую колокольню Ривы, на встречавшихся детей неги без думы на челе и заслушались колоколов, звеневших по случаю праздника на каждой ложбинке, на каждом холмике. Вдруг спелая нота, исходившая не из итальянской гортани, привела нас в себя. «Il passoporto!»,[2] — гудел цесарский воин, и мы догадались, что уже не в свободной Швейцарии.

Через Варезе достигли Лаго-Маджиоре и добровольно заточили себя на Isola-Bella — странной причуде не знавших куда бросить деньги Боромео.

Рядом с палаццо Боромеев убогие грязные хижины рыбаков, первых обитателей острова. Богач думал столкнуть их с узенького прибережья своим влиянием и несколькими пригоршнями золота, но обманулся в расчетах и над чопорным Isola- Bella издеваются грязные лачуги рыболовов, о ливреи Боромеев трутся лохмотья упрямых нищих. Мне показалось тесно и душно; меня одолела невыносимая тоска, и, не выждавши парохода, мы в ночь переправились в Аарону на нанятой лодке.

В Аароне опять перестают быть людьми и делаются товаром.

Далее мы неслись мимо Маренго и Нови, где пролито море крови, к морю Средиземному, на котором также немало изведено жизней; но в лазурных волнах его тонут все горь-

кие воспоминания и отражаются только ощущения души, ликующей в обаятельном очаровании истинно южной природы.

Для жены темно-синее небо, тихая ночь и теплая атмосфера в ноябре были новинкою; но меня, испытавшего все это двадцать лет прежде, меркантильная Генуя уже не привлекала. За всякое изведанное удовольствие мы платим дорогою ценою; душа привыкает к ощущениям, тупится, изнашивается и фонд капитала наслаждений утрачивается безвозвратно. Даже новые спекуляции с трудом возбуждают угасшую энергию; я убедился в этом, пробираясь от Генуи к Ницце по красивому Корнизу, которого еще не видел. Теперь мало кто избирает этот сомнамбулический путь; предпочитают быстро катиться по рельсам, проложенным у самых всплесков моря, и не думают даже поднять голову на высящиеся прелести. Мы ехали с должными расстановками и медленностью, в удобном экипаже. Характер Корниза однообразно восхитительный. Горы большей или меньшей высоты упираются в море отвесными гранями; между ними часто глубокие прогалины, по которым несутся в дождливое время бешеные потоки. Зачастую захватывает дух. Жизнь зависит от добронравия лошади и прочности колеса. Положим, нырнешь в поэтическое море, но умирать одинаково неприятно, что в прозе, что в поэзии; скатившись по ребрам отвесных скал на торчащие внизу каменные иглы, наверное, не заговоришь ямбами. Впрочем, большую часть дороги мы шли пешком с целью двойного наслаждения: долее любовались деталями и были безопаснее. Длинный, веселый пьемонец, витурино от рождения, оставлявший дом с началом туристского сезона и возвращавшийся к пенатам только в каникулы, тешил нас своим юмором.

Живописное путешествие наше продолжалось еще несколько дней, хотя в Ницце было прервано придворными обязанностями. Там жила уже императрица Александра Федоровна, и я представился ей тотчас по приезде с последними известиями о генерал-адмирале и пароходе «Олаф». Императрица ждала пароход с нетерпением и чрезвычайно обрадовалась, увидя его из окна занимаемой ею виллы Авигдор в то самое время, как старалась узнать мое мнение о причинах, могших задержать «Олаф» на пути. Я был тотчас послан осведомиться, все ли благополучно на пароходе, и возвратился к обеду. Добродетельная старушка была чрезвычайно милостива.

Ниццею кончилось наше праздничное для души путешествие. Предстояло, перед отправлением в Новый Свет для траты полутора миллиона казенных денег, запастись возможными данными, чтоб издержки отвечали цели. Главным предметом моей предварительной поездки в сущности был Тулон, где в последние годы особенно быстро шагала наука кораблестроения. На Тулон новое французское правительство, считавшее по традиции Средиземное море французским озером, обращало все внимание и все средства сильной, сосредоточенной своей власти. Мы отправились туда через Драгиньян и унылые масличные рощи испеченного солнцем Прованса. В Тулоне долг снова стал на первый план, и жена терпеливо скучала две недели в Ja croix d'or, гостинице с обычными достоинствами провинциального притона, вдобавок в стране, не отличающейся опрятностью.

Снова сдавили меня тиски официального положения, и я начал поклон главному командиру, адмиралу Дюбордье, начальнику штаба Кляво и знаменитому строителю Dupuis del'Ome'y, изобретателю тех панцерных кораблей, которые теперь везде строят на вес золота и нигде не употребляют, из опасения потерять дорогостоящие постройки. Начальствующие лица в Тулоне более или менее принимали участие в восточной войне. Дюбордье дивился, что мы не сожгли французский флот в Камышовой бухте, и рисовал мне такую картину хаоса скученных в ней кораблей и транспортов, что попятившийся в прошедшее истинно русский ум мой стал недоумевать над нерешимостью тех, которые высказали так

много решимости. Адмиралу казалось странным, что мы не знали достоинств Камышовой бухты и позволили французам расположиться в ней безнаказанно. Об этих достоинствах Дюбордье, конечно, изменил бы мнение, если бы хоть раз во всю стоянку задул крепкий северяк. Нам невозможно было защищать Камыша, когда для защиты самого Севастополя в первые дни должны были вооружить арестантов и писарей, а думать о Камышовой бухте как об убежище, когда в получасе была Севастопольская, значило бы оправдывать малороссийскую пословицу — впрягать волов, когда кони есть. Я легко разбил Дюбордье в его критическом на нас походе, объявивши ему, что при небольшой решимости с их стороны, они вошли бы в Севастополь тотчас после алминского сражения, и если мы упустили из вида Камышовую бухту, то они сами себя лишили севастопольского рейда и возможности блистательно начать кампанию, может быть, даже кончить ее одним ударом.

Говорливый Кляво насказал мне тьму анекдотов о неумелости Бараге д'Илье и о тупости своих сухопутных товарищей при атаке Бомарзунда. Французы большие хвастуны, но, распустивши со сворки язык, не жалеют и самих себя.

Везде я встречал возможную предупредительность положительно вследствие стойкой защиты Севастополя, вселившей в неприятелях уважение к нам. Старец Треуар, герой Ла Платы, так бесстрашно бросившийся с своими судами на батареи Риваса, командовал эволюционною эскадрою и сидел на великолепной «Bretagne», сто тридцати пушечном винтовом корабле, тогда диве морей. Не завися от Дюбордье, он соперничал с ним в любезности ко мне и показывал сам все, что на эскадре было достойным внимания. Он ожидал с нетерпением случая познакомиться с нашим генерал-адмиралом, удивлявшим его соотечественников и напоминавшим, по слухам, чрезвычайно популярного во французском флоте принца Жуанвильского.

Великий Князь Константин, готовившийся ехать к больной матери в Ниццу, имел твердое намерение посетить Тулон, и я счел долгом предварительно ознакомить его с тем, что его там ожидало. Начавши краткою биографиею главных личностей, я подробно описал великому князю все улучшения, сделанные с 1845 года, времени его первого знакомства с портом: указал на самые лучшие образцы корабельной архитектуры, на хозяйственный и полицейский порядок в адмиралтействе, налег на огромные запасы и на способы их хранения, также на систему, принятую для содержания кораблей в готовности без постоянных издержек на полное их вооружение. Моя брошюра была полным описанием тогдашнего Тулона и заключала разносторонние критические взгляды, порицавшие кое-что мною виденное, но гораздо более выказывавшие сожаление, что у нас не было многого, мною замеченного. Вот мнение Великого Князя о моем послании в Ингерманландию с берегов Средиземного моря: «В высшей степени интересно и важно. Вот человек, который умеет с толком смотреть и с толком детальные замечания передавать. Это не всякий умеет. Надо будет сказать ему искреннее "спасибо"». Вместо передаточного «спасибо» Головнин прислал мне оригинал резолюции, написанный карандашом.

Превратившись в специалиста, я не переставал, однако ж, быть путешественником, облазил все окружные горы и обходил все мысы и форты. Короче, заплатил дань любопытства месту, где разыгрывалась с такою лютостью драма террора и впервые сверкнул тот гений — мучитель, который истязал пятнадцать лет весь подлунный мир своею ненасытностью к славе и потух в снегах моего отечества. Сменивший его племянник, без гения и с ненасытностью к эпикуреизму, захватил Францию его именем и начал ломкою и перестройкою Парижа, изменившегося за четыре года до такой степени, что я едва разобрал очень знакомые площади, когда мы приехали в обновленную столицу из Марселя вечером.

Согласно воли Великого Князя, желавшего всячески выказать Наполеону свое почтительное внимание, я тотчас же представился в Тюильри. Обыкновенно приемы иностранцев делались по воскресеньям, и около часа собирались все удостоенные чести видеть народного избранника. Привыкший быть во дворце как дома, почтенный граф П. Д. Киселев, собрал нас под свое теплое крылышко; но память видимо пошла вровень с любезностью, и старик неоднократно расспрашивал каждого из нас о цели приезда, чтоб не смешать воина с архипастырем и усердствующего чиновника с беззаботным фланером. Помня, что l'exactitude estla politesse desrois,[3] августейшая с вчерашнего дня чета не замедлила явиться в сопровождении неизбежного Флери и принялась за наш полукруг с разных концов. В первый раз я стоял лицом к лицу с глубокомысленным, как всем тогда казалось, императором. Он скользил по паркету пауком, осторожно выставляя правую ногу, будто изучая нет ли на пути адской машины, и останавливался перед каждым из нас, бродя неопределенно стеклянными глазами и вытачивая двумя пальцами склеенный ус; говорил несколько слов голосом, который, несомненно, выходил не из души, и передвигался далее. Узнавши цель приезда Татаринова, тогда выраставшего в контролеры, Наполеон изъявил сомнение, чтоб он нашел во Франции по этой части что-либо достойное заимствования; trop de paperasse, c' est notre plaie,[4] — сказал он и передвинулся к моему соседу Свечину, сиявшему в своем лейб-гусарском мундире. Великолепие ливреи, видимо, понравилось императору, старавшемуся прикрыть наружным блеском скудность своего генеалогического дерева; он любовался Свечиным, или точнее его одеждою, довольно долго, сделал несколько сравнений с своими Cent guides[5] и, выслушавши мое имя и звание, спросил, когда намерен Великий Князь отправиться из Петербурга в Ниццу к вдовствующей Императрице. Ответя на прямой вопрос, я прибавил, что генерал-адмирал, как страстный моряк, непременно захочет взглянуть на Тулон, если Его Величество на то соизволит; тем более что с 1845 года, когда великий князь познакомился с ним впервые, Тулон совершенно изменился. «Неужели он с тех пор не был во Франции? — спросил будто бы удивленный император, и прибавил — Nous serons charmes de le revoir».[6] На все прежние осторожные просьбы графа Киселева, умевший, кстати, не догадываться, император ответил зачастую для него выгодным молчанием. Обращенные ко мне слова были первым признаком одобрения императором намерения великого князя и я донес о том тотчас после аудиенции. По предварительному совету графа Киселева, объявившего, что император «терпеть не может штатов», я умолчал о моем назначении. Императрица очень мило и непринужденно лепетала бесцветности, умея всегда поворотиться нежною профилью и скрыться на соответствующий ей план.

Это было первое представление целого строя русских при графе Киселеве. Старику не нравилась преспектива приезда генерал-адмирала в Париж. Может быть в нем заговорила гордость, весьма понятная в человеке, бывшем двадцать лет министром Николая Павловича; но в семьдесят лет не могла нравиться и та суета, к которой неизбежно вело представителя России присутствие брата ее государя.

Расточая любезности графу Киселеву и ублажая чрез Морни государя, Наполеон не ссорился, однако ж, с Англией и на нашу готовность дружиться с ним отвечал идеалистическим предложением заключить тройственный союз, разумеется, с участием «вероломного Альбиона». В Париже собиралась новая конференция касательно разъяснения одной из статей Парижского трактата. Предстояло решить, разумелась ли та или другая деревушка под именем Болграда, и бывший тогда военным агентом в Лондоне Н. П. Игнатьев потребовался в Париже, где при мне давал графу Киселеву данные к разрешению вопроса, который едва ли

стоило возбуждать. От нас, по толкованию союзников, отрезали клочок болот, не стоивших, чтоб их наносили на великолепную карту, развернутую будущим творцам также различно понятого обеими сторонами Тян-Цинского трактата. Все-таки, освобождаясь от гнета союзников, мы не хотели понимать, что подчиняемся несравненно более для нас тягостному исключительному влиянию Наполеона. В последнее время много говорили у нас о «национальной политике», а, вместо того чтоб идти своей дорогой, мы жались к чужой помощи из каких-то туманных видов.

Граф Киселев не предвидел ничего доброго. Однажды после обеда он стал со мною откровенничать, сколько позволяло его положение. По мнению графа, нам нужно было шесть-семь лет мира для устройства железных дорог, финансов и армии; на это время он надеялся придержать Наполеона, но вынужденный в семьдесят лет переменить образ жизни, скучал своим положением. Когда я стал поощрять его к терпению, старик выразил, что ему нужна помощь из Петербурга; значит ее не было. Странно, впрочем, что русский экс-министр ждал из Петербурга определительности.

С надеждою и вместе со страхом за будущее России я промчался через знакомый Лондон в Ливерпуль и отплыл в Новый мир, где проклятый вопрос рабства поднял через через четыре года друг на друга кровных и единоплеменных; где он стоил, без всякой гиперболы, рек крови и гор золота. Но в 1856 году там, за океаном, великая страна еще покоилась и благоденствовала в безграничной свободе.

ГЛАВА II

НОВЫЙ СВЕТ

Знакомство с Новым светом. Различные сообщения между Европою и Америкою. Встреча лоцманов. Общий вид Нью-Йорка. Американские гостиницы. Топография американских городов и названия улиц. Народное воспитание. Приют для эмигрантов.

Во второй половине пятидесятых годов «Морской сборник» пользовался возможной свободой при существовавших тогда стеснениях печати. Впоследствии взгляды забавлявшейся либерализмом власти растворились в ее сладости; но в начале управления генерал-адмирала, когда пагубные влияния не соблазнили еще его пробовать все пути, когда вмешательство в близкие ко всем и всеми понимаемые вопросы не подвергло его еще прихотливой оценки публики, оказавшейся не понутру назойливым советникам и самому августейшему деятелю, великий князь, в скромной сфере своего управления, допуская правду, откровенность, даже хотел, чтоб посторонние следовали его примеру. Бывши постоянным сотрудником Сборника при его новом направлении, я с удовольствием принял предложение делиться с сослуживцами наблюдениями моими над малоизвестною им страною и послал в журнал несколько статей о Штатах. В сущности это была хроника моей жизни за морем, основанная на данных, доставленных тем же дневником, естественно, поэтому она найдет место в настоящих воспоминаниях моих.

Американские заметки мои познакомят читателя с великою республикою перед кровавою борьбою, в которую она вступила вскоре после отъезда моего. В социальном отношении, за исключением рабовладельческой язвы всех происходивших от нее недугов, и теперь нет в Штатах ощутительных перемен; так что мои воспоминания о прошедшем, в весьма многих случаях, пригодны для заключения о настоящем. Я начал записки на Кубе, где жил зимою с 1857 на 1858 год по указанию медиков для восстановления сил жены, вконец расслабленных суетливою жизнью в Нью-Йорке и Вашингтоне. Записки эти вносятся здесь в том же виде, что были помещены в «Сборнике» под названием «Между делом». Служебные требования прервали тогда мои американские этюды.

Знакомство с Новым светом начинается на пароходе в Ливерпуле; если же вы ехали с парижскою лихорадкою — то в Гавре, но это все равно, впечатления совершенно те же. Как бы ни лежал ваш путь, до сих пор не было ощутительной разницы в обычаях, роде жизни и общественных отношениях. Разделенная на классы старушка-Европа доставляла Вам возможность везде знаться только с равными вам по воспитанию или происхождению. На палубе парохода нужно проститься со всеми прият-

ными европейскими заблуждениями и, может быть впервые в жизни, допустить мысль отсутствия классов между людьми.

На палубе парохода сначала неприятно поражает некоторая фамильярность; но нужно принять в расчет, что спутники, большею частью поверенные в делах не правительств, а торговых домов — люди, несколько потершиеся на белом свете и желающие выказать светское образование свое именно потому, что обыкновенно в них не предполагают его. Между ними много французов, немцев и англичан и, нисколько не сближаясь, наслушаешься анекдотов, которые оживят монотонность пути, узнаешь подробности и выгоды торговли красными товарами и любопытные тайны американских железных дорог, проложенных на английские капиталы, отчего, скажу мимоходом, американцы от англичан вовсе не зависят.

Кроме англичан, которым накрахмаленные до твердости рубашки мешают сделать всякое человеческое движенье, все знакомятся очень скоро и дело в том, чтоб угадать наиболее приятного и любезного собеседника.

Если время отправления в вашей воле, рассчитывайте так, чтоб попасть на трезвый английский пароход. Эти два прилагательные покажутся неудобосочетаемы, и я поясню в чем дело. Между Ливерпулем и Нью-Йорком существуют две линии, перевозящие почту не только с согласия, но и с помощью правительств: английская — Кюнарда и американская — Коллинса. Других пароходов, плавающих между портами, и не пробуйте. Естественно, эти линии соперничают в скорости. Ратоборство принесло, без сомнения, большую пользу науке судостроения; но как мирный любопытный, путешественник, вы, вероятно, не столько привязаны к науке, чтоб сложить для нее свою голову на льдистых полях, отрываемых от полярных масс, или размозжить ее между двух глыб, вырвавшихся из Баффинова залива, погулять на просторе. Такие случаи бывали, ибо каждый пароход силится прийти скорее путешественника. Американцы моложе, бешенее и чаще ломают себе рога. Борьба линиям стоила очень дорого: скорость зависит от количества сжигаемого угля, а уголь — деньги и потому, в последнее время, кампании взялись за менее невыгодное соперничество. Между пароходами каждой есть один, назначенный поддерживать славу общества. Теперь это «Persia» у англичан и «Adriatic» у американцев. Они борются между собою, а остальные ходят по-людски, умеренно, в особенности английские, и летом в 10 или 11 дней, а зимою в 12 или 14 вас перебросят на тот берег в целости. Нам случилось плыть 16, но мы вышли из Ливерпуля в Рождество, а — Who ever heard to sail in a Cristmas gale?[7] Сначала вы утешаетесь, если можете, сытными обедами, продолжая их в бесконечность; лелеете вкус молока со льдом, видя корову в стойле и лед в ящике. Кстати, корова служила только приманкою, а молоко было искусственное, но как все чувства в человеке тесно связаны, то зрение помогало вкусу. Через несколько дней лед израсходован, тощая корова выброшена в море и на столе заманчивые яства заменяются треской и курицей, которую ничто не берет, даже рождественские бури.

Миль за сто или за полтораста вас встретит смелый лоцман на своей лихой шхунке и днем ранее передаст нью-йоркские новости. Эти лоцмана чудный народ, вечно сторожащий пришельцев и ревностно исполняющий свои обязанности, хотя и не подверженный полковой дисциплине. Правительство каждого приморского штата достигает важной цели обеспечения торговли в этом отношении не только без издержек на содержание лоцманов, но даже с доходами для себя. Все желающие держат экзамен и платят за право быть лоцманом.

Несколько удостоенных лоцманов складываются на хорошую шхуну и подвигаемые выгодою рыщут по океану для встречи добычи; завидя корабль, шхуна поднесется к нему ласточкой, и проворный лоцман мигом очутит-

ся на палубе, а товарищи вновь станут рыскать по волнам, пока останутся двое. Тогда шхуна возвращается в порт на дележ кружки, законной добросовестной кружки, наполненной трудом опасным и вечным бдением. Но лоцман на палубе и сыплет новости из уст и карманов, набитых журналами. Любопытно замечать лица спутников, большею частью дельцов (businessmen), интересующимися фондами, акциями, банкротствами и т. п. Некоторые физиономии вдруг осенятся заревом удачи, глаза раздадутся от толчка радости и внезапный веселый крик вырвется невольно. Другие, напротив, вытянутся длиннее мертвого угря; все тело онемеет, будто разбитое параличом, недокуренная, последняя может быть сигара выскочит из зубов, и если потеря велика и теряющий из южных или западных штатов, начинается утешение в самом ожесточенном жеваньи табаку и неистовом плавании. Воздерживающаяся до сих пор американская натура берет свое и выказывается во всей ярости. Не стойте никогда в пределах этого жидкого оружия.

Мы подошли к берегу накануне Нового года, когда родственные воспоминания особенно теснятся на душе и на сердце. Ясное небо с острым, всебодрящим морозом, еще более напоминало родину. От нью-джерсейского берега с левой стороны выдается песчаный откос и на нем светится маяк, приветливо встречающий утомленного двухнедельным однообразным плаванием. Минуя его, мы стали править между берегов Staten Island'а с запада и Jong Island'а с востока.

Санди—Гукской телеграф давно перегнал нас, и в городе ходили уже слухи не только о прибытии нашем, но и о последних европейских новостях, сброшенных с парохода на приставную у маяка шлюпку. Между тем берега островов сближались более и более и почти сошлись у входа в нью-йоркскую бухту, защищенную, как водится, батареями. Эти угрозы у всякого порта предуведомляют пришельца, чтоб он вел себя спокойно и благопристойно. Миновав узкость почти без остановки — так скоро выполнил прибывший доктор все карантинные формальности — мы очутились в обширном нью-йоркском заливе, правильнее в устье реки Гудзона.

К сожалению, очаровательная в летнее время панорама открылась нам на слишком знакомом фоне льда, не представлявшем однако ж той мертвенности, как в наших северных портах. Благодетельные периодические судороги моря содержали лед в движении, и американская настойчивость боролась с ним победительно. Не желая ударить лицом в грязь, английский капитан наш продирал ледяные массы штевнем без всякого сожаления к обшивке и разбивал их лопастями, или бил о них лопасти, как случалось. После часовой борьбы мы подошли к Нью-Джерси; английские пароходы не имеют пристани в Нью-Йорке.

Имея значительные набережные и везде достаточную глубину, американцы не остановились ни на минуту на мысли о дорогих европейских доках и выдвинули в обе реки сотни удобных дешевых пристаней, образующих между собою спокойные стойла. Этим утроили также протяжение набережных, чего требовала беспрестанно увеличивающаяся торговля. Пристани эти просто клетки из свай и продольных лежней, заваленные камнями и присыпанные сверху разбитым щебнем, иногда прикрытые досками. В одно из таких стойл мы норовили попасть с нашею старушкою «Азиею», но приказания капитана не могли быть слышны рулевым. Пассажиры, собравшись около трубы, тянули общим хором «песнь возвращения» и восторженно приветствовали край, где несносная для низких разница каст не существует, где после долгого унижения, которому они подверглись в Европе как поверенные в делах, вновь ожидало их независимое положение в обществе, допускающем в каждом чувство достоинства.

Естественно, такая обетованная земля приветствуется свыкшимся с нею чрезвычайно энергически и радостно. Капитан очень хоро-

шо понимал, что в этом случае дисциплина бессильна, махнул рукой — и восторг пассажиров имел следствием немедленную кару. Не попав в стойло, мы потеряли два часа времени.

На берегу стояли сотни любопытных, привлеченных не обыкновенным европейским любопытством, убивающим скуку или безделье, а жаждою торговых новостей. Как фонды, хороши ли акции центральной дороги в Илинуа. Что говорят об Обществе страхования Огайо. По временам выступит житель юга, и, освободив рот от накопившегося табачного сока, отрывисто проворчит: «а, хлопчатка». О политике нет и помину. Что за дело американцу в домашних европейских дрязгах? Однажды навсегда он дал себе слово не вмешиваться в них и мудро держать слово.

И здесь, как и везде, первое знакомство с таможнею; но американская таможня не подозревает в ветхом журнальном листе, которым обернуты ботинки, революционных прокламаций, а сознательно выполняет исключительную свою обязанность — не дозволяет ввоз товаров без пошлин, составляющих единственный почти доход федерального правительства. Никто не станет за вас действовать, и если вы сами возьмете меры для перетаски чемоданов на пристань, то через пять, десять минут будете уже в руках извозчика. Не спрашивайте куда везут вас и не страшитесь визга пара; не толкуйте, что лошади могут испугаться и понести прямо в реку. Вопросами и криками не поможете. Сев на карету, вы — собственность кучера, без малейшего произвола воли, даже выскочить трудно, потому что вы сам девять там, где в Европе садят четверых. И так обреките себя смиренно на предстоящую долю, и вместо бесплодной заботливости о своей участи, бросьте взгляд на паром, который перенесет вас через пять минут в Нью-Йорк; он стоит внимания. Вообразите себе на весьма зыбком, но безопасном основании дом с двумя галереями вдоль его и общею плоскою крышею. Эти галереи разделяют здание на три части — боковые для мужчин и дам, средняя для механизма. В самых галереях помещаются экипажи, как есть с лошадьми и седоками. Все это нагорожено на помосте эллиптического вида, далеко свешивающимся за бока и оконечности парохода, выстроенного плоскою баржею с весьма острыми линиями. На крышке стекольчатые будки для лоцманов или рулевых и у них под рукою все нужное для передачи приказаний механику. Цепи, навернутые на вороты у конца пристани, отданы. Паром пыхнул два—три раза, будто набираясь духу, свистнул, чтоб никто не стоял на маху, и зашатал коромыслом, словно одержимый бесом. Тонкий штевень ломит хрупкий лед, а когда не под силу — влезает на него, снова опускается, опять режет ледяной хрусталь, как бритва, и все это на самом полном ходу. От обшивки летит щепа; сорванные лопасти ломятся с треском; какое дело. Главное скорость — и действительно через несколько минут вы причаливаете в стойло на нью-йоркской стороне, с толчком о пристань, который непременно собьет вас с ног, если вы не подадитесь на одну из них. Помните, что вы в стране самоуправления и должны предвидеть все сами. Никто не скажет ни слова и никому нет дела, если вы пострадаете. Пароход от этого терпит мало, потому что палуба окраена толстым брусом, а стойло эластическою плетенкою из лежней и жердей, разрешающею силу удара. Носом паром уткнулся в плавучую пристань, придерживаемую к берегу цепями или петлями и поднимающуюся или опускающуюся с приливом и отливом. Две цепи поданы вмиг на пристань, паром привязан, и все мчатся на желанный берег. Не зевайте, иначе собьют с ног не извиняясь и осмеют, если вздумаете претендовать на вежливость.

Остановимся на пороге Нью-Йорка и перенесемся на время мыслями в нашу чудную северную столицу. Пар и новейшие открытия в корабельной архитектуре скоро устранят все природные препятствия, и гранитные берега Невы оживятся торговлею; ее только недостает Петербургу. Пора же и у нас развиваться

ей; пора признать ее всемогучую силу в государственной жизни. Мачеха природы сокращает жесткою своею прихотью промышленный период, а люди, будто соперничая, увеличивают еще затруднения. Чтоб протянуться сквозь все мосты к магазинам, весьма предусмотрительно выстроенным вне влияния наводнения за Невским монастырем, нужно по крайней мере четверо суток, даже когда не встретится препятствий. Париж делается морским портом, значит Петербургу подавно быть им следует. Корабли новой постройки будут прорываться прямо к месту сбыта и там грузиться нашим зерновым богатством. Исключая чудный Николаевский мост, все остальные можно заменить паромами, и тогда судам можно будет плыть вверх беспрепятственно и возвращение станет также легко. Паромы будут ходить до самых заморозков, а в случае надобности перебросят значительную силу на любой берег Невского залива. Остановки быть не может, ибо сношений различных частей Петербурга нельзя и сравнивать с деятельностью Нью-Йорка, Нью-Джерси и Бруклина. Такой паром стоит до 15 000 руб. сер., и каждый мост заменится двумя такими паромами, отходящими от берега через пятьдесят минут. Сравните эту цену с первоначальной стоимостью наших неуклюжих плавучих мостов, которые разводятся заблаговременно в ожидании льда, а нередко разводятся самим льдом, и уносятся или повреждаются. Сочтите все, что стоит ремонт этих сообщений, и вероятно убедитесь, что паровые паромы и удобнее, и дешевле. Но есть и другие соображения. 18–20 паромов образуют целое сословие машинистов, кочегаров и людей, свыкшихся с управлением паромами. Это будет рассадник и для торгового дела, и для военного флота, явная государственная польза. Разумеется при паромах понадобятся другие постановления и хорошая речная полиция, которая и без них должна существовать.

Американские трактиры в больших городах вообще хороши, нигде не путешествуют столько, сколько в Штатах, и даже многие местные жители предпочитают жить в гостиницах целыми семьями. Если вы решитесь тотчас же помириться с требованиями публичной жизни, что рано или поздно должны будете сделать, то вряд ли где найдете комфорт за столь умеренную цену. Чистая комната, с прекрасной постелью и пищей, стоит в день три рубля серебром. За это вы пользуетесь общею великолепно убранною залою, где принимаете знакомых, сидите в течение дня и даже занимаетесь, если привыкли не развлекаться посторонними разговорами. Стол не прерывается. В 8 часов утра начинается завтрак, продолжающийся до 11, в полдень — закуска, в 3 часа — первый обед, в 6 — второй, в 8 — чай и от 10 до 12 — ужин. Будь у нас аппетит бурлака, есть чем удовлетворить его и всегда легко сочетать время обеда и завтрака со своими занятиями. Письма можете посылать во все концы мира, отдавая их в контору трактира, а в больших гостиницах есть и телеграфические станции.

Трактиры и все дома в Нью-Йорке снабжены ваннами и водою в изобилии. Вода проведена за 60 верст от речки Кротон, впадающей в Гудзон, собрана в верхней части города в резервуаре и тысячами труб пущена во все улицы. Сколько раз, моясь во всю охоту, вспоминал я о нашем православном способе посылать в трескучий мороз захватить бочку, ушат или кружку воды в матушке-Неве, с опасностью заморозить человека со всеми случайностями таски воды в верхние этажи, ведущими к ломке голов и шей на обмерзшей от пролитой воды лестнице, с издержками на содержание особой водовозной лошади и проч. Столь дорого и с такою трудностью добываемая вода, естественно, тратится очень экономно и никто не уверит, чтоб жили в городе, не снабженном постоянным током всеочищающей влаги. Конечно, воды довольно в роскошных будуарах и спальнях, но загляните в кухни и людские комнаты и убедитесь, что опрятности быть не может. Какой толк, если подают на серебряном подносе грязными руками.

Грязь — чума, сообщаемая не только прикосновением, но через взор, обоняние и все чувства. Стыдно нашему щеголю, Петербургу, походить на красавицу в блестящем наряде с грязными юбками. Наши морозы не извинение и Нью-Йорк подчас трещит от них. Трубы можно предохранить, и 600 000 жителям, собранным в кучу, следует мыться. Вот город, вчера только выстроенный, наполненный исключительно торгашами, начинающими жизнь без малейшего понятия о требованиях, вселяемых высшим рождением и воспитанием. Посмотрите, гг.[8] аристократы, он истратил миллионы на опрятность, а под золотыми ливреями ваших слуг и, может быть, в бархатах ваших великолепных занавесей, гнездится бесчисленное население, оспаривающее у нас право собственности.

Какая аристократия без чистоты тела? Чистота, это давно известно, ведет к бодрости и твердости духа. Неужели вы ждете, чтоб правительство мыло вас и ваши дворни. Если до того дойдет, поверьте, мытье обойдется дорого. Чего проще, если нет предприимчивых людей, домовладельцам составить капитал, внося несколько процентов со стоимости дома, и самим через выборных взять дело в собственные руки. С проведенною водою уменьшится пожарная прислуга и число лошадей; ведь их содержат на ваш же счет. Взвесьте все это и увидите, что однажды устроенный водопровод поведет не только к облагораживанию жилищ, но и к экономии.

Простота есть вывеска здравого смысла и нельзя отказать в нем американцам. Оторвавшись от старого света и его общества, более или менее следующего рутиною преданий и переходящих от поколения в поколение привычек, американцы тщеславятся тем, что живут своим умом. Сначала многое покажется странным, но всмотревшись, а в особенности испытав удобство видимой странности, беспристрастный наблюдатель согласится, что Европа — хорошо написанный систематический трактат, а Штаты — произведение, наполненное свежими, оригинальными мыслями, поражающими практичностью.

Редакция журналов, биржа, банки, маклеры — все принадлежности торговли и спекуляций, честных и бесчестных, столпились у южной оконечности города на краю суетливой Broadway, бесконечной улицы, разделяющей город на две части по длине. На ней же все театры, магазины, конторы разных обществ и аукционы, и, в известные часы дня, можно видеть на улице смесь высокого, чопорного и изящного с хлопотливостью низких барышников и наглостью самых отъявленных плутов.

Любопытно смотреть на пробуждение Broadway около 8 часов утра. По числу омнибусов вы думаете, что весь верхний город валит в нижний, что почти так и есть. В Нью-Йорке нет человека, не занимающегося делом, и вообще в Штатах почти не знают, что такое жизнь приятная, изящно праздная, или проводимая в занятиях, не доставляющих денежных выгод. От 8 часов утра до 6 вечера мирская суета и корыстолюбие мчатся в омнибусах, богатых каретах, гаерских buggies[9] и пешком в ту же сторону, к тому же фокусу, к бирже. Полагается помещать в омнибусе 12 человек, а входит 16 и 20 и никто не говорит ни слова, если сядут на колени. Broadway — гордость американца. С обычною резкостью он объявляет, что нет ничего подобного в мире. И, действительно, нигде, кажется, не видно в одной и той же улице соединения перевозной торговли деятельности с тщеславными причудами моды; нигде тот же путь не служит для занятых делом и праздных. Труд и лень, как злейшие враги, везде избирают отдельные поприща, чтоб избегать встреч, взаимно неприятных. В Нью-Йорке по географическому положению города, вытянувшегося по одному направлению, эти условия нарушены и потому Broadway представляет вместе суетливый вид большого торгового проводника и картину вялого, хотя не лишенного прелести фашионабельного гульбища. Это — особенность, но не достоинство.

Из всех продольных улиц Нью-Йорка только в пятую аллею не проникла еще суматоха торговли. Зато пятая аллея — цель желаний всех спекулянтов, и счастливец, попавший в нее, становится аристократом. Да, м. г., и здесь есть аристократия с различными подразделениями. Разбогатевший на кляузах и ловкости крутить закон смотрит свысока на креза, вылезшего из трескового жира или из подмешанного вина, а этот, в свою очередь, кичится пред накопившим состояние по ниточке, жилетами или башмаками, хотя все сходятся, разжирев, в Нью-Йоркской белгравии. Никто не заботится какими средствами счастливцы достигли ее. Великолепие жилищ, сытные обеды и журнальные отчеты о раутах и балах, все эти признаки богатства скорее блеском своим покрывают прежние грешки.

Общество, беспрестанно меняющееся и презирающее прошедшее, потому что самый край не имеет его, жадно и внимательно только к настоящему. Счастливец легко заглушает совесть пирами на весь Нью-Йоркский люд, пожертвованиями на какое-нибудь публичное дело, всех занимающее, и кутит напропалую до того дня, когда дерзкая предприимчивость сбросит его на мостовую. Чертоги в пятой аллее, истинно великолепные, экипажи и вся утварь продаются с молотка. Новый удачный спекулянт заступает его место на троне счастия, а ci-derant[10] удаляется в нижний город опять лезть к пятой аллее или скрывается на время в дальнем западе, а может быть и в Калифорнии. Таким образом постоянно видишь тот же процесс. Произведения работающих в поте лица валят лавою в нижний город; туда на пароходах и баржах, по невообразимому водному сообщению, сплываются продукты неисчерпаемого запада. Все это перерабатывается в биржевой лаборатории, проходит сквозь руки маклеров и комиссионеров на суда, плывущие во все концы мира, и из неприятной для глаз, разнородной глыбы рождается звонкая серебристая волна, которая берет противное направление, выходит в верхний город и там каменеет аристократическим жилищем.

Это поступательное движение труда вниз, и богатства, из него проистекающего, — вверх, составляет отличительную черту Нью-Йорка. Везде более или менее заметно то же явление; но здесь процесс совершается чрезвычайно быстро, заметнее для глаз, ощутительнее. Гораздо труднее найти памятник прошедшего и возможно ли быть ему в стране, только что родившейся. Несравненно реже можно встретить образчик искусств; это есть венец образованной праздности, отпечаток общества, уже достигшего некоторого совершенства, духовной рафинировки. Вовсе нельзя найти музея или хранилища наук, которые приманили бы своею занимательностью потому, что это есть выражение утонченного воспитания, роскошная вывеска любви к науке. Американцу некогда трудиться для нее; он схватывает то только, что ведет к непосредственному материальному благосостоянию. «Что он заработал своею картиною, историею, статуею политико-экономическим сочинением, журналом и даже проповедью?». Вот первый и единственный вопрос американца, судящего о труде художественном или умственном. О славе, этом предрассудке старой Европы, часто подвигающем ее на высокое и великое, здесь нет и тени помышления. Слава придет сама собою вслед за деньгами. Горько, но, кажется, верно.

Знакомясь с большим городом, нельзя пропустить без внимания публичных учреждений для распространения образования.

В срубе американского запада, в чистеньком досчатом здании новой Англии, в чертогах из тесанного камня с мраморными фасадами, встречаемых в больших приморских и приречных городах — везде преподаются три основные начала всех наук, служащие краеугольными камнями великой науки жизни: читать, писать и считать, преподаются для того, что читающий и пишущий скорее найдет место, нежели безграмотный, и, следовательно, не будет требовать общественного призрения,

а считающий может легко вступить в торговлю и спекуляции, и тогда из мальчика, продающего на перекрестках ежедневные газеты, вырастет крез с огромным общественным и политическим влиянием. Подобное воспитание выражается на практике тем, что человек прежде приобретает средства, а потом уже усваивает дорогостоящие наклонности и привычки. Я никак не решусь утверждать, чтоб эти средства всегда добывались здесь честно и благородно, но все же в процессе богатения ловкость и умственная бойкость необходимо играет важную роль. К чему, напротив, ведет изящное воспитание не по средствам. Прихоти опережают их, срастаются с человеком, не имеющим возможности удовлетворять их. Становится необходимым добыть недостающие средства; избалованному уму и изнеженным чувствам трудно ждать их долго, работать еще труднее и отсюда падкость на легкое обогащение, доставляемое случайности власти или общественного положения.

Решите, что лучше: быть необразованным в молодости, когда человек нужен только самому себе, и в летах зрелых иметь средства быть полезным обществу, или блистать познаниями в юношеском возрасте, а в возмужалом, когда способности делаются уже негодными для общества, при гордости, недозволяющей искать труда и просить подаяния, браться смело рукою грабить своих сограждан.

Воспитание в Штатах кончается в 15–16 лет, для более выгодного употребления времени, и потому не представляет никаких исключительных особенностей, кроме той только, что совершенно отчуждено от влияния правительства и духовенства.

Американцы, убедясь из истории человечества, что трудно человеку не быть эгоистом, осмелились явно принять себялюбие за основание общества, и на этом основании воздвигли систему воспитания и общественной благотворительности. На деле системы эти упрочивают государственные постановления, отнимая возможность у демагогов толкать произвольно толпу и сбивать законы с их высокого подножия, и избавляют общество от расходов на невежественное бессилие. Очевидно, такие правила родились в эгоизме народа, желающего ограждать себя только от вреда, а никак не работающего для науки и не гоняющегося за чисто филантропическими целями. Так называемых богоугодных заведений мало, потому что американец работает до гроба, и к чести его должно сказать, что приюты почти наполнены иностранцами.

Есть, впрочем, примечательное заведение, не менее богоугодное, нежели богадельни, и несравненно более полезное для юного края, требующего огромной массы рабочего труда. В нем временно призреваются не изнуренные жертвы чрезмерных физических усилий или собственной лени и разврата, а свежие бодрые силы Европы, ежедневно прибиваемые к новому миру волною эмиграции; эти силы ищут на плодовитых необъятных полях американского запада пищи своей деятельности, не имеющей простора на тесных подавленных населением землях Германии и Бельгии, или гасимой влиянием духовенства и преступным равнодушием правительства между зелеными холмами несчастной Ирландии. До 6 000 таких переселенцев, чающих лучшей участи в новом краю, ежегодно перевозились в Америку почти исключительно через Нью-Йорк. У самого моря, там где чужеземец выступает впервые на берег, где за самую ничтожную плату город дает приют новичку, пока благотворительное общество не укажет ему, где с большею выгодою он может употребить в дело свои силы или приобретенный в Европе небольшой капитал. Везде, а в Нью-Йорке более, нежели где-либо, есть стаи коршунов, или, выражаясь морским языком, акул, ожидающие жертв, продающие им фальшивые права на владение небывалыми участками на западе, доставляющие им ложные билеты на железные дороги и пароходы, навязывающие поддельные деньги, акции и т. п. Для отвращения бедственных следствий сношений с эти-

ми хищниками, город берет желающих на свое попечение до прибытия к месту окончательного назначения.

Пожалуй, подумают, что это истинная высокая филантропия. Вовсе нет — чистый благоразумный расчет. Ограбленные эмигранты тысячами в самом Нью-Йорке и составляли массу без собственности, со всеми пороками нищеты, прививаемыми неудачею в жизни. В один год таких ободранных эмигрантов осталось несколько десятков тысяч. Общество ужаснулось. Выброшенные на мостовую мириады работников без работы могли быть гибельным орудием в руках домогающихся политического значения. Спокойствие и порядок могли быть нарушены первым демагогом, пробивающим себе дорогу. Нужно было принять меры против грозы и остановить волну, периодически находящую на город в известное время года. Тотчас обратили театр в постоялый двор-дом и бедным эмигрантам протянули руку помощи ради собственных выгод. Нью-Йорк спасен от смут, а запад получает руки, в которых нуждается.

Не вините меня в материальном взгляде на вещи. Повторяю еще раз: не ищите в Штатах высоких нравственных побуждений, они не существуют. Зато во всем найдете здравый смысл, а для счастия масс он нужнее и полезнее порывов сердца. Чувствами можно обнимать семью, а не государство, не народ. Великий закон любить ближнего, как самого себя, — прекрасный и удобоисполнимый в частных отношениях, в общем устройстве значит любить ближнего ради себя.

Беглый очерк вопящего жизнью города, растущего не по дням, а по часам, следовало бы заключить описанием и указанием причин, способствующих его необыкновенному развитию; но жилы, приливающие к нему деятельность, столь бесчисленны и проникают так глубоко внутрь материка Штатов, что невозможно дать о них понятие без описания общей системы сообщений края.

ГЛАВА III

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШТАТАХ

Бостон, Янки и характер их. Народное образование в Массачусетсе. Управление школами. Специальные школы. Благотворные результаты соединения промышленности с земледелием. Торговля льдом. Пожарный телеграф.

Главнейшее назначение наше состоит в приготовлении тех, которые, по закону естественному, должны со временем занять наше место

Эверст

Нью-Йорк — главнейший базар Штатов, далеко превосходящий величиною и торговою деятельностью все прочие; но несправедливо было бы заключать, что это единственный пункт внешней торговли. По Атлантическому берегу Союза есть много прекрасных портов, одаренных почти такими же выгодами, как Нью-Йорк, — и чрез них ведется размен товаров, достойный внимания. Главнейшие соперники Нью-Йорка, значительно, впрочем, о него отставшие, суть Бостон, Филадельфия и Балтимор. Не только в торговом, но во всех других отношениях, города эти стоят во главе прочих и ярко блещут в дивном приморском поясе Штатов. Это центры учености, религии и политики, и знакомство со Штатами должно непременно начинаться ими.

Через восемь часов по выезде из Нью-Йорка на северо-восток, или по прошествии ночи, удобно проведенной на великолепном пароходе, в проливе между Длинным островом и материком, если предпочитаете пароход железной дороге, вы въезжаете в сердце Новой Англии и находитесь между истыми Янки. Не думайте, чтоб всякий американец имел право на это звание. Янки — жители только шести северо-восточных штатов: Мейна, Нью-Гампшейра, Вермонта, Массачусетса, Коннектикута и Род-Айленда. Янки — мозги и душевная сила Штатов, а европейцы, более знакомые с этой перелетною птицею, везде ищущей поживы и пищи своей предприимчивости, зная только, что она налетает из северной Америки, ошибочно называют всех жителей Штатов янками. При легких сообщениях не может не быть сходства между населенцами различных штатов, но Янки сохранили свою особенность по многим причинам и случайностям. Потомок черствых трудолюбивых пуритан, он первый возрастил на девственной почве Штатов промышленность и впоследствии привил ее к соседям, поэтому имеет сознание какого-то превосходства. Эмиграция разных племен Европы, большею частью непромышленная, земледельческая, не могла останавливаться в Новой Англии, где удобной земли мало, поэтому народонаселение ее более однородное, и Янки имеет мно-

го прадедовского, английского. Преимущественно купец и промышленник, он эксплуатирует юг и запад, ведет их дела с Европою и дела Европы с ними, короче — их поверенный агент, и потому в высшей степени наблюдателен, зорок, любопытен и подчас навязчив до неприятности. На все и всех он смотрит с деловой точки зрения, вечно вертит в уме какие-нибудь спекуляции, и вследствие этого говорлив настолько, сколько требуют его выгоды. Янки оглядит вас с ног до головы, мигом угадает вашу ценность и отрывистыми вопросами разузнает все, что ему нужно. Хитрый Янки — иначе его не называют в Штатах. Иногда ему придают народные прозвания резака и скоблилы (sharper и shaver), разумея, что он режет свою жертву и скоблит ее, как бритва.

Страдая чесоткою торговой изворотливости, Янки не бросается, однако ж, в бешеные сделки, рассчитывает верно, платит долги и вообще в делах более схож с жителями старой родины, как он называет Англию. Столица этого деятельного, энергического и чистоумственного, сухо-сердитого племени — Бостон — не носит на себе отпечатка молодости и временности, как Нью-Йорк. Все в ней прочнее, устойчивее, и везде более заметны обдуманность, мысль о будущем и памятование о прошедшем. Только люди строгих правил и несокрушимой силы духа могли выбрать такое место для населения. Опасаясь гонений и в этом дальнем убежище пуритане, вероятно, ввели стратегические расчеты в выбор местности. Соседство дикарей, без всякого сомнения, также побуждало к подобным соображениям, и в глубине бухты, загражденной с моря опасными рифами, они водрузили свое непреклонное жестокое знамя на несчастном полуострове, соединенном с материком узким удобнозащищаемым перешейком. В течение времени причины опасений исчезли, прекрасная гавань привлекла торговлю и город раскинулся по всем выдающимся оконечностям бухты, так что Бостон нашего времени состоит из собственно пуританского Бостона (разумеется, расцветшего противно правилам строгих основателей), Чарльстона, отделенного от него рекою Чарльс, Восточного Бостона, между коим и Чарльстоном вьется река Мистик, и Юного Бостона, выросшего в полуострове же, к югу от коренного города. И здесь волшебная сила торговли слила все части в один рынок, но по особенной местности связь эта очевиднее. Река и верхушки гаваней между полуостровами доступны только малым судам и лодкам, и потому безбоязненно можно бало заградить их прочными мостами, оставя для каботажной торговли проходы. Эти бесчисленные мосты, длиною иногда целые мили, составляют решительную сеть сообщений и поражают путешественника при первом взгляде на город с бельведера правительственной палаты (State House). Они утверждены на сваях и большею частью покрыты рельсами для локомотивов, ежечасно выезжающих в город от всех пунктов горизонта. Разводящиеся части устроены везде одинаково и, как мне кажется, чрезвычайно умно. Мосты разводятся у одной из оконечностей, а постоянная часть кончается в расстоянии от берега несколько большим нужного для пропуска двух судов.

В Бостоне, как и в Нью-Йорке, доками называются стойла, образуемые выдвинутыми пристанями; но стойла эти несравненно прочнее и набережные выложены камнем и уставлены правильными зданиями для нужд торговли.

В главе моей о Нью-Йорке я коснулся уже публичного воспитания в Штатах, отложив с намерением более близкий взгляд на предмет до описания Бостона, этого рассадника образования в Северной Америке. Идея дарового воспитания, доступного всем без исключения, несмотря на простоту ее, может быть непонятна. Если к воззрению на воспитание мы станем примешивать макиавелистически-политические соображения, приводимые одними для сохранения какой-

то монополии разума, другими для удобнейшего созидания, на тине невежества, власти, склонной ко злу, тогда все педагогическое устройство Новой Англии может быть ниспровергнуто. Но ясно, что такое воззрение, удовлетворяющее только эгоистическим видам немногих, ложно и недостойно политика-христианина. Образование масс, составляя источник силы животворящей дары природы, не может вредить государству, какой бы ни был политический состав его.

Благонамеренная сила, народ просвещающая, будет тем более могуча, чтоб не допускать до него элементов растления, чем действие этой силы сосредоточеннее. Нужно только, чтоб оно было живое, чтоб благие и полезные помыслы в самом деле приводились в исполнение. Этого нельзя достичь иначе, как определивши полезный предел действия центральной власти и предоставя все за ним мелочному, ближайшему наблюдению тех, которые наиболее выигрывают от меры, не строя между благодетелем и благодетельствуемыми китайской стены из бессердных наемников или закостенелых в предрассудках почитателей status quo,[11] которые, вопреки внушениям природы, показывающей, что все должно расти и развиваться противно собственным побуждениям, толкающим их по стезе почестей и богатства, хотят, чтоб все вокруг стояло и спало сном непробудным.

Законодатели Массачусетса – республики – нашли возможность постановить и взимать весьма тяжкие пени за невоспитание детей и злоупотребления наставников. С одной стороны, конституция требует, чтоб каждый был образован до некоторой степени, с другой – указывает, какое образование давать следует. Закон, для этой цели, врывается под домашний кров, отчуждает детей от беспечных родителей, посылает их насильно в школу и там указывает не только чему учить, но и по каким книгам. Не забудьте, что это могли ввести в стране, где всякое вмешательство власти рождает сопротивление.

В 1642 году еще верховный совет колонии постановил в обязанность местным властям настаивать, чтоб всякий ребенок получал воспитание. Выборные должны были «строго наблюдать за согражданами, дабы никто из них не был до такой степени варваром, чтоб не учить детей или работников правильному чтению и познанию важнейших законов, под штрафом 20 шиллингов с лица». В том же акте постановлено непременно учить какому-либо ремеслу каждого нежелающего приобретать высших познаний, «чтоб все были потребители-производители», и, наконец, прибавлено: «если отцы и хозяева окажут небрежность в исполнении закона, то детей и слуг отбирать от них, мужеского пола до 21 года, женского – до 18». В 1647 году новым законом установлено всем давать бесплатное воспитание в школах, содержимых прямыми общими налогами. Замечательно, что при редкости монеты налоги платились овсом, рожью, пшеницею и пр.

Итак, в республике нашли возможность заставить всех учиться. Законодателям стоило только допустить к себе убеждение, что образование необходимо и побороть эгоистические идеи будто никому нет нужды до чужих детей, и каждый отец должен заботиться о своих, как умеет и может. К этому пришли следующими положениями и доводами:

1) Различные поколения, сменяющиеся в этом мире, составляют одно непрерываемое гражданское целое.

2) Собственность этого целого должна быть порукою в воспитании юношества до степени, необходимой для отвращения от него бедности и порока, и для приготовления к общественным обязанностям.

3) Последовательные владельцы этой собственности, суть не что иное, как поверенные, обязанные свято выполнять условия, и лишение собственности детей или потомков подлежит каре законов в той же мере, как подобное преступление относительно современников.

По закону департамент просвещения должен представлять ежегодно отчеты о школах высшей власти Штата, основывая их на таких же отчетах частных учебных комитетов и собственном наблюдении. В особенном волюме публикуются мнения департамента, его секретаря и частных комитетов. Однообразие заключений и разнообразие взглядов на средства к достижению лучших выводов ясно высказывают внимательному читателю, что в учебных постановлениях между центральными и местными влияниями существует благодетельное равновесие. Пересмотр этих драгоценных документов, чрезвычайно любопытный в педагогическом отношении, представляет и неспециальным людям тот утешительный факт, что народонаселение Массачусетса содержит несравненно более школ, нежели обязано законом.

Основанием учебного устройства Штата, точно так же, как политического, служат градоначальства (townships). Говоря о таком-то городе, разумеют весь округ его. Каждый город, в учебном отношении, имеет право налагать подати для содержания школ непосредственно под своим надзором, или разделиться на участки, и тогда уже каждый участок содержит сам школу и поручает ближайший надзор за нею своим выборным.

При этом условии на общий сбор строятся одинаковые школы, и в них содержатся учителя того же достоинства, чего никак быть не может при дроблении на участки, ибо один участок более или богаче другого. Все дети, без разбора, имеют право входа в школу бесплатно. Пределы лет определяются местными комитетами и вообще ограничиваются пятью и пятнадцатью. Два смежные участка, принадлежащие разным городам, могут по обоюдному согласию и с дозволения городов соединиться в один. Два или более смежных участков могут соединиться для учреждения общей школы, предназначаемой для взрослых детей. Цель этой меры — единственно большее удобство в распределении преподавания, сообразно летам и успехам учащихся. Вместо того, чтобы содержать две школы и дробить их на множество классов, участки соединяются на третью, где преподается высший курс.

Смежные города соединяются в высший учебный участок и устанавливают высшую школу. Итак, в учебном отношении, штат разделен на города, учебные участки, смежные участки, общие и высшие.

Кроме означенных школ, всякий город может иметь школы для взрослых, где учат читать, писать, арифметике и географии. Закон, предоставляя городам право иметь столько школ, сколько пожелают, определил только наименьшую меру распространения просвещения. Как бы город ни был мал или беден, какое бы ни было число жителей, он обязан иметь школу.

Во всякой школе, где 50 и более учеников, должны быть помощницы наставников, разве город или участок решает иначе на законной сходке. Лишнее говорить, что таких решений не бывает, и большая часть низших школ доверяются женщинам. Благодетельное влияние нежного пола на детей не подлежит сомнению.

Налоги для школ, разумеется, назначаются самими плательщиками; minimum ограничен требованиями закона. В известное время года, по предварительному объявлению, всякий пользующийся правом голоса в общих делах, идет к указанному месту. Предлагаемая кем-либо сумма, по должным обсуждениям, отдается на голоса. Большинство решает — и никакая власть не может изменить решения.

Собранная сумма должна быть употреблена только на жалованье учителям, их пищу и на отопление школы. На сходке могут определять суммы и на другие предметы, но отдельно. Вообще говоря, закон предполагает, что кроме сборов, всякий участок доставит здание для школы, пристойно убранное, с помещением для учителя. Если город не разделен на участки, здания строятся или нанимаются город-

скою властью. Управление школами разделяется между старшинами, учебными комитетами и департаментом просвещения.

Старшины избираются каждым участком или своим городом, по решению последнего. Обязанность их преимущественно хозяйственная. Если город предоставит старшинам выбор учителей, они только представляют их, но не утверждают. Это право предоставлено только городскому учебному комитету, и без аттестата последнего учитель не признается законом.

Места, избираемые для школ, отчуждаются от владельца на основании законов отчуждения частной собственности для общей пользы; а при хартии, даваемой вновь возникающим городам, вообще во всех Штатах, полагается условием, чтоб столько-то акров было отдано под школу. Вся собственность учебных участков освобождена от налогов.

Городской учебный комитет избирается ежегодно письменною баллотировкою и обязан наблюдать за всеми городскими школами. Во время действительного исполнения обязанностей, каждый член получает доллар в сутки из городских сумм. Избираемые народом, члены комитета после выбора руководствуются единственно определенными законоположениями. Если бы комитет не представил годового отчета о школах и тем лишил бы город вспомоществования из учебной кассы штата, город может удержать следуемое членам содержание. Главнейшие обязанности городского комитета: экзамен учителей для всех школ, выбор книг и посещение школ не менее двух раз в продолжение курса. Учебные книги указываются комитетом учителю, и при этом указании подразумевается, что никакие другие не допускаются. Закон настоятельно требует только, чтоб не допускали книг, написанных в исключительном духе какого-либо христианского исповедания. Такое требование согласно с объявлением независимости Массачусетса, служащим базисом всем законам. В объявлении сказано: «Каждый имеет право и обязан прославлять открыто Творца-Промыслителя, в известное время, и никто не должен мешать другому чтить Бога по собственному разумению и как ему заблагорассудится. Никому не возбраняется исполнять религиозные обязанности по указанию его совести, лишь бы исполнение это не нарушало общественного спокойствия».

Департамент просвещения основан не ранее 1837 года и состоит из десяти членов. Губернатор и вице-губернатор Штата, суть члены по месту; остальные восемь предлагаются губернатором исполнительному совету, и, в случае согласия его, определяются на восемь лет. Обязанность департамента посещать нормальные штатные школы, наблюдать через инспекторов за действиями всех школ вообще, и представлять ежегодно законодательному собранию отчет о публичном и даже частном воспитании, излагая в нем свое мнение о всем до учебных учреждений относящемся. Департамент не может остановить действие школ, исключая нормальных, но должен возбуждать внимание власти или общества к улучшениям или упущениям в учебных заведениях всякого рода. Издержки на поездки членов платятся из сумм Штата, но обязанность несется безвозмездно. Департамент избирает секретаря, который, в то же время, заведывает Библиотекою Штата. Секретарь обязан собирать все данные о школах и об отправлении городским комитетом своих обязанностей; он представляет департаменту свой взгляд на все улучшения, объезжает Штат сколь можно чаще, с целью возбудить общее мнение в пользу публичного воспитания, собирает лучшие сочинения о воспитании, рассматривает все отчеты о школах и из них составляет извлечения, представляемые ежегодно департаментом законодательному собранию.

Закон требует, чтоб городской комитет составлял ежегодно особый рассудительный отчет, в котором разбирал бы все условия и пояснял бы свои действия, указывая на причины и цель. Секретарь департамента состав-

ляет из частных отчетов извлечение для законодательной власти. Кроме того, департамент составляет свой собственный отчет с общим воззрением на воспитание и мыслями к усовершенствованию его. Извлечение из отчетов о школах, составленное секретарем, и годовой отчет департамента печатаются тысячами экземпляров и рассылаются во все городские комитеты, чтоб каждый мог ознакомиться с системою воспитания в целом Штате и узнать, что собственного и где для него сделано.

Кроме публичных бесплатных школ, в Массачусетсе есть четыре нормальные школы, где приготовляются учителя. Они содержатся на сумму штата и в двух готовятся исключительно наставницы. Воспитание бесплатное, если вступающий объявит твердое желание идти по педагогической части. Вступающие должны быть не моложе 17 лет, если мужчины, и не моложе 16 лет, если женщины; они должны пробыть в школе не менее года, но многие остаются долее. Нормальные школы находятся под непосредственным наблюдением комитета из членов департамента просвещения, включая секретаря. К каждой нормальной школе присоединена экспериментальная, в которой ученики нормальной прилагают к делу свои познания, давая уроки питомцам. По временам начальник нормальной школы посещает экспериментальную со всеми своими учениками, и, возвратясь с лекции, спрашивает мнение последних о способе преподавания их товарищей. При такой системе опровергаются ложные взгляды, которые могли бы укорениться в будущих учителях. На нормальные школы Штат тратит ежегодно 13 500 долларов.

Учительские съезды, по желанию их, назначаются департаментом в известном пункте под надзором одного из членов или секретаря. Цель этих съездов — взаимное сообщение идей о воспитании. Съезд считается действительным, если на нем не менее 50 членов, и в таком случае пользуется вспомоществованием из учебной штатной суммы.

Хотите знать умственные выводы системы? Из 1 200 000 жителей Массачусетса, 40 000 только безграмотны, и те, без исключения, ирландцы, прибывающие для работ и беспрестанно сменяющиеся. Возьмитесь ли за результаты материальные, — увидите, что Массачусетс — Штат, в котором наиболее порядка, где почти неизвестны бури выборов, где преступления несравненно малочисленнее, пространства изборозжены дорогостоящими железными путями, не обремененными, однако ж, долгами, как в других Штатах.

Нельзя отвергать, что причиною такого богатства и просвещения мануфактурная промышленность, соединенная с земледелием. При этом условии она создает селения и города, способные учреждать и поддерживать школы; она избавляет земледельца от потерь перевоза, доставляя сбыт его произведениям на самом поле; она возвращает удобрение, для земли необходимое; она, наконец, развивает народ.

Американцы понимают благодетельное влияние мануфактур на благосостояние народа и ни за что не соглашаются быть либерэшанжистами,[12] хотя во многом могли бы соперничать с англичанами. Странно, что мы, сравнительно дети, хотим растворить им двери. Товарами, нужными только баловням, они завалят все проходы мысли. Невежеству, свойственному краю единственно земледельческому (это подтверждает история), некуда будет выйти. Мы все будем жить в десяти верстах друг от друга, с трудом сообщаясь, чтоб добывать насущный хлеб, не только чтоб размениваться идеями. Нужно будет в политической экономии нашей допускать начало, что для блага одной половины России другая должна голодать и для сбыта южного скота необходим падеж на севере. Пускай земледелие и промышленность станут соседями, и тогда прекратятся причины, заставляющие не любить ближнего, а желать ему возможного зла.

Говорите, что хотите, а, глядя на бойкого московского фабриканта, даже без прикосно-

вений к нему руки образования, понимающего, что он — человек, и на сонного смиренного земледельца хоть родной моей губернии, распинайтесь на все стороны, а я не поверю, чтоб размножение мануфактур было вредно, да думаю и многие со мною согласятся; а ведь беспошлинный размен произведений прямо вредит этому размножению. Я — не фабрикант и не акционер, не имею никаких непосредственных интересов ни в свободной торговле, ни в запретной системе; но видя, какие чудные плоды последняя приносит здесь, желал бы, чтоб в отечестве моем пристальнее посмотрели в этом случае на край, во многом с ним сходный. Америка многих излечивает от лихорадок умственных и душевных. Либералы бегут сюда от преследований и гонений Европы, но заметьте, никто еще из них не произвел здесь более часового эффекта и не остался в Штатах. Отчего? Они скоро убеждаются, что не совратят никого теориями, несозревшими еще под собственною их маковкою, а между тем давно здесь приложенными к делу, как им и не снилось. Здесь они пророками не будут, и все спешат назад, туда, где можно проповедывать либерализм, не жертвуя гордостью. Большая часть возвращается в порыве обиженного самолюбия, другие, хотя и с прежними убеждениями, но исправленные в заблуждениях, дознавшие опытом, что рост политический должен следовать той же постепенности, что физический.

Естественные произведения Массачусетса, гранит и лед, — произведения, по-видимому, небогатые; но энергия жителей умела найти им огромный сбыт. Массачусетский гранит виден в публичных и частных зданиях всей северной Америки. Как строительный материал он не мог не составить предмета торговли и по несокрушимости своей, не требует никаких попечений при перевозе. Притом торговля камнем существует везде и не представляет ничего нового. Совершенно иным условиям подчиняется ледяная промышленность. Огромный сбыт в тропических странах материала, уничтожающегося от малейших влияний теплоты, не может не приковать внимания самого поверхностного наблюдателя. Лед — произведение, которым изобилует и наше отечество.

Первый груз льда, отправленный г. Тюдором в Мартинику из Бостона, состоял из 130 тонн, и почти весь уничтожился на переходе. Осталось несколько кусков, и г. Тюдор, вместо отчаяния, приложил такое рассуждение: «если я довез кусок, можно, значит, возить целые грузы». Подобное заключение показалось бы странным нашим спекуляторам, рассчитывающим на немедленный барыш, а при настойчивости американца оказалось совершенно справедливым, вот факты:

В 1816 году из Бостона было отправлено 1200 тонн

В 1836 — 12 000 тонн.

В 1857 — 112 972 тонн.

Но заграничная торговля льдом, хотя производится на миллионы, еще, можно сказать, в младенчестве. Потребление льда ленивыми населениями тропиков ничтожно в сравнении с расходом его между трудящимися массами Штатов. Один Нью-Йорк расходует его более 150 000 тонн, т. е. 9 000 000 пудов на 800 000 жителей. Бостон на 160 000 жителей тратит 4 500 000 пудов. В Нью-Йорке, с доставкою на дом, фунт стоит менее копейки серебром, а в Бостоне менее полукопейки.

Секрет американской изобретательности в том, что мысль есть общее достояние, и, конечно, когда думают все, то и выдумывается более по различным отраслям. Например, простой пожарный придумал в Бостоне приложить электричество к своему пожарному делу. Ему показалось странным, что когда сообщаются между Бостоном и Новым Орлеаном в неуловимый миг для передачи известия о пожаре, в самом Бостоне нужно держать часовых в каждой части, строить множество нелепых каланчей, делать медленные сигналы фонарями, и вдобавок большею частью делать их поздно. Английская пословица

говорит: «Спит, как часовой»; каланчи дороги и, кроме того, в суровую бостонскую зиму морозят бедных соглядатаев; фонари бьются и вводят в расходы, а, хуже всего, часовой с каланчи может увидеть пожар тогда только, когда пламя вырвется уже наружу. Бостонскому пожарному такое устройство показалось китаизмом — и теперь во всех частях Бостона вы видите скромные тумбы с приличной надписью. При первой вспышке поворот ручки дает знать в главное депо, оттуда сигнал передается в частные, с указанием той части, где несчастье случилось. Пожарные команды все вмиг на дыбах, потому что вместе с сигналом поднимается звон, который разбудит мертвого. И недорого, и человеколюбиво, и действительно.

Еще особенность Бостона — машинная выделка башмаков для всех западных и южных штатов из кож, ими же доставленных. Огромные здания наполнены нужными механизмами, в них, от восхождения до захождения солнца, кроят обувь на разные росты. Выкройки раздаются в близлежащие деревни и стачиваются обыкновенно женщинами. К ним прибивается подошва шпильками, выделываемыми чрезмерно любопытным механизмом, выбрасывающим их тысячами.

ГЛАВА IV

АМЕРИКАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Свобода и передвижения в Штатах и в России. Филадельфия. Балтимор. Железнодорожные отечественные воспоминания. Народные волнения и способ усмирять их. Американская политическая система.

Железные дороги, по удобству и скорости езды, рождают охоту к передвижению. Схвативши чемодан, всегда готовый на случай, требующий скорости, я мчусь на станцию. Кажется, я не спросил позволения частного пристава повидаться с русским посланником, пожалуй не дадут билета. «М. Г., какие здесь правила для путешественников, где составляют спецификацию личностей или снимают дагеротипы, ведь у вас все усовершенствовано, и, верно, между полицейскими есть особенные художники. — Правила, — отвечал остановленный мною американец, — пять центов лишних за билет, если возьмете его не в конторе, а в вагоне. Остального не понимаю: у нас составляют физический формуляр и снимают дагеротипы только с мошенников». Я очнулся и вспомнил, что хочу ехать из Нью-Йорка в Филадельфию, вбежал в вагон, и, поставя пожитки под скамейку, начал размышлять под однообразный стук локомотивных колес. Введут у нас железные дороги; приучат русский народ к движению быстрому, и приучат скоро, потому что мы бродяги по природе. Как же при возможности промчаться 700 верст в сутки будут настаивать, чтоб тратили три дня на соизволение полиции. Здесь что-то неладно, скажет Русак, почесывая затылок. И зачем бы, кажется, полиции знать, что меня нетерпеливо ждет невеста, что я еду разрешить, наконец, сомнения, или что в деревне мне нужно сменить приказчика. Потом пришло в голову, что уменьшают штаты и хотят, чтоб каждый занимался пристойно для общего блага; а вон там, за большим и дорогостоящим столом, сидит представитель военно-полицейской власти и около него несколько писцов, и мне не дают билета без милостивого позволения его дюжего высокоблагородия.

В эту минуту прервал мои размышления кондуктор. Билета у меня не оказалось, он вежливо подал мне марку и попросил пять сентов лишних. Спокойный, нераздраженный, без неприятных впечатлений, без неудовольствий на блюстителей порядка, возмущающих дух безобидных путешественников, я мчался по дороге из Нью-Йорка в Филадельфию и ничто не мешало мне впиваться жадно в джерзейские поля и холмы, прославленные подвигами Вашингтона и борьбою за независимость.

Дорога несется между мануфактурными городами, снабжаемыми углем из Пенсильванских копей по каналу Раритан. Через четыре часа вы очутитесь на реке Делавар, про-

тив самой Филадельфии, и на пароме будете иметь время и возможность обросить город одним взглядом, до более подробного знакомства с ним.

Некогда важнейший город союза, он теперь стал вторым, уступив место бешеному Нью-Йорку по естественной причине. Доступ в Филадельфию, в 130 верстах от моря, рекою, часто загроможденною льдом, несравненно затруднительнее, нежели к Нью-Йорку, выдавшемуся в великолепный залив, не более как в 30 верстах от океана. Притом Нью-Йорк прежде подал руку богатому западу, и в этом главная причина его цветущего состояния.

В первый раз по приезде в Штаты, мне случалось быть в американском обществе в Филадельфии, и я не пропущу случая сказать несколько слов об американском бале. Услужливый соотечественник взялся доставить мне случай взглянуть на общество, и вечером, по приезде в Филадельфию, мы отправились в Каштановую улицу — разумеется пешком, и без белых галстуков, украшающих здесь только официантов.

Главное — нужно не смущаться и поступать с уверенностью. Американское общество весьма снисходительно и не имеет нелепых странностей английского. Здесь обычаи просты, хотя иногда и не совсем изящны. Но вот мы перед хозяйкою, мистрис Р....., старушкою, которой никак не хочется помириться с врагом — временем, перетащившим ее за хребет 50 лет. Искусственная юность юрко блещет на сморщенных щеках. Меня принимают чрезвычайно вежливо, с улыбкою, похожею на луч солнца, выкравшийся в угрюмый зимний день из-за сердитых облаков, расписанных прихотливыми цветами, и отпускают обычную стереотипную фразу. Я отвечаю, по положению, жму предложенную руку и скрываюсь в толпе.

Глагол to flirt в прямом значении значит порхать мотыльком, а в переносном — ветреничать, кокетничать по-американски. У нас кокетка — банкир, ведущий огромные дела открыто, а не ростовщик, вытягивающий проценты втихомолку. Здесь, по допускаемым в обществе обычаям, кокетничают с избранными только, с марияьельными, без всякой скрытности, на весь мир, и вновь приезжим кажется странным видеть молодых девушек, удаляющихся за удобную портьеру, в зимний садик или в oubliette[13] другого рода на весь вечер с молодыми людьми для весьма интересного по наружности разговора. Не думайте, однако ж, чтоб в этом порхании было что-нибудь чересчур серьезное. Правда, говорят о любви, душевных симпатиях, даже о порывах страсти, но все это на агло-саксонский лад — ни любви, ни души, ни порывов нет; есть только расчет. Это разговор двух дипломатов, опасающихся откровенности, фразы и только, а кажется, будто хотят не на шутку что-то друг другу высказать.

Отчего же никто не только не осуждает порханья, но напротив смело сознается в нем и снисходительно допускает в других. Причину такой особенности нужно, кажется, искать в необыкновенных условиях жизни.

Здесь отцы, мужья и братья с утра до вечера в конторах. Оба пола сходятся вечером на несколько минут; нужно же как-нибудь сократить или изменить принятую в Европе последовательность. Для этого опускают совершенно светские разговоры с одной стороны, а с другой, у задушевных объяснений урезают душу и страсть. Система ведет к сухосердию, холодности, бесчувственности и к союзам по расчету, но иных здесь почти нет.

Впрочем, прекрасный пол нового света чрезвычайно любезен и с европейцами, разумеется, свободными; женатый человек вообще здесь считается негодным товаром. Лишенные мужского сообщества, американки расцветают несколько капризно, не подчиняясь стеснительному влиянию противоположного пола, не усваивая способности размышлять, но зато и без хитрости, без притворства, которыми слабый пол несколько вооружается против нас, имея причину подозревать нашу искренность и чистоту намерений. Да к чему амери-

канке и казаться иною, нежели она есть. Обычай сделал из нее кумира, которому все поклоняются, от которого все выносится; и не думайте, чтоб такое почтение отдавалось личным достоинствам только. Одно платье, изобличающее пол, достаточно для водворения пристойности в самом шумном обществе, останавливает самые грубые натуры, самые необузданные характеры.

В Штатах деловые люди выкупают свои грешки и недостатки знанием дела и вечным трудом; нижний класс, в особенности земледельцы, достойны всякого уважения и, конечно, составляют лучшую часть народонаселения; но собственно светские люди, ничем не занятые, или трудящиеся против воли, как произведение привитое, не свойственное американскому обществу, вечно работающему, положительно никуда не годны. Здешние львы двух родов: одни, побывавши в Европе и в обществах по краям Парижа, возвратясь в отечество, не допускающее праздности, поносят все свое и хвалят чужое; это просто жалкие. Другие, удерживаемые в конторах волею богатых отцов, являются в общество выпущенными школьниками, выказывают свою развязность нескромными позами, надоедают громкою болтовнею, опасаясь скромностью потерять демокрафическое достоинство; не называют отца и мать иначе, как my old boy или my old woman[14] и вообще ведут себя, как без всякого воспитания. Если прибавить к этому отвратительное хвастовство, может быть извинительное в народе, быстро пробежавшем от нищеты и лишений к материальному благосостоянию, и привычку к шинкам, ничем не извиняемую, разве совершенным недостатком более изящных развлечений, портрет южной Америки будет снисходителен, но верен. Отцам некогда заниматься воспитанием детей; матери имеют влияние только в самом раннем возрасте, ибо мальчик скоро начинает заниматься делами. Кроме того, лишенные иных способов оставить по себе имя, отцы нередко передают свое состояние на публичные нужды, а не детям. Все эти причины отчуждают последних от домашнего крова и охлаждают всякую связь между ними и естественными их руководителями.

Родители тратят время на обогащение и забывают, что физическим результатом воспроизведения не ограничивается еще их назначение. Вот источник всех противоестественных преступлений, которые нередко случаются в американском обществе, и европейские писатели, ошибаясь во многом, совершенно справедливы, указывая на пагубное равнодушие в семействах.

Но пора кончить с балом мистрис Р..... Знаю, что я обманул читательниц и ничего не сказал о бале; должен сознаться, что это не мое дело.

На бале мистрис Р..... я не заметил ничего особенного, кроме ужина. В небольшой комнате стоял стол с возможными яствами, украшенный самыми редкими цветами. Цветочные вазы отличались печатными билетами на розовых ленточках, которыми посетители наивно приглашались цветов не рвать и даже не трогать. Американские дома вообще тесны, а тщеславие богачей не имеет пределов. Зовут гораздо более, нежели дом может вместить, и ужин в столовой уничтожается до шести, семи раз и более. Понятно, что хозяйке хочется, чтоб последняя смена дивилась ее цветами, как первая, и в печатных объявлениях есть смысл, если нет деликатности.

На бале же я познакомился с чудаком, издателем журнала «Pennsylvanian». Едва не вывихнувши мне руку, джентльмен объявил, что он русский в душе, очень любит государя и во время войны первый поворотил общее мнение в пользу России, — и с этим сильно повернул пуговицу моего фрака, за которую держал меня пленником. «Я хочу знать Ваше мнение, — прибавил он — как я сказал уже, я поворотил общее мнение в пользу России, — и с этим новый закрут несчастной моей пуговицы. Я ничего не прошу, ничего не желаю, но хочу написать государю, чтоб он мне прислал

пару ваших сторожков; великолепные собаки. Splendid dogs. Как Вы думаете: дойдет ли до Государя мое письмо?» Я отвечал, что до государя доходит все адресованное на его имя, но он a very busyman (очень деловой человек) и, вероятно, не будет иметь времени обратить внимание на такую просьбу. «Я Вам говорю, я поворотил мнение..., — на этот раз я заблаговременно отступил назад — ... мне ничего не нужно, кроме двух собак». Думал ли Гоголь, что есть Бобчинские и в Америке. Вот все мои воспоминания об американском бале. Не могу не прибавить, что милые американки были бы еще милее, если б не придерживались, по временам, правил натуральной школы.

С Филадельфиею можно ознакомиться очень скоро. От Делавара до Скюйлкюля идут правильные улицы, и проходя по ним, попеременно выходишь из мануфактурной части в торговую и блестящую жизнью довольства, а у другой реки вновь слышишь визг машин и видишь горы угля. Ратуша Филадельфии стоит внимательного посещения, по исторической ее важности, и если кто хочет познакомиться с городскими правительственными местами Штатов, следует непременно предпочесть филадельфийской Cityhall всем прочим. Полицейское управление большими городами союза более или менее одинаково и более или менее отвратительно, по самым наглым злоупотреблениям. Не того, конечно, ожидали бескорыстные отцы американской свободы, собравшиеся в филадельфийской ратуше объявить народу отречение от несносного ига англичан; но с распространением роскоши, перегнавшей нравственное усовершенствование, высокие побуждения первых поборников свободы исчезли в своекорыстных видах, и людская хитрость нашла средства крутить произвольно конституцию, начертанную мудростью и опытом.

Весьма ошибочно было бы судить об этом произведении по документам подобного рода, изданным в Европе судорожною минутною властью, под пожем рассвирипевшей толпы, или поэтами-политиками. Здесь конституция выведена из нужд народа, выказавшихся при постепенном прогрессивном развитии его, и когда час настал, следовало только собрать вековые указания надобности, подвергнув их строгому критическому разбору. Три яркие светила американского мира, Гамильтон, Мадисон и Джей, основали с этой целью журнал «Федералист».

В журнале все изложено ясно, просто и логично. Американская конституция выжата из «Федералиста», где каждый пункт ее разобран подробно и с совершенным знанием последствий, истекающих из различных причин. Написанная для людей со страстями и слабостями, конституция удобно приложилась к делу, и противно многим европейским сверстникам своим, состоящим из пышных фраз и составленным людьми, мечтавшими о какой-то общественной Аркадии, продолжает свое действие уже 75 лет, несмотря и на то, что народонаселение Штатов увеличилось вдесятеро.

Филадельфийская ратуша, колыбель американского величия, очень скоромное кирпичное здание, разросшееся сообразно нуждам большого города, но сохранившее историческую часть свою в целости. Зал, в котором представители тринадцати тогдашних штатов решились, сильные единственно духом, объявить конец владычеству Англии, не более шести сажен в квадрате и украшен весьма схожим деревянным изображением Вашингтона, с надписью: «Первый в брани, первый в мире». Портреты сподвижников его в великом деле создания американской самобытности развешены по стенам в скромных рамах; между ними не забыт и восторженный Лафайет. Из оригинального убранства сохранилась скромная хрустальная люстра, в которую, к сожалению, проник газ, и два кресла. Решение представителей было прочитано народу, собранному звуком колокола, с башни ратуши. Этот исторический вестник хранится в зале на особом пьедестале с надписью: «И возвестишь ты

свободу народам мира сего». Во всем здании нет ничего художественного, лелеющего вкус почитателя искусств; но в Штатах этого искать не должно, все становится знаменательным по размышлении только, имея глубокое нравственное значение.

Механический институт, известный в Европе своим журналом и украшенный именем Франклина, представляет образчик пользы ассоциации в науке. Он основан г. Мериком, владельцем самого обширного парового завода в городе, следовательно, не так давно, а успел привлечь до 2 000 членов и разнести славу свою между народами, давно трудившимися на том же поприще. Бумаги франклиновского института читаются в парижской академии и в английском Королевском обществе, а 40 лет назад первые три митинга состояли из одного только основателя. Теперь сходятся тысячи, учреждение снабжено богатою специальною библиотекою. Нельзя пропустить также филадельфийской академии естественных наук. Музей ее занял бы почетное место в старом свете, а по коллекции американских животных, без сомнения, нет подобного. Все это основано и содержится частными усилиями, в полном смысле слова для пользы общей. Доступ чрезвычайно легок и любопытство не притупляется формальностями европейских хранилищ подобного рода.

Водопроводы возбуждают во мне самые приятные мысли и ощущения, и я не перестаю дивиться мудрости Магомета, предписавшего устройство фонтанов религиозным законом. Филадельфия снабжается водою на совершенно ином основании, нежели Нью-Йорк, и если не от любви к науке, то ради впечатлений, производимых на каждого ландшафтами, нужно непременно посетить филадельфийское водохранилище на холме Фермонт. Река перенята дамбою, образующею искусственное падение воды, которым приводятся в движение помпы, наполняющие водоем. Мысль о снабжении Филадельфии водою принадлежит Франклину. Пораженный страшным опустошением, которое произвела в его время желтая горячка, Франклин почел лучшим средством к отвращению болезненности доставить жителям возможность постоянно держать себя в чистоте и отказал на этот предмет значительную сумму. По новости дела, сначала взялись за него очень неловко, устроили паровые машины в самом центре города, потом на теперешнем месте, и наконец после многих промахов и значительных расходов, принялись за настоящий проект, отличающийся по исполнению простотою, но представлявший громадную работу. Фермонт, упираясь в реку, которую хотели отвести так сказать в город, представил удобное место для водохранилища. По мере распространения народонаселения в холме вырыли в разное время пять резервуаров, подперши его со стороны города прочною стеною. Из резервуаров выходят четыре чугунные проводника диаметром от 20 до 30 дюймов, а от них в разные улицы — другие, меньшие. Все протяжение труб около 130 верст. Наполнение резервуаров всего замечательнее. Инженер Граф и некоторые другие вздумали одним и тем же способом наполнить двоякое завещание Франклина — доставить в город воду и сделать Скюйлкюль судоходным. Для этого, по поручению городской власти, они запрудили реку у Фермонта, насыпавши часть дамбы у левого берега, где глубина более, камнем. У корня дамбы, при подошве холма, устроили шлюз, вырывши бассейн в скале, а на внешней стене бассейна поместили здание для помп.

Сквозь бассейн идут от помп трубы, соединяющиеся в одну общую, которая наполняет резервуары. Все проводники не менее трех футов под грунтом, для предохранения от морозов.

При подошве горы, к реке, местность распланирована прекрасным садом, и летом сюда собирается множество. С павильона на оконечности насыпной части дамбы — прелестная картина.

Дорога в Ридинг — жила, приливающая в Филадельфию огромное богатство. В конце ее, на берегу Сусквеганны, раскинулся обширным полем неисчерпанный пласт прекрасного антрацита. Его берут на поверхности и посылают в Филадельфию по рельсам без больших издержек, потому что нагруженные вагоны катятся все время по плоскости, склоняющейся к городу. Кажется, при таком только условии локомотивный перевоз угля может быть выгодным. Странно, что при избытке угля в Штатах (его находят в Пенсильвании, Алабаме, Огайо и Индиане) все-таки возят сюда уголь из Англии. Часто суда берут его балластом, не имея груза; но кажется главная причина — легкость добывать пропитание в Штатах работою менее тяжелою и неприятною. Впрочем, из английского угля выделывается газ несравненно сходнее.

Через четыре часа по выезде из Филадельфии въезжаешь в дымный Балтимор.

На половине пути между Балтимором и Филадельфиею переезжают широкую Сусквеганну, впадающую в верховье Чизапикской бухты. Сусквеганна иногда разливается не на шутку и зимою несет глыбы льда.

Американские инженеры, распоряжаясь средствами зорких акционеров, понимающих, что капитал на постоянный мост, подверженный разорению, может оборотиться по десяти и даже двадцати процентов несколько раз пока мост выстроится, и не пытаются покупать опытность такою ценою. Правда, это опять делается насчет удобства пассажиров, но главное дело в езде, а не в спокойствии.

Вот мы у Сусквеганны. Поезд остановился, локомотив отошел и следовавшие за ним багажные вагоны вкачены по платформе на крышу огромного парового плота. Платформа устроена подъемною, так что может быть опущена соответственно приливу или отливу. Пассажиры мечутся из вагона и с различными ношами, в особенности если они мужья, спешат к тому же пароходу.

На переборку всего груза, живого и неодушевленного, проходит минута времени, тричетыре другие на переплаву, и эти не потеряны, потому что на пароходе готовы кофе, тартины и неизбежные устрицы, — и еще минута на притяжку багажных вагонов к ждущему на той стороне поезду и на втискивание в него путешественников.

За Сусквеганною меня застала однажды пурга, мало чем уступающая нашим родным метелям. Здесь не найдешь за 40 копеек в сутки охотников расчищать рельсы, и мы остановились между станциями на 14 часов. Нельзя было сердиться на управление дорогой, все, что было в силах смертных, сделано. Паровоз наш прорвался к ближайшей станции и скоро возвратился с другим; со станции дали знать телеграфом к Сусквеганне и третий паровоз начал толкать нас сзади. В сугробах кочегары и кондукторы рылись как кроты, и через 14 часов мы-таки доехали в Балтимор, хотя вьюга продолжалась. Видя ревность прислуги, пассажиры сами работали, и препятствие было устранено общими усилиями. Сравнивая этот случай с встречаемыми на наших железных путях, не могу не вспомнить о пятидневном путешествии моем из Питера в Москву по дороге, в сравнении с которою американские и средства их кажутся ничтожными.

По любезности офицера путей сообщения, распоряжавшегося поездом, мы очутились с товарищем в прекрасном семейном вагоне и уютно расположились, как думали, на сутки. Через несколько минут вошла милая москвитянка, новой школы во всех отношениях, кроме понятий о путешествии по железной дороге. По этой части спутница наша придерживалась старой системы с целою кладовою, и вслед за нею, кроме неизбежных подушек, внесли целые короба с яствами и питием. Мы невольно улыбнулись этим остаткам ветхих преданий, тем более, что все остальное высказывало современность; но излишество в этом случае оказалось предусмотрительностью.

Поезд двинулся, по русской сообщительности завязалось очень скорое знакомство, и в приятной, для меня по крайней мере, беседе, мы проехали значительную часть дороги, нигде почти не останавливаясь для подкрепления сил, потому что поезд замедлялся поднявшеюся метелью и опаздывал на станции. Конечно, мы нашли бы средства перехватить что-нибудь, но добрая спутница предоставила свои запасы на пользу общую, и мы скоро убедились, что поездка с провизиею и по железной дороге не так смешна, как мы думали. После неоднократных остановок, истративши запас воды и топлива, мы врезались плотно в сугроб в семи верстах от многолюдного города.

Поезд застыл, и хлопья снега заваливали его более и более. В нашем вагоне ели, пока длилась ниспосланная манна, разговаривали, дремали, играли в карты, короче — убивали время как могли. Поздно вечером запасы и развлечения истощились; я вышел из вагона и прошел вдоль поезда. Гляжу — локомотива нет, темень страшная и сквозь глухой вой ветра раздаются пронзительные крики самого дикого отчаяния. Подойдя ближе, я увидел на платформе переднего вагона существо по наряду похожее на женщину; она напала на кондуктора с ожесточением, свойственным только женскому полу, когда он имеет причины забыться.

Мне очень хотелось поспеть скорее в Москву. Возвратясь в вагон, я надел самоходы и отправился по дороге в город, искать подмоги. Снег по-прежнему валил хлопьями, ночь была темная и бурная; но желание видеть скорее невесту, а может быть воспоминание о душераздирающей сцене, которой был свидетелем, придавали мне силы и толкали вперед сквозь сугробы. Верстах в двух я набрел на покинувший нас локомотив и остановился, думая обогреться около неостывшей еще печи. Обошел кругом, влез на платформу, ощупал механизм и тендер — ни души: все безмолвно и холодно. Бреду далее, и около двух часов ночи, после приключений, которые описывать не стоит, потому что в падениях самое разнообразие однообразно, прихожу, наконец, на станцию. Комнаты ярко освещены, столы готовы и ждут голодных путешественников, но все живое спит мертвым сном. Лакеи храпят на стульях, конторщик склонил голову над бюро; в отделении билетов писаря пришиб Морфей над ящиком, с пером в руке и другим в естественном пенале за ухом. На кухне все также мертво, и между простывшими кастрюлями ноги повара. С негодованием, свойственным человеку, сделавшему семь верст в порыве милосердия, я встряхнул писаря и спросил, кто начальник станции и где найти его. Писарь оторопел и начал звать громко прислугу; все поднялось на ноги, и видя меня в бешенстве, вероятно, сочло за высшего чиновника путей сообщения. Я шипел от досады и требовал, чтоб мне указали начальника станции. Отыскался какой-то смельчак и сказал, что они почивают в дамском отделении. «Есть ли дамы? — Нет», — двери настежь и я попросил станционного проснуться для переговоров. Станционный начальник соболезновал и охал при всякой патетической черте моего рассказа — был очень добрый человек, — но не двигался, не решался ни на какие меры. Не желая, однако ж, чтоб я поехал будить губернатора, он взялся, наконец, отправить нарочного к исправнику с известием о гибельном положении поезда. Меня успокоили горячим чаем и сухой шинелью взамен промокшей шубы, и добрый станционный начал пенять на отсутствие всяких средств устранять подобные случаи.

Для содержания дороги в порядке есть особый подрядчик; подрядчик ничего не делает, а кладет деньги в карман и т. п. Гвалт мой скоро привлек поверенного подрядчика, жившего в городе. Узнавши с удовольствием, что послали людей расчищать дорогу и отправили к поезду локомотив с припасами, я начал скромно пенять поверенному на его бесчеловеческую неисправность.

Действительно, вьюги на севере страшные и могут останавливать поезда; но отчего же нас смогли привести к одиннадцати часам утра,

почему лихой Ш..., у которого станция всегда в порядке, беспрестанно телеграфировал, что от Клина до Москвы дорога в исправности. Наконец, как же в тот же самый день, от Петербурга до нас проехал беспрепятственно генерал, посланный двинуть застывшие поезда, и за ним фельдъегерь. Нашли же средства вычистить дорогу для представителей власти. Выходит — боялись начальства; хорошо, а еще лучше, кабы боялись общества и его мнения; тогда дороги были бы всегда исправны, подрядчики добросовестны и блюстители порядка исполнительны.

Остановка на дороге в Балтимор была лишена всякой заманчивости, кроме воспоминаний о скачке с препятствиями в Москву, для цели, которая решила мою участь.

Балтимор, как всякий американский торговый город, можно описать, пересчитавши банки, страховые общества и заведения для обуздания бойкой части народонаселения, здесь более многочисленной, нежели в других городах Штатов. Портовые условия несколько иные, нежели в Нью-Йорке и Бостоне. Река Патапско вдалась в город бухтою, и с помощью искусства образовала бассейн, в котором обыкновенно укрываются приходящие корабли и множество каботажных шхун, известных своею особенною постройкою и ловкостью экипажей. Кроме того, в самом центре города толпятся мелкие суда, пользуясь другою редкостью, разделяющей город на две части. Местность неровная, и два холма украшены памятниками Вашингтону и павшим в стычке с англичанами в 1816 году. Несколько шлюпок небольшой английской эскадры порывались в Балтимор, думая пожечь все, что плавало на воде беспрепятственно. Англичане не могут видеть на воде чужой щепки без негодования. Толпа милиционеров встретила их выстрелами из орудий у входа в гавань, и в память происшествия выросла огромная колонна с именами павших в бою. Оба памятника, в понятии американцев, дали Балтимору право на название Монументального города. Есть еще третий, в честь нашей русской тороватости — дача около города, принадлежавшая Вайнансу, члену известной фирмы, промышляющей на нашей железной дороге. В благодарность обогатившей России, Вайнанс назвал великолепное жилище свое, с обычною американскою скромностью, Александриею.

Нужно обратиться к особенности Балтимора — его народонаселению, преимущественно беспокойному и бурному. Трудно угадать причину такого достоинства балтиморцев. Искать ли ее в разнородности населения или в слабости законов Мериланда — не знаю; факт существует, и партии забияк отличаются самыми неблагозвучными названиями. Есть твердые ракушки, мягкие ракушки, мертвые кролики, ткни в харю и т. п. Одни, входя во все правительственные распоряжения и политические организации, поселяют лишь разногласия; другие, как гладиаторы, бросаются в приготовленную арену и убеждают противников естественными аргументами. Натешившись вдоволь у себя, забияки нередко налетают на близлежащие города, в особенности на Вашингтон, и там заправляют выборами, пока выйдут из пределов, терпимых законами и обычаями. В таком случае мэр призовет на помощь военнную силу. Кроликов и харь постреляют, и живые возвратятся в свою нору довольные и спокойные до следующих выборов. Все это делается скромно, en famille, без всяких coups d'etat, и никто особенно не озабочивает.

Нельзя не согласиться, что буйство в Америке, помимо огромного прилива европейских отверженников, поддерживается выборами. Милое обыкновение напоминать о своем кандидате меткою промеж глаз противника, или свороти́вши ему скулу, перешло к американцам от свояков англичан. Кроме настоящих англо-саксонцев и ирландцев, созданных с молотами вместо рук, никакие другие члены мозаического населения Штатов не участвуют в операциях. Спокойно смотрят немцы, шведы и даже французы на гимнастические упражнения сограждан, прислушиваются к глу-

хому треску всего разбиваемого и выбиваемого, а когда дело дойдет до револьверов, спешат удалиться вне выстрелов; но это случается редко. Обыкновенно если бой переходит за пределы, положенные природою кругу естественного окружения, мэр является с милицией, читает riot act (артикул против мятежа) и вслед за тем повалит нескольких человек с обеих сторон. Драчуны очнутся, и спокойствие воцарится. Милиционеры никогда не задумываются стрелять в буйные массы, потому что состоят из имущих, из таких, которые могут тратить деньги на мундиры, большею частью довольно вычурные, а собственники всегда на стороне порядка.

Впрочем, иногда выборы проходят и без драки. Мне случилось видеть только ничтожную схватку по поводу уничтожения дощатой демократической будки республиканцами. Дальше кирпичей и случившегося под рукою каменного угля не доходило. Полицейские вмешались и охладили энтузиазм противников кистенями. Со мною был приятель доктор, самый положительный философ, какого мне когда-нибудь случалось видеть. «Где же тут свобода, — сказал я ему, — когда за противное мнение рискуешь иметь препротивную физиономию. — Так, но посмотрите на вопрос с натуральной точки зрения. Человек, не занятый умственно, чувствует потребность в физическом разгуле. Так или иначе, на выборах или иной сходке, ему нужно растянуть мускулы, съеженные однообразными усилиями в работе».

Кровопускание в известной мере, по-видимому, также необходимо обществу, как полнокровному субъекту; у нас оно производится по ланкастерской методе взаимности и ограничивается пределами человеческой силы, утомляющейся и безыскусственной. Разве лучше, что каждый день, с утра до вечера, для предотвращения беспорядка, ту же операцию производят над народом блюстители спокойствия, достигающие вследствие навыка большего искусства в своем деле. Чем же предпочтительнее европейская метода не дозволять невинных драк охотникам и противоестественными стеснениями давать в толпе накопляться злости и негодованию; а потом, в один добрый день, когда драчуны соединятся против мешающей им власти, вдруг повалить 2 000 человек картечью. У нас таких соединений не бывает потому, что до известного предела дозволяют ручную расправу тем, кто любит ее, и посмотрите — сегодня везде дерутся более или менее, калечат друг друга и буйствуют; вечером выборы — и завтра все спокойно. Большинство решило, и все повинуются решению.

Не в кулачных боях ищите опровержения нашей системы; это забава. Зло таится выше. Полуневежды и полуджентльмены лезут на места, к которым не приготовлены ни воспитанием, ни жизнью. Самый легкий способ достичь их — понравиться толпе, места раздающей. Вот грех нашей системы. Следовало бы выбирать ответственных лиц и предоставлять им назначение остальных; а у нас слишком много обязанностей подлежат прямому выбору. Люди порядочные, с собственностью, занимаются делами, а в политику поступают только неимущие или промотавшиеся. Лучшая часть населения не хочет прерывать занятий на два или четыре года, и все места достаются негодяям, которые грабят напропалую. «Мошеннику у нас стоит только скрыться на четыре-пять лет; он уверен, что по возвращении состав оклеймившего его общества совершенно изменится. Прежние деятели, оставя власть вследствие нашей организации, снизойдут в толпу незаметными; многие из влиятельных граждан подвергнутся ударам судьбы и переселятся, и разбойник встретит новые лица, готовые судить о нем только по приобретенным им средствам. — Может ли же длиться подобный порядок вещей? — спросил я. — Потуда, пока мы будем иметь незаселенные пустыни на западе, а это будет еще очень долго. Туда скрываются те отверженники. Иные, в тяжелом труде, предоставленные собственным

средствам, радикально изменяются к лучшему; другие удаляются единственно с целью заставить забыть себя. Запад решительно спасает нас, это предохранительный клапан, которым выходят все вредные страсти.

Федерализм и права Штатов, партии рабства и свободного труда, за тариф и против тарифа, демократы, республиканцы и американцы (know nothings)[15] — более ничего, как внешние вывески, которыми политики заманивают толпу для своекорыстных видов и собирают так называемый политический капитал. Внешняя политика наша всегда была и будет одинакова, кто ни сидел бы в прези дентском кресле, какое ни было бы большинство в Сенате или Конгрессе, мы в ваши дела не мешаемся и вы не мешайтесь в наши. Делите, как хотите, старый свет, Америку оставьте нам. Мы хотим развиваться беспрепятственно, и потому не желаем ни союзов, втягивающих в ссоры, ни сильных соседей; это очень просто и рационально; в этом весь секрет нашей школы очевидного назначения (manifest destiny)».

Объясненная система американской политики показалась мне более удобопонятною, нежели сочиненный отцами нашей политической церкви догмат европейского равновесия, до того схожий на откровение, несмотря на людское начало свое, что допускать его можно только верою.

Но я коснулся внешней политики Штатов преждевременно, увлеченный умствованиями приятеля-доктора. Лучше было бы отложить это до прибытия моего в Вашингтон, куда я переехал из Балтимора.

ГЛАВА V

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И НЕВОЛЬНИЧЬИ ШТАТЫ

Вашингтон. Белый дом. Представление мое президенту. Американские министры. Разделение официальной жизни от частной. Министр иностранных дел Морен. Капитолий. Департамент патентов. Виргиния. Американские Кронштадт и Севастополь. Подрядный способ взять Севастополь. Норфольк. Невольники. Ричмонд. Торговля невольниками. Флоренция в сосновом боре и с терпентинным запахом. Чарльстон. Чины и титулы в Штатах. Георгия и Саванна. Плавание вдоль Флориды.

Федеральная столица не удовлетворит ожиданию европейца, привыкшего соединять идею о главном городе края с пышностью власти и великолепием окружающего ее общества.

Почти без исключения богатейшие города, подлежащие по географическому положению своему, развитию не суть резиденции правительств; для этой цели избраны места, бывшие ничтожными до введения железных дорог, на что ни Вашингтон, ни основатели штатов рассчитывать, конечно, не могли. Первые тринадцать штатов тянулись вдоль берега Атлантического океана, и новая столица, по центральному положению своему, была почти одинаково для всех доступна.

Новый город начали строить в верховье судоходной части реки, и какие бы ни были предположения основателя, до сих пор столица не имеет иного значения, кроме политического. С железными дорогами доступ к ней удобен сухим путем, и Потомак представляет редкое явление, возможное только при этой стране, избалованной дарами природы, это совершенно лишняя река. Если бы ее не было, никто не потерял бы полушки. Правда, в Вашингтоне не было бы прекрасного Адмиралтейства, но нашли бы другое место не менее удобно. Притом трудно убедиться в надобности вашингтонского Адмиралтейства, когда в нескольких часах от него, среди прекрасного мачтового леса и ближе к несравненным строительным материалам Георгии и Флориды, есть адмиралтейство в Норфольке. Правительство штатов, весьма благоразумно, раскидывает свои морские учреждения по всему берегу. В случае войны это отнимает у неприятеля возможность парализировать все морские средства блокадою одного пункта; а вообще содержит в пределах умеренности цены на все, в чем флот нуждается и образует во многих местах сословие мастеровых не только для военного флота, но и для купеческого, вкус, к которому развивается соседним правительственным учреждением. Впрочем, здесь не место входить в специальные исследования; я хотел сказать только, что не вижу причин существования вашингтонского адмиралтейства, разве в смысле внутренней политики, чтоб правительство, помощью употребляемых чи-

новников и мастеровых, могло иметь влияние на местные выборы. Мысли этой не мог иметь чистосердечный основатель города, и ею воспользовались уже, менее строгие в правилах, преемники его.

Несмотря на сравнительную незначительность свою, Вашингтон имеет однако ж постоянно до 60 000 жителей. Рост его должен был подчиняться распространению штатов, обнявших весь материк до Тихого океана. Дела и отношения с штатами, существующими и вновь возникающими, притягивают к резиденции федерального правительства, и чтоб удовлетворить надобностям подвижного населения, город разросся от левого берега Потомака до Капитолийского холма, слишком на четыре мили. Правда, места в Вашингтоне недороги и дома слишком широко расставлены, так что столица похожа на деревню.

На широкой улице, называемой Пенсильванскою алеей, скромный дом с греческим портиком и небольшим двором, выбеленный известью, привлекает первое внимание приезжающего в Вашингтон. Вы идете к портику смело, видя множество входящих и выходящих без всякой церемонии, вступаете в обширную прихожую, где нет не только признаков власти, но даже барства, и спрашиваете, можно ли видеть хозяина. Если он не занят, лакей, по всей вероятности черный, спросит вашу карточку, и через минуту нас зовут к президенту. Мое представление было несколько церемоннее, потому что я был с посланником, но все-таки чрезвычайно просто. Разговор не выходил из ничтожных рамок обыкновенного первого светского знакомства, позолоченных комплиментами на счет нашей народной стойкости, высказанной в последнюю войну, выражениями симпатии к судьбе России и т. п. Все происходило так естественно, что описывать нечего. В следующую пятницу, день публичного приема, я думал найти некоторые атрибуты величия, но и тут ошибся, хотя в приеме много любопытного. Толпа дам и мужчин в нарядах всякого рода валила в Белый дом (официальное название жилища президента) и прямо проходила во внутренние комнаты. У входа в гостиную стоял президент, обреченный в этот день быть любезным с людьми, вовсе ему незнакомыми и большею частью того не заслуживающими.

Он приветствовал всех одинаково, опасаясь выказать кому-либо предпочтение, и походил на автомата с судорожным движением в правой руке, сжимавшейся через известные промежутки времени. Каждый, подходя, говорил президенту, с кем он имеет честь знакомиться, и проходил в смежный зал. Всякий американец, приезжающий из Вашингтона, считает необходимым потрясти за руку представителя народной власти, и в публичный вечер можно видеть в американском Тюильри презабавных субъектов. Дипломат из Новой Англии, на цыпочках и в белом галстуке, желая вновь пожить в Европе, откуда вывез эти познания, делает почтительный поклон, осторожно простирает кончики пальцев в разинутую ладонь президента и прокрадывается пауком далее. За ним идет янки — не дипломат: «How do you do, M-r President?» — «Каково поживаешь с тех пор, как я посадил тебя в президентские кресла», — (так думает всякий янки). «Очень хорошо, благодарю Вас», — и наглец, озираясь кругом и ожидая одобрения за фамильярность с президентом, идет вслед за дипломатом с исковерканными европейскими манерами. Далее выступает кубической фигуры южный плантер, толкая перед собою по большей части хорошенькую плантершу. «Мистрис Райс из Южной Каролины, мистер президент, а я — мистер Райс из Южной Каролины». «Очень рад Вас видеть», или «Право, очень рад Вас видеть», или для вариации: «Действительно очень рад Вас видеть». Пара спешить вслед за янки; движущийся куб, разумеется, жует табак. Но вот несчастная рука президента попалась в кузнечные клещи, тело сильно тряхнулось, и на мускулах лица сдержанное выражение боли. Мистер Уилли из Кентукки так приветствует своего избранни-

ка. Отдавивши президенту ноги, чтоб он не мог убежать из Белого дома, и оставя на ковре следы своего посещения, полудикий житель запада протирается в общий зал, раздает всем толчки, и все спешат дать ему дорогу: у него в карманах пистолеты, на всякий случай, и соседство с ними не очень приятно.

Бедный президент стоит измученный и без всякого сознания в течение двух часов протаскивает мимо себя из передней в зал лиц обоего пола, не узнавая действительно знакомых, считая приятелями тех, кого никогда не видел, короче, в онемении все пять чувств. Это одна из привилегий президента, которою он пользуется в течение зимнего сезона ежедневно. Пестрая толпа, наполняющая зал, ходит кругом довольно чинно под звуки военной музыки. Пальто, фраки, венгерки, платья из муара, бархата и скромного ситца, с высоким воротом и вовсе без ворота, физиономии бритые и небритые, полные и тощие, нарумяненные зарею и бледные как раннее утро — все это кружится в зале, и, сделавши дело, видимо ждет условного знака отхода. Наконец, бьет десять часов: утомленные музыканты спешат играть проводы звуками патриотического Yankee Doodle, и все разбегаются по своим трактирам и многие даже по своим штатам. Видеть президента и пожать ему руку — в числе демократических догматов, и не редко самые отдаленные жители, собственно с этой целью, приезжают в Вашингтон.

При такой простоте в приемах главы народа нельзя ожидать важности в его помощниках, и в этом отношении, кажется, позволительно считать старушку-Европу очень отставшею от могучего птенца Нового Света.

Здесь министры считают себя только главными двигателями государственной машины, главными работниками. Они чужды верховных приемов, несовместных ни с званием труженика, ни с успехом его труда; в них нет бюрократической спеси — этого дерзкого выражения лени, отталкивающей всякого, приходящего за делом. И министры здесь просты и любезны не потому, чтоб они нуждались в популярности. Они вовсе не зависят ни от народа, ни даже от конгресса; президент выбирает и увольняет их по произволу.

Все управление одной из величайших стран мира занимает небольшой квартал. В центре него — дом президента, а по углам — четыре небольших здания: министерства иностранных дел, военно-морское и финансов. Стоит только сделать несколько шагов для взаимных справок и сношений; вовсе не нужно курьеров и нигде нет швейцаров. К их американским превосходительствам идут без всякого доклада, как в торговую контору, отпертую в известное время дня, и легким стуком в дверь испрашивают у клерка позволения войти. Пришедшим не вовремя отказывают очень коротко и ясно, при недостатке времени принимают на ногах, что значит: «Мне некогда, не распространяйтесь, а говорите только необходимое». В комнате, смежной с министерскою, сидит главный клерк. Придумали же и титул, вовсе не внушающий высоких о себе понятий, а в самом деле клерк и директор канцелярии и всех департаментов; но так как он клерк, то нисколько не считает ниже себя заниматься делом и собственноручно отвечает на сотни телеграфов и писем, приходящих из разных штатов. Эти клерки достойны всякого уважения, и по сознанию их необходимости политические условия не мешаются в судьбу их. Министры исчезают с президентом, а клерк неизменен как регламент и, кажется, прирос к стулу. Сидит себе да пишет, изредка останавливаясь, чтоб выслушать приказание начальника. От восьми часов утра до шести вечера весь моцион его в перемене положения ног.

На все департаменты — два-три инвалида-сторожа и дюжина писарей; а переписки немало, и переписка разнообразная, потому что дела федерального правительства сталкиваются в различных штатах с различными законами и нельзя вести их машинально. Просители редко когда ждут ответа, обыкновенно он приходит очень скоро.

Ведь в нашем письменном и формальном мире не поверят такой деятельности при ограниченных средствах, а это сущая правда, и нет никакого секрета в подобной системе, нет в ней ничего нового, и даже не нужно ездить в Америку учиться ей. Войдите в любую купеческую контору дома и мигом постигнете тайну.

Здесь министр воспитанием усваивает качества публичного слуги, и, достигая почетного звания своего, смотрит на себя как на главу фирмы. Коли он человек добросовестный, то, вероятно, желает, чтоб фирма его процветала, и не пугается докучливости людей, сношения с коими открывают ему глаза и знакомят более и более с оборотами фирмы. Кроме дней заседания совета министров, он принимает всегда в министерстве, без предварительного соизволения, в чем бы кто ни пришел и к какому разряду общества не принадлежал бы; он обязан принимать каждого. Взамен того он никак не смешивает своего официального положения с частным и дома принимает только людей, ему приятных. Понимая, что в двух положениях нет ничего общего, он не сибаритничает в министерстве, но зато не бывает и министром в своем салоне. Здесь он становится джентльменом или даже баричем, как он хочет. Частная жизнь не подлежит разбору, и он ведет ее, как желает.

Из всех американских министров моего времени, статс-секретарь Марси особенно отличался простотою в обращении, доходившей иногда до цинизма. Некоторые европейские дипломаты никак не могли помириться с его дикими привычками и нередко жертвовали пользою своих дворов из педантского отвращения к манерам статс-секретаря, не совсем согласившимися с принятыми в изящном обществе.

Марси действительно никогда не бывал в обществе, потому что не имел времени, однако ж это не помешало ему написать в ответ на предложение об уничтожении корсарства ноту, которую изящные дипломаты до сих пор пережевывают. Вздумали заставить медведя пройти извилистою филантропическою тропинкою, а он им в ответ: «Нет, господа, уж коли дело в филантропии, так пойдемте большою дорогою. Вы предлагаете ради человеколюбия, чтоб приватиры не имели права грабить купцов, предоставляя разбой только военным кораблям. Значит, у кого их больше, тот один и будет разбойничать и всех душить беспощадно. По-моему, коли радеть о частных выгодах, так достойным нас образом, положимте, чтоб право собственности на море было также неприкосновенно, как на суше».

Англичанин не соглашается, он в крови грабитель; француз, бог знает с чего, вторит ему. «А я, — говорит американский политик, — окольными путями ходить не умею, пойдемте большим трактом». Пока американские дипломаты руководствуются здравым смыслом, на их доводы нет возражений; но беда, если они вздумают браться не за свое дело и ставить в депешах силки и крючки; в них они мигом попадутся сами, схватившись не по силам.

Одна великая наука, законоведение, уже снизошла до искусства, не очень ценимого общим мнением, и он никак не хотел низвести на ту же непочетную степень высокой науки международные отношения. Союзникам очень хотелось вовлечь американцев в войну с Китаем; это было перед выходом Марси из кабинета. Мне случилось обедать с ним в день получения китайских предложений, и Марси, вероятно, составил заблаговременно план действия; ни к чему иному не могу приписать особенной его любезности со мною.

Почти все представители были налицо. Статс-секретарь посадил меня около себя и начал говорить со мною о современных вопросах, т. е. он говорил, а я слушал. Перебравши все с сарказмом, ему свойственным, Марси заметил, что сидевшие напротив маги не совсем были довольны, что ему вздумалось посвящать в таинства политики незначащего обитателя гиперборейской страны. Один из

них, особенно щепетильный и считавший действительно политику за магию, вероятно потому, что она была для него закрытая книга, выразил свое негодование довольно резкими телодвижениями. «Не могу же я меняться в мои лета, гр..., — сказал Марс, — я принял обязанность с условием не иметь секретов и теперь, оставляя место, держусь тех же правил, притом я выражаю личное мое мнение — и, обратившись снова ко мне, прибавил — право, нам с Вами незачем тащиться в их свите». Обидевшийся представитель начал опровергать бескорыстие американцев довольно горячо. Марси того только и хотел. Из-под нависших бровей его выпрыгнула приготовленная ирония. «Итак, по-вашему, я — флибустьер; а ваша экспедиция в Китай разве не флибустьерство? Вы флибустьерничаете и совокупно, и врозь, вы в Африке, вы в Азии и везде, где можно. Предусмотрительность, говорите вы, заставляет вас распространять ваше влияние, предоставьте же и на нашу долю несколько ума или ваш союз и этого не допускает?». Желая дать разговору другой оборот, один из присутствующих заметил статс-секретарю, что он, раздавая всем роли, забыл своего соседа, прусского посланника. «Он забирает нефшательских пленников», — отвечал Марси. Даже обидчивые дипломаты покатились со смеху. В это время решение прусско-швейцарского вопроса зависело от выдачи нефшательских роялистов. Доморощенный политик думал, что наука, основанием которой преимущественно должен служить здравый смысл, может быть уделом каждого. И без того медицина и законоведение облечены таинственностью, в которую посвящаются только избранные. Если к ним прибавить еще политику, то массе человечества придется только безропотно умирать, с смирением духа разоряться и для потехи жрецов драться насмерть. В Америке никого не оплакивают, но многие живут в памяти народной. Преждевременная кончина лишила Штаты способного министра, никогда не игравшего их честью, не жертвовавшего их достоинством для блестящей фразы, и чудак Марси в числе тех, к которым соотечественники относятся с гордостью.

Вашингтон — город чисто официальный, и, познакомившись с президентом и его министрами, нужно поклониться законодательной власти, заседающей в Капитолии. Самое здание стоит внимания. Холм, господствующий над городом, занят тремя корпусами из белого мрамора и по скату его, к Пенсильванской аллее, разбит садик. С Потомака на эту величественную груду — вид поражающий. Другой обширный сад в тылу Капитолия, украшенного с этой стороны широкою мраморною лестницей со статуями Колумба и американца, усмиряющего индейца. Здесь не следовало бы говорить об украшении, но так принято. Лестница ведет в большую ротонду, над которою в настоящее время возносится неуклюжий купол; это прихожая обеих палат. Употребивши несколько минут на живописные, хотя и не совсем художественные воспоминания об открытии Америки и войне за независимость, перемешанные, Бог знает почему, с портретами современных красавиц, вы входите в народные собрания; но на дороге еще одно воспоминание охватывает вас негодованием: филантропы, поборники свободы и прав человечества, лицемеры, допускающие просвещение исключительно в себе только, без всякой цели и причины, просто из варварской потехи, сожгли это святилище в 1816 году. Признаюсь, соболезнуя потерям финляндцев, лишенных последнего имущества, и огорчаясь опустошениями берегов Азовского моря, я не допускал в себе ненависти к народу, который при недостатке иных триумфов, дозволял себе в войне подобные развлечения, хотя никогда не соглашусь, чтоб воин мог быть грабителем, не покрывшись стыдом и позором.

Описание состава сената и конгресса ввело бы меня в сложный очерк политической системы штатов, требующий глубокого изучения, и потому пера искусного, трудолюбивого и добросовестного. Желая удержать за моим

одно последнее качество, я отошлю читателя к многим книгам, в которых он может изучить политический состав союза.

В Штатах, как и в Англии, нет трибуны, подвигающей метить на сценический эффект, при котором забывается сущность дела. Каждый оратор говорит со своего места и в собрании представителей, по постановлению, не более получаса. В сенате время не ограничено, но обычай вывел слишком длинные речи, обыкновенно спутывающие внимательных и раздражающие нетерпеливых.

От привычки американцев не только к самоуправлению, но и к самоуправству, и от основания партий на чисто материальных интересах, всегда поселяющих вражду, в конгрессе и даже сенате бывают случаи, не уступающие своей грубостью народным расправам на выборах. На действие человеческих страстей здесь смотрят слишком снисходительно и допускается оно более, нежели в наших обществах единственно потому, что более простора, на котором страсть может метаться, не вредя целому обществу. Как ни отвратительны подобные случаи, нельзя в порыве негодования клеймить всех за проступки некоторых, притом нужно принять в расчет состав общества.

Нельзя же требовать скромных привычек от людей, которые называют кулачную расправу «затруднением». Американец, не краснея, скажет, что имел затруднение с таким-то, это значит просто, что он с ним подрался на чем бы то ни было. Если уже кто непременно хочет замечать странности, гораздо невиннее обратить внимание на сцены в конгрессе, характеризующие нацию или штат; из них многие достойны кисти Гаверни или пера Диккенса и доставляют непривыкшему наблюдателю приятное развлечение. Некоторые за решеткою в коридоре храпят под одеялом, велевши разбудить себя вовремя для ответа противнику. Пажи ищут везде отдыхающих бойцов и с шаловливостью, свойственною возрасту, будят каждого с новыми уловками. Другие, не покинувши привычек молодости, играют в свайку ножом по небольшому столику, пресерьезно очистив для того место и сложивши печатные листы о порядке заседания на нижнюю полку. Там седовласый старец, весьма почтенной наружности, употребляет стол подножником для любимой позы, и паж ныряет под ноги уткой или скачет через них резвым козленком. Здесь, проведя жизнь между индейцами, представитель Техаса или Небраски преусердно строгает палочки, перенявши эту привычку от диких соседей. Обезьяна-паж зорко сторожит за ним, и лишь только палочка обточится совершенно, сует сзади другую; иначе трудолюбивый сенатор начнет резать близ стоящую мебель. Кругом, в центре залы и по радиусам — плевательницы, и на них играют однообразный аккомпанемент, напоминающий при виде этих кадетских привычек всем нам знакомый свист розог.

Вследствие демократических принципов сенат и конгресс, несмотря на свое всемогущество, не перестают зависеть от избирающего их народа. Главнейшие представители народного влияния, распоряжающиеся голосами, обыкновенно перебираются в Вашингтон на время заседаний, чтоб законодатели не наделали глупостей, как они важно утверждают, расставаясь с просителями. Эти подобные представители образуют то, что на техническом языке называется lobby — род прихожей, куда вызываются члены собраний для получения наставлений касательно известных интересов или сообщения известий о течении дела. Само собою разумеется, вопросы, в который передняя играет главнейшую роль, относятся к частным спекуляциям, и все рассуждения по ним ведут к отысканию лучших средств ограбить казну. Выгодные контракты, как например типографские расходы конгресса, ассигновка вспомоществований на публичную, повидимому, пользу, отвод государственных земель под проектируемые фокусниками железные дороги, иногда назначения на доходные места — вот предметы, о которых особенно

хлопочут в передней. Законодатели, те же люди, нередко поддаются убеждениям, даже принимают участие в грабеже и убежденные возвращаются в собрание говорить горячо в пользу проекта, выгодного для нации, а для них самих еще более.

В числе предметов, особенно занимающих прихожую, я упомянул о типографских расходах конгресса. Доходя до миллиона долларов, расходы эти становятся лакомым куском для подрядчиков, и огромные барыши, разумеется, делятся между способствовавшими утверждению подряда. Из этого злоупотребления истекает, по моему понятию, огромная польза. Чем печатания больше, тем и выгоды значительнее, поэтому печатают не только протоколы заседаний, политическую переписку и правительственные распоряжения, но все, что носит на себе оттенок пользы, дозволяющий придирку. Опись рек, озер, исследование дорог, метеорологические наблюдения, описание возможных экспедиций морем и сухим путем, географические и статистические известия о самых отдаленных краях – все это издается по решению конгресса на иждивение казны. К счастливым авторам, удостоенным печати на казенный счет, присоединяются бедные труженики науки, не имеющие средств публиковать трудов своих, и в описание исследования путей для железных дорог, например, вошла зоография штатов, терпеливый труд ученого человека, который никогда не увидел бы света без злоупотреблений конгресса. Все печатается тысячами экземпляров, раздается безденежно всем членам законодательных собраний, губернаторам штатов, университетам и даже частным лицам. Масса самых полезных исследований делается таким образом доступною публике и, расходясь по рукам, непременно избегает участи манускриптов и рапортов, слагаемых у нас в архивы под номерами, как выходит на практике единственно с целью знать, что такая-то мысль, или такой-то труд похоронен тогда-то на такой-то полке.

Как ни грешил бы конгресс в домашних делах, первенство штатов на американском материке и вообще все, от чего зависят слава и честь нации, находят в нем общее сочувствие. Президент всегда может решиться на всякую внешнюю меру между заседаниями конгресса, не выжидая его мнения, в уверенности, что если мера клонится к распространению влияния штатов или к их славе, большинство будет непременно на его стороне.

Президент решительный и настойчивый имеет не менее власти, нежели самый неограниченный правитель, и такова шаткость человечества, что народ, особенно дорожащий свободою, беспрестанно придумывающий новые средства к утверждению ее, не только не противится избранному правителю, забирающему в руки власть, но по привычке к произволу со стороны властителя, плещет его твердости. Разумеется, такие несообразности могут существовать только там, где организация допускает подобные исключения весьма редко; не менее того, всякая борьба нравится забияке-американцу, и до сих пор еще громко восхваляют непреклонного Джаксона за успешную войну его с конгрессом по поводу уничтожения национального банка. Все говорят, что после Джаксона не было настоящего президента, и, кроме Вашингтона, одному ему только поставили в федеральной столице памятник. Суровый старик представлен скачущим на коне со снятою шляпою. Это совершенно противно американским обычаям, и европейские дипломаты в досаде, что лишены здесь удовольствия принимать низкие поклоны, называют Джаксона учтивейшим человеком Соединенных Штатов, относя остроту к положению его на Лафайет-Сквере, против Белого дома. Странно, что о памятнике Вашнгтону подумали после джаксоновского. Правда, самый город и все в штатах напоминает об этом истинном рыцаре Нового мира, однако ж в последнее время сочли нужным выразить ему признательность особенным монументом, и позади Белого дома, на обширной поляне, сте-

лящейся к Потомаку, заложили колонну столь величавую и гордую, что понятия архитекторов смешались, как языки строивших столб вавилонский. В печальном уединении до сих пор стоит какой-то каменный безобразный пень, далеко не конченный и ничем не украшенный. Модель памятника можно видеть в департаменте патентов, огромном здании, выказывающем своими размерами отрасль правления, имеющую в штатах самый обширный круг действий. Занятия департамента патентов действительно требуют огромной деятельности и наибольшего числа чиновников. Никто в штатах не жертвует даром способностями на пользу общую, и народная поговорка гласит, что ребенок в люльке начинает уже думать, как бы усовершенствовать ее. От самого важного изобретения до самого ничтожного все обеспечивается привилегиею. Желающий получить ее должен представить в департамент описание и модель, понятно, почему это хранилище американской изобретательности в высшей степени интересно для людей специальных. Проходя длинными комнатами по помостам, вы не только следите за развитием наук и механического искусства в штатах, но читаете в образцах их историю. Начните с угла, где различные машины для очистки хлопчатой бумаги и прессовки ее напоминают период введения растения в прежние английские колонии, и следуйте через инструменты сахарного производства — памятники присоединения Луизианы — к моделям пароходов, чудного изобретения Фультона, обратившего в пользу могучие реки; к локомотивам, призвавшим к жизни необъятные пустыни; к орудиям златопромышленника, свидетельствующим об избавлении Калифорнии от мертвящего ига лени и равнодушия; к волшебным электрическим телеграфам, осязательно перегоняющим время, и далее и далее. Невольно унижаешься, видя, что наделал этот ненасытно деятельный народ в течение семидесяти лет и спрашиваешь себя: чего он не достигнет. Нигде нет подобного вашингтоновскому Patten office, и парижский Conservofoive des arts at métiers уместится весь на одной его полке.

После поклона президенту, нескольких вечеров в конгрессе и внимательной прогулки в департаменте патентов, полелеявши европейскую кожу, страждущую от американской шероховатости, в обществе иностранных представителей, можно со спокойной совестью и приятными впечатлениями расстаться с федеральною столицею. В ней уже отпечаток системы, противоречащей политической базе штатов, столь враждебной прогрессу, глубоко врезывается в чувства и начинает действовать на рассудок.

В Виргинию можно въехать двумя путями — я говорю о настоящем времени — а, вероятно, скоро будет десять. Можно сесть на пароход в Вашингтоне и спустить по Потомаку миль тридцать, а потом железной дорогой и пронестись к Ричмонду по сосновому лесу, между редкими деревянными срубами или воротиться в Балтимор и проплыть на пароходе Чезапикскою бухтою в Норфольк, единственный порт Виргинии. На правом берегу Потомака, исторической Монт-Вернон, поместье Вашингтона, где в нем вспыхнули первые искры бескорыстного патриотизма и куда, увенчанный славой и испытавши тягость лаврового венка, он удалился смотреть на совершенствование своего произведения спокойным взглядом частного человека. Кружась на вихре материальности, пренебрегая узами семейными и отношениями родственными, американцы не могут забыть отца отечества, и до сих пор, проходя мимо его гробницы, платят дань воспоминания унылым звуком пароходного колокола.

О великолепии и удобстве речных американских пароходов не может быть различных мнений. Американцы умеют и строить, и содержать их удовлетворительно для самого избалованного путешественника, разумеется, такого, который не носит за собою собственных привычек, а довольствуется общепринятыми

условиями комфорта. Но на путях, где езда не слишком бойкая, пароходы и помещение на них соответственны выручаемой выгоде. Главнейшая цель всякого предприятия — выгода, и, коли нет соперничества, исключительно на счет публики. Этот закон также применим между Балтимором и Норфольком, как между Петербургом и Петергофом, и в Новом Свете мне пришлось испытать его действие так же, как в старом с добавочными американскими приложениями. Нас было до трехсот пассажиров, считая пересевших с предшествовавшего парохода, повредившегося на пути, а мест всего оказалось на сто; наиболее проворные давно заняли их, а мы, отсталые, столпились в обеденном зале, устроенном на палубе и прикрытом легкою крышею. В особом отделении поместились многочтимые дамы, и в этот раз отчуждение их было решительно необходимо. Без хвастовства скажу, что из всех спутников я был далеко самый невинный и чувствовал себя очень неловко в атмосфере, надушенной испарениями коньяку и табачных выжевок.

Со всех сторон слышались политические разговоры, в которых краснобаи пели неизбежную хвалу демократическим учреждениям и решали, что американцы первый народ в мире. Экипаж состоял из невольников-негров и прислуга из них же. Черные руки могли бы быть неприятны за ужином, если б самый ужин имел какое-либо достоинство; но все плавало в жире и масле и не могло искусить даже возбужденный аппетит. В десяти милях от Балтимора мы прошли форт мыса Генри, охраняющий вход в Потанско. «Это наш Кронштадт, — заметил мне спутник, указывая на небольшую кучу земли, осененную американским флагом, — я Вам скажу, англичане будут помнить его не менее Севастополя. Мы их, я Вам скажу, отделали здесь как под Инкерманом». Свыкшись с обычаем американцев делать из мухи слона, я машинально кивнул головою в знак согласия.

После молчаливого ответа моего я надеялся, что разговор кончился, но не тут-то было. Американец начал выражать свою злобу на союзников, особенно негодовал на то, что пять шли против одного и выхвалял стойкость севастопольцев; но под конец, вероятно испугавшись, чтоб я не счел свободного демократа за льстеца, прибавил: «Впрочем, я Вам скажу, 4 000 янки с генералом Скотом подрядились бы кончить за союзников дело скорее и за гораздо меньшую цену, особенно, если б платили поштучно за каждый форт. — Разумеется, — возразил я. — Вам стоило бы только сыграть Yankee Doodle, и стены Севастополя пали бы, как иерихонские». В штатах все знают библию. Собеседник увидел, что я над ним смеюсь, и, дружески ударив меня по плечу, сказал с чистосердечным смехом: «Да Вы я вижу себе на уме, that is right». Американцы хвастают и лгут во всю охоту, но никогда не сердятся, если откровенно скажешь, что они городят чушь. На ночь вбежали в залу негры с тюфяками и подушками, повалили их на пол, скамейки и столы, и исчезли, будто сделавши дело. Я скоро увидел, что всякий должен заботиться о себе, и поместился кое-как в своем углу на длинную ноябрьскую ночь. Решительно не знаю, куда плевали мои спутники, вероятно на потолок, потому что на полу не было незанятого места. Разговоры мало-помалу умолкли и заменились неблагополучною музыкою. В штатах к вечеру непременно устаешь, и я скоро заснул, несмотря на неловкость положения и на болтовню моего героя.

Утром мы пристали к форту Мунро, казематированному укреплению на оконечности материка Виргинии, называемой Old point. Это самое большое укрепление в штатах и вместе с другим, возводимым на насыпном острове к востоку, защищает вход на Гамптонский рейд, образуемый устьем реки Джемс. В последнюю войну английские эскадры, блокировавшие Чезапик, обыкновенно стояли здесь на якоре и сторожили бухту спокойно и удобно. Теперь пробираться на рейд придется с некоторыми затруднениями, между обоих фортов; но зайдя за них, до Норфолька, опять

беспрепятственный разгул. Только в самом устье реки Елисаветы, впадающей в бухту с юга, на островке Крани, ничтожный блокгауз. Здесь в 1816 году, как у мыса Генри, отбили английские шлюпки и прежний чичероне мой сравнил дело с защитой Петропавловска. Пароход скоро пристал, и я избавился от хвастливого собеседника.

Норфольк — главный порт Виргинии, но это еще не значит, чтоб в нем производилась большая торговля. Виргиния вообще подвержена лени, свойственной спесивому барству, и до сих пор природные средства ее еще далеко не развиты. Неспособная производить хлопчатую бумагу и рис, оживляющие более полуденные штаты, иссушившая богатую почву табачным растением. Виргиния теперь, без всякого предварительного труда, снимает с обнищавших полей и холмов своих последние дары природы. К счастию, предприимчивость жителей северных штатов начинает подходить на подмогу и основывает фабричность, для чего есть все необходимые условия. Виргинец, благородный виргинец, как он называет себя по непривычке и презрению к труду, занимается взращиванием невольников для выгодной продажи в южные штаты. Несчастных негров здесь откармливают стадами и гонят на Ричмондский рынок, куда стекаются негропромышленники, живо описанные пером мистрис Stowe, злым, раздраженным, но, без сомнения, довольно верным. Главная промышленность Виргинии — торг человеческим мясом, все остальные сходятся в грязных улицах Норфолька, и самая значительная состоит в кедровых и кипарисовых досках, употребляемых для плотничной работы и обшивки небольших судов на севере. Всего более вывозят драни для настилки крыш. Лесные запасы идут в Норфольк из тундр, лежащих на границах Виргинии и Северной Каролины, в западных пределах обоих штатов.

Южные жители очень хвалят опрятность негров как прислуги, но сколько мне не случалось пользоваться их помощью, я ощущал около них особенную атмосферу, вроде окутывающей гоголевского Петрушку, иначе нельзя было бы объяснить, почему собака так быстро отличает черный след от белого.

Притрава собак-ищеек составляет особое искусство в рабских штатах и описание его, может быть, заняло бы охотников, но рассказывая об этом бесчеловечном ухищрении, я опасаюсь увлечься слишком далеко и вдаться в рассуждения, которые могут быть приняты за намеки на нашу собственную язву — крепостное состояние.

Замечу только, что помимо большей или меньшей ненависти различных авторов к системе рабства, факты, ими описываемые, положительно верны, хотя и смягчаются часто влиянием собственного интереса. В последние годы, вследствие распространения в северных штатах пропаганды освобождения, законы о невольниках на юге стали строже, им решительно отказывают во всяком образовании, и освободившимся неграм дан срок для выезда, по истечении которого они вновь обратятся в невольников и будут проданы в пользу штатов с публичного торга. Впрочем, покровители негров на севере в прошлую зиму оставили десятки тысяч свободных работников своих без всякой помощи, когда торговый кризис остановил все предприятия.

Против Норфолька, на левом берегу реки Елисаветы, городки Портсмут и Госпорт, в последнем — военное адмиралтейство, которое и привлекло меня в эту пустошь. Хотя я не занимаюсь здесь специальными предметами, однако ж не могу не вспомнить о виденном мною печальном зрелище.

Оно выказывает привычку американцев все делать на авось (есть этот норов и у других народов), и, обрисовывая черту американского характера, должно иметь место в этих очерках. Два чудные фрегата «Colorado» и «Roanoek», выстроенные из живого дуба так, как умеют строить только американцы, стояли неспособные войти в море, переломившись при спуске. Осмотревши эти великолеп-

ные жертвы, я проник в сердце Виргинии рекою Джемс.

Ричмонд выстроен на неровной живописной местности, а приречная часть его висит на крутом обрыве. Тотчас выше города река перенята порогами, главными виновниками его промышленного значения; они дают огромную даровую силу, движущую все мануфактурные заведения. Навигация продолжается внутрь края каналом, проведенным на двести верст.

Ричмонд отличается торговлею неграми, и как ни желал бы я миновать предмет этот, не могу не коснуться его, знакомя соотечественников с южными штатами. Вопрос о невольничестве становится тем более занимательным, что грозит союзу бедственными потрясениями, которые могут быть отстранены только общим здравым смыслом или соображением независимого гениального ума, способного прозреть в будущее, не руководствуясь прошедшим. Невольничество в штатах — чистое рабство во всей отвратительной наготе. Негр есть вещь, которую употребляют сколько можно выгоднее, без малейшего внимания к его одушевленности. Самая жизнь рабов почти в произволе владетелей, а честь женщин и того более; впрочем, негритянки не имеют понятия об этой отвлеченности и принадлежат телом и душой господам, которые, конечно, пользуются своими правами. Плод негритянки, по закону, всегда принадлежит владетелю и весьма часто от него происходит. В третьем или четвертом колене выходит существо, которое не должно бы считать особенным смертным, не только плоские черты, но и самый упорный признак — шерстоватость волос — исчезает. Мулаты несравненно быстрее негров. Размножаясь и не переставая носить клеймо отвержения, они, вероятно, в непродолжительном времени попытаются приобрести права гражданственности. До сих пор, исключая нескольких частных случаев, рабы несут иго терпеливо и спасаются от притеснений бегством в северные штаты. Множество переправляются через реку Огайо, и за нею избавляются навсегда от несносной власти в Иллинойсе, Огайо, Индиане или следуют далее в Канаду. Северные штаты способствуют побегам сколько могут, и в журналах их можно видеть ежедневно известие о прибытии беглецов по подземной железной дороге; так принято называть удачное бегство. По федеральному закону негр как собственность может быть захвачен во всех штатах союза, но общее мнение в северных штатах совершенно противно закону, и судьям весьма трудно приводить его в исполнение. Обыкновенно толпа освобождает захваченного беглеца и пересылает его в Канаду, а гонителя провожают через Огайо с дикими почестями, обмазанного смолою и облепленного пухом.

Вопрос о рабстве — вулкан, вечно горящий и дышащий раздором, по произволу политических жонглеров. Нельзя отвергать, что он ежеминутно угрожает союзу распадением, представляя удобный предлог партиям, добивающимся первенства и влияния. Важность язвы занимает конгресс с самого начала союза. Некоторые штаты, уничтожив рабство, тотчас по вступлении в конвенцию, требовали, чтоб представительность штатов, сохранивших невольничество, была рассчитана по числу белого только населения. Последние воспротивились, и дело сладили взаимными уступками. Владетели невольников согласились не вводить в исчисление две пятые рабов своих и противники приняли это условие. Итак, желая ослабить влияние невольничьих штатов в конгрессе, свободные штаты, злейшие враги рабской системы, признали негра за собственность и отказали ему в гражданских правах. Борьба двух противоположных начал продолжалась с большим или меньшим ожесточением, смотря по тому, пользовался ли край миром или был занят важными внешними вопросами.

Домогательство северных штатов положить предел распространению рабства излишне. Через несколько лет энергичные отпрыски густо населенных северных штатов

разбредутся по всему протяжению между Ютой, Каменными горами, Миссисипи и английскими владениями. На этом неизмеримом пространстве возникнет столько свободных штатов, что в федеральных вопросах юг по необходимости подчинится огромному большинству. Распространение юга, с другой стороны, весьма ограниченно. Техас, по условию присоединения к союзу, может разделиться на четыре штата. Это, конечно, будет важным подкреплением для рабской половины союза, но разделение требует известного населения, а кем Техас населится? Единственный источник наполнения Техаса для предписанной законом представительности в конгрессе — южные штаты, сами едва населенные. Белые нейдут туда, где свободный труд их может быть в соперничестве с невольничьим, а если пойдут большими массами, то последний скоро вытеснится, и южные штаты наживут новых врагов. Остается присоединение Кубы, и отсюда страсть юга к флибустьерству. Хотя с присоединением Кубы помирились бы и на севере, препятствия в настоящее время так велики, что случайность, по крайней мере, гадательна, да если бы присоединили Кубу, все же она не может сравняться с штатами, беспрестанно рождающимися на севере. Юг не станет сильнее, если американцы займут даже республики Центральной Америки. Трудно будет ввести там отвратительную систему, давно выведенную; притом единственное средство к такому введению — ввоз африканских негров, которого не допустят ни другие державы, ни самые южные штаты, потому что многие из них живут дороговизною нанимаемого рабского труда. Бесспорно, рабство отвратительно, неестественно и в конце концов вредно, но самые отчаянные враги его жертвуют ли чемнибудь для осуществления своих филантропических идей. Разве Англия отвозит несчастных, перехватываемых на невольничьих судах, в отечество. Видя, что вест-индские колонии ее обнищали вследствие филантропического порыва, она свозит освобожденных негров в Ямайку и там подвергает рабству на семь лет. Пробывши семь лет рабом, негр, свыкшийся с зависимостью от рождения, не сумеет воспользоваться своими способностями и примет с готовностью условие прежнего своего господина.

По закону, он станет свободен, но сила обстоятельств, закон, из которого выкрутиться невозможно, продолжит его рабство на неопределенное время. Франция тоже населяет свои колонии свободными черными эмигрантами, которые доказывают свою добрую волю к переселению повальными убийствами экипажей перевозящих судов. Все толкуют о противоестественности невольничества, а на деле, после долгого опыта, возвращаются к тем же сатанинским средствам. Самые жители северных штатов, клеймя южных за порабощение негров, проповедуя, что они во всем равны белым, не дозволяют им садиться с собою в один вагон, не признают их гражданами и не имеют с ними никаких общественных сношений. Житель юга, напротив, вовсе не брезгует путешествовать рядом со своими черными слугами, доверяет им детей своих, нянчит их, и в гостиной плантера вы часто увидите нагие бронзовые фигурки, ползающие по ковру и играющие с детьми владетеля без всякой церемонии.

Формы, в которые рабство облечено в штатах, не могут не поражать очевидца. В грязной темной улице, вероятно совестясь Божьего света, сидят в Ричмонде маклеры торговли невольниками. На небольшом помосте выставляются несчастные жертвы, и торгующие пробуют мускулы, гибкость пальцев, смотрят свежесть десен и пр. с отвратительным равнодушием, развлекаясь самыми циническими остротами.

Негры до того одеревенели чувствами, что сами вдаются в шутки, и по окончании аукциона идут к новому неведомому хозяину без всякой горести. Присутствовавши на двух аукционах, я не заметил и тени сожаления или страха со стороны проданных. Скажу, однако

ж, что это зрелище выгнало меня из Ричмонда, и я дал себе слово не ходить более по невольничьим рынкам.

Дальнейшая дорога моя на юг лежала через Северную Каролину. Скоро сильный терпентинный запах дал знать, что поезд вступил в этот штат. Дремучие сосновые леса служат здесь к добыванию этой смолистой жидкости, и по дороге везде видны мастерские, в которых сколачивают ящики для сбора ее в бочки для хранения. Заводы для перегонки также нередки, хотя большая часть терпентина продается в натуральном виде и дистиллируется уже на севере. Единственная промышленность штата состоит в сосне и всем, ею доставляемом. Вывозная торговля идет через Вильмингтон, главный порт, расположенный невдалеке от устья реки Кап-Фир.

Железные дороги могут окупаться только при большом движении народонаселения, а для этого местные постановления не должны препятствовать движению. В южных штатах путешественников мало, потому что большая часть жителей — рабы, совершенно зависящие от господ, не отлучающиеся без их позволения и не имеющие собственных интересов, которые могли бы требовать переездов. Та же причина убивает промышленность и торговлю, и при подобных условиях дорогостоящие железные пути были бы разорительны. Понимая, однако ж, что самая дурная железная дорога вернее и лучше обыкновенных, жители южных штатов горячо принялись за новый способ сообщения и устраивают свои дороги самым дешевым образом, с одной парою рельсов, устраняя по возможности земляную работу и каменную кладку. Часто едешь несколько верст по высоким копыльям, связанным раскосинами и предохраняемым от погружения в тонкий грунт широкими брусьями, подведенными под их концы. По словам американцев эта система тверда, как первородная скала, но несясь в воздухе по столь утлому на взгляд помосту и прислушиваясь к треску балок и раскосин, трудно соглашаться с американцами.

При этом тракте путешествие зависит от каждого поезда, и нередко случается ждать, потому что встречный остановился по какой-либо причине.

Постановления на южных дорогах строже, нежели на северных, имеют вид приказаний, а не советов, и вообще соблюдаются. Например, на севере вы увидите в вагонах надпись: «Опасно стоять на платформе» или «Небезопасно высовывать за окно голову и руки». Такое предуведомление слагает всякую ответственность с чиновников дороги, и кондуктор не скажет ни слова, если вы не обращаете на него внимания. На юге нередко ездят негры, и в случае увечья господин подаст на управление дорогою иск, поэтому предостережения замещаются повелениями: «Не стоять на платформе, не высовываться за окно», и кондукторы, часто затрудняясь отличить раба от вольного, одинаково строги со всеми.

По дороге из Вильмингстона в Чарльстон мы проехали Флоренцию. На севере уже я привык встречать убогие Риммы, только что возникшие Сиракузы и Афины, с шестом свободы вместо всех памятников, но еще не случалось набрести на название, так неудачно украшенное в старой Европе и некстати приложенное.

Флоренция, имя, балующее воображение прекрасным и благовонным,— куча уродливых лачуг и воняет скипидаром. Отсюда теперь проведена дорога в Чарльстон, и нам случилось ехать по ней тотчас по открытии. Любопытно европейцу видеть, что называется здесь готовою дорогою. Одна пара рельсов была наброшена по ровной песчаной местности, между сосен, беспрестанно врывавшихся в вагоны своими неприветливыми ветвями. У реки Санти, разливающейся на огромное расстояние, американские первородные скалы, по нашему копылья, тянулись на десять слишком верст. Станции состояли из деревянных цистерн, наполняемых водою соседнего колодца, и складов дров для топлива. По мере того, как несчастный пегас наш тянул воду из хранилища,

негры пополняли его помпою; другие заменяли взятые нами дрова свежими из смежного бора. На 107 верстах не было ни малейшего приюта, а дорога уже зарабатывала деньги и возила из Вильмингтона в Чарльстон в шесть часов. Чего же желать, полезная цель достигалась: и синица в руках, давно известно, лучше сокола в небе.

Чарльстон, важнейший порт южной части атлантического берега штатов и самый значительный город Южной Каролины, выстроен правильно на низменном мысе, при слиянии рек Ашли и Купер. Общее устье подходит к океану обширною бухтою, защищенною отдельными фортами на островках, и в особенности баром, недопускающим судов, углубленных более 16 фут. Фарватер баром чрезвычайно извилист, но при пароходах это неважно, а выпрямление его, предполагая дело возможным, подвергло бы город большой опасности.

Большой южный город резко отличается от северных сверстников своих. Нет и тени северной деятельности. Обветшалые колымаги с оборванными кучерами, стаи грязных мальчишек и бездна мух, пирующих над тем, что в улицах быть не должно, напомнили мне давно знакомые сцены, а униженность негров, усердно кланяющихся белым, заставила подумать со вздохом об известном классе соотечественников, называемым, будто по сходству положения с африканскими невольниками, черным народом. В народных названиях всегда много смысла, и это странное совпадение уже достаточно доказывает, что между крепостным правом и рабством разница не так велика, как уверяют защитники первого, не решающиеся оклеймить себя любовью к последнему. Негры здесь совершенно заменяют валовую скотину, употребляемую на севере не только для такси, но и для подъема тяжестей. Вы видите негров, запряженных в телегу с тюками хлопчатой бумаги, катающих бочки с рисом, вывозящих нечистоты и пр., и пр. На жгучем солнце их безопаснее употреблять, нежели скотину. Полицейские постановления воспрещают неграм выходить на улицу позднее 9 часов вечера без билета, и вообще Черный кодекс Южной Каролины написан пером, достойным Нерона или Калигулы, если б в их время писали перьями. Обычаи обратили многие законы в мертвое слово, но все они существуют и по прихоти присяжных (разумеется, белых) прилагаются в известных обстоятельствах.

Привилегированный класс Южный Каролины гордится своим воспитанием и с трудом смешивается с жителями прочих штатов, в особенности северных. Однако сношения с рабом несомненно унижают человека свободного; в нем исчезают энергия, высокие идеи о значении человека и даже тупеют самые умственные способности. В постоянном сообществе с людьми, лишенными всех этих достоинств, наклонности, природные и прививаемые воспитанием, глохнут при ненадобности упражнять их и в отсутствии соревнования, подстрекающего желание сохранить их.

В Чарльстоне есть военная академия, в которой множество помещиков воспитывают детей своих, вовсе не предназначая их к военной службе. Не говоря уже, что всякое военное учреждение в отдельном штате противно конституции, трудно открыть надобность давать большинству белого населения военное воспитание, которое вовсе не поможет ему на пути жизни, разве в случае восстания негров.

Наш чарльстонский хозяин был полковником. В штатах все — генералы, полковники, капитаны, доктора или судьи. Военные названия приобретаются с особенною легкостью, по выбору образующегося полка милиционеров, и от сапожников или содержателей мелочных лавочек в генералы нет даже одного шага. Это временное превращение: на параде — генерал, а в общежитии — сапожник. На водах, когда мы выезжали кататься, услужливый хозяин, провожая жену, обыкновенно кричал кучеру: «Капитан, коляску г-жи...», а если жена хоте-

ла выехать верхом, следовало такое приказание: «Доктор, в четыре часа для г-жи.... верховую лошадь».

К полковнику Charleston Hotel я имел рекомендательное письмо. Не смейтесь, что я запасся рекомендациею к хозяину трактира, и не только не смейтесь, а, путешествуя в штатах, всегда делайте то же, увидите пользу. Вообще содержатели трактиров не ниже кого-либо в свободном крае, а по ремеслу свыкаются с порядочным обращением и приятнее многих. Полковник тотчас представил меня разным постояльцам, удостоивши их названия своих приятелей. Вероятно предполагая, что мне чины достаются также легко, как ему, он обыкновенно выражался так: «Капитан... русского флота, я уверен, вы сообщите адмиралу все сведения, в которых он будет нуждаться». Хорошо, что представительные речи были коротки, а то не знаю, до чего довела бы меня милость хозяина. Это не помешало ему представить при отъезде длинный счет, из которого я заметил, что на всякий чин и здесь платят, только не в пользу инвалидов.

Из Чарльстона дважды в месяц отправляется пароход в Гавану. В хорошую погоду он подходит на пути к Саванне, и как мне очень хотелось посмотреть на главный порт Георгии, то мы решились отдаться на произвол случайностей и перешли в Саванну на маленьком пароходе. От самого Норфолька до южной оконечности Флориды тянется цепь островов, образующих внутренние лагуны, и по ним весьма удобное внутреннее плавание. Приложив к этим лагунам чезапикскую, делаварскую, нью-йоркскую и бостонскую бухты, с каналами, их соединяющими, можно сказать, что вдоль всего атлантического берега Штатов есть домашнее водное сообщение, почти не подверженное блокаде. Кроме того, многие каналы врезываются внутрь края к копям, арсеналам и большим заводам; до тысячи рек и железных дорог бороздят промежуточные пространства. Пускай после этого охотники попробуют сделать в Штаты высадку. Местами, как например между Чарльстоном и Саванною, острова прерываются, но подходить к берегу с большими кораблями ближе восьми миль нельзя. Эти острова, без сомнения, — осадки бесчисленных рек, впадающих в океан, и наносная почва их особенно хороша для хлопчатой бумаги, ценимой по необыкновенно длинным и мягким волокнам, и известной в продаже под именем островной (SEA island cotton). В лагунах и устьях рек бездна аллигаторов, и когда пароход проходит близко к отмелям, где чудовища обыкновенно наслаждаются солнцем, с обоих бортов начинается перепалка из штуцеров, без всякого предуведомления и, разумеется, без чьего-либо позволения. С дамами очень деликатны, но предполагается, что американские дамы не боятся выстрелов.

Легши спать на пароходе в Чарльстоне, я проснулся на другое утро вблизи Саванны. Капитан был очень неразговорчив, и заметивши, что расспросы мои мешали ему употреблять рот для главнейшего назначения, я перестал беспокоить его и поддался изнеживающему влиянию атмосферы, здесь уже знакомящей с тропиками. Мы шли по реке, текущей лениво между низменными песчаными берегами, придерживаясь к южному. Вблизи его идет фарватер, и на нем, между устьем и городом, два форта — Джаксон и Пуласский. На Саваннском баре всегда 19 фут. воды, в прилив до 24, так что Саванна лучший из известных доселе портов южной части Штатов. В 18 милях от океана, на песчаном обрыве, расположен город. Торговля бумагой и рисом здесь весьма значительна, и вдоль набережной тянутся большие магазины и мельницы. Корабли подтягиваются вплоть к городу и швартовятся у берега, здесь же стоят буксирные пароходы и плавучие доки.

Саванна, по безмолвию немощенных улиц и особенной распланировке, имеет все прелести скромной деревни. Разделенная улицами под прямыми углами, она освежается скверами, устроенными во всех кварталах, и в самых

улицах насажены ряды тенистых дерев. Для меня всегда было загадкою странное гонение на зелень и тень в наших городах. Правильно насаженные ветвистые деревья красят улицу не менее тумб, ограждающих тротуары, а площади с садиками посередине, кроме украшения, придают городу свежесть в знойные летние дни и доставляют народу, не пользующемуся деревнями и дачами, средство подышать кое-чем иным, кроме пыли. Парки и скверы недаром называются легкими Лондона, и в какой чудный оазис можно превратить Исаакиевскую, соединивши ее с Конногвардейским бульваром.

В революционную войну англичане долго держались в Саванне, и американцы неоднократно пытались отнять ее. В одной из попыток убит храбрый Пуласский, и вследствие того имя его встречается здесь на каждом шагу. Река охраняется фортом Пуласского, остановились мы в гостинице Пуласского, и, бродя по городу, на площади Монтерей, наткнулись на уродливую колонну с именем Пуласского. Всякое благородное памятование без сомнения достойно уважения, но американцы, по недостатку военной славы, чересчур уж чтят своих героев.

Из всех южных штатов Георгия наиболее покрыта железными дорогами, и что всего удивительнее, дороги не в долгу и приносят значительную выгоду. Теперь уже Саванна соединена с Миссисипи, а когда кончат дорогу, которая свяжет ее с путем, пересекающим северную часть Флориды, то, вероятно, все зимнее путешествие в Калифорнию пойдет через Георгию. Вообще ей и смежной Флориде, способной доставлять все тропические наслаждения, предстоит завидная будущность. Когда разовьются средства, все ищущие прекрасного климата предпочтут эти благословенные края, где найдут удобства просвещения и условия образованной жизни отсталой Гаване.

В назначенный день мы с сожалением оставили Саванну и вышли в море на маленьком винтовом пароходе встретить «Изабеллу», шедшую из Чарльстона в Гавану. Пароход не замедлил подойти и послал за нами шлюпку. Мою lady в ней и подняли, а мне, грубому мужчине, предоставили вскарабкаться на палубу, как сумею, бросивши на голову конец веревки.

Опасности Флоридского берега отдаляли нас от него, и мы плыли против большого течения до половины протяжения Флориды. С этого расстояния начали постепенно приближаться и шли в виду до самой оконечности полуострова. Прекрасный живой дуб растет всюду, но американское правительство не могло им до сих пор пользоваться по ненаселенности места и враждебности индейцев. Дикари эти скрывались в флоридских болотах со времени открытия материка испанцами и никогда не покорялись белым. Правительство штатов, наконец, решилось избавиться от них, и тщетно предлагавши различные условия, начало неприязненные действия. Шестнадцать лет небольшие военные отряды и шайки волонтеров преследовали индейцев и вели с ними кровавую войну. Написано было много реляций, истрачены десятки миллионов, и борьба повела только к славе индейского вождя, по прозванию Ноги-Колесом (Bow-leg). На конец прошлого года индейцы согласились на предложение правительства переселиться к северным границам Новой Мексики. Оказалось, что при начале войны всего навсего было до 500 дикарей, а в конце Ноги-Колесом, уставши колесить по дебрям и тундрам, вывел с собою не более 50 человек, остаток некогда могучего племени Семеноле. Комиссионеры и подрядчики, вероятно, поставят ему по подписке памятник.

От мыса Флориды оконечность полуострова обтянута цепью коралловых островов, называемых Ключами Флориды. Впрочем, слово Key — ключ, в этом случае, конечно, американизированное испанское Caya — бухта. Между островами и материком, действительно, бездна бухт, и незначительное население их состоит исключительно из смелых моряков, промышляющих спасением разбивающихся судов. Таких несчастных случаев бывает здесь

более двухсот в год. Острова, в свою очередь, обтянуты с моря коралловым рифом, обозначенным через каждые шесть миль винтовыми сваями под номерами. В наставлениях для плавания показано астрономическое положение каждой сваи, и увидевши одну из них, можно тотчас поверить счисление. В двух местах, где риф делает крутые повороты, воздвигнуты на сваях маяки. С английской стороны проход между Багамскими островами и Флоридой почти вовсе не означен. Это обстоятельство и то, что вдоль флоридского рифа можно везде бросить якорь, заставляют суда держать ближе к последнему на пути в Гавану или в Мексиканский залив.

На третьи сутки, поздно вечером, мы вошли в Кий-Вест, стратегический пункт штатов, весьма важный по своему положению. Здесь устраиваются арсенал, починочное адмиралтейство и сильные укрепления, за которыми легко будет укрываться крейсерам, наблюдающим пролив между Флоридою и Кубою. Ознакомившись с этой местностью, становится еще более понятным, почему американцы лакомятся на Кубу: владея ею и ключами Флориды, они решительно запрут по произволу оба входа в Мексиканский залив.

Багамский и Флоридский проливы весьма опасны во время ураганов. Страшные штормы эти идут вдоль Гольфстрима до берегов Виргинии, меняясь в направлении и производя вместе с течением огромное неправильное волнение, против которого искусство часто борется без успеха. Сообщение между Чарльстоном и Гаваной обыкновенно прекращается в ураганные периоды, т. е. с половины июля до половины октября. В это же время особенно свирепствует в Гаване желтая горячка, так что путешественники ничего не теряют от прекращения пароходства.

Ночью мы пробежали от Кий-Веста к Гаване. При золотом отблеске солнечных лучей, зрение поддалось непоборимому обаянию. Не все однако ж золото, что блестит.

ГЛАВА VI

ЗИМА НА КУБЕ[16]

Гавана. Гаванский воздух и гаванские виды. Хитрость Севастопольского героя. Серро. Визит к генерал-капитану. Испанское управление Кубою. Праздник негров 6 января. Негропромышленность. Мертвые души. Укрепления Гаваны. Адмиралтейство. Испанский флот. Сахарная плантация.

Я пробыл на Кубе долее, нежели хотел и часто, при невозможности развлечься, уныло таял в ее каленой атмосфере, но последующие случайности давно изгладили неприятные временные впечатления. Все очистилось в реторте времени, и остались воспоминания, которые, вероятно, рисуют Кубу, как она есть, без пристрастия энтузиазма и без предубеждений злости, возбуждаемой тоскою.

Первое кубинское утро было действительно чудное. Летучие рыбы, резвясь в воде и воздухе, прядали вдоль парохода, приветливо указывая нам путь. В прозрачном тумане мелькнули сначала два холмика, покрытые деревьями, и от них к востоку ряд сахарных головок. Эти холмы — примета Гаваны от севера, и скоро маяк Моро, на восточном мысе бухты, встает верным путеводителем. Западный мыс низменный, от него весь берег острова подается значительно к югу и поэтому противоположный мыс, с замком и маяком, выступает рельефно.

Вход на рейд запрещен от захождения до восхождения солнца, разве повреждения или гибельное положение корабля заставляют искать в бухте убежища. Узкий вход за Моро расширяется в прекрасный рейд, и в конце его вдаются две бухты к юго-востоку и юго-западу. В правой руке город и на выступающих мысках укрепления, а в левой — сплошной кряж возвышенности с грозными формами Моро, Кабаниос и Каза-Нуова. С первого взгляда Гавана несколько напоминает Севастополь, каким он был до знаменитого его истязания. Частности совершенно иные, нежели в нашей стране, но общий вид легко переносит к ней воображение, по крайней мере русское. Впрочем, со мною соглашались испанские военные люди, со вниманием следившие в тени пальм и бамбуков гомерическую борьбу в Крыму.

Вдоль городской набережной плотно толпились корабли всех наций, преимущественно испанские, а средина рейда была занята военным флотом, доставляющим пищу страшной желтой горячке. В глубине бухты около городка Регла тянулся длинный ряд кубинских житниц с остроконечными крышами — магазины для хранения сахара. Кое-где между зданиями и по всем смежным возвышенностям колыхались одинокие пальмы. По рейду лениво прокрадывались лодки с зонтами, вроде наших ялботных, весьма неморским приспособлением, между прочим, у нас даже вовсе бесполезным. «Изабелла» тихо пробиралась

между различными препятствиями и, наконец, остановилась у южного конца города. Палуба была вмиг наполнена комиссионерами различных гостиниц — dipendiente, — громко выкликивавшими имена своих трактиров и навязывавшими их достоинства с неприятною настойчивостью. Один из них, проворный янки, завладел нами, и, бросивши чемоданы наши в лодку, повез на берег.

Несмотря на весьма недружеские попытки американцев, нас вовсе не встретили притеснительными формальностями, которыми обыкновенно ограждается подозрительность. Разумеется, потребовали паспорты и взамен их тотчас же выдали билеты — мне как служащему даром, с других взяли по два доллара за право пребывания. Первый глоток тропического воздуха, выходит, стоит довольно дорого, за последующие, как увидят далее, платится в геометрической прогрессии. Узкими, кривыми и не совсем благовонными улицами мы скоро добрались до какого-то постоялого дома, напоминавшего мне турецкие ханы. Во входе поразил запах места, которое обыкновенно узнают, желая выйти.

Лучший ресторан на французский лад приветливо улыбнулся нам при входе, и мы надеялись, что попали, куда следует. Хозяин в неизбежном жидком состоянии и полуодетый встретил нас на знакомом диалекте и сказал, что может дать одну только комнату, но зато самую лучшую, в верхнем этаже, где воздух несравненно чище, и вид с террасы восхитительный. Экое счастье, за воздухом и видами мы именно приехали. Очень рады, давайте комнату. Хозяин начал звать Рамона. Рамон показывал где-то, что он существует, но не являлся. Через полчала он вскочил в сени, кажется, из-за смежного угла, где сосал апельсины, и дружески пригласил нас с ним следовать. В сенях было еще сносно, но лишь только мы вступили на лестницу, опять послышался неблаговонный аромат, преследовавший нас за завтраком. Возносимся выше и выше, он за нами, и наконец, прежде нас, ворвался в комнату, отворенную Рамоном. Одно окно, т. е. одно оконное отверстие со ставнею и в ней маленькое стекло, бросало скудный свет на кирпичный пол. Две кровати с натянутыми пологами, два стула, искавшие взаимной подпоры, потому что у обоих недоставало ножек, рукомойники, из которых с трудом можно было бы напоить муху, и грязные занавеси — вот все убранство, зато посуды, без которой очень можно было бы обойтись там, где нельзя простудиться даже ночью, вдоволь.

Отворили ставню... к испанско-тропическому запаху, пришел на подмогу другой, мыльный, и союзники начали терзать наше несчастное обоняние. На террасе с великолепным видом — бечевка с развешенным бельем, апельсинные корки, лохани с помоями, выеденные бананы, битые бутылки, короче, мелочная лавка всех непристойностей. Вот вам гаванский воздух и гаванские виды.

На ночь Рамон удостоил нас несколькими простынями, и под влиянием первой очаровательной вечерней прогулки мы забыли все лишения в крепком сне. С восходом солнца грубые мужские ревы и звонкие женские писки начали звать Рамона. Четыре попугая на галерее вторили крики как эхо. Рамон кидался во все стороны, кроме той, с которой его звали, и ставил воду у комнат именно так, чтоб ее пролили, отворяя дверь. Рамон в истинно утреннем костюме был всем — дворником, горничною, камердинером, прачкою — короче, на все руки.

Нужда заставляла его пускаться на разные штуки. Например, с вечера выставишь сапоги за дверь, а утром найдешь их в комнате невычищенными. Рамон подкрался ночью и поставил их внутрь, а уверял, что я позабыл их выставить. Сходя к завтраку, думаешь, что Рамон уберет комнату, а он запрет ее своим ключом и утверждает, будто я запер, уходя. Однако ж скоро я поймал его, найдя в комнате метлу, которой прежде не было. Разговорившись по этому случаю, я узнал, что Рамон был зачем-то

в Севастополе и участвовал в деле. Не у пластунов ли он научился военным хитростям, которые так удачно употреблял в мирное время.

Трактирщики знают, что дома будут непременно полны зимою — единственное время прилива путешественников; негров, употребляемых господами на земледелие, нанять почти невозможно, а белая прислуга, пугаемая желтою горячкою, чрезвычайно редка. Не мудрено, что трактиры не в порядке, и что за исчисленные выше удобства вы платите двенадцать рублей серебром в сутки. Одному нет видимой причины: вечному присутствию гиштана тропического букета. Не только трактиры, но частные дома, исключая принадлежащих богачам, испытавшим европейский комфорт, устроены весьма неудобно.

В Гаване, даже зимою, нужно вставать рано, чтоб действительно наслаждаться природою. С десяти часов утра до четырех пополудни нет никого на улицах, исключая работников невольных и добровольных. Зима — самый приятный сезон на всем острове. Северные ветры, обыкновенно начинающие дуть в ноябре, уменьшают жар и вывеивают горячку, это страшилище приезжих. Кроме родившихся на острове, все подвергаются болезни рано или поздно, и в наш визит она не прерывалась, несмотря на зимнее время, потому что периодические северные ветры опоздали и начали господствовать не ранее февраля. Декабрь и январь были также знойны, как осенние месяцы, и мы должны были совершенно подчиняться местным условиям, чтоб не раскаяться в нашем путешествии.

Город разделен на две части — Intramuros и Estramuros. Название первой уже означает, что она замкнута стеною, и эта часть есть старая Гавана, с улицами, в которых нельзя разъезжаться экипажам и с насмешками на тротуары, где при встрече наиболее учтивый должен лезть в грязь.

Старая Гавана отделена от новой части стеною, которая, подобно всем оградам, навела бы казематную дрожь, если бы вдоль ее от юго-западного острога бухты до самого почти моря не тянулась широкая аллея.

Испанцы не держатся строго мадридских регламентов в обмундировании солдат на Кубе и не кутают их наперекор природе. Вместо киверов все войско имеет соломенные шляпы и сукно заменено полосатою бумажною материею, с отличками, указывающими различие чинов. Я не видел ни одного парада или развода позже семи часов утра и из этого заключаю, что кроме регламента военные испанские власти руководствуются рассудком. В четыре часа плац всегда свободен и через него несутся сотни экипажей в длинную улицу, прорезающую все предместье города. Один из генерал-капитанов Кубы, Такон, большой охотник оставлять по себе вещественные памятники, проложил эту улицу до холма форта Принчипе, охраняющего, по мнению испанцев, Гавану от высадки западнее входа в бухту. Как ни выполнял бы форт Принчипе свое стратегическое назначение, массивные стены его с зубчатыми окраинами, возносясь над крутым холмом, кончают любимое народное гульбище чрезвычайно эффектно.

От Passeo Tacon разбегаются во все стороны побочные аллеи. Одна из них ведет в Серро, предместье, теперь соединившееся с городом, но неподверженное городской духоте. Здесь дома богатейших жителей, имеющих за стеною только конторы, и притоны европейского общества, т. е. консулов и негоциантов, ищущих богатства даже в челюстях желтой горячки. Серро несравненно здоровее города и нужно стараться преимущественно здесь поместиться, на что в настоящее время есть уже некоторые средства.

Дворец генерал-капитана горит бесчисленными огнями; против него, над капеллою Колумба, сияет в синеве воздуха крест, означая место благодарной молитвы знаменитого странствователя. Губернаторский дом с третьей стороны платит свою дань света, а с четвертой ярко иллюминированные магазины льют струи к тому же фокусу. Весь этот свет

по случаю весьма темному: празднуют одну из непонятных таинственностей римской религии и вдобавок иллюминация освещает в центре сквера мраморный памятник Фердинанда VII, содержавшего возлюбленных подданных в непроницаемой тьме. Но от этого скорбного рассуждения, если светит луна, тотчас переходишь к упоению очаровательною картиною.

Всего приятнее гулять в Серро, в садах гаванских магнатов. Жилища их устроены совершенно сообразно требованиям климата, без излишеств, так неприятно поражающих в городских зданиях, и въездные аллеи обставлены неизменно рослыми пальмами. Вот назначение пальмы, на которое природа обрекла ее ровный столпообразный стебель, и пальмовые пропилеи, конечно, не уступят никаким искусственным входам. В Серро, как я прежде сказал, живут все европейские консулы и негоцианты; в обществе их мы провели много приятных минут, болтая без цели и взаимного назидания, чтобы несколько пристойнее глотать воздух. В настоящее время вся европейская колония — один родственный круг.

Европейское общество мало мешается с туземным, довольствуясь средствами и официальными появлениями во дворце генерал-капитана. Искавши преимущественно развлечения между европейцами, мы должны были повиноваться их обычаям, и в душный вечер отправились однажды в Palazzo del Gioberno. Я представился предварительно наместнику его католического величества и был принят им чрезвычайно ласково. На первый раз долго говорили о vomito — желтой горячке, c'est ici le discourse de presentation. Генерал-капитан уже пользовался ею, и так как болезнь никогда не возвращается, то говорил о ней с равнодушием человека, который рассказывает о пожарах, застраховавши все до ниточки. Напротив, о холере он отзывался с ужасом, говоря, что она уничтожает богатство острова — негров, вовсе не подверженных горячке. Генерал принял меня в галерее, где красовались портреты его предшественников. В конце я заметил пустую раму, и на вопрос мой Дон Хозе Конча отвечал, что она предназначена для него, но наполнится не прежде удаления его с поста.

Куба — золотой промысел для испанских грандов. Источники обогащения их многочисленны и обильны. Запрещенная торговля неграми уже доставляет большой доход; потом есть откупы на сбор податей, таможенные и полицейские сборы и поборы. Мертвые черные души и многое другое объяснится впоследствии.

Если к этому прибавить 60 000 долларов содержания, с готовым дворцом, истинно королевскими почестями и правом рубить голову, понятно, что чванной, скупой и мстительной испанской натуре на Кубе любо. Железная рука Такона, не гнушавшаяся, впрочем, мотивов, называемых благородными, с циническим презрением к нравственности, немилосердно жала Кубу в течение многих лет. Такон сделал много материального добра, вывел разбои, ввел некоторый полицейский и судебный порядок и оттенил предместья города; несмотря на это кубинцы клянут его. Тень-то была заведена безграничным, ничему не подчинявшимся произволом, а люди издавна созданы так, что предпочитают печься на солнце по своей воле, прохлаждению — по чужой; этой прихоти человечества, к несчастью, не поняли многие, желавшие ему истинного добра. Конча поступает иначе. Угождая в мелочах, дозволяя некоторую свободу на словах и приветливо обращаясь с безопасными недовольными, он кует для Испании больше денег, нежели его предшественники, и держит Кубу в повиновении. В важных случаях маска слабости и добродушия спадает, и любезный маркиз превращается в неумолимого генерал-капитана, наполняет тюрьмы, изгоняет из-под тропического неба и даже ссылает в вечность удобным испанским способом мгновенного перелома позвоночного хребта, что называется garotta. Странно, что операция получила название от

наименее значащего в ней приема. Garotta значит «привязывание, припутывание». Действительно виновного привязывают к столбу, но это ничего в сравнении с окончательным приемом, а между тем весь процесс называется привязыванием, будто вовсе дело не идет о жизни человека. Это имеет отпечаток той же бесчеловечной насмешки, что «чихание в мешок», как называли в революцию следствие гилистирования, или выдуманный немцами проход сквозь строй, мимо которого всегда проносят. Отнесло же, однако ж, и меня от Кубы к шпиц рутенам.

В числе гаванских развлечений нам удалось видеть праздник негров 6 января. В этот день вовсе нет езды по улицам, да трудно и быть ей. С раннего утра все черное народонаселение выходит из домов в самых пестрых костюмах, с уродливыми головными уборами и различным деревянным оружием. Толпы разделяются по происхождению от разных африканских племен. Дикие крики с адскою музыкою, в которой главный инструмент бездонная бочка, возвещают о приближении негритянской сатурналии. Обыкновенно она врывается сначала в обширный двор генерал-капитана и там начинает неистовое торжество свое. Маэстро, сидя на бочке, бьет во всю мочь по натянутой на ней шкуре, а босые и часто нагие бесенята, поместившись сзади, дребезжат по клепкам палками, каменьями и чем попало. Расписанный яркими цветами трубач дышит невпопад в берестовую трубу, а девушка с тамбурином, от природы отвратительная и еще более изуродованная охрою и суриком, гремит некстати бубнами. Толпа постепенно приходит в восторг, бросается в пляску, где черные плечи играют главную роль, и более и менее воодушевляясь, переходит к непристойным телодвижениям. В это время сверху сыплется благодать в виде серебряной монеты: артистический восторг сменяется жадностью, и собравши манну, толпа благодарит щедрого подателя самым разногласым ревом. То же повторяется перед каждым домом, и черная прислуга спешит принять в оргии живое участие. Мои расспросы привели к тому только, что праздник имеет начало в воспоминании о волхвах, пришедших на поклонение спасителю; один из них, как известно, был черный. Негры выбирают по этому случаю владыку, к которому сносятся все подаяния, и к чести их нужно сказать, что вырученные суммы идут на вспомоществования бедным и увечным. Ни полиция, ни хозяева не мешаются в народные забавы, и если б кто въехал в Гавану 6 января, то верно заключил бы, что в городе революция.

Испанцы говорят, что креолы — народ ничем не довольный, хотя пользуются совершенным благоденствием и не платят почти никаких податей. Креолы утверждают, что все испанцы на острове — чиновники, высасывающие их кровь и достояние, безжалостные мытари и притеснители.

При таких обоюдных обвинениях, тщательно наблюдая факты, невольно в заключение склоняешься в сторону слабейших.

Испанское правительство, вынужденное признать права народа дома, не хочет по доброй воле согласиться на такую же уступку в колониях. В советах его нет людей просвещенных, изучающих человечество, и врожденная народная гордость помогает правительству в упорном притеснении колонистов, родившихся под другим небом и в бессмысленном эгоизме каталонцев, составляющих нечто низшее.

Генерал-капитан непременно сменяется через два-три года; с ним уходят генерал-интендант и высшая судебная власть; а между тем метрополия на краю банкротства, требует доходов, считая остров неисчерпаемым рудником. С одной стороны — нужда удовлетворить требованиям Испании, а с другой — надобностям счастливых испанских личностей, посылаемых на остров, с явною целью снискать в обязанностях вознаграждение, которого правительство не может дать дома. Куба, разумеется, страдает от подобных распоряжений и с нетерпением ждет нового порядка.

Стоит только взглянуть на отчеты о кубинской торговле, чтоб понять причину ненависти креолов к Испании. Приложенная таблица облегчит вывод заключения.

Таблица

Государства	1852		1853		1854	
	Привоз на Кубу	Вывоз с Кубы	Привоз на Кубу	Вывоз с Кубы	Привоз на Кубу	Вывоз с Кубы
	Доллары					
Испания	10200409	3882634	7756905	3298871	9057428	3615692
Сев. Амер. Штаты	6552585	12076408	6799732	12131095	7867680	11641813
Англия	6538834	5486677	6195921	8322195	6610909	11119526
Франция	2203354	1513368	2177222	3293389	2658198	1921567
Германия	1102002	1690165	1145940	1474018	1420639	1824074
Испано-американская республика	2144618	801160	1677476	514831	2145370	671389
Россия	657554	483218	485422	253688	538824	309949
Италия	32309	380586	69022	651275	24082	313779

Кроме того, что из всех наций одна Испания доставляет Кубе в два с половиною раза более, нежели берет от нее, нужно разобрать, как производится столько негодный для острова размен. В Испании нет мануфактур и торговля ее с Кубою состоит исключительно из предметов первой надобности навязываемых креолам по страшной цене. Какой в том толк, что прямые налоги превышают четырех процентов с собственности, и что собственность эта, впрочем по злоупотреблениям испанских же властей, всегда оценивается ниже стоимости. Нужно ввести налоги всякого рода, и тогда испанская система представится во всей изнуряющей ее силе. Просматривая статьи тарифа, нельзя не заметить, что он составлен во вред колонии. Бочонок лучшей муки, например, предмета необходимого из соседних штатов мог бы привозиться за пять пиастров, но пошлина так велика, что равняется запрещению, и мука из Сант-Андера раскупается по двенадцати пиастров. Другой весьма важный предмет, от которого зависит производительность острова, следовательно, и самая способность его платить дань Испании – соленое мясо, ничего не стоящее в Буэнос-Айресе и составляющее единственную мясную пищу негров, обременено пошлиною в двенадцать долларов с трех пудов.

Привилегии испанского флага так значительны, что все европейские продукты выгодно возить только на испанских кораблях, а как они не всегда и даже редко под рукою, то вовсе не везут, и на гаванском рынке никогда нет изобилия, которое могло бы понизить цены. С другой стороны, весьма трудно выплачивать Испании семь миллионов, составляющие излишек ее ввозной торговли. Труд чрезмерно дорог. Есть три средства удешевить его: торг неграми, ввоз китайцев и прилив белой эмиграции. Не разбирая достоинств и недостатков каждого способа, я указываю на них, чтоб вывести нелогичность действий правительства. Трактатами с Англией оно не только связало себя во вред Испании, но уступило право самодержавия над своими владениями, дозволяя английским крейсерам дозор за собственными берегами. Конечно,

правительство знало, что по гидрографическим условиям берегов трактат не исполним без его содействия, и негры будут ввозиться по-прежнему; не менее того торговля запрещена, и креолам нужно часто удовлетворять хищность испанских досмотрщиков. Вся выгода торговли, производимой без исключения испанскими домами, идет в руки последних, и островитянам приходится давать огромные взятки за негров, принятых поневоле, ибо нет иного средства добыть рабочих. Разрешили ввозить китайцев, но потом испугались, чтоб в соединении с неграми они не произвели бунтов и отдали ввоз на откуп двум-трем испанским спекулянтам, под присмотром местной власти, с условием, чтоб они не ввозили более известного ограниченного числа. Попробовали допустить белых, и две тысячи немцев и бельгийцев перебрались на остров; но преследуемое тем же страшилищем революции правительство позволило им быть только пролетариями и никак не согласилось, чтоб они имели право приобретать на острове недвижимую собственность, которая могла бы связать их с креолами взаимными интересами. Кроме всех этих угнетений и несообразностей креольскому честолюбию нет поля ни на Кубе, ни в Испании.

Итак, чтоб Испания имела наиболее выгод, кубинцы должны покупать все дорогою ценою; чтоб владение Кубою было обеспечено, производительность острова подчинена прихотям местных властей; наконец, чтоб дурь не лезла в голову, островитянам предоставлено право исключительно давить трость и катать табак в сигары.

Полагая население острова в полтора миллиона, приходится налога с каждого жителя по четырнадцати долларов. Нельзя запретить креолам сравнивать это дорогое управление с издержками на правительство ближайших соседей. В штатах доходы Федерального правительства в прошедшем году простирались до 81 миллиона с половиною, что при 23 000 000 жителей составит 3,5 пиастра на каждого. Местные штатные налоги, средним числом, доходят до 4 пиастров с человека; следовательно, все управление Северо-американского союза стоит народу по 7,5 долларов (или пиастров) с души, т. е. вдвое менее нежели кубинцам.

Край, как сказано, нуждается в рабочей силе, и правительство, заключивши самоубийственный договор, смотрит сквозь пальцы на неисполнение его; но при этом между пальцами его представителей остается многое. За каждого ввезенного негра местные власти получают 24 пиастра; а если «Times» или иной значащий английский журнал шумит слишком сильно об их продажности, то вдвое более. Когда не берет сам генерал-капитан, возьмут другие. Поголовные деньги спекулянт-испанец наверстает при продаже, значит, платят те же креолы; но это еще не все. Возбужденный обвинениями «Times» или доводами английского консула, заседающего в испанской комиссии для прекращения торга неграми, генерал-капитан объявляет войну негропромышленникам. Чтоб укротить разъяренного леопарда, негропромышленники попадутся в руки испанских крейсеров три—четыре раза кряду. На подобную жертву они могут решиться легко, как видно из следующего расчета. Негр с привозом обходится в сто пиастров, значит, триста негров — 30 000 пиастров; судно, способное перевезти их — 35 000 пиастров, всех расходов, следовательно, — 65 000 пиастров. Средняя цена негра на рынке 600 пиастров. Предполагая, что четверть умрет на пути, за высаженных 225 душ получится 135 000 пиастров, что по вычете расходов даст 70 000 пиастров чистого барыша. Экипаж попадающегося судна, разумеется, заблаговременно оставляет его и скрывается в лесах до того времени, как говор о призе утихнет. Освобожденные негры поступают на руки попечительной местной власти, которая публикует о подвигах своих крейсеров с возможною гласностью и предлагает нуждающимся явиться за неграми в городскую думу. Плантеры спешат на зов и объявивши, сколько им нуж-

но негров, получают столько же билетов из урны, куда складываются имена всех захваченных негров, уже окрещенных.

Африканцев обыкновенно крестят десятками, а иногда целыми грузами. Женщины называются именами праздников, а мужчины буднями, вероятно, потому, что первые встречаются реже в партиях, как слабосильные. Вынувши шестнадцать, например, билетов, плантер взносит за каждый 25 пиастров пошлины и ожидает получить всю артель, но на деле этого никогда не бывает. Непременно окажется, что из шестнадцати трое или четверо как-то умерли между благодатью и аукционом, и уплаченная сумма уже не возвращается. Сбытым неграм навешивают жестяные билеты с надписью emancipados, и, записавши в книгу, что столько-то освобожденных вторников, суббот или воскресений поступило туда-то, предоставляют их хозяину с условием, чтоб он ежемесячно вносил за каждого по три доллара для составления капитала, который передается негру после восьмилетнего обучения. По истечении этого времени закон предоставляет негра собственному произволу, но как внесенные за него деньги стали уже собственностью начальствующих лиц, то последние соглашаются на сделку и продолжают обучение негра в бесконечность, чтоб недоученный он не ввел бы в расходы заведения общественного презрения. Хитрость властей вызывает на хитрость плантеров, и эмансипадосы обыкновенно вымирают дочиста по истечении восьмилетнего срока. Смертность между кубинскими неграми действительно доходит до пяти процентов, но почему эти проценты падают целиком на негров, захваченных крейсерами? Опять нужно обратиться к сказаниям Гоголя и в этом истинно универсальном уме искать решения загадки. Не удивительно ли, что каленая Куба представляет вариант на спекуляции Чичикова в ледяной России. Между невольниками плантера непременно есть соименники его эмансипадосов. Положим, умирает невольничья середа. В эмансипадосах отыскивают тезку усопшего, и жестяной билет перевешивают на труп. С этим видом рабская середа пошла в вечность свободною, а середа эмансипадов заступила ее место и перешла в вечное владение. Жаловаться некому, да и не к чему.

Все это делается светскими представителями испанского могущества на острове, но есть и духовные, пекущиеся торжестве религии. Ревизоры объезжают плантации для совершения треб и таинств церкви, и как-то всегда случается, что наезды эти делаются в горячее рабочее время. Светский пастырь над черным стадом исповедует грехи за все стадо, чтоб его оставили только на поле, и платит духовному столько-то за каждую душу. Короче, креол дает всем, за все по все дни, а получает Diario de la Marina, официальный орган, в котором восхваляют попечительность Испании о его родине и бескорыстие местных властей.

Креолы не имеют никаких гражданских прав, ни одного представителя между кортесами, и если б неимущие каталонцы не склонялись иногда на доводы богатых кубинцев, положение последних было бы нестерпимо и оправдывало бы всякую попытку избавиться от несносного ига.

Власть Испании на острове поддерживается постоянно сильным гарнизоном и большою эскадрою. Остающиеся в живых защитники Испании сменяются довольно часто новыми жертвами. Нельзя не дивиться бесконечности мадридских распорядителей и беззаботности их о несчастных, от которых единственно зависит сохранение светлейшего алмаза в испанской короне. Всем известно, что желтая горячка свирепствует только по берегам, и преимущественно в закрытых гаванях, а внутри острова почти неизвестна. Несмотря на это, прибывающие войска остаются в Гаване, Матанзасе, Тринидаде и других приморских городах и обыкновенно перемирают очень скоро. При временном удалении внутрь острова они могли бы постепенно привыкнуть к климату и приготовиться вынести страшную болезнь, но

как вне городов нет казарм, то привозимые люди помещаются в фокусах смертности. Точно так же флот гниет на якорях в Гаване, тогда как прогулка на север избавила бы экипажи от горячки и приучила бы их несколько к жестким прихотям моря.

Гражданский губернатор Гаваны, почему-то называемый политическим — gobernador politico — неоднократно приглашал меня присутствовать при ученьях войск и разводах, вероятно предполагая в каждом русском военные познания. Он настаивал с такою любезностью, что для избежания неловкого положения я должен был сознаться в несовершенстве моего воспитания и объявить, что начавши с головы, не успел еще дойти до ног. Адмиралтейство, флот и укрепления меня очень занимали, и любезный губернатор дал мне своего адъютанта для сношений с лицами, от которых места и предметы зависели.

Однажды рано утром мы переправились через бухту и по крутой дороге взобрались к замку Моро, главнейшей обороне порта. Неправильные фасы замка обставлены казематами, замкнутыми сзади. В каждом фасе один выход из казематов, и трудно понять, куда при действии вылетает дым. Внутри форта просторные казармы для помещения 800 человек гарнизона и арсенал, в котором хранятся все принадлежности. Батареи замка встречают подходящие суда издалека, но слишком высоки, чтоб вредить подошедшим близко. От него, по кряжу возвышенностей, обтягивающих эту сторону гавани, — крытый путь к замку Кабанос, бастионному укреплению с орудиями en barbette, выдвинутыми ко входу полукруглою батареею. Пушки последней действуют вдоль входа, и будучи гораздо ниже, чрезвычайно действительны. Здесь также большой арсенал, в котором, кроме принадлежностей, хранятся в совершенной готовности станки. Будучи на месте, они даром подвергались бы влиянию атмосферы, и здесь кстати коснуться весьма замечательного вопроса, давно возбужденного в нашем журнале. Для всегдашней готовности батарей и для избежания дорогостоящих магазинов следовало бы, кажется, быть внимательнее к защитникам системы железных станков и ввести их на береговых укреплениях, разумеется, предварительно добившись толку, какие из них прочнее, дешевле и удобнее в отношении к выделке и исправлениям. Нельзя предполагать, чтоб последствия раздробления станка неприятельскими выстрелами принимались в рассуждение и мешали введению железных в укреплениях, где по большому расстоянию между орудиями, разделению их стенами казематов или траверсами и, наконец, по незначительному числу прислуги, осколки не могут нанести большого вреда. Во всех других отношениях железо для крепостных станков лучше дерева, особенно там, где первого много, а сухого, пристойного лесу вовсе нет. Снаряды на гаванских батареях сложены в обыкновенных пирамидах на глиняном поле и прикрыты плетеными крышками, обмазанными тем же материалом, так что воздуху нет ни малейшего доступа. В случае надобности можно тотчас разбить крышу, и способ этот устраняет ржавчину несравненно действительнее беспрестанного ухода за открытыми снарядами, который едва ли даже возможен при разнообразных занятиях гарнизона. На западном берегу бухты, против Моро и Кабаноса, грозные батареи a fleur d'eau, а восточнее Кабаноса, на холме, им командующем, еще форт, который охраняет его и вместе обстреливает поморье к востоку от бухты. С западной стороны, с тою же целью, как выше сказано, выстроен замок Принчипе, но при должном распоряжении и покровительстве сильных лодок высадка не представит больших затруднений, если б даже ее вздумали делать около самого города. На укреплениях около 800 орудий не свыше 36 фунт. калибра, 68-фунтовых так мало, что почти не стоит говорить о них, но постоянно пребывающий в гавани флот, конечно, усилит батареи в случае надобности, расположившись так, чтоб быть уверенным в действии одним бортом. Вообще

порт обеспечен от внезапного нападения с моря, и в случае приближения грозного неприятеля, без сомнения, воспользуются севастопольским примером. По узкости входа мера будет очень чувствительна. По южную сторону бухты и города тянутся высоты защищаемые, но не защищенные и требующие для обороны огромного войска. Если высадившийся неприятель займет их, участь места решится очень скоро, разве защищающие силы победят в правильном бою.

На мысе, между двумя отрогами гавани, городок Регла и на набережной его длинный ряд магазинов, в которых складывается доставляемый для вывоза с плантаций сахар. До устройства их улицы Гаваны были решительно непроходимы.

С гаванской станции сахар свозился побочно железною дорогою. Несмотря, однако ж, на это благоразумное распоряжение, в прибрежных гаванских улицах все-таки нет почти проходу, и кроме духоты, вечный запах «tasajo», соленого буэнос-айресского мяса, сходный с острою вонью испорченного сыра. По должном приготовлении запах исчезает совершенно, и мясо действительно вкусно и питательно. Кроме тасахо важнейшие предметы ввозной торговли: хлеб, бумажные, шелковые и шерстяные изделия, кожи, галантерейные вещи, механизмы и строевой лес.

Во внутренности восточной половины Кубы, почти не исследованной и лишенной всяких средств сообщения, много строительных материалов, но до сих пор лесная торговля ограничивается красным деревом, срубленным поблизости берега и sabici, весьма плотным тяжелым деревом, употребляемым на разные поделки для кораблей — битеньги, кнехты, коммингсы, нагеля, планки и т. п. Эти материалы вывозятся в испанские адмиралтейства в большом количестве. Правительство строит суда в Испании, где работа несравненно дешевле: в Ферроле, например, плотник получает в сутки 75 центов, а в Гаване — три пиастра. При таких условиях гаванское адмиралтейство может быть только починочным, в самом экономическом смысле слова. Оно расположено тотчас за стеною города, по северному берегу юго-западного отрога бухты, и занимает для чего-то огромное пространство, представляющее вид большого пустыря, кое-где испятнанного зданиями. Строевого леса мало, а мачтовый хранится весьма небрежно. Правда, его имеют за сходную цену из Штатов и Канады, но все же не следует пренебрегать однажды сделанными запасами и подвергать деревья без малейшей защиты тропическим дождям и солнцу. В настоящее время устраивается механическое заведение, необходимое при быстром распространении парового испанского флота, и уже уставлен тяжелый паровой молот. Рядом с ним мортенов эллинг, на который нельзя вытаскивать судов более 150 фут длиною, и новейшие корабли вовсе не имеют средств исправлять в Гаване подводные повреждения. Мне в первый раз случилось видеть подобный эллинг с паровою машиною для вытаски.

Валовая адмиралтейская работа производится эмансипадосами, избавляющими правительство от больших издержек на наем рабочих. Часто бывавши у английского консула, я беспрестанно видел эмансипадосов, проходивших мимо его окон, и однажды заметил, что захваченных негров, кажется, очень много и вряд ли следует ему жаловться на испанские власти. Старик, проведя всю жизнь с испанцами, улыбнулся и уподобил себя театральному герою, мимо которого проходят несметным войском те же 15 или 20 фигурантов, обводимых за кулисами. Консул уверял, что куда бы ни шли адмиралтейские эмансипадосы, путь их непременно лежит мимо него и только даром изнуряют бедных негров. По трактату, захваченные негропромышленные суда должны сжигаться, но местные начальства предпочитают хранить их в целости, как доказательства ревности их в исполнении трактата, и в настоящее время четыре стоят у адмиралтейских пристаней.

Грязь и беспечность, испанцам свойственные, заметны и в адмиралтействе. По стенам мастерских — нары, на которых, вместе с пожитками мастеровых, лежат бараны, собаки и прочее имущество и товарищество. Кроме неизбежного соседства огня, необходимого для работ, все курят сигары и папиросы без малейшего стеснения. Вряд ли, впрочем, можно было бы запретить курение где-либо на Кубе — это здесь делается требованием природы, — но по крайней мере должно было бы устранить все горючее. На замечание мое отвечали, будто никогда не было в адмиралтействе пожара. Если так, то меня верно сочли зловещим вороном, потому что на другой день вспыхнул ночью пожар и сгорели экипажные магазины и парусная. Ни парусов, ни запасов не было, разве по книгам, и пожар, может быть, приключился кстати.

Испанский флот, охранявший Кубу, в мое время состоял из 84-пушечного корабля, четырех едва способных выйти в море фрегатов, пяти бригов и десяти или двенадцати пароходов, большею частью выстроенных в Англии. Разумеется, все надобности выполнялись пароходами, а парусные суда только хоронили экипажи. С июля до декабря более 110 человек пали жертвами желтой горячки.

Адмирал живет на набережной, в прекрасном доме, следовательно, для помещения его не нужно ни корабля, ни даже фрегата. Повидимому, правительство хочет скорее уничтожить негодный парусный флот и под благовидным предлогом гноит его в тропиках. Корабль «Изабелла II» выстроен по прекрасному чертежу, длина его 238 футов, мне не случалось видеть двухдечного корабля старой системы подобных размеров, и осматривая просторные палубы, я вспомнил слова английского историка, утверждающего, будто испанцы всегда строили большие корабли — по гордости. Как бы то ни было, «Изабелла» — превосходный образец испанской корабельной архитектуры и выстроена из прекрасных материалов. Способ крепления, внутреннее расположение и самый порядок при стоянке на рейде сняты без изменения с английских судов, прочее не перенято, сколько я мог судить по съемке с якоря, которой был свидетелем. В тропическом климате, теряя несколько человек в сутки горячкою, конечно, неблагоразумно было бы упражнять команды: но почему же не плавать в безопасных водах к северу.

Испанцы особенно хвастают своими крюйт-камерами, и меня везде водили в них. Расположение не представляет решительно ничего нового, но, видимо, заниматься крюйт-камерами в моде. Все выходы и входы устланы клеенками и отделаны очень щеголевато. При открытии крюйт-камер нет никаких предосторожностей, камбузы не тушатся, и люди входят, как есть: сопровождавший меня армейский офицер любопытствовал в сабле. Разумеется, при настоящем хранении пороха многие предосторожности, требовавшиеся старою системою, излишни, но все лучше по пословице с огнем не шутить, а с порохом — подавно. Два года назад на рейде взорвало бриг, и мне сказали престранную причину. На испанских судах много тараканов и серных спичек; от первых трудно отделаться под тропиками, но для чего допускаются спички, не знаю. Тараканы — охотники до серы, так по крайней мере говорят испанские моряки, имевшие возможность узнать тараканью натуру; они затащили спички в крюйт-камеру и оттого последовал взрыв. Из этой басни можно, однако ж, вывести следующее нравоучение: даже в XIX столетии не было бы варварством сжигать на костре из серных спичек того, у кого на корабле они найдутся.

Мало-помалу Испания заменяет, впрочем, на кубинской станции парусные суда винтовыми. При мне пришли две шхуны с машинами в 80 сил с углублением в десять фут, да 30-пушечный фрегат «Berinueta», выстроенный по английскому «Tribune». Суда и машины сделаны в Ферроле очень отчетливо и удовлетворительно. До сих пор все механизмы заказывали в Англии, но, наконец, испанское пра-

вительство нашло, что такая зависимость непристойна и гибельна. Капитан Quesada, долго живший в Англии, старался убедить домашние власти в необходимости делать машины в Испании. Несмотря на беспорядок в финансах, не пожалели издержек, и в четыре года устроили в Ферроле заведение, которое успело уже снабдить механизмами шесть новых фрегатов, хотя весьма трудно иметь в порту, и вообще в Испании, нужных рабочих.

Попытки американцев проникнуть на Кубу заставили правительство Испании вновь обратить внимание на флот, главнейший источник ее прежней всемирной славы, забытый и заброшенный после неудачных войн французской революции. Отверженных дотоле моряков нашли нужными и допустили даже в советы государства. Влияние их тотчас выказалось в возрождении некогда грозной и всегда необходимой силы, и в настоящее время морские офицеры, понимая свое значение, видимо, стараются быть его достойными. Вообще, с их стороны, я заметил на эскадре большое одушевление, стремление к совершенству и довольно обширные разнородные познания, при всех условиях прекрасного воспитания. Впрочем, везде кажется, в военных флотах по крайней мере, миновалось смешное заблуждение будто моряк, по существу дела и особенной жизни должен быть угловатым и шероховатым существом, которому непременно следует иметь особые манеры и оригинальный отпечаток. Не мог, однако ж, не заметить я, что предубеждение к товарищам другой службы еще не искоренилось в испанских моряках. Большая часть были ощутительно невнимательны к моему спутнику, очень скромному и приятному молодому человеку. Мне приходилось не раз, в разных нациях бывать в смешанном обществе морских и сухопутных офицеров, часть в случаях, где одни от других зависели служебно. Не считая нужным распространяться о необходимости согласия и взаимного уважения между разнородными деятелями, призванными к достижению той же высокой цели, я решусь сказать только, что где образование в различных отраслях службы распространено более, там нет неприятной исключительности, разъединяющей сословия, и, напротив, утрированное, можно даже сказать, уродливое служебное самолюбие, всегда служит признаком невежества той или другой стороны, а чаще обеих. В наш прогрессивный век стыдно быть рутинистом, опутанным по мозгам и чувствам преданиями и укоренившимися предубеждениями. Стоит только взять в расчет громадное распространение торговли, чрезмерную ценность настоящих морских сооружений и средства, которыми они владеют для мгновенного взаимного истребления, чтоб убедиться в невероятности исключительно морской войны. Нет сомнения, весьма скоро, общим соглашением, право частной собственности на море обеспечится во время войны так же, как на суше, и первый бой между флотами, если на него решатся, выкажет не расчет губить людей и миллионы в сражениях чисто морских, со времен Октавия и Антония, никогда не решавших войны; да и между ними дело, вероятно, не решилось бы Актиумом, если б более страшный внутренний враг не разбил душевных сил одного из противников. С другой стороны, новые способности флотов вызовут, в случае войны, соединенные экспедиции, и теперь, более нежели прежде, нужно армии и флоту понимать друг друга; а при верности взглядов согласие непременно последует. Издаваемые в различных ведомостях журналы, при направлении, достойном защитников той же родины, конечно, скоро откроют всем нам утешительный факт, что вместо поводов к зависти, недоброжелательству и разъединению, есть тысячи причин к взаимному уважению и единодушию, которые должны связывать рыцарей того же ордена чести и славы.

Северных ветров вовсе не было, и желтая горячка не прекращалась всю зиму. К ней присоединились злокачественная оспа, и мы с радостью воспользовались предложением про-

ехаться внутрь острова, тем более, что путешествие представляло случай взглянуть на деревенскую жизнь креолов и познакомиться с их хозяйством. Мы должны были ехать по железной дороге верст полтораста, а потом сесть на лошадей, которых любезные хозяева обещали прислать по получении от нас депеши. Передавши депешу, мы отправились на станцию.

Тряскость дороги и неудобство вагонов были не новы: и то, и другое сделано американцами. Первые 40 или 50 миль мы ехали по волнистой местности, между рощами пальм или манго и кущами бамбуков. Апельсинные деревья с их золотыми плодами украшали все станции и рядом с ними обыкновенно тянулись огромные бананники. Бананов тысячи родов, все они имеют тот же огуречный вид, но вкус переходит возможные степени, от самого сочного чудного плода до дряблого картофеля. Последний род заменяет на Кубе хлеб не только для негров, но вообще для прислуги и всех бедных жителей, по дороговизне сантандерской муки. Плоды эти всегда в изобилии, разве ураганом снесет деревья, и тогда положение кубинцев становится истинно бедственным.

Проселочные дороги на Кубе почти не дозволяют иной езды, кроме верховой, а часовая прогулка между полей по пути, заросшему травой, и, следовательно, непыльному, была очень приятна после душного вагона. Мы скоро выехали в имение наших хозяев, почти со всех сторон обмежеванное пальмами. Высокая труба завода не замедлила высказать свою закоптелую вершину и через несколько минут мы были встречены толпою негров, приветствовавших нас обычными коленопреклонениями. Бедняки при удобном случае поспешили оторваться от работы, зная, что учтивость к белым не поведет за собою наказания. Главнейшая постройка, завод (batei), стоит на обширном плацу, дозволяющем к нему доступ со всех сторон. Невдалеке от него баракун, казарма для негров, вроде острога, обнесенная со всех сторон стенами и выведенная с фасада двухэтажным зданием, где помещается госпиталь. Около же завода — сараи из плетня для топлива, а против главных ворот его — большое здание для рафинировки сахара. Смежно с ним — каменный флигель для чиновников управления, кормильня и спиртовой завод, который, впрочем, не действует с тех пор, как правительство наложило большую пошлину на право гнать водку. В отдалении, на горе, стоял господский дом, далеко уступавший архитектурою и удобством прочим зданиям, что вовсе не удивительно. Помещики живут в имениях только три месяца, в которые снимается трость и производится выделка сахара, разделяя остальное время между Гаваною и Соединенными штатами или Европою.

Нас поместили во флигеле, обыкновенно занимаемом смотрителями и поблизости с заводом, освещенным газом. Чистые комнаты с прохлаждающими каменными полами и прекрасно составленною библиотекою показались особенно приятными после городских трактиров, и, зная гостеприимство креолов, мы скоро решились, успокоивши совесть, прожить в этом сравнительном эдеме несколько дней. Первое знакомство с хозяевами еще более утвердило нас в этой мысли, а независимость, которою нам дозволялись пользоваться, совершенно изгнала опасения быть неприятными. Обыкновенно мы вставали рано и после кофе отправлялись верхом на поле одни или в сопровождении услужливого Майорала, по нашему полицеймейстера, пригнутого к земле страшным мечом, как признаком благородного происхождения, и вдобавок снабженного жезлом власти в виде буйволиного хвоста. При нас хвост был только регалией, но, вероятно, имел и практическое назначение.

В шесть часов вечера мы снова сходились с хозяевами и в приятной беседе проводили время до десяти. Затем опять разлука и приготовление к следующему дню, очень похожему на предыдущий. Не только зной не беспокоил нас утром, но даже в промежутке между завтра-

ком и обедом мы с удовольствием ходили по заводу, разузнавали подробности сахарной выделки, осматривали баракун, госпиталь и в сношениях с подчиненными через спутника, знавшего по-испански, старались поверить слышанное от властелинов. Хозяевам нечего было опасаться следствий нашего любопытства.

Состав кубинского населения более или менее препятствует освобождению Кубы. Оно разделяется на несколько классов с несовпадающими интересами, и Испания, пользуясь разногласиями, действует на основании правила – разъединяй и властвуй. Остатки старых испанских фамилий, поселившихся при первоначальной колонизации острова, составляют аристократию по имени и невольно клонятся несколько на сторону Испании, как колыбели их значения; фамилии эти немногочисленны и не имеют большого влияния. До 1 500 семейств происходят от испанцев, поселившихся на Кубе в позднейшее время и приобретших богатства, или от французских переселенцев в Сан-Доминго, это аристократия денежная, все выгоды ее на острове, и ненависть к Испании между ними сильная и общая. К этому же классу принадлежат несколько чисто испанских переселенцев, привлеченных на время жаждою обогащения. Они, разумеется, душою преданы своему краю и смотрят на креола как на низшее создание. Мелкие владельцы преимущественно занимаются разводом табака и кофе и, наконец, по краям больших имений, в скромных хижинах живут поселяне. Главные занятия их – выгодная покупка и перепродажа свиней и птиц, разводимых неграми для собственного употребления и охранения имений богатых соседей; их обыкновенно нанимают как сторожей для отвращения побегов, отыскания беглых и пр. Несмотря на различие происхождения, состояния и общественного положения, все белые пользуются одинаковым правом – платить Испании и власть предержащим. Всем в утешение дозволяется приобретать и угнетать несчастных негров. Положение креолов действительно невыносимое.

Действуя эгоистически, Испания не заботится о приготовлении креолов к переходу в общую семью гражданственности; напротив, лицемерными поощрениями она поддерживает на Кубе различие каст. Испанское высокомерие и невежество, креольское тщеславие и впечатлительность, с пагубным полуобразованием, и негритянская беспечность, свойственная людям, никогда о себе не думавшим – вот плевела, между которыми, в случае насильственного переворота, придется взойти семени креольской самобытности. Можно ли сомневаться, что козни партий при южной пламенности задушат росток свободы, и страна придет к одному из двух результатов – к новому деспотизму в лице счастливого воина или к анархии. Креолы внутренне сознаются в своей политической неспособности, иначе как объяснить неподдельное влечение их к Штатам. И кубинцам нет иного выхода.

Западные европейские державы, связанные, по требованию текущих обстоятельств, какою-то взаимною порукою, не допускают улучшения участи кубинцев. Без сомнения, несчастное вмешательство их замедлит переворот на острове.

Обо всем этом мы часто толковали с нашими амфитрионами и наезжавшими к ним гостями. Нередко, противно условиям южной жизни, мы говорили с жаром в полуденный зной, когда туземцы обыкновенно тают в молчаливом курении. Их очень поражало, что ради мечтаний о настоящей и будущей судьбе Кубы я приходил из флигеля пешком за полторы версты, и добрые хозяева предостерегали меня не слишком шутить с солнцем.

Богатство плантации меряется неграми и китайцами, обыкновенно живущими в большой вражде. Китайцы несравненно смышленее и не выносят тяжелых работ под солнцем, и потому употребляются преимущественно на заводе как прислуга для многочис-

ленных надзирателей и вообще на внутреннюю работу. За них плантеры платят монополистам по 400 пиастров и потом обязаны выдавать самим китайцам по 4 пиастра в месяц, кроме пищи и одежды. Все китайцы умеют читать и писать и хорошо помнят контракты, заключенные с ними в Китае, так что трудно лишить их следуемого или оставить в кабале дольше положительного восьмилетнего срока, очень часто они остаются в том же имении и нанимаются как собственные работники. Китайцы неохотно подчиняются людям иного племени, даже белым, и в случае дурного с ними обращения отмщают самоубийством или бегут в леса. Большая часть остается на острове по истечении срока договора и устраивает судьбу свою очень сносно. Мне случалось видеть китайцев-механиков, получавших до 50 пиастров в месяц и встречаться с эмпириком, который нажил себе излечением ран до 4 000 пиастров капитала. Вообще китайцы в рабской иерархии занимают высшее место, и отсюда недоброжелательство к ним негров.

Испанские законы о рабстве снисходительнее американских. Негр имеет право выкупиться, закон прекрасный, но редко прилагаемый к делу. Неграм дозволяется разводить собственно для себя свиней и птицу; соседние мужики скупают у них все за водку и, разумеется, у рабов денег быть не может. Только домашняя прислуга, мерами честными и бесчестными, успевает сколотить капитал и пользуется законом, да и то не вполне, опасаясь, в качестве свободных, притеснений от низких испанских чиновников.

В отношениях негров с владельцами рядом с самым рабским подобострастием часто заметна фамильярность. Преследуемый приказчиком негр старается ворваться в господский дом и, обнявши хозяина, ищет защиты от свирепого преследования. Обычай требует, чтоб удачное усилие негра вело за собою прощение. Кнут виснет у барских хором в смирении, и разъяренный приказчик идет выбить из себя гнев на спине другого негра, менее проворного.

При желании выказать достоинства наших хозяев я не могу, однако ж, назвать обращение их с рабами более, как негролюбивым. О невольниках заботятся, сколько требует хорошо понимаемый собственный интерес, но не более, и есть ясное доказательство, что негролюбие не дошло еще до человеколюбия: из 500 негров и китайцев — 22 в бегах. Ни сторожа-мужики, ни притравленные бульдоги не действительны. Кубинские леса оплетены вьющимися растениями, и беглецы скрываются успешно.

От печальной картины, представляемой на плантации физическим трудом, отрадно было перейти к замене его механическими средствами на заводе. Дешевизна механического производства сравнительно с трудом рук не замедлила выказаться кубинцам в беспрестанных поездках их в Штаты, где изобретательность главнейше сосредотачивается на избавляющих от надобности в человеке машинах. Ежегодно вывозятся из Америки и Франции целые грузы механизмов для сахарных заводов, и фабрики, воздвигнутые не щадя издержек, рядом с варварским невежеством смежного баракуна, служат утешительными вывесками свободно развивающегося человеческого ума.

В сахарном производстве главнейшие процессы суть: давка трости, очищение сока посредством легкой варки и фильтрации, превращение сока в сироп испарением, фильтрация и варка сиропа, кристаллизация, рафинировка и сушка. Для всего этого на плантации, производящей 9 000 ящиков сахару и 1 200 бочек мелюсу, употребляется механизм в 90 сил. 50 служат для давки трости, 33 — для образования безвоздушного пространства в сварочном котле, охлаждения и подъема жидкости в разные резервуары и трубы, и, наконец, семь — для центробежных аппаратов. Сверх того две паровые помпы качают воду и проводят ее на полторы версты сквозь чугунные трубы во все

здания. На заводе постоянно работают 84 человека; за механизмом преимущественно ухаживают китайцы. Присмотр над заводом и полями требует 23 человека: major-domo, его два помощника, majoral, главный сахаровар, получающий до 4 000 пиастров в год и почти везде француз, его помощник, механик с помощником, доктор, фельдшер, кузнец, плотник с помощником и десять сторожей на белых поселян. К исчисленным постройкам нужно прибавить здание для выделки газа и магазины для одежды и пищи невольников.

Понятно, что кубинское хозяйство, требующее различных механических и гидростатических приспособлений, должно стоить весьма дорого. Описанная плантация ценится в 3 000 000 франков и в год производит на 650 000. Весь капитал этот поглощается содержанием механизмов, негров, скотины, застраховкою одушевленного и неодушевленного имущества и жидовскими процентами кредиторов. Имения без долгу приносят большую выгоду. В наше время цена на сахар так возросла по неурожаю в смежной Луизиане, что хозяева наши надеялись поправиться. Помоги им Бог.

Плантация заняла нас более недели. К хозяевам наехало несколько родных с невестами, и помня, что в таких случаях лишние свидетели неприятны, мы простились с ними. Несмотря на настойчивые приглашения провести еще несколько дней, рано утром мы пустились в путь целою кавалькадою.

При наших свежих утренних костюмах поезд, галопируя между тростью и кустарниками, представлял довольно резкую картину. Несколько труб заводов прочернели мимо, до наступления жары, и мы скоро въехали в большой лес, лежавший на пути. Тишина поразила нас. Пышная природа развивалась в совершенном безмолвии.

Скоро мы выехали на обширный двор Санта-Терезы, сладкого владения графа Фернандина, с надеждою отдохнуть и расположиться на ночь.

Англичанин-приказчик принял нас очень ласково, предложил отдохнуть и обедать, но объявил, что у него живут две счастливые четы из Штатов, и нам нужно искать иного ночлега. Без всякой жалости приказчик потащил нас на завод, в госпиталь по всему хозяйству, высказывая очень подробно все, что делал и даже более, нежели делал, вероятно в предположении, что мы расхвалим его графу по возвращении. Замечая, что мы ничему не удивлялись после виденного у соседей, John Bill похвастал, что все негры у него здоровы, и утверждал, что в оставленном нами имении все делается лишь для эффекта, и то нехорошо, и другое неладно; точь-в-точь как мы, помещики, вываживая гостя по полям до упаду, мешаем соседа с грязью по поводу хорошо взошедшей ржи или полугнилого мельничного става. По словам приказчика, у соседей все было в беспорядке, а у самого в январе не начинали еще давить тростник, завод стоял за повреждениями в механизме. Немудрено, что негры были здоровы, вовсе не работая, и починка завода, в то время как ему надлежало действовать, явно доказывала, что вместо хозяина был равнодушный наемщик. Англичанин доставил нам, однако ж, возможный комфорт.

Под жгучим солнцем тропиков эль и портвейн явились свидетелями его происхождения и к ним присоединились местные особенности: босые негритянки отмахивали за обедом мух от барских ртов. Впрочем русского, при огромном протяжении его отечества, трудно поразить новизною; мне случалось обедать с такою же приправою в мухообильной Херсонской губернии. После обеда пришлось испытать истинное наслаждение в вязанных койках, развешенных на галерее.

Охладившись и отдохнувши, мы продолжали наше караванное странствие поздно вечером, при яркой луне.

Нам случилось видеть три хозяйства, основанные на совершенно разных началах. Первое, бесспорно, лучшее на острове: в хозяевах

мы нашли образованных креолов, понимающих все притеснения испанской власти, поставленных ею в самое невыгодное положение, и несмотря на то все-таки допускающих в неграх искру человечества. На Санта-Тереза заметно отсутствие хозяина и присутствие управителя с филантропическими английскими понятиями, по которым он поступает в ущерб не себе, а другому, как вообще делают его соотечественники. В остальных огромнейших поместьях на острове княжит чисто испанский дух. Для него Куба — золотой рудник единственная его идея — скорее разбогатеть; он трудится, смотря на все с точки зрения исключительной финансовой, и вовсе не заботится о неграх, имея легкое средство добывать их; короче, это неумолимая жесткая цифра. Трех образчиков сельского кубинского хозяйства было достаточно, и мы поторопились возвратиться в Гавану через Карденас и Матанзас, вдоль северного берега острова.

Карденас — городок, только что возникший из болота и почти наполненный американцами.

Карденас, кроме патоки, торгует шерстью — так называют американцы негропромышленность, по качеству волос несчастных невольников.

Пароход американской постройки вывез нас из патоки и через четыре часа пристал в Матанзасе, лучшем городе на острове после Гаваны; это не значит, чтоб был хорош, а еще менее опрятен.

Из Мантанзаса мы переехали прямо в Гавану по железной дороге. В наше отсутствие пришло известие о радостном для Испании событии, и город праздновал разрешение королевы могучим принцем астурийским, так гласили печатные объявления. Креолы принимали в празднестве живое участие, чая лучшей доли в руках будущего монарха. Разделяя эти надежды, мы на другой день пустились в удобные Штаты.

ГЛАВА VII

ЛУИЗИАНА И МИССИСИПИ

Возвращение в Штаты. Устья Миссисипи. Распределение торговли в Новом Орлеане. Плавучие цирки и театры. Американизм, как сила. Креолы. Русский надворный советник; он же американский полковник и доктор. Прелести русского чина. Симпатия южных Штатов к России, потому что Николай Павлович флибустьер. Пароходы. Гонка пароходов. Притоки Миссисипи. Огайо.

В Гаване сходятся пароходы из Нью-Йорка в Новый Орлеан и из Нью-Йорка в Калифорнию через Панамский перешеек. Пассажиры последней, возвращавшиеся в южные штаты, пересели на наш пароход, старушку «Филадельфию», чопорную и аккуратную, благодаря попечительности молодого командира, некогда служившего в военном флоте, но все-таки дряхлую. Да и в молодости «Филадельфия» никогда не была ни красавицей, ни бойкою. Вообще морские американские пароходы, исключая назначенных для сообщения с Европою, никуда не годны. Некоторые, новейшей постройки, быстры в ходу, но совершенно не соответствуют нуждам образованных пассажиров, и капитан, отводя место для отдохновения, расчертил палубу мелом на прямоугольники. Между Нью-Йорком и Калифорнией до сих пор была одна только компания, которая делала, что хотела с жадными до Калифорнии соотечественниками. Барыши ее огромны; иначе она не решилась бы платить большую дань человеку, пытавшемуся нарушить ее монополию. В Нью-Йорке есть некто Вандербильдт, или как его величают, коммодор Вандербильдт, страшный богач, какой-то Монте-Кристо, большой охотник до морских предприятий всякого рода. Имя это, конечно, было бы известно в Петербурге, если бы петербуржцы интересовались чем-либо морским. Шесть лет назад коммодор приходил в Кронштадт на большой паровой яхте «North Star», стоившей ему 600 рублей в сутки. Такая дорогая прихоть удивляла европейцев и, помню, в Соутгамптоне яхта была полна посетителями во всякое время. Вандербильдт — самое капризное создание; подчас мстительный, как корсиканец, подчас добродушный, то в высшей степени эгоист, то во вред себе жертвует для пользы других. Имея средства, он просто издевается над людскими добродетелями и пороками по произволу и часто поражает публику неожиданностью. Слыша повсюду жалобы на панамскую кампанию, он пустил на ту же линию два-три парохода с значительною сбавкою цены за вояж. Компания ужаснулась, начала умолять коммодора и, наконец, отделалась от него обязательством платить ежемесячно 60 000 рублей серебром отступных. Коммодор не выдержал, Монте-Кристо-то он американский.

Первое знакомство с калифорнийцами не располагает в их пользу. При дальнейшем сближении нельзя, однако ж, не открыть ис-

тинного золота в этих железных натурах. Из пролетария, всю жизнь стонавшего под ярмом тяжелого физического труда, невозможно превратиться в дэнди; но та же причина вечного труженичества делает человека самостоятельным, сильным духом и развивает способности. Удача не балует его, как счастливцев, наживающих достояние случайностями, и, сделавшись богачом, он не перестает уважать труд в других. Добросовестный работник, разбогатевши, может быть, не станет comme il faut, но останется добросовестным человеком, и предприимчивость, вызываемая обстоятельствами, с которыми связан процесс обогащения, особенно калифорнийскими, наводит на человека оттенок самоуверенности, невольно внушающий уважение. В противоположность этим питомцам бед и лишений, на палубе «Филадельфии», впереди, неприкрытые от влияния непогоды, возвращались несчастные баловни лени и неги, пытавшиеся отыскать в земле чудес новые средства удовлетворять своим наклонностям.

Калифорния вообще большой уравнитель, и возвращающийся калифорниец ценится по поясу, который не покидает до прибытия в нью-йоркский монетный двор; он носит его под грубой шерстяною рубашкою и хранит в нем весь добытый песок. В этом случае материальная оценка человека совершенно соответствует его нравственному достоинству; трудолюбие, с весьма редкими исключениями, находит на новом Эльдорадо вознаграждение. Но золото, если и было основанием значения Калифорнии, далеко не единственный залог ее блестящей будущности. Всегда ровная температура, прекрасные пастбища и девственная почва благоприятны для всех родов хозяйства, и теперь, когда население слишком уже велико для исключительной работы на промыслах, быстро развиваются средства края в других отношениях. Сан-Франциско стал обширным городом с возможными средствами жизни, школами, театрами, прекрасной полицией и всеми условиями образованного населения. По странному капризу судьбы первый житель этого благодатного края, так плохо оцененного тесными соображениями наших монополистов, Суттер, теперь в бедности.

В пестром обществе северных и южных жителей штатов, с привычками, уже известными читателю, перемешанном неизменно бородатыми сынами Калифорнии, где бриться некогда, плыли мы благополучно по американскому Средиземному морю. Течение в Мексиканском заливе повинуется дующим ветрам и в наш переход оказалось восточным, вследствие отхода воды, нагнанной предшествовавшими западными ветрами. Хотя оно было довольно сильно, но все не могло вынести нас из предела влияния могучего Миссисипи, и на четвертый день утром мы убедились в близости реки по чрезвычайно желтому цвету воды. По счислению оставалось до устья около двадцати миль, и мы не видели еще ни малейшей приметы берега. Будто соперничая с неизмеримыми водами океана, гигантская река сливается с ним незаметно, без обыкновенных признаков, изобличающих речные устья. Долго идешь по желтым струям ее в безбрежном море, входишь в пресную воду, чувствуешь Миссисипи, но все не видишь ее. Наконец, в десяти милях поднимается белым столбом маяк, и уже в шести или восьми, низменными буграми, начинают всплывать над горизонтом шалости чудодея; иначе нельзя назвать болотистые острова, выносимые рекою и прихотливо группирующиеся в северной части Мексиканского залива.

Устья Миссисипи беспрестанно изменяются по причинам, которые каждый объясняет по-своему, но, вероятно, все невпопад; иначе, узнавши причину, конечно, нашли бы средства отвратить последствия. Несомненно только то, что они постепенно выдвигаются далее и далее в море, и теперь так много выступили от материка, что образуют нечто, весьма схожее с гусиною лапою. Стебель вытянулся в залив на 475 верст и ветви расходятся по всем румбам компаса от юго-запада, через юг, до севе-

ро-востока. В настоящее время юго-западное устье самое глубокое, и все большие суда им проходят. Именно потому, что все ходят им, капитан наш рассчитал основательно, что лучший проход может быть совершенно загроможден многочисленными охотниками. Руководствуясь дымом буксирных пароходов, указывавших нам самый глубокий проход, и маяком у прежнего южного устья, мы приблизились к восточному, пройдя предварительно сквозь бурун, сильно меня напугавший; но капитан и не поморщился — это просто был спор течений речного и морского, шедшего, как я прежде сказал, от востока.

Лоцманское селение в устьях — единственный предмет, нарушающий их монотонность. Лоцмана составляют одно общество и управляются своими законами, утвержденными правительством штата. Они обязаны неусыпно сторожить за всеми переменами фарватеров и означать их знаками; работа нелегкая, если принять в расчет беспрестанные изменения реки. Двадцать лет назад, например, южное устье было самое глубокое, а теперь оно занесено совершенно, так что обозначающий маяк более не освещается. Мы направились к бую перед входом в Passe a Loutre и прошли баром между шестами, имея временами у кожухов не более восьми футов глубины.

В 15-ти верстах от входа мы вошли в главное русло и продолжали плыть еще около 40 верст, видя по обе стороны море между двумя естественными дамбами. Кое-где мелькала электрическая проволока; по дряблой, наводненной местности могла пробираться только мысль. В общем русле картина несколько оживилась соединившимися с нами кораблями на буксире пароходов и встречными, спешившими к морю. В 50-ти верстах от входа первые искусственные препятствия к плаванию рекою, форты Джаксон и Св. Филиппа; ниже невозможно найти для подобных построек достаточно прочного основания. Здесь материк по обе стороны реки начал расширяться и у карантина, в семи верстах выше, мы уже не видели более моря. Прихоти Миссисипи, как я прежде сказал, не исследованы. Искусство пыталось обуздать их, но до сих пор безуспешно. Пробовали затыкать несколько устьев и чистить остальные, но в первом случае только наводняли местность выше, а во втором наносы вновь образовывались так скоро, что труд оказывался напрасен. При большой торговле Нового Орлеана, может быть, полезно было бы ввести на Миссисипи простое средство, некогда употреблявшееся на Дунае во времена турецкого владычества. Всякое судно, выходившее из реки, было обязано тащить за собою железные грабли, и как судов проходило множество, то песок на баре не успевал твердо оседать. Беспрестанное движение осаждающихся веществ много способствует поддержке фарватеров, и если я не ошибаюсь, это подтверждается утешительньм образом в устьях Невы с тех пор, как в течение навигации ежедневно буравят их несколько винтовых пароходов и лодок. Из всех опытов оградиться от гибельных фантазий Миссисипи и улучшить реку для судоходства, удались только искусственные насыпи и прорезы.

Мы провели в реке ночь и не ранее восьми часов утра подошли к открытой ровной местности, в 12-ти верстах от Нового Орлеана, окраенной с юга рядом дубов. Спутники не замедлили указать нам место и стали рассказывать, как в 1814 году Джаксон побил здесь англичан, шедших на Новый Орлеан под начальством Пакингама. Волонтеры — стрелки из Миссисипи и Кентукки, — скрывшись за весьма временными укреплениями из тюков хлопчатой бумаги, одним ружейным огнем отразили приступ регулярных английских войск, с страшною для них потерею. После неудачи, за которую английский главнокомандующий заплатил жизнью, остаток войск его возвратился на суда. Но зачем англичане, при больших средствах перевозки и многочисленном флоте, силились взять позицию с Фронта, когда озерами Поншартрень или Борнь могли подойти в тыл города гораздо ближе, и, смешав-

ши неприятеля фальшивыми атаками, взять Новый Орлеан почти без выстрела. Выбор наитруднейшего средства к достижению цели не говорит в пользу военных способностей английского начальника, и если бы не существовал дом, в котором Пакингам искупил безрассудство кончиною храбрых, память о нем, вероятно, не сохранилась бы. В девяти верстах показался шпиц ново-орлеанского собора и деятельная картина труда по обеим берегам стала готовить нас к знакомству с обширным торговым местом. У плантаций неизменно дымились пильни для изготовления топлива и толпились барки, ждавшие разрушения на тот же предмет. Эти барки спускаются с углем из Огайо, и, достигнув предела плавания, подобно нашим тихвинкам, истребляются на дрова.

Вряд ли кроме Нового Орлеана есть город, который выказывал бы так внезапно всю свою торговую силу, массу населенности и архитектурное величие. Река вдается против него правильным серпом, и, минуя одну из оконечностей, зритель окидывает одним взглядом громадную картину деятельности. Бесконечные ряды кораблей, связанных между собою, тянутся на расстоянии многих верст. Прямо против города, грозными замками, стоят высокие белые речные пароходы, употребляемые на самое мирное значение. Поперек реки снуют паровые плоты; с пронзительным свистом и песнями черных экипажей пароходы, нагруженные тюками бумаги под самое небо, несутся со всею быстротою течения и силою пара вглубь сегмента, где обширная деревянная набережная готова принять грузы их, и между этими гигантами ловко изворачиваются тысячи неуклюжих барж. Против города, у мануфактурного предместья Алжир, плавучие доки, церкви, театры, цирки и пр. Набережная — продолжение тех же насыпей, но для удобства торговли устланная широким помостом, пестреет разноцветными флагами и кипит работою. Эта сцена полезной суеты совершенно приковала меня, и незаметно привалили мы к деревянной пристани в северном конце города, устроенной с отверстием у самого корня. Отсюда в малую воду спускают сходни на пристающие суда; с конца пристани взобраться было бы тогда невозможно, так как разница между полною и низкою водою 35 фут. Проворный таможенный скоро отпустил наши грехи и через несколько минут, вспомнив родной Петербург на мостовой, выковыренной чудовищной оспой по той же причине, мы были уже в гостинице Св. Людовика, в центре французской части города.

Как кого, а меня всегда тянет к воде и набережным. Пускай памятники выказывают благодарность к минувшему и свидетельствуют о склонности народа к художествам, пусть великолепные чертоги служат приютом нищете и жилости, дивные храмы пускай высят благоговейно свои позлащенные вершины — все это поразительно, отрадно, но все же это есть только выражение прошедшего и настоящего; залог будущего на пристанях, да и на них же источник поддержания существующего.

Ново-орлеанская набережная, может быть более всякой другой, внушает невольное уважение к торговле. По местным условиям вы окидываете ее одним взглядом; вся масса продуктов штатов, смежных с Миссисипи, в пределах вашего зрения. Корабли, готовые развести эти богатства во все концы мира, тянутся бесконечным строем от обоих краев города, а в средине, против французской части, оставлен простор для привоза товаров. Климат не требует никаких предосторожностей. Все складывается на набережную и с нее развозится по кораблям. Этот совершенно открытый способ придает пристани особенно занимательный вид. Пространство в сто сажень шириною и в 1 1/2 версты длиною, возвышенное против непризнанных действий реки, покрыто гладкими досками и на него валят весь привозимый сахар, хлопчатую бумагу, мясо, спирт и т. п.

Берега Миссисипи, по роду произведений, можно разделить на три главные части. Верст на 300 от Нового Орлеана тянутся сахарные

плантации; далее, до Мемфиса, по обе стороны, широкими полосами идет край хлопчатой бумаги, и наконец на севере, между Миссури, Миссисипи и Огайо, стелятся поля с зерновым богатством и травяные степи prairies, где приготовляется соленое мясо разных родов, преимущественно свинина. Соответственно этим произведениям, городская набережная разделена для порядка на три части: у самой южной складывается сахар, на средней — бумага, а на северной — спирт и мясо. Все это сплавляется по реке на пароходах.

Спускаясь по Миссисипи, лоцман, вознесенный на десять сажень над горизонтом, зорко смотрит на оба берега и, завидя значок, тотчас направляет к нему свой громадный плавучий вагон, метко втыкает в грязный берег у самого значка и помощью сходни принимает груз, сколько бы его не случилось: две-три бочки, два-три тюка, одного пассажира, лошака, скованного негра — все равно. Клерк записывает в общий коносамент принятое количество и марку маклера на бочке или тюке, или имя хозяина негра. Сходня убирается, колеса погребли назад, и пароход снова понесся по течению до нового значка. Обобравши таким образом оба берега, паровой фургон безмолвно подкрадывается к ново-орлеанской набережной. Палуба вровень с водою и на крыльях взгромождены тюки бумаги до такой высоты, что видна только будка лоцмана да две чудовищные трубы.

Широкая сходня сброшена с гребня хлопчатобумажного хребта; другая взята на набережную с палубы и сотни негров, с дикими криками, бросаются на потеху. Агенты маклеров несутся вверх к клерку, мигом пробегают коносамент и становятся направлять товары к победоносному значку, водруженному на пристани с теми же марками, что на адресованных к маклеру товарах.

К общему взгляду на реку у Нового Орлеана прибавлю несколько слов о речных учреждениях. Сообщения с Алжиром производятся паровыми паромами, с которыми мы познакомились в Нью-Йорке; но, переезжая реку, нельзя не остановиться на особенной черте жизни Миссисипи. На желтом лоне его видны неуклюжие бараки с надписями: цирк, театр. Это подвижные увеселительные здания проносятся мимо глуши по берегам реки, останавливаются у редких населенных мест и тешат жителей представлениями; вверх они буксируются пароходами, а вниз спускаются по течению. Жизнь актеров не совсем завидна, завися от прихотей разгульного населения в пунктах, где сила закона не успела еще утвердиться.

Алжир — предместье чисто промышленное. Здесь несколько заводов для починки пароходов и плавучие доки для кораблей. Судостроения в Новом Орлеане вовсе нет по дороговизне работы; летом все бежит от желтой горячки и суда пользуются доками для неотлагаемых лишь исправлений. При мне поднимали один корабль, и я имел случай убедиться в значительности речного осадка. Весь процесс продолжался не более трех часов, а на дне дока находилось четыре дюйма песку. К Алжиру же, большею частью, пристают барки, спускающиеся из Огайо с углем. Их разбирают на дрова, и мне случалось видеть на них составленные весла, введенные на наших прежних гребных лодках; но здесь такие весла имеют смысл. Вне устья Огайо, по обоим берегам Миссисипи, вовсе нет удобного для весел дерева и барочники запасаются лопастями по берегам Огайо, чтоб не тащить с собою целого скарба громоздких весел; на Огайо же, как и в нашем основном отечестве, целые весла не дороже составных. Эти барочники имеют свои легенды и сказки, которыми пугают легковерных и бессмысленных, и вообще народ смышленый и бойкий. Большей частью они — отличные стрелки, и в Луизиане рассчитывают, что в случае нападения неприятеля можно собрать для защиты Нового Орлеана в пять—шесть дней все плавучее население Миссисипи на тысяче пароходах, по реке плавающих. Счастливый край, где сила ограждающая не только не в

ущерб производительности, но идет с нею рука об руку и растет с ее развитием.

Новый Орлеан в общественном отношении разделяется на три части: коренные — испанскую и французскую, и навязавшуюся американскую. Испанцы уже отпеты и говорить о них нечего; но где, может быть, способность американцев стирать следы всего туземного не высказывается поразительнее, как в этом городе, напоминающем именем, обычаями и нравами свое французское происхождение. Вряд ли надолго останутся эти признаки национальности. Янки, проникая во все щели, как червь, точат оболочку изящества и вместо нее окручивают потомков Ибервиля и Бельвиля грубою корою англо-саксонской муштровки. Французский элемент, более или менее проникающий всюду в Европе, здесь отступает перед американским и исчезает.

Французская, или, как здесь называют, креольская часть города, по центральному положению своему главная, теперь уже несравненно менее северной, американской части, и хотя оградилась от нее широким бульваром Canal street, американизм скоро перескакнет этот легкий рубикон и французские воспоминания сохранятся лишь в памятниках городской ратуши.

Прежнее общество, видя тщетность сопротивления, само ищет обновления, и креолки, по симпатии женственности к богатырству, предпочтительно бросаются в объятия американцев, вытесняющих их современников, неспособных на борьбу.

Новый Орлеан несносен летом и осенью, и сезон в городе продолжается от декабря до марта. На это время съезжаются северные жители обманывать южных в сделках, и плантаторы, с целью быть обманутыми и проиграть все проданное, точно так же, как у нас в Одессе степняки и подольские помещики, только вместо четвертей пшеницы ставят на карту тюки хлопчатой бумаги. Хозяева трактиров наперерыв стараются привлечь к себе путешественников, и как с ними всегда есть путешественницы, подвинувшиеся более или менее но пути жизни, то хитрые трактирщики действуют на последних. В каждой гостинице поочередно бывают балы с роскошными ужинами даром. Разумеется, предполагают, что кавалеры будут угощать вином, которое продается, а не дается, и все издержки окупятся погребом — эти чистые спекуляции называются прозаическим именем скачков (Hops).

В Новом Орлеане сохранился еще здравый французский обычай, и в воскресенье можно видеть тысячи по дороге к озеру Поншартрень или по прекрасному ракушечному шоссе, ведущему в смежный лес.

Лес в тылу Нового Орлеана и по берегу озера, конечно, доставляет приятную прогулку, но, вероятно, если б он не перенимал совершенно морской ветер, то в городе летом не было бы желтой горячки. Мне случилось говорить об этом предмете с мэром и городовым инженером. С замечанием моим, что по обе стороны реки следовало бы прорубить широкие просеки к Мексиканскому заливу, с гигиеническою целью, они согласились, но уверяли, будто население не имеет орудий для одоления живого дуба. Экая благодать, лес, которого нельзя рубить; кабы нам дала такой наша северная природа. Впрочем, у нас, если б не срубили, так пожгли бы, что и новоорлеанцам следует сделать для здоровья жителей.

Время наше в Новом Орлеане шло приятно между скачками, прогулками на набережную, театрами и частными беседами. Погода стояла дивная и не мешала вполне наслаждаться воздухом, была и умственная пища, и ничто не торопило на север. Однажды утром подают карточку: Надворный Советник доктор Котман. Велел просить и увидел старого петербургского знакомого, одного из американских докторов-промышленников, приехавших к нам во время войны высказывать симпатию Штатов к России. Кстати заметить, она не помогла нам побить союзников. Доктор очень обрадовался встрече и тотчас же сказал, что счел долгом явиться с русскою чиновническою

карточкою к представителю России. Напрасно старался я убедить его, что я такой не представитель моего края, как он надворный его советник. Котман настаивал, что получил чин, и гордился им. «Однако ж, что Вам в этом чине в Луизиане? — О, здесь я просто Котман, или доктор Котман, а подчас полковник Котман (он когда-то служил в милиции). Право только и есть две великие нации в мире, Россия да Штаты. — Обе нации действительно велики, — отвечал я, — и между ними много сходства: у вас все полковники, а у нас все какие-нибудь советники, вы — и то, и другое». Доктор удивился, что я так легко смотрю на чины. Спросивши причину удивления, я ожидал услышать аргументы человека, заразившегося чиноманиею. Выслушав ответ, я в свою очередь удивился: приятель смотрел на чины со стороны чисто практической. По его словам, в Америке обычай звать по чинам удобен — very handy. Встречаешь человека, с которым когда-то слепился лбами при скачке в вагон; имени не знаешь, а надо приветствовать как старого знакомого. А, полковник. «Хорошо, а у нас к чему ведут чины? — У вас это капитал. — Как капитал? В России чин ведет к спокойствию — very comfortable». С чином меня везде принимали, и в Москве, когда случилось выпить лишнее и иметь затруднение с полицией, тотчас выпустили. Хитрец подметил на границе, в чем дело, и выхлопотал себе чин. Не менее того это сходство двух величайших стран мира меня заняло; в одной чин удобен, в другой покоен, но в Америке он годен только при встрече, нечто вроде клички, а у нас и при встрече и при выпроводах, если случится их удостоиться, — легкий патент на порядочность.

Жители Миссисипи употребляют пароходы как экипажи. Бесчисленное число их носится мимо, а стоит только знаком сказать: «подавай», огромная паровая колесница тотчас причалит к самому крыльцу. После семи — восьми часов плавания, сопровождавшихся ощущениями вроде ожиданий ежеминутно взлететь на воздух, нас выбросили на насыпь, против светившегося огонька. Негры надворного советника взвалили на плечи наши пожитки, и через несколько минут мы были в небольшой уютной хижине доктора, против города Дональдсонвиля, что в приходе Вознесения. Луизиана разделена на приходы.

Хозяин наш, известный многим петербургским жителям, женившись на богатой наследнице, истратил все ее достояние к превратил огромную доходную плантацию в скромный прибрежный домик с двумя-тремя десятинами земли и десятком черной прислуги. Во время оно — т. е. по американскому быстрому счислению, два—три года назад, он жил барином в большом доме, держал бездну лошадей, давал пиры и воспитывал детей в Париже. К счастью последних, они успели кончить воспитание до обвала, как здесь называют внезапный прыжок с высшей ступени материального благополучия в нищету. От природы беспечный и веселонравный, доктор нисколько не смутился переменою и при помощи умной, образованной супруги зажил на берегу реки в чистенькой хате припеваючи, промышляя кое-какими медицинскими сведениями в околотке и по-прежнему входя во все общественные сделки.

Видя его попеременно в лучшем кругу и в толпе буйных зевак, подумаешь, что он действительно человек необыкновенный; а он просто смел и под час нагл, что называется un homme qui a du toupete. Знавшие Котмана в Петербурге, особенно помнящие, как однажды, воспользовавшись преданиями, он перецеловал многих дам по случаю святой недели, вероятно, со мною согласятся. Но самоуверенность доктора удвоилась с тех пор, как он стал чиновником, и несмотря на бедность, он за панибрата со всеми окружающими его богачами и обломками старых французских фамилий. Мы много ездили с ним по соседям, сахарным крезам, угощавшим нас лукулловскими обедами и всеми прелестями деревенской жизни при огромных средствах и легком сообщении с обильным городом.

Во всю жизнь он добился только чина полковника милиции, до чего всякий доходит без усилий, и с ним приехал в Россию, где прожил остатки достояния. Я особенно полюбил моего хозяина не за то, что он распинался доставлять нам возможное развлечение на берегу, но за то, что оставил в России деньги, тогда как все соотечественники его стараются нас грабить и высасывать, елико возможно.

Русские еще не совсем обыкновенные гости в Штатах, особенно в южных, и соседи нашего хозяина не замедлили съехаться посмотреть на заморских пришельцев, о которых большая часть впервые узнала во время Крымской кампании. Не было конца удивлению нашему сопротивлению; опять повторились везде слышанные нами замечания, что неблагородно пятерым идти на одного; снова к выражениям симпатии примешивались вспышки национального таланта — хвастовства; но всего более удивляли нас похвалы действиям нашего правительства и уважение к памяти покойного государя, тогда как по словам самих плантеров, ни действия эти, ни слава правителя до них не доходили до последней борьбы с союзниками. Зная, что американцы не любят льстить и никого не хвалят даром, я прицепился к почтенному экс-сенатору и старался узнать истинную причину симпатии населения Штатов к России. Натуральная ненависть, или вернее, недоверие к англичанам, конечно, много способствовали распространению доброжелательства к противникам их; но главным поводом, на юге по крайней мере, оказалось флибустьерская страсть. Все важные факты прошлого царствования здесь тонут перед значительностью последнего эпизода. Будучи совершенно чужды административным мерам покойного государя, едва имея кое-какое понятие о его политической деятельности и отношениях к прочим европейским государствам, мои собеседники знали наизусть сеймуровские конфиденции и восхищались ими. Совпадая в этом случае с их взглядами, мы имели, по мнению их, полное право распространяться насчет гнилого соседа и незачем было кому-либо мешаться в дело. «У нас тоже есть больной, — говорили они, — которому нужно придать силы введением нового жизненного элемента. Поверьте, эта заботливость об умирающем, так откровенно выраженная самим Государем, перейдет в дальнейшие веки и послужит базисом новой политики, естественной, основанной на здравом смысле и природе человека. Народы стареют или чахнут преждевременно, точно так же, как люди, и другие племена, более южные, деятельные и могучие, заступают их места. Так скоро будет с нашим больным, Мексикою, и рано или поздно пророчество вашего государя исполнятся в отношении к Турции. Право, отделываться от больных государств дело великое; это значит помогать провидению. Пожалуй, теперь оно кажется странным, но время определяет предусмотрительность великого царя». Я отвечал, что действительно больного, да еще чумного, лучше отдалить нежели хлопотать о его выздоровлении во вред себе, и что обстоятельства, кажется, уже начали доказывать справедливость мнения покойного государя о Турции. Все со мною соглашались и особенно налегали на сходство отношений Штатов к Мексике с нашими к Турции. Загадка разрешилась: американец без выгоды не допустит к себе даже чувства, как бы оно дешево ни стоило.

О неграх на юге я говорил уже прежде. Род жизни их здесь тот же, что в атлантических штатах, но довольства более. Кроме того, что река доставляет им удобное средство сбывать в Новый Орлеан или близлежащие города плоды маленького частного хозяйства, струя ее наносит на берега целые плоты сорванных с корня деревьев. Негры проворно вытаскивают их на сушу и рубят на дрова для проходящих бесчисленных пароходов. Такой Божий дар помещики считают непристойным присваивать.

Сами плантации не стоят кубинских ни размерами, ни устройством. Здесь выделыва-

ется сахар только низшего достоинства, и потому нет машин, которых требует более совершенная выделка.

Земледельческие орудия здесь несравненно лучше, нежели на Кубе и доставляются, конечно, с севера.

А у нас, от зари до зари, измельченное поборами население ковыряет самую только корочку усталой земли доморощенною неисправною сохою, похожею на заржавленный гвоздь, с помощью чахлого животного, в котором только ученый может открыть сходство с борзыми скакунами, и хотят еще урожаев, хотят, чтоб работа выкупалась. Все домашние надобности наполняются своими средствами, как у нас, но зато какая разница в этих средствах. Нет пара, как на севере, потому что есть рабство, но все же есть машины, приспособленные к облегчению труда и помогающе совершенству выделки. Все пристойно и руки не есть единственное основание работы. До всеобщего употребления пара нам еще далеко, но на первый раз не худо было бы присмотреться к южным хозяйствам в Америке. Это будет, думаю, полезнее, нежели учиться хозяйничать в Саксонии, где один из приятелей моих черпал агрономическую мудрость и дивился цветущему состоянию этого милого уголка средней Европы. Нет в том спору, что он мил и цветущ, да у моего приятеля имение со всю Саксонию и какая же может быть здесь параллель. Американские хозяйства подходят к нам ближе. Я вовсе не хочу защищать больших хозяйств; напротив, убежден, что раздробление владений есть вернейший залог народного благополучия; но коли так есть, так нужно по морю плавать иначе, нежели в пруду.

Из Нового Орлеана мы выехали на север. В марте город становится уже неприятен и скоро, переносясь из климата в климат, мы могли легко сохранить в течение года почти ту же температуру. Разумеется, из всех путей предпочел водный, как потому что он представлял более разнообразия и занимательности, — так и по заманчивому состоянию речных пароходов.

На Миссисипи считают более 1 200 пароходов, один другого лучше, и все это настроилось с 1816 года, когда первый пароход пришел из Нового Орлеана в Луизвиль в 20 с лишком дней, теперь это расстояние проходят в 5,5 или 6 дней со всеми удобствами и развлечениями береговой жизни, считая остановки в возникших городах и селениях. В 40 с небольшим лет томительные, едва двигавшиеся барки, заменены дивными пароходами, река оживилась торговле, берега обросли селениями и штаты севера и юга, дотоле друг другу неизвестные, связались тесно взаимными надобностями и ближайшим знакомством. Какой чудодей сотворил все эти чудеса в период обыкновенной человеческой жизни. Какими волшебными средствами достигли так скоро столь поразительных результатов. Ответ прост — на Миссисипи, да нигде вообще в Америке, монополия не была допущена ни на минуту.

Может быть, в долго дремавшем крае, как наш православный, некоторая помощь правительства необходима, даже и не в новых предприятиях; но в настоящий век нельзя же продолжать эту помощь на тот же срок, что в блаженное время непроезжаемых дорог и редко исходивших почт. Пар переносит нас с одного конца мира в другой чуть-чуть не в несколько дней; электричество опоясывает вселенную по произволу человека в тот же данный момент, тою же мыслью, а мы все держимся 14-летних сроков привилегий, да еще продолжаем их в бесконечность. Добро бы, например, давали привилегии летать по воздуху или на приобретение средства жить в огне, а то дозволяют торговать исключительно пушными товарами компании, которая, несмотря на свои преимущества, в 50 лет завела только два-три парохода, не создала нам ни морского населения, ни купеческого флота.

Какая же выгода в подобной компании на исключительных привилегиях. Выгода для нее понятна, а для нас ровно никакой; разве воз-

можность чваниться бобрами и соболями, которые, без посредничества компании, мог бы иметь каждый. Но, кажется, наступает конец всем компаниям-властительницам, и если похоронили Ост-Индскую и Гудсонбейскую, которые были когда-то полезны и принесли своему краю немало славы, то нечего задумываться о нашей микроскопической. Личные влияния не устоят против общих нужд. На Амур стекаются сметливые и предприимчивые колонисты; с ними спускается по течению мысль; басня о собаке, лежащей на стоге сена, всем придет на память, и слово не замедлит приобрести силу. Судьба нашей американской компании не подлежит сомнению. Вместе с монополиями политико-коммерческими, нужно надеяться, канут в лету и чисто коммерческие. Возьмите непривилегированный пароход из Миссисипи и привилегированный петербуржско-петергофский, например. Строки эти, вероятно, пропустят вовсе без внимания. Может быть, немногие акционерные личности оскорбятся ими на набережной Васильевского острова, а их притеснения чувствительны для всех нас, для народа, для общества. Пора же и акционерам отказаться от произвола. Попробуем сравнить учреждения. Грубость привилегированной компании заменяется вежливостью на Миссисипи, где о деликатности вовсе не хлопочут. У нас строгие, стеснительные и обидные даже общие правила для отстранения злоупотреблений, там наблюдение за случайностями, которые могут повести к злоупотреблениям; у нас оскорбление всех ради немногих плутов, в Америке зоркий надзор за плутами; у нас — какая-то диктаторская власть над пассажирами, невыкупаемая заботливостью о них — военное командование без ответственности, там — удовлетворение всем нуждам пассажиров с властью на известные только случаи, никогда незаметною; у нас цена — maximum, на Миссисипи — minimum; у нас — время, в Америке — minimum. По Миссисипи путешествуют миллионы, потому что переход из дома на пароход неощутителен, и в случае нужды пароходы могут привезти за пять дней 50 000 ратников к угрожаемому пункту. Вот монополия с ее неумолимыми когтями и непробудимым сном, а вот бойкое соперничество с ее человечным направлением и всеоживляющею энергией.

Пароходы, плавающие между Новым Орлеаном и Луизвилем, на Огайо, или между Новым Орлеаном и Сент-Луи, обыкновенно до 300 фут длиною, в 40 шириною и сидят в воде от 5 до 9 фут, судя по количеству груза. По устройству двигателей пароходы двух родов — с боковыми колесами и с колесами сзади. Последние гораздо менее быстры, и к ним прибегли потому только, что при подобном устройстве можно без перегрузки переходить в верхнюю часть Огайо сквозь Луизвильский канал, обходящий пороги перед городом. Вдобавок в тесных протоках Миссисипи, установленных богатыми плантациями, пароход с задними колесами, будучи несравненно уже, удобно протирается между нависшими деревьями или бежит по узкому фарватеру, продороженному струею. Пароход с боковыми колесами в таких обстоятельствах, не садясь на мель кузовом, беспрестанно бил бы колесами о поднятое у берегов дно протока.

Весь паровой флот Миссисипи и ее притоков строится по берегам Огайо из белого дуба. Постройка чрезвычайно легка и непрочна. Обыкновенно пароходы совершенно окупаются в два-три года и в остальные дни своего существования приносят чистый огромный барыш. Кратковременный срок жизни их может быть выгоден только при местных условиях. Жители по обоим берегам Миссисипи смотрят на реку, как на единственный путь сообщения, и движение по ней необъятное. Большинство пассажиров — помещики и плантеры, сбывающие свои произведения в Новом Орлеане и имеющие похвальную привычку наблюдать за сбытом собственным хозяйским глазом. Всегда почти они сами провожают грузы и потому пароходы удовлетворяют условия грузовых и пассажирских. Ко-

нечно, нигде трудное соединение этих условий не достигло такого совершенства, как на Миссисипи. Правда, вряд ли и есть в том надобность, исключая, может быть, нашей матушки Волги.

Считаю лучшим обратиться для подробностей плавания к моему дневнику.

«19 февраля. В 5 часов пополудни перебрались на пароход "Pacific", капитан Behl, плавающий между Нов. Орлеаном и Луизвилем. За 60 долларов нам дали прекрасную двойную каюту, будут кормить на убой и провезут 2 300 верст. Приобретенные в городе знакомые передали нас на руки капитану с просьбою посвятить во все таинства и особенности путешествия. Вообще южные и западные жители Штатов чрезвычайно предупредительны и услужливы.

С обычною песнею негров-кочегаров отвалили мы от пристани и пошли вверх по реке. Я тотчас же обошел пароход и увидел картины, достойные талантливого художника "Искры". На галерее сидели жевавшие джентльмены, облегая орудие сидения упором ног в балюстраду; в огромной зале мужчины и дамы скрывались за листами журналов, развернутых на всю длину рук; с первого взгляда казалось, что вошел в сушильню прачечной. У котлов разжалобленные прощаньем черные кочегары испускали комические вопли, перемешивая их грубыми шутками и мимикою; все это мешало им работать, но смешило надзирателей, снисходительно смотревших на их лень, чего неграм только и нужно. По обеим сторонам реки жгли листья тростника, оставшиеся на поле, для удобрения; пламя следовало быстро по ветру, и огни стлались правильными рядами, будто огромная иллюминация.

На нашем пароходе — капитан, два офицера, сторож, восемь инженеров, три клерка, плотник, 40 человек команды, 25 лакеев для кают, два лоцмана и два помощника. Длина парохода 320 фут и на нем 113 пассажиров каютных и до 400 в палубе, или лучше, между различными частями машины. Лоцмана получают по 200 долларов в месяц и ничего не платят своим помощникам, узнающим реку для собственной пользы в будущем. Каждому матросу, или за каждого матроса его хозяину платят 30 долларов в месяц, дела много.

20 февраля. Утром остановились у Bayou-Sara, городка на рукаве Миссисипи, отсюда идет железная дорога внутрь штата Миссисипи, и Луизиана здесь кончается по левому берегу. Нельзя не сказать, груз и пассажиры выкидываются на берег с поразительною быстротою. Пассажирок обыкновенно провожает по сходне сам капитан или офицеры, и они идут первыми с сопровождающими их мужчинами. Затем зовут несчастных одиноких путешественников gents. Каждый бежит со своим чемоданом, и последним, при малейшей неловкости, очень неприятно. Негры вздергивают сходню, не давши всем сойти с нее, и через сообщенное ногам обратное движение несчастные лепятся физиономиею прямо в жидкий ил на берегу; но о таких пустяках здесь мало думают, лишь бы было скоро.

Сегодня мы имели образчик чисто американской гонки. Наш пароход новый. Завидуя ему и желая с самого начала отбить от него пассажиров, шедший навстречу пароход "Capitol" повернул назад и пошел одним с нами курсом. Мы держали близко берега, чтоб не быть в сильной струе течения, той же выгоды добивался "Capitol". Топливо наше было на исходе, и соперник обгонял нас; не имея места пройти между нами и берегом, он свалился с нами бортом. Несколько минут мы бежали вместе при неистовых криках пассажиров, не знавших, чем все это могло кончиться. "Capitol" пылал, как ад, и благодетельное действие предохранительных клапанов его было прекращено с презрением к жизни не только котлов, но и всех пассажиров. Если б капитан наш не пожалел парохода, в котором был дольщиком, свалка, вероятно, кончилась бы тем, что рухнули бы обе пассажирские палубы. Была, впрочем, и благоразумная партия, молчаливая и немно-

гочисленная, смотревшая на бешеное состязание с неудовольствием. Мы могли бы прижать "Capitol" к берегу, но капитан побоялся решиться на эту меру из опасения личных затруднений с командиром "Capitol". Скоро он очень неловко проскользнул к нам за корму и при разлуке свернул часть пассажирской палубы, к счастью, сзади занимаемой нами каюты. По успокоении возбужденного духа забиячества, как всегда и везде водится, благоразумные взяли верх над бессмысленными и тотчас предложили indignation meeting, митинг для выражения негодования. Спутники мои настаивали, чтоб я, как единственный морской между ними человек, подписал под протестом свое имя первым, на что я согласился с условием изменить самый протест. В нем секретарь митинга особенно настаивал на неблагородство своротить с пути для гонки; этого еще никогда не слыхали на Миссисипи. Гоняются до взрыва, идя по тому же направлению, но поворотить для гонки назад противно понятиям порядочных миссисипцев. Как иностранец я отговаривался тем, что не обязан знать всех обычаев речных жителей и путешественников; а как человек, несколько понимавший дело, считал обязанностью выразить то, что по мнению моему было несравненно важнее: 1) "Capitol" остановил действие предохранительных клапанов, отчего мог произойти взрыв; 2) если бы он, остановя ход перед разлукою пароходов, спокойно дождался, пока скорость обоих уменьшилась, то мы расстались бы без повреждений, а он положил лево, бывши у левого нашего борта, и носом прочертил вдоль левой части нашей кормы, как видели выше, не без ущерба для нас. Спутники мои согласились и протест был отдан в тот же вечер в журнал первого города.

Устьем Красной реки кончаются сахарные плантации, и начинается бумажный край Cotton coast, как называют его. Население по берегам становится весьма редко. Все те же низменности, покрытые лесом до самой реки. Здесь местность не требует уже непрерывных искусственных насыпей, но есть места, покрываемые водою.

Мы не раз уже подходили к дровяным депо. Обыкновенно первобытные притоны. Подрядчики поселяются в них с десятком-другим негров и рубят дрова для пароходов. Всегда, у каждого депо, стоят плоские барки с совершенно готовым топливом, пароход врезается в берег между двумя барками, прицепляет их к кнехтам и мчится вверх. Клерк смерит ширину, длину и глубину барки, и по знаку, поданному меркою, команда начинает метать дрова на палубу парохода. Через несколько минут барки отданы и спускаются по течению к прежнему месту. Снабжение топливом, как видно, нисколько не задерживает парохода.

От главных мест на реке идут внутрь наибольшие железные дороги. Разрушив все европейские понятия, янки считают такие дороги предшественниками населения и образованности, а не следствием, как у нас. И в этом нельзя не видеть их смысла. Железные дороги, заблаговременно проводимые, ведут к естественному распределению промышленности. Она размещается сообразно почве, климату и местным условиям, а не насильственно, как у нас, например, где при отсутствии сообщений все нужное должно производить самому. Это особенно важно в большом крае, как Россия, где перемены климатические чрезвычайно разнообразны, следовательно известные произведения в одном пункте стоят несравненно менее забот, нежели в другом. Зачем было бы сеять хлеб в Перми и Вятке, или в Архангельске, если б его можно было иметь дешевле изнутри. Там занимались бы мануфактурами или охотой и доставляли бы в случае нужды хороших стрелков для защиты края, или еще все население сплошь было бы моряками и питало бы флот. Пускай же не говорят, что железные дороги у нас преждевременны.

В 40 часов мы прошли 400 миль. Не считая остановок, мы плыли по 10 миль в час, следовательно, принимая в расчет 4 мили против-

ного течения, по 14 миль, т. е. по 12 узлов. Нужно набавить еще 1/2 узла на остановки, и скорость "Pacific'a" выйдет очень удовлетворительная для судна, берущего 4 500 тюков бумаги и в 1 200 тонн водоизмещения. Правда, мы теперь налегке, но все же имеем 700 тонн груза.

К ночи сделалась совершенно внезапная перемена. Задул северный ветер и наступил холод. Желая угодить пассажиру, капитан уткнулся в подветренный берег. Ветер свежел, и паруса в огромные верхние надстройки, прижимал пароход к берегу. Мы возились несколько часов, чтоб отвалить, и наконец принуждены были взять кругом кормы кабельтов с-наветра, привязать его за дерево, и, туго вытянувши, дать задний ход. Совершенно раздельное действие обеих машин помогло нам выйти из этого глупого положения, но много времени было потеряно, а в течение ночи еще более; вьюга заставила остановиться. В сутки мы прошли только сто миль.

22 февраля. День рождения Вашингтона. Острова на реке нумерованы, начиная от устья Огайо, их — 125. Там, где можно проходить по обе стороны островов, пароходы плывут по изданным правилам для избежания столкновений. Не мудрено, что пароходы служат не более 4 или 5 лет; с ними обращаются вандальски. Сегодня, отваливая от берега, мы так колотили колесом по грунту, что, вероятно, отняли у судна полвека. В 10 ч. вечера прошли городок Наполеон у устья реки Арканас.

23 февраля. Свежо, но погода дивная, и мы плывем без приключений, все между теми же низменными изрытыми берегами, поросшими канадским тополем. Это лучшее топливо на реке, беспрестанно возобновляющееся, семена его сдуваются в реку ветром или повергаются в нее вместе с деревом быстротою течения. Таким образом, разрушая, Миссисипи и творит. На тех местах, с которых она отступает к противоположной стороне, семена садятся, и песчаная отмель тотчас покрывается кустарником. В год он растет до 12 фут, и, следуя по реке, видишь кустарники разной высоты. По росту их можно угадать, когда река отступила в том месте от берегов.

Сегодня мы прошли мимо барок, спускавшихся по реке с углем. Встречались также несколько крытых барок с разными товарами, — это речные разносчики. Вечером, перед прибытием в Мемфису, начались танцы. Метрдотель — негр, держал первую скрипку и был режиссером. С важностью раба, добившегося, наконец, власти, он командовал разные движения дамам и мужчинам, называя последних просто gents, чтоб не терять времени. Забавно и сокращает плавание.

За ночь подошли к устью р. Огайо и рано утром остановились у города Каира, беспрестанно наводняемого обеими реками, так что выгодное положение его ни к чему не служит.

По берегам Огайо много угольных копей и мы взяли барку с самым худшим углем на реке. Его выгружали в ящиках со скобами по бокам для носилок. Встречались барки, спускавшиеся в Новый Орлеан, и барочники просили журналов. Они чувствуют в этом необходимость.

26 февраля. За день прошли на берегу Индианы городок Канельтон с огромной бумагопрядильной фабрикой. Несколько выше его угольные копи, доставляющие знаменитый Canal coal, вовсе не имеющей серы.

Чтоб утвердить берега против размывания, по Огайо не рубят леса у самой воды, как на Миссисипи. Прошли также Соленую реку, на берегу Кентукки. По ней пускают всех politicians, которым не удались выборы; то же, что у нас называется прокатить на вороных.

В полночь привалили в кучу пароходов у Портланда, предместья Луизвиля, раскинутого ниже порогов. Выслушавши песнь прибытия наших негров, мы соснули спокойно после 6-ти суточного дрожания.

27 февраля. Утром отправились в Луизвиль, около 4 миль расстояния. Влево была видна река и между островом в ней и материком пенилась белая струя порогов. В малую воду

эти пороги обнажены. Луизвиль выстроен очень правильно на возвышенном берегу, и главная улица Mainstreet очень широка. Поперечные улицы нумерованы. Мы оставались в Louisville hotel, и я тотчас же пошел взглянуть на город. Есть хорошие строения, в особенности церкви.

28 февраля. С полною луною вдруг погода переменилась и повалил снег, ровно в полдень мы отвалили от Луизвиля на почтовом пароходе и пошли вверх по Огайо, в Цинциннати река заметно сбивается и в берега упираются шатрообразные холмы, пересеченные ущельями и долинами. Самое значительное место на Индианском берегу — Madison, совершенно фабричный город, правильно выстроенный на площадке, заключенной между горами и крутым берегом реки, по которому проведены водосточные каналы, выложенные камнем. Такой мануфактурный город доставляет сбыт всем соседним земледельцам; поэтому в Штатах не отвергают фабричной промышленности и не вдаются в идеи свободной торговли. Мнение, будто государство должно обрабатывать то только, что у него есть, нелепо; это доказывается мануфактурным промыслом Англии и Франции. Введя свободную торговлю, мы не только совершенно отдадимся в руки англичан, но будем коснеть в невежестве. Земледелие, приучая человека к труду и честности, не шевелит мозгов, не заставляет его быть грамотным, как ремесла.

1 марта. В 4 часа утра пристали к одной из плавучих пристаней Цинциннати. Других нельзя устроить на Огайо; реку пучит иногда до 60 фут. Мы тотчас же перебрались на станцию железной дороги, завернув в трактир освежиться.

В 6 часов утра покатили на восток через Коломбус, главный город штата Огайо».

ГЛАВА VIII
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШТАТАМ И В КАНАДУ

Демонстрации в Нью-Йорке по поводу казни Орсини. Питсбург. Детруа и озера. Канада. Ниагарский водопад. Сколько силы пропадает даром. Монреаль. Квебек. Летние убежища в Штатах.

Дело призывало в Нью-Йорк и до того заняло мое время, что нужно было против воли прекратить мои журнальные корреспонденции «Между делом». Продолжение воспоминаний об Америке было отложено до более благоприятных обстоятельств, впервые представившихся по окончании моей бурной официальной жизни. Я провел в Штатах еще шестнадцать месяцев и нашел возможность взглянуть на север, на Канаду и на некоторые летние убежища фашионабельного люда.

В Нью-Йорке, по возвращении мы застали большое брожение. Орсиньское покушение на жизнь воскрешавшего цесарские предания Наполеона до того смешало понятия западноевропейского общества, верившего в императора французов как в единственного спасителя, что сама Англия едва не забыла вековые предания и хотела, не отказывая в убежище идеям, не могшим развиваться на континентальной почве, подчинить строгим полицейским мерам злоупотребляющих ее гостеприимством во вред дружественным правительствам. Тогдашние министры, в убеждении необходимости англо-французского союза, внесли в палату билль о политических эмигрантах, но палата увидела в этой мере давление власти и отвергла его. Журналы закричали против бессмысленных и жестоких мер безопасности, принятых Наполеоном дома, и представители свободной Англии не захотели быть участниками в жестокосердии, порожденном страхом.

Казнь преступников и волнения в английской публике имели отголосок между американцами, ухватывающимися за всякий случай выказать, что в их новой стране ничего не делается по-старому. 22 марта была назначена в Нью-Йорке сочувственная к неудачным борцам за итальянскую независимость процессия. Разрушители всех оттенков и наций составили подписку на демонстрацию в честь павших мучеников и собрались против нашей гостиницы у памятника Вашингтона — отца прочной, но не буйной свободы.

Ораторы на всех языках произнесли хвалебные речи павшим гладиаторам свободы. В Европе на болтовню их обратили внимание, и Наполеону не понравилось, что прославляли решившихся покончить с его жизнью. Здесь были приняты против беспорядков все нужные полицейские меры; разумеется, меры эти прилагались американским способом, т. е. старались подчинить выражение буйных идей церемониям, при которых общее спокойствие не могло бы быть нарушено.

Демагогическую волну заставили двигаться тихо и плавно, по известному, так сказать, закону — и дело обошлось мирно. Несколько ты-

сяч зевак провожали пышный катафалк с именем Орсини, и если никто не оскорблял его памяти, то многие выражали беспрепятственно и симпатию к Наполеону. Всякий, в силу конституции, делал, что хотел, не нарушая ее.

Мануфактурные и торговые центры штатов входили преимущественно в программу моих изучений. Не хотелось воротиться в Европу, не заглянувши на американскую промышленную деятельность во всей ее одуряющей быстроте. Знакомство с нею составило цель второго, довольно долгого путешествия моего, предпринятого в июне 1859 года. До Филадельфии мы доехали обычным, неоднократно уже изведанным нами путем, и от нее своротили в Питсбург.

Промчавшись около сотни миль, начали всползать на Аллеганские горы крутыми подъемами и частыми поворотами, при помощи двух сильных локомотивов. Везде высились и дымились трубы заводов, перерабатывающих местные минеральные богатства. На самом перевале мы въехали в туннель и у противоположного конца его остановились в деревеньке «Голицин», названной по имени боярина-католика, который предпочел тратить свои средства в дальнем диком крае и отказывать в них нуждающемуся отечеству. От Голицина мы устремились вниз и скоро прибыли в закоптелый Питсбург.

Питсбург, перепутье европейской эмиграции на дальний запад и центр железной промышленности, попеременно переходит от одного нестерпимого состояния к другому; в сухое время над ним стоит выедающая глаза бурая пыль, а после дождя или наводнения ноги вязнут в клейкой грязи. Стотысячное население привыкло к этим перемежающимся удовольствиям; то задыхаясь, то утопая, они находят время заниматься тяжелою плавкою железной руды и добыванием прекрасного угля, особенно выгодного для газа. Этот минерал посылается даже в наполненную углем Филадельфию; но главный сбыт его на озерах. Большая часть жителей — терпеливые немцы, внесшие в местную жизнь свои обычаи и простоту. Мы наехали на какой-то занг-ферейн, видели остатки триумфальных арок и наслаждались патриархальностью развлечений, перешедших из фатерланда.

Осмотр арсеналов и заводов занял довольно много времени, более, гораздо более, нежели хотелось бы уделить зловонному Питсбургу. Избирая преимущественно промышленные пути, мы перерезали штат Огайо по направлению к озеру Эри. Приезжавшие на Питсбургский праздник немецкие певцы не утомились пением в угольной атмосфере и, глубоко напившись огненной водки, ревели во весь поезд до самого Кливленда, важнейшего порта на озере Эри.

Гурон и Эри соединяются узким протоком из трех частей: южная называется рекою Детруа, северная — рекою Сент-клер; между ними пролив расширяется в плес, называемый озером Сент-Клер. Приближаясь к Детруа на пароходе, мы попеременно подходили то к американскому, то к канадскому берегу и, наконец, вошли в узкость. На американской стороне город Детруа, а на английской — Уиндзор. Флаг на укреплениях Уиндзора был единственным признаком присутствия англичан, в других частях мира вездесущих. На американских внутренних морях они совершенно незаметны: на сто американских кораблей едва, встретишь один английский. Вся деятельность в руках янки и они перенесли ее даже к сонным соседям, сонным, разумеется, сравнительно с бешенством труда, одолевающим американцев.

70 тысяч жителей суетились на шахматной доске, конечно движимые желанием задать друг другу мат, т. е. перехитрить друг друга в сделках. Меня особенно привлекал Уайяндотский плавильный завод, на предместье. Там я увидел действительно диво — самородок меди в двести пудов весом, со следами прежних давних усилий отделить его. Масса найдена в трех саженях под поверхностью земли. В мичиганских рудокопнях часто встречают каменные инструменты, выказывающие, что рудокопни были разрабатываемы в глубокой древности. Как поразительный образчик искусства прежних рабочих при столь несовершенных вспо-

могательных орудиях, в музее завода хранится большой, весьма тонкий лист меди.

Из Детруа в предшествовавшем 1857 году отправился первый корабль прямо в Англию, обойдя Ниагарский водопад Вейландским каналом. Рейс совершен так удачно, что путь обещал стать торным и, действительно, в настоящее время уже установилось прямое сообщение между недрами северной Америки и Европою, немало вредящее нашей хлебной торговле. При хлебородности западных Штатов и механических пособиях, облегчающих жатву и извлечение зерна, американцы весьма скоро сбили бы нас с европейских рынков, если б природа не ставила бы им тех же препятствий, что нам в северных морях. Навигация на озерах прекращается на полгода.

Паровой паром перекинул нас из Детруа в Уиндзор, а там подхватил поезд Большой Западной дороги и мы помчались по монархической Англии, как значится в географиях; на самом же деле янки перешагнули в Канаду и давно внесли туда свои гаерские республиканские ухватки. Дорога бежала по болотистой, лесистой и едва-едва населенной местности; французский элемент, видимо, разлагался, встретился какой-то дощатый, ничем не торгующий Лондон и среди бора мертвый, унылый Париж; а дорога все бежала, кого-то и что-то перевозила. Главную роль играли оконечности — Детруа и Портланд на берегу Вермонта, у Атлантического океана; да редкие пункты на пути — Монреаль, Ниагара, Квебек. Болотами, долами и холмами неслись мы по глуши, неожиданно уперлись в Онтарио, отскочили вправо, и, прыгнувши через Вейландский канал, очутились в деревеньке Клифтон, в звуках невесть откуда и из чего исходящего рева. Нам сказали, что мы у Ниагары и выпустили из вагонов прямо на скалистую стену, окраяющую реку с канадской стороны. По ней мимо висячего моста, с падающим морем перед глазами, мы пошли к гостинице Clifton-House, не зная чем более дивиться — творением ли Бога, неумолкно гремящим славу Его, или дерзостью человеческою, перешагнувшею через свирепую пучину в сорока саженях над ее клокочущею струею.

Clifton-House в полутора версте от водопада, на коротеньком повороте реки. С бельведера видна вся волна в плане; вас обдает мельчайшими брызгами, пронимающими сквозь волну; не только платье, и легкие ощущают дрожание воздуха, сдавливаемого падением воды. Американская половина водопада, раздвоенная островом Луны, льется мутною, желтою струею; канадская, в виде подковы, прыгает темно-зеленою волною и бьет реку с такою силою, что на большое расстояние она представляется кипящим молоком. Между обеими половинами выступает зеленеющий Козий остров, и от него отскочила скала с башнею, воздвигнутою духом спекуляции. Летучий мостик соединяет башню с Козьим островом. Солнце, направлявшее свои лучи прямо на водопад, резко освещало и откраивало его неправильный гребень; внизу все было дымом ,и глаз тщетно силился проникнуть в неопределенность.

Грохот страшный — и ничего кроме грохота. Вымокши от брызг, возвратились в Clifton-House и перешли висячим мостиком на американскую сторону, заплативши доллар за двоих. Мост двойной: по верху ходят локомотивы с поездами, внизу движутся экипажи и пешеходы, будто в страхе, едва переводя дух. Свирепая струя вертит глаза и кружит голову; и день в каком-то сомнамбулическом состоянии, и только голос таможенного на том берегу выводит чувства из усыпления.

Острова у американской стороны водопада отданы правительством в надел генералу Потеру за его заслуги, и владелец быстро разбогател, захвативши ключ к чуду природы. Между Both-island и материком река рвется с бешеною скоростью. Пока ее заставили двигать одну только бумажную фабрику, и какой-то горюн-механик испустил специальный вздох в книге для посетителей. «Был у Ниагары, — заметил янки — ух, сколько силы пропадает даром».

Между висячим мостом и водопадом, в разгар сезона, ходит маленький пароход, смело приближающийся к самому падению волны, надеясь на колдуна-пара. Здесь же перевозят с берега на берег в простых ладьях. Струя бросает их, как мячик, и на американском берегу пристают к подъемной машине, возносящей на крутизну — нечто вроде подъемных аппаратов в домах; только здесь поднимает Ниагара, дифференциальная часть ее проведена в трубку гидравлического цилиндра и служит подъемною силою.

Приехавши к Ниагаре с противоположного края подлунного мира, непростительно было бы не познакомиться с протоком на всем ее протяжении. Какой-то кучер-джентльмен взялся быть нашим возницею и вместо чичероне, и мы отправились в Куинстоун, при впадении реки в Онтарио. На пути остановились на холме, украшенном памятником павшему в битве генералу Броку. На колонне коринфского ордена средневековая башенка и на ней статуя героя. Подобные архитектурные сочетания простительны только англичанам, которых не смеет не принимать королева, и которые, в свою очередь, не смеют не становиться перед ней на колени.

Следуя от Льюистона по круче американского берега мы остановились у Чертовой ямы, места, знаменитого в борьбе англичан с французскими колонистами. На стороне последних были индейцы. Известный в колониальных летописях герой устроил здесь засаду против английского отряда, следовавшего к форту Ниагары от форта Шлюссер. Люди, лошади и фуры были сброшены в бездну и разорваны в атомы сердитою пучиною. Рвавшись к Ниагаре с восторгом, мы оторвались от нее с удовольствием.

От Ниагары странствовали некоторое время по местностям, рожденным и оживленным каналом Эри, соединяющим озеро с Атлантическим океаном. Промышленный путь этот, доставя выход богатствам северо-западной части Штатов, создал в недавно еще пустынных местах целые города с пятидесятитысячными населениями.

Нам хотелось несколько пристальнее взглянуть на Канаду, и мы поехали в Монреаль историческим путем, на котором решался вопрос независимости Штатов, а потом в 1814 году утвердилось первенство их на американском материке. В Уайттале, у южного конца известного в летописях американского союза озера Увиплейн, мы сели на пароход. Миль на тридцать озеро тянулось полоскою, суженною смежными горами. У развалин форта Тикондерога к нам присело несколько пассажиров среди восторженных кликов бывших уже на пароходе. До сих пор американцы платят эту дань уважения к памяти Итона Аллена, захватившего Тикондерогу у англичан с своими зеленогорскими ребятами. Далее, у Платсбурга, прошли место битвы между коммодорами Мак-Дрни и Доуни. Последний вышел из-за смежного мыса Кумберланда, бросился на стоявшего у Платсбурга противника, взял всю английскую эскадру и заставил отступить сухопутный английский отряд, направлявшийся на юг. Признательный Вермонт устроил Доуни на Кумберланде богатую ферму, и теперь еще принадлежащую его потомству. Вновь постепенно суживаясь, озеро подходит к мысу, северному своему пределу, оставшемуся почему-то во власти англичан. Здесь мы сели в вагоны и через час прибежали к концу насыпи, вдающейся в реку Св. Лаврентия. Паровой паром перенес нас в Монреаль.

Монреаль, расстроившийся по длинному острову, омываемому с юга рекою Св. Лаврентия, а с севера — Отавою, поражает католическим своим характером. Лучшие здания принадлежат разным духовным конгрегациям; церкви твердят о величии папы и лень населения представляет непрерывающееся доказательство усыпительной силы католицизма. Вся торговля в руках англо-саксонцев; им принадлежат лучшие дома и все фабричные заведения. Они же как властелины завели во французском городе английский порядок. Улицы вымощены или шоссированы, метутся и поливаются.

Архипелаг к северу от города, которым Св. Лаврентий прорывается с чрезвычайною быстротою, удерживает зрение долее остального. Острова очень часты и протоки между ними узки. Перед нашим посещением Монреаля, американцы провели этим лабиринтом для продажи несколько пароходов в 300 фут длиною, стоявших без дела в Буффало, на озере Онтарио с тех пор, как железные дороги распространились к Мичигану. О правильных поворотах в таких узкостях нельзя было и помышлять. Янки утыкались носами в берега островов, и свободные кормы заворачивало течением. Когда пароход приближался к должному направлению, его сдергивали задним ходом и потом, пустивши машину вперед во весь пар, плыли далее до следующего тычка, где повторялась та же чертоголовная процедура. Пароходы пришли к монреальской пристани с небольшими повреждениями.

Мы застали в Монреале день Петра и Павла. Везде были выкинуты французские флаги, означающие здесь не национальность, а верование. Национальные чувства проявляются только в толпе вескими кулачными ударами; высшее же общество живет в совершенном согласии, несмотря на различие происхождений и религиозных убеждений. В наше время мэром был француз, но он сменил англичанина. Галлы перестали бороться с англо-саксонскою энергией и помирились с нею по усталости, не видя возможности успеха в сопротивлении. Около Монреаля есть и туземные племена, но они более и более смешиваются с европейцами и следы их скоро исчезнут.

В одну ночь быстрый пароход перевез нас из Монреаля в Квебек, прежнюю столицу Канады, а теперь оживленный торговлею главный военный пункт англо-американских владений.

Особенно привлекательно рисуется Квебек с Бопорской долины, по ту сторону реки Св. Карла. Переехавши реку по мосту, мы долго любовались профилью Алмазного мыса, заставленного сердитою цитаделью, многогранною стеною Верхнего города и безмерно высокими крышами зданий.

В Лоретто, несмотря на июль, нас внезапно захватил холод, так что мы рады были отогреться у индейского старшины, совершенного европейца по платью и языку. Он говорил очень свободно на французском жаргоне колонистов и продавал дорого разные безделушки, жалея, что прекрасный туземный тип теряется более и более вследствие союзов с бледными рожами.

Его дряхлая половина также предпочитала европейскую юбку и кофту; только перетянутые ремнями мокасины на ногах считались удобнее башмаков и напоминали индейские привычки. По возвращении в город, несмотря на холод, мы застали на Durham terrace всю фашионабельность Квебека. В июле, по календарю обычаев, следует прохлаждаться вечером над рекою, и показывай термометр что хочешь, атмосфера светского приличия сильнее физической.

Из Квебека мы переехали в Белые горы — американскую Швейцарию, скромно поместившуюся на весьма узком пространстве в узком штате Вермонте.

Несносное нью-йоркское лето проводят на различных ключах. Мы условились с посланником нашим Э. А. Стеклем и его женою укрыться на некоторое время от жары в Саратоге, самом фашионабельном из водяных мест Штатов. Заблаговременно был нанят отдельный домик на сквере перед гостиницею United States и мы провели в нем несколько недель, кружась в водовороте водяной жизни, кипевшей в салонах гостиницы, или уединяясь в нашем домике, смотря по настроению духа. На американских водах никто не лечится — для этого ездят в Европу,— а все выставляют свои наряды.

Танцуют утром и вечером, в промежутке ездят целыми партиями на озеро Св. Георгия или гуляют в сосновом бору. В Штатах не умеют отдыхать тихо, а встряхивают натуру усиленными способами.

ГЛАВА IX
ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ ФЛОТА

Некоторые подробности о постройке фрегата «Генерал-Адмирал». Телеграфная экспедиция. Спуск фрегата «Генерал-Адмирал». Мои сношения с Петербургом. Специя или Вилла-Франка. Проект Морского министерства без начальника Штаба. Мое возражение и мнение о необходимости этой должности. Программа моей будущей служебной карьеры. Мой последний голос из-за моря в защиту журнала «Парус», гонимого за статьи о морском управлении. Возвращение в Европу.

До сих пор я касался только жизни моей в Штатах как туриста. Нужно заняться теперь моим специальным Я, главнейшим звеном, связывавшим меня без малого три года с отечеством. Вопрос с американским строителем Уэббом, решение которого составляло цель моей посылки, был улажен американским способом — компромиссом. Ознакомившись с техническими познаниями строителя и условиями его верфи, памятуя, что в Европе уже взялись за постройку броненосцев и, наконец, убедившись, что Уэбб вовсе не понимал требований линейного корабля, я предпочел заменить обещанный ему Великим Князем корабль фрегатом больших размеров. Американцы всегда славились фрегатами; о судах этого рода у них существовало бойкое предание, и в новом паровом флоте они отвергли линейные корабли. Строитель мой мог руководиться прекрасными образцами, уже существовавшими в Штатах, и мне оставалось только указать изменения, соответственные новейшим успехам кораблестроения, а главное — придать Фрегату полную паровую силу, на что янки ещё не решались. Таким образом предполагавшийся корабль «Императрица Мария» обратился в небывалый могучий фрегат «Генерал-Адмирал», носивший 68 60-ти фунтовых бомбовых пушек и две 120-ти фунтовых.

Большая часть поездок моих вызывалась надобностями постройки и снабжения. Американцы обещают обыкновенно горы, но не дадут и кочки, если добродушно довериться их обещаниям. Всякое предлагаемое усовершенствование, каждое улучшение нужно рассмотреть очень пристально, даже испытать; иначе выдумки, на которые так даровито американское воображение, окажутся на деле вновь придуманным призраком. Исследование дельных предложений требовало постоянного внимания, но не менее времени отнимало отклонение таких, которые казались дельными только авторам, неотвязчиво хватавшимся за случай узнать звук русских денег. Находившиеся со мною офицеры усердно помогали мне. Желая, чтоб пребывание в Штатах принесло им наибольшую пользу, я нередко рассылал их с специальными целями.

В 1858 году осуществлялось соединение Европы с Америкою телеграфною проволокою. Благодаря ходатайству нашего достойного представителя, бывшего в самых дружеских

отношениях с членами правительства Штатов, я мог послать капитана Кварца и поручика Колобнина на американском фрегате «Ниагара» в телеграфную экспедицию, представляемую столько неведомого еще и в высшей степени поучительного. Офицеры на пароходе в Европу убедились в качестве и недостатках фрегата, во многом схожего с «Генерал-Адмиралом», что оказалось весьма полезно для нас; а потом, присутствуя при погрузке проволоки в Англии и при кладке ее поперек океана, ознакомились с весьма важною операциею, до тех пор предпринимавшеюся только на коротких протяжениях. Все замечания их были своевременно представлены начальству, и наше собственное торжество — спуск «Генерал-Адмирала» — сошлось с мировым торжеством соединения двух частей света.

Если б меня вынуждали свидетельствовать об удаче телеграфной экспедиции 1858 года с несомненною уверенностью совести, требуемою свидетельскими показаниями на суде, я положительно отрекся бы от всякого показания, хотя успех праздновало в Нью-Йорке миллионное население, говорились спичи, давались обеды, был размен депешей между президентом и Викториею и от самого меня приняли депешу к великому князю Константину Николаевичу. Кажется, доказательства успеха были довольно убедительны; но знакомому с американскими проделками для возвращения ценности акций и с американским тщеславием, ухватывающимся за всякий предлог, как бы ни был он призрачен, чтоб лишний раз хвастнуть достоинствами «великого народа», никакие доказательства, кроме личного, так сказать, осязания не могут быть достаточны. От беспристрастных свидетелей — посланных мною на «Ниагару» офицеров — я знал, что кабель был передан на берег в бухте Св. Троицы, на Ньюфаундленде; что счастливое происшествие было там должным образом отпраздновано духовною церемонией. Это не подлежит сомнению; остальное покрыто для меня мглою целого Атлантического океана и едва ли кто-либо, кроме посвященных в тайну непосредственных участников. Видел яснее, да и самые участники, усердно желавшие успеха, с свойственною американцам силою соображения, могли уверить себя, что телеграф действовал. Как бы тоже было, 6-го августа разнеслась по Нью-Йорку весть о прибытии «Ниагары» в бухту Св. Троицы, а к 1-му сентября все железные дороги и бесчисленные пароходы перенесли в город до пятисот тысяч зевак, желавших под старость хвастать участием в знаменитом празднестве. Подобный прилив любопытных, дробя выгоды телеграфного успеха между многими, еще более распространял уверенность в удачном результате экспедиции.

С раннего утра 1-го сентября Broadway наполнился народом, и около двух часов от ратуши двинулась процессия. Впереди шли милиционеры; за ними шестеркою ехали главные виновники торжества и другие, составившие компанию; далее везли городские власти и представителей различных ремесел. Особая колесница с остатками кабеля, предлагавшимся публике в виде разных вещиц, придавала процессии кровный американский характер.

Проходили картины и транспаранты, на которых Англия и Америка душили друг друга в объятиях. Если где-либо вспоминали борьбу 1776 года, то рядом сиял 1858 с братскими лобызаниями. В других изображениях хоронили навсегда привязанность к старому, к рутине, и восторженно приветствовали изобретательность. Все представляло смесь величественного с шутовским; но народ глядел, кричал «ура», гордился своим американским отечеством и восхищался своею свободою. И было чем восхищаться. Возможно ли успешное действие полиции при миллионе, по крайней мере, зрителей, а все шло чинно и спокойно.

Вечером весь Нью-Йорк горел огнями. Ратушу осветили так усердно, что наполовину сожгли, зато было весело; и беда нипочем, когда пирует «великая нация». Не менее радовались и на обеде, данном на другой день. Я уча-

ствовал как гость, в качестве именитого иностранца (distinguished foreigner) и шесть часов кряду слышал, как прославляли на все лады американскую настойчивость, американскую предприимчивость, смелость, доходящую до дерзости, и, побеждающую все препятствия, американскую прессу, разумеется, американок и все что ни есть американского. Лорд Непир, понявши, что в этом случае представителю Англии следовало говорить много так, чтоб из слов нельзя было сделать никакого вывода, говорил очень гладко два часа; о чем и к чему шла речь, догадаться было трудно. Непир пустил корабль снова в море американского слуха без руля и компаса, и корабль както незаметно исчез из виду в необъятном горизонте восьмичасового пиршества.

Едва ли меньшее возбуждение произвел в Нью-Йорке спуск фрегата 9 сентября. Накануне, придя посмотреть на приготовления к спуску, я увидел под двухглавым орлом, украшавшим носовую часть, гирлянду с надписью «One head likes China tea, the other is fond of Turkey». Произведение американского лица было, разумеется, убрано; тем не менее, как выдумка простого рабочего она говорила в пользу народного остроумия. Все хотели спуститься на величайшем корабле в мире, и мы вынуждены были дать две тысячи дозволений. Кругом на крышах домов и палубах пароходов в реке толкалась бесчисленная толпа, в декоративном отношении выгодно заменявшая существующую у нас при таких случаях стройность. По английскому обычаю, жена разбила о фрегат бутылку с вином, заблаговременно подвешенную, и не одна леди и мисс толкнула ее под локоть, чтоб говорить впоследствии, что и она приняла участие в красотах «Генерал-Адмирала». Фрегат скользнул в воду незаметно, и я тотчас же телеграфировал о событии великому князю, условясь предварительно с директорами трансатлантического телеграфа, еще неоткрытого для публики. Депеша была послана в Гальви на пароходе и оттуда уже по проволоке в Петербург; значит 9/21 сентября 1856 года кабель положительно не действовал.

Изготовление фрегата к плаванию требовало уже постоянного присутствия моего в Нью-Йорке. Переписка с Петербургом, не прерывавшаяся с самого отправления моего, участилась. Головнин преследовал меня письмами на Кубе даже. Вообще ко мне не переставали обращаться за мнениями о разных переменах по управлению флотом, и чтоб дополнить очерк жизни моей в Штатах, я коснусь главнейших вопросов, в которых принимал оттуда участие.

Сардинское правительство уступило нам пользование зданиями арсенала в Вилла-Франка. Английские газеты, разумеется, ударили в набат, но привычке. Наша эскадра Средиземного моря, в случае войны, была бы легкою для них добычею.

Вопрос о пункте, в котором можно было бы хранить запасы для судов наших, был поднят вскоре после парижского трактата. Такой пункт был, конечно, весьма желателен, если решились посылать на юг Европы эскадры для практики, едва возможной в своем море; но при выборе следовало руководствоваться многими соображениями. Я советовал Великому Князю свить гнездо в Специи, где существовал уже подобный притон для американской эскадры, и куда сардинское правительство переносило свои морские заведения из Генуи. Бухта, по своей обширности и многочисленности заливов, вдающихся в ее берега, могла удовлетворить всех; из совместного пребывания трех эскадр истекало бы полезное для наших моряков соревнование и, наконец, в случае войны, присутствие сардинцев, и в особенности американцев, служило бы нам гарантией. В таких условиях англичане не решились бы нарушить нейтралитета. Выгоды Специи были очевидны, но придворное влияние одержало верх над всеми соображениями. Ницца, убежище чахнущих в атмосфере Петербурга членов царственного дома, возле самой Вилла-Франка. Для их удобств и развлечений пред-

почли порт, не имеющий никаких удобств, где придворные развлечения и отвлечения уничтожали бы всю пользу средиземных наших плаваний.

Мои доводы против Вилла-Франка не были приняты, но в утешение все меры касательно обещанного Уэббу заказа и приведения его в исполнение без убытков для казны, а с возможною пользою для флота нашего, были одобрены. Перед Крымскою войной Уэббу надавали в Петербурге много обещаний. Янки сам, без всякого вызова, приехал в Европу искать работы и, найдя ее в нашем морском министерстве, намеревался представить длиннейший счет, хотя возгоревшаяся война законно прерывала не только всякие обещания, но и самые условия, если б такие были заключены. В 1856 году американец привязался с обычною прилипчивостью и стоял за исполнение обещаний, данных братом государя. Прежде нежели решиться на постройку, мне предстояло ограничить требования Уэбба и отсечь от них неопределенность, которою янки так умеют пользоваться. Вопрос разрешился постройкою Фрегата, и на мое донесение Великий Князь отвечал следующею запискою: «Посылая Вам копии бумаг, которые состоялись вследствие письма Вашего, полученного мною в Ницце, я вполне одобряю Ваш образ действия, нахожу соображения весьма дельными и благодарю за усердие и труды, действительно весьма полезные».

Как очутился Великий Князь в Ницце, А. В. Головнин не замедлил разъяснить мне со всею откровенностью, на которую вызывало его отдаление исполнения собственных видов и ожиданий. Генерал-адмиралу надоело заниматься освобождением крестьян и другими важными вопросами. С судами нашими, отправляемыми в походы наскоро, случались тогда беспрестанно неприятные приключения. Гауровицу очень хотелось провести зиму на юге, и, подметивши в пациенте признаки утомления делом, он склонил графа Ал. Фед. Орлова доложить государю, что здоровье Великого Князя требовало отлучки из Петербурга. В Средиземном море он мог соединить гигиенические требования с служебными и отправился туда плавать на эскадре, к большой радости Орлова, удалявшего горячего в деле освобождения деятеля. Государь увидел, что талантливый брат не может быть ему помощником по недостатку терпения, постоянства и сдержанности и отпустил его на юг поребячиться с эскадрою. Толкования Головнина были верны, хотя отзывались досадою на расстройство собственных планов.

Плавая на эскадре, Великий Князь, из приличия, должен был посвящать большую часть времени флоту. Лишенный возможности деятельно заниматься выспренними вопросами, А. В. Головнин стал вновь перестраивать морское министерство, и предмет этот породил особенно оживленную переписку между мною, им и его высочеством. По приказанию Великого Князя, Головнин познакомил меня с общими чертами проекта. В ответ от 15/27 мая 1857 года я начал высказывать воззрения мои и на проект Головнина, и на предположения Великого Князя касательно управления флотом, к которому он желал тогда возвратиться с прежнею ревностью.

«Ясно каждому, несколько знакомому с предметом, что состояние флота нашего, да и едва ли не всего в России, теперь переходное. Приведение огромного механизма в порядок так, чтоб он вертелся не по-прежнему известное число часов в сутки, а производил полезную работу, дело нелегкое и не может быть достигнуто без ошибок, в особенности при отсутствии подготовленных помощников и даже разумных исполнителей, а в последние тридцать лет они, конечно, не могли образоваться. У нас не могут быть des hommes d'etat tout faits; слава Богу, если найдут смышленых благонамеренных людей, готовых поддаваться только честным побуждениям, понимающих, что в России не все ладно, но вместе проникнутых истинно-патриотическим чувством достоинства, которое не допускает перени-

мать всего иностранного целиком, не проникнувши сначала к нашим условиям, при котором болтовня чужеземцев не есть евангелие, которого не остановят и бессмысленные толки собственных говорунов, не понимающих цели и еще менее знакомых с средствами, нужными для ее достижения.

С радостью прочел я в письме Вашем, что в проекте о составе морского министерства входит обязанность начальника Штаба. До сих пор в чисто административных переменах у нас замечалась некоторая последовательность: система начинала проявляться. Не так было в отношении к технике и личному составу флота: здесь явно отсутствие ответственного лица. Не знаю, передавал ли Вам Рейтерн содержание разговора нашего по этому предмету. Мне этот пробел выказался в течение трех лет, проведенных мною под непосредственным начальством Его Высочества. Подробности дела не должны обременять головы, идеи и направление. Они должны выходить к ней подготовленные точно так, как теперь восходят хозяйственные или административные. Одно и то же лицо не может вести обе части как потому, что каждая довольно обширна, так и по различию способностей и познаний, требуемых тою иди другою. Без сомнения, всего лучше отделить технику и личность от хозяйственной части и к этому, кажется, клонятся; но нужно широко разделить их и учреждение начальника Штаба поведет к тому. Разумеется, все будет зависеть от выбора лица. При совершенной подчиненности министру (иного начальника Штаба я себе представить не могу), он все-таки может и должен иметь некоторый вес в глазах высшей власти, и интриган или фокусник будет страшною язвою. Сколько мог я замечал последствия наездов великого князя в Кронштадт. Не колеблясь, скажу, что, несмотря на благую цель бесед в маленькой квартире Его Высочества, практический результат их был недостоин цели. Всякий видел удобный случай высказать свои пени на министерство; некоторые в простоте души, не понимая, что для искоренения существовавшего зла недостаточно пожелать того или приказать, чтоб его не было, а нужно время и общее к тому настроение. Министерство никогда не имело в этих беседах защитника. Кроме того, при отсутствии лица или места, которое проводило бы и содержало бы в порядке все распоряжения по технике и личности, часто исполнения зависели от различных приказаний, иногда противоречивых. Несмотря на гигантскую память Великого Князя, это случалось и должно было случаться; его ловили на дороге, в гавани — везде, где можно было наскоро склонить его к согласию. В другом отношении доступность великого князя приносила еще больший вред. Совершенно понимаю, что в его положении быть доступным est d'une tres saine etbonne politique, но удовлетворение всех просьб молодежи, а иногда и почтенных по виду людей, пользующихся этим истинно-великокняжеским качеством, вредит дисциплине. Надеюсь, что Вы не заключите, чтоб я одобрял систему железного управления людьми — сохрани меня Бог от таких понятий — но в военном сословии дисциплина необходима; не та, которая дает начальнику право убивать в подчиненном всякое чувство достоинства, а та, которая вселяет в подчиненном, вместе с сознанием прав своих, твердое убеждение о непременном взыскании, если он переступит за их черту. Выслушивать можно всех, но не каждого слушать. При лице, знакомом с нитью всех технических и личных вопросов, порядок и дисциплина ведутся, и Кронштадт не будет против Петербурга. Такие противодействующие силы трудно направить к тому же полезному результату, и система разделять и властвовать, как я прежде когда-то сказал, может быть хороша в внешних отношениях, а не в управлении внутреннем. Конечно, далека от меня мысль видеть такое направление в генерал-адмирале; не менее того, бывали случаи, при которых со стороны могло показаться, что держится этой системы. Назначение начальника Штаба, без сомнения, устранит все по-

добное не вдруг; будут попытки произвести удобный для многих хаос; но его величество скоро поставит избранное лицо в то положение, которого требует польза службы. Итак, повторяю, учреждение мне кажется необходимым. Разумеется, пользу его выкажет выбор личности. Помимо знакомства со всеми подробностями службы и знания надобностей флота, начальник Штаба должен быть человеком строгой нравственности и твердого характера, чуждый всяких интриг. Ему предстоит часто быть посредником между генерал-адмиралом и министром, между генерал-адмиралом и сословием. В первом случае, не жертвуя истиною, он должен быть приятен министру, чтоб неудовольствия не переносились на дела; во втором он не только должен быть чужд всяких личных влияний, но уметь принять на себя все неудовольствия сословия, если он убежден, что от отказа в просьбах и желаниях выиграет служба. Ясно, что в этом случае на великого князя не должны падать сетования и начальник Штаба должен взять на себя роль козла очищения, в таких обстоятельствах достойную уважения».

В ответ на письмо это, Головнин передал мне приказание великого князя указать ему несколько лиц, способных к обязанности начальника Штаба и вместе сообщил, что финансовые затруднения заставляют значительно уменьшить флот, другими путями до меня дошло известие, что предполагавшееся уменьшение доходило почти до уничтожения. Желая по мере сил противодействовать столь пагубному намерению, я воспользовался случаем и, кроме прямого ответа на вопрос генерал-адмирала, вошел в различные подробности, касавшиеся флота. Привожу письмо мое вполне. Каким комментариям оно не подвергалось бы, вероятно, не откажут мне в усилиях передать судьбы службы в руки достойные и способные, а не на произвол личностей, не имевших с флотом ничего общего, следовательно, совершенно к нему равнодушным.

16/28 июля 1858 г. «На днях я получил письмо от А. В. Головнина, в котором он передает мне приказание Вашего Высочества наименовать несколько кандидатов на звание начальника Штаба и вместе сообщает о значительном уменьшении флота нашего вследствие финансовых затруднений. Дошедшие сюда слухи об уменьшении морских сил наших доходившем на совершенное почти уничтожение их, глубоко огорчили меня; но теперь, узнавши подробнее предположения, я допускаю утешительную надежду совершенного возрождения, тем более основательную, что положение России отнимает всякую возможность торопливости.

Смею уверить, что я не связан ни с кем во флоте слишком близко и не обязан никому из моих товарищей настолько, чтоб желать при случае сделать им личное одолжение в ущерб общей пользы; да если бы и был я с кем-нибудь в подобных отношениях, то никак не осмелился бы принимать их в соображение, исполняя подобное поручение Вашего В-ва. Если в числе упоминаемых мною есть имена товарищей моих по службе, прошу В. В. приписать это тому только, что они более мне известны, а не пристрастию; ибо, по возможности, я всегда старался ограждать себя от чьего-либо влияния.

Назначение одного начальника Штаба, хотя весьма важное, недостаточно чтоб вести флот согласно предначертаниям Вашего В-ва. Нужны дельные главные помощники по всем частям. При таком только условии Вам можно будет направлять флот легко, без усталости, по пути действительной пользы, на славу нашего Отечества и Вашу собственную. Взвесьте всю важность периода Вашего управления флотом не только в настоящем, но и в будущем, и, положивши руку на сердце, спросите себя — в состоянии ли Вы совершить все предстоящее вам и от вас ожидаемое своею личностью, имея только беспрекословных исполнителей Вашей воли. Примите ли вы на себя одного ответственность перед лицом истории — час исторической правды настает для всякого народа, — и, наконец, при Вашем рвении ко

всему полезному, дало ли вам провидение то неодолимое здоровье, которое может развиваться и крепнуть в беспрестанных трудах, утомляя себя безнаказанно, не страшась последствий, которые для флота нашего будут, конечно, гибельны. Решивши эти вопросы, обратитесь к мудрым назиданиям истории. Едва ли не один только человек сияет в ней могуществом своего личного гения — Петр Великий. Он во все входил сам по необходимости, не имея помощников и будучи одарен железным телом, требовавшим вечной деятельности. Преобразование России относится единственно к нему. Но есть в истории люди не менее славные, передавшие свое имя веку именно потому, что, не утомляясь лично, а избирая людей, они долго направляли их к полезным целям, и благодарная история называет их время по их имени. Обе исторические роли завидны и В. В. не трудно избрать ту, которая более соответствует вашим дарованиям и физическим силам. Предстоит только два выбора: самому поднять на плечи всю ношу с опасением пасть под ее тягостью, или избрать помощников и сказать им: "Иду к благой цели, а вы за мною следуйте". Последняя роль скромнее, но безошибочнее. Вам предстоит много переделать, имея к тому нужные дары от природы и благонамеренную волю, но положение Ваше не могло основательно познакомить Вас с практическими мелочами и взаимными отношениями людей, стоящих от Вас далеко. Предоставьте эти мелочи исполнителям Вашей воли не потому, чтоб вы не могли постичь их очень скоро, но потому, что мелочи балуют ум, изнеживая его для предначертаний, требующих сильного соображения, и утомляют тело. В этом случае я укажу В. В. на государственных людей Англии, которую можно не любить, но нельзя не ценить, как страну, следующую во всем путем опыта. Эти люди сохраняют в 70 лет всю умственную энергию и телесную силу потому только, что умеют распределять время и всегда находят возможность отдыхать от умственных занятий, предоставляя мелочи своим помощникам. Но помощники эти должны быть действительные и нужно иметь их, как я сказал выше, по всем частям. Убежденный в этом, я решаюсь указать В. В. на некоторых лиц, по моему мнению, особенно способных приводить в исполнение ваши замыслы. Способность должна соответствовать возлагаемой на лицо обязанности, а обязанность может определиться только при известности, что предстоит совершить. Поэтому, прежде нежели решусь указать на кого-либо В. В., считаю нужным выразить мое мнение о том, что должно сделать».

«Приступая к изложению мыслей моих, я приму за данное, что уничтожение флота в России было бы важною государственною ошибкою, и если бы обстоятельства вынудили посягнуть на такую меру, конечно, В. В. более кого-либо пожелаете, чтоб это случилось не в Ваше время. Современники могут роптать на расходы, но сами они, а потомство тем более, не простят вам истребления того, что было сочтено необходимым Петром и отсутствие чего может повести к безглавию России и вашего дома. Временные обстоятельства могут требовать экономии и уменьшения сил, но нужно взять в расчет, что все морское не скоро создается вновь, а потому принять систему последовательности, которая соответствовала бы положению финансов, но вместе готовила бы все нужное на случай надобности и сохранила бы способную личность. Имея в виду эти условия, я решаюсь предложить вниманию В. В. следующую программу, рассчитанную на десять лет, необходимых, может быть, для устройства финансов и для перемены в политических отношениях наших».

«Действительность флота, кроме совершенства администрации, зависит преимущественно: 1) от запасов, и в особенности леса; 2) от устройства адмиралтейств; 3) от образования личности и, наконец, 4) от численности и силы судов.

Так как конечный результат в судах искусно управляемый, то я здесь же представлю в

таблице силу, которую, не обременяя финансов, можно иметь в 1866 году. Различные причины, побудившие к такому расчету, и замечания, которыми я постараюсь доказать основательность его, приложатся впоследствии».

«Если расчет этот соответствует средствам бюджета на флот, мы будем иметь в 1866 году двенадцать кораблей, считая "Босфор" и "Цесаревич", и двенадцать корветов, годных на всякое дело; далее на девять кораблей и четыре корвета. Я поставил везде "корабль", разумея в этой категорий и фрегаты больших размеров. Как бы ни заключали о преимуществах тех или других судов, их нужно строить способными брать топливо и провиант на значительное время, чтоб не было пародий вроде "Выборга". Все эти суда я предполагаю строить из дубового леса, не трогая лесного запаса до 1866 года. "Выборг", "Палкан", "Гангут" и "Вола" исключены мною через восемь лет службы. Корабли и фрегаты посылаются в Средиземное море сначала тотчас по изготовле-

	1857	1858	1859	1860	1861
Существующие силы	Выборг, Ретвизан, Гангут, Вола, Палкан, Аскольд, Баян	Выборг, Ретвизан, Гангут, Вола, Палкан, Аскольд, Светлана, Баян	Выборг, Ретвизан, Гангут, Вола, Николай, Палкан, Аскольд, Громобой, Светлана, Генерал-Адмирал, Баян	Выборг, Ретвизан, Гангут, Вола, Николай, корабли №I и II, Палкан, Аскольд, Громобой, Светлана, Генерал-Адмирал, Баян, корветы №I, II и III	Те же, что в предыдущем году
Постройка судов в России	Николай, Громобой	Корабль №I, корветы №№I и II в Финляндии	—	Корабль №III, корветы №№IV и V в Финляндии	—
Постройка судов за границей	Светлана, Генерал-Адмирал	Корабль №II, корвет №III	—	Корабль №IV, корвет №VI	—
Посылкав Средиземное море	Ретвизан, Аскольд	Гангут, Громобой	Вола, Светлана	Ретвизан, Генерал-Адмирал	Корабль№I, Аскольд
Посылка в Тихийокеан	Четыре корвета высокого давления	—	—	Корвет I и II вместо двух посланных в 1857 г.	Корвет III и Баян вместо посланных в 1857 г.
Покупка леса	—	На корабль и корвет	На корабль и корвет	На корабль и корвет	На корабль и корвет

1862	1863	1864	1865	1866	Силы 1867 г.
Ретвизан, Гангут, Вола, Николай, корабли №№ I, II, III и IV, Аскольд, Громобой, Светлана, Генерал-Адмирал, Баян. корветы № I, II, III, IV, V и VI	Те же, что в предыдущем году	Ретвизан, Николай, корабли №№ I, II, III, IV, V и VI, Аскольд, Громобой, Светлана, Генерал-Адмирал, Баян, корветы № I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX	Те же, что в предыдущем году	Николай (со срезанным деком), корабли №№ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII	Николай 10 лет и II 9III и IV 7V и VI 5VII и VIII 3IX и X новые Светлана 10 лет Генерал-Адмирал 9 лет Баян 10 лет 3 корвета по 9 лет 3 корвета по 7 лет
Корабль № V, корветы №№ VII и VIII в Финляндии	—	Корабль № VII, корветы №№ X и XI в Финляндии	—	Корабль № IX, корветы №№ XIII и XIV в Финляндии	3 корвета по 5 лет 3 корвета по 3 года 3 корвета новые
Корабль №VI, корвет № IX	—	Корабль №VIII, корвет № XII	—	Корабль № X, корвет № XV	—
Корабль №II, Громобой	Корабль № III, Светлана	Корабль № IV, Генерал-Адмирал	Корабль № V, корвет № VIII	Корабль № VI, корвет № X	—
—	Корветы №№ IV и V на смену посланным в 1860 г.	Корветы VIII и IX на смену посланным в 1861 г.	—	Корветы X и XI на смену посланным в 1863 г.	—

нии, на что дается два года, а потом русские, проплававши в Балтике год, заграничные два, в том предположении, что они крепче».

«Корветы я предполагаю посылать в Тихий Океан на три года. Двум из посланных в настоящем году придется пробыть четыре года, и все четыре с экипажами, вероятно, останутся навсегда в Амуре. С 1863 года по одному корвету будет оставаться при флоте; их лучше иметь полной силы. Лес будет заготовляться в первые четыре года на корабль и корвет, потому что содержание флота будет стоить менее, а потом, когда флот разрастется, на корабль только. Корветы предполагается строить в Финляндии из тамошнего леса».

«Вдобавок к судам, означенным выше, нужно строить образцовые канонерские лодки трех родов для достижения возможного совершенства в машинах и самых лодках. Из существующих лодок нужно будет держать десять

под вымпелом для навыка офицеров: пять употреблять в шхерах, остальные для портовых надобностей. Когда выстроим удовлетворительные образцовые лодки, начинать подготовлять члены для новых, как то делается у шведов, и даже самые машины».

«Изложивши В. В. последовательный план, с помощью которого можно достигнуть через десять лет комплекта флота, достаточного для господства в Балтике и годного для действий вне ее, я обращусь к четырем основным пунктам существования морских сил и постараюсь выказать необходимость введения должного хозяйства и современных средств постройки.

1. По примеру прочих наций должно скупать лес всюду непременно прочный, дубовый, и строить для него магазины по возможности дешевые, хотя и не столь удобные, как английские. Во всяком магазине можно хранить лес в порядке, по сортам; вытаска его в дело не требует необычайной поспешности.

2. Относительно устройства адмиралтейств. Заведения этого рода должны быть несколько более содержимого флота, а в нашем случае значительно более, ибо, при запасе леса, мы должны быть в состоянии увеличить наши силы, когда обстоятельства изменятся и развитие средств России дозволит действовать шире. Из всех портовых учреждений наших следует сохранить адмиралтейства в Петербурге и Кронштадте только и завезти его в Балтийском порту. Прежнее свеаборгское место подвержено истреблению неприятелем, а другого удобного в бухте нет. Чтоб ни решили в отношении Балтийского порта, всегда Петербург будет главным местом для построек, а Кронштадт для серьезных починок. В Свеаборге если обещать тамошней частной верфи постоянную постройку корветов, средства ее разовьются до такой степени, что верфь исполнит все надобности, если б в военное время пришлось содержать там эскадру. Адмиралтейства в Петербурге и Кронштадте вообще не соответствуют современным требованиям, и все портовые устройства наши, несмотря на наружную пышность зданий и обширность занимаемого пространства, допускают лишь постройки без всякой системы. Отдаление колпинского завода на расстояние, не удобное для наблюдения за производящимися работами, затрудняет всякое дело, и мне кажется, всего лучше обратить этот завод по-прежнему в литейный завод для орудий, изготовления всего относящегося к артиллерии, выковки цепей и якорей. При таком назначении там будет специальность, которую можно поручить артиллерийскому офицеру. Работы эти не требуют постоянного присмотра моряков и у нас образуются свои ученые артиллеристы, дельно изготовляющие все средства сопротивления. Теперешнее дело колпинского завода перейдет в Петербург и тотчас же может быть там начато, если купить завод Верда, способный не только ковать все нужное для кораблестроения, но и делать машины. С этим заводом приобретается огромное место для лесных магазинов, складов лодочных машин и пр. В Новое адмиралтейство и Голландию должно перевести все мастерские, теперь находящиеся в Главном только для затруднения работ, и положивши неизменным правилом не возводить без крайней надобности никаких зданий, если понадобится, то самые простые. Дать Новому и Охтинскому адмиралтействам необходимые машины для всего требующего точности в отделке, а именно пилки, отвода калевок, долбления гнезд, точки пробок, стружки досок, выпилки лекал или карнизов и т. п. Нужно также везде устроить краны, постоянные и подвижные рельсы для перевоза тяжестей и пр., не увлекаясь, однако ж, излишеством машинных, приспособлений. Вообще должно преимущественно поощрять тех инженеров, которые найдут возможным поместить в имевшиеся уже здания новые усовершенствованные средства для ускорения и улучшения кораблестроения, и это будет возможно, если вовсе уничтожить мастерские по всем изделиям, которые частная промышленность столицы доставит лучше и дешевле, а

именно: резную, столярную, фонарную и свинцово-паяльную. Новые здания съедают более всего денег и в огромных сараях Нового адмиралтейства, Голландии и завода Берда найдется для всего место, если не захотят только видеть в мастерских всегда праздничную чистоту, доказывающую, что в них не занимаются работою».

«Галерный порт должно устроить собственно для винтовых лодок и непременно для вытаски их на берег, как сделано в Госпорте. Главное адмиралтейство обратить совершенно под морское министерство, поместив там министра, начальника Штаба, всех директоров и нужнейших чиновников. Такое соединение властей ускорит дела и, избавляя расходов на курьеров, может быть будет даже экономнее».

«В Кронштадте сверх предпринятых уже работ по докам и мартенову Эллингу, мне кажется, нужно выстроить только флигеля для помещения офицеров. До распространения флота сверх штата, указанного таблицею, можно и должно держать его весь в Кронштадте, пока Балтийский порт не представит лучшего убежища. Пребывание всех офицеров в том же месте породит esprit de corps, но им нужно дать помещение, которого теперь нет, и юность, часто против воли, должна приставать у "Черного лебедя" и в других притонах порока и безнравственности. Затем, держась того же правила не тратить денег на здания, следует усердно заняться углублением порта, учреждением угольного депо, улучшением необходимых мастерских механическими пособиями, уничтожением всех, которых можно заменить вольною работою, введением машин и механических молотов, рельсов, проводкой воды на случай пожара и пр., и учреждением Компасной обсерватории по образцу Вуличской».

На Свеаборг и Ревель не тратить ничего.

3. Относительно личности флота. Следует заняться, во-первых, Морским корпусом, как основанием и школою инженеров и артиллеристов. Несмотря ни на какие доводы, должно перевести последнюю в Кронштадт и учредить при ней Ecole de maistrance для образования различных мастеров и возобновления тимерманов. Без этих полезных людей невозможно добиться совершенства и прочности в работах. Морской корпус нужно посылать весь на лето на корабль, где кадеты могли бы практически проходить все преподаваемое в корпусе: брать обсервации, заниматься описью, артиллериею и привыкать к корабельной жизни. Корпусные офицеры должны находиться с ними, но порядок службы вестись морскими офицерами. Кораблю этому незачем выходить в море, ибо кадетам три короткие лета едва достаточны, чтоб присмотреться к расположению корабля, привыкнуть крепить паруса, узнать вооружение и наловчиться на шлюпках. На четвертый и последний год выпускных посылать в море. Производить из корпуса в гардемарины флота и потом уже в мичмана. Вообще, относительно корпуса, прошу позволения указать на предшествующее письмо мое».

«Что касается до офицеров, В. В., вероятно, изволите согласиться, что отпущенные теперь на коммерческие суда или в долговременный отпуск приобретут привычки, не соответственные требованиям службы или изберут занятия, от которых трудно будет оторвать их. Вообще, кажется, на увольняемых теперь не следует рассчитывать. В десять лет кампании в Тихом океане и Средиземном море, от которых не должно отказываться ни по каким экономическим требованиям, произведут, даже рассчитывая на убыль, более пятисот офицеров, если принять должную систему. Система эта указывается самым родом плавания. Проведя два года гардемарином в Черном или Средиземном море, молодой мичман должен быть посылаем в Тихий океан; несколько офицеров, готовящихся в командиры, должны идти туда же. Им нужно назначать награды преимущественно перед плавающими в Средиземном море, ибо кампания в этом море есть сама собою награда, и только подобною

мерою можно возбудить желание к дальним походам. Из возвратившихся командиров корветов можно делать командиров кораблей и посылать их в Средиземное море приобретать более обширный взгляд на морское военное дело; туда же, в награду, посылать молодежь, возвратившуюся из Тихого океана, а из числа старых океанских офицеров делать командиров корветов. В Средиземное море не нужно посылать больших эскадр на показ, а сколько требуется для поддержания известного числа знающих офицеров, и незачем иметь там непременно адмирала. Можно назначать начальником капитана, которого готовят в адмиралы, ибо адмиралов, как и мичманов, у нас нет и нужно создать их благовременным приготовлением. Короче — эскадра Тихого океана будет готовить из командиров корветов командиров кораблей, из старших офицеров-командиров корветов, из мичманов, — знающих лейтенантов; а средиземная эскадра будет служить для всех поощрением и готовить адмиралов, которых можно будет употребить в случае союза или для решения вопросов, где требуется вместе с знанием морского дела ясный взгляд на случайности и знакомство с обычаями чужих стран и народов».

«Смена корветов в Тихом океане через три года подвергнет их суду сословия по возвращении; посылка же туда навсегда постоянной флотилии произведет вредное соперничество или зависть, существовавшую между балтийским и черноморским флотами. В случае войны важно, чтоб корветы были в океане, а собственно для Амура достаточно батарей, лодок, льда и туманов. Разумеется, корветы должны смотреть на реку как на убежище в крайности».

«В посылке офицеров за границу, для присмотра за постройками, нужно также наблюдать систему и назначать помощниками таких, которые в следующий заказ могли бы сами быть главными. Меру эту нужно непременно приводить в исполнение, ибо незнакомый с делом и краем человек потеряет иного времени и может легко ошибиться».

4. Постепенность увеличения флота до двенадцати кораблей и двенадцати корветов видна из приведенной выше таблицы».

«Итак, на следующие десять лет, по моему мнению, должно задать себе следующие задачи и клониться постоянно к разрешению их: 1) заготовить лес на девять кораблей и три корвета; 2) улучшить адмиралтейства до такой степени, чтоб можно было увеличить силы наши, когда обстоятельства позволят; для этого обратить Колпино в завод для литья орудий и крупных поделок, купить завод Берда, устроить кронштадтский завод, снабдить адмиралтейства механическими средствами и устроить Галерный порт; в Кронштадте учредить угольное депо, кончить доки и мартенов Эллинг, устроить компасную обсерваторию и углубить гавани; 3) поддержать личность переформированием Морского корпуса, практическим образованием кадет на корабле, выпуском из корпуса не прямо в офицеры, артиллерийским кораблем, посылкою судов в Тихий океан и в Средиземное море, соединением всего корпуса офицеров в Кронштадте и систематическою командировкою за границу; 4) строить суда за границей для скорейшего приведения флота в комплект, для того, чтоб знать все новое и для устройства лесного запаса и в России, чтоб искусство кораблестроения сохранилось. Постройки должны быть непременно из хорошего леса и производиться неспешно. В то же время нужно, по возможности, готовить флотилию, как самую действительную защиту нашу. Лучшие парусные корабли для блокшивов, остальные разобрать теперь же для очищения гавани и чтоб не тратить средств для поддержки их».

«На Каспийском море не понадобится больших издержек, если мы будем деятельно следить за ненарушимостью трактатов и уничтожать все попытки в самом начале. Если бы углубили волжский фарватер и придумали поощрения для улучшения постройки тамошних коммерческих судов, эти суда при весьма небольшой вспомогательной силе военных

пароходов могли бы подвозить все нужное на Кавказ и перевозить туда войско».

«В Черном море настоящий начальник (Г. Ж. Бутаков), без сомнения, поддержит заведения, существующее в Николаеве; пароходное общество поможет ему в том и, может быть, заведет многое в Севастополе, ибо зимою Николаев недоступен».

«Представя Вашему В-ву взгляды мои на предстоящее десятилетие, приступаю к исполнению воли вашей касательно лица, которое вы изберете одним из главных исполнителей ваших намерений. В моем убеждении, в настоящее время нет во флоте человека, который мог бы принять на себя эту важную обязанность с уверенностью объять все необходимое и под вашим руководством привести все в исполнение. Война лишила нас единственных адмиралов и наделала капитанов, не вполне понимающих надобность флота. Вот почему я решился сказать вначале, что одного начальника Штаба не будет достаточно для приведения в исполнение всего необходимого. Мне кажется, нужно вместе избрать главного командира и начальника Штаба в Кронштадте, знающих капитанов над портами, туда и в Петербург, начальника дивизии, командира кадетского корабля (для артиллерийского уже избран и выбор, без сомнения, превосходен) и теперь же командиров кораблей, которых можно вести в адмиралы с надеждою иметь впоследствии основание употреблять их с уверенностью, что они будут иметь влияние на сословие. Этих лиц достаточно для доброго начала».

«Начальник Штаба будет глазом В. В. везде и может особенно заняться Петербургскими адмиралтействами, но Кронштадт потребует своего начальника, способного привести его в должное состояние. Не колеблясь ни минуты, я укажу на адмирала Шанца как на единственного человека, имеющего для того нужные познания. Если ему дать в помощники деятельного, сравнительно молодого человека, не подчиняющегося безусловно мнениям начальника, не раболепного, и если отстранить прямое влияние его на личность флота, предоставя дивизионному власть над линейными офицерами и выбравши в дивизионные человека достойного, адмирал Шанц, без сомнения, удовлетворится новым положением своим и устроит порт как следует. Но при этом ему нужно дать пристойное содержание и, вновь повторяю, отнять всякое влияние на личность. Его система — не пускать в ход способностей, рекомендованные им до сих пор офицеры ясно то доказывают. В порте он будет нуждаться в специальных знаниях инженеров и мастеров, и все пойдет как нельзя лучше. Почтительная самостоятельность начальника его Штаба и дивизионного командира, а главное, серьезное обращение с ним начальства, сделают из него не только полезного, но и приятного помощника».

«Дивизионный начальник может быть и старше главного командира. При собственном Вашем внимании к личности, нет нужды, чтоб он был человек, выходящий способностям из ряду. На это место в настоящее время, нет, кажется, лучше Новосильского; он будет действовать совершенно сообразно видам В. В. и преследуя по влечению морские мелочи, приохотит молодежь к службе. Разумеется, ему нужно дать название, которое не давало бы повода обидеться назначением».

«В Кронштадте под руководством человека с познаниями, каков Шанц, настоящий капитан над портом, будучи весьма деятелен, удовлетворит всем условиям; но назначение Паскочина в Петербург, несмотря на достоинства его как человека, могло быть пропущено без внимания только равнодушными к делу. Паскочин не имеет и не может иметь познаний, нужных для капитана над портом, прослуживши всю жизнь адъютантом у дивизионных начальников и дежурным штаб-офицером. На это место нельзя избрать человека более ревностного и с большим здравым смыслом, хотя по наружности простого, как Гувениуса . Для артиллерийского кораб-

ля В. В. уже сделали выбор, а для кадетского есть офицер весьма достойный, способный, соединяющий с знанием морского дела и строгими о службе понятиями нужные теоретические познания, — Кузнецов, бывший командир "Орла". Затем, из известных мне офицеров, остаются Перелешин, Лесовский, Унковский, Тауб, Римский-Корсаков, Попов и Лихачев. Первые пять, всегда шедшие прямою линиею, будут иметь влияние на сослуживцев и из них, без сомнения, выйдут хорошие адмиралы. Попов известен в.в., он, к сожалению, не говорит ни на одном иностранном языке, что не мешает ему, однако ж, следить за всеми новостями и не воспрепятствует быть добросовестным, горячим и вместе разумным исполнителем вашей воли в Кронштадте в качестве тамошнего начальника Штаба. Попов очень ловок и, без сомнения, устранит все неприятности, которые могут произойти от угловатого характера главного командира, бывши уже между двух огней при покойном Корнилове. Лихачев человек весьма образованный и грамотный. Дюгамель известен В. В. по Средиземному морю. Из настоящих адмиралов я мог бы назвать одного только, способного быть начальником Штаба; но В. В. знаете, что деятельность, которою он славился в молодых летах, теперь совершенно оставила его и, если он может быть полезен, то независимым начальником только».

«В заключение смею уверить В. В-во, что я выполнил волю Вашу, как умел и по совести. Вам судить, верны ли мои взгляды и так ли я понимаю людей. Желаю усердно только, чтоб в случае ошибочных с моей стороны заключений, все, здесь сказанное, не имело бы влияния на ваши решения».

Из приведенных подробностей видно, что в предложенном мною плане размещения личностей более или менее существовала некоторая неопределенность взаимных отношений. Избежать ее, разграничить резко и ясно обязанности каждого было решительно невозможно при ненормальном положении августейшего начальника. Я устраивал техническую и личную часть, имея ввиду это положение, принимая американскую систему компромиссов; но рекомендованные мною деятели имели между собою общую связь: все они смолоду служили во флоте, приобрели в нем известность, имели дорогое для них прошедшее и хотели идти тем же путем в будущем. Я воспользовался предложением Великого Князя, может быть, не в меру, без всякого сомнения более, нежели хотел того Головнин; но вторичная перестройка морского управления обещала быть окончательною, и в моем понятии — знаменательные слова: «Не флот для министерства, а министерство для флота существует», — не должны были стать пустыми звуками. Моею запиской выражались нужды не канцелярий, а флота, в то время, когда решали новый склад администрации. По предшествовавшим примерам, я имел основание надеяться, что голос мой будет услышан и доводы мои примутся во внимание.

По словам Головнина, не замедлившего ответом, Великий Князь лично занялся моими предположениями и сделал на них возражения. В особенности генерал-адмирал нападал на учреждение начальника Штаба, хотя прежде сам видел в нем необходимость и по известиям, мною полученным от его приближенных, хотел с самого начала избрать меня для этой должности. Эти известия сообщены мне гораздо позднее, по возвращении моем в Россию. Влияние непрестанно налегавших на него назойливых, и вместе с ответом на мои предложения я получил окончательный проект морского министерства, в котором обязанности начальника Штаба не было, а все, к ней относившееся, было сосредоточено в инспекторском департаменте и преимущественно в лице директора его. Когда за два года перед тем уничтожали должность дежурного генерала или, точнее, топили графа Гейдена, исполнявшего ее, уверяли, что название слишком веско и без меры увеличивает значение инспекторского департамента. Теперь при скромном ти-

туле директора значение это возрастало несравненно более. Не желая сдаться без отчаянного боя, я написал замечания на сообщенный проект, хотя видел, что дело было уже проиграно и что канцелярские связи Головнина брали верх над надобностями и пользою сословия; что выдвигалась личность, умевшая ловко докладывать о том, чего не понимала и к чему не могло быть у нее ни малейшего сочувствия. Инспекторский департамент возводился в главнейший орган генерал-адмирала не для флота, даже не для генерал-адмирала, а для его тогдашнего директора Краббе, в котором Головнин был уверен найти удобного сподручника.

«Я получил через барона Боне (писал я Его в-ву от 19/31 августа 1858 года) несколько проектов по разным вопросам, и, хотя в этот раз ни на один из них не требуется моих мнений, из любви к флоту и преданности В. В-ву решаюсь выставить недостатки, вкравшиеся в проекты. Мои замечания на этот раз касаются предмета слишком важного и потому я прошу В. В. милостиво принять их и извинить невольную энергию выражений, если б она где-либо вкралась противно моему намерению».

«В проекте морского министерства весьма резко отделена хозяйственная часть от личности; последнюю В. В. предоставляете себе, без сомнения, в основательном заключении, что она есть важнейшая, и в убеждении, что влияние Ваше на личность гораздо полезнее всех административных усовершенствований и хозяйственных мер. С первого взгляда кажется, что по новому проекту судьба офицеров, служащих во флоте, обеспечена непосредственным надзором Вашего В-ва; но, вникая в предмет глубже, я, по крайней мере, вижу только желание с Вашей стороны к такому обеспечению, но не могу открыть в проекте гарантии, что это прекрасное желание могло быть выполнено. Более даже: если проект этот, к несчастию, приведется в исполнение, весьма скоро горькие последствия выкажут несообразность его с той стороны, о которой начальник в вашем положении следует наиболее заботиться — со стороны личности.

Пока не получу приказания В. В. не выражать моих взглядов, не перестану почтительнейше настаивать в убеждении моем, что никакому усилию нельзя лишить человека великих даров природы: чувство справедливости, разума и личной гордости. Только питая первое несомненно беспристрастными мерами: и удовлетворяя двум последним, благонамеренный начальник привяжет к себе подчиненных. Никакие материальные выгоды в человеке, хорошо рожденном, не потушат этих светильников, зажженных божественною рукою. К улучшению материальному скоро привыкают, а увеличивать благосостояние беспрестанно для удовлетворения ненасытных желаний нет ни средств, ни возможности. Несравненно утешительнее для подчиненных, гораздо долее остается в них впечатление, производимое всяким новым доказательством попечительности начальника об их нравственном достоинстве и спокойствии. Если бы материальными выгодами вы и заслужили привязанность массы, одними ими вы не создадите людей, которые, в случае надобности, восторженно выполнили бы долг, чего и В. В. и Россия в таких случаях потребуют. На это способны только люди, довольные нравственным своим положением».

«Прочтя со вниманием проект образования министерства, всякий тотчас заметит, что расходы сумм и все хозяйственные операции проходят несколько инстанций до утверждения Управляющим или Вашим Высочеством. В этих инстанциях, не слишком многосложных для замедления дел, есть, однако ж, ручательство анализа и вероятность обеспечения по свойственной человеку наклонности осторожно соглашаться с мнениями других. В образовании всех департаментов проведена даже мысль, но в важнейшем ее нет совершенно. Ваше высочество, вероятно, указываете, что я говорю об инспекторском. Новое предполагаемое образование его, при уничтожении ча-

стных инспекций, поистине можно назвать чудовищным. Проникнутый ужасом, я умоляю В. В. обратить внимание Ваше на огромное влияние на всю личность флота одного человека, который при достоинствах делопроизводителя, департаментскому начальнику нужных и требующих особенных наклонностей, при огромных письменных занятиях, может быть знает многих в лицо, но личностей знать не может. В министерстве внутренних дел действия департаментов потому безвредны, что круг их слишком обширен. Нелепость централизации умеряется препятствиями расстояний, выборами и другими случайностями. Флот не довольно велик, чтобы влияние инспекторского департамента не было чувствительно. Притом нельзя допустить в военной службе проволочек и неповиновений, которые иногда спасают в министерстве внутренних дел целые губернии от гибельных мер».

«Централизация личности и всех движений эскадр в департаменте, обязанном тратить все время на текущие дела, поведет неминуемо к тому, что личность уступит место бюрократическому порядку, и полезная жизнь флота омертвеет в процессе нумерации. Приступая к доказательству истины моих уверений, считаю нужным сказать здесь же, что по новому проекту инспекторский департамент управляет флотом под наблюдением Вашего В-ва, точно так же, как управляющий министерством ведает административной и хозяйственной частями. Собственные наклонности сближают Вас с флотом несколько более, но нельзя отвергать, что многочисленные занятия Ваши по другим отраслям государственного управления, в особенности участие в важном современном вопросе, от которого, для блага России, Вы не должны уклоняться, делают это личное знакомство недостаточным и в самом деле оставляют на долю инспекторского департамента более, нежели административный только порядок. Против влияния докладчиков не может устоять никакая благонамеренность, но кроме нравственных причин есть причины чисто физические. При централизации всех инспекций в департаменте труд его увеличится, не переставая быть механическим трудом. В. В. давно увидели необходимость отделить техническую часть от хозяйственной,по несовместности способностей, годных на ту и другую, и по невозможности требовать от одного лица одинакового внимания к бюрократическому процессу и к живому делу. Не менее резко различие между автоматическим трудом и трудом разумным. Обремененный первым по существу дела, инспекторский департамент не будет иметь времени вникать в смысл издаваемых постановлений. Если Вашему В-ву угодно немедленное доказательство верности предположений моих, позвольте указать на проект нового портового устройства. В нем старым артиллерийским офицерам, штурманам, медикам и даже комиссариатским чиновникам указана удовлетворительная будущность. Главные лица по этим частям в портах зависят единственно от главных командиров, т. е. не обременены излишним начальством, а главный инженер, один из всех, лишен этого утешения и подчинен капитану над портом, по всей вероятности менее его служащему. Важнейшее сословие после чисто морского лишено перспективы сравнительно независимого положения, и это тогда, когда инспекция его уничтожена. Может быть, ход дел от этого несколько выиграет (хотя дозволительно сомневаться, но можно ли унижать целое сословие перед прочими для бюрократического удобства)».

«В числе атрибутов инспекторского департамента я вижу, что движения эскадр входят в пределы его занятий, эти движения ведут к результатам, требующим соображений и постоянного внимания для достижения полезной цели. Есть ли время департаменту вникать в смысл этих движений и соображать их. Имеет ли административный человек познания и способности, чтоб заниматься этим. Будет то же, что было с хозяйственно-исполнительными департаментами. Дела будут ведены бес-

сознательно, автоматически, не все, потому что будет надзор Вашего В-ва, но из посылки судов в разные моря никто не выжмет для Вас фактов, полезных для будущего и замечательных в настоящем; никто не будет ревностно неутомимо радеть, чтоб приобретенная опытность проникла во весь флот, во все сословие. Угодно ли пример и в этом случае. Дозвольте указать на замечательный рапорт Унковского о плавании "Аскольда". Он был напечатан в Морском Сборнике, но этого недостаточно. Часть его нужно заставить читать приказом. Самое плавание было особенное. Оказывается, что Гобсбург не совсем непогрешим и обнаруживаются промахи в постройке и недосмотры на фрегате, которые могли бы подействовать вредно на здоровье людей. Предложил ли департамент объявить эти грешки по флоту, чтоб их избежали будущие строители и плаватели?».

«Переписка офицеров, посылаемых за границу, и наблюдение дома за усовершенствованиями, вводимыми во всех флотах, могут ли быть ведены департаментом? Сообщая получаемые известия специальным лицам, можно ли ожидать какой-либо системы, и на ком лежит обязанность настаивать, чтоб обратили на них внимание, а не просто принимали к сведению. В 7-м параграфе сказано, что директор дает отчет генерал-адмиралу за минувший год о движениях флота. Не верю, чтоб В. В. довольствовались отчетом арифметическим, а отчета разумного, в котором из фактов были бы выведены причины и последствия, департамент, конечно, дать не может. Но важнее всего нравственный вопрос о докладах. Как ни смотреть на личные сношения В. В. с флотом, человека несколько практического трудно уверить, что достаточно одного директора департамента для посредничества между нами и Вами, и надобность присутствия другого лица при докладах о личности становится очевидною. Лицо это должно быть избрано из среды действительно служивших во флоте; это наименьшая дань, которую следует заплатить сословию, всегда и везде недоверчивому к административным личностям, не разделяющим ни его трудов, ни его образа мыслей, но, вопреки всем усилиям, имеющим влияние. Тщетно силиться уничтожить это влияние самостоятельностью начальника; оно будет всегда на практике, и все, что можно сделать — это создать другое, антагонистическое влияние. На двух основывается влияние главной власти очищенное в горниле беспрестанных поверок. Ссор не может быть при вашем личном влиянии, а будут только полезные противоречия».

— «Последнее доказательство необходимости разумного отношения к личности кроме того, которое вы сами имеете на нее, касается рассадника этой личности — Морского корпуса. В памятной книжке распределены дни доклада у Вашего В-ва всем отдельным начальникам частей. Сначала я принял за пропуск отсутствие дня доклада директора Морского корпуса, но потом увидел, что он докладывает управляющему. Читая в проекте неоднократно, что Ваше В-во представляете себе личность, я не мог не быть поражен, что человек, воспитывающий ее, не имеет обязательного доступа к Вашему В-ву, особенно теперь, когда необходимость перемены воспитания очевидна. С какою пользою такой человек обратится к воспитанному на старых началах, и кто, кроме Вас, может понять требования воспитания современного».

— «Приведенные мною доводы и примеры достаточно доказывают, что учреждение инспекторского департамента в размерах, предположенных в проекте, есть учреждение чудовищное. Одному лицу предоставлено слишком много влияния на главнейший элемент флота и приданы обязанности, которые оно не в состоянии выполнить с пользою для флота при громадной бюрократической работе. Для разделения этого влияния и для отделения работы механической от разумной, нужно учреждение начальника Штаба. Обязанности его видны из вышеприведенных подробностей; то, чего департамент физически делать

не может, должен делать начальник Штаба. Будучи из флота и находясь с флотом в беспрестанных сношениях, он должен знакомить Ваше В-во с личностями, ускользающими от Вашего внимания при разнородности Ваших занятий, а поэтому присутствовать при докладах департамента. Его непосредственное влияние должно быть распространено только на учебные заведения, артиллерийский корабль, технический комитет, и, когда Вы сочтете нужным, на суда, плавающие отдельно, не под флагом. Переписка с посылаемыми за границу офицерами и систематическое наблюдение за всеми присылаемыми от них и от плавающих судов известиями, равно компиляция всех донесений для Вашего В-ва, должны входить в его обязанность.

Его же долгом при уничтожении инспекций будет участие ко всем составным личным элементам флота, которые, при новом порядке, не сольются с ним, а унизятся без особого к ним взимания. Учреждение такой обязанности не поведет к издержкам.

Предполагая, что начальнику Штаба свойственно быть членом Технического комитета, жалованье будет ему по комитету. С столовыми, достаточными для знакомства с личностями и квартирными для помещения кроме себя адъютанта и двух писцов, которые отойдут от инспекторского департамента из отделения движений флота. Начальник Штаба, при коммерческой форме ведения дел, почти без всякого штата и без власти, которая могла бы быть употреблена во вред, может быть в высшей степени полезен для флота именно для Вашего В-ва; исключительное же влияние инспекторского департамента, уже испытанное 25-летним опытом, поведет к растлению личности точно так же, как прежде, хотя не столь скоро, по разности между личностями главных начальников. Еще раз прошу Ваше в-во простить мою откровенность, если она выразилась резко. Заботясь об облечении ее в формы, принятые лестью, я опасался бы не доказать истины... ».

В 1858 году Константину Николаевичу можно еще высказывать откровенно прямые воззрения. Припомню здесь слова его мне при последующем горьком расставании моем с службою: «Что из него сделали окружающие». Сказал это Его Высочество, относя слова свои к государю, весьма немилостиво поступившему со мною, и я повторяю: «Что сделали окружающие из человека одаренного, благонамеренно-порывистого и человечного, несмотря на свое происхождение». Слова эти я отнесу к моему покровителю, в свою очередь поддавшемуся влиянию искусно составленного скопа хитростей, себялюбия и ловких неспособностей.

Вероятно, в утешение я скоро получил от Головнина ответ на письмо о том, что предстояло мне по возвращении, в котором я выражал желание командовать фрегатом в продолжительной кампании. Выставя главнейшие удары мои против директора инспекторского департамента Краббе, тогда уже домогавшегося захватить влияние на флот, совершенно ему чуждый, не могу воздержаться, чтоб не поместить здесь и письмо Головнина, рисовавшее программу всей моей служебной жизни. Из переписки по новому проекту министерства, читатель, вероятно, выведет невыгодное для проницательности заключение и подивится: как мог я впоследствии поверить искренности человека, хищническим намерениям которого так усердно противодействовал, а из фантазии Головнина усмотрит, как далеко расходятся предположения с действительностью.

«Великий Князь, — писал Головнин, — прочел письмо Ваше ко мне и поручил мне сообщить Вам следующее:

1. Его Высочество, будучи весьма высокого мнения о Ваших способностях и познаниях и не сомневаясь в Вашем усердии к службе и личной преданности к нему, имеет Вас ввиду для занятия со временем высших должностей по морскому ведомству, как собственно во флоте, так и по министерству.

2. С этою целью Его В-во предполагает дать вам командование фрегатом, а потом целым отрядом в разных морях и затем поручить временно управление одним из департаментов и одним или двумя портами по очереди, возвращая опять к морской деятельности от занятий береговых. В. К. полагает, что для высших начальников береговых учреждений морского министерства необходимы знания офицера, ходившего в море, а для флотоводства весьма полезно знакомиться с береговыми учреждениями, законами, порядком делопроизводства и финансовыми средствами министерства.

3. Имея все сие ввиду, В. К. полагал по прибытии фрегата Вашего в Кронштадт назначить вас командиром оного и, оставя на зиму спокойным, отправить весною 1860 г.: а) или в Срезидемное море на два года в распоряжение посольства в Константинополе или Греции. Подчинение посольством есть только номинальное, и, состоя в распоряжении посланника в Константинополе, Вы имели бы главное пребывание в Смирне. В случае такой командировки вы будете иметь беспрерывно отдельные плавания, независимые от эскадры, которая будет находиться в Средиземном море; б) или отправить к берегам Амура, если состоится предположение Его В-ва отправиться туда с тем, чтоб перейти на фрегате от устья Амура в Сан-Франциско и Панаму;

в) или отправить в Мексиканский залив, если Его В-во прибудет к Панаме на другом судне, чтоб идти на вашем фрегате в Соединенные Штаты и оттуда в Европу.

4. В. К. имеет в виду брать постоянно из флота офицеров в адъютанты, и, узнав их ближе, обращать опять во флот, назначая преимущественно командирами, но не оставляя в звании адъютанта сколько потому, что почитает звание командира слишком высоким и самостоятельным, столько и потому, что в течение десяти или пятнадцати лет явилось бы слишком большое число офицеров, носящих звание адъютантов Его В-ва и не исполняющих обязанностей той должности. Притом и сумма, которою В. К. располагает на содержание своих адъютантов, слишком ограничена. В настоящее время из восьми адъютантов шесть не исполняют эту должность за разными поручениями. При В. К. находятся только Войе и Лихачев, но и для них он помышляет о серьезном деле. Но желая доказать лично вам благодарность за построение фрегата и приблизить к государю отличного офицера, В. К. имеет намерение ходатайствовать при первом удобном случае о назначении вас флигель-адъютантом».

Дальним походам Е. В-ва я не верил и все принял за обычную Головнинскую канцелярскую стряпаю, к которой давно начал привыкать уже. Почти сорока лет отроду меня, служившего на море и в различных положениях на суше, следившего усердно за всем по сознанию самого начальства, хотели протягивать хитростною колеею и в то же время готовили Морского министра по Божьей милости, почти сверстника моего по летам, никогда нигде не служившего, в сословном и специальном смыслах без роду и племени. Для предстоявшего политического жонглерства — нельзя назвать другим именем Жилблазо-донкихотские похождения, которые готовил Великому Князю его ментор — требовалась не любовь к делу, а исключительно личная преданность, готовая на всякие сделки с бессовестными и с собственною своею совестью. И к таким людям, постоянно вытеснявшим меня из выгодных положений, и вдобавок считавших меня восторженным простаком, потому что я не выносил хладнокровно обдумываемых низостей, благодушный, чуждый недостойных таинственностей монарх упрекал меня в неблагородности.

В последнем письме моем из-за моря заключалось строгое осуждение гонения на журнал «Парус» за статью Погодина о морском управлении. К либерализму Головнина я давно уже присмотрелся; в наклонности его мерить двумя весами и мерами я не сомневался, но собственная совесть требовала высказаться, и я написал к нему следующее: «Прежде

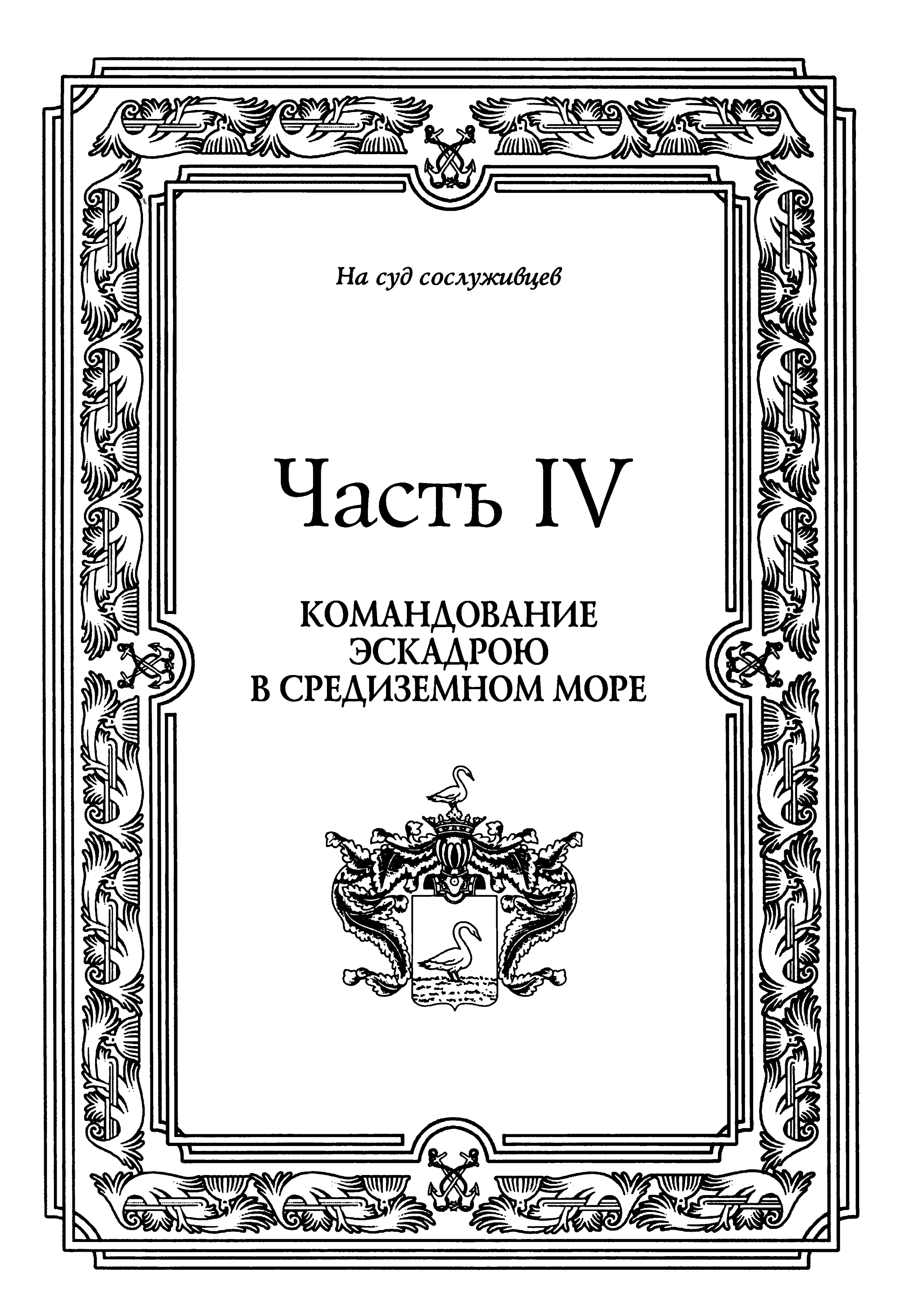
прямого ответа на ваши письма от 7 и 23 февраля (1859 г.), позвольте поговорить о грустно-интересном известии, полученном мною из России. Кроме того, что дело относится до флота и его руководителя, в нем вопрос огромной важности, касающийся России вообще. Не переставая быть моряком corps et âme,[17] я считаю долгом участвовать, желаниями по крайней мере, в судьбе моего отечества, и если обстоятельства дают мне возможность замолвить подчас мне слово не совсем бесполезное даже не но прямому делу моему, долг совести побуждает меня помнить, что я прежде всего русский, а потом уже русский моряк. Мне пишут, что журнал "Парус" преследуется неумолимо за замечания Погодина о морском управлении. Весьма вероятно, есть и другие причины, но как несомненно Погодин позволил себе намеки на управление флотом, то натурально гонение на "Парус» приписывается высокому морскому влиянию. Я никак не дерзаю допускать мысли подобного отречения от собственного знамени, mais les apparences ontquelquefois la force des faits[18] и в этом случае, мне кажется, враги наносят Его В-ву страшный удар, облекая ядовитые стрелы свой в норму услужливости. Отстранить его можно только блистательным образом, именно вновь поставя "Парус" и дозволя ему раздуваться по произволу, разумеется, нейтрализируя его действие искусным управлением и другими противопоставленными ему парусами. Дело не в бреднях Погодина, которых слушать и не следует, а в сохранении принципа, в верности однажды принятой идеи, без чего, как я прежде писал Вам, c'ent est fait du prestige des princes.[19]

Дело в пользе целого края. Никакие административные улучшения не укоренятся без будущей силы гласности, и Великому Князю, в этом случае, употребить свое влияние не только можно, но должно; это будет и расчетливо, и возвышенно. В его положении нужно делать не только должное, но возможное; разбирая его действия будут добиваться не того, что он сделал, а того, что мог бы сделать».

Этим сердечным советом я заключал почти трехлетнее пребывание мое в Штатах. Скоро я оставил их и через Шербург возвратился в отечество.

Примечания

[1] Одною честностью своих намерений.
[2] Паспорт.
[3] Точность есть учтивость королей.
[4] Слишком много бумаг, в этом наша беда.
[5] Личная гвардия Наполеона (телохранители).
[6] Мы будем очень рады увидеть его снова.
[7] Где это слыхано, чтобы пускаться в плавание в Рождественский шторм?
[8] Господа. (Примечание составителя).
[9] Легкий, открытый экипаж.
[10] Бывший.
[11] Настоящего положения дел.
[12] Сторонниками свободной торговли.
[13] Забытый, укромный уголок.
[14] Мой старик или моя старуха.
[15] Ничего незнайки.
[16] 1857—1858 гг.
[17] Телом и душой.
[18] Но видимость подчас равносильна факту.
[19] Конец престижу принцев.



На суд сослуживцев

Часть IV

КОМАНДОВАНИЕ ЭСКАДРОЮ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ГЛАВА I

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АМЕРИКИ

Первые шаги в Отечестве. Мой проект резервного флота. Меня не пускают в министерство. Поход в Англию. Опять Брунов с его вниманием к соотечественникам. Я перестаю быть смоленским помещиком. Политическое состояние Европы в 1859 году. Взгляд на внутренние дела. Приготовление мое к плаванию в Средиземном море. Резня христиан на востоке изменяет мое назначение. Государь провожает меня в новый крестовый поход. Князь Горчаков заменяет обязанность архи-канцлера обязанностью архиерея. Мои этапы на пути в Сирию. Самоотвержение лейтенанта Фальбе. Практическое значение флота в смысле государственном.

Первые дни возвращения в Россию оказались весьма хлопотливы. Нужно было рассчитать американскую команду, завести хоть поверхностный порядок во вновь набранной своей и приготовиться к Высочайшему смотру, назначенному всему флоту. Великий Князь требовал, чтоб фрегат «Генерал-Адмирал» стоял в линии, как последний образчик строительного искусства, а после смотра тотчас отправился бы в Англию для обратного перехода его высочества в Россию. Путешествие из Кронштадта к Уайту генерал-адмирал располагал совершить на фрегате «Светлана», уходившем в Средиземное море.

До общего смотра флота государь удостоил фрегат личным посещением в гавани, благодарил меня весьма милостиво и поздравил флигель-адъютантом, давши накануне Владимира 3-й степени. Это было сигналом нападения на меня двора. Ездить на фрегат стало модою и мне не давали покоя знатные и страдающие угодливостью к знатным посетители. Все более или менее радовались моей удаче и дивились, что из адъютантов великого князя я попал прямо в флигель-адъютанты. Таких примеров будто не бывало иначе, как в случаях смерти Великих Князей.

Еще в Штатах я получил от великого князя милостивое уверение, что он не хочет распоряжаться моею служебною карьерой без моего ведома. Переписка касательно перемен в морской администрации, которую я приводил прежде, понятное каждому пристрастие к произведению собственного труда и соображений, наконец, скажу прямо, скромность, понудили меня просить командование выстроенным мною фрегатом с правом на двухгодовую заграничную кампанию.

Просьбою этою я думал отстранить всякое сомнение на счет бескорыстия замечаний моих о предполагавшейся административной ломке, удовлетворить собственному чувству привязанности к фрегату, на котором не вбили гвоздя без моего ведома, и, не переступая

законов приличной самооценки, удалиться еще на два года от арены подвигов Головнина, в расчете, что понадобится, наконец, успокоить непрестанно волнуемое море, и тогда с опытностью человека, следившего извне за всею суматохою пересоздания морской администрации и ее последствиями, заняться, если потребуют, усмирением стихий. Великий Князь согласился на мою просьбу, и я был назначен командовать фрегатом.

С 1854 года, как читатель мог уже заметить, я принимал деятельное участие во всех вопросах, касавшихся до флота. Смело говорю, что ни одно предложение почти, ни малейшая перемена по какой бы то ни было отрасли управления не миновали моих рецензий и критических анализов; многие от меня исходили, и, несмотря на недостаток времени, отнятого прямыми поручениями великого князя, я находил возможность усидчиво разбирать все компиляции плодовитого Головнина, писать на них возражения или делать замечания.

Во всех присутственных местах морского министерства долго хранились, вероятно и теперь хранятся, мои докучливые, как оказалось, мнения, опровержения и настояния. Убедившись по возвращении из Америки, что несмотря на пышную тираду — «не флот для министерства, а министерство для флота существует» — заботились преимущественно о министерстве, я решился, с республиканскою откровенностью напомнить великому князю его девиз, убеждал его, что материальные выгоды, доставляемые новым положением о министерстве, привлекут к столам с палуб кораблей все способности и советовал единовременно приступить к реформе строевого состава, от которого зависела честь самой службы и выполнение расчетов правительства. По уничтожении самой действительной части флота на Черном море многие способные и вдобавок оказавшиеся доблестными личности оставались без дела; с другой стороны, накопилось много лиц в высших чинах, совершенно неспособных учиться наступившему на нас новому, таких, которые никогда не согласились бы признать прежнюю парусную науку, уже не господствующую, исключительно и трудно подчинились бы новым гуманным воззрениям, электризовавшим русское общество. Чтобы дать место живым силам, я предложил отжившее успокоить сохранением им всего содержания, даже внешней важности, с которой они свыклись, и правом жить, где хочешь. Мысль моя с некоторым изменением относительно содержания была приведена в исполнение учрежденным резервом. Разумеется, я заимствовал ее во флотах других держав, но принял в соображение чисто наши особенности, именно то обстоятельство, что отсталость лиц, подлежавших увольнению, у нас зависела гораздо более от ошибочности прежних взглядов власти, нежели от собственного тех лиц равнодушия к обязанности.

Записка эта составлялась в угаре изготовления фрегата к плаванию в Англию, прерываемого придворными условиями, наложенными на меня новым званием.

По поводу записки были в Стрельне три-четыре сеанса, на которых великий князь сопоставлял меня с Головниным, соглашавшимся со мною в главном, но ... ставившим тысячи сомнительных но, выказывавших какие-то затаенные замыслы. Какие именно, объяснилось очень скоро.

Перед уходом на Уайт с великим князем Головнин приехал ко мне и просил несколько минут для откровенной беседы. В это время управлял министерством на прежнем основании, т. е. как помощник генерал-адмирала по хозяйственной части и как прямой начальник департаментов только адмирал Метлин. После неудачных попыток соединить в помощнике ответственность перед государственным советом с покорностью безответственному генерал-адмиралу, бог знает на каком основании остановились на бывшем Черноморском интенданте, всю свою жизнь бывшем неудобным подчиненным.

Великий Князь еще в начале своей административной карьеры смотрел на Метлина, как на необходимого ему пособника. Упорный Метлин, не видя возможности согласить смету с требованиями беспрестанно врезавшегося в нее генерал-адмирала, уверенный, что не найдет в навязанных ему помощниках сочувствия к необходимой борьбе, увлекся новыми взглядами, особенно выпукло выставленными в присланной из Америки для печати статье «Новый взгляд на старое дело». Он думал найти во мне и, конечно, нашел бы, стойкого единомышленника и обратился к великому князю с официальным ходатайством о производстве меня в контр-адмиралы и назначении его товарищем. Все помнивший Головнин напомнил великому князю о моей просьбе командовать фрегатом, и Метлину было отказано под предлогом, что я необходим в линии и что производство мое оскорбит многих. Тогда же произвели вице-директора инспекторского департамента А. В. Воеводского, особенно флоту неизвестного, за три года труда совершенно отрицательного, ограничивавшегося постепенным уменьшением личного состава. Но все это делалось для открытия пути директору департамента, заменившему слишком влиятельного дежурного генерала несравненно большим влиянием, хотя под менее громкою фирмою. Таким образом, в следующем году, когда Метлина уволили, меня на пути не было. Откровенный с друзьями Александр Васильевич[1] рассказал мне наивно о всех переговорах и в особенности налегал на памятование о моем собственном желании. Со мною были до крайности милы, когда не могли еще быть уверены, успешно ли кончу возложенное на меня поручение, а когда исполнением остались довольны, когда великий князь, выражаясь обо мне, назвал меня надеждою флота, не потрудились до решения выведать мое мнение. Может быть, я предпочел бы пирог черствому хлебу. Позволю себе внести здесь, что через несколько месяцев прибыл в Кронштадт из Тихого океана Унковский на своем «Аскольде», жестоко страдавшем от тифонов искрепленным ретивым командиром столько же экономно, сколько искусно. Грейг приехал в Кронштадт, где я тогда жил, пощупать моего мнения касательно приличной для Унковского награды, и когда я указал на контр-адмиральский чин, возразил, что Великий Князь не захочет оскорбить меня, Лисянского и других. Я вспомнил о прошлогоднем сомнении генерал-адмирала касательно моего производства и отвечал с жаром, что чин принадлежит Унковскому по праву, что Великому Князю предстоит прекрасный случай высказать, что служба на море ценится по крайней мере столько же, сколько в теплых роскошных комнатах адмиралтейского здания, а за последнюю давали несравненно большее вознаграждение денежное и более удовлетворяли честолюбие: произвели же во всю жизнь командовавшего каким-то хромым пароходом на безвестном Каспии Воеводского.

В начале августа 1859 года, выдержавши смотр и наслушавшись разных лестных отзывов (меня все еще продолжали хвалить), я отправился к Уайту, где стояли уже «Светлана» и перехваченный на пути из Средиземного моря корвет «Баян». Великий Князь жил в Райде совершенно частным человеком, но присутствие эскадры вводило его в искушение. Он приезжал к нам весьма часто генерал-адмиралом и в одно из таких посещений хотел выказать решительным образом свое неудовольствие командиру корвета «Баян». Поистине капитан Истомин вполне этого заслуживал, но в рейде жил тогда Герцен и несколько его товарищей.

Справедливая взыскательность великого князя непременно была бы истолкована превратно и произвела бы весьма дурное впечатление в стране, где так резко отделяют официальное положение человека от отдохновений и развлечений, для него необходимых. Я старался отвести от командира корвета направленный на него удар и успел в этом. Великий Князь скоро уехал в Лондон, а «Баян» отправился в Кронштадт.

В Лондоне наняли для Великого Князя и всех сопровождавших его Hork-Hotel. Здесь я снова был свидетелем, как член нашего царственного дома внимателен к соотечественникам на чужбине — и в этот раз в присутствии представителя России, нуждавшегося в хорошем примере. В Англии совершенствовались по разным отраслям несколько молодых русских, преимущественно принадлежавших ко флоту и морскому управлению. Великий князь позвал их всех к обеду и пригласил Бруннова. Перед обедом Его В-во представил всех присутствующих посланнику, разумеется, их вовсе не знавшему, и Бруннов, при всем уме и находчивости, а passй un mauvajs quart d'heure.[2]

При каждом имени он повторял одно только: «не имел чести с Вами видеться, я предполагаю, что Вы изволили только что прибыть», - и оказывалось, что представляемый жил уже годы под покровительством посла. Это было мучительное и вполне Брунновым заслуженное наказание. На обеде присутствовал молодой лейтенант Пещуров, самым неприятным образом напоминавший послу его равнодушие к соотечественникам. К Пещурову обратились из Бордо с просьбою выслать некоторые вещи для строившегося там фрегата «Светлана». Он отнесся в магазин, с которым постоянно имел дело, и требуемые предметы были отправлены, но по английскому обычаю счет не присылали довольно долго. Наконец, в магазине понадобилось закончить счетные книги, и к Пещурову послали реестр забранных вещей с просьбою уплаты. Накануне ничего не подозревавший Пещуров перебрался на другую квартиру, оставя на прежней свой новый адрес. Переборка последовала вследствие неприятностей, и хозяйка в отмщение ответила посланному из магазина, что птица улетела и едва ли ее поймают. Поставщик поставил на дыбы полицию, употребившую, разумеется, самые решительные меры. Найти Пещурова было очень легко, но нелегко было взятому вечером врасплох несчастному выплатить мгновенно счет в несколько десятков фунтов. Так как Пещуров был выставлен полиции укрывавшимся должником, никаким клятвам его не поверили и отвели в тюрьму, где бедный просидел целые сутки с ворами и мошенниками. Наконец недоразумение объяснилось, и его выпустили. Великого князя чрезвычайно оскорбила такая случайность с офицером, весьма хорошо ему известным своими правилами и совершенно невинным. Бруннов отговаривался строгостью законов Англии, но его собеседника нельзя было уверить, что та же строгость законов не воспрещала личное заточение без причины и, конечно, тотчас оправдала бы Пещурова, если б официальные защитники русских, которым он дал знать о случившемся с ним, соблаговолили, говоря языком Бруннова, вспомнить, что на них лежал долг защищать своих. Трапеза в Hork-Hotel, без сомнения, памятна барону. Не желая оставить в великом князе дурного впечатления, он пригласил его со всей свитой к себе обедать. Относительно меня барон счел нужным просить особенного разрешения Его В-ва.

Я заключил, что Филипп Иванович изволил остаться тем же, чем был тому пять лет, и под самым пустым предлогом отклонил его приглашение.

В начале сентября мы возвратились в Кронштадт. На пути в Каттегате нас затала бурная мрачная ночь. Я держался в узкости, взявши все меры предосторожности, и выжидал пока погода прояснится. Великий князь не приказывал, а советовал бросить якорь, на что, принимая в соображения местные условия, я никак не соглашался. Не желая входить в мои распоряжения как ответственного командира, он подсылал ко мне Грейга, Гауровица и других, я предложил им спать спокойно, продолжал зорко высматривать прояснившийся по временам горизонт, и, поймавши путеводный Тринделендской маяк, ринулся во весь дух к Гельсинору. На другой день великий князь очень радовался, что не было на пути бесполезной остановки.

Наступило, наконец, время отдохновения, и я употребил его на знакомство с собствен-

ными делами. Отец, по смерти, оставил мне 330 душ, совершенно чистых и устроенных, да у жены было по соседству около 150-ти, в таком же удовлетворительном положении, и небольшой капитал. Мне захотелось взглянуть лично на залог нашего существования. Поместивши жену у тетки, в Калуге, я отправился в Смоленск и оттуда в деревню. Дела наши оказались не в блестящем состоянии, как и следовало ожидать. Бесплодность хозяйничества не могла вселить во мне охоты продолжать его заочно, жертвовать же ему службою я, разумеется, не думал.

Грустно было расставаться с Смиловым, бросать за плечи воспоминания детства, но с другой стороны подвигала к решимости собственная выгода при нежелании заниматься делом, которое не мог вести должным образом. Продажа состоялась, понятно, не совсем выгодная. Впоследствии, когда мне пришлось оставить службу, доброжелатели и прикидывавшиеся доброжелателями разбирали вероятные средства нашего существования при данном мне за 35-летние труды пенсионные в 840 рублей. Уверяли, что я женился на богатой, что сам был зажиточен, даже нашелся приятель, не понимавший, как не осталось у меня ничего из миллионов, которые прошли чрез мои руки бесконтрольно за границей. Вот, для любопытных итог нашего добра, без малейшей утайки.

Собственные мои имения проданы за	52 800 р.
Выкупными свидетельствами за имение жены	11 000 р.
Оставшаяся у жены земля и усадьба	6 000 р.
Капитал жены при выходе замуж	25 000 р.
Всего в 1861 году было у нас в руках	94 800 р.

Из них десять тысяч по завещанию уплачено моей сестре, несколько тысяч испарилось в невыплаченных нам долгах, да столько же в путешествиях, житье на два дома и большим домом, по положению, так что, сведя счеты с правительством, нам осталось 76 тысяч рублей государственными бумагами. Из этого ясно, что мы сошлись с женою на совершенно равных условиях.

Доброжелатели могут утешиться, что у нас есть кусок хлеба, а если прикидывающиеся доброжелателями посетуют, что им не удалось лишить нас его, вина не наша, зачем торопились.

В 1859 году появилась новая политическая система крупных национальных единиц, соплеменных агломераций, столь гибельная для ее поборника. Пьемон родил Кавура, которому стало тесно между Савойскими горами и Лигурийским морем. Несмотря на неудачу первых пьемонтских попыток, Кавур вновь захотел распространиться и готовил объединение всей Италии под савойским скипетром. Наполеон, обязанный силою необходимости мешаться во все европейские вопросы, видимо склонялся на сторону Сардинского министра, и когда австрийцы, вынужденные держать под ружьем огромную армию вследствие неопределенного положения Пьемонта, захотели определенности, чтоб избежать банкротства, и потребовали от соседа разоружения под угрозою войны, пьемонское правительство отказало. Вместо того, чтобы тотчас выполнить угрозу, австрийцы медлили, и Наполеон пустил на помощь Пьемонту своих орлов с громким криком: «l'Italit libre jusqù'a l'Adriatique».[3] — Бессмысленная сила порешила драку: в Вилла-Франка был заключен мир, прелюдия скорой новой брани. Ломбардия отошла к Пьемонту, но Венеция осталась за Австриею. Я был в Шербурге на пути из Штатов, когда пришло никак не жданное известие. Орлы остановились на победоносном полете, завидевши Адриатику; крик внезапно замер и вместо того, чтобы захватить для союзников Венецию, они отклевали от них Ниццу и Савойю. В Шербурге все были поражены, как громом, но дело не замедлило выясниться. Германия уже тогда вставала мстите-

лем. Австро-итальянские провинции не входили, конечно, в Германский союз, но, опасаясь возобновления наполеоновских войн в случае важных успехов французского оружия, немцы начали сильно клониться на сторону Австрии. Если мы ручались Наполеону за спокойствие Германии, поднятый у нас важный внутренний вопрос и плачевное состояние наших финансов допускали только нравственное влияние, а немцы, умеющие рассчитывать и всему давать точную цену, сплачивались не на шутку и на задуманное объединение Италии отвечали новым пылом к германскому единству. Наполеон остановился вовремя, добывши достаточно славы для домашнего употребления и избегая вдаться в серьезные затруднения; но возбужденная Италия продолжала начатое им дело по-своему, путем революций, уже не довольствуясь отделением от Австрии пьемонтско-ломбардским королевством, а идя с чисто южною восторженностью к соединению в одно государство всех населений по южную сторону Альп. Несмотря на Цюрихский трактат, Европа была в беспокойном ожидании и, может быть, скоро раздался бы тот выстрел, за которым обыкновенно раскатываются громы брани, если бы спасительный восток не привлек на себя общее внимание.

Приближалось время отправления моего в долгую кампанию. В ожидании ее я не оставался, однако же, в покое. Зимою с 1859 на 1860 год меня утомляли различными комиссиями, изнуряли чтением бесчисленных и бесконечных старых дел и вообще наполняли мною всякую пустоту, выказывавшуюся при торопливых распоряжениях наших властителей. 28 декабря вышел первый приказ об очищении флота вследствие моей записки о резерве. Закон важен в исполнении, в применении, а для приведения его в действие не спрашивали моих мнений. Выбор личностей, от которых выгодно было бы избавиться, делался единственно директором инспекторского департамента Краббе, хотя я утверждал в моих возражениях на новый проект министерства, что знакомство с подчиненными доступно только непосредственным их начальникам, а не директору петербургского департамента, «который может многих знать в лицо, но личностей знать не может». Меня не послушали и выписали около 150-ти человек, так перемешавшие данные, что флоту трудно было добиться, чего требовали от оставленных. Легко догадывались о том только, что новое средство станет служить большим пособием произволу. Догадывался и я, что поднявшаяся было звезда моя достигла поворотной точки орбиты и начнет склоняться и с нетерпением ждал обещанного мне южного горизонта.

Внутренние дела не могли в это время не занимать меня. Громадность и человечность возбужденного вопроса овладели всецело моими духовными силами, хотя умственные трудились на ином поле. Мне случалось часто и долго беседовать с членами редакционных комиссий, переписываться с внутренними деятелями по крестьянскому вопросу и наконец всматриваться в лица, занимающие значительные положения и могшие, так или иначе, влиять на ход предпринятого важного дела. Мне казалось, что центральная редакционная комиссия заразилась столичным духом и мало-помалу усваивала законодательный характер. Ростовцев нетерпеливо вел труд свой к окончанию и выводил из осуждений и мнений заключения без достаточно разностороннего исследования. Созвавши на помощь депутатов 21-й губернии, высказавшихся сочувственными делу, Ростовцев, в стремлении не растягивать вопроса, оскорбил их равнодушием к мнениям, выведенным на местах, при близком знакомстве с насущными нуждами. Возвратившись домой, обиженные депутаты начали возбуждать недоверие к комиссии, а дворянство, как сословие, обрадовалось, что эмансипаторы оказались несостоятельными даже перед пособниками их, и стало в конец критиковать протоколы комиссии, препровождаемые к его сведению. Великий подвиг начался тем, что деятели начали обманывать самих себя. Нуж-

но было, и желали совершенно изменить существовавшую чудовищность, а начали усилием только ослабить ее улучшением крестьянского быта; захотели определять неопределимое, вводить правила, уничтожавшие старый порядок и не заводившие нового, короче, вели страну к финансовому, юридическому и административному хаосу, грозившему смутами тем более прискорбными, что их произвела бы правительственная неурядица, а не народное нетерпение. Образовался какой-то особенный мир — мир чиновников, не живших с остальными русскими одною жизнью, имевший особых двигателей; им поручили решить вопрос чисто народный, для столицы ровно ничего не значивший. Характеры личностей особенно резко рисуются в переходные эпохи, и начало царствования могло быть отмечено непривлекательным клеймом; ему грозило прозвище периода эксплуатации; так своекорыстны и себялюбивы казались выросшие новые деятели. Тридцатилетнее царствование, преследовавшее всякую самостоятельность, возрастило целое бесцветное поколение; но все же, ввиду громадности возбужденных вопросов, должно было ожидать, что выскажутся истинные друзья человечества и преданные слуги России. Власть смотрела на предпринятые перевороты с необъяснимою легкостью и уверенностью, а вокруг ее стояли два рода сподвижников: одни, пугаясь по апатии всякого противоречия, вторили легкому воззрению на самые важные предметы и соглашались на меры, отдававшиеся во всей империи, как на перемену в часе обеда или приема; другие, понимавшие важность перемен, отчасти даже выявлявшие их, видели в реформах неминуемую перетасовку высших личностей и неусыпно заботились занять места их. Последние, будучи все-таки полезнее первых, не знали твердо и ясно сами, чего желали и не имели основательных сведений для преобразования чего-либо.

Во главе этих преисполненных эгоизмом деятелей стоял Константин Николаевич, уже пересозданный своим неотступно навязчивым ментором. С даром слова, чисто женскою впечатлительностью и милостью государя, нетерпеливый и не привыкший к правильному труду брат его бросался всюду, действовал вкривь и вкось и приносил пользу производимым им хаосом.

Дела шли весьма сбивчиво до тех пор, пока, наконец, решились сознаться перед большим светом, что требуется освобождение, а не улучшение. С выяснением цели выяснились и роли; явились и люди, дотоле отдалявшиеся от новой многотрудной задачи, которую хотели было решить старыми способами административной находчивости и ловкости. Подвиг приведен к концу, когда я был уже вне отечества.

Предстоявшая мне кампания в Средиземном море обещала быть очень занимательною. Италия не остановилась на половине пути, как сделал ее покровитель. Гарибальди, имевший свою звезду, как и Наполеон, с горстью приверженцев захватил Сицилию и грозил Неаполю, где испуганный наследник старого знакомца Вомбы спешил дать Конституцию. Итальянские владетели искали спасения в федерации, и плавание по Средиземному морю в таких возбуждающих обстоятельствах сулило развлечения некоторого политического участия в совершавшихся событиях. Фрегат был почти готов, особенной торопливости не требовалось, и Великий Князь в исходе июня взял меня с собою в плавание по Ботническому заливу на пароходе «Рюрик».

Главная цель плавания состояла в осмотре архипелага островов, обтягивающих берега Финляндии от Торнео до Выборга. Для меня случай был единственный, и я очень обрадовался предстоявшему близкому знакомству с приморскими видами севера, отличающимися своеобразною живописностью. Мы начали Гангутом, куда вошли по направляющей просеке, вырубленной в прошлую войну с англичанами, часто собиравшимися на рейде после того, как мы взорвали укрепления. Остатки их виднелись еще как свидетели нашего бессилия. От Гангута к Або мы пробирались настоящим

лабиринтом между гранитными скалами, совершенно голыми или поросшими унылыми соснами. Шхерная природа, несмотря на раздробление ее на тесные виды, чрезвычайно однообразна. Плавание открытым морем также не представляет вариаций, но на просторе возможно, по крайней мере утешение выказать свою волю; в шхерах же связан по рукам и ногам узким извилистым фарватером и вдобавок движешься бессмысленно, совершенно полагаясь на лоцмана. Только приближаясь к Або мы заметили некоторое разнообразие и сравнительное богатство растительности, искусственной, потому что Абовские шхеры населены.

Чтобы посетить Або, мы должны были пересесть на великокняжескую яхту «Стрельна», прибывшую туда из Петербурга. Как водится, в Або встретили великого князя местные власти и во главе их генерал-губернатор граф Берг. Мы осматривали все, что надлежит ведать русским начальствующим лицам: православную церковь, собор, тюрьмы, госпитали, казармы и пр. Берг привез нас в сборные бараки милиции, отстоявшие на несколько верст от города, в то время совершенно пустые. Я отстал от других, увлекшись разговором с губернатором Сиперкрейцом, и вскоре услышал пронзительные крики. Великий князь и все сопровождавшие выбежали на свежий воздух с хохотом, к которому примешивали жалобные стоны. В пустых казармах оказались легионы легкой кавалерии. При жаре все были в белом платье и вышли из казарм в сером — так навязчиво облепили их проголодавшиеся блохи. Берговское угощение продолжалось во время плавания к северу, но вместо докучливых насекомых впивался в нас сам Берг, заговаривавший всех до обморока. Его рассказы о венгерской кампании или лучше о собственном его участии в ней в качестве комиссара при австрийском дворе, длились целые летние дни в широтах, где солнце прячется под горизонт только для соблюдения заведенного порядка. На беду, рассказчик говорил очень увлекательно. Для любознательных людей нельзя придумать более жесткого наказания, как сообщество говорившего Берга. Соответственно приговору, говорливый старец может заговорить до бесчувствия, сумасшествия или до смерти, как будет указано.

В Виориенборге великого князя заняли спуском на воду клипера «Всадник», выстроенного с безупречной аккуратностью, даже щеголевато, при средствах, поражающих скудностью. Все прибрежное население западной части Финляндии отличные плотники, не только искусные в своем деле, но воспитанные в истинном страхе божием. Смотри за ними или нет, все равно, они не сделают иначе, как добросовестно. На спуске пили и говорили, Берг пил всех менее и говорил, разумеется, один. Ему очень хотелось довезти Великого Князя до Улеаборга, и он расхваливал Остроботнию со всем жаром своего красноречия и смелостью своей сомнительной правдивости; но мы не имели карт этой части берега, хотя он давно принадлежит нам, и решились подвинуться к северу только до Каск-Э, прекрасного порта, образуемого проливом между двумя островами.

Городок в 800—900 жителей, довольных гиперборейскими условиями местности, оживляет рейд, которым можно пользоваться только три месяца в году. Между обывателями нашелся один, впрочем, недовольный свежестью воздуха в широте 64°. Капитан Турин, наш амфитрион и чичероне, устроил себе для прохлады дачу на островке в самой средине рейда и там принимал нас в летнем костюме и угощал прохладительными.

Мы возвратились в Кронштадт чрез Свеаборг, где расстались с красноречивым и велеречивым Бергом, способным, противно говорунам, и на полезную деятельность. За время его управления, при небольших средствах края, кончен Сайменский канал, учреждена пароходное сообщение по берегу от Торнео до Петербурга и начаты работы на Гельсингфорс-

Таваструстской дороге, проводившиеся по скалистой и гористой почве за баснословно дешевую цену тридцати тысяч рублей с версты. На прощанье Берг угостил комическим рассказом о своей экспедиции на Арал в 1825 году, предпринятой с полным незнанием местности не только чужой, но своей; ему в декабре отдали в распоряжение каспийскую флотилию, не знавши или забывши, что она замерзла в Астрахани.

В наше отсутствие на политическом горизонте произошли явления, которые изменили цель плавания в Средиземном море и повели к поспешному моему отправлению. В предсмертном расслаблении мусульманство судорожно возвратилось к жизни фанатическим взрывом. Пользуясь разногласиями различных племен, населяющих Ливанские горы, последователи Магомета поднялись на почитателей Христа и выказали свою давнюю ненависть бесчеловечною резней. Дамаск, весь Ливан и часть Сирии обагрились кровью. Европа содрогнулась от лютого проявления жизненности в том, что считали трупом. Застонало религиозное чувство, оскорбилась человечность, и везде стали требовать немедленной защиты единоверцев и кары злодеям. Наполеон, следуя давней политике Франции, послал в Сирию охранительное войско, не встретивши сопротивления со стороны Англии, уверенной, что существование французов в такой дали от Франции — в ее руках. Остальные правительства, имевшие на востоке обязанности заступничества, поспешили послать эскадры с целью фактического покровительства несчастным жертвам злобы и религиозного ослепления. В России сочувствие единоверным выразилось со всею силою попранного чувства веры, и когда я, по возвращении из Ботнического залива, представился государю в петергофском дворце, его величество объявил мне, что необходимо плыть как можно скорее в Бейрут. В это время был собран весь двор для встречи прибывшего владетельного принца Ольденбургского, но несмотря на не входившее в программу представление мое, государь тотчас позвал меня, чтобы высказать свою волю и намерение лично меня напутствовать.

14-го июля, через два дня после приема в петергофском дворце, государь прибыл на фрегат с генерал-адмиралом, принцем Ольденбургским, князем Горчаковым и большою свитою. Принявши почести, он объявил мне, что отдает в мое распоряжение фрегат «Илья Муромец», плававший уже в Средиземном море, и «Громобой», который велел выслать вслед за мной. «Я уверен, — прибавил Государь, — что ты будешь служить по-прежнему, а главное сумеешь найтись в обстоятельствах непредвиденных». Князь Горчаков дал мне «свое дипломатическое благословение», просил советоваться с французским адмиралом, содействовать ему даже до употребления силы и обещал прислать подробные инструкции. Этих инструкций я никогда не получал и до прибытия нашего комиссара Новикова руководствовался исключительно своим соображением. Государь присутствовал при съемке с якоря, проводил меня в море и простился, еще раз высказавши свою уверенность во мне и удостоив меня благословением.

В силе моего духа, ободренного столь лестным назначением, я не сомневался ни на минуту. Послужить в час нужды моей родине всем бытием моим я считал легким и сладким долгом и вовсе не опасался в случае надобности выказать недостаток энергии. Напротив, я боялся употребить ее некстати в неопределенном положении, более или менее мною предвиденном, и только на этот случай просил помощи высшего покровительства «умудряющего слепцов».

Далее по пути в Средиземное море я зашел в Плимут. Погода не благоприятствовала и терпением тушила излишнее пламя. Ветер дул противно и крепко. В Плимуте оказалось затруднительно снабжаться углем, к правительственным средствам обращаться не хотелось, а частные едва могли удовлетворить меня в течение шести дней. Я встретил там старого товарища

А. А. Попова, возвращавшегося от устьев Амура на корвете «Рында», одном из снаряженных мною в 1856 году. Случайно мы свиделись после трехлетней разлуки, на пути от двух противоположных концов нашей необъятной России. В Торкей проживала Великая Княгиня Мария Николаевна с семейством. Пользуясь вынужденной остановкой, я отправился к ней на поклон, был принят очень ласково и на другой день угощал всю семью на фрегате.

При выходе из Плимута несчастная случайность доставила мне счастье убедиться, что есть еще сердца, способные любить ближнего, как самого себя; есть натуры, для которых невозможно противиться великодушным побуждениям. Упал в море боцман Лукашевич. Лейтенант Фальбе, родом датчанин, мгновенно бросился за ним и поддерживал его, пока подошла посланная шлюпка. Встретив великодушного Фальбе у входа на фрегат с возможными почестями, я тогда же телеграфировал через консула великому князю о подвиге и прибавил: «la rêcompense doit étre aussi prompte que i'acte de générosité était spontané»,[4] — и имел удовольствие тотчас по прибытии в Бейрут поздравить Фальбе кавалером Станислава 2-й степени. Описывая из Гибралтара поступок Фальбе, я обратился к Великому Князю со следующими словами: «Лаконическое представление, сделанное мною телеграфом, без сомнения, встретило Ваше сочувствие и одобрение. Фальбе в этот памятный день рыцарски завоевал себе право русского гражданства; но В. В., вероятно, согласитесь, что принадлежа другому краю, он, конечно, дорожит мнением своих. Решаюсь почтительно предложить дать знать о подвиге Фальбе властям датского флота, чтобы его самопожертвование встретило одобрение соотечественников». Король датский выказал это одобрение, приславши Фальбе орден.

В Гибралтаре не было никаких известий с Сирийского берега, и я отправился в Мальту. Туда доходили уже слухи о неудовольствиях между только что прибывшими французскими властями и турецкими, об усилиях последних выказать, что опасения Европы напрасны и т. п. Впрочем, через четыре—пять дней я мог увидеть все собственными глазами. В Мальте я встретился с женою, направлявшеюся туда через Париж и Марсель. Я поместил ее под покровительством консула, старика Тальяферро, как думал, надолго. Климат был благоприятен для ее слабого здоровья, а правильные и частые сообщения между английскою эскадрою и главным английским притоном на Средиземное море ручались, что мы будем иметь друг о друге скорые и верные известия. 24 августа я застал на бейрутском рейде «Илья Муромец» и поднял знак командующего русскою эскадрою.

Выполнивши, как позволили обстоятельства, повеление явиться в Бейрут сколько можно поспешнее и зная, что в Петербурге в различных сферах пеняли на издержки, делаемые для флота, воспользовался случаем, которому сочувствовала публика, и поспешил понятным для всех сравнением выказать, что издержки окупаются результатами.

«Достигши окончательного пункта назначения, — писал я 28 августа, — имею счастье представить В. И. В-ву[5] краткий перечень плавания с некоторыми соображениями, из него, естественно, истекающими. Плавание с остановками продолжалось сорок дней». Исчислив остановки и препятствия, я продолжал: «Из 24 дней плавания мы имели 17 с более или менее крепкими противными ветрами и только дважды, не считая Балтики, помогали машине парусами. Из этого отчета В. В. изволите увидеть, что переход нельзя назвать благоприятным и смею думать, что в сравнении передвижения сил фрегата с соответственною на сухом пути, вы позволите уподобить наши обстоятельства распутице.»

«Нами перевезено: 68 пушек 68 ф. калибра, весом в 17 500 пуд.

Снарядов	10 000 п.
Пороху	1 750 « «
42 000 патронов	130 « «

800 человек, из коих триста могут быть высажены на берег, не уничтожая действительности фрегата как боевого судна. К этому нужно прибавить, что батальон войска мог бы легко быть перевезен в то же время, не увеличивая ценности перехода».

«Все это сделано с следующими издержками»... Здесь цифрами стоимости угля и других предметов доказывалось, что перевоз пуда боевого материала обошелся за девять тысяч почти верст в 69 копеек серебром.

«Представляя сравнить стоимость эту, — заключал я в донесении, — с издержками, потребными для передвижения на 8 750 верст хотя 68-ми полевых орудий с людьми и амуницией, дозволю себе прибавить, что прибыл с фрегатом туда, куда нельзя прислать сухим путем никакой силы, и если влияние наше в здешних местах и во многих других, для армии недосягаемых, необходимы, то и неверующему нельзя не поверить, что издержки на флоте выкупаются немногими случайностями, подобными настоящей».

Этим утешительным для специалиста убеждением начал я восемнадцатимесячное отражение единоверцев, ограничившееся только наблюдением, как увидят далее, но не изъятое от труда и треволнений.

ГЛАВА II

СИРИЙСКИЙ ВОПРОС 1860 ГОДА. МНЕ ВВЕРЯЮТ ЭСКАДРУ

Ливан. Дамасские убийства. Вмешательство Европы. Состав нашей эскадры. Мои первые сношения с турками и с союзниками. Английский адмирал Sir by am Martin. Генерал Beaufort d'Hautpoul, командующий французскою экспедицей. Фуад-Паша. Казнь Дамасского Сераскира Ахмет-Паши. Новиков. Лорд Дефрин. Вопрос о вознаграждении пострадавших христиан. Поход Бофора против друзов. Следствие посылки православной миссии к православному же населению.

Из глубокой и обширной долины, образуемой хребтами Ливана и Анти-Ливана, вытекают по главным направлениям горизонта реки: Оронтес (к северу), Леонтес (к западу), Иордан (к югу) и Барража (к востоку). На них в древности основались четыре царства: Антиохийское, Финикийское, Иудейское и Ассирийское. В новейшее историческое время страна подверглась двум главным переворотам, изгладившим следы прежнего порядка вещей. Христианство и потом магометанство вытеснили старые верования, сблизили население с Европою, подчинили его влиянию всесильного римского престола и обратили цветущие торговые общины в упорные центры различных верований, обедневшие от беспрестанных религиозных раздоров и усвоившие всю неподвижность клерикального направления, на которую налегла сверх того подавляющая рука новых обладателей страны, турок.

При беспрестанных войнах и опустошениях стойкие приверженцы избрали убежищем отроги и долины Ливана, менее доступные нападению. В горной стране этой, окраенной с запада морем, а с востока ассирийской пустыней, сживались последователи истинного христова учения, приверженцы того же учения, искаженного папскою властью, мусульмане, почитавшие догмата Али в противность Магометовым, и остатки древних язычников. Турецкое владычество мало-помалу нарушило согласие. Соответственно религиозным убеждениям Ливан разделился на четыре политические партии: православные со времен Екатерины привыкли видеть покровителя в обширном единоверном им северном царстве; католики, принявшие название Маронитов от основавшего секту схимника, постоянно обращались за помощью к латинскому западу и в его оруженосце, Франции, искали защиты. Мусульманские сектаторы, друзы, не пользуясь сочувствием христиан и поклонников Магомета, развивались самостоятельнее в южной части Ливана, а язычники, Ансарие, прислонились с севера к Маронитам, занимавшим северную часть хребта. Между маронитами и друзами, перемешавшись с ними на окраинах, жили

наши единоверцы в зависимости от антиохийского патриарха.

Различные племена, укрывавшиеся в горах по той же причине, сжились, как я сказал, несмотря на различие верований и с течением времени, без сомнения, достигли бы согласия, к которому ведет просвещение по следам Христова учения; но турецкое правительство, убедившись в невозможности одолеть упорство ливанцев силою, с самого завоевания страны Селимом начало разъединять непокорные горные элементы. Дамаск, населенный фанатическими почитателями Магомета и считаемый мусульманскою святынею наравне с Меккою и Иерусалимом, облегчал к тому средства. Порта скоро нашла местных честолюбцев и ловкими происками расколола Ливан на враждебные части. Друзы — плохие мусульмане и вообще шатки в религиозных убеждениях, православные и католики, напротив, берегут свои верования с чрезвычайным постоянством и стойкостью. Порта, в разъединительном своем стремлении, попеременно ласкала друзов, которых ненавидела, как отщепенцев, покровительствовала маронитам в ущерб православным или возбуждала в последних вражду против маронитов, подчиняя их власти местных католических владетелей. Цель такой политики — возможное ослабление христианского населения вообще и господство исламизма, при котором только и мыслимо турецкое правительство.

Влияние Стамбула встречалось с влияниями России и Франции. Последнее ослабло значительно после французской революции, но пустило глубокие корни со времени крестовых походов, было признано самою Портою при Людовиках и ждало благоприятного случая выказаться в прежнем значении. Успехи второй империи возвратили Франции утраченное влияние. Между тем заступничество извне естественно распаляло внутренние несогласия в Ливане и озлобляло турок, встречавших препятствия к выполнению замыслов. Эта злоба из страха европейского вмешательства таилась в бессильном неудовольствии, пока Крымская кампания убедила не только Порту, но и ее мусульманских подданных, что в глазах европейских кабинетов верования ниже политики; что для них несравненно важнее Status quo магометанского государства, нежели целость и безопасность его христианских населений. Когда воздвигся крест накрест, чтобы не переставала сиять луна, трудно было убедить кого-либо, что случайность вызвана была единственно заботою о спокойствии Европы, и что раз обеспечивши это спокойствие, христианские правительства станут по-прежнему радеть о единоверцах, угнетаемых Портою.

Правительству султана незачем было подвергать себя нареканиям за намеки и нашептывания; ослабление христианского значения было в воздухе от Дуная до Мертвого моря, его ощущал каждый правоверный, и в гнезде мусульманского фанатизма Дамаске последовал взрыв, потрясший нравственно всю Европу. Христианская часть города была разрушена, население безжалостно перерезано, и кровь хлынула от Дамаска, ущельями Анти-Ливана, в горы, где новые поколения различных сект росли уже во вражде и жажде взаимного истребления. При общей опасности христиане соединились в общем страхе, а не сопротивлении, и друзы, искавшие выгод между христианами и магометанами, приняли в этот раз участие в побоище христиан. Виновная Европа поспешила на помощь единоверцам. Всех больше возбудившая пагубную мусульманскую смелость Франция послала в Бейрут шеститысячный корпус под командою генерала Beaufort d'Hautpoul я, а прочие державы высказали сочувствие христианам и готовность помочь им присылкою эскадр. Англия и Франция, содержащие постоянно большие флоты в Средиземном море, отделили в Бейрут по несколько кораблей. Сами главнокомандующие Sir Byam Martih и Le Barbier qe Tinnant явились на первое время на место ужасов, а впоследствии отряжали туда своих помощни-

ков. В почти полуторагодовое пребывание мое у Сирийского берега английские и французские суда беспрестанно переменялись, и я был в сношениях с самими главнокомандующими, заменявшими их адмиралами Robert Mundy Dacres и Jehenne и с турецким адмиралом Мустафа-Пашею, состоявшем когда-то при великом князе Константине Николаевиче во время посещения им Константинополя. Австрия, Италия и Греция имели также в Бейруте представителей своего сочувствия к пострадавшим христианам, но представительство это, ограничиваясь одним небольшим пароходом каждой нации, не могло действовать на восток, привыкший чтить силу.

Мало-помалу ко мне присоединились суда из Кронштадта и Черного моря, так что составилось довольно уважительное средство к восстановлению в глазах сирийских христиан утерянного нами восточною войной значения. Кроме фрегата «Генерал-Адмирал», поражавшего и не только сирийцев своими размерами, я имел фрегаты «Олег», «Илья Муромец», «Громобой» и впоследствии «Ослябя», корветы «Сокол» и «Ястреб», посыльные шхуны «Туапсе» и «Псезуапе». Такой эскадры на Средиземных водах не бывало со времени Адрианопольского мира. Великий князь Константин за пять лет управления нашел возможным достойно выказывать Россию на поприще флотов Европы. Все суда были паровые и носили вместе 304 пушки большого калибра, некоторые из них не уступали лучшим европейским образцам и привлекали внимание наших бейрутских товарищей по стоянке, дивившихся, как скоро мы оправились после погрома. В случае необходимости я мог пользоваться, и действительно однажды воспользовался для снабжения эскадры пароходами Русского Общества и торговли, обходившими дважды в месяц весь берег от Александретты до Александрии и показывавшихся в прибрежных пунктах совместно с военными нашими судами.

В таких условиях нас видели никак не менее союзников обладавшими большими средствами. Но положение наше было несравненно затруднительнее. Французы и англичане получали все из Тулона и Мальты, там стояли десятки кораблей, содержащихся во всей готовности для общих правительственных целей, и все они приходили в Бейрут поочередно, часто сменяясь; нам же пришлось подвергаться опасностям гостеприимного берега и вредным особенностям климата бессменно в течение многих месяцев. Снабжение оказалось дорогим, неудобным и даже неверным; сама Сирия не могла доставить ничего нужного; даже необходимая пресная вода добывалась с большими затруднениями. Вообще «розовые воды Средиземного моря» для нас вовсе не были розовым ложем, и только в конце моего командования я воспользовался обычными выгодами плавания по классическим волнам, манящим с детства.

В исходе августа, когда я прибыл в Бейрут, французский корпус не вполне еще был собран. Некоторое предварительное знание местных условий, отсутствие всякой инструкции и поверхностное знакомство с последними событиями убедили меня, что в сношениях с французскими властями требовалась большая осторожность. Основанная на преданиях политика Франции в Ливане была совершенно противоположна нашей, а в данном случае помощь свезенным на берег войском выставляла перед пострадавшими христианами правительство Наполеона несравненно рельефнее, нежели прочие европейские кабинеты. Генерал Бофор, с свойственною французам скромностью, объявлял себя если не единственным, то главным миротворителем. Мартен, очень скоро со мной сблизившийся, смеялся над задорным французским главнокомандующим и на мои опасения, что едва ли мы выполним виды наших правительств, предоставляя все исключительно французам, отвечал, что вся экспедиция их тщеславная шутка. Если бы французы вздумали расположиться надолго в Сирии, вопреки интересам Англии, Мартен, как в былые времена Рюйтер, привязал бы

метлу к совей мачте; «вымел бы французские корабли с Средиземного моря и выморил бы Бофора голодом».

«Вы знаете, — прибавил он, — что Сирия не может питать ничем, кроме ветхо- и новозаветных воспоминаний».

Мое положение было совершенно иное. Не имея возможности остановить вовремя вредные для нас действия французов, я должен был, по крайней мере, не способствовать им заведомо, чтобы не ставить мое правительство в недостойное положение в глазах православных. Инструкции не приходило, и только благодаря дружбе английского адмирала, которому тотчас прислали переписку по Дамасскому делу, я мог вдруг объять вопрос достаточно, чтобы не делать больших промахов. Не имея в Ливане единоверцев, англичанам незачем было склоняться на ту или иную сторону; их взгляды были шире, свободнее, и ни в каком случае не могли идти совершенно вразрез с взглядами нашего правительства; мы же всегда могли в нужную минуту выбрать нам пригодное из их радения об удовлетворении общих филантропческий требований. Как бы ни была необходима князю Горчакову дружба Франции, его любовь и долг к России указывали мне, что русские силы не могли быть употреблены в вопросе для того, чтобы стушеваться, стереться незаметно. По этим соображениям я не бросился в объятия французов, а ограничился вежливыми с ними сношениями и помощью при дебаркации войск.[6] Во все время соединенного или лучше совместного с ними действия мне не пришлось раскаяться в моей сдержанности. Замечательная разность взглядов правительств на исполнителей их воли. Английское сочло нужным ознакомить своего адмирала тотчас же со всею дипломатическою перепискою по делу, наше ограничилось никогда невыполненным обещанием присылки инструкций. Консул наш, ссылаясь на скорое прибытие комиссара, вовсе не высказывался, хотя мы сошлись с ним с первого дня. Действительно, наши министерства похожи на уделы, и если есть что-либо общее между слугами того же края, это какое-то странное взаимное недоверие, чтобы не сказать завистливость.

Для скорейшего удовлетворения Европы Порта прислала в Бейрут полномочным комиссаром Фауд-Пашу. При первом моем визите он объявил, что в Дамаске и дальше царствует полное спокойствие, и просил меня быть уверенным, что вмешательство флотов не понадобится, что он принял самые энергичные меры для сохранения тишины и готов на всякие средства утвердить порядок, лишь бы мы, заступники, откровенно говорили ему наше мнение и, наблюдая по берегу, вовремя уведомляли его о беспокойных лицах, везде пользующихся волнениями, и в Европе более, нежели где-нибудь.

Я обещал обращаться к нему как к полномочному представителю турецкого правительства, весьма хорошо понимая, что непосредственное вмешательство иноземцев для него не может быть приятно. При совершенной уверенности в его твердости и чистосердечном желании уничтожить возможность повторения случайности, которая соединила нас в Сирии, при решимости моей обращаться прямо к нему во всех обстоятельствах, которые вызовут мое посредничество, я допускал, однако ж, неприятную возможность взрывов злобы в присутствии вверенных мне судов. В таких условиях, казалось мне, путь мой был ясен, и я должен был идти по нему без колебаний, но взвешивая важность последствий резкой решимости с моей стороны, я, в свою очередь, просил Фуада предупреждать всякую вероятность надобности решительного действия. Взаимными обещаниями устранять затруднения кончилась первая беседа, за которою последовали другие неофициальные, но имевшие характер полуобязательных взаимных советов.

Фуад-Паша начал громовым приступом. В распоряжении Дамасского сераскира Ахмед-Паши было во время смут до шести тысяч

войск. Если б и возможно было опровергнуть уверения христиан, что войска помогали населению в неистовствах, равнодушие к совершавшемуся в их глазах злодейству показывалось самым фактом. Судом, ускоренным жаждою Фуада выказать деятельность вверенной ему власти, главнокомандующий Ахмет-Паша был обвинен в преступном бездействии и по конфирмации Фуада расстрелян в Дамаске вслед за приговором. Проявление власти было рассчитано для успокоения внешних защитников христиан, но вся процедура велась с поразительною скоростью, очевидно, хотели устранить возможность неудобной для правительства откровенности главного свидетеля событий, если не участника. Громким возмездием Фуад поторопился предупредить докучливость и требования европейских комиссаров, которые должны были скоро собраться в Бейруте для определения вознаграждения пострадавшим христианам и для устройства управления горою. Как бы то ни было, на христиан казнь важнейшего сановника края не произвела впечатления: для них важно было скорейшее водворение в прежних жилищах и учреждение власти, способной обеспечить спокойствие в самой горе, того и другого они ждали от Европы и собиравшихся ее представителей.

В начале сентября собрались комиссары всех держав. От нас был прислан советник посольства в Константинополе Е. П. Новиков. Прибытие решителей судеб нетерпеливо ждавшего Ливана ознаменовалось необыкновенною тратою пороха. Несколько дней прошли в визитах комиссаров к адмиралам, а как их было пять, да командовавших отдельными судами разных наций три, то в течение недели стреляли с утра до вечера. Ужаснувшись трате пороха, которого достало бы на решительное сражение, и опасаясь затруднений пополнить расходы, я просил товарищей условиться, чтобы наши взаимные визиты обходились без шума и чрезвычайно обрадовался их согласию.

С прибытием комиссаров дела не вдруг приняли должный ход. Тотчас же началась глухая борьба между тремя влияниями: Бофора, опиравшемся на силу и ее несомненное обаяние, дипломатическим значением комиссаров, считавших себя главными деятелями, и ловкостью Фуад-Паши, старавшегося доказать, что вмешательство Европы было совершенно излишне. Собирались часто, говорили много и еще более писали депеши, но дело не двигалось. Важнейший вопрос состоял в вознаграждении убытков пострадавших. Комиссары хлопотали, разумеется, о скорейшем и большем; Фуад, зная положение турецких финансов, растягивал вопрос о вознаграждении, как только мог, отговаривался неимением положительных данных и чтобы медленность его не казалась нежеланием удовлетворить требования, налегал очень ревностно на устранение опасных для христиан личностей. Кровь ровно ничего не стоила, и комиссары вынуждены были удерживать Фуада, желая каждый со своей точки зрения, удаления из горы того или другого лица, но понимая, что рубкою даже мусульманских голов не подобает тешиться христианскому синклиту.

Данных для определения потерь христиан, действительно, не было. Спорили об итогах, которых никто не сводил на месте, люди, совершенно чуждые ливанского хозяйства, едва могшие отличить шелковичное дерево от масличного. Жалобный вой каждого нищего прикладывался к сумме истинных и преувеличенных воплей, и сострадание, болезненно напряженное толками о последних ужасах, рисовало фантастические узоры тем, что есть в мире самого положительного - арифметическими знаками. Прибывший после других английский комиссар, лорд Дефрин, тотчас заметил, что чертили на песке. Молодой Дефрин стал мне известен как племянник герцога Сомерсетского, тогдашнего первого лорда адмиралтейства.

Взглянувши на кипы бумаг, большею частью написанных добросовестным Е. П. Нови-

ковым, с которым тогда же сблизился, Дефрин, с чисто английскою практичностью, увидел, что начатое дело грешило отсутствием всякой базы, и как главные потери были понесены дамасскими христианами, предложил всей комиссии немедленно съездить в Дамаск лично удостовериться в объеме мусульманских неистовств. По пути можно было хотя наглядно судить об опустошении Ливана.

Деятельность эскадр едва ли не была самым плодовитым результатом европейского вмешательства. Чтобы дать о ней понятие, припомню два—три случая. Разнородные составные части Ливана были еще в сильном брожении. В Латакие грозили плакардами нашему консульскому агенту, и хотя анонимные угрозы не заслуживали большого внимания, зная, что снисходительность принимается на востоке за слабость, я тотчас отрядил туда фрегат. В это же время в Акре на многих христианских церквах явились угрожающие объявления — и там немедленно показался Андреевский флаг с своим благодетельным для православных значением. В Латакие во второй раз мусульмане начали грозить христианам. Я отправился туда сам, был встречен всеми консулами встревоженными слухами о предстоявшей беде и вместе с ними сделал внушительный визит местному турецкому начальнику. Желая ободрить население, я свез с фрегата хор музыкантов, и все арабы-христиане сошлись на импровизированный бал. Наша уверенность в неосновательности распускаемых слухов успокоила жителей. Арабы увлеклись примером матросов и безбоязненно в песнях прославляли величие нашего государя. Вообще я старался возместить сравнительную слабость сил наших беспрестанным появлением охранительного флага нашего во всех пунктах, появлении самостоятельном, не в сообществе с судами других наций. Младший из всех начальников эскадры, я считал нужным не казаться в опеке у товарищей и частными моими средствами старался подпереть официальное положение. Военных действий нельзя было предвидеть. Через некоторое время приехала жена, поместилась в лучшем доме, до того занятом Дефрином, и по субботам стали сходиться к нам комиссары, консулы, адмиралы и вся бейрутская европейская колония. Странно было видеть на десятки дам сотни молодых кавалеров, но самая несоответственность лиц обоих полов, гарантируя прекрасный от скуки и невнимания, склоняла на нашу сторону утопленных однообразием местных красавиц, а это, как известно, не последнее средство. Живший поблизости Фуад-Паша нередко посещал наши субботы, и пока молодежь кружилась в вальсе, люди, как говорится, положительные, потому что слягут, если вздумают кружиться, в беседах, чуждых сдержанности официальных переговоров, передавали друг другу мнения и предположения, которые каждый мог забыть, переступая порог; тем не менее они оставляли следы, проявлявшиеся в последующих официальных сношениях.

Французы, в особенности армейские, считали, что присутствие на собраниях у русского начальника эскадры, единственных в городе, умалит их значение и являлись весьма редко, ограничиваясь посещениями меня на фрегате.

Вместо чаемых лавров и маршальского жезла Бофор увидел себя обреченным жариться в самом соку на песках Бейрута. Это было предвкусием пира, уготовленного французам через десять лет Бисмарком в сердце самой Франции.

Фуад-Паша напрягал свою дипломатическую находчивость к тому, чтоб заставить войско великой нации потерять всякую надежду на деятельное вмешательство в дела Ливана. Нетерпение Франции и оскорбленное честолюбие начальника экспедиции прорвали, однако ж, дипломатические путы, которые Фуад плел неустанно на путях непрошенных пособников, куда бы эти ни двинулись. Бофор захотел непременно идти в горы, прямо в крепкое гнездо друзов Дар-Эль-Комар, и водворить христиан в их жилища единственно француз-

ским влиянием. «Nous faisons ici un métier d'abnégation",[7] — сказал мне Бофор в ответ на пожелание ему успехов, выраженное перед отправлением отряда вместе с сомнением, чтобы Фуад допустил какую-либо удачу. И действительно, Фуад-Паша отправился лично в Сидон, чтобы напасть на друзов с юга, единовременно с натиском французов от запада; но кто-то дал знать в Дар-Эль-Камар о движении. Друзы перебрались через Анти-Ливан в Гауран, куда французы не могли следовать, а воспользовавшиеся их отсутствием христиане оказались на местах без французской помощи. Мне представлялось, что Фуад-Паша, отнимая возможность сделать выстрел, поступал нерасчетливо и рисковал продолжить французское занятие; но хитрец знал противоборствующие европейские силы, конечно, тверже Корана и угадывал, что Англия не допустит долговременного пребывания французских войск в Сирии. Обстоятельства складывались так, что вмешательство в сирийские дела выходило действительно коллективное, и ни одна из вмешавшихся держав не могла приписать себе господствующего значения. Тем не менее это произошло не от совокупления усилий, а от разъединения их, и я выразил сожаление мое о дипломатических запутанностях в донесении от 11/28 октября. «Не жаждая лавров, как французский главнокомандующий, — писал я, — не могу однако же не скорбеть душевно, видя, как сочувствие и средства моего края тратятся на вопрос, который можно решить одним только способом, к сожалению, именно тем, на который долго еще не согласится Европа вследствие столкновения политических интересов. Комиссии учредят новую организацию горы, может быть всей Сирии, но турецкое правительство, которому привыкли извинять коварство, найдет средство поддерживать враждебные отношения между различными племенами, и христианство, в особенности православное, неубежденное в защите, подобной оказанной Францией, по удалении нашем подвергнется тем же случайностям».

Православное население Бейрута и его окрестностей постоянно посещало фрегат «Генерал-Адмирал» по воскресеньям, во время Божественной службы. Благочиние, обыкновенно соблюдаемое на военных кораблях при литургии, и стройные звуки хора наших певчих, видимо, действовали на временных наших прихожан. В особенности произвело на них влияние архиерейское служение преосвященного Кирилла, тогдашнего начальника нашей миссии в Иерусалиме. Торжественный и необыкновенный на корабле обряд этот имел значение события, в особенности в тогдашних обстоятельствах. В первый раз в Сирии русский епископ священнодействовал при обстановке, несколько соответствовавшей его сану.

Уроки Крымской кампании побудили нас войти в себя, оглянуться. Фантасмагория нашего величия была рассеяна усилиями Европы и нашею собственною испорченностью. Разочарование повело внутри ко многим благотворным переменам, и если бы ограничились внутренним устройством, если бы на домашние только дела потратили всю духовную силу, возбужденную покаянием, развилась бы скоро истинная внутренняя сила, без которой внешнее влияние непрочно и даже гибельно для захватывающего его. К сожалению, деятельность наша, вследствие горького самосознания, стала болезненною. Рассчитывая на уменьшение нашего влияния после неудачной войны, мы стали лихорадочно поддерживать его, не сообразив средств, не давши себе времени обдумать действий и их вероятных последствий.

К числу самых неуместных порывов того времени принадлежит учреждение нашей миссии в Иерусалиме. Как ни смотреть на вопрос, он представится произведением усердной неопытности, увлекающейся добрыми намерениями до забвения действительности и до презрения к неодолимым затруднениям.

Наша пропаганда в крае, где за все достоинства православия, и не только за достоинства, но и за привившееся к нему зло, стояла

крепость пятнадцати веков, не могла быть поручена иначе, как лицам духовного сословия. Разумно ли было ожидать, чтобы среди нашего духовенства явился деятель, который смог бы незаметно, неощутительно для самих восточных православных, выказать недостатки церкви их и заставить обратить взор на цветущую ветвь, разросшуюся на севере, считать ее за единственный живой росток векового дерева, пострадавшего от времени и враждебных случайностей? Состав и сущность нашего духовенства положительно устраняли подобную возможность. Придавленное пятою светской власти дома, променявшее главнейшее влияние — силу проповеди — на внешнюю обрядность, занимавшее весьма скромное, чтобы не сказать унизительное, положение в общественном строе, могло ли духовенство наше выставить требовавшегося миссионера-политика, проникнутого единовременно святостью общего призвания к православию и особенно ревностью к тому животу, в котором оно, как кажется нам, сохранилось во всей чистоте? Из среды подавленных мог выйти только человек, желавший в свою очередь показать силу, вырвавшуюся на простор после долгого стеснения.

Восточная церковь, несмотря на рабские отношения ее иерархов к иностранному правительству, несмотря на гонения, сохранило во внутреннем управлении своем полную независимость. Мусульманскому фанатизму, дикому, но вместе беспечному, достаточно было временных жертв, важных по своему значению; но на систематическое искоренение православия, даже на меры, которые изменили бы его сущность, оттоманское правительство не было способно, столько же по лени и невежеству, сколько по силе обстоятельств, поставивших его во главе христианского большинства подданных. Оно довольствовалось спокойствием, которым наслаждалось через посредство церковной власти, и, заставляя эту власть оказывать себе все признаки уважения, подвергая ее даже унижению — этому этикету деспотизма, — давало ей взамен полную свободу во внутреннем управлении церковью. Бесспорно, много привилось зла в таком положении правивших церковью лиц, но зло это вредило преимущественно отдельным личностям, а не общему духу церкви. Как бы ни были важны разногласия между иерархами, население не переставало видеть в них не только духовных владык, но и единственных защитников против светской власти. Ему не было дела, да оно и не знало, какими средствами покупалось иерархами значение; для него был важен, существен, осязателен только факт. На местах его жизни пастыри являлись его защитниками, ходатаями о его мирских нуждах.

Такие отношения между пастырями и паствою существовали четыре века — и вдруг являются пришельцы с целью нарушить их, привязать народ к едва ведомой им новой власти, проповедовать новые истины, из немого края, озаренного блеском, но не светом христианства, с знаменем не вселенского, а какого-то специального православия. И это в момент, самый неблагоприятный для русского влияния.

На поле, столь мало им известном, миссионеры наши встретились с могущественными противниками. Правда, католическое влияние на востоке возросло в ущерб православному; не менее справедливо, что светская власть второй империи деятельно тому способствовала; но подумала ли бы империя, при всей ее силе, предпринять поход, если бы не имела в своем распоряжении Ватикана с неизменною к нему покорностью народов, несмотря на различие племен и наречий? Империя, добивавшаяся политического влияния, была уверена в успехе с таким пособником, не опасалась его охлаждения; преследуя собственную цель, она удовлетворяла еще более желания папы. В этом походе католицизм, один из союзников, по крайней мере, не мог изменить взгляда, был обречен держаться той же мысли и проводить ее при всех обстоятельствах. С нашей стороны дело могло двигаться только волею правительства; в православном люде, в том, что на

Руси составляет церковь, не могло быть никакой духовной силы. Для правительства же вопрос этот был второстепенный; оно могло существовать без него. Усилия его имели чисто временный характер, подчиняющийся внешним политическим обстоятельствам. Никого нельзя было уверить, что мы будем всегда и непременно относиться к вопросу так же ревностно; что при первом более выгодном условии мы не оставим на произвол соперников все возбужденные нами стремления и надежды, или просто, без причины, охладеем к делу. Для противников наших влияние католицизма есть вопрос жизни; для нас православие вне пределов России есть только одна из многих пружин политики, надавливаемых или ослабляемых по требованию обстоятельств. Возможен ли был успех в условиях, при которых, с одной стороны, были деятели, одушевленные исключительно религиозною ревностью, подчиненные воле, непреклонной, не меняющейся, с другой — лишь желавшие изменить дурное положение на лучшее, руководимые преимущественно личными стремлениями, подчиненные власти, обязанной по правилу венецианцев, быть прежде всего русскою, потом уже православною? И такую безнадежную борьбу мы начали не только не привязавши к себе сильных и местных союзников, а прямо в ущерб их долговременному влиянию.

Во всяком деле особенно важна начальная идея. Прежде, нежели хитростно придумывать средства и меры для достижения цели, следует решить, разумна ли цель. Если в общем движении после восточной войны нужно было ободрить поникшее сочувствие единоверцев и вместе удовлетворить собственную духовную деятельность, то и другое могло быть легче и полезнее для церкви, достигнуто общением с константинопольским синодом, союзом, а не соперничеством с восточною церковью. В объятых братским духом сношениях отпало бы от восточной церкви приросшее к ней зло, поднялась бы наша собственная церковь и соединенные силы обеих, конечно, стали бы действительнее в борьбе с католицизмом, нежели странная, по меньшей мере, посылка православной миссии к православному населению. Разумеется, следовало при этом задаться исключительно религиозною целью. Достижение ее помогло бы со временем политическим видам нашим, но не должно было смешивать средства и обманывать себя надеждою на единовременные двойственные результаты.

ГЛАВА III

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ О МОЕМ КОМАНДОВАНИИ ЭСКАДРОЮ

Мои действия собственно по эскадре. Трудности ее снабжения. Бухта Айяс. Упражнения экипажей. Охранение дисциплины в тогдашнее переходное время. Мой взгляд на гардемарин. Моя борьба с «Колоколом» и обществом без возможности отражать их удары. Переговоры с выселившимися татарами, желавшими возвратиться. Страх голода заставляет меня временно отлучиться из Сирии. Личные мои занятия. Мнение о броненосных судах и употреблении нового флота вообще. Возражение на проект устава о морском суде.

В предыдущей главе представлен очерк обстоятельств, привлекших меня в Сирию, и то участие, которое я принимал вместе адмиралами западных держав в охранении восточных христиан. Мои политические, так сказать, действия соответствовали степени посвящения меня в дипломатические воззрения моего правительства. Вы же видели — желало ли оно, чтобы я имел официальное понятие о предстоявшем деле, и какими способами я приобрел общий взгляд на вопрос. Но, кроме моря политики, я плавал в настоящее море с тремя тысячами человек, вверенных моему попечению. Не следовало упускать из виду, что значительные издержки на эскадру должны были вести, собственно в техническом отношении, к соответственным результатам. Команды могут образоваться только в продолжительных плаваниях при систематическом распределении времени. Политические надобности отнимали всякую возможность облегчить совершенствование экипажей соблюдением последнего условия. Кроме того, отсутствие по берегу спокойных убежищ и неимение на месте никаких средств для правильного и верного снабжения, заставляло постоянно заботиться о главнейших условиях существования эскадры — ее безопасности и питании людей. Я говорил уже, что самая вода доставалась нам с большими затруднениями. Немногие колодцы Бейрута были заблаговременно откуплены для французского корпуса; ручей, впадающий в море, отстоял на десять почти верст, по временам высыхал, а чаще всего зыбь мешала подходить к устью. Та же причина не позволяла спускать матросов на берег для прогулок, тем более необходимых, что несносные влажные жары ослабляли организмы. Наступление бурного зимнего времени, улучшая гигиенические условия, подвергало самые суда опасным случайностям.

Все эти неблагоприятные данные немало меня беспокоили и заставляли беспрестанно думать о средствах содержания эскадры в условиях, без которых главная цель посылки ее не могла быть выполнена. Вскоре по прибытии к сирийскому берегу я предвидел уже затруднения и писал великому князю, что буду

смотреть на Александрию и Смирну, как на мои запасные магизины. Александрия, по близости к Сирии, представляла удобство соединения наших специальных надобностей с требованиями политики; Смирна, связанная с Европою телеграфом, была ближайшим пунктом для скорых сношений с Петербургом. Собственная моя попытка обратиться к Египту, как житнице, не имела успеха: вход в александрийский порт такого длинного корабля, как «Генерал-Адмирал», оказался невозможным, и я должен был употреблять прочие суда эскадры для подвоза мне всего нужного. Беспрестанно занятые между сирийскими пунктами для покровительства христианам, они должны были вместо отдыха грузиться в Александрии сухарями, солониною и другими принадлежностями, чтобы спасти от лишений начальника. Товарищи мои, адмиралы, покинули берег в начале октября, оставя на станции наблюдательные суда. Мне предстоял случай выказать местному населению, что русские не устанут охранять их, и я решился не удаляться, чтобы быть готовым на немедленную помощь. В северной части сирийского прибережья, при соединении его с берегом Каромании, наносы рек Джигун образовали бухту Айяс, предел усилий знаменитого английского гидрографа Бофорта, посетившего ее в 1818 году. Раненный дикарями, кочевавшими в бухте, Бофорт прекратил опись, и с тех пор место никак не посещалось. В попытках отыскать по берегу спокойное убежище, я зашел в Айяс и тотчас решил избрать его сборным пунктом.

В 25-ти милях была Александретта, куда пароходы русского общества постоянно заходили на пути в Александрию; посылая в дни прихода одно из судов эскадры, я мог постоянно сноситься с центральной властью. «Но место в первобытной дикости, — доносил я, — и, в случае зимовки, нам придется придумывать развлечения, как в арктических экспедициях». На тридцать верст вокруг не было жилья и относительно свежей пищи, мы могли рассчитывать только на стада баранов, пригоняемых на никому не принадлежащие пастбища из окрестностей Аданы, главного города пашалыка, отстоявшего в пятидесяти верстах. Охота на кабанов и диких коз могла бы разнообразить наши обеды, но суда требовали тщательного осмотра по всем частям, а команды, тратившие время на перевозку грузов французского корпуса, выгрузку собственной провизии и собирание по каплям воды для питья, нуждались в военной муштре; так что времени на охоту не было. Снабжение эскадры провиантом оставалось все-таки гадательным и зависело от честности и ловкости поставщика, взявшегося добывать его в разных пунктах и фрахтовать нужные для перевоза суда. Неаккуратность его, вынужденная, впрочем, силою обстоятельств, понудила-таки меня в исходе января 1861 года прекратить упорство и временно отлучиться в Смирну; но с половины ноября 1860 года Айяс служил нам верой и правдой и был отличною школою для молодых офицеров и столь же юных опытностью команд. Я всегда с особенным удовольствием вспоминал об этой пустыне, где совершенное отсутствие визитов, поклонов и других светских требований, соблюдаемых на море еще строже, нежели на суше, дозволило нам войти в себя и заняться исключительно службою. Не сомневаюсь, что и сослуживцы мои сохранили об Айясе приятную память.

Решившись избрать Айяс главною моей квартирой, я доносил Его Высочеству... «Полагая, что, несмотря на милостивое разрешение Ваше и на неприятные условия сирийского берега, мне следует держаться у него до крайней возможности, и, не решаясь вместе с тем заключать взаимно обязательных контрактов на поставку всего нужного в предположении, что эскадра может быть направлена к иному пункту Средиземного моря, я избрал средство подвоза на малых фрегатах, как удовлетворяющее всем случайностям, хотя оно, конечно, неприятно для командиров... На днях я отправляюсь в Айяс, куда станут собираться в другие суда, разосланные по берегу... В дни

почты шхуна "Туапсе" будет ходить в Александретту и все надобности наших дипломатических агентов будут выполняться без потери времени... Но если за всеми моими стараниями оказалась бы надобность изменить планы, смею уверить В. В., что, несмотря на ревностное желание остаться у Сирийского берега, внушаемое, впрочем единственно чувством долга, я не подвергну эскадру лишениям во вред экипажам и убежден, что В. В. оправдаете взгляд мой в этом отношении; разве обстоятельства, уже не дипломатические только, заставят нас терпеть нужды всякого рода; но в таком случае самые страдания приятны, и никто из нас не задумается пробыть здесь до последнего сухаря».

Давши время осмотреться, я начал систематические упражнения. Отсутствие населения имело для нас несомненные выгоды. Можно было стрелять во все стороны, не опасаясь нанести кому-либо вред, свозить десанты, упражнять в строю вооруженных людей и вообще маневрировать на воде и на суше, не мешая никому, кроме спускавшихся к речке диких коз. Убежденный, что собственно боевая сила – артиллерия и все, к ней относящееся – выдвинется на первый план при оживлении кораблей паром, я преимущественно на нее обращал внимание. К сожалению, первые образцы нашего винтового флота, выстроенные наскоро во время войны и после нее, при весьма несовершенном тогда состоянии техники в наших адмиралтействах, оказались весьма дурно снабженными по боевой части. Вследствие частых упражнений в условиях настоящего боя некоторые, хотя немногие, суда пришли по артиллерийской части в положение, будто выдержали нападение противника. Многое рушилось вдребезги, оказывалось совершенно не отвечающим цели, годным только на показ. Ненавидя внешность, скрывающую негодную сущность, я жаловался, может быть, слишком резко и настойчиво; но мне легко могла предстоять встреча с врагом и энергические мои пени были по меньшей мере извинительны, когда я убеждался в способности нашей разрушать самих себя. По возможности все приводилось в порядок и улучшалось, и вместо отдыха мы занимались умственным образованием команд. Офицеры деятельно помогали мне в этом отношении, не только обучая нижних чинов грамоте, но развивая в них мышление рассказами из морской жизни.

Время сказать несколько слов о моих сослуживцах. Употребление флота в последние шесть лет уничтожило всякую морскую опытность. За исключением командиров и двух-трех подчиненных офицеров, остальные 130 очень мало были знакомы с морем и еще менее с требованиями военной морской службы. Беспрестанные перемены последнего времени в начальствующих лицах, условия, в которых настоящие служебные достоинства оказывались менее выгодными, нежели побочные качества, наконец, гуманность, которою был уже пропитан воздух, хотя она не сошла еще на землю, не была проведена еще в законах – все эти неизбежные данные переходного периода имели свое влияние на мысли и понятия моих подчиненных. И сам не чуждый новых воззрений, я, однако же, не допускал ни на минуту переходного состояния, всегда ослабляющего порядок, в силе, которая могла быть призвана внезапно к защите чести России и уже служила вывеской ее значения. В таких условиях, хотя и не часто, происходили столкновения между властью и подчиненностью, разумеется, решавшиеся полным торжеством власти. Но я имел дело с людьми, грешившими единственно неопытностью служебною и жизненною. Общая развитость была несравненно выше уровня развитости моего юношеского времени, а такая почва, удобренная впечатлительностью и пылом молодости, способна к плодотворной разработке. Власть всегда торжествовала, как я сказал, но не довольствовалась в торжестве своем силою; она старалась убеждать, возбуждать соревнование и, главное, возвращать чувство долга. Гуманностью веяло

в воздухе, но действовали прежние законы. При убеждении, что закон, пока стоит, должен быть строго обязателен, я не мог не прилагать его в известных случаях, но изменение способов приложения не умаляли значения закона. Телесные наказания по воле одного, без исследования, были выведены. Жалобы офицеров разбирались скорым судом и имели законом указанные последствия. В похвалу сердечных качеств моих сослуживцев скажу, что жалобы, ведшие за собою строгие наказания, были чрезвычайно редки; офицеры предпочитали обходиться легкими дисциплинарными взысканиями, им предоставленными, и неохотно доводили до сведения начальников случайности, граничившие ближе с преступлениями, нежели с проступками. Такое человечное различие между моими подчиненными и бывшими моими воспитателями, оскорбившимися, когда у них отняли власть побоев, я вполне оценивал и душевно ему сочувствовал; не менее того снисходительность могла вредить дисциплине, и я старался употребить в пользу человеколюбивые наклонности офицеров, убеждая их в приказах и в разговорах, что для достижения великой цели или по собственному внушению избранной требовалась не вредная снисходительность, а необыкновенная с их стороны деятельность, предупреждающая ошибки нижних чинов. Прежде отвратительные наказания наводили страх и заставляли подлежавших им быть настороже; если офицеры не хотели, чтобы наказания существовали на эскадре, им надлежало самим быть настороже; гуманность требовала особой бдительности со стороны способного на это высокое чувство. И за словами следовало практическое их приложение. Ни я, ни командиры не хотели знать проступков матросов, исключая, разумеется, очевидных признаков личной инициативы; во всех упущениях были виновны офицеры; им тяжело было на эскадре, но, судя по той части, которой сослуживцы меня удостоили, когда наступало время нашей разлуки, я заключаю, что они легко выносили мои требования и совершенно понимали меня.

Всего труднее было вести гардемарин, только что выпущенных из корпуса не офицерами, а со званием, подвергавшим их строгому контролю в течение первых двух лет жизни вне стен училища. Невыполнение ожиданий, отказ в чине, принадлежавшем им по прежнему праву, разумеется, имело влияние на состояние их духа, и жертва, которой должны были подвергнуть первый выпуск новых гардемарин для общей пользы флота, не могла не быть принята мною в соображение; тем не менее, нужно было поставить гардемарин в средину, чрезвычайно неприятную для учившегося многому молодого человека, — в положение лица, безответственного по своей неопытности и лишенного за то свойственного офицеру значения, но вместе строго отвечающего за свои собственные поступки и обреченного для усвоения нужной опытности на усиленный труд под весьма пристальным присмотром. В начале, как следовало ожидать, я встретил сопротивление и едва ли достиг бы успеха без помощи многих офицеров, понявших, что виды начальника, как бы упорно ни проводил он их, останутся видами только без непрестанного приложения их к действительности.

Министерство сочло нужным напечатать в «Морском сборнике» мои отзывы о гардемаринах в начале кампании. «Не могу сказать, однако же, — писал я, — чтобы полезное соревнование, возбуждаемое совместной стоянкою, действовало на всех одинаково. На некоторых гардемарин это благородное побуждение не имеет достаточного влияния, и я нашел нужным прибегнуть в отношении к ним к довольно строгим мерам. В. В., без сомнения, изволите согласиться, что на нас, первых практических ценителей перемены в производстве воспитанников корпуса, от которой поистине можно ожидать большой пользы, лежит тяжкая ответственность не только в отношении к настоящим гардемаринам, но и к будущим. Предание, переходя с одной эскадры на

другую, может повести к совершенному уничтожению цели вашей, если на первых судах новых гардемарин, имеющих обращение с ними, поселить в них ложные понятия о своем служебном значении... Наказания, положенные гардемаринам уставом, карая достаточно за невнимание и нерадение, не имеет действия, когда проступки становятся важнее. Не отвечая цели наказаний — отвращать на будущее время необходимость прибегать к ним — они не удовлетворяют и пользе службы. Правительство имеет целью приготовить из гардемарин настоящих помощников вахтенных начальников и образованных офицеров, и для этого дает им прекрасное содержание. При таких средствах оно вправе требовать, чтобы гардемарины, приготовленные уже теоретически в корпусе, становились сколь можно скорее полезными на кораблях, и если находятся упорствующие в нерадении и невежестве, на них не следует тратить. Вычет из содержания, без сомнения, слишком достаточного, указывается логикою. Не оскорбляя, наказание это затрагивает самые чувствительные струны. По существующим постановлениям я могу вычитать из жалованья только за самовольную отлучку и порчу казенной собственности. Первое, явное нарушение дисциплины, надеюсь, не случится; за второе я уже прилагал закон, ибо нельзя не сказать, что какое-то циническое небрежение ко всему окружающему, возрастающее, по-видимому, по мере совершенства отделки вещи, есть отличительная черта большинства воспитанников корпуса. Но кроме этих случайностей, есть явная, постоянная лень к обязанности, и я полагаю, что вычет из жалованья много поможет искоренению этого зла. Впрочем, недостаток развлечений поможет немало к укоренению во всех чинах ревности к службе».

Отзыв мой встревожил родных. Уведомленный о последствиях объявления его через два месяца после того, как я выражал мои взгляды, я счел нужным успокоить семейства моих подчиненных и написал в министерство: «Родители некоторых гардемарин, находящихся на вверенной мне эскадре, вследствие донесений моих, напечатанных в "Сборнике", желают знать сыновья их не в числе ли тех, к которым относятся мои отзывы. Спешу донести, что за исключением отосланного в Россию Н... и еще одного, не помещенного в прилагаемый список, я доволен всеми гардемаринами, как по службе, так и в отношении поведения. Само собою в таком числе достоинства не могут быть одинаковы. Что касается до условий общего образования, достижимых каждым соответственно направлению, данному воспитанием, надеюсь, что все наши молодые люди убедятся в необходимости его, если обстоятельства кампании, доселе удовлетворявшие единственно требованиям службы, выкажут им фактически пользу разнородных познаний, без которых в наше время не могут обойтись самые достойные офицеры».

Эту временную пасмурность очистила вскоре наступившая ясность, и я забыл бы о ней совершенно, если бы вводное обстоятельство не выказало, как легко у нас принимаются возможные наветы и как мало размышляют те, которым следует заботиться о спокойствии духа ответственных лиц на чужбине, желая удовлетворить как можно скорее окружающее общество. В самый новый год, в разгаре развлечений, последовавших в Айясе после усиленных стараний привести его в должный порядок, я получил номер «Колокола», любезно присланный на мое имя издателями.[8] Меня клеймили в нем варваром, чуть не людоедом, уверяли, будто я наказывал телесно гардемарин, и вообще предавались на мой счет самой бесцензурной фантазии. Привыкший к свободе печати, я ввел басенки «Колокола» в число святочных развлечений, отдавши номер на потеху в кают-кампанию. Уже через полтора месяца, в Смирне, я получил от Головнина письмо, в котором он уведомлял меня, что петербургское общество вознегодовало на мои жестокости, публикованные в журналах, и Великий Князь, довольно долго не получая от

меня донесений, не знает, как опровергнуть толки. Головнин просил немедленно успокоить поднявшуюся бурю. Мне казалось, прямое мое начальство, если не верило, то сомневалось в возможности основательности наветов, и я попросил телеграфом о немедленной присылке доверенного лица для производства следствия; вместе с тем я написал генерал-адмиралу:

«Давши отчет Вашему Высочеству о передвижениях эскадры, беру смелость обратить внимание Ваше на предмет, лично меня касающийся. Накануне нового года я получил от издателей "Колокола" номер журнала, в котором увидел неожиданное мною осуждение поступков моих. Привыкши к свободе книгопечатания, я не обратил на клевету ни малейшего внимания; но полученные мною из столицы известия, высказывания непривычной публики нашей к свободе слова, ставят меня перед нею в положение человека, заочно обвиненного не только без суда, но без прав защиты. Начальство, без сомнения, должно карать противозаконные действия; но смею думать, обязанность его защищать несправедливо обвиняемых подчиненных не менее важна и священна. Если репутация всякого служащего будет зависеть от произвола памфлетистов и ему не дозволят искать оправдания гласным судом, служба скоро наполнится бесхарактерными личностями, ищущими популярности, и все, дорожащие убеждениями, неминуемо покинут ее. Заочно клеймящая меня публика не принимает в рассуждение, что между мною и издателями "Колокола" или таинственными распространителями новостей не может быть борьбы; большинство ее, не зная, что в той самой стране, где свобода слова допущена во все ее полезной силе, существуют и законы, которые ограждают личность от произвола писателей, забывают, что у меня отнята всякая возможность потребовать моих поносителей к суду. Так необдуманно упрекающее меня в жестокости общество, вероятно, преследовало бы меня еще неумолимее, если бы слабостью или апатией я допустил беспорядки, которые могли бы иметь важные последствия, в особенности в настоящем моем положении, когда мне выпала завидная роль радеть о чести русского имени на чужбине... Вашему Высочеству известны воззрения мои на телесные наказания вообще, смею повторить, что я усердно желал бы уничтожения их, но вместе с тем не могу отказаться от убеждения, что пока не произведутся совершенно радикальные перемены в быте класса, из которого набираются нижние чины, пока не изменится система набора, содержание не устроится таким образом, чтобы можно было основанными на нем взысканиями побуждать беспечных ко вниманию и деятельности, до тех пор недостойное средство физической боли будет неизбежным двигателем для некоторых. Как бы благоразумно и осторожно не употреблял его ответственный начальник, оно всегда будет для него горькою необходимостью. Из приложенных рапортов старших офицеров и начальников вахт В. В. изволите усмотреть, насколько основательны обвинения меня в варварстве». Затем следовало перечисление случаев, в которых существовавшие законы прилагались со всею строгостью. Перечень начинался отчетом о наказании гардемарина, посаженного под арест по ошибке в одно помещение вместо другого. «В ошибочном исполнении моего приказания, — продолжал я, — винит себя старший офицер, но Ваше Высочество позволите мне, ни с кем не разделяющей данной мне власти, отказаться от разделения ответственности. Вина, если вздумают видеть вину в случайной ошибке, не имеющей, впрочем, и тени жестокости, принадлежит мне одному как начальнику. Как бы ни была строга ко мне публика, по холодном рассуждении она не может не согласиться, что я должен руководствоваться в общественной службе не ее понятиями, часто меняющимися, а неизменными законами. Другой случай, как видно из рапорта лейтенанта Фальбе, было противозаконное наказание, за которое Фальбе был мною тотчас арестован. Если мое взыс-

кание покажется слишком слабым, то я должен сознаться, что по мнению моему, перед доблестью, выказанною Фальбе при спасении упавшего в море боцмана Лукашевича, должна уступить самая строгость закона. Человек, бросающийся в море спасти ближнего, мог бы моментами нечеловеколюбивым лишь в запальчивости, и такого человека позволительно не карать, а остановить, что взыскание мое и произвело. Из отчета о наказаниях в восемь месяцев, В. В. изволите усмотреть, исполняют ли офицеры мое желание, чтобы телесные наказания были сколько можно редки. По моим приказам наказаны трое... Вот случаи, на которых может быть основано воздвигнутое на меня гонение. По званию и доверию, которым я удостоен от государя и Вашего Высочества, я обращаюсь всеподданнейше за защитою, не тою, о которой молит слабость, а защитою судебною, гласною, которой дозволительно искать человеку, уверенному в своей правоте. До решения таким способом, справедливы или нет взгляды мои на службу, почтительнейше прошу дозволить мне не менять их и не обращать внимания на безответственную гласность, огражденную обстоятельствами от всякого законного обуздания».

Если сила на законах основанных убеждений могла считаться преступным упорством, следовало удалить меня от всякой деятельности восемью годами ранее. В моих несогласиях с виленским генерал-губернатором, имевших совершенно то же начало, я далеко не был так упорен, как в описанном случае. Великий Князь, не перестану повторять, всегда восприимчивый к тому, что имело целью общую пользу — лишь бы не мешали ему следовать внушению собственной натуры не счел меня за неисправимого упрямца или гордого себялюбца.

«Колокол» еще довольно долго оставался в глазах многих грозным и справедливым обличителем. Но эскадре он не помешал святочным развлечениям, среди которых раздался гул его. Эти развлечения выказали разнообразные таланты, собравшиеся на судах, и занимали немало присоединившихся к нам англичан, не упустивших наблюдать, что делают русские, хотя и в пустынном крае. Маскарады были особенно оживлены и костюмы чрезвычайно разнообразны; за ними обращались в каюты запасных материалов вместо театральной дирекции, и не портя, разумеется, самых материалов, устраивали весьма эффективные наряды. Театральная дирекция-таки существовала, прибегала к тем же запасам за своим гардеробом и рассылала афиши, могшие служить образцом каллиграфии. Для балов палубы убирались единственною айяскою зеленью — миртами; между нами ставились цветы из окрашенной бумаги, а в отделениях, назначавшихся для отдыха, били фонтаны из каменных бассейнов. Вообще в Айясе было очень нескучно, и наши товарищи по стоянке, англичане, выражали удивление нашей серьезности в деле и ловкости в безделье.

В смежной пустыне были поселены тысячи ногайцев с Кубани и крымских татар, вышедших в Турцию после восточной войны. Бедняки были брошены на произвол судьбы в равнине, удобной для хлебопашества, о котором не имели ни малейшего понятия, без рабочего скота и нужных орудий. Сначала, узнавши, что у берега стоит русская эскадра, они посылали ко мне делегатов с просьбой ходатайствовать о дозволении им возвратиться в Россию, но потом, когда некоторые, служившие в нашей армии, это дозволение получили, эмигранты стали осаждать меня толпами, жалуясь на свою горькую участь. Вследствие моих представлений, в которых я особенно налегал на благоприятное для нас влияние переселения из Турции единоверцев тамошнего правительства, мне велено было сноситься с князем В. И. Васильчиковым, посланным тогда в Крым для более близкого ознакомления с подробностями поспешно дозволенного переселения. Обстоятельства, по которым поручение князя Васильчикова не имело результата, мне неизвестны, но кубанских татар не пустили,

хотя многие из них достигли уже Константинополя. Проезжавший в то время фельдмаршал князь А. И. Барятинский настоял, чтобы им не выдавали паспортов в Россию, объявивши, что принадлежавшие им земли уже розданы и непременно возникнут споры между новыми и прежними владельцами. Князь сам уведомил меня о своем противодействии в Сире, где я видел его в марте на пути в Триест.

В исходе февраля 1861 года настала невозможность снабжать эскадру провиантом, которой я так опасался с самого появления нашего у берегов Сирии. Вдобавок на английских судах открылась оспа, и я решился избавиться от болезни и голода временным удалением от сирийского берега. Для надобностей наших агентов я оставил фрегат «Илья Муромец» и на некоторое время шхуну «Туапсе». Фрегат должен был наблюдать за спокойствием. Для руководства командира я счел долгом дать весьма определительную инструкцию, хотя сам не имел никакой. Наставления мои были вывезены из собственных наблюдений и взглядов. Капитану Бузино предписывалось в случае угроз христианам действовать рупором, т. е. убеждать местные турецкие власти и склонять к терпению страдавших от их беспечности; но вместе я требовал от командира своевременного перехода к решительным мерам. «Кровь христиан не должна была литься в его присутствии, и в таком бедственном случае он обязывался смотреть не далее выстрела своих пушек, в уверенности полной с моей стороны защиты и совершенной готовности моей принять на себя ответственность за все последствия, лишь бы русский флаг достойно и действительно охранял единоверцев». «Меня были бы вправе и осудить, но честь России не пострадала бы».

Частые обращения в воспоминаниях моих к собственной моей личности никому не покажутся странными. Я пишу хронику собственной жизни, следовательно, не могу опускать случайностей и обстоятельств, в которых принимал деятельное участие. Мои воззрения выражают меня всецело; вот почему, имея неопровержимые современные данные, я считаю обязанностью подкреплять мои воспоминания документами. Поступая иначе, я возбуждал бы сомнения, что заносимые здесь мысли родились впоследствии и приводятся для занимательности повествования. Мне приходилось думать и сообщать выводы моего мышления о множестве вопросов, возбужденных тогда во флоте. Требования командования эскадрою, в глазах моих, не оправдывали бы равнодушие мое к этим вопросам, и я отвечал на все предложения из Петербурга касательно предполагавшихся перемен с тою же ревностью, с какой тратил на них время в столице и впоследствии в Америке.

В исходе 1860 года опыты над французским фрегатом Gloire осязательно выказали и еще будущность панцирных кораблей и еще яснее выставили, что прежняя наука парусов для военного дела уже недостаточна. У нас, да и не у одних нас, а вообще во флотах европейских держав, издержки на топливо пугали своей значительностью. Везде сознавали, что парусность в бою не будет играть никакой роли, что пар станет решать сражения, а между тем, из экономии, силились достичь невозможного — иметь без издержек исправные механизмы, готовые в данный момент, и искусных механиков. Для нас, далеко не достигших европейского механического уровня, разрешение задачи содержания в исправности паровых кораблей без употребления пара было положительно невозможно. Предвидя, что панцирные суда вытеснят обыкновенные и почти вытеснят паруса, я старался изменить взгляд начальства на употребление кораблей соответственно требованиям близкой будущности. «Я уже имел счастье доносить Вашему Высочеству, — писал я в октябре 1860 года, — что мы можем избежать выставки нашей слабости, только являясь везде, где потребуют обстоятельства, соединенно и вознаграждая недостаток в судах быстротою передвижений. Но главнее всего не быть в самом деле слабым,

настолько, по крайней мере, насколько требует собственная безопасность. Для этого нельзя достаточно настаивать на скором введении во флоте нашем всех новейших усовершенствований и на определение состава его. Кажется, непозволительно уже сомневаться, что броненосные суда станут во главе тех, по крайней мере, флотов, которым суждено действовать на внутренних морях и вести войну преимущественно оборонительную. Выстроить такие суда вполне из железа, как материала, выстаивающего долгое время, нужно сколько можно поспешнее... Еще флот наш нуждается в различных судах, подобных «Абреку»; они необходимы не только для Амура, но и при эскадрах, чтобы избежать значительных расходов. Фрегатов мы пока имеем достаточно, но я позволяю себе думать, что тип «Олега» или «Донского» должен служить не только образцом для большинства наших фрегатов, но и пределом размера их. В особенности нужно отстать от ложной идеи, будто огромный рангоут дает средство винтовому судну быть действительно парусным. По своей величине и более острым линиям, необходимым пароходу, новейшие суда и с малыми парусами будут ходить не хуже прежних, а громадные мачты и реи препятствуют ходу под парами, т. е. вредны именно в тех случаях, когда настанет наибольшая нужда в быстроте. Притом все паровые суда подлежат значительным изменениям в углублении и, при большом рангоуте, становятся без угля так валки, что необходимо нести малые паруса и даром подвергаться невыгодам верхней тяжести. Огромный рангоут «Генерал-Адмирала» весьма значительно препятствует ходу его под парами, и я был бы несравненно более доволен, если бы размер деревьев его не превосходил назначенного до 84-пушечного корабля. Спуск рей, идя против ветра и зыби, опасная забава, которая может обойтись очень дорого. Все это возможно на «Владимире» и подобных ему пароходах, где нижние реи только на 13 фут длиннее моих брам-рей и едва ли более их весят, а не с реями в 110 фут длиною и весом около пяти сот пудов. Во внутреннем плавании, где всякую аварию можно тотчас исправить в порте или заменить порванный такелаж новым, где, короче, вовсе не думают о морской экономии, можно занимать команду подобными упражнениями, хотя спуск рей есть работа, требующая только силы, а не искусства, следовательно, изнуряющая, а не развивающая; но в двухлетней кампании такие ученья весьма нерасчетливы. Притом легко себе представить, что терпят топы[9] при беспрестанных подъемах и спусках столь значительных тяжестей, и еще при противном волнении.

«Относительно употребления пара, смею уверить В. В., что это целая наука, не столь легкая, как может казаться по малочисленности приказаний в машину и скорости выполнения их. Недостаточно, чтобы машина двигалась только; нужно, чтобы она производила наибольшее полезное действие с возможно меньшим расходом, и для этого требуется долгая постоянная практика, которой, конечно, не достигнут запрещением ходить под парами... Мне кажется благоразумнее доводить самые машины и уменье механиков и командиров обращаться с ними до той степени совершенства, при которой отстранятся повреждения, нежели всегда рассчитывать как на ресурс на силу парусов, в военном деле уже несомненно бесполезно. Парусная практика, насколько она нужна, приобретается в океанских плаваниях, в соединении парусов с парами и, наконец, в чисто практических прогулках здесь и в Балтике; но лихое парусное управление, что называется Seamanship, неминуемо исчезнет по силе обстоятельств. Ему не учили кругосветные плавания, в которых всегда известно, где застанет какой ветер. Оно поддерживалось необходимостью управляться в узкостях, на рейдах, у подветренного берега и т. п. Теперь всякий осудит, и очень справедливо, если, имея в руках действительное и верное средство, командир подвергнет опасности корабль ради поэтических впечатлений или восторженных

воспоминаний о том, что можно в наше время назвать детством. Дела на винтовых судах не менее; одно содержание в исправности механизма, многочисленных плит и аппаратов всех принадлежностей десанта, вместе с военным порядком, гораздо более нужным для силы, которой употребление может быть мгновенно и не подлежит отговоркам, нежели для прежней парусной, зависевшей столько же от обстоятельства, сколько от рвения начальника — эти важные условия займут все время самого усердного и знающего офицера, и выполнение их будет несравненно полезнее для дела и службы, нежели прежние домогательства вертеть марса-реями, доходившие до жонглерства в ущерб казне, здоровью и самой жизни людей. На содержание флота в новом составе, конечно, требуются деньги, и у нас привыкли относить весь излишек морского бюджета на пар и его ненасытность; но В. В., вероятно, изволите согласиться, что такое мнение несправедливо. Вместе с введением пара у нас двинуты жизненные вопросы флота. Суда стали высылать в дальние моря, приступили к преобразованиям адмиралтейства для новых нужд и более, нежели удвоили содержание всех чинов, а быт матроса улучшили без сравнения, хотя не в такой степени, чтобы можно было остановиться на этом пути. Все эти издержки составляют огромные итоги, которые отнюдь нельзя отнести к трате угля, а гораздо более — к потребностям времени, столь настоятельным, что даже австрийский совет без разногласия квотирует миллионы на флот, при весьма жалком положении финансов, и самые турки, средствами, источник коих открыть трудно, завели хорошие винтовые суда, беспрестанно меняющиеся в Бейруте, что доказывает их многочисленность...».

«При сем прилагаю замеченные мною статьи о значении морских держав и о броненосных судах. Почту себя истинно счастливым, если старания мои усилить внимание к новой реформе пособят распространиться убеждению, что материальное совершенство флота и образование личностей соответственно новым требованиям дела должны быть главными предметами административной деятельности. Для этого только и нужна администрация, иначе существование ее будет аномалией».

В это же время начали думать о преобразовании судоустройства во всей России. Морское ведомство со свойственной ему порывистостью хотело опередить других и ввести у себя новые суды немедленно. Проект, составленный генерал-аудитором Глебовым, был разослан на заключение некоторых лиц. Не совсем понимая, как введут новые способы чинить суд и расправу в одной отрасли государственного управления, не сделавши единовременно соответствующих перемен в прочих, я намекнул на связь флота в этом отношении с остальным государством. «Замечания мои на проект устава о морских судах, — писал я, — разделяются на два рода: общие, касающиеся начал, на которых проект основан, и частные, на статьи самого проекта. Подразделение это казалось мне тем более приличным, что замечания второго рода уясняют первые, или лучше, частные замечания из общих истекают. Исключения относятся преимущественно к редакции, на которую должно обращать большое внимание в положениях всякого рода, не только для избежания неясности и возможности различных толкований, но для облегчения изучения положений и справок с ними. Конечно, не стану отвергать пользы распространения знаний положений, в особенности судебных, в том сословии, для которого они издаются; а большее или меньшее понимание их зависит от ясности изложения.

Рассматривая начала, на которых предполагается провести преобразование морских судов наших, я совершенно одобряю уничтожение постоянных военно-судных комиссий, члены коих несомненно отчуждаются от сословия, вверяемого их суду и решению в самых важных случаях служебной жизни; но вместе с тем не вижу, каким образом новые временные суды, составляемые из офицеров,

состоящих на действительной службе, выполнят на практике свое дело добросовестно, если, во-первых, не будут устранены бесчисленные случаи подсудности, оговоренные в теперешних наших положениях, а во-вторых, все преступления частные не перейдут в ведение общих судов. Занятия судных приставов и гласного пристава, при подобном ограничении круга действий морских судов, не будут так занимательны, но для сословия положительно выгоднее, чтобы его судьи, люди, не специально подготовленные и неответные, не выходили из служебной колеи. Притом, мне кажется, интерес самого государства непременно требует, чтобы в нем не было каст, изъятых влияния общей власти, не только судебной, но даже полицейской, и все доводы, приведенные в объяснении противно этому воззрению — удобство надзора начальствующих лиц за раскрытием преступлений, главноначальствующих за невниманием ближайших начальников, и. п. — тонут по своей сравнительной незначительности перед таким устройством суда, при котором служащий беспрестанно проникается мыслью, что, принося пользу отечеству своими специальными познаниями и качествами, он ни на минуту не перестает быть членом общества, обязанным не менее служащего уважением к законам, от которых зависит общественное благосостояние. Многочисленные исключения, допускающие по проекту подсудность моряков общим судам, подтверждают, кажется, это мнение. Можно смело предсказать, что эти исключения будут столь часты, что не было бы большего неудобства прямо решить, чтобы за частные преступления вне пределов управления главных командиров, военные подлежали общим судам, с оговоркою, что в случаях, где страдает честь сословия или дисциплина, решение общего суда передавалось морскому суду, который определяет только меру наказания по военно-морскому уставу, но не уничтожает и не изменяет приговора гражданского суда в виновности. Таким образом, будут охранены интересы сословия и гораздо важнейшие интересы общества. При следствиях могут действительно оказаться неудобства по неповиновению военных властей гражданской полиции, но их легко устранить постановлениями о сношениях полиции с местными военными начальниками. Во всяком случае не следует создавать в государстве особых для каждой касты судебных властей ради того только, что может несколько затруднить административные действия. В этом главном основании никак не могу согласиться с составителем проекта, который и сам ясно выказывает в проекте необходимость важности значения общего суда».

Разобравши проект по статьям и совершенно отвергши те, которые были введены, очевидно, для соглашения самолюбия тогдашних личностей с новыми юридическими взглядами, я так окончил мою рецензию:

«В заключение считаю нужным выразить мнение, что если допускается коренное правило, что приговор суда никем не может быть изменен, то рационально сделать и то положение, что никем он не может быть предупрежден. Высочайшей власти бесспорно принадлежит право помилования обвиненных, но в помиловании не нуждаются необвиненные еще; следовательно, манифесты, не представляя выражения права помилования, должны быть отменены как предупреждающие только решение судов.

Считаю долгом, в этом случае в особенности, восстать против системы издания каких бы то ни было положений в расчете на настоящие личности. Личность вообще слишком временна, чтобы можно было бы на ней основывать даже административные постановления, не только судебные, в которых неизменяемость, по крайней мере продолжительная, должна быть непременным условием. Постепенный прогресс общества или сословия уже без того побуждает к изменению существующих законов; зачем же подвергать это основание общества разрушению при каждой пере-

мене деятелей? Мера может казаться удобною, но введет то важное пагубное неудобство, от которого все силятся избавиться – произвол».

Впоследствии мне случилось участвовать в комиссии, составлявшей правила для военных и военно-морских судов. Там я защищал те же воззрения. Современники могут безошибочно заключить, насколько стремление морской администрации к судам «правым и истинным» оказалось искренним в действительности. Без сомнения, новые морские суды несравненно более прежних обеспечили невинных – и это уже чрезвычайно важно; но виновные могли так же, как и прежде, надеяться на вмешательство административной власти, кстати, вводившей гуманные взгляды, но не для всех, значит, продолжавшей тот же все заражающий произвол.

ГЛАВА IV

ХОД И ЗАВЕРШЕНИЕ СИРИЙСКОГО ВОПРОСА

Смирна. Празднование освобождения крестьян на эскадре. Взгляд на будущность Турции. Архипелаг и Греция. Прием их эллинских Величеств на эскадре. Последнее чествование баварской династии. Мое неудачное уважение к истории. Опять Сирия. Отплытие французских войск. Наблюдение за краем остается исключительно на долю эскадр. Я отправляюсь в Ливан и Дамаск для успокоения оробевших жителей. Торжественный въезд в Дамаск. Генерал-губернатор Эминь-Паша соглашается на посещение нами мечети Али, но выражает опасение. Полицмейстер-Хаджи. Следы мусульманских неистовств. Могамед-Нури покровитель христиан во время избиения. Бедуинский шейх Могамед-Духи. Новое устройство управления Ливаном. Прибытие нового губернатора Дауд-Паши. Завершение сирийского вопроса.

По прибытии моем в Смирну православное население города, давно не видевшее русских судов, выказало радость и сочувствие, приславши выборных выразить преданность России и ее монарху. В день восшествия на престол епископ просил дозволить нашим священникам служить совместно с ним в соборном храме, с хорами наших певчих. Я согласился на просьбу с тем большею охотою, что христиане во всей Турции ожидали последствий дамасской резни со страхом и шествие в соборную церковь офицеров и нижних чинов в полной форме, в виду всех, выказывало, что им нечего было бояться. Большой церковный двор, колокольня и крыши окрестных домов были усеяны зрителями, непритворно радовавшимися громкому проявлению православия в месте, где оно обыкновенно опасалось гласности. Литургия совершалась на обоих языках и при возглашении многолетия эскадры и иностранные суда на рейде произвели салют. Архиепископ Хрисанф пригласил всех нас на завтрак и в чистосердечных простых выражениях передал мне благодарность за торжество, которым православное население было обязано присутствию русских. Генеральный консул Иванов, знавший меня еще юношей, бурчал из высокого шитого воротника что-то о демонстрации, но я ускромил его 80-летнюю щекотливость, сделавши ему визит со всеми офицерами как представителю России. Наших певчих стали приглашать и в другие православные храмы; присутствие в церквах, где они пели, обратилось в моду, и самые церкви выиграли от сборов.

Вскоре я получил манифест об освобождении крестьян, и желая придать человеколюбивому подвигу царя сколько можно более торжественности в глазах иноземцев, праздновал счастье России с особенным блеском. Памятный день не значился в числе табельных, даже не было указано праздновать его; но душа моя не могла подчиниться постановлениям при такой исторической случайности. «Торже-

ство не указывалось уставом, — писал я, донося о празднестве в Петербург, — но уставы не пишутся для громадных фактов, совершающихся однажды в целую жизнь народов. Смею думать, что национальный флаг наш при этом случае должен был развиваться рядом с флагом августейшего виновника новой жизни нашей Родины». По эскадре был отдан следующий приказ:

«Предписываю завтра, в 10 часов утра, прочитать при собрании команд на шканцах высочайший манифест об уничтожении крепостного состояния, изданный 19 февраля сего года, и после чтения отслужить благодарственный молебен с провозглашением многолетия Е. И. В-ву. По окончании молебна, следуя фрегату "Генерал-Адмирал", поднять императорский штандарт на грот-брам-стеньге, русский национальный флаг на фор-брам-стеньге и флаг "Генерал-Адмирала" на крюйс-брам-стеньге и произвести салют. Национальный флаг поднимается в доказательство сочувствия России к великому христианскому подвигу нашего государя, а флаг "Генерал-Адмирала" в знак общей нашей радости, что в важном деле этом усердно помогал царю наш Великий Князь».

К командам я обратился со следующими словами:

«Ребята! Настоящий манифест не касается вас лично. С той минуты, как вы поклялись служить царю и России под флагом с синим крестом, вы зависите только от законов и их блюстителей — ваших начальников. Но ваши отцы, братья и сестры оставались в личной зависимости от нас — помещиков. Настоящим манифестом эта зависимость прекращается. Порадуйтесь же за ваших кровных и пожелайте от доброго русского сердца, чтобы они были достойны новой светлой доли». Население Смирны, без всякого различия племен и верований, радовалось вместе с нами счастливому событию и имя вдохновленного на подвиг державного виновника нового порядка было на всех устах.

Всегда считая обязанностью, не только личным удовольствием, знакомиться ближе и сколько можно разнообразнее с местностями, в которые приводила меня служба, я объехал приморскую часть Смирнского пашалыка от Эфеса, через Касабу, Магнезию, Пергам и Мелемен. Со времени последнего знакомства моего с Смирною в 1845 году, владычествующее мусульманское племя и здесь, как по анатолийскому берегу Черного моря, удалилось внутрь. Несмотря на все усилия и вмешательства извне, магометанское население вокруг Смирны, видимо, редело, и едва ли где-либо был так ощутителен непреложный исторический закон отступления варварства и апатии перед просвещением и энергией. Наружно подчиняясь тяжкому игу, выражая покорность с хитростью, свойственною рабству, местные греки мирно готовят ниспровержение притеснителей. Школы, общественные учреждения, торговые сделки и все, чем выражается дух народа, способного к политической самобытности, суть плоды частных усилий христиан. Пользуясь их выгодами, мусульмане, в свою очередь, привыкают к зависимости, и прежние гордые повелители становятся обязанными данниками. Никакая политическая сила не может уничтожить влияния нравственного превосходства, и день торжества бодрого, живого племени над разрушающимся исламизмом близится. Кем и как заменится теперешний порядок, угадать нелегко, но финансовое расстройство Турции заставляло меня верить слухам о займах под залог различных частей империи.

Нельзя было не обращать внимания на подобные слухи, вероятно, распространявшиеся самими желавшими их осуществления с целью приготовить общее мнение и обратить неопределенность в ожидание, при котором переход к действительности удобнее: дипломатически можно опровергать все до дня превращения слухов в неопровержимый факт и тогда дать делу вид внезапной случайности; но человеку, привыкшему видеть во всяком усилии цель, позволительно сомневаться в пользе

наклонности писать ноты и депеши, совершенно упуская из виду исход такого требующего дара, но неблагодарного труда. За доказательствами суетности плодовитых переписок нечего было обращаться в далекое прошедшее. Я только что был свидетелем громадных канцелярских трудов сирийских комиссаров; от них выигрывала единственно политическая несообразность, которую условились называть правительством, когда дело идет о Турции. Порте было одинаково выгодно уничтожать христиан друзами, а друзов — Европою, — и те, и другие ей враждебны.

Дипломатические выжидания и невмешательство поведут рано или поздно к обстоятельствам, которые еще более затруднят решение восточного вопроса.

Из Смирны я отправился по островам архипелага, вовсе неизвестным моим сослуживцам. Личное знакомство с историческими местностями я считал сильным двигателем и легким средством к достижению образования, а знание убежищ необходимым итогом в сумме специальных познаний морского офицера. Мы начали гаванью Оливьеро на цветущей Метилене, с трудом доступной парусным судам и потому мало посещаемой, несмотря на ее достоинства. Узкий извилистый вход длиною в семь верст напоминает тесные фарватеры финляндских шхер с тою разностью, что безотрадное хвойное однообразие нашего северного архипелага заменяется нежной растительностью, поражающей роскошью. Этими Фермопилами достигают огромного пруда — иначе нельзя назвать совершенно закрытый великолепный порт, образованный, без сомнения, удачным землетрясением. Здесь между зелеными холмами, слыша отовсюду журчащие ручьи превосходной воды, могут укрыться самые большие флоты. Может быть, в славные екатерининские времена нетрудно было нам утвердиться в этой гавани. На всем Средиземном море только порт Магон может с нею соперничать, но настоящие владетели совершенно равнодушны к этому щедрому дару природы.

Поклонившись древней славе на Марафоне и древней науке у мыса Сунгум, мы стали в Пирее, порте славившихся некогда мудростью Афин. Впервые случилось мне встретить истинный русский прием со стороны русского представителя. А. П. Озеров, давний мой знакомый, и его милое семейство были особенно внимательны к соотечественникам, ввели нас в местное общество и вообще старались произвести на сирийских меченосцев, одичавших в своем крестовом походе, самое приятное впечатление. Король и королева принимали нас с большим вниманием.

Видя, что Их Величества не могут отделаться от скуки, как и простые смертные, я решился доставить им развлечение и, переговоривши с посланником, просил августейшую чету принять от нас обед и бал. Чествование короля, в особенности королевы русскою эскадрою входило и в расчеты русского посланника, не имевшего частых поводов выказывать их величествам уважение. Король принял меня в десятом часу утра в зале, где не было никакой мебели, будто опасаясь, чтобы я не сел без приглашения. Баварское его происхождение давало себя чувствовать даже в этот ранний час. На первом представлении он обратился ко мне с вопросом, слышанным мною двадцать лет назад: «Москва после пожара стала прекрасным городом, не правда ли?». И теперь, ожидая от туго высказывавшегося величества того же стереотипного вопроса, я приготовился подивиться его памяти, — вероятно, он один вспоминал еще о московском пожаре, — но на этот раз король осведомился о моем прошедшем, заговорил со мною о «Генерал-Адмирале», Штатах и Сирии, и кончил весьма милым согласием. Зато королева приняла мою жену почти радостно, непринужденно выразила удовольствие ввиду предстоящего развлечения и снизошла до того, что просила разрешения взять с собою камер-фрау для перемены туалета. Пир на «Генерал-Адмирале» был последним пиром Оттона и Амалии. Вскоре после моего отплытия король отправился с короле-

вою на прогулку по островам и, возвратившись, узнал, что его уволили. Баварская династия перестала царствовать.

Между многими посетителями захотел посмотреть на плавучую громаду мою знаменитый Канарис, так удачно жегший турецкие корабли на тщедушных ладьях. Я принял старца со всеми почестями и велел зарядить орудия для салюта при его отъезде. Канарис тотчас заметил приготовления и, узнавши, что они делаются для него, просил прекратить, так как он не был при должности и вдобавок не пользовался расположением двора. Я отвечал, что не сомневаюсь в удовольствии их величеств, когда до них дойдет свидетельство моего уважения к славе Греции. Расчеты оказались не совсем верными. Придворные знакомые уверяли меня, что салют Канарису лишил меня ордена Спасителя. Если это справедливо, утешаю себя мыслью, что лишился знака, установленного в память учителя, назидавшего воздать «Кесарю — Кесарево».

Снова пустился я в архипелаг, в этот раз с приятным спутником, добрым Озеровым. Мы пошли в Салоники, проехались и теперь еще узнаваемыми Фермопилами, посетили Негропонт и зашли за почтою в Сиру, намереваясь обойти все примечательные острова; но в Сире я получил повеление из Петербурга вновь плыть к Сирии и быть там к 23-му мая. Пассажиры отправились в Пирей на частном пароходе, а я пошел по назначению и 22 мая стоял в Бейруте со всею эскадрою. Различные суда держались от меня на концах проволоки и одновременно со мною стали на бейрутском рейде.

В наше отсутствие консулы продолжали сизифову работу комиссаров, возвратившихся в Европу в исходе предшествовавшего года. Списки о вознаграждениях посылались кипами к Фуад-Паше и от него возвращались для переделки и новой посылки к тому же источнику, снова смывавшему их в море споров и рассуждений. Вместо денег Фуад опять хотел выплатить кровью и приговорил уже к казни друзского шейха Саида, но должен был уступить заступничеству англичан и удовольствовался заточением Саида в темницу, где тот вскоре умер. В отмщение за беспокойство Саиду англичане вытребовали высылки из края Юсуф-Карама, французского кандидата в эмиры Ливана. Кажется, это не могло быть противно нашим целям, по крайней мере английский адмирал и я в частных разговорах так смотрели на изгнание маронитского шейха. Впрочем, французское влияние, суетившееся, но не первенствовавшее в течение всего дамасского вопроса, должно было кончить свои шумные выходки. 5-го июня в силу конвенции французские войска обязывались очистить сирийский берег, и как ни убеждал Наполеон в необходимости продолжать занятие, как ни вторили мы ему против воли, Англия осталась непреклонною. В исходе мая французы начали садиться на суда и охранение берега предоставлялось исключительно эскадрам. С этой целью все правительства послали к моменту амбаркации[10] французских войск довольно значительные силы. Наша эскадра явилась в полном составе, исключая корвет «Сокол», присоединившийся впоследствии. Могшие всегда усилить свой контингент англичане прислали Контр-адмирала Менди с тремя кораблями, фрегатом и лодкой. От французов прибыл главнокомандующий эскадрой Средиземного моря вице-адмирал Le Barbier de Tinnant с пятью прекрасными кораблями, в том числе могучей «Bretagne». Вскоре присоединился и главнокомандующий английским флотом Мартен на 130-пушечном корабле «Marlborough». Le Barbier выразил мне уверенность, что наши инструкции одинаковы, и что, вероятно, нам придется действовать соединенно на берегу. Я не сказал ему, конечно, что вовсе не имею инструкций, но дал понять, что считаю обязанности, на нас лежащие, чрезвычайно ясными, и ясность эту формулировал таким образом в донесении о переговорах с Le Barbier: «Кровь христиан не должна литься под

выстрелами нашей эскадры, и я не поколеблюсь принять всякие меры для предупреждения, не только для пресечения подобных горьких случайностей». Это было повторением решимости моей употребить в случае надобности силу, как я весьма определенно наказывал командиру фрегата «Илья Муромец», оставляя ему инструкцию при удалении моем от берега. Копия с инструкции была своевременно послана в Петербург, на нее не возражали, что было мною принято за одобрение, разумеется, с убеждением в полном праве правительства осудить мои действия в случае, если возникнут затруднения.

Вслед за отплытием французских войск я стал высылать по два судна в крейсерство для наблюдения за прибрежными пунктами. Командиры обязывались в случае надобности тотчас следовать ко мне с известием под парами, а в таком, при котором удаление от угрожаемого беспорядками пункта могло ускорить их, посылать ко мне берегом офицера, принимая в то же время меры к устранению бедственной случайности, через влияние на местные турецкие власти или согласным действием с могущими быть в пункте судами других наций.

Когда в Бейруте не осталось ничего, напоминавшего французское занятие, стали говорить, что повторяются прошлогодние неистовства. Фуад-Паша расстреливал за малейшее оскорбление христиан, но христиане не доверяли турецкой власти, приписывали строгость Фуада только желанию успокоить Европу и со страхом принимались за обычные свои занятия. С целью выказать им, что опасения их напрасны, что в Ливане все спокойно, я решился проехать в гору и далее в Дамаск без всякого конвоя. Генеральный консул Верег пожелал мне сопутствовать и, пользуясь случаем, раздать деньги, присланные из России для несчастных единоверцев. Был изготовлен целый караван с палатками, всем нужным для ночлега, кухнею и припасами, и около половины июня мы двинулись из Бейрута. Но перед отправлением случилось обстоятельство, несколько изменившее мое первоначальное предположение. Турки праздновали курбан-байрам и пригласили нас участвовать салютом. Адмирал Le Barbier приехал ко мне узнать мое мнение. Я ответил, что подобное участие совершенно противно моему воззрению не только потому, что ни одна из европейских наций не навязывает другим своих религиозных праздников, но и в том отношении, что торжественное чествование религии, последователи которой столь недавно высказали ненависть к христианам, удовлетворяя видам мусульманских властей, по-моему недостойно христианских эскадр и вовсе не соответствует цели их посылки в страну, только лишь пострадавшую от взрыва мусульманского фанатизма. Le Barbier согласился, мы были вместе у английского адмирала, решительно отказавшегося принять в празднестве участие, и первый день байрама прошел без салютов с нашей стороны. Вечером я получил от обоих товарищей письма, в которых они просили меня праздновать турецкий праздник на другой день вследствие жалобных пений Фуад-Паши. Как ни прискорбно было изменение принятого нами намерения, явное несогласие между нами в самом начале дела было бы еще прискорбнее, и мы удовлетворили просьбу турок. Тем не менее я тогда же донес о происшествии и просил склонить Порту дипломатическим путем придумать национальный праздник; мне казалось, что христианам незачем радоваться курбан-байраму и славить рождение Магомета. Фуад-Паша узнал, что я противился торжеству, и отплатил мне чисто турецким способом. Несмотря на просьбы оставить меня мирно съездить в гору и Дамаск, Фуад настаивал на страже, страшась ответственности, если бы с нами что-нибудь случилось, и у подошвы Ливана я увидел на моем пути выстроившийся турецкий караул с двумя офицерами. Это значило «платите и дарите» — и мщение Фуада обошлось мне дорого. Зная, какими мерами и средствами официальные турки выказывают свое значение, я велел объявить начальнику конвоя,

что он может рассчитывать на бакчиш в таком только случае, если будет следовать за нами исключительно в качестве почетной свиты и люди его не позволят себе никаких поборов с бедных жителей. Увещевания произвели ожиданное действие: во все путешествие стража следовала за нами в некотором отдалении и веля себя скромно.

Первый привал мы сделали в Захле, значительном местечке на восточном скате Ливана, населенном большей частью православными. Есть, однако ж, и последователи греческой церкви, признающие главенство папы. Оба отделения имели епископов, не замедливших явиться в наш лагерь. Наше кочевье представляло довольно оживленную и разнообразную картину. Палатки разбивались обыкновенно около воды, в тени деревьев, и смотрелись вроде кают. В середине большой шатер представлял кают-кампанию, где мы сходились обедать и где в прочее время давались аудиенции. Кругом устраивалась коновязь для наших лошадей, мулов и ослов, и между животными шумно суетились сеисы, мухры и вся многочисленная прислуга. Изредка слышался сиплый голос какого-нибудь марсового матроса, дивившегося говорливости арабов в присутствии начальства и обыкновенно трепавшего говоруна по плечу с приговоркою: «А что ты молчать умеешь?».

Захле особенно пострадала в предшествовавшем годе от друзов. Будучи центром православного населения, отличающегося стойкостью, она отбила первое нападение, но потом у жителей отобрали оружие с обещанием защитить их. Вместо защиты турецкие солдаты напали соединенно с друзами и обезоруженное население вынуждено было спасаться бегством. Несмотря на благодатный климат, довольство не могло возвратиться в год времени, а потому я невольно усомнился в понесенных горными христианами материальных потерях. Дома, разумеется, были разграблены, но при скудности домашней утвари ущерб не мог быть значителен. Богатство владельцев состоит в садах и шелковичных деревьях, эти не были тронуты и поражали своим цветущим состоянием при ирригации, которую умеют дешево и действительно устраивать только на востоке.

Епископы, казалось, жили в дружественных отношения, и мы провели целый день в осмотре следов неистовства друзов, во внимательном разборе показаний пострадавших и, наконец, в раздаче пособий наиболее нуждавшимся. Ранним утром караван двинул прямой дорогой, а мы следовали окольными путями, чтобы видеть по возможности более христианских поселений. Везде было ясно, что мусульмане имели главною целью истребление самих христиан, а не имущество их, которым надеялись воспользоваться. Убогие церкви стояли в каждой деревушке, но при всякой церкви была комната для школы и вечером мальчики собирались на уроки к священнику.

Второй ночлег мы имели в Зебдане, нагорной долине Анти-Ливана. В ней богатая деревня, оттененная садами и охлаждаемая многими ручьями. Население преимущественно мусульманское, и помощь немногим пострадавшим христианам была роздана на глазах их гонителей с особенной торжественностью и щедростью.

От Зебдане мы направились к Дамаску ущельем Барады. Река прорывалась между меловых скал с шумом и яростью горного потока и была опущена деревьями всех возможных оттенков.

В пяти верстах от Дамаска, по сю сторону последнего анти-ливанского отрога, мы наехали на кавалерийский отряд в несколько сот человек, высланный на встречу генерал-губернатором. Из вежливости мы с консулом оставили наши английские седла и сели на подведенных арабских коней, покрытых шитыми золотом чепраками. И без того многолюдный караван наш обратился в бесконечное торжественное шествие. Русские, греки-караванщики, арабы всех исповеданий и турки медленно поднимались на массивный хребет. Борзые скакуны степей, смиренные клячи, мулы и

ослы — все мешалось в дорожном равенстве. Нашествие наше достигло, наконец, высшего пункта горы и нам открылся сказочный Дамаск в зелени и истинно восточных садах, протканный струями разветвляющейся Барады, а за ним безбрежная, как сама неизвестность, степь Пальмиры...

Лишь только мы начали спускаться к Дамаску, грохот орудий цитадели разразился на наши органы слуха бесконечным треском, усиливавшимся при каждом выстреле. Христиане, частью мусульмане вышли нам навстречу, и мы вступили в город едва ли не с половиною его обитателей. Отведенное нам пристанище веяло настоящим востоком, неиспорченным европейским дыханием как в Стамбуле, а востоком чистокровным, роскошным, окунающим в негу и чувственность. Устланный разноцветными мраморами двор с бойким фонтаном в центре был окружен открытыми на него покоями. Меня поместили на прохладной северной стороне, в отделении из спальни, ванны и приемной. Посреди ванной комнаты тихо напевал однообразную песнь свою журчавший ток воды, особенно милый после трех суточной верховой езды в палимом летним солнцем Ливане. На улице по обыкновению коренного Востока вовсе не было отверстий, исключая входной двери, и среди многолюдного города мы пользовались деревенской тишиною.

Генерал-губернатор Эминь-Паша, образованный в Европе турок, принял нас очень вежливо и внимательно, выразив уверенность, что в его время не случится ничего подобного прошлогодним происшествиям. На желание мое видеть прежний храм, в котором погребен Иоанн-Креститель, Эминь-Паша заметил, что там похоронен и Али, и что мечеть, почитаемая вторым святилищем исламизма, открывалась европейцам только во время владычества Мегмеда-Али, а владычество его было очень твердое, прибавил Эминь. Хотя это означало, что султанство не слишком в себе уверено, однако ж мы настаивали, желал выказать значение нашего вмешательства в глазах дамаскинцев, не имевших возможности видеть в Бейруте нашу силу. После некоторых колебаний Эминь-Паша велел полицмейстеру вести нас в мечеть. Худощавый блюститель порядка с клинообразною редкою бородкою на вытянутой нижней скуле, впалыми щеками и узко прорезанными под нависшим лбом живыми серенькими глазами ходил трижды в Мекку на поклонение с большим караваном, отправляющимся ежегодно из Константинополя черед Дамаск; значит, он был трижды хаджи, следовательно, архиплут, как гласит восточная пословица. У мечети мы встретили огромную толпу, не совсем дружелюбно смотревшую на гяуров, дерзавших осквернить их святилище. Введя нас внутрь, полицмейстер очертил тростью заколдованный круг и не дозволял никому из посторонних переступать его воображаемого предела. По мере того, как мы передвигались по мечети, хаджи обходил нас с тростью в вытянутой деснице и отгонял любопытных с такой жестокостью, что сжалившись над мальчишками, преимущественно подвергавшимся его побоям, я просил его укромиться. Пришедший в ярость полицмейстер возразил, что он отвечает за нас головою и qu'il connaissait son monde.[11] Изуверы всегда выставляли вперед мальчишек, как застрельщиков, и если их не отгонять побоями, в тесноте произойдет катастрофа. Я думаю, хаджи просто хотел выказать свое усердие для получения большего бакчиша. Мы пробыли в мечети около часа, и когда я подарил за это пять наполеондоров,[12] серенькие глаза полицмейстера выразили такую неприятную неожиданность, что я убедился в справедливости восточной пословицы.

В Дамаске следы мусульманских неистовств производили иное впечатление, нежели в Ливане. Сады, в которых прячется многолюдный город, остались целы, и, резко окрася опустошение, выставляли его еще рельефнее. Целый квартал, вмещавший до тридцати тысяч жителей, смотрел громадным некрополисом. Храмы, дворы с мраморными портиками,

разные фонтаны – все было унесено вихрем фанатизма. От шелковых и парчевых фабрик, на которых преимущественно работали христиане, остались одни основания, и потеря действительно была огромная. Мусульманское изуверство бешено ринулось на трудолюбивое покорное население и правительство было совершенно виновно в бедствиях дамасских христиан; в городе оно могло действовать через правильные свои органы и имело в руках силу. Казнь сераскира искупила отчасти преступное равнодушие турецких властей, но главные кровавые деятели, мусульманское население, остались не наказанными.

Утомившись перепискою о вознаграждении, комиссары сочли изнурившие их усилия достаточным результатом и обратились ко второй цели своего назначения, устройству администрации горы, представлявшей новую пищу их бумажному творчеству.

Через Дамаск, как я сказал, направляется ежегодно священный караван в Мекку. Экспедиция – иначе нельзя назвать ее по размерам – стоит громадных сумм. Издержками на охраняющее караван войско не ограничиваются расходы. Нужно откупаться от бедуинских шейхов на пути, чтобы они не нападали на охранителей. Пароходное сообщение по Средиземному и Красному морям представляет несравненно более удобств поклонникам, и Порта, в видах экономии, старалась направить их по этому пути. Если она добьется цели, изменение дороги расфанатизирует дамаскинцев. Значение города как святыни неминуемо падет, но такая перемена требует времени и странно ожидать, чтобы ножи мусульман притупились от употребления.

Кроме одобрения пострадавших и раздаче им некоторой помощи, нужно было выказать сочувствие наше мусульманам, поставившим человеколюбие выше ложной ревности к вере. Мы отправились с формальным визитом к старику Могамед-Ага-Нури, спасшему многих христиан от кровожадных своих единоверцев. Усилия Абд-Эль-Кадера были разнесены молвою на все четыре стороны вследствие личного значения экс-эмира, но скромный Могамед-Нури выказал готовность жертвовать для несчастных христиан великолепным своим жилищем, даже самою жизнью. Он усадил нас на ковры истинного благополучия, ибо на них отдыхали преследуемые злобою мученики, и безыскусным рассказом очевидца нарисовал на кровавую картину прошлогодних злодейств. Истинное почитание Бога и уважение к воспроизведению его на земле, человеку, слышалось в каждом слове почтенного старца. Отрадно было видеть искру света в этой доле тьмы и безумия. Беседа наша длилась несколько часов в дыму янтарей и освежающей неге восточных ароматов.

Внезапно явился перед нами со всеми признаками восточного почтения высокий стройный молодой человек в белой чалме и таком же бурнусе, с бородою, как воронье крыло, и черными, сверкавшими глазами. После салема он непринужденно прилег возле меня на подушки, выказывая и в этом ленивом положении нетерпение своей природы. Незнакомец был Мохаммед-Духи, прославленный шейх бедуинов, кочующих в смежной с Дамаском степи. Предо мною лежал истинный сын пустыни, с взглядом, привыкшим обнимать неизмеримую даль, с телом гибким, как трость, вследствие жизни на борзом коне, с оконечностями, которым позавидовала бы любая парижанка.

Друзский шейх в Гауране, Измаил Атраш, заклятый враг Мохаммеда-Духи, неустанно вредил ему в мнении турецкой власти. Духи, в свою очередь, приехал в Дамаск с тремя тысячами всадников просить Пашу помочь ему покончить с Атрашем. Далив Духи не продолжал рассказа, но так как напирал на зверства Измаил-Атраша к христианам, что мы должны были догадаться, чего Духи желал от нас. Ему хотелось через наше влияние склонить генерал-губернатора к действиям против друзского шейха, из которых Духи, разумеется, извлек бы личные выгоды. Шейх обещал не-

пременно посетить меня на фрегате, предлагал чалму в залог выполнения обещания и действительно навестил меня в Бейруте.

На обратном пути из Дамаска мы провели первую ночь в развалинах храна Бальбека, величественных остатков, терзаемых силою людей и природы равно без жалости. Громы сдвинули части гигантских колонн, а хищные арабы выковыряли свинцовые связи на смертоносные пули. Глыбы обделанного камня, вознесенные на страшную высоту для образования карнизов и архитравов, показывают богатство механических пособий у древних. Часто дивясь развалинами, я приходил к заключению, что наука приложения силы потерялась после классического периода и вновь развилась в позднейшее только время.

Из пепла Бальбекской долины мы поднялись в снега высшей части Ливанского хребта и, перевалившись за его гребень, разбили шатры между знаменитыми кедрами ливанскими. Священные деревья изрезаны поэтическими надписями и прозаическими кличками посещавших рощу англичан. Мы провели под ними неприятную холодную ночь и на следующее утро спустились с Триполи страшно живописною горною трещиною. По ней густое маронитское население, обделавшее обрывы в плодоносные террасы и малейшие выступы в роскошные сады. Стены трещины вьются изгибами, местами почти сходятся, поворачивают назад и снова направляются к морю, представляя на каждом шагу природные замки, не доступные никакой силе, не токмо турецкой. И в таком крепком убежище живут слабые души. Из все населений горы маронитское — наименее воинственное.

Вопрос управления Ливаном не терпел проволочки подобно вознаграждению пострадавших. Собравши на месте данные, комиссары, как упоминал уже, оставили Бейрут. Окончательный выбор способа административной организации горы был предоставлен конференции из представителей европейских держав в Константинополе. Выводу усилий дипломатов предшествовали подробности, доказывающие, как часто основанные на верных, якобы, расчетах политические комбинации расстраиваются внезапными вторжениями интересов и взглядов, которые не принимали в соображение, и ниспровергают все здание кажущейся мудрости. Конференция была согласна в самом начале дать Ливану самостоятельное управление, не спорили даже против того, чтобы высшая власть была в руках христианина, но затем пришли к рассуждениям, должен ли этот христианин быть из туземцев или из Подданных Порты вне ливанского населения. Большинство голосов должно решить этот вопрос, как и прежние два. Предвидя, что мы непременно последуем за Францией, посланник наш убеждал председателя конференции, турецкого министра иностранных дел, торопиться с решением. «Буду вотировать сегодня с Вами и Англией за нетуземца, — сказал Лобанов Али-Паше в откровенной беседе, — но за завтрашний день не ручаюсь». Действительно, скоро пришли инструкции, связывавшие Лобанова единомыслием с французами, непременно хотевшими туземца и имевшими готового кандидата в высланном из края Юсуф-Караме. В день решительной голосовки большинство с нашей помощью оказалось на стороне Франции. Члены конференции полагали, что дело кончено, но, когда мнения высказалась положительно, сэр Литон Бельвер объявил, что Англия никогда не допустит, чтобы власть в Ливане была в руках тамошнего жителя, и что он имеет самое определительное приказание своего кабинета ни в каком случае не соглашаться на туземного администратора. Удивление и убеждения товарищей нимало не сконфузили британца, так бесцеремонно нарушившего принятое условие руководствоваться в решении большинством голосов. Представитель Англии понял большинство в нравственном смысле не количественное, а

качественное, и еще раз подтвердил, что туземной власти в Ливане не будет. Произошла довольно бурная сцена, и один из посланников, укрощая взмахнувшего гривою британского льва, обратился к нему с вопросом: «Чего же Вы хотите, войны? — Да, — ответил Бельвер, — войны неминуемой, если вздумают упорствовать в назначении туземца». Конференция разошлась, полетели тревожные депеши — и губернатором Ливана вскоре был назначен Дауд-Паша, из Константинопольских христиан.

Подробности эти мне передали комиссары различных наций и секретарь Фуада, довольно неумеренно радовавшегося неудаче французов.

В начале июля назначенный ливанский губернатор прибыл в Бейрут. Комиссары европейских держав приехали быть свидетелями ввода его в новое положение и церемониал чтения султанского фирмана был обставлен с возможною торжественностью. Народ собрался на том месте, где стояли лагерем французские войска: Фуад-Паша позволил себе это маленькое мщение. При самом вступлении в должность Дауд-Паша убедился, что предстоявшее ему дело умиротворения встретит затруднения. Несколько женщин, пользуясь безнаказанностью, которая даже в Турции считается женским правом в вопросах политических, прервали чтение фирмана громкими воплями и требованиями мщения за убитых друзами родных. В Дар-Эль-Камаре, куда Дауд-Паша отправился тотчас после церемонии, та же сцена повторилась с большей настойчивостью и отвратительными приложениями. Вместо знаков радости и приветствия, женская часть христианского населения вышла на встречу Дуад-Паши с членами остовов убитых родственников и повторяла мстительные крики, начатые в Бейруте. Демонстрацию приписывали французским агентам, недовольным решением вопроса об управлении Сирией. Трудно было судить о степени справедливого обвинения, но отвергать возможность подобных попыток значило бы впадать в крайнюю, недопускаемую предшествовавшими обстоятельствами, доверчивость.

Обязанность эскадр нисколько не облегчилась устройством правильной власти. По-прежнему мы наблюдали за прибрежными местностями и выносили, при отсутствии самых ничтожных даже развлечений, смертельную скуку. Несносные влажные жары, второе лето испытываемые командами, видимо, расслабляли их, и многие страдали постоянным желудочным расстройством вследствие неумеренного употребления воды. Дневная жара, несколько утоляемая ветром, ночью с прекращением его обращалась в невыносимую духоту. Отдых был невозможен, и люди метались в постелях до рассвета, мучаясь бессонницей. Только утром, когда снова поднимался ветерок, можно было сомкнуть глаза на несколько часов. Эти климатические условия заставили меня изменить совершенно распределение дня и избегать всяких работ, возбуждающих накожную систему. Сам я, при выгодных материальных условиях и физической крепости, страдал более месяца от мучительных нарывов и повсеместной сыпи. Нас утешали, что это обыкновенная дань климату, не оставляющая последствий, что благодаря Богу оказалось справедливым; однако ж, наша доля, даже хотя незначительная по численности жертв, была очень печальна. Два офицера умерли, а трех-четырех я должен был послать на воды или на север, более похожих на тени, нежели на людей. В заботливости о спокойствии матросов начальники несли на себе всю тяжесть службы; этим объясняется сравнительно больший ущерб в здоровье офицеров, нежели команд.

Расставаясь здесь с некоторыми из сослуживцев моих, скоро отплывших в отечество, не могу отказать себе в приятном воспоминании. Тоска долгого пребывания в местах, лишенных развлечений, нередко производила среди товарищей прискорбные явления. Меж-

ду французами и англичанами, сходившимися на берегу в притонах скучающей праздности, возникали затруднения, недостойные людей, которые в данных обстоятельствах должны были выказывать значение образованности среди полудикого населения. С понятною гордостью я свидетельствовал перед начальством о совершенно ином поведении наших офицеров. Время, когда различные представители России считали появление судов наших неприятною для себя случайностью, миновало. Даже лишения затворнической жизни на кораблях, под беспрестанным контролем, не считались уже в сословии извинением неприличной свободы на берегу, и все приняло приятную для мыслящего человека правильность.

Сирийский вопрос близился к обычному концу всех вопросов — он переходил в историю, т. е. к забвению в настоящем. Последние месяцы мы провели в соединенных плаваниях, ознакомивших нас еще короче друг с другом, и не забыли проститься с Айясом, которому во многом были обязаны прошлою зимою. Там еще раз мы показали друг другу, что приобрели, убедились, чего оставалось достичь, и в половине октября рассыпались по Средиземному морю. Фрегат и корвет оставлены мною у сирийского берега, другой фрегат послан в Афины с приказанием спешить в Сирию, если обстоятельства того потребуют, а давно плававший за границей «Муромец» отправлен в Россию. Сам я пошел в Мальту, где мог освежить команду и купить для нее все необходимое.

Сводя итоги сирийской кампании и перебирая все неблагоприятные обстоятельства, я утешаюсь мыслью, что выполнил долг без тяжелых жертв и всяких несчастий с судами. Климат заставлял главнейше заботиться о здоровье людей. Усиленные упражнения были бы для них вредны и даже гибельны, и в моих собственных глазах мы не успели достаточно в техническом смысле. Но взамен сословного самолюбия было вполне удовлетворено человеколюбие. Христиане очнулись от бед при нашем сочувственном участии; сами мы при лихорадках и злокачественных дизентериях лишись не более шестнадцати человек из 2 700, составлявших экипажи. Цифра смертности, может быть, была несколько выше, нежели обыкновенно на судах наших в Средиземном море, но они никогда не бывали в наших обстоятельствах. Плавая между значительнейшими портами, они имели лучшие припасы; мы же должны были довольствоваться тем, что доставлял бедный край, обремененный требованиями лишних 14 тысяч человек. Все взятое вместе не давало повода к основательному ропоту; однако ж мы оставили Сирию с приятной надеждой, что обстоятельства не принудят нас возвратиться.

ГЛАВА V

АНГЛИЧАНЕ И ФРАНЦУЗЫ. МАЛЬТА И НИЦЦА

Мальта. Свожу давние счеты с Мальтийским губернатором. Ницца. Префект Гавини и общество. Рецензия смет морского министерства. Записка об организации морской артиллерии. О смотрах вообще. На отделившемся от моей эскадры фрегате «Олег» привозят в Россию революционные прокламации.

Я избрал Мальту для удовлетворения всех нужд команды, как пункт, в котором все надобности морского снабжения находятся в разнообразном изобилии и сравнительно по умеренной цене. Вместе с тем посещением бейрутских друзей моих в их собственной резиденции, дома, я хотел выказать признательность за постоянное внимание и радужную с нами общительность в Сирии. Главнокомандующий флотом сэр Уильямс Мартен пользовался всеми выгодами своего положения. Он занимал в Валетте прекрасный казенный дом, где шил на широкую ногу со всем семейством и весьма любезным штабом. Жена моя заняла несколько комнат в гостинице, но любезность англичан обратила нашу квартиру в ночлежный только притон. С раннего утра ей насылали цветов и потом сыпались приглашения, поездки в театр и разные удовольствия. Командир порта адмирал Кодрингтон, сын наваринского героя, соперничал во внимании с начальником флота. Даже гражданские власти в лице колониального секретаря сэра Исаака Гультона высказывали нам самую утонченную вежливость за то, что хотели называть моим радушием к их соотечественникам в Сирии.

Тогда придерживались еще относительно военных вопросов системы скрытности, но едва ли кто-либо желал скрытничать передо мною в Мальте, да такая осторожность была бы совершенно излишня. Все выказывало уверенность англичан в вечном владычестве над Мальтою. На улучшение прекрасного по природе порта тратились миллионы, без того грозные укрепления усиливались и обставлялись самыми совершенными орудиями. Все это было в порядке вещей, но подобранные мною в Ливане слухи о видах Англии на Кандию[13] повторялись в Мальте с большим упорством. Люди, по положению своему обязанные быть осторожными, не уклонялись обсуждать эту случайность.

Мне, русскому, горько было думать, что владычество сильнейшей морской державы над островом, замыкающим архипелаг, неминуемо остановит легчайшее и наиболее естественное для нас развитие на нашем юге. Не довольствуясь настоящей силой, английские государственные люди того времени думали, что силу эту, как все подлежащее зависти, следовало беречь и сторожить с неусыпною бдительностью, и некоторое знакомство с общими взглядами англичан на внешние дела дава-

ло мне повод думать, что практические сыны рассчитывающего Альбиона не простят себе временного великодушного увлечения, освободившего Ионические острова от их попечительства. Возвратясь на обычный путь государственного эгоизма, с которого нации не сворачивают безнаказанно, англичане непременно утвердят свое влияние на Средиземном море новым приобретением, в особенности после объединения Италии, и отчуждение Кандии от турок раздражит дипломатов, но их в Англии не боятся; народы же вынесут новый удар когтей британского льва без ропота. Не нужно забывать, что Кандия на перепутьи к новой дороге в Индию через Суэцкий накал.

Политические соображения и специальные подробности занимали меня в Мальте не менее, нежели в других пунктах Средиземного моря; но после годового с лишком поста у сирийского берега на развлечения выделялось более времени и тем с большею охотою, что хозяевам, видимо, было приятно развлекать нас. Гарнизон не отстал от флота и чествовал нас в своем клубе, великолепном, как все английские заведения этого рода. Хмурился на меня только прежний дворец гроссмейстера, где жил губернатор острова. Sir Gaspard Lemarchand.

В отношении к мальтийскому губернатору или вице-королю, как он величает себя, у меня составился довольно длинный список претензий. Предместник его в 1845 году, как я уже упоминал, пытался спорить о визитах с великим князем Константином Николаевичем; позднее сам Le Marchand позволил себе сомневаться, следует ли ему представиться генерал-адмиралу, когда тот пришел в Мальту уже под официальным знаком своего звания. Командовавшему до меня в Средиземном море контр-адмиралу Нордману Le Marchand не возвратил визита и, наконец, на самого меня не обратил в предшествовавшем году никакого внимания, кроме присылки адъютанта с извинением, что не может оказать мне обычной учтивости. И в этот раз явился адъютант с приветствием губернатора, на что я ответил благодарностью через моего адъютанта (флаг-офицера), но лично к губернатору не ездил. Не считая себя вправе не быть щекотливым в официальных сношениях, я твердо решился пробить броню важности, в которую облекал себя вице-король нескольких голых утесов, как бы ни выказывали эти утесы могущества Англии. Я был уверен, что найду сочувствие на самой Мальте. Гордость главы гражданского управления была весьма неприятна морякам и гарнизону, радовавшимся, что представился, наконец, случай к заключению губернаторского высокомерия в должные пределы. Слыша, как кругом «пиршеств раздаются клики», Le Marchand сожалел, что не может вместе с соотечественниками оказать дружеское внимание русскому адмиралу, и просил Мартена уладить дело. Почтенный старик, пользуясь существовавшими между нами отношениями, просил меня высказать откровенно причину холодности моей к высшей власти на острове, налегая на то, что губернатор считает себя вице-королем, с чем сам Мартен, очевидно, не соглашался внутренне. На дружеское посредничество я отвечал с полным чистосердечием, высказал адмиралу все мои пени, от души благодарил его и объяснил ему, что случайность для меня тем более неприятна, что в течение долгого знакомства с англичанами на море и на суше никогда не имел повода сомневаться в их вежливости, но, прибавил я, «русский адмирал при всем желании не может оказывать внимания какой бы то ни было власти без уверенности во взаимности; командуя эскадрой моего государя, я считаю себя его представителем на Средиземном море столько же, сколько Sir Gaspard Le Marchand представитель королевы на Мальтийской скале, и не могу решиться на официальную вежливость без уверенности в ответе». Впоследствии мне пришлось стоять за мое значение и с другими нациями; доходило даже до дипломатической переписки между кабинетами. Когда фортуна отворачивается от человека, на него набра-

сываются с особым ожесточением и в сумму злобы враги складывают все, что сколько-нибудь подходит к мнению их и жертве неудачи. Мои затруднения с различными иностранными властями, без сомнения, приложены к столкновениям с властями домашними и ими подперто мнение о неудобстве моего характера. Насколько подобное мнение справедливо в отношении к чужеземным столкновениям, читатель увидит впоследствии; в этом же случае разумная готовность собрата по ремеслу тотчас уладила дело. Я был у губернатора; через полчаса он отдал мне визит со всем блеском своего достоинства, и мы запировали в гроссмейстерских чертогах.

В ноябре 1861 года я перешел в Вилла-Франка, где существовали тогда наши учреждения в арсенале, временно уступленном нам сардинским правительством. Французское не возбуждало еще вопроса об их надобности для французского флота, и обширные здания адмиралтейства оказались нам очень полезны в гигиеническом отношении. В командах не было важных болезней, но гастрическое расслабление было более или менее общее. Слабые свозились поочередно в лазарет, устроенный среди зелени, и на зиму экипажи пришли в прежнее состояние силы и здоровья. Упражнения шли своим чередом, но близость Ниццы и роскошные сады полуострова Св. Иоанна доставляли много развлечений.

Префектом в Ницце был известный всем русским Гавини, корсиканец, не лишенный административных достоинств и делового навыка, но не совсем привычный к общественным условиям, хотя в частых приемах утерявший прежнюю неприятную непринужденность зазнавшегося чиновника.

Справедливость требует сказать, что некоторые соотечественники наши, страдающие болезнью прилипчивости к кому бы то ни было, лишь бы прилипнуть, помогали головокружению корсиканской четы. По привычке, так зло обрисованной в «Потоке» А. Толстого, они составили около префектуры нечто вроде двора и ради чести быть принятыми у местного представителя Наполеона иногда забывали, что нигде не должно жертвовать своим достоинством.

Эскадра в Вилла-Франка привлекала, разумеется, всю праздность, собирающуюся в Ницце под разными предлогами. Скоро завязались знакомства, и офицеры назначили приемный день, в который представительницы разных частей света съезжались кружиться и галопировать с ловкою русскою молодежью под звуки всегда готовой прекрасной музыки.

При разнородности зимнего общества Ниццы не трудно было выбирать связи и знакомства вне местного населения. Русские, англичане и американцы далеко вознаграждали нас за шероховатость отношений с лицами, бывшими во власти. Чувствуя себя пришельцами в край, только что присоединенный к Франции, эти власти были не совсем покойны духом и старались уверить себя, что не только ниццары, но вообще все народы считают присоединение особенно счастливым обстоятельством.

Ни сладость заслуженного отдыха, ни притягательность общественных развлечений, не мешали нам, однако, заниматься службою. Она велась очень строго при благоприятных климатических условиях, а частые появления французских кораблей давали возможность следить за всякого рода усовершенствованиями, производившимися тогда во французском флоте с особенным рвением и быстротою. Малейшая перемена, в особенности в артиллерии, были нами тотчас замечаемы и сообщаемы в Петербург с подробными описаниями, чертежами и всем нужным для воспроизведения в наших мастерских. Веселье прикрывало труд, и на нашу наблюдательность никто не обращал внимания. Являлась к нам и «La gloire» — первенец броненосной силы, одаренной большою скоростью. Французские броненосцы были тогда государственною тайною до

того смешною, что командиры их, делая обычные визиты, просили не возвращать их, ибо не могли принимать иностранцев. Нечего и говорить, что каждый гвоздь этих панцирных кораблях был очень хорошо известен всем, кто хотел знать их. Тем не менее, имея перед глазами новую силу, приходилось смотреть на «Генерал-Адмирала», как на личную скорлупу, и разбирая присланные мне сметы морского министерства, я опять настаивал на скорейшее введение у нас броненосных кораблей. Мнения мои как командующего эскадрою за границей должны были иметь некоторый вес. Иные были впоследствии приведены в исполнение, и я помещу здесь извлечение из главнейших записок моих:

1) разбор морских смет;

2) об образовании корпуса морской артиллерии,

3) о смотрах вообще, по поводу смотра, деланного мною фрегату «Громобой».

«1)По просмотре смет на 1861 год мне показалось, что в некоторых статьях можно соблюсти экономию. Преимущественно ее можно сделать на употребление существующего флота, и как, по мнению моему, настоящее употребление флота не лучшее для его действительности, то считаю нелишним выразить мой взгляд, если бы надежда на экономию оказалась даже неосновательною. Начну с сокращений, которые полагаю возможным сделать.

а) уничтожение ластовых экипажей[14] и портовых рот. Вместе с сокращением расходов оно избавит народ от лишней рекрутской повинности. Ластовые преимущественно употребляются на портовых судах и сторожами; последних можно заменить нанятыми артельщиками в несравненно меньшем числе, а на портовые суда назначать по очереди морские команды, которых всегда будет достаточно при предлагаемом мною употреблении флота. Впоследствии лучше совершенно уничтожить портовые суда в Петербурге и отдать перевоз оттуда тяжестей в Кронштадт частным промышленникам. При таком способе не понадобится и бесчисленных портовых пароходов для буксирования, ибо частные подрядчики сумеют отыскать выгоднейшие средства доставлять грузы. Даже до уничтожения портовых подвозных судов нет никакой надобности в мириаде маленьких казенных пароходов, которые явно выказывают лишний расход постоянным почти присутствием в Неве. Один быстрый пароход в Петербурге для министра, другой в Кронштадте для главного командира, по одному сильному буксирпароходу в каждом порте и, пожалуй, еще один для выполнения собственно петербургских условий — вот все, что нужно. Наем по надобности обойдется дешевле постоянно содержимых казенных тихоходов, но при должном распоряжении вряд ли придется нанимать пароходы. Винтовые лодки, которые употреблять необходимо и которых в обоих портах по смете десять, легко выполнят буксирные надобности.

б) Некоторую экономию можно собрать и от парусных яхт, уничтожив те, которые не соответствуют понятиям о яхте, также от брандвахт, употребляя, например, на большом кронштадтском рейде вместо особой брандвахты поочередно один из колесных морских пароходов, а на восточном — винтовую лодку. Половина морских колесных пароходов также могут быть вооружены; остальная, конечно, будет достаточна для исполнения всех надобностей в совокупности с императорскими яхтами.

в) Нужно вникнуть в сущность дела гидрографического департамента. С подробностями его я не знаком, но сравнивая издержки с гидрографическим бюджетом Англии, содержащей везде морские описные пароходы, видно, что наши гидрографические расходы дают нам право иметь лучшие карты, нежели какие есть.

2) Экономия от употребления флота составит главнейший итог. Эта экономия и изменение употребления существующих боевых сил составляют главный предмет настоящей записки, а поэтому я распространюсь о них подробнее.

В смете и программе показаны в практическом плавании десять кораблей, два фрегата и шестнадцать лодок. Лодки употреблять должно, тем более, что вместе с приобучением к управлению этой важною частью наших оборонительных сил, они полезны и для действительных надобностей; но зачем посылать в море десять кораблей, подвергая их небрежному обращению впопыхах, изнуряя кронштадтский порт работами и делая расходы? Не лучше ли посылать только неиспытанные еще корабли и к ним присоединять все суда, предназначенные в дальние плавания на следующий год, для совершенного испытания и приготовления их перед посылкою, с командирами, офицерами и командою, которые на них пойдут в серьезную кампанию? Мера эта, будучи весьма важна в техническом и нравственном условиях, поведет вместе к сокращению расходов на починку этих судов за границей и к большей части нашего морского управления, доселе страдавшей в различных иностранных портах. Я не говорю о повреждениях с винтами — неотвратимых случайностях подводного двигателя, но подкреплений, починок и т. п. можно избежать предварительным трехмесячным убеждением в исправности судов и испытанием их по всем частям...

За этим мысль пояснялась подробным расчетом, куда, когда и какие именно суда высылать в плавание.

...В 1863 году уже завелась бы правильная очередь по моему плану. Таким образом ежегодно готовились бы фрегаты и мелкие суда для двухгодичных плаваний в Тихом океане и Средиземном море. При последней эскадре должно быть мелкое судно и Глазенап должен отыскать источники для посылки с этой целью одного из своих судов, кроме парохода для константинопольской миссии, для команд и офицеров не только бесполезного, но крайне вредного, хотя дипломатам нужного. В посылке судов за границу был весь секрет действительности Черноморского флота, и если бы соединяли мелкое черноморское судно с балтийскими фрегатами, черноморским офицерам была бы постоянная возможность следить за ходом дела, которое теперь будет, конечно, совершенствоваться более в Балтике, нежели в Черном море.

Не могу не сказать несколько слов о настоящей черноморской флотилии. Для нее лучше строить такие суда, которые были бы годны для будущего флота. Никакой трактат не может устоять долго, если он явно унизителен и существенно невыгоден для одной из сторон, и на Черном море нужно творить для будущего, хотя бы и в самом малом размере. Упорствуют строить корветы в размерах парижского трактата. Такие корветы всегда будут негодны и в сравнении с турецкими силами в Босфоре все-таки ничтожны. Лучше строить лодки вроде английских Dispatch boats[15] или наших клиперов, укравши несколько фут у парижского протокола. Такие суда будут стоить на море дешевле корветов и пригодятся для всякого флота.

Остающиеся в гавани военные суда следует держать в положении, похожем на английскую Commission[16] или французскую disponibilité[17], с изменениями, указываемыми нашими надобностями. К ним были бы приписаны командиры, старшие офицеры, по два лейтенанта (включая ревизора), содержатели, половина машинистов и полкоманды; другая половина команд была бы употреблена на портовых судах и для надобностей порта. Офицеры были бы на половинном морском содержании, исключая старшего офицера, ревизора и содержателей; им как главным хранителям материального имущества нужно дать полное. Команды, освобожденные ныне от валовых работ, должны что-нибудь делать, будучи содержимы постоянно правительством, а командиры не могут быть недовольны половинными столовыми, потому что у самого экономного из них, конечно, эта половина выходит на представительность в кампании; в гавани же никакой представительности не будет, и половинное морское содержание пой-

дет на обыкновенную береговую жизнь. Но при таком порядке нужно строго наблюдать, чтобы все на судах было в величайшей исправности, и для этого назначить инспектора судов в гавани, что и французы нашли теперь необходимым сделать по примеру англичан. Остающиеся в гавани суда должны непременно вооружаться в хорошее время, исподволь, не уничтожая материалов спешностью, собственно для убеждения, что все исправно. В известные дни команды упражнялись бы на них в артиллерии, абордажном и десантном учениях и даже парусами, возвращаясь всегда в казармы; офицеры практиковались бы на шлюпках. В августе, когда еще тепло, суда разоружались бы в уверенности, что все готово к следующей кампании, а состоя летом в полном вооружении, были бы готовы выйти тотчас, если бы обстоятельства того потребовали. В упражнениях команд должны участвовать все остающиеся на берегу офицеры, но за исправность материального имущества и целость кораблей в порте отвечали бы только командиры и офицеры, получающие морское довольствие.

Очевидно, при такой системе наши заграничные суда отправлялись бы в лучшем виде, кронштадтский порт мог бы легче, действительнее и экономнее изготовлять посылаемые в море (он и теперь чинит и снабжает ежегодно весь флот, все ломающий в кратковременном плавании, а тогда чинил бы только половину, и то через год) и вообще практика обходилась бы дешевле. Если отпускать на суда, плавающие четыре месяца, все, следуемое за шесть, то можно требовать, чтобы отпущенные запасы доставали на содержание в полной исправности судов в год или два по портовому положению disponibilité.

Для образования офицеров и команд эта система также действительнее. Разумеется, на заграничные суда должно посылать полный комплект офицеров и матросов. Взявши четыре фрегата и четыре мелкие судна, в том числе два корвета, выйдет, что в дальних плаваниях будут:

На фрегатах: 100 офицеров, 48 гардемаринов и 2 800 нижних чинов,

на корветах:	34	12	500
на клиперах:	20	8	280
Всего:	154	68	3 580

Настоящую боевую силу Балтийского флота составляют:

10 кораблей: 313 офицеров и 9 346 нижних чинов,

10 фрегатов:	253 офицера	5 508
11 корветов:	154	1 793
10 клиперов:	100	1 200
Всего:	820	17 847

Должно продолжать сооружать нынешнее число лодок.

Значит, всего (не считая гардемарин, которые будут стоить теперешних мичманов) 1/3 часть офицеров и команд будут постоянно плавать в дальних морях, и весь флот, в десять лет, перебывает там по два года. Сверх того в практическом плавании по этой системе будет ежегодно на трех кораблях, двух или трех фрегатах, двух корветах и двух клиперах:

217 офицеров и 4 784 нижних чинов; прибавя это к 154 офицеров и 3 580 нижних чинов в дальних плаваниях, выйдет, что 371 офицер и 8 364 нижних чинов будут ежегодно в море, что составит почти половину существующей боевой силы. Такой выгодной пропорции нет ни в одном флоте. Но главное дело в том, что долгие плавания несравненно полезнее урывчатых, суда в них более берегутся, порты не так обременены починками и на старую рухлядь тратится менее денег. В предполагаемой мною практической эскадре будет место для двух адмиралов. Не лишнее даже поручить, особенно одному, изготовление заграничных судов, а если считать необходимым, чтобы мы были передовыми в пароходных эволюциях, когда находимся позади всех в паровом флоте, то в конце практического периода можно соединить все суда; с ними дешевле будет маневрировать под парами, нежели с десятью кораблями.

Остается сказать несколько слов о методе приготовления судов к дальним плаваниям. Приготовительное практическое плавание их должно разделить на три периода: паровой, боевой и парусный, и начинать с первого, потому что могущие выказаться несовершенства, по состоянию наших заводских средств, потребуют более времени на переделки. В это испытание должна входить проба на мерной миле, пребывание под парами с различным числом котлов, при возможной растяжке и непременно несколько суток самого полного хода. Опыты над дистилляторами, всеми помпами, механическими лебедками и паровыми барказами, где они есть, должны делаться в этот же период, по окончании которого судно приходит в Кронштадт и передает в порт то, что нужно переделать или исправить. Этот период должен занять месяц. Другой месяц проходит под парусами, преимущественно в артиллерийском, оружейном и десантных учениях, с пробою станков, всякого рода оружия, шлюпочного вооружения и приспособления, пригонкою всех запасных принадлежностей, калибровке снарядов и вообще убеждением во всем, что составляет боевую действительность. В конце боевого периода судно приходит в Кронштадт и свозит все, подлежащее переделке, или дает знать обо всем, оказавшемся недействительным и несовершенным. Остальной шестинедельный период посвящается, собственно, на парусную практику и на осмотр рангоута, такелажа и парусов. В парусной практике должно замечать ход с закрепленным, поднятым и разобщенным винтом, убедиться в совершенстве способа подъема винта, приспособлениях на барказах для завозов верпов, якорей и т. д. Таким образом судно будет ходить от половины мая до половины июня под парами, далее, до половины июля, будет упражняться в боевом отношении, наконец, в исходе августа возвратится в порт, где тотчас введется в док, если нужно осмотреть подводную часть или исправить винтовой аппарат, подводные клапаны и т. п. Как общее правило, лучше вводить все суда в док перед долгой кампанией, и если приготовительное плавание явно выкажет в том надобность, можно ускорить несколько периодов. В приготовительную кампанию брать непременно провизию той же поставки, которая будет отпущена в дальнее плавание. Выводить из доков нужно дальние суда перед наступлением заморозков, чтобы на зиму вводить другие, нуждающиеся в долгом исправлении, и чтобы самые дальние суда могли начать вооружение в первых днях мая следующего года. Зимою команды этих судов должны упражняться во фронтовом ученьи и стрельбе в цель, готовить все по вооружению в теплых мастерских, а штурмана должны обращать особое внимание на инструменты, которые отпустятся в дальнее плавание. В это же время прибавляется балласт, если окажется нужным, и под наблюдением судовых офицеров делаются изменения в артиллерийской и лабораторной частях. В год отправления, с мая, все изготовляется к походу и в исходе июня, как последнее дело, приступают к конопатке. В самом начале вооружения пробуют тщательно машину. В июле суда должны отправиться по назначениям и плавать преимущественно под парусами, так как машины будут уже достаточно испытаны, кочегары привыкши и командиры знакомы с качествами судна под парами; но все-таки, в видах развития пароходной практики, нужно, по крайней мере, чтобы входили на рейды и выходили с них под парами. Приготовленные таким образом суда могут проходить два—три года без значительных исправлений, готовыми на всякое дело.

О сбережении судов в гавани и положении портовой готовности (disponibilité.) нужно составить постановления. То же сделать в отношении к смотрам, чтобы всякий знал, чего следует добиваться, и вообще создать руководство для всех возможных экзерциций и совершенно однообразного расписания. Сделавши это и установив план внутреннего размещения

для каждого класса судов, не должно дозволять отступлений; нововведение же допускать только по решению целой комиссии, которая для того назначится. Только при подобной определительности и однообразии можно будет иметь команды, способные мигом осмотреться на всяком судне и составлять запасы дельных вещей для изготовления целого флота в скором времени, когда обстоятельства того потребуют.

Не сомневаясь, что проект этот поведет к большой действительности флота, полагаю, что от него произойдет и экономия, которая вместе с избытком смет, ясно видным даже не имеющим навыка оппозиционного парламентского контроля, позволит теперь же заказать броненосный фрегат или, по крайней мере, отделить деньги на запас леса, чего в смете кораблестроительного департамента не видно. Мне кажется, экономия не будет подлежать даже сомнению, если мы ограничим себя строгою рамкою и вооружимся твердо против соблазнительного искушения обращать фантазиями в призрак однажды составленный бюджет.

Никак не соглашаюсь на повторение, в видах экономии, опыта распущения экипажей в отпуск. Это слишком вредит дисциплине».

Записка об организации корпуса морских артиллеристов была вызвана жаждою изменять все существующее, обуявшею высшие сферы морского управления и нашедшею, разумеется, отголосок в низших, ожидающих улучшений от всякой перемены. Хотели или уничтожить все специальности, соединявшиеся на корабле, возложивши все бремя собственно на морских офицеров, или придать тем специальностям немыслимую в подчиненном положении самостоятельность. Мне прислали по одной из самых замечательных записок из каждого лагеря. Затрагивали чрезвычайно важный вопрос, прямо касавшийся боевой действительности флота. Опасаясь, чтобы его не решили с обычною поспешностью, я представил следующий разбор обоих воззрений.

«Обе записки вовсе не так разнятся, как с первого взгляда может казаться. Главнейшее и почти единственное различие между обоими взглядами состоит в том, что защитник артиллерии как особого во флоте корпуса, хочет совершенного отделения его от флота, а противник его, настаивая не менее в необходимости специальных артиллеристов на кораблях, хочет подчинить их морским офицерам. Во всем остальном они сходятся, и я схожусь с ними; но в отношении к отделению корабельных артиллеристов под команду особых артиллерийских офицеров я не соглашаюсь с автором записки, дышащей явно сословным интересом, по-моему, дурно понимаемым, и потому в мнение мое преимущественно войдет опровержение записки, поданной в пользу артиллерии, как отдельного корпуса.

Я сказал, что защитник артиллерийских офицеров, которого для краткости буду называть проартиллеристом, имеет ошибочный взгляд на сословный интерес. Его можно удовлетворить, не вредя службе; автор же, сводя незначительное числом сословие артиллерийских офицеров с многочисленным флотским и сопоставляя их, как все слова его выказывают, для борьбы, подвергает товарищей верному поражению, как бы ни были они образованы. Нельзя же предположить, чтобы правительство допустило большее развитие в корпусе вечно подчиненном, нежели в вечно господствующем по силе обстоятельств.

Пени на преобладание флотского элемента во флоте повторялись везде и оставались тщетны как произведения больных мозгов, или вели к мерам, при которых правительство скоро отказывалось и возвращалось к прежнему порядку. Так во Франции различные гражданские морские министры неумеренно поднимали административных чиновников, а следовавшие за ними министры-специалисты снова низводили их. Окончательный успех борьбы всегда оставался на стороне флотских. В Штатах по ничтожному вли-

янию, которое имеют на выборы моряки, всегда занятые в море и на рейде делом, возвысили комиссаров, которых можно назначать на корабли без всяких специальных сведений. До назначения комиссары набирали голоса в пользу депутатов и на самой службе имеют более к тому времени и случаев, будучи в сношениях с денежными подрядчиками. У нас нет еще ни морских министров чиновников, ни конгресса, следовательно, можно смотреть несколько независимее на вопрос преобладания одной отрасли во флоте над другою.

От чего зависит вообще преобладание одного сословия над другим? Одной массы над другой? От превосходства в числе, во влиянии и, наконец, в образовании. Нетрудно, кажется, понять, что все три элемента во флоте всегда должны быть и будут на стороне морских офицеров. Корабли, и с паром требуют большого числа их, нежели офицеров других служб. Влияние их никогда не уничтожится, ибо кто же станет отрицать, что чем бы корабль не двигался, для какой бы цели он не употреблялся, всегда главным и необходимо единственным распорядителем на море будет моряк, а не артиллерист или инженер-механик.

На стороне флотских всегда будет власть, следовательно, и влияние. Общее образование не только нужнее флотскому, нежели офицеру другого звания на корабле (я разумею в видах пользу службы, о которой правительство и должно только заботиться), но необходимо по обстоятельствам, в которых служба часто ставит его, неминуемо начальника; в отношении же к прочим, неминуемо подчиненным, многостороннее образование, которое проартиллерист называет высшим, есть просто прихоть, к делу вовсе не ведущая и только возбуждающая ложное самолюбие и надежды. Можно ли удовлетворить самолюбию инженер-механика или артиллериста в равной степени с флотскими офицерами при равных достоинствах? Очевидно, это также невозможно, как взявши тот же знаменатель для двух прогрессий - геометрической и арифметической — добиваться — равенства последних членов чрез то же число членов. Отсюда чистая правительственная логика говорит, что не должно возбуждать того, чего удовлетворить никогда нельзя. Высшее или многостороннее образование артиллерийских офицеров на корабле поведет к тому, что проартиллерист так резко высказывает в своей записке — к борьбе политехников с моряками. Сам того не замечая, он прямо говорит: "Не делайте того, что делали во Франции, где ученые артиллеристы доказывали морякам, что они не знали даже своего дела". Поистине одной этой фразы записки достаточно, чтобы не иметь доверия к автору; но как во всяком изложении могут встретиться дельные мысли, то я не перестану за ним следовать. Замечу только мимоходом, что эпоха французского флота, выбранная автором в доказательство необходимости ученых морских артиллеристов, именно та, в которую французский флот всегда терпел поражение. Были, конечно, тому другие причины, но гг. ученые-артиллеристы подпустили невредимым к огромной линии сумасбродно великого Нельсона, не помешали Кокрену истребить брандерами несколько кораблей на рейде Э и сэру Джону Строну ворваться в Шельду с ничтожною эскадрою, несмотря на приморские батареи, защищаемые теми же политехникам. Дело в том, что для успешного действия против неприятеля с корабля орудиями, снарядами и зарядами, уже приготовленными, для выполнения всего, что требуется от артиллериста в морской кампании, большой учености вовсе не нужно. Необходимо только ясное понимание данных в руки средств и применение к действию орудиями морских условий, конечно, несравненно более знакомых флотскому офицеру, нежели артиллеристу, и вместо того, чтобы порождать новые затруднения на кораблях, где их без того много, обращая морских офицеров в ломовых извозчиков, подводящих корабль к неприятелю и

потом передающих батареи его в ведение артиллеристов, гораздо легче распространить между флотскими офицерами (из которых, снова повторяю, всегда будут избираться начальники) нужные артиллерийские познания по проекту антиартиллериста.

Анекдотический способ изложения в пояснении предмета серьезного не у места, и трудно им доказать что-нибудь. Все рассказанное проартиллеристом о неумении матросов обращаться с порохом, приведенная им рекомендация Буве и ссылка на пользу, принесенную нашими артиллерийскими офицерами совершенно справедливы, но вовсе не доказывают необходимости артиллерийских офицеров. Образовать для Буве капониров мог точно так же лейтенант, прошедший курс практической артиллерии. Наиполезнейшие артиллерийские офицеры наши, именно ученики Залесского, были не что иное, как gunners или maotres cannoniers[18] с офицерскими правами, которых они вполне заслуживали; но, к сожалению, правительство не могло удовлетворить их офицерского самолюбия и отбросило их в число недовольных, что будет со всеми, в которых возбуждаются надежды, по силе обстоятельств неисполнимые. Очерчивая историю организации нашей артиллерии, проартиллерист забыл, что пятнадцать лет назад — время, на которое он указывает с сословною гордостью — в морской артиллерии было много отверженных, неспособных воспитанников морского корпуса, которые, конечно, не делали чести ни ей, ни корпусу, и не хотел вникнуть, что немногие хорошие артиллеристы наши обязаны знанием дела верному взгляду Залесского, который учредил в Николаеве училище строго специальное, понимая, что артиллерист на флоте может быть полезен только будучи артиллеристом и ни чем более.

В настоящее время из 125 офицеров, показанных в списке, 58 только могут быть употреблены для нужд флота; в числе их не более десяти капитанов и штабс-капитанов, т. е. людей, в которых можно предположить некоторую опытность; остальные проартиллеристы, вероятно, люди без больших познаний. Часть служивших унтер-офицерами на Черном море, по крайней мере, имеет должные понятия о службе; другая же и того не имеет.

Уничтожение прежних канониров действительно было вредно; все, что говорит о них проартиллерист, справедливо, и нужно сожалеть, что, не вникнув в существо преобразования, совершавшегося тогда в английском флоте, мы уничтожили прекрасное, ничем своевременно не заменивши его. Но и тогда, как теперь, при необходимости специальных канониров, не ощущалось во флоте особенной надобности в артиллерийских офицерах. Реформу следовало произвести, лишивши корпус автономии, уничтоживши офицеров, смотревших за палубами, и отдавши канониров в экипажи с сохранением их специальности, а не сливая их с матросами. Я совершенно согласен с проартиллеристом, что канониру должно знать, что за пушку только его ожидает повышение и что в морской работе его следует употреблять лишь как силу; но артиллерийских офицеров, да еще таких, которые, по словам проартиллериста, откажут старшему офицеру в людях, на корабле терпеть, конечно, не для чего и не должно.

Что бы ни говорили офицеры различных корпусов, флотские всегда будут первенствовать на флоте, пока здравый смысл будет преобладать над бреднями и польза службы над неуместным самолюбием. Есть специальности, обреченные на всегдашнюю зависимость; к числу их, конечно, относятся на флоте специальности артиллериста и механика.

Мы забежали вперед, потому что механикам читают курсы истории всемирного просвещения и политической экономии, делающие их неспособными к своему делу и способными к общественной болтовне. Артиллеристов нигде и ни к чему не готовят, но чтобы не обидеть, также держат офицерами, и выходит хаос и общее незнание. Специалис-

тов, этой основы корабля нет; а есть люди, считающие своей специальностью быть вечно недовольными.

Вполне сознавая необходимость разделения труда и познаний для успеха общего дела, я считаю полезным для службы многостороннее образование только в флотском офицере, как будущем начальники. Все остальное на корабле должно входить в категорию ремесл, а не наук; но ремесла эти должны иметь искусных представителей. При таком взгляде я не только вижу необходимость отделить канонеров и машинистов, но даже, взявши в соображение усовершенствование оружия — ружейных. Для всего этого считаю, однако же, лучшим принять за единицу экипаж, как ныне, и разделить его на роты: марсовых, рулевых и лотовых, роту матросов второй статьи, роту артиллеристов, роту ружейных и отделение машинистов, которые должны всегда работать на заводе или в машине, даже в гавани, и потому по хозяйственной и нравственной частям только состоять в ведении ротного начальника, всегда из флотских. Артиллерийскою и ружейною ротами должны командовать лейтенанты, для того приготовленные, и кроме ученья, артиллеристы должны употребляться в портовых лабораториях под наблюдением собственно артиллерийских офицеров, к организации коих приступлю теперь, в уверенности, что более освобожу артиллеристов от ненавистного им флотского ига, нежели проартиллерист.

Выше сказано, что в морской артиллерии теперь 125 офицеров. Если все места в артиллерийском управлении административные, технические, управление пушечными заводами, флоту принадлежащими, и т. п. отдать морским ученым артиллеристам, да сверх того предоставить им приморские форты, потребуется корпус, в котором всякое самолюбие ученого, техника и воина найдут себе более простору, нежели в подчиненном положении на корабле. Назначая офицеров в низких чинах на артиллерийский корабль, их достаточно познакомят с условиями нападения и обороны на море и с надобностями морской артиллерии, которые, впрочем, всегда будут громко высказываться артиллерийским кораблем и флотскими, на нем служащими. Рутина и коснение в старом, свойственные отсутствию практики, будут встречать достаточное противодействие в морском артиллерийском учреждении и в офицерах флота, приготовленных по системе антиартиллериста. Артиллерийский корабль я обратил бы вместе в практическую механическую школу, выбравши паровой, что необходимо и для должного образования в артиллерии, и не пускал бы на него офицеров прежде долгого плавания в Тихом океане и Средиземном море, т. е. не моложе мичманов пяти лет. Такие офицеры могут, без утраты морской опытности, предаться два года изучению артиллерии и механики, тем более, что морское дело будет напоминать о себе на плавающем корабле. По выпуске им можно дать преимущества денежные и начальству легко распорядиться так, чтобы польза артиллерийских и механических познаний выказывалась ясно для каждого флотского офицера.

Для приготовления новых чинов артиллерии, необходимых на корабле, которых назову русским именем пушкарей, учредить особую школу, не смешивая ее с инженерною. При смешении больший или меньший успех одной отрасли перед другою будет зависеть от наклонностей того же директора. Школу эту назначить, собственно, для пушкарей, обязывая их во время приготовления плавать четыре месяца на артиллерийском корабле и два месяца заниматься лабораторными изделиями; остальные шесть посвящать теоретическому приготовлению. Лучших по экзамену переводить на двухгодичный курс в Михайловскую Академию и оттуда производить в морские артиллерийские офицеры, с условием плавания в младших чинах на артиллерийском корабле, а из школы выпускать пушкарями 2 класса на корабли и произво-

дить их постепенно в 1 класс, когда настоящие корабельные артиллерийские офицеры выбудут.

Пушкарям 2 класса дать все права гардемарин и кондукторов, а 1-му — офицерские права без эполет и права кают-кампании, чтобы они были вроде теперешних шкиперов. Такие пушкари всегда удовольствуются подчиненным положением своим на корабле, будут неусыпно заботиться об исправности материальной части артиллерии, что от них только и потребуется, и, при хорошем жалованьи, станут дорожить своим местом, не подвергаясь судорогам чиновнего самолюбия. И в государственном смысле это будет важно. Нужно же открыть сколько можно более клапанов стремлению к значению, которого станут добиваться все освобождаемые сословия; но стремление это должно допускаться только в полезных для каждой отрасли государственной службы пределах».

Смотры, как они обыкновенно производятся, более чего-либо развивают страсть к внешности, к поражающим эффектам, столь пагубную при невозможности каким бы то ни было способом выставить суетность минутных поверок, по которым заключают о большей или меньшей ревности начальников частей. Настоящие инспекции возможно доверять только ближайшим начальникам, и как бы ни было неосторожно верить им во всяком случае, все же подобное доверие не произведет тех деморализующих последствий, которые гибельно действуют на целое сословие, присутствующее при ловкой продаже товара лицом.

Внешность всегда была нашею язвою, и если мне не удалось в течение службы провести многих взглядов моих, никто не откажет мне, по крайней мере, в постоянной борьбе с этим опасным врагом истинного труда. В состав вверенной мне эскадры входил фрегат «Громобой», плававший в Средиземном море с Великим Князем и присланный ко мне с прежнею командою. В Кронштадте и потом в эскадре все любовались его маневрами. Проворство матросов было развито в высшей степени, и сам я, любуясь ими, нередко пропускал без внимания то, что требовало взыскания. Но на море также нужно уметь читать между строками, и я решился прочесть внимательно книгу громобойской славы, чтобы выказать, прежде всего, моим подчиненным, что слава должна основываться на истинных достоинствах, а потом, подробным донесением, попытаться изменить взгляды, существовавшие в высших сферах. Я разбирал «Громобой» в течение шести дней и представил отчет, объявленный в приказах по флоту и напечатанной в нашем журнале. Предпосланное отчету донесение великому князю было разослано секретно по неизвестной мне причине. Вот его содержание:

«Представляя В. В. отчет о смотре, сделанном мною фрегату "Громобой", решаюсь вывести из него некоторые общие заключения. Подробности выкажутся яснее при обзоре самого отчета; здесь же укажу только на главные черты, обнаружившиеся столько же при смотре, сколько в продолжении почти двухлетней кампании нашей.

— Считая нравственные достоинства служащих основанием службы, я решаюсь откровенно высказать В. В. ту неопределенность и шаткость, которые заметны в настоящем поколении молодых офицеров и в понятиях их о службе. Примеры быстрых повышений и улучшение быта всего сословия вообще, доставшись после войны, уничтожившей молодежь, выросшую в трудовой школе, на долю тех, которые не испытали еще никакого труда, поселили в большей части ни на чем не основанные и трудно выполнимые ожидания. Общее образование, ставши играть более важную роль, нежели доселе, развилось, могу положительно сказать, в ущерб специальности. При жажде известности даровитые люди ухватились за более легкое средство выказаться, и найдя его в распространении журналов и в принятой системе входить к высшему начальству с своими мнениями, стали пренеб-

регать изучением мелочных требований дела, на которых в службе нашей все зиждется. Таким образом, самые благотворные меры, принятые с поколением, вовсе к ним неприготовленным, обратились во вред службе.

— Стремление скоро жить и скорее извлекать из всякой профессии существенную материальную пользу замечается ныне и в обществах, правильнее организованных, нежели наше, и мне кажется, для противодействия наклонностям юношества, вызываемым требованиями века, правительству выпадает долг, не останавливая стремления по невозможности сделать того, показывать, по крайней мере, что быстрые успехи должны доставаться только на долю самого добросовестного и неутомимого труда. В младших чинах его нужно требовать безвозмездно почти, чтобы не поселять желаний, которые трудно выполнить, и успеть убедиться, что усердие, любознательность и привязанность к делу стали если не бескорыстными двигателями, по, крайней мере, силою привычки. Для введения этой привычки нужно принять систему, которая выказывала бы необходимость ее самому служащему. Не ускоряя периода мичманства, нужно показать, что проведение его в море, на действительной службе, гораздо выше ценится, нежели самые блестящие способности, выказывающиеся другими путями, и что кроме рекомендации прямых начальников, стоящих постоянно лицом к лицу с молодым человеком, он ничем не может обратить на себя внимания высшего начальства. В офицерах нужно вселить понятия, что льготы, мягкость в обращении и заботливость о нижних чинах — человечные реформы, указываемые необходимостью — могут быть произведены без вреда делу только при условии, чтобы они, образованные начальники, стали вдвое деятельнее, нежели при прежних средствах легкого взыскания, и содействовали бы важной цели облагорожения нижних чинов своим примером и познаниями; теперь же офицеры думают, что если стали снисходительнее к матросам, то и с них не взыщут. Понятие совершенно ложное, при составлении коего не взято в расчет, что образованность есть талант и от получившего ее нужно непременно требовать два. Положение командиров и старших офицеров в настоящее время едва выносимо. Вахтенные офицеры требуют беспрестанного за ними наблюдения в море и истинно морских познаний у них нет. Неизвестно куда деваются офицеры, бывшие в дальних плаваниях; их следовало бы назначать в виде награды за трудную кампанию на суда Средиземного моря, для приобретения чисто военных сведений, в дальних морях не столь легко приобретаемых, и частью для облегчения командиров.

При таких условиях успехи на судах не соответствуют издержкам, и офицеры приобретают мало в сравнении с нижними чинами.

Конечно, весьма важно, чтобы молодые люди знали, какие познания нужно приобретать им, и системы смотров, расписаний, различных, упражнений и т. п. должны быть единообразны и определены постановлениями, которых нельзя было бы изменять произвольно. Не менее необходимо однообразное расположение судов и совершенно одинаковое снабжение их, в особенности по части артиллерийской.

Переходное состояние артиллерии и флота вообще мешают немедленному введению его, все же нужно положить начало.

— Решаюсь прибавить почтительное предложение ввести сколько можно скорее новый ясный кодекс о наказаниях. При настоящем отвращении к жестким мерам, должны быть взыскания, напоминающие беспрестанно о необходимости дисциплины; но взыскания эти не могут быть предоставлены воззрению каждого служащего, а должны определиться уставом; иначе, бросив прежнюю грубую методу, станут изыскивать мягкие средства истязания, что обнаруживается в английском флоте.

— В заключение спешу пояснить, что смотр "Громобою" как судну, всегда отличавшемуся

наружными маневрами, сделан мною единственно с целью показать присоединяющимся судам, чего я считаю нужным требовать. Прилагая копии приказов, отданных мною до смотра и по окончании его, считаю долгом прибавить, что найденные промахи и ошибки вовсе не обнаруживают, в мнении моем, недостатки усердия или познаний, свойственные офицерам "Громобоя" исключительно, а имеют начало единственно в принятой системе довольствоваться только известными маневрами. Все усилия гг. офицеров, естественно, к этому и были преимущественно направлены».

Как начальнику эскадры, мне пришлось еще обратиться к сослуживцам по весьма неприятному случаю. На фрегате «Олег», отделившемся от меня для возвращения в Россию, были привезены революционные прокламации из Англии, куда фрегат заходил по пути. На «Олег» рушились все меры, обыкновенно принимаемые у нас в подобных случаях. Я был уверен, что команда совершенно невинна и писал в этом смысле министерству, ручаясь, что виноваты только двое юношей, попавшиеся в руки эмигрантов, из среды которых, конечно, вышел и донос на них. Начальство думало иначе и предлагало мне принять по эскадре общие меры для воспрещения противозаконных сочинений. Подобное предложение можно было делать в тумане бюрократического величия, не прикасаясь к жизни. В каждом порте и в каждой витрине были выставлены преследуемые у нас книги, и можно ли было думать, что молодежь не полюбопытствует знать их содержание? Чтобы покончить с делом, доставившим мне немало неприятных минут, я отдал по эскадре следующий приказ:

«Из обстоятельств, весьма хорошо известных служащим на эскадре, оказывается, что издатели различных враждебных России книг решились избрать возвращающиеся в отечество суда наши средством для распространения сочинений и воззваний, имеющих целью ниспровержение государственного порядка. К сожалению, нашлись на одном из возвращавшихся от эскадры фрегатов молодые люди, решившиеся, вопреки присяге и чувству долга, быть орудиями возмутителей, пользующихся безнаказанным своим положением и бесчеловечно подвергающих горьким последствиям своих бессмысленных комиссионеров. Объявляя о том по эскадре, прошу всех сослуживцев моих принять меры к отвращению таких случайностей. Каковы бы ни были личные понятия каждого, человек с обыкновенным здравым смыслом не может не иметь убеждения, что хранение на военном корабле сочинений, прямо враждебных правительству, без всякого даже особого намерения, должно повести к обвинению хранящих их. Любопытство можно точно так же удовлетворить на берегу, а при обычном невнимании к прочитанным журналам отрывки из них могут попасть в руки полуграмотных людей или, что еще хуже, считающих себя грамотными потому только, что умеют читать без участия рассудка, и повести их к тяжкой ответственности. Во избежание таких неприятных последствий я требую строгого исполнения закона, воспрещающего в России враждебные правительству сочинения, и всякое громкое толкование их на судах запрещаю не только как неприличное и прямо противозаконное, но очевидно бессмысленное. Разумеется, мною не будет принято никаких полицейских мер, но во всех обществах благоразумие всегда брало верх над легкомыслием и слепотою, и я уверен, что общество не представит иного примера. Прошу только гг. командиров не допускать явного нарушения закона о недозволяемых сочинениях и наблюдать за всем, что на суда привозится, как того требуют постановления.

— Если бы нашлись люди с другими воззрениями на этот предмет, тотчас доводить до моего сведения; таким я здесь же объявляю, что уважение к существующим законам, понятия об обязанностях служащего и самый голос чести вселили во мне убеждение в пре-

ступности и вреде вновь распространяемых идей. Никакие соображения не остановят меня в самых решительных мерах к пресечению подобного зла».

Вслед за приказом была прочитана статья военного закона, по которой распространяющие с умыслом сочинения или слухи, возбуждающие против правительственной власти, казнятся смертью. Не раз в каютном уединении я благодарил Бога, что случай на «Олеге» произошел тогда уже, когда приложение к виновным закона не от меня зависело.

Я знал, что откровенным обращением к сослуживцам достигну большего, нежели мерами тайного наблюдения, всегда в подобных вопросах недостаточными, несносными при совместной жизни и недостойными сословия, в котором чувство долга и прямодушие должны быть главными двигателями. В этот день много залежавшейся литературной дряни ушло в Средиземное море и в Кронштадте уже не могло появиться. «Олег» долго мучили за глупость двух мальчиков и впоследствии, когда я утверждал, что не стоит искать несуществующее, стараясь открыть преступность целой команды, мне не совсем верили.

Суда, составлявшие эскадру, мало-помалу возвращались в Россию, и мне остается перечесть удовольствия и неприятности последних месяцев памятного для меня командования.

ГЛАВА VI

РАЗЛИЧНЫЕ ЭПИЗОДЫ МОЕГО КОМАНДОВАНИЯ ЭСКАДРОЮ И ЕГО ОКОНЧАНИЕ

Морякам приходится иногда стоять за национальное достоинство. Мои недоразумения с главнокомандующим французским флотом. Великий князь оставляет начальство над флотом в руках Краббе. Взгляд на нового начальника. Легкомыслие генерал-адмирала становится преступностью. Испанские порты. Алжир. Пелисье. Случай с гуляющим на свободе львом. Столкновение (в прямом смысле) с принцем Наполеоном. Возобновление наших сношений с Италией. Окончание моего командования.

Значение всякой нации поддерживается преимущественно политическим участием ее в общих вопросах, касающихся человечества. Народы, оказавшие человечеству более услуг, развившие науки, торговлю и промышленность, короче, просвещенные, представляют всем симпатичный материал, при котором правительствам их не трудно созидать здание политического значения и возбуждать сочувствие.

Если б не было весьма веского побочного элемента в жизни государств, материального могущества, каждое из них занимало бы в общем строе место, соответственное пользе, которую население приносит всему человеческому роду. Но сила меняет условия и заставляет считаться не только с качеством разных народов, а и с численностью их. Значение материальной силы принимается в рассуждение при решении общих дел, но не может вызывать само собой ничьего сочувствия. Правительствам таких по преимуществу сильных и по тем или другим причинам не пользующихся общим расположением стран нужно бдительнее стоять за свое значение, нежели представителям народов, заслуживших уже имя в всемирной истории. Если агенты их, слишком заботясь о собственных выгодах и спокойствии, будут смиренно подчиняться выходкам чужой национальной гордости, через некоторое время окажется совершенно ненужным принимать в соображение самолюбие уступчивой нации, как бы сильна она ни была; или долготерпению ее настанет предел и вспыхнет война, которой не было бы при своевременных проявлениях национального достоинства. В международных сношениях должно замечать и чувствовать обиды под страхом потери всякого веса в общих советах и бедственных последствий, в политике всегда рушащихся на слабого или видимо слабеющего.

Национальная гордость может быть уязвлена различными случайностями, поэтому на долю каждого занимающего официальное положение, может выпасть обязанность оскорбиться невниманием к его краю, и обязан-

ность эта там более настоятельна, чем положение виднее, в особенности, если свидетель оскорбления принадлежит к военному сословию, везде на обиды щекотливому.

Товарищ мой по Сирии Le Barbier de Tinnant окончил двухгодичный срок командования французской эскадрой Средиземного моря и был заменен вице-адмиралом Rigauldt de Genouilly. Преимущественно с целью познакомиться с новым главнокомандующим я отправился на фрегате «Генерал-Адмирал» в Тулон и там от адмирала Шево узнал, что найду Риго́ на Йерском рейде. Разумеется, Шево прибавил, что Риго́ будет очень лестно мое внимание. С любезным намерением сойтись с начальником французского флота я отплыл к Йерским островам и, войдя на обширный рейд под парусами, застал там маневрировавшую под парусами же эскадру. Адмиральский корабль «Bretagne» стоял на якоре в противоположном конце рейда, у форта Безансон. Посреди рейда, у островов, отделяющих его от моря, упражнялся в стрельбе артиллерийский корабль «Монтебелло»; прочие, как сказано, маневрировали под парусами. Я шел прямо на адмирала в четвертом часу дня и, пройдя «Монтебелло», велел изготовить салют и спустился в каюту переодеться для официального визита. Почти вслед за мной сошел командир фрегата и сказал, что французские корабли спустили флаги. Факт показался мне столь странным, что, несмотря на безусловное доверие к командиру, я вышел на палубу и едва поверил собственным глазам. В то же мгновение я приказал отворотить и вышел с рейда в открытое море.

Через несколько дней я стал снова в Вилла-Франка, и когда пришел туда Риго́, разумеется, не узнал его в собственном порте, точно так же как он не хотел узнать меня в Йере. Случайность повела к переписке между кабинетами.

Чтоб выставить яснее действия обеих сторон, прилагаю сообщенную мне часть переписки. Из нее увидят, что Риго́, решившись на дерзость, не имел даже довольно твердости характера, чтобы сознаться в ней, а старался исказить факты недостойными уловками.

Копия депеши Тувенеля (бывшего французского министра иностранных дел) к Фурнье (французскому поверенному в делах в Петербурге), от 16 апреля 1862 года:[19]

«Вице-адмирал, главнокомандующий эволюционной эскадры, обратил внимание графа Шаслу-Лоба на случай, выказывающий со стороны командира фрегата "Генерал-Адмирал", крейсирующего в Средиземном море, взгляды, не соответственные дружеским отношениям обоих правительств и взаимному вниманию, обыкновенно оказываемому друг другу французскими и русскими моряками. Прилагаю при сем копию письма г. Риго́ де Женуйльи к г. морскому министру. Граф Горчаков, без сомнения, посмотрит на поступок командира фрегата "Генерал-Адмирал" с точки зрения, нами усвоенной, и, конечно, исходатайствует от кого следует приказание, чтоб штаб-офицер этот объяснил причины своего поведения.

Примите и пр.»

В извлечении из приложенной копии письма Риго к морскому министру говорилось:

«...Я доносил уже Вашему Превосходительству о неприятном случае. Русский фрегат "Генерал-Адмирал" проходил Йерским рейдом в то время, как "Bretagne" была под парусами с несколькими другими кораблями. В противность обычаю, принятому всеми морскими державами, он не салютовал моему флагу, хотя был довольно близко от моего корабля. Подобный недостаток внимания не мог остаться без возмездия, и я велел спустить флаги, чтоб выказать, что невнимание нас задело».

«Прибывши сюда (Вилла-Франка), я нашел тот же фрегат под контр-адмиральским флагом; он не только не салютовал мне, но не прислал даже офицера с предложением услуг, как принято всеми. В том, что случилось на Йерском рейде и потом здесь, я вижу преднамеренное желание нанести оскорбление, на которое я счел долгом обратить внимание Вашего Превосходительства».

Мне приказано было лично объясниться с адмиралом Риго при случае; случая этого не представилось до окончания моего командования, хотя я спрашивал адмирала письмом, где бы мы могли встретиться. Французское правительство удовольствовалось объяснениями нашего, как видно из следующей депеши графа Киселева к вице-канцлеру от 26 апреля 1862 года.

«Я имел честь получить бумаги, присланные Вашим Сиятельством с французским курьером от 26 апреля, относительно недоразумений между адмиралами Шестаковым и Риго, вслед за телеграммой, которая уведомляла меня о присылке бумаг.

...Я поспешил сообщить г. Тувенелю подробные разъяснения. Переславши к нему официальную депешу от 13 апреля, в которой обстоятельства выставлены в надлежащем свете с полной и чистосердечной откровенностью, я прочел ему и частное письмо Вашего сиятельства, а также телеграмму его императорского высочества великого князя Константина Николаевича адмиралу Шестакову.

Сообщения эти должны были произвести благоприятное влияние на окончательное заключение французского правительства об обстоятельстве, которое, нужно сознаться, могло возбудить в некоторой степени основательную щекотливость.

Узнавши содержание различных бумаг, г. Тувенель заметил, что устные пояснения, которые адмирал Шестаков, без сомнения, сделает адмиралу Риго, будут способствовать окончательному решению вопроса между моряками, как заметил он, весьма часто повторяющегося.

Мне кажется, неприятный случай этот можно считать поконченным».

Из политических видов правительство, конечно, имело полное право дать этому вопросу пригодное для него направление. Тем не менее г. Риго, скоро ставший морским министром, имел случай убедиться, что нельзя безнаказанно быть невнимательным к русскому флагу. Совершенное[20] невнимание, выказанное мной в ответ на его Йерскую неосторожность у него дома, во французском порте, в глазах только что присоединенного к великой нации населения очень оскорбило его. Конечно, с его ведома местный морской субпрефект Michelin приехал ко мне узнать причину моей более нежели холодности к французскому адмиралу в французских водах. Я отвечал Michelin, что трехмесячные отношения наши, конечно, доказали ему готовность мою быть приятным хозяевам страны, что мое невнимание вызвано необъяснимым поступком адмирала Риго в Йере в присутствии всего французского флота; наконец, что я готов принять его выходку за личное оскорбление.

«Адмирал Риго не хотел заметить моего флага, как же мог он ожидать каких-либо с моей стороны вежливостей!» — «Vous aurez la bonté de porter mes paroles à l'admiral Rigauldt et lui dire que l'intention de le blesser yétait et que je suis pêkt à accepter les consequences!».

Риго отвечал, что дело передано уже им министру.

Мои власти не могли обвинить меня и не обвинили, как я узнал впоследствии. Великий Князь горячо возражал вице-канцлеру, желавшему, чтоб меня выдали без разбора дела. Понятно, что подобная случайность, представившись в эпоху нашего сближения с Наполеоном, мешала политическим целям князя Горчакова; все же обвинить меня не было возможности. Наши постановления велят весьма определительно не салютовать иностранцам прежде, нежели удостоверимся, что на салют будет равный ответ, следовательно, на моей стороне был закон. Зная, что в чужой монастырь со своими правилами не ходят, я, конечно, отсалютовал бы без предварительных переговоров, но время салюта и расстояние, в котором должно произвести его, конечно, в распоряжении того, кто оказывает вежливость. Требовать иного все равно, что требовать от человека, приближающегося к вам с намерением поклониться, чтоб он снял шля-

пу не тогда, когда сочтет нужным, а когда вам захочется. Адмирал Риго́ имел бы время и право оскорбиться только тогда, когда я миновал бы его, не салютуя. В самом же деле я только прошел место экзерциций артиллерийского корабля, от которого до форта Безансон шесть верст, а в этом расстоянии весьма трудно верно сосчитать число выстрелов, следовательно салюты, в особенности интернациональные, производиться не должны. Впоследствии барон Roussin, командир «Монтебелло», говорил мне, что адмирал сидел за обедом. Флаг-офицер вошел в первый раз с докладом, что на рейде появился русский фрегат, затем вторично доложил, что фрегат приближается и не салютует. По неизъяснимой скорости адмирал не дал себе труда проверить флаг-офицера; стоило только привстать со стула и посмотреть в один из портов. Roussin прибавил, что поступок Риго́ удивил всех его командиров.

Но неосторожность, хотя весьма важная, была сделана. Надлежало со всей откровенностью сознаться в ней и твердо решиться подвергнуться ее последствим. Адмирал Риго́ в первом донесении своем говорит о фрегате и его командире, просит, чтоб разобрали поступок этого штаб-офицера и только в Вилла-Франка замечает присутствие на русском фрегате адмирала. Никто, знакомый с зорким наблюдением на корабле всего происходящего вокруг, ни на минуту не поверит, чтоб на «Bretagne» не заметили моего флага, и Риго́, упоминая о нем только в донесении из Вилла-Франка, намеренно раздваивает ту же случайность, опасаясь за невежливость офицеру одного с ним звания более неприятных последствий. Здесь уже национальная честь ни при чем, а виден недостаток личных понятий о чести. Обстоятельство не имело, впрочем, никаких последствий, разве было тайно записано в обвинительные против меня тайные же акты. Вскоре я был в Париже проездом на лондонскую выставку и по желанию графа Киселева сделал визит Шаслу-Лоба. Министр говорил обо всем, кроме столкновения моего с Риго́, и я, конечно, не старался навести разговора на предмет, для обоих правительств неприятный.

Недоразумения с Риго́ были последним обстоятельством, по поводу которого я сносился прямо с великим князем. Жажда нового, еще неизведанного, заставила его принять Варшавское наместничество.

Участие в государственном управлении, к которому так подвигал Головнин свое орудие, добиваясь, разумеется, собственного значения, вооружило против генерал-адмирала всех других деятелей. Он не мог вполне отрешиться от природы, мало измененной семилетним управлением отраслью, в которой требуется повиновение, и внес в новую деятельность вместе с прежней энергией прежнюю резкость и своевластие. Он вел без проволочек крестьянский вопрос и был, конечно, первым помощником государя в этом важном деле, но встречавшиеся препятствия устранялись им с такими военными замашками, в борьбе с ними он был так неосторожен, что вооружил против себя все могшее, так или иначе, подходить к государю и передавать ему отголоски общего мнения. Посылка в Польшу, с которой тогда хотели сближения, представлялась удобным поводом к удалению Великого Князя из Петербурга с бо́льшим, по-видимому, значением. Он уехал в Варшаву, и управляющий морским министерством остался начальником флота, единственным посредником между ним и Государем.

Здесь следует обратиться несколько назад. Перед самым отправлением моим в Средиземное море управляющий министерством адмирал Метлин уехал в годовой отпуск и обязанностью велено было править директору инспекторского департамента контр-адмиралу Краббе. Всю свою службу Краббе был адъютантом князя Меншикова, исполнял тайные по преимуществу поручения любившего таинственность светлейшего, никогда не занимался прямым делом и, возвратившись после Альмы, где не принимал ни малейшего участия, в Петербург, был сделан флигель-адъютантом,

как человек, которого давно привыкли видеть в прихожих, с назначением вице-директором инспекторского департамента.

В 1856 году он заменил своего начальника, графа Гейдена, немало способствовавши его падению, и как директор департамента устраивал при докладах великому князю маскированные батареи против Метлина. Помню, как однажды, перед увольнением Метлина, Головнин пригласил к себе всех, пользовавшихся расположением генерал-адмирала, и объявил нам, что великий князь с управляющим министерством не сходится и настало время их разлуки. Головнин хотел знать наше мнение, кем заменить Метлина, но предварительно предпослал коротенький эскиз великого князя в качестве главного начальника флота. По проекту самого же Головнина, генерал-адмирал был верховным распорядителем, а управляющий министерством — ответственным лицом по хозяйственной части перед контролем. Понятно, что между двумя личностями, из которых одна безотчетно распоряжалась, а другая за все отвечала, ничем не распоряжаясь, выходили частые затруднения. По словам Головнина, Великий Князь после семилетнего управления флотом стоял на собственных ногах и не только как брат государя, но как опытный администратор не мог сносить беспрестанных противоречий. Ему, по словам того же Головнина, нужен был помощник, который не мог бы спорить с ним, умел бы угодить всем его желаниям и вместе с готовностью принимал бы на себя все контрольные громы; короче, великий князь искал козла отпущения. Все присутствовавшие иронически заметили, что Головнин указывает пальцем на Краббе; другого, способного к подобному положению, нельзя было отыскать во флоте — и Краббе стал исправлять должность управляющего министерством, а вскоре и управляющим.

Узнавши о назначении, бывший воспитатель великого князя Ф. П. Литке с свойственной ему тогда резкостью заметил, что «флоту дали пощечину». Действительно, едва ли решались где-либо ставить во главу военного сословия человека, о котором самое снисходительное мнение было то, что его вовсе не знали и знать не хотели. Я не отказываю Краббе в природном уме, но ум этот обстоятельствами жизни был направлен исключительно на придворную ловкость и связанные с ней отрицательные достоинства: хитрость, находчивость угадывать нравящиеся мелочи, незастенчивость в неправде и т. п. Краббе начал тем, что был лишен производства в офицеры с товарищами за недостаточные познания и впоследствии приобретал такие только, которые удовлетворяли страсть его к скандальным анекдотам. Из всех репутаций Краббе единственная, не заставлявшая от него отворачиваться, все-таки не могла вести к министерству: он считался веселым и веселящим краснобаем. И такого человека великий князь избрал в помощники, предвидя, что может наступить время, когда он сделается <u>начальником</u> сословия, выказавшего именно тогда рыцарский дух стойкости, с одной стороны, и способность к полезному труду, с другой. Я стараюсь, иногда в ущерб строгому беспристрастию, высвободить молодого Великого Князя от ответственности в его поступках, приписывая их окружающим. И в этом случае преступный почин шел от окружающих же, но отдавать судьбы сословия в руки человека, стяжавшего на службе весьма сомнительное имя, никогда ничем не занимавшегося, выказывавшего без стыда в течение тридцати лет балакиревское настроение и способности, ставить подобную личность над теми, кто утешил Россию в ее унижении и разнес по свету ее славу в самом поражении, оскорблять так незаслуженно героев, известных ученых и многих искусных слуг царя и России ради личного удобства, по пустой прихоти, обнаруживает презрение к человечеству. Если требовалось доказательство, что Россия страна восточная, поистине восточное возвышение Крабе устраняет всякое сомнение, и Великий Князь Константин наряду с Махмудами и Селимами может хвалиться министром из чубук-

чи и ичогланов. Есть некоторая разница, и та не в пользу Великого Князя. Когда это делалось в Турции, выбор был возможен только в невежестве; в 1861 году можно было у нас найти людей способнее, несравненно с большими познаниями, а главное — неизмеримо выше стоявших нравственно.

Первые отношения мои с новой властью, удачно отдаленной расстоянием между Балтийским и Средиземным морями, были почти приятельские. Помимо служебных вопросов, управляющий сообщал мне общие предположения и некоторые правительственные проекты, уведомлял о новых назначениях и, между прочим, выражал уверенность, что я «радуюсь назначению портфелей нашим старым сподвижникам и пожелаю им от всего сердца успеха». Рейтерн и Головнин в это время сделаны были министрами. В возмещение расходов из собственных средств, на которые вынуждали меня беспрестанные сношения с иностранными официальными лицами, Краббе исходатайствовал мне увеличение содержания и вообще, видимо, желал помирить меня с новым его положением, некоторым образом приобретенным в личный мне ущерб. Прилагая к одному из своих писем программу плавания, управляющий писал, что мне «предстоит остаться еще год за границей, так как великий князь считает мое присутствие и пребывание красавца-фрегата, мною выстроенного, в Средиземном море необходимым при настоящих неопределенных политических обстоятельствах».

Касаясь этих обстоятельств, управляющий министерством не разделял выраженной мной надежды иметь возможность посетить в скором времени итальянские порты. «Пользуюсь случаем, — писал он, — чтоб снова напомнить о необходимости ни под каким видом не заходить в эти порты, чтобы не показывать русского флага у берегов непризнанного нами государства и избежать соприкосновений с вопросам, в котором мы продолжаем держать себя с крайнею осторожностью».

При невозможности посетить итальянские порты я отправился к берегам Испании, весьма мало нам известным за исключением Кадиса. У северной границы, под самыми Пиринеями, я нашел место в первобытном почти состоянии — городок Розас при прекрасной бухте того же имени, интересной только в чисто морском отношении. В Пальме, главном городе Балеарских островов, я познакомился с местным генерал-губернатором, объявившем мне при первом свидании о покушении на жизнь Великого Князя Константина Николаевича в Варшаве.

Богато наделенный природой и покинутый людьми Порт-Магон,[21] лучшая гавань на Средиземном море, привлекла нас гидрографическими своими условиями. Вероятно, опасаясь делать расходы на пункт, которому в случае войны с морской державой трудно подать помощь, испанское правительство вовсе почти не имело в Магоне морских учреждений и заботилось только об укреплениях. В Картагене, напротив, мы заметили большую морскую деятельность. Дорогие улучшения были в полном ходу. Прекрасный порт этот, единственный удобный для военного флота на восточном берегу Испании, должен быть весьма важным морским пунктом в государстве, имеющем столь выгодное положение для влияния на Средиземном море. Сперва расстроенное состояние Испании, а после излишняя страсть к колонизации, необъяснимая в нации, нуждающейся в рабочей силе дома, повела к тому, что Испания и при возрождении обратила особенное внимание на порты океана в ущерб Картагенскому, где могла бы удобно содержать большие силы. В мое время начинали, однако ж, заботиться о Картагене. Усилия Испании вновь создать флот и занять между морскими державами место, бесспорно ей принадлежащее, не могли не встретить сочувствия всех, способных понять выгоды разделения морского могущества между многими нациями. Вообще у нас распространено понятие о чрезмерном застое в Испании, но в пор-

тах этого никак нельзя заметить. Строгие карантинные правила, формальности для салютов и т. п. заставляют моряков избегать испанских портов, но нельзя не видеть, что все пришло там в движение, и что есть страны в Европе несравненно более отсталые. Небольшие города, как Пальма и Картагена, освещены газом; от городов внутрь ведут прекрасные шоссейные дороги; езда по ним исправная и быстрая, в чем я убедился сам, ездивши в Мурсию, и вообще все, выказывающее потребность народа в удовлетворении известных нужд, свидетельствующих о просвещении, быстро подвигается вперед и подчинено разумной системе.

Мне хотелось непременно взглянуть на Алжир. Не допуская личным соображениям влиять на то, что считал полезным для службы, я решился зайти в французскую африканскую колонию, возрастившую новейшие военные знаменитости Франции, но, признаюсь, шел в Алжир с некоторым опасением. Там правил старый омальский лев Пелисье, под старость часто щетинивший гриву и рычавший по-пустому. Только что замерла его история с генерал-губернатором Барселоны, наделавшая в свое время большого шуму. На пути из Алжира в Марсель пароход, везший маршала, зашел в Барселону по случаю крепкого ветра. Пелисье вышел на берег и отдыхал в какой-то второстепенной гостинице. Барселонский генерал-капитан, узнавши о прибытии малаховского героя, счел нужным лично его приветствовать и вошел к нему в партикулярном платье. Пелисье оскорбился бесцеремонностью и наговорил человеку равного с ним официального значения дерзостей, которые умеет говорить только французский troupier.[22] Обстоятельство повело к дипломатической переписке, но бедный генерал-капитан по настоянию товарищей должен был оставить пост за то, что дозволил маршалу безнаказанно непристойничать в стране, где он искал временного убежища. К этому-то своенравному, привыкшему к почитанию и озлобленному старостью льву я шел прямо в когти. Следовало подумать несколько о способах приближения к нему, и я решился сколь можно скорее стать с ним в совершенно частные отношения, при которых не могло возникнуть случайности, щекотливой для национальности, а по большей мере только личные неприятности. На мой официальный визит маршал отвечал таким же, был встречен со всеми почестями и, и сойдя в мою каюту, просил обедать в загородный свой дворец «Мустафа», настоящий Эдем при июльском африканском солнце. Я благодарил за внимание, но просил прекратить всякие официальные формальности для нас, жителей севера, чрезвычайно тягостные в условиях алжирского лета, и объявил маршалу, что ради физического приличия, за обедом необходимого, не могу воспользоваться его предложением иначе как в более соответствующем времени года партикулярном платье. Хотя костюм этот так оскорбил привыкшего к шитью и звездам маршала, он согласился с моими доводами, и я обедал у него с командирами запросто. Весь штаб был в мундирах, но мы, гости, и сам маршал — во фраках. Я сидел возле роскошной супруги маршала, предуведомившего меня, что его цветущая половина parlait fran?ais comme une vache espagnole.[23] Мадам Пелисье была испанкой, и приведенная в ее присутствии французская пословица выказывала, что знатность и почести не вывели Пелисье из казарм. Старик сидел против жены и во весь обед заставлял ее более или менее краснеть бивачными шутками. К десерту явилась миленькая девочка лет шести и была мне тотчас представлена матерью. С бесцеремонной нежностью я взял ее на колени, крепко поцеловал и начал собирать вокруг резвушки Eugénie все поставленные на столе сладости. Глаза маршала выразили будто удивление, потом появился на них какой-то неопределенный блеск, наконец, старик поднялся со стула, перешел на мою сторону, опустившись около меня на колени, стал нежничать со своей Eugénie со слезами на глазах, настоящими отцовскими слезами. Мне говорили, что Пелисье всегда был впечатлите-

лен, даже когда душил арабов в Омальских пещерах.

Нередко я уединялся с маршалом в тенистых аллеях «Мустафы», всегда прохладных, и слушал со вниманием болтливого хроникера многих битв. Севастополь, разумеется, был любимой темой. Пелисье отзывался с особым уважением о наших войсках и вспоминал о князе Горчакове, как о рыцаре – un vrai chevalier. Ему очень хотелось быть посланным в Петербург вместо Лондона, где действия его в Крыму возбуждали зависть. Канробер, по словам Пелисье, был выше его познаниями и стратегическими достоинствами; важный недостаток его состоял в том, «Qu' il n'a pas su se mettre au-dessus du télégraphe».[24]

На Пелисье, как он утверждал, парижские телеграммы не имели ни малейшего влияния. «Et g'est la mon seul mérite»,[25] – прибавил старец с откровенной гордостью. Из многих рассказов его мне особенно памятен эпизод прибытия в Крым Ниеля. Император убеждал Пелисье снять вовремя осаду под впечатлением отбития первого приступа и, встречая упорное сопротивление, прислал Ниеля будто для инженерных работ, но в самом деле, чтобы склонить Пелисье прекратить действия. Упорство восторжествовало.

Вообще мы расстались приятельски. Впоследствии Пелисье через капитана Сераковского, бывшего в Алжире в конце года, передал мне уверенность, что я оставил командование эскадрой не вследствие случайности с принцем Наполеоном. О случайности этой скажется в своем месте; здесь же прибавлю, что Пелисье, поручая Сераковскому мне поклониться, высказал взгляд свой на меня и на принца, не совсем лестный для двоюродного брата своего императора.

По поводу знакомства со страшным алжирским львом вспоминаю о приключении с настоящим африканским львом.

В публичном алжирском саду Маренго отставной раненый капитан устроил зверинец. По понедельникам туда впускались только избранные, по знакомству с хозяином или по рекомендации влиятельных особ. В этот день выпускался на свободу ручной лев, совершенно покорный безрукому капитану. Мы вошли посмотреть на усмиренного царя животного царства и любовались его величавыми движениями. К несчастью, сторож, войдя в кладовую, где хранилась пища для зверей, не запер за собой дверь. Лев прыгнул туда, сбил с ног сторожа и выбежал с облупленным теленком в пасти. Севши на задние лапы, лев стал ожесточенно лизать добычу и на увещание капитана отвечал страшным ревом и сердитыми взмахами гривы. Капитан убеждал нас не подходить близко, сам держался в отдалении и стал громко звать свою дочь Фанн. Сверху сбежала хорошенькая девушка, бесстрашно подошла к зверю сзади и назвала его по имени Сиди. Лев оглянулся, мгновенно выронил добычу, задрожал всем телом и, опустивши хвост, побежал на другую сторону большого двора. На пути глаза его заметили прижавшегося к воротному столбу нашего монаха, бывшего в подряснике. Снова то же выражение страха, и лев, совершенно сконфуженный, укрылся в клетке, где был заперт. Принял ли он длинное платье монаха за юбку грозного для него милого существа или просто испугался, наткнувшись на неожиданную темную фигуру, дело в том, что львиная прыть поникла мгновенно. Пелисье, прощаясь, сказал мне, что если б со мной что-нибудь случилось, капитан Жокар или Жобар был бы отдан львам на растерзание.

Разойдясь с Пелисье, я сошелся с принцем Наполеоном. В августе 1862 года правительство наше признало установившийся в Италии порядок. Вторая дочь короля, принцесса Пия, выходила замуж за молодого короля португальского, и отправление ее из Генуи в Лиссабон было назначено на 17/29 сентября. Найдя приличным возобновить сношения с Италией вниманием к семейному празднеству Савойского дома, я подошел в условленный день к Генуе. Проводы юной королевы длились

немало времени; наконец, она вышла в море, сопровождаемая португальской эскадрою и отрядом итальянских фрегатов под флагом принца пьемонтского Гумберта. Королева находилась на португальском корвете «Бартоломео Диац» и рядом с ней, фронтом, шли остальные португальские суда. За корветом в линии бежали три итальянских фрегата. Встретивши королеву тотчас по выходе из Генуи со всеми подобающими почестями, я пошел с двумя фрегатами по правую ее сторону, намереваясь провожать ее до ночи. Вслед за королевой вышел из Генуи принц Наполеон на своей яхте «Le roi Jérome». Мы плыли спокойно по гладкому морю, любуясь цветником, устроенным на «Бартоломео Диац», и порядком, соблюдаемым без предварительного условия эскадрами трех различных наций.

Торжественное шествие наше едва не кончилось самым печальным образом. Итальянский принц вздумал отсалютовать французскому. В ответ на приветствие принц Наполеон начал салютовать королеве. На яхте было всего две пушки: салют тянулся долго, и принц, любивший хвастать ходкостью яхты, противно всем правилам морской вежливости обходил несколько раз вокруг португальского корвета, беспокоя королеву дымом. Подойдя затем к принцу Гумберту, он повторил тот же процесс с итальянским фрегатом, и когда я вслед за спутником отсалютовал его флагу, бросился на меня с намерением, как мы, моряки, выражаемся, пройти под моим носом. И на суше, если б кто-нибудь вздумал шмыгать перед носом идущего, решимость показалась бы гаерством и имела бы неприятные последствия; на море же это двойная дерзость: пренебрежение к встречаемому и вероятие подвергнуть опасности жизнь многих. Ко мне приближался принц, но принц, явно желавший ответить невежеством на мою вежливость, какой-то иноземный забияка, бретёр, которого проучить повелевало чувство национальной чести и присяги, и я уготовил двойственный прием. Все офицеры и хор музыкантов стояли на возвышенном фрегатском мостике; я намеревался встретить принца обычным «Partant pour la Syrie!»[26] — и велел держать твердо по прежнему пути, сохраняя весь ход, который могли дать зажженные котлы. Мы бежали со скоростью двадцати двух верст в час. Налетая на меня с довольно дальнего расстояния после безнаказанных выходок с родственниками, бешеный принц, воображающий себя моряком потому только, что когда-то имели намерение возобновить для него титул великого адмирала, имел время одуматься и заметить решимость мою идти, не уступая, своей дорогой. По французскому обычаю я снял уже шляпу для приветствия, но вместо национальной песенки дело шло к развязке страшной пляской. Офицеры и музыканты едва успели сбежать по моему приказанию вниз, и я остался любоваться неминуемой катастрофой. Яхта мчалась под нос фрегата в 360 тысяч пудов весом, резавшего воду с огромной скоростью... Но на палубе яхты я увидел невинную принцессу Клотильду и дал знак своротить в сторону. Командир яхты, видя к чему ведет упорство принца, обратил вдруг свою машину назад, и мы протерлись друг о друга с яростью. О силе столкновения можно судить по тому, что несколько орудий в моей батарее, весивших со станками до 400 пудов каждое, опрокинулись навзничь и рангоут яхты срезало, как ножом, моими реями. К счастью, яхта уже начала пятиться назад, так что все обломки упали вперед, и дамы отделались только страхом. Следствия столкновения в первый момент всегда не известны. Я тотчас спустил на воду шлюпки и послал их к яхте для спасения людей, если б оказалась в том надобность. Введенный принцем в печальное положение капитан l'Aubuisson молодецки обрубил все рухнувшие деревья, не принял помощи и побежал в Тулон для исправлений. Я провожал его до Вилла-Франка, а оттуда телеграфировал консулу Бухарину с просьбой «изъявить принцу мое сожаление о случайности, которая могла испугать принцессу». «Il es fort le Grand-

Admiral; il a les flancs solides!»,[27] — заметил гаер-принц Н. И. Бухарину. Умнее было бы догадаться не пробовавши. Впрочем, свежий урок не послужил ни к чему. Принц успел-таки прибыть в Аяччо, куда намеревался идти прямо из Генуи на открытие памятника дядюшке, и там наговорил вздору, который кузен счел нужным опровергнуть известным письмом.

Дело не имело никаких последствий. Соотечественники посмеялись лишний раз над принцем, столь же неудавшимся на море, как и на суше, и некоторые говорили мне шутя, что я потерял шанс на Почетного Легиона, разумея, что Наполеон, верно, дал бы мне орден, если б я избавил его от неудобного родного.

В следующем октябре я оставил командование эскадрой. Это дало повод предполагать, будто меня сменили за неудачную встречу с принцем и повело к участию Пелисье, о котором я упоминал уже. В сущности же эпизод у Генуи доставил мне единственный знак внимания иностранного двора, который выпал на мою долю в течение службы: португальский король прислал мне ленту Св. Венедикта. Оставляя «французское озеро», как мечтала тогда гордость упоенной успехами Франции, я не жалел, что «завязал на память узелок» болтливому принцу, вскоре доказавшему, что заслуживал наказание из русских рук.

Продолжение командования эскадрой совершенно от меня зависело. Начальство внимательно обратилось ко мне за мнением, но почти трехлетнее постоянное напряжение утомило меня и я просил о возвращении. В ноябре я был уже в Варшаве, на пути в Петербург, и скоро окунулся в море бедствий. Сослуживцы мои простились со мной в Марселе самым трогательным для меня образом. После многих обедов и сердечных взаимных пожеланий они не дозволили матросам свести меня на берег. В виду моряков всех наций, толпившихся на марсельских набережных, офицеры сели на весла, командир на руль, и несносный адмирал был высажен с доказательствами уважения, нечасто выпадавшими на долю людей в его положении. Местные журналы занесли эпизод весьма сочувственно на свои столбцы.

Вот мой последний приказ:[28]

«... Я всегда считал недостойным приобретать общее расположение в ущерб того, что по понятиям моим требовалось пользой службы, и старался только быть справедливым. Надеюсь, мне не откажут в этом старании. Ошибки человеку свойственны, и я с готовностью сознаю мои, если мне их докажут. Благодаря всех, я обращаюсь с особенною признательностью к гг. офицерам фрегата "Генерал-Адмирал", по положению их наиболее чувствовавшим недостатки моего характера. Благодарю сердечно и команду за всегдашнюю готовность исполнять приказания начальников и за ее поведение в течение трехлетнего моего пребывания на фрегате. Надеюсь, что средиземцы возвратятся на родину не только усердными, но и лихими слугами царя и России...

Прощайте. Верьте, что заботы о вашей пользе и ваших выгодах будут для меня душевной потребностью».

ГЛАВА VII

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ. ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ

Встреча в Варшаве с генерал-адмиралом. Его охлаждение к флоту. Прибытие в Петербург. Тщетность ходатайства об «Олеге» лично перед государем. Мне объявляют, что я назначаюсь главным командиром в Кронштадт. Мученичество комиссиями зимой с 1862 на 1863 год. Эпизод Сераковского, моего товарища по одной из комиссий. Вмешательство Европы в польский вопрос изменяет мое назначение. Состояние Кронштадта в 1863 году. Затруднения в устройстве обороны. Снаряжение эскадры для крейсерства в океане во время войны. Путешествие государя морем в Гельсингфорс. Мое столкновение с управляющим министерством. Удаление меня от должности. Внезапная посылка меня в Америку. Я уволен в годовой отпуск. Верное определение государем моей вины.

В Варшаве начались уже мои разочарования. При первой встрече с великим князем я убедился, что флот вовсе не занимал его. Он ограничился беглыми, ничего не значившими вопросами и не нашел времени для несколько серьезной беседы с адмиралом, около трех лет командовавшим главной внешней нашей станцией, посланным по особому случаю, встревожившему Европу, и по силе обстоятельств входившему в сношения с различными начальниками иностранных эскадр и с некоторыми дипломатическими представителями. Не менее ясно выказал генерал-адмирал и невнимание лично ко мне. Офицеров и команду фрегата «Олег» продолжали держать под наблюдением в Кронштадте, лишая их отпусков и доискиваясь не существовавшего заговора. Меня очень тревожило положение прежних сослуживцев. Ожидая встретить в Великом Князе сочувствие, я подал ему записку, в которой убеждал его ходатайствовать об облегчении участи людей, по мнению моему, совершенно невиновных. Прежде в случаях, несравненно менее для меня важных, генерал-адмирал принимал просьбы мои благосклонно; в этот раз он отнес это дело к Николаю Карловичу (Краббе) и положительно отказался в него вмешиваться. Думая, что удалился от флота навсегда, великий князь не церемонился показывать, что моряки ему уже не нужны.

При въезде в царство со мною случилось презабавное происшествие.

Я ехал с паспортом парижского посольства, гласившим, что возвращается в Россию свиты Е. В. контр-адмирал такой-то, командовавший эскадрой Средиземного моря. Таможенные досмотрщики нашли в моих чемоданах револьвер и в деревянном ящике необделанный толедский клинок, подаренный мне генерал-капитаном Балеарских островов. По обязанности они донесли о том начальнику таможни, а этот — начальнику

округа. Мне объявили, что ввиду смут ввоз оружия строжайше запрещен и несмотря на все мои доводы отобрали револьвер и лезвие у адмирала, в течение трех лет распоряжавшегося довольно грозной силой на чужбине. Заарестованные вещи возвратили только по телеграфу из Варшавы, и великий князь очень радовался исполнительности таможенных. Точность в низших чиновниках была действительно достойна похвалы, но как назвать подобную исполнительность в лице высшего начальника таможен царства?

Великая Княгиня Елена Павловна с обычной любезностью, нераздельной в ней с любопытством, пригласила меня с женою ехать вместе до Петербурга в приготовленном для нее поезде. На пути мы много говорили о вероятной будущности усилий великого князя и его неосновательном увлечении новыми своими сподвижниками, и о том, что вокруг его не было преданных людей, способных ясно видеть все происходившее вокруг и столь же ясно передать замеченное нуждавшемуся в советах наместнику. Преданных людей, как весьма скоро пришлось мне заметить, он не оставил по себе и в Петербурге. Там старались выказывать и высказать флоту, что за порывистым, всех непрестанно тревожившим управлением великого князя наступила эра разумного спокойствия, и что флот от удаления генерал-адмирала только выиграл.

Удачно соскочивши с рельсов около Острова, мы приехали в свое время в столицу и на другой день я представился его величеству в Царском Селе. Государь, по обыкновению, принял меня чрезвычайно ласково, благодарил за труды и до того был внимателен, что я тогда же решился облегчить душу и осмелился говорить в защиту экипажа «Олега», страдавшего в продолжении пяти месяцев от пытливых наклонностей князя А. Ф. Голицына, среди сословия, уверенного в невинности экипажа и, без сомнения, ему симпатизирующего. Я ручался его величеству, что привоз прокламаций зависел от личной инициативы двух молодых людей, в том уличенных, и что никто на фрегате, конечно, не знал об их намерении.

— Верность присяге команд средиземной эскадры, — сказал я, — не подлежит сомнению.

— Дай Бог, чтобы это было так, — возразил государь и не продолжал далее. Еще накануне долгое исследование было представлено Его Величеству; виновных, кроме открытых в самом начале, не оказалось, и взыскали с одного командира Андреева, отличного и весьма образованного офицера. Его лишили на год командования. Высочайшая резолюция стала мне известна через несколько дней. Не зная, что дело уже кончено, я подал записку управляющему министерством, ходатайствуя за прежних подчиненных моих.

Краббе объявил тотчас же, что меня назначают исправляющим должность главного командира в Кронштадте, где прежний начальник Ф. М. Новосильский совершенно опустил бразды власти, устал и по личному своему положению был чрезвычайно тягостен для управляющего, вынужденного с ним церемониться. Хотели иметь в Кронштадте человека в важном и почетном звании главного командира, с которым можно было бы действовать с плеча, не тратя времени на лишние рассуждения, — и выбрали меня. Кажется, я был прав, утверждая, что директор инспекторского департамента может многих знать в лицо, но личностей знать не может. Если сделавшийся управляющим директор считал меня способным довольствоваться внешностью, зная меня близко не только в течение последних семи лет, но и по предшествовавшей моей службе, то, конечно, воззрения его на личности нельзя было принимать за непогрешимые. Объявляя мне свои цели и надежды, Краббе, или лучше Краббе с Грейгом (потому что они не церемонились скрывать совокупной своей власти и обыкновенно говорили, «мы на вас смотрим», «мы от вас ожидаем», «нам нужно в Кронштадт» и т. п.) не скрыли, что то же место предлагали прежде товарищу моему Унковскому, тогда ярославскому губернатору, но Унковс-

кий до того набрался важности губернаторствуя, что никак не подходил к делу. Если важность провинциального русского губернатора пугала распоряжавшихся флотом, куда же метили они низвести первую после министра личность, бывшую вместе военным губернатором оплоты столицы и ближайшим начальником действующего флота? Со своим здравым русским умом Унковский придерживался русской пословицы и предпочел остаться первым в деревне, нежели быть вторым в городе.

Я был младший из адмиралов, произведен далеко не в очередь в силу Екатерининского указа, и место, конечно, льстило в высшей степени моему самолюбию. Каюсь, не одно самолюбие заставило меня согласиться. Мысль о невозможности сопротивления моим взглядам на службу и дело со стороны начальства, не понимавшего ни то, ни другое, и вдобавок живя шутовством и шутками, входила в мои расчеты. Служебная и человеческая гордость не допускали предположений, чтобы я мог встретить препятствия.

Я согласился и в течение зимы постоянно участвовал во всех вопросах, касавшихся Кронштадта, нисколько не стараясь скрывать, что я располагал быть главным командиром в полном смысле слова, т. е. единственным ответственным лицом, но со всеми служебными правами, облегчающими ответственность, и с нравственной свободой действий в отношении к министерству в пределах, указанных постановлениями. Если им, подбиравшим подручных людей, недостаточно было самостоятельности, которую я выказывал во всю службу, то упорное сопротивление мое плану преобразования морских команд, предложенному считавшим себя на все способным Грейгом, не могло не убедить его и управляющего, что в вопросах о личном составе флота я решительно требовал, чтобы спрашивали и внимательно выслушивали мои мнения и доводы. Общий характер этих мнений был известен флоту и стоявшим во главе его более, нежели кому-нибудь. Трудом, выполненным по возвращении из Средиземного моря, я выказал его еще яснее. Представляя отчет о порученном мне исследовании всех плаваний военных судов со времени парижского мира, я приложил к документам, на которых исследование производилось, подробные выводы, касающиеся всех надобностей судов. Самые плавания, приготовительные испытания посылаемых в море судов, замечания об их постройке и снабжении, распоряжения центральной власти, различные случайности, закупки в иностранных портах, вопрос о трате угля, одежды команд, лучшие порты для исправлений во всех краях мира, необходимые в каждой местности гидрографические исследования, наконец, замечание о личном составе, как и к чему вести его, каким образом контролировать начальников и поощрять всех служащих — короче все, чем служба существует, развивается и удовлетворяет цели, было разобрано на основании пятилетних фактов и все недостатки, промахи и заблуждения выведены из действительности. По своему разнообразию и обширности труд походил на исследование парламентских комиссий, наряжаемых в конституционных государствах; он неминуемо грешил келейностью, недостатком устных показаний; но все, что можно было видеть и угадывать из документов человеку, к ним привычному, было замечено и изложено с чистосердечием, не устававшим откровенности цензоров представительного правительства. Меня уверяли, что подобные исследования будут делаться постоянно, войдут в систему и непременно станут объявляться во всеобщее сведение. Этого, однако ж, не сделали, конечно, потому, что в доказательствах моих о несоответственности результата издержкам, я винил не столько исполнителей, сколько отсутствие твердой, достаточно уясненной себе самим начальством цели. Не менее того, во всеподданнейшем отчете за 1863 год, исследование было выставлено на высочайшее внимание как новое необходимое дополнение в системе управления флотом. Меня в то время постигла уже служебная неудача, и мое

имя было тщательно опущено. Может быть, того требовала вновь вводимая служебная политика, но общепринятые между людьми условия едва ли дозволяли министерству присвоение моего труда. Никакая виновность, кажется, не должна лишить меня права умственной собственности. Впрочем, если не было и основания ожидать от новых руководителей флота строгой честности, то сами они, познакомившись с выраженными мною взглядами, не имели поводов ожидать, что я переменюсь в готовившемся мне значительном положении. Напротив, в заключении явно проглядывала решимость моя говорить настойчиво о том, что казалось мне необходимым для действительности обороны России с моря. Привожу заключение сполна. Вместе с другими документами, помещенными в моих воспоминаниях, оно показывает, по крайней мере, что я никогда не скрывал недостатков моего служебного характера и выражал его слогом и способом, которым нельзя отказать в ясности.

«Изложив в возможно сжатом объеме способ, принятый для просмотра плаваний, представя, кроме данных, выбранных из журналов и корабельных книг, наиболее значительные факты, которые могут служить для соображения центрального управления и самых исполнителей, и выведя заключения из действительности, считаю нужным для пополнения труда представить В. П-ву соображения, основанные на общем взгляде, который выработался из порученного мне обзора.

В настоящем положении нашего отечества не время утешаться иллюзиями. Предприятиями, не входящими в круг действий морского министерства и доставляющими лишь минутное утешение в одобрительном говоре не вникающей в дело толпы, теперь нельзя никого ввести в заблуждение.

Самые неблагоприятные обстоятельства, очевидные для каждого мыслящего человека, но не принимаемые в расчет массою, жаждущей быстрых осязательных успехов, повели не только к тому, что у нас нет современного флота, но и к тщетности для будущего большей части наших усилий.

— Не отвлекаясь, как может показаться, от сущности назначенной мне программы, я войду в рассуждение относительно общего назначения флота для исполнения нужд государства. Здесь представляется прежде всего вопрос, насколько нужен флот России? Мы, естественно, имеем менее интересов на море, нежели другие государства; но из этого только защитники утопий, ратующие за свои идеи во что бы то ни стало, могут заключить, что морские силы для нас бесполезны. Политические обстоятельства и значение, которого мы не должны добиваться при настоящем состоянии наших средств, но добровольно отказываться от коего было бы политическим самоубийством, требуют присутствия нашего флага (как бы скромно он ни показался) на европейских водах. Недавние и настоящие факты не допускают, кажется, возражения на это заключение. Долгое еще время мы будем в состоянии заявить фактически нашу власть и право в наших владениях на Тихом океане только судами; а когда край населится, ограничение его потребует силы того же рода. Наконец, защита собственных берегов наших, где не может развиться никакая промышленность, никакие полезные предприятия, при неуверенности в ограждении их от первого пришельца, требуют силы, способной отстранить эти спасения. Сила эта, очевидно, должна быть подвижная и действовать с моря. К вашему убеждению в необходимости морской силы нужно прибавить, что при новейших способах и средствах атаки с моря столица наша, в которой собраны несметные для России богатства, где уже полтора века живет и действует верховная власть (и, конечно, при распространении телеграфов и железных дорог никогда из нее не удалится), эта столица созданная, может быть, прихотью необузданной воли, но теперь освященная не столько древностью, сколько влиянием материальных интересов, в наше время

наиболее действительных, есть самый слабый пункт наш и подвержена прихоти всякого иностранного министра, имеющего в своем распоряжении несколько броненосных судов.

Не разбирая здесь вопроса об атаке Кронштадта и после него столицы, стоит только указать на всем памятные случайности, в которых враждебная морская сила заставляла правительство склоняться на унизительные условия самым дешевым для оскорбляющего образом.

Подобные влияния силы над беззащитностью не перестанут проявляться, пока люди останутся с теми же страстями, и тем чаще, чем более будут забывать аксиому, что лучшее средство к сохранению мира — вечная готовность к войне.

— Многие считают силу вещественную, как нечто недостойное внимания при соображениях о важных реформах внутренних. Какими будут последствия, если с открытием навигации несколько броненосцев явятся перед Кронштадтом требовать удовлетворения за задержание какого-нибудь купеческого корабля, не исполнившего таможенного устава? Случай весьма обыкновенный и ничтожный; однако ж к чему поведен он? Главный порт наш будет блокирован, торговля потерпит, все засуетятся и станут готовиться к войне наскоро, тратя сотни миллионов, тогда как своевременным умеренным расходом подобная случайность могла бы отстраниться; или же придется склонить голову перед требованием, вследствие чего убеждение народа в силе правительства поколеблется именно в то время, когда для проведения предпринятых реформ и окончательного привития их необходима власть сильная, пользующаяся полным доверием.[29] В обоих случаях ход реформ, по крайней мере, остановится: в одном от совращениях всех финансовых средств для надобностей войны, в другом — от правительственной несостоятельности. В последнем могут быть и более губительные государственные последствия. Ясно, что реформаторы, жертвующие для осуществления своих идей силою военною, идут к цели, как совершенные идеалисты, не озираясь в стороны, и вследствие того, при первом внешнем препятствии, увидят замыслы свои обращенными в прах.

— Морское министерство, понимавшее необходимость флота и употребление его в настоящем и будущем, действовало сообразно цели, приготовляя команды и офицеров посылками в моря, не подверженные стеснительным отечественным условиям и доставляя в то же время правительству возможность всегда высказать нужное влияние, где и когда надобилось. Новые средства атаки повели министерство к соображениям о соответственных средствах обороны, и оно приступает деятельно к созданию их. Сочетая эти требования существовавших и вновь родившихся обстоятельств с делом о плаваниях, возбужденным В. П., невольно представляется вопрос: следует ли и теперь, когда главная часть флота будет устроена единственно для защиты и исключительно паровая, употреблять те же средства, что прежде на содержание флота в действительности? Нужно начать с того, что новая наука о броненосных судах не сказала еще последнего слова о годности их для океанских плаваний, хотя возможность разрешения этой задачи выясняется более и более. Впрочем, чтобы ни случилось, морское искусство несомненно будет играть в будущем не меньшую роль. Если попытки посылать в дальние плавания обшитые бронею суда окажутся тщетными, будут пользоваться деревянными судами и вопрос останется в том же виде. Если броненосцы окажутся действительными, для управления ими нужны будут те же условия того же морского искусства, и, конечно, нам нельзя будет ограничиться единственно прибрежными судами для защиты. Управление и бой с судами последнего рода так же требует морских офицеров и команд, знающих все условия морской борьбы. Нужен глаз, понимание судна, короче, многие из качеств, приобретаемых на парусных судах. Каким образом приобрести эти качества? Оче-

видно, выгоднее достичь более трудного дешевым сравнительно способом; тогда легкое, в той же специальности явится готовым в случае нужды. Броненосцев, движущихся исключительно паром, нужно иметь; но приобретение на них навыка будет сопряжено с огромными расходами. Это все равно, что учиться необходимой азбуке на издержки, потребные для университетов. Вместе с тем, нельзя не признать, что в элементах, на которых флоты основаны, собственно военное начало стало играть большую роль, нежели доселе. Средство, обеспечивающее действия и движения независимо от атмосферы, самою возможностью приложения его ко всем случайностям, вызывает не более стройный состав эскадры. Отсюда надобность в дешевых практических эскадрах, ускоряющих военную организацию единообразием всех условий, от которых она зависит, и дающих средства содержать в готовности уважительные силы. Такими только практическими плаваниями, в соединении с дальними, необходимыми для нашего политического влияния и охранения дальних владений наших, мы достигнем настоящего военного совершенства и подготовим дешевым образом искусство, необходимое для оборонительной войны. Содержание подобных практических эскадр, будучи соединено с необходимым предварительным испытанием судов, посылаемых в дальнее плавание (о котором я упоминаю в выводах), удовлетворяет двум целям единовременно. Эскадры могут быть составлены именно из этих судов.

— В последнее время в особенности, стали слышны доводы о надобности флота. Не говоря уже, что было бы весьма неосторожно уничтожить действительное средство обороны государства, от которого так много зависит исполнение предначертаний для улучшения внутреннего, нужно заметить, что именно в настоящее время все нации приходят к совершенно противному заключению и увеличивают свои морские силы. Везде, кроме Англии, самое существование коей вполне зависит от владения морем, флот есть произведение искусственное, точно также, как армия и различные ее отрасли. При уверенности в движениях на море, тактическое назначение морских сил стало вполне зависеть от местности. На известном поле действий предпочитают кавалерию пехоте и обратно; точно так же, по тем же причинам, должно содержать и флот, не выводя его необходимости, как прежде, исключительно из защиты внешней торговли, которая теперь, в случае морской войны, может избрать себе железные дороги. Напротив, внутренняя промышленность требует способности защищаться с моря; ибо никто не решится тратить капиталы на промышленные предприятия в приморских местностях, для них самых удобных, без уверенности охранения заведенного от неприятельских действий с моря. По высказанным причинам, вместо того, чтобы отвергать надобность флота, остается убедиться в большем затруднении иметь его в нас, нежели в некоторых других государствах, и в том, что при искусственности его, общей большей части наций, требуется в нашем отечестве большее искусство в организации морских сил для действительности их».

Не менее того упорствовали, относились ко мне как к уже утвержденному начальнику в Кронштадте и ставили меня во главу различных комиссий, касавшихся порта. Никогда не случалось мне так утомительно (и разумеется, бесплодно) работать в комиссиях, как зимою с 1862 на 1863 год. Искали ли новые министры опоры, не уставши еще приобрести доверие государя, или думали утомить энергию людей, в которых она замечалась, столица была наполнена комиссиями и комитетами; в них встречались, по большей части, те же лица. На мою долю выпало тринадцать при разных министерствах, и заседания длились иногда далеко за полночь. Наиболее занимавшая меня комиссия по устройству военно-морских судов заседала в помещении генерал-аудиториата.

История этого дела, равно как комиссии, исследовавшей при министерстве финансов

результаты привилегированного существования Американской компании, не может найти места в моих воспоминаниях: но странная, сопровождавшая военно-судную комиссию, случайность, снова доказывающая нестройность нашего управления, просится на эти страницы, очерчивающие преимущественно, время.

В числе членов комиссии был капитан генерального штаба Сераковский, тот самый, который привез мне поклон от Пелисье. Он ездил по Европе и в Алжирию для исследования различных военно-пенитенциарных систем по поручению правительства. По окончании трудов комиссии Сераковский, единственный между нами обер-офицер, счел нужным обратиться к превусу с благодарственною речью за внимание, которым удостаивали его мнения. Это повело после заседания ко взаимным приветствиям и пожеланиям. Мы узнали, что Сераковский отправлялся потом в Вильну, где оставил молодую жену. На шутку делопроизводителя Проворова, чтоб он не ушел «до лясу», по поводу начавшегося уже восстания Сераковский отвечал, что спешит в Вильну с целью своевременно удалить оттуда жену и избавить ее от влияния соотечественниц. Через три или четыре недели несчастный Сераковский заплатил жизнью за измену. В начале 1864 года мне случилось быть в Париже у посла Будберга. Доложили, что его желал видеть маркиз La Rochejaquelin, и я поднялся со стула, но посол удержал меня. Предуведомленный Будбергом, что может говорить при мне, не стесняясь, старик, болтливый, как истый француз, начал передавать содержание речи, которую готовился произнести в нашу пользу по поводу польского вопроса, так грубо оживленного в сенате принцем Наполеоном. Разговор зашел о польских делах вообще и о Сераковском в особенности. Я рассказал о его отъезде в Вильну и выразил уверенность, что он ехал в Вильну без преступного намерения, но был увлечен собратами. Когда La Rochejaquelin вышел, Будберг спросил меня, действительно ли я думал так как говорил, и на утвердительный ответ мой возразил, что я совершенно ошибался, что еще в 1862 году он писал о Сераковском, как о польском эмиссаре, участвовавшем в совещании с эмигрантами в Бордо. Сообщило ли о том министерство иностранных дел военному министру? Поручения, возлагавшиеся на Сераковского, заставляют сомневаться. Не подлежит сомнению истинный анекдот, ходивший тогда по всем салонам. Желая спасти мужа, г-жа Сераковская примчалась в Петербург и обратилась, разумеется, ко «всех скорбящих радости» — добросердечному Суворову. Неудержимо порывистый в сострадании генерал-губернатор тотчас запросил Муравьева телеграммой «За что Сераковский задержан?». И получил лаконичный ответ: «Отгадайте».

Суворов не переставал поносить Муравьева до того времени, как тот возвратился в Петербург, восторжествовавши над восстанием.

Польское восстание повело к известному политическому походу на нас всей Европы. Кто-нибудь, знакомый с тайнами нашего кабинета, объяснит со временем, в какой степени правительство, и в особенности пожавший лавры нашего сопротивления князь Горчаков, могут приписывать нашу удачу в этом случае своей твердости. Из всего подобранного мною в то время в гостиных и официальных прихожих мне казалось, что мы вовсе не располагали быть твердыми и не были бы, если бы не восстала против вмешательства вся земля. В Петербург полетели адреса сопротивления и Европа снова увидела единодушие народа и власти. Почин принадлежал столице, и сколько мне известно, возбужден тем же Суворовым, способным всегда на добрые порывы, и иногда даже на удачные. Меня лично европейское заступничество за Польшу выбило из служебной колеи, по которой я шел твердо и неуклонно лучшую часть моей жизни.

17-го апреля, согласно решению государя, им многим объявленному еще в предшествовавшем году, должен был выйти приказ о моем

назначении, и я сделал все нужные приготовления к переезду в Кронштадт. На последних днях страстной недели управляющий министерством объявил мне, что вследствие политических обстоятельств государь изменил намерение. Нужно было в течение лета ожидать атаки ополчившихся на нас союзников и потому иметь в Кронштадте человека с боевым именем. Новосильский, которого находили неспособным и недеятельным в мирное время, должен был остаться на предстоявший военный период, а я назначался к нему помощником. По военной части в ту же должность вступал генерал-адъютант Крыжановский, не сошедшийся с Муравьевым в Вильне. Краббе, чувствуя себя в неловком относительно меня положении, предложил выполнить первоначальный план с тем, чтобы Крыжановского назначить начальником обороны Кронштадта, уступая с готовностью военному министру единственный пост, с давнего времени бывший достоянием моряков. Честь флота, по-видимому, не была дорога случайному его начальнику. Крыжановский, понимая, что защита Кронштадта, в которой гарнизон играет второстепенную роль, должна быть поручена морскому человеку, отказался , и комбинация Новосильского с двумя помощниками была приведена в исполнение. Помощникам сообщили письменно (оригинал хранится у меня) высочайшее повеление, что они отвечают за оборону столицы наравне с Новосильским, которому не дали, однако ж, положения, соответственного обстоятельствам, а оставили в прежнем звании, без всякого увеличения прав и самостоятельности.

Трудно быть беспристрастным, повествуя о собственных неудачах, но мне кажется, мое прошедшее дает мне право выставлять прямодушно мои ошибки, и я не стану утаивать той доли виновности в моем падении, которая принадлежит собственно мне. Обманутый в ожиданиях так внезапно и с таким презрением к моей репутации, я хотел просить тотчас увольнения от службы и даже приступил к нужным законным справкам; но решительное объявление государя, что мы должны ожидать атаки к 15-му июля, принудило меня остаться во всяком положении, перед войной в отставку не просятся. Тем не менее мне, признанному достойным занять пост непосредственного начальника всего сословия, нанесли незаслуженное оскорбление. С честолюбием можно было поладить легко, удовлетворение его отдалялось на некоторое только время; но голос чести твердил непрестанно, что меня считали годным только на заведение порядка в управлении и дисциплины в мирное время, каким-то бездушным Martinet; а в том, что составляет главные достоинства военного человека, единственную цель его существования — в качествах, нужных для борьбы с неприятелем — мне отказывали, не келейно, не в темноте канцелярий, а всенародно, при сиянии дня.

У человека, с самой молодости оберегавшего свое достоинство и внезапно сбитого с ног нравственно, конечно, «скребли на душе кошки». Если бы Краббе дошел до своего значения службою, он понял бы это. В мое утешение написали Новосильскому, чтобы он передал мне морскую часть совершенно, и я принялся за дело с ревностью, в которой мне никогда не отказывали даже враги мои. Чувство долга не заглохло от личного оскорбления, и я старался деятельностью задушить нравственные мучения.

Положение Кронштадта в 1863 году было просто бедственное. По братскому великодушию (будто дело шло о частных поместьях) генерал-адмирал раздробил власть и ответственность, издавна соединенные в порте в руках главного морского начальника. Здания фортов перешли к Великому Князю Николаю, артиллерия на них — к Великому Князю Михаилу, гарнизон подчинялся непосредственно сухопутному начальству, и только морская часть осталась за главным командиром; но все же, по закону как военный губернатор он не переставал быть ответственным лицом за все, относившееся к военной деятельности. Уже

семь лет держали на посту Новосильского, особенно наклонного к разоблачению от тягот власти под таким высоким тройственным влиянием. Части, соприкасавшиеся с августейшим начальником, высвободились совершенно из-под его контроля; даже морская сделалась преимущественно развлечением в руках генерал-адмирала, а с отъездом его в Варшаву, орудием козней и домашних сплетен в руках министерства, жившего меншиковскими преданиями. Следствия раздробления и разоблачения власти сказались тем, что через семь лет после Крымской кампании Кронштадт, под угрозой атаки уже броненосными кораблями, оказался несравненно слабее, нежели при конце предшествовавшей войны.

Сваи, на которых в 1856 году предполагали возвести укрепления для защиты северного и южного фарватеров, сгнили и стали рушиться, лишь только мы вздумали насыпать брустверы. На каменных фортах не было платформ, и ни один станок не выдержал бы выстрела; многие, когда их спускали с вершин ярусов на двор, разбивались вдребезги при случайном падении. Большая часть артиллерии состояла из старых 24-фунтовых пушек и с передового форта «Павел» мы свезли семь тысяч 6-фунтовых ядер... Для чего они там находились, когда во всех флотах уже десять лет не было орудий менее 30-фунтового калибра? Набитые вокруг острова сваи, которыми думали оградиться в 1856 году, повалились, и между ними образовались свободные проходы. Порох хранился в северо-восточном углу города, подверженном метким выстрелам с северного фарватера, в башне, которую могли пробить снаряды полевых орудий, и в пятистах шагах от госпиталя, который, разумеется, очистили бы при объявлении войны, но где неминуемо устроили бы перевязочный пункт. К такому бедственному материальному положению нужно прибавить, что немногие в городе знали о существовании главного начальника. За семь лет частные начальники отвыкли повиноваться ему, и сам Новосильский, никогда не имевший способности командовать, утерял даже нужные формы власти. Из министерства выходили слухи, что Кронштадт не может держаться более нескольких часов, и наши правители начали хлопотать о вывозе ценных станков с кронштадтского парового завода. Разумный способ подвинуть защитников к стойкости и самоотвержению!

В таких условиях можно было думать лишь о средствах увеличить инерцию терпения, т. е. загородиться, сколотить наскоро лафеты, поставить орудия, способные отвечать на неприятельские выстрелы и сделать в городе распоряжения для устранения гибельных пожаров, короче, несколько помочь человеческим мускулам и облегчить страдания человеческого мяса, нашей единственной и самой действительной крепости. Вот положение, в котором находилась охрана столицы после недавнего урока, почти на глазах верховной власти. Можно представить себе, как действовала принятая система «благополучного обстояния» и никем не контролируемых «всеподданнейших отчетов» в отдельных местностях империи, когда подобные постыдные безобразия представлялись чуть не у подъезда дворца.

Между мною, Крыжановским и наезжавшим к нам Тотлебеном не могло быть и тени разногласия. Форты — те же корабли в море — требовали помощи от флота; он один владел средствами и средства эти были даны обеими руками. Прежде вооружения фортов следовало очистить их от бесполезного хлама. Эскадра стояла на рейде, и я роздал каждому кораблю свое укрепление; через несколько дней можно было начать вооружать их. Баранцев решительно объявил, что новых лафетов доставить не может; их начали делать в Кронштадте, и все адмиралтейские мастерские работали в помощь подрядчикам для удовлетворения надобностей артиллерийского управления. Шлюпки эскадры развозили все нужное по фортам. Оборонительная линия длиною в 22 версты была разделена на отделения; в главу их назначены известные морские капита-

ны с приказанием зорко следить, чтобы не было остановки в исполнении нужд, а начальниками укреплений поставлены наполовину моряки и сухопутные артиллеристы. Адмиралтейскими же средствами устроены пороховые суда, в которые разместили 27 тыс. пудов пороху, хранившегося в городе, подверженном всецело бомбардированию, и самые суда вытянули к Петербургу линией вне выстрелов. Один из доков блиндировали корабельными лесами для хранения нужного провианта, а во все остальные приготовились пустить воду, чтобы оставить сколько можно менее твердой площади падающим бомбам. Самую слабую сторону, северный фарватер, загородили старыми кораблями, которые пароходы таскали беспрепятственно сквозь линию рядов. Начатые в 1856 году работы так мало подвинулись за мирное время, что мы поневоле насыпали брустверы на палубах затопленных кораблей, оставшихся сверх воды, и поставили на них орудия. К таким, поистине мужицким средствам, мы должны прибегнуть для борьбы с грозною европейскою наукою. Хранившиеся от прошлой войны мины, не совсем действительные по ошибочности системы, оказались совершенно негодными, и мы вынуждены были их отбросить. Вдобавок, по недоверию к Новосильскому, не отпускали денег для немедленных расчетов с подрядчиками, и только в исходе мая, по моему настоянию, прислали сто тысяч для необходимых платежей. Оставив на месте человека, к которому не имели доверия, морское министерство в одиннадцатом часу вступило в полемику с нами, ответственными деятелями. Меня беспрестанно требовали в Петербург, спрашивали, что доложить государю, как шли работы, и даже, когда решено было разделить наши силы на две армии — северную и южную — с подчинением обороны столицы начальнику северной, выведывали мое мнение, кому поручить северную: Муравьеву (Карскому) или Лидерсу. Трехмесячный опыт ясно высказал уже мне, что первая борьба должна быть с Петербургом и, конечно, я не задумался указать на кандидата, способного своею твердостью одержать необходимую победу. Мне возразили, что Муравьев тяжел, que c'est un mauvais coucheur (буквально)[30] и прислали на два дня с царской кухней легко на все смотревшего Лидерса.

К исходу лета мы могли стрелять по всей линии и довольно долго терпеть огонь неприятельский.

Вынужденные на оборону в самом тесном смысле слова, мы вспомнили о средстве, предложенном мною в 1855 году для нападения на английскую торговлю, и решились как можно скорее выслать в океан эскадру. В этот раз вопрос был возбужден «Московскими ведомостями» по внушению, кажется, Е. Н. Посьета. Намерение держалось в такой тайне, что некоторое время, и довольно долго, не знали о нем даже Новосильский; боялись, что он проговорится жене. При беспрестанных хлопотах по вооружению Кронштадта я лично наблюдал за изготовлявшимися судами, часто ездил в Петербург на совещания с Краббе, указывал средства и место снабжения эскадры, которую посылали à fond perdu,[31] но все же не следовало предоставлять жизнь команд единственно удаче. По моему настоянию эскадру отправили в Соединенные Штаты. Я не сомневался в сочувствии, которое ей выкажут, а главное, был уверен, что там найдутся охотники снабжать ее и откроются средства обеспеченного ее существования среди английских крейсеров. Не совсем легко было изготовить и снабдить новые суда при угаре изготовления к войне и чрезвычайной таинственности. Командирам я объявил цель в последние дни, передавая им кредиты, а начальник эскадры, С. С. Лесовской, сел на нее перед самой съемкой с якоря, отправясь с моей квартиры в три часа ночи. Эскадра оказалась так хорошо изготовленной и снабженной, что в отчете за 1863 год Краббе после восторженных сравнений настоящей эпохи с временами Петра и Екатерины, отнес успех к усилиям великого князя ввести порядок в администрации. Рыцарь

чести, как прозвали его свыше по поводу моего с ним столкновения, уверял в отчете, что никто не знал, куда и на сколько времени уходит эскадра, и дивился, как удачно снабдили ее. Мое имя было тщательно пропущено; рыцарь чести не только счел нужным лишить меня через год и этого утешения, и этой единственно мне принадлежавшей заслуги, но приписал ее другому лицу.

Государь, бывший в Кронштадте еженедельно, оставался постоянно доволен и никогда не забывал благодарить меня. В исходе июня он лично убедился, что на всех укреплениях стояли пушки, могшие стрелять, и вскоре отправился в Финляндию удостовериться, как Николай Павлович в начале крымской войны, в расположение финляндцев. По обыкновению он отплыл на яхте «Штандарт» в сопровождении парохода «Олаф», на котором везли все надобности походного двора. На пути яхта обломала колесо о плававшие остатки претерпевшего крушение судна, и государь должен был пересесть на «Олаф». Пароходы сошлись бортами и его величество допустили перейти на «Олаф» через переднюю часть парохода, где лежали кульки со льдом и другие кухонные принадлежности. Матрос, имевший ключ от верхней каюты, забыл, что носил его постоянно в кармане; не оказалось нужной мебели для партии; короче, переход с яхты, выстроенной собственно для царских надобностей и привычек, на военный пароход, только что таскавший корабли для заграждения фарватера, подействовал на расположение духа его величества, и в происшедшей на «Олафе» суматохе государь увидел недостаток порядка. Сопровождавший его управляющий морским министерством подвергся первый его гневу.

Из Гельсингфорса скоро дошли до нас известия о неудачном переходе государя и вместе о его неудовольствии. Краббе счел пристойным бранить меня при всех за недостаток внимания к спокойствию государя и до того неистовствовал, что командиры пароходов, приходившие из Гельсингфорса в Кронштадт, решались передавать в обществе его цинизмы. Сильный убеждением, что сделал в Кронштадте, все, что можно было сделать смертному, я твердо решился принять на себя невзгоду за случайность, которую трудно было предусмотреть.

Вскоре государь возвратился из Гельсингфорса. Уже во время его там пребывания стало ясно, что Англия не пойдет далее нот и союз распадется. По обыкновению мы с Новосильским выехали навстречу и были приняты на пароход. Государь тотчас отозвал в сторону Новосильского и самым милостивым образом начал замечать ему, что нашел «Олаф» в беспорядке. Меня принял Краббе со стоявшими за ним любопытными придворными. На его саркастическое замечание, что я хорошо готовлю пароходы для государя, я возразил, что ему известно употребление «Олафа» до последнего часа; что я готовил преимущественно Кронштадт к обороне от неприятеля, и «Олаф» был оторван от самой черной работы, чтобы вести кухню, а не императора. На укор, что я не подумал о царских привычках, я отвечал, что есть эскадрмайор, тут же любопытствовавший видеть, как Краббе оборвет меня, которому привычки эти должны быть известны более, нежели мне. Все это происходило на расстоянии голоса от государя, обратившегося после замечания Новосильскому ко мне с самым рациональным и милостиво выраженным приказанием: «Разбери дело внимательно и дай отчет». Тогда же я приступил к исследованию всех подробностей и хотел убедиться пристальным взглядом в существовавшем на пароходе порядке, чтобы прийти к основательному заключению: была ли случайность просто неудачей, несчастьем, или ее следовало отнести к радикальному недостатку исправности, в которой должен содержаться военный корабль. Видевши общее ревностное участие подчиненных в порученном мне серьезном деле, я считал не только приличным для на-

чальника поступком, но долгом чести и справедливости просить о взыскании с одного меня, предоставляя себе со временем принять в отношении к командиру парохода нужные меры, если бы результат начатых мною исследований указал их необходимость. На третий день по прибытии государя я получил приказ об отрешении командира от должности и вместе официальное письмо Краббе к Новосильскому (не ко мне, хотя морская часть была, как прежде сказано, отдана в мое распоряжение), в котором управляющий на нескольких листах пояснял, что в Кронштадте, очевидно, никто не занимался обязанностью и неудовольствие государя передавалось нам в самых изысканных по грубости формах. Вся моя мудрость исчезла как дым: что Краббе постарается отдалить от себя неприятное впечатление, произведенное случайностью на государя бесцеремонным обвинением других, я не сомневался ни минуты; но чтобы государь, велевши разобрать дело, приказал без назойливости желавшего выказать преданность министра сменить командира, прослужившего тридцать лет, до окончания разбора дела, этому я поверить не мог и тотчас же начал писать управляющему просьбу об увольнении от обязанности, которая ставит меня в положение выносить наказания подчиненных прежде исследования вины их, мне же, начальнику, порученного. Различные служебные надобности заставили меня отложить письмо до следующего дня.

Краббе пропустил прекрасный случай заставить флот простить ему незаслуженное его повышение; он не понял, что не время было разить флот громами за неприятную, но в сущности неважную случайность, когда от моряков требовалось самопожертвование и громадные труды; он не хотел или не умел уяснить себе, что меня, младшего из адмиралов, могли терпеть начальником только с условием, чтобы я был верен своему прошедшему и не дозволял без суда расправы, одним почерком неразмышляющего пера разбивать всю жизнь подчиненных; ему не показалось нужным поберечь, хотя ради сделанного мне без причины оскорбления, мое самолюбие. О печальном предмете этом он говорил с Новосильским на другой день после того, как я решился просить увольнения на возвратившемся из Тихого океана корвете «Новик», куда прибыл с государем, желавшим, по обыкновению, приветствовать кругосветных плавателей. Никогда не допускавши кого-либо отвечать за мои промахи, я вмешался в разговор. Государь занялся смотром, а мы вступили в рассуждения, которые не могли, разумеется, иметь оттенка дружелюбия. На мои доводы Краббе отвечал буффонадой. «Увидим, — сказал он, — ваши римские добродетели, когда будет за всякого доставаться». Тогда я сказал, что если бы ему чин адмирала достался службой, он был бы одинакового со мною мнения, что нельзя обращаться к адмиралам с подобными письмами. Отвечая пылом на мою горячность, Краббе возразил, что за слова мои потребует ответа как от человека, на что я изъявил совершенную готовность.

На другой день приехал Грейг склонять меня к извинению перед Краббе. Я не бретер, но на каком основании, поступивши так легко с моей служебной честью, дерзали сомневаться еще в личной? Такая наглость людей, злостно порадовавшихся бы моему согласию, совершенно меня опрокинула. Я наговорил Грейгу бездну глупостей; но ему, как товарищу, и, по словам его, приятелю обоих противников, следовало забыть их, выйдя из моего кабинета.

Встречи не было. На другой день высочайшим приказом я был отчислен от должности, а через несколько дней, без малейшего предварительного намека, получил официальную бумагу, в которой приказывалось мне ныне же (слово было прибавлено рукой управляющего сверх строки) отправиться агентом Морского министерства в Соединенные Штаты. Краббе решился утверждать, что думал сделать

мне приятное; а назначение чуть-чуть не разоряло меня по тогдашним моим обстоятельствам; для жены же долгий переход океаном был положительно невозможен. Меня, по неудобству иметь перед глазами, перебрасывали как тюк за тридевять земель. Такая умышленная постепенность в сведении обиженного уже человека с ума привела к желанному врагами моими результату. Государь, удаливши меня, отправился в путешествие. Я обратился к князю В. А. Долгорукому с письмом, прося передать его государю. В письме этом, написанном без черновой, я, выставляя все мои пени, сожалея, что начальство наше оскорбляет нас именем государя и рядом с циничной фамильярностью дозволяет себе дерзости, выражал уверенность, что государь сам смотрит уже иначе на чистую случайность, расстроившую его во время перехода в Гельсингфорс.

О порыве Краббе ни в письме, ни после, при объяснении с Великим Князем, я не упоминал ни слова. Я избрал князя Долгорукова единственно потому, что был ему известен. Эти-то вопли оскорбленного и пострадавшего уже человека знавший меня генерал-адмирал, забывши, что в его положении удобно быть дерзким, назвал мне в глаза доносом. Государь же принял ходатайство Краббе о посылке меня в Америку, основанное будто на желании его, чтобы флот не лишался полезного офицера, за чрезвычайно бескорыстный поступок, назвал Краббе рыцарем чести, а меня неблагодарным. Скоро увидят, как сходились действия управляющего с тем положением, которое он старался приобрести в мнении государя своими рассчитанными хитростями.

Именно в это время Великий Князь возвратился с неудачного своего наместничества. Еще с пути государь прислал повеление не посылать меня в Америку. Константин Николаевич уверял, что его величество хотел распорядиться со мною гораздо строже; я неоднократно являлся к государю вследствие требований служебного этикета и бывал принимаем вместе с другими без малейшего ко мне внимания. Только в последний раз, перед отправлением в разрешенный заграничный отпуск, государь удостоил меня приемом наедине, выразил уверенность, что все загладится будущею моею службою, что я, конечно, возвращусь в случае войны и что нужно быть сдержаннее. Верное и вместемилостивое определение вины моей я услышал только от самого монарха; все другие, знавшие меня и немало, может быть, мне обязанные власти, признавая за мною достоинства, приписываемые мне общим мнением, старались в отсутствии моем выставить меня за бешеного, за сумасшедшего. Виды сумасшествия, действительно, разнообразны, и самый ум нечто относительное.

Не подвергаются различным воззрениям только правила чести. Строго и неуклонно им следующим предоставляю рассудить между мною и мои доброжелателями-гонителями.

ГЛАВА VIII

МОЕ СКИТАЛЬЧЕСТВО ПО ЕВРОПЕ

Зима 1863—1864 в Париже. Польский вопрос. Наш броненосный флот. Об укреплении Кронштадта. Славянофилы. Новые Афины. Валгалла. Кильгейм и храм освобождения Германии. Встреча с генерал-адмиралом в Остенде. Мои надежды быть употребленным по службе. Мое возвращение в Россию. Случай с клипером «Всадник». Морское министерство приступает к суду «правому». Брошюра Шедо Феротти и распоряжения Головнина. Столкновение его с московским университетом. Головнин и Катков. Граф Евдокимов и покорение Кавказа. Примирительный обед у Головнина и вообще политическое кормление. Польский вопрос: Анненков и Муравьев. Новое судостройство. Лифляндский вопрос. Изменчивость Валуева. Вообще убеждения не в моде. Внутренний заем для железных дорог. Железнодорожный вопрос. Решение моего личного вопроса.

Один Париж, в тогдашнем моем настроении духа, свойственном внезапному крушению надежд и усилий целой жизни, мог развлечь меня и вместе дать умственную пищу в отсутствии обязательного труда. Мы решились провести в нем зиму, и, по возможности, забыть невзгоду. Не допуская окончательного разрыва с прошедшим, я занялся переводом нового сочинения об употреблении артиллерии на море и послал труд в Ученый Комитет.

Либеральное министерство не дозволило напечатать предисловие потому только, что в нем указывалось на нашу отсталость. Из Парижа же я защитил в «Морском Сборнике» память М. П. Лазарева, которую начали оскорблять угодливые перья в сравнениях с Грейгом. Но главное занятие мое состояло в слушании лекций народного права и политической экономии, в Collège de France. Меня удивило единодушие, с которым самые красные профессора даже восставали против коммунистических учений, и поразило, до какой степени господствует во Франции идея равенства. В горе и радости, в богатстве и бедности, в свободе и рабстве, французы непременно хотят быть равными. Наполеон схватил жизненную жилку народа и делал, что хотел, для собственной своей выгоды.

Впрочем, проявлялись умы, прозревавшие, к чему идет утрированная идея о равенстве. Оппозиция стала, видимо, расти, и чтобы отнять у нее самое действительное оружие, император, открывая заседание палат 5 ноября, пустил против нас по польскому вопросу оскорбительную тираду. Оппозиция поверила горячности сочувствия императора к Польше и ускромилась, исключая, разумеется, полофилов a Tout pais или лучше a prix d'argent.[32] Толь-

ко Havin и Gueroult в «Siide» и «Opinion nationale» продолжали специально ратовать за Польшу, и Наполеон, убежденный в равнодушии Англии, заметил с неудовольствием, что республиканские журналисты, вероятно, хотят, чтобы он пошел на Россию в воздушном шаре Годара. Вообще зимою с 1863 на 1864 год польский вопрос чах в правительственных и общественных сферах.

Возбужденный Бисмарком дарско-германский вопрос, устранивший в Пруссии внутреннюю революцию, также способствовал окончанию польского.

Главной для меня задачей было сколько можно разнообразить непривычную праздность. Весной 1864 года мы переехали в Висбаден, и я ездил оттуда в Гослар, где великий князь Константин грыз изгнание, которому подвергся по возвращении из Польши. Генерал-адмирал читал мне проекты Краббе об увеличении наших панцирных сил; я слабо опровергал некоторые воззрения министерства, опасаясь, чтобы не приняли противоречия за личную неприязнь. Мне хотелось придать поездке моей в Госпар вид посещения, вызванного единственно участием к положению великого князя, и я даже уклонялся от разговоров о делах; но в Интерлакене, куда мы переехали из Висбадена, граф Путятин передал мне планы, уже начинавшие осуществляться и подвигал к тому, чтобы остановить их. Вопрос о броненосных судах был в следующем виде:

Лесовской прибыл в 1862 году из Штатов с подробными чертежами прославленных мониторов. Сначала суда эти наделали много шуму; но впоследствии один потонул в море, другой на якоре, семь или восемь были отбиты при атаке Чарльстона, успевши сделать вместе не более 152 выстрелов. На каждом случилось что-нибудь, приведшее судно, как боевую машину, в совершенную негодность.

Получивши шесть миллионов во время прошлогодней грозы, морское министерство бросилось на мониторы с детской переимчивостью, и начало строить вдруг одиннадцать, хотя еще в прошлую кампанию мы убедились в невыгоде фабрикации большого числа судов по тому же чертежу. Технический комитет протестовал против брони из дюймовых пластов, утверждая, что по всем опытам броня в одну толщу несравненно прочнее. Министерство возражало, что дюймовые плиты доступны нашим средствам, а между тем дозволило контрактами выписывать их из-за границы, откуда легко было добыть и толстые плиты. Вся операция создания броненосного флота была поручена директору кораблестроительного департамента Воеводскому, человеку, почти ничем не командовавшему, ничего не видевшему и ознакомившемуся с английскими заводами только в предыдущем году, в беглом путешествии, при совершенном незнании английского языка. Как директор, он заключал контракты и следил за исполнением их. При всех достоинствах Воеводского дозволительно спросить, с какой целью нарушались коренные законы в отсутствии всяких необычайных обстоятельств? Где нашли данные для столь исключительного доверия? Нельзя же было, в XIX веке, предполагать найти святого духа. Объяснение весьма просто: Краббе обещал государю выстроить мониторы через десять месяцев, убедил Воеводского в пользе исполнения этого неосновательного обещания для него самого, и, опасаясь, чтобы постороннее лицо не задерживало дела строгой браковкой материалов, поручил постройку тому же, кто заключал условия. Великий Князь восхищался деятельностью; но если бы у нас было малейшее представительство, конечно, министерство подверглось бы ответственности за растрату денег без всякой системы. Не кончивши еще с мониторами, вытребовали деньги на восемь морских броненосных судов. Постройку их возложили на того же Воеводского и довольствовались судами в 280 фут длиной с машинами в 450 сил. Министерство уверяло, что деньги отпущены единственно на суда, способные к защите, а о нападении нечего и думать.

Едва ли можно было более исказить значение слов и неудачнее прикрывать свои намерения. Условия защиты и нападения на море одинаковы. Слабейшему нужно иметь более совершенные и быстрые суда и оборона требует своевременных вылазок, нападений. Нам не следует вести завоевательных войн, но для оборонительных, на которые могут нас вынудить, мы должны владеть всеми средствами наносить вред неприятелю. Просто хотели поразить числом внезапно созданных броненосных судов, вовсе не думая об их качествах. Никто не помышлял, что новый броненосный флот наш в течение тридцати или сорока лет своего существования будет образцом негодности и памятником невежества создавших его. Краббе пожал бы лавры при первом смотре, а когда опыт убедил бы, что суда никуда не годятся, виновники очутились бы уже вне выстрелов, спокойно отдыхающим в убежищах забвения. Министерство имело ввиду только минутный эффект. Время возвращения моего, как я думал, к делу, приближалось, и я решился не допускать без борьбы подобного извода государственных денег. Встреча с генерал-адмиралом в Госларе убедила меня в необходимости такой решимости, а подробности, переданные Путятиным, еще более укрепили меня в намерении.

Другой вопрос, не менее меня занимавший, было укрепление Кронштадта. Прошлогодний комитет рассуждал о весьма грандиозном плане, едва ли выполнимом при наших средствах. Предлагали вынесли укрепления к наружным оградам, на глубину от 24 до 30 фут; и далеко впереди фортов Павла и Константина устроить новые, между которыми флот мог бы принять атаку неприятеля вне выстрелов последнего по Кронштадту. Идея сама по себе весьма рациональная. Этим способом атака порта отдалялась, делалась невозможной, а не притягивалась с гибельными ее последствиями, как в прежнюю войну, когда весь флот был скучен на малом рейде. Следовало заботиться, чтобы неприятель, ни в каком случае не мог безнаказанно бомбардировать порт; но по моему вопрос разрешался легче устройством от Кронштадтской косы к югу молы такой высоты, чтобы мониторы и вообще башенные суда могли стрелять поверх ее. На конце молы следовало воздвигнуть сильное укрепление, способное бить во все стороны, а молу уставить мортирами. Тогда неприятель будет отдален со стороны большого рейда, по крайней мере, на семь верст, и если флот наш расположится между молою и фортом Павел, никакое покушение на южный фарватер, даже при настоящей его слабости, не будет возможно. Вдобавок образуется прекрасный спокойный рейд. Кронштадту можно будет вредить только с северной стороны в расстоянии пяти верст; но там сосредоточится вся наша броненосная флотилия, способная при настоящих укреплениях отдалить неприятеля на должное расстояние.

Тотлебен был вообще против гидравлических работ и считал 30-футовую глубину большой; но это изобличало только незнакомство его с делом и служило еще одним лишним упреком великому князю, поторопившемуся уничтожить старое, ничем не заменив его. В прошлое царствование у нас образовался корпус инженеров-гидравликов, которым мы обязаны доками и Кронштадтскими фортами. Инженеры эти, правда, потратили много денег, но между ними были знатоки дела, которые не задумались бы протянуть молу по тридцатифутовой глубине. Мало-помалу полезный корпус этот уничтожили; сохранили только личности, необходимые для административных и хозяйственных надобностей; остальные слились с общим сословием сухопутных инженеров, которому теперь и поручают подводные работы совершенно им чуждые.

Все еще надеясь возвратиться к делу мною любимому, я не переставал кипеть и метал мои идеи куда и перед кем мог. Последствия высказали, что изгнание мое из флота было окончательным и что несравненно лучше было бы лично для меня передаться вполне успокои-

тельному путешествию по швейцарским высям, нежели дорываться общей пользы на кронштадтских отмелях; но трудно, очень трудно расстаться с прошедшим, и я продолжал надеяться, что жизненные силы мои будут течь прежним руслом.

В Швейцарии мы ходили по горам, дивились природе и успокаивали усталостью бушевавшую энергию. Перед отъездом на север мне захотелось поклониться Великой Княгине Елене Павловне, пользовавшейся водами в Рагаце. Самый Рагац интересовал нас, и мы переехали туда из Цюриха мимо чудного Валлештадского озера.

На другой день после приезда я провел все время у великой княгини, не видавшей меня после налетевшей на меня бури. Ей очень хотелось знать подробно всю историю и с свойственным ей участием, она заговорил о том, что меня ожидает.

Старушка создала себе особого рода деятельность — мешаться во все, не с дурной целью, а просто, думаю, чтобы о ней не забывали.

Вследствие человечности в обращении Елену Павловну всегда окружали мыслящие люди всех оттенков; в их обществе она находила утешение своей политической незначительности. Я застал около нее старика графа Киселева, кончавшего долгую жизнь спокойно, с ясным челом и душой свободного от тяжких упреков совести. Граф видимо слабел, но интересовался еще всем, что происходило вокруг. Граф Амурский также был в Рагаце, уже поборником либеральных идей, с тех пор как от него отдалилась возможность возвратиться к значению и влиянию. Странно было слушать толки об ответственности министров, свободе книгопечатания и других конституционных условиях от прежнего вельможного генерал-губернатора восточной Сибири, но всегда умеренно вкушавшего сладости власти. Впрочем, восточный граф наш был более словолюбив, нежели властолюбив по горячности характера. В японскую свою экспедицию он велел какому-то военному транспорту исполнить какое-то поручение. Транспорт таскало бурями и граф нашел его в Аниве, не приступавшим еще к исполнению его воли. Командиры всех наличных судов съехались к графу обедать, в том числе был и виновный. Муравьев начал ожесточенно скрести орган обоняния, что всегда означало внутреннее волнение. Скоро воеводский норов не выдержал и хозяин начал разговор о всегдашней готовности моряков призывать на помощь ветры и бури, когда им почему-нибудь не хочется выполнить приказанного. Увлекаясь более и более, он наконец сам перешел к бурным аргументам и, обратившись к виновному в его глазах капитану, сказал, что с ним, Муравьевым, подобные отговорки поведут к тому, что капитана повесят. Медленно поднялся свычный с бурями и порывами капитан и, уставя почтительно-холодный взгляд в распустившего все паруса своеволия начальника, просил <u>позволить ему прежде дообедать</u>. Разумеется, сейчас же наступил штиль.

Старый знакомый В. П. Титов, сыскавший в Штутгардтском посольстве успокоение от различных дипломатических и придворных треволнений, бродил по единственной улице Рагаца, обращался к встречным с отвлеченными вопросами и тут же разрешал их по-своему, единственно, для себя, будто студент, задавший самому себе тему. Из-под этой схоластической маски проглядывало оскорбленное самолюбие, и мне казалось, что еду хотелось большей деятельности.

Был еще Ю. Ф. Самарин, умный и твердый поборник славянофильских идей, к сожалению, предавшийся им до фанатизма, впрочем, иными людьми идеи не проводятся. Мне нередко приходилось сходиться со славянофилами, и сколько я понимаю из уставов и письменных толкований их, затемняемых полицейскими и цензурными условиями, они верят в слияние всего славянского мира через обширного представителя славянства — Россию. Если так, требовалось бы на дело немножко менее чистосердечия и поболе притворства,

на что наши столбы славянофильства положительно не созданы. Можно ли умным людям простирать простосердечие до того, чтобы допускать, что Россия, при настоящем порядке вещей способна притянуть кого-либо и стать во главе унитарного славянского движения? С другой стороны, если бы славянофилы вздумали многое изменить дома для достижения важной взлелеянной ими цели, мнительное правительство тотчас уничтожило бы существующую между ними связь. Как ни посмотреть на вопрос, мне кажется, эти люди предались идее бесплодной, невыполнимой еще долгое время и едва ли когда-либо даже осуществимой. Россия духовно стоит на месте, а германизм, от которого они мечтают оградить славянство, наступает сильною, не перестающею двигаться волной. Борьба инерции с движением также невозможна в мире нравственном, как в органическом. Традиция сочувственности могла бы, конечно, пригодиться на случай наступления для России светлых дней; но деятельность противника, сопоставленная с нашим усыплением, отдаляет эту случайность более и более и славянофильство кажется мне чистым платонизмом.

Из Рагаца мы переехали в Мюнхен, чтобы ознакомиться с греческим искусством, перенесенным на баварскую почву. Греческие названия и надписи как-то странно сочетались с сумрачным небом и сонными лицами баварцев. Видно, что искусство привилось здесь по чьей-то воле, а не есть потребность пылкого воображения и возбужденного вечно радостной природою.

Чтобы дать работу литейному заводу, навалили бездну статуй, произвели многих в великие люди с необыкновенной снисходительностью и воспользовались каждым несколько просторным местом, чтобы выставить на нем произведения королевского завода.

Нельзя не дивиться прелестям, нагроможденным в Мюнхене, но удивление нераздельно с неприятным чувством: народные наклонности кажутся насилованными, видна всюду рука произвола, увлекшая их по пути, которого они не избрали бы собственною волею.

Жене велели купаться в море, и мы переехали к половине августа в Остенде, где совершенно неожиданно я вновь встретился с Константином Николаевичем и прожил с ним целую неделю дверь о дверь. В его судьбе тоже все было неопределенно, и чтобы рельефнее выставить легкость изменения к лучшему участи людей в его положении и затруднения, встречаемые на том же пути обыкновенными смертными, я остановлюсь на случайности, сведшей нас в одинаковом положении.

После польской своей неудачи, отшатнувшийся от прежнего назначения генерал-адмирал прибыл в Петербург, раздраженный кознями столичных врагов и проявлением неприязненного ему общего мнения. Его винили за кокетство с поляками и упрекали даже в идеях сепаратизма. Нет сомнения, великий князь вел себя в Варшаве неосмотрительно, увлекся по обыкновению своему новым и доверился ловким личностям, суетившимся около него со своекорыстным подобострастием. Великая Княгиня немало помогала неудаче мужа своим честолюбием. Если бы обстоятельства, которые не потребовали бы со стороны великого князя никаких энергичных действий, не подвергли бы его ни на минуту опасности лишиться выгод настоящего положения для гадательного будущего, доставили бы ему корону, он, вероятно, принял бы ее, хотя корона была польская, т. е. шаткая и в сущности не державная. Блеск, хотя мишурный, прельстил бы его; но те, кто на него рассчитывали, должны были считать непременным условием готовность его воспользоваться успехом без малейшего личного его усилия, не иначе. Сам великий князь не решился бы пошевелить мизинцем для достижения такой цели. Она могла занимать его мысли, но утверждать будто он действовал с намерением прийти к ней, значит вовсе не знать его характера и темперамента. На борьбу он положительно не способен; он может властвовать только при удаче

и впадает в нравственную летаргию при невзгоде. Таким я застал его в Остенде после годового почти скитальчества вне России. Неспособный переносить неудачи с твердостью и вместе скоро освобождающийся от также скоро принимаемых впечатлений, великий князь впал в какую-то умственную спячку и с видимым удовольствием отмахивал от себя всякую мысль о будущем, играя с утра до вечера в шахматы и детски утешаясь назначением своим в председатели комитета раненых как раненого, или баснями Краббе, явно высказывавшими убеждение управляющего, что генерал-адмирал не расположен ни к чему серьезному.

Из окружавших Великого Князя можно было разбирать прошедшее, оценивать настоящее его положение и делать выводы о будущем только с Гауровицем, никогда не забывавшем личных выгод, но привязанным к Великому Князю по привычке и к человечеству вообще доброжелательным. Великая Княгиня, по словам Гауровица, просто не хотела возвратиться в Петербург, в положение сравнительно ничтожное с прежним варшавским. Привыкши играть в королеву, она не довольствовалась ролью служить только украшением большого двора и сиять его блеском. Гауровицу было выгоднее и приятнее проводить время вне России.

Царское семейство должно было съехаться к 30-му августа в Фридрихгаване. Королева Виртембергская жила в Остенде одновременно с братом, имела время выслушать все его пени, узнать его желания и, конечно, не поцеремонилась бы передать их откровенно государю. Взвесивши все обстоятельства, я приходил к тому заключению, что в Фридрихсгаване прежде всего должно было великому князю устроить немедленное возвращение свое в Россию и там выжидать благоприятных случайностей от времени и подвижности взглядов и мнений. Чтобы он был спокоен духом, стоило только государю, невзначай, выразить желание, чтобы никто не тревожил брата; Головнин сейчас понял бы намек, и Великий Князь был бы обеспечен. Великого Князя могли посвятить в тайны балета и кулис, но чувственная тина скоро опротивела бы ему, а если б увлечения перешли за пределы приличия, вмешались бы близкие. Наибольшее затруднение, по моему мнению, было в Великой Княгине. Каприз не подчиняется ни логике, ни даже силе обстоятельств, и я убеждал Гауровица заставить ее понять, что настал важный кризис в жизни мужа, и что она должна принудить себя к некоторым жертвам. Гауровиц после многих и долгих бесед склонялся на мои доводы, и великий князь отправился в Дармштадт по пути в Фридрихсгаван, рассчитывая на семейный конклав.

Меня уверяли приятели в Остенде, будто удаливши меня из Кронштадта в прошлом году, все-таки желали дать мне, успокоенному и умудренному, прежнее место. Я не верил ни минуты в подобную возможность, зная Краббе издавна, но мне казалось, что не захотят совершенно отдалить меня от флота. Я не переставал им заниматься в течение вынужденного отпуска и мечтал, что настойчивость привязанности к службе, выказанная мною в изгнании, положится в мою чашу, если вздумают взвешивать возможность снова употребить меня. Генерал-адмирал возвратился в Россию к концу года и был назначен председателем Государственного совета. Участь усердно желавшего ему успокоения прежнего его адъютанта узнается из последующего рассказа.

По болезни Императрицы съезд в Фридрихсгаване состоялся только отчасти. На пути в Петербург, в Берлине, я застал государя. 8-го сентября мы вновь были в Петербурге после годового странствования.

В морском министерстве я нашел прежний порядок. Дело делали единственно с целью выказать, что чем-то занимались, без малейшей мысли о полезном результате. В такой бесплодной трате времени я мог участвовать

весьма действительно, заседая как член в комитетах Ученом и Техническом. Один из товарищей моих был контр-адмирал Лихачев, также прежний адъютант великого князя. Чем-то оскорбившись, он попросился при перемене, происшедшей в главном начальстве над флотом, в резерв, но потом переменил мысли и пожелал вновь вступить на действительную службу. Краббе, искавший каждого случая выказать, что мое мнение о нем не разделяется во флоте, ухватился с радостью за желание Лихачева и, конечно, тотчас же выказал ему возможное внимание. Лихачеву поручили испытание вновь выстроенных броненосных и деревянных судов. Следуя из Готско-Санде на лодке «Соболь» в сопровождении клипера «Всадник», Лихачев, вопреки предуведомлению командира лодки и штурмана, продолжал путь, пока увидели буруны, разбивавшиеся о берег острова, и с трудом избежал крушения. Была новь. В то же время, как лодка почти наткнулась на остров, с нее усмотрели с левой стороны ракеты. Лихачев же почел нужным, бывши сам в опасном положении, удостовериться, что случилось с сопровождавшим его клипером и возвратился в Кронштадт. Когда он явился к Краббе с донесением о благополучном плавании, управляющий показал ему полученную через Стокгольм депешу, что «Всадник» выскочил на оконечность Готска-Санде. Уверенный в благополучии адмирал был послан подать помощь брошенному им спутнику, взглянул на него и воротился с новой уверенностью, что «Всадник» спасти невозможно. Подступило 30-е августа и, не дождавшись разъяснений обстоятельства для адмирала, по меньшей мере невыгодного, Лихачева назначили в свиту. Посланный после него капитан Изыльметьев стащил «Всадник» без особенных усилий и привел его в Кронштадт почти не поврежденного. Общее мнение во флоте, конечно, было против адмирала, оставившего подчиненного без помощи и потом взглянувшего на него так ошибочно. Начальству приходилось раскаяться в поспешном отличии, оказанном Лихачеву, или скрыть истину. Назначили следствие, из которого виновность адмирала выказалась осязательно, и дело передали в суд, но с условием разбора тех только обстоятельств, которые случились после момента обмеления клипера. Так открывали новые «скорые» и «праведные» суды.

Товарищ Краббе, сделанный единовременно с ним министром Головнин, единовременно же выказал, как он понимал прогресс. Шедо-Ферроти издал свой восьмой Etude sur la Russie. Под обманчивым титулом «Que fera-t-on de la Pologne»[33] уродливое перо автора написало панегирик действиям великого князя Константина в Варшаве. Государь тогда же назвал произведение барона Фиркса (Шедо-Ферроти) медвежьею услугою, и действительно, позднее оправдание только оживило вопрос, начавший умирать, и вдобавок оживило перед самым возвращением великого князя в Россию. Как же следовало назвать услугу Головнина, который разослал брошюру во все учебные заведения, рекомендуя ее для юношества.

Совет Московского Университета, найдя брошюру Фиркса вредной по направлению и оскорбительной для народной чести, возвратил экземпляры с просьбой отослать их обратно автору. Государя, бывшего в отсутствии, известили о столкновении министра с университетом. Извещение возвратилось с такой пометкой: «Книги Шедо-Ферроти рассылать не следовало, в ней есть истины, но заключение автора совершенно не согласуется с видами правительства». Как же мог остаться министром человек, действовавший противно этим видам?

При свидании, вскоре после моего приезда, Головнин тщетно пытался выведать мое мнение о своей неприятности с Катковым, и мы перешли к Великому Князю.

Придя в восторг от только что объявленной победы Фаррагута в Мобильской бухте, я схватил перо и написал пространные комментарии, имея в виду мониторы, в которые мы влюбились так внезапно; но происходившее

кругом заставило меня опустить руки, и анализ Мобильской битвы хранится у меня с многими произведениями, никогда не видевшими света и, без сомнения, обреченного на всегдашнюю неизвестность. Не употребляемый на прямое дело, я имел много времени вне комитетских заседаний и в непривычном бездействии писал, не переводя дух. Меня особенно заняло царствование Екатерины II, и немало дум о руссолюбии немецкой принцессы и ревности истинных русских служить ей наброcаны в моих памятных книжках.

В течение зимы заговорили упорно о пробеле в нашем управлении. Захотели министерства и необходимого для него центра — первого министра. Различные партии метили на своих кандидатов. Более всего я слышал о проекте у Елены Павловны, спорил усердно и до того устрашился осуществления идеи, без конституции чудовищной, так охватило меня убеждение, что в наших условиях складное единодушное министерство будет централизацией зла только, что многие вечера и ночи трудился над историческими доказательствами верности моего воззрения, избрал преимущественно эпоху Людовика XIV и в жизни нашел материалы для опровержения проводимых у нас взглядов. Толстый том под заглавием «Первый министр» покоится рядом с многими произведениями моего бездействия на полках моей библиотеки. Покой оказался для меня невозможен, и я с любопытством озирался кругом, искал пищи в правительственной и общественной сфере и рылся в себе самом.

В исходе октября все мы собрались встретить государя на Царскосельской станции. Несмотря на большой холод, седые, окалеченные и совершенно лысые придворные ринулись наружу, чтобы насладиться первыми лучами солнца. Многие из правителей, мои знакомые, встретились со мною на станции довольно холодно, считая себя связанными с Краббе бюрократической солидарностью; но меня особенно занимал прибывший с Кавказа граф Евдокимов, человек весьма простого поклада, высказывающего неаристократическое его происхождение, но с не менее выказывающим боевые труды лицом, простреленным в двух-трех местах. Придворные тунеядцы и паркетные генералы втихомолку острились над ним, называя его Прудоном и выворачивали заглавие одной из известных брошюр памфлетиста. Le vol c'est la propriètè,[34] — говорили они, указывая на Евдокимова, забывали, что понятия о честности весьма недавно еще были очень слабы в военном сословии, и не припоминали, что многие из них самих, страдая тем же пороком, вовсе не имели достоинства кавказского воина. Евдокимов тотчас усвоил качества, требуемые новым положением, и безбоязненно разрушил программу Великого Князя Михаила Николаевича, желавшего лично нанести последний удар Кавказу с войсками из Закавказья, не принимавшими участия в трудах, которые повели к окончанию полувековой борьбы. Кубанским отрядам назначалось перейти только хребет и на юго-западном склоне его соединиться с десантом, высаженным на мыс Адлер самим великим князем. Гейман и Грабе не удовольствовались занятием хребта, а спустились от него к морю, и августейший главнокомандующий, прибывши к Адлеру с 32-мя орудиями, имел огорчение увидеть там палатки кубанских воинов. Последовало довольно неприятное объяснение с Евдокимовым, распоряжавшимся с севера. Граф умел забыть писарское свое происхождение и помнил только свои заслуги. Впоследствии мне случалось встречать Евдокимова в обществе. Он никогда раньше не бывал в Петербурге, а вел себя совершенно непринужденно между самыми чопорными дамами, едва ли прежде извинявшими кому-нибудь неумение болтать по-французски.

Окончательное покорение Кавказа заняло на некоторое время петербургское общество, едва знавшее, что на хребтах его пятьдесят лет мужественного боролось наше воинство с населением и природой, что все кавказские вер-

шины и трущобы обагрены русской кровью. Война стоила нам дорого и следовало радоваться окончанию ее на каких бы то ни было условиях. Тем не менее приобретение гор без населения не могло отвечать экономическим нуждам края, столь мало населенного, как Россия. Горцы просились выйти в соседнюю Турцию и увеличивали способность к войне контингент давнего нашего противника, с которым счеты далеко не покончены. Турецкое правительство селило их в Добрудже среди единоверного нам населения, и тем еще более вредило нашим целям. Как бы то ни было, долгая борьба пришла к концу, и завершивший ее Великий Князь Михаил Николаевич получил Георгия 2-й степени. Учредили крест и медаль: первый для всех, служивших когда-либо на Кавказе, вторую, с надписью «За умиротворение Кавказа» только для тех, кто действовал там с 1859 по 1864 год. Мне показалось это недостатком скромности в Милютине, занимавшем место начальника штаба именно в избранный период. Медалью будто признавали полезным только сделанное Барятинским и Вел. Кн. Михаилом, а действия Цицианова, Ермолова, Воронцова и других не удостаивались той же оценки. Исключая всех предшественников Барятинского, выдвигали злую сатиру на прежние правительства. Разве умиротворение края не составляло постоянной цели с самого начала войны? Разве Александр I и Николай занимались просто кровопусканием? Если бы и могло так казаться, не правительству выставлять подобное душегубство предшественников.

Начались переговоры о примирении великого князя с министром внутренних дел Валуевым и примирение совершилось на дружеском обеде у Головнина.[35] Присутствовали только люди пригодные и об обеде долго говорили как о скопе для будущей политической кампании. И Великий Князь начал давать политические обеды, чтобы примириться с личностями, с которыми нельзя было оставаться во вражде. Когда иссяк список нужных, позвали моряков, в том числе меня: этого требовала программа общего примирения. Но хозяин не выдержал и завел разговор о крушении «Всадника», что, разумеется, не могло способствовать пищеварению обедавшего тут же Лихачева.

Польский вопрос разрешался среди затруднений и интриг петербургского правительства, впервые поставленного в необходимость считаться с общим мнением. В чистой Польше решились наконец секулизировать монастыри и многие уничтожить. По монастырским имениям прошлась сердитая рука князя Черкасского, и их отобрали в казну. Твердость правительства была своевременна. До тех пор нещадно преследовали бессмысленные орудия суеверия, а фокусы тайных против нас действий оставляли в покое. Разумеется, мера возбудила крики на западе, хотя там ее давно уже приложили к монастырям; но для чего же правительство нашло нужным извиняться в внутреннем распоряжении и писало оправдательные статье в «Русском инвалиде»?

Тогда как в Польше, крае, приобретенном силой, безбоязненно выполнялась заблаговременно придуманная Н. А. Милютиным смелая радикальная система, западные, несомненно русские губернии, с следами ворвавшегося в их историческую судьбу полонизма, представляли доказательство нестройности и колебаний правительства. Вопрос о них был сложнее, в юго-западных частях облегчался почти сплошной массой православного населения; Но панство с влиянием богатства и интеллигенции душило и там, и в северо-западных губерниях коренное русское население.

Польские беспорядки нимало не останавливали внутренних реформ. В исходе ноября вышел указ о новом судоустройстве. В манифесте весьма кстати было указано на слова обещания, данного при присяге, и разобран труд составления новых положений так беспристрастно, что будущее поколения не могут приписать ошибочно славу подвига не участвовавшим в нем или присвоить ее кому-либо

исключительно. Но от обнародования благих намерений, хотя уже вылившихся в определенную форму, до приложения их к делу пройдет немало времени. Вообще реформы наши прививаются вяло; придают слишком много цены указам об улучшениях и на этих скоро вянущих лаврах почиют, тогда как за указом должен следовать немедленно тяжелый труд точного и повсеместного его исполнения. Министры отличаются более литературными достоинствами нежели правительственными.

В Рождество Вел. Кн. Константин назначен председателем Государственного совета. Это было незаслуженным ударом князю П. П. Гагарину, еще полному сил, энергии и рвения и только что завершившему блистательно дело о новом судоустройстве. Смена его, по каким-то фамильным соображениям, всем показалась странной и даже возбуждала опасения; все предвидели влияние Головнина на высшее государственное учреждение и утешались тем только, что единовременно с великим князем назначен в совет Н. А. Милютин, совершенно противных с новым председателем взглядов по всем вопросам, исключая крестьянского. Мне не раз и давно случалось слышать от Головнина мнение, что настоящее место Вел. Кн. Константина в главе государственного совета, и магик добился цели. Перед самыми праздниками у него опять был политический обед, которым хотели убедить государя, что между генерал-адмиралом и всеми правительственными лицами водворилось совершенное согласие, в самом же деле во весь обед Краббе отличался своими цинизмами. Валуев утверждал впоследствии, что «без Великого Князя не было бы Головнина, а без Головнина Великий Князь не был бы тем, что есть»; следовало бы прибавить, что при большей твердости в собственных убеждениях, ему, Валуеву, ни о том, ни о другом говорить не пришлось бы. Впрочем, в это время стало уже модой жертвовать убеждениями. Великий князь Константин, лично мне поносивший Валуева в выражениях, будто заимствованных от Краббе, просиживал уже с ним целые часы. Бесспорно, Валуев занимательный собеседник, но одна занимательность не могла брать столько времени у занятых государственных людей.

Выше привел я слова Валуева о великом князе и Головнине. Они были высказаны (или точнее написаны) Валуевым гораздо позже в 1869 году, в замечаниях на характеристику тогдашних членов государственного совета, составленную М. А. Корфом и посланную им Валуеву на рецензию. Коснувшись участия Валуева в доставлении генерал-адмиралу председательства в Совете, как нельзя более кстати привести замечания рецензента на взгляды искусившего в светской опытности товарища. Замечания эти представляют новое доказательство верности взглядов Валуева, его тонкого ума и наблюдательности, но вместе, увы, и того недостатка характера, который всегда мешал ему употреблять на живое дело несомненные природные способности и усвоенное им просвещение.

Августейшему председателю совета Корф приписал энциклопедическое образование, прибавя, что заменить его некем. «Думаю, что может быть речь только об обрывках или блестках образования, — возражает Валуев. — Весь энциклопедизм заключается в разнородности и многочисленности отрывков. Общей связи нет, даже поверхностной. Доказательством служит крайняя шаткость и слабая способность обобщения во всем, что выходит из круга некоторых понятий о крестьянском деле и нескольких головнинских афоризмов. Думаю также, что кем бы ни заменить нынешнего председателя, государственный совет может от этого только выиграть. Самовластие Великого Князя понижают уровень совета. Отдельные члены от этого страдают немного. Стоит только держаться в стороне, а молчать нетрудно, когда язык не одержим титовским зудом; но это добровольное и обстоятельствами оправданное безучастие вредно для дела, несогласимо с достоинствами совета и в том отношении неудобно, что незаметно укрепляет и раз-

вивает присущие каждому из нас элементы эгоизма».

Всех живее выставлен Валуевым А. В. Головнин.

«Личность и свойства А. В. Головнина имеют особое значение, как элемент для оценки личности и свойств председательствующего ныне в совете Великого Князя. Без него не было бы известного нам Головнина. Без Головнина великий князь генерал-адмирал не был бы тем, чем он есть, не играл бы своей роли пятидесятых годов и не стяжал бы своей нынешней роли. В продолжение нескольких лет Головнин был неугомонным и энциклопедическим serineur[36] от Великого Князя. Насвистывание разных тем поколебалось только при движении крестьянского дела, когда в лице генерала Чевкина и Н. В. Милютина, сначала патронированных Головниным, явились серинеры не менее искусные и еще более назойливые; оно прекратилось после назначения Великого Князя в Варшаву. Отличительная черта Головнина в искусственности его понятий. Он не только теоретик по преимуществу, но всецелый теоретик. Вне канцелярской сферы он не знает практики и не приобрел опытности. Отсутствие образовательных впечатлений молодости и образовательного влияния женщин в нем резко бросаются в глава (слово образовательное я разумею здесь не в чисто научном отношении). Таков пестун, который был главным инспиратором Великого Князя на поприще государственных дел, и этого пестуна Великий Князь проводил и провел в министры народного просвещения».

Мне кажется, подобные штрихи должны быть всем знакомы. Это виньетки, втягивающие в изучение современной истории и достойные быть известными как средство, соблазняющее на весьма полезные исследования. Вот почему, опасаясь, чтобы замечания Валуева не хранились на долгие времена под спудом, я решил поместить их в моих современных воспоминаниях. Конечно, они несравненно занимательнее собственных моих воззрений на просвещеннейшего из людей моего времени, встречающихся случайно, урывками на этих страницах. Чего бы не мог сделать Валуев, если бы при своих умственных достоинствах он обладал страстью нарезать свою полезную (или могущую быть полезной) деятельность на народной жизни, на государственном строе, а не тратить ее блестящим, но бесплодным образом в официальных залах и частных салонах? Но для этого недоставало у него твердости. Сколько верны его очерки современных деятелей, столько верен и приговор над ним К. К. Грота, читавшего заметки Корфа и возражения на них Валуева.

«С Вашим отзывом о самом Валуеве, — пишет Грот, — а также о графе Палене, я не согласен. Вполне признаю ум, талантливость и просвещение Валуева, но не считаю его полезным в администрации. Он не обладает ни одним из качеств хорошего администратора, не имея ни твердости убеждений, ни энергии, ни практического взгляда на вещи. Кроме того он не умеет обставить себя способными сотрудниками и даже боится их. Он блестящ в своих приемах и в коллегиальных собраниях, но угодлив, двуличен и лишен всякого гражданского мужества. От всей его служебной деятельности не осталось никаких следов».

Соглашаясь с К. К. Гротом, я позволяю себе сделать одну только незначительную оговорку. Следы деятельности Валуева мало заметны единственно по недостатку резкости в приемах действий, а не потому, чтобы самые действия были бесполезны.

1864 год кончился важной и новой у нас финансовой мерой внутренним займом для железных дорог, как утверждало правительство. Вскоре после Крымской кампании, когда финансы наши были приведены в печальное состояние чрезмерным выпуском ассигнаций, была составлена комиссия для определения плана финансового управления.

Мнения комиссии, с которыми Рейтерн был согласен, прошли через финансовый комитет под председательством графа Несельро-

де. Ставши министром финансов, Рейтерн держался выработанного плана, но в прошлом году воспылал ревностью к исправлению нашего денежного курса; в упадке его Рейтерн увидел главную причину нашего дефицита и всех финансовых затруднений. Был учрежден прогрессивный размен ассигнаций на золото, наделавший столько бед. Когда операция не удалась, пришли к заключению, что только железные дороги могут поправить наши средства и решили сделать внутренний заем с премиями, на весьма щедрых условиях.

В предвидении успеха займа вопрос о железных дорогах начал облекаться в осязательную форму. Различные бойцы схватывались преимущественно в «Московских Ведомостях». Катков утверждал, что при невозможности строить две дороги вдруг, первая на очереди должна быть от Москвы, через Орел, на Киев и далее на Балту, навстречу Одесско-Балтской дороге. При таком только разрешении задачи соединения Москвы с Черным морем, по мнению Каткова, мы обеспечили бы владение Юго-Западным краем и провели бы вместе стратегическую линию для предстоявшей будто бы борьбы с Европой в этих пределах России. Противники Каткова утверждали, что нужно вести дорогу от Москвы прямо на юг, до Харькова, а от него, через Кременчуг, на Балту. Таким образом, по мнению их, оживилась бы средняя плодородная полоса России, а это важнее исключительного оживления западной, которая тотчас соединится путями с Европой и по ним устремит свое развитие в ущерб оставленной в забвении средней полосы. Из Одессы и Киева потребовали генерал-губернаторов, защитников обоих проектов. Как признак времени, достойно замечания, что единовременно с негласным разбором вопроса в правительственных сферах начали разбирать его в публике, и не на келейных сходбищах, а гласно, в заседаниях статистического отделения нашего географического общества.

Заседание 4 декабря было чрезвычайно занимательно. Началось замечаниями А. И. Левшина о каменно-угольных копях. Оратор выставлял настоятельность цифр в доказательствах, на которых обыкновенно основываются аргументы. Если Левшин грешил логикой, то был последователен, по крайней мере, в условиях защищать странное свое положение. Говоря о сравнительной стоимости привозного угля и добываемого в Минчанских копях, он выставил, что первый стоит в Одессе 20 копеек, а второй будет стоить 22 ½, следовательно, для Харьково-Балтской линии выгоднее употрелять привозной. В такой аргументации действительно было злоупотребление цифр. Можно ли было сравнивать цену угля по всей линии, приводя ее в обоих случаях к тому же концу линии — Одессе? Если Минчанский уголь стоил в Харькове 9 ½ коп., а в Одессе - 22, то английский, привозимый в Одессу за 20 коп., будет стоить в Харькове 33; в среднем же пунктам линии первый обойдется в 15 коп., а иностранный — 26 ½ коп.

После Левшина генерал Гельмерсон, ратуя за Московско-Курскую линию, дал утешительный отчет о разведках угля в Тульской губернии, в имении графа Бобринского, а в 50-ти верстах от предполагаемой дороги, и в северных уездах Киевской. Несомненно, однако ж, что екатиринославские и донецкие копи ближе к Харькову.

Генерал Дельвиг, желая доказать, что ценность топлива не следует брать в рассуждение при решении вопроса о направлении железной дороги, вывел, что разность стоимости различного угля произведет только 1/2000 к. в разности цены за перевоз пуда на версту. Мне показалось, что вывод не совсем верен и ничего не доказывал. Свой уголь можно подвозить по мере надобности, а для иностранного нужно иметь большие склады и целый штат смотрителей; затрата на склады будет во всяком случае мертвым капиталом. Притом оратор совершенно упустил из виду другие условия. Никакие обстоятельства не могли прервать доставки нашего собственного угля, разработка местных копей навсегда нас обеспечила бы,

создала бы новые необходимые промышленности.

Засим явились защитники местных торговых интересов — Рафалович из Одессы и Джурич из Таганрога. Первый уверял, будто дорогой от Одессы в Балту исчерпывается весь юго-западный край; что северные уезды Киевской губернии кормят соседей, производящих мало хлеба. По мнению Рафаловича, следовало притянуть в Одессу Харьковские, Курские, Полтавские и Херсонские произведения, а этого достигнуть только дорогою от Балты, через Кременчуг, на Харьков.

Из всех ораторов один только Вернадский, и тот вскользь, коснулся пользы проведения дороги к Черному морю через Крым. Не доказывало ли подобное опущение, что мы живем исключительно под впечатлением настоящего? Крымский вопрос был в 1855 году, а польский — в 1863; вот, по мнению моему, единственная причина невнимания к Крымской дороге. Ее стоило разобрать со стороны экономической и политической. До Екатеринослава (т. е. до пункта, откуда Днепр судоходен) она пройдет по тем же богатым губерниям, что Московско-Кременчугская и сверх того доставит сбыт крымской соли и фруктам. Сбыт зерновых произведений через Таганрог и Азовское мое указывается в летнее время природой, но зимой, именно когда устанавливается цена на заграничных рынках, путем этим ничего вывезти нельзя, и мы торопимся до заморозков отправить запасы по цене, которую нам предлагают. Из Севастополя мы могли бы посылать хлеб когда хотим и имели бы большее влияние на иностранные рынки. В стратегическом отношении Крым — самый слабый пункт наш. Взять Крым легче десантом, нежели прорываясь к нему с западной границы. Без флота трудно препятствовать занятию полуострова с моря; к тому же владеющий Крымом тотчас же помешает развитию нашему через Одессу и Азовское море; самый Кавказ отпадает от нас. В политическом отношении парижский трактат был для нас невыносим и разорвать его без посторонней помощи мы могли не прежде, как связавши Крым с сердцем России железной дорогой. В конце этой дороги превосходная гавань, не требующая гидравлических работ, которых мы не умеем возводить. Короче, Севастопольская дорога могла вывести нас из неблагоприятного положения, удовлетворяя и другим условиям.

Желая примирить обе стороны, правители наши решились на математическую нелепость. С одной стороны постановили продолжить дорогу на Курск и оттуда поворотить на Киев, с другой — вести путь от Балты на Харьков. Как же сошлись бы эти параллельные линии, и по чему ездили бы от Москвы к Черному морю? Вероятно, пришли к такому решению в предположении, что время укажет, к какому пункту Черного моря удобнее притянуть железную дорогу; но в таком случае лучше было бы продолжать Орловскую линию на юг, отложивши до времени остальное.

Год кончился для меня весьма определительно. Директор морского корпуса, В. О. Римский-Корсаков, желая вести преподавание военно-морских наук, просил великого князя о дозволении составить общество, которое уяснило бы программу самих наук. Убеждая великого князя принять председательство, Корсаков предложил меня в вице-председатели; но генерал-адмирал ответил решительным отказом и указал на адмирала Шанца, который отказался, и в свою очередь указал на меня. Корсаков передал подробности дела Краббе; тот поморщился и сказал, что стоит за то только, чтобы мне не назначали никакой служебной должности. Признавая действия Краббе вполне логичными, я не мог, однако же, не вспомнить, что он уверял государя, будто желает, чтобы меня сохранили для флота, как полезного офицера. Какую же пользу мог принести я в бездействии? Во всяком случае сомнения с моей стороны были уже невозможны; меня хотели истомить покоем.

ГЛАВА IX

ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ 1864—1866 ГГ.

Участие общего мнения в государственных делах. Катков и его исключительное положение в печати. Псевдолиберализм правительства. Адрес Московского дворянства. «Весть» громко выступает на поприще известности. Правительство бессознательно исправляет промах дворянства. Вопрос кончается сонетами. Цензурный вопрос. Замечательное мнение М. А. Корфа о цензуре. Химическое разложение идей Корфа в департаменте законов, где он председательствует. Изменение в цензурном уставе. Ломоносовский юбилей. В академии немец возвеличил Ломоносова несравненно лучше русского. Ломоносовское празднество как проявление народного духа. Смерть наследника престола. Погребальное шествие из Ниццы океаном. Нежданная глава жизнеописания Сперанского. Мастерская характеристика Александра I. Прибытие тела цесаревича в Кронштадт, перевоз в Петербург и погребение.

Итак, 1865 год расстилался передо мной широким полем для произвольного почти употребления моего времени. К счастью, обстоятельства пришли на подмогу моей свободы; именно в это время готовилась реформа в прессе. Возбужденные ожиданием умы стали более чутки ко всем случайностям и в чаянии некоторого простора начали вдумываться в действия правительства и разбирать несообразности государственного строя. Эпоха замечательная в настоящем царствовании по пробуждению политической мысли. До сих пор общее внимание было поглощено экономическим переворотом освобождения, финансовыми затруднениями и, наконец, юридическим устройством. В 1865 году началось политическое вмешательство общества в дела государственные и рядом с этим, несмотря на безостановочность еще реформ, зарождается и растет реакция, так скоро парализовавшая все благие начинания.

Я говорил уже о примирении Валуева с Великим Князем Константином. В прошлом году Катков как публицист оказал огромную услугу, уничтожив значение заграничной русской прессы и способствовавши соединению различных взглядов и мнений в одно патриотическое побуждение по польскому вопросу. Испытавши свою силу и надеясь на благодарность правительства, он стал писать свободно о всех современных вопросах и в печати нашей пользовался исключительным положением. Пока власть, заведовавшая цензурой, не сходилась с врагами Каткова, все шло довольно гладко. «Московские ведомости» предупреждали закон о печати, не вышедший еще на божий свет, но правительство смотрело на попытку снисходительно. После мировой Ва-

луев с председателем государственного совета возбудился против московского публициста его мнениями касательно Польши, изменчивый министр внутренних дел тотчас воспользовался существовавшими еще постановлениями. Головнин, выведенный Катковым на чистую воду, конечно, не хотел, чтобы обед его прошел бесследно для амфитриона и увеличивал количество злобы на Каткова собственными пенями. Нападение на ост-зейцев прибавило к лагерю противников журналиста, людей с веским личным влиянием.

Каткову запретили говорить о каком бы то ни было живом вопросе. Он помчался в Петербург, был принят Валуевым чрезвычайно любезно, а по возвращении в Москву встречен чиновником, объявившим возложенную на него обязанность наблюдать, чтобы «Московские ведомости» подчинялись строго требованиям цензурного устава. По связям Каткова вопрос перешел в комитет министров, где журналист имел сторонников; да и в самом царском семействе было у него немало защитников. Объявление нового цензурного устава ожидали к первому марта, и когда я говорил М. А. Корфу, что напрасно торопятся и поднимают шум по делу, которое через месяц вовсе не будет делом, Корф выразился, что изготовление нового закона о печати к назначенному времени невозможно. В долгих сношениях с почтенным, трудолюбивым и даровитым Модестом Андреевичем я убедился в его ост-зеизме, несмотря на православие и безземельность, и в том, что он сердечно желал довести свою изукрашенную заслугами и почестями ладью до окончательного тихого пристанища. Сообразив обстоятельства, взвесивши влияние нового председателя государственного совета и росшее значение Валуева, Корф, вероятно, рассудил, что убийство Каткова до выхода нового устава удовлетворит всех, кто мог мешать его, Корфа, скромным целям, и не вооружит никогда, так как медленность в просмотре нового закона указывалась правительственной мудростью; после же издания его Катков мог продолжать начатый путь с прежней смелостью.

Но осторожность Корфа была последствием только, причина же таилась в враждебном настроении великого князя и Головнина к Каткову. Им, по справедливости, принадлежит если не произведение на свет реакции, то первый признак ее жизненности, первый практический прием ее.

Прочувствовавши, осязавши в такой короткий промежуток времени немоту и гласность, власть сделала легкое сравнение и пришла к заключению, разумеется, для гласности невыгодному. Нашлись немедленно люди, которые заметили ощущение и стали по нем действовать на организм всего русского общества.

Рождение и развитие цензурного вопроса заслуживает памятования. Прежде, нежели приступить к нему, необходимо занести весьма крупное происшествие, предшествовавшее изданию нового устава о печати и с ним тесно связанного. 13 января Московское дворянское собрание голосовало адрес, в котором просило государя созвать выборных из лучших русских людей для совета и дознания правды; из людей, независимых по положению, не жаждущих наград и отличий. Таким только способом, по словам адреса, можно было удалить измену от престола и поведать истину. Адрес был написан откровенно и вместе ловко; челобитчики остались на легальной почве. Правительству не следовало бы делать большого шуму по случаю этой первой конституционной попытки. При скромности и некотором индеферентизме, дело заглохло бы во все опошляющих беседах московского английского клуба. К сожалению, в высших сферах посмотрели иначе. Издатель журнала «Весть», публиковавший адрес без дозволения цензуры, предан суду — и в этом правительство было право, ибо оказалось явное нарушение существовавшего еще постановления. Хотели поступить так же строго, как несколько лет назад с Тверским дворянством, но сам государь тому воспротивился. Адрес был подписан 270-ю из

304-х присутствовавших; строгие взыскания едва ли были возможны. Государь понял это и посмотрел на выходку московского дворянства снисходительно. Собрание закрыли под предлогом, что оно было составлено незаконно, постановление его кассировали, а «Весть» запретили на восемь месяцев. При закрытии собрания случился странный эпизод.

Не решившись привести в исполнение предложения министра внутренних дел, московский генерал-губернатор телеграфировал государю шифром. Оказалось, что у государя нет шифра министерства и за разбором депеши нужно было обратиться к тому же Валуеву, в правильности распоряжения которого московские власти сомневались. Адрес был известен в Петербурге на другой день, и вечером я видел государя на бале дворянского собрания чрезвычайно веселым. Мне тут же сказали, будто, получивши адрес, он выразился наивно: «Я говорил, что до этого дойдет». Едва ли можно признавать в себе дух пророчества за такую естественную предусмотрительность.

Москвичи не только в душе не хотели перемены формы правительства, но в отсутствии всяких приготовлений к перемене, вероятно, испугались бы, если бы на то согласились бы свыше. Адрес, очевидно, был направлен против администрации, невыносимо нестройной в руках тогдашних хранителей различных портфелей. Негодование к многим министерским личностям вырвалось наружу вследствие назначения Константина Николаевича председателем совета, по поводу внутреннего займа, совращенного с первоначального назначения, по вопросу о южной железной дороге, по истории Каткова и другим случайностям, скопившимся одновременно. Всем стало осязательно, что действия высшей власти искажается тайным влиянием, и что им совершенно подавлен общий интерес. Несмотря на важность причин, следствие ограничились бы воркотнею, если бы Валуев не счел нужным выказать силу правительства по прошествии двух недель, когда необычайность факта стали забывать уже. 29-го января вышел царский рескрипт министру внутренних дел, бесполезный, и, как правительственное литературное произведение, неловкий. Вот его содержание:

«Петр Александрович, происходившие в начале сего января месяца в Московской губернии очередные губернские выборы не состоялись. Вследствие признанной правительствующим сенатом неправильности постановления собрания предводителей департаментов, относительно прав участия некоторых дворян в делах губернского собрания, все постановления сего собрания, до закрытия оного им принятые, не имеют законной силы. Но мне небезызвестно, что во время своих совещаний московское губернское дворянское собрание вошло в обсуждение предметов, прямому ведению его не подлежащих, и коснулось вопросов, относящихся до изменения существенных начал государственных в России учреждений. Право вчинания, по главным частям постепенного совершенствования, принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с самодержавной властью, Богом мне вверенной. Прошедшее в глазах всех моих верноподданных должно быть залогом будущего. Никому из них не предоставлено предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и пререшать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. Ни одно сословие не имеет законного права говорить именем других сословий. Никто не призван принимать на себя перед мною ходатайства об общих пользах и нуждах государства...

Я твердо уверен, что не буду встречать впредь таких затруднений со стороны русского дворянства, вековые заслуги которого перед престолом и Отечеством мне всегда памятны, и к которому мое доверие всегда было и ныне пребывает непоколебимым.

— Поручаю Вам поставить о сем в известность всех генерал-губернаторов тех губерний, где учреждены дворянские собрания, или имеют быть учреждены собрания земские»...

Что бы ни говорили, дворянство в России пока единственное сословие, представляющее интеллигенцию. Сила образованности, как бы мала она ни была, выражается дворянским сословием, и весьма нерасчетливо было становиться к такой силе во враждебное положение. Вдобавок рескрипт грешил против логики: осуждая московское дворянство за то, что оно решилось говорить за других, грозили не только всему русскому дворянству, но всей России, за увлечение небольшой части дворян, собравшихся в Москве. Дворянство ставилось в безвыходное положение — пасть ниц и выказать свое ничтожество на весь мир или примкнуть ко всякой оппозиции, а ее нельзя было не предвидеть во вновь учрежденном земстве. Неблагоразумно поставить не только целое влиятельное сословие, но отдельные личности даже, в положение, требующее выбора между крайностями, и на мой взгляд правительство выяснило заблуждение московского дворянства во вред себе. С этой именно поры дворянство поворотило в земство, что должно было сделать с самого начала учреждения земства, но по силе сословных заблуждений не сделало.

Уверение, будто никто не призван принимать на себя перед царем ходатайство об общих пользах и нуждах государства, прямо противоречит положительным словам присяги на верноподданство, а тирада: «право вчинания принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с самодержавной властью, Богом мне данной» — как-то странно звучит в наше время даже в России. Можно так думать, но едва ли пристойно выражать подобные думы. Вообще же рескрипт вызывал законную оппозицию в самой верноподданнической форме.

Дворянство должно было радоваться, что правительство исправило его ошибку. В действительности была ли возможна в России аристократическая конституция?

Необходимо было противопоставить задерживающее влияние естественному стремлению масс к равенству, но вопрос в том, как составить это нужное препятствие? Родовая палата возможна только там, где сошлись завоеватели с порабощенными и с течением исторической жизни сделались их заступниками, ходатаями, облегчили их тяжести, помирились с ними в общей свободе. Это чисто английские условия. У нас, напротив, не было ни победителей, ни побежденных, а притеснители и притесненные. Не дворянство, а правительство вывело последних из бедственного положения; они не видели в дворянстве защитников общих вольностей, а таких же рабов власти, искавших ее благоволения для беспрепятственного угнетения. Русская родовитая палата была бы всегда игралищем правительства, которое имело бы в своих руках могущественный рычаг для ее унижения, народное представительство всегда было бы ей враждебно, помня прошедшее и видя упорство дворянства не сливаться с народом даже после освобождения. В самом дворянстве произошел бы раскол. Кого считать дворянином? Родовитая палата должна быть наследственная, значит, нужно учредить майораты в стране, где высшее сословие вовсе не занимается делами и живет только землевладением.

Младшие члены семейств непременно обнищают, и, как нищие, станут желать перемен. Само московское дворянство в том же заседании, в котором положило просить аристократической конституции, лишила голоса помещиков, имевших его до выкупных сделок, а теперь, имуществом, не подходивших под новый земельный ценз. Это исключение дало правительству предлог кассировать постановление дворянства, хотя, по-моему, оно законно, но дело не в том; очищение дворянского съезда показывало, что в среде самого дворянства не было сословного согласия, касте необходимого. При полном сознании надобности двух палат у нас возможно составить верхнюю только из консервативных элементов всех сословий, призвав в нее знаменитости промышленные, землевладельческие, ученые, военные и духовные, и назначив их, конечно по жизнь. Рядом с такой палатой возможно не враждеб-

ное ей народное представительство, а в ней самой будет достаточно консерватизма для охлаждения слишком горячих стремлений к изменениям, да и горячность эта едва ли мыслима. Наши поверхностные государственные мужи читают в истории только, что им нужно в данную минуту, и нередко, не проследив исторический вопрос до конца, указывают на него как на доказательство верности своих взглядов. Точно так же они кричат о русском демократизме, приравнивая наши низшие общественные слои к иноземным. Но где есть десятки миллионов землевладельцев, как у нас в России. Пекитесь своевременно об их выгодах, просветите их, и не дождетесь от этих тружеников-собственников никакой политической или социальной горячности, хоть бы хотели.

Вообще мысль о конституции со стороны собрания чисто дворянского показалась мне бессознательным увлечением. Главнейший агитатор, Орлов-Давыдов, несмотря на конституционные свои стремления, лез в лучи самодержавного двора с рабским бесстыдством и не знал, как согласовать обязанность церемониймейстера с положением главы оппозиции, чем, по-видимому, быть желал. Он очень опечалился, когда его не пригласили на дворцовый бал за московскую болтовню, и очень утешился на рауте английского посла встречей, похожей на овацию. В это же время мне случилось быть дежурным у государя. Полицеймейстер Анненков, в присутствии моем, указал Суворову статью «Русского Инвалида» об остзейских губерниях. Светлейший пустомеля начал бранить военного министра и грозился доложить государю о дурном направлении газеты. «Что же такое я (выражение было несравненно резче), коли пробыл там генерал-губернатором 14 лет?», — воззвал оскорбленный Суворов. Ко вреду или благу России клонилась статья, о том не было помину; выдвинулось исключительно я. Возможна ли была дворянская палата при таких наклонностях сословия к раболепию и себялюбию? Идея не заслуживала иного исхода, как сатирической насмешки, и поющий на все лады бард, Тютчев, взыграл из Ниццы:

«Как вы обманываетесь грубо.
Какой у вас с Россиею разлад?
Куда вам в члены английских палат?
Вы просто члены английского клуба».

Москвичи ответили не без стихотворного достоинства:

«Вы ошибаетесь грубо.
И в вашей Ницце дорогой
Сложили, верно, вместе с шубой
Всю память о стране родной.
В раю терпение уместно,
Политике там места нет,
Там все умно, согласно, честно,
Там нету тьмы, там вечный свет.
Но как же быть в стране унылой,
Где нынче правит Константин,
И где слились в одно светило
Валуев, Рейтерн, Головнин?
Нет, нам парламента не нужно,
Но стоит ли нас проклинать
За то, что мы решились дружно
И громко караул кричать».

Сами москвичи весьма верно определили меру своего конституционализма и совершенно удовлетворились опровержением Тютчева. Тем кончился важный государственный вопрос. И с такою публикою правительство боялось прогресса.

С цензурным вопросом я познакомился через главных участников. Три года прежде, когда цензура находилась еще в ведомстве министра народного просвещения, была составлена комиссия для проектирования нового устава о печати, под председательством статс-секретаря Д. А. князя Оболенского. Основные идеи проекта Оболенского были одобрены Головниным и даже введены во временные правила о цензуре, изданные в 1862 году. С тех пор цензура перешла к министру внутренних дел, про-

ект Оболенского подвергся пересмотру, предательски возбужденному самим Головниным, и, наконец, новая комиссия под председательством того же Оболенского составила окончательный проект, рассматривавшийся в департаменте законов. Предварительно, до внесения закона в Государственный совет, его послали на просмотр М. А. Корфа (тогда еще начальника II отделения), вскоре заменившего его графа Панина, к министрам юстиции и просвещения, к главноуправляющему почтами и начальнику III отделения. Все эти лица представили замечания. Только мнения М. А. Корфа достойны памяти. За его подписью у меня хранится полный трактат о несостоятельности цензуры вообще, составленный с исторической, политической, юридической и чисто нравственной точки зрения человеком бесспорно с просвещенным государственным взглядом, отрешившимся на время от всяких побочных и личных соображений. Начавши изложением истории законодательства о печати во всех странах Европы, Корф доказывает несостоятельность цензуры, в особенности предварительной, и усердно убеждает, если не сочтут возможным совершенно уничтожить цензуру, оградить писателей и издателей от произвола цензоров и министра, уменьшить объем вовсе не подлежащих цензуре изданий с двадцати листов на десять, уничтожить цензуру иностранных книг, отменить залоги на периодические издания, смягчить налагаемые уставом пени, дать право налагать их только по суду и, наконец, изложить новые законы в духе неминуемого перехода к цензуре чисто карательной. Граф Панин сходился с Корфом в немногих неважных подробностях. Замятин рассматривал проект исключительно с юридической стороны, настаивая на согласовании законов о печати с общими уголовными законами и советуя исключить из первых все наказания, определенные вторыми за преступления, ведущие к тем же последствиям. Если разделять преступления не по последствиям, а по способам, употребленным для совершения их, удачно выражался безобидный Замятин, то следует писать особые кодексы для преступлений, совершенных ножом и другие, для сделанных с помощью веревки. Головнин, не неся уже более ответственности за прессу, либерально буйствовал против всяких законов о ее стеснении. Долгоруков и И. М. Толстой разбирали мелочи, обратившие на себя их узкие взгляды.

Проект со всеми мнениями, замечаниями и пометками на них ответственного за печать Валуева предстал в феврале 1865 г. в совет. Валуев подчинял свои пометки значению личностей, представивших замечания. На важный трактат Корфа, не имевшего влияния при дворе, Валуев выразил наотрез несогласие, не давши себе труда мотивировать его; Замятин удостоился иронии; вертлявому Головнину, говорившему о втором проекте противное том, что говорил о почти подобном ему первом, нельзя было отвечать иначе, указавши на его двуличность. С графом Паниным Валуев во многом любезно согласился, а с Толстым и Долгоруким — друзьями Зимнего дворца — вовсе безусловно. Правда, замечания их не заслуживали спора, но министр внутренних дел ухватился за этот предлог, чтобы выказать индифферентизм к людям умным и сведущим, но невлиятельным, наряду с вниманием к бездарным фаворитам.

Государь торопил дело и понуждал совет. Великий Князь Константин, желая ознакомиться с предметом прежде внесения дела в общее собрание, постоянно присутствовал (как безмолвный свидетель) при прениях в департаменте законов, хотя это было нарушением обычая. Единственная важная перемена в предположениях Оболенского (надеявшегося, мимоходом будет сказано, получить со временем портфель), состояла в том, что третье, окончательное предостережение журналу давалось не министром, а сенатом. Это бесспорно устраняло произвол в вопросе об окончательном разорении издателя, но все-таки в уставе оставлялось самовластию широкое поле. По вопросу о бесцензурности иностранных книг голоса разделились.

Нельзя не дивиться разложению в Совете мудрых воззрений Корфа (уже председательствовавшего в департаменте законов) и ярых мнений Головнина. Странная правительственная лаборатория, где самые чистые побуждения, возвышенные взгляды, здравый смысл, ум и знание, превращаются в раствор козней, тупоумия, нелогичности и невежества.

Государственный совет был удвоен в составе со времени кончины Николая Павловича и большинство новых членов сами были случайные. Государь думал обеспечить большим числом вотирующих всесторонний взгляд на дела и искренность мнений. Содействуя видам верховной власти, главнейшие охранители ее начали вводить в совет удобные и услужливые способности. И в этом мираже добрых намерений генерал-адмиралу принадлежит почин. Под предлогом выказать морякам, что им доступны высшие государственные должности, Константин Николаевич ввел в совет адмиралов с большими или меньшими достоинствами, но неспособных и несклонных, чтобы их так когда-нибудь слышали, не только слушали.

Весь Великий пост проект мяли в общем собрании.

6-го апреля, в день столетнего юбилея Ломоносова, подписан указ об изменениях в цензурном уставе, а не новый устав. Утвержденное ныне действующее положение грешило против здравого смысла и правительственного достоинства более первоначального проекта Оболенского. Все благие идеи канули в удобное море государственной необходимости (La faison a'drat) и вышло непонятное хитросплетение, вводящее писателей и издателей в искушение, будто для вещего наказания.

О Ломоносове, помянутом правительством нескладными правилами о печати, вспомнила публика как-то внезапно. Не знаю почему выбрали меня в число распорядителей юбилейного празднества, и в каком смысле я принимал в нем участие: как представитель флота, связанного с учеными исследованиями Ломоносова, или в качестве выказавшего чувствительность ко всему, что возвышало русское имя? Во всяком случае выбор сделан без моего ведома, и я узнал о нем, читая «Русский Инвалид». Принявшись за дело, я увидел, что торжество юбилея вместе и антинемецкая демонстрация. Нельзя, конечно, было избрать лучшего повода к достижению такой цели: вся жизнь Ломоносова прошла в борьбе с немцами; не менее того хотели зайти слишком далеко. Поднесенная его величеству программа была одобрена и нравственная ответственность возложена на распорядителей в форме безусловного доверия, конечно, самой обязательной из всех стесняющих форм. Всего важнее было решить с застольными речами, и из среды распорядителей была назначена особая комиссия под председательством Е. П. Ковалевского. Состоявши в ней членом, я познакомился с многими литераторами и с произведениями ярых патриотических мозгов, готовых задать немцам чуть не варфоломеевскую ночь. Подобные порывы были отброшены или укрощены, и мы дозволили задевать немцев только поэтам.

Несмотря на готовность урезывать и помарывать, русским сердцам нашим приятно было чуять, что общество пробудилось наконец и почувствовало собственное достоинство; антагонизмом иностранному везде начиналось уважение к отечественному, своему, и оживление русского духа будет замечательнейшим фактом царствования, если не осилят остзейцы своею настойчивостью нашу скоро преходящую впечатлительность.

7-е апреля было назначено для духовной и умственной тризны, и прошло без особенной тревоги относительно состояния цесаревича,[37] о котором на Страстной неделе еще были получены из Ниццы неутешительные известия. Мы собрались в Невском монастыре, где два митрополита и семь епископов отслужили обедню и панихиду на украшенной цветами могиле труженика из народа. Столь почетное представительство церкви было торжествен-

ным протестом современного духовенства против предшественников, едва не проклявших Ломоносова всем собором за его рассуждение о размножении российского народа, в котором философ порицает монашество, посты и другие предрассудки, претящие развитию и здоровью населения. Духовенство согласилось с готовностью покаяться по-церковному, но отказалось от участия на обеде под предлогом усталости. Истинная причина заключалась в светскости характера памятования, и митрополит Исидор откровенно выразился, что неприлично пастырям слушать бесовские песни, входившие в программу застольной музыки. Замечательно, что на службе не присутствовали ни университет, ни академия. Совпавший с памятованием внезапный отъезд государя в Ниццу мог помешать министрам, впрочем, показались некоторые товарищи.

В Академии наук был назначен торжественный акт. Я. К. Грот прочел весьма оживленно речь, исполненную смысла и сочувствия. Заслуги Ломоносова, ученые труды его, независимость характера, поведшая на борьбу с товарищами-немцами — все было выставлено и для ясности тесно сдвинуто самым искусным образом. Не оказалось ни одного лишнего слова и между тем ничего не было опущено. Целый час Грот умел занять внимание слушателей и даже увлекал их. Совершенно противное впечатление произвела столь же, к сожалению, длинная речь Никитенко — набор слов, произнесенный вяло, несвязно и тоскливо. Относительно торжества национального духа академическое заседание повело к неловкому результату; немец, в общем русском смысле этого слова, почтил память Ломоносова несравненно достойнее, нежели русский.

Назначенное на другой день светское торжество подчинялось известиям о болезни наследника, на которую указал выше. Государь был довольно мрачен у пасхальной заутрени, но не выражал особенной озабоченности; вследствие же телеграммы, полученной 6-го числа, немедленно отправился в Ниццу. Публика была поражена внезапностью отъезда и ждала с минуты на минуту горькой вести. Замечательно нелепые соображения начали высказываться людьми, весьма высоко стоявшими. Опасались, чтобы государь не принял во внимание недостатки следующего за наследником сына и не передал бы престол Вел. Кн. Константину. Помимо совершенной незаконности и неестественности такого поступка можно ли было предполагать, чтобы властелин, слышавший в детстве выстрелы 15 декабря, решился на подобную меру? Останавливая одного сановкника, я прямо сказал ему, что нельзя доводить ненависть к Вел. Кн. Константину до того, чтобы не жалеть России; подобным речам не могло быть иной причины, как желание вредить нелюбимому царскому брату при всяком случае. Накануне дня обеда вечером мы собрались на последнее совещание. Об отказе обеда не могло быть речи: деньги были собраны, большей частью истрачены, и подписчики имели полное право требовать выполнения объявленной программы.

Собравшееся общество видом своим заставило нас порадоваться принятой нами решимости. Ближайшие ко двору лица воздержались, но между ними нашлось немало, считавших излишней приторностью чувства выражать участие к горю, могшему еще превратиться в радость, в ущерб памяти о первом русском ученом. Ярко освещенная зала дворянского собрания, убранная весьма щедро растениями из оранжерей, представляла великолепный вид. В царской ложе стояли портреты во весь рост Петра, Елизаветы и Екатерины, окруженные цветами и зеленью; впереди их красовался повитый лаврами мраморный бюст виновника торжества, а по бокам — грудные портреты Шувалова и Воронцова. Против этого центра, привлекавшего общее внимание, была натянута под хорами крупная надпись:

«Может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».

Над надписью в почетном отделении сидели потомки Ломоносова женского пола; мужчины же обедали по обе стороны президента Щербатова.

Порядок был изумительный. Нелегко устроить пир на шестьсот человек, но самые взыскательные ценители были удовлетворены. Публика соблюдала изысканную благопристойность до самого конца.

А. Майков величественными, как самый свет воспетой им науки, стихами приготовил пирующих к тосту и памяти Ломоносова. Оплакавши зависимость русского ума от иностранцев в период от Петра до Елизаветы, проклявши неистового иноземца — Бирона, вдохновенный поэт вывел на простор и божий свет подавленную дотоле русскую мысль.

Некоторые немцы оскорбились характером празднества: право, это выказывало уже излишнюю чувствительность кожи. Те же личности вовсе не обижались, когда топтали в грязь русское имя в иноземных палатах и на торжествах различных ферейнов. По-моему, все прошло с удивительной умеренностью, хотя Ломоносовский праздник останется замечательным Фазисом в хронике пробуждения русского духа. За моим столом я собрал тогда же 670 рублей на ломоносовские стипендии.

Грустные ожидания, так тревожившие нас, к сожалению, скоро осуществились. 12-го апреля цесаревич скончался в Ницце. Государь успел еще застать его в живых. Бедный юноша имел утешение видеть у смертного одра все семейство и горькую свою невесту, прибывшую к умирающему жениху вместе с императором. Система скрытности и неправды так укоренилась в наших высших сферах, что отец до последней минуты не знал о безнадежном положении сына. 19-го апреля прибыл из Ниццы курьер с манифестом.

На точном основании закона великий князь Александр Александрович объявлен наследником с титулом цесаревича, и ходившие в обществе нелепые толки утихли. Озлобление на Константина Николаевича граничило с безумием. Уверяли, будто он извел наследника, и в Москве обнаруживались уже беспокойства; все опасались, чтобы государь не назначил преемником брата. Так недавно еще этот всем теперь ненавистный брат пользовался большим сочувствием народа. Впрочем, это обычный удел гоняющихся за популярностью, не понимая, что она приходит сама собой, а не берется с бою, и что народное чутье умеет отличить чистоту и искренность от тщеславного желания выдвигать собственную личность.

Тело цесаревича отправили 17 апреля из Ниццы на фрегате «Александр Невский».

Нельзя, однако, не признать в скором исходе болезни и в самом развитии ее какого-то равнодушия к судьбе будущего владыки России. Оставшиеся в Петербурге дядюшки не выказывали большого сожаления о неожиданной смерти племянника и участия к горю родителей.

Единовременно с печалью, постигшей наш царственный дом, пресеклась ценная жизнь на другом краю мира. По взятии Ричмонда и сдаче армии генерала южан Ли, стойкий президент северо-американских штатов Линкольн, ожидал с уверенностью конца страшной борьбы, которую вел с твердостью, несмотря на все перемены и измены счастья. Судьба вмешалась в торжество упорного президента самым грустным образом. Какой-то фанатик вошел к нему в ложу и выстрелил прямо в голову. В то же время другой злодей нанес несколько ударов государственному секретарю Сьюорду, лежавшему по болезни в постели, и его сыну. Преступления чисто политические, но правительственный строй Штатов не мог пострадать от них. Единственным последствием могла быть большая строгость к южным штатам.

Тогда же кончил земное поприще Кобден.

К половине мая возвратились из-за границы все члены императорской фамилии. Толки о неразвитии нового наследника, видимо, стали утихать и изменяться. Перемена была также мало основательна, как и прежние заклю-

чения. Все, однако же, соглашались, что Вел. Кн. Александр постоянно выказывал благородную прямоту и чистосердечие. Покойный наследник очень любил брата и лично от него я неоднократно слышал прекрасные отзывы о характере Александра. «Он никогда не лгал», — нередко повторял покойный. Мне кажется, что для будущего царя весьма выгодно, что до двадцати лет он не жил искусственной жизнью рожденного наследником престола.

М. А. Корфу поручено было приготовить нового цесаревича к присяге. По-моему, выбор был бы очень хорош, если бы до сближения с наследником Корфу дали все, чего смертный желать может; тогда он, вероятно, приступил бы к важному делу добросовестно. В Корфе я замечал странные противоречия: хорошо мыслит, ясно излагает свои мысли, но перед исполнением становится расчетливым патриархом племени — иначе нельзя назвать фамилию Корфов. Он даже не ост-зеец, а только Корф. Фамильный протестантизм, перейдя в нем в православие, приклеивал к исключительности немца гибкость чисто-русского барина, радостно раболепствующего перед властью.

Корф давал мне читать ненапечатанный отрывок из изданного им жизнеописания Сперанского, именно главу, в которой он касается смерти Павла и выводит на сцену Александра с его приближенными. Воспитание и положение Александра между утвердившейся славой на престоле бабкой и подозрительным отцом, озлобленным долгим царствованием лишившей его престола матери — это междустулие, существовавшее всю юность Александра, мастерски представлено Корфом как источник двойственности его характера и лукавства. Ветеран государственного дела, устраненный для новых неискусившихся еще в государственной науке деятелей, Корф с видимым удовольствием и вместе очень искусно очерчивает внезапно созданных Александром государственных мужей — Чарторийского, Новосильцева, Строганова и Кочубея. С явным наслаждением и опытностью собственных побуждений он анализирует влияние неизведанных еще в делах мечтателей немолодого государя, которого не устает изображать хитрецом, почти Мефистофелем, и вместе поддающимся разнородным, даже противоположным впечатлениям. С верностью, свойственной только человеку, постигающему подобные же недостатки личным ощущением, Корф выводит причину охлаждения Александра к своим друзьям после свидания с Наполеоном в Тильзите. Юный государь поддался новому обаянию.

Мощный ум Наполеона затмил в несколько вечеров пигмейские способности молодых друзей, дотоле властвовавших над умом Александра; «Но, — прибавляет Корф в желании выдвинуть своего героя, — даже после свидания с Наполеоном Александр находил наслаждение в беседах со Сперанским». Пропущенная в издании глава очерчивает первый период правления Александра до отечественной войны; она заключается истинно художническим, последним coup de pinceau, [38] данным автором портрету Александра. «Тильзитский мир, — говорит он, — оскорбил Россию и возбудил общее негодование на правителя. Если народ был неправ в патриотической своей гордости, то выкупил поспешность своих заключений двенадцатым годом, возведя своего государя своими жертвами и своей кровью на высшую ступень славы; а государь этот продолжал всегда помнить порыв народа, для него неприятный, и упоенный уже славой выказывал народу равнодушие, даже презрение». Вообще вся глава написана смело, правдиво и честно.

По поводу презрения Александра I к своему народу мне вспоминается случайность, немало меня удивившая.

Я шел от Синего моста, через Исаакиевскую и Дворцовую площадь, к Мраморному дворцу с товарищем, исключительно преданным службе и вряд ли когда-либо смотревшим вне ее. При здравом уме он отличался совершенным равнодушием ко всему, что не касалось корабля и моря. Нельзя было пройти мимо памятника Николаю I без насмешек, и мы под-

дались искушению, припоминая вместе с тем минувшую свинцовую эпоху. К Александровской колонне мы подошли уже молча, успевши тревожить прах того, кто столько тревожил нас при своей жизни. Вдруг неговорливый спутник мой обратился ко мне с восклицанием: «вот тот памятник — урод, а будет стоять; а этот и хорош, да сдернут». Неожиданная политическая выходка товарища сначала удивила меня, но я тотчас понял, что можно, без науки и образования, иметь сильную, способную любить Россию, душу и, схвативши крепко за руку моего политика, прибавил: «И коли вздумают валить в наше время, мы с вами поможем. — Еще бы, — возразил он, — хоть помните, детьми мы ее с вами поднимали».

Погребальное шествие покойного наследника океаном было чрезвычайно торжественно. Из Кадиса, Лиссабона и других портов, в которые заходила печальная эскадра, ее провожали иностранные суда, и 21 мая она, наконец, явилась перед Кронштадтом. За два дня перед тем прибыл наследный датский принц. В Кронштадте страшно разыгралось море и бедного принца продержали двое суток на пароходе, который после бури прямо вошел в Неву, что мог сделать еще легче тотчас по приходе. Принц увиделся с государем на пристани и вместе с нами отправился навстречу любимому сестрою праху. Грустно было проходить мимо эскадры, стоявшей на большом рейде под командой Новосильского; она не успела еще оправиться после двудневной бури. Приближавшиеся суда к.-а. Лесовского, выдержавшие ту же бурю в море, представляли утешительный контраст. Реи были перекошены, в знак печали, но все казалось стройным и правильным. По указанию генерал-адмирала государь остановил эскадру за лондонским маяком, не вовремя и не у места, и переехал на «Александр Невский». Вследствие неловкого распоряжения «Александр Невский» и «Олег» едва не сошлись, но Лесовский сумел устранить беспорядок, который произошел бы неминуемо по вмешательству В. К. Константина, и мы чинно двинулись на рейд. Генерал-адмирал обратился ко мне, ожидая встретить одобрение его распоряжений, принятых Лесовским весьма равнодушно; я ответил, что на море мешаться значить мешать, и генерал-адмирал согласился. «Александр Невский» должен был остановиться на рейде и там передать печальный груз свой. Так как передача была отложена до 25 числа, я посоветовал Лесовскому нарушить план, составленный, очевидно, для тихой погоды, и пройти прямо в спокойную гавань, что по докладе государю и сделали. Государь был очень расстроен. Мы возвратились в Петербург и потом в Царское, куда я последовал как дежурный. Новый наследник один выказал ко мне внимание.

25 мая тело наследника перевезли в Петербург на яхте «Александрия» под катафалком такой высоты и тяжести, что при бурной погоде перевоз был бы невозможен. Не было цветов, так соответствовавших возрасту усопшего; парча и золото выказывали какую-то восточную варварскую роскошь; ничего не говорила душа. 28-го происходили похороны. Были по обычаю войска, пальба, великолепная колесница и другие ничтожные признаки усилий людей опровергнуть главнейший христианский догмат — равенства перед Богом. Меня особенно тронуло положение отца и матери, хоронивших сына в третий раз. Со спуском гроба в могилу кончились эти душевные истязания, завершилось, наконец, долгое погребальное шествие от берегов Средиземного моря к берегам Невы. Привыкая к горести, души уже начали утомляться и черстветь. Это очень верно предвидел воспитатель Алексея Александровича К. Н. Посьет. Государю хотелось, чтобы Алексей, как моряк, провожал тело океаном, но Посьет выказал нравственную невыгоду такого долгого сопутствия, сказавши, что при самых нежных чувствах к покойному брату, Алексей насмотрится на гроб до равнодушия.

ГЛАВА X

ОПЯТЬ СКИТАЮСЬ ПО ЕВРОПЕ

Бесцеремонность великого князя Константина. Армия и флот. Потапов и Грейг. Н. П. Игнатьев как дипломат. Польская депутация по случаю кончины наследника. Мое сопротивление касательно построек на 14 миллионов. Шведский поход генерал-адмирала. Управляющий морским министерством дважды казнит того же преступника. Новое полевое уложение для армии. Маневры войск с институтками. Свобода печати. Правительственные взгляды на литературу. Одесско-Черновицкая железная дорога. Строгановская история. Еще заграничный отпуск против воли.

Наступило лето. На море мне не предстояло никакого употребления, а в заседаниях комитетов я мог также удобно бездействовать, приезжая с дачи. Мы перебрались в Павловск и впервые постигли опытом прелесть дачной жизни в болотистой местности под 60 градусами широты.

Со времени возвращения моего из-за границы генерал-адмирал однажды только обратился ко мне, и то по личной надобности. Американский посланник Seymour официально пригласил его в Штаты, ручаясь за блистательный прием. Вместе с приглашением Seymour передал несколько политических брошюр, знакомивших с различными партиями и их целями. Великий князь поручил мне составить ему материал для довольно долгой аудиенции, которую намеревался дать посланнику, и я выжал из брошюр, что счел нужным, прибавя собственный взгляды вследствие личного знакомства с краем. Разумеется, благодарили, были на минуту любезны, и снова, отворотившись по миновании надобности, представили новое доказательство постоянства в любимом девизе: «Человек — лимон, из него выдавливают, что нужно, и потом бросают». Циническое сравнение это мне не раз случалось слышать от моего покровителя.

Я уже говорил об обществе для разработки программы преподавания военно-морских наук в морском корпусе, предложенном Римским-Корсаковым, и о всеподданнейшем отчете морского министерства за 1863 год. К обоим предметам стоит возвратиться, чтобы выказать, насколько рыцарская честь двигала правившими флотом. Общество было бы особенно полезно именно в это время; незнакомые с делом власти вовсе не обращали внимания на специальность. Великого князя заставили решительно отказать в позволении образовать общество, из опасения учреждения другого министерства рядом с официальным.

В отчете помимо фиоритуры, свойственной несерьезным людям, подносилась голая лесть, но кроме того, просто выпускали фальшивую монету, приписывая достоинства лицам, известным своею ничтожностью, или отнеся к деятельности одних то, что выпало на долю дру-

гих. Небывалый еще пример административного бесстыдства. Полстраницы было уделено панегирику умершего начальника артиллерийского управления Терентьева, человека честного и доброго, но в высшей степени бездарного, отличавшегося одним только качеством — приятной для начальства страстью подчиняться. В серьезном документе, поднесенном государю, патетически рассказано, как испуская последний вздох, Терентьев справлялся об успехе дела с нарезными орудиями и уносил в вечность пожелания видеть отечественную артиллерию в апогее совершенства. Не знаю, насколько эти желания облегчили Терентьеву доступ в рай, но введению новых средств борьбы здесь делу не помогли; долго еще усовершенствование артиллерии не переходило за границы опытного Волкова поля. Все это было бы уместно в письме к скорбящему сыну или неутешной вдове, а не в сжатом донесении верховной власти о деятельности по известной отрасли службы. Относительно снаряжения эскадры Лесовского для нанесения вреда торговле союзников сделана важная перемена в первоначальной рукописи, показанной мне в прошлом году великим князем в Госларе. Честь изготовления эскадры приписана князю Голицыну, подписавшему разве только несколько бумаг по отправлению.

Отправление эскадры было вызвано, как я говорил уже, статьями журналов, и министерство вовсе того не желало; между прочим, в отчете мысль усвоена министерством как совершенно новая, хотя за семь лет перед тем идею приводили в исполнение в Архангельске по моему предложению.

После политической суматохи, возбужденной польским восстанием, и неожиданного отпора России угрозам запада, Европа погрузилась в апатию — естественное следствие дурно рассчитанной и неудавшейся деятельности. Все будто старались уяснить себе, почему деятельность эта не имела исхода. Многие правительства заставили забыть свои бесплодные порывы разработкой внутренних вопросов; в том числе прусское, убедившись, как трудно общее соединение Европы, стали упорно преследовать собственные цели расширения. Бисмарк уже тогда знал, чего хотел, и шел по пути, не останавливаясь перед случайными препятствиями. Каков бы ни был исход Шлезвиг-Голштейнского вопроса, Киль очевидно остался в руках Пруссии, и флот ее приобретал на Балтийском море самое выгодное положение. Оберечься от Пруссии, конечно, можно политическими союзами, но вернейшее средство — не утерять господства нашего в Балтике и содержать флот, способный за него бороться даже при невыгодных условиях природы. Первым доказательством дальновидности наших правителей должно было проявиться старание удержать специальных людей с тем расчетом, что они понадобятся и что для моря их не создают произвольно в данный момент.

Вместо того, чтобы подкрепить управление флотом людьми, любившими профессию и ценившими свое прошедшее, именно в это время выказали, как мало думали о всем, что флота касается. Краббе уехал в отпуск и министерством стал управлять Грейг. Единовременно подобная же случайность представилась в армии, и ее разрешили совершенно иначе. Муравьев оставил Вильну и сатрапию его хотели передать Потапову с уменьшением власти, но, конечно, не отделяя военной части от гражданской, что было бы безрассудно в тогдашнем положении края. Военный министр представил, что назначение Потапова, никогда ничем не командовавшего, будет оскорблением для всех генералов в Виленском округе, и это назначение, совершенно тождественное с назначением Грейга, да и самого Краббе, остановили. В Вильну назначили К. П. Кауфмана, офицера с боевой репутацией.

При таком презрении к флоту вообще я перестал уже думать о возможности перемены для меня лично и жил в Павловске случайно набегавшей занимательностью, жадно хватая все, что будило ум, непривычный к сонливости. Между новыми знакомыми, помогавшими мне

коротать время, флигель-адъютант Балюзек был особенно интересен подробностями о Китае, хотя вовсе не интересно сообщал их. До того уже я считал Н. П. Игнатьева одним из мужей века. Узнавши из французского сочинения о китайской экспедиции, будто Игнатьев склонил к миру китайское правительство, что французам было особенно кстати по приближавшемуся зимнему времени, я перестал дивиться данной нашему импровизированному дипломату звезде почетного легиона и наивно выхвалял дипломатические достоинства Игнатьева, заключившего в то же время Тян-Тзинский трактат, доставивший нам Уссурийскую область. Балюзек разразился неистово и подробно рассказал мне дело. Во все время переговоров Игнатьев жил в Тян-Тзине и посылал в Пекин и к союзникам Балюзека. Ему же первому сообщил брат Богдыхана желание скорее помириться с союзниками, и Балюзек тогда же ответил, что желанию этому русский посланник поможет, если вопрос об Уссурийской области, тянувшийся так долго, решится в нашу пользу. Мир заключили, и Игнатьев подписал Тян-Тзинский договор. Вскоре он прибыл в Петербург, где доставил Балюзеку флигель-адъютантское звание и склонил его ехать в Пекин резидентом, обещая устроить вопрос о содержании и титуле посланника тотчас по принятии азиатского департамента, к чему готовился. Ничего не подозревая, Балюзек согласился и на пути в Иркутск был поражен вестью, что караван наш остановлен на китайской границе вопреки условиям трактата, которым был выговорен свободный путь нашим купцам. В русском подлиннике действительно включено условие свободной торговли; но каково было удивление Балюзека, когда, приехавши в Пекин, он узнал от переводчика, занимавшегося трактатом, что китайцы никогда не соглашались на свободную торговлю, заставляя своих купцов платить пошлины за перевоз товаров из провинции в провинцию, и что Игнатьев не мог настоять, но велел в русском тексте оставить условия свободы «якобы выговоренными, не упомянувши даже, что в случае недоразумений следует руководствоваться русским текстом». Завеса спала с глаз Балюзека. Причины настойчивости Игнатьева о назначении его флигель-адъютантом и резидентом в Пекин стали ясны. Балюзек говорил об Игнатьеве, как о воришке слов, о лгуне, и уверял меня, что привычка вкоренилась в нем и не сдобровать ему в соприкосновении с европейскими дипломатами. Возвышение Игнатьева также один из самых ярких признаков времени.

Приезжал также проститься прежний товарищ мой по Кронштадту Н. А. Крыжановский, назначенный еще зимой генерал-губернатором в Оренбург.

Поляки сочли нужным изъявить сожаление по случаю кончины наследника, и в начале июня явилась в Петербург печальная польская депутация. Государь высказал ей несколько жестких истин и прибавил, что никогда не допустит существования отдельного царства. Указавши на наследника, царь поручился и за него: «И он не потерпит то, чего я не терпел». А наследнику до решительных стойких убеждений нужно было еще очень и очень просветиться. М. А. Корф жил в Царском Селе, во дворце, готовя цесаревича к присяге, и дивился его неразвитости. Непонятно подобное равнодушие к воспитанию детей. Наблюдают только за старшим, а остальные растут в казармах. Вдруг Провидение вмешивается в расчеты и, против ожидания, открывает заброшенным детям громадное поприще.

Помня обещание, данное Путятину, я старался склонить товарищей по комитетам подать нечто вроде протеста против начатой постройки судов, и в одну из служебных поездок в Кронштадт успел убедить их подписать составленную мной записку.

Министерство только что заключило контракты на 13 или 14 миллионов о постройке восьми судов с броней в 4 ½ дюйма, тогда как у англичан уже плавали корабли с 6-дюймовой броней и строились для 11-дюймовой. Поистине бросали в воду огромную сумму. Под-

нятый нами вопрос тянулся шесть месяцев. Контракты начали уже между тем выполнять и нужно было изменять сделанное, т. е. еще приплачивать; однако ж первоначальная идея оставлена. Нам не прошло даром сопротивление видам министерства. Мы получили in Corpore выговор за то, что недостаточно пробовали мониторы и не ходили с ними на мерную милю. Выговор был дан из Стрельны, по телеграфу, и на другой день приказано исследовать, почему мы не выполнили обязанности. Оказалось, что мониторы не были готовы к пробе, но логическое распоряжение исследовать нашу вину уже после наказания было сделано, и когда председатель наш явился к его высочеству с объяснением, великий князь ответил, что вышло недоразумение, что он вовсе не хотел передавать того, что телеграфировали — и только. Генерал-адмирал с обычной поспешностью оскорбил нас даром. С этого дня, вспомнивши слова Тацита, что «мы особенно ненавидим тех, кого оскорбляем», я решился всячески искать выхода из несносного и опасного положения.

Великий Князь все более и более отставал от флота и пользовался им только для удовлетворения своего властолюбия, или как средством шумно выставлять свое имя. Иной цели нельзя было придать задуманному им вдруг походу в Швецию с эскадрой из 27 судов, в том числе новых мониторов. 28 июня в числе других я провожал на пароходе государя в Кронштадт. Был докладной день по флоту. После доклада великий князь с детской радостью подошел к нам и объявил, что государь разрешил ему идти с броненосной эскадрой в Стокгольм и Копенгаген. Все уже говорили о желании генерал-адмирала в городе, и на пути из Петербурга мы толковали с Лесовским о неприличии задуманной великим князем выходки. На сообщенную новость Лесовской отвечал сущностью предшествовавшего разговора нашего. Генерал-адмирал возразил, что мы мешаемся в дело князя Горчакова, который и без того будет «брыкаться». Своим мягким голосом Лесовской заметил, что мы все служим тому же государю, той же России, и должны помогать, а не мешать друг другу. В это время подошел Грейг и смело перебил разговор, что великому князю понравилось. Грустно было видеть что-то вроде гаерства в председателе государственного совета. На мониторах невозможно оказывать обычных международных учтивостей, и посылка их к соседям кроме хвастовства имела еще вид угрозы. Вдобавок великий князь хотел, чтобы они шли открытым морем; при непривычке к управлению только что выстроенными судами совершенно новой системы могли произойти несчастья. Как-то отошли от первоначального намерения и отправили мониторы шхерами. Но и на этом пути, сравнительно безопасном, не обошлось без неприятных случайностей. Двухбашенная лодка «Смерч» затонула в Базе-Зунде, ударившись о камень. Ее выслали в шведский поход с новым экипажем, не давши времени осмотреться; старый был разбит по разным судам вследствие жалобы Лихачева, будто экипаж не отвечал на его приветствие. Наряженная комиссия не нашла жалобы основательной, а приписала случайность внезапному приезду адмирала и обращению его к команде, когда та выбегала еще на палубу для встречи начальника. Такое заключение комиссии приписали личной ненависти к Лихачеву, и команду наказали тяжелыми работами. В новой команде рулевой не сумел соразмерить влияние руля с узкостью места, и лодка набежала на камень. Другой монитор, «Латник», возвратился в Кронштадт поврежденным.

Шведский поход окончился лентами и крестами. Мониторов не решились взять в Копенгаген, куда нельзя было перейти иначе, как открытым морем, и отослали назад из Стокгольма. В Копенгагене Великий Князь оставил эскадру и возвратился в Кронштадт на фрегате «Генерал-Адмирал». Ему предшествовали различные неблагоприятные для него толки: Суворов особенно не жалел его, да и сам великий князь неловкими выходками прибавлял более и более к итогу сплетен. Офицер како-

го-то полка, решившийся заступиться за Константина Николаевича, когда товарищи называли его изменником, должен был оставить полк и службу. Может быть, были и другие причины увольнения, но верно то, что великий князь велел просить князя Д. А. Оболенского дать офицеру место по таможенной части.

Окружавшие в то время генерал-адмирала силились только обернуться в его мантию для устранения от себя всякой ответственности. В исправительной тюрьме морского ведомства, устроенной по новой системе, арестант ударил офицера. Непосредственный начальник тюрьмы, директор инспекторского департамента князь М. П. Голицын велел судить виновного военным судом, и через 24 часа его приговорили к каторжной работе пожизненно. Приговор объявили. Учредивши суд, Голицын доложил Краббе, но сношения между жившими по дачам начальниками подвергались неизбежной медлительности. Краббе велел той же судной комиссии приложить полевое уложение о наказаниях. Несчастного, однажды уже приговоренного, призвали вновь перед теми же судьями и изрекли ему смертную казнь. Но нарушение законов этим не кончилось. Краббе следовало конфирмовать приговор. Взросши в школе, избегавшей всякой личной ответственности, он передал дело в генерал-аудиториат, якобы для большей уверенности в законности приговора. Во-первых, приговоры полевых судов по закону утверждаются и приводятся в исполнение начальством, и обращение в генерал-аудиториат, ведающий только военными судами с обыкновенными формами, было совершенно незаконно. Во-вторых, полевым судом судила петербургская военно-судная комиссия, вполне от аудиториата зависевшая.

Зная, что Краббе в этом случае может конфирмовать приговор, аудиториат увидел себя в положении, которое ставило его решение в зависимость от личного мнения управляющего, тогда как решения аудиториатские могут быть изменены только верховной властью; а если бы управляющий согласился с решением военного суда, противным решению аудиториата, суд низшей инстанции оказался бы без нового исследования правее кассационного суда. Пробудился даже наш аудиториат и возразил, что дело не подлежит его разбору. Из этой бесчеловечной путаницы Краббе вышел легким способом: аудиториату было высочайше повелено рассмотреть дело. Члены нашли приговор военной комиссии справедливым, решение их на законном основании доложено власти и случилось то, чего, во всяком случае, должно было избегнуть — государь утвердил лично смертный приговор. Самая казнь совершена противно везде принятым обычаям исполнять ее людьми из среды сослуживцев виновного. Его расстреливали солдаты, а не матросы; этим выражена какая-то робость. Извинительно ли было хотя на минуту поручать судьбу сословия человеку, так бессознательно смотревшего на самые варварские мучения, которым только может подвергаться обвиненный, и с таким легким сердцем придумывавшему ловкий выход из устроенного им самим бессмысленного положения насчет того, к кому должно обратиться только за милостью и прощением?

От морского министерства перейду к военному, трудившемуся в это время над новым положением об управлении армиями в поле. С ним познакомил меня А. Д. Крылов. Я всегда восставал против введенных территориальных управлений, убежденный к великой невыгоде сводить в нужный момент войска с начальниками, совершенно им незнакомыми. Россия не Франция, где тогда (писано в 1865 г.) имя назначенного полководца было известно всему войску; у нас это условие не всегда принимается в расчет. Крылов в своих замечаниях, не решаясь опровергнуть новой системы вполне, советовал назначать, по крайней мере в западные округа, начальников, которые могли бы вести войска в дело; этим, хотя отчасти, ослаблялось вредное действие новой системы. В полевом учреждении предполагалась только интендантская канцелярия, а продовольствие войск предоставлялось окружным

властям, если война велась внутри, или генерал-губернаторам, учреждаемым в занимаемых областях по мере движений войск вперед за границей. При этих временных генерал-губернаторах создавались по положению те же военные округа. Все это чрезвычайно стройно и прекрасно в теории, но есть ли время образовывать местные управления в кампании быстрой, громовой, на которую и можно только в наше время рассчитывать. Разумеется, новое произведение военного министерства было послано на рецензию обоих фельдмаршалов. Мне говорили, что Берг отвечал очень уклончиво, дипломатически sans se compromettre,[39] как подобает осторожному немцу. Барятинский, напротив, размахнулся во всю славянскую прыть, порицал проект вообще в подробностях и думал подкрепить свои аргументы посылкой, что «Он, который водил войска его величества к победе», убежден, что новое положение расстроит военные силы наши. Победитель Шамиля не ввел в свои соображения, что сверху могли посмотреть иначе на его славу и опытность и приписать своей «милости» то, что князь относил к своим достижениям. Мнения Барятинского не помешали изданию проекта.

В кампании мы играли по-прежнему на той же тысячекратно изведанной и протоптанной местности около столицы. В этот раз в программу маневров входила переправа через Неву с помощью флотилии. Никогда не видевши маневров, я явился в главную квартиру на даче в Мурзинке, в двенадцати верстах от Петербурга по Шлиссельбургской дороге. Сущность действий состояла в том, что великий князь Николай Николаевич, расположенный с отрядом у Царского Села, занимал слабым авангардом левый берег Невы у Мурзинки, зная, что на него идет Корф с правого берега, что неприятель устроит переправу и постарается соединиться с своим корпусом, шедшим на Царское Село из Ропши. Николай Николаевич был гораздо слабее противника и должен был заботиться, чтобы оба неприятельские отряда не соединились до вечера 31 июля. Тогда к великому князю подходили подкрепления со стороны Москвы; он становился сильнее, в свою очередь переходил в наступление, и маневры кончались у Красного Села генеральным сражением.

Я приехал 29-го посмотреть на первый акт этой многоактной драмы и расположился у приятеля Путилова, вытесненного из своих удобных покоев во флигель. Военный двор был уже в сборе, и государь, прибывши в шесть часов вечера, отправился на другой берег осмотреть работы неприятельского отряда по переправе. В 3 ч. 30 м. утра мы все собрались у квартиры государя, весьма приветливо выразившего удивление моему присутствию на маневрах. Несмотря на дождь, он был в духе, как тотчас заметили испытанные в хмуреньи бровей придворные.

Около четырех часов Корф начал переправу сильным огнем противоположного берега и затем повез первый отряд десанта. Разумеется, мы тотчас понеслись к месту высадки и при лучах восходящего солнца любовались картиной, написанной для новичков, а не для нас, ветеранов, выходивших на кавказский берег с кораблей, как выходят из омнибусов. Я порадовался, что и здесь мои детища, канонерские лодки, выказали свою действительность, на каждую сажали по триста человек. Ничтожный отряд Николая Николаевича был тотчас прогнан. Флотилия продолжала подбавлять войска и начали наводить мост из бревен по усовершенствованной системе севастопольского моста. Государь отдыхал до 11-ти часов и, выйдя в это время осмотреть, что делалось, был встречен роем живших на смежной даче воспитанниц николаевского института, прилепившихся к нему весьма бесцеремонно. Воспитанницы явились в парк посмотреть на маневры и с детской дерзостью напали на балующего их императора. Скоро военный дом был оттиснут и представилось небывалое в военных действиях зрелище — Государь, принимавший в них участие, среди хорошеньких девушек. Мне показа-

лось, что властелин-отец переносил любовь к дочери на всех девиц ее возраста; так он был нежен к кокеткам, насильственно нарушившим программу маневров. Государь посадил их в катер, показал противоположный берег, и когда мост был наведен, с ними обновил его. Возвратясь на Мурзинский берег, он поставил институток около себя, и все войска Корфа около них проходили. Расположившиеся лагерем солдаты затеяли песни и пляски, и царь привел на зрелище свою свиту в юбках.

Принесли в парк изготовленный для девиц дома обед, приправили его придворным десертом, и государь все время любовался аппетитом пансионерок. Конечно, память этого дня будет жива по гроб, не одна бабушка похвастает перед внучатами, как император тешил ее 30 июля 1865 года. Видевши, что можно было видеть и чего даже не хотелось бы видеть, я возвратился украдкою, между двумя противниками, в Павловск.

По поводу беспрестанных нарушений и искажений законов Морским управлением мне показалось, что в высшем законодательном учреждении нашем существует весьма важный пробел. За изданием законов не следует контроль над точным исполнением их. В сущности это обязанность министров, но они-то и суть главные нарушители. Если бы копии со всех циркуляров министров посылались в государственную канцелярию, и государственный секретарь имел бы право с разрешения совета вчинять, так сказать, иск по произвольным толкованиям закона, министры были бы осторожнее, и над ними учредилось бы хотя какое-нибудь наблюдение.

Многие вопросы занимали в это время каждого, считающего долгом жить общей жизнью, и личные неудачи мои бледнели перед надеждами на общие усовершенствования, обещанные первыми действиями правительства, унаследовавшего печальные результаты прежнего порядка. Вопрос о цензуре был особенно близок обществу, устыдившемуся своей немости и тупой покорности существующему. С первого сентября в обеих столицах дозволялось издавать безцензурные газеты, и лучшие публицисты наши готовились воспользоваться дорогим правом. Исключение необъятной провинции, т. е. всей России, учреждение какой-то умственной привилегии для Петербурга и Москвы только без сомнения основывались на важных административно-политических соображениях, но не могло не казаться манией к централизации, доходившей в правительстве до самоубийства. Естественным последствием привилегии столичных журналов было сосредоточение в столицах умственных сил и непременное господство их над всей страной. Петербург и Москва стали бы Россией точно так, как Париж был Францией и с такими же невыгодными для существовавшего общего строя результатами. Могло ли правительство желать единодушия провинции со столицами во всяком случае? Или оно надеялось вести эти столицы по произволу даже при свободе печати? Если требовались предостережения, правительство не замедлило получить их в статье Московских Ведомостей от 16 августа по поводу педагогического съезда в Одессе. Ложу власти грозила опасность перестать быть розовым.

Первые дни законной свободы печати не родили ничего особенно замечательного. Катков бил по-прежнему Головнина, укорял его в негласных субсидиях «Голосу» и указывал, как неприлично правительству мешаться в партии. Всего искренней была статья Аксакова в первом номере «Дня». Радуясь простору слова, честный Аксаков с восторгом приветствовал данное право не лгать и стряхнуть навык к подобиям, как смело назвал все новейшие попытки по пути прогресса.

Уже в это время с неизвестной мне целью был составлен в министерстве внутренних дел общий взгляд на нашу литературу за последнее десятилетие. Взгляд на литераторов, в частности, был довольно верен, но общее заключение выказывало чисто чиновническое настроение — способность смотреть на предмет исключительно со стороны причиняемого им

или могущего от него произойти вреда. Рецензент видел упадок искусства в господстве обличительного и отрицательного направления и, беспрестанно повторяясь, скорбил, что не было ничего подобного Пушкину, Лермонтову, Гончарову (тогда собрату рецензента по цензуре) и другим. Странно было в то время искать фантазии в литературе и горевать о ее отсутствии. Литература всегда и везде отражала общество, если свыше не подергивали зеркало покрывалом; в ней, по преимуществу, проявляются бродящие в обществе идеи, его страдания или восторги, его верования, надежды, стремления и даже самая апатия. Когда не было возможности выражать чувствуемого, высоко настроенные сильные души в потребности выливаться ухватывались за отвлеченности и совершенно отрешались от действительности. Может быть, в сочинениях было более художественности, но они не назидали, а имели вид праздных произведений огромных талантов, которых лишали необходимой пищи. Исчисляя новейших публицистов, рецензент считал славянофилов особенно вредными. В чисто самодержавном смысле он не ошибался.

Чтобы довершить хронику моего бездействия в 1865 году, остается сказать еще несколько слов о железных дорогах.

В исходе года возвратившийся из обзора крепостей южной России Тотлебен говорил о выгодах соединения Лемберга с Одессой железной дорогой. Англо-австрийская кампания уже довела железный путь до Черновица и очень желала продолжать его до Черного моря через Бессарабию, разумеется, с гарантией. Ей нужно было скорое решение, иначе она была вынуждена распустить рабочих или согласиться на предложение идти от Черновица к Галацу. Еще прежде, в правительственных сферах, одобряли предложение Лемберг-Черновицкой кампании и велено было произвести изыскания. Вялый Мельников вдруг воспылал неудержимым огнем и захотел доказать, будто можно скоро и дешево строить железные дороги на казенный счет. Посланные для разведок офицеры нашли необходимыми в бессарабских степях 22 версты туннелей. Англо-австрийская компания протестовала, и Тотлебен стал на ее сторону.

Спрошенный государем Мельников уверял, будто проект, против которого говорил Тотлебен, составлен по указаниям кампании, а офицеры, не соглашаясь с ним, составили свой всего с 400 саженями туннелей. Воображаемый офицерский проект велено было передать Тотлебену, но он не получил его еще к концу года.

История Одесско-Черновицкого пути вообще прекурьезная. Мельников, не занимавшийся делом, внезапно стал политиком и считал путь вредным в коммерческом, политическом и стратегическом отношениях. К нему присоединился Рейтерн, бывший недавно в Вене и там сошедшийся с военным агентом нашим. Торнау дошел в аргументах против бессарабской дороги до абсурда; мне случилось читать его возражения. Торнау уверял, будто бессарабская дорога послужит путем наступления в России и в то же время указывал на выгоду соединения Лемберга с Балтой через Подолию, будто там наступление менее возможно; притом агент утверждал, будто транзит австрийских мануфактурных произведений убьет наше судоходство в Черном море. Противники бессарабского проекта доказывали, что для нас безопаснее, если дорога пойдет вдоль наших границ в Галац. Это чистый софизм. Чтобы наступать по дороге, прорезающей нашу землю, нужно объявить войну, а стянуть на линии, параллельной нашей границе, войска можно заблаговременно, при первых дипломатических затруднениях. Князь Горчаков опроверг дипломатические, а Тотлебен стратегические доводы Торнау. Тогда явилась вдруг в Вене кампания, которая взялась вести дорогу от Лемберга в Балту, с гарантией на поверстную стоимость 26 тысячами меньшую, нежели требованная англо-австрийской кампанией. Нашли подставных аферистов, чтобы остановить решение государя; иначе трудно было объяснить дешевизну доро-

ги по гористой местности со стороны кампании, не имевшей еще нужных для работы средств, перед стоимостью дороги по равнине определенной кампанией, владевшей уже инструментами, рабочими и административным составом. Я напирал на эти соображения в разговорах с Тотлебеном и последствия оправдали мои опасения. Всем памятно дело Балто-Волочисской дороги, переданной обществу Пароходства и Торговли.

В это время впервые явилась идея об участии земства в гарантии железных путей, идея, ставившая бедные земства между искушением иметь железную дорогу, а в случае неудачи, тратить на бесполезный путь все свои средства. Сколько помню, мысль эта принадлежит Ф. В. Чихову, высказавшему ее в Географическом обществе. Средства земств слагались из трудовых копеек народа, собирались прямым налогом, самым ненавистным из всех налогов, и вдруг увлеклись мыслью о возможности уплачивать миллионы земскими копейками. Вдобавок это толкало земства в арену спекуляций, тогда как им предстоял чисто положительный труд, требовавший верного расчета и приложения выводов к чрезвычайно полезном, но вместе весьма трезвому делу.

В Петербурге в первый раз собралось тогда губернское земское собрание и заседания привлекали в сад дворянского клуба немало слушателей. Вообще говоря, я не ожидал, чтобы первая проба, в окружающей атмосфере, была до такой степени удовлетворительна. Неопытность всего яснее высказывалась в предложении вопросов на голосовке. Мнения недостаточно сводили, и брошенные на голоса, подвергались изменениям и поправкам, ведшим только к излишнему ораторству.

В исходе 1865 года начало ясно выказываться желание власти остаться при прежних приемах смахивания произволом встречающихся затруднений. Мысль о законности проводили только на словах в массы, в публику, правительство же вовсе не хотело подчиняться ей и обнаруживало свои взгляды, даже не соблюдая приличий. В заседании Одесской думы 3 декабря гласный граф А. Г. Строганов, выслушав отказ министра финансов в вознаграждении города за квартирную повинность, обратился к собранию с обвинительной против министра речью. На правительство нападал не студент или иной неопасный юноша, а именитый барон, связанный родством с царственным домом и сам бывший министром.

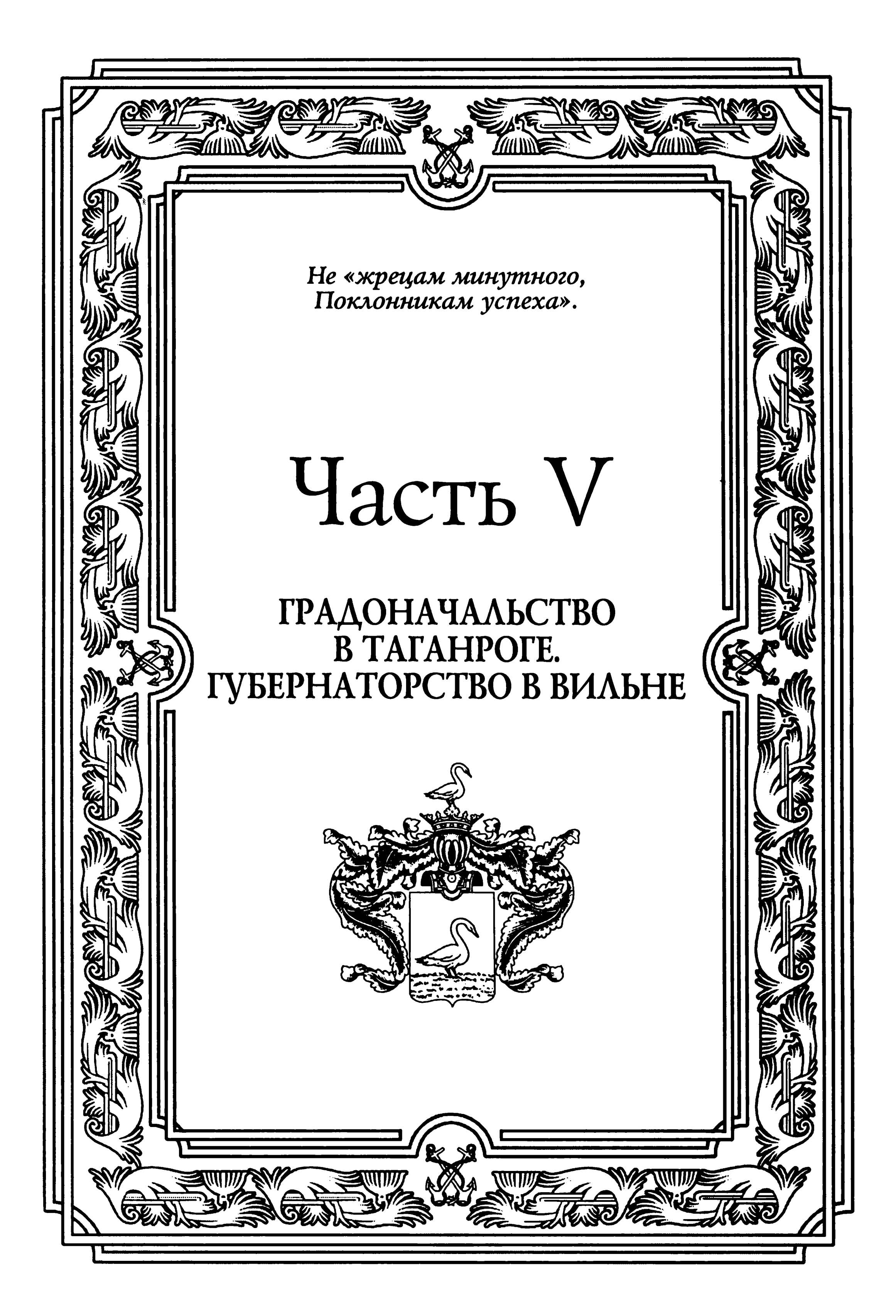
Речь преимущественно выражала озлобленное расположение гордого аристократического духа, но как первое гласное требование — привлечь министра к суду — заслуживает места в современной хронике.

Оратору и голове, князю С. М. Воронцову, допустившему речь, сделан выговор «за выражения, в высшей степени оскорбительные для министра финансов и потому неприличные». Оскорбительного в словах Строганова не было, они могли быть неприятны, не более. Неужели дозволяя и даже поощряя поступление служащих в выборные гражданские учреждения, ожидали, что они не будут действовать в пользу избирателей?

На Георгиевском празднике Кауфман предложил мне деятельность в северо-западном крае. Томясь праздностью, я с радостью согласился на его предложение в ожидании удобного момента, хотел поехать со страдавшей женой в более мягкий климат. Пользовавшись весьма недавно годовым отпуском, я просил генерал-адмирала дать мне какое-либо поручение в южной Европе и получил обещание. Обращаясь с просьбой, я особенно налегал на невыгоду для меня нового отпуска. Дело затянулось, несмотря на выказанное великим князем сочувствие к положению жены, а в январе 1866 года я неожиданно получил вновь годовой отпуск — сделали именно то, чего мне очень не хотелось. В этот раз я принял окончательное решение удалиться из флота и перед отправлением написал генерал-адмиралу письмо, в котором просил его не препятствовать переходу моему в другую службу, если случай к тому представится.

Примечания

[1] А. В. Головнин.
[2] Провел неприятные четверть часа.
[3] Свободу Италии до Адриатики!
[4] Вознаграждение должно быть столь же быстрым, сколь самопроизвольной была отвага.
[5] Вашему Императорскому Высочеству.
[6] Высадка войск на берег.
[7] Мы выполняем здесь дело самоотверженно.
[8] См. «Колокол» №87 и 88 от 15 декабря 1860 г., стр. 743; корреспонденция «Константин Николаевич любит линьки». (А. И. Герцен, под ред. М. К. Лемке, т. X, №1522. Петербург. 1919 г.).
[9] Верхний конец вертикального рангоутного дерева.
[10] Обратная посадка десанта на суда.
[11] И что он знает свой народ.
[12] Золотая монета в 20 франков.
[13] Остров Крит в описываемый период принадлежал Турции.
[14] Экипажи портовых (грузовых) судов.
[15] Посыльные суда.
[16] Вне кампании.
[17] Вне штата, в запасе.
[18] Комендорами или артиллерийскими старшинами.
[19] В рукописи Шестакова дан параллельный текст на французском языке, который здесь опускается.
[20] «Будьте так добры передать мои слова адмиралу Ригб и сказать ему, что в данном случае имело место намерение оскорбить его и что я готов принять на себя все последствия».
[21] Современный Маон, порт на острове Менорка.
[22] Служака, «солдафон».
[23] Говорит по-французски, как испанская корова.
[24] Что он не сумел поставить себя выше телеграфа».
[25] И в этом — моя единственная заслуга.
[26] «Отправляясь в Сирию!» — бравурный французский марш, введенный со времен Наполеона I. В данном случае должен был исполняться вместо марсельезы, которая была запрещена в русском флоте до заключения франко-русского союза при Александре III.
[27] «Силен "Генерал-Адмирал", у него крепки бока!»
[28] Приводится в сокращенном виде.
[29] Я вовсе не думал, что так скоро окажусь пророком, в следующем апреле поднялась на нас все Европа по Польскому вопросу, и мне же, с генералом Крыжановским, пришлось наскоро укреплять Кронштадт.
[30] Что он сварливый, неуживчивый человек.
[31] На погибель.
[32] Полофилов любой ценой, или лучше ценою денег.
[33] Что будут делать с Польшей.
[34] Украденное-то — собственность! (т. е. что украл, то мое).
[35] Великий Князь был очень недоволен Валуевым за дозволение журналам свободно критиковать его действия в Польше. Возвратясь из Варшавы, Константин Николаевич, в порыве бушевавшей страсти, сказал министру, что в его «двое весов и две меры»; что пропуская статьи против него, Валуев не допускал будто печатать ничего в оправдание Великого Князя.
[36] Натаскиватель (от слова seriner — учить как попугая, учить песенкам).
[37] Наследник — Великий Князь.
[38] Мазок кисти.
[39] Не компрометируя себя.



Не «жрецам минутного,
Поклонникам успеха».

Часть V

ГРАДОНАЧАЛЬСТВО В ТАГАНРОГЕ. ГУБЕРНАТОРСТВО В ВИЛЬНЕ

ГЛАВА I

НАЗНАЧЕНИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОМ В ТАГАНРОГ

Прибытие в Париж. Национальное собрание. Начало конца. Каракозовское покушение. Мне предлагают Таганрогское градоначальство. Возвращение в Петербург. Крушение в правительственных сферах. Первые реакционные громы. Отъезд мой в Таганрог. Знакомство с сослуживцами и согражданами. Между нами один я только русский. Знакомство с генерал-губернатором П. Е. Коцебу, тоже не русским. Решимость моя остаться русским.

В этот раз поезда совпадали в Берлине и через трое суток мы приятно бездействовали на Парижских бульварах. Вытесняемый с арены труда упорно и настойчиво, я поневоле начал дружиться с праздностью и жадно искал развлекающих зрелищ. Театры и национальное собрание доставляли преимущественно пищу моему бродившему без цели уму, и я стал постоянным посетителем обеих сцен — драматической, на которой разыгрывалась общественная жизнь, и политической, где государственная жизнь представлялась с неизбежным во Франции театральным, подчас даже комическим эффектом.

В народных зрелищах всего рельефнее выдается современное состояние общества. Два года назад здесь были в моде волшебные представления, в которых проявлялось механическое искусство, тешившее по крайней мере зрение. Теперь удовлетворялась только чувственность, и в непристойностях не было даже тени изящества. Нагие женщины, распаляющие кров, неистовые пляски, от которых грубее вкус, перенесенные с улицы на театральные подмостки, удовольствия невежественной толпы, перемещенные с мостовой на сцену без малейшей попытки облагородить их искусством. По временам один субъект выкупал всю пьесу, как бы нелепа она ни была; но большей частью сцепление таких пошлостей и бесстыдных выставок, что выносишь из театра одно негодование. Правительство видело свою выгоду в огрублении публики. Чувственность заглушает все умственное и отвлекает от размышления.

Законодательная сессия 1866 года с пророческой удачей отмечена в моих записках началом конца. По поводу прений об адресе 36 членов надписали поправки к параграфу Комиссии, касавшемуся внутренних дел, они просили расширения свободы, и в числе просителей были приверженцы династии.

Правительство вышло из прений значительно слабее, нежели было до сессии.

Наполеон был сам виновен в волнениях, происшедших в собрании. К чему было громогласно объявлять в тронной речи, что развитие свободы, допущенное указом 24 декабря 1865 года, считается достаточным. Власти можно было им довольствоваться, не двигать-

ся далее по тому же пути до поры до времени и — молчать. Но, кажется, император мечтал, что ему все возможно. §1 ответного адреса, которым выражалась надежда, что правительство будет продолжать идти путем прогресса, вызвал долгие энергичные прения. К оппозиции присоединились либеральные бонапартисты (по-моему, они были бонапартистами потому только, что этот цвет выгоден в настоящем), и поправка к параграфу уже собрала 60 голосов. Их было бы более, но оппозиция высказала парламентскую неловкость. Если бы она не согласилась вотировать с отпадшими от большинства голосами и имела к тому предлог, ибо изменение, введенное отпавшими в оппозиционную поправку, не удовлетворяли оппозицию, — многие члены большинства присоединились бы к либеральным своим собратьям, видя же, что оппозиция присоединяется к либералам-консерваторам, чистые консерваторы ужаснулись такому сообществу. Ничтожным успехом в настоящем, оппозиция упустила разгром доселе сплоченного большинства в близком будущем. Правительство, опасавшееся разъединения большинства по вопросу о большей свободе, торжествовало, но его обаяние поколебалось. Никогда еще личность императора не выставлялась в прения с подобной смелостью; никто еще не дерзал выражать мнения, что Конституционная ответственность его есть условие серьезное, подвергающее опасности династию. И публика стала смелее. Когда император посетил Одеон, ему впервые свистали и кричали ne touchez pas au Luxembourg,[1] разумея Гауссмановские операции над садом. Таких демонстраций еще не бывало.

Официальные кандидатуры обещали те же последствия, что Paysleqal Людовика Филиппа. Представительство должно было стать фиктивным, и насилуемый народ готовился грозно и шумно высказать настоящие свои надобности правительству, обольщавшему себя искусственным большинством в собрании. Сенат, по ничтожности своей, перешел бы на сторону торжествующих. Власть выходила из затруднений преимущественно речивостью своих органов; но в этот раз тщетно силились доказать, что черное бело, что настоящее правительство несравненно ближе к принципам 1789 года нежели предшествовавшие парламентские. Оппозиция опровергала их с блистательным успехом. С обеих сторон было много лишней болтовни. Со стороны оппозиции нужно было указать на факты только, а с правительственной выставить исторический опыт: вместо того противники увлеклись общими рассуждениями, и одна сторона заговорила, так сказать, свои веские доводы, а другая, выступая на поле, где у неприятеля была крепчайшая позиция, предалась бесплодным эволюциям и, наконец, переговорам вместо боя.

При невозможности отвести общее мнение в другие каналы, Наполеон думал смирить его самоуверенностью. В ответ на адрес палат император сказал, что правление его допускает правительственное развитие свободы и в заключении прибавил следующие слова, замечательные потому, что близкие события доказали всю неосновательность их.

«Тому пятнадцать лет, будучи главою государства только по имени, без действительной власти, лишенный опоры собрания, я решился, сильный совестью и голосом призвавшего меня народа, объявить, что в руках моих Франция не погибнет. Я сдержал обещание. В течение пятнадцати лет Франция развивается и растет непрерывно, судьбы ее свершаются. После нас потомство наше будет продолжать начатое нами дело. Я вижу залог тому в помощи государственных учреждений, в преданности армии, в патриотизме всех добрых граждан, наконец, в благости самого провидения, всегда хранившего наше Отечество».

И уже близился момент, когда все вещественные залоги оказались воображаемыми, и само Провидение покинуло Францию, преступно отдавшуюся преступному правителю.

В обществе я бывал мало, преимущественно беседуя с незлобным стариком Киселевым

и любуясь его легкой старостью. Совершенно случайно на каком-то обеде столкнулся я с Ренаном и Э. Араго, только что возвратившимся из долгого изгнания. Ренан имел вид добродушного человека, чрезвычайно скромного, смиренного голосом и даже робкого, откуда такая дерзость мысли в формах уничтожения. Араго — образчик людей, всплывающих при народных волнениях; много фраз, энергии в выражениях, но ни капли смысла, даже, поручусь, никаких истинных убеждений. Если он упорствовал в своих республиканских воззрениях, то просто потому, что о нем никто не думал. Правительство и не пыталось привлечь его на свою сторону по совершенной его ненадобности. Ренан и Араго, с которыми мне пришлось говорить, или правильнее которых мне довелось слушать в течение нескольких часов, играют, кажется, в моей судьбе некоторую роль. Скоро, как увидят, я возвратился в Петербург, куда предшествовала мне молва о необыкновенной дружбе моей с социалистами. Из людей с особым цветом, я знал только Ренано и Араго (Дюма-сын не мог подлежать никаким сомнениям) — и то поверхностно. Ни один из них не социалист, но для агентов известного рода не существует оттенков, когда хотят стушевать кого-нибудь, и я, всегда считавший чистый социализм утопией, нелепостью, попал в последователи Фурье. Пущенный в меня из-за угла ком на лету рос более и более, и на первом по моем возвращении выходе фрейлина графиня Комаровская с удивлением спросила меня, правда ли, что я отвез в Париж материалы для явившейся в феврале статьи Masaqa «Alexandre II et la Russie», что об этом много говорили. Во многом, может быть, я грешен, но не в таинственности; всегда и во всем я поступал явно, открыто, и мог считаться простаком, а никак не кознодеем. В этом случае оправдаться нетрудно, друзья провожали меня вечером на станцию 31 января. В Париж я не мог приехать ранее 3/15 февраля, и тогда же действительно приехал. «Revue de deux monde» со статьею Masaga появилась с обычной своей аккуратностью 3/15 числа; физически было невозможно в ней мое участие, и я просил Комаровскую сказать моим доброжелателям, что для лгунов и клеветников помнить числа или справляться о них было первым и главнейшим условием.

До социалистов ли было мне, когда вскоре по прибытии нашем в Париж все тамошнее русское общество занялось происшествием в отечестве, несравненно более интересовавшим русских, нежели все парижские треволнения и французские бредни. На дворянских выборах в Петербурге по предложению князя Г. А. Щербатова дворянство просило допустить выборных членов в Государственный совет. Князя чествовали обедами, и решимость его имела отголосок даже в Париже. Правительство на этот раз поступило весьма мудро. Не только щербатовское предложение обошлось без утративших свое значение и никого не огорчающих выговоров, но выбор губернского предводителя, сделанный явно в оппозиционном направлении, утвержден. Кандидат, московской памяти Орлов-Давыдов, в официальном положении должен был выказать свою несостоятельность как агитатор. Утверждая его, государь выражал дворянству доверие и вместе явно показывал, что оно ничего не значит и не может считаться в числе серьезных противников. Так всегда следовало бы поступать разумному правительству.

Щербатовский эпизод не имел последствий, однако же подобные попытки различных законных собраний не совсем бесплодны. При все спокойствии своем государь не мог, наконец, не заметить общих опасений и желаний, не допускаемых до трона обычными советниками. Выбор таких посредников с самого начала царствования носил характер исключительно личного вкуса, и не с ними можно было ожидать успешного разрешения поднятых важных вопросов. Сходясь по поводу щербатовского дела, мы, русские в Париже, старались прозреть в будущность отечества. Многие сожалели, что у нас люди способные и

энергичные, с убеждениями и познаниями, не обладают умением и ловкостью проводить свои идеи и достигать цели. Уменье это, бесспорно, необходимо для государственного деятеля, но разобравши все внимательно, придешь к заключению, что условия такого деятеля в России сверхъестественно тягостны.

В самом разгаре прений наших по щербатовскому делу пришло известие о покушении на жизнь государя при выходе его из Летнего сада. Крестьянин Осип Иванов отвел руку убийцы. Кроме отвратительности преступления, в этом случае поражало не менее бессмыслие. Смерть государя при несомненном обеспечении наследия ничего не изменила бы. Если б люди преданные оставили государя в покое, нет сомнения, способная к высоким побуждениям природа его выказалась бы самым великодушным образом. Я был твердо уверен, что он воспользуется случаем блистательно открыть новые суды. По вводившимся положениям в таких обстоятельствах следовало созывать экстренное судилище, без присяжных; но весьма расчетливо было бы выказать доверие к общим судам и отдать им дело на решение.

Получивши почти единовременно с вестью о Каракозовском безумии предложение принять таганрогское градоначальство, я поспешил в Петербург и прибыл туда 15 апреля.[2] В Зимнем дворце и в обществе все показались мне несовершеннолетними, — такое крушение произвело бессмысленное покушение. Стали громко требовать инквизиционного исследования дела и указывали на отдыхавшего уже от виленских подвигов графа Муравьева, как на гарантию точности и строгости исследования. Журналы, и в главе их «Московские Ведомости», завопили о послаблениях и сами требовали возвращения к произволу. Чистое неистовство страха. Муравьев принялся за дело с целью разделаться со своими недоброжелателями и свести с ними виленские счеты. Ловко карабкавшийся вверх Головнин рухнул моментально; Муравьев скоро вывел покушение из хаоса, существовавшего в школах. К большей горечи падения Головнин сдавал должность врагу своему графу Д. А. Толстому, радостно обнявшему меня на выходе 17 апреля с криком «couraqe et patience».[3] Великий Князь Константин узнал о падении своего любимца внезапно. Князь В. А. Долгоруков отказался от обязанности весьма ловко, сознавая свою неспособность — и сделан за то обер-камергером. Граф Шувалов из Риги взят на его место, и многие должности перешли в руки преданных; о способностях не думали. Бесполезный Суворов сдвинут с упраздненного места на другое, где он не мог быть полезнее; его сделали инспектором пехоты, и огорченный экс-генерал-губернатор по примеру деда уехал в Новгородскую деревню, откуда его не вызвали, как сделали когда-то с дедом, а он приехал сам. Героя дня Осипа Иванова возили и водили всюду, устраивали в пользу его подписки и к обществу прививали религию случайности, сравнивая слепое орудие удачи с мужественным Сусаниным — и не нашлось у кормила ни одного человека, который охладил бы нелепый, истинно детский восторг.

Едва заметили, что таинственным охранительным механизмом самодержавия призвали управлять человека властолюбивого, самоуверенного, всегда стремившегося к значению и смотревшего на царя и подданных как на ступени к собственному возвышению. Не догадывались, очевидно, что вновь наступала аракчеевская эра, разумеется, с вариантами, соответственными времени; что повторялся период царствования Александра I, в который отвратительный льстец ссорил его с народом, беспрестанно поражая царственный слух неблагодарностью подданных и выставляя их врагами всякой власти. Будто за вину одного следовало казнить всех, будто благодеяния творятся исключительно с целью заслужить благодарность, а не по влечению великой души и указанию светлого разума.

Началась эпоха бедственной реакции, бессмысленной как само преступление, ее поро-

дившее, придуманной будто с целью уничтожить общее, выказанное Россией, сочувствие к царю. Правых и виноватых не было в глазах шефа жандармов, скоро сделавшегося единственным охранителем пораженного испугом престола. Было зло, создаваемое его расчетливым соображением, непрестанно употребляемое им как орудие для возвращения собственного влияния — и Россия стала вдруг гнездом возможных козней против милосердного царя, не смогшего настоять в своем милосердии. Сделали все, чтоб народ забыл Каракозова и помнил только, как застонала вследствие его преступности невинная Россия.

Перед отъездом в деревню Суворов успел рассказать мне, как Государь обнимал его со слезами и как он ответил: «Sire! Qe ne crois pas a Vos larmes».[4] Я не поверил ответу, ему не оставили бы после такой решимости генерал-губернаторского содержания. Впрочем, мне было не до поверки Суворова. Новая обязанность требовала от меня усиленного внимания. Прибывши в Петербург, я узнал, что имя мое было внесено в список кандидатов на градоначальство, представленный новороссийским генерал-губернатором Коцебу. Немедленно поблагодарил я его письмом за доставленный мне случай возвратиться к деятельности и разделаться с морским министерством, не жертвуя влечениями моими к морю, оставшемуся за мной и в новой обязанности, хотя в тесных границах. Таганрогский градоначальник был вместе попечитель азовского судоходства. Предстояли довольно важные местные вопросы, и я от души радовался назначению, хотя прежде в Таганрог посылали тех только, от кого желали отделаться, и в отношении меня не изменили принципа.

В продолжение месяца я знакомился теоретически с различными местными делами, не имевши случая сказать двух слов с великими департаментского мира. Поразительно, до какой степени централизация мертвит у нас всякую деятельность. Все идет в министерство и в реторте этой распускается или исправляется, не производя ничего из собранных на месте данных. Дела об устройстве порта, об уничтожении грабежа на Азовском море и т. п. тянулись по годам, не получая никакого решения. Право странно смотрят на долг. Пишут много и ни до чего не дописываются, говорят бойко, даже с хвастовством знания подробностей, и ни до чего не договариваются. Некоторые таганрогские жители, случившиеся в столице, усердно посещали меня, а я усердно слушал их рассказы с упорным с моей стороны молчанием. Из слов их я вывел одно только заключение — что богатые местные греки привыкли все вести по-своему, следовательно, мне предстояла борьба. Учреждение Таганрогской губернии привлекло бы в город интеллигентский русский элемент в лице помещиков и чиновников, и низвело бы иноземный на должный уровень; но на это требовалось большое терпение. Валуев почти поздравлял меня губернатором; план губернии был окончательно выработан. Дело тянулось с сороковых годов, но, к сожалению, взгляды различных начальников были совершенно различны. Настоящий генерал-губернатор и министерство сошлись, наконец, в воззрениях. Главный спорный пункт был Миусский округ, не имевший ничего общего с Донской землей, но входивший в состав ее. Там были помещики и крестьяне, и вовсе не было казаков; но атаман Хомутов из опасения, чтоб округ не отошел к России, заселил Николаевскую косу казаками на войсковых правилах. Эта несчастная голодающая станица, свидетельствуя фактически о казацком праве на округ, служила камнем преткновения и разрушала все попытки придать краю целесообразное административное устройство. Правительственный порядок и выгода населения требовали непременного изменения существовавшего административно-территориального дробления. По берегу моря, в верховьях его, сталкивались четыре власти, действовавшие по различным постановлениям. Ростов с уездом управлялся на общем положении о губерниях, принадлежал к

Екатеринославской, но был отрезан от нее Миусским округом. К западу, вдоль залива, шла армянская земля с екатерининскими привилегиями, а по северной границе уезда — казацкая земля со своим уложением. От моря стоящий при устьях Дона Ростов был отрезан также казацкими владениями. На западе от армян и ростовского уезда упиралось в море в Миусский округ таганрогское градоначальство, зависевшее от Екатеринославля только в судебном отношении, с начальником на правах губернатора; наконец, в самом западном угле градоначальства, у устья реки Миуса почему-то был небольшой треугольник, принадлежавший опять Ростовскому уезду. В самом Таганроге было русское общество и греческое общество. Короче, местность была перегорожена административными рогатками (существующими и поныне), на которые различные власти беспрестанно натыкались и в бесплодных усилиях испускали дух. При моем назначении положено было оставить пока в стороне вопрос о Миусском округе и образовать губернию из Ростовского уезда, только что присоединенной к нему армянской земли, Таганрогского градоначальства, двух станов Александровского уезда, Мариупольского округа и всего Бердянского уезда. Это была бы чисто приморская губерния, раздвоенная Миусским округом, но все же несравненно более удобная для администрации нежели настоящие разъединенные атомы. Чересполосность мешала всякому действию помощи. Местность славилась выделкой фальшивых ассигнаций, контрабандой и, наконец, пиратством. На пути зерновых грузов от Ростова на рейд их крали с лодок организованными бандами, укрывавшимися в донских камышах, и не было возможности пресечь подобные вопиющие беззакония. Вопрос о губернии стоял за тем только, что учреждение ее потребовало бы 81 тысячи рублей ежегодного расхода; но при новом порядке по крайней мере на эту сумму уменьшилась бы выделка ассигнаций, не говоря о том, что с государства сошло бы много темных, постыдных пятен.

Надеясь, что мне удастся очистить местную торговлю от хищнических приемов, устроить в Таганроге гавань и содействовать соединению Азовского прибрежья с Харьковом железной дорогой, я мечтал, хотя при конце службы, принести действительную, прочную пользу и думал забыть даже 30-летние труды на прежнем поприще, так грустно для меня прекратившиеся. Мы решили избрать волжский путь, но прежде отъезда нашего из столицы треснул первый реакционный гром — прекратили «Московские ведомости». Я узнал новость из уст взбешенного Толстого, в прихожей Царскосельского дворца, перед обычным представлением его величеству по случаю отъезда.

В промежутке времени, оставшемся до доклада Толстого, мы погоревали вместе о наступивших временах; обоим нам казалось тогда — я и теперь не переменил мнения — то началась эра взаимной поддержки в делах темных, где удовлетворение самолюбия и гибель личных врагов будут единственными целями.

17-го мая мы оставили столицу. В Нижнем мы сели на пароход и пошли вниз по Волге. Торговая деятельность на реке поразила меня, видевшего уже Миссисипи. Не было американской находчивости извлекать из всего пригодное, во всем проглядывала широкая, как сама река, славянская натура, отбрасывающая видимые безделицы без внимания к тому, что сумма их составляет важный итог; но сотни пароходов и тысячи барок мостили Волгу вдоль от Каспия до Балтики. Несмотря на введение повсюду пара, мне случилось видеть еще конные машины с тоскливыми забежками и другими детскими выдумками искусства в младенчестве.

С Волги мы перекатились на Дон по железной дороге и снова сели на пароход, протиравшийся по руслу реки до Ростова. Выражение «плывший» было бы совершенно неверным, мы часто тащились по отмелям, терлись о берега и останавливались за невозможнос-

тью пробиться между обмелевших барок. Так или иначе мы достигли, наконец, Ростова, истинно бурлацкого города, где я тотчас познакомился с достойным его головой А. М. Байковым. В систему управления его городским хозяйством входило умасливание наезжавших из Петербурга влиятельных или на что-либо ему пригодных личностей.

Вообще петербургские ревизоры и контролеры начинают с первой станции думать о скорейшем возвращении; привыкли к комфорту и, редко встречая его на пути, они радуются капуанским наслаждениям в глуши, как манне небесной. Тело нежится тем слаще, чем нега неожиданнее; не каменно сердце растворяется, и строгий цензор на все смотрит глазами ловкого местного издателя.

28 мая началось мое гражданское поприще общим представлением служащих, торгующих и иным образом промышляющих личностей. В Петербурге я видел пятерых экс-градоначальников и, собирая от них различные сведения, несколько ознакомился с будущими моими согражданами и сослуживцами. Их немало удивило, что я знал формуляры почти всех выдающихся жителей города. Разумеется, я выказывал знание хороших только сторон, а дурные берег про себя. Особенно заметил я тех служащих, о которых предместники мои передавали друг другу, что их следует удалить, а между прочим не удаляли.

В течение целого месяца меня будто не было: я присматривался и осматривался, оставляя все по-прежнему и налегая только на полицию. На месте административные затруднения оказались гораздо значительнее, нежели представлялись мне в обзоре бумаг министерства, касавшихся градоначальства. От Мариуполя до Ростова княжило шесть разных властей. Преступники легко укрывались от преследования закона; эта легкость до того была осязательная и существовала так долго, что население свыклось с мыслью, будто законы преднамеренно неясно изложены, чтобы можно было всегда обойти их. Во всем градоначальстве было два-три помещика, и те довольно дикие. Выбор чиновников ограничивался городом, от этого везде встречалось родство, кумовство и общность интересов. Выборное начало страдало от того же семейственного характера, и только земство могло уничтожить вредную наследственность обязанностей. В губерниях управление тоже местное, что полезно, но не фамильное; круг выбора несравненно обширнее.

Огромное большинство русского населения находилось в положении илотов; торговля, следовательно, и богатство, были в руках иноземцев, преимущественно греков, привыкших думать, что с деньгами все возможно и нет силы кроме кошелей.

Зараза при ежедневных торговых сношениях легко переходила из вольного по-своему Ростова, и по прибрежью правительственного влияния почти не существовало. Приходилось или изменить утвердившийся обычай или самому переменить веру — стать пассивным свидетелем известного порядка.

Я думал, что придется только устраивать гавань и хлопотать о соединении Азовского моря с сердцем России железной дорогой, а оказалось, что нужно много перестроить. Без помощи генерал-губернатора усилия мои были бы тщетны, и ни к чему не приступая, я отправился в Одессу убедиться, до какой степени помощь оттуда возможна, и представить результат месячных моих наблюдений.

В генерал-губернаторе, П. Е. Коцебу, я встретил очень умного человека, обрадовавшегося желанию моему трудиться и помогавшего мне в течение двух лет настолько, насколько не препятствовало понятное влечение к городу, в котором была его резиденция. Одесса поглощала усилия начальника, поставленного блюсти за двумя окраинами России, разделенными тысячиверстным почти расстоянием и основывавшими свое благосостояние на совершенно различных топографических базах. Почему и для чего соединили в одной власти Одессу, связанную с юго-запад-

ной Россией, и северо-восточный угол Азовского моря, служащий выходом произведениям юго-востока и даже Сибири? На вопрос этот могут ответить только придумавшие комбинацию. В обрусении местности Коцебу помогать не отказывался, но, опасаясь, чтоб подобная правительственная религия не проникла вследствие удачных попыток на юге в дорогой ему Остзейский край, особенно налегал, что привилегии различным племенам, населявшим край, даны высочайшей властью и изменены быть не могут, как нечто вроде взаимно обязательного условия между поселенцами и монархами. На таком юридическом основании можно было защищать всякое Status quo и отвергать все изменения, даже религию, которой генерал-губернатор был последователем.

Восхищенный, что буду иметь дело с рассудительным и рассуждающим человеком, но не совершенно согласный с некоторыми его взглядами, я возвратился к делу, успевши, однако, выказать, что имею собственные убеждения и не намерен смотреть на место как на синекуру. С исхода июня я начал уже действительно отправлять обязанность. Двухлетняя борьба с внешними и местными препятствиями поглощала все мое время; я жил исключительно деловой жизнью, вовсе почти без общественных связей.

ГЛАВА II

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Общий взгляд на предстоявшее мне дело и на административную власть вообще. Мое мнение о харьковско-азовской дороге, несогласное с мнением генерал-губернатора. Должный взгляд П. Е. Коцебу на свою обязанность. Переписка по устройству Таганрогской гавани. Прием генерал-губернатора в Таганроге. Прием генерал-губернатора в Ростове. Недоразумения с театральной дирекцией. Вопрос о водопроводе.

На пути из Петербурга я постоянно был занят планом действий, которому хотел следовать, проверяя собранные в столице данные действительностью. Я решился без долгого размышления избрать главнейшей целью окончание вопросов, возбужденных предшественниками и начатых ими исполнений; а предположения, еще не принявшие ясной формы, разобрать и примкнуть к местности со всем вниманием. Только сумма опытности многих могла служить некоторым залогом верности взглядов. Освободившись от министерства разрушения, я тем более был готов предпочесть усовершенствование старого созиданию нового, что все пагубные промахи перестроителей морского управления были еще очень свежи в памяти. Вместе с этой идеей я тотчас усвоил другую, хотя она была противоположна всем привычкам моей жизни. Административная власть не казалась мне властью, а обязанностью, в которой препятствия устранялись единственно существующими законами. Без них начальническое влияние администратора существовать не может и не должно; только ими подпирается его значение, и власть в истинном смысле слова, т. е. возможность настаивать на исполнении личной воли, в гражданской службе немыслима. Понял я также, что, касаясь мелочей повседневной жизни, делая распоряжения, которые тотчас встречаются с интересами каждого жителя и нарушают более или менее его спокойствие или привычки, я не могу вводить в отношения мои к населению ту откровенность и бесцеремонность действий, к которым привык на корабле. Там, в случае промаха, удачное слово, обращенное к молодым поэтическим натурам, сглаживало немедленно шероховатости. Здесь и в деле, и в людях царила проза жизни. От меня ожидали облегчения вседневного существования, непридирчивой полиции, заступничества от лицеприятных или бездействовавших судей, свободы торговать и увеличивать свое благосостояние иными способами, короче всего, что делает жизнь легкой и удовлетворяет ее требованиям. Слова подчас могли нравиться моим слушателям, но как все сношения наши имели целью с их стороны, уступать и жертвовать сколько можно менее, а с моей — в точности соблюсти требование закона или добиться того, что я считал необходимым для общей пользы, то влияние слов и убеждений не могло бороться с повелительным голосом личного интереса.

Первое мое действие не выказывало, однако же, осторожности, к которой я себя приготовлял. Не нужно было иметь большой наблюдательности, чтобы заметить уничтожение русского населения в городе. Иностранцы составляли аристократию, или лучше олигархию, избегавшую требований закона под покровительством своих консулов и собственных огромных средств. Многие богатые торговцы были облечены сами в звания представителей интересов таких даже государств, которые я считал уже не имевшими права на отдельные представительства. Нельзя было мгновенно доказать всем этим привилегированным особам, что Таганрог в России, а Россия не Турция, где что консул, то расправа. Для этого нужно было ожидать случаев, а русское имя мне хотелось поднять тотчас же и выказывать греческим боярам, что большинство малых, поставленное обстоятельствами в приниженное положение, отныне будет иметь все права, большинству свойственные.

Перед самым отправлением в Одессу ко мне явились депутаты от «временно проживающего в Таганроге русского общества». Как ни покажется странным подобный титул в русском городе, он существовал официально. В общество входили все, прибывшие в Таганрог искать работы и оставшиеся в нем долгое время. Еще страннее, что русские признавались колонистами в своем крае самим правительством. Вина была не моя, и я решился только игнорировать подобные отличия. «Русское общество» жаловалось, что более года хлопотало о дозволении воздвигнуть часовню, изготовило план и приобрело уже материалы, но разрешения не приходило. Представляется весьма удобный случай выказать, что все должные желания русских будут выполняться немедленно. Правитель канцелярии привел мне статью строительного устава, в которой говорится, что никакая часовня не может быть воздвигнута без епархиального разрешения, а я открыл статью (455 второго тома), в которой упоминается только об иноверческих храмах, а о православных умалчивается, и взявши депутатов, пошел выбирать с ними место. При самом въезде в город с гавани, на возвышенности, представилась удобная площадка, принадлежавшая упраздненной крепости. Депутаты одобрили, бывший тут же городовой архитектор разбил фундамент, и я отправился в Одессу, прибавя свою лепту и разрешив тотчас начать работы.

Показавши окрест стоявшим, что намерен поддерживать достоинство вверенной мне власти, я не думал, чтоб вслед за тем пришлось выказать лицу, надо мною власть имевшему, что, повинуясь требованиям службы, я никак не отказываюсь иметь самостоятельные взгляды на местные вопросы. Из них главнейший был проведение железного пути от Харькова к Азовскому морю. Мнение генерал-губернатора упорно клонилось к тому, чтобы путь шел от Харькова на Мариуполь, как лучший по взгляду его пункт на Азовском море для отпускной торговли. В случае осуществления этого предположения предстояло создать в Мариуполе искусственную гавань. Посланная для исследования направления пути министром комиссия обратилась ко мне с просьбой выразить мое мнение. Служивши долго в Черноморском флоте, я имел некоторое понятие и об Азовском море и успел уже лично ознакомиться с ним осмотром прибрежных пунктов, по обязанности попечителя судоходства. Результаты моих соображений я сообщил председателю комиссии Абрампольскому, переславши в то же время копию имевшему иное воззрение генерал-губернатору.

«Вопросы, Вами мне заданные, — писал я Абрампольскому, — требуют немалого времени для разрешения в том смысле, в каком Вы желаете иметь его, т. е. с точностью, не подлежащей сомнению. Условие это необходимо в деле такой важности, как выбор пункта для конца железной дороги и совершенно оправдывает Ваше настояние получить верные данные; но то же условие побуждает меня к

возможной осмотрительности в ответе, нужно время. В прошлом году для сбора подобных данных был составлен здесь комитет, занимавшийся около шести месяцев. По собранным мною сведениям труды этого комитета заслуживают доверия. Данные были сообщены официальными и частными лицами, с которыми я успел уже познакомиться и в беспристрастии которых пока не имею причин сомневаться.

Между тем, хотя и приходится переделывать вторично то же дело, я приступил к сбору требуемых Вами сведений, теперь же считаю долгом, не откладывая, сообщить Вам мое мнение о морской стороне вопроса и истекающие из него соображения».

«Факты в Мариуполе и Таганроге почти всегда одинаковы, и большая часть иностранных кораблей идет на Таганрогский рейд. Это факт, заслуживающий внимания. Казалось бы, Мариуполь, отстоящий от Керчи на расстояние вдвое меньшее, должен преимущественно притягивать к себе корабли, а на деле выходит противное. Нетрудно найти тому причину, если мы ограничимся анализом и не станем предаваться умозрениям. Ростово-Таганрогская торговля несравненно значительнее Мариупольской; прибавлю даже Мариупольско-Харьковской, если б они существовали в соединении на том же пути. Она составляет нашу Азовскую торговлю в обширном смысле слова; сбыт в остальных пунктах суть только вспомогательные итоги. Так как самый дешевый способ возки товаров — море, естественно, суда идут навстречу им туда, где становится возможным принимать их, и если б гирла Дона дозволяли, нет сомнения, что купеческие корабли приходили бы в Ростов точно так же, как они проходят в Петербург, Лондон, Калькутту и другие внутренние пункты. Вот простой секрет значения таганрогского рейда. Сама природа помогает ему немало. Теперь, при диком, можно сказать, освещение рейда, суда идут к нему преимущественно потому, что он совершенно безопасен для стоянки. Вокруг рейда все хлебородные местности, так что он служит центром сбыта не Таганрогскому только району, не через Дон, всем низовым приволжским местам и земле войска Донского, а через пристани южного берега, Черномории. Было бы безумно утверждать, что погрузка товаров на нем удобна, но нельзя отвергать огромной выгоды близкого похода к плодоносным берегам рейда. И здесь я перейду прямо к вопросу о притыке железной дороги, оставляя в стороне ее внутреннее направление, технические соображения, вполне выпадающие на Вашу долю, и стратегические условия, если находят нужным вводить их в этом случае».

«Выбравши Мариуполь или иной пункт, еще более отдаленный от той местности, в которой торговля вступает на удобнейший из всех путей, морской, Вы выкажете желание насильственным образом притянуть три четверти торговли туда, где ведется четверть. Такой расчет, по меньшей мере, противен арифметике, науке не гадательной, а весьма положительной. Допустим, что Вы насильно произведете такое перемещение. Выиграет ли коммерция? Подешевеет ли на иностранных рынках наш товар от того, что его придется перевозить на дрянных лодках, управляемых бесчисленными и невежественными шкиперами лишнюю сотню миль, тогда как теперь эта сотня миль провозится на европейских кораблях, несравненно лучше управляемых. Подобная перемена, впрочем, немыслима. Вот что случится: суда по-прежнему будут толпиться на Таганрогском рейде, и для выгрузки ввозных товаров (которые нужно принимать в расчет доходности железной дороги), конечно, не остановятся в Мариуполе, а будут прямо проходить на Таганрогский рейд, там выгружать товары на каботажные суда, а эти уже подвезут их к Мариупольской железной дороге. Можно себе представить насколько от подобного порядка выиграют потребители. Корабли не будут на пути останавливаться в Мариуполе, ибо потребуется там заменить све-

зенный товар балластом, вновь выгрузить последний на Таганрогском рейде и там принять отвозный груз.

Если хотят привлечь всю юго-восточную торговлю нашу к Мариуполю, противно указанию опыта и практического смысла, то при направлении дороги к Мариуполю представляется одновременно вопрос о создании там порта. Не забудьте, что у Мариуполя стоянка подвержена всей ярости волнения. Требуемый порт должен быть годен для больших кораблей, иначе безопасность погрузки на них не обеспечится. В вопросе порта я вижу наибольшие затруднения. Гидротехнические сооружения вообще стоят весьма дорого, и нередко многое в них гадательно. Во всяком случае, для устранения гадательности требуются долгие, точные и систематические наблюдения над гидрографическими условиями местности, а их до сих пор никто не делал на Азовском море.

При известной подвижности дна у берегов Азовского моря такие постройки окажутся бесплодными без предварительного долгого изучения, а времени терять нам нельзя. Мы видим теперь уже в Бердянске следы поспешности, с которой приступили там к устройству брекватера. Не благоразумнее ли устранить гадательность и обратиться к тому пути, который торговля сама себе проложила. Говорят, у Мариуполя расходится лед неделей ранее, а замерзает неделей позже; но велика ли будет эта выгода, если вспомнить, что далеко большая часть товаров идет все-таки из Таганрогского залива, и что Харьковская торговля, которую хотят притянуть к Мариуполю, неминуемо направится частью в Одессу.

Гораздо проще и вернее улучшить средства нагрузки соответственно приливу товаров, хотя бы пришлось вытянуть железную дорогу по мелководью Таганрогского рейда. Но нечего думать о подобных предприятиях при нашей бедности. Достаточно миновать часто непроходимые гирла дешевой железной дорогой от Ростова к Таганрогу, устроить в Таганроге маленький порт, в котором погрузка могла бы производиться во всякое время, и заменить нынешний аргонавтский способ подвоза грузов на рейд буксирными пароходами и баржами. В этих мерах нет никакой гадательности. Наш жалкий парусный каботаж должен же, повинуясь общему закону облегчения труда, перейти на паровой.

Такой каботаж в скором времени станет плавать до самой Керчи. Большие суда будут останавливаться в Керченском проливе, и вместо леса мачт азовские порты увидят непроницаемый дым пароходов. От этого ни азовским портам, ни нашему военному флоту хуже не будет. Для достижения подобного естественного результата нужно развить наши минеральные богатства, что может быть сделано, проведя железную дорогу в угол Азовского моря, а не мимо залежей угля к Мариуполю».

Генерал-губернатору не могло нравиться подобное разногласие с его собственными видами. И здесь раз навсегда я скажу, что П. Е. Коцебу умел побеждать свое самолюбие в вопросах, касавшихся общей пользы, по крайней мере таков мой личный опыт. Коцебу в совершенстве понимал обязанность свою. Вместо того, чтоб вмешиваться в обязанности губернаторов, выводить их из должного настроения духа начальническими придирками и уничтожать их влияние собственным, он охватывал вопросы, касавшиеся нужд всего края, и неутомимо проводил их, на что, конечно, недостало бы сил подчиненных ему губернаторов. Мое несогласие в одном из таких вопросов естественно огорчило его, и я поспешил выказать, что вполне ценю его благонамеренные усилия. Но прежде нежели представился к тому случай, разрешение устройства таганрогской гавани послужило новым доказательством попечительности генерал-губернатора о надобностях местности.

Предместники мои желали возобновить Петровский порт, уже совершенно занесен-

ный песком. Осмотревши местность, я заключил, что при будущем развитии торговли понадобится пространство для портовых построек и магазинов, и что лучшая для того площадь представлялась прежним Петровским портом. Притом из всякого рода работ в воде и на воде черпанье земли, углубление известного пространства представляло наибольшие затруднения к должному учету. Соображения эти привели меня к двум новым предположениям: образовать гавань у Воронцовской набережной, прикрывши ее брекватером ото льда и северо-восточного волнения, или выдвинуть новую гавань к югу, основавши ее на старой наружной Петровской стене. В обоих случаях прежние работы могли служить с пользой. Согласие городского общества на хозяйственную часть вопроса получить было нетрудно, и через два месяца по вступлении в должность я вошел к генерал-губернатору со следующим представлением:

«Представляя В. В. приговор городского общества, которым определено просить ходатайства Вашего об отдаче устройства здешнего порта в хозяйственное распоряжение самого общества, я позволяю себе надеяться, что на этот раз дело примет ход.

Утомленное ожиданиями и неудачами общество не может, кажется, уже сомневаться, что в этот раз усилия различных деятелей увенчаются успехом, и долговременная бесплодная переписка приведет, наконец, к цели. При усердном желании иметь порт общество берется выполнить без изменения план, утвержденный ведомством путей сообщения. При таком выполнении город будет иметь гавань, удобную для зимовки каботажных судов и погрузки товаров из магазинов, чем, конечно, облегчится процесс перевозки их на суда, стоящие на рейде; но по мнению моему, основанному на некотором знакомстве с морскими требованиям и совершенно одобренному здешним торговым сословием, устраиваемая в Таганроге гавань должна, кроме удовлетворения означенных условий, служить удобным убежищем нагруженным лодкам, застигнутым на пути к кораблям внезапно бурей. Не говоря уже о парусных лодках, самые пароходы с несколькими баржами на буксире (способ подвоза грузов, который, вероятно, скоро заменит нынешний жалкий каботаж) встретят большие затруднения при входе в бывшую Петровскую гавань по тесноте ее. Тем труднее будет маневрировать, что у самого входа возведется снаружи стена, которая потребует весьма крутого поворота в гавань».

Соединение бумажных данных с кратковременными личными исследованиями на месте с мнением некоторых шкиперов и с убеждениями торгующего купечества утвердили меня в мысли, что лучший для Таганрога порт не прежний Петровский, выстроенный исключительно для военной цели.

Сама природа указывает лучшее для каботажных судов место в Таганроге. Вдоль этого места выведена уже набережная, подверженная теперь волнению при северо-восточном ветре, а главное напору льда, но фарватер вдоль набережной остается в течение лет без изменения. Устройство брекватера вдоль набережной со свободными входами с юга и севера образует безопасный во всякую погоду порт, который вместе будет столь же удовлетворителен, как прежний Петровский для зимовки и нагрузки. Северная стена Петровской гавани, достаточно поднятая, образует весьма хорошую пристань, к которой будут приставать пароходы, а Воронцовская набережная сохранится брекватером от напора льда; сужение же струи, идущей в этом месте вдоль берега, без сомнения усилит течение, чем устранится обмеление гавани. Затем собственно Петровскую гавань можно будет раздать участками под магазины и другие строения. Вот в общих чертах предположение, совершенно одобряемое посещающими здешний порт шкиперами и торгующим здесь сословием.

«Если В. В. изволите разделить изложенное здесь мнение, городское общество тотчас по

получении разрешения о принятии устройства порта в его ведение пригласит техника и поручит ему составить план, по которому нынешней зимой можно будет приступить к работам».

«Принимая во внимание продолжительность переписки по делу столь существенной важности, дознанное опытом необычайное промедление в утверждении технических планов и смет, а также сопоставляя рвение заинтересованных в скорейшем осуществлении давней мысли устройства порта холодности тех лиц, которые смотрят на дело, как на очередное в тысяче других, общество просит моего ходатайства, чтобы перемены в планах были утверждены В. В. без дальнейших сношений со столицей».

При этом был представлен проект административного управления постройкой, стоивший тысячу рублей ежегодно. Министр путей сообщения возражал, что прежде всего следовало рассчитаться с залогодателями и подрядчиками, только при соблюдении этого условия он брался подвергнуть предложение на высочайшее усмотрение. Целые годы подрядчики уже были несостоятельны, залогодатели несомненно состояли должниками казны и взыскания с них производились уже бесконечно длинным законным порядком. Средства на гавань, несмотря на растрату части их, существовали.

Генерал-губернатор препроводил ко мне замечания министра. Ответ на них состоял в указании мер, принятых для действительного выполнения требований закона, и доказывал, что окончательного расчета с подрядчиками быть не может, пока не станет известна по сравнению с суммой, необходимой для проведения в исполнение нового плана, передержка, которая по закону должна пасть на залогодателей.

Как ни старался я частными письмами убедить людей во власти, что проволочка заставляет всех опускать руки, что подобное бездействие правительства порождает пагубное мнение о его «недействительности», усилия мои, конечно, кончились бы тем только, что к числу считавших меня за неугомонного человека присоединились бы новые единомышленники. Но генерал-губернатор оказал делу истинную помощь. Устройство порта было предоставлено обществу, генерал-губернатору дано право изменять планы и, еще при себе, я имел удовольствие видеть выстроенными 83 сажени стены новой гавани. П. Е. Коцебу, объезжая край, прибыл в Таганрог и здесь-то представился случай разогнать набежавшую на наши отношения тучку.

Таганрогское общество не сочувствовало генерал-губернатору. П. Е. Коцебу действительно не допускал для Таганрога будущности и все рвение, которое оставалось у него от естественно возлюбленной им Одессы, отдавая на пользу соседних Ростова и Мариуполя. К приезду его полемика о пункте берегового окончания Харьково-Азовской дороги достигла в местных газетах до непристойной горячности, на которую так способны задетые личные интересы людей, никогда не допускающих мысли об общих нуждах. Расчетливые во всем таганрогские негоцианты чуть было не забыли рассчитать, что весьма вредно вооружать против себя главнейшую власть в крае. Переговорами с главнейшими лицами я убедил их, что власть эта только что представила доказательство своей попечительности разрешением бесконечно длившегося вопроса о порте и явно выказала желание быть приятной Таганрогскому обществу согласием на просьбу мою взять взаимообразно, без процентов, 10 тысяч рублей из портового капитала на окончание театра; что возникшие по поводу театра неудовольствия были нашим домашним делом и не следовало обнаруживать их именно в тот момент, когда разрешен заем. Короче, все маленькие затруднения, на которые так богата провинция, были устранены, и общество предложило начальнику края обед, имевший характер примирительный со стороны общества выходки.

После обычных официальных тостов П. Е. предложил мне здоровье, принятое с нерасчетливым даже сочувствием. Слова, произнесенные головою при тосте за генерал-губернатора, показались мне не достигавшими цели обеда и не удовлетворявшими самолюбию гостя. При всех своих достоинствах П. Е. Коцебу любил, чтоб его чествовали, поднимали на ходули, как все микроскопические люди, которым природа отказала во внешнем величии; но у Павла Евстафьевича эта слабость была извинительна.[5] Мне выпала доля быть под двумя крошечными генерал-губернаторами, оба в силу своей природы любили выказывать важность, но одному вместе с ростом природа отказала и в духовном развитии. К слабостям, в особенности, если от удовлетворения их зависела польза, я всегда был снисходителен, признавая их и за собою. Между невинными причудами и безобразными проявлениями злой хитрости и коварства, природа моя допускала огромное различие, что бы ни говорили о моей неуживчивости, о моем бешенстве, люди, с которыми я никак не мог сойтись по духу. В ответ на тост, лично меня касавшийся, я счел долгом отнести все полезное, сделанное для края, главному виновнику.

В соседнем Ростове, куда генерал-губернатор взял меня с собой, разумеется, не с целью поучиться, как принимают начальника, встреча была совершенно иная. К нам вышли несколько пароходов, и на одном из них — городской голова. Лишь только наш пароход показался в виду города, стали палить из пушек и звонить в колокола, а на пристани стояли все сословия и различные общества со своими значками. Население было согнано навстречу подателя всех благ, и вид города был совершенно торжественный. Но в Ростове встречали генерал-губернатора исключительно местные выгоды, находившиеся в руках человека, умевшего прислужиться, а в Таганроге была правительственная власть, требовавшая приличия и умеренности.

Я сказал, что недоразумения относительно театра едва не помешали должному приему генерал-губернатора. Новый театр в Таганроге был выстроен акционерной компанией, состоявшей, разумеется, из богатых местных иностранцев, разобравших ложи. До моего прибытия русские представления были явлением чрезвычайно редким. Хозяева театра наслаждались итальянской оперой и вовсе не думали о народе, отброшенном по недостатку развлечения в кабаки и другие непристойные притоны. Для окончания театра недостало акционерного капитала, и я должен был ходатайствовать о займе из портовой суммы. Как говорил уже выше, ходатайство имело успех, и общество готовилось открыть вновь созданный театр представлением только что прибывшей итальянской труппы. Но здесь встретилось обстоятельство, едва не нарушившее уготованное торжество и введшее меня в прямое столкновение с таганрогскими боярами. Попросивши к себе директоров, я стал убеждать их иметь русскую труппу для развлечения народа и уделить на русские представления три дня в неделю, в том числе непременно воскресенье. Директоры призвали на помощь акционеров, убеждали меня, что русский театр никогда не примется, не оплатит издержек, и наконец, видя мою непреклонность, объявили, что театр устроен по подписке, и что подписчики вправе употреблять собственность, как желают. Отчасти это было справедливо, но вовсе не соответствовало взглядам моим на интересы коренного русского населения. К счастью, старые дела, неустанно мною просматриваемые, дали мне средства выйти из борьбы победителем. Император Александр I именным указом тогдашнему градоначальнику повелел производить ежегодно в помощь таганрогскому театру некоторую сумму из таможенных сборов. Эта сумма в мое время составляла около 2 тысяч рублей и по ходатайству моего предместника перешла к акционерам в пособие их средствам. К неописанной радости я увидел в указе, что субсидия назначалась «таганрогско-

му русскому театру». В дирекцию от меня немедленно пошло предложение пригласить русскую труппу, а в ответ на доводы, которые я слушал уже из уст, дирекция уведомлена, что за неисполнением высочайшего указа о субсидии, приложенного в копии, субсидия с того же дня прекращается. 2 000 с лишком рублей при акционерном капитале в 40 тысяч обеспечивали дивиденд, и акционерам пришлось отложить в сторону свою чужестранную кичливость. С тех пор русские представления и итальянская опера пошли рядом, в дирекцию введен русский элемент, и все отдано тому же импресарио. Замечательно, что выгодность русского театра сказалась на первых же порах, а с выгодой скоро все мирятся. Но хотелось и мне помириться с обществом, которое возбудил против себя настойчивостью. Цель была достигнута, следовательно, необходимо было сгладить возникшие при достижении шероховатости. В день открытия театра я пригласил акционеров с их семействами на ужин и искренне благодарил их за полезное для города предприятие. В ответ общество позвало меня по тому же случаю на обед в клуб.

Общество присматривалось ко мне внимательно, и, должен сознаться, сначала не совсем доверчиво. Оно видело, что я разбивал его кумиров — завоевавшее русский город чужеземное влияние и богатство — и не знало, до какой степени дойдут мои действия. Сомнениям и опасениям я приписываю длинный промежуток между прибытием и официальным обедом, данным мне городским обществом. До некоторой степени я успел уже высказаться, даже приобрести доброжелателей и нераздельных с официальным положением врагов; но нейтральное большинство, недовольное, что его будили против желания, не знало, допустить ли во мне отсутствие всяких личных замыслов и истинное радение о пользе общественной. В торговом населении, занятом главнейше расчетами и барышами, не легко вкореняется мысль, что кто-либо может быть чужд подобных двигателей. Их, однако ж, не могли подметить в течение нескольких месяцев и решились соблюсти русский обычай. Обед не был встречным, и потому имел для меня еще более цены. Я воспользовался случаем высказать определенно мою политическую программу, и в ответ на приветствие головы, в котором он сравнил мою деятельность с усилиями знаменитого в летописях таганрогского градоначальства барона Кампенгаузена, откровенно выразил мои взгляды, надежды, убеждения и самую решимость в длинной речи, которую закончил самым злободневным вопросом.

«Относительно улучшений, необходимых в городе, я откровенно признаю себя бессильным без вашего содействия, и несмотря на лестное для меня позволение быть вашим вожатым, предпочитаю стать вашим ревностным слугой. Не могу, однако ж, умолчать о предмете, достойном вашего желания, сильного, настойчивого, короче такого, которое всегда ведет к осуществлению желаемого. Великий Петр, основывая Таганрог, встретил недостаток, который заставил его колебаться в выборе местности для города. Донесения капитана Симонта о безводности избранного пункта заставили делать поиски в устье Миуса, где Петр и намеревался создать арсенал для своего флота. Природные препятствия остановили волю, не знавшую препон, и Таганрог основался на первоначально выбранном месте. Прошло полтора столетия. На безводной местности разросся город с 25 тысячами постоянных жителей, со значительным приливным населением в летние месяцы, да вдобавок нельзя не считать в числе нуждающихся в воде 400 тысяч животных, ежегодно привозящих сюда зерновые богатства. Жажда увеличилась в тысячи крат, а воды все нет. Если б обстоятельства не сложились противно его планам, нет сомнения, что Петр провел бы воду. С тех пор чудесная сила науки отстранила, не скажу надобность, но необходимость в гигантских Петрах. То, что было по плечу только громадному исполину, сделалось доступным каждому благонамеренному гражданину, и одоле-

ние препятствий не требует усилия веры, двигающей горы; оно требует только веры в собственные ваши силы. Пожелайте, и гордый Миус, дерзавший некогда решать судьбы Таганрога, станет смирным, покорным слугой вашим, слугой, вас напояющим. Какая выгодная противоположность тому, что представляется в настоящее время».

На пользу Таганрога я думал, писал и двигался в течение двух лет неустанно, безвыездно почти, не давая себе отдыха даже в одолевающие самые камни степные жары, как могут засвидетельствовать бывшие мои сограждане. Но улучшения, хотя полезные, не требовались так настоятельно жизнью, как торжество правды закона, на которое я налегал в моей речи. К этой главнейшей цели я устремился с твердостью, которой не могли колебать ни собственные сомнения, ни чужие противодействия. Желание показать, как можно осязательнее, что слова не останутся словами только, подстрекало мое рвение.

ГЛАВА III

ДЕЙСТВИЯ МОИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Городская роспись как источник и причина вмешательства моего в городское управление. Вопрос об освещении Таганрога газом. Заботливость о садах и парках. Смена головы и предание его суду. Рыбный промысел. Закон Линча в России. Дело Джурича. Последствия дела для Таганрога. Мои настояния к введению нового судоустройства. Всеподданнейший отчет.

Городская роспись представляла самое действительное поле для приложения моих взглядов к делу. Желая избавить избранных по закону для составления росписи депутатов от излишнего труда, я обратился к городскому голове с заключениями, которые вывел из просмотра предыдущих росписей, и убеждал его обратить особое внимание на прекращение бесполезных расходов и назначение таких, которых требовали благоустройство города и польза населения. Тогда же, вычисляя стоимость осветительного материала по существовавшим рыночным ценам, я доказывал, что Таганрог может быть освещаем на тратимую сумму в течение целого года, а не в семь зимних месяцев только. Местность по широте не принадлежала к числу пользующихся светлыми летними ночами и в продолжении пяти месяцев пребывала во мраке. Вместо прежнего способа освещения я советовал ввести тот, который указывала сама природа, наделившая край прекрасным горючим материалом. Я предлагал войти в сношение со смежными городами Новочеркасском и Ростовом, общими усилиями отыскать предпринимателя и в видах более экономических условий отдать ему освещение трех городов газом. На такое освещение в течение целого года потребовалось бы двумя тысячами рублей более, нежели на существовавшее масляное, и тысячу рублей я нашел тотчас же, предложив прекратить содержание гласного думы Аргиропуло. Как значилось в мотивах ассигнования содержания, Аргиропуло получал его в предположении, что накопившиеся значительные недоимки стараниями его уменьшатся и запасный капитал увеличится. Со времени его недоимки возросли вдвое и капитал уменьшился на 21 тысячу рублей без малейшего следа вмешательства его в правильность и надобность растрат. Сверх того растрачено общественных и казенных сборов до шести тысяч рублей. По жалобе мещанских (т. е. русских) обществ, один из моих предместников, Лавров, назначил следствие, которое я передал в другие руки, в прежних оно не двигалось. Заступничество магнатов-греков за своего, хотя и не магната, прекратилось, и окончательное следствие перешло в уголовную палату.

Предоставя суду взыскать с Аргиропуло за неисполнение обязанности, я не мог, однако ж, быть косвенным даже участником в бесполезной трате, по меньшей мере поощрявшей небрежность, и предложил выключить из рос-

писи расходов тысячу рублей на гласного, от которого тщетно ожидали пользы. В предыдущих росписях расход этот, как и вся роспись, утверждались, разумеется, министром внутренних дел после предварительного согласия генерал-губернатора. Некоторые члены думы видели в моей решимости противодействие высшей власти и даже не постыдились толковать таким образом распоряжение мое в официальном ответе на мое предложение. Сопротивление мое высшим властям тем властям и судить подобало, а городские все-таки выключили из росписи тысячу рублей и стали думать о газовом освещении. Не имея техников, которым можно было бы поручить дело, я сам составил план освещения и до выезда моего из города утвердил контракт об освещении его. Таганрог теперь освещается газом, хотя соседи еще не думают о том, и факт, конечно, не противен ни высшим властям, ни самим жителям.

Полиция, как почти везде в провинции, никуда не годилась и не могла быть годной. На скудное содержание, назначенное полицейским чинам, нельзя было привлечь людей, довольствовавшихся честной деятельностью. Дума соглашалась ассигновать на полицию 4 000 рублей сбора за питейные дома на городской земле, но просила участия головы в выборе полицейских чиновников. После разных переговоров она удовлетворилась назначением нужной суммы.

В голой местности, подверженной степному зною, городской сад доставлял единственное убежище для жителей, обреченных требованиями торговли не выезжать из города в течение лета. В саду по вечерам играла музыка, которой платили из добровольных приношений людей достаточных, а удовольствием пользовались все без исключения. Сбор при такой системе поступал, конечно, весьма неаккуратно, и Таганрогу угрожала потеря единственного развлечения. Притом самый сад, этот яхонт степного города, приходил в упадок. Я предложил воспользоваться театральным хором, который мог согласиться за сравнительно умеренную цену выжидать в городе открытия театрального сезона, и чтоб не было пререканий, посоветовал отдать все места увеселений в руки той же театральной дирекции с передачей ей сумм, ассигновавшихся на ремонт и доходов с буфетов, разумеется, с отчетностью думе. Желание мое выполнено, и во все время моего управления удовольствия в саду, в том числе русские представления, не прерывались.

Женская гимназия, единственное средство просвещения в городе, привлекавшем спекулянтов, а не педагогов, потребовала расходов, и нужные расходы были ассигнованы из доходов общественного банка. Чтоб операции банка расширились, и выгоды его дали средство к различным улучшениям, предместник мой просил разрешения перевести всю портовую сумму из государственного банка в общественный. Это давало последнему лишних 300 тысяч оборотного капитала и выказывало доверие к общественным выборным лицам, которое и я готов был разделять; но случилось обстоятельство, совершенно опрокинувшее мои намерения и взгляды. Оказалось, что дума, легко соглашаясь на мои предложения, творила такие дела, что мне и во сне не снилось, ратуя, по-видимому, за честность и городские интересы. И дело вышло наружу усилиями самого головы, на которые он решился с чисто приазовским цинизмом понятий о должном и не должном.

Чтоб вознаградить Аргиропуло в потере содержания, дума избрала его в банковое управление. Голова Серебряков обратился ко мне с жалобой на незаконность выборов и просил не утверждать Аргиропуло как человека, выказавшего уже себя в общественных должностях. Я отвечал, что по получении избирательных списков войду в вопрос и, сообразуясь с уставом банка и делом о его учреждении, конечно, не позволю себе утвердить Аргиропуло, в оценке которого совершенно с ним, Серебряковым, согласен. Дело не допус-

кало медленности. Портовая сумма только что была переведена в банк, и обстоятельство требовало с моей стороны большего внимания к действиям банка.

Изучивши дело о банке, возникшее в 1864 году, я пришел к заключению, от которого положительно стал дыбом волос.

Незаконное содержание товарища директора банка производилось два года и вдобавок банк, противно уставу, допускал долгосрочные займы под земли и недвижные имущества, тогда как ему были разрешены только краткосрочные под векселя и товары.

С такими деятелями начавшаяся постройка гавани могла остановиться во всякое время по недостатку сумм. Я тотчас же просил министра финансов велеть обревизовать действия банка, но, не дожидаясь ответа, предложил прекратить жалованье товарищу директора банка и созвал соединенные присутствия думы и банковской дирекции. Мошенничество выказалось во всей его приазовской наготе. По окончании присутствия я объявил, что назначаю следствие с немедленным удалением головы и главного заведующего делопроизводством от должностей, что указывается важностью самого дела и требованиями беспристрастного исследования. Ответ министра финансов заставил меня сугубо радоваться моей решимости.

Вскоре были произведены новые выборы, и прежний голова умер под судом. Решение сената мне не известно.

В следующем году по поводу той же городской росписи я высказал мнение, вкоренившееся уже годовой опытностью. В письме к новому голове, человеку честному не на словах только, я выразил общий взгляд на городское хозяйство и вообще на положение городских финансов. И. Е. Кобылин принял многие из моих выводов за верные и впоследствии, когда я был уже в другой обязанности, благодарил меня за внимание к городским надобностям и уведомлял, что запасный капитал возрос до 80 тысяч рублей.

На азовскую рыбную промышленность, оценяемую не в один миллион рублей, правительство до сих пор не обратило должного внимания. Все законодательные усилия его по этой части были поглощены Каспийским морем. Вероятно, потому, что там рыбный промысел издавна перешел в руки сановников; на Азовском же море по силе обстоятельств он сделался уделом податного населения, достоянием демократизма. В узкой местности Таганрогского залива сходятся, как говорено уже, жители, зависящие от различных властей. Самый залив служит им нейтральным полем, на котором все соединяются для той же цели, но поле это до того нейтрально, что чуждо всякого полицейского влияния. На всем пространстве Азовского моря нет ни одной брандвахты,[6] ни одного наблюдательного поста, так что навигационные и рыбопромышленные законы суть вполне мертвые буквы, и нужно дивиться, как при подобном отсутствии малейшего надзора не являлось до сего времени морских разбойников. Зимой, когда Таганрогский залив покрывается льдом, на него переселяются для промысла целые деревни: казацкие, с кавказского берега, из Ростовского уезда, таганрогского градоначальства и, наконец, греческие матросы, остающиеся в местности с кораблей. Разноплеменная толпа эта руководствуется своими законами, большей частью весьма жестокими и карающими только неловких. Попадающихся в воровстве или чересчур буйствующих опускают в проруби, продергивают подо льдом из одной проруби в другую, мчат по неровному льду, привязавши к ногам постромки, истязают иным образом. Нередко истязания кончаются смертью, которую по возвращении на сушу объясняют случайностями промысла. Буйные рыболовы занимают нужное на берегу пространство без всякого внимания к существующим законам о собственности, по американскому праву захвата, и земли робких армян служат преимущественно полем своевольных подвигов. В мое время, тотчас за границею градоначальства,

была шайка беспаспортных в несколько сот человек, сначала захватившая нужное для промысла прибережье, а потом поднявшаяся в гору и отхватившая у местных нахичеванцев большую полосу, на которой обосновались совершенными хозяевами. Берег градоначальства принадлежал помещикам, кое-как охранявшим свои права с помощью таганрогской полиции, но и на таганрогских косах возникали порядки тем более частные, что даже в случае деятельности ничтожной береговой полиции виновные ныряли в море или перебирались на смежные косы, где были уже в ином царстве, как видно из очерка административного устройства местности, сделанного мною прежде.

Обративши внимание на столь значительный и вместе беспорядочный промысел, я совершенно случайно набрел на официальную бумагу «Таганрогского попечительного комитета о рыболовстве». Внизу была подпись известного мне помещика и красовалась печать с белугой и надлежащей надписью. Все расспросы и розыски в канцелярии оказались тщетными. Никакого признака учреждения комитета не было, и я отнесся прямо к подписавшему бумагу помещику. Утомленные безобразиями, совершавшимися в кругах, рыболовы обратились к помещикам, на землях которых имели свои заведения, и просили их устроить между ними благочиние. Помещики приняли просьбу, предложили рыболовам выбрать депутатов, а этим избрать попечителя и управление. Составили кодекс с налогами на каждый крючок в пользу управления, правилами и штрафами за неисполнение их. Все сообщили прежнему полицмейстеру, а тот утвердил домашним образом, не донеся даже градоначальнику. Таким образом, составился весьма полезный по обстоятельствам Status in Stato,[7] начавший уже сноситься со смежными миусскими и ростовскими прибрежными владетелями и предлагавший им образовать общую рыболовную лигу на тех же законах, которыми руководствовалось таганрогское попечительство. Обрадовавшись находке, я потребовал постановления, рассмотрел их и, не пресекая их полезного действия, отнесся к генерал-губернатору с просьбой узаконить возникшую власть. Землевладельцы, защищая свою собственность и вместе получая от промыслов выгоды, казались мне лучшей гарантией соблюдения справедливости, и как попытка обещала распространиться по всему берегу, то я просил подчинить комитет мне как попечителю Азовского судоходства, а не как градоначальнику.

«Из начатых дел оказывается, что комитет вошел уже в сношения с соседними властями Миусского округа, имеет свою печать, приводит в исполнение свои решения и вообще действует как законное учреждение. Подобный порядок в стране, где существует только внешнее уважение к власти, нимало не удивляет меня. Факт доказывает только, что никакое общество не может терпеть беспорядка, и если важный предмет охранения спокойствия опущен подлежащей властью, здравый смысл самого общества и личные интересы членов непременно пополняют пробел. Тем не менее применение к здешнему краю обычаев, существующих по силе обстоятельств в дебрях Америки, мне кажется ненормальным и не соответствующим степени гражданского развития России».

«По вышеизложенным местным условиям я смотрю на существование попечительства над рыболовством не только со снисходительностью, но с полным сочувствием и покорнейше прошу В. В. допустить его в существующем теперь порядке в виде опыта».

Генерал-губернатор утвердил приложенные к представлению правила, исключая право комитета накладывать штрафы за неисполнение их, и не отвечал, имеет ли намерение провести вопрос обыкновенным законодательным порядком. Уничтожение штрафов, т. е. кары за неисполнение закона, превращало самый закон в литературное произведения, и я дозволил себе не объявлять ответа генерал-

губернатора. Просил только попечителей ограничиться градоначальством и не пропагандировать в смежных местностях. Самолюбие какого-нибудь исправника или станового могло лишить меня весьма полезной помощи, и комитет со всеми налогами и штрафами существовал во все время моего управления.

Вялое приложение в течение многих лет указания и средств закона поселило в крае совершенное равнодушие и даже бесстрашие к законным взысканиям. Суда не боялись, надеясь, что смежный ростовский, ведавший в первой инстанции все таганрогские дела, по независимости от градоначальника протянет или поведет всякое дело сообразно желанию богатых подсудимых, и взыскания не будет или оно отдалится на неопределенное время. Случай помог мне изменить несколько понятия населения в этом отношении. Князь Оттоманской империи Джурич, отец которого был почетным гражданином в Таганроге, купил имение у ростовского помещика Сарандинаки, с условием, что если он, Сарандинаки, не очистит рыболовной косы в имении к известному сроку, то платит огромную неустойку. Между тем, сам Джурич не выплатил Сарандинаки условленного задатка. Дело подлежало, разумеется, судебному решению, но Сарандинаки старался доказать, что гибельный для него контракт Джурича подложный, и обратился в Таганрогский коммерческий суд, где хранились книги нотариуса Мускути, засвидетельствовавшего сделку. И в этом случае был употреблен приазовский способ решения спорных дел: книги Мускути из коммерческого суда выкрали.

Для следствия требовалась явка самого Джурича для очных ставок. Я немедленно потребовал от ростовского полицейского управления высылки Джурича, проживавшего тогда в ростовском уезде. Как водится, Джурич сказался больным. С Джурича взяли расписку не выезжать из Ростовского имения иначе как в Таганрог к следствию, а он тотчас же выехал и начал путешествовать по России. Девять месяцев я писал и телеграфировал в обе столицы и в другие места, куда следовал за Джуричем неутомимый следователь своим чутьем; наконец, последняя телеграмма моя удачно попала в Харьков во время пребывания там Джурича. Управляющий губернией задержал беглеца, и хотя тот по обыкновению сказался больным, стерег его выздоровление. Через несколько дней я получил от губернатора следующую телеграмму: «Джурич здоров, чиновник готов его везти; получена телеграмма Екатеринославской уголовной палаты о совершенном освобождении Джурича. Отвечайте, следует ли высылать в Таганрог». Я потребовал немедленной высылки, но Джурич под новым предлогом оттянул отъезд.

Спор между Джуричем и Сарандинаки решен через долгое время уже новыми судами. Преследование Джурича ясно доказывало, как трудно было правительственной власти иметь какое-либо полезное действие в пересеченной приазовской местности. Притом в этой местности вкоренилось убеждение, будто иностранцы не подлежат действию русских законов, и неудача с Джуричем немало вредила стараниям моим доказать противное.

Все-таки наделавшее в городе столько шума дело, в котором настойчивость моя разбилась о вмешательство Екатеринославской палаты, принесло пользу, и даже весьма ощутительную. Таганрогские богачи, подобно русским, любили, чтоб «нраву их не препятствовали». Обиженные обращались с жалобами в полицию, которая всегда предлагала полюбовную сделку, чтоб история кончилась дома: иначе «будет с обидчиком то же, что с Джуричем», станут гонять целые месяцы по всем полициям России и введут в расходы, а главное, в беспокойство и потерю времени. Не всякий мог терять его, как Джурич, и обыкновенно занятые торговлей или иным делом обидчики соглашались платить во избежание уголовного преследования.

Впрочем, пока нарушения закона не требовали усилий, выходивших за круг градона-

чальства, кара прилагалась довольно скоро и гладко. Туз из тузов, помещик Бернадаки, владевший под городом 5 000 десятинами в одной меже, что равнозначно богатым золотым россыпям, вздумал вспахать мешавшую ему плановую дорогу. Полиция обратилась с просьбой восстановить сообщение, по истечении законного срока сделала это за счет владельца и по неохоте его выплатить издержанную сумму принудила к тому экзекуцией. Гордость грека-креза оскорбилась, но должна была смириться.

Беспрестанная и большей частью бесполезная бдительность за карой проступков и преступлений отнимала много времени и приводила дух в настроение, при котором неминуемо притуплялась энергия. Поэтому я усердно просил скорейшего введения в местности нового судебного устройства. Не знаю, насколько ходатайство мое было принято в уважение, но в июле 1866 года я получил от министра юстиции просьбу содействовать найму в Таганроге приличного помещения под окружной суд.

Но вслед за этим до меня дошло известие, что введение нового судоустройства опять отложено на неопределенное время, и я тотчас же послал новому уже министру юстиции (графу Палену) раздиравший душу мою вопль:

«Угол наш — самая важная в коммерческом отношении часть Азовского прибережья и плодородностью своей при недостаточном местном населении привлекает ежегодно тысячи рабочих. В прошлом годе, например, вывезено из Таганрога, Ростова и Мариуполя на 34 миллиона рублей, а из остальных азовских портов — на 16 миллионов. Легко представить, сколько исков и дел возникают вследствие торговых оборотов и тяготения к нашей местности водного и сухопутного привоза; сколько жалоб приносятся ежедневно за нарушение обязательств. Край, будучи перепутьем между Россией, Кавказом и Турцией, служит средоточием отверженцев и, как вам известно, фокусом силы, растлевающей нашу монетную систему. Стоит только вмешаться в дело иностранцу или дворянину, чтоб оно перешло в ведение Екатеринославских судов, способствовавших доселе уничтожению всякого доверия к закону. Притом угол наш, по бездорожью, в течение несколько месяцев оторван от смежной организованной местности (землю донского войска пока нельзя еще признать такой), издавна пользовался особыми привилегиями, переродившимися в право конечного бессудия, и по ходу своего развития попал в руки племен, тяготеющих над ним всем влиянием невежественного богатства. Здесь существует армянский магистрат, руководствующийся юридическими началами ветхого завета, греческий суд, представляющий остатки турецкого разгула своеволия, внесенного переселенцами из Крыма, и, наконец, полувоенные суды Донского войска. При административной чересполосности местности все дела перемешиваются в этих судебных лабораториях.

Скорый правый суд или диктаторство — вот два средства выйти из нашего безвыходного положения. Не сомневаюсь, как министр юстиции, Вы отвергнете последнюю меру с той же ненавистью к произволу, которую питаю я; но без суда на месте и на новых началах, здесь следует иметь полновластного главнокомандующего, чем по совести и убеждениям, я не могу быть среди мира и промышленно-торгового движения, если бы даже меня удостоили доверия».

Новые суды введены в 1869 году, когда меня не было уже в крае.

В представленном мной всеподданнейшем годовом отчете в числе прочих вопросов я писал:

К статье «Торговля»: «Столь значительная торговля, имеющая благодетельное влияние на наш денежный баланс (ибо по роду своему она почти исключительно отпускная) заслуживает особенного попечения правительства. К сожалению, на порты Азовского моря, и в особенности на Таганрогский (я говорю это по обязанности попечителя местного судоход-

ства), не обращено внимания, которым наделяют другие местности. По случайно замеченным обстоятельствам, наблюдатели, не имевшие достаточно времени, пришли к скорым заключениям и решили, что Таганрогский рейд не годен и следует искать других портов, не принявши в расчет, что торговля переходит от старых пунктов к новым только при условиях, коих выгода несомненна, и что нам не время производить подобные опыты.[8] Упускают выгоднейший факт углубления рукава моря внутрь края, стараются, по-видимому, забыть веками дознанную истину, что удобнейший и вместе дешевейший путь для торговли (в особенности громоздкими сырыми произведениями) — водный, и настойчиво указывают на случайные сгоны воды в Таганрогском заливе, тогда как подобные явления повторяются ежедневно в портах Западной Европы вследствие периодических движений моря и прекращают сообщения на рейдах в сложности на полгода. Обстоятельство не мешает, однако ж, там значительной торговой деятельности. В Луизиане при весеннем разлитии Миссисипи внутренние рукава ее, врезающиеся в глубь края и подходящие под категорию громадных рытвин, мгновенно покрываются пароходами, несмотря на краткий срок их годности».

«Таганрогский рейд есть порт всей юго-восточной части России. В непосредственном соседстве его плодороднейшие земли империи, к нему уже притягиваются произведения южноволжской губернии и самой Сибири через Каму. Облегчение движения на север, сопоставленное жалкому состоянию реки Дон, ведет к совершенно недолжному направлению торговли из низовых приволжских местностей. Вместо того чтобы стремиться по течению на юг, переходить на Дон и Таганрогский рейд, а отсюда при господствующем на Черном море и в архипелаге ветре развозиться с большою легкостью по всем портам Средиземного моря, многие грузы, долженствующие следовать этим естественным путем, двигаются чрезвычайно медленно против течения на север и достигают южной Европы через Англию».

«Вопрос об устройстве в Таганроге гавани, возбужденный в 1827 году, после двух неудачных попыток произвести сооружение подрядной системой ныне милостивым соизволением Вашего Величества решен в пользу Городского общества, взявшего на себя выполнение работы».

«Маячное освещение рейда и вообще Азовского моря возбуждает жалобы шкиперов, которые нельзя не признать справедливыми, принявши в соображение, что маячный сбор на юге России составляется почти исключительно с судов, приходящих в Одессу и в Азовские порты. Общее число последних превышает число прибывающих в Одессу».

К статье «Заводы»: «Ведомость о фабриках и заводах прилагается под №18. Она не заслуживает внимания и наводит на мысли, тем более печальные, что местность самой природой предназначена к фабричной деятельности. Обширные залежи минерального топлива всех родов, пересеченные жилами богатых руд, ждут разработки, и стоит только проложить удобный путь от Харькова к морю, чтобы изменить совершенно положение края. Железная дорога в непродолжительное время разовьет в нем заводскую промышленность и разрешит самую желаемую задачу — соединение земледелия с фабричностью в той же местности. В минеральном богатстве окрестностей Таганрога нет уже ни малейшего сомнения. Исследования Горного управления Войска донского, хотя далеко не оконченные, выказали самым положительным образом разнообразные качества почвы района, естественно тяготеющего к Таганрогу, как к ближайшей и удобнейшей пристани для вывоза. Без преувеличения можно утверждать, что железный путь через Миусский округ к Таганрогскому заливу доставит краю возможность соперничать с самыми счастливыми местностями Англии и Бельгии и станет питомником всех будущих дорог южного края, лишенного расти-

тельного топлива. Сбыт одного угля при дешевой перевозке непременно вытеснит английское топливо из всего бассейна Черного моря. Качество угля превосходное, и на месте пуд стоит 3 копейки. На среднем расстоянии копей от Таганрога (в 60 верстах) перевоз обойдется не более 2,5 коп., а с погрузкой на корабль – 3,5 коп.; значит, надбавя 1 коп. барыша при значительной разработке, уголь наш отойдет от порта за 7,5 коп. за пуд. При усовершенствовании средств добывания первоначальная цена его на месте значительно понизится.

К статье «Судоходство»: «Суда, занимающиеся перевозом груза на рейд, вообще строятся по старым чертежам и не обладают качествами, необходимыми для скорой доставки товаров. Вряд ли стоит прилагать усилия к их усовершенствованию. Каботажные суда никогда не доставляли флоту нашему матросов; тем менее настоит в том надобность, когда сам военный флот перешел на паровой. Притом атмосферные условия моря, подверженного двум господствующим ветрам, дующим вдоль него, указывают на паровой способ подвоза как на самый действительный. Во всех нациях парусный каботаж уничтожается по очевидной выгоде пароходов на малых расстояниях; у нас уничтожение его поведет и к сохранению лесов, истребляемых в огромном количестве на произведения морской архитектуры, не удовлетворяющие цели и давно исчезнувшие со всех морей. Впрочем, в настоящее время Русское пароходное общество и Волго-Донская компания подают достойные подражания примеры, заменяя неуклюжие и неудобные для подвоза парусные суда железными баржами и пароходами. Некоторые частные промышленники также переходят на пар, и нет сомнения, что деревянные парусные лодки исчезнут весьма скоро, если удешевится уголь верным сообщением порта с копями».

К статье «Дума»: «Городское хозяйственное управление находится в довольно удовлетворительном состоянии. В городском обществе считается не более 700 мещан греческого происхождения; всех же мещан 12 598. Цифры эти показывают, до какой степени устарело законоположение о попеременном выборе городского управления из русских и греков. Предписывая периодические перемены, закон допускает изъятия; но перемены обратились в неизменный обычай, и если, по счастливому случаю, составится способное городское управление, через три года оно непременно заменяется новым. Порядок этот отражается чувствительно на городском хозяйстве, и в особенности на характере города. В греческие годы к городскому управлению примыкают соплеменники его, иностранные купцы, со всем влиянием богатства и большого развития, качеств, весьма благоприятных, если б они направлялись в пользу России. К сожалению, через сто почти лет после заселения местности несчастными, воспользовавшимися благодушием императрицы Екатерины, нельзя не заметить в городе иноземного преобладания. Вред того уже выказался в последнюю войну, и разрешение того же вопроса о соединении соседних местностей в одно целое с градоначальством вместе с введением земства – самые действительные меры к обрусению Таганрога».

Заключение: «Из представленного отчета Ваше Императорское Величество изволите усмотреть, что местность страдает от трудности сообщения с внутренними губерниями, граничащей в известное время года с невозможностью, что главное препятствие к полезному действию власти кроется в административной чересполосности здешнего края и что вследствие ее здесь сложились грустные понятия о долге гражданина».

«Несмотря на вековое соединение с Россией, несмотря на то, что все окрестные места, поступившие с ним единовременно под скипетр предков Ваших, давно утратили прежний характер, Таганрог остался иностранным городом, хотя огромное большинство жителей русские. Нельзя не видеть главнейшей причины такого положения в особенном учреждении градоначальства. Оно слишком

долго обнимало исключительно Таганрог, Мариуполь и Нахичевань, предоставление иноземным выходцам, и места эти, не будучи подчинены общим учреждениям империи, до сих пор сохранили свою особенность. Подобный порядок вещей, препятствующий торжеству правды и закона, особенно вреден в смысле государственного единства. Греки вовсе не сливаются с русскими, не исключая тех, которые щедротами монархов наших приросли к русской почве и приобрели значительные богатства под покровительством наших законов. Будучи первыми поселенцами благодатного края, они, по силе вещей, опередили русских в благосостоянии. Материальные выгоды достаются исключительно на долю этого племени и впредь будут его достоянием, если местность останется в настоящих административных условиях. Всякий пришелец находит усердных покровителей в своих сородичах и немедленно получает значение в обществе, где нет русского элемента, уравновешивающего влияние иноземного. Бездомные выходцы из архипелага, пользуясь покровительством негоциантов, тотчас входят в дела, становятся посредниками между своими покровителями и народом, конечно, в ущерб последнему и в несколько лет наживают большие деньги, тогда как на долю русского населения достается грубый тяжелый труд, едва доставляющий средства жить и отправлять падающие единственно на него повинности. Таким образом, здесь развилась целая каста кулачников в черных платьях, совершающих маклерские дела без всякого права, неуловимых для руки закона, ибо действия их покрываются влиятельными по богатству соотечественниками. Отсутствие законности согласуется с личными интересами иностранцев».

«Местные чиновники при содержании, которому нет подобного по скудости, совершенно в руках магнатов-греков».

Как бы ни был принят мой отчет, что бы ни думали о причинах и поводах, подвигавших меня на настойчивую откровенность, никто не мог упрекнуть меня в желании выставить, что «все обстоит благополучно». По закону я послал копию генерал-губернатору, вовсе не изменившему свои ко мне отношения, хотя многое, выраженное в отчете, резко расходилось с его мнениями. По соседству и знакомству я передал отчет наказному атаману Войска донского, так как во взглядах моих много относилось к донской земле. Потапов, тогда ревностный охранитель русского единства, очень обрадовался тождественности наших усилий. Не мог он вместе с тем не заметить, что я и под началом считал себя вправе иметь собственные мнения и выражать их при случае без внимания к личным воззрениям тех, от кого зависел по службе.

ГЛАВА IV

УСИЛИЯ ВОССТАНОВИТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД АЗОВСКИМ МОРЕМ

**Балластный вопрос.
Равнодушие правительства к морским путям.
Мой проект восстановления попечительства.
Комитет Донских гирл.
Иностранцы заведуют у нас полицией.**

Вопрос о засорении Таганрогского рейда балластом приходящих кораблей велся едва ли не с начала текущего столетия. Различные градоначальники, с большей или меньшей ревностью, заботились об устранении зла, но к делу прицепилась балластина централизации и петербургской инерции. Утомленные перепиской, предместники мои ограничивались указаниями на болячку в отчетах и довольствовались посильным лечением ее специфическими средствами, доставляемыми законом, т. е. штрафом в сто рублей в случае улики шкипера в выбрасывании балласта на рейде. Улики эти при совершенном отсутствии наблюдения на рейде бывали весьма редкими случайностями, и шкипера охотно платили штраф для выигрыша дорогого времени и потому, что правильный сброс балласта стоил бы дороже. Единовременно со стараниями избавить рейд от засорения я изменил контроль над выгрузкой балласта. По моей убедительной просьбе, начальник таможни приказал своим чиновникам наблюдать на рейде, а в порту к чиновнику по попечительству присоединил таможенного чиновника.

На портовой набережной скоро начали показываться груды щебня, бывшего сущей находкой для шоссе, идущего из города к порту. В течение 1866 года взыскано со шкиперов 11 800 рублей штрафа вместо нескольких сотен, поступавших до того времени и отсылавшихся в государственное казначейство. Значительность суммы навострила мое внимание; я стал рыться в прежних и настоящих законоположениях и убедился, что штрафы, дотоле поступавшие в казну, следовали на удовлетворение местной надобности, весьма важной для всякого города, в особенности же беззаконно.

Но усиленный надзор за сбросом балласта, зависевший от доброй воли таможенного управления, составлял паллиативную меру, вовсе не удовлетворяющую цели. В силу исследований ученых экспедиций и возбужденной ими журнальной полемики нашлись люди, уверявшие, что выбрасывание балласта не может засорить не только моря, но и тесного рейда. Не стоило доказывать нелепости суждений, опрокидывавших рейдовые законы, принятые во всех государствах.

Городское общество, еще при предместнике моем, представило проект балластной операции и просило утвердить дело за городом. Проект пошел на рассмотрение министров внутренних дел и финансов и возвращен в

июле 1866 года с предложением составить новый общественный приговор согласно с замечаниями обоих министров; к приговору требовалось мое заключение. Приложивши влияние к удовлетворению министров, лишь бы началась, наконец, правильная выгрузка балласта, я представил новый приговор с моим мнением, в котором старался выказать рельефно готовность города действовать по указанию высших властей.

Министр внутренних дел соглашался с предположениями Общества, именно одобрял сбор за выгрузку с общей вместительности судов, а не за количество свозимого балласта и не считал справедливым освобождать от сбора суда, приходящие без балласта.

Министр финансов предпочитал сбор с количества свозимого балласта, но допускал сбор и с общей вместимости, лишь бы он не был стеснителен для нашей торговли. Предпочтение, выказанное им первому роду сбора, вообще справедливо, но в Таганрог вовсе не приходило судов без балласта, а если такие изредка и попадались, то, по справедливому замечанию министра В. Д.,[9] они пользовались бы выгодами незасоренного рейда. Сбор с общей вместимости был нами предложен для устранения поводов к злу: если бы не было выгоды в нарушении постановлений, не стоило бы нарушать их. Желая всячески подвинуть дело, я соглашался удовлетворить взгляду министра финансов на освобождение от сбора пароходов, как потому, что они строятся, чтоб плавать без балласта, так и с целью поощрить паровую перевозку, без сомнения, выгодную для нас при близости минерального топлива.

Представляя генерал-губернатору все мои соображения, я так кончал письмо:

«...Вы, без сомнения, примите во внимание, что промедление решения в этом случае составит ущерб для обширного края. Со своей стороны, соглашаясь с нашими учеными о незначительности общего обмеления Азовского моря, я не могу как моряк слушать равнодушно доводы тех, силятся доказать, будто нельзя забросать рейда, и мои убеждения в этом случае вовсе не идут вразрез с выводами ученых. Море вообще может не мелеть, но части его, стесненные берегами, легко засоряются рукою невежества или чисто эгоистического расчета; иначе не существовали бы во всех портах мира строгие постановления, воспрещающие выбрасывать что-либо в воду, и дорогостоящие полиции для наблюдения за исполнением их».

«В желании видеть как можно скорее осуществление мер, необходимых для сохранения здешнего рейда, спешу представить новый проект здешнего общества, подкрепляя его согласием во всех пунктах. Сравнивая его с прежним, вы усмотрите, что он почти во всем согласен с указаниями министров».

Почти через год представленный проект был возвращен с несогласием министра финансов на сбор с общей вместимости и с замечаниями его, указывавшими на действия городского общества в Риге по предмету охранения тамошнего порта, явно выказывавшими мне, что министр не желал, чтобы город заведовал операцией, хотя прежде соглашался с тем.

Если бы на каком-либо перепутье не только сломалось министерское колесо, а тряхнуло б директора петербургского департамента, подлежащие власти были бы неприятно пробуждены и неисправность дороги, может быть, ненужной для промышленности, устранена. Здесь дело шло о морском пути, которым отпускались за границу товары на сорок почти миллионов; местная власть надоедала просьбами о должном содержании его, и все ограничивалось истинно сизифовой работой. Взвезенный мной на гору камень скатывали; я пробовал взвезти другой в надежде удовлетворить прихотливых богов, но и тот, повертевши долгое время, бросали мне назад для перемены. Решивши с необычайной легкостью, что вдвинутый богом в материк залив не годен, что нужно переместить из него громадную торговлю, не хотели ничего предпринимать для

удобства настоящего. Не решались, однако ж, высказать богохульной решимости, а выясняли ее проволочками и административной полемикой. Вот одна из причин, побудивших меня принять впоследствии приглашение на службу в другом крае. Итак, изнурительных вопросов было немало.

Чтоб не возвращаться более к варварски равнодушным взглядам центральной власти на Божие пути, доставшиеся в удел России, упомяну только, что до сих пор не принято никаких мер к обеспечению дальнейшего засорения Донского залива.

Балластный вопрос преимущественно привлек мое внимание по бедственным последствиям существовавшего порядка вещей для гавани, к которой уже было приступлено. Но Азовское море вообще представляло странную картину правительственного равнодушия. Со времени Крымской войны на нем не было ни одного наблюдательного поста. Маячное освещение, зависевшее по-прежнему от Главного управления черноморского флота, уже не существовавшего в действительности, возбуждало к нам презрение иностранцев с тех пор, как даже турецкие берега Черного моря, не представлявшие опасности для Азовского прибережья, освещались современными способами. На представления генерал-губернатора о лучшем освещении Краббе отвечал с иронией, что «нужны средства осветить также Белое море»; будто тамошняя торговля могла идти в сравнение с азовской. Достойный подручник Краббе Глазенап хлопотал об электрическом освещении Потийского порта, где только что начиналась постройка скоро повалившихся молов, и не было никой торговли; а на всем Азовском море существовал один только маяк, Еникальский, который действительно руководил мореплавателями. В шести азовских портах совсем не было полиции. Так как присмотр на пристанях необходим, употребляли на то подручных таможенных или иных чиновников без всякого законного разрешения, следовательно, безответственных. В Таганроге смотрел за портом чиновник с 140 р. жалованья, как я говорил уже прежде, а с пристани производился 12-ти миллионный отпуск.

Указ 4 мая 1836 года за № 9134 о присоединении Бердянска к полицейскому управлению Керчь-Еникальского градоначальства также не говорит об отдалении его от ведомства попечителя в торговом и навигационном отношениях.

Комитетом гирл и донским устьем ворочал по произволу ростовский голова Байков, находивший в значительных доходах комитета возможность поддерживать личное влияние на городское население, на различные канцелярии. Членами состояли наполовину иностранцы как представители отпускной торговли, наполовину — защитники интересов города и каботажа. Первые, занимаясь торговлей, вовсе не обращали внимания на комитетские дела; вторые были покорными слугами бойкого председателя, тратившего комитетские средства не в гирлах только, а везде, где требовала собственная его польза. Комитет завел уже целую флотилию, выказывавшую его важность, но совершенно бесполезную для дела. Выписанные из Англии пароходы были названы именами тех, кому угождать надлежало: «Коцебу», «Потапов», «Шестаков» и пр., но нисколько не способствовали ни углублению гирл, ни проводке ими судов. Это была преимущественно потешная флотилия для встречи с бубнами и литаврами наезжающих властей и для прославления могущества ростовского головы.

Между прочим, на нее все грузы, отправляющиеся от Ростовской пристани, облагали по 3,8% с ценности и по 1 руб. с каждой тысячи пудов, и в ведении комитета, состоявшего наполовину из иноземцев, находился полицейский пост в гирлах с военной командой и командиром. Влияние мое на комитет как попечителя было чисто номинальное. Данная комитету инструкция, без сомнения, была составлена местными знахарями, хлопотавшими единственно о большей независимости.

Попечитель упоминался в ней только в случаях, требовавших приличия, а не действительного вмешательства.

Меня очень коробило видеть, что члены комитета приезжали в Таганрог на своих пароходах, пренебрегая обыкновенным ежедневным сообщением, тогда как на всем протяжении от устьев до Беглицкой косы не было ни малейшего присмотра, и я решился, невзирая на роль приличия, которая была отведена мне в комитете, изменить столь неприличное употребление общественных средств. Военная команда полицейского поста зависела от меня в инспекторском отношении. Исполнение этой обязанности приводило меня на место подвигов комитета, в самые гирла. В первое же посещение я нашел их буквально загроможденными судами, стоявшими на мели. Обстоятельство это, несбыточное при соблюдении должного порядка, заставило меня исследовать тотчас причины столь странного и вредного для судоходства явления.

Командир поста представил перечень случаев, из которого я заключил, что замеченное мною состояние гирл зависит преимущественно, даже почти исключительно, от принятой системы. Сличение инструкции полицейскому посту со случайностями, представлявшимися на практике, утвердило во мне это убеждение.

По §7 Правил для судоходства в гирлах, суда должны были останавливаться, ежели на посту показана глубина менее, нежели они сидят в воде. За нарушение этого правила шкипер подвергался штрафу; но штраф не обеспечивал гирл от засорения и судоходство от препятствий.

Нередко также оказывалась неверность марок, означавших углубление судна. Командир поста убеждался в этой неверности фактом, что судно становилось на мель, хотя на баре было более воды, нежели углубление, показываемое марками. Часто марок вовсе не было, и шкипера отговаривались, будто они есть, но замазаны краской. Это обыкновенно вело к пререканиям между постом, шкиперами и таможней, обязанной по закону следить за исправностью марок, и могло быть весьма легко устранено. Следовало обязать каждое судно набивать на оба штевня разделенные на футы рейки, как это делается на всех реках и каналах Франции. Такие рейки лучше было заготовлять в комитете или таможне и снабжать ими суда за известную плату. Поверка реек должна была производиться перед открытием навигации непременно с участием командира поста.

Некоторые параграфы инструкции подлежали просто уничтожению, напр.: примечание к §2 давало комитету право следовать на место командира поста, что было равносильно предоставлению обществу права рекомендовать офицеров полиции. §4 вполне подчинял полицейско-лоцмейстерский пост комитету даже в техническом, гидрографическом и лоцмейстерском отношениях. Чтоб иметь право решения, нужно понимать дело, а состав комитета, очевидно, устранял всякое вероятие знакомства членов с означенными предметами и т. д.

Кроме технических несообразностей и вредного столкновения властей, совершенно различно смотревших на тот же предмет, в гирловом комитете, как во всем придуманном для благоденствия и преуспеяния приазовского края, страдала национальная гордость. Я считал себя призванным дать всему русскому должное значение и отвоевать у иностранцев господствующее положение на выносливой безропотной русской земле. До чего дошло преобладание иноземного влияния, читатель увидит из следующих двух представлений моих генерал-губернатору, касавшихся того же гирлового комитета.

«Возникшие неудовольствия между гирловым комитетом и офицерами, служащими на полицейско-лоцмейстерском посту, доставили мне случай вмешательства, к сожалению, не отвечавший моим желаниям. Неприятный разбор навел меня на явное нарушение корен-

ного закона, весьма важное преимущественно потому, что без малейшей пользы чему-либо оскорбляется национальное достоинство».

«Иностранцам вообще запрещено вступать в гражданскую службу (статьи 4–47, т. III, устав и службе правит)».

«Между тем, в гирловом комитете из шести членов трое иностранцев и даже допущено иностранное представительство русских судохозяев в лице Мартена. Купечество также представляется вопреки закону и надобности иностранцем».

«Если вспомнить, что комитету дана власть административно-полицейская, то помимо закона, щекотливость весьма естественного национального самолюбия отстранит всякую идею о возможности допустить участие иностранцев в охранении порядка на нашей почве. Этим подрывается принцип государственной самостоятельности, и правительство добровольно подвергает себя притязаниям, которые могут возникнуть в случае нарушений иностранцем правил службы и требований долга. Незаконное вторжение иноземцев в комитет произошло от правила, по которому члены его никем не утверждаются».

Перед иностранцами, соглашавшимися с его видами, до того преклонялся сам могущественный Байков, что новое судно, выстроенное для полицейского поста в гирлах, голова хотел окрестить именем «Джон Мартен».

Не вполне разделяя мои мнения об иностранцах, генерал-губернатор согласился, однако ж, что полиция не может быть в их руках, и предложил мне составить правила ввиду совершенного изъятия ее из обязанностей комитета. К этому времени я собрал уже все нужные сведения, успел обратиться к судохозяевам и, желая возобновить разрушенное полезное старое, послал «проект устава о попечительстве Азовского моря».

В проекте этом попечитель был лицом, ответственным за соблюдение всех требований безопасного плавания и беспрепятственной торговли с пристаней. В помощь ему, помимо нескольких морских офицеров, назначался совет из выборных от главных портов Азовского моря. Совет этот превращался в судилище для разбора аварий, крушений и других чисто морских случайностей. Учреждались капитаны над портами и специальная портовая полиция. В гирлах оставлялись три парохода собственно для надобностей речной навигации и землечерпательная машина для случайных углублений; все стоило бы ежегодно 57 957 рублей.

Я предлагал взимать с судохозяев на расходы попечительства вдвое менее, нежели взималось в Ростове, но повсеместно. В одном Ростове сборы доходили до 62 тысяч рублей, следовательно, налог для учреждения, полезного всему морю, был бы менее ростовского гирлового, не говоря уже, что моим проектом уничтожались сборы на попечителя, существующие доселе, докторский патентный сбор с каждого судна, пристающего к Мариуполю, и многие другие, вкравшиеся на различные пристани по обычаю.

Мне казалось, что обращение гирловых средств на пользу всего моря принесет несравненно более выгод азовской коммерции, нежели бесконтрольная трата их в самих гирлах, где я отвергал гидротехнические работы, которые находили нужным предпринимать без гидрографических данных. Усиленное полицейское наблюдение было бы действительнее гадательных работ, и для этого к полицейскому посту я приписывал пароход. Обязанность его была бы беспрестанно протаскивать суда в море, причем фарватер, конечно, не загромождался бы, и случаи обмеления стали бы весьма редки. Для снятия бугров, наносимых на обмелевшие суда, и только с этой целью я соглашался на содержание землечерпательной машины. Настроенным комитетом пароходам, неспособным выходить в море, нужно было найти дело, и я предлагал заставить их буксировать суда с грузом в Бублике, крутом извороте Дона ниже Ростова. Гирловой коми-

тет само собою не мог вести рядом с попечительством свое существование и предполагался к упразднению.

Разумеется, подобное употребление ростовских сборов вовсе не соответствовало видам Байкова и К°. Они стали уверять, будто исполнением моих видов отчуждят от Ростова собственность в пользу других городов; но такой сутяжнический изворот был ниже всякой критики.

Если расположение на реке считалось достаточным поводом к отдаче устьев ее в ведение какого-либо местного управления, то казацкая земля могла претендовать на то с большей основательностью, так как берега гирл, несомненно, казацкие. И казаки действительно считали себя хозяевами до того, что требовали удаления полицейского поста в гирлах, он им не нравился.

При таком местничестве не следовало ли правительству решить споры собственным участием во всем, касавшемся общих вопросов. И не время ли было вступить на этот путь, когда торговля развилась уже до 40 миллионов. Но личные интересы стали твердой стеною против моих усилий, и я оставил Таганрог, не подвинувши ни на волос вопрос о попечительстве.

ГЛАВА V

НАЗНАЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРОМ В ВИЛЬНУ

Городские мостовые. Вопрос о водопроводе. Угольный вопрос. Женская гимназия. Главнейшие внешние обстоятельства за два года моего пребывания в Таганроге: Кандийский вопрос, поездка государя в Париж и покушение Березовского. Ливадия. Толстой просит о назначении меня попечителем Киевского округа. Недоверие ко мне государя и моя решимость покончить со службой. Мне предлагают Виленское губернаторство.

В числе предметов городского благоустройства, отнимавших у меня наиболее времени и приводивших дух мой в неприятное волнение, было мощение улиц. Должное состояние их вполне заслуживало административной заботливости не только по обыкновенным требованиям городской жизни, но потому, что ими шла торговля в несколько миллионов. Ширина таганрогских улиц затрудняла содержание их в порядке, и тотчас по вступлении в должность я стал заботиться об уменьшении ее бульварами, чем достигалась и другая цель — освежение степного города в знойные дни.

Возможность успеха в посадке деревьев доказана мною аллеей, насаженной между гостиными рядами. Отенение всех улиц при существовавшем недостатке в воде и периодических засухах было бы трудом бесплодным, пока не устроили бы водопровода; но фактическое доказательство вероятности успеха в разведении деревьев могло поощрить тех, чья жизнь не услаждалась единственно пшеничным колосом. Все-таки главнейший вопрос состоял в исправном содержании мостовых.

О таганрогских мостовых начал заботиться градоначальник князь Ливен. Со свойственной ему чисто военной исполнительностью он неустанно и без размышления соблюдал существовавшее постановление. Этим постановленным, предложенным, вероятно, местной властью, не подумавшей о местности, и утвержденным петербургскими властями, не могшими знать ее, каждый фурщик, привозивший в город пшеницу, обязан был спуститься к берегу, нагрузить там в фуру выбрасываемый морем галыш и потом ссыпать его на указанной полицией улице. В Таганрог въезжают с материка по ровной местности, но спуск из города к морю, улучшенный лишь в последнее время, во времена существования прежнего закона представлял кручу, едва одолеваемую пустыми фурами, не только с кладью. Легко представить, что терпели фурщики и волы их при исполнении такой натуральной повинности. Ее заменили платой 12 копеек за каждую фуру, въезжающую в город, и новые постановления написали таким образом, что охотники до неисполнения ими нарушения могли толковать их в свою пользу. По закону, сбор с фурщиков поступал на мощение и содержание мостовых, а в другом законе, учреждавшем мостовой комитет, сказано, что по замощении улиц он сдает их домовладельцам. Эти подлежащие двойствен-

ным толкованиям постановления, способ сбора и, наконец, самый мостовой комитет доставили мне много хлопот, тем более неприятных, что предмет пререканий и споров не терпел бумажной медлительности; улицы следовало содержать в порядке. Вопрос, отдельно взятый, представляет живую картину административной инерции и движимого в разных случаях различными интересами местного общества; вместе с тем он дает понятие о тех Сциллах и Харибдах, между которыми приходится у нас изворачиваться, если желаешь достичь чего-либо полезного.

Через шесть месяцев по вступлении в должность я написал генерал-губернатору:

«В настоящее время, чтоб фурщики не уклонялись от взноса сбора, поставлены на различных путях, ведущих в город, четыре будки. Здесь взимается сбор и фурщикам выдаются билеты, которые они должны сохранять в доказательство того, что оплатили уже сбор, и в удостоверение, что не подлежат ему на обратном пути.

Способ сбора подвергает стеснениям людей самого простого и вместе с тем наиболее трудящегося класса, безграмотных, чуждых всяких понятий о способах искать права и считающих каждого горожанина за лицо высшее. Несмотря на все старания, весьма часто фуры прорываются в город незамеченные, ибо в степной местности везде дорога, и избегают платы; а между тем мостовой комитет, вынужденный иметь заставных смотрителей, их помощников и ревизиров, стоит 3 249 руб. Деньги эти ассигнуются из мостового сбора, не превышающего 18–19 тысяч рублей, и таким образом администрация учреждения поглощает 16% сбора, для которого она создана».

«Большая часть тяжестей, ввозимых в Таганрог, идет за границу, т. е. достигает порта. Очевидно, что, взимая сбор с подвод при проезде их через портовую заставу, весь процесс упростится. Въезд в город станет свободен, взимание будет производиться не с бедных неграмотных людей, с трудом добивающихся суда и расправы в случае обиды, а с городских фурщиков, составляющих здесь весьма значительную корпорацию, или с употребляющих их контор. Правильный учет станет возможен, ибо все отправляемое конторами в порт должно объявляться в таможне; вдобавок взимание будет совершаться в одном пункте, всеми посещаемом, у всех на виду. Промедления в подвозе на пристань не будет, ибо и теперь со всего провозимого взимается на содержание в порядке набережной и пристани;[10] сбор на городские мостовые будет взыскиваться в то же время».

«Принимая в расчет особенность города и применяясь к способу взимания, уже производящемуся для содержания в исправности Воронцовской набережной, я полагал бы необходимым обложить сбором каждый пуд товара 1/3 коп. Товары, выгружаемые на пристань для отправления на рейд и не проходящие через заставу, от мостового сбора освободить.

Если устранение стеснений простолюдина, прибывающего издалека, и будет сопряжено с некоторыми неудобствами для сословия, занятого сбором его трудовых произведений, сословие это во всяком случае не понесет материальных потерь и должно, наконец, помириться с мыслью, что город, доставляющий ему средства к обогащению, в свою очередь вправе требовать от него некоторых уступок, в особенности в вопросе, от которого самая торговля выигрывает».

Вместе с этим я просил изменить некоторые статьи и инструкции мостовому комитету. Началась игра в мяч, особенно по вкусу многим администраторам, а еще более их канцеляриям. Когда хотят по каким бы то ни было причинам утопить вопрос, если его возбуждает правительственное лицо относят беспокойного возбудителя к обществу; если неугодный вопрос возбуждается обществом правительство возвращает с своими замечаниями, равняющимися необоротным препятствиям. В этом случае жалоба на приговор целого общества, подписанная 30-ю негоциантами, сочте-

на достаточной для уничтожения приговора и последовало распоряжение составить новый приговор с участием недовольных.

В это время вопрос о Харьково-Таганрогской дороге близился к разрешению. При новом способе сообщения число въезжавших в город фур непременно уменьшилось бы, от чего пострадал бы самый сбор; при переносе же сбора на таможенную заставу город во всяком случае пользовался бы сбором. Оппоненты мои не хотели понять этой выгоды и упорствовали по причине более, нежели странной и мне, как вращавшемуся в местной сфере, весьма хорошо известной: таганрогские аристократы оскорблялись, что им «придется мостить улицы для плебеян».

Дело о мостовом сборе длилось полтора года. Убедившись, что местные влияния препятствуют его разрешению, я перенес его в столицу.

Казалось, я действовал совершенно в видах правительства, выраженных уже в проекте нового городового положения. Но несмотря на все благоприятные условия: на согласие общества, на сочувствие к предмету генерал-губернатора, на то, что министерством управлял человек, старавшийся исполнять свою громадную обязанность и имевший нужные способности, вопрос ограничивался письменностью в течение полутора лет, и теперь еще, кажется, за бедными фурщиками гоняются по городу и преследуют их на всех углах. Вероятность повреждения копыт аристократических рысаков заставила тотчас отбросить мысль о чугунных мостовых, а притеснения сотни тысяч людей не считались достойными скорого административного действия. Без всякого сомнения смеялись, что я поднимал бурю в стакане воды, забывая, что такими стаканами наполнялась необъятная чаша нашей России и для отстранения бурь в ее громадном бассейне нужно, чтоб было тихо в бухтах и заливах.

Равнодушие власти и сопротивление сограждан не утомляли меня. По поводу запроса министерства об общественных пожарных командах я дал новый толчок постоянно занимавшему меня вопросу о водопроводе. Выражая министерству мнение, что введение общественных пожарных команд должно идти рядом с введением нового городового положения, убеждая его узаконить штатную пожарную единицу, чтоб технические достоинства инструментов не зависели в провинции от не знакомых с делом членов городских управлений.

Еще прежде, продолжая настояния моего предместника, я обратился к инженер-технологу Возинскому, принимавшему участие в Новочеркасском водопроводе, и вместе с ним осмотрел и пронивелировал местность между селением Николаевское на реке Миусе и городом. Составление подробных планов и смет требовало расходов, а потому я, желая предварительно убедиться в согласии с моими видами властей, написал генерал-губернатору:

«Если обильное снабжение водой везде составляет условие благосостояния, то в Таганроге оно будет истинным благодеянием. Бедный класс населения не знает иной воды, кроме морской, всегда солоноватой, а летом, когда наиболее в ней нуждаются, отвратительной на вид для обоняния и вкуса. Даже избыточная часть населения покупает воду весьма дорогой ценой, именно по 50 коп. за бочку у водовозов, по 10 коп. у единственного колодца за городом, посылая нарочно содержащихся с этой целью лошадей. В последнюю эпидемию недостаток хорошей воды был осязателен, и тотчас по прекращении ее я считаю долгом обратиться к В. В. с покорнейшей просьбой оказать нам помощь в осуществлении проекта водопровода».

«По окончании нивелировки, произведенной инженер-технологом Возинским, приступлено к составлению подробных планов и смет. Начиная труд, требующий времени и расходов, я желал бы иметь основание надеяться, что усилия наши встретят одобрение В. В. и поведут к Вашему ходатайству о выполнении наших предположений. На мою соб-

ственно долю достался финансовый план предприятия, который может быть очерчен несколькими словами».

«Прекрасная вода реки Миуса от селения Николаевки (13 верст) может быть проведена в город с устройством двух резервуаров и пяти разборных будок, а также с пожарными колодцами через каждые 200 саженей в главных улицах, по приблизительному расчету, не более как за 200 тысяч рублей. На администрацию, эксплуатацию и ремонт понадобится ежегодно 12 тысяч».

«Нужная на устройство сумма может составиться из следующих источников: 113 тысяч, хранящихся в здешнем приказе облигациями главного общества железных дорог, 50 тысяч, заимствованных без процентов на время из капитала на устройство порта, и 40 тысяч, которые могут дать страховые общества по примеру того, как они дали на водопровод городу Владимиру».

«Порт не может устроиться ранее трех лет, а в это время возместятся заимствованные из портового капитала 50 тысяч рублей».

«Для большого обеспечения предполагается обложить все недвижимые имущества. Принимая ценность их по таблицам раскладочной комиссии в 3 600 000 рублей, выйдет, что для получения 25 тысяч придется по 3/4 коп. на каждый рубль собственности, причем остается около 4 тысяч рублей для изъятия впоследствии от налога, в сущности, впрочем, ничтожного, у беднейших хозяев и для покрытия недоимок».

Таким образом, два важных условия благоденствия населения — порт и водопровод — были бы выполнены единовременно и сумма приказа, назначенная для вспомоществования неимущим страждущим, удовлетворила бы благотворительной цели вдвойне: помогая страждущим в той же степени, что прежде, и уменьшая число их отстранением важнейшей причины болезней — употребления воды дурного качества. Конечно, план был грешен недостатком гарантии, но, по мнению моему, торговый город представлял ее в достаточной степени.

Положительный отказ заставил меня искать иных источников. Стуча во все двери, я нашел, наконец, общество, готовое принять на себя устройство водопровода на известных условиях. Планы и сметы были между тем изготовлены, и, сильный такими данными, я начал склонять горожан к осуществлению мысли. Избегая всего, что могло показаться административным давлением или желанием добиться скорого необдуманного согласия, я открыл вопросу местную газету, даже сам писал в ней, разъясняя недоразумения и опровергая ложные взгляды. Через некоторое время, заключивши, что общество уже достаточно познакомилось с предметом, я попросил домохозяев в клуб и несколькими конференциями, объясняя планы и предложения компании, готовой устроить водопровод, старался склонить владетелей домов к самообложению для гарантии кампании.

Здесь представилось обстоятельство, выказывающее, что Таганрог был наполнен препятствиями. Воевавшие против мостового сбора греки в водопроводе оказались на моей стороне по восточной привычке к воде, а соглашавшиеся на перенесение сбора владельцы-казаки и отставные чиновники отвергали надобность в воде. Их пугало, что новым налогом на имущество они закабалят своих детей. Такие аргументы могли быть сбиты только светом, и для превращения тьмы в свет самому заждителю понадобилось время. Я имел утешение оставить преемнику выработанные подробные планы, предложение кампании и раскладку на имущество — не более.

В исходе 1867 года П. Е. Коцебу начал настаивать на введении отечественного угля на южных железных дорогах вместо английского и в числе других мер обратился ко мне с просьбой вникнуть в вопрос, в особенности исследовать причины необыкновенно высокой ценности нашего угля в Одессе. В то же время был оставлен, по высочайшему повелению,

комитет под председательством наказного атамана Потапова для изыскания средств распространения донского угля, и меня назначили в него членом.

Изыскания Горного управления земли Войска донского уничтожили всякое сомнение насчет богатства Донецкого угольного бассейна. Превосходного качества пламенный уголь находился на огромном протяжении в 50–60 верстах от Таганрога, куда подходили уже два железных пути: один через угольные залежи Миусского округа прямо от Харькова, другой – от Воронежа через Ростов, пересекая известные Грушевские копи. В Таганроге устраивалась гавань, в которой при обыкновенных обстоятельствах было бы 9–10 фут воды. Положение города, пункта соединения двух дорог, пролегавших через угольные местности вне донских гирл, затруднявших плавание, указывало, что отпускным портом угля должен стать Таганрог. Но доставка топлива в Одессу требовала средств перевоза, представлявших гарантию верности и точности. Уже тогда надобилось до 5 миллионов пудов ежегодно, а на чем можно было перевезти их? Морской каботаж наш почти уничтожился после Крымской кампании. Нельзя было предполагать, чтоб ладьи, перевозившие пшеницу на Азовском море, могли удовлетворить надобностям юго-западных железных дорог наших. Соображения эти заставили меня подумать о средствах перевоза, без которых облегчение добычи угля и подвоза его к морю не произвели бы полезного результата. Акционерная компания с правительственной помощью казалась мне лучшим средством достичь цели, и я представил устав, почти скопированный с устава Русского общества пароходства и торговли. Вот некоторые мои соображения.

«Мы тратим огромные суммы на дорогую покупку топлива, по качеству несравненно худшего того, которое имеем под рукой в собственном отечестве, как бы забывая, что угольная промышленность ведет за собой металлургическую, все сопряженные с нею отрасли мануфактурной промышленности и вообще способствует развитию общего благоденствия».

«Мнения компетентных лиц сводятся к двум положениям:

1) избавить местный уголь от всяких пошлин и сборов, и

2) удешевить фрахт уверенностью в обратном грузе, для чего предлагается испросить уменьшения акциза на Крымскую соль.

Эти две меры, по мнению корреспондентов моих, достаточны для развития угольной промышленности, и в таких условиях перевозочные средства явятся сами собой при значительном требовании».

«Правительство с давнего времени заботилось о развитии каботажа, учреждало премии, давало беспроцентные ссуды с единственным условием, чтоб суда строились по известным улучшенным чертежам, даже само строило суда для образца и отдавало их промышленникам. Все меры эти, завися вполне от энергии и воззрений на обязательства отдельных личностей, имели единственный результат; в попечительстве множество старых дел по взысканиям выданных на постройку сумм».

Исследования настоящего состояния азовского каботажа совершенно совпадают с неутешительными канцелярскими результатами оказанного правительством покровительства.

«Жалкое положение азовского каботажа может объясниться только местными условиями, с которыми частные усилия бороться не могут (в особенности при отсутствии всяких познаний и крайней необходимости в наших продуктах), иначе не вверяли бы подобному каботажу грузов, стоящих до 45 млн рублей. Очевидно, иностранцы не могут нуждаться в нашем топливе, его распространение единственно в нашей выгоде, в нашей потребности, и есть ли малейшее основание допускать, чтоб подобный каботаж мог удовлетворить возникающему новому

Таблица современного состояния азовского каботажа

Порты	Число судов, приписан-ных к порту	Общая вместимость в ластах[11]	Суда более 35 ластов		Суда менее 35 ластов		Число судов 10–15-летних	Число судов 15–20-летних	Число судов 20–30-летних	Построено с 1860 г.	Сколько в каком городе выстроено с 1860 г.	Общее количество азовских грузов
			число	вместимость	число	вместимость						
Ростов	465	11406	72	3995	393	7511	204	28	10	198	1860–26, 1861–10, 1862–36, 1863–25, 1864–26, 1865–19, 1866–56	
Таганрог	149	6030	62	4067	87	1763	53	13	10	7	1860–1, 1862–1, 1864–65–2, 1866–2	Свыше 330000 ластов
Мариуполь	65	4213	25	3394	40	819	27	7	3	16	1860 – 7, 1861 – 2, 1862 – 1, 1863 – 3, 1865 – 3	
Бердянск	97	2307	15	571	82	1736	44	4	2	11	1860 – 1	
Керчь	96	3592	44	2524	52	1038	56	7	6	22	1864 – 1, 1866 – 1	
Всего	872	27548	218	14481	654	13067	388	59	21	224		

Примечание 1. Собственно в Ростове судостроение незначительно. Большая часть судов строится в верховьях Дона, на Хопре и Медведице, где близки леса, или в станицах, где рабочая плата меньше.

Примечание 2. Суда более 35 ластов вместимостью не употребляются для перевозки грузов между портами иностранными кораблями, ибо весьма не выгодны при мелководье берегов. Половина их принадлежит разным греческим и славянским фирмам, занимаются единственно заграничной перевозкой и меняют весьма часто флаги, пользуясь выгодами, представляемыми обстоятельствами.

спросу на громадные и вместе верные перевозные средства. К несостоятельности каботажа развить в короткий срок новую промышленность, выводимой из статистических только данных, нужно прибавить оценку его, недоступную цифрам. Близкое знакомство с плавающими по Азовскому морю судами убеждает, что азовское судостроение есть нерасчетливое и безжалостное истребление дорогого строительного материала, а внимательный взгляд на судоходство и самое мореходство ведет к горькому убеждению, что весьма ценная собственность вверяется невежеству и бесчестности, которым на морях нет примера. Отсюда немыслима никакая помощь со стороны подобного каботажа в случае внезапной государственной надобности».

«Я должен был изыскивать способ скорого развития угольной промышленности помимо существующего каботажа, более соответствующий современному состоянию морского дела, указываемый нашими короткими расстояниями и метеорологическими условиями наших морей».

«Способ этот представляется в образовании Акционерного южного каботажного общества на следующих главных основаниях:

1) общество обязывается доставлять для наших южных дорог ежегодно 5 млн пудов антрацита;

2) завести в течение двух лет потребные для того парусно-паровые суда, буксирные пароходы и баржи;

3) доставлять уголь по цене, начиная с цены 20 коп. за пуд. Условие это соблюдать при всех казенных поставках, для которых местные власти примут кондиции, излагаемые здесь для железных дорог.

Правительство со своей стороны должно:

1) гарантировать обществу ежегодную поставку в 5 млн пудов;

2) дать право набирать экипажи из нижних чинов флота (уроженцев южных губерний), увольняемых в бессрочные отпуска, за определенное жалованье и содержание;

3) дать Обществу ежегодную премию в 150 000;

4) когда цена угля станет понижаться от первоначальной 20-копеечной, дать дополнительную премию в 25 000 рублей за каждую 1 копейку понижения; 1/2 премии этой будет разделяться исключительно между членами правления».

«Испрашиваемые у правительства выгоды принесут важную и многоразличную пользу, не только не вводя его в издержки, а, напротив, избавляя от лишних трат.

5 млн пудов английского угля стоят ныне в Одессе по меньшей мере 1 млн рублей. Если принять, что антрацит выгоднее угля не на 30%, как показывают производимые опыты, а только на 25%, то на 5 млн нашего топлива сохранится 250 000 рублей и казна заплатит за развитие важной национальной промышленности 100 тысячами менее того, что платит теперь иностранным промышленникам. Очевидно также, что поощрение правления за понижение ценности угля побудит его к возможным стараниям удешевить доставку материала, и казна в этом случае истратит только половину того, что выиграет».

«Для удобной перевозки угля предполагается построить суда, сидящие в воде не более 8 фут. На них без всякого ущерба для казны не будут отвыкать от дела увольняемые в отпуск матросы и найдут употребление многие морские офицеры.

Суда эти построятся столь мелко сидящими с той целью, чтобы, удовлетворяя торговому расчету при мелководьи азовских портов, быть в состоянии в крайнем случае укрыться в недосягаемое неприятелю безопасное убежище.

Это условие необходимо только в крайних случаях, на которые благоразумие должно рассчитывать; но цель укрепления Керченского пролива не может быть исключительно пассивной, т. е. защитой приазовского прибрежья через непропуск неприятельских судов в азовский бассейн. В сущности там защищать нечего, ибо каботаж может заблаговременно укрыться в Дон, а нападение на беззащитные пункты все более и более отвергается обычаями войны, неминуемо подчиняющимися мнению. Тратя миллионы на укрепление Керченского пролива, мы, конечно, имеем в виду беспрепятственное пользование Азовским морем как путем для нападения на неприятеля, решающегося нанести нам удары в Крыму и на Северном Кавказе. Предлагаемая флотилия представит достаточные и действительные средства для сосредоточения войск в угрожаемых местностях, и есть необходимое дальнейшее развитие пароходной силы, существующей уже на Дону и Волге. Такое оружие должно быть в руках правительства при условиях, в которые мы поставлены на Черном море, и единственный способ изменить их — начать сызнова так, как начинал Петр, т. е. истинным, не подлежащим сомнению господством над Азовским морем, разумеется, со средствами, которые дает наука нашего времени».

«Настоящий каботаж при помощи предлагаемой флотилии будет также полезен, следуя на буксире. Он нисколько не пострадает от ее соперничества и в мирное время».

Генерал-губернатор, как сам писал мне, отдал мой проект на разбор (или лучше на съедение) директору Русского общества пароходства и торговли Н. М. Чихачеву, переслал мне его неумолимую критику и советовал передать проект Волго-Донскому обществу, которое, вероятно, примет в расчет выгоды его и возьмется за исполнение. В Волго-Донском обществе были только речные пароходы, и хотя дела шли успешно при новом директоре, оно вовсе не имело запасных капиталов.

Среди препятствий к разрешению вопроса, в которых следовало подчиняться закону государственному, меня утешала всегдашняя готовность общества на жертвы, выставлявшие личное великодушие или щедрость, и я пользовался этой барской замашкой при всех удобных случаях. Противившиеся мне в общих делах таганрогские набобы будто желали выказать взамен, что лично ценят меня, и в особенности усилия жены, так же ревностно служившей по тем частям, которые обычай отдал в руки женам местных начальников. Приют за наше время значительно распространился, и когда принц Ольденбургский отказал в необходимой по местным условиям покупке дома из приютского капитала, жене через несколько часов принесли четыре тысячи рублей. Лотереи-аллегри доставляли ежегодно не менее трех тысяч, и вследствие настояния министра просвещения, чтоб все воспитанницы женской гимназии являлись в классы в одинаковой одежде, благонамеренные богачи, не имевшие к гимназии никакого отношения, предложили средства для экипирования бедных воспитанниц.

Таганрогская женская гимназия обязана своим существованием заботливости бывшего градоначальника контр-адмирала Лаврова. До него не было почти средств воспитать дочь в Таганроге и нужно было полагаться на домашних учителей весьма сомнительных способностей или отсылать девиц в Харьков, отрывая их от домашнего крова. Лавров склонил общество к ежегодному пожертвованию в несколько тысяч рублей, при мне значительно увеличенному, и хлопотал об учреждении гимназии, пока получил согласие.

Общество дало жене средства учредить в самой бедной части города рукодельную школу, и «благотворительное общество», при нас учрежденное, развило свои действия в очень значительных размерах. Помещик Бернадаки принес ему в дар дом, оцененный в тридцать тысяч. Вообще там, где надобились частные жертвы, выставлявшие лично жертвователя, Таганрог мог спорить с богатыми городами России; его великодушие и щедрость неохотно улеглись только в законные рамки и не любили исчезать в общественных предприятиях, в которых копейка бедного была равноправна с рублем богатого.

Жизнь моя, как я говорил уже, ограничивалась официальным трудом. Немудрено поэтому, что за два года внимание мое было отвлечено только тремя обстоятельствами: Кандийским вопросом, путешествием государя в Париж и собственной моей поездкой в Ливадию.

Кандийский вопрос имел в Таганроге громкий отголосок. Не противясь сочувствию, весьма естественному и выказанному всей Россией, я старался, однако ж, обнаружить, что нужды России несравненно важнее нужд иного народа, как бы они не были вопиющи. Рядом с пожертвованиями на кандиотов всегда находилась надобность жертвовать на различные местные учреждения, и греки вспоминали о России вместе с Грецией. В Кандийском вопросе, по убеждению моему, мы заходили слишком далеко, не рассчитавши на наше бессилие или, может быть, в излишнем рвении восстановить на востоке наше значение. По делу был призываем в Ливадию Н. П. Игнатьев, посол наш при Порте. Из разговоров с ним я заключил, что молодой посол чаял создать свое вели-

чие на возбуждении громкого сочувствия России в пользу единоверцев. Во время пребывания на южном берегу я убеждал Коцебу употребить влияние на вселение осторожности, везде говорил, что на юге мы совершенно бессильны и испытаем первые удары войны без всякой возможности отразить их. На другой год также вытребовали Игнатьева в Петербург и возвратили к посту с приказанием разглашать о нашем миролюбии. Поездка государя в Париж не помогла делу, и мы должны были изменить систему действий.

О намерении государя посетить Париж я узнал положительно в Ейске от Вел. Кн.[12] Михаила Николаевича. Решимость эта казалась ему странной, и я совершенно разделял взгляд его высочества, хотя несколько оправдывал государя, представляя добровольное унижение как жертву на благо России. Наполеон оправился от этого визита. Мексиканские дела, в особенности казнь навязанного им Мексике императора, требовали диверсии. Чего было лучше съезда в Париже монархов, в том числе, кто наиболее представлял собой божественное право, так бесцеремонно попранное мексиканцами. Каждый раз, что мы кидались в объятия Наполеона, судьба дарила нам новые испытания. В этот раз наполеоновская полиция не охранила государя от злодейского покушения. Государь стал беспокоен, подозрителен, и в садах Ливадии рассказывали про многие случайности, обнаруживавшие странную нервность августейшего хозяина. При характере от природы мягком, впечатлительном, созданном только для удач и успехов, неспособном выносить препятствия, подобные симптомы — предвестники худшего.

В Ливадии же случилось обстоятельство, еще более утвердившее меня в намерении оставить службу по истечении приближавшегося 35-летнего срока. Мы съехались там с министром просвещения графом Д. А. Толстым, знавшим меня по совместной службе в морском министерстве. Граф предложил мне место попечителя Киевского учебного округа и, по согласии моем, доложил о том государю. Отказ мне был передан под благовидным предлогом, будто не хотят, чтоб я так решительно удалялся от всего морского, но о настоящих поводах догадаться было нетрудно. На простом русском языке это означало, что ко мне не имели доверия, а без этого условия, столь же таинственно у нас рождающегося, как и умирающего, никакими усилиями не докажешь, что желаешь пользы. Я воротился в Таганрог с твердым намерением дослужить до срока и прекратить тщательные попытки.

Через три-четыре месяца рано утром мне подали две депеши: одной Потапов, назначенный генерал-губернатором Северо-Западного края, просил меня принять место виленского губернатора, другой — граф Д. А. Толстой просил не отказываться от предложения. Если читатель, терпеливо следивший за пенелопиной тканью, которую я ткал в Таганроге, возьмет в расчет последнюю мою ливадскую неудачу, то придет к заключению, что брошенное из столицы электрическим током семя упало на приготовленную почву. Решившись непременно перестать служить, я, естественно, обрадовался предложению, представлявшему вероятие более значительной пенсии за службу. Более дорогая таганрогская жизнь среди общества, для которого ничего не значили собственно жизненные расходы, была для меня далеко не по силам. Небольшие средства наши ощутительно уменьшались, и я, наконец, подумал о приближавшейся старости. Все эти соображения заставили меня согласиться, и невидимо для меня развернулась передо мной горькая страница книги судьбы моей.

Я не мог дождаться моего преемника, потому что морское начальство не избрало еще кандидата. По закону и собственному желанию я оставил ему перечень всего сделанного и начатого за два года, вместе с взглядом моим на среду, в которой предстояло ему действовать.

В короткий промежуток времени между известием о моем новом назначении и моим

отбытием я убедился в сочувствии многих, тем более для меня приятном, что я сделал уже должность председателю коммерческого суда и жил в городе единственно по бездорожью, это было в жидком и вязком марте. Общество непременно хотело проводить меня обедом и на пиру высказало мне, что свыклось уже с прошедшим, стало ценить его и не знало, что готовит будущее.

Я поехал на север через землю войска Донского и Воронеж, в дормезе генерала Потапова, оставленном им в Новочеркасске. Судьба не довольствуется иногда явными ударами, для ее прихоти нужна насмешка. Спокойно катил меня генерал-губернатор северо-западного края собственными средствами к им же уготованному конечному моему крушению.

ГЛАВА VI

ПОДВИГИ НОВОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ ЗА 1868 ГОД

Назначение Потапова главным начальником Северо-Западного края. Встреча с Потаповым в столице. Первые его откровенности и мое условие. Приезд мой в Вильну; прием служащих и дворянства. Мои первые взгляды на местное управление. Первый объезд губернии. Мои впечатления вследствие объезда. Русские чиновники, школы и духовенство. Генерал-губернатор задерживает мой всеподданнейший отчет и советует не представлять его. Приостановка выкупной операции собственной волей. Гонения на мировые учреждения. Кем заменял генерал-губернатор изгоняемых. Мои воззрения на различные вопросы в крае окончательно устанавливаются. Взгляды на православие.

Люди — плохие судьи собственных дел, в особенности, когда действия их обращаются во вред им самим. Так случилось со мной дважды в моей официальной жизни, и я приступаю к изложению важнейшей из прискорбных для меня случайностей с некоторой робостью. Чтоб искренность стала возможна, постараюсь сначала ограничиться фактами, касаясь лишь поверхности причин, их вызвавших или изменивших их естественные последствия.

Не принадлежа к школе фаталистов, так блистательно защищаемой автором «Войны и мира», не могу, однако ж, не признать, что в стране, где не выработались еще формы не только общественного, но даже правительственного выражения мнения, внезапные случайности — назовите их фатумом или произволом, все равно — нарушают всякие расчеты, издеваются над самой сдержанной мудростью и вводят в политическую жизнь неожиданности, неотвратимые предусмотрительностью.Моя хроника виленского погрома 1869 года не представит материала для будущей истории. Ход ее, несмотря на возможные затруднения со стороны обстоятельств и деятелей, установится живучестью России, и передаваемые мною подробности стушуются событиями, представляющими путеводные столбы государственного движения; но современники должны заносить и мелкие случайности, более или менее препятствовавшие свершению народных судеб. Одна из таких случайностей выпала на мою долю, и, по соприкосновению с личностями особого характера, на мою гибель. Я считаю соперников моих вне общего закона, принятого во взаимных отношениях между людьми, и на таинственно уготованное ими крушение мое, на безапелляционное осуждение мое вправе отвечать некоторыми откровениями.

В начале 1868 года Северо-Западный край, всколыханный бурей 1863 года, был вверен генералу Потапову, четвертому генерал-губернатору в течение пяти лет, протекших от последнего польского взрыва. Новый начальник приступил немедленно к переменам в местной администрации и, как видели, счел меня способным заменить прежнего виленского губернатора.

Бывши соседями, мы нередко виделись с Потаповым, и между нами установилась деловая связь. Многие предположения, представления и отчеты мы сообщали друг другу. Я совершенно одобрял его усилия преобразовать Донскую землю в Донскую губернию; он знал, что я неусыпно старался сделать из иностранного Таганрога русский город, ввел русский театр, хлопотал об уничтожении всяких греческих привилегий, отвергал деление городского общества на греческое и русское, короче, делал все, чтоб сгладить местные особенности и подчинить градоначальство общему учреждению о губерниях.

Федерализм, с удобствами которого я познакомился в Штатах, казался мне на материке Европы утопией, ведущей к государственному самоубийству. У нас желания народа нелегко обнаруживаются, еще труднее выполняются, а главное — нет благодетельного отсутствия сильных соседей, как в Штатах, следовательно, нет самого существенного условия — политической децентрализации. В отношении к моему отечеству я не мог быть иным, как унионистом, и Потапов очень хорошо знал это. Если мое прошедшее, ему известное, оставляло в уме его колебание на счет моих взглядов и убеждений, знакомство с моей официальной перепиской не могло не выказать ему, что я привык излагать откровенно мои мысли и не без борьбы отказываться от них. Видимая тождественность воззрений, более обширное поле для приложения их и, наконец, соображения, о которых я упоминал уже, заставили меня согласиться на сделанное мне Потаповым предложение.

Потапов, показавшись на минуту в своем воеводстве, проживал в Петербурге. Мне хотелось как можно скорее прибыть на место и избежать в столице пустых толков о крае, где приходилось действовать в довольно видном, хотя второстепенном положении. Все же я не мог не явиться к кому следовало, и всеми был принят с участием к моему здоровью; только великий князь Константин Николаевич сразил меня одной из тех внезапностей, к которым все привыкли, и которые тем не менее всегда удивляют: он спросил меня, что я еду делать в этой «гадкой яме». Потапов заставил меня присутствовать на некоторых докладах по Виленской губернии, проговорил со мной несколько вечеров о делах, и из столичных конференций наших у меня врезались в память две его решимости: все сделанное принять за свершившийся факт, passer l'eponge,[12] как он выразился, и сохранить военное положение в крае «для русских чиновников». Обе решимости были высказаны вследствие моих настояний о снятии военного положения. Мне казалось чрезвычайно странным это замаскированное царение произвола в крае через шесть лет по усмирении мятежа; но признаюсь, еще страннее представлялась причина сохранения ненормального порядка вещей, приведенная Потаповым. Зная его словоохотливость, я принял фразу за сорвавшийся с развязного органа слова бессознательный звук, нимало не подозревая, что впоследствии буду свидетелем столь жестокого осуществления выраженной нечаянно, как я полагал, идеи. Впрочем, высказавши такой чудовищный парадокс, генерал-губернатор пустился, поневоле уже, в доказательства и особенно налегал на чиновников Виленской губернии, как на самых неистовых исполнителей всех беззаконий, совершаемых в крае. Я тогда же отвечал ему, что никак не решусь лишать кого-либо места, не познакомившись лично с деятелями; прежде присмотрюсь и тогда уже отделю плевела от добрых семян. Потапов советовал не церемониться, показывал уже изготовленный список новых

деятелей и ручался, что затруднений с его стороны не будет. Такой легкий взгляд убедил меня, что время мое употребится с большей пользой на месте и утвердил в решимости следовать собственным наблюдениям. Я успел узнать, что Потапова, не колебавшегося на Дону, где им водила твердая рука военного министра, готовили в Петербурге к принятию нужной веры иные апостолы; что помня последние дни сослужения своего с Муравьевым в качестве помощника и оскорбление, нанесенное ему назначением Кауфмана, а также чая в новом исповедании больших воздаяний, Потапов охотно склонялся к перемене религии. Стало мне известно и то, что на ходатайство о моем назначении государь заметил Потапову, что он со мной не уживется. Потапов уверял, будто ответил, что знает меня близко и уверен, что его величество переменил бы обо мне мнение, если бы короче знал меня. Взвесив все узнанное и услышанное, я простился с генерал-губернатором. Последним словом моим была убедительная просьба не выживать меня в случае несогласия в наших взглядах, а сказать откровенно, и я тотчас избавлю его от моего сотрудничества. «Не расставаться же нам с Вами, как я расстался с Краббе, – прибавил я, – два искренних слова, и я уеду». С уверениями, что ничего подобного случиться не может, Потапов отпустил меня в Вильну и через месяц сам туда приехал.

По прибытии на место я принял служащих, положительно объявил им, что сохранение мест будет зависеть от усилий и усердия каждого, и что не зная личностей, с которыми меня свела служба, и не дозволяя себе покровительствовать кому-либо в ущерб ей, я не могу иметь предвзятых намерений смещать и заменять служащих. Прием мой, конечно, был тотчас передан Потапову, приобретшему привычку к передачам. Я знал, что вступительные мои действия будут тотчас известны ему, но знал по служебному опыту и то, что нет ничего вреднее для службы и дела как ежечасная неуверенность служащих в прочности их положения. Слухи о переменах дошли гораздо прежде меня в Вильну, и успокоить подчиненных было моей служебной и нравственной обязанностью. Дворянству и католическому духовенству я сказал, что «буду их покорнейшим слугой, но с условием, чтоб они были нелицемерно верными слугами государю и России». Вообще я был не говорлив и старался только успокоить сомнения, порожденные слухами с Михайловской площади, где жил Потапов в столице.

В самом начале множество доносов весьма неприятно поразило меня. Как нового, незнакомого с местными обстоятельствами и людьми начальника, меня осаждали просьбами об аудиенциях и бесчисленными изветами, посылаемыми по почте. Уловки эти оказались недействительными, и я прошел бы факт без внимания, если б те же доносы не доходили до генерал-губернатора, и мне не приходилось читать их вдвойне. Потапов аккуратно пересылал мне их, несмотря на неоднократные удостоверения, что точно такие же послания писались ко мне. Однажды он прислал мне даже донос на меня. Писали, будто я взял в Таганроге от одного купца восемь тысяч рублей. Разумеется, ни имени купца, ни дела, по которому взятка принята, не было означено. Совершенно было справедливо, что на выезд из Таганрога и первые расходы в Вильне я должен был заложить в Ростовском отделении государственного банка 50 выигрышных билетов, которые я получил через год обратно по уплате взятых пяти тысяч рублей. Уже я заметил, что тайные донесения имели на Потапова влияние, выказывавшееся в мнения о различных личностях, упоминаемых в доносах, и не понимая, с какой целью он мне присылал анонимную на меня жалобу, возвратил ее, сказавши, что не имею ни желания, ни времени отвечать на подобные произведения.

Между многими мнениями непрошенных советников был список служащих русских чиновников, представленный с отметками губер-

нского предводителя дворянства Домейко. В нем щедро рассыпались эпитеты социалистов, коммунистов и красных, но некоторые личности удостоились отметки «благонадежные». Списки эти были изготовлены в двух экземплярах и переданы Потапову и мне. Предоставляю каждому несколько здравомыслящему человеку заключить, можно ли было прилагать малейшее вероятие к политическим аттестатам о чиновниках, сделанным представителем дворянства, выказавшегося уже «неблагонадежным» только, а прямо противоположным правительству и России. Недолжными были самые выражения неблагонадежности — коммунизм, социализм и краснота, и они должны были привести каждого, не пугающегося ложного словаря псевдо-консерваторов, к заключению, что весь этот поражающий слух вздор прибран и совокуплен воедино для вящего воздействия на новые власти, и вдобавок собран весьма неловко, даже с неуменьем скрыть основную мысль. И не ясно ли было, что предводитель решился на этот coup d'état,[13] поощренный слухами, доходившими из Петербурга, о новом направлении назначенной в край власти. Рвение, с которым накинулись доносчики, и решительный поступок лица официального, по обязанности державшего сторону панов, должны были предостеречь нас. Если из подобранных с известной целью бумаг Потапов и возымел предвзятую идею считать русских чиновников за грабителей, нерасчетливое и, повторяю, неловкое ожесточение, с которым набросились на него местные радетели о пользе края и России, должно было остановить его. Прием был так осязательно неловок и в ябедническом существе своем прост, что только детская слепота и совершенная наивность могли приложить доносы и донесения Домейки к протоколам обвинений русских деятелей. Со своей стороны, прочтя их, я утвердился в решимости судить обо всем и всех лично, как бы ни были ошибочны собственные мои заключения, все же они представляли менее опасности, нежели доверие к мнениям людей, очевидно не имевших никаких принципов или преследовавших свои цели.

Несколько познакомившись с текущими делами и со взглядами генерал-губернатора, уже доходившими ко мне в деловой форме, я увидел, что предстояло, с одной стороны, ускромлять порывы главного начальника, поставившего себе задачей изгнать прежний русский персонал, с другой — успокаивать этот персонал, чтоб он продолжал отправлять свои обязанности, и вместе выказать ему, что время раздражения прошло и прежние самовластные приемы уже терпимы не будут. Собственно мне, чтоб удержаться в должной средине, всего лучше было сохранять строгую законность. Усвоив наскоро положения, изданные для края, я увидел, что мое влечение к законности сходилось и с другим убеждением моим, необходимостью системы. Изданные узаконения способствовали введению в край русского землевладения, решению крестьянского вопроса и распространению русских школ. С этими маяками, освещавшими предстоявший мне путь, я отправился в первый мой объезд по губернии. В числе взятых со мной чиновников был член губернского по крестьянским делам присутствия Кастальский, один из главных дельцов по крестьянскому делу в Виленской губернии, человек сведущий, с честными убеждениями, но чрезвычайно резкий. Я пригласил его именно с целью выказать ему, что должно было измениться и что остаться по-прежнему, а вместе для того, чтоб самому как можно скорее ознакомиться с делом.

В Свенцянах я принял обед от тамошнего предводителя (вместе и председателя мирового съезда) Евдокимова, на который были приглашены местные помещики. Обед, может быть, был не по нутру спутнику моему Кастальскому, во всяком случае, не понравился журналистам; но тот и другие должны извинить меня, если я употреблял для достижения цели не те приемы, которые они хотели про-

должать в крае, и на которые я вовсе не был годен. Мне казалось, что высокомерие, невежливость и полицейское вмешательство во внутреннюю жизнь, точнее сплетни, могут быть слабостями мелких чиновников, сомневающихся в своем значении, или полицейских, втянутых в мелочи существом своей обязанности, а никак не губернатора. В течение двух почти лет я трижды объезжал губернию, никогда не отказывался от приглашений землевладельцев, видел в этом удобное и действительное средство узнать их короче и дать им случай узнать меня, а главное, единственную возможность познакомиться с экономическими условиями губернии, которых не узнают из «благополучных» отчетов полиции. По убеждению я отвергал всякое чиновничье гаерство, долг можно исполнять добросовестно, честно и ревностно, не становясь на ходули бюрократической гордости и не переставая быть порядочным человеком. Вопрос зависел не от громобойства служащих, а от неуклонного, скажу даже, беспощадного приложения системы. Чтоб систематичность не выводила из терпения, не приводила к отчаянию, внешние формы ее требовали мягкости, в особенности отсутствия излишней полицейской придирчивости, отравляющей вседневную жизнь, возбуждающей неудовольствия без малейшей пользы для дела. В этом смысле я не только постоянно назидал подчиненных, но неоднократно обращался к генерал-губернатору о снятии препон к передвижению, увольнению за границу и т. п. Закон 10-го декабря, крестьянский вопрос и русская школа — это прочные основы обрусения, в глазах моих, были главнейшими руководителями действий власти в крае; меры же личного стеснения, подозрительности и командования казались мне бирюльками административного тщеславия, недостойными серьезного администратора, работающего столько же для будущего, сколько в настоящем. Из последующего можно усмотреть, достаточно ли я силился провести в дело мои воззрения и одинаково ли со мной смотрел на сущность управления генерал-губернатор, привыкший к мысли, будто краеугольный камень администрации и все здание ее до самой крыши держится на полицейском цементе и стропилах.

Желая предоставить читателю возможность выказать, какие составились у меня взгляды после первого знакомства с губернией, прилагаю извлечение из всеподданнейшего отчета о ревизии, который я обязан был представить по закону. Документ этот обнаруживает, что в самом начале я принял направление, которому не изменял и впоследствии.

«...Прилагаю к отчету о ревизии, составленному по указанной законом форме, особую записку о состоянии губернии вообще, каким оно представилось мне вследствие ревизии».

«Судебные учреждения. При ближайшем знакомстве с уездными судебными учреждениями губернии, невольное уважение к блюстителям закона заменяется совершенно противоположным ощущением; более даже: рождается горькое убеждение, что никакие меры не приведут к лучшему при существующей системе».

«Скудность содержания лишает всякой возможности привлекать людей с должными понятиями о святости долга и научными познаниями. Разделение внимания между судейскими обязанностями и делами опеки дает повод попеременными ссылками на те или другие извинять бездействие в обоих обязанностях, и судебные дела решаются одними секретарями, в застенках, без всякого коллегиального обсуждения. При таком порядке нельзя ожидать ни скорости в уголовных делах, ни очереди в решении гражданских исков; принимаются за дела, наиболее выгодные для дельцов, и те производят по усмотрению между грубыми развлечениями невзыскательного общества. В четырех уездных судах я застал полнейшее бессудие; особенно же поразительно отсутствие всякой дисциплины. Убеждение в могуществе и всеведении секретарей до того укоренилось, что попытки некоторых членов

судов на самостоятельность обращались остальными в насмешку и казались секретарям чем-то чудовищным. Нужны были весьма жесткие убеждения с моей стороны, чтобы выяснить всю незаконность подобного порядка в судах. Положение унизительное и безвыходное, впрочем созданное апатией самих деятелей, повело к их нравственному расслаблению; преимущественно члены судов предались порокам, которые так легко прививаются к слабым характерам в лишенной занимательности уездной жизни, и из семи судей я просил удалить двух немедленно от исполнения обязанностей. Близость благодетельной перемены могла бы побуждать меня к терпению, но видя, что деятельность судов выказывается лишь в непристойных взаимных пререканиях членов и грубых сценах, оглашаемых самими участниками с цинизмом людей, потерявших стыд, я не должен был останавливаться ни перед какими соображениями. Принимая, однако ж, во внимание, что толки о перемене при уверенности что за ней последует увольнение, гасят и последнюю ревность, я решился сохранить еще на время четырех судей, строгая же справедливость требовала перемены всех».

«Печальное положение судебной части, без всякого сомнения, изменится с введением мировых судей; только не следует в видах экономии заботиться о возможно меньшем числе их. Страсть к ябедам и искам развита в крае адвокатами, оставшимися без дела по уничтожении литовского статута; она не прекратится внезапно, и мировые судьи, без сомнения, будут завалены делами. При этом небезвыгодно иметь здесь более русских чиновников возвышенного нравственного уровня, какими мировые судьи будут».

«Городские управления и хозяйство. При существовании в губернии многих торговых местечек с положением несравненно более выгодным, нежели уездные города, последние суть исключительно административные центры, без всякой важности в торговом или промышленном отношении. В подобных условиях развитие их немыслимо; жители понимают это лучше кого-либо и потому равнодушны к избранию органов, которым закон предоставил особенное попечение о городских нуждах; без участия же самих обывателей преуспеяние городов невозможно. Во всех, без исключения, выгонная земля расхищена или отдана в весьма долгую, часто потомственную аренду, так что обратилась по понятиям граждан в вотчинную собственность.

Трудно улучшать то, что создалось произвольно, без всякой надобности, по личному влиянию какого-либо владельца, не только не перешедшему к его потомству, но изгладившемуся в памяти».

«При равнодушии к уездным городам, порождаемом убеждением в тщетности каких бы то ни было усилий, нельзя относиться со столь же слабым сочувствием к губернскому городу, местопребыванию главной администрации целого края. По мнению моему, следует непременно, в видах политических, сделать жизнь в Вильне приятной и заманчивой. Высшей администрации известно положение городских финансов. Не входя в подробности состояния, которое считаю себя вправе назвать банкротством, выскажу только убеждение, что даже при самом хозяйственном распоряжении городскими суммами, невозможно поправить дел без пособия от земских сборов; что пособие это не только не необходимо, но и совершенно справедливо, потому что на городе Вильне лежат тяжести по предметам, одинаково нужным для целого края, и наконец, что пособие это должно ассигновать в таком размере, чтобы можно было снять навсегда брамный и гноевой сборы, тяготеющие преимущественно на самой бедной, преданной части населения, и так сказать навязывающие память о том, что в интересах России следует заставить окончательно забыть».

«Мировые учреждения и народные училища. Более или менее успешное знакомство населения с правилами 19 февраля зависит главнейше от посредников. Не снимая с них

долю ответственности за открытые мною упущения, не могу, однако ж, не свидетельствовать, что в общем виде мировые учреждения оставили во мне самые приятные впечатления.

Нужно принять в расчет, что посредники действовали по инструкциям, а не произвольно, и если к действиям своим прилагали ревность, то тем самым выказывали только несомненное достоинство подчиненных. При обозрении губернии мне стало ясно, что когда в крае, потрясенном недавними событиями, правительственные деятели вообще увлеклись политической стороной в явный ущерб начертанным законом обязанностям, мировые посредники сумели найти время на подробности прямого дела и не только не пренебрегли трудовой, сухой его стороной, но именно ею содействовали исполнению видов правительства».

«Народные училища, по отдаленности от наблюдающих за ними учреждений и по влиянию на них посредников, не подчиненных общей воспитательной власти, потребовали всего моего внимания. К счастью, я не заметил в осмотренных школах вредных последствий могшего оказаться разномыслия и в этом отношении не могу не свидетельствовать о полезных усилиях посредников, вовсе не умаляя тем заслуг служащих в министерстве Народного просвещения. Наставники, за исключением тех школ, где обязанность эту исполняют приходские священники, заменяющие себя причетниками, везде отвечают назначению не только в педагогическом, но и в политическом смысле. Без исключения все они уроженцы коренных русских губерний. Крестьяне охотно посылают детей в школы и жертвуют на них более там, где посредники обращают более внимания на важный предмет народного образования».

«К сожалению, за исключением весьма немногих местностей, матери упорно отклоняют дочерей от посещения школы. Образование женщин в русском направлении особенно важно в крае, где женщина подчинена жадному к влиянию духовенству и играет большую роль в домашнем быту. Предмет этот не только заслуживает внимания, но требует особенных мер. Мне кажется, следует учредить особые женские школы, совершенно бесплатные (я разумею, и с даровой пищей), относя расход на земский сбор, и сверх того, отличающимся в успехах при выходе из училища назначать премии в виде приданого».

«Не возбуждая вопроса об обязательном обучении грамоте, хотя в здешнем крае, по мнению моему, это главнейшее средство слития его с остальной Россией, я решаюсь высказать только необходимость обязательной жертвы всех сословий на образование сельского юношества. Никто уже не спорит, что невежество вредит образованности, поставленной с ней в неизбежное и постоянное соприкосновение, следовательно, в справедливости меры не может быть сомнения. Осмеливаюсь прибавить, что предмет народного образования, переданный в коренных русских губерниях земским учреждениям, в здешней местности на долгое еще время останется всецело в руках правительства, которое не может и не должно давать повода к невыгодным для него сравнениям».

«Молодеческая учительская семинария представляет редкий пример действительности, а не призрачной внешности. При моем посещении все ученики были сборе, так что разнородными вопросами и испытаниями, продолжавшимися несколько часов, я мог лично убедиться в пользе этого заведения. Принятая метода, любовь к делу директора и преподавателей, очевидно одушевляемых надеждой на плодотворность своих скромных и бескорыстных усилий, уважение к ним учеников, быт последних, не отрешающий от убогой сферы, в которой они родились и предназначены действовать, короче, полное удовлетворение насущной надобности, без всякой попытки на эффект и внешность, кроме необходимой опрятности, отнесло меня к тем преисполненным смысла учреждениям, которые свой-

ственны только обществам, достигшим полного развития, изведавшим на опыте лучшие приемы для удовлетворения истинных нужд, обществом зрелым, не поддающимся увлечениям.

«Встреченные мною воспитанники Молодеченской семинарии в волостных школах подтвердили то мнение, которое я составил об этом заведении после первого знакомства с ним. Остается только желать, что местный рассадник наставников сельского юношества рос в объеме; число выпускаемых учителей положительно удовлетворяет требованиям».

«Земледелие и землевладение. Хлебопашество и лесная промышленность суть исключительные промыслы жителей. Продажа зерна и сбыт леса облегчаются пересекающими губернию железными путями и многими сплавными притоками рек — Немана, Вилги и Дисны. При таких природных и искусственных условиях обе отрасли должны бы быть в цветущем состоянии. К сожалению, вмешательство землевладельцев в политические вопросы отвлекало их от хозяйства, и средства, которые следовало употреблять на улучшение его, направлялись к цели химерической и преступной. Обработка десятины и уборка с нее хлеба стоит круглым счетом 20 рублей; при среднем урожае с десятины собирается до шести четвертей. Если положить четверть на посев, то за пять остальных выручается 45 рублей и 25 остаются чистой прибылью, потому что на содержание скота, орудий, уплату повинностей и прокормление рабочих идет доход с яровых посевов. Помещики жалуются на недостаток рук, но низкая, сравнительно с внутренними губерниями, цена труда показывает неосновательность подобной жалобы».

«Средний дворовый надел — около 18-ти десятин, из коих 12 — под пашней. С четырех десятин крестьянин соберет при среднем урожае 12 четвертей ржи (поле его почти не унавожено), т. е. 108 рублей. Возможно ли, чтоб эта сумма была достаточна на прокормление семьи из пяти или семи душ, неизбежный ремонт земледельческих орудий, поддержание скота и другие надобности, удовлетворить которые необходимо за издержкой ярового посева на повинности, доходящие до 27 рублей со двора. Очевидно, крестьянин должен искать работы, и несмотря на эмансипацию, спрос и предложение на труд в здешней местности уравновешены несравненно выгоднее, нежели в коренных русских и новороссийских губерниях.

Самые бедные — бывшие помещичьи крестьяне, будучи исподволь расстроены в хозяйстве безмерными требованиями мелкопоместных дворян, которым принадлежали».

«Что касается до лесной промышленности, кроме недостатков лесного хозяйства, общих всей империи, местные обстоятельства ведут к безжалостному истреблению лесов. Необходимо положить немедленно пределы спекуляциям, не только вредным в настоящем, но пагубным и для отдаленного будущего. Владельцы имений, обремененных долгами, предвидя скорый переход их собственности в другие руки, извлекают из нее возможный доход и прежде всего продают целые леса на сруб. Также беспечно относятся к лесам администраторы и опекуны, и местности, до сего времени весьма лесистой, угрожает конечное лесоистребление, в особенности если принять в соображение, что в губернии 394,144 десятины казенного леса, вовсе не охраняемого от расхищения».

«Неудовлетворительное состояние имений зависит не столько от контрибуций, сколько от неопределенности их будущности, которую следует установить в самом скором времени; иначе желаемое правительством русское землевладение водворится на развалинах и опустошении». В этом убеждении я представил о необходимости изменения закона об описи и продаже имений за долг казне и частным лицам, предложив ввести для описи формы, принятые для имений, подлежавших обязательной продаже, а для самих торгов условия, оз-

наченные для продажи по залогам в кредитных установлениях».

«До сих пор русское землевладение в губернии весьма слабо. На 2065 местных помещиков не более 293-х уроженцев внутренних губерний. Они владеют 257,818 десятинами из 1,314,817 десятин, находящихся в общем помещичьем владении. Вряд ли кто-либо решится утверждать, чтобы подобные численные отношения обеспечивали край от попыток заявлять свои права на независимость или иное, чуждое интересам русского государства положение».

«Нужно непременно окончить скорее всякий передел земли и тем привести крестьян в спокойное положение. Наделенные будут считать достояние неотъемлемой собственностью; менее счастливые помирятся, по крайней мере, со своим положением и обратятся с большим усердием к труду, как единственному средству жизни».

«В настоящее время государственные крестьяне находятся под влиянием четырех властей, не руководствующихся одинаковыми взглядами: полиции, мировых учреждений, управления государственным имуществом и люстрации. Подобное положение было бы весьма затруднительно для людей с большой жизненной опытностью; простого же человека оно совершенно сбивает с толку и понуждает к сопротивлению той из властей, которая, как кажется ему, менее соблюдает его выгоды в данную минуту».

«О солдатах и бобылях. Говоря выше о рабочем труде, я сказал, что здешний край в этом отношении поставлен выгоднее, нежели великороссские губернии. Преимущество это отчасти зависит от обстоятельства, весьма невыгодного для общего и экономического, и политического быта государства, именно от большого числа безземельных крестьян. В настоящее время их во вверенной мне губернии – 18 000, цифра, не представляющая ничего тревожного при миллионном почти населении; но вопрос о безземельных должен теперь же обратить на себя внимание при отсутствии общинного владения в крае. Число их в таких условиях будет быстро возрастать по неодолимой силе обстоятельств. Обезземеливание крестьян, как неоспоримо доказано, произведено преимущественно в промежутком между введением инвентарей и изданием положения 19 февраля. Поверочные комиссии, руководствуясь данными инструкциями, старались по возможности восстановить нарушенное помещиками право крестьян на землю, но не успели сделать это вполне, и общее число пролетариев значительно увеличилось с тех пор отставными и бессрочными солдатами, прибывающими в большом количестве со времени сокращения сроков службы».

«Духовенство. Не допуская мысли о гонении какой бы то ни было религии, считаю, однако ж, не только дозволительной, но обязательной, борьбу с иерархией всякой церкви, забывающей свое христианское назначение и пользующейся влиянием на совесть паствы, для достижения политической цели, государству вредной. Католическое духовенство, по непреложным для него догматам, не может быть к нам в ином отношении; отсюда, само собой, становится весьма желательно и указывается выгодами России распространение православия, уменьшающее надобность католического духовенства. Вопрос в том, как и кем распространять его.

Насколько способно наше настоящее православное духовенство выполнять подобное назначение, легко заключить из ежедневно представляющихся фактов, навязывающих, так сказать, сравнение его с противниками».

«Строгая вселенская дисциплина католического духовенства, устраняющая всякую мысль о разногласии мнений касательно средств, встречается в нашем местном духовенстве с недостатком повиновения».

«При большем образовании католическое духовенство трудится неутомимо, тогда как наше, менее развитое, не возмещает этот недостаток большей деятельностью».

«Католический ксендз кроме лозунга, который не смеет нарушить, одушевляется патриотическим настроением и, не забывая себя, всегда помнит требования католицизма и полонизма, доселе нераздельные; наш же священник имеет часто ввиду эгоистическую цель, которой удовлетворяет тем смелее, что легковерная публика в нем видит главнейшее орудие торжества русского дела, смешивая политический вопрос с религиозным и минувшее с настоящим. Вследствие такого заблуждения общего мнения, духовенство иногда прикрывает себялюбивые действия блеском патриотизма, ослепляющим посторонних зрителей».

«В таких условиях борьба едва ли возможна. Мне кажется, даже не следует в настоящее время возбуждать деятельность нашего духовенства. При первой же попытке, несомненно, выкажется его несостоятельность и деятельность принесет более горький плод, нежели бездействие».

«Не следует, однако ж, заключать из моих слов, будто я отвергаю всякое противодействие католическому духовенству и мирюсь с захваченным им в крае влиянием. Факты слишком очевидны, козни осязательны. Хочу только сказать, что орудия наши весьма несовершенны и требуют разумной помощи со стороны администрации. Меру помощи этой должно ограничить препятствиями развитию деятельности католического духовенства. Пока оно находится в распоряжении административной власти, пока счастливое уничтожение конкордатов дозволяет безусловно смотреть на ксендза как на гражданина, подлежащего во всех случаях действию общих законов, бдительность местной власти может парализовать вредное влияние католического духовенства, несмотря на его ухищрения.

Уменьшение викариятов составляет другую меру, облегчающую надзор за католическим духовенством. До сих пор, когда по какимлибо причинам выбывал ксендз из прихода, я старался замещать его из викарных, не дозволяя пополнения викариятов. Мера эта тем более справедлива, что на наших приходах нет викарных священников, и мы не можем, помимо политических причин, давать иноверцам преимущества большие, нежели православным».

«Из всего мною сказанного можно усмотреть, что отвергая насилие в деле религии, я считаю нужным принимать против вредного для нас прозелитизма административные меры, но такие, которые казались бы пассивными и последствия коих зависели бы не от большей или меньшей прозорливости личностей, а от мудрого времени и системы».

Результат первой ревизии моей ясно выказал, что обозванные Домейкой опасными, почти все без исключения, были ревностными исполнителями долга; а благонадежные, напротив, пьяные тунеядцы и взяточники. Я тогда же высказал генерал-губернатору, насколько представитель дворянства заслуживал доверия.

Вообще первое знакомство с губернией ободрило и даже утешило меня. Взявши в расчет, что пройденное от 1863 года время представляло пищу всем дурным страстям и удобства к удовлетворению их, я был приятно поражен незначительностью злоупотреблений со стороны чиновников. К чести деятелей смутного времени, дослуживших в крае до моего назначения, я обязываюсь сказать, что не было примеров недолжного обогащения, и что бы говорили сторонники «Вести», русские в северо-западном крае, по крайней мере в Виленской губернии, мне известной, не вели постыдного торга правительственным влиянием. Чтоб вполне оценить их заслуги в этом случае, нужно вспомнить, что нередко не только благосостояние, но самое существование зависело от донесений второстепенных блюстителей правительственного интереса. В особенности были безупречны действия служивших по мировым учреждениям. Патриотическое чувство, возбужденное враждебным России настроением дворянства и направлением высшей власти,

уносило в некоторых случаях деятелей далее границ благоразумия, но и эти увлечения в Виленской губернии были едва заметны. Призванные разорвать мгновенно среди возникших беспорядков всякие сношения между мятежными помещиками и верными долгу крестьянами, мировые учреждения исполнили задачу с необыкновенной ревностью. Само собой, при требовавшейся поспешности ошибки были неизбежны. Выгоды немногих могли пострадать от скорости приемов, но в общем итоге цель правительства была достигнута без дерзких нарушений частных интересов; а если они были нарушены более, нежели при общей эмансипации в России, должно вспомнить, что помещики вызвали неблагоприятные для них обстоятельства собственными действиями и не имели права пенять на кого-либо, если пострадали при введении нового порядка, обеспечивавшего правительство на будущее время от их преступных замыслов.

Народные школы, созданные счастливой инициативой князя Ширинского-Шихматова, были найдены мной в самом удовлетворительном состоянии. Если б я знакомился исключительно со школами, то не мог бы поверить, что влияние панов на народ когда-либо существовало; оно было, однако ж, несомненно до 1863 года, и результаты, мною виденные, достигнуты в пять лет. И в этом важнейшем вопросе посредники приняли самое горячее участие; им преимущественно обязаны тому торжеству русской школы над домашним навыком, в особенности над влиянием суеверных матерей, которое теперь так очевидно в крае, где недавно еще в народе не было вовсе русских букварей.

Приведенные заключения о первом обзоре губернии были мной предварительно сообщены генерал-губернатору, чтоб не могло быть ни малейшего сомнения в искренности моих действий. Не ранее как через два месяца, в сентябре, я напомнил генерал-губернатору о переданной ему записке и прибавил, что молчание его замедляет отсылку отчета моего на высочайшее воззрение. Потапов извинился, будто не имел времени прочесть моих выводов, и через несколько дней старался уверить меня, что отчет о первоначальной ревизии пустая формальность, никем не исполняемая, и что я могу представить мои соображения в годовом отчете, срок которого уже приближался. Доводы мои, по словам Потапова, могли тогда иметь тем большее значение, что показались бы результатом не первого обозрения губернии, но годового знакомства с нею. Я очень хорошо понимал, что задержка моей записки и преподанные советы не отсылать отчета о ревизии прикрывали цель, в достижении которой мнения мои, не согласовавшиеся с воззрениями генерал-губернатора, могли оказаться несвоевременными. Для этого не требовалось большой проницательности. Весь край знал уже, что в генерал-губернаторской комиссии по крестьянским делам готовился проект разрешения всех затруднений по крестьянскому вопросу, совершенно враждебный употребленным дотоле мерам, генерал-губернаторские чиновники не только распространяли содержание этого проекта между мировыми деятелями и в обществе, но цитировали самые резкие выражения из знаменитой пояснительной записки, в которой Потапов клеймил как сознательных нарушителей закона, даже занимавшихся подлогами, Муравьева и Кауфмана. Здесь кстати заметить, что если б генерал-губернатор понимал законность в общепринятом смысле строгой подчиненности закону, первым действием его было бы, конечно, уничтожение состоявшей при нем комиссии по крестьянским делам. Она имела причину быть при спешности, требовавшейся обстоятельствами, но при строго законных приемах не должна была существовать. Крестьянские дела идут через три инстанции и все апелляционные сроки истекают в три месяца. Никакое делопроизводство не обеспечено и не ускорено подобным образом.

Я не мог не знать, что в проекте особенно обвинялись мировые учреждения, которые я

особенно выставлял; но для меня было существенно, чтоб генерал-губернатор знал мои мнения, убедился бы в моем взгляде. Этого было достаточно для устранения всяких недоразумений, и я не только не послал отчета о ревизии, но даже не приложил моих взглядов и к годовому отчету. Верховной власти, провидевшей, что я не уживусь с Потаповым, резкое противоречие генерал-губернатору, внесшему уже в исходе года свой проект на рассмотрение, могло показаться доказательством моей неуживчивости; а рассчитывая кончить мою карьеру виленским губернаторством, я вовсе не хотел вызывать случайностей, которые могли бы нарушить правильный исход моей службы.

Притом генерал-губернатор торопился высказаться. На съезде губернаторов длинный проект был прочитан в один присест официальным председателем комиссии по крестьянским делам при генерал-губернаторе, а 27 сентября я получил следующий указ:

«27 сентября 1868. № 3241. Во время объезда моего губерний вверенного управлению моему края, усмотрено мною, что мировые съезды и губернские присутствия по составлению выкупных актов и поверке тех из них, которые еще не утверждены главным выкупным утверждением, а равно при приведении в действие окончательно утвержденных актов, руководствуясь существующими правилами, в большинстве случае постановляют решения такого свойства, которые нисколько не отстраняют тех затруднений, которые вызвали необходимость проектирования особых правил для окончания вопроса о поземельном устройстве крестьян в Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской губерниях и Лифляндских уездах Витебской губернии».

«Принимая во внимание, что вышеупомянутые правила, по соглашению моему с министром В. Д. окончательно составлены, отпечатаны при министерстве и имеют быть в весьма непродолжительном времени рассмотрены в Главном комитете по устройству сельского состояния, я, для избежания излишней ломки и переделки поверок в имениях, в коих акты еще не утверждены, для согласования их с правилами, подлежащими к изданию, а равно в видах необходимости разрешения в законодательном порядке затруднений, встречаемых при введении в действие утвержденных актов, от несходства их с действительным владением крестьян, имею честь покорнейше просить В. П. все действия мировых по крестьянским делам утверждений по составлению выкупных актов, поверке тех из них, кои еще не утверждены главным выкупным утверждением, и введение утвержденных актов в действие, посредством отграничения крестьянских владений в натуре приостановить впредь до издания вышеупомянутых правил, за исключением тех случаев, где все безусловно затруднения для окончательного и полного поземельного устройства крестьян отстраняются добровольными соглашениями заинтересованных сторон».

«Мера эта, необходимая в видах вышеизложенных соображений, и как отстраняющая напрасное колебание и доверие в распоряжения правительства, в то же время нисколько не задержит успешного хода действий мировых по крестьянским делам учреждений, хотя бы правила, подлежащие рассмотрению и утверждению, подверглись в главном комитете изменению или переделке...».

11-го октября за № 3384 генерал-губернатор писал: «от 17 мая сего года за № 1733, приостановив продолжение работ по дополнительным поверкам в помещичьих имениях, я вместе с тем имел честь сообщить В. П., что означенное мое распоряжение не распространяется на те случаи, когда все недоразумения и затруднения, возникшие между крестьянами и бывшими их помещиками, устраняются взаимным добровольным соглашением между ними, и что, напротив того, желательно было бы достижение возможно большего числа соглашений и устранения посредством их всяких отношений между крестьянами и по-

мещиками, из которых бы могли возникнуть какие-либо затруднения в будущем».

«Не ограничиваясь сим, я нахожу нужным вновь покорнейше просить Вас, М. Г., обратить внимание гг. мировых посредников, что по духу положения 19 февраля характер действий мировых учреждений должен быть по преимуществу примирительный. И так как в настоящее время за прекращением всякого рода работ до рассмотрения издания в законодательном порядке проектированных правил, окончательное поземельное устройство крестьян и укрепление их прав на наделы только и возможно при добровольном с обеих сторон соглашении, то не оставьте В. П. предложить гг. мировым посредникам, пользуясь более свободным по случаю приостановления работ временем, усилить свою мировую деятельность склонением помещиков и крестьян к соглашениям».

Приостановив все выкупное производство, за исключением добровольных соглашений, генерал-губернатор от того же 27 сентября за № 3245 писал мне следующее:

«В объезд мой некоторых из уездов вверенной В. П. губерний, из дел мировых съездов усмотрено мной, что местные по крестьянским делам учреждения, при перепроверке возвращенных актов из главного выкупного учреждения, министерством внутренних дел и губернским по крестьянским делам присутствием, затрудняются касаться тех пунктов выкупного акта и выкупного производства, на которые при возвращении оных в съезд не указано высшей инстанцией, несмотря на то, что по сличению сих актов с тем, что усматривается съездами в действительности во многих случаях оказываются неточности, неправильности и даже полное отсутствие истины, — почему, применяясь к смыслу 797 ст. 1 части II т. Св. Закон о губ. Учреждениях, покорнейше прошу В. П. предложить виленскому губернскому по крестьянским делам присутствию разъяснить всем мировым съездам, что они при возвращении из высших инстанций актов для перепроверки оных лишь в частях, не стеснялись прежде произведенной проверкой, и все обжалованные пункты возвращенных актов, в случае открытия в них неправильности, неточностей или неверностей, исправляли их и составляли акты на точном основании закона и данным им в руководство правил, вменив им притом в обязанность в протоколах и постановлениях своих точно, ясно и подробно вносить описания действий своих и причин изменения прежних показаний съезда и поверочных комиссий».

При всем желании трудно было выполнить указания власти, которая в один и тот же день прекращала всякое производство по крестьянскому делу ввиду имеемого быть изданным закона, а в другой бумаге требовала, чтоб продолжали производство по закону, вновь ею изданному.

Конфиденциальным письмом за № 3245 Потапов отменял высочайше утвержденные 9 апреля 1863 года правила действий поверочных комиссий, а секретным предложением за № 3241 прекращал собственной властью всю выкупную операцию в крае, производившуюся по всей России и, по особому распоряжению правительства, видоизмененную для западного края именно с целью скорейшего разрешения крестьянского вопроса. Столь причудливому взгляду на легальность отвечает только административное благоразумие, с которым генерал-губернатор обращался к подчиненным с требованием, чтоб они соображали действия с проектом, судьба которого не была еще решена, и логике ожидания мировых сделок, когда о предстоявших переменах был повещен весь край. Но и явное нарушение закона может быть несколько извиняемо твердостью, готовностью нести ответственность, истекающей из сильного убеждения в пользе нарушения. Знаю, что Уоррен-Гастингс предписывал Индийскому губернатору «исполнять его повеления, а не законы Англии, которые пишутся глупцами, ничего не видящими под носом, не только в отдаленных ко-

лониях»; что Сенявин не сдал французам Вокко-ди-Катаро несмотря на Высочайшее повеление; что Нельсон в военное время по собственной инициативе оставил пост, на который был назначен правительством сторожить неприятеля, полагая его в ином грозном для Англии пункте. Но Уоррен-Гастингс был предан беспощадному суду, Сенявин подвергся немилости и конечно ответил бы несравненно серьезнее, если б обстоятельства не оправдали его проницательности. За нарушение воли правительства в военное время Нельсона, бросившегося самовольно из Средиземного моря в Вест-Индию ожидала участь расстрелянного адмирала Винга, если б он не оправдался Трафальгаром.

Все эти люди смотрели опасности прямо в глаза и были готовы страдать за свою решимость. Какой метод принял генерал Потапов и чем рисковал он, окажется впоследствии.

Промежуток от составления виленского проекта до его решения, т. е. конец 1868 года и начало 1869-го, прошел в борьбе с моей стороны за посредников, членов присутствия и вообще за чиновников, которых удаляли уже в других губерниях за «направление». Не выходя из пределов горячего заступничества, сохранял с Потаповым весьма хорошие отношения, но не допускал торжества толпы искавших мест, большей частью родственников или детей товарищей генерал-губернатора, при нем числившихся. Потапов под предлогом подкрепления русского в крае общества, исходатайствовал дозволение иметь неограниченное число прикомандированных к нему чиновников. Этой ордой жаждавших мест с жалованьем он непрестанно пугал настоящих деятелей, будто не понимая, это готовимые им новые старались только добиться скорее цели и не все разбирали средства. Эти искатели должностей, наехавшие со всех концов России, представляли мне большие затруднения. Сильные покровительством начальника края, имевшие свободный доступ к нему и его супруге, они преимущественно распускали слухи о безобразиях посредников и в особенности налегали на посредников моей губернии, желая занять места ближе к светилу. Записки с энигматической формулой — «до сведения моего дошло» — беспрестанно пересылались ко мне из дворца. Я не мог явиться в салонах генерал-губернатора без опасения быть осажденным просьбами о помещении на вакансии посредников, и весьма часто слышал те же ходатайства, но уже в начальнической форме, при докладах генерал-губернатору. И кем торопился Потапов заменить прежних деятелей. Чтоб выказать готовность мою угождать в возможном, я согласился на помещение двух кандидатов его: Калинецкого в должность свянцянского судьи, и Солнцева — в должность заседателя Ошмянского уездного суда. Последний не представил своего указа об отставке, но генерал-губернатор просил не ожидать высылки указа из Петербурга. Определивши Солнцева к должности, я послал на утверждение министерства юстиции мое распоряжение. Вместо утверждения меня уведомили, что Солнцев был дважды судим за лихоимство и оставлен в подозрении. Калинецкий, только что прибывши в Свенцяны, заступил по закону место предводителя Евдокимова, уехавшего в кратковременный отпуск, и немедленно украл деньги из опеки. Я телеграфировал Потапову, жившему тогда в Петербурге, чтоб остановили представление мое об утверждении Каленецкого судьей; а впоследствии по недостаточности взносов членов опеки для покрытия ущерба пополам с Потаповым заплатил недостающие деньги. Как бы ни были сильны желания мои делать угодное начальнику, они не могли доходить до возможности потерять собственное доброе имя. Постоянная борьба имела, однако ж, те утешительные для меня последствия, что ни один из мировых деятелей, в эту безумную эпоху огульного гонения на целое служебное сословие, не был сменен в губернии без моего согласия.

Знакомство с делами, объезды и частые прения с Потаповым окончательно определи-

ли тот план действий, который с самого начала казался мне более пригодным и от которого я не позволял себе отступать во все время управления губернией. Занимаясь украшением Вильны, я не мог довольствоваться, однако ж, исполнением только приятельского совета князя Багратиона «проводить новые улицы и засаживать скверы», что начал делать почти со дня приезда. Эти развлечения могли быть полезны, но все-таки были развлечения только. Весьма хорошо понимая, что от губернатора требуется не столько проводить собственные виды, сколько наблюдать за неуклонным и точным выполнением постановлений, обеспечивающих осуществление видов правительства, я не увлекался политическими соображениями, а объявши как смог положение края и намерения правительства, желал в исполнении приложить разум и твердость, которые не мог уступать Потапову ни за какое блюдо чечевицы.

Помещики осаждали меня просьбами об избавлении от контрибуционного сбора и встречали постоянный отказ. Недовольные обращались к генерал-губернатору, который хлопотал о них усердно, требуя, однако ж, всякий раз моего заключения. Утомленный настойчивостью, в августе 1868 года я изложил в официальном представлении то, что неоднократно выражал в деловых беседах, именно: «освобождение от сбора, завися совершенно от взгляда, т. е. произвола губернатора, ставит меня в возможность быть несправедливым, и я оградил себя от столь горькой случайности правилами, которые имею честь представить Е. П. От меня не будет ни представления, ни согласия, если проситель не входит в одну из следующих категорий:

a) не состоит под покровительством комитета за раны, полученные в русской службе, b) не прослужил беспорочно 35-летнего срока государю, и с) не пострадал вследствие совершенно независимых от него причин, расстроивших хозяйство — пожара, градобития и т. п. Несмотря на столь определенный и, смею думать, разумный взгляд мой, многие просители находили средства опрокидывать мои решения и получали облегчение помимо меня. И я был не прочь снять по возможности общую тягостную меру, но с непременным условием, чтоб поляки ясно видели, чего мы хотели, что мы ценили в них, а главное, что нами руководило беспристрастие. Не менее часто просили меня о выдаче выкупных ссуд на общем основании вместо получения ренты. Мера эта казалась мне не только излишней, но даже отдаляющей исполнение правительственных целей.

Указ допускал изъятия "для совершенно благонадежных", но не иначе как "по представлению губернатора, через генерал-губернатора, министру финансов". Общее участие помещиков в смутах 1863 года не подлежало сомнению и признавалось самим Потаповым в записке, поданной им, когда он состоял помощником Муравьева. Пострадали наиболее смелые или неосторожные, а никак не самые виновные. При дознанном общем участии, было ли основание делать для кого-либо исключение из общей меры. Просители жаловались на мои отказы; их наставляли подавать прошения на высочайшее имя и, желая сохранить вид законности, спрашивали моего заключения. Ссуда выдавалась несмотря на отрицательный ответ мой, и когда я указывал на слова указа, где прямо сказано, что инициатива должна идти от губернатора, мне иронически отвечали, что "мое мнение было спрошено, а затем взгляды высшей власти не совпадали с моими; таким образом, указ, требовавший ходатайства губернатора, (будто бы) не нарушался". И в этом вопросе для избежания вредного, сбивавшего поляков с толку фаворитизма, я составил проект правил и препроводил его Потапову с официальной просьбой не делать никаких изъятий.

На мое предложение не дали даже ответа, вероятно, истолковавши новой стеснительной мерой.

Мое усердие к распространению русской грамоты известно местному управлению народного просвещения и вообще всем в губернии. Средство располячить край национальными школами имело наибольшие мои симпатии; этому легко поверят. Я не пропускал в объездах по губернии ни одного училища без подробного расспроса о его средствах, материальных и научных, без экзамена учащихся по всем предметам и, наконец, без поощрения их из собственных моих денег.

Остается провести черту, по которой я следовал в отношении к католическому духовенству. Предшествовавшая администрация К. П. Кауфмана, надо согласиться, оставила нам неудобное наследие. Движение в православие было возбуждено в его время усиленным влиянием административной власти. Видя одобрение главного начальника края в деле, совпадавшем с собственными убеждениями, низшие исполнители вдались в него со всей ревностью подчиненных, желавших выслужиться. Обращение стало чем-то вроде Lteepfe-cBase,[14] исправники, посредники, становые, все пропагандировало и присоединяло к православию. Судя по следам этого религиозного похода, дело шло весьма успешно и вероятно кончилось бы значительным ослаблением католицизма в сельском населении, но Кауфмана внезапно сменили; преемник его не мог иметь сочувствия к православию, и раздутое пламя погасло мгновенно. Везде, а в Западном крае тем более, остановка есть начало обратного движения; но если б Потапов не кричал со всех колоколен о неистовых полицейских миссионеров Кауфмана, не шумел бы по привычке о том, что не согласовалось с его воззрениями, ксендзы не решились бы возбуждать обратного движения. При Кауфмане целые селения, даже волости, переходили в лоно православия; в наше время целые селения и волости оспаривали действительность данных подписок. Закон, не дозволяющий отступничество, был строго прилагаем, и немалое число поселян предпочитали не выполнять никаких требований. В одиночных случаях упорство вело к законной каре; но что можно было предпринять с сотнями и тысячами, как например в Докудовской волости Лидского уезда. Очевидно, всякое преследование в подобных условиях выказало бы только бессилие закона. Единственный способ утверждения колебавшихся в православии представляло убеждение. Следовало в такие местности посылать самых ревностных, умных и знавших народ пастырей, от их уменья со всесильной помощью времени ожидать успеха.

Как бы то ни было, при неблагоприятных обстоятельствах, нами наследованных и, сознаюсь чистосердечно, при духе, недостаточно крепком для насилования чужой совести, я ждал от благодетельного времени случайных указаний к разрешению затруднений по религиозному вопросу и ограничивался отрицательной, так сказать, помощью православию. Потапов беспрестанно убеждал меня, что дело православия в крае почти проиграно. Забывши, или вовсе не знавши, что в течение трех веков православие было в крае единственной силой, способной и державшей бороться с папством и панством, распорядитель новых судеб Литвы обращал внимание только на внешние признаки. "Смотрите: католические храмы все отперты, а наши закрыты..." Ксендза найдешь в костеле во всякий час самого мрачного будня, а от нашего священника не добьешься молебна и в самый светлый праздник. Какая же тут борьба». Так беспрестанно витийствовал генерал-губернатор, забывая, что разглагольствование его имеет отголосок во всем крае, и что лицу, по крайней мере официально облеченному в тогу государственного мужа, следует вникать в причины фактов, а не довольствоваться внешностью. Каждый католический костел имел кроме главного ксендза трех, четырех и даже пятерых филиалистов, тогда как в наших церквах, большей частью было по одному священнику, даже без дьякона; вдобавок католическое духовенство не вынуждено тратить времени на мирские потребности как

наше, обремененное семьями. В таких условиях, конечно, невозможно было бороться духовной деятельностью. Административная власть, без всякого страха и колебания, должна была вести к изменению неравенства условий, что я и делал по мере предоставленной мне власти. Когда прелат Жилинский находил нужным сменить декана, заточить ксендза в монастырь или приписать его без содержания к соборному капитусу в Вильне, место занималось филиялистом, а образовавшаяся вакансия никем не замещалась. Правилу этому я следовал неуклонно, и если бы держались в течение нескольких лет сряду, средства православия и католицизма, в отношении численности священнослужителей, сравнялись бы незаметно. В этом приеме состояла единственная борьба моя с католицизмом.

Своими действиями Потапов способствовал совершенному уничтожению значения губернатора, а между тем беспрестанно твердил, что его единственная забота — восстановить губернаторскую власть, уничтоженную будто бы его предшественниками. Впрочем, мы согласно вступили в новый 1869 год, оказавшийся для меня столь неблагоприятным, даже встречали его вместе в моем доме.

ГЛАВА VII

МОЯ БОРЬБА С ПОТАПОВЫМ

Мои личные отношения с Потаповым. Потапов, с целью сближения русских и поляков, окружает себя панами. Публичная насмешка над русскими чиновниками в доме генерал-губернатора. Потапов хочет мною бить «Московские ведомости». Борьба с журналами. Виленский проект в Главном комитете. Потапов и граф Баранов. Крушение виленского проекта и изгнание закона 26 марта. Потапов гонит русских чиновников в угождение панству. Случаи в моей губернии, возникшие без моего ведома. Искажение закона 26-го марта; вопрос о сервитутах. Объяснение с генерал-губернатором; я отказываюсь исполнять закон по его усмотрению. Настойчивость Потапова. Удаление уже представляется мне постыдным бегством. Мой отъезд в Петербург для объяснений с министром. Журналы трубят о нарушении Потаповым закона. Дело о нарушении в Главном комитете. Кассация всех распоряжений Потапова и призвание его в Петербург. Мой ответ на предложение Потапова оставить пост. Я отстранен от должности с удалением из свиты Е. И. В. Полицейские курьезы относительно моей личности. Моя отставка. Кому и как служил Потапов.

В постоянной и, к сожалению, бесплодной борьбе изнурялся я весь 1868 год. Твердо решившись выдержать до последней возможности, я не передавал никому моих частых разногласий с Потаповым относительно служивших в губернии русских, даже не замечал, чтоб эти разногласия имели какое-либо влияние на наши отношения. Мы нередко бывали друг у друга, взаимно делили хлеб-соль и почасту дружелюбно беседовали. Правда, беспрестанные сношения, и в особенности откровенные беседы, все более и более колебали веру мою в способности начальника и уважение к руководившим его принципам, но я положительно не выказывал моих впечатлений. Однажды только, говоря вообще о гонении на русских чиновников, я горячо убеждал Потапова прекратить преследования, уверяя со всей искренностью, что на русских в крае наведен террор, при котором действительное, полезное отправление обязанностей стало невозможным. Потапов считал, что рано еще остановиться, и как действия в этом смысле касались других губерний, а не мне вверенной, то я не настаивал. Генерал-губернатор, по-видимому, был так доволен моим сотрудничеством, что предста-

вил меня к награде орденом Владимира 2 степени, но в министерстве отложили представление к 30-му августа.

Прежде, нежели вступлю в обильный местными происшествиями 1869 год, скажу несколько слов о чисто общественных отношениях русских между собой и с польским обществом. В начале осени 1868 года начались приемы и общественные развлечения. Желая показать на деле, что готов к общественному сближению, о котором говорили так много, я открыл сезон 17 сентября, в день именин жены, и пригласил польские семейства, с которыми успел познакомиться. Жены панов не сочли нужным понять моей готовности, и я более не беспокоил их моей вежливостью. Я сказал, что много говорили об общественном сближении. Потаповы старались сделать известным, что этого желал государь. Воля монарха и собственные взгляды заставили меня заботиться о безразличном соединении общества; социальными сношениями я думал постепенно сгладить раздражительность, происходившую от политического разногласия. Молва о сближении обоих обществ была распространяема и в Петербурге. Справедливость требует сказать, что подобного сближения в сущности никогда не было. В салонах Потаповых являлись только те поляки, которые хотели эксплуатировать власть в свою пользу; что же касается до главной общественной связи, женщин, вся Вильна видела и весь край ведал, что Потаповых знали только нетерпимые в местном обществе. Эти лица играли во всю зиму первую роль и наших жен представляли им как весьма важным особам. Решившись не выказывать полякам разногласия, мы с терпением сносили бестактность хозяев, граничившую с оскорблением.

В надежде на помощь со стороны высшего польского общества Потапов взял к себе по особым поручениям графа Иосифа Тышкевича, князя Огинского и Грабовского. Путь к переводу первого из Риги, куда он должен был удалиться после 1863 г., был приготовлен летом при проезде государя в Варшаву. Тышкевич, получивший позволение временно проживать в имении, убрал Ландворовскую станцию, где государь кушал чай, и был представлен как верноподданный хозяин Ландварова. Расчетливый Тышкевич сулил Потапову золотые горы, обещал принять обязанность виленского городского головы и тратить на город ежегодно до 30 тысяч рублей. Потапов неоднократно высказывал это, желая согласить меня на определение Тышкевича. Получивши желаемую при генерал-губернаторе обязанность, увеличившую значение его как местного пана, Тышкевич высказал князю Багратиону свои условия: он принял бы обязанность головы, как выразился, «на правах, сходных с правами президента города Варшавы». Это было несравненно сильнее прямого отказа и проект остался без исполнения. В общественном отношении Тышкевич обещал соединять русских с поляками на частных балах и раутах. Все ограничилось одним вечером, на котором вовсе не было польских дам. На клубные балы туземцы упорно не показывались, именно потому, что присутствие в клубе, среди русского общества, было бы несомненным признаком желания сблизиться. Короче, пресловутое соглашение, о котором Потаповы, со свойственной им привычкой считать желаемое достигнутым, разносили вести в столице через многочисленную родню, кончилось полнейшим фиаско.

В ряду общественных развлечений не последнее место занимали домашние спектакли, начатые также мною еще летом, на даче. На одном из этих спектаклей, имевшем публичный характер, потому что давался в пользу приютов, случилось происшествие с люстраторами, наделавшее столько шуму. Спектакль давался в доме генерал-губернатора и билеты разносились от его имени. Разрешение вставить в роль непристойный намек на служащих чиновников, было дано самим хозяином, который счел, однако ж, неудобным

быть лично свидетелем насмешки и заблаговременно оставил залу. Люстраторы написали коллективное письма, в котором просили ответить, с чьего разрешения сделан в роли обидный для них внос.

На другой день я получил официальное предложение склонить претендовавших чиновников к извинению. Мне показалось странным, что меня вмешивали в весьма неловкую историю, происшедшую в доме генерал-губернатора. В частном разговоре я передал мое удивление, говорил, что если как губернатору мне подобало входить во все случающееся в губернии, то, во-первых, изменение в роли не должно было дозволяться без моего ведома; и наконец, после промаха главного виновника, не лучше ли было, не делая шума, переслать письмо люстраторов ко мне, может быть, тогда дело не имело бы дальнейшего хода. Генерал-губернатор возразил, что ничто в губернии не должно миновать губернатора, что он постоянно старается возвысить значение начальника губернии. Подобные старания нисколько бы не удивили меня в человеке, обязанном понимать в положении своем административные приличия; но в настоящем случае удивило меня то, что Потапов воображал, будто на него снизошел дар мистификации, и я приму его аргументы за чистую монету. Просто генерал-губернатор поставил себя в неловкое, даже глупое положение. Нужно было помочь ему, и я вступил с начальником люстрационной комиссии в самые искренние относительно к Потапову переговоры. Я налегал в особенности на некоторую нелогичность настойчивости в этом случае тех лиц, которые обыкновенно орудовали за свободу слова и печати, и выставляя собеседнику, что подобная щекотливость не может быть сочувственна мыслящему обществу. Начальник комиссии не отвергал моих доводов, но не мог убедить товарищей. Происшествие было описано в «Московских ведомостях» и других газетах с некоторыми преувеличениями. Виленская полиция выставлялась знавшей всю суть и разносом билетов заманившей люстраторов в западню. Потапов, отъезжавший в Петербург с проектом по крестьянскому делу, сказал мне, что требования циркуляра моего, которым воспрещалось чиновникам писать в газетах по служебным вопросам, налагало на меня нравственную обязанность защищать оскорбляемых прессой подчиненных, и я вскоре послал опровержение в Петербург. Там не понравилось, что я не допускал в моем присутствии злобного выражения радости со стороны польской публики, о котором упоминали газеты, и весьма легко смотрел на произведения шаловливых перьев безответственных корреспондентов, даже намекал, что лучше оставить их в покое. По официальному отзыву генерал-губернатора, ответ мой вследствие совещания с Тимашевым и Шуваловым признан несвоевременным. «Впрочем, — прибавил Потапов, — если Вам угодно опровергнуть Московские Ведомости, главное управление печати потребует помещения в них простой заметки, что такой-то факт неверен». Видя, что не довольствуются, вовлекши меня в пошлую историю, но еще указывают выражения, в которых я должен опровергнуть корреспонденцию, нимало не грешившую против главнейшего факта, я решился руководиться первой половиной официального сообщения, т. е. вместе сцепленным одинаковыми преданиями петербургским триумвиратом, почел всякое возражение несвоевременным.

Беглый обзор положения общества, в котором генерал-губернатор и я занимали известные, неустранимые нашей волей роли, был, однако ж, необходим для уяснения взаимных отношений наших, истекавших из общественных сношений.

В начале 1869 года проект, содержание которого было известно всему краю, представлен в Главный комитет. Судьба его известна, но по поводу проекта нельзя не провести параллели между человеком, усвоившим его, и

истинным творцом — между Потаповым и его предместником. Действительно, проект был составлен графом Барановым и уже внесен в Главный комитет. Последовала смена начальников, и Баранов со свойственной разумному человеку осторожностью исходатайствовал высочайшее повеление возвратить проект к преемнику, которому пришлось бы приводить его в исполнение. В самом проекте Потапов сделал незначительные изменения, состоявшие почти исключительно в облегчении дорогого ему произвола. Если Баранов под влиянием негодования к нарушенной во многих случаях справедливости, предполагая допустить в самых важных казусах составление дополнительных актов и даже уничтожение утвержденных уже выкупных актов, то в статье 5-й своего проекта он предлагал, что «прежде составления дополнительного акта генерал-губернатор входил каждый раз в соглашение с министрами внутренних дел и финансов», Потапову же «казалось бы возможным предоставить подобные разрешения власти самого генерал-губернатора». В случае согласия с проектом предстояла переделка всей выкупной операции в крае, и генерал-губернатор считал возможным устранить от вопроса даже министра финансов. Поистине новое государственное воззрение, выказывавшее в Потапове способность опускать как ничтожное то, что каждый здравомыслящий человек, не только государственный деятель, почел бы вопросом первой важности.

Баранов писал проект со строгой канцелярской тайной; его мысли не переходили в слои исполнителей и никого не колебали. Потапов личной нескромностью и легкомыслием приближенных обнародовал проект до представления его на утверждение; мало того, взял официальные меры для облегчения исполнения его, будто проект неминуемо утвердится; дерзко остановил действие закона собственной властью и — с особого рода логичностью — вместе требовал от посредников успеха в добровольных сделках. Были ли возможны подобные сделки, когда все знали, что готовятся новые правила, для одной из сторон весьма выгодные.

Баранов работал в кабинете и не только никого не гнал, а, оценивая справедливо усердие деятелей в исполнении взглядов правительства, относился о них столь лестно, что в предшествовавшем 1867 году, в Вильне, государь удостоил крестьянские учреждения особенно милостивым приемом и щедрыми наградами.

Каждый радеющий о деле преемник, способный постичь пользу соединения опытности с хладнокровием во всех отправлениях государства, порадовался бы такому наследию и проводил бы собственные взгляды по уготовленной таким образом почве без резкости, незаметно, нисколько не жертвуя своими убеждениями. Порывистый наследник Баранова почел нужным, еще до прибытия на место, огласить всех русских деятелей негодными. Эпитеты социалистов, коммунистов и революционеров, занятые из записки Домейко, беспрестанно повторялись русским генерал-губернатором, менее кого-либо верившим в подобные наклонности чиновников края. Не довольствуясь поспешной преждевременной оценкой, он старался доказать непогрешимость ее непрерывными изгнаниями и переменами, ввиду подготовления учреждений к восприятию нового закона, еще не изданного, и столько хлопотавший в своей записке о «достоинстве правительства» высший местный представитель его, представил краю странное, унижающее не только правительство, но саму верховную власть явление: людей, только что взысканных милостью монарха, выбрасывали как опасных и негодных.

В начале апреля молва принесла уже в Вильну весть о совершенной неудаче виленского проекта и об издании нового, решавшего все затруднения закона, которым уничтожались надежды шляхства, возбужденные Потаповым. Вскоре был получен при указе

сената и самый закон 26 марта, полагавший конец всем недоумениям помощью геометрического, так сказать, способа, т. е. на основании фактического владения землей. Не касаясь достоинств закона с чисто юридической стороны, я буду смотреть на него только как на проявление законодательной власти, для всех, несомненно, обязательное. Скажу теперь же, что в мнении моем иное решение вопроса было немыслимо, потому что невозможно. Краткость и ясность изданных правил, точность редакции, устранявшей всякое сомнение в мысли законодателя, и верность взгляда на предшествовавшие обстоятельства, отличали это произведение от всех подобных, изданных в последнее время. На всякое затруднение, выраженное в проекте, на каждый софизм, на умозрения, на чисто канцелярскую болтовню вылезших на перьях в чины писцов, в правилах 26 марта есть прямое разъяснение, резкое опровержение, тоже постоянная мысль и практический способ решения, основанный на том, что существовало в действительности, а не могло бы существовать. Общий характер закона был совершенно противоположен тенденциям виленского проекта. Самим неверующим стала ясна решимость правительства покончить крестьянский вопрос во всех его оттенках безобидно для сельского населения, столько лет страдавшего под особенно тяжелым гнетом и обманутого местными владельцами при самом освобождении, дарованном манифестом 19 февраля 1861 года.

Изданные правила оправдывали воззрения, которые проводились мною в проекте всеподданнейшего отчета о ревизии. Наступило время годового отчета и по весьма естественному чувству я не хотел уже повторять рассуждений, более или менее подтвержденных вновь вышедшим законом; это значило бы добивать лежачего. Годовой отчет мой состоял только из обыкновенных форменных таблиц.

На мою скромность, имевшую начало в деликатном соображении, генерал-губернатор ответил совершенно иначе. Вместе с годовым отчетом я послал срочное представление о награждении наиболее достойных чиновников, первое, сделанное мною в качестве виленского губернатора. Потапов сначала нашел, будто некоторые лица не выслужили со времени последней награды положенного срока, потом просто дал мне знать, что согласен на представление, если я исключу из числа представленных члена губернского присутствия Кастальского. В письме князю Багратиону, написанном в то же время с очевидной целью, чтоб оно сделалось мне известным, Потапов выразился, что «я представляю таких, которых следует гнать из службы». Здесь выказывалась уже разность взглядов, при которой совместное служение было невозможно, и в форме фамильярности, не допускаемой обоюдными нашими положениями. 25 февраля я ответил следующим частным письмом:

«М. Г. Александр Львович, — как ни прискорбно для меня недоверие к моим взглядам, считаю долгом высказать начала, на которых основывал оценку моих сослуживцев. В продолжении 25-летнего начальнического положения мне случалось, и теперь случилось, представлять людей, к которым не лежит сердце; но в вопросах служебных я всегда отвергал право начальника поддаваться личным впечатлениям. Я ценил видимые труды, способности, знание и честность, не дозволяя себе проникать в тайные побуждения служащего, разгадка которых может быть весьма неудачна как по ловкости подчиненного скрывать свои истинные двигатели, так и по ошибочному убеждению начальника, будто взгляд его непогрешим».

«Строгое исследование действий и официальных мнений Кастальского покажет, что он всегда руководствовался законом и изданными инструкциями. Не позволяя себе проникать в его тайные помыслы по причинам, изложенным выше, я ценил только его деятельность, и если В. П. изволите находить, что я представляю как достойного монар-

шей милости человека, который не может быть терпим на службе, мне остается только ожидать последствий столь резкого приговора, произнесенного над моими служебными взглядами».

Впоследствии, к сожалению слишком поздно, я узнал от человека, слышавшего подробности от самого Потапова, что получивши письмо мое от 25 февраля и находясь лично в довольно шатком положении вследствие опровержения его проекта и не забытой еще истории с люстраторами, Потапов прибегнул тогда же к помощи Шувалова об удалении меня. Шувалов выказал ему, как рискованно выставлять доказательство непогрешимости взглядов государя чрез столь короткое время. Государь предупреждал Потапова, что он со мной не уживется, и исполнение пророчества через двенадцать месяцев, по мнению уверенного в своих доводах начальника III отделения, могло показаться чересчур усердным желанием сделать из государя пророка. Как бы то ни было, возвратясь в Вильну, Потапов решил дело Кастальского компромиссом: он был переведен членом же присутствия в Сибирь, как выражался генерал-губернатор, т. е. в отходившую из-под его ведомства Могилевскую губернию. Разумеется, происшедшее между нами недоразумение повело к соответственной обстоятельству беседе. Видя, что генерал-губернатор никак не хочет, чтоб я оставил место, хотя и припоминал просьбу мою при назначении в должность, я выставил со всей откровенностью, что колебания в действиях мировых посредников происходили не от Кастальского или кого-либо из губернских чиновников, а от распущенной молвы о новом проекте и от влияния председателя и членов состоявшей при генерал-губернаторе комиссии по крестьянским делам, проводившей негласно различные взгляды в среду посредников; что в таких условиях мне было чрезвычайно трудно и тягостно требовать от них прямого, добросовестного исполнения долга. Я привел несколько примеров торопливой готовности устрашенных посредников следовать внушениям его братии, вопреки прямым требованиям закона и в заключение выразил радость, что двусмысленное, нестерпимое положение мое, наконец, прекратилось ясным, обязательным для всех законом. «Теперь, — прибавил я, — сомнениям не может быть места; нужно исполнять закон в точности или уйти». Потапов уверял, что выполнит добросовестно взгляд главного комитета, одобренный высочайшей властью, и даже рассказал подробности разговора с великим князем Константином касательно последнего VIII параграфа нового положения, указывавшего генерал-губернатору путь, которым он должен был следовать, если «по принесенной ему жалобе» усмотрит «вопиющую несправедливость». В таких случаях генерал-губернатору давалось право, «приостановив исполнение акта о подобном исключительном деле, представить с необходимыми сведениями и со своими о способах восстановления нарушенной справедливости соображениями министру внутренних дел, который по сношении с министром финансов вносит дело в главный комитет об устройстве сельского состояния». Великий Князь, по словам Потапова, советовал ему не выковыривать, однако ж, таких случаев, на что Потапов будто отвечал, что «не только сам никогда ничего не выковыривал, но и подчиненных не допустит этим заниматься». В заключение, совершенно обрубая слова мои, что «нужно уйти или исполнять закон», Потапов в доказательство твердой решимости своей поступить по закону, опрокинувшему его предположения, вынул из стола и прочел копию всеподданнейшей записки, поданной им лично Его Величеству. В ней генерал-губернатор уверял государя, что по утверждении правил, совершенно противных его воззрению, ему «как верноподданному оставалось только в точности выполнять их». Такие положительные данные успокоили меня. Мне казалось, что крестьянский вопрос уже не потребует с моей стороны никакого разлада с сове-

стью. Уверенный в беспрепятственном его ходе, я принялся за него с ревностью, понятной при желании привести дело к скорому концу.

Трокский предводитель князь Гедройц, получивший без всякого представления с моей стороны права русского дворянина, избегал преследовавшей его за долги полиции и оказался виновным в утайке сумм, принадлежавших опеке. Я просил генерал-губернатора предложить ему выйти в отставку, что Потапов обещал, но, вероятно, не выполнил, ибо через три недели, когда я сам делал Гедройцу то же предложение (предводители назначались правительством), говоря, что должен буду предать его суду, Гедройц предполагал подвергнуться решению сената. В губернском правлении рассмотрено следствие, составлено определение и послано в сенат; но вслед за этим я получил просьбу жителей различных местечек Трокского уезда об удостоении Гедройца звания почетного гражданина города Трок. Ходатайство местечек о почете, который может быть оказан только самым городом, было и незаконно и смешно; но подписка без разрешения дерзко нарушала правила военного положения, которое не снимали в Трокском уезде по соседству его с царством Польским. Произведенное дознание выказало явное участи в незаконном ходатайстве самого Гедройца и я требовал немедленного его удаления уже за нарушение военных законов. Потапов, по словам его, дал Гедройцу три недели времени, чтоб подать в отставку, но долго еще после удаления моего от должности, что случилось в октябре, Гедройц оставался Трокским предводителем дворянства.

Настали, наконец, случайности, требовавшие действительного приложения правил 26 марта. Еще с мая месяца генерал-губернатор начал присылать разъяснения, которых ни я, ни губернское присутствие не просили. Я твердо решился не вводить по крестьянскому вопросу сослуживцев моих в положение, при котором они могли бы лишиться мест. В прочих губерниях подбирали — уже соответственные взглядам Главного начальника присутствия; у меня взяли уже одного не нравившегося члена и одного председателя съезда (Ошмянского) уговорили помимо меня подать в отставку. Конечно, я мог бы истомить Потапова сопротивлением через инерцию или медленные, по крайней мере уклончивые ответы коллегиального учреждения; но видя, в какую игру играют, осязая, как подтасовывают карты и не успевши в течение жизни приобрести привычек, за которые в частном быту получается известное возмездие, я положил предпринять борьбу лично, не вводя никого в ответственность. Таким образом, запиской от моего имени я просил генерал-губернатора отменить циркуляр 27 сентября 1868 года о пересмотре низшими инстанциями выкупных актов, не принимая в расчет указаний высших, а начиная, если нужно, все дело снова. Поводом к просьбе были действия свенцянского мирового съезда по делу Эртеля. Вместо ответа Потапов выразил в официальном письме удивление, что конфиденциальные сообщения его передаются в коллегиальные учреждения и впредь просил принимать их для личного соображения; «разве указано будет сообщать их». Письмо от 27 сентября было действительно помечено конфиденциально, но в нем именно значилось: «покорнейше прошу В. П. предложить виленскому губернскому присутствию по крестьянским делам разъяснить всем мировым съездам» и пр. Позабыть собственных указаний, при самом обыкновенном канцелярском порядке, генерал-губернатор не мог; явно здесь был еще один из его приемов и мне растолковывали, что для исполнения частных взглядов начальника я должен был употреблять личное влияние. Чтоб еще раз выказать мою сдержанность, я написал в съезды от моего имени, что циркуляр 27 сентября заслан мною «по ошибке», т. е. принял вину на себя. Некоторые, разумеется, воспользовались положением дел, и председатель свенцянского мирового съезда,

до самого удаления моего, вел переписку с присутствием, не признавая действительности сознания в ошибке, сделанного от собственного моего лица, когда циркуляр был разослан присутствием. Этот председатель, г. Евдокимов, решился на несравненно более смелый поступок. Выкупной акт по имению Эртеля был возвращен главным выкупным учреждением с указанием пунктов, разъяснение которых требовалось. Участвовавший в составлении его Евдокимов представил в присутствие новый акт, и когда мы потребовали прежний, отвечал, что он его истребил. Угроза предать немедленно суду заставила Евдокимова возвратить оригинальный акт.

Присутствие усмотрело, что в новом надел крестьян был совершенно иной, разумеется, соответствующий желанию генерал-губернатора. Большинство членов присутствия находили поступок Евдокимова неважным; вот как умела высшая власть в крае извратить нравственные понятия служащих. Я тогда же сообщил о поступке Евдокимова Потапову, но прибавил, что по совести не могу решиться предать его суду, что исходившие от высшей власти негласные побуждения довели до того, что низшие исполнители утратили понятие о должном и не должном. Однако ж был чистый, дерзкий подлог; со своей стороны я тотчас вычеркнул Евдокимова из списка представленных к имениям на льготных условиях и вдобавок просил Потапова избавить меня от него. Генерал-губернатор посмотрел на дело несравненно хладнокровнее и после моего удаления Евдокимов сделан членом виленского губернского присутствия. В этот раз взъерошенный нравственно я сказал Потапову, что мы так различно смотрим на служебный долг и на нравственные вопросы, что время мне удалиться и просил искать другого помощника. Потапов назвал меня «бурею, симпатическою бурею», прослезился и убедил остаться. Это было в исходе мая.

В июне было передано к исполнению разъяснение министра внутренних дел по вопросу о сервитутах, возбужденному Потаповым без чьей бы то ни было жалобы. Я старался убедить генерал-губернатора не настаивать на исполнении разъяснений министра, говорил с ним долго, даже решился прибавить, что он оказывает Тимашеву нетоварищескую услугу. Все мои доводы были тщетны: генерал-губернатор считал пояснения министра обязательными для себя и для меня, а что касается до закона, прибавил он «я за душу Главный комитет». Здесь местная власть отрешалась уже не от центрального управления, как выражался Потапов, обвиняя предшественников, а от верховной власти, утвердившей предположения Комитета своей санкцией. В ответ на безумную тираду я напомнил генерал-губернатору, что приближенные его распускают слухи, будто он имеет секретную инструкцию, дозволяющую не выполнять закон 26 марта, что в его прихожей острят во всеуслышание, называя Высочайшее повеление «жесточайшим повелением», и потребовал немедленного увольнения меня от должности, при подобных условиях невозможной. Потапов переменил тон, стал уверять, что с каждым днем более и более убеждается в моих способностях и чистоте моих намерений и что при разных даже взглядах мы можем быть вместе полезны. При этом обычные объятия. Утомленный подобными сценами и твердо решившись не уступать в крестьянском вопросе ни на йоту, я отвечал генерал-губернатору, что и в этот раз поддамся его убеждениям, если он найдет возможным наше совместное служение, выслушав то, что я намерен сказать ему. «Искажение закона в исполнении, — говорил я, — в глазах моих есть дело не только беззаконное, но грязное; на подобный обман я своих рук не дам — вот мой нравственный взгляд. Закон 26 марта имеет мои полнейшие симпатии — вот мой взгляд политический. Вам судить, можем ли мы, после столь чистосердечного признания с моей стороны, идти вместе». Кажется, я не изменил ни одного слова. Потапов бла-

годарил за искренность и все-таки настаивал, что мне следует остаться.

Разъяснение министра пошло обычным порядком в губернское присутствие, с ним не согласившееся и потребовавшее указаний по частному вопросу, подходившему под категорию случайностей, указанных министром. Генерал-губернатор нашел, что присутствие напрасно требовало разъяснений, и вновь налегал на неуклонное исполнение указаний министра. Около этого же времени ковенский губернатор в записке, следы которой рано или поздно откроются, выражал трудность соглашения закона с полученными разъяснениями. Потапов посылал эту записку Тимашеву, и министр, видя в ней личный взгляд губернатора, а не присутствия, надеялся, что разъяснения генерал-губернатора «вразумят» губернатора.

Опасаясь последствий обнародования взглядов министра на сервитуты, я откладывал сообщение их уездным мировым учреждениям и передал мою нерешимость Потапову. Если казусов, указанных министром, было по губернии два-три, я надеялся исполнить желание министра добровольными соглашениями; но если их множество, каким образом в губернии чисто земледельческой мы станем уничтожать сервитуты и лишать крестьян единственных пастбищ. Разве употребим силу. «Что же, — отвечал генерал-губернатор, — есть картечь». Я выразил мнение, что администраторов, вызывающих народ под картечь своими распоряжениями, следует самих казнить позорной смертью. На это Потапов решился ответить, будто государь вовсе не желает строгого исполнения закона 26-го марта, и что какая-то «их партия» очень сильна, и просил меня верить его словам. Я сказал ему, что не слыхал ни одного слова из сказанных им; что же оставалось мне делать при такой наглости. Люди, притупившие всякое ощущение совести, нередко сохраняют, однако ж, упрямство, некоторую твердость духа в самых недостойных действиях. Эту-то твердость Потапова я вызывал в свидетели нашего разговора, для меня и для него, конечно, весьма памятного. Думая, что остановил генерал-губернатора моими доводами, я продолжал не исполнять его сообщения о сервитутах и был совершенно поражен следующей бумагой от 26 июля:

«В дополнение к отношению моему от 7 прошлого июня за № 1160, при коем я препроводил к В. П. копию с отношения ко мне г. министра внутренних дел от 30 мая сего года за № 5510, покорнейше прошу Вас, М. Г., уведомить меня с получением сего, которого месяца и числа сообщено всем мировым по крестьянским делам учреждениям вверенной В. П. губернии означенное разъяснение министра, которое предложено было мной Вам к точному и неуклонному руководству».

Удаление с поста под влиянием нападения чисто физической силы показалось мне постыдным бегством. Я решился остаться сторожить исполнение закона и по каждому отдельному случаю направлять постановления губернского присутствия в неизменно строгом его смысле или прилагать мои протесты, если б присутствие колебалось.

Поставя меня в прямую оппозицию с министром, Потапов начал уже действовать смелее. Отправившись в объезд по губерниям, он увидел в Лиде циркуляр губернского присутствия, в котором были перечислены приемы, требуемые законом при указании границ крестьянского надела и особенно рекомендовалось точное соблюдение их, чтоб упущения формальности не вели к кассациям. Ссылка на указ 1 марта 1863 года, эту хартию северо-западного края, не понравилась генерал-губернатору. Он нашел в ней «тенденциозность»; я возразил, что все казуисты древнего мира не откроют тенденциозности в напоминании указа, беспрестанно приводимого даже в последнем законе 26 марта. Потапов признавал, что все написанное в циркуляре — «евангелие», но указание на закон 1 марта 1863 года сбивает посредников, о чем будто говорили в Лид-

ском мировом съезде, сорванном по приказанию генерал-губернатора. Мне казалось, что разговором дело кончилось, и я отправился 14 августа в объезд по губернии.

Приехавши в Вильну, я убедился, что Потапов не удовольствовался разговором. Мне подали официальные замечания его на изданный присутствием циркуляр. В заседании 13 сентября решили напечатать оба циркуляра в Губернских ведомостях, так как наш заключал нужные правила разграничения и должен был сделаться известным полиции, а генерал-губернаторский разъяснял то, что будто могло сбивать посредников. Губернские ведомости, как известно, выходят раз в неделю, и оба циркуляра явились в номере 20 сентября. Случайность эта, как мне говорили с разных сторон, была выставлена несомненным доказательством низкой интриги с моей стороны. Утверждали, будто было перехвачено письмо, в котором просили Батюшкова передать мне, чтоб я поспешил напечатать циркуляр Потапова и тем дал бы средство Главному комитету ухватиться за осязательную улику. Смело и с готовностью на всякую ответственность утверждаю, что во всех действиях, до самого плачевного исхода службы моей в северо-западном крае, я руководствовался собственными взглядами, не имел ни прямых, ни косвенных сношений с журналами или с лицами в Петербурге, и занимался одним только делом, находя назидание в бумагах моих предместников и непрестанном размышлении над ними и историей края, которую читал постоянно с напряженным вниманием.

14 сентября утром, после открытия в доме генерал-губернатора общества ревнителей православия, я обратился к Потапову с просьбой дозволить мне ехать в Петербург. Начальник края попросил меня в кабинет вместе с князем Багратионом и желал узнать причину моей внезапной поездки. Я отвечал, что после вчерашнего доклада нельзя уже было мне не иметь убеждения в твердости намерения генерал-губернатора принудить меня понимать закон 26 марта так, как он его понимал, и что мне необходимо просить разъяснения у министра. Потапов убеждал меня остаться покойным et ne pas briser les vitres,[15] на что я ответил, что в наших званиях нельзя быть детьми. Я думал убедить Тимашева кончить непристойную игру; в противном случае решился не возвращаться в Вильну. Ясно уже было, что я не мог принести делу никакой пользы.

15-го в 9 часов утра я был снова призван к Потапову и снова застал у него Багратиона. Начальнику края, очевидно, хотелось иметь свидетеля, который мог бы в случае надобности подтвердить его уступчивость и мое упрямство. Потапов «рассудил, что проект предложения его действительно грешил, не в существе, а в форме, и велел переписать его, не настаивая на передаче рапорта Зиновьева посреднику», но не отказывался от сообщения своего, предрешающего дела взгляда присутствию, считаю обязанностью направлять ход крестьянского вопроса в крае. Опять повторились те же просьбы и увещания, но я был непреклонен. Генерал-губернатор повторил мои слова: «мы с Вами не дети и должны отвечать за свои действия». Я изъявил совершенную готовность покориться всем случайностям, которые могла навлечь на меня решимость моя. Когда, несмотря на чистосердечие моих слов, Потапов решился вновь уговаривать меня, я сказал, что полученный накануне высочайший приказ убеждает меня, что генерал-губернатор не с вчерашнего дня недоволен мною, выжидать далее было бы неблагоразумно и вредно для дела. В полученном приказе предводитель Домейко был награжден орденом Владимира 2 степени, а чиновник при генерал-губернаторе, полковник Грен — Владимиром 3 степени.

Более года уже Грен совместно с моим чиновником Яровицким производил следствие над дворянским депутатским собранием, т. е. над самим предводителем, по поводу выдачи

фальшивых свидетельств на дворянское звание. Секретарь дворянства Урбанович был уже посажен в острог, и генерал-губернатор, не выждав совершенного окончания следствия, издал циркуляр, которым приглашал губернаторов иметь особенно строгое наблюдение за выдачей свидетельств на дворянское достоинство. Совпадение в том же приказе высочайших милостей следователю и подсудимому, оказавшемуся уже виновным по крайней мере в небрежении к обязанности, представляло беспримерный цинизм. Исключение из числа награжденных губернатора, тогда как награждался виновный предводитель, всегда губернатору оппонировавший в губернском присутствии, прямо показывало, что генерал-губернатор хотел вынуждать на согласие с его взглядами милостями и немилостями. Я говорил уже, что мне было известно представление мое к 17-му апреля и отсрочка его до 30 августа. К 30-му августа представление было послано в Ливадию, но государь не соизволил на награждение меня. Само министерство не находило извинения поступку Потапова, который представлял меня официально, а келейно употреблял меры, чтоб меня обошли. Как бы то ни было, перемена обо мне мнения генерал-губернатора, очевидно, произошла между 17 апреля и 30 августа, т. е. вследствие упорства моего по исполнению закона 26 марта. 16 сентября явились в Вильне «Московские ведомости» от 13-го, с первой статьей по поводу нарушения генерал-губернатором закона 26 марта; следовательно решимость моя, выраженная 14-го, не могла иметь связи с журнальными известиями, как старался выставить Потапов впоследствии.

15-го еще я сдал временно должность и готовился выехать 16-го, но внезапная болезнь жены заставила меня отложить поездку до 20-21 сентября, вечером я прибыл в Петербург, а 22-го в 10 часов утра, никого не видевши, явился к министру. На скромное изложение моих затруднений Тимашев с видимым неудовольствием возразил, что мои заявления просто жалоба на генерал-губернатора, что это очень важно, что он видит в моих словах старую мысль о ненадобности генерал-губернаторов и т. д. Давши кончить, я возразил министру, что во всем услышанном от него нет ни одного слова, мне принадлежащего, что я приехал просить устранения затруднений в исполнении закона, за чем приезжают многие губернаторы, и если есть с моей стороны жалоба, то преимущественно на самого министра, ибо по моей губернии важнейшие недоразумения возникают вследствие вопроса о сервитутах, разъясненного министром и опубликованного генерал-губернатором вопреки моему мнению и даже сопротивлению. Тогда Тимашев просил сообщить ему все письменно. На возражение, что не имею с собой ни дел, ни секретаря, и могу ошибиться, вежливый министр упрекнул меня в голословии. На это я ответил, что лучший способ проверить меня — потребовать подлинную переписку мою с генерал-губернатором. Министр смягчился и перешел к другим предметам.

Не знаю, было ли известно Тимашеву, что Главный комитет решился уже обратиться к нему с запросом о нарушении Потаповым закона, имея, как оказалось, весьма достоверные данные. Решимость комитета не могла быть мне известна. От Тимашева я поехал к Великому князю Константину. Председатель главного комитета в возбужденном состоянии, указавши мне на кипу лежавших перед ним бумаг, спросил, правда ли это. На ответ, что я не знаю, в чем дело, он велел открыть мне папку, и когда я увидел в ней копии различных предложений Потапова ковенскому губернатору, заметил, что не могу свидетельствовать о неподдельности документов, не относившихся ко мне. Великий князь велел порыться, и когда я нашел предложение о сервитутах, то засвидетельствовал тотчас подлинность бумаги и прибавил, что по этому именно случаю прибыл переговорить с министром. «И мы с ним переговорим», — возразил Великий Князь.

В 12 часов, перед началом государственного совета (был понедельник), Тимашев громогласно объявлял, что я приехал жаловаться на генерал-губернатора, и что он не оставит дела без последствий. Это мне сообщили члены совета тотчас после заседания. Если б, являясь к Тимашеву, я знал, что вопрос в тот же день перейдет в несравненно более могучие руки, нежели мои, или случайно приехал в Петербург несколькими часами позже, имя мое не было бы соединено с обстоятельством журнальных откровений.

Сам Тимашев первый огласил мой приезд и цель его. С чего же он утверждал лично мне впоследствии, будто я раздул этот вопрос. Раздувать уже зажженное пламя, рискуя обжечься, было бессмыслием. И к чему он постоянно присоединял ко мне Батюшкова. Мы могли говорить с Батюшковым о школах, православии в крае, о произвольных воззрениях Потапова на многие вопросы, о его ненависти ко всем русским, о его лживости и других качествах, внушавших к нему отвращение; но о крестьянском деле не говорили и говорить не могли. Для Батюшкова оно было делом чуждым и совершенно темным.

Первым следствием совещания Главного комитета было отречение Тимашева от собственных разъяснений, он просто не знал, что подписывал. Вместе с другими членами комитета он подписал постановление о сообщении губернским присутствиям, чтоб они впредь печатали свои протоколы и пересылали в Земский отдел несколько экземпляров для передачи одного из них в комитет. Дело приняло уже официальный ход. Некоторые члены спрашивали меня, на каком основании в северо-западном крае делаются распоряжения, противные изданному закону; я считал долгом утверждать, что вообще закон 26 марта исполняется совершенно противно его духу и букве, нисколько не скрывая моих уверений, не видя в том не только вины, но даже недостатка административной скромности. Я сам прибыл для того, чтоб обнаружить нарушение закона и говорил с законодателями. Как состоявший в свите я являлся к цесаревичу, был им обласкан и приглашен на вечер. Его высочество говорило со мной о вопросе, занимавшем уже весь город. Не вдаваясь в подробности, ему, конечно, неизвестные, я просил его употребить свое влияние, чтоб государь на меня не гневался, ибо я исполнял долг. В дружеских беседах я, конечно, не хвалил Потапова, это было бы низким лицемерием.

В следующее заседание Главный комитет решил приостановить исполнение всех данных генерал-губернатором разъяснений и вытребовать Потапова в Петербург. Тимашев не только согласился с товарищами, но как министр передал решение Комитета генерал-губернатору к исполнению. Отпуская меня, он сказал, что «дело выяснится». Все это происходило в отсутствие государя, не замедлившего возвратиться из Ливадии.

11 октября при представлении моем по возвращении Потапов, сказавшийся больным, чтоб не ехать в столицу по требованию, объявил мне, что совместная служба наша продолжаться не может, и предложил избрать одно из двух средств: удалиться самому или предоставить ему удалить меня. Я отвечал, что предпочитаю последнее и, зная уже неразборчивость его в средствах, поступил с ним, как с человеком, способным на всякую ложь. Я написал к нему следующее письмо.

«При представлении моем по возвращении из столицы, В. П. угодно было склонять меня к просьбе об удалении от должности под тем предлогом, будто выяснились факты, выказывающие совершенную противоположность моих взглядов с Вашими. Единственное разномыслие, мне известное, произошло по исполнению закона 26 марта. Разномыслие это возникло вследствие разъяснений, которых я не испрашивал, и которые казались мне несогласными с законом».

«В. П., конечно, не станете отрицать, что опасаясь последствий спора о легальности Ва-

ших предложений и чувствуя себя неспособным действовать против закона и совести, я неоднократно просил Вас избрать другого исполнителя Ваших взглядов на закон 26 марта, но всегда получал тот же ответ, что совместная служба наша может быть полезна и при разности взглядов. Наконец, применение закона к действительности потребовало немедленного выхода из тяжелого двусмысленного положения, в котором я находился, и с ведома Вашего я отправился в Петербург искать разрешения недоразумений. С тех пор никаких новых известных мне фактов не выказывалось».

«Не могу оспаривать права В. П. приискивать себе помощников, — это право было употреблено Вами в отношении меня, без малейшего искательства с моей стороны, — но вместе с тем не считаю себя обязанным, вследствие противоположного с Вами понимания закона, оставлять добровольно пост, на котором чувствую себя способным служить Его Величеству».

«Терпеливо и долго я искал средств выйти из весьма затруднительного положения, соблюдая в то же время требования долга. Теперь, когда предписанные из Петербурга меры устраняют возможность грозных последствий недоразумений по крестьянскому делу, мне остается только ожидать и безропотно покориться воле того, кем самый закон был дан к руководству».

Впоследствии говорили, будто жесткая участь постигла меня за дерзкое письмо генерал-губернатору. Пускай судят, правдоподобно ли такое толкование. Неужели я, неоднократно прибегавший к генерал-губернатору с просьбой уволить меня и всегда встречавший с его стороны убеждения остаться, не мог дозволить себе в ответ на его прежнее коварство и на его настоящую наглость, весьма учтиво выраженного мнения, что <u>с ним</u> я никакого дела иметь более не могу.

Генерал-губернатор не оставлял Вильны до 22 октября. Не стану говорить о тех мелочных придирках, которыми он хотел отравить последние дни нашего совместного служения. Они росли по мере учащения ответов на таинственные депеши, которыми Потапов перекидывался с Петербургом, и известны князю Багратиону, останавливавшему нерыцарское увлечение товарища. В промежутке между моим возвращением и отъездом Потапова проезжала из-за границы графиня Шувалова. С нею жена генерал-губернатора провела в вагоне все долгое время остановки поезда в Вильне.

Потапов мог виниться перед комитетом и потом отказываться от своих слов — это было в его системе, — но Великий Князь Константин Николаевич сам говорил мне, что являясь к нему, виленский генерал-губернатор просил быть милостивым к его ошибкам и уверял, что он <u>не понял</u> закона. Протокол комитета, в котором принимались меры для отвращения на будущее время нарушений закона, утвержден государем, а 24 октября Его величеству угодно было приказать немедленно удалить Батюшкова, с назначением в совет министров, а меня с зачислением по флоту и исключением из свиты. Могу, кажется, утверждать, что наследник и великий князь Константин ходатайствовали за меня, но государь был очень гневен и отвечал: «Dous ne connaisse pas le dessous des cartes!».[16] С какой бы высоты ни шел подобный приговор, я не могу принять его без торжественного протеста. Карты были подтасованы, и монарху, конечно, не могла придти мысль, что в деле участвовали бесчестные игроки.

25 октября в Вильне получена телеграмма наблюдать за впечатлением, которое произведет приказ об удалении меня и Батюшкова. Не знаю, донесли ли в Петербург, что слово «бироновщина» было на многих, весьма скромных дотоле устах. Потапов в письме Багратиону, мною читанном, просил тотчас дать знать ему, если бы с моей стороны были какие-либо затруднения. Можно догадываться о том, что дозволил себе в отзывах о моей личности генерал-губернатор, если прикидывался, будто

ожидал от меня сопротивления царской воле. 1-го ноября я выехал среди общего онемения и уныния и 2-го был в столице. Сочувствие всех знавших меня облегчило первые тяжелые минуты, и воспоминания о выказанном мне участии останутся светлой точкой в картине заката моего служебного поприща.

Отъезда моего из Вильны я не объявлял, чтоб не подвергнуть кого-либо гонению, однако ж, русское купечество пришло проводить меня с хлебом-солью. Соль была в небольшой солонке древнерусского образца с надписью «Хлеб-соль ешь, а правду режь». Это простое русское выражение участия и радушия было принято за оппозиционную демонстрацию; голове Цылову велено произвести негласное исследование и внушить купечеству все неприличие их поступка. Купцы ответили, что пришли «проводить доброго человека», и до чувств их, кажется, никому не было дела. Другое негласное исследование произведено по случаю, ясно выказывающему, до каких средств нисходят высоко стоящие блюстители достоинства правительства. Гардероб мой был весьма полон в противность моему карману. Не имея надобности в свитских принадлежностях, я отдал часть их камердинеру, а другую поручил ему продать. То, что делается всеми с ненужными эполетами и аксельбантами, мне вменено было чуть не в crime de lèse-Majesté.[17] Призывали состоявшего при мне чиновника Рыкачева и евреев, купивших мои гардеробные избытки, спрашивали, справедливо ли, будто я призвал их и с презрением бросил адъютантские принадлежности, произнося оскорбительные для имени государя слова. Бедные евреи оказались честнее генерал-губернатора. Но и этим не удовольствовались.

Решение Его Величества глубоко потрясло меня. Я подал в отставку, и 10-го ноября уволен от службы тем же чином, хотя уже девять лет был контр-адмиралом и три из них командовал за границей эскадрой, а четыре провел в звании губернатора. За 35-летнюю мою службу я получил пенсию в 840 рублей. Единовременно с моим удалением Еремеев, подвигавший Потапова на незаконности и скреплявший их своей подписью, назначен губернатором в Симбирск. Потапов просил о назначении его на мое место, но соумышленники его нашли, что в делах всякого рода следует сохранять некоторое приличие.

Вот правдивый, беспристрастный рассказ эпизода моей жизни, нераздельного с современной историей северо-западного края; не рассказ, а исповедь, которую я бестрепетно повторю не только перед судом людским, с готовностью на всякого рода ответственность, но перед непогрешимым судом божьим. Могут быть различные мнения, разумно ли выполнил я долг гражданина и истинного верноподданного; но все, думаю, согласятся, что на долю мою выпала горестная известность. Хочу думать, что если строки эти когда-нибудь попадутся Тимашеву, он устыдится помощи, оказанной им Потапову. Граф П. А. Шувалов, беспричинно и бесстыдно способствовавший моему падению, знал, кому протягивает руку. Напрасно станет он утешать себя мыслью, что действовал в духе и пользе известной партии. Если допустить партии в России, нельзя освободить их от законов чести и честности, принятых в общежитии; но мне, как губернатору, известны настоящие причины его нежного расположения к начальнику северо-западного края, и я приведу их здесь, расставаясь, как полагаю, навсегда с моими доброхотами. 8 июля 1869 года в Виленском губернском присутствии продавалось в числе других имений Датново, Адама Храповицкого.

По описи имение стоило 137 тысяч, но, конечно, должно было достичь на торгах несравненно высшей цены. К торгу явились Шульц и Дембовецкий, известные личности. Тщетно приказывал я выкрикивать желающих торговаться, других охотников не было. После торгов я тотчас поехал к Потапову и сказал, что такой, очевидно, подставной торг

на имя Шуваловых, не может не подать повода к толкам; что он, Потапов, негодует на «босоногих», приезжающих покупать в крае несколько десятин земли, а вот и небосоногие решаются законными, но непристойными в звании их мерами, приобретать за ничто огромные имения; что наконец в исключительном положении П. А. Шувалова, тень подобных сделок падает на самое солнце. Потапов не только счел дело правильным — «двое торговались, значит, закон о торгах не был нарушен» — но самым бесстыдным образом объявил мне, что у Шувалова был соперник, княгиня Огинская, но он уговорил ее отступиться. Кажется, трудно найти более ясное указание, кому и как служил Потапов.

Вспоминая случайности, предшествовавшие прибытию моему в Вильну, неоднократно приводил я себе на память изречение Великого Князя Константина Николаевича. Проследивши внимательно мою хронику, читатель, конечно, не пощадит меня, но вероятно согласится, что ему, как и мне, случалось встречать в жизни людей, не бравших каждодневно ванны и не правивших ногти, но все-таки несравненно более опрятных, нежели те, с которыми я сошелся в «грязной яме». Познакомясь с моим чистосердечным рассказом, даже недоброжелатели мои, может быть, согласятся, что я имел право ответить высоко поставленной собеседнице, желавшей знать в нескольких словах причину моей служебной гибели: «C'es une oeuvre infâme, don Potapoff est l'auteur, Schouvaloff l'editeur est Timasheff le censeur».[18]

Доведя виленский погром 1869 года до его грустного для меня конца, выставя с фотографической верностью факты, я дал читателю средство вывести собственное заключение. В утешение самому себе, единственное для меня возможное, мне вероятно дозволят бросить общий взгляд на политическую сторону дела, которую предоставлял себе исключительно генерал-губернатор с шумом и важностью, и на то направление, которое он считал нужным давать все служащим, будто законы и присяга недостаточно указывают, как, кому и для чего служить должно. Некоторые повторения неизбежны в этом окончательном обзоре.

На Литву политически можно смотреть только двояко: как на часть России или как на часть Польши. Третий взгляд — автономический — противится истории, смыслу и силе вещей. Чисто литовское население едва заметно и сливается с соседними белорусским, польским и латышским. Не подлежит, кажется, сомнению, что со времени колебаний Александра I русское правительство и Россия считали Литву интегральной частью России. О династическом только сцеплении ее с Россией до Потапова никто не думал. Что он мог иметь и имел подобные взгляды, доказывает любимая его тирада: «России нет, есть великоруссы, малороссы, татары, мордва, литвины, поляки, но России нет, а есть только русская держава».

Куда бы ни странствовал генерал Потапов в своем государственном воззрении, все же мысль о восстановлении Люблинской унии русскими руками не могла придти ему в голову. К понятиям о несуществовании русской национальности он мог придти своеобразным взглядом на русскую историю, или вернее, вовсе не смотревши в нее. Прежнее ученое употребление Потапова могло вселить в него оригинальную смелость не признавать Иоанна III, смутного времени, Петра, Екатерины, двенадцатого года, даже современного ему 1861-го и других осязательных фактов существования русской народности; ученые взгляды различны, в особенности, когда «неглубоко пьют Кастальские воды». Предварительно, до посылки в край так оригинально подготовленного исторически мужа, следовало бы, кажется, освидетельствовать его психиатрами. Но вдвигать снова Литву в Польшу, снова приходить к мысли, которую Россия не простила Александру I, со стороны Потапова было бы смелостью, не извиняемою даже невежеством и безумием; это было бы изменой, а измена для Потапова не могла сделаться выгодной. Если

допустить, что он желал чего-либо кроме 30 тысяч содержания, удовлетворения жажды к произволу и лент, не остается предположить ничего иного, как намерения слить Литву с Россией. Другого в сфере политической и придумать невозможно; разве предположить, что правительство смотрит на Россию, как на пожизненную только собственность и вовсе не заботится о ее будущем.

Приписавши Потапову единственный возможный взгляд на Литву, рассмотрим его действия. Первое условие слития различных частей государства — однообразие узаконений. Все усилия в Литве должны клониться к тому, чтоб возможно было в самом скором времени объединить ее с остальной Россией законами. В России развели крестьян с помещиками, следовало сделать то же в Литве тем настоятельнее и скорее, что политические события 1863 года того требовали для целости государства. В России ввелись новые суды и земство, следовало вести к тому же в Литве, но как существующие для того элементы положительно враждебны объединению края с Россией, распространение русского землевладения представлялось неминуемым средством. Для слития двух народностей, временно разъединенных историей, наиболее облегчающее задачу средство — язык. В литовских провинциях, к счастью, большинство говорит русским языком, несмотря на трехвековые усилия польской интеллигенции. Значит, торжество и сила русской школы, очевидно, необходимы в мнении каждого, кто хочет достигать цели легчайшими средствами.

Неужели обвинят Россию, что ей, наконец, надоело лить свою кровь периодически, и положило в основание нового порядка вещей, прекращавшего его страдания, законы 1 марта 1863 года, 10 декабря 1865 года, и стало распространять в Литве русские народные училища. Эти законы оглашены чудовищной школой эквилибристов, к которой принадлежит Потапов; но мы не выдумали их, мы делали то только, что в подобных обстоятельствах делали в Австрии и Франции, даже в Англии и Соединенных Штатах. Все кричат против законов необходимости, и все прибегают к ним в случае нужды. Странно то, что везде эти крики — дело оппозиции, а у нас их подняли правители. Еще страннее, что мудрые вожатые русской земли не подумали прежде, нежели пенять на чудовищность постановлений, изданных для провинившегося против государства края, уничтожить многие нечеловеческие требования нашего собственного кодекса и введенные правительственным обычаем варварские приемы, от которых в верной, невинной России страдает семейная связь, общественная нравственность, благосостояние и личность. И люди, наиболее требовавшие habeus corpus а в пользу мятежников, именно эти люди особенно подвизались в нарушении его в своем Отечестве. Но всего важнее то, что упомянутые законы были изданы, когда Потапов принял воеводство. Как бы ни смотрели на самые законы, никто не дерзнет отвергать, что они были для Потапова обязательны. Ему следовало неуклонно выполнять их всеми силами власти и духа или — не принимать обязанности.

Прежде приступа к действиям на слияние Литвы с Россией само собой нужно было разъединить Литву с насевшей на нее Польшей, т. е. совершенно отделить крестьян от помещиков. Решением крестьянского вопроса немедленно пресекалось дальнейшее развитие польской язвы, и потому к нему прежде всего следовало обратиться с ревностью и настойчивостью. Муравьев искусно воспользовался обстоятельствами; политическая потребность сходилась с требованиями государственного возмездия — помещики орудовали за Польшу, крестьяне — за Россию. Муравьев и его преемники (не исключая Баранова, который не останавливал дела) поняли всю важность крестьянского вопроса для России и угадали надобность как можно скорее решить его. Внешние обстоятельства, от нас не зависевшие, могли застать наиболее подверженный ударам извне край в состоянии

переходном, опасном не только для правительства, но и для самого края, каковы бы ни были последствия войны. Какие же меры принял новый генерал-губернатор в столь важном, не терпевшем отлагательства деле. Он объявил, даже до приезда своего на место из столицы, войну учреждениям в крае, личностям, чиновникам. На эти учреждения была возложена трудная обязанность разорвать связи между крестьянами и помещиками, которые могли вновь поставить правительство в критическое положение. Задача, принимая в соображение требовавшуюся поспешность и жгучие условия вооруженного восстания, была выполнена, конечно, с неизбежными ошибками, допустим, даже преднамеренными в некоторых случаях; но самая преднамеренность была следствием воодушевления, имевшего начало в любви к родине, против которой действовало местное дворянское сословие, отвергавшее уроки истории.

Вместо того, чтоб посмотреть на мировых деятелей со всей снисходительностью, вызываемой их исключительным положением и зависимостью от прежней высшей власти, которая не успела бы так быстро и действительно подавить мятеж без их восторженности к делу, администрация, наследовавшая неправильности крестьянского вопроса, забыла, что вместе с ними наследовала спокойствие и начала требовать строгого отчета в действиях за эпоху брожения.

В русских губерниях никого не пожалели; социализм посредников, увлекшихся громадной человеческой реформой, никого не испугал; в северо-западном крае прослезились над виновными и хотели представить чиновников, выпрашивавших фермы в несколько сот рублей дохода за пятилетнее невыносимое положение, врагами порядка и опасными проводниками революционных идей. Всякое увлечение есть последствие убеждения, и едва ли справедливо винить в нем исполнителей. Распорядители несколькими словами всегда могли потушить пламя. Потапов в официальном документе винил своих предместников, а за их вину казнил исполнителей. Здесь, как во всех действиях Потапова, видна особенная логика.

В мерах, принятых наскоро, в пылу борьбы, многое было неправильно, может быть, в некоторой степени вредно даже. Следовало стараться навести тишь на взволнованное море, а не вздувать его новой бурей, поднятой с такой же силой, как прежняя, но без причин, извиняющих предшествующую.

Последствием подобной административной сноровки было то, что помещики, почуяв перемену, стали упираться в своем сопротивлении, дело застыло, и в довершении чтивший закон генерал-губернатор, только что сочинивший памфлет против произвольных действий Муравьева и Кауфмана, остановил собственной волей выкупную операцию, в то же время потребовавши, чтоб посредники склоняли к соглашениям, и объявивши циркуляром, что успех этого способа будет приниматься, как критериум их служебного усердия. Невозможно было ожидать от помещиков политической прозорливости, способности угадать, что генерал-губернатор чертил на песке, когда этого не умел предвидеть сам реформатор. Кажется ясно, что в действиях его не было не только провидения в будущее, но логики в настоящем.

Наконец, недоумения были разрешены. На дюжий памфлет, сочиненный сообща земским отделом министерства внутренних дел, перенесенным на этот случай в Вильну, местными польскими дельцами и в весьма малой степени забавлявшегося делом крестьянской комиссией, правительство ответило законом, которому никто не может отказать в трех качествах, вовсе не существующих в генерал-губернаторском проекте: краткости, ясности и определительности. Ответы на многочисленные примеры, представленные генерал-губернатором в доказательство несостоятельности прежних правил, укладывались с положительными, не поддававшимися различным толкова-

ниям выяснениями, на одном печатном листе, с точностью приказаний, отдаваемых на поле сражения. И действительно, Потапов своими действиями обратил несомненную скорую победу в бесконечную борьбу.

На месте при исполнении продолжали руководствоваться теориями о воображаемом праве, и даже не этими теориями, а талмудом крупного землевладения. Такая система дает повод не дремлющей силе врагов под фирмой собственности охранять то, с чем мы должны бороться неусыпно, что уже стоило русской крови. Руками правительства местное панство старается воскресить свое политическое значение, что ясно видели из случая с Тышкевичем.

И так важнейший вопрос объединения Литвы с Россией, вопрос крестьянский, сначала остановлен генерал-губернатором на год, потом, когда вышли новые, положительные указания правительства, не отказавшийся «по верноподданническим чувствам» от исполнения их генерал-губернатор начал препятствовать исполнению закона влиянием на подчиненные личности и давлением, к которому привешивал в случае надобности бессознательные министерские гири.

Вопрос русского землевладения был также неотложен, как крестьянский. Если последним останавливалось развитие польского преобладания, первый вел к преобладанию русскому. Консерватизм несомненно пускает наиболее глубокие корни в поземельной собственности. Одна Польша представляет опровержение этой вековой истины. В чьих руках земля ни находилась бы, владелец будет радеть о сохранении спокойствия и порядка, и едва ли следует правительству заботиться, чтоб она оставалась в родах, ему враждебных.

На водворение русского землевладения правительство отпустило вначале 5 миллионов рублей, которые впоследствии обратило в капитал общества поземельного кредита. Специальная цель, на которую правительство имело право и должно было жертвовать частью государственных средств, была таким образом пожертвована для преуспеяния акционерного общества, весьма полезного, может быть, но все-таки обязанного соблюдать преимущественно выгоды акционеров. 5 миллионов представляли 250 тысяч десятин земли (принимая ценность ее и в юго-западном крае), на которой при должном распоряжении действительно поселились бы русские по плоти и крови, что нужно для судебных учреждений и земства. Назначение капитала изменено без малейшего сопротивления генерал-губернатора, опасавшегося, что «босоногие» наводнят край, и вместе с тем, как видели в деле Шуваловых, не колебавшегося употреблять недозволительным образом свое влияние в угоду скупавшим польские имения аристократам.

Эти аристократы, никогда не намереваясь жить в имениях, были б совершенно бесполезны для русского дела. Предстояло колонизировать Литву, какие же новые законы колонизации мечтал придумать генерал-губернатор. Жизнь первых русских колонистов во враждебном соседстве не могла быть красна. Внимание и снисходительность к ним власти указывались политическим смыслом и пользой государственной. Разве гонение на русских и презрительное с ними обращение могли привлечь поселенцев. Разве обыкновенный смысл допускал, что на существовавшие в крае условия явятся люди, которым хорошо дома; что туда не станут стекаться исключительно те, которые недовольны настоящим своим положением. Когда и где метрополия посылала в колонии сливки своего общества, а между тем скоро оказывались в колониях сливки в достаточном количестве для общества. Требовать безупречности от первых поселенцев в неприязненном крае, значит, не понимать азбуки жизни, закрывать глаза перед действительностью, отвергать все примеры истории человечества. К возвышению нравственности могла способствовать более всего высшая власть в крае собственным при-

мером, этого-то благодетельного примера и не было.

Между тем, бесполезная для государственных целей аристократия, заботившаяся исключительно о выгодном помещении капиталов, цинически скупала огромные имения, а петербургские чиновники охранительных учреждений беспрепятственно приобретали тысячи десятин буквально жидовским способом, пользуясь страхом, наводимым их положением. Настоящих землевладельцев, готовых и способных сидеть на земле и вопить русским голосом, отстраняли как опасных, а скупавших землю для спекуляций только притягивали в ущерб правительственному достоинству. Грехи честного человека за ним и оставались; а лиходейства генерала, служившего и пользовавшегося правительственным доверием, падали на верховную власть, которая, как жена Кесаря, не должна подлежать сомнению.

Покровительство панам выказывало нежность к крупному землевладению, господствовавшему над верностью к России. Генерал-губернатор будто не знал, что цель панства — выгородиться из подчинения общим законам, иметь возможность кричать «не позволим» и творить свою дикую волю по дорогим преданиям Радзивилов, Пацов, Жаб, Корсаков и Огинских, создавших свои палацы мясом быдла и общей нищетою при помощи евреев которых они вешали для потехи, исправников, которых стегали также для потехи, даже губернаторов, которых для потехи же сменяли, издеваясь над самими генерал-губернаторами под веселый час. Возможно ли было воскрешать в Литве то, что, к счастью, было уже уничтожено во всей России. Но представитель русской власти в крае делал это, и даже в его время потомки Огинского распоряжались бесцеремонно с ковенской полицией, а Тышкевичи изводили по прихоти русских чиновников. Не говорю, чтоб следовало гнать панов и отбирать у них имения, но в силу какой же политики можно было способствовать росту их влияния, уже оказавшегося положительно вредным. Спорную экономическую теорию о выгодах крупного землевладения Потапов ввел в решение бесспорной действительности, подкапывавшейся под Россию. Беспрестанными исключениями из общих мер генерал-губернатор силился, чтоб от закона 10 декабря, закона временного, остались единственно следы, унижающие правительство — память об исключительной мере, принятой без всякой существенной пользы. К счастью, в этом отношении он встречал некоторое сопротивление в министерстве. Вероятно, там догадались, что исключения не только вредны в политическом смысле, но нарушают неизвинительным образом справедливость, которая должна сохраняться и в самых репрессивных мерах. Действительно, исключения подвергали остальных более тяжелому обложению и создавали чудовищную echelle mobile,[19] поражающую разум и сердце. Кара увеличивалась по мере отдаления от времени преступления, без новой виновности.

Обращусь к третьему средству слития — школе. Здесь гуманности генерал-губернатора ничего не мешало выказаться во всем блеске. Если какое-либо дело велось в крае логично, систематически, с разумным постоянством, это дело русской школы.

Казалось, Потапов мог себе дозволить это средство. Но здесь помешала сама природа генерал-губернатора. Сам мало учившись, он не мог понять влияния известной доли просвещения на массы. Взгляды Потапова подходили в этом отношении к понятиям краснокожих. Ему казалось странным пение католических детей в православных церквах (хотя за границей мы это видим сплошь и рядом); он отвергал благотворное влияние русских песен в свободные часы и чтение на русском языке молитв, будто никогда не видел, как перерабатывается неразвитый человек не только школой, но полковой жизнью; забывая, что и между развитыми песни и песенки, хотя бы те, которые сам знал наизусть в гвардейской

молодости, порождали и порождают невольную симпатию к стране, из которой исходят; что Франция песнями разнесла по свету свое величие. Если бы как генерал он служил когда-нибудь в линии, то смотрел бы иначе на магическое влияние стройных звуков и речей, знал бы, что в непродолжительное время полк превращает мордвина в костромича, и не спорил бы, что школа может очищать белоруса от наросшего на него полонизма. И набранные учителя учить умели. Я постоянно посещал школы, знал состояние их несравненно точнее, нежели генерал-губернатор, и, смею думать, лучше его мог судить о школе вообще. Не поколеблюсь свидетельствовать, что в шесть лет народ просветился русским светом несравненно более, нежели за то же время в России. Разумеется, главные заслуги отпадают на долю правительства, давшего средства, но нельзя отвергать, что дело народного образования было в крае в руках восторженных исполнителей, а энтузиазм требуется для озарения масс новым светом; без него нигде не успевали, иначе не учили. Потапов дивился и сердился, что хотят располячить белоруса, и в усилиях педагогов видел желание сеять рознь между племенами. Он не хотел допустить к себе убеждения, что дело было не в возможности розни, а в несомненности полной победы на благо России. Следовало ли удивляться, что школа твердила народу, что все русское лучше польского.

Вот естественный прием для школы, если она желает заменить влияние одной интеллигенции другим. «Лжет вам польская история, учитесь истории русской», — вот другой прием, если желают, чтоб народ был русским. Иначе не учат, если хотят научить.

Потапов старался уверить всех, будто желал соединения, соглашения. Система гонения русских по крайности странный метод умиротворения. Таким образом он не мог достичь цели и не достиг. По-прежнему, и даже более прежнего, польское общество, видя, что с одной стороны стараются неопределенно помочь ему, а с другой встречается сопротивление, держит себя осторожно, высматривает, и не видя в генерал-губернаторе ни достаточной силы, ни политической честности, ни постоянства в убеждениях, не доверяет ему.

Спрашивается, чего же хотел генерал-губернатор? Вдвинуть Литву в Польшу. Как бы ни было близко к измене подобное намерение, для него требовалась решимость, достаточная у Потапова для гонения мелких личностей, но не для проводки идей.

Он правил краем исключительно для Петербурга, где были дорогие сердцу его почитатели олигархических начал. Но были и противники. Между ними, без всякой мысли о крае и России, Потапов проводил ладью свою к личной цели. Может быть, ладья дойдет, но след ее исчезнет везде, где она плавала. Останется только память о неопытности и малодушии кормчего; будут только дивиться, как давно не разбилась ладья, плававшая без компаса.

Очертивши политическую логику генерала Потапова, остается для полноты картины представить нравственный оттенок его управления. Избравши ближайших помощников из числа имевших несчастье подвергнуться неудовольствию государя, он всячески старался обратить их в людей, лично ему преданных, готовых разделять всякое воззрение его, и в нравственном смысле постоянно силился поставить их в фалангу состоявших при нем бесчисленных чиновников, т. е. сделать из них не слуг достойного правительства, а угодников, не затрудняющихся никакими средствами для достижения личных видов.

Я говорил уже, что Потапову дали право иметь при себе неограниченное число чиновников. Само собой только штатные получали жалованье, остальные служили «из чести». Голодную честь, чувство весьма тягостное, и не из тех, на которых основывается бескорыстная преданность, Потапов ввел в систему управления. Жаждавшие куска хлеба начали обнаруживать расчетливую предан-

ность, доказывали, что нужно удалить таких-то, как опасных, не преданных, и назначить на места их, преданных. Сам нежно преданный доносам, нашептываниям и другим методам школы, возводящей в государственные деятели кадет, недостаточно битых в корпусе, Потапов, помощью своих аколитов, держал служащих на какой-то нравственной дыбе, во всегдашнем ожидании лишиться места и пропитания.

Беспричинными крутыми мерами генерал-губернатор выказал себя с первого дня озорником, не мыслящим придержателем власти, вечно готовым метать ее перуны с воспламененным взором и прыгающими от раздражения бровями. Нужна была особенная дрессировка, неизъяснимое влечение к личной преданности, чтоб создать себе из такого человека идола и стать слепым орудием его замыслов.

И единовременно с такой своенравной, суетливой, не дававшей сама себе отчета властью, создали еще саму изменчивую из всех властей — женскую. Супруга генерал-губернатора была сделана генерал-губернаторшей в полном смысле слова; ей дали официальное звание главной попечительницы всех женских заведений в крае. При бездетстве, освобождающем от скромных, но святых обязанностей матери, к неотразимой силе жены и женщины прибавилось влияние правительницы, действовавшее на служащих косвенно, через сестер и детей, подлежавших ее ведению.

Такую нравственную почву и таких деятелей застал положительный закон 26 марта. Этот закон должен был через решение крестьянского вопроса успокоить умы, рассеять все сомнения насчет шаткости намерений правительства.

Новый закон мог быть не всеми понят одинаково в частностях. Вместо того, чтоб выжидать случаев, оправдывающих подобное предложение, решили, что его не поймут непременно и начали возбуждать вопросы, которых, может быть, вовсе и не возникало бы. Само собой этим возбудили жалобы и надежды на удовлетворение их.

Сменили посредников, членов присутствий и, наконец, губернаторов, а крестьянский вопрос не решился. Не проведутся и идеи виленского проекта, ибо выполнение их произведет, по всей вероятности, смуты. Представится грустная картина жестких мер, принимаемых вынужденным к тому правительством против ослушников власти, которых не было бы, если б закон исполнялся добросовестно, — и Европа увидит пример употребления правительственной силы против тех, которые были единственной правительственной опорой в недавнем кризисе. Вот вероятный результат шума, звона и криков, поднятых неразборчивой в средствах местной властью. Дела серьезные, истинно полезные, делаются везде скромнее, тише, спокойнее; они непременно выигрывают, когда их делают вместе с тем честнее.

Примечания

[1] Не прикасайтесь к Люксембургу!

[2] 1866 г.

[3] Мужество и терпение!

[4] «Государь! Я не верю Вашим слезам!».

[5] П. Е. Коцебу был очень малого роста (как говорили о нем современники — «два аршина без вершка»).

[6] Брандвахта — дежурство, установленное на специальном корабле, для регистрации движения судов при входе в порты, узкости, каналы и для наблюдения за выполнением судоходных, таможенных, карантинных и др. правил.

[7] Государство в государстве.

[8] Государь в Ливадии лично указывал мне на случайный сгон воды в Таганрогском заливе, которому сам был свидетелем еще наследником.

[9] Министра Внутренних Дел.

[10] По взаимному согласию негоциянтов, этот сбор взимался собственно на шоссе вдоль Воронцовской набережной.

[11] Ласт — устаревшая мера вместимости судов, равная двум регистровым тоннам, т. е. 5,66 куб. м.

[12] Пройтись губкой (по написанному на доске), т. е. предать забвению.

[13] Чрезвычайный ход.

[14] Скачек с препятствиями.

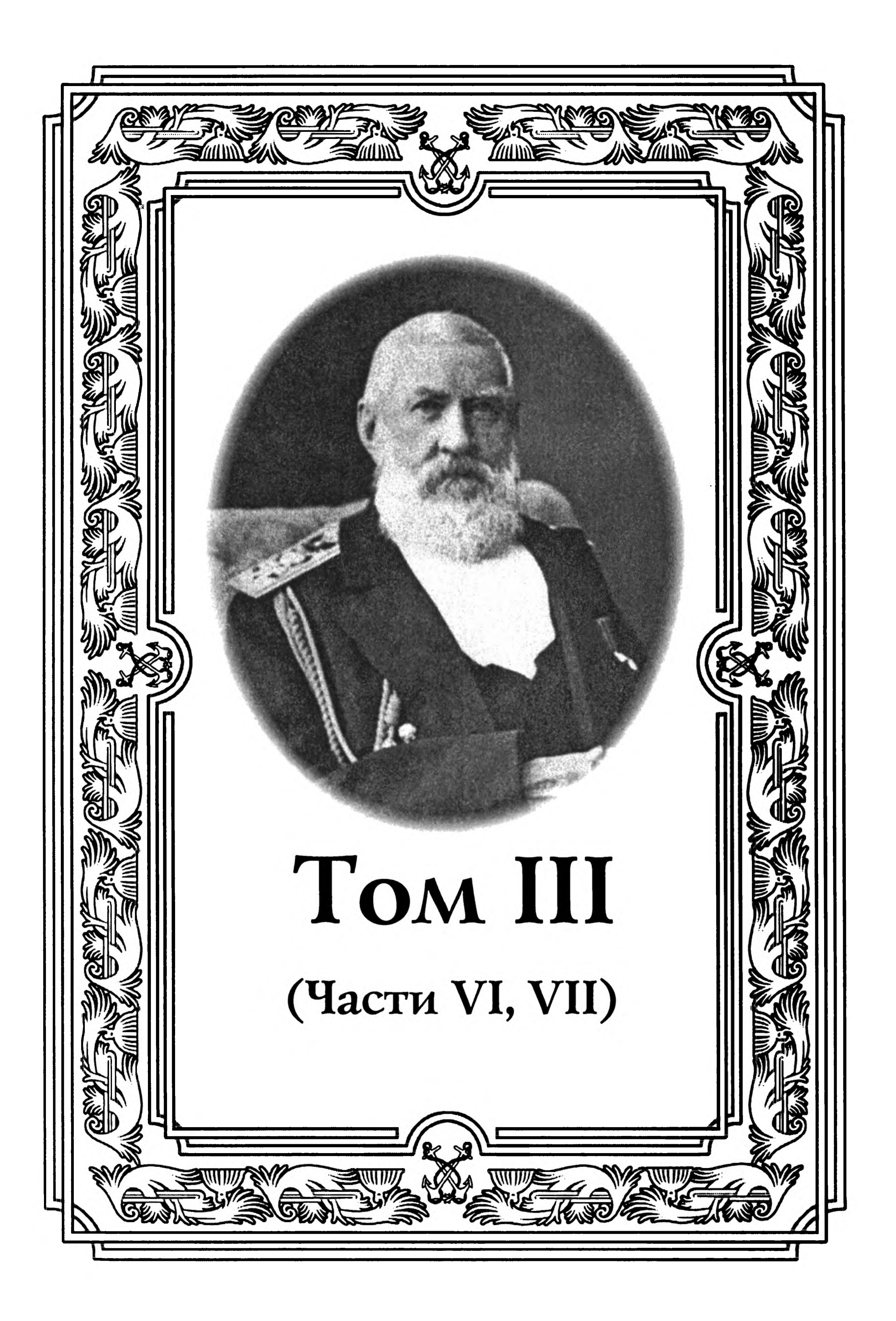
[15] И не разбивать стекол.

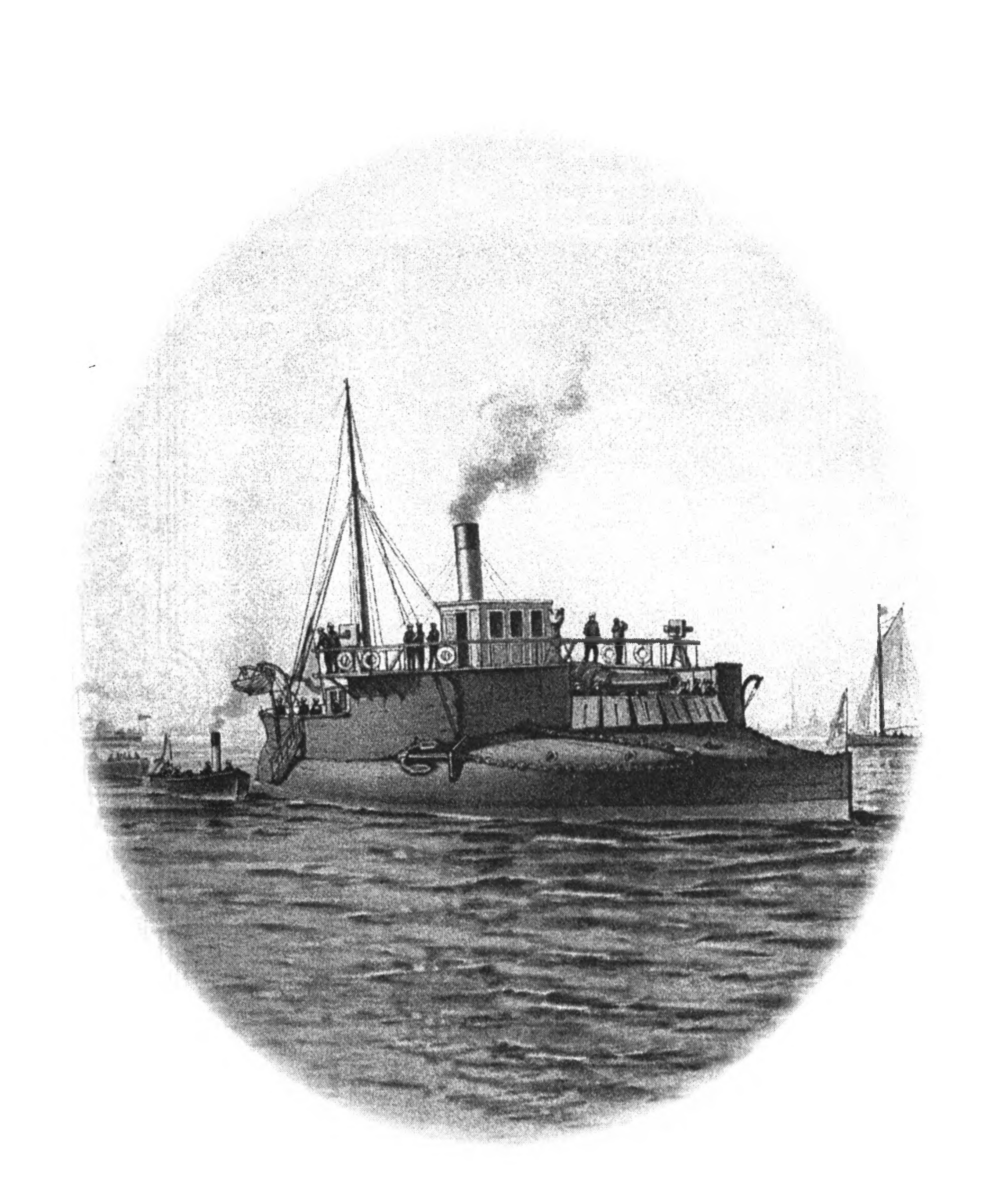
[16] «Вы не знаете изнанки карт!», — т. е. закулисной стороны дела.

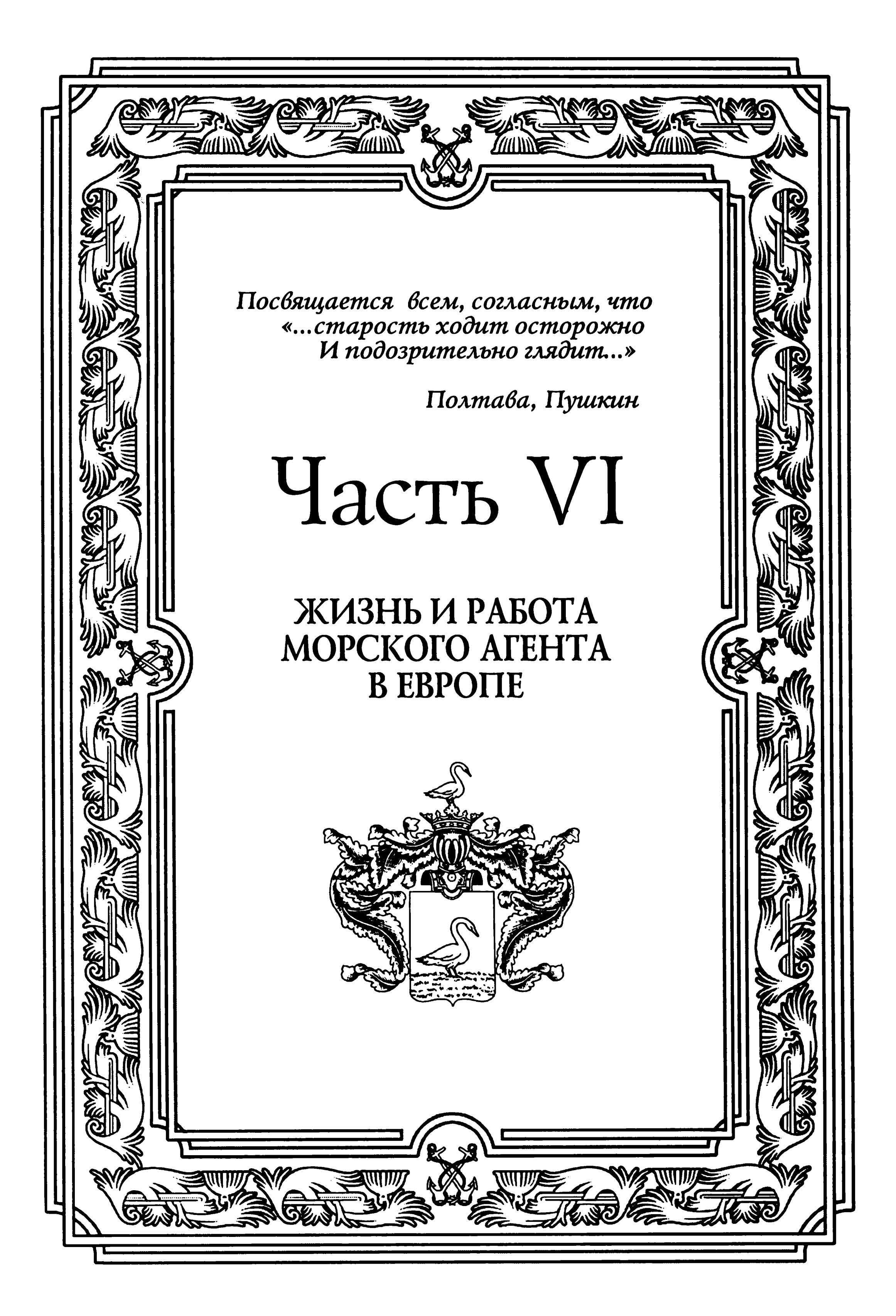
[17] Оскорбление величества.

[18] «Это постыдное дело, в котором автор — Потапов, издатель — Шувалов и цензор — Тимашев».

[19] Подвижную (скользящую) шкалу.


Том III
(Части VI, VII)





Посвящается всем, согласным, что
«...старость ходит осторожно
И подозрительно глядит...»

Полтава, Пушкин

Часть VI

ЖИЗНЬ И РАБОТА МОРСКОГО АГЕНТА В ЕВРОПЕ

ГЛАВА I

ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Положение наше в Петербурге после виленской истории. Выезд за границу. Поселяемся в Париже и выезжаем на лето в Баден-Баден. Внезапный разрыв между Францией и Германией. Переезд наш в Женеву. Падение Франции. Причины его. Французская армия. Развращение народа правительством. Развитие духа спекуляций.

После злополучной виленской истории мы прожили в Петербурге пять месяцев. Стыдно сознаться: несмотря на многолетний опыт, правота моего дела отуманила мой разум. Мне казалось, что власть опомнится и возвратит мне прежнее положение. Ходившие в кружке знакомых слухи поддерживали эту иллюзию. Охтно поддаваясь впечатлениям, сулившим лучшее, я забыл совершившиеся на моих глазах доказательства легкости, с которою все в Петербурге забывается.

Нужно было, однако ж, подумать о средствах жизни. Пенсион за 35 лет составил всего 840 рублей, да капитал наш давал около пяти тысяч. Проживавши обыкновенно вдвое более, я со страхом смотрел на будущее. Правда, у нас не было детей, но жена находилась в состоянии, требовавшем постоянной заботливости. Нервная натура ее была потрясена последними событиями. Ей казалось, что я окружен тайными наблюдателями и что ко мне внезапно приложат административный способ укрощения, бывший тогда в большом ходу. Опасению этому были некоторые причины. Приятели, посвященные в тайны власти и сами занимавшие видные места, наезжали беспрестанно с советами быть осторожнее в справедливом, по мнению их, негодовании моем.

Что бы ни говорили о средствах, которые каждый носит в себе, о легкости, с которою развитый и привыкший к труду человек находит возможность приятно и небесполезно распоряжаться своим временем, привычка к труду обязательно отучает от умственной инициативы и первые минуты вынужденного бездействия чрезвычайно тяжелы. Мало-помалу ослабляется самый навык трудиться. Тешишься воспоминаниями, довольствуешься критикой и воркотней, наконец, становишься несносным для себя и других грызуном или при масляном свойстве души превращаешься в невинного, бесцветного говоруна. Всего более опасался я этих ролей, предвозвестниц разложения. Из мест мне известных (а таких было немало) один Париж представлял достаточно постоянного интереса, чтобы помириться с новым положением моим и скорее перейти к забвению прежнего. В Париже мы и решились поселиться, рассчитывая найти серьезные занятия, для меня нужные, и приятные развлечения в случайностях вседневной жизни, охватывающих своим живым значением.

Мы переехали в марте[1] в столицу Франции, наняли на бульваре Malsherles скромную квартиру и перевезли туда из Вильны домашнюю движимость.

Для нового нашего пепелища заказали необходимую утварь, сделали некоторые хозяйственные распоряжения и в исходе мая отправились в Баден-Баден с намерением возвратиться в Париж в октябре; но в июле вспыхнула франко-германская война. Составленный план рухнул, и мы долго жили впечатлениями грозной драмы, разыгрывавшейся между французской наглостью и зверской германской настойчивостью. Эти впечатления наполняли все наше существование и должны найти место в моих воспоминаниях.

Тотчас по объявлении войны Баден стал пустеть. Когда обрисовалось положительное участие южно-германских государств, иностранцы, опасаясь перерыва в движениях по железным дорогам, предпочли прежние средства. По всем направлениям потянулись экипажи различных форм и наименований, нагруженные снадобьями всякого рода. Мы упорствовали в спокойствии и смотрели на суматоху с некоторым расположением к насмешливости; наконец, хозяин объявил, что не может держать гостиницу отпертой для одних нас и убеждал выехать ради собственных наших удобств. Действительно, в Бадене все были уверены, что французы тотчас перейдут Рейн и устроят в любимом летнем убежище свои госпитали. Громадные помещения, представляемые курзалом, гостиницами и различными целебными зданиями, при здоровом воздухе указывали на Баден как на лучший пункт для санитарных учреждений вторгающейся армии. Как бы то ни было, ни от кого не слыхал я в Бадене ни малейшего сомнения. Убеждение в неминуемом нашествии французов въелось в умы с первого дня; говорили только о мерах для ублаготворения их и рассчитывали, что сам неприятель не захочет разорять город, который может принести ему столь существенную пользу. Как далеки были эти расчеты от действительности! Выехавши из отечества для избежания треволнений, мы рассудили, что было бы глупо подвергать себя похмелью в чужом пиру и 27 июля, едва ли не последние из наплывных баденских жителей, отправились в Швейцарию. Сосредоточие германских дружин уже началось, и нас продержали шесть часов на первой станции.

В свободной Швейцарии не было помех и остановок. Мы скоро приютились в Женеве, в новой гостинице Beau Rivage. Перед нашими окнами лежал в гробу первый Наполеон, выкроенный в этом положении могучею природою в вершине Монблана. Любуясь игрою природы, в несносной одолевшей меня болезни, я прислушивался к малейшим уличным крикам, возвещавшим постепенное быстрое падение третьего Наполеона. Телеграммы приходили по пяти-шести раз в день, разносились в мгновение и расхватывались чуть ли не с боем. Бедная жена, видя, что жажда известий поддерживает мою бодрость, стояла часовым на мосту, соединяющим обе части города, встречала там городских глашатаев и приносила мне свежие, зловещие для Франции листы. Верт, Рейнгофен, Бонди, Гравелот, шествие на Париж и, наконец, громовой Седан, перехватывали дыхание и хлестали кровь. В доказательство общего напряжения приведу простой, но весьма знаменательный случай.

Мы евда успели познакомиться с членом английского парламента Уитмором, жившим по соседству в гостинице. Однажды, перед обедом, слышу старательный стук в дверь; отворяю и вижу чопорного англичанина в халате, без сапог, вскочившего с дивана, где отдыхал, с листом в руке. Бледный, расстроенный, Уитмор мог проговорить только: «Mercifull Lord. Look at that!».[2] И у меня дыбом стал волос: через месяц по открытии военных действий французская армия была взята целиком в Седанской западне, император сдался пленным и великолепная империя кончила существование.

Много передумалось в эту жгучую эпоху. Невозможность участвовать в разговорах и прениях нейтральных моих сожителей и французов, начавших уже укрываться в Женеве, сосредоточивала все мое существование в самом себе. Бездна мыслей терзали мою бедную голову, и когда боль от рожистого воспаления утихала, я спешил бросать их на бумагу.

Внезапное, никем не чаянное видение поражало ужасающей действительностью. Народ, наполнявший собою историю, с правами на признательность человечества, чей язык и нравы олицетворяли идею изящного, перенимались миром, неудержимо валился к небытию, разгромленный противником, чуждым сожаления, не увлекшимся ни на минуту небывалыми успехами. Стойкая Германия рушила Францию, не утомленную предшествовавшими войнами, как в конце наполеоновской эпопеи, не истощенную, как после сорокалетнего периода произвола, не разорванную междуусобием, как в первые минуты, последовавшие за бессмысленным расчетом с прежним безумием. Франция была раздавлена во всем величии, осененная предшествовавшею славою, сильная силою науки, промышленности и торговли, при всех данных стройной государственной жизни, недавно еще дививши всех могуществом и великолепием. В несколько дней исчезло правительство, сдалось войско, отделена от божьего мира собиравшая его столица и ошеломленный бедою народ тщетно искал в себе силы, напрасно ждал помощи. Не было внутреннего пыла в том, что горело так ярко и так недавно; не было сочувствия к тому, что вчера еще привлекало и увлекало.

Как бы ни были правы утверждающие, будто народы управляются по заслугам, очевидность фактов не дозволяла в этом случае отрицать, что скорбное падение деятельного в жизни человечества народа было плодом двадцатилетних усилий руководившей им власти. Эта случайная власть поставила себя в исключительное положение, в совершенную зависимость от успеха только, в неспособность выстоять малейшую неудачу. Двадцать лет она готовила себе поражающее падение, упорно подтачивая свое основание собственными руками, разлагая умышленно все бодрые силы, обольщаясь призраками, созданными самосохранением, ревниво оберегая оболочку величия, тогда как внутри накоплялись материалы взрыва и конечного ее уничтожения.

Произвол без примеси, с откровенно дерзким лицом грубой силы, погиб навсегда в крови революции и окончательно задохся в чаду кратковременных удач первого Наполеона.

Не менее того, правление чистосердечно конституционное не мирилось с происхождением племянника и вовсе не отвечало лютым его наклонностям. Конституционная форма представляет сообразное времени изменение начала божественного права. Незыблемость особы монарха и престолонаследия возведена конституционным учением в культ, в догмат. Зло не может исходить от верховной власти. Народ выделяет властелина из обыкновенных смертных не мистическим верованием, а убеждением, силою разумной воли. Весь догмат в нескольких словах: безответственность и незыблемость вершин правительственной пирамиды; строгая ответственность и подвижность на всех остальных пунктах ее поверхности. По всей случайности, Людовик-Наполеон, очевидно, не мог быть конституционным монархом. Дикости дяди не допустила бы настоящая Франция — и вот из-за затворов Гама вышла на Божий свет идея новой формы властвования, при самом рождении своем покрытая ржею темного озлобления. В ней гордость мученика соединялась с презрением к человечеству; личная ответственность укладывалась в конституционные рамки, шероховатое самовластие было заткано в мягкую ткань народного представительства.

Материалист, зараженный всеми телесными слабостями, Людовик-Наполеон, как все легко достигающие цели, верил сверхъестественному влиянию. Он не отверг Божьей благодати, несмотря на то, что был слишком све-

жим проявлением народной воли, но в то же время объявил себя ответственным. Само собой ответственность вела к личной власти и к оправданию всяких мер, которые могли бы понадобиться в будущем при возможном несогласии конституционных органов с органом произвола.

Очевидно, из самой конституции империи исходила ее хрупкость. Во всем императорском здании не было ни одного прочного угла, ничего, что привлекало бы чистые силы здоровой незараженной части французского общества. Империя основывалась на удовлетворении пристойной по наружности порочности, подметив к ней общественную снисходительность, и, как все порочное, должна была иметь безвременный конец. Возмездие при жизни, конечно, не входило в расчеты силы, опиравшейся на непогрешимую, по-видимому, хитрость, но другая сила решила иначе. Сила, создавшая человека, не допустила обезобразить целый народ.

Особенность императорской конституции представляла для верховной власти искушение подчинять себе безусловно представительные учреждения. Чтобы избежать столкновений, нужно было создавать искусственное представительство, а на случай необходимости положительного сопротивления палате заручиться пособием материальной силы. Эти главные данные императорских расчетов потребовали политической организации народных масс и своеобразной дисциплины в армии и в административной среде. Самое поверхностное исследование принятых мер покажет их несостоятельность и всю призрачность императорской системы.

Современная декабрьскому перевороту французская армия питалась исключительно алжирскими преданиями. В алжирской эпопее два совершенно различных периода: период завоеваний, в который общее сопротивление туземцев потребовало со стороны завоевателей истинно военных способностей и неутомимой деятельности, — этот период кончается покорностью Абдель-Кадера, — и период утверждения завоеваний, в который масса арабского населения, уже растворенная соблазном частных выгод, стала покорною. По временам только закаленные против искушений вожаки поднимали отдельные племена и усмирение их образовало легкую войну, которая представила поле быстрого повышения неразборчивым честолюбцам, томившимся трудовою деятельностью и иерархическою медленностью чинов. Бойцы первого периода кончили земное поприще или прямо отказались быть сторонниками нового порядка вещей. Новые деятели, не видя в Алжире достаточной пищи своему честолюбию, с радостью ухватились за случай, дававший им возможность удовлетворить ненасытные порывы с большею для себя выгодою и на более обширной арене. Ловкость стала господствовать над достоинством, проявившимся в последний раз в крымской кампании, и все военные знаменитости второй империи прикрывались только алжирским обаянием, в сущности же не более как произведением декабрьской кампании повелителя.

У нас тождественная борьба на Кавказе не произвела подобных последствий. Жесткость кавказской жизни вместе с упорным сопротивлением горцев скоро удаляла слабые натуры, пытавшиеся искать на Кавказе легкой славы.

Война кончилась сразу по исполнении решительно принятого плана. Что касается до истинных кавказцев, строй общей русской жизни не манил их менять положение, имевшее свою поэзию, на вполне прозаическое существование внутри отечества. Все, почти без изъятия, остались на Кавказе тем, чем были, — своеобразными, но истинными слугами царя и России. Благоприятные условия избавили ермоловских питомцев от прискорбной необходимости изменять убеждениям, а Россию уберегли от их легкокрылых преемников, гонявшихся за славою и положением с легкостью зефиров.

Итак, империя в смысле материальной опоры основалась также на призраке, на облеченной в военную обстановку биржевой игре, которой власть открывала приманку. Судьбы взаимно нужных друг другу повелителя и исполнителей связались неразрывно. Подкуп войска поколебал понятия о присяге и верности; армия стала особою кастою, в которой исчезла всякая мысль об обязанностях к отечеству и нераздельности его с главою государства, чего требуют закон и прочность существования нации. Военное ремесло, ремесло честного прямодушия, обратилось в спекуляцию самого низкого закала, в которой равнодушие к убеждениям и понятиям об истинном долге было главным двигателем, а потеря еще не приобретенного доброго имени — единственным риском. Никто не заботился о необходимых познаниях. Начальники отвлекались от них непрестанными измышлениями самых выгодных способов угождения и обогащения, масса довольствовалась первенством над остальными гражданами, послаблением власти к ее противозакониям и теряла последнее чувство достоинства в кофейнях и на циничеких тетральных представлениях.

На таких ли данных можно покоить уверенность в случае неудачи, нередко представляющихся нациям и правительствам? Можно ли было ожидать, что мысль о государе и отечестве, преднамеренно раздвоенная, найдет надлежащий уровень в момент крушения? Что нарушенная примером и хитродействиями верховного вождя присяга, что им же уничтоженная сила убеждения возродятся вновь в час нужды и при беспримерной неудаче замкнутся в складках знамени, как в неодолимой крепости, с решимостью восторжествовать или погибнуть?

На уличные попойки, на страсть императора быть популярным ради личных не соединенных с отечественными выгод развращенная военная сила ответила разбоем при отступлении от Рейсгофена к Шалону и Седану. Грубый произвол могли еще произвести Конде и Рокруа, Тюреня и Генинген, Моро и Гейльброн, Наполеон и его сто побед.

При явном насилии жизнь нации выражалась еще частыми сопротивлениями — явление прискорбное, но все же свидетельствующее о народной бодрости при управлении, искажавшем закон не силою, не волею, а бесчестными уловками, — Франция стала полипом, неспособным принять твердую форму, не поддающимся никакому возбуждению.

Другая часть правительственной силы, администрация, представляла во времена империи ту же оскорбляющую нравственное чувство картину. Там, где управление основано на твердом осмысленном базисе непременного удовлетворения истинных народных нужд, где оно проникнуто убеждением, что существование его обусловлено исключительно необходимостью власти, соединение обязанностей служащего с долгом гражданина естественно, следовательно, легко. Если же правительство становится перед народом в положение руководимого подозрительностью противника, основывающего все свои действия на недоверии, рассчитывающего по нем все свои меры, происходит одно из двух: или колебание между двумя обязанностями, вредящее обеим, или наполнение служебных кадров людьми бездарными, лживыми, легко меняющими взгляды, короче неспособными и ненадежными.

Высшие ступени администрации в силу самой конституции требовали способностей, выделяющихся из среды обыкновенных человеческих качеств. Императорский безответственный министр мог считать себя бессменным, пока милость императора покрывала его своею магическою мантиею. Между тем ему предстояло ведаться с палатою, ратоборствовать с нею и в глазах представителей придавать всем произвольным действиям властелина внешность законности. От смешения единовластия с представительством произошел род министерских амфибий, готовых отрицать сегодня то, что утверждали накануне, быть попеременно реакционерами и прогрессиста-

ми, ультрамонтанами и свободными мыслителями, поборниками мира и пособниками войны и, как неминуемое последствие привычки к изменчивости, даже за империю и против нее. Такое небывалое положение министра исходило не только от соединения противоположных начал в самой конституции, но и от презрения к требованиям здравого смысла.

Людовик-Наполеон избрал корыстных исполнителей себялюбивой своей воли — и французские министры стали умственными жонглерами, старавшимися соблюсти равновесие между толчками фальшивой представительности и своенравного самовластия.

Во Франции при недоверии правительства к обществу то, что называлось преданностью, обнаруживалось не только личною подачею служащими голосов в пользу правительства, но влиянием их на голоса местного населения. Неловкие, прямодушные, видевшие во всяком недолжном влиянии нарушение закона, не говоря уже о неблагонадежных в исключительном смысле империи, устранялись немедленно. И на этом поле империя гонялась за призраком. Преимущественно на силе чиновничества она создавала то ложное видение, в образе которого желала видеть Францию. Верное своей лживости, жаждавшее соединить призрак свободы с сущностью самовластия императорское правительство не отказывало и не могло отказать служащим в праве участия во внутренней политике, но неумолимо карало их, если они не были согласны с его взглядами. Безличность служащих была доведена до крайних пределов человеческого унижения.

Чувство долга французскому чиновнику чуждо, без малейшей попытки размышления он становится исполнителем велений власти, которая захватывает кормило правления, выказывается ли эта власть указами единоличного или коллегиального деспотизма, правильными постановлениями представительных палат или бредом прокламации демагогических шаек, сметенных в ратушу с улиц столицы. Всякая власть во Франции находит готовую администрацию. Случайность эта, благоприятная при беспрестанных внутренних волнениях, оказалась пособником внешнего неприятеля. Оружие, созданное властью, исключительно радевшею о своем полномочии, желавшею заменить закон своею волею, сделалось обоюдоострым оружием. Централизация способствовала шаткости верховной власти, облегчая возможность перемен государственного строя, и губила страну, доставляя неприятелю средства сохранения необходимой административной организации в местностях, занятых его войском.

Самая магистратура не осталась свободною от тлетворного дыхания империи. Настаивая, чтобы судьи принимали живое участие в выборах в пользу правительства, пошатнули судейское беспристрастие, создали для угодливых судей выгодные места и доходные сенаторства, даже прямо закупали их из придворного бюджета, а против сохранивших непоколебимость судейской совести бесщадно употребляли допущенное при несменяемости законное средство перемещения. Были примеры, что из Руана переводили на Мартинику, оттуда в Тулузу и снова в отдаленную колонию, обрекая жертвы на беспрерывные бесплодные усилия составить себе доброе имя, на изнурение нравственное и материальное разорение.

Народная масса также подготовлялась искусственно различными уловками, казавшимися правительству необходимыми. Все сословия Франции, подобно государственным чиновникам, должны были возбудиться рвением к неразрывному соединению собственных выгод не с общими интересами страны, а с царствующею династиею только. При таком взгляде Людовик-Наполеон предался политическим опытам над деревенским и городским населениями.

Французские земледельцы получили все им следуемое от революции. Они перетсали быть рабами землевладельцев, черным народом taillable et corvéable a merçi.[3] Им наравне со

всеми открылась возможность улучшать свое положение расчетливым трудом. Для полного освобождения и уравнения оставалось только облегчить в отдаленных департаментах средства образования и способы кредита, без чего плодотворность труда весьма медленна. Но подозрительность не мирится с развитием, и в двадцатилетнее управление Людовика-Наполеона едва ли можно открыть искренние усилия улучшить народное образование. От времени до времени представлялись министрами громкие программы; оппозиция за неимением иной пищи удовлетворялась ими, и затем программы оставлялись в мертвой груде благих намерений, которым, по пословице, вымощен самый ад. Революция превратила пролетариев в землевладельцев, в консерваторов по силе вещей, которых следовало просветить и вести к разумному участию в делах страны через прочные земские учреждения.

Крестьян напугали «красным привидением»; выделили из нации подобно армии, поставили в недружелюбное положение к городам и оторвали от просвещенных землевладельцев, с которыми они помирились уже через введенное революциею равенство.

Правительство было осуждено многое обещать и не выполнять обещаний; удовлетворить всех невозможно. Само собою, благодеяния его ограничивались немногими местностями, принимавшими на государственный счет неестественное развитие. В назначении помощи соображались не с экономическими требованиями, а с важностью местности в голосовке. Такие покровительства еще более вредили обойденным, нежели прежние общие затруднения, поселяли зависть и неразлучную с ней злобу к виновникам невыгодного равенства. Это выказалось выборами 1869 года и равнодушием сельского населения к падению империи.

В промышленности следовали той же обманчивой системе. Вопрос между капиталом и трудом везде на очереди. К нему следует приложить все способности, все бескорыстие и беспристрастие, данные в удел человечеству. Как многое, страшное по неопределенности последствий решение его отдаляется настоящим поколением и предоставляется будущим. Все же подобный эгоистический прием страха менее оскорбителен мыслящему человеку, нежели попытки решать такие затруднения престижитациею, фокусною методою. Следовало приняться ревностно за старую меру в ожидании рационального и радикального решения — утвердить кредит, который вызвал бы мертвые капиталы и дал бы средства употребить и развить силы рабочих на местах их жизни, если не совершенно правильно, по крайней мере, без участия, следовательно, и без ответственности власти. Но империя хотела во всем выказать свою необходимость. В сущности она опасалась благосостояния, развивающегося естественными путями, равно враждебного и привилегиям, от власти зависящим, и политике случайностей, которою хотело воспользоваться правительство. Образовали ассоциацию с возможными пособиями от государства для производства громадных работ в главнейших центрах промышленного населения, не принявши в расчет, что подобная натяжка не могла быть долговременна, а работать требуется беспрерывно. Усиленными мерами сбили с толку самый труд, придали даже ему слишком высокое о себе мнение. Рабочий возмечтал, что настала новая эра, что жизнь его навсегда обеспечена невозможностью остаться без дела. Всякая мысль о сбережении исчезла, и городская роскошь легко вводила тружеников в искушения. За усиленными требованиями на работу последовало затишье. Обманутые в надеждах рабочие стали волноваться, образовывать стачки и сходки. Правительство испугалось, как пугаются пойманные в дурных поступках, и стало явно покровительствовать хозяевам, доставлявшим рабочим участие в барышах. Рабочие, возгордясь своим искусством, так, очевидно, выказывавшемся внезапным улучшением и украшением городов, ре-

шили, что прямое покровительство самой работе избавит их совершенно от господства капиталистов, и стали слагаться в общества взаимной помощи. Сначала распоряжения правительства разбирались в этих обществах с чисто экономической точки зрения, но демагоги нашли здесь удобную почву, и вопрос о труде, на который император обратил столько внимания, за который его прославляли небывалым на высоте трона экономистом-философом, готовили ненависть к императору по мере того, как более и более выказывалось с его стороны не истинное участие к судьбе рабочих, а желание упрочить собственную поражающими эффектами. Опять новый горький урок, новое доказательство лживости гипотезы разделения для властвования.

Литература выражает напряжение общественных умственных сил современное и сообразное преследуемым обществом целям. Это отношение литературы к общественной жизни особенно заметно в странах, где разнообразные события часто колеблют воззрения. Против всех изменений стоит упорно лишь личный интерес. И без усилий власти здоровая, уважительная литература, разрабатывающая непреложные или вновь зарождающиеся истины, проводящая их в суматоху жизни, едва ли возможна там, где беспрестанными общественными переменами нарушается требуемое мыслью и наблюдательностью спокойствие. Империи эти препятствия казались недостаточными. Истинная умственная сила, способная сосредоточиться даже при оглушающем гвалте политических потрясений, бросилась в техническую разработку промышленных вопросов или при невозможности разбирать настоящее обратилась к анализу прошлого. Число таких умственных произведений было незначительно и в них, в особенности в изданиях исторических, было заметно раздражение против существующего порядка. Авторами руководило не беспристрастие, необходимое для полезного научного исследования, а страсть отыскать в старых документах средство косвенно клеймить новый порядок и выставить с несомненною очевидностью, что те же причины должны вести к тем же последствиям. Поднимались в литературе и нравственные вопросы. Император удостаивал авторов приглашениями, иногда ободрял их письменными похвалами; но к чему могло служить голословное уважение нравственности, когда все знали об участии самых близких к трону лиц в бешеной биржевой игре и видели разврат их на бульварах и бегах во всей цинической его пышности? Нравственность, как в торжественные дни условный шитый кафтан, выставлялась только при случае для эффекта, а по будням кишело бесстыдство. Империя изучила в летописях человечества только то, что, видимо, обеспечивало ее безопасность. Страсти присущи всем народам, на всех степенях развития; слабости едва ли слабеют соответственно укреплению общественного ума и духа, но снисходительность, доходящая до равнодушия и даже до почтения к пороку, выставляемому с тщеславием, ведет к царению бесстыдства. Общество, коллективно потерявшее стыд, неспособно к проявлениям нравственной энергии — и правительство понимало это.

При таком нравственном разжижении легкая литература, везде подмечающая общественные грешки, заботилась исключительно о выгоде авторов и издателей, а не только не порицала уклонений от законов приличия, а придавала им привлекательные формы.

Не было порока, которому не придавали бы соблазнительной внешности. Самые твердые правила, самое строгое уважение к себе не могли устоять против разнообразия форм соблазна, и круг общественной нравственности лишился центра. Романы из полусвета, оды на барьерные и театральные знаменитости, песни самого растроганного содержания, которыми угощали даже в салонах, — все это произвело умственный кисель весьма заманчивого вкуса; его приправляли изяществом языка, выработанного Мольером и Расином.

Все стеснения, наложенные вековою человеческою мудростью, отбросили как предубеждения. Здравой идеи, идеи совершенствования, не было места в размягченных мозгах общества. Оно хвастало, ничему не училось, выставляло напоказ свои пороки днем и наслаждалось ими ночью, перебегало от биржи за кулисы, из Cafes chantants на сладострастные fééries.

Самые искусства утеряли в невыгодном свете империи свою дивную силу, поддерживающую человечество на должном духовном уровне доступными всякому пониманию изображениями привлекательных чистотою побуждений или отталкивающего порока.

Театр — школа желающей учиться лености, но все же школа, и весьма полезная — стал во время империи элементом ее порочности. Он доставлял грубое наслаждение исключительно плотской половине человека. Насмешки над семейными узами, над должными супружескими отношениями, над разумною бережливостью, над учреждениями, предназначенными охранять порядок, оберегать добрых от злых, повторялись каждый вечер в 26 театрах Парижа. Толпы женщин, привлекавших не тем, что на них было, а тем, чего недоставало, бодрили искусственно старость и преждевременно гасили пыл молодости. Мудрено ли, что в течение двадцатилетнего возбуждения чувственности и низких слабостей сложилось поколение, на которое не действуют ни благодатное обаяние нравственной чистоты, ни живительная сила любви к отечеству?

Ежедневная пресса едва ли заслуживает внимания в перечислении средств империи. Поставленная в невыгодные условия прямым влиянием императорского произвола, она не умела извлечь из стесненного своего положения даже той доли пользы, которая возможна при самых тесных ограничениях. Дух спекуляции и продажности овладел ею исключительно. Над всем издевающиеся «Figaro», «Nain jaune» и т. п. издания стали преимущественно имперскими журналами. На их бойкой распродаже правительство основывало надежды; в ней оно думало отыскать средство распространения своего влияния, упуская из виду, что привычка к насмешкам заразительна и неразборчива. Давая субсидии сторонникам, покупая по возможности писак противного лагеря, империя отталкивала в оппозицию все стойкое и честное. Положение преданного журналиста, обязанного рассуждать по указу, передавать бойко чужие воззрения и мысли, исключало истинные таланты, для которых независимость, своебытность — непременное условие, и в оппозиционных изданиях собирались не только характеры, но и способности.

Чтобы отклонить общество от участия в политике, мало было привить неспособность к мысленному настроению. Удовлетворение животных побуждений ослабляло дух, но все же не гасило совершенно его пламени. Оставшемуся огню нужно было дать пищу: обратились к покровительству спекуляциям.

Следовало рассмотреть внимательно торгово-промышленные законоположения, исключить из них все стеснительные, прибавить новые правила, благоприятствующие кредиту, — окрыленная подобными облегчениями предприимчивость без всяких прямых привилегий и косвенного покровительства сама собою откроет новые пути или расширит прежние.

Сравнительная медленность выкупится верностью успеха. Все пойдет правильно, естественно и от некоторых частных неудач пострадают немногие. Потери не будут иметь характера общего бедствия, гибельного для спокойствия общества, и ответственность не падет на власть. Спекуляции, рождающиеся в обстоятельствах минуты, в сочетании смелой лени с ненасытной страстью к скорому обогащению, ведут к последствиям тем более гибельным, чем полнее их первоначальные удачи. Понятия о труде, этой заветной основе жизни, слабнут и трудовая ревность заменяется каким-то лихорадочным возбуждением.

Подчиненный исключительно мысли о возможности быстрого изменения положения человек становится негодным для трезвого расчета и устойчивой работы.

Бешенство спекуляций рушит здание ложного развития, и обманутая в ожиданиях, увлеченная толпа разражается упреками отчаяния, низвергает вчерашний кумир.

Что же дала двадцатилетняя власть Людовика-Наполеона взамен нравственного, умственного и духовного паралича, которым рука его поразила Францию? Славу. Временное спокойствие. Но слава уже исчезла быстрее дыма; но спокойствие было затишьем перед страшною бурею, которую Франция при всей ее жизненности выносит с трудом; во всяком случае следы ее останутся на будущее поколение.

Успех Людовика-Наполеона основался на страхе «красного привидения», поднятого воображением изнеженной буржуазии. Против этого врага требовалось будто бы сильная власть.

Все бедствия, все безумие обыкновенно оправдывают необходимостью сильной власти. Никто не отрицает, что правительство должно быть могущественно. Вопрос в том, как и в чем должны выказываться его сила и действительность. Это может быть тогда, если власть как охранитель закона в состоянии прилагать его беспрепятственно ко всем нарушениям и нарушителям без различия; если она вооружена средствами, при которых безнаказанное нарушение закона невозможно, — она сильна достаточно для торжества правды и прочности общего спокойствия. И такая сила нисколько не зависит от формы правления, ее неизменный базис — уважение к закону. Это подтверждается всеми правительственными системами: республиканскою Америкою, конституционною Англиею, весьма мало конституционною Германиею, даже деспотизмом Гарун-аль-Рашида и фридриховскою военною выправкою целой нации. Такую действительность власти можно назвать законною силою правительства.

Есть у власти иная сила, которую привыкли называть административною, в наш век снисходительной изысканности выражений. Административно сильные правительства существовали также во всех формах. Папы с отречениями от церкви и индульгенциями; совет венецианской республики со своими пломбами; Филипп II с инквизициею; Людовик XIV с lettres de cachet,[4] нередко дополнявшимися злобно-безграмотными насмешками его любовниц над жертвами; Иван Грозный с остроконечным посохом и опричниками, Великий Петр с своею дубинкою; французская республика с неутомимою гильотиною; Наполеон с барабаном и штыком; бисмаркская федерация с возможностью сокрушить в одном углу палаты то, что созидается в другом, — сколько разнообразных средств быть административно сильным. Нужно еще заметить, что подвиги сильных администраций совершались по побуждениям столь же разнообразным, как самые средства. Вера и безверие, безукоризненная честность и бесстыдное мошенничество, неограниченный произвол себялюбия и восторженная страсть к общему благополучию человеческого рода, чувство патриотизма и бессовестная продажность ради личных выгод — все высокие и низкие побуждения в истории человечества выказывались пригодными для питания административной силы. Нужно только пройти далее и выяснить результаты. Всемогущее папство стало бессильным епископством; величие адриатической царицы утонуло в мутных лагунах; Испания растлилась; Франция Людовика XIV завещала изнуренному народу неминуемость ужасов революции; эта в свою очередь залила Францию кровью и произвела чудовищность Бонапарте; за Бонапарте наступили общие стенания и гибель Франции, служившей ему оружием, за Иваном Грозным — разорение Москвы и хаос эпохи самозванцев; наконец, даже

мудрая административная сила Петра, которому простится многое за то, что он венчался на труд, сделала возможной бироновщину, закрепила зло рабства и привила самоуничижение к целому народу. Вот исторические результаты силы власти, всегда необходимой, но основанной на административном начале.

Едва ли с большею проницательностью усвоил себе Людовик-Наполеон политические нужды Франции. В этой волнуемой великими идеями и попытками стране никакое правительство не пыталось еще обойтись без реакции. Реакция во всех видах и при всех условиях есть увлечение страстей. Против таких увлечений средство давно придумано и лежит в основе всех форм правления — законность. Минуты кризиса требуют иногда не нарушения закона, а громового приложения всей его разящей силы. Второе декабря могло бы быть оправдано, но по устранении беды следовало сохранить прежний порядок, а не искать короны в крови жертв пьяного войска и в стонах тысяч сосланных в ядовитые дебри Кайены или в душные темницы Алжирии. В заточении и долгом изгнании Людовик-Наполеон нарисовал себе туманную картину Франции, не сумел принять страну, какой она была в действительности, помнил только то, что она 80 лет ищет спокойствия, и начал готовить ее к отдыху превращениями. Созданная воображением легальная страна[5] сокрушила трон Людовика-Филиппа; в воображении же народившееся представительное единовластие задушило императорского орла.

Против мечтаний болезненной мысли встала крепость опыта жизни и духовная бодрость Германии.

Причина поражающего факта не в обязательстве служить поголовно в рядах войска. Это была только форма самого действительного сопротивления невыносимому гнету, придуманная и вылитая Штейном и Шарнгорстом. После иенского разгрома трон, кафедра и лира — все указывало на труд и просвещение как на истинных борцов с насилием и дерзостью властолюбия. Германские массы, как все другие, не трудно было возбудить заманчивой мечтой, но чтобы обратить мечту в действительность, нужно было провести в народ правильную оценку грозившей опасности, придать ему способность напрягать свою энергию соответственно важности цели; короче, нужно было просветить умы, укрепить дух. Шестьдесят лет труда правителей и управляемых выработали достоинства, выказавшиеся в настоящей борьбе.

Совершенно иначе поступала империя. Она думала строить свое могущество на невежестве толпы, забывши, что в массе инстинкт правды и чувство личного права тем сильнее, чем менее привиты к ней просвещением мягкость снисходительности и великодушие прощения.

Властвование людьми подчиняется двум неустранимым условиям: во-первых, нравственному, требующему, чтобы власть непременно опиралась на начало добра; нарушение этого условия рано или поздно люди разят гневом и диким его выражением; и, во-вторых, силою стремления к социальному закону, полагающему вознаграждение соответственно вложенному труду. Народам не столько нужна свобода, сколько очевидное торжество этих законов. Мудрость политическая в том только, чтобы дать учреждения, при которых исполнение этих законов было наиболее обеспечено. Никакие усилия, никакие уловки не отвлекут человечество от стремления к осуществлению означенных условий, и каждая новая попытка сбить людей с пути представит только новый пример, как рушатся троны и страшно метутся при крушении их оскорбленные народы.

ГЛАВА II

СКИТАЛЬЧЕСТВО ПО ЕВРОПЕ

Зима в Ницце в 1870/71 г. Легкомыслие французов. Виктор-Эммануил и наш Император в вопросе о помощи Франции. Мы разрываем Парижский трактат; закулисные подробности. Последние усилия Франции. Придвигаюсь к России в ожидании деятельности. Вена и Дрезден. Торжественный вход в Дрезден саксонской армии. Переезд в Висбаден. Поездка в Италию. Римские впечатления. Взгляд на рабочий вопрос. Карнавал. Раут в древнем римском обществе. Августейшие путешественники в Риме. Классицизм в России и взгляд мой на воспитание. Неаполь, Флоренция; возвращение в Висбаден. Наша мирная жизнь прерывается финансовой катастрофой.

Холод и наплыв французских эмигрантов, искавших спасения от германского нашествия, выжили нас из Женевы. Здоровье мое поправилось, но требовало особенных предосторожностей от простуды. Мы переехали в Ниццу, безопасную по отдаленности от театра действий и между тем жившую французской жизнью, наиболее интересной в эту минуту для посторонних наблюдателей. Пребывание в Ницце, кроме гигиенической пользы, представляло еще выгоду дешевизны.

Число посетителей оказалось незначительно и обыкновенно дорогостоящие квартиры отдавались по весьма сходной цене. В Ницце мы и расположились на зиму в ожидании исхода переговоров с Москвой, начатых мною еще в начале года. Жизнь и силы кипели еще, и я тяготился бездействием. Хотелось улучшить свое положение и заплатить дань труду , на который я имел еще данные.

Я сказал выше, что Ницца жила французской жизнью. Это не совсем точно. Всегда в ней была партия, горевавшая об отделении от Италии; теперь же, когда бедствия Франции придавали этой партии смелость, вожаки ее громко говорили о возвращении к прежнему отечеству. «Il Diritto di Nizza» проповедовал сепаратизм и за одну из ярых статей своих был схвачен прокуратурой. Случай этот возбудил сторонников газеты и в префектуре разбили несколько стекол. Живя на другой стороне Палиона, мы ничего не знали о происшедших беспорядках, и через несколько дней, пройдя по надобности в старую часть города, я удивился, увидевши перед префектурой десантные морские роты с орудиями. Два парохода ходили перед городом и угрожали населению в случае новой вспышки. Тем дело кончилось. Благоразумные рассудили, что дальнейшими смутами выгонят последних иностранцев, без которых Ницца жить не может, и весь сезон мы провели очень спокойно. Правда, надоедали официальные французы своей бессмысленной болтовней и детским воззрением на способ ведения германцами войны, но я избегал французского общества. И в обыкновенное

время трудно найти в нем что-либо опередительное, а теперь, когда правительство края раздвоилось, когда часть его заперта в Париже, а другая старалась электризовать Францию из Тура, решительно невозможно было уяснить себе желаний наших собеседников. Кстати, о раздвоении французского правительства. Продолжение сопротивления после обложения Парижа бесспорно повело Францию к большим потерям и увеличило требования неумолимого врага. Факты не оправдали действий Гамбетты. Правда и то, что без правительственной опытности Гамбетта наделал тьму ошибок. Однако ж, трудно не согласиться, что энергия диктатора, образовавшего сопротивление после поражающих успехов неприятеля, после того, как сдалась одна армия, а другая была парализована под Мецом, представляет утешительный эпизод в горькой эпопее последней Франко-Германской войны. Кто может ручаться, что исход войны был бы тот же, если бы несвоевременная сдача Базена не освободила целую неприятельскую армию и не дала ей возможность оградить осаждавшие Париж немецкие силы от всяких покушений масс, собранных с волшебной быстротой на Луаре? Луарские полчища сначала имели успех, и только принц Фридрих-Карл, покончивши с Базеном, отодвинул их на запад и припер к океану, лишивши возможности помочь Парижу.

В бедственном положении своем Франция искала всяких средств избавления и молила о помощи. Так недавно помогши Италии, она тешила себя надеждою на ее благодарность и обращалась к Виктору-Эммануилу. Какая-нибудь итальянская армия не могла, разумеется, помочь Франции, уже сбитой с ног, и политика вместе с финансовыми затруднениями указывала Италии нейтральность. Сочувствие выразилось прибытием волонтеров с вечно готовым на подобные случаи Гарибальди, но явная помощь, несмотря на рыцарские порывы короля, была отказана. Впоследствии посланник наш при римском дворе, Икскуль, рассказывал мне по этому случаю потешный анекдот. Движимый признательностью Виктор-Эммануил созвал министров и спросил их мнения. Все без исключения высказались, что положение Италии не позволяло думать о помощи, и настаивали на старой поговорке, что в политике нет благодарности. «Вам легко говорить, — возразил Виктор-Эммануил, — Ваши деды сидели за прилавками и мерили аршинами сукно, а мои предки всегда опирались на меч». Справедливо; но сидельцы могли бы ответить впоследствии рыцарю, что если бы аршин не одолел меча в совете, не сидеть бы меченосцу на древнейшем престоле мира.

Совершенно иначе выказался в том же обстоятельстве характер нашего государя. Когда стало очевидно, что вся Германия поднялась на Францию, Людовик-Наполеон поручил послу Флери обратиться к великодушию русского императора. По-моему, он не имел ни малейшего права рассчитывать на наше расположение в минуту нужды; никто более Людовика-Наполеона не вредил нам в последние двадцать лет; но если в политике нет благодарности, то не более в ней места и личной дружбе. Флери просил аудиенции для выполнения воли французского императора. Государь, только что написавший известное письмо к дяде, встретил ходатайство Флери порывом бешенства, выказал ему самым откровенным и даже грубым образом все свои пени, и когда Флери, выдержав натиск, смиренно просил его выслушать, вдруг смягчился, вспомнил, что говорил с послом дружественной державы, им впал в мягкость, даже неприличную для главы великой нации. Дело Флери было проиграно. Знаменитое письмо уже успокоило Берлин, и несдержанность государя я могу объяснить только негодованием на самого себя за скорую решимость. После аудиенции Флери тотчас рассказал подробности ее герцогу Николаю Лейхтенбергскому, впоследствии передавшему их мне в Штайне. Тогда же герцог повторил мне сло-

ва Горчакова, что письмо к дяде никогда не было бы послано, если бы он, Горчаков, находился в Петербурге. Зачем же канцлер сидел в Вильдбаде, когда Европа обнималась пламенем?

За обеспечение прусского тыла не только от нас, но и от Австрии, нам дозволили разорвать Парижский трактат. 19 октября канцлер разослал всем участникам его ноту, в которой отказывался от статей, ограничивавших права самодержавия России на Черном море; о Балтийском, где мы не могли возобновлять Бомарзунд, позабыли. Вознаграждение в сущности было тощее. Рано или поздно, тем или иным образом, мы стряхнули бы с себя невыносимое для великой нации ограничение. Не менее того нельзя было не радоваться, что вопрос решился бескровно. В современной переписке с приятелем А. П. Давыдовым, секретарем посольства в Швейцарии, я возражал на его пени о бесцеремонности нашего министерства иностранных дел и указывал, что Россия все-таки будет благодарна кн. Горчакову, если вопрос кончится без жертв с ее стороны. Тогда еще не был известен исход. Ошеломленные кабинеты смутились, посыпались упреки нашей дерзости и неслыханному политическому бесстыдству; однако же решились созвать в Лондоне конференцию, чтобы дипломатическим приемом объевропить нашу степную выходку. В феврале 1871 года конференция кончилась в нашу пользу; внесли только в протокол замечание о неправильности способа изменения трактата, нами принятого. Привожу здесь же все слышанное мною впоследствии о нашей дипломатической решимости.

В Вене, куда я переехал весной, Новиков уверял меня, что Лондонская конференция могла иметь иной исход, да помогли братья славяне. Австрийское правительство желало будто противиться нарушению трактата, но своевременные демонстрации наших соплеменников остановили его. Конечно, мне следовало понимать, что Новиков играл в благоприятном исходе немалую роль, но сочувствие славян действительно выказалось и требовало с нашей стороны благодарного возмездия.

Главным устранителем затруднений за зеленым столом, на который перешло объявление наше, пущенное из азиатского шатра, был старец Бруннов. Он тотчас сообщил Горчакову, что следует придать нашему заявлению дипломатическую форму, т. е. заменить заключенный трактат новым. Канцлер, опасаясь, чтобы помощь, оказанная нами Германии, не прошла бесследно, не дождался проекта Брунова и возразил на его телеграмму: «Qu'ilne fallait pas de traîté, qu'un protocole dans le genre de celui de Luxembourg (1867) suffirait».[6]

Ответная телеграмма была пущена рано утром. Время тогда было горячее и держало всех наших дипломатических чиновников наготове. А. А. Кумани, состоявший при канцлере, был в канцелярии и, завидя Жомини, выходившего от Горчакова с озабоченным лицом, добился, в чем дело. Кумани остановил исполнителя воли канцлера и сказал ему, чтобы он сперва справился в архиве; что по Люксембургскому вопросу существует не протокол, а настоящий трактат, подписанный монархами и контрассинированный министрами иностранных дел; что, наконец, Брунов, творец Люксембургского соглашения, удивится, что в опровержение его мысли указывают ему на факт, напротив, подтверждающий ее. Толковать было нечего. Докладывая возражение Бруннова, Жомини сказал: «Que Brunnow n'avait pas de C...les. — Laissez, mon cher, les c...des autres en paix , — возразил сладострастный старец-канцлер, — et tâchez d'en avoir Vous-même au besoin».[7] Как же изменить решение, давшее повод к острому или забавному слову? Депеша, называвшая трактат un petit protocole, пошла по назначению с прибауткою «que Brunnow est fin, très-fin, il comprendra».[8] Действительно, Брунов оказался хитрым и не написал опровергавшим его предложение gu'ils etaient des polissons.[9]

С своей стороны Россия отозвалась на решимость правительства адресами. Москва, убежденная, что внешнее влияние зиждется на внутренней крепости, выразила своеобразные взгляды и препроводила их по назначению, несмотря на убеждения Н. А. Милютина, жившего в Москве по болезни. Милютину казалось, что при тогдашнем правительственном настроении адрес поведет только к раздражению верховной власти. Действительно, в перечне адресов, приведенном в разных газетах, о московском не упоминалось даже. Нас познакомил с ним «Times», приведя его целиком с оговоркою, что адрес возвращен при выговоре: немедленная отставка головы, князя Черкасского, подтвердила известия английской газеты.

Между тем Франция испускала последний вздох. В бедах и скорбях затмился разум, и одним из последних действий турского правительства была посылка из Марселя в Ниццу пороха по экстренному поезду, наполненному пассажирами. На дороге произошел взрыв, и поезд разнесло на атомы. Происшествие подернуло Ниццу скорбью; на поезде было много родных и знакомых городских жителей. Впрочем, все стиралось и поглощалось событиями общего интереса. Париж, выморенный голодом, сдался, и в Версале была провозглашена германская империя. Поднесение германской короны прусскому королю, окруженному войском, напоминало преторияпские возведения цесарей; но в утробе Бисмарка ультра-консервативные и революционные средства легко смешиваются и не вредят пищеварению.

Начатые мною переговоры стали принимать сущность, и вследствие писем Батюшкова я двинулся в начале марта к России. Хотели выбрать меня директором одного из московских банков, потом поручить мне управление составлявшимся для сношений с Америкою пароходным обществом; во всяком случае находили нужным личное мое присутствие. Мы выехали из Ниццы по Corniche[10] и через Милан прибыли в Вену.

Ровно двадцать лет я не был в австрийской столице. Валы скрыты, заменены широким рингом, старый город существует только по имени, и придунайская красавица хорошеет не по дням, а по часам. Едва успел сойтись с старым бейрутским товарищем Новиковым, не совсем ловко установившимся в среде гордой венской аристократии. Разноречивые известия из Москвы и косвенное предложение из Таганрога быть там головою с десятитысячным жалованьем, все эти сбивающие новости при усердном желании продолжать деятельность заставили меня придвинуться к Отечеству еще на один шаг и переехать в Дрезден. Однако же обещания начали мне уже казаться миражем и я решил не пускаться на неизвестное. Тоскливы были минуты неопределенности, и если бы не взрыв Парижской Комунны, дни представляли бы мало занимательного. Безумие парижан вылечили чисто республиканским способом, на который не решилась бы никакая династическая монархия, повалили десятки тысяч и чуть ли не столько же сослали в Кайену и Новую Каледонию. Но такие правительственные убийства понятны; жертвы не обременяют ничьей совести; правительство безлично. Грустно, когда жестокосердие овладевает личностями. Известынй при императорском дворе маркиз Галифе конвоировал шайку взятых инсургентов в Версаль и у Barriere de l'Etoile вследствие какого-то неповиновения расстрелял до 80 человек. Только в настоящей Франции можно найти всеми знаемого в обществе человека, способного на подобный поступок.

В числе новостей святой недели узнали, что вместо умершего цербера Татаринова назначили контролером Абазу. Едва ли это выказывает серьезный взгляд на дело. В Черное море поставили главным командиром Аркаса, за Лондонскую конференцию наградили главных деятелей титулами, а о беззащитном и теперь уже не нейтральном Понте,[11] кажется, не думают. Впрочем, при поспешнос-

ти генерал-адмирала и при его склонности увлекаться не следует и желать скорого создания морских сил на юге.

В Дрездене мы были свидетелями торжественного входа саксонской армии под предводительством наследного принца, заведовавшего осадой Парижа с северной стороны. Не было ничего оскорбительного для недавних врагов. Самые пушки окутали в густую зелень и вообще всему торжеству придали характер примирения. Радовались не успехам бранным, а возвращению мира, и вечером на берегу Эльбы под самым Waldschlöschen, чествуемое войско выпило столько отечественного пива, что знаменитая пивоварня, как Париж, сдалась по недостатку провианта.

Обещания, однако же, не выполнялись, и я решился жить en rentier,[12] умеющим найти в себе самом пищу для существования.

Жизнь после подобной решимости потекла бы ровнее и спокойнее. Первым условием был выбор сравнительно дешевого места. Приглянувшись уже к различным пунктам, мы решились утвердиться в Висбадене. Туда перевезли из Парижа пожитки наши, нетронутые коммуной; зато карман наш был ощутительно тронут благонамеренными. Нарушение заключенных контрактов с хозяином дома и поставщиком мебели обошлось нам около одиннадцати тысяч франков. Обстоятельство сильно нас потревожило, но я очутился в Висбадене среди любимых моих книг, а жена стала повеселее после окончательной разлуки с возбужденными надеждами.

Переход от довольно разнообразной жизни к положению анахорета не должен был, однако же, совершиться круто. Перелом в привычках мог бы печально подействовать на нравственное состояние жены, да и сам я не вдруг отряхнул страсть к новому и переменам, привитую обстоятельствами жизни.

Эти соображения заставили нас провести зиму с 1871 на 1872 год в Италии. Висбаденское скромное существование дало к тому средства.

С первыми морозами в начале декабря мы отправились через Бреннер в Италию и остановились в Флоренции, но небывалая упорная стужа, продолжавшаяся две недели, помешала нам пользоваться художественными хранилищами. Обросивши их беглым взглядом, мы переехали в Рим и поселились на солнечной стороне Monto Pincio, имея перед глазами чудную декорацию, громадный купол Св. Петра, этот пуп католического мира, и улыбающуюся верхушку Monte Mario.

Любуясь этими знаменательными очерками, рисующимися на золотом фоне сияющей атмосферы, я непрестанно благодарил создателя за то, что дал мне не крепостную душу, способную наслаждаться только указным образом.

Христианский Рим сильно потревожил душу чисто языческой своей внешностью и прежде, нежели я начал находить красоты в Св. Петре, нужно было отрешиться от возбужденного первым взглядом негодования.

Папы — основатели монашеских орденов — вот чем изображается история христианства. Идею о Боге, об истине преднамеренно устранили, поместивши наводящее ее изображение творца на недосягаемой взгляду высоте под куполом. Внизу прямо перед глазами — чисто языческая гордость. Легко и без труда видится то только, что говорит о папском всесилии и величии. Для тех же целей, для которых тираны и цесари употребляли земные средства, папы приложили средства новой религии — страх будущих мук и блаженство будущей жизни. Для древнего художественного Рима христианство было пагубнее всех нашествий варваров. Преимущественно папы разорили и разграбили древнюю столицу мира, чтобы не было иных следов, кроме папского периода. Оставлено только то, что было нужно как выставка явного торжества папизма и до драгоценностей прежней эпохи не доберешься иначе, как преклонившись перед памятником папского самовластия. Нужно, чтобы дух перехватило сначала папским могуществом;

надо узреть прежде Св. Петра, чтобы попасть в мир искусств, в Ватикан с его языческими прелестями.

Вообще в Риме мыслящий наблюдатель поражается несравненно более признаками власти, нежели художественностью этих признаков. Императоры и папы одинаково трудились на порабощение и отупение человечества. Христианство не изменило общественного строя, а только придало ему иную внешность. Да и не могло быть перемены, когда блюстители новой веры держались той же формы правления, что прежние язычники. Было много богов в древнем Риме и один земной властелин; осталось единовластие и при едином Боге.

Нас всосало в художественную струю. Чувство изящного, глохнувшее при нашей суматошной жизни, пробудилось вновь, и мы неутомимо осматривали галереи. Из современных произведений особенно поразило изображение спасителя, изваянное русским художником, евреем Антокольским. Иудейское воображение создало Христа-еврея, конечно не соответствующего христианским впечатлениям, но художническая независимость сумела одолеть религиозные убеждения и очертить ваяние истинно христианскою мыслью.

Прежде нежели коснусь нашей общественной жизни в Риме, припомню случай, поразивший всех в самый день нового года. Рим проснулся в мертвой тишине — извозчики сговорились прекратить работу. Мне как пешеходу отсутствие экипажей в узких улицах было удобно, но самая тишь располагала к размышлению. Нельзя без горестного удивления видеть общую апатию к более и более наступающему на общество вопросу борьбы труда с капиталом. По мере умножения населения и развития взаимных отношений многие предались специально удовлетворению разнородных, необходимых для утончавшейся жизни требований. По бессилию единоличного труда поставщики удобств жизни сложились в цехи и корпорации. Начало влияния их было в нужде общества пользоваться плодами известных видов труда. Только власть, одна власть, имела основанием грубую силу. Рядом с нею заняла неподобающее место и значение власть духовная, порожденная слепой верой, отступничеством людей от труда исследования. С течением времени ученые, администраторы, купцы, банкиры приобрели подобающее значение, завоевали права, соответственные их надобности в обществе. Как же отказать в значении мученикам труда — рабочим, главнейшим и самым действительным орудиям современного прогресса. Новейшие открытия в области положительных знаний ведут к тому, чтобы рабочий считал себя первенствующим звеном в бесконечной цепи человечества. Удивляются, что действия рабочих представляют единодушие и солидарность, не ограничивающиеся ремеслом или даже страной, а обнимающие многие государства. Но рабочий в наше время неизбежно становится космополитом. На заводе или фабрике, где он работает для всех стран без различия, рабочий свыкается с мыслью, что он вселенский труженик. Будто не довольствуясь подобным назиданием, истекающим из самого дела, его везут в дальние страны, в саратовские степи или в бразильские пампасы, на вершины Альп или на гребни Тибета. Там он осязательно убеждается, что без него обойтись невозможно.

Прежде бедный униженный поденщик думал, что он способен только чинить дорогу своего околотка или ковать станционных лошадей. Мир кончался для него пределами дорожного участка или смежной станицей. Теперь он сковывает противоположные края вселенной, производит средства общей торговли, войны и мира; более, питает даже духовные потребности человека, взывающие к нему о скором удовлетворении. Как же ему оставаться в том же положении? Может ли казаться странным, что при убеждении в своей необходимости и при понятии о могуществе, естественно зарождающемся в огром-

ных сплоченных тем же интересом массах, рабочие становятся гордыми и требовательными? Будущая революция (если не займутся вопросом, она окажется небывалою) двинется не из народа сильного, как прежние, а из маленьких стран, обеспеченных завистью больших, — из Бельгии и Швейцарии, — и мир представит еще одно доказательство ошибочности существующих в нем понятий и воззрений. Для общего спокойствия сочли нужным особенно охранять общими силами некоторые частицы Европы; оттуда-то и понесется пламя, которое сожжет ее. Не знаю, смотрят ли и как смотрят на рабочее движение различные правительства. Страх имущих, исключительно окружающих престолы и составляющих правительства, может ослеплять и вводить в заблуждение правителей, а кажется легко прозреть в истину. История доказывает, что человек долго повинуется всякой силе, исключая силу нужды; что он способен отказаться временно от прав всякого рода, но никогда не уступает прав существования.

Казалось бы, следовало бы пробудиться после Парижской Коммуны. Неужели можно довольствоваться вздохами и негодованием, совершенно забывая о причинах, породивших столь лютые проявления? Важный вопрос труда с праздностью, им пользующейся, рано или поздно охватит человечество так же неизбежно, как охватили его вопросы о личной свободе и равенстве перед законом. Сложность и трудность вопроса пугают, но парижские неистовства, в которых участвовали деятели всех наций, должны были бы возбудить деятельность истинных филантропов. Явно, что в рабочих классах необыкновенное озлобление; в Париже в особенности и не мудрено быть ему. Нигде праздная роскошь не выставляется так нагло, так цинически бесстыдно перед трудолюбивою нищетою. Рабство труда осязательно на этой арене мировых прихотей и порока более, нежели где-либо. Усилия власти направлялись к тому, чтобы привлечь богатую праздность со всех сторон земли. Парижский рабочий, конечно, находил в том свои выгоды, но вместе более и более понимал свое унижение, видя наслаждение, создаваемое его потом, и не вкушая сам от чаши прелестей. Странные и страшные результаты мнимой мудрости! Насаждали роскошь, думая спасти ею нищету, а сеяли только злобу и зависть.

Вообще говоря, трудно допустить, чтобы ремесленный труд не заслуживал такого же внимания, как земледельческий. Освободили же последний; уничтожили eselavage, vasselage и другие виды зависимости земледельца. Почему же не хотят обратить внимание на такую же зависимость фабричного и вообще промышленного рабочего? Точно так же, как правительства обязаны были принять на себя посредничество между земледельцами и землевладельцами, сила обстоятельств заставит их стать между рабочими и капиталистами. Посредничество будет зависеть от местных условий: образуются ли самостоятельные артели с государственною помощью или государство финансовой операцией удовлетворит капиталистов за стоимость их учреждений — тем или иным образом власть должна будет содействовать освобождению труда. Парижский разгром — достаточное, кажется, предостережение. Жюль Фавр взывал к участию всех правительств в подавление интернационалки; но в этом чисто социальном вопросе полиция ничего не поделает, в особенности когда существуют страны, где всякая попытка к нарушению права собираться для нужд и надобностей будет принята за преступное нарушение законов. Нужно, чтобы все честное и мудрое занялось вопросом; иначе он останется в руках демагогов — и горе обществу!

Местные римские beaux esprits[13] воспользовались стачкой извозчиков и начали печатать, что не одни рабочие отказываются от работы; что папа делает то же, упорно отказываясь благословлять народ в известные дни, и тем представляет неоспоримое доказательство участия своего в социалистической пропаганде интернационального общества рабочих.

В римской жизни карнавал не может пройти незаметно. Сатурналия ограничивается узким Corso и потому все места и уголки, удобные для зрителей, составляют для римлян-хозяев предмет выгодной спекуляции. Мы наняли с двумя другими семействами просторный балкон в самой середине улицы, запаслись цветами и Confetti и усердно посещали нашу обсерваторию в урочные часы. Удовольствие в течение восьми дней стоило каждому по двести с лишком франков.

Я имел уже понятие об итальянских карнавалах и на римском видел в первый раз бег лошадей без седоков, обычай весьма древний. Несчастных лошадей пускают с Piazzo de Popole в одном конце Corso. У хвоста привязывают жестяные бляхи, которые щекочут и производят звон, вдобавок толпа побуждает животных гиканьем и свистом. Бедные лошади несутся изо всей мо́чи и, наконец, попадают в тенета, растянутые в другом конце Corso, на Piazza di Venezia.

Этот варварский обычай можно было бы отменить без ущерба кому-либо, и, вероятно, распространяющиеся общества покровительства животных обратят на римские бега свое животолюбивое внимание.

Другая особенность римского карнавала Mocoli. В последний день масленицы, после неминуемого Corso de Barberi, все остаются на балконах и на улице и зажигают небольшие свечи, похожие на наши копеечные приношения в храмах. Каждый старается потушить чужую свечу с смежного балкона, с улицы, из окна верхнего этажа. Поднимаются невозможные хитрости и все вместе представляет оригинальную картину шаловливой суеты, заставляющую забывать возраст. У карнавала один недостаток — тянется слишком долго; на восемь дней ни у кого не хватит веселого юмора.

По поводу съезда телеграфного конгресса нам удалось увидеть исключительно римские зрелища. Весь древний официальный Рим от Колизея, во всю длину Via Sacra, до самого Капитолия был иллюминован разноцветными огнями. Необыкновенное сценическое представление это началось с Колизея, где собрались все приглашенные. В различных ярусах зажгли огни разных цветов, потом разнообразили освещение многими переменами, и когда мы вдоволь налюбовались дивными развалинами, процессия двинулась мимо арки Константина и дворца цесаря к Капитолию. Все памятники гордого Рима освещались по мере нашего приближения к ним. Нынешнее городское управление искусно повернуло в пользу настоящего римское прошлое и доставило нам, иностранцам, большое наслаждение.

Не менее типичен и замечателен был раут в Капитолийском музее. Галереи были освещены газом, и особенно сияла La Dame de la maison[14] — Венера Капитолийская. На этой беседе XIX века с временами Римской империи замечательно было то, что весьма немногие дамы решились декольтироваться, будто опасаясь невыгодного для себя сравнения. Старые кокетки разбирали прелести Венеры с наивным притицизмом и с желанием уверить окружающих, будто прельщались только искусством. Беспрестанные восклицания: «Comme c'est naturel!» — «Quelle connaissance des détails»,[15] — изобличали, однако ж, настоящий способ воззрения.

В течение зимы проезжали через Рим Вел. Кн. Михаил Николаевич, возвращавшийся в Петербург из Неаполя, где проводил зиму с семейством. Еще когда мы были во Флоренции, он выразил желание меня видеть, и я счел долгом встретить его на станции. Там же находился наследный принц Гумберт. Железнодорожная станция далеко еще не кончена; все же можно было принять кое-какие меры для встречи гостя, привыкшего к встречам, и, наконец, из внимания к своему наследному принцу. Ничего не бывало: нас продержали минут двадцать на свежем вечернем воздухе. По прибытии поезда пассажиры ринулись из вагонов, смешали принцев с обыкновенны-

ми смертными и угостили их демократическими толчками.

Великий Князь сначала принял меня за священника посольства; так не привыкши был к бородам, получившим теперь право гражданства.

Принц Петр Ольденбургский узнал меня в числе встречавших Великого Князя и приветливо разговорился. Забавник, прибывши в Рим, ни за что не хотел представиться революционному властителю Италии, опираясь на свой консерватизм и ненависть ко всем революционерам, не исключая августейших. Посланник Икскуль, выразивши сочувствие к принципам принца, весьма ловко заметил, что он носит, однако ж, титул Русского Императорского Высочества, а государь как монарх в дружественных отношениях с королем Италии. Скрепя сердце, принц должен был отправиться в Киринал. Михаил Николаевич доставил всем русским случай видеть его. Мы собрались в дом посольства. Прием замедлился несколько визитом епископа Штросмайера, противник непогрешимости папы на недавнем соборе вознаградил наше терпение, доставивши случай узнать его. Верно не сошелся с святым отцом в чем ином; на лице ультраиезуитский отпечаток, гарантирующий всякие нелепости ad Deo gloriam.[16]

Тотчас после приема соотечественников, весьма любезного, великий князь отправился к папе в королевских экипажах, может быть ливреи послужат чертою соединения между двумя владыками. По поводу визитов король прислал тотчас же по приезде великого князя спросить, когда может видеть его, и на ответ, что великий князь поспешит к нему явиться, возразил, что этого не случится. «Как бы рано ни вставал Великий Князь, я встану раньше и непременно буду у него первым». Большой руки оригинал, скрывающий под простотою и прямодушием весьма хитрый, чисто итальянский ум и находчивость.

Когда Рим сделался столицею, он медлил посещением вечного города, не разделяя, конечно, и в душе воззрений подданных на способ приобретения для нового государства исторической столицы. Он явился в Рим впервые как благодетель, для облегчения участи несчастных, пострадавших от наводнения осенью 1870 года, и, разумеется, был принят с восторгом. Вообще Виктор-Эммануил не то, чем кажется по грубой своей внешности. Он вовсе не Roi fêneant,[17] хотя проводит большую часть времени вне Рима, на охоте или в чувственных наслаждениях. Министры отыскивают его по железным дорогам, но, отыскавши, всегда убеждаются, что вынужденное беспокойство их не бесплодно. Король найдется там, где они становятся в тупик, и придумает средство, выводящее из затруднений.

Куда ни склонишь голову, все вспоминается матушка-Россия. В Риме узнал я о предложении Платонова касательно всесословной волости. Не зная, что разумел царскосельский предводитель под этой номенклатурой, я был уверен, что правительство никогда не согласится на расширение самоуправления, на большую его действительность через допущение в волость просвещенного элемента, и считал проект мертворожденным. И крестьянам-то дали самоуправление в лихорадочную минуту освобождения, но невежество сельского класса ручалось, что самоуправление надолго еще не представит правительству никаких неудобств.

В числе отечественных новостей дошло до нас возведение М. А. Корфа в графское достоинство при рескрипте, едва ли выпадавшем когда-либо на долю русского подданного. В особенную заслугу вменяется Корфу его <u>уменье соглашать мнения</u> в законодательных вопросах. Выше видели, в чем состояло это уменье; уступчивость, легкая жертва собственными убеждениями не есть уменье, и какие бы рескрипты ни писали, Россию не уверят, что она должна смотреть на нового графа с <u>благоговением</u>, хотя, бесспорно, он принес долю пользы, а главное, трудился.

Граф Д. А. Толстой свирепо ринулся в классицизм и, благодаря своей настойчивости, вернее, упрямству перевершил все сделанное предшественником. Отныне все будут классиками в стране, где нужен плуг и где не умеют его сделать. В Государственном совете проект Толстого разбирали очень горячо; даже генералы, учившиеся «лишь по-нашему, раз-два», ввели в прения свои фронтовые воззрения. Страннее всего, что граф Панин, особенно бойкий в древних языках, был против взглядов Толстого, и когда один из его коллег укорял его в сопротивлении, изъявляя сомнение, чтобы он помнил школьные свои традиции, длинный граф рассердился и возразил: «Да и я теперь читаю Горация и Вергилия, как вы читаете Поль-де-Кока». Кто и как бы ни читал и что бы ни читалось, крутые повороты в сфере просвещения весьма прискорбны, в особенности в стране, где самые основания его еще удел меньшинства.

Обстоятельства жизни во многом зависят от воспитания, от начал, им привитых. Если смотреть на воспитание как на усвоение правил, руководящих действиями человека в течение его жизни (и, кажется, взгляд этот правильный), то первое условие воспитания — современность. Следует прежде всего решить, чего требует современная общественная жизнь, и сообразно этим требованиям выработать человека воспитанием и наукою. В противоположность такому практическому условию принимают для воспитания предвзятую форму, усвоенную в века минувшие, подчинявшиеся совершенно иным требованиям. Сколько мне случалось замечать, требования жизни постигаются безошибочнее теми, кто не прошел ложных приготовительных путей; яснее, людьми, не получившими никакого воспитания. Предоставленные общественному трению без теоретически привитых идей люди эти большею частью извлекают из опыта жизни осторожность, сдержанность, необходимость таить побуждения и не выражать порывов души. Они учатся быть снисходительными к средствам; цель, одна цель, поглощает всю их мудрость; приближение к ней — их единственный двигатель. В таких самородках слишком много материализма; их себялюбие есть естественное следствие самосохранения, но, с другой стороны, воспитание, основанное на истинно философских (пожалуй, христианских) началах, в наше время неустранимого смешения и борьбы интересов производит мечтателей, приготовляет жертвы, приносимые pour la bonne cause, но бессильные, ничего не выкупающие. Зачем вселять от колыбели великодушие, вкоренять его историческими примерами, восторгать неумеренно молодое сердце, без того слишком способное к восторгам, усваивать ребенку представление о какой-то совершенной среде, когда первые шаги его как человека выкажут, что его учили и назидали ложно? Всякое излишество даже в стремлении к честному вредно. Воспитание, а не классицизм должны быть уделом немногих, избранных руководить другими, держать их на истинном пути; массе нужна развитость, допускающая выбор практического направления, соответственного надобностям эпохи.

Насытившись Римом, мы переехали в Неаполь. В 26-летний промежуток Неаполь стал для меня новым городом; увеличился, выпрямился, но не очистился. Выстроилась целая часть до самого холма Позилипа.

Но та же смесь крайностей на улицах и площадях: великолепные экипажи и чудные кони рядом с возами, навьюченными ослами и с козами, снабжающими молоком. Но в каком ином городе, так похожем на столицу, как Неаполь, столкнешься на тротуаре с животным, набредешь на поднятый копыт подковываемой лошади, влепишься лицом в овощи, развозимые на лошаках. Эти удовольствия чисто неаполитанские. Другая особенность — продажа цветов — столь же привлекательна по предлагаемому товару, сколько отвратительна по неопрятности и бесстыдству флеристок.

Великолепная Толедо, переименованная в Via di Roma, подведена к самому Capo di monte, а исправленная Strada nuova, взбирающаяся с севера на Позилип, составляет вместе с Rivadi Chiaja, Via del Grotto и Margelina чудную прогулку, знакомящую разом со всеми видами залива от мыса Мизень до Сорento и Капри. Меня порадовало, что жена увидела дышащую негою панораму во всем ее блеске. Погода стояла чудная. Прозрачный воздух открывал малейшие подробности. По старой памяти заехали на виллу Rocca-Romana и увидели вблизи, что казалось так привлекательным в некотором расстоянии. Крупные черты южной природы восхитительны, но детали бедны; нужно любоваться Неаполем en bloc.

Внешняя религиозность в Неаполе, которая прежде поражала цинизмом приемов общения со святыми, уже не заметна. Может быть, конституционная полиция решилась мешать сходкам у статуй и икон, как нарушающим удобство движений, а может быть, и суеверие выродилось; ведь четверть века — целое поколение.

После римского карнавала путешественники нахлынули в Неаполь огромною волною. Трудно было поместиться и при слабости жены нелегко было взбираться на четвертый этаж. В наши лета комфорт — элемент жизни. При нем ум, душа и самое сердце как-то более расположены действовать в радужной сфере; напротив, с кряхтящим телом самое солнце кажется тусклым, и от дивных видов отрываешься без сожаления. В Неаполе никак не следует жить в серьезном настроении. Получаешь совершенно превратное понятие и выносишь впечатления, которые не имели бы места при веселом состоянии духа. Вследствие отсутствия удобств помещения мы решились ограничиться общими взглядами на неаполитанские прелести и посещениями Sans Carlo. Театр по-прежнему великолепен, по-прежнему общественные приемы идут в ложах; только отсутствие сбиров Бомбы дает себя чувствовать дикими воями публики, если певец не удовлетворяет ожиданиям. Вообще неаполитанское общество показалось мне чрезвычайно строгим в музыкальном отношении. Оно не стеснялось даже полом и гикало на певиц точно так же, как на певцов. Присутствие короля никого не удерживало. Избегающий Рима, отнятого для него у папы, Виктор-Эммануил единовременно с нами переехал в Неаполь. При его наклонности к беспрестанным странствованиям судьба удачно помогла ему, представя в его распоряжение повсюду великолепные помещения. Нет короля, так богатого дворцами.

На обратном пути во Флоренцию мы воспользовались часовой остановкой в Риме и поехали на Pinico. Восходящее солнце играло первыми лучами на бесчисленных стеклах Ватикана и куполе Св. Петра.

Во Флоренции в этот раз осмотрели многое и многим любовались при помощи родного князя Друцкого-Соколинского. Его флорентинская жизнь отравлена ошибочным супружеством, и только в детях бедняга находит утешение. Он не перестает следить за всем происходящим в России, и в палаццо его мы нашли чисто русский уголок, где скрипящие подчас души выливались свободно с уверенностью в сочувствии. К 1 мая мы возвратились уже в избранный Висбаден, напитанные впечатлениями, не скоро исчезающими даже в прозе немецкого существования.

В Висбадене я привел в порядок свою библиотеку, подвергавшуюся несколько лет различным случайностям. Весьма весело стало мне, когда я вновь увидел старых друзей, чинно стоящих по полкам и обещавших мне безмятежное существование. Мы поместились уютно на Зоненберге, тотчас установили наши дни и зажили чрезвычайно приятно. Только крупные явления, вроде успеха французского займа, ссоры Тьера с собранием по поводу новых налогов, откровения Audifret Pasquier

о злоупотреблениях империи и т. п. европейские случайности вязали нас с внешним миром, а дробности отечественной домашней политики на минуту, но только на минуту, переносили нас в Россию. Запрещение «Голоса», смерть Гагарина, замена его боящимся даже собственного мнения Игнатьевым, удаление Зеленóго, замещенного удобным Валуевым, харьковские беспорядки, — все эти мелочи, присущие стране, обреченной на неожиданности и случайности, не могли тревожить духа, несколько окрепшего в неудачах. Охотно болтал со мною старик Корф, скрывшийся в Висбадене, full of years and glory.[18]

В беседах, служивших мне приятным развлечением, мы перебирали прошлое и настоящее, события и личности. Рассказывал мне возвеличенный, но не удовлетворенный по своему остзейскому аппетиту граф, как при первом приеме государь, по поручению покойного отца, благодарил и лобызал министров, но обошел Бибикова и Клейнмихеля. Кого-то обойдет его наследник? Присутствие любимцев при отправлении царем естественных нужд Корф подтвердил; но с должным благоговением к важности момента и присутствующим лицам, пользующимся отправлениями монаршего желудка, нашли же средство для устроения собственного значения. По временам читал старику отрывки из моих записок и заглядывал в его воспоминания, наполнявшие громадную папку. Это сблизило нас умственно и связало откровенностью. По поручению государя, Корф собирал все сведения о брауншвейгском семействе; это улеглось в трех томах, невозможных для печати, — так гадки подробности. Корф составил, однако ж, экстракт о смерти Ивана Антоновича и просил дозволения публиковать его. Через неделю государь возвратил рукопись с согласием, но потом счел более удобным не печатать.

Такой тихой струей текла наша жизнь. Приезд Тимашева на минуту нарушил мое благополучие. Давно возникший в России податной вопрос сильно интересовал меня, и я просил проживавшего тогда в Висбадене В. В. Скрипицына спросить министра о видах его на податную реформу.

Салонный министр, только что проболтавшийся за обедом у Тьера, отвечал без зазрения, что высказанные почти всеми земствами воззрения — вздор, что в настоящее время составлена особая политическая комиссия из него, Шувалова, Валуева и гр. Палена. Дело ее — разобрать податной вопрос с общегосударственной точки зрения, и комиссия его похоронит. Вспомнилось, как хотел Осип наказать баловня-ревизора.

Слишком хорошо сложилась жизнь, чтобы блаженство наше могло быть продолжительно при обычном, не совсем снисходительном вмешательстве судьбы в мое существование. В июле грянул гром. Фейген, которому я поручил более половины капитала, прекратил платежи, и мы остались всего с тремя тысячами в год. Окунулись неожиданно в горечь, мгновенно съежились, взяли более скромную квартиру и тотчас же старались отменить распоряжения, сделанные перед выездом из Рима. Тратить было нечего, а начинать бедность долгами казалось мне страшною бедою. Жена, как истинный ангел-хранитель, утешала меня и бодрила, но крепость духа ее не соответствовала физической слабости, и я прозревал последние усилия ее души, а за ними более тяжкие страдания и невозможность доставить ей какие-либо удобства. Лихорадочно принялся я вновь за поиски места, писал в Москву и Петербург, и от приятелей получил дружеские намеки, что всего лучше обратиться мне вновь к службе. Не хотелось, однако ж, пасть ниц перед моими гонителями, и я воспользовался выездом Ф. И. Чижова за границу для свидания с ним. Разбогатевший старец обещал, но находил затруднения, а на первое время советовал печататься и даже приложил свое предисловие к первой главе моих «Воспоминаний», которую послал Бартеневу в «Архив». Полистная плата служила большой

помощью, и в ожидании чего-либо определенного я решился последовать совету искусившегося на издательском поприще мужа. Стало на душе легче; вдобавок помогло и участие А. П. Давыдова, никак мною не ожиданное. На письмо, в котором я просил уговорить (римских артистов отказаться от моих заказов суммою на четыре тысячи франков), Давыдов, сошедшийся со мной случайно и недавно, ответил предложением тотчас заплатить требуемую сумму и советовал не отдавать себя на милость спекулянтов — черта редкая в наше время, особенно редкая в дипломате, обязанном службой оковывать сердце броней бесчувственности. Дружеское участие Давыдова подкрепило меня, обрадовало жену, и мы вступили с лучами надежды в новый 1873 год.

ГЛАВА III

ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ ВНОВЬ НА СЛУЖБУ

Решаюсь вновь поступить на службу. Поездка в Петербург. Меня назначают морским агентом в Австрию, Италию и южные порты Европы. Дело офицера и гвардейской артиллерии Квитницкого. Отъезд мой из Санкт-Петербурга и прибытие в Вену экспертом на выставку. Первый министр Андраши. Наш посланник Новиков. Церемония омовения ног. Представление императору и эрцгерцогам. Общий характер Габсбургов нашего времени. Открытие выставки. Прибытие Государя. Бал в русском посольстве. Равнодушие Государя к выставке. Неловкость в отношении к англичанам. Мое представление Государю, первое после виленской истории. Отъезд государя. Труды по званию эксперта. Общий характер венской выставки. Приезд Великого Князя Константина и сына его Николая. Несколько слов о занятии Хивы.

Предложения выгодной деятельности приходили с разных сторон, но в весьма неопределенной форме, а обстоятельства вынуждали не утешаться иллюзиями. Предшествовавшая жизнь не приготовила нас к лишениям, и я начинал уже предвидеть последствия перехода от сравнительного довольства к нужде со всеми ее мелочными бедами, рушащими по атомам семейное спокойствие. Дальнейшие колебания с моей стороны подвергли бы неизвестности или, точнее, горькой вероятности. Я решился подать вновь на службу и предварительно снесся с петербургскими приятелями. Д. А. Оболенский и А. А. Попов в ответ на запросы мои уведомили, что меня примут охотно, что Краббе, от которого вступление мое преимущественно зависело, «стоит у дверей и ждет меня». И в этот раз я не хотел изменять самому себе, но с летами и опытом въелся в душу расчет. Не один расчет, впрочем, побудил меня спустить флаг перед противниками. Постоянное занятие воспоминаниями о предшествовавшей жизни спасало меня. Вместе с сознаниями многих ошибок оно высказало, однако ж, осязательно, что огонь не совершенно угас еще, что есть во мне еще сила, способная поднять удрученную голову.

Трудно слагать новый быт в 50 лет. Надежда успеха уже не живит слабеющих сил, и необходимый для труда розовый цвет будущего уже не мелькает в отдалении утешительной приманкой. Победа над собой требовала усилий. Чувство достоинства, просто стыда, долго держали меня в раздумьи. Наконец рубикон был пройден — я отправился в Петербург, оставя жену в возбужденном состоянии. Бедняжка не могла примириться с мыслью видеть падение гордого мужа и с свойственной женщине неопытностью в делах житейских уговаривала меня отправиться в Англию и там

искать средств жизни, по ее мнению доступных, а не обращаться к правительству, по ее же мнению, передо мной виновному. Не одна она считала меня способным переломить жизнь. На пути в Петербург я встретился в Вильне с приятелями, не слыхавшими обо мне более двух лет. Привыкши видеть во мне упорство и решимость, они поверили разнесшимся слухам, будто я отправился искать счастья в Америку.

Изменила дружба, поколебалась вера в людскую честность, зато отыскалось сочувствие во вражде. С гордостью за человечество объявляю, что тот, кто один только имел право питать ко мне прямо враждебные чувства, в эту горькую для меня минуту протянул мне руку помощи и протянул ее самым нежным образом, понявши мое нравственное положение и не оскорбив меня высокомерием победителя.

При первом свидании Краббе объявил мне, что сделает все для моего успокоения, и сдержал слово. Дело было не совсем легкое. К несчастью, государь знал меня лично; говорю к несчастью, ибо Его Величество редко забывал прошлое, а мне неоднократно пришлось нарушать его спокойствие. Ловкий управляющий министерством взялся одолеть эти затруднения, но с моей стороны были препятствия иного рода. Я вступал на службу с непременным условием употребления в хорошем климате за границей, чего требовало расстроенное здоровье жены. Вдобавок представилось обстоятельство, в мнении моем положившее конец всем моим замыслам. По совету Чижова, за месяц до прибытия в Петербург я послал в «Русский Архив» первые главы моих воспоминаний, с требованием, чтобы указания на живых были пропущены в печати. Бартенев не назвал Краббе по имени, но поместил портрет, по которому нельзя было не узнать оригинала. Я пришел к Краббе с понуренной головой и объявил, что не могу воспользоваться его снисходительностью, хотя не считаю себя виновным в неблаговидном для меня обстоятельстве. «Мир, так мир», — возразил Краббе — и я вступил на службу агентом в южных государствах Европы. Место для меня было создано.

Товарищи и знакомые обрадовались моему возвращению на службу и не слишком доверяли великодушию прежнего врага моего. По мнению их, он поднял собственный пьедестал в глазах не только государя, но наследника, не перестававшего считать меня жертвой несправедливости, и многих высокопоставленных лиц. Поражающие великодушием поступки может быть в большинстве случаев имеют двигателем Я, но Я, способное помочь врагу, девять лет отвергавшему примирение, бесспорно Я доброе, не отрешающееся от человечества и тем более ценное в наше время, что по заблуждению века ценится исключительно ум, способности, а о внутреннем голосе совести, о способности души к хорошим впечатлениям никто не помышляет. Краббе выказал сердце. Он вовсе не имел надобности привлекать на свою сторону полуизношенного человека, ибо стоял весьма крепко на собственных ногах; вдобавок, выговоренное мною условие службы не могло представить мне случая быть ему полезным.

Правда, уже после приказа, он предлагал мне остаться в Петербурге для управления артиллерийской частью во флоте, но сделал предложение, единственно, чтобы дать мне возможность выбора между двумя обязанностями. Короче, поступком своим Краббе приобрел лишнего признательного ему человека, но в моем прежнем положении и том, в которое я ставил себя новой обязанностью, не шубу ему было из того шить.

Не беру назад прежних воззрений моих на Краббе как на государственного деятеля, не отрекаюсь от мнений моих о нем как о человеке, не всегда разбиравшем средства для достижения цели, но с готовностью и благодарностью свидетельствую, что, поваливши врагов, он охотно поддавался прирожденной доброте натуры. Одаренный большой сметкой, он знал двор как свои пять пальцев, и если бы кто-нибудь радел о его воспитании, или обстоя-

тельства втолкнули его в хорошую школу, он принес бы много пользы. К сожалению, силы его потратились на ловкость и угодливость. В иных условиях он мог бы наделать добра солидного, общего; к частному, личному он всегда был склонен.

Я пробыл в столице всего три недели, возобновил прежние знакомства и с грустью увидел, что общество по-прежнему живет пустыми вседневными происшествиями, ни во что не вдумываясь и блаженно поддаваясь течению случайностей. Высший круг только и говорил, что о Патти и о Нильсон, разделившись на две театральные партии; о других же партиях не было и помину. Два обстоятельства несколько расшевелили, впрочем, публику. Новый московский губернатор, Дурново, приехал в Москву с предвзятой мыслью (коли был способен на какую-нибудь мысль) «изменить дух ее» и, не переводя дух, сотворил скандал. Городской голова Лямин пришел к прибывшему воеводе с визитом во фраке. Казалось, весьма легко было вовсе не обратить внимания на костюм Лямина, но гонитель московского духа оборвал представителя города за то, что тот не надел мундира. Лямин подал в отставку и был уволен; Дурново же потребовали в Петербург, откуда возвратили на место успокоенным. Шувалов и Тимашев находили поступок Дурново безмерно глупым, но государь высказался благосклонно, прибавя, что Дурново «служит ему единственно из личного усердия, потому что богат и в службе не нуждается». Это было первое столкновение губернатора с головой, выбранным на новых началах; для отвращения будущих министерство издало циркуляр, в котором объявило, что головы подведомственны губернаторам. «Голос» комментировал министерское сочинение, привел слова циркуляра рядом с текстом закона и вывел очень ловко, что по тому и другому голова не должен был являться в мундире и вовсе от губернатора не зависел. Странно, что Тимашев остался весьма доволен пояснительной статьей «Голоса», а еще страннее, что пострадавший Лямин был на предшествовавших выборах правительственным кандидатом. Министерство и московские власти поднимали горы, чтобы выбор не пал на Черкасского или Щербатова. При моем отправлении из Петербурга в первопрестольной было междуцарствие; охотников в головы не оказывалось.

Другое обстоятельство произошло в военной сфере. Штабс-капитан гвардейской артиллерии Квитницкий, окончивший курс в двух академиях, определился в 3-ю батарею и потом перешел в 1-ю. Новые товарищи стали его преследовать из-за зависти, недовольные тем, что Квитницкий сел, как говорится, многим на голову. Происки и гонения длились 4 года. Выведенный из терпения, Квитницкий перепросился снова в 3 батарею, стоявшую в Варшаве. Там его приняли, но офицеры 1 батареи написали коллективное письмо в форме решения суда чести, исключавшего Квитницкого из батареи. Обиженный взял секундантов, прибыл в столицу и вызвал противников. В раздражении от отказа, опиравшегося будто на решение суда, Квитницкий нанес командиру батареи Хлебникову сабельные удары на улице. Сам виновный, в особенности же присяжный поверенный Герард, выставил перед С.-Петербургским военным судом всю интригу так живо, что суд, приговорив Квитницкого по статье закона, ходатайствовал о совершенном его помиловании. Ясно, что суд без присяжных не мог создавать опасного прецедента. Квитницкому все могли сочувствовать, но суды ни по каким соображениям не должны были оправдывать сабельных ударов на улице. В числе слушателей присутствовали многие дамы и некоторые Великие Князья. Виновному сделали патетическую овацию, и даже главнокомандующий округом, Великий Князь Николай Николаевич, позволил себе выразить ему публичное участие. В результате оказалось, что в армии нашей несвоевременны не только суды чести, но и новые судебные порядки. Начальники давали судьям предписания изменять приговоры и т. п. Государь был поставлен в неприятное положение утвер-

дить сентенцию без изменения, а военному суду сделать выговор за неуместное ходатайство. По поводу представления о новых столовых суммах для членов суда, сделанному почти единовременно с докладом о странном решении по делу Квитницкого, император заметил, что «им нужны фуражные, а не столовые». Нельзя не согласиться, что техническая терминология в этом случае приложена кстати и вообще заметка о судьях Квитницкого удачнее вывода об усердии Дурново в деле Лямина.

Устроивши новое свое положение, я пустился опрометью в Висбаден успокоить жену. Подлинно, «пришел, увидел, победил», разумеется, потому только, что все, по разным причинам, желали моей победы. Продолжать печатание моих записок стало уже невозможным при поступлении моем на службу, но собственник «Архива», Бартенев, с трудом согласился на мою просьбу прекратить публикацию. Без помощи жившего в Москве П. Н. Батюшкова едва ли бы удалось мне уговорить неугомонного издателя. Гуси раздразнились бы, и опять встряслась бы надо мной беда.

В числе южных портов у нас считались австрийские. С Австрии я и должен был начать новое мое поприще, тем более, что там готовилась выставка и меня назначили экспертом по морской части. Мы собрались очень скоро из опостылого нам по горькому воспоминанию Висбадена и в начале марта прибыли в Вену, где прежде всего предстояло добиться, чтобы меня признали в качестве морского агента. При свойственной австрийцам медленности это решилось не ранее месяца. Впрочем, не австрийская только медленность была тому причиной. Бейрутский приятель, Новиков, вечно отдаляющийся от действительности, внес долю своей суетливости в простейший из вопросов и потом, когда последовало уже согласие, представил меня первому министру, Андраши с поразившей меня робостью. Чисто цыганская физиономия Андраши показалась мне твердой. Министр не фразер, прост в выражениях и холодно обходителен; в нем мне понравилась деловитость. Новиков в присутствии рослого венгра, егозя на стуле, faisait une piteuse figure.[19] Видимая холодность Андраши имеет начало в обстоятельствах его жизни. Воспитанный вместе с нынешним императором, предназначенный происхождением и связями к блестящему положению, Андраши был выметен вихрем венгерского восстания в изгнание; влачил незавидную жизнь политического скитальца в Лондоне и Париже и, наконец, приговоренный к казни, был повешен en effigie.[20] Самодержавная Австрия после невзгод 1859 и 1866 годов стала конституционной монархией; Бейст нашел для нее спасение в сложной системе австро-венгеркого дуализма, и повешенный Андраши очутился на высшей ступени при новом порядке вещей, сделался первым советником обрекшего его на смерть монарха. Такие быстрые переходы от злополучия к величию могут заставить человека смотреть на все равнодушно, философски. Новиков понял, что с испытанным судьбой Андраши нужно играть cartes sur table,[21] но мне показалось, что для достижения личных выгод он слишком старался перед ментором Франца-Иосифа и забывал, что представлял величавого царя и великую страну. Вообще я застал моего прежнего бейрутского товарища недовольным. Посольство в Константинополе, ему положительно обещанное, досталось счастливому Игнатьеву. Уже это сильно потревожило его дух, а пребывание в Вене, где представители других великих держав были послами, раздражало вконец его самолюбие. Он до непристойности сердился на Игнатьева, бранил преемника своего в Греции Сабурова и не мог простить Швейницу, так недавно жившему в Петербурге военным агентом, повышение его в послы при том же дворе, при котором он, Новиков, присяжный и нужно прибавить полезный дипломат, был обыкновенным посланником. Возобновление нашего знакомства сопровождалось дружескими беседами, но сквозь дружбу Новикова, по отражению влияния не привыкшей к за-

метным положениям жены, проглядывали напоминания о различии наших настоящих положений. Я привык считать Новикова за добросовестного труженика и верил рассказам его о подробностях, сопровождавших фазисы Франко-Германской войны.

Выставка привлекла в Вену почти всех августейших особ Европы. Габсбурги силились выказаться гостеприимными хозяевами. Начались представления, рауты, обеды и балы — обычная жизнь, приспособленная к торжественным случайностям и устраиваемая всегда так, что о самых случайностях почти забывают. Вена, по конгресской памяти, мастерица наводить подобные забвения. Многочисленный императорский дом и праздноумные магнаты представляли удобные центры для кружения, оставляющего ощущение пустоты и отсутствия живительного воздуха. Пришлось дышать в этой атмосфере пять месяцев, без нравственных страданий, которые испытывал в подобной обстановке дома, но зато и без малейшего участия, подбавляющего во все виденное возбудительные специи.

Сезон открылся торжествами по случаю бракосочетания дочери императора Джизеллы, но прежде нежели я пустился официально в совет в качестве признанного уже агента, мне удалось присутствовать на весьма любопытной церемонии омовения ног. В Австрии это делается издавна коронованными особами. Настоящая императрица по разным причинам обыкновенно уклонялась от участия; но в этот раз своенравная Елизавета, вероятно вследствие стечения именитых иностранцев, удостоила торжество своим присутствием. В первый раз случилось мне видеть австрийский двор зрителем, еще не посвященным в подробности, так сказать a vol d'oiseau,[22] из отведенной для дипломатов трибуны. Разнообразие и живописность костюмов приятно поразили взгляд, привыкший в подобных случаях дома к лишенной вкуса и фантазии форменности. В особенности выдавались костюмы венгерцев и мантии гросмейстеров военно-духовных орденов. По обе стороны залы, служащей обыкновенно для танцев, были поставлены столы. За них посадили 12 старцев и столько же старух. Я не догадался да и не от кого было узнать, на каком основании последние были введены в церемонию, напоминавшую эпизод жизни Христа, касавшийся только его учеников. После долгого ожидания вошел император с императрицей. Франц-Иосиф стал в вершине стола на нашей стороне, где сидели старцы, а стройная еще спутница (подругой назвать нельзя) жизни его поместилась у противоположного. Вдоль столов длинным строем вытянулись эрцгерцоги и эрцгерцогини.

Первое впечатление, произведенное на меня императором, было не в его пользу. Небольшой рост, гладкая стрижка и отвислые уши напоминали общеармейский тип, набивший на всякий русский взгляд оскомину бессмысленными домашними образчиками. Во главе эрцгерцогов стояли братья кесаря: старший Карл-Людвиг, хранящий предание о габсбургском идиотизме, и младший, Людвиг-Виктор, une espèce de mauvais sujet.[23] Герой Кустоццы, Альбрехт, очень напоминает князя Владимира Голицына; всех благообразнее Вильгельм, гросмейстер рыцарей храма. По мере личного знакомства первоначальное впечатление мое изменялось; но на первый взгляд, искаженный может быть предубеждением, августейший австрийский строй показался мне бесцветным. Ни на одном челе не было мысли: правда, и дело то, на которое они подвизались, казалось шуткой. Впрочем, мысли и негде врезаться в габсбургское чело. Обреченные судьбой властвовать над разными племенами, все принцы австрийского дома обязаны усвоить с молодости по крайней мере пять различных диалектов и сверх того общеевропейские, а многоязычие развивает подражательные способности в ущерб самоисследованию и размышлению. Церемония началась кормлением. Сами властители и эрцгерцоги прислуживали странникам, и стоявшие за ними родные усердно наполняли котомки.

Наконец столы убрали, и венценосцы умыли ноги гостей, разумеется неловко и наскоро, но характер патриархальности сгонял с уст насмешливую улыбку.

В это время проездом из Соренто, где наша императрица проводила зиму, был в Вене великий князь Владимир Александрович. Не представлявшись ко двору, он не мог присутствовать на церемонии и очень о том жалел, однако ж, принял обед у Новикова в кругу соотечественников. После обеда он удостоил меня продолжительным разговором, из которого, к удивлению моему, я увидел, что молодой великий князь страшный враг свободы прессы. Он громил беспощадно нашу журналистику и радовался, что ее приструнили. Возражения мои в пользу прессы, пересыпанные анекдотами, не убедили слушателя, но заставили хохотать. Горько, право, что даже о самых серьезных предметах нужно говорить с этими господами так, чтобы было им в потеху.

Бракосочетание Джизеллы, как я сказал, сопровождалось торжествами. Требования страстной недели заставили посольство отказаться от участия в них; мы дозволили себе явиться только на концерт. По предварительному условию, я должен был представиться с женой на приеме, предшествовавшем концерту, — и здесь же на первых порах оказалось, что Вена пригласила на пир целый мир, не обдумавши мер к удобству приглашенных. Полиция не распорядилась беспрепятственным проездом многочисленных экипажей; несмотря на ранний выезд из дому и возможные старания, мы все-таки опоздали. Император обошел уже мужской строй и занимался дамами, когда я примкнул к группе русских, собравшейся около посланника. Я потерял надежду и считал представление несостоявшимся, но Андраши заметил мое появление, шепнул августейшему хозяину, и Франц-Иосиф, перейдя зал, приветствовал меня очень любезно. На замечание его, что флот Австрии беден числом кораблей, я отвечал, что он богат славой и что на долю его выпало первое испытание новых средств борьбы на море. Император стал выставлять сравнительную громадность наших средств, недавно осмотренных эрцгерцогом Вильгельмом в Петербурге, и упомянул о «поповках», круглых судах, вводимых товарищем моим Поповым. О них же говорил со мной жених Джизеллы, выкормленный баварский принц, только что прибывший с востока через Одессу. Таким образом имя Попова приобретает европейскую известность. Императрица сказала мне несколько приветливых слов. Время набросало на нее свои тени, но общий эффект величествен.

Затем начались представления и знакомства по поводу выставки. Почетным председателем ее был эрцгерцог Карл-Людвиг, брат императора, а ближайшим распорядителем эрцгерцог Реньер. С ними и вообще с наезжавшими принцами пришлось сойтись несколько ближе.

Младший брат императора Людвиг-Виктор — молодой повеса, мало думающий о требованиях сана. В числе установленных программой увеселений был бал и у него на Шварценберговской площади. Княгиня Метерних, как всегда, явилась поздно. Несдержанный хозяин счел нужным заметить, «что она прибыла после Императрицы». «Je viens toujours assez tôt pour entendre ce que S. M. a a me dire»,[24] — возразила княгиня, всегда готовая на резкий ответ. Чета Метернихов сейчас скрылась из Вены. Происшествие произвело скандал, скоро, впрочем, потухший вследствие удачно выраженного взгляда императора. «Ils auraient mieux fait tous deux de se taire», — сказал добродушный кесарь — et tout le monde s'est tu en effet.[25]

Победитель при Кустоцце, Албрехт, — большой защитник добрых сношений с Россией и наследник военных способностей отца, эрцгерцога Карла. Он был особенно любезен с нами, военными русскими, и неоднократно звал обедать. Ультра-австрийская губа придает ему сонливый вид, но в самом деле он очень

деятелен и занимается с любовью армией, над которой состоит инспектором. Ко всем австрийским принцам я представлялся по предварительному личному сношению с гофмаршалами и по зову на обеды являлся во фраке, без всякой фронтовой натяжки; они же принимали в весьма удобном военном пиджаке, украшенном звездами. Вообще чопорность Габсбургов, о которой я знал только по хроникам венского конгресса, в настоящее время исчезла. Принцы, скромные бюргеры, и мне не раз случалось встречаться с ними в общих залах трактиров, где они питались, как обыкновенные смертные. Но всего приятнее разубедил меня сам император.

Обеды у него и представления повторялись очень часто по поводу двойственного моего положения агента и члена международной оценочной комиссии.

Открытие выставки, далеко еще не готовой, последовало 1 мая. Не говоря уже, что венцы, предрешив, что пустынная манна, павшая на евреев, ничто в сравнении с выгодами, которые принесет им выставка, подняли цены с наглостью (мы, например, за две комнаты платили по 17 рублей в сутки), городские власти не захотели или не сумели доставить какое-либо удобство участвовавшим в церемонии открытия. Пригласили 15 тысяч, просторно и живописно разместившихся в громадной ротонде, но достигать туда можно было одним только путем и в короткий промежуток — между 9 и 11 часами. Дождь лил ливнем, и мы видели охотниц, выходивших из экипажей за версту, наскучивши тщетным ожиданием. По счастью, попался сметливый кучер, уговоривший меня распахиваться и показывать ленту всякий раз, что полицейский решится остановить экипаж. Снабдивши меня такой инструкцией, возница выехал из ряда и ударил по лошадям. Верховые полицейские гонялись за нами, но тут выставленный шитый мундир и лента отшибали их словно талисман. Мы прибыли вовремя и совершенно в порядке.

Император со всем двором вошел под звуки весьма гармонического гимна и стал на эстраде среди иностранных принцев, съехавшихся на торжество. Обычные речи, ответы, объявление открытия и, наконец, шествие по тем отделам выставки, по которым ходить было можно, прошли своей казенной чередой, и мы, специалисты, начали изучать свезенные богатства каждый в своей сфере. Вскоре после открытия связанные с выставкой представлялись императору. Между обедами, балами и почти ежедневными посещениями выставки незаметно и в каком-то чаду катилось время до великого дня приезда нашего государя. Перед этим только что было получено известие о перемене во Франции президента, но в ожидании встречи неприязненных доселе монархов никто не занимался происшедшим во Франции переворотом.

Франц-Иосиф встретил гостя за несколько часов от Вены, и к полдню 1 июня все мы, русские, собрались на Северном дебаркадере. Соотечественники, дотоле невидимые, выросли будто из земли. Дамы остались в приемном покое, а крепкий пол отправился под навес. Собрание было блистательное, но северная погода, при шести всего градусах тепла, наводила уныние. Скоро попросили и дам выйти на холод. Место их заняли прибывшие эрцгерцоги, а потом, когда они вышли на воздух, осталась в зале одна императрица, явившаяся перед самым подходом к станции императорского поезда. Звуки нашего гимна скоро возвестили о приближении дорогого гостя. Медленно подкатились колесницы, и столько же медленно подошла к ним из приемного покоя августейшая хозяйка. Государь смутился на минуту, что с ним бывает всегда при появлении в толпе, но тотчас оправился и, поцеловавши руку императрицы, представил ей выпорхнувшую из вагона цесаревну, цесаревича и великого князя Владимира.

К строю эрцгерцогов он подошел уже властелином и не изменял наружности перед длинным почетным караулом. При отъезде,

проходя на крыльцо, государь заметил некоторых подданных и отправился с хозяином в Шенбрунн.

По заранее утвержденной программе, вечером в день приезда государя был бал в нашем посольстве. Но относительно этого бала австрийские придворные власти сотворили Новикову просто пакость. Первоначально решено было русскому балу состояться на третий день царского приезда. Перед самым прибытием царя программу изменили. Во все время пребывания государя в Вене оказался свободным только первый вечер, и бедный Новиков, обокраденный на целые три дня, должен был кряхтеть и потеть, чтобы достойно принять своего повелителя. Несмотря на австрийское воровство, бал удался как нельзя более, хотя императрица и в этом случае не почла обязанностью явиться. Новиков в восторге, что у него собрались trois têtes couronnées,[26] включая короля бельгийцев et un parterre de princes,[27] суетился не в меру и передвинул чувства свои за границы приличия, поцеловавши у отъезжавшего государя руку среди выходного зала, на не привыкших к подобному выражению уважения в глазах иностранцев.

Цесаревич с супругой приехали несколько прежде, и наследник пожал мне крепко руку. Давка была страшная, но все обошлось благополучно. Воюющий со старостью канцлер наш без устали любезничал с дамами. Черногорский князь красовался в своем национальном костюме; выдавался также дядя персидского шаха, 25 лет уже скрывавшийся из Персии по политическим причинам. Он шумел и желал быть непременно представленным государю. Вследствие недавнего нашего сближения с шахом, Новиков отстранил представление и укротил расходившегося азиатца. Были и обломки царствований в лице герцога Monpannier, дочери королевы испанской, принца Ганноверского и т. п. Штраус смычком своим колебал скипетры.

О выставке, по случаю которой состоялось свидание, весьма мало помышляли. Государь откладывал свой визит по причинам, измышленным, как говорили, присяжным оберегателем царской целости Шуваловым. Нельзя, однако же, было совершенно миновать процедуры, и 6 июня решились показать царю собранные сокровища мира. Какая разница с бесцеремонными, едва заметными посещениями выставки австрийским императором. Начали русским павильоном (на венской выставке все потентаты, не исключая даже Монакского, имели свои павильоны), потом вошли в военное русское отделение, загроможденное морскою 12-дюймовой пушкой, и, пройдя по австрийскому отделу между двумя рядами видимых полицейских и в толпе невидимых, пересекли ротонду к входным дверям. Быстрота обзора и обстановка были так поразительны, что все приписали равнодушие государя к выставке чувству страха. Нечего сказать, не пожалели его преданные охранители. Беглый визит этот особенно тронул англичан. Предполагая, что властелин чисто земледельческой страны особенно интересуется земледельческими орудиями, они обратились к графу Орлову-Давыдову с просьбой выразить государю, как высоко оценится Англией честь посещения им беспримерной коллекции хозяйственных машин, присланных на выставку. Адлерберг передал надежду островитян. Государь обещал, но не выполнил слова, и англичане, провожавшие царя по зданию в надежде увидеть его у себя, были чрезвычайно огорчены. Они жалели о состоянии духа государя, находили его care worn (изношенным заботами) и прибавили, что пронесли бы его на собственных руках и оградили бы своими грудьми. Впечатление, произведенное визитом, было тягостно, в особенности для русских.

Во время пребывания государя в Вене пришлась годовщина парижского покушения. Благодарственное молебствие совершалось в посольстве, в присутствии всего австрийского дома. До тех пор я не имел случая представиться государю и только благодаря вмешательству Рылеева получил приказание явиться перед

молебном. Это была первая встреча после моей немилости. Государь очень любезно заметил, что я пополнел, радостно объявил о спуске первого броненосца на Черном море и тем кончил аудиенцию, избавя меня от неловкого положения встречаться с ним ежедневно и не быть, так сказать, признаваемым. Добрый цесаревич приветливо и не без грусти вспомнил наше последнее свидание в Петербурге перед выходом моим в отставку. В тот же день был военный обед в Бурге, на котором поразила меня разность в голосах с виду тщедушного Франца-Иосифа и с виду осанистого государя нашего. Сравнение тем более было безошибочно, что императоры говорили один за другим, предлагая обычные тосты. Грудные звуки царя показались особенно бедными после звонкого голоса кесаря.

По предварительному условию, монархи не обменивались орденами для своих приближенных. Уверяли, будто князь Алексей Михайлович устроил это соглашение с целью быть единственным русским кавалером св. Стефана. Для военных государь сделал исключение и роздал награды участвовавшим на смотру.

После недельного пребывания государь отправился в Эмс с Шенбруннской станции. На проводы собрались те же, кто был при встрече. Видима была общая радость, что посещение государя обошлось без приключений, чувствовалось какое-то облегчение при благополучном отбытии. Все дышали свободнее, и даже маленький Рудольф весело пролепетал царю надежду скоро вновь его увидеть. В таких случаях свое Я невольно приходит на память. Наследник дружески пожал мне руку, отыскавши в толпе, а государь приветливо кивнул головой, и скоро, с дымом паровоза, улетучилась мысль о памятном посещении.

Не столько венский воздух, сколько атмосфера натянутой жизни понудила нас выехать из города тотчас по отъезде государя. Мы расположились в Феслау, в часе от столицы по железной дороге, и с половины июня началась для меня трудовая жизнь. Каждый день, утром, я отправлялся на выставку и там до вечера разбирал произведения морских экспонентов. Назначенный президентом нашего отдела английский адмирал не прибыл, и место его заступил товарищ управляющего австрийским флотом контр-адмирал Милосич, хотевший во что бы ни стало говорить, когда ему как президенту следовало молчать. Различные употребленные мной хитрости для отстранения лишних разговоров скоро доставили мне некоторое влияния, и дело шло гладко в течение шести недель. Только австро-венгерский дуализм нарушал наше спокойствие. Если мы приговаривали какую-нибудь премию австрийцам, венгерский депутат требовал того же для Венгрии. Милосич поднимался со всем негодованием славянина против мадьяров, а мадьяр доказывал недоказуемое, и, когда убеждения не помогали, жалобно просил. Сначала мы рассматривали произведения весьма строго, чисто с технической точки зрения, но когда узнали, что делалось в других отделах, стали щедры. Впрочем, нельзя было решать иным образом вопросы, в которые тотчас вмешивалось национальное самолюбие. Щедрость наша, вдобавок, не разоряла австрийское правительство: все наградные медали были бронзовые, а дипломы стоили только типографских расходов. Между собравшимися русскими различных ведомств, по обыкновению, выказалась зависть. Представители военного ведомства старались негласно унизить морскую выставку, в особенности громадное стальное орудие обуховского завода, созданного, так сказать, морским министерством. Я потребовал, чтобы все выставленное от флота перешло в наш отдел, и без труда склонил товарищей к единогласному присуждению заводу высшей награды — почетного диплома. Лично Краббе, как главному деятелю при введении у нас сталелитейного производства, присудили кооперативную медаль.

Частое повторение выставок с 1851 года поселило в публике равнодушие, на них стали собираться, как на всякое торжество, доставляющее средство проводить время в приятной

праздности. Несмотря на громадность размеров, венский всемирный базар представлял несомненный интерес в одном только отношении. Очевидно, со времени последних выставок в Лондоне и Париже способности человеческие, утомленные ложной потугой к усовершенствованию орудий истребления, с радостью направились по успокоительному пути мирных усовершенствований. Они силятся извлечь из матери-земли преимущественно общеполезные, необходимые для существования и блага человечества плоды, вместо того, чтобы искать в ее произведениях гибельного средства раздоров. Невиданная коллекция земледельческих машин, новые суррогаты и материалы, служащие для одежды, в особенности волокнистые растения различных колоний, наконец, успехи в металлургическом деле ясно высказывали, что знания и искусства со времени последней парижской выставки приняли более полезное и достойное разумного существа направление, хотя в промежутке между выставками горестные случайности подтвердили необходимость быть готовым к разрушительным усилиям.

Сырых материалов, однородных с производимыми доселе одной Россией, была бездна. Распространением своим на европейских рынках эти продукты Америки и отдаленных колоний грозят подорвать наше значение и осязательно указывают, что с этих пор мы обречены на соперничество, немыслимое без распространения у нас мануфактурной промышленности во всех ее видах и родах. Наши богатства, переставая быть единственными в своем роде, должны принимать ту форму, в которой они при несомненном превосходстве сырого продукта могут конкурировать с однородными произведениями других стран.

Мирное настроение промышленности высказалось в особенности тем малым, едва заметным участием, которое приняли в выставке правительства. Единственным серьезным государственным экспонентом явилась Россия. Другие правительства участвовали более, нежели умеренно, и то в смысле общеполезном гидрографическими и гидротехническими работами, отчетами об усовершенствовании путей сообщения, статистическими сведениями о школах и т. п. Франция тщательно избежала выставки воинских принадлежностей, что указывалось недавними обстоятельствами, так поколебавшими ее давнюю военную славу. Зато она особенно позаботилась обнаружить, что понесенное ею неслыханное поражение не имело влияния на развитие промышленностей и работ, служащих к существенному благу края. Помимо поражавшей разнообразием чисто промышленной выставки, она прислала замечательную коллекцию подробных планов работ по путям сообщения и гаваням.

Мы были очень щедры к Франции, как по заслугам, так и по естественной симпатии к побежденным, и присудили ей в одном нашем отделе почетный диплом и 26 медалей. Странно, что французские члены нашей комиссии не могли преодолеть неприязненных чувств к Германии, и когда дошла очередь до оценки немецких произведений, вовсе не участвовали ни в осмотрении, ни в присуждении премии под разными предлогами, а Германия вполне блистала на выставке успехами. Даже все морское — прежде английская монополия — обращало на себя внимание практичностью и в особенности дешевизной, но всего более выдавалась горнопромышленная и металлургическая часть. Мануфактурная германская выставка поражала громадностью и разнообразием, представляя осязательное доказательство быстроты, с которой промышленная деятельность развилась на прусской почве, еще недавно, в пределах человеческой жизни, производившей только рекрут. Развитие это вселяет радостные соображения. Открывается новый источник, кроме Англии, из которого русская промышленность может черпать близкие средства для улучшения, пока соберется с собственными силами. Но соседство успевающей в экономическом отношении страны наводит не увлекающихся теорией ненарушимого мира и на тревожные размышления. Бога-

тые судостроительные и механические средства германского прибережья в соединении с распространяющимися внутри страны, изрезанной железными дорогами, при тесной связи политических интересов ее, невольно ведут к заключению, что как бы ни были нам полезны мирные пособия соседей, их средства вместе и грозны. Страшно подумать о возможности столкновения, тем более сбыточного, что решение гибельного момента зависит преимущественно от одной стороны, приученной обстоятельствами к смелой решимости и охмелевшей от успехов.

В исходе июля кончились мои усиленные труды по выставке, и я думал отдохнуть от волнений различного рода, но вскоре приехал Великий Князь Константин Николаевич, и пришлось еще две недели повторять зады. Он прибыл с надсаженной ногою и катался по зданию в тележке; нам же приходилось бегать за ним с 10 часов утра до 6 вечера под стеклянным колпаком, при 25 и 30 градусах жары, в чисто тепличной атмосфере. Великий Князь бросился на выставку с обычным увлечением и располагал посвятить ей четыре недели. Скоро прибыл сын, Николай Константинович, прямо из Хивы и привез свежие подробности удачного похода. В донесениях о взятии Хивы вышла разноголосица. Кауфман писал, что город сдался без выстрела, а шедший к Хиве из Оренбурга Веревкин уведомлял, что бомбардировал город. Оказывается, что Веревкин подступил прежде и действиетльно бил стены, но еще прежде, перейдя Аму, Кауфман начал переговоры. За трудный поход Кауфман получил Георгия 2 класса. Мы оставили хана на стуле под сильной опекой и тем выполнили обещание, данное англичанам, не присоединять Хиву к нашим владениям. Часть ханства, и лучшую, прикроили, однако же, себе. Вследствие ли удовольствия относительно наших действий в Азии или просто в расчете, что предстоявший семейный союз с Россией будет для Англии выгоден, парламент с готовностью увеличил принцу Эдинбургскому содержание с 15 на 25 тысяч фунтов стерлингов по случаю бракосочетания его с дочерью государя.

Великий Князь Константин Николаевич, принявшийся за выставку с таким жаром, по истечении двух недель совершенно остыл и стал бредить морскими купаньями в Крыму, будто бы необходимыми именно в августе. Он просил меня устроить его путешествие по Дунаю и, как водится, торопил без толку. Предстоял юбилей 25-летнего его супружества. Покидая Вену, великий князь хотел увериться, что супруга, из приличия по крайней мере, прибудет на торжество в Крым, ездил к ней в Мюнхен и, возвратившись, поручил мне направить и ее из Вены; сам же отплыл в Галац, куда должна была прийти одна из яхт.

Придворная служба моя кончилась, и я думал отдохнуть в Феслау несколько дней, а затем отправиться в австрийские порты, порадеть о настоящем деле; но человек поистине может только предполагать. Если бы кто-нибудь вздумал предсказать мне, что я пролежу полгода в постели в страданиях, я счел бы его сумасшедшим — так был уверен в своей неуязвимости, а судьба готовила месяцы мучений и расстраивала расчеты, которым ничто, казалось, мешать не могло. Усталость ли, как уверяли медики, или даже пребывание в полузараженной атмосфере наполненных разными произведениями стеклянных сараев свалили меня на болезненное ложе. Феслау начинал пустеть, материальная жизнь становилась в нем несносной, а венские медики, чистые спекуляторы, более или менее пораженные только что происшедшим денежным кризисом, выказывали полнейшее равнодушие. Слабая жена была фельдшером, сиделкой и слугой. Нравственные причины усугубляли болезнь, и после месячных колебаний и опытов венских эскулапов мы решились переехать в Триест, как один из пунктов, меня занимавших по ремеслу, и вместе надеясь на более человечный уход. Жена посадила меня, обвитого и перевязанного, в купе и перевезла через живописный Земеринг к Адриатическому морю на полугодовые мучения.

ГЛАВА IV

АВСТРИЙСКИЙ ФЛОТ

Предложение из Петербурга. Период тяжких страданий. Легитимистский фарс во Франции. Процесс Базена. Дело «Virginius». Борьба государства с католицизмом в Германии. Несчастный Максимилиан. 25-летний юбилей Франца-Иосифа и Виктора-Эммануила. Свадьба Великой Княгини Марии Александровны. Посещение Петербурга австрийским Императором. Тегеттоф и Персано. Взгляд на австрийский флот. Поездка в Италию. Министр San Bon и посланник Икскуль. Путешествие Государя в Англию.

На выставку в числе прочих приезжал правитель канцелярии морского министерства, Манн. Начальство поручило ему предложить мне место главного наблюдателя за минным деле во флоте, считая меня способным организовать совершенно новую часть согласно требованиям защиты государства, в котором подводная война стала играть первенствующую роль. Будто предчувствуя, что буду долго негоден к деятельности, я отказался, мотивируя отказ необходимостью для жены жить в теплом климате. Сознаюсь, при всей благодарности моей к Краббе, я не решался простирать ее до солидарности с ним в делах служебных. На этот предмет мы всегда смотрели различно, и не было повода заключать, чтобы он изменил свои воззрения, и мне хотелось остаться ему благодарным навсегда.

Болезнь моя, тщетно устраняемая нерешительными мерами венских медиков, приняла по приезде нашем в Триест определенный ход. Начались образовываться глубокие каналы, пошли в дело ножи, и через каждые пять—шесть дней неутомимо внимательный хирург Наджи рылся зондами в бедной ноге моей и кроил ее по надобности. Самые операции были не мучительны, но постоянные ожидания их несколько расстраивали нервную систему. Жена с помощью консула Гирша нашла приятелей, посещавших меня довольно часто и знакомивших меня с внутренним механизмом австрийского флота, но всего более я развлекался чтением, даже в романах, которых прежде не брал в руки, я находил занимательность и усматривал цель. Современные французские писатели держали меня в каком-то приятном настроении. Немощному, слабому любо было находить товарищей в их героях, даже не пытающихся бороться с чем-либо. Английский романтизм имел основой поклонение золотому тельцу. Самые высокие чувства, божественная доброта сердца, благая снисходительность к людским слабостям — все эти прелести, все это духовное богатство непременно соединено с расчетом, прицеплено к широким средствам и значению. Без такой обстановки не было бы ни заманчивости, ни связи, ни развязки. Но преимущественно занимало меня политическое состояние Европы. Я следил внимательно за возникавшими вопросами; им я обязан тер-

пением и постоянным живительным возбуждением душевных сил в положении, для меня непривычном.

Во Франции разыгрывалась недостойная комедия, доказывавшая, что даже неслыханные бедствия не умудрили великую нацию. Из всех случайностей, сопровождавших громовое поражение, Франция помнила только неистовства Коммуны. Массе присущи внезапные страхи и свойственно долгое о них памятование, но государственным людям, обязанным смотреть на события хладнокровно и разумно, испуг не извинителен. Консерваторы вздумали искать спасения в династической законности и обратились к графу Шамбору. Состряпали примирение орлеанской линии с главой Бурбонов, бездетным, следовательно, обещавшим передачу престола младшей отрасли.

Но в состоянии ли был успокоить взволнованную нацию изгнанник, оставивший Францию в детстве, знакомый с ней только по слухам, передаваемым со всей односторонностью партии сорок лет, упорно чуждавшейся общественного движения? Откуда низошли бы на него опытность, уменье, ловкость? Разве свыше? Тогда нечего удивляться, что Генрих V стоял за Божественное право. Как бы то ни было, в правительственных сферах Франции замечалось ненормальное, можно сказать уродливое явление. Непрошеные государственные деятели, не стесняясь, подкапывались под установленное правительство, и правительство не только смотрело на козни равнодушно, но помогало успеху их. Члены национального собрания ездили к Генриху, вели с ним переговоры и давали отчеты неофициальным комитетам большинства. На этих голословных отчетах основывались действия монархистов и надежды их навязать Франции, большинством 8–10 голосов, правительство, которое не может не быть противником понятий, сложившихся в течение последних 80 лет на бедах и крови. Принимая Генриха, Франция должна была посыпать голову пеплом, совершить mea culpa[28] и сознаться, что заблуждалась почти целый век. Возможно ли требовать такого самоотвержения? Извинительна ли попытка унизить целый народ стачкой нескольких избранных? Общее стремление во Франции, очевидно, выказывалось в пользу республики, и правительство, уверенное в том не менее самих республиканцев, не дозволяло пополнять вакантные места в собрании новыми выборами, несомненно переместившими бы ничтожное большинство на сторону антимонархистов.

Вообще монархическая интрига велась с наглостью и цинизмом, на которые способны только предержатели власти во Франции. К счастью, по свойственному французам легкомыслию, недостаточно подумали о самом существенном. Генрих уперся в принцип, сохраненный им в сорокалетнем схимничестве. Он хотел царить Божьей милостью, не допускал иной хартии, кроме исходящей от его доброй воли, и рыцарски отстаивал белый флаг. Искажали ли парламентеры его слова или сам он выражался неопределенно, три месяца прошли в переговорах. Монархисты успокаивали Францию обещаниями со стороны Генриха уступок современным требованиям, но дело должно было придвинуться к развязке. 9 ноября открылась сессия; вопрос о форме правления был на первой очереди. Кукла Мак-Магон, до сих пор державшийся в стороне, будто вопрос вовсе до него не касался, вдруг заговорил и на каком-то приеме выразился, что если вздумают уничтожить трехцветное знамя, les chassepots partiront d'eux mêmes,[29] а удачное слово ценится во Франции более самого обдуманного действия. Трудно угадать, что произошло бы из всех этих сплетней и фокусов, но Генрих оказался истинным патриотом. Увидел ли он, что корона, присужденная странно сложившимся большинством десятка голосов, никогда не будет держаться твердо, вознегодовал ли он при мысли быть возведенным на родовой престол темной интригой, рассудил ли, что неразумно в известном возрасте класть на весы долговременное

спокойствие с кратковременным величием, или, наконец, увлекся доводами жены, видевшей в его воцарении начало бед и даже ужасов, — перед самым сбором представителей кандидат большинства обнародовал письмо, в котором упорно стоял в своих ультра-монархических требованиях, предлагал себя каким был, короче, сделал себя невозможным. Нить хитросплетений мгновенно оборвалась, и Франция осталась в неопределенности. Великие soi disant[30] государственные люди держали даром страну в волнении целые месяцы, силились дать ей не отвечающие общим желаниям правительство каким-то фокус-покусом. О Франции вовсе не думали. Выходит, недавний урок прошел бесследно, и не одни Бурбоны n'ont rien oublié, ni rien appris.[31]

Но Франция, по-видимому, избранник провидения. Если бы умы имели время углубиться в подробности монархической стряпни, размышление родило бы, вероятно, новое брожение, а от него до переворота во Франции даже менее шага. На счастье, подоспел процесс Вазена. Суд над маршалом отвлек общество от анализа произведенной вопреки его стремлениям монархической попытки, и французы сорвали сердце над несимпатичным, но все-таки злополучным маршалом. Презус комиссии, герцог Омальский, выказал такт и твердость. Подсудимый был единогласно приговорен к смертной казни с единогласной же просьбой суда о помиловании. Мак-Магон разжаловал прежнего товарища без соблюдения установленных регламентом формальностей и заточил его на двадцать лет в крепость. Я назвал Базена злополучным вовсе не из сочувствия к нему. Человек с сердцем и должными понятиями о чести нашел бы в его положении нужное вдохновение. Не менее того трудно каждому, в особенности военному, бороться между привязанностью к отечеству, тем или иным способом покинувшему это знамя. Решимость в таких случаях безошибочнее основывать на указаниях сердца, нежели на расчетах ума.

К концу года Испания среди внутренних смут едва не была вовлечена в войну с Американскими Штатами. Испанцы захватили пароход «Virginius» под американским флагом, пытавшийся высадить помощь кубинским инсургентам. Они нагнали его уже в водах Ямайки и расстреляли испанско-зверским образом весь экипаж и пассажиров. За оскорбление флага североамериканцы требовали немедленного возвращения парохода и прекращения дальнейших казней. Кубинские власти выполнили предписание мадридского правительства об отдаче парохода, но когда дело было сделано, юристы Штатов решили, что «Virginius» вовсе не имел права поднимать американский флаг. Дипломатически янки потерпели полный fiasco, но в глазах филантропов увенчали себя лаврами. Презрение испанцев к человеческой жизни, лично мною замеченное на Кубе, и вообще зверская жажда крови не раз заставляли меня задумываться о причинах явлений, выходящих из круга общественных заблуждений нашего времени. Прихожу к заключению, что эти жесткие черты характера испанцев нарезаны историей народа. Испанцы были первыми колонизаторами, следовательно, не могли еще иметь сложившихся гораздо позднее понятий о взаимной пользе колоний и метрополий. Они обращались с туземцами, как с произведениями царства животных, созданными для удовлетворения человеческих нужд, не более. В то же время дома инквизиция приучала их к кровавым сценам. И этот навык к ожесточению, притупляющий жалость, поддерживается ныне петушьими драками, боями быков и т. п.

Англия должна была также вмешаться в дело, ибо пароход схватили в ее водах, но видя, как яро взялись американцы за вопрос, John Bull успокоился в уверенности, что за него вынут из огня каштаны даже с золою.

Самым выдающимся фактом в конце 1873 года был общий взрыв в Германии против папизма, отозвавшийся в Швейцарии. В Герма-

нии началась правильная борьба с католицизмом а coups de loi,[32] а Швейцария, привыкшая к республиканской Sans-façon,[33] выпроводила папского нунция. Неужели возвращение к религиозным войнам еще возможно? Во всяком случае, вопрос чреват бедами.

Сильная натура моя легко одолевала следы вторжения зондов и ножей. Раны закрывались быстро, и в исходе декабря я мог умеренно пользоваться воздухом в удобном экипаже. Погода стояла прекрасная, пресловутой боры я не чувствовал в комнате, облитой солнцем, хотя однажды она ревела с такой силой, что опрокинула около Фиуме железнодорожный поезд. Катастрофа случилась на крутом повороте рельсов, что еще более утвердило меня в заключении о невероятности приведенной железнодорожными властями причины несчастия.

Никто так не возвращает к детской остроте ощущений, как долгое насильственное отчуждение от природы. Я тешился, как ребенок, катаясь по окрестностям Триеста после 75-дневного заточения, хотя лета восторженности миновали и проза сути беспрестанно навязывалась при виде прекрасно содержимых путей и среди толпы, пестревшей на гулянье S-ta Andrea. Триестинский Bois de Boulogne этот прелестно однообразен.

Все время едешь по краю моря в одну сторону необъятного, беспредельного, в другую окаймленного возвышенностями Муджии и Каподистрии.

Судя по рассказам сослуживцев, я нахожу большое сходство между грустной жертвой обстоятельств, прежним начальником австрийского флота, и нашим генерал-адмиралом. Та же впечатлительность, те же порывы к достойному и та же нестройность, перемежаемость в исполнении задуманного. У нас в Европе нещадно клеймили мексиканцев за смерть Макса. Ввели в нравственный кодекс пословицу, постановляющую, что нечестно иметь два веса и две меры, а посудите, лучше ли исполняют ее, нежели все другие законы. В Европе с революционерами и заговорщиками не церемонятся; разве революция выражает нарушение только монархического строя? Она есть нарушение существующего государственного порядка вообще, и в глазах мексиканцев Макс был революционер, каких прежде Мексика видела много. Дивятся, как мексиканцы не обратили внимание на высокое происхождение Макса, но чтобы питать особенное уважение к августейшей родовитости, нужно быть воспитанным в монархических началах. Мексиканцы не могли иметь этого искусственно прививаемого воззрения. Мне кажется, легко быть стойким монархистом и всетаки допускать, что иноземец, хотя бы августейший, приходя непрошеным нарушать прежний порядок в стране и устраивать новый, должен заранее мириться со всеми случайностями, ожидающими революционера.

Во время отдыха, которым пользовался при облегчении болезни, пришлось принять участие в праздновании 25-летнего юбилея царствования Франца-Иосифа. Казалось, не было особенного повода придавать торжественность обстоятельству, напоминавшему, что в последнюю четверть столетия Австрия страшно упала политически.

В Триесте много incorrigibles,[34] мечтающих об итальянском отечестве, хотя Италия их знать не хочет, и день присоединения к ней был для Триеста днем разорения в пользу Венеции. 25-й юбилей итальянского короля почти сошелся с юбилеем австрийского обобранного им «брата и друга». Натешившись дома разбросанными в улицах петардами, триестинские italianissimi[35] послали Виктору-Эммануилу поздравление с выражением надежды стать его подданными.

Ловкий Немврод благодарил искренно и кончил ответную телеграмму обрывистой фразой: «L'Italia e gia fatta». Триестенцы попались в тенета, ими же раскинутые. Поступок их действительно бессмысленный. Триест — город барышников без всякой национальности. Жители его должны смотреть на политичес-

кие вопросы преимущественно с точки зрения выгодности. Какие же выгоды может доставить им итальянское владычество? Будучи вне коммерческой и промышленной жизни Италии, может ли Триест ожидать, чтобы итальянское правительство холило его в ущерб исторически-итальянской Венеции? Теперь же он главный порт Австрии, поневоле доставляющей ему возможные выгоды. Притом сторонников Италии в городе мало, хотя господствующий язык итальянский. Это наследство прежнего венецианского ига и близких непрерывающихся сношений с Венецией, когда она была еще австрийской. Итальянское наречие обще всему средиземному побережью, и в этом случае тождество языка вовсе не доказывает политического сродства. Между тем, italianissimi пользуются каждым случаем для демонстрации и в театре по поводу итальянского юбилея шумели неистово. Власти в подобных обстоятельствах скромно сторонятся, считая демонстрацию просто забавами.

Против ожидания болезнь возвратилась и снова повалила меня слишком на два месяца. Под излеченными почти ранами оказался будто слепок с них. Снова пошли в ход ножи, и бедная жена начала предаваться отчаянию. Я помирился с мыслью не быть жильцом мира, и только страх остаться нуждающимся в чужой помощи калекой тревожил меня. Уже распускали слухи о необходимости ампутации ноги в самом паху и о вероятности пагубных последствий. Но здесь помогли вести из России, занимавшие меня и отвлекавшие от грустных дум. С новым 1874 годом государь, манифестом, поручил народное образование верному дворянству и тотчас же назначил правительственных инспекторов в каждый уезд. Вышел, наконец, указ об обязательной службе. Без сомнения, он ослабится в приложении. Обязательная служба – меч обоюдоострый, безопасный для государственного строя только при всеобщем развитии, при общественной дисциплине и широкой гласности; а когда мы добьемся этих условий?

В Петербурге сыграли свадьбу герцога Эдинбургского с Великой Княгиней Марией Александровной. На свадьбу съехалась вся английская, немецкая и датская родня. Смерть фельдмаршала Берга, прибывшего на торжество из Варшавы, омрачила было пиршество, но тело увезли в деревню, одного немца заменили другим.

С перемещением Коцебу рухнуло, наконец, Новороссийское генерал-губернаторство, и, вероятно, теперь не задумаются учредить Таганрогскую губернию на счет сумм, сбереженных от расходов на главную власть в крае и ее причт.

Новая связь царственного дома обещает пользу для России. Семейные требования будут чаще привлекать правителей наших в Англию и, может быть, кое к чему они там присмотрятся. В день бракосочетания государь помиловал некоторых политических преступников. Прекрасный прецедент, показывающий, что политические преступления начали считать заблуждениями, заслуживающими временной только кары.

Тотчас после свадьбы прибыл в Петербург австрийский император. Политике мщения настал конец. Журналисты начали вкривь и вкось догадываться о цели свидания императоров и приписывали его намерению решить восточный вопрос. Правда, при ослаблении Франции, теперь самое благоприятное для того времени, и если бы правительства не были склонны действовать по поговорке aprés moi le deluge,[36] странному господству мусульман над христианами в христианской Европе настал бы конец. Рано или поздно придется рассечь этот гордиев узел, но в другое время прольется много крови, а теперь можно устроить дело без важных жертв. Бисмарк и Горчаков достойно кончили бы свое поприще, если бы связали свое имя с изгнанием из Европы начал правления, основанных на Коране. Не менее того, за отсутствием малейших признаков подобной решимости, трудно догадаться, в чем публицисты усмотрели такое намерение.

Не следовало ли австрийскому императору отдать визит царю, протянувшему руку примирения? Правда это чересчур просто и не поразительно, а пресса живет поражающими новостями.

Ряд празднеств, как водится, протянул австрийского императора сквозь пустоту официального посещения венценосного соседа. Не забыл, однако ж, Франц-Иосиф поклониться гробу своего покровителя и нашел время съездить в замерзший Кронштадт. За обедом в честь гостя государь выразился, что дружеские отношения его с германским и австрийским императорами и с королевой Викторией вернее всего обеспечивают европейский мир. Конечно, государь не мог опустить Виктории в присутствии принца Валлийского, но мне показалось, что тост не понравится в Англии, упорно следующей правилу, что родственные связи двора не должны влиять на ее политику. Коротая время между операциями, я с особенной охотой решил судьбу Европы в кружке собиравшихся утешителей и тогда же выразил опасение, что Англия поспешит напомнить нам пословицу: «Дружба дружбой, а служба службой». И действительно вскоре она выказала сопротивление собравшемуся по личной инициативе государя конгрессу в Брюсселе, пытавшемуся, так сказать, регламентировать ужасы войны.

Тотчас по возвращении австрийского императора из Петербурга прибыл в Триест эрцгерцог Вильгельм. Не совершенно еще здоровый, я поднялся, однако ж, с постели и обедал у эрцгерцога, остановившегося возле меня в трактире. Вильгельм только что видел возвратившегося императора в восторге от сделанного ему приема. Упрочились, по-видимому, самые дружественные отношения. Дай только бог, чтобы новый тройственный союз был проникнут идеями мира и постепенного прогресса.

По мере укрепления сил я входил в исследования об австрийском флоте. Триест с его частными верфями — главное строительное адмиралтейство Австрии. Для наблюдения за исполнением правительственных надобностей здесь есть главный командир по морской части. Должность эту исправлял контр-адмирал Петц, женатый на русской, Нарышкиной. Петц, один из героев Лиссы, рассказывал мне некоторые подробности знаменитого боя. Когда он свалился на деревянном корабле «Kaizer» с итальянским броненосцем «Re di Portogallo», адмирал Персано на «Affondatore» дважды бросался на него и, конечно, потопил бы загоревшийся при свалке «Kaizer», но каждый раз, встреченный залпами, отворачивал. Говорили, будто на «Affondatore» повредился механизм башни, но для потопления австрийского корабля вовсе не требовалось выстрелов — итальянцу стоило только ударить его носом. Впоследствии, в откровенных беседах с участвовавшими в бое итальянскими офицерами, между прочим, с бывшим командиром «Affondatore» Мартини, я узнал психологическую странность Персана. Еще в 1845 году я познакомился с стяжавшим столь жалкую известность адмиралом. Тогда он командовал маленьким бригом и только что воротился из кругосветного плавания, первого в истории сардинского флота. Трудно было представить себе более энергическую личность. И впоследствии Персано неоднократно выказывал в море полное презрение к опасности и хладнокровное мужество. Эти обнаруженные им качества и повели к назначению его главнокомандующим флотом в последнюю войну с австрийцами. Всегда бодро и смело воевавший с стихиями, Персано становился иным человеком в пороховом дыме и, как свидетельствуют очевидцы, прибегал к возбуждению в себе так называемой «голландской храбрости».[37] Понятно, что он не мог бороться с Тегеттгофом, решительно и неуклонно выполнявшим однажды обдуманный план. Другой сподвижник австрийского адмирала, Милосич, рассказывал мне, что Тегеттгоф получил известие об атаке Лиссы, стоя у Полы, на рейде Фазана. Ему посылали из Вены беспрестанные напоминания не жерт-

вовать флотом и заботиться преимущественно об Истрии, предоставляя Далмацию ударам неприятеля. Венские власти полагали, что атака Лиссы — военная хитрость, что, привлекши туда австрийские морские силы, итальянцы пустятся к северу вдоль своего берега и ударят на Триест. Тегеттоф не поддавался выводам венских стратегиков, хотел схватить быка за рога и собрал совет единственно с целью решить, следовало ли идти на итальянцев тотчас или подождать, чтобы они потерлись об укрепления Лиссы. Австрийцы снялись через 24 часа и встретились с противниками, уже охлажденными неудачей. Атака Лиссы была отбита гарнизоном.

Поднявшись на ноги, я сделал им предварительное испытание по многочисленным заводам и верфям Триеста, а потом отправился в Полу. Меня приняли весьма любезно, как первого официального русского, посетившего порт по возобновлении дружественных сношений между двумя государствами. Во все время моего пребывания я имел в распоряжении экипаж главного командира и пароход, а главное, мне дали чрезвычайно приятного чичероне, лейтенанта Зембаха, родом бельгийца. В австрийском флоте можно встретить всякие национальности, даже евреев.

Меня тотчас ввели в клуб, без чего существование в Поле было бы незавидно в материальном отношении. При входе моем сыграли наш гимн, и вообще все общество офицеров выказало ко мне большое внимание. Я заметил огромную разность между настоящими австрийскими моряками и теми, над которыми посмеивался с товарищами 35 лет прежде. Любовь к делу, при чрезвычайно симпатичных формах простоты и скромности, невольно располагают в их пользу. Везде — в клубе, в салонах, даже на службе — заметны единодушие и дружество, основанные на взаимном уважении. Происшедшая за мою жизнь перемена очень заинтересовала меня, и я старался, по внешним, по крайней мере, признакам, добиться тайны перерождения австрийского флота.

Пола создалась последние 25 лет, после того как события 1848 года выказали Австрии, что она не может рассчитывать на свои итальянские владения. Те же события побудили австрийское правительство стараться, чтобы флот его стал национальным, если выражение это применимо к чему-либо австрийскому. До того времени персонал состоял почти исключительно из людей итальянского происхождения, естественно отдавшихся судьбам своей родины. Несмотря на жестокий урок, привыкшее к патриархальности правительство преследовало свою цель весьма вяло. События 1859 года насильственно вызвали его из усыпления; с этого времени начинается новая эра австрийского флота — он становится национальным. Между прежними моряками — итальянцами было, однако ж, немало таких, которые, по привычке к заменам иди по нежеланию подвергать перемене жизнь, доведшую их старой колеей до преклонных лет, не приняли ни малейшего участия в отчуждении от Австрии ее итальянских владений. Не желая наказывать невинных, но вместе решившись искоренить в высших слоях флота чуждый элемент, правительство удалило из действительной службы лиц итальянской национальности под различными предлогами, назначив отчужденным пенсии. Эрцгерцог Максимилиан занялся очищением флота со всей ревностью патриотической молодости и энергией, свойственной пылкому характеру, освобожденному от стеснений исключительным положением. Тегеттоф, занимавший место начальника флота после удачи его под Лиссой, шел по следам предшественника со своей неизменной настойчивостью и опытностью и вдобавок децентрализовал управление флотом. Все вопросы стали возникать, обсуждаться, а некоторые даже решаться в месте пребывания флота, в живой среде действительности. С этой целью Тегеттоф сократил центральное

управление в Вене до пределов, указуемых только требованиями единства бюджета и общих по флоту распоряжений. Собственно линейным офицерам предоставлена была главная роль в развитии морских сил. Участие в направлении, а не в исполнении только, как было прежде, возбудило дух целого сословия и заставило всех смотреть на флот, как на произведение общих усилий.

Переворот совершился быстро, но быстрота не нанесла ущерба личному составу. Очевидно, в деле руководились расчетом и размышлением. В физическом смысле я застал корпус австрийских моряков в самых лучших условиях. При всякой системе непременно окажутся сухие плоды. Не все способны к деятельной службе на море в течение долгой жизни. Отставшие от моря, но выказавшие служебное усердие употреблялись на береговые обязанности в адмиралтействах и в портовых управлениях. Они сохраняли содержание и преимущества, но редко производились и состояли в особом списке. В действительный список включались те только, которые были способны и готовы во всякое время предаться морской деятельности. Управлявшие департаментами и отделениями центрального управления, также состоявшие в высших административных учреждениях в портах, оставались в линейном списке, но были обязаны возвращаться через три года к прямому морскому делу. Разумная противоположность тому, что происходит в нашем флоте. У нас самые способные, увлекаясь выгодами содержания и удобствами береговой жизни, силятся попасть в администрацию, крепко держатся за свою несменяемость и в конце концов совершенно отвыкают от жестких условий жизни на море, теряют навык мгновенной находчивости и командования. Флот иссушается, и администрация переполняется залежавшимися способностями.

Должный взгляд на образование и поддержку личности отражался блистательно на австрийском флоте в мое время. За исключением главного командира Полы, адмирала Бургиньона, праздновавшего при мне 50-й юбилей службы, остальные шесть адмиралов имели от 44 до 54 лет отроду и состояли на службе от 26 до 36 лет; срок службы от 21 года до 26 лет. Лета лейтенантов изменялись между 27 и 40, продолжительность службы от 12 до 22 лет. Между мичманами один только был 19-летний, остальные имели от 21 года до 30 лет возраста и состояли на службе от 3 до 14 лет. Очевидно, высшие чины обладали достаточной опытностью и физической способностью одолевать лишения трудной службы, а низшие могли удовлетворять по возрасту и навыку к делу требованиям собственной инициативы и ответственности, нераздельных на море с обязанностями даже подчиненных лиц. Четверо адмиралов и тринадцать капитанов участвовали в бою при Лиссе и в действиях на озере Гарда, будучи уже командирами судов разных рангов. Половина субалтерн офицеров находилась в этих славных для австрийского флота делах в различных подчиненных положениях. Сопоставя обычный результат известного срока служения с количеством, выражающим боевую опытность, окажется, что личность австрийского флота дает право правительству полагаться на него в случае нужды.

В материальном отношении австрийцы удачно силились не отставать от новых требований корабельной архитектуры, хотя добились славы и известности с старыми деревянными броненосцами типа «Gloire». Впрочем, бой под Лиссой не представляет данных для технических выводов. Он подтверждает только давние аксиомы: морскую силу нельзя создать вдруг, в данный момент, и человек с его нравственной силой всегда будет решителем достоинства средств, которые дают ему наука и промышленность. Итальянцы не только не имели на своей стороне этих условий успеха, но даже не были сплочены дисциплиной, залогом всякого соединенного военного действия. Впервые сошедшиеся на поле общеитальянского патриотизма неаполитанцы, вене-

цианцы и генуэзцы не успели еще отчудиться от патриотизма приходского и ввели в дело новой отчизны мелкие самолюбия местного землячества. К этой язве нужно еще прибавить отказ иностранцев-механиков от службы накануне атаки Лиссы, доставку новых пушек и снарядов на некоторые корабли перед самым выходом флота из Анконы и, наконец, невежество только что набранных экипажей, стрелявших часто в неприятеля холостыми зарядами. Взвесив все данные, нужно прийти к заключению, что итальянский флот был выслан неосновательной настойчивостью пораженного на суше правительства на новое еще более постыдное поражение и что успех австрийцев, владевших устарелыми, боевыми средствами, не дозволяет сделать выводов, даже отчасти способствующих ясному пониманию новых условий борьбы на море.

Но если бой на Лиссе не представил ничего удовлетворительного в чисто техническом отношении, он указал на военно-административные промахи победителей, не говоря уже о побежденных, и на некоторые тактические особенности новых боев. Перед сражением на Лиссе австрийская эскадра делала рекогносцировку и появилась на Анконском рейде. Там стояла жалкая итальянская армада, ставшая легкой жертвой, с начальником, понуждаемым на безумную решимость ошеломленного кустоцким разгромом властью и вдобавок терзаемым глухим неповиновением подчиненных и их раздорами. Постоянные напоминания австрийского правительства беречь флот не остановили бы Тегетгофа точно так же, как через месяц он не задумался схватиться с противником в шесть раз сильнейшим для освобождения Лиссы; но австрийцы ничего не знали об итальянском флоте, не знали даже, что противники не имели подводных мин. Боязнь их остановила начальника, до конца жизни пенявшего, что правительство его не имело никаких сведений о военно-морских средствах Италии. Если бы перед войной австрийцы содержали с этой целью усердного агента, все потраченные на скорое сооружение итальянского флота суммы, потраченные, правда, со всей слепотою энтузиазма, повели бы к конечному бесславию. Итальянский флот был бы истреблен ударами штевней,[38] почти без выстрела, и такого результата австрийцы достигли бы, имея не более четырех месяцев впереди противников. Только за четыре месяца австрийские силы были соединены в руках известного по репутации начальника, пользовавшегося безусловным доверием подчиненных, но все же большая часть не знала его лично, не подчинялась никогда его непосредственному влиянию. Чего же можно ожидать от эскадр, постоянно содержимых в соединенном составе, в которых люди всех званий сродняются взаимной уверенностью? Войны в наше время не длятся; будущие морские сражения, вероятно, поведут к совершенной гибели одного из противников; первый удар в большинстве случаев будет и последним — и мудрость содержания постоянных практических эскадр, готовых ринуться в дело тотчас по объявлении войны, не может, кажется, подлежать сомнению.

В тактическом отношении успех австрийцев выказал, что исход дела главнейше зависит от первого натиска. Несмотря на довольно сильный ветер, противники с первого момента были охвачены такой тучей дыма, что с трудом распознавали своих от чужих. Командир флагманского фрегата, капитан Доблевский-Штернек, сообщивший мне многие подробности битвы,несмотря на возвышенное положение свое на вантах, дважды боднул своих прежде нежели потопил ударом штевня «Re d'Italia». Если подобное простое средство, совершенно почти зависящее от воли одного человека — и самого развитого в экипаже, — в бою паровых судов оказывается не совершенно безопасным для своих, то не извинительно ли сомневаться в верности взгляда наших тактиков, думающих решать бои откидными и буксирными минами, когда действие ими требует опытности, хладнокровия и знания дела

со стороны многих лиц, в том числе простых матросов.

Опыт Лиссы утвердил убеждение австрийцев в действительности удара штевнем, и они приняли за тип казематированные корабли, стреляющие по носу из нескольких орудий перед самым налетом на неприятеля. Таких кораблей при мне осталось пять, да сверх того изготовлялись два винтовых фрегата и два корвета — и это при бюджете в восемь миллионов рублей. Я выставил строительные подвиги австрийцев в моем отчете с особенным напряжением, чтобы сравнили их восемь миллионов с нашими двадцатью пятью и устыдились, коли сохранили еще чувство стыда. Все эти постройки производятся тремя частными заведениями в Триесте, не получающими никаких определенных субсидий. Только беспристрастно распределяемые правительственные заказы поддерживают заведения, вполне заслуживающие доверия.

С любовью принялся я за прежнее знакомое дело, проводил целые дни в тщательном осмотре учреждений, отличающихся компактностью и разумной группировкой. Найдя в Поле пустыню, австрийцы не встречали никаких препятствий к выполнению хорошо обдуманного плана и создали одно из самых удобных военных адмиралтейств в Европе. Его выгоды, описание всех составных элементов флота, организации управления им, боевой и нравственной силы, короче, все данные для верного заключения действительности были мною изложены в подробном, но, к сожалению, слишком длинном отчете. Поневоле хваля австрийцев, пришлось порицать своих. Должен, однако ж, сказать, что резкость моя была приписана похвальным побуждениям, иначе не согласились бы на мое представление и не наградили бы орденом моего любезного чичероне, как он себя называл, адъютанта Зембаха.

Маленький прибрежный пароход перевез меня из Полы обратно в Триест. На пути заходили в Фазану, Терано, Чита-Ново, Умаго и Паренцу — места, напоминающие прежнее венецианское владычество, грустное и жестокое. Венецианцы будто были уверены, что хозяйничали временно, и с ожесточением изменяли самую природу, истребляя леса и запружая стоки.

Наступил, наконец, день отправления из Триеста, где неприятная случайность задержала меня более полугода. Помечтали о горьком прошлом, дали себе слово скорее забыть его и с веселым настроением духа отправились в конце марта в Италию.

Главнейшей целью моей итальянской поездки в этот раз было ближайшее знакомство с морскими учреждениями края. Я начал в Риме встречей с новым энергическим министром San-Bon, единственным итальянским офицером, вышедшим с честью из Лисской кампании. Он вбежал в залив св. Георгия на своем Soit disant броненосце «Formidabilé»[39] и так пострадал от фортов, что не мог принять участия в бою с Тегеттофом, происходившем на другой день. Новый министр желал прежде всего поднять дух сословия и своими назначениями явно выказывал, чего требует от флота. Случай в Картагене, где капитан Ами-Зага молодецки вступился за соотечественников, угрожаемых инсургентами, пришелся как раз вовремя, и San-Bon назначил борзого капитана начальником своего кабинета. Министерство помещалось в монастыре, часть которого была занята монахами. Их не успели еще выгнать при внезапности перенесения столицы.

По обязанности сблизился с нашим посланником Икскулем, когда-то встреченным мной в Берлине, где он весьма долго был секретарем, насколько помню, без всякой надежды на высший дипломатический пост. Впоследствии его перевели в Вену, и там, в отсутствие посланника Мейндорфа, Икскуль выказал неожиданные способности, понудившие вызвать его из забвения и доставившие ему одно из самых приятных положений.

Он познакомил меня с маршрутом государя, отправлявшегося в Англию взглянуть на семейный быт любимой дочери. Яхты «Дер-

жава» из Балтики и «Ливадия» из Черного моря прибыли в Флессинген, и царь отправился в Альбион с великими князьями Константином, Алексеем и морским своим штабом. Встретивши впоследствии товарищей, участвовавших в поездке, я узнал от них подробности различных приключений, без которых не обходится ни одна поездка государя по морю. Не допуская, чтобы закон прилива и отлива был обязательным для лица, стоящего выше закона, снялись из Флессингена слишком поздно и стали на мель у конца молы. В висячем положении на откосе молы пробыли до следующего прилива и тогда отправились не в Гревзенд, как было назначено по программе, а в Дувр, ибо в Гревзенде, ради того же естественного закона, невозможно было бы выйти на берег. Перемена пути произвела в Лондоне страшную суматоху. Пришлось наскоро отменить все встречные распоряжения, сделанные в расчете, что государь прибудет в Гревзенд, и все встречавшие, начиная с принца Валлийского, ринулись в Дувр. Королеве также пришлось ждать высокого гостя до позднего вечера в Уиндзоре. Взамен печальной неудачи государь употребил возможные усилия понравиться англичанам в течение шести дней, проведенных им в Англии, принял встречу в Сиденгамском хрустальном дворце и тем удовлетворил меркантильные аппетиты «страны» (на такого льва собрались смотреть десятки тысяч), а потом выказал уважение к вековой свободе Англии, посетивши in stato Гильдгалл[40] и принявши адрес от корпорации Сити.

ГЛАВА V

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФЛОТ МИННОЕ (ТОРПЕДНОЕ) ДЕЛО

Итальянский флот и морские учреждения Италии. Мое решительное доверие к минам Уайтхеда.[41] Программа нового итальянского морского министра.

Я говорил уже, что главнейшая цель моей поездки в Италию было знакомство со всем, относящемся к морским силам государства, назначенного по географическому своему положению играть первенствующую роль на Средиземном море.

Прежде нежели представлю воззрения мои на итальянские морские силы, считаю нужным выяснить, как сам я смотрел на мою обязанность. После треволнений полуполитической жизни я получил покойное независимое положение, в котором мог соприкасаться к любимому делу и быть в некоторой степени полезным, не жертвуя убеждениями. Мне предстояло пристально вглядываться, замечать и сообщать о замеченном с моими заключениями. Должен сознаться, что, желая провести мои воззрения в наше морское управление, я старался всегда прикроить замеченное к нашему строю, или лучше расстройству, и нередко бил на чужеземных спинах то, что видел на наших собственных. Опыт бесплодной энергии указал мне мягкие формы. Я не ратоборствовал уже, как прежде, но едва ли упускал сущность ради помыслов о личном благосостоянии. Сообщая о всех нововведениях, я излагал общие взгляды на морские силы и учреждения государств, состоявших в моем районе, и начал я с Австрии. Относительно ее флота и управления им сосредоточенность морской деятельности в Триесте и Поле дала мне легкую возможность составить нечто систематическое и целое. Притом в Австрии после недавних успехов взгляды на морское управление уже установились, и я не видел никаких колебаний во взглядах на флот как элемент государственной защиты. Цель его определилась результатами последней войны и настойчивостью Тегетгофа. К ней дружно стремились управляющие и управляемые. Совсем иное происходило в Италии, только что достигшей единства не победами и успехами, а бедами и поражениями. Последняя война не выказала ни одной хорошей стороны в организации итальянских морских сил; напротив, убедила, что следовало все изменить или, вернее, создать вновь. Я застал самое начало возрождения итальянского флота. Взялись за соглашение разнородных элементов, флот составлявших, и к требуемым переменам приступали с осторожностью, памятуя, что различные местности недавно еще имели совершенно различные интересы и были сшиты на живую нитку поспешным объединением.

В таких условиях замечания мои невольно имели характер замечаемого, т. е. не представляли ничего конченного, определенного. Заношу их в хронику моей деятельности с черновых копий донесений. Объехавши в первый раз итальянские морские учреждения и познакомившись с главными деятелями, я писал следующее:

«В настоящем положении морских учреждений Италии едва ли возможно, во всяком случае бесполезно, представлять систематический обзор, подобный сделанному мною австрийским учреждениям. Настоящее время не только переходное, но совершенно неопределенное. Прежняя организация, составленная наскоро, рядом с столь же скорым объединением Италии, оказывается несостоятельной для распоряжений и мер, которыми должна проявляться уже окрепшая государственная власть. Организация эта существует еще на бумаге и ограждается еще действующими законоположениями, но в общем убеждении не отвечает настоящим надобностям и все стараются сколько можно реже обращаться к устаревшим постановлениям. Вместе с тем, требуемая обстоятельствами реформа еще не произведена; скажу более — производится по многим причинам с такой осторожностью и медленностью, что перемены едва заметны».

«Помимо плачевного состояния финансов, главнейшим препятствием к преуспеянию всех органов защиты, да и вообще государственной жизни Италии, служат избыток местной славы, составных частей ее и землячество, доходящее в только что сложившейся национальности до весьма резких политических оттенков. Никакая энергия не в состоянии наложить безнаказанно руку на заведения столь бесполезные, как, например, венецианское адмиралтейство, или неаполитанское, стол же устаревшее и вдобавок обреченное в легкую добычу неприятелю».

«Историческая слава в одном случае, местное самолюбие и выгоды жителей прежней столицы в другом мешают принять какие-либо радикальные меры, и правительству объединенной Италии выпала новая в летописях мира задача — собрать и образовать государство из частей, разъединенных славными вековыми преданиями. По указанию истории на это способна только власть, не связанная народным представительством. Период правительственного самовластия, столь необходимый для соединения разнородных частей в одно крепкое целое, для новой Италии не существовал, и правительству выпал многотрудный подвиг: с палатами и широким представительством изгладить следы средневековых республик и новейших делений полуострова для нового, общего отечества. Явление, как я сказал, небывалое (разве в федеративной форме) и столько же исключительное, как поражающий факт государственного роста Италии, основанного не на славе и победах, а на поражениях и унижении. Что бы ни вышло в будущем из этих новых способов создавать и укреплять нацию, в настоящем они имеют задерживающее влияние и мешают власти выказывать полезное действие. Не только невозможно уничтожить ненужные учреждения, но столько же трудно отделаться от бесполезных личностей. Местное самолюбие тотчас припишет это гонению на целую составную часть нового государства, и Неаполь, если коснутся моряков его, взросших в тлетворной атмосфере и не желающих здорового воздуха, заключит, что правительство из Пьемонта не умеет отрешиться от местного происхождения, хотя во флоте и армии только прежнее сардинское начало заслуживает сохранения».

«В материальном отношении поспешное образование итальянского флота, шедшее в уровень с столь же горячечным образованием государства, совершилось именно в то время, когда наука указала только на новую систему, но далеко не утвердила понятий об условиях и качествах новых флотов. На всех верфях Европы и Америки создавались наскоро будущие защитники могущества Италии на море, оказавшиеся, как должно было ожидать, первы-

ми пособниками ее унижения. Громадными средствами соорудили грозную числом армаду, столь ничтожную в действительности, что нынешний министр — в этом величайшая его заслуга — смелой вступительной речью сорвал повязку с глаз правительства и народа, потребовавши, чтобы половина флота немедленно была продана на слом. Действительно, одним взглядом можно убедиться в совершенной негодности семнадцати из двадцати двух броненосцев Италии. Следы Лиссы оставлены на них неизглаженными, будто с целью выказать, до какой степени броня их не отвечает назначению. 30-фунтовые ядра почти проникли ее и самое слабое из существующих корабельных орудий пробьет каждый из так называемых броненосцев с легкостью прежних деревянных судов, но с большею опасностью для экипажей. Не считаю нужным говорить при этом о морских качествах судов, далеко не удовлетворяющих самым незначительным требованиям».[42]

«Указываю в самом начале не нравственные и материальные условия итальянского флота, чтобы по ним можно было заключить о действительности его в настоящий момент и о степени внимания, заслуживаемого им в каких-либо расчетах. Такое состояние, что бы ни делал ретивый и понимающий дело министр, продолжится до общего улучшения итальянских финансов и до того времени, когда, по естественному закону, сойдут с поприща люди, привыкшие к прежней патриархальности и вместе избалованные усилиями столиц и городов, как Генуя, а теперь грызущие себя в единственном пункте, годном для арсенала, но пока еще не доставляющем развлечений, — в Специи».

«Желание нового министра привести управление флотом и самый флот в состояние, соответствующее требованиям правильного строя, может пока выказываться только мерами, не допускающими отлагательства, и назначениями, не возбуждающими общего участия. Нужно положить основание здоровой полезной традиции, связать тем же служебным самолюбием личности, до сих пор считавшие себя слугами разных знамен и, наконец, иметь всегда силу, готовую на непредвиденные случайности, такую, которая могла бы быть пособником правительству в его политических надобностях и соображениях. San-Bon принял за правило содержать постоянную эскадру из годных броненосцев, пожертвовавши для содержания ее отдаленными станциями. Эскадра эта, в сущности, чисто практическая, весьма редко бывает в сборе, ибо суда более или менее требуют временных исправлений, а заменять их нечем».

«Назначение командующих эскадрой и лиц центрального упраления из личного состава флота показывает, что в этом отношении новый министр не дозволяет себе обращать большое внимание на побочные условия и имеет в виду единственно пользу службы. Что касается до радикальной реформы личного состава, то в общем вопросе этом он связан теми же препятствиями, что и прочие отрасли итальянского правительства. В различных флотах прежней раздробленной Италии существовали отдельные корпуса артиллеристов, комиссаров, счетных чиновников, адмиралтейских офицеров, офицеров морских солдат, капитанов над коммерческими портами и т. п. Малочисленные до смешного корпуса эти мирились с неизбежной медленностью производства и находили вознаграждение в выгодах, на которые прежние правительства смотрели снисходительно. Их нельзя уничтожить вдруг, по причинам, уже неоднократно мною приведенным, но уничтожение разрешено в принципе и к нему приступлено единственным пока возможным средством — выбывающие не заменяются».

«По материальной части итальянский флот главнейше зависит от иностранной промышленности. Исключая механический завод в Портичи в Генуе, способный выделывать механизмы, нет заведений, которые могли бы удовлетворить нуждам современного флота.

Железо и уголь получаются из Англии, и для самостоятельного существования флота приходится все создать и устроить. Во всяком случае, в боевом и промышленном отношениях нет до сих пор задатков, обеспечивающих новое государство. Минеральное топливо нигде не открыто, несмотря на возможные усилия. Наука без особенного затруднения, вероятно, доставит Италии топливо из теплоемов, представляемых ее вулканами, но теперь она не может расплавить фунта металла без согласия Англии».

«Только что приступили к серьезным постройкам на собственных верфях. Два новых броненосца с двухфутовой броней заложены один в Кастель-а-Маре, другой в Специи. Материалы и на них иноземные. Один лишь деревянный корвет строится в Венеции из местного леса».

«Упомянутые грозные броненосцы, подвинувшие Англию начать "Inflexible", еще в зародыше и при финансовых затруднениях будут строиться долгое время. Они проектированы еще предместником настоящего министра, и приступ к постройке их несколько противоречит программе, начертанной Сан-Боном. Министр полагает, что защита портов Италии должна быть основана преимущественно на минах и миноносцах, а между тем допускает грозные дорогостоящие постройки для прямой борьбы с атакующими флотами. Это выказывает, что и самый решительный министр в близком соседстве с державами, обладающими различными средствами нападения, опасается одностороннего решения вопроса о защите, как бы ни смотрел сам на известный способ, кажущийся ему верным».

«Вообще говоря, итальянские порты не особенно удобны для минной обороны. Большей частью они открыты, с значительной глубиной смежного моря, не имеют топографических условий для действительной защиты батареями и подвержены бомбардированию с дальнего расстояния, безопасному для нападающего. Постоянные мины, исключая немногие местности, в таких условиях едва ли действительны, и все надежды возлагаются итальянцами на самодвижущиеся мины. К счастью Италии, в этом отношении мины Уайтгеда, усовершенствованные в последнее время, представляют основание для расчетов с уверенностью в успехе. Вашему превосходительству известно, что Уайтхед продает свой секрет каждому, желающему купить его. Австрия, за ней Италия, Англия, Франция и в последнее время Германия приобрели изобретение Уайтхеда. Последняя, отказавши ему, когда мины двигались очень медленно, понудила его к новым исследованиям. В настоящее время мины выходят из трубы со скоростью 17—18 узлов и в тысячах саженях от места исхода сохраняют еще скорость 8 узлов. Такое улучшение, представляя уже грозный факт, придвинули время и нам оказать изобретению Уайтхеда большое доверие».

«Как бы ни смотрели на способность мин, движущихся с подобной быстротой, к различным случайностям боев между флотами или защиты прибережья, мне кажется, не может быть сомнения, что они доставят недорогое и действительное средство охранения значительного протяжения нашего берега — я разумею порты и местности в шхерах. В прошедшую войну неприятель приблизился безнаказанно по фарватерам, которые нами считались недоступными. Понятия наши с тех пор изменились, но мы не можем строить везде крепости или содержать везде достаточную пловучую силу. Несколько миноносцев, выбрасывающих самодвижущиеся мины, будут весьма грозными противниками даже броненосцев, решающихся проникнуть в наш прибрежный архипелаг, противниками тем более действительными, что неприятель должен двигаться в шхерах весьма медленно. Если к миноносцам присоединить канонерские лодки, то главнейшие пункты финляндского берега будут совершенно обеспечены. В дыму выстрелов лодок атака самодвижущейся миной может быть произведена почти наверное. Эти

соображения заставляют меня представить вашему превосходительству новейшее усовершенствование мин. В Венеции я видел двести корпусов в деле и орудие окончательно введено в штаты и положения».

«Указавши на препятствия, встречаемые итальянским морским министерством в удовлетворении истинных надобностей дела, обращусь к существующим морским учреждениям и начну с адмиралтейств. Приводимые подробности еще более уяснят трудности перехода к новому порядку, требуемому новыми условиями единой Италии».

«Неаполитанское адмиралтейство, подверженное бомбардированию с моря, вдобавок не стоит защиты. Существующие в нем доки годны для небольших только судов и не могут быть увеличены сообразно новым требованиям судостроения. Нет и нельзя приискать места для бассейнов, столь необходимых для установки механизмов. Мастерские снабжены отжившими средствами, почти нет механических приспособлений и вообще, очевидно, адмиралтейство осуждено на упразднение, что и следует сделать».

«Точно в таких же условиях находится соседнее адмиралтейство в Кастель-а-Маре, исключительно строительное. Вдобавок оба, даже в мирное время, подвержены перерывам в работе, в особенности если бы вздумали заменить ручной труд машинным, чего требуют точность поделок и экономия. Пыль лавы при извержениях Везувия приводит все машины в невозможность действовать и заставляет тратить много времени на чистку их. Оба адмиралтейства могли существовать только в неаполитанском королевстве, желавшем во что бы то ни стало иметь морские силы. В настоящей Италии пункты для созидания, исправления и содержания флота, очевидно, должны быть иные. Проникнутые этим убеждением, различные министры обратили внимание на южную оконечность полуострова, указываемую топографией и стратегией как лучший пункт для удовлетворения надобностей морской защиты страны, выдающейся в средину Средиземного моря. В самой глубине Отрантского залива, у города Таранто, вдается внутренний лагун, называемый Mare Piccolo.[43] Он удовлетворяет всем условиям военного порта и весьма удобен для укрывающегося в нем флота. Mare Piccolo совершенно безопасен от вреда со стороны залива, сберегаемые в нем силы могут удобно устремиться по надобности в Адриатическое море для защиты западного берега или для нападения на Тунис, где итальянцы имеют большие интересы. Начали составлять планы и проекты, но, прежде нежели они созрели, палата захотела ниспровергнуть министерство и потребовала, чтобы на Тарантское адмиралтейство была немедленно отпущена сумма. Напрасно министры представляли, что еще не знают, как приступить к делу, что для всякого расхода потребны соответствующие средства, а таких не было. Палата настаивала, не допуская, однако ж, уничтожения ненужных адмиралтейств, и представилась небывалая в парламентских летописях случайность: министерство отказалось от расходов, на которые палата давала согласие. В числе других причин это повело к падению министерства. Раз что оппозиция добилась главной цели, предлог отложили в сторону, вопрос об адмиралтействе в Mare Piccolo заглох, да и не может быть двинут, пока упорствуют в сохранении больших учреждений в Неаполе, Кастель-а-Маре и Венеции. Рано или поздно указания географии и требования политики должны, однако ж, осилить побочные соображения и Таранто станет тем, чем должен быть в ряду охранных пунктов государства, назначенного природой играть первенствующую роль на Средиземном море».

«Историческое венецианское адмиралтейство затрудняет правительство более всякого другого. Как пункт сосредоточия флота во время войны, Венеция совершенно бесполезна. Чтобы господствовать на Адриатическом море, очевидно не следует морским силам быть в самом дальнем углу его. Доступ в Венецию

весьма труден, возможен флоту только в линии и не иначе как малым ходом — условия, при которых потерпевшая в сражении эскадра, преследуемая решительным противником, не успеет скрыться и представит факт гибели, так сказать, в самом порту, устроенном для ее защиты. Как пункт, ограждающий от высадки, Венецианский порт тоже бесполезен. Условия всякой войны потребуют сосредоточения главнейших сухопутных сил Италии на северных ее границах, и никто не решится высаживаться около Венеции как по трудности самой высадки, так и потому что в тылу будет итальянский флот, если удержать его там, где следует, т. е. при входе в Адриатическое море. Между тем, ради прежней славы и гордости венецианцев, на ней основывающих свое значение в новом государстве, в венецианском адмиралтействе производятся дорогостоящие работы. Строят два дока в 420 футов длиной, с глубиной 28 футов на пороге. Оба внутренних бассейна, углубленные до 30 футов, предположено соединить в один и хотят углубить фарватер, для чего нужно будет не только прорезать мель против Лидо, но беспрестанно поддерживать там нужную глубину, ибо течения, идущие от Маламокко и в пролив Лидо, встречаются около Лидо и образуют осадки. Вдобавок к этим неудобствам в порту нет воды и ее возят на особых водяных лодках из Фузано за 12 миль».

«Для защиты самой Венеции не требуется ничего, кроме батарей и мин, да может быть небольшой флотилии, весьма удобно хранимой в крытых сухих и мокрых эллингах прежней республики. В ней не следовало бы заводить ничего нового и самое мудрое было бы ограничиться результатом первого посещения настоящего министра, велевшего хранить под стеклом турецкий адмиральский флаг, взятый при Лепанте. Но, как я говорил уже, местная гордость требует, чтобы порту придали его прежнее значение и чтобы населению оставили прежние выгоды. С последней целью все огнестрельное и белое[44] оружие флота предназначено готовить в Венеции; там же устраивается минная мастерская и содержится школа для минеров флота. Если взять в соображение, что доставка из-за границы топлива и нужных механических приспособлений в Венецию обходится значительно дороже, нежели в Специю, то неуместность упорства становится еще осязательнее».

Я не мог включить в официальное донесение некоторых подробностей, не относившихся прямо к делу. Так, например, в арсенале случилось мне заметить явные признаки основной идеи прежнего венецианского правительства — подозрительности. В стене великолепной канатной мастерской, и теперь едва ли имеющей себе подобную, проделаны отверстия, сквозь которые отпускались выделанные канаты; вход посторонним внутрь был строго запрещен. Такие же отпускные отверстия видны в цоколе ограды, обнимающей артиллерийский парк. Даже простые чугунные ядра в мнительных глазах совета десяти могли соблазнить приемщиков и хранителей. Стало для меня также ясным, почему венецианцы во всех владениях своих истребляли беспощадно леса. От самого рождения они привыкли к утилитарному употреблению леса — именно на сваи и корабли. Собственные пески не производили деревьев, и население не могло усвоить взгляда на древесную растительность, как на средство, способствующее удовольствиям и гигиеническим требованиям жизни.

«Из всех морских учреждений теперешней Италии, — продолжал я в своем донесении, — порт Специи заслуживает особенного внимания и в действительности представляет надежный залог развития флота в будущем. Постройки далеко еще не кончены, хотя уже истрачено до 50 миллионов франков, но главное, необходимое уже сделано, и в настоящее время все нужды существующего итальянского флота могут быть удовлетворены в Специи».

«Прежде нежели стану говорить о теперешнем положении адмиралтейства, коснусь тактических условий, которыми думают обес-

печить его от неприятеля. Вход в бухту Специи так широк, что несмотря на укрепления, расположенные по различным выдающимся мысам, с однажды занятой позиции бомбардирование непременно окажется гибельным. В направлении не может быть ошибки: все снаряды примутся воронкою, в которой адмиралтейство расположено. Вашему Превосходительству известно, что для защиты Специи с моря и сухого пути проектирована целая система укреплений. На все мысах и смежных с городом высотах должны воздвигнуться форты или оброненные батареи.[45] Одни будут бить настильными выстрелами, другие — наклонными. План, весьма сложный и дорогой, не по силам теперешней Италии. В настоящее время видны кое-где только очерки брустверов».

«Как я сказал прежде, приморские укрепления при ширине залива не мешают броненосцам подойти к городу. Для обеспечения его от бомбардирования нынешней весной, в мое посещение, приступили к устройству брекватера, в километре от него предполагается воздвигнуть оборонные фронты. По обе стороны брекватера оставляется проход в 300 сажен и система защиты дополнится минами и укрывающейся за брекватером эскадрой. Самый брекватер выводится до трех футов над поверхностью воды. Это препятствие, рассчитанное для защиты, едва ли не единственный промах, сделанный в Специи.

По линии между мысами Поццино и Бартоломео грунт — довольно жидкий ил. При таком условии количество насыпного камня, потребное для подводной стенки, не только весьма значительно, но не подлежит точному определению. Принявши эту линию, пришли к необходимости отдалить неприятеля передовыми фортами, которые будут стоить весьма дорого, и уменьшили пространство за брекватером для собственных сил. Все эти невыгоды устранились бы, если бы брекватер насыпали между мысами Св. Марии и Св. Терезы. Грунт там твердый, в передовых укреплениях не было бы нужды и пространство внутри брекватера было бы значительно более. Фортификационные работы, исключая брекватера, повторяю, только в проекте».

«План адмиралтейства у нас, без сомнения, известен. Оба бассейна совершенно готовы и из внутреннего входы в десять отдельных доков. Из этих доков готовы только четыре: два в 130 метров и два в 110 метров длиною при 101/2 метрах глубины на порогах. При них временная броненосная мастерская в полном ходу и в настоящее время завалена работой. Машины для выкачивания из доков воды состоят из горизонтальных механизмов двух старых лодок. Они, конечно, не отвечают цели в экономическом отношении, но приспособив их к осушению доков, избежали большого непосредственного расхода на настоящую водоотливную машину. Отделка доков в высшей степени отчетлива, но всего более примечательно, по верности взгляда на железные суда и подводные двигатели, решимость правительства иметь десять не зависимых один от другого доков. В них может единовременно поместиться целая броненосная эскадра в полном вооружении. Подобная надобность может представиться в военное время».

«Я застал в доке новый броненосец с броней "Palestro" в 9 дюймов. По оригинальности плана "Palestro" заслуживает, чтобы на нем остановиться, тем более, что с тождественными ему "Principe Amedeo" он составляет новейший и самый грозный образец судов итальянского флота. Вдобавок это первые броненосцы, построенные на итальянских верфях. На обоих судах казематированные оконечности, середина же состоит из железной надстройки на деревянной части, и в ней фрегаты блиндированы по батарейную только палубу. В батарейных частях казематов по два 9-дюймовых армстронгова орудия, могущие стрелять по килю и траверсу, да сверх того за блиндированным баком 11-дюймовая армстронгова пушка. Такое расположение артиллерии выказывает решимость биться оконечностями может быть весьма основательную при тара-

нах, не менее того исключающую эти суда из линии, составленной сполна из батарейных судов, как теперешняя итальянская. Во всяком случае самый необходимый боевой элемент — машина — при отсутствии бортовой брони подвержен опасности от склоненных выстрелов противника (feux plongeants)».

«"Palestro" и "Principe Amadeo" деревянные, как я сказал, с железной надстройкой посредине. Подводная часть брони для предохранения обшита деревом и сверх него медью. Принятый способ прикрепления деревянной обшивки, говорят, удался вполне. Скрепляющие обшивку с корпусом болты пропущены между нижним и вторым поясами броневых плит, не касаясь их. Между обшивкой и броней положен смоленый войлок. На замечание мое, что при малейшем размоле болтовых дыр болты могут прикасаться к плитам брони и производить гальванический ток, главный инженер отвечал, что в тике, или итальянском дубе (который в Италии предпочитается тику для подкладки), подобного явления еще не случалось».

«В Специи предполагается иметь 13 некрытых стапелей. Уверяют, будто климат не требует крыш, и с этим можно согласиться, если впредь все кораблестроение будет производиться из железа; но в случае построек из дерева переход от сильных дождей, местности свойственных, к действию палящего солнца не может не иметь для деревянных членов вредных последствий».

«На одном из стапелей строится новый монитор с 24-дюймовой броней. Постройка, судя по началу, обыкновенная, клетчатая. Ширина 19 метров, длина 103 и углубление 71/2 метров. Без сомнения, до спуска этого грозного броненосца в кораблестроении для военных целей произойдет радикальный переворот; так медленно подвигаются на нем работы. Материалы и для него все из Англии. Несколько листов подвергались в мое время пробе как первые произведения завода в Томбино из превосходного железа Эльбских рудников».

«По южную сторону адмиралтейства устроили первоначально бассейны для хранения строевого леса и корабельные мастерские. Теперь, при решимости строить из железа, это отделение адмиралтейства обратили в артиллерийский двор. Оно сообщается прямо с рейдом особым каналом. В Специи делают станки, кокора, пороховые ящики и все артиллерийские принадлежности, даже рассверливают и нарезают орудия для опытов, но самые орудия для флота выписываются из Англии. Впрочем, в последнее время Туринский арсенал произвел большекалиберную пушку, о которой скажется впоследствии».

«Портовой пороховой склад находится в бухте Панегалия, на западном берегу залива Специи. Кроме часовых, входящих в будки, не имеющие сообщения с внутренностью, склад охраняется броненосцем "Maria Pia", поставленным против него в заливе».

«В нынешнем году ассигнована сумма на постройку угольных хранилищ. До сих пор топливо ссыпается и хранится на воздухе, что особенно чувствительно в экономическом отношении при цене угля, достигающей 30 коп. за пуд. Вообще арсенал Специи далеко не кончен. Требуется еще около 30 миллионов для совершенного устройства, но ежегодные отпуски так незначительны, что нельзя определить времени окончания работы».

«На восточном берегу бухты, в Сан-Бартоломео, верфь с мортоновым эллингом. Здесь первоначально Кавур хотел устроить адмиралтейство, впоследствии перенесенное в Специю. В настоящее время все здания отданы в распоряжение морской крепостной артиллерии. В складах я видел 9-дюймовые чугунные орудия, скрепленные железными кольцами и заряжающиеся с казенной части. Запор французской системы. От орудий ожидают действительного и дешевого средства нападения и защиты. В самое последнее время Туринский арсенал произвел подобное орудие 12-дюймового калибра в 35 тонн весом, с начальной скоростью в 1 300 футов, при заряде в 130 фунтов

и снаряде в 750 фунтов. На первых опытах в Св. Маврикии, около Турина, при восьмом выстреле лопнуло кольцо, скрепляющее казенную часть. Оказалось, что металл был с изъяном и случай нисколько не поколебал надежды итальянских артиллеристов иметь собственное дешевое орудие, годное для новейших надобностей».

«Здесь кстати заметить, что в Италии возбужден вопрос о подчинении всех морских фортов морскому министерству. Считают более нежели когда-либо необходимым употреблять на этих фортах людей, вполне знакомых с условиями атаки кораблей и их слабыми пунктами, способных на чисто морские соображения, истекающие из ходкости, поворотливости и т. п. Назначение верфи Сан-Бартоломео временно. Правительство желает продать ее какой-либо серьезной компании».

Начало новой эры для флота соединенной Италии и совпадшее с ней общее настроение к введению в средства защиты и обороны нового страшного оружия — подводных мин, настроение, охватившее в скором времени и наши правительственные сферы, побуждают меня к продолжению выписок из моих донесений. Они представят долю участия, хотя и слабую, которую я принимал в вопросах, по всей вероятности имеющих будущность.

Осмотревшись на новом посту, итальянский морской министр усвоил себе окончательный взгляд и впервые изложил его в 1874 году перед избирателями Специи — пункта, особенно сочувствующего всему, что может возвысить в Италии значение флота. Выражение взглядов министра перед людьми, способными на критическую оценку их, не могло не интересовать меня, и, прислушавшись к толкам местного населения и сословия военных моряков, я сообщил результаты моих исследований управляющему морским министерством.

«26 ноября (8 ноября), — писал я, — итальянский морской министр, избранный жителями Специи представителем в новый парламент, благодарил избирателей за доверие и высказал в речи свои взгляды и усилия привести их по возможности в исполнение. Самый факт избрания Сан-Бона депутатом доказывает, что намерениям министра сочувствуют люди, наиболее заинтересованные в развитии итальянского флота. Согласие между лицом, распоряжающимся итальянскими морскими силами, и населением, в среде которого исполнители его воли имеют значительное влияние, само по себе уже заслуживает внимания, но для сторонних наблюдателей несравненно важнее подробности стараний министра достичь цели».

«Я уже доносил, что новый министр решился высказать парламенту и нации, что довольно грозный по списку флот Италии в сущности состоит из несовременных судов, негодных для военных действий, и потребовал продажи этих сооружений, с целью употребить ассигнуемые на содержание и поддержку их суммы для новых построек. Я имею также честь уведомить вас, что по различным обстоятельствам требуемый министром закон о продаже не мог пройти в прошлую сессию. Сетуя на медленность и выражая неуверенность, что вопрос разрешится без отлагательства, Сан-Бон высказал убеждение, что увеличение морского бюджета Италии, невозможное при настоящих финансовых условиях, станет возможным, когда общественное мнение перейдет на сторону флота, и потому считал долгом "просветить страну касательно всего, ко флоту относящегося"».

«Желая доказать, что Италия до сих пор не обращала должного внимания на свою морскую защиту, Сан-Бон сравнивает бюджет ее с морскими бюджетами других государств. Тогда, как Россия уделяет на свой флот 98 миллионов франков, а Соединенные Штаты 86, Италия, находящаяся, по мнению Сан-Бона, в тех же условиях и употребляющая те же усилия удержать свое место в ряду второстепенных морских держав, жертвует на военные морские силы только 33 миллиона. Замечая мимо-

ходом, что факт выказывает экономичность расходов итальянского морского управления, министр жалуется, однако ж, что до сих пор тщетно силился убедить соотечественников в опасности настоящего положения страны. Он не переставал твердить, что 5/6 итальянских границ подвержены атаке с моря, что через 48 часов по объявлении войны неприятель может высадить на любой пункт берега 60-тысячное войско, что, наконец, Италия имеет на различных морях более миллиарда собственности, которая сделается добычей врага в самом начале военных действий. Народ остается равнодушным к таким заявлениям и весьма основательно возражает: "Дайте ручательство, что употребите деньги с пользой, если Вам дадут их". Все более или менее согласны, что настоящий флот не удовлетворяет требованиям, а между тем общее состояние финансов и недоверие народа претят создать новый, так что министр вращается в безвыходном кругу: "Для вселения доверия, выражаемого ассигнуемыми суммами, нужны немедленные улучшения, а для немедленных улучшений потребна ассигновка сумм". Чтобы поселить доверие, Сан-Бон указывает на вновь строящиеся суда и на различные принимаемые меры. Эти указания, выражая взгляды министра на нужды Италии как морской державы, важны и по существу, и в техническом отношении».

«"При ограниченности наших средств, — говорит Сан-Бон, — старался вертеть бюджет мой во все стороны и выяснил себе одно возможное в исполнении условие — не допускать никакой новой постройки без убеждения, что в создаваемом нами судне будут хотя некоторые частные усовершенствования против лучших судов того же типа в чужих краях". Отходя от этого основного пункта, Сан-Бон разбирает новые постройки и средства защиты, избранные правительством».

«Внезапная война, по мнению Сан-Бона, может застать итальянские суда на дальних морях, где нет итальянских портов и складов. В этом отношении итальянцы не могут копировать англичан, везде обладающих пунктами для снабжения и починок. Им нужны суда, способные брать запас угля, с которым могли бы воротиться восвояси, без надобности заходить куда-либо, и вместе с тем чрезвычайно быстрые. Корвет "Христофор Коломб", строящийся в Венеции, должен был походить на прежние корветы, но ввиду высказанного министром условия потребовалось обратить его в быстрый крейсер с огромным запасом для движущей силы. Министр уверяет, что начала механизма, отвечающего данным условиям, выработаны итальянскими инженерами и сообщены Пену, взявшемуся выполнить их и разработать частности. Механизм будет в 2 000 сил, но поворотом ключа может быть усилен до 4 000. При полной силе он сообщит корвету скорость 18—19 узлов. Затем, снова повернувши ключ, можно превратить механизм в обыкновенный и употреблять его по произволу, низводя до 500 сил, способных двигать корвет по 6—7 узлов, причем топлива хватит на семь или восемь тысяч миль. Желая выставить важность этой идеи, Сан-Бон уверяет, что Барнаби в последнее пребывание свое в Риме говорил ему, будто английское правительство изготовило планы двух судов для дальних крейсерств, и обратилось за механизмами к тому же Пену. Пен объявил, что уже приступил к подобному механизму по инициативе итальянского морского управления и полагает, что точно такие механизмы удовлетворят и английское, стремящееся к той же цели».

«Образцами боевой силы служат два фрегата, заложенные в Специи и Кастель-а-Маре (с 24-дюймовой броней; о них я доносил прежде). Они заложены при предместнике Сан-Бона, новый министр совершенно одобряет их планы и положительно утверждает, что не отступит от этого типа боевого корабля».

«Выставя, что при нем введены на всех судах картечницы, необходимые для защиты против миноносцев (на что ныне употребляются простые шлюпки), и похваставшись, что в Италии прежде Англии производили опыты

над хлопчатобумажным порохом, министр ввиду изложения деятельности управления говорит еще о введении петроля для движения паровых шлюпок, об опытах над винтом-рулем и над автоматическим рулем, не требующим рулевого. Затем Сан-Бон переходит к третьему роду судов, дополняющему состав будущего итальянского флота, — к миноносцам. Проектируемые миноносцы составляют чисто итальянское изобретение. В уверенности, что тайна не может долго сохраниться, министр принял меры, чтобы Италия, первая, по крайней мере, воспользовалась изобретением, и для этого приступил к механизмам, не закладывая еще самых судов. Миноносцы будут способны проходить 700 миль без возобновления топлива и метать мины Уайтхеда, на которые министр смотрит, как на самое действительное средство. Чтобы быть в состоянии употреблять их в случае надобности, мастерские в Венеции приведены в возможность выделывать по одной мине в рабочий день, и там же основана минная школа. "С новой системой, о которой не следует распространяться, — говорит министр — действие минами Уайтхеда совершенно безопасно и верно. Миноносцы наши при небольшой удаче могут уничтожить два-три блиндированных корабля. Правда, при несчастной случайности, мало, впрочем, вероятной, они могут быть потоплены неприятельскими выстрелами, но представляют опасных противников грозным броненосцам"».

Речь министра, сказанная им в среде, состоящей в значительной доле из морских офицеров разных наименований, с сдержанностью, которой требовала уверенность, что слова его будут строго взвешены и разобраны специалистами-слушателями, показалась мне стоящей внимания, тем более, что в ней высказана программа развития итальянских морских средств.

Преследуя начинания Сан-Бона, я объехал итальянские порты еще раз и доносил следующее:

«В последней поездке по итальянским портам я старался заметить на месте последствия объявленной с резкой откровенностью программы морского министра и в особенности оживленных прений в итальянском парламенте, происходивших с 26 февраля по 4 марта (1875) по поводу внесенного министром закона о продаже негодных судов. Закон этот не был обсуждаем в прошлой сессии по причинам, объясненным мною прежде».

«Составляя базу будущих действий итальянского морского министерства, новый закон представляет довольно важный факт, заслуживающий внимания. Несмотря на замечания и возражения особой миссии, назначенной парламентом для изучения закона проекта, предложение министра принято большинством законодательного собрания и треть итальянского флота назначена к отчуждению. Настаивая на своей решимости, министр в особенности налегал на расходы, требуемые поддержкой судов, в его мнении совершенно бесполезных, и на необходимость изыскать средства для постройки современных боевых судов, не отягчая государственного бюджета. Рассчитавши стоимость содержания судов, назначенных к продаже, и приложивши к ней сумму, ассигнованную в годовом бюджете на постройку, Сан-Бон потребовал три миллиона в счет имеемой быть вырученной суммы и таким образом составил семь миллионов на кораблестроение в текущем году. Уже требование трех миллионов в счет будущей выручки достаточно указывает на цель министра добыть средства, как бы не увеличивая бюджета; в самом же деле эти три миллиона служат просто экстраординарной ассигновкой, ибо за продаваемые суда выручится стоимость корпусов как материала, годного только на дрова, и машин, которые сбудут не иначе как в лом железа. Но истинная мысль министра не может быть иной, как вынудить парламент к дальнейшим расходам на флот. Суда могли бы продаваться постепенно, по мере износа их, без всякого нового закона; отчудивши же вдруг треть фло-

та, министр будет вправе указать, что остающаяся часть его не составляет силы — и увеличение флота станет неизбежным».

«Желая преимущественно поверить, в какой степени Сан-Бон воспользовался своим торжеством, я осмотрел все новые постройки и собрал сведения о предполагаемых. Два башенных миноносца с броней в 55 сантиметров подвинулись значительно, в особенности "Dandolo", строящийся в Кастель-а-Маре. Его торопят спустить к исходу года, чтобы воспользоваться указаниями опыта и ввести нужные перемены в "Duilio", строящийся в Специи. Со времени первоначальной закладки судов в чертежах их произошли значительные изменения. Вместо сплошной брони, только редуиты, обнимающие башни, будут защищены плитами, оконечности же предохранятся от затопления множеством непроницаемых отделений (tank system). Эти броненосцы, как и все производящиеся ныне постройки, начаты еще предместником Сан-Бона, и настоящий министр только ускоряет их изготовление. Машины делаются в Англии на заводах Пена и Мозули, а крупные штуки корпуса куются в заведении "Ansaldo", в Сан-Пьер д'Арена, около Генуи. Под шпиронами штевней просверлены отверстия для минных труб. Мины (Уайтхеда) будут таким образом выбрасываться прямо по курсу судна, что, кажется мне, затруднит управление судном с целью метнуть мину, а главное при таком способе соединения минного действия с шпиронным не достигается цель совмещения двух орудий истребления. Если удар шпироном не удался, мину бесполезно пустить по носу, а если бы она выскакивала косвенно к килю, то могла бы заменить неудавшееся таранение. Притом расположение минной трубы по килю, непосредственно под шпироном, подвергает ее неминуемому повреждению при ударе штевнем, а если в трубе была мина (что и следует для немедленного действия во время боя), то судно подвергнется опасности внутреннего взрыва. На специально миноносных судах вылет мины по килю представляет удобства, но в итальянском флоте все суда без исключения снабжаются теперь минными трубами. Это убеждение в действительности мин особенно твердо у министра Сан-Бона, но способ осуществления его мне кажется не совсем верным».

«Авизо "Rapide" и "Stafetto", предназначаемые ходить со скоростью 17 узлов, также снабжаются минными трубами. Суда эти железные и потому уже не совсем удобны для дальних плаваний, хотя на них и на "Christoforo Colombo", строящемся в Венеции, преимущественно указывал министр своим противникам, пенявшим, что продажей всех деревянных судов лишает флот возможности образовать экипажи дальними плаваниями. Впрочем, оговорка министра не совсем верна и потому еще, что ни одно из указанных судов не будет готово ранее двух лет. По словам инженеров, проектировавших новые авизо для большого хода, приспособление труб для метания мин сквозь штевень значительно повредит ходкости».

«Только что спущенные лодки "Santinello" и "Bersagliere" ждут, чтобы решили их назначение и употребление. Эти лодки выстроены по состоянию военного министерства, которое допустили иметь голос в чисто морской обороне берегов. Углубление не дозволяет им входить в По, где они могли бы быть полезны, а у глубокого итальянского берега трудно приискать им дело».

«Миноносцы, на которые Сан-Бон возлагает преимущественно надежды для успешной обороны, до сих пор не существуют. Под величайшим секретом приступили к механизму одного из них, который я видел мельком в Генуе. Судя по диаметрам цилиндров, машина предназначается на судно, подходящее водоизмещением к размеру наших старых канонерских лодок».

«Вот чем до сих пор выказалась деятельность нового министерства. Если к этому прибавить приступ к перенесению минной школы из Венеции в Специю и учреждение в ми-

нистерстве особой артиллерийской дирекции, прежде составлявшей отделение кораблестроительное, то двухлетняя деятельность Сан-Бона не выкажется в благоприятном свете. Нужно, однако ж, прибавить, что эти два года были годами борьбы с интересами населений различных портов и камарою. Теперь только после несомненного торжества можно будет строже относиться к победителю».

«Остающиеся за продажей итальянские броненосцы так сравниваются с английскими самим министром, справедливо утверждающим, что ходкость и крепость брони — важнейшие элементы военного корабля. У англичан 18 фрегатов со скоростью 14 узлов, у итальянцев только один приближается к такому ходу и немногие ходят по 12, тогда как у англичан с последним ходом 30. Два лучших броненосца Италии пробиваемы в 1000 метрах восемью английскими, один пробиваем одиннадцатью английскими и 13 пробиваемы 14 английскими».[46]

«Переходя от материальной части итальянского флота к личности, не могу не заметить, что завистливый дух партикуляризма, землячества перерождается в сословии с поразительной быстротой в благотворный, всесвязующий и соглашающий дух общей национальности».

«Монарх, не имея возможности и склонности лично участвовать в морских вопросах, обеспечил внимание ко флоту будущего правителя Италии назначением в морскую службу родного племянника, Томаса, герцога Генуэзского. Во время пребывания моего в Специи я представлялся принцу. Он недвано возвратился из дальнего плавания на фрегате "Гарибальди" и теперь проходит восьмимесячный курс на артиллерийском фрегате "Maria Adelaida". Его Высочество оказал мне большое внимание и неоднократно приглашал к себе на фрегат. Когда беседы наши прерывались служебными требованиями, принц тотчас покорялся им не без педантства».

Мои отчеты об итальянском флоте выказывают, кажется, что я не изменил себе, несмотря на милости ко мне начальства. Я стал мягче в выражениях, но в существе был так же тверд, как во времена моего значения. Насколько я способствовал возбуждению внимания моего начальства к нашим собственным нуждам, окажется впоследствии.

ГЛАВА VI

НАША ДИПЛОМАТИЯ И НАША ПОЛИТИКА

Поселяемся в Ницце. Равнодушие Краббе к нуждам флота. Вести из России — новое назначение Шувалова и последствия его. А. А. Кумани. Еще Н. П. Игнатьев как дипломат. Князь В. И. Васильчиков и его взгляд на Инкерманское сражение. Пребывание императрицы в Англии и приезд ее в соседний с Ниццею Сан-Ремо. Наша эскадра, состоявшая при императрице. Русские вопросы: полемика о «поповках». Попов и Рид. Увлечение наших правителей. Платонизм в политике — брюссельская конвенция по вопросу очеловечения войны. А. А. Зеленой, его рассказ о последних днях власти. Еще доказательство незлобности Краббе. Государь охлаждает бранное рвение немцев. Судебная реформа в Египте. Русская печать за границей. Конгресс соединения церквей. Кохлынское вторжение.

Желая сгруппировать все, относившееся к моему официальному положению, я забежал в предыдущей главе несколько вперед и теперь должен возвратиться к 1874 году и обстоятельствам, его наполнившим. Из Италии мы проехали в Ниццу, причем впервые случилось мне познакомиться с Riviere di Levante. Дорога от Специи до Генуи показалась мне даже живописнее знаменитого Корниза, во всяком случае разнообразнее. Я говорю о почтовом пути, с тех пор оставленном и уступившем права рельсовому. Море, по временам, поражает своей беспредельностью, но не выставляет своего величия так назойливо и безотвязчиво, как по дороге от Генуи до Ниццы. Временами едешь по чисто горной местности и любуешься прихотливыми волнами Аппенинов.

Поездка в Ниццу была сделана с целью выбрать притон для жизни. Состоя на службе в Австрии и Италии, мне казалось более удобным не жить ни в одной из стран, так недавно еще враждовавших. Непосредственные передвижения от одного края в другой могли возбуждать сомнения и недоверие ко мне, а главное, поселясь в провинциальном и по отношению к обоим государствам нейтральном городе, я избегал сопряженных с званием моим представлений ко дворам и сближений с официальным обществом Вены и Рима. Натянутая жизнь в подобной сфере дома достаточно уже утомила меня своей пустотой, и я хотел пользоваться возможной независимостью. Начальство посмотрело и в этот раз снисходительно на мою прихоть. В сущности ему было все равно, откуда бы я ни наблюдал за ходом морских дел в южных государствах Европы, где я, по официальному придуманному Краббе титулу, состоял агентом.

В дополнение моего лечения доктора предписали курс в Мариенбаде. Распорядившись по хозяйственным вопросам в Ницце, мы отправились на воды через Париж, в котором не были со времени немецкого погрома и неистовств Коммуны. Следы этого и другого едва были заметны, и то только при желании заметить их. Разрушенные публичные здания закрывались пристойными заборами, а частные уже воздвиглись краше прежнего. Заметно было более военных мундиров, гласивших о неснятом еще осадном положении, но жизнь текла обычной шумно-веселой и беззаботной колеей.

В Мариенбаде я застал управляющего министерством Краббе, лечившегося там вследствие удара. Он был окружен маленьким двором, казался он очень довольным и в особенности хвастал новой квартирой своей в здании адмиралтейства. Предвидя, что здоровье скоро заставит его удалиться, Краббе с грустью ожидал момента, когда придется оставить роскошное убежище. Мысль эта, по-видимому, исключительно занимала его, и он во всей точности следовал советам медика не заниматься делами. Зная по опыту, что вообще деловые отношения с ним не могли быть дельными, я не утомлял начальника серьезными беседами, тем более, что сам должен был следовать тому же режиму.

Я хотел очиститься вполне от последствий болезни и выполнял требования эскулапа с служебной аккуратностью. Шесть недель сряду вставал в пять часов, становился в ряд чаявших Крейц-Брунена, потом гулял до семи часов по сосновым лесам и к восьми возвращался домой пить кофе. В одиннадцать я шагал уже к невинному Wald-guelle, снова выхаживал воду, стрелял из пистолета в смежном стрельбище и в двенадцать вдавливался в грязную ванну. Затем съедал отвратительный по скудному однообразию обед, опять двигался по окрестностям и к шести часам вечера придвигался в другой раз к Крейц-Брунену. Так проходили все мариенбадские дни мои по велению доктора. Подозреваю, что как местный житель, обязанный приносить пользу общине, доктор Кросфорд пропускал меня через все ключи и ванны Мариенбада не потому, чтобы организм мой требовал употребления их, а в видах доставления известной доли выгод содержателям и сторожам различных заведений. Как бы то ни было, правильная, разграфленная с немецкой точностью жизнь совершенно освежила меня. Ничто не мешало отсутствию всякой мысли, малейшей эмоции. Даже выстрел по Бисмарку в Киссингене едва долетел умирающим эхо до зеленых холмов Мариенбада, хотя раздался во всей Европе.

После лечения потребовалось еще шесть недель праздности, и мы отправились на Комо, но на этот раз ошиблись в расчетах. Попеременный зной и страшные грозы, неизбежные англичане и навязчивые лодочники, восхитительные ландшафты и возможность любоваться ими только издали, при отсутствии дорог, неизбежный Belagio, отражавшийся в зеркальной поверхности озера, и совершенная невозможность даже отвернуться от него — все это раздражало и сердило. Душа готова была ежеминутно всклокотать, и скоро сообщенные русскими газетами домашние новости привели ее в брожение. Le grand faiseur[47] Шувалов, никогда не остававшийся долго в той же обязанности, был назначен послом в Лондон. В простоте моих понятий я заключил, что назначение объясняется обстоятельствами, переместившими в Лондон сердечную привязанность государя к единственной дочери. Такое заключение оказалось действительно чересчур простым. Перемещение Шувалова было удалением, освобождением от начинавшего тяготить влияния. Мне рассказывали впоследствии, что новая привязанность государя к новой Долгорукой, а не любовь к дочери, понудила его расстаться с «необходимым» человеком.

В туфли Шувалова вступил гонитель мой Потапов. Без убеждений, даже без каких бы то ни было взглядов, герой Вильны сумеет примирить враждебные ему элементы и, не имея

способностей предместника, удовольствуется более скромной ролью: погонит печаль, потулит за бороды и длинные волосы, выковорит кое-какие замыслы недоросших реформаторов и тем покончит.

Товарищ мой Посьет заменил графа Ал. Бобринского в министерстве путей сообщения. Нечаянно попавший в министры, Бобринский столь же нечаянно был убит неблаговолением произвольного в действиях своих повелителя. Неудачная система подписки на вновь образуемые железнодорожные общества, система, невыгодная для пользовавшихся монополией концессий, оказалась не менее вредной, нежели самые концессии и вдобавок не достигающей цели. Прежние концессионеры покупали подписчиков и тем становились обладателями будущей дороги. Проделки охватили все слои петербургского общества, даже школы и женские заведения шли огулом подписываться.

Узнавши случайно, что на соседнем озере Лугано живет старый приятель наш А. М. Кумани, мы с удовольствием поехали свидеться с ним и провели в его обществе остальное время до возвращения в Ниццу. Кумани, сын нашего известного адмирала, начал поприще во флоте и, зная греческий язык, оказался полезным константинопольскому посольству, при котором находился на одном из отражавшихся в распоряжение посланника пароходов. Мало-помалу его перетянули в министерство иностранных дел, где, при способностях и приятном способе выражать свои мнения, он скоро сделался замечательным и нужным чиновником. Кумани изучил турецкий язык и до тонкости обычаи официального турецкого мира. Я встречал его часто на востоке и в особенности сошелся с ним, командуя эскадрой во время пребывания моего в Афинах. Впоследствии дружеские сношения наши возобновились в Петербурге, куда вытребовал его Горчаков как знатока восточных дел. Связь с женщиной заставила его вновь возвратиться на восток, где обычаи допускают удобнее такие сношения, и от Горчакова он перешел к Игнатьеву советником. Захотевши быть верным своим чувствам, он женился и тем пресек свою карьеру. В то время вершался вопрос о румелисских железных дорогах. Концессионер Гирш предложил вышедшему в отставку дипломату быть его представителем перед Портой. Условия были весьма выгодны, и Кумани вступил в новую обязанность с розовыми надеждами. К несчастью его последовала перемена в высших слоях турецкого управления. Великим визирем стал Мидат-Паша, личный друг Игнатьева. Под предлогом, что всем известный дипломатический чиновник не мог быть иным, как русским соглядатаем, Мидат положительно отказался признать Кумани и бросил его со скалы, на которой тот искал и нашел спасение.

Когда в критском вопросе дело дошло почти до разрыва между Портой и Грецией, Игнатьев, вопреки только что изданному у нас закону, точно определявшему условия перехода кораблей из одной национальности в другую в случае войны, велел клонсулу Эбергардту смотреть на эти условия сквозь пальцы. Сотни греческих шкиперов осадили консульство с просьбами о перемене флага. Английский драгоман Пизани узнал о происходившем, и посланник Эллиот пришел к Игнатьеву для объяснений. Игнатьев положительно отверг уверение Пизани, будто 60 судов уже переменили флаги вследствие мнимой продажи, и утверждал, что это случилось только с тремя действительно проданными. Эллиот навел новую справку, и слова драгомана его оправдались. В конце депеши, уведомлявшей об обстоятельстве английское правительство, Эллиот прибавил, что уже не впервые удостоверяется, что Игнатьев вводит в заблуждение не только своих товарищей, но собственное правительство. Через несколько времени вышла Синяя книга с депешей Эллиота, напечатанной без пропусков. Игнатьев рассвирепел и объявил Кумани, что идет вызвать Эллиота. Возвратившись, он уверял, что разбранил Эл-

лиота в присутствии его секретаря Ierningham, будто Эллиот сердечно раскаялся и просил прощения. В то же вечер Ierningham был у Кумани, сказал, что действительно Игнатьев виделся с Эллиотом в его присутствии и говорили только о лошадях и погоде.

В 1868 году Фуад-паша приезжал в Крым по кандийскому вопросу и, как известно, дал государю возможность отступиться от Критян без стыда. Игнатьев, бывший также в Крыму, радовался благополучному окончанию вопроса, в котором действовал с пошлой двойственностью. На обратном пути в Константинополь Кумани советовал послу оставить на время им же возбужденное болгарское восстание, чтобы облегчить окончательное устройство кандийских дел, обещанное Фуадом. Игнатьев назвал мнение Кумани une idée lumineuse.[48] Болгарские делегаты встретили возвращавшегося посла на пристани и потом пришли к Кумани, который старался потушить их рвение, основываясь на только что происходившем разговоре с послом. На приеме делегатов Игнатьев сказал им совершенно противное.

Когда Lyons был переведен из Константинополя в Париж, посол наш гр. Штакельберг при первом свидании выразил уверенность, что Lyons был в хороших сношениях с русским представителем в Константинополе. «Я вовсе не был в сношениях с Игнатьевым», – отвечал британец свойственным ему сонным тоном. «Comment, – возразил Штакельберг – pourtant Vous aviez maintes occasions de causer avec lui sur des affaires gui vous intéressaient tous deux. – Je n'ai jamais causé avec lui, je le laissais dire. – Mais Vous répondiez. – Par ses monologues; je voyais gue le général me prenait pour un imbécile et je le laissais faire».[49] И с таким формуляром хотели послать Игнатьева в Лондон.

К октябрю мы прибыли в Ниццу и в первый раз после многих лет зажили домом. Судьба послала нам приятных знакомых. При помощи их мы думали избежать светских отношений и жить в небольшом сочувственном кругу. Внезапный приезд императрицы изменил наши намерения, но все же сношения с людьми, выделяющимися из общей суеты, составляли базу нашей жизни. В числе их мне был особенно по сердцу князь В. И. Васильчиков, страдавший под мягким небом Ниццы. Мы виделись очень часто, даже вначале, когда болезнь еще жалела его, кормили друг друга обедами. Скоро, однако ж, князь расхворался, и я стал совершать мои паломничества на Карабасель, где страдалец грелся в залитых солнцем покоях. Все свое, русское, занимало его, и мы перебирали настоящее, не забывая по временам и прошедшее. Однажды, разговорившись о севастопольской эпопее, мы дошли до инкерманского сражения и князь вытащил фолиант, в котором излагал для будущего искаженную современными требованиями истину. Сказание начинается чрезвычайно ясной обрисовкой местности. Затем идут тайны распоряжений. Накануне сражения Даненберг приехал с визитом на корабль к Нахимову. Тот удивился, что генерал, готовясь к бою, находит время на исполнение светских требований. Оба отправились на курган к Истомину, где стоял уже Сойманов со своей дивизией. Показывая местность с Малаховской башни, Истомин сказал Даненбергу: «Зачем Вы велите Сойманову переходить Киленбалку? Не лучше ли и не скорее ли атаковать англичан отсюда, прямо по плоской возвышенности, нежели заставлять лезть из Киленбалки на крутой восточный обруб ее?». Уверяли, будто Сойманову дано было приказание идти по левому краю оврага Киленбалки, а он по ошибке перешел на правый. Слова Истомина, на которые Даненберг не возражал, доказывают, что Сойманова действительно направили на правый скат Киленбалки. Васильчиков разбивает также поносительную для чести Липранди легенду, будто он не хотел сделать диверсии против шедшего на помощь англичанам Боске. Липранди, по словам князя, не было никакой возможности влезть с диспозиции у Балаклавы на Сапун-гору; притом командовал на

Липранди, а князь Горчаков, человек немедреный, но несомненно храбрый; он полез бы несомненно, если бы была малейшая возможность. Рассказывали, что утром 24 ноября, вследствие убеждений обоих адмиралов, Сойманову послали приказание идти напрямик, не переходя Киленбалки, но было уже поздно. Карты окрестностей не было, и на требование Меншикова о ее высылке Долгорукий ответил, что в депо есть только планшет, которого нельзя дать без Высочайшего разрешения. Во все время боя Меншиков исключительно был занят великими князьями. Завидя после сражения Васильчикова, светлейший обратился к нему с злою миною: «Qu'est ce que vous me vantiez â 4-mecorps? Ça ne donne pas. – Je sais pertinemment que ca donne et donne à fond»,[50] – ответил Васильчиков. Страннее всего, что 4-й корпус, посланный с Дуная как лучший, в день сражения был растасован по трем пунктам: на Северной, на Черной и в Севастополе, и половина его в деле не участвовала. Не менее курьезно, что диспозиция на сражение до сих пор спрятана и никому не известна. Будучи впоследствии товарищем министра и даже управляя в отсутствии Сухозанета, Васильчиков тщетно старался отыскать важный для военной истории документ. Поразительно также равнодушие Меншикова, дававшего сражение, от которого зависела участь войны; он умел только выругаться, когда Даненберг доложил, что был вынужден скомандовать отступление.

Приезд императрицы нарушил нашу скромную ниццкую жизнь. Приезд этот был внезапен и вовсе не входил в программу ее путешествия. Августейшая мать промчалась без остановки из Ливадии в Англию на родину дочери, опоздала и, наконец, заболела в сырой атмосфере. Эдинбургский хотел непременно переместить ее в Eastwell park, нанятый им на семь лет. По его расчету, место пленило бы маменьку, и покупка его для дочери на русские деньги уже мерещилась в жадных глазах расчетливого принца. Боткин решил иначе и перевез императрицу в Сан-Ремо. Нужно было как можно скорее устроить гнездо для расслабленной царицы, и в исходе ноября явился неожиданно старый приятель наш А. П. Озеров. Он скакал несколько дней курьером вдоль берега, высматривая разные пункты и принимая в соображения дворские требования; наконец, остановился в Сан-Ремо, где наскоро приготовили Hôtel de Nice. Пока не было императрицы, Озеров часто навещал нас и передавал различные подробности пребывания императрицы в Англии.

В числе старых знакомых Озеров встретил в Лондоне уже дряхлого соперника своего на Босфоре – лорда Редклифа. На радостное замечание Озерова, что времена переменились, что прежние босфорские враги стали друзьями, упорный ненавистник России ответил: «Jeune homme, ne me faites pas rougir».[51]

Не раз езжал я в Сан-Ремо по приглашению и тем возбудил зависть соотечественников, тщетно добивавшихся счастья заявить о своей преданности. Императрица, по слабости, жила уединенно и отклоняла всякие представления, делая исключения только для немногих, навязанных ей, так сказать, официальным положением. Заключали об особенной ко мне милости из того, что давалось мне просто как агенту правительства в Италии; не проходило встречи с знакомыми без намеков на привилегированное мое положение. Если бы знали, как мало я им пользовался, то, конечно, не мучили бы своих сердец напрасной завистью.

Присутствие государыни привлекло в Вилла-Франко целую эскадру. Из Афин пришел бессменный начальник греческой станции Г. И. Бутаков на фрегате «Кн. Пожарский», смешном образчике наших броненосцев. К нему присоединилась яхта «Штандарт», перевозившая императрицу из Кале в Дувр, и «Царевна», яхта наследника, отправленная из Балтики в Черное море для необходимой практики. Офицеры доставили обществу пляшущий контингент, и зима в Ницце прошла довольно шумно и беззаботно; едва поговорили

о бегстве Базена из крепости и самый процесс Арнима, прежнего прусского посла в Париже, затеянный Бисмарком для пресечения придворных интриг, едва ли занимал в Ницце кого-либо вне нашего озирающегося кругом по привычке кружка. Все спешили на балы в честь наших офицеров и говорили только о будущих ответных раутах на нашей эскадре. Бутаков давал их en grand с помощью императрицы, весьма мудро решившей, что она виновница всех его расходов.

Выраженное в письме сожаление, что семья лишена ее присутствия на елке, возбудило в августейшей больной сильное желание возвратиться в Петербург, и едва не уехали так же неожиданно, как приехали. Боткин употребил возможные хитрости и успел продлить пребывание императрицы в благотворном климате до марта 1875 года. Говорили, что не одно желание увидеть семью побуждало государыню к скорому возвращению. Перемена в наклонностях государя – и в этот раз выбор какой-то польки – сильно тревожила венценосную супругу, выразившую даже неудовольствие Д. Ф. Тютчевой, когда та советовала ей не спешить. Верно то, что императрица оставила Сан-Ремо с видимой радостью, остановилась в Ницце для панихиды на месте смерти сына и еще раз выказала мне внимание, дозволив мне быть свидетелем ее горячих материнских слез. Перед прощаньем она одарила не только Бутакова, но его жену и даже детей, выразивши сожаление, что разлучила его с ними на долгое время. Золотой талант у этого Бутакова быть всеми любимым. Виктор-Эммануил, приезжавший приветствовать императрицу всего на четверть часа, не забыл адмирала, которому за два года только дал ленту короны Италии. Он захотел непременно украсить его другой лентой, св. Лазаря и Маврикия. Министр иностранных дел возразил, что орден дается только генерал-лейтенантам и никогда не давался в чине Бутакова. Находчивый король не велел приписывать в грамоте чина, а только звание командующего русской эскадрой на Средиземном море.

Ниццкие увеселения не отвлекали меня, однако ж, от участия ко всему, происходившему вокруг, в особенности в России. Еще с прошлого года начали появляться в наших журналах полемические статьи о новых броненосных судах, придуманных адмиралом Поповым и окрещенных «поповками». Не входя в разбор целесообразности судов и важности их в боевом отношении, помяну только, что изобретение доставило изобретателю большие выгоды, и, разумеется, удача Попова возбудила зависть. Продолжительная полемика носила отпечаток этого злобного чувства, но вместе с тем показывала осязательно, что времена изменились. Всем было известно, что не только генерал-адмирал, но сам государь был обворожен произведением Попова. Разумеется, они оценили выдумку Попова не по достоинствам, которых не могли анализировать, а по впечатлению на слабые свои органы, поддающиеся безотчетным увлечениям. Как бы то ни было, высшая власть явно и ярко стояла за Попова, несмотря на это, в сословии и публике раздавались голоса, не только низводившие новинку на степень humbug,[52] но порицавшие поспешность, с которой власть приводила проект в исполнение. Ловкий Попов, беспрестанно ездивший в Англию, нашел геральда в бывшем главном строителе английского флота Риде. Удаленный от должности, Рид охотно принялся изливать свою злобу на английское адмиралтейство и указывал на успехи русского судостроения. Со своей стороны, Попов утверждал, что его круглые суда ни что иное как доведенная до крайних пределов идея Рида укоротить броненосцы. Эту идею он, Попов, подхватил как рациональную и истинным творцом «поповок» объявлял английского инженера. Таким образом установилось взаимное хваление некоторого рода chantage,[53] послужившее впоследствии к выгоде участников. У нас особенно чутки к мнениям иностранцев. К про-

изведению Попова, вероятно, обращусь еще раз впоследствии, а теперь только подивлюсь, откуда изобретатель почерпал ловкость и умение околдовывать наших изменчивых правителей. Ни воспитание его, ни служба, казалось, не могли привить к нему подобных способностей.

Недостаток решимости дома и какой-то платонизм в сношениях с Европой — вот отличительные черты настоящих руководителей России. Пришло в голову очеловечить войну, устроили для этого в прошлом году конференцию в Брюсселе и теперь настаивали продолжать ее в Петербурге. По принятым основным данным, филантропический проект (приписываемый лично государю) вполне согласовался с настоящими военными условиями Германии, давно уже организовавшей поголовную защиту. Отвергалось всякое участие в войне незавербованных в строй народных масс, короче, уничтожались предания смутного времени и двенадцатого года, выгораживавшие Россию из бед общим восстанием народа. Германия, конечно, с готовностью соглашается с нами, но Англия, не страшась упреков в варварстве, отказалась участвовать в конференции и по обычаю своему выразилась довольно жестко. Может быть, она воспользовалась случаем выказать, что родственные связи не имеют влияния на ее политику, или не захотела вступить в переговоры о неопределенном и фантастическом с теми, кто так недавно и бесцеремонно обошелся с действительностью, разорвавши парижский трактат и занявши, вопреки обещанию, Хиву. Алексей Александрович Зеленой из Парижа выразил в письме Горчакову удивление, что стараются регламентацией лишить Россию самых действительных средств защиты. Письмо было показано государю и возвращено с надписью: «Читал с удовольствием». Так для чего же заварили дипломатический кисель?

Зеленой скоро сам прибыл в Ниццу и подтвердил устно, что переданные мне подробности о его письме верны.

По словам Зеленого, думали послать меня в Амурский край для водворения там порядка, но мог ли бы я принять должность при столь свежем доказательстве, что у нас все зависит от минутных впечатлений власти? Я сказал, что собственный опыт заставляет меня верить словам Зеленого. Припоминаю дело о фрегате «Олег» и привезенных на нем прокламациях. Государь дозволил мне чуть не полчаса говорить о печальном обстоятельстве и, повидимому, благосклонно принял просьбу помиловать командира, не сказавши, что накануне уже решил судьбу его.

Церковный год кончается обыкновенно праздниками Пасхи. Отправляясь к заутрене, я получил телеграмму о награде меня орденом св. Владимира 2-й степени, нисколько не прибавляющим к моим достоинствам или не умаляющим моих недостатков, но еще раз свидетельствующим, что Краббе действительно забыл прошлое. В течение трех последних лет я упорно отклонял все его предложения и даже дозволял себе откровенно излагать причины моего отдаления от деятельной службы в морском министерстве, и все-таки он не упускал случая сделать мне приятное.

Лето 1875 года проведено нами в поездках, имевших преимущественно целью избежать жаров. Начали служебным визитом в Геную и Специю, а потом через Турин отправились в Париж. Турин стал мануфактурным городом и даже выиграл, переставши быть столицей.

Родовой Пьемонт превратился в едва заметную часть великой Италии. Это поглощение частностей общим отечеством заметно и в многочисленных памятниках, украшающих Турин. Весьма немногие из них напоминают прежнее существование Пьемонта как отдельного государства; большая часть относится уже к общеитальянскому периоду.

На пути в Париж я тщательно наблюдал влияние 26-минутного пребывания в туннеле Можени. Движения в этой бесконечной пещере не производило никакого особенного ощу-

щения ни на дыхательные органы, ни на зрение, хотя во все время я держал окно отпертым.

В Париже я убивал день за днем, в полезном, впрочем, движении. Как-то внезапно, ни с того ни с сего, немецкие журналы заговорили о военных приготовлениях Франции и о необходимости вновь объявить ей войну, пока она не собралась еще с силами. Всякий знакомый с отношениями Бисмарка к прессе заключил, что журналы следовали его вдохновению. Государь проезжал в это время через Берлин на пути в Эмс, и охватившее Европу опасение новой брани мгновенно исчезло. Немецкие журналы стали голосить на все лады, что никогда не разумели того, что публика захотела видеть в их сообщениях. Между тем стало положительно известно, что Россия и Англия предложили Германии дружеское вмешательство. Коли немцы ничего не месили, так и повода к вмешательству не было бы. Наш император прибавил новый луч к своему венцу миротворца и спокойно наслаждался свежим успехом в обычном летнем своем жилище.

Лето 1875 года было особенно дождливо. Мы думали провести его в Спа, но проливные дожди выжили нас, и мы сели в вагон с целью остановиться там, где увидим солнце. На время мы действительно поймали его в Висбадене и там раскинули шатры до сентября.

Толпа та же, если не более, но какая-то съеженная, ультра-экономная, чисто немецкая. Без малейшего участия к окружающему, без сочувствия к чему бы то ни было германскому я уединялся и бродил целые дни по прекрасному парку. Раньше я старался двигать и двинуться, а теперь стал апатичен или, по крайней мере, нерешителен. Летом некогда еще было выказать свою усыпительную силу, а энергия гаснет. Прогресс ли это или поворот назад? Начинает сдаваться, что природа человека не что иное как сложный механизм, который следует непременно питать жирными веществами, хотя бы и плохого свойства, а никак не останавливать. Жаль, что жизнь не повторяется.

Созерцательная висбаденская жизнь моя была приятно нарушена приездом приятеля А. М. Кумани, покинувшего Египет, стряхнувшего пыль земли фараонов с ног своих. Мне кажется, приятель мой слишком чувствителен к маленьким препятствиям. Не мне, конечно, упрекать его в излишней щепетильности, однако ж скорая решимость его оставить только что полученное место возбудила во мне дружеское негодование. Все дело вышло из-за колпака, как увидят из последующего рассказа, но, кроме личности Кумани, оно интересно как доказательство своеобразного порядка, существующего в возлюбленном западном Египте. Подробности мелочных случайностей ведут иногда к ясному взгляду на события и людей. Как посмотришь в микроскоп, представятся частности, совершенно изменяющие взгляд голого глаза на целое, и много великих людей представятся в шутовской оболочке.

У различных правительств Европы существуют с восточными государствами так называемые капитуляции, по которым судебная власть над подданными христианских держав находится в руках подлежащих консулов. Мусульманская юрисдикция, основанная на Коране, сама собой исключала возможность для христиан судиться по законам Турции и Египта. Хедив, торгаш в полном смысле слова, и несравненно более торгаш, нежели правитель, рассчитал, что подкуп консулов в случаях тяжбы между ним и европейскими подданными стоил весьма дорого. Столкновения были непрестанные, ибо хедив — единственный вотчинник Египта, и страна не что иное как торговый дом «Измаил-паша без компании». Хитрец рассчитал, что дешевле иметь постоянных судей, даже на большом жалованьи, но от него зависящих, нежели подкупать полудипломатических чиновников, постоянно ограждаемых своими правительствами. Вот начало пресловутой судебной реформы в Египте, придуманной ловким министром хедива Нубар-пашею, родом из армян. Между другими удоб-

ствами хедив думал, с помощью щедро вознаграждаемых им судей, провести закон, который дозволял бы ему налагать подати на иностранцев. Чтобы заменить капитуляцию и обеспечить иностранцам правосудие, Нубар придумал смешанные суды двух инстанций, состоящие в большинстве из европейцев. Все державы, исключая Францию, чутко схватившую невыгоды нового порядка, согласились. От прочих государств правительства назначили людей, представленных коммерческими комарами, и от нас в верхнюю судебную палату, по указания Игнатьева, послали Кумани, бывшего без дела и прекрасно знающего языки и обычаи востока. По предварительной конвенции, судьи должны были выработать кодекс на основании наполеоновского и внутренний регламент для себя, но прежде открытия произошел казус, именно касавшийся внутреннего регламента. Хедив, зная, что на востоке внешность поглощает сущность, задумал облечь новых судей в форму египетских чиновников. Итальянский судья, издавна участвовавший в различных торговых сделках с хедивом, утвердил его в решимости. Он предложил, чтобы судьи имели особенные знаки своего достоинства, и когда Шериф-паша, сменивший Нубара, ответил, что всего приличнее дать им французское судейское одеяние, так как самые законы заимствуются у Франции, итальянец, истый католик, вспомнил, что у французских судей шапки схожи с камилавками греческого духовенства, восстал с яростью фанатика и сказал, что лучше дать фецы. За мысль эту радостно ухватился хедив, желая, чтобы в глазах народа судьи казались его подчиненными. На востоке подданные христиане не смеют являться к правительственным лицам иначе как в феце, фец служит знаком национальности, как у нас кокарда. Новый костюм был предписан указом хедива, и в нем судьи обязались явиться на церемонию открытия судов. По чувству судейской независимости и, конечно, в силу семейных преданий, Кумани написал, что не выполнит указа, так как в конвенции ничего не упомянуто об одежде. Его товарищи более или менее связанные с хедивом сделками, согласились с ним в теории, но в практике посмотрели на вопрос иначе. Кстати, о меркантильном взгляде хедива на дела всякого рода нужно заметить, что Европа, отвергающая продажность служащих дома, не слишком строго смотрит на ту же язву в сношениях с востоком. Согласие держав на новую юрисдикцию хедив купил издержками в семь миллионов турецких лир. И Деказ, и Игнатьев, по-видимому, подчинились расчетам хедива. Наш консул Лекс, чистый эпикуреец, был совершенно на стороне фараона, умевшего удовлетворять всякого рода слабости. Даже коронованные лица поддались влиянию богатства хедива. Il Regolantumo, всегда нуждающийся в деньгах, занял у него при переговорах об уничтожении капитуляции семь миллионов франков.

Кумани стоял на своем и должен был выйти в отставку. Повторяю — предания семейные, память о вражде предков к туркам подвинули его упорствовать, но как человек, лучше кого-либо постигший восток, он предвидел, что первое нарушение конвенции не будет последним. Действительно, лишь только Кумани сказался больным, чтобы не присутствовать на церемонии открытия в турецкой форме, хедив, желая, чтобы выбрали вице-президентом палаты его друга-итальянца, налегал, чтобы скорее произвели выбор. Сам итальянец возразил уже, что с выходом Кумани палата не в числе и выборов производить не может. К чувствам, возбужденным попытками хедива, присоединились болезненность, как следствие климатических условий, привычка к известному комфорту, Египту чуждому, и рубикон был пройден.

Знавшись в течение службы моей преимущественно с дипломатами и бывши близким свидетелем поведения их в различных вопросах, я всегда с удовольствием вхожу в беседы и прения о подробностях дипломатических событий и о знакомых мне деятелях. Говорли-

вость (и некоторое озлобление) представляла мне в Кумани сущий клад.

Фаворит канцлера, настоящий посланник в Греции, Сабуров навлек на себя прошлой зимой неудовольствие государя. Разойдясь с женой, он влюбился в жену итальянского консула в Афинах и был вынужден принять его вызов. Рана в руку, вероятно, разжалобила государя, и Сабуров остался на своем посту. О его подвигах немало говорил мне и Г. И. Бутаков, наш бессменный адмирал в греческих водах. Сабуров пишет не то, что есть, а то, что, по воззрениям его, должно быть и вообще мало вселяет к себе уважения. Мы издавна знакомы с семьей, где его считают фениксом, и действительно, ему нельзя отказать в способностях, но на что они употребляются, видно из следующих двух случайностей его жизни. Назначенный по неимению вакантного поста поверенным в делах в Карлсруэ Сабуров женился там на баронессе Фицтум, как говорят, вынужденный ее родней. Он заставлял жену пить горькую чашу и простирал презрение к ней до такой степени, что, путешествуя, в видах экономии брал для нее вторые места, предоставляя себе первые. В Карлсруэ Сабуров попал из Лондона, где весьма долго служил с Бруновым. Ему и той случайности, что под ним в иерархическом порядке стоял Михаил Горчаков, Сабуров обязан своим быстрым повышением. Лишь только зависимость от Брунова прекратилась, Сабуров послал в министерство две записки: одну о внутренних делах Англии, другую о ее внешней политике. Сабуров красноречиво убеждал, что при внутренних затруднениях, представляемых Ирландией и рабочими союзами, Англии не до внешних вопросов, следовательно, и не до среднеазиатского, по которому Англия в то время добивалась от нас объявления, что действия наши в Центральной Азии не имеют целью приближение к ее ост-индским владениям. Сабуров старался выказать, что единственно любовь к России понуждает его выражать министерству откровенное мнение об английских делах, что взгляды свои он хоронил годы, вследствие зависимости от Брунова, известного своей дипломатической опытностью, но теперь, избавясь от положения подчиненного, чувствует потребность их высказать. До сих пор не было ничего, что могло бы служить укором деятельному чиновнику, желавшему доказать, что он не дремал и заслуживал оказываемого ему внимания. Но к запискам было приложено письмо, в котором Сабуров, опасаясь, чтобы мнения его не были посланы на рецензию нашего ответственного представителя в Лондоне, выставлял сомнение, чтобы Брунов согласился с ними, что он не забыл еще современных ему прежних английских деятелей, что новые совершенно иначе смотрят на дела, и для пузырного элемента Горчакова прибавлял: «Не должно также упускать из виду, что он (Сабуров) позволяет себе расходиться во взглядах с дипломатом, бесспорно преисполненным достоинств, но вместе с тем одним из всех русских представителей в славную кампанию, предпринятую и с успехом совершенную его светл. канцлером для отражения Европы по польскому вопросу, советовавшим умеренность». Горчаков в тот же вечер за преферансом сказал отцу Сабурова: «Votre fils a gagné aujourd'hui ses éperons, lisez»,[54] а порицать поведение Сабурова относительно Брунова напыщенному канцлеру и в голову не пришло.

Вообще политика наша дремлет, и мы тешимся сентиментальными вопросами, относящимися до человечества вообще, забывая охотно о России и ее выгодах. И не одно министерство иностранных дел пребывает в блаженном состоянии спокойствия. Кажется, все настоящие министры хлопочут только о том, чтобы не беспокоить уставшего властелина и мирно дожить собственные дни в лучах власти и неге нераздельного с ней комфорта. О том, что юному, только ставшему на ноги русскому народу потребно движение, никто не помышляет. Внешние, независимые от нашей воли обстоятельства по временам выводят нас,

однако ж, из усыпления. К концу лета вспыхнуло восстание на Герцеговине. Покровители принялись всячески уговаривать Сербию и Черногорию удержаться от сочувствия восставшим, но долго ли это будет возможно? Чего доброго придется опять видеть союз христианских государей с Портой и в этот раз для усмирения христиан, страдающих под игом исламизма. «Если бы в какой-либо отрасли государственного управления в течение многих лет занимались только замазыванием щелей, наступил бы час, когда здание рухнуло бы вследствие совершенной негодности. Политика, будучи механизмом интернациональным, при неспособности предусматривать и решать, кончит тем, что будет сбита с основания внезапным обстоятельством и поплывет по бушующему ветру. От искры Москва загорелась, и я не удивлюсь, если Герцеговины ради восточный вопрос заставит решить себя. Даже англичане начинают тяготиться постоянным улажением турецких затруднений и говорить, что нужно выжать турок из Европы или заставить их быть европейцами».

В чем же искусство дипломатов и к чему ведет оно, если горсть диких страдальцев может произвести общий пожар? Право, послы, посланники и кабинеты думают, что люди даны им на потеху и что Европа сцена, назначенная для любимых их турниров, pour jouer au plus fin...[55] Мудрено ли, что человеку, понявшему всю суетность споров о решениях, на которые никогда не решаются, и задавшемуся целью, удалось немыслимое? Все разинули рты, когда Германия слилась с Пруссией, а не могло быть иначе — в последние 25 лет не забавлялся только один Бисмарк.

Висбаден, излюбленный русскими, по преимуществу русский умственный рынок. Все заграничные русские издания являются в нем немедленно. Новая брошюра Самарина и Дмитриева — «Революционные консерваторы» — приятно перевела меня от иностранной нашей политики к внутренней. Самарин отвечает Фадееву, приславшему ему книгу «Чем нам быть», а Дмитриев разбирает проекты всесословной волости, представленные (вопреки закону) петербургскому дворянскому собранию комиссией под первенством князя Николая Лобанова, недавно еще думщиком Платоновым и графом Орловым-Давыдовым. Юрий Самарин рушит творение Фадеева своей стенобитной логикой, указывая на противоречия предлагаемых средств с целью. Дмитриев выдергивает по ниточке всю ткань, сплетенную консерваторами, и доказывает, что они ткали без основы, не вникая в смысл законов, на которые ссылаются, не подозревая, к чему поведут предлагаемые ими узаконения и, наконец, совершенно не зная требований и условий народной жизни. Когда разогрелись Фадеевщина и Лобановщина, для меня стало ясно, что эти господа хлопотали даже не о дворянстве (об общей пользе, разумеется, не было помину), а о личном влиянии только или о влиянии сочувственного им известного кружка. Пора бы дать России перевести дух и перестать ратовать за ломку учреждений, вызванных реформами. Уж коли ратовать нужно, так лучше порадеть об уничтожении безобразной аномалии, мешающей этим учреждениям развиваться и действовать соответственно их назначению. Так или иначе, сознательно или несознательно, законодатель дал законы. Вместо того, чтобы строго блюсти за их исполнением, чтобы облегчить понимание их и устранять ошибки, новизне присущие, присяжные помощники монарха, его министры, ведут с реформой глупую борьбу, хотят во что бы то ни стало обратить закон в мертвую букву и нашептывают подчиненным возможное сопротивление ему. В настоящее время антагонизм земским и городовым учреждениям положительно вменяется в заслугу администраторам. Подобный пример видим только во Франции, где префекты республики стараются задушить ее в пользу той или другой монархии; но Франция, всегда блаженная, несколько вправе стать совсем юродивой от последнего удара по лбу, а нам с чего безумствовать?

Где нет безумия, там ум, искривленный упрямством и гордостью. Деятельный и трудящийся граф Толстой душит юное поколение классицизмом и совершенно забывает о народных школах. У нас нет хлеба насущного, а он кормит трюфелями. В той же берлинской печати явилось письмо к нему князя Александра Васильчикова, весьма интересное по содержанию и удобоваримое по способу изложения. Васильчиков начитает справедливым упреком, что граф приступил к новой системе без средств — к новому способу обучения без учителей. Он предполагает, что на столь нелогичную меру решились, вероятно, по политическим соображениям, и указывает на страх, возбужденный нигилизмом. По мнению автора, классицизм вовсе не противоядие социалистическим и отрицательным стремлениям; в классическом мире было все, чем богато наше время. Истинную причину торопливости Васильчиков видит в личном желании министра и его сообщников аристократизировать высшее образование. Спрашивается, с какой целью? У нас нет спроса на просвещенную аристократию как в Англии; именитым родам, воспитанным в духе классицизма, у нас нет места. Наши аристократы все военные или помещики, а на это нужно реальное образование. Желают ли составить из людей с высшим образованием будущий правительственный слой? Но программами сами уничтожают свои усилия. По теперешним требованиям воспитание детей в провинции невозможно, нужно ехать в столицы или за границу, следовательно, эмигрировать с местной почвы, чего не хотят те же консерваторы в видах господства на местах аристократического элемента. Но важнее всего то, что именно в момент, когда начинают обозначаться данные природой способности, ему говорят: с такими способностями высшее развитие тебе доступно, а с такими — нет. Князь метко делит способности на две группы: беллетристические (классические, в которых чувство и воображение играют главную роль), и математические (реальные), где преимущественно развита положительность, расчет. Кроме того, что самый классицизм не исключает отрицания, недовольные отцы, не видя возможности готовить детей дома иначе как для кадетства, не воздерживаются от порицания насилующей их власти, и дети растут с отрицательными наклонностями, прививаемыми в семействе, родительским влиянием.

Нельзя не признать верности некоторых выводов автора, но жаль, что, коснувшись желания министра кроить Россию по Англии, Васильчиков недостаточно выставил разность условий обеих стран. У нас ни правители, ни те, которые ими недовольны, не трудятся изучать нужд России. Одни безумствуют в своем самовластии и остаются невеждами в делах внутренних, зная, что положение их упрочено не пониманием народных надобностей, а фаворою; другие недовольные ничего не изучают, зная, что труд ни к чему не приведет. В Англии же правители, вынужденные на нескончаемый бой с оппозицией, непрестанно следят за делом, а оппозиция, уверенная, что придет ее очередь быть правительством, запасается знанием потребностей страны для свержения противников. Есть причины, есть и следствия.

Письмо Васильчикова возбудило во мне желание собрать всю нашу заграничную литературу последних лет, не подпольную, а выходящую у Бера, за подписью серьезных людей, высказывающих убеждения с открытым забралом... «По прочтении письма Вашего к графу Толстому, — писал я автору, — меня охватило чувством, сродным с тем, которое человек ощущает за добро, лично ему сделанное, и беседа с вами стала внезапной потребностью. Если бы вы достаточно оценивали наслаждение видеть в безобразной толчее колеблющихся мнений и беспрестанно меняющихся убеждений верный путеводный знак, безошибочно направляющий плавателя, то чаще дарили бы нас вашими воззрениями и мнениями. Таким благонамеренным прилежанием вы совершили бы истинный

подвиг. Вы отвратили бы шаткие и липкие умы (а их легионы) от печати разъединяющей и сокрушающей и прельстили бы их печатью согласующей и созидающей. Вам дано все для такого благого дела».

В Боне опять собирался конгресс для соединения церквей. На него отправился большой поборник идеи соглашения, висбаденский священник Тачалов. Еще в прошлом году в той же Боне съезжались теологи разных исповеданий с той же целью. Англичане выказались самыми податливыми, что свидетельствует о сомнении в верности их догматов. Старокатолики, очевидно, ищут союзников в оппозиции папе и ищут их a tout prix.[56] Главное препятствие исходит от нас, хотя делегаты наши согласились на предложенные тезисы. Правда, тезисы эти (о filiogue, семи таинствах и чистилища) были предложены Деллингером в форме, которую не было возможности отвергнуть; но если сущность не выражена или обойдена, как в предложениях Деллингера, то и согласие не ведет ни к чему практическому.

Мне кажется, подобные сходки, бросая в массы мысль о единении, могут иметь отдаленный результат, но следовало бы на первых же порах отрешиться от мысли, что теологическая казуистика может повести к чему-либо. Базис, принятый конгрессом, — века нераздельности церкви, — кажется мне нелогичен. Причину разъединения думают употребить как средство к воссоединению. Нужно, чтобы многие согласились отступиться от одиннадцати вековых заблуждений, а легко ли это?

В нынешнем году конгресс принял абрис собора. Со стороны православных явились два восточных епископа, выказавшие к нашим представителям братское расположение, которого никак нельзя было ожидать по существующему между нашим и константинопольским синодами разномыслию относительно болгарской церкви. Наименее уступчивыми оказались наши делегаты; оно и понятно при невозможности с их стороны выражения даже личных взглядов.

Происхождение духа от отца признано истинным догматом, но допущена свобода частных мнений. Разъехались в большой радости, с тем, чтобы в будущем году вновь соединиться. Ждут также, что Великий Князь Константин как председатель общества христианского просвещение поможет осуществлению идеи единения. Еще бы? Его догмат — тщеславие, и ради его он не задумается прибавить блеску своему имени на счет догматов церкви.

Папа, без сомнения, готовит отпор, и иезуиты не дремлют. Торжество первоначальной церкви для него приговор смертный. Армия его громадна и дисциплинирована, а при таком условии плоха надежда единителей на успех. Притом, на самом конгрессе единения уже затронули вопрос об административной главе церкви, значит хотят ее независимой. Здесь вмешаются, конечно, светские власти.

Отечество любезное все глубже и глубже лезет в сердце Азии. Страшно, чтобы азиатские успехи не отдалили нас от Европы. В Кохане вспыхнуло возмущение, следствием которого было нападение на наши границы. Кауфман собрал силы и разбил коханцев наголову. «Дело сделано начистоту», как выразился юмористически или лучше казарменно-саркастически Кауфман в своем донесении. Верно понравилось, коли публиковали депешу без изменения.

Наше летнее скитальчество было прервано предложением начальства моего свидеться с герцогом Николаем Лейхтенбергским. От скуки и безделия герцог вошел в сношения с разными прожекторами и препроводил в Петербург изобретение нового подводного двигателя для судов. Ему ответили, что для наблюдения за всеми усовершенствованиями, касающимися морского дела, держат за границей меня и чтобы он обратился ко мне относительно интересующего его вопроса. По предварительной переписке условились съехаться в половине сентября в имении его высочества в Штайне, в Баварии. По неопределенному семейному положению герцога я отправился к нему один.

ГЛАВА VII

ЗАМОК ШТАЙН. ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

Замок Штайн и настоящие его обитатели. Нравственное положение герцога Лейхтенбергского. Поездка моя в Петербург. В правительстве застаю товарищей: Лесовской, Посьет и Грейг. Отчет контролера о морском бюджете и его выполнении. Попов и Рид. Мое бегство обратно в Ниццу. Герцеговинское восстание. Смерть К. В. Чевкина. По поводу смерти императора Николая. Бремергавенское злодейство. Прием государем Горчакова. 50-летие 14 декабря. Исторический бульвар в Севастополе.

Тетка герцога Лейхтенбергского, вдовствующая императрица Бразильская, по завещанию Евгения Богарне, получала от наследников его пенсию в 40 тыс. франков. Эта пенсия уплачивалась по день смерти ее герцогом Николаем, обладателем майората, вследствие чего принадлежавший императрице замок Штайн перешел во владение Николая Максимилиановича. Притон оказался как нельзя более кстати при удалении герцога из России по поводу связи или женитьбы с Надеждой Сергеевной Акинфиевой. Штайн — единственная недвижимая собственность герцога, потерявшего Эйхштадтский майорат довольно странным образом. Николай Павлович, не желая, чтобы внук его был по владению подданным чужой страны, влиянием своим одолел общие законы о майоратах, и герцогство Эйхштадтское продано в период малолетства владетеля за сумму, проценты с которой едва равняются в настоящее время доходам с отдельных фольварков имения. Вырученная сумма обращена в майоратный капитал. Герцог не только не может тратить его, что было бы справедливо, если бы раз не пошли уже по пути неправды, обративши майорат в деньги, но у него отнято даже право видоизменять капитал соответственно выгодности появляющихся на бирже новых бумаг. Министр двора и уделов держит августейшего владетеля на привязи и больно подергивает, когда находит повод, а поводов немало при настоящем неопределенном положении Николая Максимилиановича, поставившего против себя всю семью необдуманной своей связью. В таком положении замок Штайн стал для герцога истинным кладом. Он может жить в нем вдали от треволнений всякого рода, вынося терпеливее враждебные отношения родных и смиреннее подчиняясь требованиям нового семейства.

На станции Траунштейн, по дороге из Мюнхена в Зальцбург, я нашел готовый экипаж и покатил к августейшему амфитриону по прекрасному шоссе, вдоль реки Траун, доставляющей краю огромную водяную силу. Через два часа я въехал сквозь мрачные ворота на обширный двор и очутился у подъезда средневекового замка, прислоненного к отвесной скале. Здание принадлежит XVI веку, а венчающий скалу Donjon — XVIII. Жилище было когда-то убежищем знаменитого Ганса Штейна и теперь приспособлено к современной

жизни. В ограде заключались хозяйственные строения и пивоварня.

Меня обдало средневековой гнилью, но представившиеся несомненные признаки современности вмиг уничтожили археологическое впечатление. Сам герцог любезно встретил меня у подъезда, окруженный мужским своим штабом, и en gallant maître[57] ввел меня в приготовленные прекрасные комнаты. Все было вдвойне, так что, вероятно, ждали и жену. С деревенской быстротой свелись знакомства, и в течение четырехдневного пребывания в Штайне я был как дома. Герцог, с самолюбием истинного помещика, показывал мне свой скотный двор, конюшни и в особенности пивоваренный завод, кажется им устроенный и, по его же словам, окупающий расходы по всему имению. Он варит пиво на весь окрестный край и, должен прибавить, fait personellement honneur a ses produits.[58] Охотились для развлечения за лисицами, играли в кегли и вообще тратили время по-деревенски. Весьма мало говорили о предметах, собравших в Штайн двух прожектеров, англичанина и генуэзца de Scalzi, придумавшего новый подводный двигатель и желавшего ввести его в итальянский флот à coup d' épée,[59] споря и ссорясь с представителями итальянского правительства до дуэли. Мне показалось, что герцог, не зная, как распорядиться временем, набрасывается без разбора на предложения людей, думающих его эксплоатировать, и я счел долгом откровенно высказать ему результаты собственной опытности в течение многих лет, проведенных между пройдохами.

Как-то чрезвычайно скоро установилась между нами и даже между мною и женою герцога чистосердечная откровенность.

Герцог рассказал мне несколько случаев, выставляющих чрезвычайную нервность характера государя, мгновенно даже в семейном кругу превращающегося из сердечного родственника в высокомерного повелителя, не знающего пределов горячности. Il monte a cheval a tout propos, dominé constamment par l'idée de ses devoirs comme souverain.[60] И герцогу не раз доставалось, даже прежде его отчуждения от семьи. Разумеется, приближенные стараются поддержать в государе это непрестанное памятование о требованиях обязанности монарха.

Настоящие отношения Николая Максимилиановича ко двору весьма неприятны. На хлопоты о майоратном капитале Адлерберг отвечал отказом, озаглавя ответ «милостивый Государь». Герцог жаловался, нажил в Адлерберге врага и добился того только, что даже наследнику министр двора пишет теперь «милостивый Государь».

Собравши в горсть все мною слышанное, я перед отъездом вновь повел на герцога усиленную атаку и настаивал, чтобы он проводил в Петербурге несколько месяцев, сторожа удобные моменты. Только прямым действием на впечатлительного государя он может добиться цели. В муках неопределенности, ne sachant sur quel pied danser,[61] он хилеет и становится неразборчив в окружающих, лишь бы они поднимали его в собственных глазах и льстили его оступившемуся самолюбию. В числе других, например, я застал в Штайне англичанина Saunders, обыкновенно доставляющего герцогу лошадей и собак. Saunders большой Sportsman, но, по-моему, вместе и очень загадочная личность. Отец его служил в лейб-кирасирах, а сын, почти мальчик, был употреблен Николаем для зондирования американского правительства в 1854 году и для сбора известий в Балаклаве. Saunders уверяет также, будто отец его спас государя 14 декабря, и вследствие того Николай Павлович всегда благодетельствовал семейству. Каким же образом сын лейб-кирасира, спасший государя, теперь без средств и ни слова не говорит по-русски, хотя в России родился и провел там юность?

Прогулявшись в сфере, которую начал уже забывать, я оставил Штайн, тронутый положением хозяина и его ко мне вниманием. Герцог сам докатил меня до станции на четверке кровных, и мы расстались с уверенностью

встретиться в Риме как приятели. Через сутки я был уже в Милане, где одиночество жены было приятно нарушено приездом Батюшковых с Комо.

Милан готовился принять нового Барбароссу в мирном облике. Столько времени откладываемый ответный визит германского императора королю Италии должен был, наконец, состояться в прежней столице Ломбардии. Ни хозяину, ни гостю Рим не мог быть удобен в этом случае. Чтобы не попасть в вихрь празднеств, мы поспешили на зимнюю квартиру в Ниццу, и лишь только устроились, меня потребовали в Петербург, куда я так недавно советовал ехать герцогу Лейхтенбергскому.

В наше время передвижения в четыре тысячи верст не представляют затруднений, их можно делать без молебнов и завещаний, так быстры и верны способы. Но зато как ощущается разность между благодатными краями, наделенными даровитой природой, и теми пасынками, которых она обделила. В четверо суток я переменил все костюмы, от легкого пальто до тяжеловесной шубы, и по прибытии в Петербург мигом окреп в морозе. Столица была пуста, ее солнце сияло еще на берегах Черного моря, и сателлиты светила пользовались отсутствием его по-своему, т. е. еще не возвращались с вод и из Парижа, где обыкновенно проверяют зимний канцелярский труд жизненной действительностью. Только один граф Толстой, верный себе, разъезжал по южным округам и пожинал лавры в земствах, городских управлениях и консисториях, певших на все лады «Осанна». В своем министерстве я застал междуцарствие, которому судьба должна скоро положить предел. Краббе пришел к страшному концу — впал в идиотизм, соединенный с параличом языка, и представляет для окружающих страшный субъект. По временам дар слова возвращается, и привычные к известному движению мускулы издают ругательства, приводящие в ужас богобоязненную прислугу. Жалкий конец жалкой жизни, но живущие еще больше жалки, нежели отходящий страдалец. Все великие князья, даже сам государь, посещали Краббе во время болезни, будто человека, по которому застонет вся Россия, и в то же время изучали цинические подробности новой великолепной квартиры его в адмиралтействе, те самые подробности, которые при физической немощи беспрестанно воспаляли воображение Краббе и привели его к умственному и нравственному бессилию.

Управляли министерством морским, путей сообщения и контролем прежние товарищи мои Лесовской, Посьет и Грейг. Лесовской заработался до дряхлости, до совершенной неспособности принимать как министр какое-либо участие в общих делах и довольствовался тем только, что касалось флота. По привычке к безусловному повиновению он утерял всякую инициативу и был просто исполнителем разнообразных фантазий генерал-адмирала. Великий князь вовсе не скрывал своей закулисной жизни, ночевал у своей любовницы и утром с холодом на руках и в лице принимал всех, возвращаясь из своего petite maison.[62] Скандальная хроника уже вовсе не заботилась о простых смертных, толковали только о деяниях царского семейства на этом поприще.

Внезапное приказание прибыть в Петербург повело знакомых моих к различным предположениям. Оно сходилось с неизлечимым недугом Краббе, и многие думали, что меня зовут на деятельность. Дело было в чисто техническом вопросе: покупать ли самодействующие мины Уайтхеда или нет? С этой целью составили комитет и призвали в него всех заграничных агентов. В одно заседание вопрос решен утвердительно. Только Попов, покровительствующий доморощенному минному деятелю, Александровскому, подал отрицательное мнение. Впрочем, в сущности, предмет занимал его весьма мало, он возился с Ридом, которого привез из Англии для прославления своих «поповок», представил его в Ливадии государю и выхлопотал ему станиславскую звезду.

С этой взаимно восхваляющейся парой я встречался везде, куда должен был показаться после многолетнего отсутствия. Даже великой княгине Александре Иосифовне, жившей в Павловске, Попов навязывал статьи «Times», в которых Рид ублажал его. Chantage сам по себе нечистый, но было кое-что худшее. Рид, как узнал я, стал участником балтийского завода и влиянием приятеля добивался русских заказов и денег. Даже великий князь поддался проискам, и я с горестью услышал в техническом комитете, что он сам дольщик в заводе, который писари и окрестили великокняжеским.

Посьет, добродушный и тугой на понимание, запутывался в неведомых ему путях самого беспутного из министерств. Многое прощают ему за кротость и честность, но едва ли он окажется полезным на новом месте. Личное положение к императорской фамилии еще более затрудняло его в действиях по министерству. На выгоды, доставляемые постройкой железных дорог, немало августейших охотников, и Посьету нет возможности отказывать членам семейства, с которым он связан, так сказать, лично.

Грейг удивил меня резкостью, с которой отнесся к морскому министерству в своем годовом отчете. Выгородивши с большой, впрочем, натяжкой, великого князя, контролер доказал фактически, что морское министерство отступило совершенно от первоначальных видов генерал-адмирала, употребляет для известных целей средства, отдаляющие, напротив, достижение желаемого, и вообще, не ведая, что творит, идет к банкротству. Экземпляр отчета Грейг дал для моей библиотеки. Зная отношения его к великому князю и видя, что они не изменились и теперь, думаю, что предстоит уничтожить кого-либо (хотя бы военного министра) и что это кому-либо нанесут в следующем отчете окончательный удар. Претендовать будет невозможно, если не избежало строгой рецензии контролера министерство, над которым царит воля брата государя. Попов в особенности прилипал к Грейгу. Вообще он стал в высшей степени придворным, т. е. не стыдящимся человеком. Сошлись мы за завтраком в Павловске. Попову, видимо, хотелось что-то сказать, и когда великая княгиня заметила его беспокойство, спросила, в чем дело. Попов выставил привесок к цепи часов. После пристального осмотра оказалось, что это был простой пятак в золотой оправе с надписью: «Дан такого-то сентября Его Величеством в уплату за бритвы». Хитрый адмирал, возвратясь из Англии, куда провожал Эдинбургских, нашел возможным поднести пару бритв для высочайшей бороды. По русскому обычаю, государь отдарил пятаком, который Попов носит у своего сердца. Недурно для сына плотника.

Понятно, что мне хотелось скорее выбраться из этой сферы, и я воспользовался видимой готовностью отпустить меня. На Петербург и обратно и на пребывание в столице я употребил всего шестнадцать дней.

Как выпущенная на свободу птица, мчался я обратно в Ниццу, выдыхая на пути все проглоченное мною в петербургских болотах, но по возвращении столичные миазмы не сразу оставили меня. В самый день моего отъезда в правительственном вестнике появилось объяснение по герцеговинским делам. Это был просто манифест, в котором объявлялось, что положение наших единоверцев в Турции должно измениться. Форма объявления и язык были до того резки, что Европа встрепенулась и наступил период тревожных ожиданий. Поспешно и боязливо стали мы отговариваться в «Journal de S-t Petersbourg», что ничего не намерены делать, что мы только дружески советуем и ожидаем улучшения положения подвластных Турции христиан от приязненного к нам расположения самой Порты. Короче, нельзя было откровеннее сознаться, что статья правительственного вестника была тиснута только для домашнего употребления. Между тем, придумывали, как бы склонить Потру к удовлетворению христиан без окончательно-

го решения восточного вопроса, вовсе не своевременного для прикидывающейся мирной Европы. Говорили о разрыве пресловутого соглашения императоров, о желании Бисмарка навязать нам на руки вопрос, чтобы развязать себе руки для окончательного погрома Франции, слишком мало побитой в прошлую войну, и плели другие дипломатические сплетни. Английские журналы против ожидания также участвовали в de profundis[63] над Турцией и, казалось, отказывались уже от традиционного взгляда, будто целость Турции необходима для всего мира. Скрипели перья, мчались курьеры, даже сами министры иностранных дел съезжались на перешептывания. Вдруг John Bull a joué une des siennes[64] — появилась телеграмма, что английское правительство скупило все акции хедива на Суэцкий канал, а их у вице-короля была почти половина. Никто не нашел поступка странным или опасным, так нравится толпе ловкая своевременная дерзость. Признаюсь, и меня лично обдало свежим воздухом откровенного наездничества после раскопок в мрачных ямах, чем так усердно, не жалея достоинства России, занимались у нас в последнее время. Я будто вымылся и забыл, что так недавно еще был в неопрятной обстановке.

Вскоре по возвращении моем наша русская колония была опечалена смертью К. В. Чевкина. Напутствуя меня в столицу, старик передал письмо к великому князю Константину и просил засвидетельствовать de Visu[65] о его неспособности прибыть к заседаниям государственного совета. Возвратясь, я застал уже утомленного деятельной жизнью старика в весьма сомнительном положении, но все же ни сам он, ни знавшие его не предвидели такого скорого конца. Еще накануне я поднялся к нему и застал его в кровати, больной охотно вступил со мной в разговор о «злобах дня». Через весьма короткое время он взялся за голову и сказал, что «мысли его будто мешаются». На другой день рано утром пришли мне сказать, что страдалец, вставши с кровати, подошел к камину и упал трупом. За несколько дней перед кончиной у старика было еще много нравственной энергии. Не мог мириться с недостойным, несмотря на слабость и недуг, и горячо порицал все уловки дельцов высших сфер. Покойный имел полное право быть строгим в этом отношении; получая десятки лет большое содержание и творя миллионеров, он составил всего 75 тысяч капитала, в чем я удостоверился из завещания его вдовы, которое подписал как свидетель. Смерть полезного деятеля занимала нас несколько дней и повела к различным загробным воспоминаниям. Набрели и на тень Николая Павловича. О кончине его мне довелось впервые слышать несколько определенные подробности от Николая Семеновича Гаевского. Известно, что медик Мандт публиковал брошюру о смерти государя. Обвинение в подкупе Наполеоном понудило Мандта написать загробное оправдание, несмотря на обещание, данное им Николая Павловичу, сохранить обстоятельства смерти его в тайне. Сознаваясь в отравлении государя, Мандт утверждает, что сделал это по непреклонной его воле. Николай Павлович хотел только смерти без страданий и внешних признаков отравы. Переданные Гаевскому отцом его подробности заставляют заключить, что сознание Мандта искренно, впрочем, не за чем ему было брать на душу тяжелое преступление. Государь твердил, что «пережил свое время», и требовал конца. Накануне смерти Енохин по обыкновению сидел утром у наследника и был противно этикету вызван от него по немедленной надобности. В прихожей встретили его Мандт и Карель и попросили сходить к государю. Енохин был тотчас впущен и нашел Николая Павловича сидящим на кровати в веселом расположении духа. Он поблагодарил Енохина за участие и дозволил возвратиться к шести часам вечера осведомиться о его здоровье. При втором посещении государь уже был в большом расстройстве и на замечание Енохина, что дело

обойдется, возразил: «Нет, старое г.... со двора долой», — и велел позвать Императрицу. За этим последовали всем известные сцены. Николай Павлович всячески старался скрыть свою решимость и приказал камердинеру Гриму приготовиться к поездке, но заметили, что после смотра в манеже отправлявшихся в Финляндию войск он возвратился во дворец, объехавши почти весь город, будто прощался с своей столицей. Вошедшая в спальню вместе с Императрицей и остановившаяся у дверей фрейлина Столыпина рассказывала впоследствии, что во все время последней беседы с женой Государь пристально смотрел на стоявшего в ногах Миндта. Но это могло быть дополнено воображением Столыпиной вследствие говора об отравлении Государя.

Подлинно наука дает столько же средств на истребление человека, сколько на его благополучие. По-видимому учение о злых и добрых духах, борющихся в природе, имеет основание. На днях случилось в Бремене происшествие, выказывающее яркость и зверство человека, проникнутого злым началом. Американец Томансон намеревался отправить в Нью-Йорк товар и застраховал его в несколько раз более стоимости. Чтобы получить наверное страховую премию, он решился на чисто дьявольское средство — хотел положить в груз чемодан с нитроглицерином, рассчитанным на взрыв по истечении восьми дней, нужных на переход парохода в Сутгемптон, принятие там груза и удаление от берегов Англии. Воспламенение зависело от особо устроенного механизма. По какой-то случайности чемодан взорвало на бременской пристани. Находившийся уже в своей каюте преступник выстрелил в себя из револьвера, но жил достаточно, чтобы сознаться в демонском намерении. От взрыва погибли и были ранены 180 человек. Всего страшнее, что преступление это не есть одиночный вывод развращенной воли, а оказывается средством общим целой ассоциации негодяев. Вот направление прогресса в науке по пути злых духов, господствующих над бедным человечеством. Теперь страшные побоища целых масс в руках не у одних правителей.

Исход 1875 года носил в себе зачатки случайностей, которые могли бы потревожить общий мир. В невольном убеждении, что герцеговинское восстание представит неожиданности, правительство старалось предпослать им успокоительные сообщения. Наш государь, между прочим, на георгиевском празднике, в нынешнем году особенно торжественном по случаю 25-го юбилея царя, как кавалера, обратился к прусским и австрийским представителям, принцам Карлу и Альбрехту, с речью, в которой выражал уверенность в ненарушимости мира. С некоторого времени официальные слова государя лишены значения, а факты, как нарочно, в этом случае придают им еще более неопределенности. Союзники решили послать Порте предложение изменить отношения ее к христианам и поручили редакцию увещательной ноты Андраши. Долго ждали произведения австрийского премьера, и молва начала относить медленность к несогласию наших взглядов с австрийскими. Порта предупредила намерение союзников и издала чрезвычайно либеральный фирман, обещающий христианам более, нежели желали союзники. Но обещание не есть еще исполнение. Уже одно это обстоятельство в соединении с упорством инсургентов достаточно для того, чтобы Европа вступала в новый год с тревожным ожиданием, а тут еще новые выборы во Франции, первые после тяжкой войны. Собрание разошлось окончательно, назначивши несменяемых сенаторов. Противно общему ожиданию, большинство избранных принадлежит левой стороне. Легитимисты, видя невозможность собственного торжества, примкнули к республиканцам. Это всех удивляет, но мне кажется совершенно логичным. От веры в божию милость возможен переход только к народному самодержавию; не оставит же божья благодать целый народ.

По поводу герцеговинских дел рассказывают, будто Горчаков, возвращаясь в Петербург из обычного заграничного отпуска, объявил, что не вступит в исправление обязанности, не умывши руки, не сложивши с себя ответственности во всем сделанном в его отсутствие. Вероятно, намерение канцлера дошло до государя, поступившего чрезвычайно ловко для избежания объяснений. Горчаков не успел открыть уст, как царь повел его к императрице и назвал notre sauveur.[66] В то же время владыка выражал сожаление, что расстается с таким приятным докладчиком, как Жомини.

По случаю 50-летия декабрьского бунта Стюрлер сделан генерал-адъютантом. Отец его был изрублен 14 декабря взбунтовавшимся московским полком, которым командовал. Мало уже героев памятного дня, и семейный обед, которым чествовали оставшихся в живых защитников династии, был немногочисленный.

В самом исходе года самолюбие мое было удовлетворено разрешением подписки на строительство исторического бульвара в Севастополе. Мысль эта принадлежит мне. В прошлом году, прощаясь с яхтой «Царевной», отправлявшейся в Севастополь, я поручил ее командиру передать от меня градоначальнику Перелешину, что он должен связать с Севастополем свое имя бульваром по очеркам укреплений.

ГЛАВА VIII

ВОЙНА СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ ПРОТИВ ТУРЦИИ

1876 год. Смерть М. А. Корфа и Н. К. Краббе. Новые выборы во Франции и различные политические партии. Разрешение минного вопроса. Венгры и славяне. Слух об отречении государя. Смерть Ю. Ф. Самарина. Герцеговинский вопрос. Увеличение нашей эскадры в Средиземном море. Берлинский memorandum. Убийство консулов в Салониках. Посылка английского флота к Дарданеллам и наша немощность. Сербы и черногорцы объявляют Турции войну. Черняев. Наши волонтеры в Сербии. Болгарские ужасы и митинги в Англии. Сербия разгромлена. Наш ultimatum из Ливадии. Перемирие. Воинственные речи д'Израэли в Лондоне и царя в Москве. Военные приготовления.

Мы вступили в новый 1876 год в Ницце с большими ликованиями. Балы и банкеты следовали один за другим.

Здесь — пиры, а там — «надгробные клики». В начале января умер М. А. Корф, какой бы ни был, а все же труженик и большой ревнитель отечественного просвещения. Вслед за ним успокоился и успокоил, наконец, окружающих Краббе. Истинно добрый был человек. Похоронили торжественно и начали писать мадригалы. Как деятель покойный был бесполезен во всех отношениях, исключая поощрения казенными средствами отечественной промышленности в военном отношении. Заслуга немалая, но, вспоминая о Краббе, преимущественно приходит на ум изречение Сенеки: «Разврат языка, искажение смысла слов и приискивание новых, несомненно, свидетельствует о развращении нравов. Необузданность выражений — признак упадка умственного уровня, в особенности если тривиальность слова переходит от толпы в высшие сферы».

Грустно произносить такую надгробную речь, но трудно прибрать иную. Заменявший столько лет разлагавшегося Краббе Лесовской утвержден, наконец, в должности, и тем рушились толки о возвращении вновь к главному морскому штабу и о назначении начальником его — Попова.

Ницца была занята выборами. Состав сената и нового собрания должен был занимать каждого, от него зависело внутреннее спокойствие и внешние отношения Франции к Европе. Мне случилось долго говорить о выборах с префектом. По его мнению, лучших нельзя было ожидать и в отношении к работающей, желающей покоя Франции, и к внешней французской политике. Консерватизм положительно восторжествовал, т. е. взяли верх приверженцы настоящего порядка вещей. Крайности на обоих концах побеждены. Консервато-

ры составились из монархистов всех оттенков, умеренных республиканцев и бонапартистов non militans.[67] Здесь нужно определить смысл политической номенклатуры, принятой в настоящем положении Франции. Монархистами называют и легитимистов, помирившихся с мыслью о неминуемом законном переходе престола в орлеанскую линию, и орлеанистов, к ним примыкают и бонапартистам non militans, признающие макмагоновский период и настоящую конституцию. Республиканцы умеренные стоят за существующий порядок, не предрешая будущности. Из этих трех элементов составился парламентский консерватизм, с которым правительству предстоит иметь дело. Большинство положительно на его стороне, но в различных вопросах оно непременно будет перемещаться, ибо пристало к выкинутому в настоящее время знамени по совершенно различным соображениям. Нужно прибавить, что оппозиция, т. е. бонапартисты militans,[68] стоящие за воззвание к народу, и радикалы, распинающиеся за примордиальную республику, не допускающие перемены формы правления даже в будущем, хотя и побеждена, но в благоприятных для нее обстоятельствах не упустит производить смешения и смятения, вотируя с одной из фракций большинства. Остойчивости нет и в новом собрании, а от правительства требуется немало умелости.

Кончивши дела в Ницце, я отправился в Фиуме радеть об орудиях вражды. Минное дело вступило в окончательный фазис. Вопрос остановился в прошлом октябре на том, что оба министерства, военное и морское, должны были участвовать в расходах на покупку секрета изобретателя. По возвращении из Петербурга я застал в Ницце военного министра Д. А. Милютина, высказал ему мнение, чыто пора бы отказаться от доморощенных прожекторов, столько лет высасывавших государственные деньги на опыты, приносившие весьма мало пользы, а просил ускорить решение вопроса своим согласием на соединенное действие с морским министерством. Милютин обещал, и по Высочайшему повелению была составлена смешанная военно-морская комиссия под моим председательством. Ей поручено было убедиться в действительности мин Уайтхеда, а затем заключить нужные условия. Контрактная процедура поручалась мне, как агенту правительства за границей. С этой целью я и выехал из Ниццы в половине февраля и съехался в Фиуме с товарищами. В течение целого месяца мы наблюдали пристально за разнообразными опытами. Результаты не удовлетворили военных представителей, требовавших от подводного орудия точности пушки. Всячески старались они склонить меня к дальнейшей переписке с Петербургом, просили обратиться за новыми инструкциями, опасались слишком поспешного решения дела и вообще силились поколебать меня. Прежняя самоуверенность пробудилась во мне при убеждении в пользе изобретения и, несмотря на стоны сотрудников, я заключил контракт под личной моей ответственностью, позволив себе высказать в донесении косвенный намек на требования военно-инженерного ведомства. «Таким образом, — писал я управляющему морским министерством, давая отчет в производственных опытах, — мы добились более прямолинейного направления мины, на расстоянии 2 тысяч футов, весьма полезное для морского дела, а главное, приближающее нас к требованиям сухопутного ведомства, выраженным его представителями. Эти требования доходят до точной стрельбы минами на шесть тысяч футов, хотя бы со скоростью, уменьшенной до восьми узлов. Не распространяясь о том, в какой степени исполнение этих требований может быть полезно на практике, не указывая на легкость, с которой корабль может уклониться от столь медленно придвигающейся к нему мины, заметной по пузырчатому следу, наконец, не налегая даже на то, что в расстоянии мили нелегко попасть в движущийся корабль снарядом, встречаю-

щим только сопротивление воздуха и пущенным из самого совершенного орудия, ограничусь свидетельством, что в настоящем положении минного вопроса исполнение таких требований немыслимо».

Между делом я свел в Фиуме некоторые знакомства. Губернатор граф Цапарри и в особенности милая жена его старались рассеять насевшую на меня фиумскую скуку. Действительно, Фиуме не занимательное место, хотя венгерцы гордятся им как единственным своим портом. В нелепом позыве национального самолюбия они устраивают великолепную гавань, хотя нет никакой торговли, но Венгрия — страна выворотов — думает, что гавань привлечет торговлю.

Братья-славяне и здесь в униженном положении. Сначала их немечили, а теперь, при дуализме, омадьяривают. К несчастью их национальности, фиумские и вообще кроатские славяне католики, принявшие латинскую азбуку вместо кириллицы. Это облегчает изглаживание народности. Православный фиумский приход всего в 50 человек. Пастырь, весьма почтенная личность, снабжал меня «Голосом» из славянской читальни. В одно из воскресений я слышал обедню на румынском языке, потому что в храме был батальон православного трансильванского полка. Церковь небогата, но весьма пристойна в архитектурном отношении.

Герцеговинские дела, несмотря на соседство, мало интересовали население. Даже арест Любибратича прошел в Фиуме бесследно, хотя произвел большой шум в Далмации. Обстоятельства, касавшиеся Венгрии, напротив, означались с большой торжественностью. Вообще мадьяризм надавливается здесь всякими средствами. Завели правительственную табачную фабрику, на которой работают до двух тысяч женщин, и как дела такой массе нет, то вместо увольнения лишних работниц заставляют работать только до двух часов дня. Тотчас за городом, уже не в Венгрии, а в Кроации, громадная писчебумажная фабрика, посылающая все свои изделия в Англию. Ценимая нами английская бумага таким образом выделывается в значительной доле братьями славянами, из которых выжимают трудовой пот более дешевыми средствами, нежели из других народов. Верно так уже на роду написано нашему покорному племени.

Я возвратился в Ниццу через Полу и Триест. В Поле встретился со старыми знакомыми, меня чествовавшими и принимавшими от меня чествование, несмотря на обстоятельство, наведшее некоторую тень на русских агентов в Англии. Военный товарищ мой в Вене Молоствов поддался на предложения какого-то барона Эртеля, австрийского офицера, служившего в военно-топографическом отделении, и купил у него карты нижнего Дуная с дислокацией войск на случай войны. Недостойный поступок австрийского офицера как-то обнаружился, и газеты запели на все лады о русском коварстве, подкупающем австрийских чиновников под вывеской дружества. И я был агентом, однако ж австрийские моряки не дозволили себе никаких намеков и сомнений, и Пола стала мне приятнее прежнего.

В Ницце я возвратился снова к обыденному безучастному существованию среди вовсе не занимающего меня общества. Едва ли гделибо живется так мало местной жизнью, как в Ницце. Зимний перелет личностей не оставляет питательного впечатления. Город — притон праздности и чисто органических наслаждений. Трудно уловить интерес в беспрестанно меняющемся обществе; решительно не за что ухватиться мыслью и чувствами, все происходящее вне имеет особенную цену для тощающей от недостатка пищи любознательности. Даже Испания становится занимательной и конец междуусобной войны на полуострове был для меня une nouvelle a sensation.[69] Дон-Карлос «великодушно отказался устроить счастье подданных» и удалился в тихое пристанище всех скорбящих самолюбий — в Англию. Будто в pendant великодушию Бурбона, нача-

ли писать и говорить о великодушном отречении от престола нашего Государя вследствие душевного расстройства. Смерть Марии Николаевны будто сильно потрясла его напоминовением о недолговечности рода Романовых. Мне не раз случалось слышать от различных членов императорского дома, что в их семье не переживают 60 лет, но на каком основании они могут выводить подобную преемственность. Какая может быть органическая наследственность, когда самый род лишь исторический, а не физический. Трудно догадаться, кто и для чего пустил подобный слух. Правительственный «Вестник» поспешил опровергнуть его, подробно изложив программу царских передвижений и действий до конца года.

Между различными сплетнями дошла, однако ж, и горькая правда. В Берлине скончался честный боец за русские интересы (в России нужно биться за них) Ю. Ф. Самарин; скончался почти внезапно, вследствие операции, не представлявшей никакой опасности, и в госпитале, куда велел перенести себя. Только случайно узнали в посольстве о безнадежном состоянии страдальца, и при смертном одре самого русского из русских был только один русский — секретарь посольства Архипов. Прах православного историка «Иезуитов в России» вследствие особенных условий посольской церкви в Берлине, считаемой придворной, был выставлен в кирке.

Покойный успел отпечатать последний выпуск своих «Окраин», так что радость остзейцев будет не полная. Смерть не имевшего официального значения ревнителя русской чести разнеслась по всей России. Везде служили панихиды, говорили сочувственные речи и даже в самом Петербурге устроили посмертную овацию праху, привезенному по железной дороге. За биографию покойного взялся И. Аксаков; наверное, будет написана сердцем.

Вообще наше поколение, видимо, начинает сходить со сцены. Умерли А. С. Горковенко и дикий исследователь амурской дичи Г. Н. Невельской. Газеты помянули обоих добрым словом, но в особенности сетовали о смерти графа А. П. Шувалова, истого аристократа и петербуржца, взросшего в столичной пустоте, но вдруг переродившегося в весьма либерального и делового ревнителя общих нужд под влиянием реформ начала царствования.

Все же в моем, русском, воображении герцеговинское дело затягивает все другие образы. Очевидно вопрос чрезвычайно трудный. Наиболее участвующие в нем державы — Пруссия, Австрия и Россия — нуждаются в сохранении мира, а между тем Россия не может относиться безучастно не только к страданиям единоверцев, но и к последствиям восстания. Последнее соображение еще более заботит Австрию, но интересы ее, к сожалению, совершенно противоположны нашим. Не может оставаться вполне равнодушной к будущности Балканского полуострова и Германия, рассчитывающая на раннее или позднее присоединение сынов своих, живущих на Балканах. Ей нужно вдвинуть Австрию в глубь востока и тем создать для будущего антагонизм между двумя сильными соседями. Все чувствуют, что положение натянутое, и не хотят опрометчиво привести вопрос к насильственному решению. По-видимому, условились тянуть его и тем создать возможность благоприятного исхода. Только так можно объяснить двойственность действий нашего правительства. Посылают явную помощь герцеговинцам и вместе запрещают журналы, подвигающие на более резкое вмешательство. На днях по этому поводу прекратили «Гражданин», даже без обычных предостережений. Наш дряхлый канцлер в ознаменование 20-летнего управления русскими внешними делами махнул седой гривой довольно удачно благодаря неосторожности турецкого главнокомандующего в Герцеговине. Муктар-паша с некоторого времени силился снабдить провиантом крепость Никшичь и был постоянно отбрасываем инсургентами. В отчаянии от повторявшихся неудач паша сорвал сердце и

донес, что в боях по Никшичем явно помогали инсургентам семь тысяч черногорцев. Разъяренный диван решил немедленно занять Черногорию, и только быстрое действие дипломатов, подвинутых преимущественно Горчаковым, заставили Порту образумиться. Не по этому ли случаю увеличивают лихорадочно наши силы в Средиземном море? Насылают ветхий броненосец «Петропавловск» и несколько мелких судов, не имеющих малейшего военного значения. Мне казалось, что хотят составить эскадру для великого князя Алексея, но Бутаков пишет, что он пошел прогуляться по западной части Средиземного моря. Трудно угадать цель суетливости правительства, а хочется шевелить соображение и все силы души, заметно слабеющие в безответственном положении, среди роз, наводящих приятное одурение. Что бы ни говорили апостолы собственной инициативы, обязательный труд необходим. Он только дает постоянную пищу умственной деятельности, только при нем возможны неожиданности, изощряющие способность находчивости и укрепляющие дух на борьбу с неудачами. Не физически, а нравственно чувствую приближение старости.

Заступничество Горчакова за оклеветанную Мухтар-пашей Черногорию было вступлением в кровавую драму, разыгравшуюся в течение года и предназначенную, по всей вероятности, иметь сугубо кровавый конец.

Борьба босняков и герцеговинцев возбудила в России сочувствие славянских комитетов, и правительство, может быть против воли, сочло нужным стать во главе движения. В мае на пути в Эмс государь собрал в Берлине канцлеров тройственного союза, и в несколько часов был сочинен memorandum, переданный уже по изготовлении на рассмотрение правительств, подписавших парижский трактат. Франция и Италия сообщили свое согласие по телеграфу, Англия поступила иначе.

Странно, что документ, составленный записными дипломатическими мастерами, грешил в основании всяких дипломатических сношений – вежливости. Парижский трактат существовал еще. По нему всякие вмешательства в турецкие дела должны производиться сообща шестью правительствами, гарантировавшими участие Турции в европейском синклите. Правда, бесплодность выступления, предшествовавшего проекту Андраши, ничего не определявшего и ни к чему не послужившего, оправдывала до некоторой степени желание действовать решительнее, но все-таки следовало пригласить, по крайней мере, Англию к самому составлению нового политического кодекса для Турции, а не предъявлять ей на согласие готовый уже проект. Англия оскорбилась, придралась к последней фразе меморандума, в которой грозили в случае несогласия Турции действовать сообразно обстоятельствам, и ответила посылкой огромного флота к Дарданеллам.

В это самое время случилось обстоятельство, давшее английскому министерству повод уверять впоследствии, будто флот посылали не в угрозу России, а для защиты христиан, по требованию послов в Константинополе. В Салониках убили французского и германского консулов, заступившихся за какую-то христианку. Власти не могли и не хотели остановить буйства черни, и встревоженные европейские представители в Константинополе, опасаясь взрыва мусульманского фанатизма, действительно потребовали удвоения стационеров в Босфоре. Отказ Англии на берлинский меморандум и салоникское злодейство сошлись во времени, но посылка целого флота в турецкие воды была сделана вовсе не с целью покровительства христианам, как уверял после, не брезгая чисто школьническими замашками и забывши чувство правительственного достоинства, английский министр иностранных дел. Появление английских сил в бухте Безика было ответом на выраженное тремя императорами намерение взять восточный вопрос в свои руки и нравственно поддержало Порту.

В Салоники устремились эскадры всех держав. Здесь я должен занести печальные для

нашего русского, в особенности флотского, самолюбия подробности. Когда вся Европа ринулась в Салоники требовать удовлетворения и предупредить дальнейшие зверства, нашему адмиралу в Леванте, до тех пор не всегда знавшему, как и на чем поднять флаг, поспешили составить эскадру. Как исторические охранители восточных христиан мы не могли блистать отсутствием. В течение лета и гораздо позднее других держав Бутакову прислали старого образца броненосный фрегат «Петропавловск» и деревянный корвет «Богатырь», остановили возвращавшийся через Суэц из Тихого океана деревянный же корвет «Аскольд» и придали еще отправлявшийся в Тихий океан клипер «Крейсер». Через двадцать лет после крымского погрома, истративши на флот 600 миллионов рублей, мы в час нужды не могли собрать ничтожной даже эскадры, не ограбивши восточные станции, и все суда были чисто морской пылью, не способной ослепить кого-либо! В то же время и по тому же вопросу Германия, каких-нибудь десяток лет занимающаяся флотом, выслала четыре грозных броненосца. Сами мы через шесть лет по заключению Парижского мира также по случаю беспорядков в Леванте могли иметь там эскадру, доходившую по временам до десяти вымпелов, и суда были не только современные, но, безусловно, хорошие. Как начальник эскадры я, не краснея, стоял с ней рядом с англичанами и французами и вовсе не имел причин смиряться или стираться.

Немощность флота нашего, говорят, очень раздражила государя, но вольно же было давать безграничную волю фантазеру брату и в течение 15 лет смотреть на Краббе, как на способнейшего из всех русских морских министров?

Салоникское происшествие повело к некоторым недоразумениям между начальником нашей эскадры И. И. Бутаковым и представителем нашим в Греции, Сабуровым. Недоразумения с Иваном Ивановичем? Как-то странно знать, что нашелся человек, способный наткнуться на рожон сопротивления в Бутакове. Сабуров, находя, что великому князю Алексею неприлично оставаться в Салониках и быть свидетелем казни провинившихся турок, написал о том адмиралу. Бутаков, видя, что у его самолюбия отнимают последнее убежище, отвечал, что еще неприличнее ему, русскому адмиралу, ввиду грозных иноземных эскадр, насланных в Салоники, перенести свой флаг с великокняжеского, хотя негодного фрегата, на потешный пароходик, вовсе не имевший пушек. Тогда еще к Бутакову не присоединились высланные суда. Сабуров перекинулся телеграммами с Эмсом, и Бутакову велели состоять в распоряжении Игнатьева под тем предлогом, что весь вопрос разрешался в Константинополе.

Отказ Англии ободрил, с одной стороны, Порту, с другой, породил в сербах и черногорцах решимость вовлечь в восточно-христианский вопрос Европу волей-неволей. Сочувствие к боснякам и герцеговинцам было естественно со стороны соплеменных им княжеств. В большей или меньшей степени оно проявлялось с самого начала восстания. Теперь, когда вся Европа вознегодовала на притеснителей за салоникские убийства, сербы и черногорцы сочли момент удобным и, несмотря на увещания Европы, дрожавшей в своей коже, ринулись в сечу.

Как объяснить легкое воззрение европейских дипломатов на чреватый бедами черногорско-сербский казус? Говорили, будто не время вмешиваться между противниками, будто следует дать им подраться и потом, в данный момент, разнять их всей силой общеевропейского авторитета. В то же время предупреждали обе стороны, что сколько бы они ни резались, Европа не допустит изменения в Status quo ante bellum.[70] Значит, сложа руки, гуманная Европа глазела на бойню с решимостью не признать никаких последствий ее. На что опираясь, говорил и говорю я, наши присяжные мудрецы допустили схватку, которая, по их же решению, не могла быть ничем иным, как des coups d'épées dans l'eau.[71] Кажется, не

может быть сомнения, что эпизод восточного вопроса, созданный вооруженным вмешательством Черногории и Сербии, оцениваемый отдельно, независимо от могущих возникнуть и никем не предвидимых последствий, останется навсегда доказательством несостоятельности дипломатии, более даже — признаком преступного ее равнодушия к человечеству. C' est une infamie en gants glacés et cravatée de blanc, mais qui n'en est par moins une.[72]

Как бы то ни было, отказ Англии, по-моему, должно считать поворотным пунктом нашей нерешительной дотоле политики. Только что возвратившийся из Эмса князь Орлов рассказывал, что канцлер обезумел от сопротивления Англии, горячился, твердил, что необходимо выйти из подобного положения, но ни на что не решался ввиду упорного намерения государя не нарушать мира. Ходили даже слухи, будто дни канцлера были сочтены. Сам державный глубоко оскорбился поступком Англии и был чрезвычайно взволнован. Всезнающий иезуит Гагарин уверял, что для успокоения его «нужно много Долгоруких, а их всего одна». Однако ж взрыв Сербии и Черногории заставил государя войти в себя и убедиться, что он не Юпитер, способный сдерживать и метать громы по произволу. Нужно было преклониться перед течением и силой событий.

К этому времени относится случай с Черняевым. Мне говорили, будто государь убеждал Черняева не соглашаться на приглашение сербского правительства и будто Черняев обещал последовать царскому совету. Не думаю, чтобы обещание генерала, поставившего себя в исключительное положение издаваемым им «Русским миром», было безусловное. Черняев мог увлечься, мог действовать очертя голову за обуявшую его горячую голову идею, но едва ли способен на коварство, на хитрость, граничащую с бесчестностью. Несомненно, однако ж, что узнавши в Эмсе об отправлении Черняева в Сербию, государь рассердился и велел лишить его пенсии. По словам Орлова, высочайшее негодование утихло вследствие его, Орлова, доводов. Это весьма вероятно. Возвратясь из Эмса в Париж, Орлов, не стесняясь, отвечал английскому поверенному в делах, сомневавшемуся, чтобы Чернов решился идти ратовать в Сербии без согласия государя: «Будь я свободен, как Черняев, я сделал бы то же самое». Англичанам всякое действие частных лиц вразрез с намерениями правительства кажется странным. Пока правительство существует, все согласуют свои политические поступки с видами власти. Когда виды эти становятся противными общему убеждению, употребляют удобное и вместе радикальное средство, меняют правительство. У нас для достижения той же цели необходимы некоторые запутанности, неясности, придающие вид двойственности всему от России исходящему. И в этом случае никто не верил безучастию нашего правительства в черногорско-сербской решимости. На рейхштадтском свидании, последовавшем на обратном пути государя в Россию, еще сохранился колеблющийся характер нашей международной политики. Объявили принцип невмешательства в турецко-сербские дела и утвердили согласие новым поцелуем, а между тем вслед за свиданием австрийцы заперли для турок Клек, конечно по нашему настоянию. Правда, в то же время запретили ввоз в Черногорию через австрийские порты, но этим путем всегда доставлялось черногорцам все нужное контрабандой, а Клек был явно открыт для турецких военных нужд. Им остался в Герцеговину только дальний путь из Салоник в Софию.

Из Рейсхштадта Горчаков телеграфировал великому князю Михаилу Николаевичу, проживавшему в Бадене, что он может спокойно наслаждаться отпуском, что мир не будет нарушен. Мы переехали из Парижа в Баден, и там я вновь сошелся с великим князем, обнявшим меня приятельски и неожиданно на музыке. Случалось не раз у него обедать и толковать о злобе дня. Он ездил в Югенгейм свидеться с царем перед его отправлением и возвратился с отпечатком недоумения, перешедшим

к нему от царя и окружающих. Зашел разговор о сербском деле, и я начал доказывать, что не следует обращать особого внимания на выходки Англии, qu'il faut savoir oser.[73] «Значит, вы идете на войну!», — вскрикнул Великий Князь не без видимого смятения. «Нет, я говорю о решительности. Англия ни европейская страна, ни христианская страна. Ее политика имеет характер несравненно более вселенский, нежели европейский, она может безнаказанно мутить и самодурствовать в Европе, пока никто не спорит с ней о всесветном влиянии. Христианами англичане суть постольку, поскольку это не мешает их индийским делам. Английская королева, которую только что произвели в императрицы Индии, не может забывать, что большинство подданных ее не христиане, и по складу установившихся сношений и отношений англичане, как некогда венецианцы, имеют право говорить: прежде всего мы англичане, а потом уже христиане.

Наше положение совершенно противоположное, и нужно каждому стать откровенно на свою почву. Нужно нам высказать и непрестанно твердить, что рано или поздно мы освободим единоверцев и единоплеменников, и будем в этом смысле действовать при всяком случае, привыкши к нашей идее и видя несомненное разложение Турецкой империи. Англия взвесит, выгодно ли поддерживать рушащееся здание, и, наверное, не пойдет воевать против тех, кто добивается только свободы угнетенных».

Действия сербов пожирали мою баденскую жизнь. Я выписывал карты за картами, не находя мест, указываемых в реляциях. Сначала Черняев, назначенный начальником моравской армии, двинулся вперед, рассчитывая на общее восстание в Болгарии, но должен был отступить. Болгары уже были задушены, и турки владели железным путем от Салоник почти до самого Ниша. Бюллетени лгали не хуже наполеоновских, и в сумятице отчетов нельзя было даже уследить за черногорцами, приобретавшими несомненные выгоды.

Сочувствие России до черногорско-сербского восстания выражалось медицинской помощью боснякам и герцеговинцам, посланной, впрочем, в такой обстановке, что нельзя было сомневаться в личной симпатии августейшей председательницы общества помощи больным и раненым. За объявлением войны сербами и черногорцами сочувствие русских стало проявляться более открыто и прививалось через славянские комитеты, в особенности через неофициальных комитеток, ко всем слоям общества. Начались отправления добровольцев, сначала одиночные, потом целыми группами. Правительство не только не останавливало, опасаясь оскорбить заветное народное чувство, но само разрешило увольнение бессрочно отпускных за границу. Целые шайки, следовавшие через Австрию и Румынию, ставили местные правительства в неприятную необходимость закрывать глаза перед беззазорным нарушением международного права. Вероятно, решили каждый сам по себе, не оговариваясь, что не для турок это право писано, или опасались, закрывши клапан, произвести общий взрыв в России. Притом, кто мог указывать на эту спицу в нашем глазе, когда помощь Италии в ее объединении, посылка волонтеров в Польшу для участия в безумии, подпора Дон-Карлоса сподвижниками из Англии и другие бесчисленные случайности всадили целые бревна в глаза прочих европейских правительств, давно привыкших в вопросах смотреть сквозь пальцы и laisser faire.[74]

В сочувствии к Сербии не было ничего непонятного. Инстинкт народа указывал ему, что сербский вопрос — наш вопрос, что одолевши южных славян, примутся за нас, северных. Как последние, прибывшие на арену европейской цивилизации вследствие борьбы с теми же варварами, за которых теперь вступается вся Европа, мы будем ошлифованы ею бесследно, если не проявим единственную присущую нам силу — силу духа.

Невозможно винить и правительство, увлекшееся общим настроением. Мне кажется

только, что вместо посылки отдельных личностей или кучек следовало предварительно привести их в строй в России, посылать вразброд через Австрию или Румынию и вновь сомкнуть в Сербии. Составленными таким образом русскими отрядами, направленными в решительный момент боя куда нужно, сербское дело устроилось бы без постороннего официального вмешательства. Вместо того, прибывающих добровольцев жидко сеяли в сербских дружинах. Вообще русские дрались храбро, ложились костьми, но геройством своим не могли влиять на ход кампании. Скоро сербы, народ нестойкий, начали уступать, и каждое поражение их болезненно отзывалось в России. В исходе августа заговорили в Белграде о мире, даже обратились к посредничеству великих держав... Упоенные успехами турки предъявили такие условия, что осиленный, но не разбитый еще Черняев в сердцах провозгласил Милана королем. Впечатление, произведенное этой... выходкой, было минутное, но в это время возник вопрос,... несравненно более влияния на дальнейший ход войны, о котором никто не гадал и на который никто не мог рассчитывать. Torbes, корреспондент «Daily News», узнал об ужасах, совершенных турками при усмирении Болгарии, ударил в набат и звонил так громко, что английское правительство, наконец, велело глухому своему послу в Константинополе произвести исследование. Секретарь английского посольства Baring и генеральный консул Штатов Schuyler отправились на места и во всем подтвердили показания репортера. Подтвердившие слухи донесения официальных лиц возмутили Англию. Оппозиция ухватилась за удобный случай, упрекала правительство в сонливости, посла Эллиота в нерадении к обязанности. Негодование к Турции охватило Англию с быстротой взрыва. Лучшие люди, Гладстоны, Брайты, Гардингтоны, даже старый враг наш Рэдклиф, вздымали на митингах великодушные сердца соотечественников и жестко трясли их мозги, убаюканные традиционной политикой Англии в восточных делах. Англичане пришли в такой неистовый восторг, что французы, впечатлительные французы, удерживали их. Для меня непонятно, почему вопрос этот не был поднят Игнатьевым, несомненно знавшим истину, и еще непонятнее, что никто не заметил этого отстранения русского посла в вопросе, который так действительно подпирал нашу политику.

Если бы в этот удобный момент мы двинули на помощь сербам войско для предупреждения повторения в Сербии болгарских неистовств, Англия и с ней Европа, наверное, нам не препятствовали бы. Мы молчали, а сербы, видя негодование англичан, естественно стали рассчитывать на поддержку и взяли назад заведенную впопыхах речь о мире. Неравная борьба продолжалась, как кажется мне, по нашему упущению.

Сербы пытались склонить Грецию к участию в одолении общего врага, но, зная, что Византия не достанется им в добычу, греки, подверженные ударам Турции с моря, не пытались даже подниматься. Мне случалось неоднократно слышать мнение, будто виной равнодушия греков к славянскому восстанию был Игнатьев, впервые выделивший в Турции славянский вопрос из общехристианского. Грекам, конечно, хочется, чтобы Россия и славяне вынули для них из огня каштаны, их пени на Игнатьева доказывают только, что посол наш имел в виду практические, пригодные для России цели, а не донкихотство.

Конец лета прошел в тщетных усилиях сербов отбить наступавшую турецкую армию. Кровавые сцены повторялись в глазах Европы и вызывали только с разных сторон слабые попытки разнять противников. Наконец, видимое изнеможение Сербии и негодность ее защитников побудили нас на несколько решительные действия. Государь послал в Вену Сумарокова с предложением сообща занять Боснию, Герцеговину и Болгарию. Будто не доверяя Австрии, мы в то же время дали знать о предложении прочим правительствам. Авст-

рия подчинила свой ответ согласию других. Случилось мне приехать тогда в Рим, где Икскуль только что успел выполнить предписание Горчакова. Через несколько дней, взамен неприятного сумароковского предложения, пришло другое ко всем уже кабинетам, подписавшим Парижский трактат: imposer a la Turquie un armistice.[75] Англия работала в этом смысле и прежде, но что бы ни говорили министры ее для успокоения общественного мнения, английское правительство, очевидно, играло двойную игру и посылало твердые официальные инструкции Эллиоту с тайными советами действовать как можно мягче. Поверенный в делах наших в Константинополе, за отсутствием Игнатьева, Нелидов не раз жаловался на проволочки и уступчивость английского посла.

Видя нерешительность и разъединение Европы, Порта собрала силы и нанесла сербам решительный удар. 17/29 октября Алексинац и укрепления второй оборонительной линии были взяты, и сербское войско разбежалось. За несколько дней перед тем прибыл в Константинополь Игнатьев, выехавший после низвержения приятеля его Абдул-Азиза. Все полагали, что он везет ultimatum à la Меншиков, однако ж первая аудиенция прошла в обычных вежливостях. Переговоры о перемирии оживились. Игнатьев привез только несогласие России на шестимесячное перемирие, требуемое Портой, Россия вместе с сербами соглашалась на шестинедельное только. 16/28 октября Игнатьев объявил требование России начать переговоры на основании английских предложений. Самый отказ в шестимесячном прекращении военных действий был ловко основан на шестинедельном, назначенном в английской депеше Эллиоту. В сентябре еще Англия дала предложение, в котором вместе с неприкосновенностью турецких владений формулировала административную автономию для Боснии, Герцеговины и Болгарии, а для Сербии и Черногории Status quo ante. Очевидно Англия давала кусок резины, который можно было растягивать и сжимать по произволу. Россия согласилась с намерением играть врастяжку. До поры до времени никто не хотел быть искренним, действовали будто соединенно. Турки очень хорошо видели le dessous des cartes,[76] отвечали на английское предложение общими реформами в империи, даже конституцией, и тянули время в ожидании несомненных успехов оружия. Так и случилось: день 14/29 октября решил судьбу сербского восстания.

В этот раз из Ливадии грянул гром, 19/31 октября Игнатьев получил телеграфическое приказание потребовать немедленного и безусловного прекращения военных действий на два месяца, а в случае несогласия Порты выехать из Константинополя со всем посольством через 48 часов. Порта согласилась. В иностранных журналах начали кричать, que la Russie a tiré au blanc,[77] так как вопрос о перемирии был уже решен, но в сущности указ царя, помимо удовлетворения самолюбия безграничного владыки, вынужденного так долго считаться с различными препятствиями, спас на время Сербию от турецких неистовств.

Первая часть восточной драмы кончилась. Застрельщики утомились и устранены. Выступают les gros corps d'armée.[78] На обеде у лорда-мера д'Израэли впервые высказал политик английского министерства: «О вассальном состоянии Боснии, Герцеговины и Болгарии не может быть и речи», «переговоры ведутся на основании Парижского трактата, обеспечивающего целость Турции», и, наконец, — «Англия более кого-либо приготовлена к войне и, начавши ее, доведет до конца». Замечательно, что английские журналы, метавшиеся с лестью к Германии и Франции и не успевшие заручить союзников, весьма умеренно отозвались о нашем ультиматуме и даже посмотрели на речь своего министра, как на риторство особого рода, требующее особого понимания.

На другой день проездом из Ливадии государь принимал в Москве адресы дворянства и городского общества. В ответ на угрозу д'Из-

раэли или на историю всего вопроса, публикованную единовременно с спичем первого английского министра, государь обратился к сословиям с следующей речью:

«Благодарю вас, господа, за чувства, которые вы желали мне выразить по случаю настоящих политических обстоятельств. Они теперь более разъяснились, и потому я готов принять ваш адрес с удовольствием.

Вам уже известно, что Турция покорилась моим требованиям о немедленном заключении перемирия, чтобы положить конец бесполезной резне в Сербии и Черногории. Черногорцы показывали себя в этой неравной борьбе, как всегда, истинными героями. К сожалению, нельзя того же сказать про сербов, несмотря на присутствие в их рядах наших добровольцев, из коих многие поплатились кровью за славянское дело.

Я знаю, что вся Россия, вместе со мной, принимает живейшее участие в страданиях наших братьев по вере и по происхождению, но для меня истинные интересы России дороже всего, и я желал бы до крайности щадить дорогую русскую кровь.

Вот почему я старался и продолжаю стараться достигнуть мирным путем действительного улучшения быта всех христиан, населяющих Балканский полуостров. На днях должны состояться совещания в Константинополе между представителями шести великих держав для определения мирных условий.

Желаю весьма, чтобы мы могли прийти к общему соглашению. Если же оно не состоится и я увижу, что мы не добьемся таких гарантий, которые обеспечивали бы исполнение того, что мы вправе требовать от Порты, то я имею твердое намерение действовать самостоятельно и уверен, что в таком случае вся Россия отзовется на мой призыв, когда я сочту это нужным и честь России того потребует. Уверен также, что Москва, как всегда, подаст в том пример. Да поможет нам Бог исполнить наше святое призвание».

Начались военные приготовления. В Кишиневе стали собирать южную армию, и главнокомандующим назначили великого князя Николая Николаевича, придавши ему в начальники штаба Непокойчицкого. Эскадра Бутакова еще заблаговременно была отозвана из Леванта под крыло симпатизирующей нам Италии. Тотчас же прибыл в Неаполь Кроун с инструкцией Бутакову рассыпаться по океану, заглянувши предварительно в Штаты: Южные берега наши стали крупповать и даже на меня прыснули кислотой бранной — велели отправить аппараты для метания мин прямо в Севастополь.

Перемирие исходит к концу года. Все предвещает бурю.

Искренность, по-видимому, была камнем преткновения, который все старались обойти в страхе немедленной опасности. Австрия в ее положении не могла высказаться, хотя вопрос касался ее политического существования. Были студенческие туркофильские демонстрации, говорили даже в рейхстаге о стеснении для края союза трех императоров, газеты, без исключения, были враждебны России, но через все австрийское тянулась жалобная нота бессилия, невозможности решиться на что-либо при 16 миллионах славянских подданных и при влиянии в правительстве венгров, заклятых врагов австрийских славян и их властелинов почти на турецкий лад. Понятно, что Австрии противно всякое развитие славянского элемента на ее границе, но где же средство предотвратить грозящую беду? Попытка употребить силу встретит немедленное сопротивление дома. Австрии суждено раствориться во всяком случае — и усилиями к замедлению роста славян и согласием на славянскую самостоятельность в пределах соседней Турции. По хрупкости своего состава Австрия обречена на внимательное выжидание событий и не может играть иной роли, кроме пассивной. Она-то, хотя и против воли, всех более виновна в непринятии мер, которые избавили бы Европу XIX столетия от событий, напоминающих о Римской империи в худшие дни ее. В Сер-

бии воздвигся новый колизей, явились новые гладиаторы, но взамен римской публики времен падения венчанные и невенчанные филантропы, вследствие какого-то онанизма в политике, равнодушно присутствуют при бесцельной резне.

Англия по преданиям и утомленная политическим бездействием предшествовавшего министерства, вдалась в вопрос с дурно скрытой радостью; тем не менее, положение ее затруднительно. Приходится защищать в Турции то, против чего веками и неустанно ратуют у себя — дурное правление, доводящее до ужасов при вмешательстве в жизнь населений востока религиозного антагонизма. Верю, что никто более англичан не негодовал на необузданность дикарей, пущенных на Болгарию из Азии, но на беду несчастных жертв турецкого варварства, Россия являлась вековой покровительницей их; к ней преимущественно обращались их надежды. Не веря нашему бескорыстию, видя в нас прирожденного врага на востоке, англичане душат в себе человеческие чувства, когда дело доходит до сопротивления нашим замыслам.

Я называю попечительность Англии о ненарушимости политического турецкого состава заблуждением, ибо уверен, что ничто не будет способствовать видам Англии навсегда лишить нас Константинополя так действительно, как образование славянской конфедерации от Адриатического до Черного моря. Участие России в освобождении южных славян скоро забудется. Интересы их, столь различные от наших, ворвутся насильственно в отношения с нами — и Константинополь непременно станет предметом их собственных желаний, почтется ими неоспоримым наследием. Между Россией и Босфором вставится клин крепче и тверже всех клипов, которые до сих пор пыталась вбить политика западных держав.

Для России освобождение славян есть нравственная обязанность, столь же неотложная в политике, как в частных отношениях. Целый век мы поддерживали славян в их стремлениях, часто возбуждали их и столь же часто оставляли в жертву по миновании наших надобностей. Настал час расплаты. Верно ли угадал инстинкт русского народа, что час действительно своевременный, покажут последствия, но России подобает стряхнуть с себя грех коварства и обмана. Она должна настоять на независимости турецких единоверцев своих под опасением потерять всякий голос в Европе.

Вопрос представляется совершенно иным, если рассматривать его со стороны выгод России. Для нас освобождение славян может быть политически полезно только в единственной случайности племенной вражды с немцами. Когда немецкая культура возьмется за нас не на шутку, все славянское, не исключая даже Польши, сплотится для сопротивления, но в политических комбинациях, зависящих от случайного, преходящего столкновения интересов минуты, южные славяне, просветленные независимостью, с нами не будут. Им будет много дела с греками, также смотрящими на Константинополь, как на свое наследие, но, без сомнения, они соединятся с ними, если мы вздумаем отнимать у обоих дорогую добычу. Для предупреждения подобных случайностей и для беспрепятственного торгового и политического развития нашего следует, не теряя времени, выговорить свободу проливов, сделать с Босфором и Дарданеллами то же, что сделали с Бельтом и Зундами. Это, согласно с общепринятым принципом свободы морей, и для нас настоятельно необходимо. В предстоящих действиях и переговорах вопрос о проливах должен быть единственным с нашей стороны эгоистическим условием. Дальновиден тот безымянный политик, который сказал, что Россия не знала бы, что делать с Константинополем, если бы ей вдруг поднесли его. Верю искренности Николая, твердившего, что желал иметь только ключ от своих ворот. Мысль совершенно рациональная, но своеобразный царь мечтал всегда иметь привратником покорного султана — и в этом ошибся.

Нужно отворить ворота настежь, под условием свободного прохода для всех и каждого и невозможности кому бы то ни было запирать их.

Если мы удовольствуемся освобождением Болгарии, Боснии и Герцеговины, даже потребуем совершенной независимости Румынии и Сербии, Европа едва ли откажет нам в свободе проливов под общей гарантией и не станет лить кровь свою в отвращение этого первого фазиса постепенного разложения силы, явно приходящей в упадок.

Повторяю – свобода проливов должна быть целью русского правительства для России, не совсем ясно прозревающей вдаль сквозь радужные цветы восторга. К нашим славянским комитетам примкнули все недовольные правительственным застоем, все ошеломленные крутым поворотом от возбужденного прогрессом умственного напряжения к летаргии, наведенной последними правительственными действиями. Эта примесь совершенно замутила чисто соплеменный источник. Если бы, одинокий и неволнуемый, он дотек до южно-славянских пределов, московские минервы, призвавшие его к жизни, скоро увидели бы невозможность сродства народов с пылким воображением, населяющих благодатные страны, привыкших к широкому самоуправлению и некоторой политической свободе (изредка лишь нарушаемым просыпающейся дикостью властителей), с племенем северным, выжимающим существование свое из мачехи-природы мертвящим мысль тяжелым трудом, племенем согбенным под систематически организованным и упорно постоянным гнетом. При таком антагонизме интересов и чувств замирает дух, охватывает тревожно ожидание неизвестного, не видится ясно будущее и несомая волной случайностей душа невольно обращается к направляющей сверхъестественной силе. Да хранит Бог Россию!

Где и за что нашла своего доброго гения Турция? Ее успехи поистине изумительны. Христиане поднялись вслед за государственным банкротством. В самый критический момент свергли одного султана, перерезали министров, низвели другого султана и поставили третьего – и все совершилось спокойно и стройно. Чувствуя беду, народ оцепенел в мудрости и дозволил совершить беспрепятственно то, что в обыкновенное время стоило бы много крови. Живучесть нации, выходит, не шуточное дело, и религия не напускное соединительное чувство. Борьба внутренняя при внешних поражающих правительственную власть обстоятельствах казалось невозможной, между тем четыре месяца Порта борется с Европой и против возможных внутренних сопротивлений. Обнаружилась связь между распоротыми лоскутами Оттоманской хламиды: Египет, Тунис и Аравия послали калифу на помощь свои легионы, и задыхающаяся Турция смогла еще задушить Сербию.

Непосредственные деятели, Сербия, Черногория, почли момент удобным для возобновления и, как казалось им, решения вековой борьбы. И в этих маленьких землицах, как в России, правительства были вынуждены на решимость. На Сербию как на дерзкого вассала преимущественно обрушилась месть Порты. Черногория пока оставлена как бы в стороне и не без успеха довела борьбу до перемирия. Сербия пострадала, несмотря на явную помощь русских, и в этой помощи зарождается разность будущих отношений наших к обоим княжествам. Эмиграция русских воинов в Сербию, начавшаяся с высокой чистой целью, скоро засорилась авантюристами. Иноземный элемент потопил сербское начало в армии. Были случаи нестойкости сербов и самопожертвования со стороны их русских избавителей. Все это посеяло взаимное охлаждение, не обратившееся еще в ненависть, но последствия таких отношений ясны каждому, знающему человеческое сердце. По счастью, Черногории мы помогали только деньгами и подвигами общества Красного Креста. Черногорцы действовали храбро, как народ, никогда не гнувший выю, их сочувствие к нам не умаляется тяжелой обязанностью благодарно-

сти, как сербское. Между бойцами Черной Горы и милицией сербов громадная разница, но что побудило государя так опозорить сербскую народность? Ведь он de gaieté de coeur[79] бросил надолго между сербами и русскими зерно раздора. Желал ли он показать москвичам, что они покровительствовали недостойным? Сорвалось ли у него сердце на бесполезную гибель стольких русских жертв? В чем отыскать причину столь оскорбительного царского слова? Поселять зависть между борцами того же дела, когда нужно полное между ними согласие в близком будущем, указывать России, что она жертвовала кровью для бездушных негодяев, и в то же время уверять в собственной решимости для них же на гораздо большие жертвы — все это не логично, не разумно, ребячески ветренно. С такой нервностью не приступают к серьезному делу. Да хранит Бог Россию!

Я пишу не современную историю, ни даже хронику, и хотя в подобные минуты о себе не помнится, мелочи жизни все-таки должны занимать место в личных воспоминаниях.

В исходе мая мы переехали в Париж и там пробыли весь июнь, невольно прислушиваясь к шуму этого пристанища всесветных страстишек и самолюбий. Нет существа нелепее русской политической женщины. Она не умеет заменить обычные условия своего пола иначе как излишествами, ее вмешательство в дела, обыкновенно достающиеся на долю мужчин, принимают вид неблагопристойного зуда. Lison Трубецкая давала политические обеды и мешалась в сплетнях внутренней политики Франции, все это между двумя somations[80] на гербовой бумаге, так как княгиня занимается политикой в долг и забывает платить счета.

Накануне падения Абдул-Азиза, в разговоре с Тьером, Орлов как-то сказал: «Пожалуй, прогонят султана». Нужно было красноречиво убеждать Тьера в совершенной нечаянности пророчества. Хитрый старец не верил безучастию нашего посла. Отношения Орлова к Тьеру едва ли помогают нашему представителю в официальных делах. Конечно, они друзья издавна, но все же Орлов посол при Мак-Магоне, а Тьер негласный, но всеми признаваемый глава оппозиции.

Во всем пахло востоком, и трудно было отрешиться от него даже в Париже. Возле, в Эмске, проживал государь, и все его порывы тотчас отдавались в столице Франции. Вследствие низвержения и последовавшей за ним смерти Абдул-Азиза слышались всюду анекдоты о турецких порядках, и мне пришла на память сказочка, когда-то рассказанная покойным дипломатическим баснописцем Бруновым. После наваринского сражения министры собрались на совещание, как доложить о взросшейся беде грозному Махмуду. Хозрев, уже стоявший одной ногой в могиле, решился пожертвовать собой и быть печальным вестником. Осведомившись о здоровье падишаха и упоившись медом уст его, Хозрев вышел к товарищам и сказал, что они могут безбоязненно предстать перед успокоенным уже повелителем. Министры после обычного селама сложили соответственные обстоятельству лица и начали пенять, что дерзкая судьба осмелилась идти наперекор желаниям и надеждам распорядителя подлунного мира. Махмуд, ничего не понимавший, хмурился, добился, в чем дело, и в порыве гнева разослал своих советников в отдаленные пашалыки. Хозреву было милостиво зачтено старание не опечалить повелителя.

В Париже нельзя избежать театров. В этот раз мы не довольствовались балаганами Пале-Ройяля и Passage Choiseul. Побывали в Thêatre français,[81] где смотрели последнее произведение Dumas «Etrangêre».[82] Что это за язык и что за игра? Право, в Париже можно видеть хорошее общество только на сцене.

Кстати, о сцене. Georges Sand покинула сцену мира, на которой подвизалась с таким успехом. «Revue des deux mondes», в последнее время не выходившая без произведений знаменитой писательницы, на женской полови-

не моего маленького дома потеряла всякую занимательность.

Лето до исхода сентября мы провели в Баден-Бадене, где поместились у курзала, в доме Месмера, обыкновенно занимаемом германской императрицей. Не по-нашему. Дом нанимается для экономной Августы на целый год за десять тысяч талеров, с правом отдавать императорское помещение в наем, когда августейшая квартирантка в отсутствии и с обязанностью хозяина снять с годового счета выручку за пользующихся квартирами постояльцев. Музыка и гулянье были под нашим балконом. Только и слышалось, что толки о восточных делах.

Мы скоро узнали все баденское общество, не знакомясь лично ни с кем, кроме давних приятелей Арнетов, постоянно укрывающихся в Бадене от венской летней пыли. Жизнь ведется у курзала и по Лихтентальской аллее. Тесное и удобное для легкого наблюдения пространство. Знаменитое в тургеневских этюдах «Русское дерево» до сих пор осеняет нашу аристократию или лучше образчики ее, на которые уже чересчур пригляделись в Петербурге, жаждущем перемен. Самого Тургенева и след простыл. Покинул Баден и борзый Лобанов, несколько лет пророчивший из своей баденской фермы о крушении России. Отживший и искалеченный, он воротился подпирать отечество силой своей немецкой опытности и просветленного прусскими административными распоряжениями разума. Под деревом или лучше под навесом смежной табачной лавочки теперь держит двор Баратынская, ex belle[82] нашего двора, привыкшая к значению и перенесшаяся в Баден жить на прежний петербургский капитал. Она принимает только августейших особ и подходящее к ним общество.

В числе наших знакомых завернул в Баден Вестман, переведенный из Вены в Мюнхен и избавившийся от Новикова. Он вложил в мою памятную сумку еще один рассказ об Игнатьеве. В прошлом году «мефистофель востока», как величали его иностранные публицисты, проезжал Вену, и Новиков уговорил его познакомиться с Андраши, si ce n'est que pour lui prouver que le diable n'est pas aussi noir qu'on le peint.[84] Игнатьев согласился нехотя, и когда Новиков, представя его австрийскому премьеру, удалился, Игнатьев тотчас завел речь о славянском вопросе, отрекся от славянофильства и, с свойственной ему откровенностью, указал на Новикова, как на присяжного славянофила, qui a déjà fait ses preuves.[85]

Между нашими русскими, толковавшими о вероятных последствиях сербского вопроса, нашлись такие, которые уверяли, будто правительство наше не может смотреть на сербов иначе, как на бунтовщиков. Если в наших правительственных сферах действительно существует подобное воззрение, то, сами того не чая, отказываются от романовской России. С тем же народом мы имели такую же борьбу, и как же обзывать бунтовщиком Милана, подражающего Донскому?

Подвигаясь к зимнему пепелищу, мы прожили несколько дней в Фрибурге, хорошеньком городке с великолепным памятником католической гордости — громадным вовсе не по месту собором. Застали хозяйственную выставку с обычным немецким характером — billing und schlecht.[86] Место мануфактурное, но в особенности форельное. С Шлоссберга обширный вид на Рейнскую долину, Кайзерштуль и в глубь Шварцвальда. В самом городе, в названиях площадей и улиц, царит идея германского единства. Особенно выражается она славой, поддерживаемой касками, штыками и пушками, новейшим произведением германского художества, которое на днях должен был открыть сам император ротозейству фрибургцев. А рядом с тщеславием и дельное: школы поражают грандиозной архитектурой.

Через Женеву мы отправились во Флоренцию. Помечтали с женой о новом гулянье и полюбовались с piazza Michel Angelo при лунном свете на панораму Арнской долины. Окаймленный холмами город с его собором, церковью S-te Crose и башней ратуши наводит

обаяние искусства. Серебристой лентой стелется тихая река, в ней отражаются золотистыми бахромами отблески фонарей, и струя и огни прячутся в дальнем Cascini. Вдали по верхушкам огоньки счастливых обитателей страны сей. Что новые города Европы? Притоны суматохи и одуряющего времяизбиения. Что самый Париж в сравнении с городами, где искусство вросло в почву и веками нажитое не выживается веками, где все на каждом шагу осеняется мыслью?

Идиллическое настроение мое скоро уступило место долгу. Оставя жену во Флоренции, я отправился в служебный объезд. В Риме застал посла Икскуля в тревожном состоянии, жалующегося, что телеграммами из Ливадии ссылаются на предшествующие распоряжения (из Ливадии же), ему не известные. Утешил барона перспективой графского титула, если он склонит Италию плыть в наших водах. Нисколько не стесняя своих действий, итальянское правительство обещает симпатию и держит свой флот в Таранто готовым к действию на востоке. Впрочем, при конституционном механизме трудно рассчитывать на совершенно откровенные побуждения. В Италии, так же как и в Англии, проходили митинги в пользу славян, но все это было «электоральным маневром» по поводу предстоявших выборов в новый парламент, которых ожидало радикальное министерство для окончательного торжества.

В Риме узнал я о болезни Потапова. На пути из Одессы в Ялту он впал в бешенство и пришел в такое состояние, что его отправили в Вену, в больницу или к доктору душевных болезней. Он беспрестанно поминал императорскую фамилию и клал земные поклоны до изнеможения. Странная случайность! Оба гонителя мои, Краббе и Потапов, испытали величайшее несчастье, какое может постигнуть человека, — затмение способностей, исчезновение божественной искры. Не допуская мысли, чтобы провидение тешилось преследованием даже неправды, смотрю на горькую случайность, постигшую врагов моих, земным воззрением. Променяли меня на сластолюбцев, тушивших светильник жизни скотским сладострастием, господствовавшим над всеми помыслами их. Могла ли быть при таком пресыщении правильность во взглядах врагов моих?

Из Неаполя переехал в Анкону, а оттуда в Венецию и Фиуме. В этот раз я поднялся в Терсато, к замку Франчеспани. Терсато — нагорная деревня, над рекой, с знаменитой церковью во имя Лоретской божьей матери. Когда ангелы влекли богородицу с горького для нее востока, она остановилась здесь, но по некотором размышлении продолжала путь и перенеслась в Лоретто, на противоположный берег Италии, около Анконы. С тех пор место свято и в особенно моряки украшают, вернее безобразят его своими приношениями. И здесь есть лестница в четыреста ступеней и охотники всползать по ней на коленях.

Во все время путешествия моего, продолжавшегося с лишком месяц, политическое положение было весьма натянуто. В Триесте я застал Клипер «Крейсер» и от командира его узнал о внезапном удалении нашей эскадры из Леванта по телеграмме, пущенной прямо из Ливадии. Сначала велели эскадре собраться в Триесте, а потом предпочли Италию.

Возвратясь во Флоренцию, думал тотчас же отправиться с женой в Ниццу, но весьма интересные опыты с чудовищной пушкой привлекли меня в Специю. Целые дни проводил я в Mugiano, где опыты производились в обществе военного и морского министров, генералов и адмиралов, съехавшихся на турнир артиллерии против брони. Были представители различных английских и французских фирм и репортеры «Times», истинные сверла, нагло проникающие в глубь несчастного, попадающегося им на пути. С одним из них я вел пустой разговор за завтраком и, несмотря на ничтожность болтовни между ртом и тарелкой, собиратель новостей нашел повод поместить меня в своей корреспонденции. Джентльмен дал мне некоторое понятие о своей специаль-

ности. Он — главный политический корреспондент по Италии, шнырит везде, где может подобрать новости, и если случится что-либо необыкновенное, обязан скакать на место происшествия. Так недавно он просидел в Болоньи все время скандального процесса, Montegazza, по поводу подделки королевских векселей. Из трактира, где мы стояли, репортер посылал корреспонденцию с каждым поездом. Какую сеть наблюдательности раскинул «Times» по свету! Что наше III отделение!

Из Специи я послал в Петербург отчет о моей поездке и бюджет итальянского флота. Под живым впечатлением всего мною виденного, в особенности наших жалких защитников единоверия на востоке, я особенно нарезал в моем донесении смелые и удачные попытки итальянцев иметь действительный флот на средства, втрое менее наших, и, чтобы выставить более рельефно нашу бессмысленную трату государственных средств, приложил сравнительную таблицу боевой силы обоих флотов. Выходит, что, издерживая сто миллионов франков в год, мы слабее итальянцев: в силе нападения, выражаемой весом выбрасываемого орудиями металла, на 3 150 фунтов; в силе сопротивления, представляемой толщиной брони, на 1 ¼ дюйм, в способности вредить неприятелю, выражаемой скоростью, на 2 ½ узла. А итальянцы тратят всего 38 миллионов.

Сообщив из Специи мои горькие впечатления, выехал навстречу жене, и мы вместе прибыли в Ниццу тревожно ждать хода событий. Наш ultimatum, речь д'Израэли и, наконец, не совсем обдуманное слово царя — вот первые приветствия нашему возвращению на отдых.

ГЛАВА IX

ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ (1877 Г.)

Мое горе. Спаситель Поль-де-Кок. Ниццкие развлечения, главнейшие деятели сезона. Восточный вопрос; конференция в Константинополе. Остроты над нашим fiasco. Польский псевдозаговор. Изготовление эскадры в Средиземное море. Настоящая причина прошлогодней речи царя в Москве. Открытие английского парламента. Дипломатический поход Игнатьева. Лондонский протокол. Объявление нами войны. Возражения Дербина. Циркуляр Горчакова, объяснявший нашу решимость. Новый султан. Мое воззрение на предварительные военные распоряжения. Успехи и неудачи за Кавказом. Переправа за Дунай. Подвиги моряков. Coup de tête[87] Мак-Магона. Aix-les-bains. Тамошнее общество. Успехи наши в Болгарии и внезапные неудачи. Некоторые деятели в нашей Задунайской армии. Переезд в Париж тоски ради. Французский вопрос. Театры. Боголюбов. Яблочкин. Плевенский эпизод. Наш заем. Сдача Плевны. Возвращение царского семейства в Петербург. Падение итальянского министерства.

В известные моменты по привычке, привитой с детства, человек лелеет себя надеждами и утешается ожиданиями. Один из таких моментов — вступление в новый год. Совершенно беспричинное суеверие выносит эту минуту, столь же обыкновенную, как все другие минуты существования, на поверхность жизненной струи. Невольно строишь воздушные замки, ожидаешь улыбки счастья или налегаешь мыслью на испытанные неудачи.

Капризность нашей жизни ведет к беспорядочным расходам. Без всяких излишеств прошлый год кончился дефицитом. Пришлось занимать. По новости ощущения оно еще более усилило душевную тревогу. Слабость воли иногда вводит человека в положение, которо го он наиболее страшится. Живем, кажется, скромно, а 40 тысяч франков едва достают на наши требования. Вообще в минувшем году я плыл как-то по воле ветра. Нужно ободриться, принять крепким сердцем выпавшую на мою долю судьбу и стараться сделать ее сносной. Противно природе и долгой привычке, я начинаю свыкаться с бездействием. Борюсь с наступающей апатией, но результат борьбы — недовольство самим собой и его неминуемое следствие — раздражительность. Правда, что человек более всего сердится, когда недоволен собою.

Однако же есть причины, не от меня зависящие. Замечаю зависть ко всему, что может занимать себя, а интерес к чему-либо мне не-

обходим для нравственного отдыха. Малейшая, естественная даже болезнь жены должна держать меня дома. Слабею духом в непрерывной борьбе и от беспрестанных сетований. В горьком настоящем положении еще прискорбнее думать о будущем. В семействе своем жена видела пример совершенной покорности мужа, усмиренного заботами и попечениями. Отсюда ложное понятие, будто дробная, ежеминутная попечительность выражает любовь, даже есть единственное доказательство ее. Мало-помалу выдерживаются основы жизненности, и в 57 лет я становлюсь тряпицей. Изменить возможно только горькой решимостью или совершенным бессердием. Приходится терпеть.

Между гостями Ниццы в сезон с 1876 на 1877 год выдался австрийский эрцгерцог Людвиг-Виктор, о котором мне случалось уже говорить прежде. Ниццкие мещане во дворянстве старались наперерыв приманить герцога в свои салоны. Началось Дервизом; но Дервиз, по крайней мере, имел извинение в том, что предложенное им развлечение представляло редкую случайность, занимательную для каждого. С помощью русской артистки — любительницы Панаевой и Сориа — он поставил у себя в частном доме «Фауста» и акт из «Вильгельма Теля». Костюмы, декорации, даже подарки артистам — все было выписано из Парижа и составляло действительно восхитительное зрелище.

Прежде чем дошли до борьбы два начала, господствующие на востоке и так давно враждебные, Европа, по робости, старалась отдалить столкновение. Происшествия, очерченные мной в предыдущей главе, повели к общему уговору разобрать турецкие дела на конференции. Выбор Константинополя показывал, будто не церемонятся с Иортой, решаясь сотворить над ней суд в самом месте ее пребывания. Толковали даже о том, чтобы не призывать хозяев в залу заседания. Все правительства, исключая английское и французское, поручили дело местным послам. Франция просто не надеялась на способности своего представителя и придала ему Шодорди. Англия, без сомнения, потому что общее мнение винило Эллиота в безучастии к болгарской резне, приставила к нему министра колонии Солсбери. На пути Солсбери старался узнать мнения различных кабинетов, что было весьма натурально, но уступчивость его на конференции после задора д'Израэли уже казалась менее понятной. Правда, поверенный в делах наших, Нелидов, жаловался на двойственность английского правительства, выказывавшего явно некоторое давление на Труцию, а втайне, через Эллиота, ободрявшего ее к сопротивлению. Очевидно было также, что товарищи не хотели следовать за Биконсфильдом к крайностям. Может быть, и узнанное в Париже, Берлине, Вене и Риме повлияло на Солсбери. Как бы то ни было, он начал откровенным порицанием действий Порты, требовавших серьезных гарантий для подвластных ей христиан, и открыто сошелся с Игнатьевым. Присылка свежего человека повела к отзыву Эллиота, личного недруга Игнатьева, к немедленному продолжению перемирия с Сербией до 1 марта и к удалению английского флота от Дарданелл. Под предлогом безопасности кораблей англичане передвинулись в Саламин, где стоянка спокойна, а главное, где они могли своим присутствием сдерживать порывы греков к борьбе с исламом.

По мере того, как Солсбери старался высказать, что Англия принимает в расчет наши требования, увертливый Игнатьев отступал от них и отступил до того, что «угроза действовать независимо от Европы» для улучшения быта христиан приняла вид хвастливой выходки. В чем причина нашей уступчивости? Наша изменчивость при личном характере представителя наших интересов удивила менее, нежели при ином защитнике наших воззрений, но все же должны были существовать к тому и веские поводы. Может быть, зная, что Порта отвергает всякие примирительные сделки, мы хотели оправдать себя в решенных уже при-

нудительных мерах, но невозможно было и нашептывание дядюшки воздержаться до времени; могли влиять на наше отступление и сомнение в собственных военных средствах, постоянно возбуждаемое известной партией из своекорыстных видов, и даже страх, наведенный гаерской проделкой наших революционеров у Казанского собора в Николин день. Зная, как часто весьма маленькие причины ведут нас к важным последствиям, я принимал в рассуждение все возможное и невозможное. Вероятно мы ожидали немалого пособия от английской оппозиции и рассчитывали на скорое открытие парламента, мечтали, что противники министерства выскажутся резко против его туркофильских симпатий, и правительство вынуждено будет прекратить свои усилия в пользу Порты, может быть, даже протянет нам руку помощи. Всем известно, как легко верят в Петербурге в сбыточность желаемого, да и может ли воля, не имеющая пределов, проводить разницу между хочу и могу?

Я сказал, что мы сомневались в наших силах. Именно в это время случилось мне беседовать с князем Петром Виттенштейном, бывшим нашим военным агентом в Париже. Он знал известный свет как свои пять пальцев, вовсе не занимался делом, но вместе с тем ездил в Эмс всякий раз, что государь там пользовался и слушал толки более внимательно, нежели следил за переменами во французской армии. Виттенштейн уверял, будто давно заготовленные в громадном количестве патроны оказались негодными вследствие гальванического действия медных гильз на свинцовые пули. Количество пороха в патронах оказалось недостаточно, потому что для ружей Бердана понадобились более длинные гильзы и больше против прежнего пространство наполнили пыжами. Собеседник мой уверял, будто слышал в Эмсе от самого Милютина, что нам воевать не должно, но когда государь, поджигаемый Горчаковым, обратился к военному министру с вопросом — правда ли, что, по его мнению, нет для России возможности отвечать на наносимые ей оскорбления, министр, потративший столько миллионов на охрану чести России, ответил, что выражал только личное желание избежать войны, а воевать можно.

Что касается внутренних волнений, выходка школьников у Казанского собора не могла повлиять на серьезное правительство. Возбужденный процесс выказал вновь всю ребячливость наших революционных сподвижников. Оставили нерешенным только вопрос, было ли серьезно само правительство.

Порта, грешница, тороватая на раскаяния и обещания, в этот раз не потрудилась даже ублаготворить судей своих. Турецкие министры большие мастера подсматривать карты. Небывалое в истинно конституционной Англии разногласие министерства, наши уступки и, наконец, недавнее торжество над Сербией, вместе с уверенностью, что ей станут только советовать, а не налягут на выполнение советов, — все эти разнородные случайности поселили в Порте упорство. Хитроумный Мидат-паша выдумал общую конституцию, и в одно доброе утро конференция, требовавшая только существенных административных мер против самовластия пашей, проснулась от торжественных выстрелов. Праздновали хартию, данную султаном для всех подданных безразлично, с парламентом, свободой печати, независимостью судей и другими бирюльками хартий даруемых, а не вытребываемых.

С этого дня что ни говорили представители Европы, Порта указывала на общую благодать, дарованную всем подданным. Самое имя коллективного государства было изменено — всех турецких вассалов впредь следовало именовать оттоманами. Каждый, несмотря на веру и племенное начало, имел одинаковое право в выборах, все обязывались платить долг крови; везде воцарялся суд правый, и вообще народам Турции предстояла новая эра. Что и говорить, дело знакомое. Не менее того представление конституции как панацеи от возбудивших негодование Европы зол было не глупо придумано для сонмища, в котором, за одним

исключением, участвовали представители конституционных правлений. С Россией же Турция справится в одиночку.

Порта отбилась с дерзостью. На одном из последних заседаний увлекшийся Шадорди, настаивая на предложениях конференции, упомянул о болгарских ужасах. Второй уполномоченный Порты, Эд-Эм-паша, объявил, что эти ужасы — сказки и что во всей истории Турции нельзя отыскать варфоломеевской ночи. Чтобы еще более выказать Европе, как мало думали о ее мнении, тотчас же прогнали творца конституции Мидата. Иностранные дипломаты пустили в ход изречение le revolver russe a raté,[88] намекая, что мы пошли на конференцию, мобилизируя войско, а наши собственные, путаясь в колебаниях Игнатьева и старческой забывчивости канцлера, называли его политику политикой de Jomini et de l'ignominie.[89] Но шутками и прибаутками дел не решают, хотя ими весьма нередко дела портят. Конференция распадалась, ничего не решивши, ничего не добившись. Порта отказывала не нам одним, а соединенной Европе. Это особенно старались выставить в наше утешение, забывая, что дали Порте carte blanche[90] считать соединенную Европу ни во что, объявив заранее, что принуждения не будет. Судьба Сербии висела на первом марта. Порта сама догадалась, что нужно бросить эту обгложенную гость христианским собакам, и выказала чистоту своих намерений, вступивши с Сербией в окончательные переговоры о мире на основании Status quo ante Bellum.

Наступало с начала февраля грозное затишье. Смутное время по обыкновению стало выводить польские злоумышления. Ниццкий консул Патон тотчас сделался жертвой мистификации. Какой-то монакский авантюрист донес ему о заговоре взорвать главную квартиру в Кишеневе. К записке был приложен план с минными галереями, подведенными под губернаторский дом, где значилась квартира Великого Князя. Я предупредил Патона, что план, очевидно, подложный, ибо Николай Николаевич жил в доме Катарджи, а не в губернаторском, чего не могли не знать заговорщики. Вместе с тем я советовал консулу отослать все послу, имевшему средства тотчас убедиться в истине. Заплативши доносчику порядочную сумму и опасаясь, что ее не возвратят ему, Патон почел нужным лично подкрепить основательность своей доверчивости и отправился в Париж, где Орлов окатил его холодной водой. Деньги Патону возвратили, но все оказалось вымыслом, шантажем.

Тотчас по разъезде членов конференции, единовременно отозванных всеми правительствами, у нас распорядились, чтобы к половине февраля все железные дороги были готовы прекратить товарное движение, и стали налегать на мобилизацию. Одновременно начали ходить тревожные слухи. Николай Николаевич заболел, так что не мог являться перед войсками; уверяли, что он просто отказывается от командования, потому что армия не способна к наступлению.

Податливость Солсбери до того заволокла наши мозги, что мы приступили к изготовлению эскадры в Средиземное море. Намеки журналов задели за живое генерал-адмирала, а нападки на бесплодную суетливость «толстенького морячка, известного изобретениями», раздражили Попова. Без сомнения, он и подвигнул государя на нелепую дерзость. Иначе нельзя назвать выставки на случай войны в Средиземном море броненосцев, не способных к бою, и пароходов, не способных когo-либо догнать. С самого начала я считал меру бравадою, обычным великокняжеским фейерверком. Слабость нашего флота всегда представляет извинение его бездействию. В этот раз, впрочем, риск послать эскадру прямо в пасть британского льва до того был осязателен, что все в один голос уверяли, будто генерал-адмирал поднимает флаг, чтобы получить огромные подъемные и столовые, хотя уверен, что флот не двинется из Кронштадта, как действительно случилось. Если в обвинении была даже доля правды, приходится отчаиваться.

В тревожном ожидании последствий турецкого упрямства силились пытать будущее и вспоминали все обстоятельства, приведшие к настоящему положению дел. Всякий прибавлял свои комментарии. Между прочим кое-кто из царской передней рассказывал мне, что государь очень разгневался, когда его заставили бежать (как он выразился) из Ливадии, настращавши турецким набегом. В этих-то сердцах он на пути в Москве и сказал борзую речь с презрительными приложениями касательно сербов. Не прав ли я, утверждая, что у нас les plus grands effets sont produits par les plus petites causes.[91]

В начале февраля открылся английский парламент, на который у нас рассчитывали. Открытию предшествовал циркуляр Горчакова. Канцлер добивался, обиделась ли Европа отказом Турции, и если обиделась, что намерена делать. Несмотря на столь явное желание вызвать Англию к объяснению, тронная речь не выдавалась откровенностью, в ней указаны были только затруднения на востоке. Последующие прения отличались осторожностью. На атаку Гладстона по восточному вопросу правительство отвечало утверждением, что не желает расширять пределов войны, и прикидывалось миролюбивым. Из слов министров можно было заключить, что они остановились в своих воинственных планах, но не хотели сознаться в том. Вследствие уверений правительства в миролюбии оппозиция, в свою очередь, стала сдержаннее, не желая затруднять ответственных министров в критический момент.

В палате лордов говоруны по праву менее церемонились. Герцог Аргайль в особенности нападал на министров, а эти тянули дело, чтобы дать остыть накипу общего мнения, возбужденного против Турции болгарской резней.

Порта довела к успешному концу переговоры с Сербией и заключила с ней мир, продолжая переговариваться с Черногорией. Немедленная опасность была таким образом отстранена, и на циркуляр Горчакова не торопились ответом. В неудовольствии на равнодушие Европы князь предпринял в начале марта дипломатическую кампанию. «Figaro»-Игнатьев под предлогом лечения глаз объехал все кабинеты и даже побывал в Лондоне, куда Шувалов, разумеется, не хотел пустить его. Встреча в Париже с леди Солсбери дала Игнатьеву повод переехать канал. Он направился к Солсбери в его замок как старый знакомый.

По-видимому Игнатьев должен был склонить к общему давлению на Порту, а в случае отказа дать понять, что коллективная гарантия неприкосновенности Турции, выговоренная парижским трактатом, не может уже быть нами признаваема. Как бы то ни было, Игнатьев, верный своему коньку сбивать с толку болтовней и поднимать свое я на ходули, сначала, и прежде всего, налгал разным корреспондентам журналов. В Париже он был светилом дня, сидел в президентской ложе в опере, обедал у Декача и Ляйионса, принимал les dames de la halle[92] и т. п. Его показывали и сам он показывался. Шувалов выехал к Игнатьеву навстречу, и Игнатьев будто давал понять сопернику, что, помимо дипломатического поручения, ему хотелось как будущему преемнику Горчакова лично познакомиться с хитрыми мира сего. Шувалов не успел удержать врага на континенте. Игнатьев переплыл канал, и таинственность в земле свободы спала сама собой. Мы домогались подписи протокола. К указанию на требования соединенной Европы мы прибавляли, что в случае нового отказа Турции каждый из требующих может принять меры для понуждения. Неосторожное слово, выроненное царем в Москве, повело таким образом к важным усложнениям. Может быть, мы маневрировали только, не желая в сущности оскорбляться более Европы, но Англия не захотела построить нам мост для отступления. Напротив, соглашаясь на протокол, Англия прибавила к нему только условия нашего разоружения, т. е. ставила нас

также на скамью подсудимых и нами начинала суд и расправу.

Если мы рассчитывали на английскую оппозицию, то горько ошиблись. Правительство прижало ее к стене требованием высказать, чего она хотела. Когда дело дошло до откровенности, Гладстон и К° притихли и просили отсрочки прений. Огромным большинством эта просьба отвергнута. На нравственное понуждение Турции Англия согласилась, но с таким условием, которое отнимало последний вид понуждения, требуя, чтобы мы составили ружья в козлы. Говорили, будто английское министерство поторопилось высказаться в ответ на совет Игнатьева выкинуть из протокола разоружение, а представить парламенту протокол с разоружением. Как ни самонадеян Игнатьев, как бы ни гордился он своим пекинским трактатом, конечно, ему не пришло в голову выставлять свои капитальные способности в Англии. Не менее того. Se non e vero e ban trovato. Молва рисовала нашего представителя с натуры.

Красное яичко поднесли нам как раз к Пасхе. В Лондоне подписали протокол. Не зная его сущности, я радовался, что документ отстранял войну, даже поздравлял приятеля А. П. Давыдова, что его впрягли в воз, с таким трудом вывезший мир. Давыдов отказывался, уверяя, что чинил только перья. И действительно, стыдно было сознаться в участии составления подобного документа. Мало того что протокол был чрезвычайно неопределителен, разведен чересчур жидко, — мы приложили к нему обещание разоружиться. Правда, мы поставили условия к разоружению, между прочим присылку в Петербург турецкого полномочного, но и Дерби приложил свою цидулку, гласившую, что в случае неразоружения протокол считается недействителен. К чему же вело давление на Порту, если она заранее знала, что ей следует только упереться, и общеевропейского акта, против нее составленного, будто не бывало. Италия тоже оговорила, что протокол признается ею обязательным, только пока сохранится согласие между всеми подписавшими. Таким образом, Игнатьев привел нас от ошибки к унижению. На конференции le revolver russe a raté, и лондонским протоколом l'incident était clos,[93] как выражались нерусские судьи вопроса. Надо сознаться, что судьи были уверены в нашем смирении.

Для вящего сумбура за неделю до нашего унижения Бисмарк подал в отставку. Устал ли он помогать нам, предвидел ли, что мог наткнуться на неудачу, чего до сих пор не испытывал, или в самом деле удалялся по неудовольствию с морским министром, защищенным королем? Отставка канцлера была бы скандалом. Вильгельм дал ему отпуск.

В России прозвучала струна оскорбленного народного самолюбия. Успокоившийся было боец славянского дела, Аксаков, произнес в славянском комитете речь, сильно порицавшую правительство, в особенности высших сановников. Схватили номер «Московских ведомостей», где речь была напечатана, а все-таки объявили войну вследствие отказа Порты принять лондонский протокол. 12 апреля в Кишеневе государь издал манифест и в своем присутствии двинул войско за Прут.

На циркуляр Горчакова, оправдывавший нашу решимость, ответила одна Англия с обычной дерзкой откровенностью. По словам Дерби, мы «выделялись из европейского синклита», и «никто не мог предвидеть последствий такой решимости». Нужно держать в уме последнюю фразу для верной, беспристрастной оценки последующих событий. Горчаков возразил Лоертусу qu'il n'ya pas a discuter quand on fait de l'histoire[94] и что возражать Дерби не будет. Канцлер выразился бы удачнее, сказавши, что России остается отвечать военными успехами. Что касается до русской политики, то дипломаты наши до сих пор on fait une histoire[95] из восточного вопроса, а выводить историю и писать историю большая разница.

В Константинополе, между тем, размягчились мозги, и нового султана схватили в «жел-

тый дом и на цепь посадили», а султаном провозгласили Абдул-Хамида. Казалось, мы напирали на Турцию при самых благоприятных для нас обстоятельствах. Европа выжидала с терпением, а у противника к банкротству присоединились еще внутренние волнения. Надежда, что вся кампания будет прогулкой, могла одолеть праздные умы Невского и Кузнецкого моста, но как же увлеклось ею правительство? Дорого стоило нам это увлечение.

Правительственный непотизм, ставящий себя выше отечественных нужд, побудил государя назначить главнокомандующим родного брата. Ловкость на маневрах и строевое командование петербургским округом могли выказать в Николае Николаевиче военный нерв; сам я имел случай подметить это в 1863 году. Но от борзого кавалерийского генерала до главнокомандующего куда как далеко. Пример прусских родственников, конечно, немало подвинул царя на такую решимость, но там иное дело. Во-первых, принцы учатся не одному фронту, во-вторых, строго подчинены направляющим мозгам. Да никто и не думал поручать им вести целую кампанию. Во главе войска стоял король с своей почтенной сединой, с опытом долгой жизни, он не только требовал безусловного повиновения соображениям Мольтке, но сам никогда не противился им. Возможно ли было что-либо подобное у нас при главнокомандующем, усвоившем в мирное время убеждение, что для него нет препятствий, привыкшим к идее непогрешимости даже в том, что везде и всегда считалось грехом? Главная квартира государя стояла особняком, не вмешивалась в распоряжения или, еще хуже, влияла негласно, через советников, не обузданных даже призраком ответственности.

В силах, двинутых за Прут, не было центра вращения, и война велась урывками, инспирациями минуты. План, конечно, был, но на месте беспрестанно от него отклонялись, увлекаясь несостоятельными заключениями о легкости удачи, а главное, мыслью о безнаказанности. До переправы за Дунай пока требовалось только группирование войск и таинственность в их направлении; главнокомандующий воздерживал себя и других, но после переправы на беду легкой рукой ударили кнутом по русской тройке и пошли, как думали, на легкую поживу. Смахнули с детской радостью мысль о важности и святости предпринятого дела и видели только случай украситься георгиевскими крестами, когда дело шло о том, чтобы Россия разделалась, наконец, с крестом, выпавшим на ее историческую долю.

Ограниченные способности великого князя возмещались его положением, любовью к нему солдат, близостью к трону, — и, может быть, назначение укрывалось отсутствием общеизвестных талантов в рядах воинства, но следовало дать ему людей, способных тянуть нить постоянной идеи, постоянного стремления к той же цели и настаивать на своем упорстве. Кого же выбрали? Непокойчицкого, уже 20 лет сложенного в архив, и к нему в помощники гордого своими теоретическими познаниями профессора Левицкого. Один размяк в бездействии и по польской своей природе был неспособен поднять голову даже при значении; другой, по той же польской природе, никогда не думал владеть собою и имел, как выражаются его соотчичи, «на грош амуниции, а на рубль амбиции». Могли ли подобные люди иметь влияние на 50-летнего уже великого князя, конечно, не сознававшего, что он все-таки дитя, когда приходится открывать в людях истинные достоинства, даже пользоваться слабостями, многого не видеть, смотря на все, выслушивать каждого и верить только честным и знающим, угадывать побуждения и верно оценивать действия? Пролилось море неповинной крови, даром пропало много жертв и выказались гигантами только солдат да народ, усердно приносивший свое достояние на безумное мотовство незрелых мозгов и самонадеянности, которым вверили решение главнейшего из русских вопросов. Печальное знамение. Даже дело, от которого зависело,

быть или не быть России великой державой, не заставило изменить чисто помещичьих привычек и взглядов. То же неразборчивое самовластие, то же презрение к нуждам России, было бы лишь привольно царствующей семье, лишь бы во все видели семейную удаль. Себялюбивое безумие оказалось до того стойким и однообразным, что на обоих театрах войны, разделенных огромным пространством, повторились те же ошибки. Будто тщеславились доказать, что Романовы и ошибаются одинаково. Различие промахов заставило бы критиков видеть случайность, тождество же невзгод, напротив, свидетельствовало о единстве направления августейших вождей. К несчастью, единство это сложилось и созрело под руководством того же не философа — Философова, в заоблачном мире, где умышленно скрывают наших высокорожденных. По внешности их будто сводят на землю, но духом они постоянно на Олимпе, и, право, я не вижу разницы между нашими князьями, которых все везде видят, не будучи ими замечаемы, и тайкуном или микадо, скрывающимся от взоров подданных и показывающим им только ноги.

Все члены царской семьи, без изъятия, приняли участие в популярной борьбе.

Военные действия тотчас открылись за Кавказом, где нужно было перейти только границу. Перешли мы ее одновременно и в Европе вследствие заключенной с Румынией конвенции. Соединенные княжества старались выгородить себе нейтральное положение, но не видя помощи со стороны Европы и устрашившись поглощения общей империей оттоманов вследствие конституции Мидата, решились принять участие в борьбе, под предлогом, что турки атаковали некоторые пункты на левом берегу Дуная.

Без желания повторять современные осуждения укажу на главные военные происшествия. Если из перечня их выйдет подтверждение взгляда моего на августейших деятелей вообще, едва ли читающие заметки мои заключат, что я поддаюсь охотно злословию. Часто, весьма часто принимая в расчет исключительное положение, я старался выгородить лиц царственного дома из ответственности, которая, казалось, падала на их долю. Но в этом случае стонала Россия и снисходительность была бы доступна. В мировых событиях каждому своя доля славы или бесславия.

В азиатской Турции мы двинулись тремя колоннами — на Батум, на Карс и на Баязед — и скоро погнали вперед во всю мочь, даже не замаскировали Карса, полагаясь на легкое приобретение Ардагана и на панический страх турок. Все, с главнокомандующим, окрещенным солдатами Мухтаркой, бежало без оглядки. Батум выказал прездоровые зубы, а из Константинополя, повторяя попытку 1855 года, послали десант в Сухум-Кале, где подняли всегда готовых к восстанию абхазцев. Растянувшись по трем путям, не имевшим удобных поперечных связей до самого Эрзерума, наступая по каждому с малочисленными отрядами, мы ставили себя в такое положение, что малейшая неудача на одном пункте, при пожаре в тылу нашем, могла разразиться бедой. Так и случилось. Мухтарка, прытко бежавший из Карса, чтобы не очутиться там в западне, на Саганлугском хребте собрал разбредшиеся силы, жестко остановил Тер-Гукасова и облил кровью Лорис-Меликова, бросившегося выручать товарища. В Батуме Оклобжио, во всю войну бивший лбом в неприступные твердыни, терял только людей, и когда поднялись абхазцы, должен был отойти к своим границам. Начали мы отступать также поспешно, как наступали, и в начале июля очутились у собственных границ с насевшим на нас неприятелем. У Баязеда турки перешли даже границу и грозили Эривани. Всегда правдивый русский солдат звал уже Мухтарку Мухтар Ивановичем.

Такой неожиданный результат блистательно начатых действий не может быть пройден без замечания даже непосвященным хроникером событий. Первая ошибка была свыше и относилась к обоим театрам войны. Мы кри-

чали во всеуслышание, что идем изгнать турок из Болгарии, т. е. лишить их собственности, и для такого наваждения считали достаточным послать 200 тысяч в европейскую Турцию и едва 50 тысяч в азиатскую. Не менее 50 тысяч должны были оставаться в тылу, на путях сообщения через княжества, и в руках Николая Николаевича не было и 150 тысяч для действий за Дунаем. За Кавказом мы ринулись в сечу тремя малочисленными отрядами, трудно сносившимися между собой, не обложив даже Карса и не довольствуясь простым обложением Батума. Загородить Батум было бы разумно для пресечения туркам возможности действовать высаживаемыми в нем войсками в наш тыл, но его силились взять, хотя успех не повел бы ровно ни к чему, так как порт беззащитен с моря, а флота у нас не было. Оклобжио следовало держать на своре, а в случае упорства к блестящим подвигам сменить. Если хотели овладеть Батумом, нужно было атаковывать его по ардаганской дороге, прочищенной уже молодцом Комаровым, а не через дебри и болота кабулетские. Но главнейшей ошибкой Михаила Николаевича было совершенное обнажение Абхазии. Мы не подумали о возможности повторения случайностей 1855 года, хотя знали, что море во власти неприятеля. Единственною причиной такого упущения могло быть только неведение положения края со стороны его августейшего начальника.

Так бесславно завершился первый период закавзказской кампании, скоро повторившийся в Болгарии. Еще раз скажу — главной первородной причиной была недостаточность сил. Государя уверили, что Турция упадет ниц при появлении наших знамен и что занятие Болгарии и Армении будет триумфальным шествием. Налгал ли Игнатьев или кто другой, высшеиу распорядителю судеб России следовало обеспечить успех средствами, бывшими в его воле, и посмотреть на дело взглядом политика. Европв без особых затруднений допустила нас взять восточный вопрос в наши руки. Требовались успехи быстрые, громовые, при которых благоприятное для нас разногласие кабинетов не успело бы измениться в единство воззрения. Начни мы дело с 300-тысячной армией в Европе и 100-тысячной в Азии, быстрый конец ошеломил бы наших явных соперников и сомнительных доброжелателей.

Между 27 и 29 июня войска наши переправились через Дунай, вновь повторю, на нашу беду, весьма легко, с потерей какой-нибудь тысячи человек, преимущественно у Систова и Галаца. Необыкновенно долгий разлив мешал переправиться ранее. Нужно отдать справедливость главнокомандующему: все распоряжения к переправе выказывали предусмотрительность. Войска были придвинуты к реке в различных пунктах от Алуты до Галаца, соблюдалась тайна, и туркам невозможно было догадаться, где мы намеревались нанести главный удар. Река была уже обеспечена от турецкой флотилии, приведенной в расстройство подвигами моряков и ими же положенными минными заграждениями. Когда армия перенеслась за Дунай, морякам оставалось только поддерживать сообщение, поэтому здесь настоящее место упомянуть о действиях дорогих моих собратов по оружию.

Значительная турецкая флотилия мнила воспрепятствовать переправе, но в исходе мая счастливая для нас случайность и бешеный подвиг сорванцев-мичманов навели на нее такой страх, что во все остальное время борьбы турки не решались ни на какие попытки. К случайности я отношу взрыв турецкого монитора огнем сухопутной батареи у Браилова, а к подвигу расчетливой храбрости — взрыв другого монитора в мачинском рукаве. Лейтенанты Дубасов и Шестаков пустили его на дно шестовыми минами. Вслед за тем Скрыдлов среди белого дня атаковал миноносной шлюпкой монитор, пытавшийся мешать наведению нашего моста. Под огнем укреплений моряки сплавляли понтоны к местам переправы и заграждали эти места минами. Была беззаветная удаль, бескорыстная верность долгу. Старый

дух правды витал еще над флотом, шатаемым капризной волей генерал-адмирала и равнодушием прежних его помощников в нравственной силе сословия. Но скоро власти влюбились в мины, а исполнителями овладело желание легко отличаться, пускать шутихи. К несомненному самоотвержению присоединялась известная доля шарлатанизма, плод новой школы, учившей предпочитать легкие бросающиеся в глаза выходки результатам познаний и истинного труда. Минные экспедиции стали в моде не только на Дунае, где приносили существенную пользу, наводя страх и, парализуя турецкую флотилию, но и на Черном море, где новая школа имела ловких адептов в Баранове и Макарове. Не отнимая у обоих достоинств людей решительных, готовых на всякие предприятия, позволю себе, однако ж, выразить мнение, что их качества могли бы быть приложены полезнее, хотя и не так блистательно, как приложили их. Я радовался, что мы приобрели несколько пароходов от Русского Общества, посадили их на военные команды и пустили, так сказать, à fond perdu[96] по Черному морю. Такое употребление моряков, обреченных на бездействие по недостатку военных судов, было неизмеримо далеко от бесславного укрывательства за фортами эскадр наших в крымскую кампанию. Сверх того, подвиги морских офицеров, разносясь по России, поддерживали памятование о флоте и влияли на его будущность. «Беспримерная, небывалая, неслыханная удаль их, — как выразился восторженно Николай Николаевич в телеграмме к генерал-адмиралу, — всех давила и замыкала уста поносителей, твердивших, что флот нам не нужен. Действительно, он оказывался нужным, но надобность его в глазах понимающих дело выступила бы более рельефно истинно полезным употреблением приобретенных судов, а не громкими подвигами, не имевшими никакого влияния на ход войны». Если бы вместо шумных, как самые мины, попыток, моряков направляли преимущественно на смелые вылазки против транспортов, перевозивших беспрепятственно войска из Европы в Азию и обратно, флот облегчил бы задачу армии и внес бы в общий план систематическое действие, которое ускорило бы выполнение плана. Влияние быстрого Попова явно выказывалось ролью, для флота избранной. Сам он, однако ж, насылая в Черное море своих любимцев, был серинером великого князя в качестве начальника штаба. Большая эскадра стояла все лето на кронштадтском рейде, расправляя крылья, но не решаясь на полет, а «поповки» и не пытались даже оправдать издержанные на них миллионы. Тогда как купеческие суда, обращенные в военные, стяжали славу, поповки однажды только подползли к Дунаю, впустили туда миноносные лодки и с изнуренными от духоты командами возвратились в Одессу принимать участие в «активной обороне», на которую не были способны. Явное доказательство ошибочности идеи не повело, однако ж, ни к каким невыгодным для изобретателя поповок последствиям.

Весьма странно было назначение Баранова, вовсе не служившего на море командиром в военное время. Лесовской, как мне говорили, должен был уступить августейшим влияниям, ловко приобретенным Барановым. Но задолго до войны лукавый изобретатель негодного ружья, изучавший флот только по моделям музея, которым заведовал, выступил в «Голосе» с идеей, что броненосцы могут быть легко атакованы не броненосцами. Вероятно, и эта выходка имела в назначении Баранова свою долю. Как бы то ни было, фортуна накрепко завязала глаза, и Баранов оправдал пословицу «не родись красив, а родись счастлив». Его бой на «Весте», удачно размалеванный в рапорте, доставил ему славу и почести, еще более вздутые впоследствии взятием турецкого парового транспорта с десантом. По-моему, действительно подвигом можно считать только помощь, оказанную им у Гагр Шелковникову и перевоз раненых с Кавказа в Керчь под турецкими дулами. Все остальное — блестки, утешительные для русского самолюбия,

но более всего выказывающие турецкую апатию и невежество. Бой «Весты» был совершенно приравнен к бою «Меркурия». Те же награды достались на долю счастливцев, но вот разница времени: Казарский остался на своих лаврах скромным офицером, несмотря на аксельбант, а Баранов внезапно силой святого духа преобразился в авторитет. Забавна переписка его с невинным Баранцовым касательно необходимости мортир (Баранцовым введенных) для вооружения судов, предназначенных бороться с броненосцами. Никогда не случалось встречать подобного образчика взаимного хваления.

Не зная, что ожидает меня, я остался в Ницце до исхода июня. Стало жарко, и начала томить тоска. К счастью, возник непосредственно вокруг меня интерес, созданный необъяснимой строптивостью президента французской республики. Вслед за переменой министерства явился указ, сменявший 62 префекта — явное доказательство, что решимость президента была подготовлена. Тотчас же распустили и собрание на месяц, по 16 июня. Все оторопели. К общеевропейской сумятице присоединялся казус французов, этих мастеров сумбурного дела. Вновь собравшись, собрание выказало сопротивление видам президента. Тогда он обратился к сенату, получил его согласие на окончательный роспуск собрания и объявил к октябрю новые выборы. Не знаю, что вдруг напугало Мак-Магона, если он решился тревожить страну перед выставкой.

Политические потрясения могут питать жизнь, но не помогают излечивать недуги. К страданиям жены прибавилась и моя немощь. Всю зиму я жаловался на горло, наконец ирритация перешла в слуховые органы, и я стал глохнуть. Не хотелось дряхлеть прежде времени, и мы решились ехать в Aix-les-Bains, едва ли не единственное водяное место, нам еще не известное.

Сначала азенская природа имела на меня успокаивающее влияние, но скоро обстоятельства, изнуряющие русский дух, стали накопляться одно за другим. Я впал в раздражительность, возбужденную еще более личными неудовольствиями. Для войны я предложил свои услуги, и мне посоветовали все под участием дружества продолжать лечить жену. Стало горько, очень горько. Этот период жизни моей стоит в моих, конечно, глазах долгого памятования. Главной причиной моей нравственной тревоги была все-таки борьба на востоке. К ней следует возвратиться.

После неудач за Кавказом мы утешали себя рассуждением, что не там главное решение вопроса, и с восторженным нетерпением следили за ходом войны в Болгарии. Государь личным присутствием ободрил войско, а назначивши детей в ряды воинов, показывал, сколько ценил цель войны, освобождение единоплеменников наших. Мне казалось, что и неразумно было подвергать одновременно царя и наследника тем же случайностям, но присутствие при армии хранителей русской чести по рождению бесспорно поднимало общий дух и обещало успех. Москва, по словам Батюшкова, ликовала, и ей слышались уже молебны в Св. Софии.

Тотчас по переходе нашем за Дунай англичане прибегли к обычному рецепту своему от всякого восточного расстройства — послали флот к Дарданеллам. Австрийцы задели лично меня, запретивши высылать из Фиуме торпеды. Проект крейсерства, выработанный для эскадры Бутакова, возвратившейся из Штатов, где ей не дозволили смотреть на американские порты как на базу операции в случае войны, распался. Усталый Бутаков, заехавший к нам по пути из Бреста в Петербург, радовался неудаче, дозволявшей ему скоро свидеться с семьей. Обстоятельства эти несколько умеряли мои восторги, но все же ликованиям России был достаточный повод.

Дела наши в Болгарии шли очень успешно. К половине июля была занята древняя болгарская столица Тырново, и князь Черкасский тотчас вступил в гражданское управление страной, разумеется с нашим универсальным сред-

ством — выкупными свидетельствами для лишенных собственности мусульман. В дневнике под 2/14 июля вижу первые опасения мои за слишком быстрое движение армии. Сильно пенял я на поспешность и боялся в Болгарии того же результата, что в Армении. 4/16 июля дошла до меня весть о переходе Гурко через Балканы, так восторженно провозглашенная Николаем Николаевичем. Мне показалось странным, что мы так легко преодолеваем известные трудности болгарских путей. Радоваться я радовался, но вместе с тем отметил в журнале — «верно много у него силы, коли оставляет дунайские крепости в тылу и бежит вперед между Абдул-Керимом в Шумле и Осман-пашей в Ведине. Конечно, мало-помалу, начинают брать дунайские крепости. Никополь уже наш, и цесаревичу с двумя корпусами поручено защищать наш левый фланг, но все же лучше раздавить до перехода за Балканы Абдула или Османа, а то выйдет малоазийский крах». 3 августа н. ст. «Наши дела, по-моему, идут не совсем ладно. Растянулись от Дуная за Балканы, а бока обнажены. Осман-паша с ведиинским отрядом занял Плевну и Ловач. Пытались выбить его из Плевны дважды: первый раз бросился не сосчитавший неприятеля Шильдер-Шульднер, во второй, 18/30 июля, пытался Крюднер по повелению великого князя. Потеряли даром 10 тысяч. Цесаревич облагал Рущук и оберегал нашу армию от главных турецких сил. Гурко грозил Андрианополю. Теперь все приходится смарать. Не знали ничего о целой армии Османа, шли зря, и это уже во второй раз в ту же кампанию. Кто ответит за пролитую даром кровь? Солдаты мрут героями, а кончается бедами. На каком основании растянулись мы по всей Болгарии? Чтобы предупредить резню? Но если теперь отступим, турки станут резать пуще прежнего. Мешают политику с стратегией, и обе идут из рук вон скверно. Если такой убогий политик и стратег, как я, чуял беду, как же не подумали о ней присяжные воеводы наших сил?».

Положение наше в августе стало критическим. Один цесаревич спокойно, свято делал свое дело, не гоняясь за славой и обеспечивая успех торпением и стойкостью. Русский солдат, выведенный из-за Забалканской Болгарии, тотчас залитой кровью мучеников, стал пнем на шапкинском перевале, и как ни метался на него свирепый Сулейман-паша, держался не морщясь в негостеприимных дебрях, озираясь назад, где кричавший ура при легком переходе гор августейший начальник теперь дрожал в своей коже и требовал из Петербурга гвардии, а скоро взвыл за помощью даже к румынам. Казалось, Гурко как знакомый с местностью должен был остаться на Шипке. Нет, даже в беде мы не бросали красносельских привычек. Гурко послали в Бухарест встретить свою гвардейскую дивизию. К счастью, напали для замены на Радецкого.

Весь август Россия горевала о неожиданных неудачах, а Европа злобно им радовалась. Горько и от души скорбел только маститый дядюшка. Понемногу подходили подкрепления, и начало сентября обещало поворот. Имеретинской и Скобелев схватили занятую Османом Ловчу, и с этого времени в действиях наших установилась система. Однако ж до прибытия Тотлебена, вытребованного государем вовсе не по желанию главнокомандующего, борзый архистратиг наш, также скоро оправившийся, как легко поник головой, попробовал еще раз пробить лбом стену. Плевну обложили с востока и юга. Желая к 30 августа поднести царю подарок, устроили ему, как Ксероксу, седалище, чтобы любоваться боем, и в третий раз ринулись на крепкого Османа. Вновь были отбиты, хотя взяли Гривицу, которую считали ключом турецкой позиции. Скобелев с юга захватил три редута, но его не подкрепили вовремя, и турки отняли их обратно. Ключ оказался вовсе не ключом, и стали опять ждать подкреплений. Подгон войск был просто работой Сизифа, едва хватало на пополнение ежедневных потерь.

Мегмед-Али, сменивший старого Керима, теснил цесаревича и отдавил его уже за Лом. Велик русский Бог! Турки будто опешили от удач, не решались на быстрый удар. К исходу сентября стали облагать Плевну со всех сторон. Наследник отбивался от Мегмеда, а Радецкого никак не мог сковырнуть Сулейман, как ни неистовствовал. Сулейман клал своих солдат на Шипке не хуже нас под Плевной. В тылу армии нашей употребили, наконец, Дрентельна, человека порядка и стройности, о бездействии которого я вопрошал всех и каждого. Впрочем, мы в войне влюблялись в людей, а не ценили их по заслугам. Нельзя обойти некоторых мелочных подробностей, доказавших, что при надобности мы людей не искали, даже наткнувшись на способных случайно, не дорожили ими.

Молодой Сколбелев попал в немилость и был отозван в Петербург из Туркестанского края, где возбудил зависть быстрым своим повышением.

Несмотря на более нежели жесткий прием государя, Скобелев, лишь только прогремела труба бранная, явился в армию состоять при отце, которому дали летучий отряд. Вскоре отряд разбили по частям, а начальника оставили при главнокомандующем. Сын состоял при состоящем при великом князе отце, и когда началась переправа через Дунай, явился добровольно в распоряжение Радецкого, переправившегося с своим корпусом в главе войск наших. Скобелев просил употребить его для посылок. Распорядительность и хладнокровное мужество генерал-ординарца поразили будущего героя Шипки. Скобелев последовал за ним на балканскую вершину, отличился и там, наконец выказал явно, кроме ни перед чем не бледневшего мужества, разумную распорядительность и боевое соображение при взятии Ловчи, чем началось обложение Плевны с юга. Начальник Ловчинской экспедиции, Багратион Имеретинский, выставил, подражая Радецкому, заслуги Скобелева. Его сделали начальником бригады и примкнули к осаждавшим Плевну с юга. Здесь Скобелев прославился геройством не только в собственных рядах, но в глазах неприятеля и всей Европы. 32 лет от роду он завоевал чин генерал-лейтенанта и командование дивизией. По сдаче Плевны Скобелев перешел Балаканы зимой и помог Радецкому, спустившемуся с Шипки, полонить всю осаждавшую перевал турецкую армию. Короче, в течение трех-четырех месяцев имя Скобелева-младшего гремело во всех концах мира. Это был самый любимый витязь между многими, выказавшимися во время войны. Он рассек мечом пути интриги. Действительно, вся невзгода на него оказалась интригой. Было ли основание обвинениям, которые на него возводили, или нет, Воронцов-Дашков по личной злобе раздул всю историю о восточных наклонностях Скобелева, придумавши присказку о георгиевских воздаяниях за содомские грехи. Кстати заменить, что Воронцов не воспользовался сам случаем доказать, что его подвигами не даром увлекались в мирное время. Его имени не встречалось во всю кампанию.

Я знал Скобелева мальчиком в Париже в 1863 году. С тех пор он кончил прекрасно начатое образование и быстро понесся вверх на среднеазиатских зефирах, доходивших в Петербург ураганами военных доблестей. В достоинствах молодого героя не может быть сомнения, но на истинном пути к известности он выучился не пренебрегать окольными тропами и понял, что «всякий человек должен быть собственным герольдом», особенно у нас, где пустой гул легко сливается с звуками истинной славы. Особые условия немало способствовали известности Скобелева. По воспитанию и общительности он сблизился с английскими журнальными корреспондентами, а корреспонденты играли в этой войне небывалую роль. Никогда еще представители прессы не были допущены в военные лагери в таком числе. Еще не бывало примера, чтобы им давали столько средств узнавать все, что делалось. Нужно прибавить, что известные журналы

Европы достойно ответили на такое доверие. Выкидывая продажный «Daily Telegraph», все другие «Times», «Daily News», даже консервативный, т. е. правительственный «Standart», твердили миру, что война велась нами человеколюбиво, что мы не отвечали возмездием на зверства турок, резавших наших раненых, не прибегали даже к реквизициям и за все платили щедро. Корреспонденты подвергались всем лишениям, делили с войсками всю тяготу, даже опасности и с неутомимой ревностью переносились на пороховой дым, следя за всеми движениями отрядов. Подробные, прекрасно составленные отчеты их представляли войну графически, и многие имена, дотоле неизвестные, сделались мировыми. Ловкий Скобелев вмиг почуял новую силу и, конечно, ублажал ее. Зато и прославили же его во все концы вселенной. Не было номера журнала без имени Скобелева. Никогда еще издержанный грош не приносил так очевидно целый рубль. Храбрец превратился в сказочного рыцаря.

Назначение главными деятелями в штаб двух поляков было, по меньшей мере, бестактно. Запальчивость главнокомандующего, неспособность самих деятелей, неудачи — все это относили к ненадежности Непокойчицкого и Левицкого. Может быть, с этой целью и сделали выбор, но тогда как назвать подобную политику? Польское происхождение, по моему установленному нашим западным вопросом взгляду, действительно могло быть причиной выбора. Ляхской «падам до ног» обеспечивал произвол главнокомандующего, присущий его природе. Русский, пожалуй, поднялся бы на дыбы. В доказательство основательности моего воззрения укажу на переход через Балканы Гурко. Непокойчицкий был положительно против перехода. Осторожного советника уверили, будто Гурко посылается рекогносцировать только местность между Тырново и горами. На это нельзя было не согласиться. Под рукой великий князь, составя комплот со своими приближенными, для Гурко приказание идти на перевал, если то окажется возможным. Обман начальника штаба вследствие товарищеского согласия главнокомандующего с участниками в его красносельских и закулисных забавах фотографирует наших князей вообще, и я, безусловно, верю упорно ходившим по этому случаю слухам. Непокойчицкий посердился, подавал в отставку, однако ж, остался.

Еще странность наших воззрений. Я говорил уже, что цесаревичу поручили охранять наш левый фланг и что он вышел с честью из положения несносного, он знал, что ему не предстояло ничего эффектного, легко оцениваемого массами, и несмотря на кипучесть молодости, действовал сдержанно, осмотрительно, мудро. Меня радовало видеть в будущем владыке уменье владеть собой, но из какого расчета, по каким соображениям подвергали будущего властелина России случайности быть разбитым каким-нибудь Мегмедом или Сулейманом? Скорбная мысль преследовала бы его во все царствование, и ему постоянно хотелось бы смыть пятно, хотя России и не из чего было бы воевать с Турцией.

Август и сентябрь были для нас мрачными месяцами. Уединенные прогулки Экса располагали сильнее чувствовать.

Франция имела тоже свои заботы, свои haut et bas,[97] свою Плевну. В мае Мак-Магон будто спросонка вдруг уволил министерство Жюль-Симона. Он заменил его консервативным кабинетом Броли и должен был распустить собрание. Новые выборы с затяжкой закона отложили до половины октября. Срок приближался, и меня трясло одновременно двумя лихорадками — отечественной и местной. Не отказавшись совершенно от развлечений, мы пользовались ими бессознательно, так сказать, машинально. В первый раз были в великолепной большой опере. Любезный Лихачев добыл ложу не возвратившейся еще в Париж знакомой своей, и мы могли удовлетворить давнее наше желание. Всего более поразил меня вход. Коридоры по простоте отделки вовсе не соответствуют лестнице, foyer и самой зале.

Плац перед оперой освещался электрическими свечами соотечественника нашего Яблочкина. Свет был проведен в верхние горелки огромных канделябров, поставленных у подъезда. Нижние давали газовое пламя, казавшееся чересчур скромным перед ярким блеском Яблочкина. Самые верхние этажи громадных домов, окраяющих площадь, видны со всеми надписями, как днем, а все-таки новое освещение вряд ли распространится — в его светло-фиолетовом отблеске лица кажутся бледными, что не понравится женщинам. «Nul ne prophete dans son pays».

Бедный Яблочкин прибыл в Париж без гроша. Боголюбов и у себя пророк, а все-таки привязался к Парижу. Картины его в мастерской Rue di Roma относились преимущественно к злобе дня — восточной войне. Художник был на Дунае, где беседовал с очевидцами и участниками в разных эпизодах; даже, в назидание, взрывали перед ним мины. Хотя Боголюбов и познакомился воочию с эффектом взрывов, мне показалось, что пламя при взрыве монитора не соответствовало действительности. Боголюбов хочет быть честным, добросовестным. Едва ли инспираторы его, Рогуля и Баранов, помогут ему достичь истины в изображении дунайского заграждения и в бое «Весты».

Смотрели и на здание будущей выставки. Нет архитектурных затей — просто светлые сараи, но принятая система удобна для сравнения и изучения: в одном направлении — страны, в другом — однородные произведения. Зато напротив, на Трокадеро, громадный каменный павильон с галереями поражает грандиозностью и явно рассчитан на художественно-живописный эффект. Бродя по будущему торжищу мира, невольно думал, состоится ли оно. Помимо восточной схватки, во Франции кипел свой внутренний вопрос. Мы прожили в Париже до его решения и вынесли удивление благоразумию французов.

Правительство шатало небо и землю для направления выборов. Оппозиция со своей стороны не оставалась праздной. Гамбетта разразился роковым «se soumettre ou se démettze»[98] еще прежде выставки избирательных урн, уверенный в торжестве республиканцев. Упрямому Мак-Магону противопоставляли ловкого, гибкого Тьера, приучая массы к идее о возвращении хитрого старца на президентское кресло. Но Тьер свел счеты с миром в начале сентября. Все ожидали, что республиканцы распадутся и подчинятся жесткой руке солдата, ворочавшего Францией, как полком. Многих пугало также, что радикалы, не чувствуя узды Тьера, возьмут верх. Настало, наконец, 14 октября. В Париже все прошло чрезвычайно тихо.

Столица, как все ожидали, оказалась чисто республиканской, но не мало удивилось министерство борьбы, что вся Франция, несмотря на неслыханное административное давление, высказалась также за республику. В палату вернулись не 363, а 320 республиканских депутатов — все-таки огромное большинство. Мак-Магон, давший честное слово поддерживать своих губернеров в бесчестной борьбе против существующего государственного строя, упорствовал даже против нового выражения народной воли. Министерство Броли не могло уже явиться перед новым собранием. Маршал послал туда наскоро сколоченное незаконнорожденное, которое оказалось и мертворожденным. Наконец, как все упрямые, Мак-Магон вдруг распустил душу, призвал Дюфора и поручил ему составить парламентский кабинет. Все улеглось мгновенно. Целые шесть месяцев без жалости и смысла трепали Францию и не могли вытрепать ни одного беспорядка. Урок кое-чему послужил, и народ оказался с политическим разумом. Зато маршал потерял всякое значение. Ему предстояло упорствовать и se démettre, или se soumettre,[99] убедившись в воле народа. Он пришел к последнему, но не просто, откровенно, а с болезненными уловками и попытками, утерявши даже честность солдата, на которой зиждилось его положе-

ние. Закрепление республиканского правительства произвело во Франции, жаждавшей осуществления выставки, общий восторг. В то же время мы перешли рубикон скорби и печалей — взяли Плевну со всей армией Осман-паши.

Турки не воспользовались успехами. Если бы после второго покушения нашего на Плевну Осман смело двинулся на разбитого Криднера, а Мегмед не лег бы на цесаревича, положение наше стало бы несомненно критическим. Лучшее, что могло выйти для нас, было бы отступление от Тырново к Дунаю и укрепление там в выгодных позициях. Русский бог не устал еще. Турки заснули, и мы вытребовали подкрепления. По собственной инициативе государь выписал на театр войны Тотлебена, и в начале октября мы стали серьезно облагать Плевну, убедившись троекратным, кровавым опытом, что приступом ее одолеть нельзя.

Как повторялись наши неудачи, так стали повторяться успехи, и в этом повторении на долю кавказской армии, потерпевшей первое поражение, пришлась и первая победа. С начала октября подкрепленный Лорис-Меликов начал операцию против Мухтара. Укрепившись на высотах против памятного в Крымскую войну Курук-Дерэ, Мухтар отражал удачно попытки Меликова. Упоенный нежданным успехом, может быть, возбужденный титулом «Победного», дарованным ему и упорному Осману, Мухтар поддался излишней уверенности, не наблюдал за нашими движениями и, наконец, в половине октября был окружен по плану присланного за Кавказ Обручева, «ученого генерала», как его там прозвали. Действительно, в этой войне выказалось ясно, что недостаточно быть рубакой Гейманом или сорванцом Шильдер-Шульднером, даже с турками требовалась наука. «Победный» Мухтар был разбит наголову и бежал к Эрзеруму. На этот раз мы воспользовались успехом, преследовали турок по пятам и подошли к самой столице Армении, но снова увлеклись и были отбиты от укреплений, которые считали беззащитными.

Пока Гейман и Тер-Гукасов спешили к Эрзеруму, Меликов обложил Карс, и 6/18 ноября неожиданно для всех взяли его ночным штурмом. Так внезапно и с такой сравнительной легкостью был совершен этот блистательный подвиг, что иностранцы в один голос протрубили измену. Никакой измены не было. Отличное войско в этот раз отлично вели — и твердыня пала в одну ночь перед силами, едва превышавшими гарнизон. Взятие Карса дозволило стоять у Эрзерума с ружьем у ноги до конца года.

В течение октября совершенно обложили Плевну. Гурко с гвардией охватил ее с запада и многими удачными делами пресек всякое сообщение Османа с внешним миром. На упорство хватило и этого «Победного», а в соображении и он был не грешен.

Противник цесаревича не отличался смелостью. Весь октябрть он едва тревожил его. В одной из незначительных схваток убит великий князь Сергей Максимилианович Лейхтенбергский. Случайность эта выкупила в глазах народа многие грехи царственных вождей и, если можно так выразиться, была кстати. Начинали уже роптать, что даром жертвуют людьми, а сами оберегаются. Русский народ добряк. Смерть племянника царя вдруг поворотила сердца. Досталось и доблестной гвардии под Дубником, и зарыдал Петербург, не проронивший слезы над тысячами, павшими в бесплодных битвах под Плевной. Армия его не касалась.

Пользуясь влиянием совершенного обложения Плевны, мы выпустили заем в 350 миллионов франков, впоследствии почти покрытый, но вначале шедший весьма туго. Французское министерство борьбы не допустило нашего займа на биржу. Деказ жаловался Орлову, что наше правительство не поддерживало единственных французов, стоявших за дружбу с Россией, его и Мак-Магона, и дозволяло писать против переворота 16 мая в журналах.

Воспрещение котировать наш заем на парижской бирже было только возмездием. Но министерство борьбы было в борьбе предсмертной. Скоро оно пало и заем наш разобрали.

Ноябрь прошел в ожидании радостных вестей из-под Плевны. Пока они пришли, повторилась в Болгарии неудача у Эрзерума. Уверенные, что держим Османа в железном кольце, мы опустили руки на левом крыле. Сменивший Мегмеда Сулейман воспользовался нашей оплошностью и взял с боя Елену в тылу шипкинского перевала и в суточном переходе от Тырнова. К счастью, к этому времени истощились запасы Осман-паши. Он ринулся из Плевны с ожесточением голодного, был побит, окружен и полонен со всей армией, не так многочисленной, как полагали, всего с 35 тысячами. Странное дело, сначала вовсе не знали о существовании армии Османа, и это в дружеском крае, а потом увеличили безмерно ее значение. Будто не было средств иметь хороших лазутчиков.

Взятие Плевны освободило стотысячную силу, и противно всем толкам, расчетам и уверениям самого Мольтке, мы начали ту дивную зимнюю кампанию в балканских трущобах, которая привела нас в шесть недель под стены Стамбула. Укушение Сулеймана стало уже ничтожным булавочным уколом. Понеслись наши орлы в бурях и метелях через непроходимые вершины, загремели на весь мир имена Гурко, Скобелева и Радецкого, а еще громче восхвалялись терпкость, стойкость, презрение к лишениям нашего солдата. Отлегло от сердца, показалось, будто сами мы участвовали во всех треволнениях и что уже нечего более делать в Париже. 15 декабря мы перебрались в Ниццу, где под влиянием свежей радости принялись усердно за базар в помощь русским раненым. Часов в шесть колония наша собрала 30 тысяч франков. Успех вроде плевинского.

Выдержав на придунайских тундрах все неудачи, государь отправился в столицу, когда счастье повернулось к нам лицом. Почти единовременно с ним воротились великие князья, исключая, разумеется, главнокомандующего. Петербург ликовал, а царь в упоении приемом опять заговорил и опять проговорился. По его словам, вся Европа, исключая Англии, сочувствовала нашим успехам. Англия была недовольна, но мы вооружены против всякого вмешательства.

Памятный обильными случайностями 1877 год кончили комически. Граф Бобринский, проживавший в Риме, был причиной падения итальянского министерства, он получил от брата телеграмму: «Voldemar blessé grièvement, mere part pour rejoindre. Alexandre».[100] Министерство, покровительствовавшее некоторым журналам, вообразило, что телеграмма от государя, а Владимир (сын Алекс. Бобринского) не кто иной как великий князь Владимир Александрович. Оно поспешило сообщить важную новость своим любимцам. Нелюбимцы озлились, начали кричать, что нарушают телеграфные тайны, и напали на министров. Нелегко было оправдываться. Кроме неверности факта, была и детски глупая поспешность. Министерство подало в отставку. Странен род людской. «От великого до смешного, поистине, только шаг».

ГЛАВА X

ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1878 Г.)

Попытка Англии вмешаться в наши дела с Турцией. Наши военные успехи. Прекращение военных действий. Последние действия на море. Турки медлят с подписанием мира. Сан-Стефанский договор — анекдотическая сторона его. Конгресс становится возможным. Мои советы о скором учреждении морских сил на Черном море. Англия решительно вмешивается в наши дела с Турцией. Призыв английских резервов и выход из министерства Derby. Бисмарк устает мирить нас с Англией. Вопрос о крейсерах. Патриотическая решимость Шувалова ведет к Конгрессу. Англо-русское соглашение и общий взгляд на Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Чествование английских представителей в Англии, борьба оппозиции, откровенности и разоблачения. Французская выставка. Воздушный шар и Сара-Бернар. Случай с «König Wilhelm» и «Grosser Kurfürst» в английском канале. Празднование юбилея Вольтера и Иоанны д'Арк — свободные мстители и клерикалы. Aix-les-Bains . Правительственное толкование Берлинского конгресса. Поздняя энергия Наполеона. Закулисные подробности берлинского трактата. Возвращение в Ниццу. Ход событий от Плевны до Сан-Стефано по словам Игнатьева. Крушение яхты «Ливадия». Горчаков. Шувалов и Игнатьев. Афганская война и наше новое унижение. Реформа флота по проекту Чихачева. Мой взгляд на проект.

Случилось то, чего должно было ожидать, что казалось ясным каждому, не завязавшему глаза. Англия, по просьбе Порты, вмешалась в наши дела с ней. Мы ответили уклончиво, если не совершенным отказом. И в самом деле не время было поддаваться на промедляющие переговоры, когда победоносные орлы наши, несмотря на всеми проповедываемую невозможность одолеть Балканы зимой, уже перелетели их. В исходе прошлого декабря Гурко занял Софию. Тысячи пали жертвами перехода через оледенелые вершины, в метелях и бурях, зато результат был поистине блестящий. К половине января мы опустились в Румелию и прямо с севера. Шипкинская турецкая армия попалась в западню вследствие обходных движений Скобелева с запада и Мирского с востока. Радецкий одновременно свалился на нее с перевала. 41 батальон и десять батарей достались живьем. С своей стороны, Гурко двинулся быстро из Софии к Адрианополю, разметал армию Сулеймана-паши, взял у него 97 пушек и 3 тысячи пленных. Сулейман бежал так быстро к Эгейскому морю, что утомлен-

ные войска наши не успели помешать ему сесть на суда.

Порта просила мира, и в начале января было объявлено прекращение действий на два месяца. Несмотря на прибытие в Казанлык турецких уполномоченных, мы продолжали, однако ж, идти вперед, заняли 8 /20 января Адрианополь и даже там не остановились. Николаю Николаевичу хотелось, очевидно, подписать мир в Константинополе, куда и продолжали стекаться наши силы. Переговоры, между тем, велись, и уже носились слухи о мире.

Последним действием на море была минная атака турецкой эскадры в Батуме. Впервые были употреблены посланные мной мины Уайтхеда. Атака не удалась преимущественно потому, что в темноте направляли мины не в борты кораблей, представлявшие обширную цель, а в носовые части. Корабли в Батуме стоят ошвартовленные к берегу, но сами в море: последовал, однако ж, взрыв, и наши слышали крики, из чего заключили, что атака удалась, и донесли, будто взорвали турецкий броненосец. Гобарт-паша и различные журнальные корреспонденты отвергали всякий вред. Уверения наших офицеров казались недостойным хвастовством. Опровергая показания нападавших, турки утверждали, что поймали наши мины и отвезли их в Константинополь. Встревоженный изобретатель послал туда комиссионера выкупить полоненные мины. Какой-то янки уже предлагал за них значительную сумму. Комиссионер возвратился в Фиуме во время моего там пребывания и привез обе выпущенные мины. Одна оказалась без зарядной камеры, а другая была совершенно цела. Комиссионер, отставной капитан австрийского флота, виделся с Гобарт-пашей, объявившим, что взрыв действительно произошел и был слышен на всей эскадре. Осмотревши мины, Уайтхед нашел на обезглавленной следы сильного трения и заключил, что она, без сомнения, ударилась о цепной канат, переломилась, и передняя и задняя часть силой инерции воткнулась в грунт, отчего спустился ударный замок и произошел взрыв. Все эти сведения и соображения Уайтхед, по просьбе моей, передал мне в официальном письме, а я сообщил министерству, вскоре объявившему письмо Уайтхеда по флоту. Таким образом мне удалось оправдать деятелей.

Другая атака была удачнее, пущен на дно сторожевой пароход. Но гораздо чувствительнее для турок, владевших морем, было пленение парового транспорта с десантом. И в этот раз героем, или, правильнее, счастливцем, был Баранов. Приз взят без сопротивления и приведен в Севастополь. Баранову досталось после почестей за бой «Весты» богатое денежное вознаграждение и вдобавок чин капитана 1 ранга.

Англия выразила недвусмысленно желание вмешаться в вопрос между нами и Турцией. Колебавшись в течение всего прошлого года, министры решились вознаградить потерянное время и в начале января, противно издавна установившемуся обычаю, созвали парламент. В речи открытия многое было недосказано. Да и трудно было выразить что-либо определенное при неизвестности содержания наших переговоров с Турцией. Королева высказала только уверенность, что парламент не поскупится на ассигновку сумм, если обстоятельства того потребуют. Палаты собрались 5/17 января, а 15/27 министры сознались, что посылали уже приказание флоту Средиземного моря войти в Мраморное. На дерзкую решимость эту они склонились без ведома заседавшего уже парламента. Общее мнение не выразилось еще ясно, и д'Израэли начал выгонять его наружу конституционно-легальными мерами, выказывавшими, однако, как легко возрастает министерский произвол и на конституционной почве. Министр колоний, Carnarwon, только что проговорившийся для успокоения страны, что «никто не будет достаточно сумасброден, чтобы повторить политику 1854 года», вышел в отставку. За ним хотел последовать министр иностранных дел, но

был остановлен контр-ордером, данным флоту уже у Дарданелльских замков. Очевидно, не все английские министры стояли за решительные меры, однако ж, требовали кредита в 6 миллионов франков и не переставали требовать его, даже когда пришло известие о заключении перемирия. В этом случае мы все продолжали двигаться к Константинополю, вытребовали очищения оборонительных линий столицы и стали главной квартирой в Сан-Стефано, занявши весь северный берег Мраморного моря. Следуя Англии, стала смелее и Австрия; она начала также говорить о своих интересах и грозила мобилизацией войска для той же цели, которую выставляла Англия, чтобы иметь вес на предстоявшем конгрессе. «Journal de S-t Petersburg» сказал довольно удачно, «qu'on deliberera de la paix dans une forêt de bayonnettes».[101] Представилось также новое усложнение в переходе греческих войск в Фессалию. Впрочем, они скоро отступили в свои границы вследствие убеждения Англии, что Греция выиграет более нейтралитетом, нежели союзными действиями с Россией.

Наступил такой психологический момент в жизни Европы, что смерть Виктора-Эммануила и вслед за тем его противника, Пия IX, прошли едва замеченные. В Квиринале спокойно воцарился Гумберт, а Ватикан также спокойно занял Лев XIII. Даже у нас едва почувствовали внутреннюю судорогу. Какая-то Засулич выстрелила в градоначальника Трепова. О побуждениях преступницы скажу впоследствии, когда дойду до решения суда, теперь же заношу только факт, являющий начало так называемых политических убийств, рождение пламенного карбонаризма на нашей мерзлой почве.

Европейский кризис действительно близился во весь опор. В начале февраля английский флот таки пришел в Мраморное море и без согласия Порты. Была минута, что казалось, будто турки примут непрошенных союзников выстрелами. Рассказывают, что в ответ на дерзость британцев Николай Николаевич хотел тотчас же занять Константинополь и Галлиполи, но был удержан Игнатьевым, приехавшим в главную квартиру для переговоров о мире. Захват столицы и проливов поставил бы нас в положение, из которого мы могли бы предписывать условия сделки, а не принимать их от других. Вероятно, Европа согласилась бы на все, лишь бы скорее выжить нас из занятых позиций. Опасались, что султан убежит в Бруссу, а мы хотели, чтобы никто не заменял его в Константинополе. Будто он заставил бы себя просить возвратиться, когда вследствие переговоров о нашем отступлении ему предложили бы снова нежиться на Босфоре. Как бы то ни было, момент был упущен, и с входом англичан в Мраморное море началось давление на нас Европы. Вместо факта занятия проливов мы представили Игнатьевский договор, еще более разозливший Англию и Австрию и не придавший нам никакой силы. Противники стали кричать, что не допустят изменений в трактатах 1856 и 1870 годов, а мы начали играть в слова и их значение.

Стоящие за Парижский трактат сами нарушили его, пройдя без приглашения Порты Дарданеллы. Флот Англии стал у Принцевых островов, а мы еще придвинулись к Стамбулу, но вскоре обе стороны увидели опасность излишнего сближения и из <u>параллельного наступления</u> перешли в <u>параллельное отступление</u>. Англичане перешли в Исмид, а мы оставили занятые у Константинополя редуты. В то же время оказалось, что нам нечего ждать от друзей немцев: Бисмарк в рейхстаге объявил, что благоразумие России, вероятно, дозволит конгрессу собраться в марте, вместе с тем, как говорили, он шептал нам, «que nous pouvions tout oser»,[102] а решимости, как всегда, в данный момент у нас не хватало.

В спорах о прибавке к бюджету в английском парламенте выложили переписку по восточному вопросу. В числе документов — весьма важная официальная бумага Derby к послу Lyard. Дерби передавал, что еще в начале июня прошлого года Шувалов объявил ему условия

мира с нашей стороны. Ляйерду поручалось узнать, примет ли их Порта. Туркофил Ляйерд отвечал, что даже не решится представить Порте подобные предложения. Условия были весьма близки к Сан-Стефанским, и мы оговаривали, что удовольствуемся ими, только если мир состоится до перехода нашего за Балканы. Теперь, ввиду минаретов Стамбула, мы не требовали большого, и Англия, отвечавшая молчанием, заставлявшим предполагать согласие, находила те же условия невозможными.

Прибытие английского флота к Константинополю, без сомнения, возбудило надежды Порты. Она, очевидно, медлила с заключением мира. Николай Николаевич ездил из Сан-Стефано к султану и якшался с ним, но приязнь не подвигала дело. Газеты преувеличивали наши требования, восторгались решимостью Англии и толковали о приготовлениях Австрии. Большинство распускаемых слухов назначалось для биржи, но все же было ясно, что переговоры тянулись, а невозможно было нам явиться на конгресс без совершившегося факта, без примирения с Портой, это значило бы отдать себя всецело в руки Европы.

К 18 февраля ст. ст. Сан-Стефанский договор был, наконец, подписан. Рассказывали уморительные сцены. Подгоняемые к пресловутому числу, оторопелые турки не знали, какому святому молиться. В нашей дипломатической канцелярии до того заработались, что сама Игнатьева по ночам подкрепляла тружеников. В знаменитый день собрали войска для обычного парада. Отслужили молебен, войска стояли под ружьем, а вожделенный гонец не являлся из Константинополя. Только в 8 часов вечера получили известие о заключении мира, и Великий Князь в темноте выехал объявить радостное известие утомленному войску. Нашли время на шалости, думали, не озираясь, работали до одурения, стегали друзей и недругов — все для того, чтобы царь, освободивший 18 февраля миллионы подданных, в тот же день стал бы освободителем восточных христиан.

Перед окончанием войны наши отношения к Румынии так натянулись, что в мирном трактате о ней вовсе не упоминалось. Ей предоставляли лично сговориться с Портой, вытребовавши, однако ж, у последней возвращение нам лоскута Бессарабии, уступленного по Парижскому трактату. В юридико-политическом смысле мы были не правы. Бессарабия отошла к нам от Турции, а не от княжеств, следовательно, от Турции же подобало получить уступленное, относя вопрос к первоначальному нашему завоеванию. Эпизод 1856 года уже давал княжествам права на уступленную нами землю, но и при этом соображении румыны не могли основывать свои права на Парижском трактате. По последнему, Придунайская область наша отошла к Молдавии, а не к Румынии, созданной вопреки трактату, хотя и с согласия Европы.

В половине марта мир, или, точнее, прелиминарии мира ратификованы с обеих сторон. Конгресс мог уже собраться, была база, с которой могли уже пуститься в прения. Но здесь начались дипломатические затруднения. Англичане требовали, чтобы мы выложили на стол весь сан-стефанский договор для обсуждения и чтобы те только пункты считались окончательно решенными, по которым соединятся все голоса. Уверенные в разногласии, они чаяли выжать из конгресса средство для поддержки своего значения на востоке, значительно уменьшенного нашими победами. С их точки зрения, это было ловко и соответствовало их интересам, но эти интересы так разнообразны, что британский лев может рычать по поводу хорошего урожая в России, ясной или мрачной погоды, мерзлой или гнилой зимы. Как подумаешь, на что государственные люди в течение четырех месяцев тратили свои способности! Не только каждому журнальному скрибу,[103] а всякому типографщику было ясно, чего добивалась Европа. Она молчала, пока надеялась, что турки справятся с нами в одиночку; вышло не так, и ревнители равновесия вмешивались тем с большей решимостью, что мы

были уже ослаблены и полуразорены, а они во всей свежести сил и с нетронутыми денежными средствами. Против таких дурно скрываемых хитростей следовало отвечать «помешайте, если можете», но не речью в Зимнем дворце, а занятием проливов можно было затруднить вмешательство. Время, как видели, было упущено, и начала Европа выдергивать нити из Сан-Стефанского договора. Мы стояли за право победителя и то не откровенно, не говоря, что достигли цели по морю нашей крови и не отступим без борьбы. Нет, мы сообщили трактат европейским кабинетам и доказывали, что это равносильно представлению его на конгресс. Утерявши благоприятный момент, мы были правы в доводах. Легче было тягаться с европейскими правительствами в разнотычку, как говорил покойный педагог мой Груздев, нежели толковать за общим столом, где скоро составилась бы против нас коалиция.

Общее политическое состояние имело влияние и на порученное мне дело. В марте я ездил в Фиуме заключить новый контракт на 150 мин (торпед). Прежние, несмотря на заключение мира, или лучше вследствие того, что мы сами назвали его прелиминарным, не дозволяли вывезти. Запрещение вывоза во время войны было правильно, но едва ли могло давать повод к продолжению запрета сомнение в утверждении статей мира Европой. Как бы ни смотрело остро венгерское правительство на ратификованный воевавшими сторонами договор, решившись соблюдать нейтралитет даже на случай возможности возобновления войны, оно должно было блюсти его для всех одинаково. В сущности оказалось иное. Уже вступивши в Мраморное море, т. е. сделавши первый шаг к войне с нами, англичане забрали из Фиуме 200 мин (торпед). В нашем вопросе неприязнь обнаруживалась преимущественно из Пешта, не менее того вышло странное противоречие. Защищая требования нужного кредита, общий министр иностранных дел, Андраши, в числе выказанных аргументов доказывал, что мы в мире, а часть правительства, венгерская, не признавала этого положения. Мы пытались получить мины через Германию, и меня уведомили, что с этой целью посылается офицер германского флота, но потом тотчас отменили по неизвестной мне причине.

Во время пребывания моего в Фиуме туда прибыл прямо из Сан-Стефано лейтенант Ронческий. Вследствие вторжения англичан в Мраморное море приостановили амбаркацию[104] наших войск, и в главную квартиру прибыл Попов для заграждения Босфора минами.[105] Меня очень занимало знать, как он ухитрился загородить пролив при большой глубине и сильном течении.

Несмотря на усложнение политических обстоятельств, я сделал новый заказ мин (торпед), посмотрел австрийские порты. Предполагая, что вследствие недавнего опыта у нас хотят иметь как можно скорее флот на Черном море, я писал министру об удобстве употребить для этой цели Триестинские верфи. Повторяя неоднократно приведенные мной аргументы, что в настоящее время морская война зависит от средств, которые имеются при объявлении разрыва, что при кратковременности войн нет возможности создавать нужные силы в разгаре столкновения, что эти соображения заставляют изменить воззрение на поощрение отечественной промышленности и ведут к разумному пользованию иностранной, доставляющей большие гарантии совершенства построек, — я указывал на дешевизну сооружений в Триесте, на выгоду, происходящую от размена денег, и, наконец, на то, что триестские рабочие без исключения славяне, отнесутся сочувственно к нашим заказам. Но мы влюбились уже в Германию, как прежде верили только Англии. Затруднения в выпуске заказанных в Фиуме мин послужили к опровержению моих доводов. Действительно, австрийское правительство, как всякое другое, могло задержать наши суда в случае разрыва, но Австрия была для нас досягаема и

могла поплатиться за свои действия. Притом фиумские затруднения происходили от причин, которые не могли иметь места в Триесте. Там царили венгры, наши политические враги во что бы то ни стало, а в Триесте господствовало влияние австрийского правительства, всегда осторожного, даже нерешительного. У нас никак не хотят понять австро-венгерского дуализма.

Разорвавши на лохмотья Турцию, Игнатьев пустился в Вену склонить Андраши к соглашению, но не успел в этом, как говорил мне секретарь Татищев, прибывший в Триест по случаю кончины нашего консула Гирша. И действительно, надежды Игнатьева не могли уже сбыться. Андраши с свойственной австрийскому министру робостью и прежде говорил о необходимости для Австрии господства над западной частью Балканского полуострова и непрерывности турецкого владычества по берегу Эгейского моря. Убеждения свои Андраши представлял осторожно, оглядываясь на совершавшиеся факты и с трудом распознавая отношения к вопросу других держав, в особенности Англии. Но в исходе марта, именно со времени прибытия в Вену, подул ветер, дозволивший австрийскому премьеру взять твердый курс. Из английского кабинета вслед за Карнарвоном вышел Дерби. Удаление наиболее противившегося решительным мерам министра произошло по поводу призыва резервов, сделанного указом королевы без участия парламента, хотя заседания его еще продолжались. Андраши заговорил смелее.

Мы вступили в период восточного вопроса, выказавший всю силу министров в самом конституционном государстве. Биконсфильд без особенного затруднения поворотил неопределенную дотоле политику Англии на самый решительный путь. Освободившись от Карнарвона и Дерби, он назначил министром иностранных дел Солсбери, так сочувствовавшего Игнатьеву на константинопольской конференции. По-моему, Солсбери до сих пор был политическим флюгером. За дружбой с Игнатьевым последовали речи в Англии, в которых проглядывало разногласие с Биконсфильдом и собственная его, Солсбери, шаткость. Заметив, что неопределенность политическогно характера вредит ему в глазах соотечественников, Солсбери с радостью ухватился за случай искупить прежние свои колебания, и в этом отношении Биконсфильд выказал большую ловкость. Если противник согласился с его воззрением, то несогласия Дерби и Карнарвона уже теряли силу. Солсбери разразился громовым циркуляром, в котором порицал весь сан-стефанский договор. О прежних трех условиях невмешательства Англии не было уже речи. Весь трактат подлежал переделке, и Англия не шла на конгресс без гарантии, что предложение ее примется безусловно. Как всякий ренегат, Солсбери стал более воинственным, нежели сам Биконсфильд. В короткий срок, остававшийся до пасхальной вакации парламента, оппозиция не имела времени приготовиться к действию, и кабинет, уже единомысленный, бросился в сечу. Европа возликовала и увидела в Англии смелого поборника общих интересов. Как оправдала Англия это мнение, скажется впоследствии. В настоящий момент борзое положение, ею принятое, устранило все колебания. Нам оставалось уступить и решиться на новую лютую войну.

Говорят, сам Бог устает помогать недостойным. Бисмарк, видя с одной стороны наше упорство, соединенное с нерешимостью, с другой — задор Англии, окончательно разбившей стекла призывом индийских войск в Европу, тотчас по перерыве заседаний парламента, опять-таки без его ведома и вопреки обещаниям министерства не натягивать струн вражды, отказался от посредничества, хотя только что придумал средство согласить назойливость Англии с нашим упорством. На предстоявшем конгрессе не разбирали бы Сан-Стефанский договор, а трактовали бы об изменениях, которые следовало сделать в Парижском трактате.

Нашей нерешимостью взять проливы мы довели вопрос до крайне опасного положения. Жаждавший побед английский флот и наша победоносная армия стояли лицом к лицу. Горячность, даже нетрезвость какого-нибудь офицера могла зажечь подлунный мир. Додумались, однако ж, что было бы безмерно глупо схватиться за волосы, не попытавшись растолковаться. Начали настаивать, чтобы мы и англичане разошлись на приличное для договоров расстояние. Стали судить и рядить. Ни Германия, ни Порта не ручались, что обеим сторонам дозволено будет возвратиться на прежние позиции в случае неудачи переговоров, а стороны не соглашались, как понимать отступные расстояния. Миля для пара и для пары ног та же миля, но пройти ее неодинаково легко. Бисмарк в отчаянии опустил руки и уехал в Фридрихсруэ.

В России, убежденной, что Англия грозит только, стали грозить в отместку. Подняли вопрос о крейсерах. В Штаты послали капитана Семечкина скупать пригородные пароходы на казенный счет, а дома, с шумом и молитвами, открыли подписку на сооружение добровольного флота для той же цели — вреда английской торговле. Иметь крейсеры, готовые рассыпаться по океану в случае войны с Англией, бесспорно полезно, но создавать их в момент разрыва просто детская шутка. Американцы не выпустили бы наших судов при объявлении войны, только что заставя англичан заплатить за проторы и убытки, нанесенные «Алабамою», вышедшей во время междуусобной войны из Англии. А добровольных крейсеров мы не успели бы снарядить вне России, что бы ни твердили Семечкины, Барановы и другие водолазы, как прозвали аферистов, ловивших в мутной воде рыбу. Будто у англичан нет во всех портах агентов и будто телеграфные проволоки не в английских преимущественно руках. Мысль о крейсерах только более озлобила Европу. Журналы намеренно не видели разницы между крейсерством и каптерством, смешивали неоспоримое право военного флага с lettres de marque[106] и трубили, что мы нарушаем статью Парижского трактата, утвержденную нашей же подписью. Это было чистое лицемерие. Купленные суда комплектовались бы нашими экипажами и состояли бы в полном распоряжении правительства, имеющего неотъемлемое право употреблять государственные силы по желанию. Вопрос наделал много шуму только и повел лишь к частным выгодам некоторых личностей.

Николая Николаевича заменили Тотлебеном, чтобы устранить азарт, могший повести к разрыву. Обоих августейших главнокомандующих сотворили фельдмаршалами и стали ждать обстоятельств. А обстоятельства были плохи: в Родопских горах вспыхнул бунт мусульман, в тылу нашем сердилась Румыния, а турки не сдавали ни Шумлы, ни Варны, ни Батума, передача которых была оговорена в перемирии.

К внешним затруднениям присоединилось внутреннее, вероятно имевшее влияние на нашу политическую уступчивость. Вера Засулич, преданная суду присяжных, была оправдана. Несмотря на неопровержимость преступления и на сознание самой виновной, публика одобрила оправдательный приговор присяжных.

Из судебного разбирательства общество убедилось, что высшие администраторы нисколько не изменили взгляда, что лучший, повидимому, из них держался тех же заплечных приемов и что его не ускоромляла даже постигшая уже виновного кара. Заушение и телесное наказание приговоренного уже к каторге Боголюбова выказывали, до чего может довести чиновничья ревность, уверенная в безнаказанности. Но более всего возбудила негодование публики автобиография Засулич, высказанная ею на суде. С 18 лет ее преследовали административными мерами, несмотря на оправдания судебные. Ясно, осязательно все убедились, что новые судебные уставы просто фарс, что полиция может довести каждого до отчаяния. Вот причина протеста общества,

выразившегося уродливо, чудовищно, в оправдании несомненного преступления. К этому прибавилась слабость прокурорского обвинения, вызванная не состраданием к преступнице, а злобой к Трепову всех чинов юстиции за постоянное вмешательство в их сферу действия.

Я сказал, что оправдание Засулич, вероятно, повело к сговорчивости нашей в политическом вопросе, грозившем России новой войной. Нужно было осмотреться и разобраться дома. Посол наш в Лондоне, Шувалов, счел момент удобным для восстановления утраченного влияния. Что бы его ни двигало, Шувалов оказал России огромную услугу и выказал большую решимость. Война была для нас гибельна, даже просто невозможна. Шувалов решился убедить государя, что англичане не ограничиться угрозами, что они положили вступить с нами в борьбу в случае несогласия с их требованиями. Нелегко было открыть глаза державному, если не сочувствовавшему стремлениям воинственной партии, то, по крайней мере, затруднявшемуся опечалить недавних товарищей в восьмимесячных трудах и лишениях.

В начале мая Шувалов отправился в Петербург. Из этой поездки родился, наконец, конгресс, поглотивший на целый месяц все мое внимание. Мы жили в Париже, притянутые выставкой. Я глотал отчеты о заседаниях, всевозможные сплетни корреспондентов и приезжих, прислушивался к отголоскам в посольстве, вообще метался во все стороны, чтобы добыть «языка», и по обыкновению все заносил в дневник.

Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс составляют последний акт той же драмы. Шуваловский финал без игнатьевского выхода на сцену будет непонятен, поэтому нужно начать с подъема занавеса.

Мне кажется, многие затруднения с Европой устранились бы, если бы Игнатьев, порешив окончательн с вопросами, касавшимися непосредственно воюющих сторон (например, контрибуцией и земельными уступками на долю потребителя), придал всему остальному негативный характер. Выясню мысль мою образчиком текста одного из параграфов договора. «Е. В. Султан отказывается за себя и за своих преемников от всякого господства над Румынией, Сербией и Монтенегро. Он отказывается от непосредственной власти над частью своих европейских владений, населенной болгарским племенем, также над Боснией, Герцеговиной и территориями, занятыми союзниками Российского императора. Границы отходящих земель и отношения их между собой, к высокой Порте и к соседним государствам определяется участниками парижского трактата» и т. д.

В договоре такого рода Европа увидела бы доказательство нашего к ней внимания и уважения к международным условиям, а главное, мы уступили бы по собственному побуждению то, на что впоследствии согласились по принуждению. Мы провели почти полгода в спорах за значение слов, утверждали, что не отказываем Европе в законном ее участии для завершения расчетов наших с Турцией, а между тем толковали каждое европейское предложение, как недолжное вмешательство между победителем и побежденным. Самый договор имел вид безжалостного и вместе мелочного удовлетворения личного самолюбия Игнатьева, выпровоженного из Константинополя при объявлении войны и возвращавшегося безусловным решителем судеб Турции. Вместо того чтобы ублажить по возможности Европу, ждавшую только повода к вмешательству, с истинно казачьим нахальством мы злили ее на каждой строке договора. Порядок в отходящих землях учреждался русскими комиссарами, его охраняла русская армия, местные правительства создавались под влиянием русских властей, даже статут автономии турецко-греческих провинций должен был пройти через цензуру русского правительства только. Если бы всего этого не было достаточно для возбуждения Европы, нарезанные гра-

ницы Болгарии, представленные в тысячах экземплярах различными иллюстрированными изданиями, указывали графически, следовательно, удобопонятно даже для легкомысленных и ленивых, как сладко было нам, выражаясь языком противников наших турок, «плевать Европе в бороду». Мы, очевидно, тешились, оставляя турецкое владычество на Балканском полуострове обезображенным, исковерканным бессознательно капризной, детской рукой. Какие-то этапные пути через освобожденную Болгарию вели от фокуса атаманской власти в Боснию и Македонию, один из них пролегал между Сербией и Черногорией, сближенными на пушечный выстрел. На востоке, южнее Балкан, проводилась уродливая граница, которая служила бы предметом вечных споров и недоразумений. Игнатьев уверял, будто сотворил весь этот хаос, чтобы было что уступить. Рациональнее было бы захватить с этой целью проливы и с таким материалом для уступок явиться на европейский ареопаг, а не с фантастическими царствами и воздушными замками.

Европа выждала обнародования документа нашей прихотливой политики, и лишь только Англия махнула гривой, негласно, с возможными дипломатическими осторожностями, стала целиком на ее сторону.

Вопрос выяснился мгновенно. Англия решительно шла на войну, если Сан-Стефанский договор, in tutto, не будет выложен на просмотр держав, подписавших Парижский трактат. Вооружение флота, призыв резервов и волонтеров, наконец перевоз в Мальту местных индийских войск устраняли всякое сомнение, что англичане не задумаются разорвать наш договор с Турцией силой. Шувалов, будучи на месте, ясно видел решимость Англии и поехал в Петербург развернуть перед монаршими очами настоящее положение дел. В таких же точно обстоятельствах, в 1854 году, немец Брунов поступал совершенно иначе, уверяя Николая Павловича до последней минуты, что Англия из уважения к нему не решится на разрыв.

Как бы ни были таинственны переговоры Шувалова с английскими министрами, замечательно, что лишь только он отправился в Петербург, везде заговорили о несомненности мира, и биржа упорно держалась этой уверенности до самого дня заключения Берлинского договора. Согласие на приезд Шувалова для объяснений и не могло иметь иного значения, как решимость нашу на уступки; но в такой степени уступки были необходимы для согласия Англии вложить меч в ножны и явиться на конгрессе? Это могло быть решено только устными сношениями с Шуваловым.

На пути Шувалов завернул к Бисмарку, в Фридрихсруэ, чтобы явиться с возможными данными. Вероятно, он просил знаменитого канцлера подкрепить его, иначе не добился бы такого быстрого результата от шатавшегося по разным направлениям владыки. Шувалов возвратился в Лондон через четыре-пять дней и заключил в исходе мая конвенцию, тотчас обнародованную журналом «Globe», по продажности переписчика Марвина. Каким образом поручили в Англии переписку столь важного документа писцу, не служившему в министерстве и нанятому для усиления канцелярских средств? Ясно, желали обнародования. Журналы, разумеется, винили Шувлова в умышленной нескромности. Не вернее ли было заключить, что английские министры желали этой нескромности и пытались подметить влияние конвенции на Австрию, чтобы вовремя еще рассчитать свои выходы на шахматной доске, ждавшей их в Берлине? У нас в то самое время, как Шувалов скакал в Лондон с оливковой ветвью, явился в «Правительственном вестнике» манифест наследника о сборе на добровольный флот. Столь официальный и вместе торжественный толчок делу был дан именно в то время, как мы условились уже с Англией о взаимных уступках. Не менее ясно хотели обмануть клокотавшую русскую публику, будто поднимаются на новую войну; в сущности же мир был решен бесповоротно.

Заручившись нашими положительными обещаниями, Англия пошла на конгресс и соглашалась, со своей стороны, не препятствовать воссоединению с Россией части Бессарабии, потерянной по Парижскому трактату, и не мешать нам приобретать Батум. Во всем остальном мы были сговорчивы.

До 1856 года мы владели всеми устьями Дуная до Сулинского включительно. Владение это признавалось нами выгодным, потому что судоходное устье реки было в наших руках. Теперь, в убеждении, что нам не дозволят завладеть по-прежнему рекой, мы требовали только негодного Килийского устья.

Государь сказал Шувалову, отпуская его на конгресс: «Спаси Бессарабию и приобретения Монтенегро, остальное — как Бог велит».

Значит, Шувалов должен был представлять Россию на Конгрессе. Так и было решено при помощи Горчакова, так и должно было случиться по той первенствующей роли, которую играл Шувалов в вопросе. Утверждали, однако ж, что государь в то же время толковал с Игнатьевым о конгрессе, как с лицом, назначенным принимать в нем участие.

Слухи об Игнатьеве могли быть несправедливы. Впрочем, при характере государя, оба сказания, и о Шувалове, и об Игнатьеве, могли быть верны, одно не исключает другого. Шуваловское назначение не подлежит сомнению. Подробности я слышал впоследствии от жены Шувалова. Государь, отпуская его в Англию с согласием на уступки, объявил ему, что посылает его на конгресс единственным представителем. Приехавши в Англию, Шувалов начал говорить и сговариваться с англичанами как будущий русский посол на конгрессе; он думал даже о помощниках — экспертах и не решался, кого пригласить — Кумани или Нелидова, но издавна изощрившись в нашей мудрости, несмотря на положительные слова государя, запросил телеграфом из Лондона, настаивает ли государь намерении поручить ему дело на конгрессе. Ответ был утвердительный, и Шувалов невольно компрометировал себя. Расслабленный канцлер наш вдруг ожил и послал Гирса в Царское Село просить у государя дозволение ехать ему на конгресс. Просьба так поразила царя, что в первый момент он вскрикнул: «c'est impossible»,[107] и велел Гирсу передать Горчакову, что приедет нарочно в Петербург переговорить с ним. На другой день государь, действительно, приехал к Горчакову, говорил с ним час и согласился. От Горчакова он отправился к фельдмаршалу Барятинскому, сознался, что выказал слабость, отпуская Горчакова на конгресс, и вместе объявил Барятинскому, что назначение его главнокомандующим армией на случай действий в Европе отменено. Фельдмаршал тотчас же передал обе новости жене своего племянника, дочери графини Шуваловой (от первого мужа) и с свойственной ему пузырчатостью, не уступающей тому же качеству канцлера, прибавил: «Лучше бы он выказал характер по отношению к Горчакову и потешил бы свою слабость относительно меня». Таким образом, Петр Андреевич был уязвлен в своем самолюбии. Зато же он не давал никому из наших говорить на конгрессе, и если не de jure, то de facto был нашим представителем. Бисмарк при встрече с Шуваловым тотчас сказал ему: «Беру назад все, что обещал Вам». Драгун-канцлер, как увидим, был зол на Горчакова, и ни за что не хотел сделать для него того, что сулил в Фридрихсруэ Шувалову.

Конгресс съехался 1/ 13 июня среди смущения, произведенного в исходе мая покушением на жизнь германского императора. За две недели перед тем в него стрелял Гедель, а теперь Нобилинг — и в этот раз чуть не уходили маститого старца. Раненный и потрясенный, он должен был сдать управление сыну. Бисмарк, всегда уверявший, что никакой конгресс не должен длиться более месяца, ударил по всем по трем, чтобы сбить внешний вопрос и приняться за внутренний. Да и нам было не до болгар, когда кругом сверкали кинжалы. Государственные умы разметались, если не помрачились совершенно, и неуязвимой в

этом отношении Англии оставалась верная игра за зеленым столом; ее хладнокровию нечем было возмущаться.

В главе представителей всех государств были министры иностранных дел. Из Англии же прибыл сам Биконсфильд, председательство, само собой, предоставили Бисмарку. Опасаясь немедленных несогласий, Бисмарк с самого начала ввел прекрасную меру. Прежде нежели какой-либо вопрос предлагался общему собранию, преимущественно заинтересованные в нем представители обсуждали его в негласных частных конвенциях, делали взаимные уступки, даже соглашались в редакции протокола, и, огражденные таким образом от раздражающих споров, суждения свои переносили за общий стол для окончательного утверждения. Дело шло скоро, без неожиданностей и постоянно двигалось к цели.

Цель эта со стороны почти всех участвовавших — было прекращение борьбы во что бы то ни стало. Бисмарку хотелось мира не менее, нежели воевавшим. Повторявшиеся покушения на жизнь императора выказывали опасное брожение в Германии, и к этим затруднениям присоединился дефицит в бюджете. Для устранения столь пагубных юной Германии обстоятельств прозорливому канцлеру нужна была уверенность в спокойствии, а если бы война продолжалась, рано или поздно Германия приняла бы в ней участие. Франция заботилась только об успехе выставки и жаждала внешнего спокойствия для внутренних целей. Италии с переменой властителей предстояло окрепнуть, окончательно устроить свои финансы и отнять у радикалов всякий повод к действию, а для революционной деятельности запутанность внешней политики особенно удобна.

Оставались Англия и Австрия. Англия во всеоружии, с неиссякаемыми средствами и вдобавок, как увидим ниже, заручавшаяся мерой, ограждавшей исполнение ее замыслов во всяком случае. Австрия, для которой вопрос представлялся жизненным, надеялась на упорство и помощь Англии, хотя между ними, может быть, не было письменного соглашение. К чему повели бы тайные взаимные обязательства, когда сила обстоятельств требовала от обеих держав согласного действия? Нужно было уничтожить последствия Сан-Стефанского договора — Австрии в Европе, Англии — в Азии. Естественно, Биконсфильд и Андраши должны были помогать друг другу.

В берлинской политической драме все шло плавно, как на театре, по заранее утвержденной программе. Каждому были розданы роли: Германии обязанность d'un honnête courtier,[108] по выражению Бисмарка, Франции и Италии общечеловеческие интересы — назначение, льстившее их игривому воображению, не могшее помешать общему соглашению. Англия, Австрия и Россия допускались к спорам, но спорам этим заранее были поставлены граничащие знаки и указано непременно довести к соглашению. Турции велено подвергаться процессу ощипывания со всем смирением, так как у нее все-таки вырывали менее перьев, нежели по сан-стефанскому процессу. Греция и княжества допускались как просители, их обещали выслушать, объявив заблаговременно, что прослушают только, а не послушают.

Ненавидя неопределенности и полумеры, Бисмарк, обещавший, что конгресс не продлится более месяца, начал самым трудным вопросом — устройством Болгарии. Решение его обеспечивало все остальные. Напротив, сколько ни соглашались бы га прочие вопросы, болгарский мог расстроить согласие в последнюю минуту. Приступили вдруг к общим прениям, ибо проект Бисмарка о частных предварительных конференциях не был еще им выработан.

Обсуждение вопроса открыл Солсбери обвинительной против нас речью, предпославший ей предложение допустить в заседание представителей Греции. Конгресс отложил это предложение до будущих заседаний, но для чего делал его Солсбери? Оказалось впослед-

ствии, англичане вовсе не хотели брать сторону Греции, к тому же, в самом начале конгресса, они выказывались радеющими о ее выгодах. Торопливость Солсбери имела вид недостойной выходки. В ожидании благ греческие представители вотировали бы согласно с английским.

Английский министр иностранных дел утверждал, что сан-стефанские условия — «может быть, без намерения со стороны составлявших их» — клонились к тому, чтобы совершенно подчинить Порту России. Дело конгресса, по словам Солсбери, восстановить независимость Турции не в прежнем виде, ибо нельзя было всецело уничтожить результаты войны, но достаточно для действительной защиты вверяемых Турции общеевропейских интересов. Эти интересы требовали исключения из сан-стефанских пределов Болгарии греческого населения и недопущения новой державы к берегам Средиземного моря, что было бы в явный ущерб настоящим прибрежникам этого моря. Интересы присредиземных государств с наглостью и цинизмом беспрестанно представлялись Англией как противящиеся возникновению новой приморской державы на берегах Эгейского моря. Странно, что ни одна из присредиземных держав не сказала ни слова против таких аргументов. Средиземное море, очевидно, в руках англичан, и привлечение к нему новых сил, если бы оно состоялось, только подвело бы к некоторому уменьшению исключительно английского господства. Указывая и доказывая с уверенностью встретить одобрение большинства присутствующих и слабое сопротивление со стороны самой России, Солсбери кончил двумя предложениями: 1) признать подданственную Болгарию с Балканами как южной границей и 2) образовать южнее Балкан провинцию с самобытной администрацией, но совершенно зависевшую от Порты в военном и политическом отношениях.

Шувалов, вынесший всю борьбу о Болгарии без помощи товарищей, во-первых, поднял выражение «уничтожить результаты войны», сказавши в свою очередь, что конгресс собрался не с этой целью, потом предложил среднее между Болгарией Солсбери и Болгарией Сан-Стефано, указывая на разграничение, принятое Константинопольской конференцией.

Важный вопрос о Болгарии, очевидно, не мог быть решен без подготовительедных соглашений, и к нему приложили средство Бисмарка. Английские и русские уполномоченные должны были попытаться сговориться на менее раздражающей частной конференции, но Андраши потребовал участия в их совещаниях, так как границы нового податного княжества, в особенности западные, прямо интересовали Австрию. Ниже окажется, как ловко воспользуется Андраши допущенным участием.

После нескольких сходок и сношений с Петербургом Шувалов принял продольное деление Болгарии Балканами и объявил, что русские послы уполномочены: 1) признать право султана защищать сухопутные и морские границы южной Болгарии, как именованной, по настоянию англичан, восточной Румелией; 2) допустить в этой провинции назначение султаном офицеров милиции, с должным вниманием к исповеданию населений различных местностей. Но, чтобы первое условие не толковалось произвольно, Шувалов полагал определить европейской комиссией пункты, которые может занимать Порта, и число войск. На это Биконсфильд возразил, что указание пунктов, нужных для защиты государства, и необходимых для того сил прямо подрывало самодержавие султана. Он выразил уверенность, что конгресс отклонит подобное изменение в предложении Солсбери. Мы требовали еще, чтобы весь Софийский санджак отошел к податной Болгарии, а англичане выговаривали за то, чтобы Варна отошла к восточной Румелии или чтобы урезали западные границы последней. Или было здесь излишне. Прикроение Варны к провинции южнее Балкан не выносило поверхностной даже

критики, и мы избрали изменение границ восточной Румелии.

Соглашение предложений англичан с нашими намерениями поручили французским уполномоченным, и при их старании болгарский вопрос принял окончательную форму, занесенную в трактат.

На Шувалова впоследствии обрушились обвинения по болгарскому вопросу. Хотелось бы и мне в нем найти пятно, но еще более хочется быть беспристрастным. Действительно, Шувалов, одержимый бесом уязвленного самолюбия, по болезни Горчакова, охотно уступившему ему первую роль, когда дело шло о нашем унижении, один состязался с англичанами и Андраши. Нам нужно было непременно выйти из конгресса с миром. Предел уступок, и весьма широкий, был, очевидно, очерчен в Петербурге, хотя, по всей вероятности, с советов Шувалова. Поборнику русских интересов оставалось только выйти из затруднения с наименьшим бесчестием. По-моему, Шувалов достиг этого. Son premier coup d'essai était presqu un coup de maître,[109] если взять в расчет новизну дела для человека, приготовленного по пажескому способу, и вескость таких противников, как Биконсфильд и Андраши. Что мог сделать он с сопутниками, которые «явились на конгресс не для уступок» и стояли с свежими силами в готовности схватиться с изнуренной Россией?

В подготовительных переговорах по поводу границ Болгарии участвовал, как выше сказано, Андраши. Главной его целью было занятие Боснии и Герцеговины. Мы предлагали это Австрии прежде через Сумарокова, но чего нельзя было принять венгерцу от России, было приятно получить от соединенной Европы. Насильственный, так сказать, дар общеевропейского ареопага избавлял от благодарности кому-либо и мирил Андраши с внутренними противниками. В переговорах о Болгарии он видел удобный случай заставить Европу избрать Австрию примирителем восставших соседних провинций и, втершись между нами и англичанами, ловко воспользовался обеими сторонами. Сначала Андраши не знал, до какой степени Англия станет упорствовать в болгарском вопросе. Если бы она не сделала из него casus belli,[110] Андраши не решился бы один ратоборствовать против России, но через вкрадчивость своих товарищей, в особенности Гемерли, он мог рассчитывать почти верно, что англичане оставят конгресс, если не порешат с Болгарией согласно их видам. Тогда Андраши стал смелее и пошел вместе с Англией. Имея в виду присоединение Боснии и Герцеговины, чтобы устранить опасность нового создаваемого порядка для Австрии, Андраши ясно понимал, однако ж, что вопрос этот не мог решиться в его пользу без согласия России. Когда дело зашло об отделении Софии от нового болгарского княжества, Андраши стал на нашу сторону и требовал только небольшой части Софийского санджака для Турции ввиду обеспечения сообщений по Салоникской железной дороге. Угодивши таким образом Англии и России, Андраши в общем собрании так горько взвыл о гибельных для Австрии последствиях боснийских беспорядков, столь жалобно представил расходы Австрии на укрывавшихся под ее крыло боснийских эмигрантов, что, когда Солсбери, желая иметь в расхищении Турции дольщика и провидя всю важность австрийского захвата для расстройства замыслов славян в России, предложил отдать на занятие Австрии Боснию и Герцеговину, все единогласно сказали Андраши: «Берите и умиротворяйте». Таким образом, австрийский министр заставил навязать себе то, чего хотел, умасливши Россию, могущую расстроить его планы, а главное, зажавши уста домашним противникам. Венгрия могла, по настоянию всей Европы, принять кусок Турции даже при усилении славянского элемента в своих пределах.

Войдя клином между Сербией и Монтенегро, Андраши потребовал расширения промежутка между княжествами, установленного Сан-Стефанским договором, выговорил пра-

во занять гарнизонами санджак Ново-базарский и, опираясь на концессии, данные в разное время Портой ее подданному Гиршу, заставил конгресс согласиться, что железная дорога в Солоники и все будущие железные дороги по Болгарии отойдут под австрийское наблюдение. Таким образом, кроме удара панславизму, Австрия добилась громадной экономической выгоды, ставши вне всякой конкуренции для проводки железных дорог из Салоник и Константинополя в Вену и Пешт. Восточная торговля перешла к ней в ущерб южным портам.

Главнейший русский вопрос, по догмату «сыновнего почтения», состоял в воссоединении части Бессарабии. В вопросе этом представители наши не опасались затруднений, во-первых, потому, что англичане в силу конвенции обещались не противиться, во-вторых, в этом вопросе, единственно в этом, Бисмарк твердо стоял за нас в угоду своему патрону, проникнутому благодушием к племяннику, оказывавшемуся таким почтительным сыном. Биконсфильд почел, однако ж, нужным заговорить против воссоединения, бесцельно, без всякой надобности, разрушающего окончательно Парижский трактат. Он объявил, что не может советовать королеве употребить силу для устранения наших притязаний, потому что все другие представители отказались от участия в решении, но желал бы знать, какие гарантии даст Россия на счет свободы плавания по Дунаю, в виду которой ее отодвинули от реки в 1856 году.

Горчаков, знавший, что по бессарабскому вопросу англичане окажут только видимое сопротивление, стал решительным и объявил прямо, что правительство наше не уступит никаким общим соображениям. Шувалов, видя, что внезапный задор Горчакова коробит англичан, объявил, что возвращение части Бессарабии для России вопрос чести, а не политический, в видах «политический» она бы требовала всех островов и Сулинского устья. Трудно понять дробление русской чести. Если уступка Дунайского побережья и устьев оскорбляла честь России, до какой степени честь ее восстановлялась переуступкой побережья без устьев? Аргумент Шувалова против упорства Румынии был несравненно действительнее. Румынии давали в обмен Добруджу, и если румынские представители настаивали на неприкосновенности Румынии, могла ли выгода эта считаться долговечной? Могущественный сосед считал своим правом возвращение отнятого у него клочка и, конечно, искал бы удобного случая.

Бисмарк совершенно разделял мнение Шувалова, даже объявил, что Парижский трактат был бы долговечнее, если бы не оскорбили русской нации отчуждением землицы, ничего не прибавлявшей однако же к ее силе. Что касается до свободы плавания по Дунаю, Бисмарк не видел связи между вопросом о побережье, в том виде, как его ставили русские уполномоченные, и этой свободой. Угождая лично государю, министр Вильгельма отнес весьма ловко на всякий случай угождение на счет нации, но вместе не выдержался заметить, что мы хлопотали о ненужной нам землице.

Выслушали румын, весьма некстати обременившим конгресс своими пенями. Могли ли они ожидать симпатии Европы, принявши деятельное участие в нашей войне с Турцией? Франция, принявшая на себя по расписанию роль согласителя, выступила ходатаем за восточных французов. Уодингтон, объявивши, что советовал румынам согласиться на переуступку, просил Россию великодушно прибавить к Добрудже полосу от Силистрии до Монгалии, включая оба пункта. Австрия и Италия поддерживали Францию, англичане молчали, и Румыния получила полосу от окрестностей Силистрии до Мангалии включительно.

Греция, колебавшаяся между завистью к славянам и желанием расширить свои пределы, очутилась после войны между двух стульев. Несомненно, она последовала советам Англии не вмешиваться в нашу распрю с турками, даже получила от нее обещания. Англий-

кое влияние заставило отозвать греческие войска, уже переступившие границу для водворения порядка в Эпире. Занятый край, без сомнения, остался бы за Грецией в момент общего умиротворения. Греки принесли на Берлинский конгресс свои надежды и ожидания. Франция, задавшаяся успокоить всех труждающихся, и в отношении Греции выказала своме благодушие. Уодингтон предложил дружески посоветовать Порте (что за маниловщина?) исправить границу Греции и уступить ей полосу от устья Пенья на Эгейском море до устья Каламоса на Адриатическом. Андраши и Корти поддерживали предложение Уодингтона.

Англия выступила здесь со специальным своим заступничеством. Биконсфильд, прежде всего, ударил по России, сказавши, что Англия всегда советовала Турции и Греции жить миролюбиво, чтобы вместе отражать притязания третьей расы, приведшие к настоящему положению дел. Сочувствуя Греции, «несомненно, имеющей будущность», Биконсфильд дал ей насмешливый совет выждать будущего и прибавил, что ее претензии основаны на ложной идее, будто конгресс собрался делить Турцию, когда, напротив, он заботится об укреплении ее. Не думают ли греки, что сама Англия начала набат о разделе, предложивши Австрии занять Боснию и Герцеговину? Босния и Герцеговина как поле постоянных смут были подвержены им еще более между двумя независимыми славянскими княжествами и составляли бы для Турции слабый пункт. Англичане советовали присоединить их к Австрии для укрепления Турции, для ее концентрирования. Аптекарский термин этот был впервые введен в дипломатический язык. Убежденный, однако ж, что неудовлетворение Греции будет постоянным яблоком раздора между ней и Турцией, Биконсфильд считал необходимым «воспользоваться случаем твердо выразить мнение Европы, что исправление северных границ Греции поведет к доброму согласию двух соседних государств». Предложение Уодингтона было принято всеми, но исполнение его зависит от доброй воли султана, и пламя, потушенное в восточной части европейской Турции, может ежеминутно вспыхнуть в западной. Софизмы и колебания между Портой и Грецией, отличавшие заступничество Биконсфильда, выказывали, как мало думали англичане об убаюканных ими греках, и когда обнаружилось, как много думали они о себе, греки прозвали Англию «непотребной».

Сербия и Черногория должны были принять, что им давали. Границы, сближавшие княжества по Сан-Стефанскому договору, потребовалось раздвинуть, и от Черногории отрезали довольно значительную полосу, фактически занятую победоносными дружинами. Ей дали Антивари, но чтобы порт не стал убежищем русских кораблей, запретили иметь военный флаг и предоставили Австрии охранять порядок на смежных водах.

Это страшилище появления русского флота на Средиземном море обуяло умы всех европейских представителей до того, что они в умилении восторгались, когда Англия с свойственной ей дерзостью повторяла опасения свои, что появление новой державы на Средиземном море нарушит равновесие. Может быть, со временем оно нарушило бы порядок, с которым сжились уже, т. е. исключительную монополию на море Англии, но никак не равновесие сил.

Остальные вопросы при желании скорее кончить дело не представляли трудностей. Проливы остались на прежнем положении. Касательно военной контрибуции Россия становилась в ряд кредиторов Порты по порядку времени, т. е. в хвосте.

Оставался малоазийский вопрос. Здесь Англия выказала во всем блеске свою непринужденность. Едва ли не в тот же день, в который Солсбери подписывал конвенцию с Шуваловым, Ляйерд заключал договор с Портой. Англия обязывалась, в случае если мы захотим оставить за собой Батум и Карс, гарантировать Порте остальные владения ее в Азии с услови-

ем, чтобы Порта ввела в них реформы по указаниям Англии, и за ответственность и предстоявшие труды Порта уступила Кипр, необходимый для будущих усилий покровительницы в Малой Азии. Так утешил греков (признающих Кипр греческим островом) Биконсфильд, так доказал он, что Англия не допускала дележа Турции, так своеобразно толковал он равновесие на Средиземном море. Этот coup de théâtre[111] держался втайне до последних дней конгресса и как бы в насмешку был объявлен тогда уже, когда пресловутые вожаки Европы думали, что сообща окончательно развязали восточный узел. Вероятно, и мы не знали об англо-турецкой конвенции, хотя наравне с другими ожидали от Англии особенных мер. Если бы подробности сделки были нам известны, вероятно, мы не вдались бы в обман и не допустили бы в конвенции обещания англичан не спорить за Батум. Как бы то ни было, Батум, Карс отошли к нам прежде обнародования сделки, но яду Англия тотчас же противопоставила противоядие — взяла на себя одна прежнее коллективное заступничество Европы и сказала нам словами Биконсфильда: «До сих пор, но не далее».

Присоединение Кипра произвело некоторое беспокойство во Франции и большую суматоху в Италии, ничего не выигравшей на конгрессе, но так была сильна ненависть к нам, что вообще в публике и прессе воровское дело Кипра заслужило общее одобрение. Даже державы, наиболее страдавшие от нового захвата, не сказали ни слова.

Так эффектно кончилась берлинская комедия. В моем разборе ее невольно пробивается шуточный тон. Горчаков не преминул прибавить к этому шуточному изделию свою буффонаду, сказавши, что «Россия принесла на конгресс лавры в надежде, что Европа превратит их в масличные ветви». Европа выделала для нас из лавров березовые лозы. Будущее скрыто, о нем можно приблизительно заключить только по тому, что изготовило для него настоящее. В этом смысле я и окину взглядом решения конгресса.

Болгарию разбили на две части. Важнейшую, наиболее просвещенную и сильную духом, противно всякой логике оставили под турком. Очевидно, имели в виду умалить только значение России. Но если какой-нибудь необычайный физический переворот не изменит людскую природу, значение России, напротив, возрастет. Осязательный опыт указывает болгарам и вообще славянам всю неприязнь к ним Европы, им остается уповать только на Россию.

Что бы ни выговаривали в пользу Турции, оставляя ее распоряжаться охранением восточной Румелии, тыл турок на Балканах в случае новой войны с Россией будет в опасности от порывов сочувствующего наступающему противнику Порты населения. Если усилиями запада восточная Румелия сплотится с Турцией, освобожденная Болгария, недостаточно огражденная для самостоятельной политической жизни, последует примеру Молдо-Валахии и соединится с соплеменной Сербией. Тогда скоро сербы и черногорцы подадут друг другу руку через Боснию, кто бы ни правил ею. России в собственных интересах придется вновь помочь братьям, и в этот раз решительнее, ибо удар силой вещей направится на Австрию.

Соединение, по крайней мере, федеративное, всех славянских княжеств, представляется неизбежным, как бы ни радовались австрийцы своим успехам, как бы ни мечтали они, стоя одной ногой на Адриатике, ступить другой на Эгейское море. Мечта заманчивая, в настоящую минуту возбуждающая ликования, но все-таки мечта. Наступит время, когда славяне подойдут к морю, от которого их упорно отдаляют. Так или иначе, они поладят с греками, увидевшими ясно, что им нет выгоды в раздоре с славянами и что не на запад они должны возлагать свои надежды.

Конгресс платоническим обращением к Порте в греческом вопросе оживил раздор между греками и турками. Может быть, война и не кончилась еще. Отказ Турции может

вывести греков из терпения, и Балканский полуостров в этот раз запылает с юга. В этом более, нежели вероятном столкновении неудовлетворенные славяне, конечно, примут участие.

К причинам новых беспокойств, основанных на неудовлетворении национального стремления и экономических требований, нужно прибавить неопределенность решений конгресса касательно исполнения его воли. Различные комиссии должны действовать с указанной целью, но без преподанных правил. Смешанные комиссии обязаны изготовить болгарские выборы, определить автономию восточной Румелии, наметить границы Сербии и Монтенегро. В какой мере и как осуществятся подобные предположения, покажет время. При различии европейских интересов и старании Порты упустить из своих рук как можно менее дело, конечно, не обойдется без больших затруднений.

Англия, гарантировавшая неприкосновенность азиатской Турции правительству, пребывающему в европейской, тем самым объявила себя союзником Порты во всяком случае. Не добившаяся цели Россия и все христиане, живущие мыслью наследовать захваченное турками в Европе, станут врагами Англии и поневоле обратятся к могущественной стране, которая может остановить мешающую Австрию и бороться с себялюбивой Англией.

Конгресс потушил пожар поверхностно, но подложил материал для тления, ничего не решил, успокоил всех временно и ради борьбы с напугавшим правительства социализмом предоставил самый важный вопрос последнего столетия возможности быть разрешенным внезапно, непредвиденно, в in toward circumstances,[112] как Наваринское сражение. В страхе революции или по недостатку мудрости отдали все случайности. Объяви Германия, что стоит за сан-стефанский трактат, мир стал бы действительно миром.

Англия захватила Кипр для возможности скорее помочь Турции в Малой Азии. Странный предлог! Будто она высадит вспомогательное войско в Алескандретте и поведет его вдоль Малой Азии. Как союзница Турции она всегда будет владеть проливами и повезет десант в наш фланг и тыл, в Черное море, которое при объявлении войны станет ее озером. Кипр просто голова Ефратской железной дороги. Занятие Алксандретты как берегового пункта не так удобно для водяных героев и могло бы беспокоить Францию. Трудно поверить, чтобы Кипр был занят в видах обеспечения Порты от наших натисков, во всяком случае странно начинать покровительство отчуждением собственности покровительствуемых.

Впрочем, к чему аргументы и критические анализы? Все усилия конгресса, так заботившегося о мире востока, были враждебны России только. Английские уполномоченные вовсе не газировали даже этого намерения, и если могло быть сомнение в предвзятой ими цели, то устранили его официально и публично. 1/13 июля же, в день окончательного унижения России, Солсбери поторопился послать в Англию копию трактата с пояснительной запиской, в которой доказывал, что знаменитый циркуляр его от 1 апреля осуществлен на конгрессе с точностью. Во-первых, весь Сан-Стефанский договор согласно требованию циркуляра и вопреки отрицаниям России представлен на общее обсуждение. Затем Англия неуклонно старалась достичь и достигла устранения последствий Сан-Стефанского трактата, означенных в циркуляре. По русско-турецкому соглашению учреждалось сильное славянское государство с портами на Черном и Эгейском морях, под покровительством России, с влиянием на торговлю этих морей. В этом славянском государстве совершенно поглощался чуждый ему греческий элемент. Выбор правительства, составление статута русскими комиссарами и приведение его в действие под влиянием русской военной силы — все это достаточно намечало направление, в котором должна была развиться на востоке новая политическая система. Намерения Рос-

сии, по официальному выражению Солсбери, были совершенно уничтожены Берлинским конгрессом. Почти две трети русской Болгарии возвращены султану. Греки Фракии и Македонии избавлены от славянского влияния, Болгария отодвинута от Архипелага на сто миль, Бургал вновь отошел к Турции, и новому княжеству оставлена только Варна, годная исключительно для коммерческих целей. Таким образом, новое славянское государство не угрожает могуществом, не поглощает греческого населения и не прибавляет многого к влиянию России. Не менее того, последние военные события сохранят еще на долгое время в Болгарии значение России. Чтобы значение это было по возможности нейтрализовано, политическое устройство нового края не будет зависеть исключительно от русских властей, оно передано конференции послов в Константинополе, а на месте подчинено наблюдению консулов. Отдалением Болгарии от Эгейского моря сохранена непрерывность владений Порты, и все условия, выговоренные в Сан-Стефано исключительно в русских видах, заменены общеполезными. О военной контрибуции не упомянуто в берлинском трактате, однако ж, русские упономоченные дали слово, что она никогда не заменится земельными уступками и что Россия станет в ряд кредиторов Порты, т. е., в сущности, уплата контрибуции отложена на неопределенное время. Особеннс налегая на то, что Батум объявлен коммерческим портом (в тексте трактата сказано «преимущественно» коммерческим), Солсбери гордится устранением исключительно русского господства на Черном море и торжествует, что удалили русское влияние от Эгейского. Что касается вновь приобретенных Россией владений в Малой Азии, Англия отдельным действием уничтожила последствия всех приобретений. Австрия вдвинута между двумя славянскими княжествами. Занятием Боснии Порта нисколько не ослаблена, напротив, им положен конец согласному действию соплеменных княжеств против Турции, восстановленной в сильных, способных к защите пределах.

Торжество англичан было полное. Не довольствуясь официальными сообщениями, Биконсфильд и Солсбери постарались протрубить свой успех на весь мир на обедах и празднествах, данных в Англии в честь возвратившихся «с честным миром».

Вопрос о Болгарии слишком уязвил национальное наше достоинство. Не опасаясь повториться, вновь спрошу, не поторопились державшие в руках честь России? Если они знали, что от упорства нашего не произойдет разрыва с Англией, что понудило их к согласию, приведшему последствия наших жертв к наименьшему результату? Желание ли государя, чтобы вышел немедленный мир, сразу решавший все сомнения, тайное ли соглашение Англии с Австралией, по которому последняя, уверенная в удалении последней с конгресса по болгарскому вопросу, пошла бы в нем напролом, или, наконец, объявление Бисмарка, что в деле этом он не помешает Австрии идти так далеко, как она захочет? Хотел ли Шувалов скорее кончить дело, в котором играл важнейшую роль, и тем выдвинуться в смущенных глазах своего повелителя? Все это могло совокупиться, но, очевидно, была поспешность с нашей стороны. Только относя эту поспешность преимущественно на долю Шувалова, можно объяснить последующее невнимание государя к его усилиям.

Пошло дело на откровенности. Не желая отстать от товарища, Биконсфильд после обеда, данного в честь его консерваторами, сделал объявление, которое поразило бы страну, если бы Англия не была упоена успехом до идиотизма. Он сказал напрямик, что англо-турецкая конвенция заключена с целью, чтобы при будущих столкновениях России с Турцией английские министры, кто бы они ни были, не колебались в мерах и не теряли бы время на совещания, иными словами, д'Израэли обеспечивал свою меру от влияния и взглядов возможных преемников своих, закладывал, так

сказать, будущее. В стране конституционной такая дерзкая решимость должна была привести министра на скамью подсудимых. Положим, в послеобеденных речах не всякое лыко в строку, но нельзя же допустить, чтобы оратор лыка не вязал, как бы ни угостили его приверженцы. Все прошло победителю. Предложение оппозиции выразить сожаление, что столь решительная мера принята без одобрения парламента, отринуто громадным большинством. Вообще оппозиция билась только для чести флага, зная наперед, сто будет побита. Самый чувствительный удар нанесен министерству своими — графом Дерби.

Прежний министр иностранных дел, возражая Солсберри. оправдывал его в уступках по бессарабскому вопросу; в несправедливом деле этом прочие представители не хотели выказывать сопротивления, английским же подобало настаивать, так как вопрос не касался Англии. Оправдывал он министерство в отношении Греции, хотя полагал, что упущен случай присоединения к ней Кандии, которая будет вечно волноваться под турецким владычеством. Но министры хотят уверить, что не допустили раздела Турции. Как же назвать решения, вследствие которых Сербия, Черногория получили часть прежних турецких владений, Босния отдана Австрии, Кипр захвачен Англией и независимая Болгария идет до Балканов? И почему не согласились допустить Болгарию к Эгейскому морю? В силу своего прибрежного положения она была бы под влиянием Англии, тогда как теперь должна предаться России. Министры утверждают еще, будто заботились о самолюбии Франции, избегая занятие пункта на сирийском берегу. Что бы ни говорили для успокоения Франции, действия останутся в памяти, когда слова забудутся. Англия забежала вперед соседей, и Франция не вычеркнет это из своих впечатлений. Касательно протектора над Малой Азией, Дерби видит большие затруднения, нежели во вмешательстве в дело местных принцев в Индии. Там нет внешних влияний, а в Малой Азии будет целый приют консулов и агентов других держав.

Главнейший удар, нанесенный министерству прежним министром, состоял в разоблачении кабинетных тайн. Дерби объявил, что вышел из министерства потому, что решили захватить Кипр и пункт на сирийском берегу, пославши для последней цели экспедицию из Индии, даже без согласия султана. Конечно, русские тотчас бы ответили занятием Константинополя. Вот в чем состояла тайна Дерби, на которую неоднократно намекал в речах, объяснявших выход его из кабинета. Заботы о самодержавии турецкого султана и о французской щекотливости разбивались в прах. Ни о том, ни о другом министерство не думало.

Обнародование подробностей кабинетных совещаний до того взбесило министров, что Солсбери назвал уверения Дерби ложным и тем произвел бурю, которая кончилась бы не в его пользу во всяком ином случае. Но все промахи, даже непристойности (например, тирада д'Израэли против «болтливого, себя слушающего умозрителя» — Гладстона), прошли без должного возмездия. John Bull опился удачей и прощал деятелям все грехи. Признание самих министров, откровенности Дерби и, наконец, поспешно заключенные конвенции с Россией и Турцией доказывали, что в вопросе была бездна колебаний и что министры долго не знали, на что решиться. Решившись, они выказали столько удачной дерзости, что им отпустили временную их слабость. Д'Израэли вынес, как утверждал, из конгресса убеждение, что современная твердость Англии отстранила бы обе войны — 1854 и 1877 годов. Более нежели вероятно, что отстранила бы, но того ли в обоих случаях хотела Англия? В последний раз, по крайней мере, она преднамеренно допускала войну для ослабления России, чтобы в данный момент предписать ей свои условия.

Конгресс продолжался ровно месяц. Бисмарк оказался точным счетчиком и, торже-

ствуя свою непогрешимость в политической арифметике, принялся за специалистов. Европа ликовала, но не успокоилась. Не выказываемое, но тем не менее сильное убеждение, что скрижали, начертанные в плоском Берлине, не сохранятся подобно скрижалям горного Синая, держало умы в беспокойстве неприятного ожидания. Война была отвращена, но, очевидно, противники не решались схоронить мечи.

Мой взгляд на Берлинский конгресс не представляет ни малейшего интереса для современников, телефонически слышавших каждое слово, произнесенное на конгрессе. Но когда память об этом международном турнире исчезнет, что случится, без сомнения, до издания моих воспоминаний, они представятся взглядом из прошедшего, может быть не совершенно ошибочным.

Жизнь, связующая всякую индивидуальность с общей семьей человечества, течет в струе случайностей и обстоятельств, вызываемых событиями. Как бы они ни были важны, собственная личность не может совершенно стереться, стушеваться в общем интересе. Она бледнеет перед проявлениями исторической судьбы народов, но все живет и действует.

Скорбные случайности войны, естественно, придавали русской колонии грустное настроение. Скромность жизни требовалась и чувством приличия.

В начале года, как я упоминал уже, я ездил в Триест и Фиуме. Жена в нервном ее состоянии не захотела остаться в одиночестве и поехала со мной, рискуя последними физическими силами для избежания несносного нравственного беспокойства.

Я выше упоминал, что ездил в Фиуме по поводу затруднений, сделанных австро-венгерским правительством в вывозе заказанных мною торпед. Министерство настаивало в принятии мер к немедленной доставке торпед, будто сам я не понимал, что надобность в них была неотложна, но странно, что министерство до получения моего объяснения не понимало или не хотело ознакомиться с международными условиями нейтралитета.

Эти условия положительно запрещают вывоз военных припасов в воюющие государства, и если исключения из общего правила возможны, то только через сношения представителей, а никак не вследствие усилий военных агентов. Я писал неоднократно к Новикову и держал его au courant не совершенно законного снисхождения, выказанного не один раз Англии по вызову тех же припасов; но робкий Новиков метался в корчах на горячих углях ежеминутно ожидаемого австрийского вмешательства и, конечно, не решался заикнуться об одолжении для нас. Я воротился в Ниццу после бесплодных попыток, вероятно, расположивши еще одного приятеля считать меня за несносного беспокойного человека.

В Ницце мы застали королеву Виртембергскую, Ольгу Николаевну. Она проживала в Сан-Ремо, но не выдержала тамошней скуки и переехала в Hôtel de Nice, где поселилась с необычайной скромностью. 30-летняя немецкая жизнь переделала даже Романову, и королева без видимого неудовольствия занимала со свитой разрозненные чуланы, каких не найдешь даже под крышей Зимнего дворца, хорошо мне знакомого по тоскливым дежурствам.

Никогда не видевши броненосцев, Ольга Николаевна хотела воспользоваться присутствием в Вилла-Франка французской эскадры и поручила мне устроить посещение ее. D'Hompierre d'Ornoy, главнокомандующий эскадрой, отдался в распоряжение королевы со всей любезностью и не уходил в течение восьми дней, ожидая ее. Дело кончилось, как всегда с августейшими: то мешала погода, то неожиданная прогулка, наконец, слабость и нерасположение духа. Посещение не состоялось. Мне пришлось облечься в дипломатические формы, и от долгих хлопот осталось одно только утешение — убеждение, что французы до сих пор ненавидят немцев. Ад-

мирал упрашивал меня найти случай выказать королеве qu'il est enchanté de se mettre aux orders d'une princesse russe,[113] а не жены немецкого королька.

Нас тянуло на всемирное торжище, в Париж. В исходе мая мы оставили Ниццу.

Во все вмешивалась политика, сказал я. Во Франции успех выставки требовался внутренним положением страны, для него она забывала внешние условия, даже находила пристойный предлог продолжить скромную роль, навязанную ей недавними несчастьями. Прилично было делом оправдать слова, что «настоящая Франция, отрезвленная и умудренная, стремится к благам мира, а не к пустой славе». Это самое миродушие Франции, притворное и вынужденное, но все-таки в данный момент миротворное, соседи ее, островитяне, старались положить в основание своих воинственно-политических замыслов. При открытии выставки, будто по данному сигналу, на церемониях и попойках, по всякому поводу и без малейшего повода, различные представители британской промышленности начали твердить о блистательном и полезном соперничестве Франции и Англии в храме мирных преуспеяний, воздвигнутом вновь проявившейся утилитарной энергией французского народа. Будущий властелин самой аристократической нации, пользуясь положением председателя комиссии по выставке, с готовностью, граничившей с цинизмом, сбросил тогу с первого барона Соединенных Королевств, радостно усвоил неприглядный туалет Гамбетты и своей аристократической рукой жал дружески руку трибуна, не всегда строгого к требованиям опрятности. Дело шло на дружбу не для мирных целей, а для будущих союзных действий против России. Раз что нельзя было склонить к тому крепкого Божией милостью Вильгельма и твердого в неземном происхождении Габсбургов Франца-Иосифа, не менее обоих верующий в особенность своей матери принц Валлийский кушал с любовью народное тесто, поднятое закваской равенства. Его кокетничанье с Гамбеттой раздражало нервы сторонних зрителей, но французы не отвыкли еще принимать фальшивую монету за золото, лишь бы на монете был девиз, удовлетворяющий их тщеславие.

Чисто в промышленном отношении я заметил громадный успех гончарного искусства. Разнообразие его применения и совершенства, начиная от самых грубых и простых потребностей хозяйства до самых изящных украшений храмов неги и сладострастия, представляемых будуарами новейших Аспазий, выказывало общий вкус к подобным произведениям и вместе убеждало, что в наш век все живут только для себя на свое время. Хрупкость модного материала угождает этой слабости, да и промышленникам в руку, требуются частые замены. Были даже павильоны горшечной работы.

Все наиболее заметное носило отпечаток требований минуты. Так, например, особенно богата экземплярами была выставка искусственных членов и разных принадлежностей для раненых. В большом числе были пишущие и стенографирующие машины, одна даже русского изобретения. Отдел игрушек отвечал механическому настроению нашего времени. Его, видимо, стараются привить с самого нежного возраста куклами. исполняющими все функции живого существа, самодвижущимися тележками, паровозами и т. п. Иначе и быть не может при обще мировой жажде к железным дорогам и в то время, когда на глазах всех вырастают в несколько месяцев целые железно-стеклянные города, как самое здание выставки, гипподром и пр.

В общегуманитарном смысле выдавались резкие особенности. Обширная южная галерея главного здания была установлена машинами, производящими различные потребности жизни. За ними работали в течение дня, и всякий мог наглядно судить, как выделывалось все, что он бессознательно, без малейшей мысли о потребном на то труде и стоимости, ежедневно употреблял для своих надобностей, даже

постоянно носил на себе. Легкость сравнения и определения дозы труда ведет к справедливой оценке его и вообще распространяет в массе чувство справедливости. Сопоставление различных мастерств на пространстве, которое можно было бы обойти в несколько минут, наводило невольно и на другую философскую идею — на могущество сочетания, соединения человеческих способностей, так сказать, акционерного способа употребления их. Видя, с каким трудом единичный работник выделывал хоть перламутровую пуговицу и как легко, с какой быстротой те же пуговицы в сотнях экземпляров производились соединенными знаниями и усилиями механика, полировщика, слесаря и медника, невольно проникаешься убежденьем, что человечество в совокупности могучая сила, не знающая препятствий, а жалкое Я — какое-то чахлое, анемическое создание.

Ретроспективная выставка различных предметов жизненной потребности, в особенности домашней утвари, составляла особенность выставки 1878 года. Кроме близкого и свойственного каждому интереса, она развертывала осязательно постепенные, а часто капризные изменения нужд, понятий о комфорте и вкусов многих поколений.

Знакомить подробно с дальними нашими сообладателями той же планеты — истинно филантропическая мысль. Короче узнавши друг друга, мы станем считать себя взаимно собаками, нечистью или, выражаясь изящнее (нашли в чем видеть изящество), pour de la chair au canon.[114]

Выставка международных обычаев, условий и потребностей жизни, даже привычек, на этот раз не ограничивалась питейными домами и харчевнями. Мы видели домашнюю жизнь различных народов, приближаясь к познанию их духовных и душевных двигателей, прислушивались к общепонятным и легко толкуемым звукам их национальных мелодий, доходили наглядно до некоторого разумения их религий. По чрезвычайно счастливой идее отделения различных стран были означены вытянутыми в ряд фронтонами их отличительной архитектуры. Этот архитектурный музей представлялся весьма выгодно и эффектно в широком проходе.

Феерия на Трокадеро, о которой кричали так много, не удовлетворила моим ожиданиям. Мания маленьких башен (poivrières[115]) неудачно разлетелись теперь по всей Европе от отражающегося в светлой Неве Исаакиевского собора до смотрящегося в мутную Сену трокадерского дворца. И в том и в другом случае улучшение было весьма желательно и дьявольски легко — стоило только воздержаться и вовсе не делать того, что ошибочно считали украшениями. По-моему, трокадерская половина выставки представляла только недобросовестность французов. Объявили, что по тому же билету можно видеть всю выставку, а не пускали смотреть музыкальной залы на шесть тысяч человек в среднем павильоне дворца иначе как во время концертов, за которые, разумеется, требовалась особая плата. Вообще о посетителях не много думали.

Часть зданий на Марсовом поле тянулась на целый километр, и только по четырем углам можно было утолить голод или жажду. Усталые посетители, задыхавшиеся в стеклянных галереях и их атмосфере, не подлежавшей никакому химическому анализу, выходя отдышаться на чистый воздух, вязли и терзали ноги в особенном колко-клейком составе из глины и неразбитых голышей. Будто не имели времени утрамбовать дорожки. Многое скребло истинно французской спекуляционной щеткой.

Что сказать о влиянии выставки на парижскую жизнь вообще? Пожалуй, и вовсе говорить о том не следовало бы. Наплыв лишних тысяч везде поднимает цены и дает электрический толчок жадности всех, так или иначе живущих насчет ближнего. Но французы кричали без умолка целые годы, что им нужно вызвать выставкой доверие Европы к республике, выставляли политический успех за глав-

ную, если не единственную, цель, а оказалось, что они хотели отомстить миру за равнодушие к миллиардной подачке, на которую вынудили их жадные немцы. Вздорожали квартиры, поднялись цены на articles de Paris[116] — все это было в порядке, указываемом суетой нахлынувшей толпы и ее суетностью, но на каком основании вздорожали съестные припасы, по крайней мере в трактирах и ресторанах? В Париже, при сливающихся в нем железных и водяных путях, предложение всегда соответствует спросу. Средства продовольствия не мог истощиться: стоит подать сигнал по проволоке, и навезут чего угодно и сколько угодно.

Когда идет дело о деньгах, все мы становимся строги и взыскательны. Самый чувствительный член человека — его карман, как бы человек ни родился, на какую бы высоту жизни ни подняли его случайности жизни. Логично ли было сердиться на парижских домохозяев, трактирщиков и извозчиков, когда цари на той же выставке показывали, что и им не чуждо желание эксплуатировать ближнего. Принц Валлийский хвастал перед целым миром soi-disant[117] подарками, собранными им в путешествии по Индии. Ему отпустили на представительство 60 тысяч фунтов, а он набрал на сотни тысяч, не говоря уже, что в художественном и археологическом отношении коллекция индийских подарков бесценна. Мне вспоминается всегда в таких обстоятельствах история Ошмянского (Виленск. губ.) станового, сосланного в Томск за 300 рублей пересылочных арестантских денег, не оказавшихся при моей ревизии. Увы! Все условно, фальшиво, ложно в обществе! Его конституция, несравненно важнейшая всех правительственных, основана на обязательно ошибочных, ни с того, ни с сего принятых и придуманных началах. Те же действия, те же результаты, те же корыстные двигатели, а посмотрите в общественный словарь: что для знатного креза благодушное принятие приношений, то для убогого Лазаря взятка, что относительно к становому подкуп, то для наследника престола верноподданническое изъявление преданности. Какая академия выработала странный язык, служащий не для выражения мысли, даже не для скрытия ее, по определению Талейрана, а для смешения и тасовки понятий?

Художественное отделение занимало на выставке почетное место, ему отвели средний корпус, выстроенный из более прочного материала. Картины поражали, а не притягивали идеей композиции.

Французское отделение отличалось портретами, о которых большинство могло судить безошибочно, так как в них воспроизводились всем известные личности, в особенности литературные. Республика оказалась строже износившейся, ослабленной империи, тешившейся развратом воображения по немощи физической: обнаженности было несравненно менее, нежели в лишенную действительной, здоровой жизни эпоху последнего Наполеона. Из русских произведений — «Светочи» Семирадского и «Раскопки дворца цезарей» Ковалевского привлекали общее внимание, но, вообще говоря, наши художники вовсе не понимают химической стороны искусства, не умеют составлять красок, выходит какая-то особенная свойская природа, а не общепонятное изображение ее, так легко уловимое даже простыми натурами по верному сходству с тем, что часто, почти ежедневно, видится, к чему привыкли чувства.

Электричество, воздухоплавание и фонограф дополняли выставку, но главные явления их были вне здания. Я упоминал уже об электрических успехах нашего соотечественника Яблочкина, замеченных мною еще в прошлом году, но пять-шесть фонарей на place d'Opera были не более как ловкой рекламой. Теперь великолепнейшая из улиц, avenue del'Opera, была облита электрическим светом. Стоя в центре оперной площади, можно было легко сравнить новое освещение с прежним газовым. В один и тот же момент глаз уносился волной электрического света к Пале-Ройялю и медленно, будто беспрестанно задевая пре-

пятствия, проникал в улицу de la Paîx, где совершенно останавливался Вандомской колонной, а газовое общество в настойчивом соперничестве и в ретивом охранении своих выгод удвоило освещение исторической улицы. Выставку 1878 года можно считать эрой искусственного света. Практическое доказательство возможности разделять электрическую струю сообразно надобности решило все сомнения и будет иметь неисчислимые последствия в наш рабочий век, когда рвет трудом и деятельностью, когда положительно не хватает обычного божьего света на выделку всего требуемого. Смешно сказать, а я сильно убедился, любуясь успехом Яблочкина, что патриотизм, помимо собственной воли, так в тебя и лезет. Удалось Яблочкину, а чувствуешь, будто сам сотворил что-то дивное.

Инженер Giffard хитро придумал популяризировать воздухоплавание и себе набить карман не воздухом. За решеткой Тюйльрийского дворца он держал во все время выставки на привязи громадный воздушный шар. Охотники садились в лодку в числе от 30 до 40 человек, а шар пускали на сворке до высоты 600 метров, потом снова притягивали и лодку нагружали новыми пассажирами. Все собравшиеся народы совершали прогулку в нейтральное царство воздуха, а бедный я, давши слово боязливой жене, не решился нарушить его. Однажды чуть не случилась в воздушных высотах небывалая свалка. На привязанный шар почти налетел свободный, пущенный из Во-Жирара. Последствий столкновения даже вообразить нельзя. Воздушный корабль Жирара оказался способным заменить в гигиеническом отношении St. Maurice и все альпийские целебные пункты. Способность эта проявилась случайно, а разнеслась быстро, так как ее бессознательно открыла знаменитая Sara Bernard, растратившая свои легкие на драматической сцене, в постоянных напряжениях голоса, а может быть и в иных насильствиях. Поднявшись в первый раз из любопытства, она почувствовала на высоте внезапное облегчение и стала подниматься ежедневно уже с целью отдышаться. Скоро умеющая считать актриса- скульптор-живописец и еще что-то издала брошюру «Ascensions aérostatiques, mémoires d'une chaise».[118]

Стул, на котором сиживала Sara (или, как она называет себя, Donna Sol), ожидая очереди, рассказывает свои впечатления. Брошюра разошлась в тысячах экземплярах и, конечно, окупила издержки плавания в воздухе, за что платили по 20 франков каждый раз.

Наиболее поражающей новинкой было свежеизобретение магика Эдисона. Фонограф — дивное приложение акустики к аппарату, сходному с телеграфным аппаратом Морзе. Эдисон в последнее время прогремел своими выдумками, основанными на законах электричества. Эти законы еще мало известны, и в Эдисоне поневоле признаешь инстинкт, чутье, необъяснимый дар находчивости и верности предположений. Его прозвали волхвом нашего времени. Замечательно, что одно из главнейших американских обществ железных дорог, чтобы доставить чудодею-соотечественнику средства питать дух изобретательности, отдало в его распоряжение свою электрическую мастерскую. Обеспеченный с материальной стороны, Эдисон дал разгул своему подвижному уму и теперь, чуть не ежедневно, дивит поражающими новинками. В фонографе звуки передаются через рупор (embouchure) железному листку, дрожащему от струи перемешаемого звуками воздуха. К листку прикреплен шпинек, передающий все его колебания на свинцовый лист, которым обернут цилиндр, приводимый в движение часовым механизмом. Таким образом, звуки на цилиндре отпечатываются пунктирами. Обратное движение цилиндра передает их слушателям тускло, будто эхо, но чрезвычайно отчетливо. Нет сомнения, фонографом воспользуются прежде всех спириты и подобные шарлатаны, видимая чудесность поможет их усилиям эксплуатировать людскую наклонность к сверхъестественному. Но фонограф, без сомнения, будет иметь бездну и полезных приложений, на-

пример, в судебных допросах, в случаях, когда важна уверенность в сказанном, и т. п. Повторяя стенографические слова, он подтверждает их еще и сходством (пока эхом) звука. Странно, что им до сих пор еще не воспользовалась недремлющая спекуляция. Цилиндры с навернутыми на них голосами Патти или Гамбетты, заменяя обыкновенные, вставляемые в шарманки, вывернули бы на первых порах карманы всех охотников до нового в пользу догадливого антрепренера.

К выставке же примыкали и различные торжества, в том числе народный праздник 18/30 июня. В кофейнях и театрах встречались почти неодолимые препятствия. Нужно было приходить обедать еще сытым, в уверенности, что успеешь проголодаться, пока добудешь место.

Несколько слов о придуманной республиканским правительством лотерее, и сказаниям моим о выставке конец. Желая выказать воочию свою заботливость о меньшей братии, ergo свои демократические принципы, правительство, противно постоянному взгляду различных по понятиям предшественников своих, допустило соблазнительный способ приобретения средств для народных учителей и рабочих разных фабрик. Знакомство с выставкой, без сомнения, было в высшей степени полезно для обеих избранных категорий. Решили устроить лотерею из вещей, выставленных напоказ миру, и ограничиться тремя миллионами билетов по франку каждый. Главные выигрыши, ценностью 100 и 50 тысяч франков, вместе с тщеславным желанием обладать предметом из дворца на Марсовом поле привлекли столько охотников, что все билеты были разобраны в несколько дней. Правительство торжествовало, что удалась выходка, располагавшая к нему массы, а экспоненты обрадовались возможности покрыть свои издержки по выставке выгодной продажей товара. Прибавили еще три миллиона билетов и, наконец, довели до двенадцати миллионов. Пошли в прах принципы, когда оказалось, что весьма легко властвующим составить политический капитал, не трогая казенного сундука.

Успех выставки несомненен, она притянула сотни тысяч, вернее даже миллионы любопытных, но все же не могла наполнить времени до такой степени, чтобы не оставалось уголка, куда нельзя было ворваться впечатлениям совершающихся событий. Жизнь все-таки текла своим чередом, и в этот раз мы делили ее в Париже преимущественно с сослуживцем моим Лихачевым. Говорят, не следует судить о человеке, когда он влюблен, прибавлю не менее неосновательно заключать о ком-либо по тому, чем он представляется на жаровне, называемой службой. Мы были с Лихачевым вместе адъютантами великого князя Константина, действующими, подчинявшимися поневоле придворным условиям и беспрестанно освобождавшимися от них требований строгой настоящей службы. По возвращении в дворцовые прихожие после долгих отлучек оба мы чувствовали себя несколько призабытыми и лихорадочно пытались вновь занять утраченное место. В чисто служебном отношении мы большей частью разнствовали во взглядах, и ко всему этому присоединялась jalousie du métier.[119] Товарищ мой, вдобавок, был тугого характера и вообще считался между сослуживцами pour un très mauvais coucheur.[120] С своей стороны — да говорить ли, чем я был с своей стороны? Записки мои хотя и не жан-жаковская исповедь, достаточно выражают мои слабости. Всякое шероховатое обращение с духовной моей половиной выводило меня из себя. Упрямство, которое из меня не выстегали, хотя, если помнят, начали стегать с двухлетнего возраста, легко стискивало весь мой состав, и я гордо выпячивался перед тем, что считал оскорблением, даже перед равнодушием ко мне. При таких личных недостатках, вдвойне раздражающей в сфере службы и двора, приближения к столкновениям были весьма часты. Самых столкновений не было потому, думаю, что каждый был уверен в неуступчивости противника и откладывал добрую ссо-

ру до серьезного, стоящего ее случая. К счастью, его не представилось, и мы пребывали в худшем мире. Утекли годы. Характеры наши едва ли исправились, разве притупились несколько, зато обстоятельства совершенно изменились. Удаление и почти независимость от начальства, разрыв сношений с придворным обществом, освобождение от всякой ответственности за действия других, и по роду настоящих наших служебных занятий, даже за наши собственные — короче, невозможность раздражения — поставили нас теперь лицом к лицу; человек встречался с человеком, и мне, по крайней мере, эти встречи доставляли наслаждение. Умный, образованный и мягкий в формах, Лихачев был весьма приятным товарищем для вседневной жизни в наших урывчатых свиданиях. Они повторялись не редко. Капризный адмирал стал милым маркизом, и мы были довольны друг другом на новой арене благодатной независимости от внешних возбуждающих условий. Дорожа отношениями с сочувствовавшим мне во многом человеком, я, в свою очередь, стал гибче, мягче, наблюдал за собой, чтобы не задеть бессознательно какую-нибудь ранку моего собеседника, и сношения наши, чуждые гибельной для плавной мирной жизни фамильярности, питали и поддерживали взаимное уважение. Выболтанный выставкой Париж, так мне приятный в нормальном состоянии (читатель, конечно, подивится моей скромной невзыскательности), был бы для меня несносен без дружеского участия Лихачева в употреблении свободного от выставки времени.

Собравшийся конгресс занимал преимущественно, но и другие случайности понуждали нас оглядываться кругом. 19/31 мая повторилась страшная катастрофа, так нередко поражающая морской люд со времени введения грозных и неуклюжих броненосцев. В английском канале в прекрасную погоду германский броненосец «König Wilhelm» потопил «Grosser Kurfürst». И Германия заплатила дань ложной идеи одевать корабли панцирями. Вывели в расход 300 человек и около 20 миллионов франков. Горькая случайность напомнила мне беседу в Фиуме с капитаном германского флота, гордившимся сомкнутостью принятого у них строя. По его мнению, при расстоянии от полукабельтова до кабельтова между кораблями, начальник держал эскадру в руке, как шпагу, а я дивился нерасчетливой дерзости немецких тактиков и пророчил защитнику их, что рано или поздно они поплатятся. Грустно было мне оказаться зловещим вороном, но результат немецкой удали наводил не на личные соображения. Пар облегчил борьбу с ветром и морем и вообще движения кораблей по прямому направлению, но вместе затруднил мгновенную остановку этого движения по надобности и уменьшил способность корабля изменять его в наименьшем пространстве. С тактической точки зрения, плотно сомкнутый строй, мешавший неприятелю при парусах приводить в исполнение самый гибельный для атакуемого маневр — прорыв боевой линии, — теперь, при парах, броне, шпиронах, противнику прямо в руку. Удачная свалка решает разом участь врага, и чем сплошнее его стена, чем менее удобно избежать удара по тесноте строя, тем вернее и безошибочнее нападающий рассчитает нужный удар. Странные явления ума человеческого! «С одной стороны, он делает смелые прыжки от пловучего дерева к материалу, идущему, как ключ? ко дну», и материал этот плавает чуть не легче прежнего, прозванного по естеству своему пловучим; с другой, тот уже ум не может освободиться от привычки рутины и держится упорно правил охраны и защиты, теперь уже помогающих разгрому и нападению. Кубические головы пруссаков особенно сродны упрямству этого рода.

Тугие мозги немцев, впрочем, подвержены внезапным судорогам.

«Немец так глубокомыслен, что провалишься в него», — сказал, кажется, Вяземский. Подчас он сам проваливается в бездонную пропасть своих мечтаний об отвлеченностях и сбивает, что попадается на темном пути.

В нынешнем году сошлись юбилеи Вольтера и Жанны д'Арк; оба совпали с праздником Вознесенья. Клерикалы и радикалы воспользовались случайностью, напоминавшей минувшее, чтобы оспаривать друг у друга настоящее. Либералы хотели возвести Вольтера в французского мессию и положили свершить по нем национальную тризну. Ультрамонтаны в отместку готовили то же для девственницы. Правительство объявило, что не допустит уличного торжества ни по тому, ни по другому случаю, при запертых же дверях обе стороны могут делать что угодно. В Париже, главном фокусе волнений, день прошел незаметно. Лавки были заперты по случаю большого праздника. Радикалы приписали это благоговейной памяти о Вольтере, а клерикалы относили знак уважения к Орлеанской мученице. О Христосе забыли верующие и неверующие. Вольтера отчествовали литературным сходбищем, на котором Виктор Гюго нес обычную, напыщенную чушь, а деву почтили истертыми от употребления венками, перенеся их, кажется, с июльской колонны на дрянную статую в Rue de Rivoli. «Сошлись, пошумели и разошлись».

Как ни развлекала выставка, как ни разбрасывала мысли парижская жизнь, Берлинский конгресс собирал их будто магнитом, притягивающий железные опилки. Пародируя памятное изречение о Венском конгрессе, говорили, что Берлинский marche mais ne danse pas.[121] Его завершили к половине июля, как ручался Бисмарк, и опять острым словом: «Le traîté de Berlin a étésigné par quatre plumes de vautour, deux d'oie et une de pigeon»,[122] — сказал итальянский уполномоченный Корти. Одно из четырех перьев хищной птицы (наше) принадлежит коршуну, которые остальные три порядочно поклевали прежде нежели допустили к подписи. На многие и многие годы наше политическое развитие в Европе остановлено.

Выставка нас заняла, но вместе утомила не физической деятельностью, а дроблением дня на минуты и попыхами, всегда выводящими дух из нормального состояния. В начале августа мы переехали в скромный Aix-les-Bains, где и в прошлом году набирались сил, к сожалению скоро растраченных в том же Париже. Перед отъездом в Aix виделись с А. М. Кумани, поразившим нас холодностью. Грустно терять друзей в наши лета, но в этом случае, кажется, мы не виноваты. Понимаю его положение, отдаляющее от людей семейных, но он добровольно грязнет в омуте таинственной незаконности. В подобных положениях едва ли не лучше иметь несколько медный лоб, чтобы не совершенно отстать от общества. Разумеется, нужна привычка бесстыдства, не все же Шуваловы, легко предающиеся влечению страстей даже в видных положениях. По-видимому, Шувалов ничего не выиграл борзым участием в конгрессе. Принятые у нас меры, однако ж, выказывают полицейское влияние Петра Андреевича, по крайней мере на то, что связано с настоящей его обязанностью. За подписью Берлинского трактата у нас последовало объяснение, публикованное в «Правительственном вестнике» и имеющее значение манифеста. Правительство откровенно сознавалось, что не добились цели, но, не прикидываясь на этот раз агнцом, объявляло во всеуслышание, что считает последнюю борьбу этапом к достижению конечного результата — совершенного освобождения христиан. Это назначалось для внутреннего употребления, а для внешнего разогнали московский славянский комитет и сослали Ив. Аксакова, слишком сетовавшего о берлинских решениях, в глухую деревню. В последней хитрости вижу нашептывание Шувалова, думающего успокоить английские умы новостью об уничтожении силы, двигающей славянизмом. Сердечный друг Шувалова, Грейг, стал министром финансов. Что выйдет, если он вздумает помочь приятелю всем весом финансовых аргументов, уверяя, что исправление потрясенной денежной системы нашей зависит от спокойствия внутреннего и уверенности Европы в нашем миролюбии? Сильный повод стиснуть Россию

реакцией и успокоить Европу возможными, хотя и не должными уступками.

Между купаньями и вздыханиями в Aix оставалось много времени. Терраса трактира доставляла легкость новых знакомств. Возобновил старое с адмиралом Тушаром, командовавшим в одно время со мной в Леванте. Адмирал теперь в резерве и консервативный депутат от Парижа. Как прежний адъютант Жуанвильского, Тушар орлеанист, но едва решается сознаться , что принадлежит к этой партии кастратов.

Несомненными данными, именно перепиской с самыми приближенными к Наполеону лицами, мой сосед по трактиру, граф д'Естерно, подтвердил все слухи о позднем пробуждении энергии в императоре после крушения его в Седане. Луи-Наполеон действительно умер от поспешной преждевременной операции, сделанной по его настоянию. Ему непременно хотелось сесть на лошадь в известный срок, чтобы явиться в неразобравшемся еще Париже и вновь захватить малодушно упущенные бразды правления.

Но из новых знакомств наших самое для меня интересное было знакомство с графиней Шуваловой. Располагая остаться в Aix довольно долго, мы перебрались в прекрасный частный дом, приютивший нас в прошлом году. Через несколько дней поселилась там и графиня с семейством. Целые дни мы просиживали вместе на террасе в дружелюбных и весьма откровенных беседах. За шесть недель графиня обрисовала мне мужа во всей его наготе, со слезами на глазах и с многими вздохами о том, что утратила на него влияние. По словам ее, Шувалов был плохой шеф жандармов. Упуская прямое дело, он хотел только иметь общее влияние на управление excusez du peu[123] и добивался полного доверия владыки. Это я знал прежде, но думал, что Елена Ивановна, которой не нравился официальный пост мужа, подвигала его на более широкую и менее антипатичную деятельность. Кажется, так и было. Теперь, впавши в богомольство par dèpit,[124] она смотрит спокойно на мирские треволнения, хотя надеется, что муж возвратится в Россию и получит место, на котором приобретет прежнее значение. По ее мнению, лучшая комбинация была бы назначение Шувалова министром внутренних дел, а Тимашева шефом жандармов.

Шувалов ленив, хотя умеет заставлять работать других, слишком говорлив и пуще всего любит лесть — и приведен был пример. Валуев вновь попал на рельсы, соскочивши с них только потому только, что благоговел перед Петром Александровичем, называя его le sauveur de la Russie.[125] A sauveur просто безмерный самолюбец. Упустивши личное влияние на государя, он хочет произвести на него давление извне. Дружба с Бисмарком кажется ему хорошим средством, да и Бисмарку, ничего не прощающему, шуваловские виды по нутру. Железный канцлер зол на Горчакова за спасение Франции в 1875 году от нового нашествия тевтонов. Откровенности его с корреспондентом «Times» Бловицем дают ключ этой ненависти и объясняют, почему Бисмарк так слабо помогал нам на конгрессе. После памятного путешествия государя в Берлин в 1875 году Горчаков издал циркуляр, в котором утверждал, что мир не будет нарушен. В то же время, государь объявил лично Леерло (послу Франции), «что ее не атакуют, что он в том ручается своим словом».

Борьба с венценосным племянником собственного правителя была неудобна, и Бисмарк пошел на фанфарона — Горчакова. По воззрению германского канцлера, безрассудно со стороны министра иностранных дел рисковать добрыми отношениями двух наций для удовлетворения пустого чванства. Горчаков бился с ветряными мельницами. Войны с Францией желала только военная партия, Бисмарк был уверен, что осилит ее без посторонней помощи, и русское влияние ворвалось насильственно в широко открытую дверь. За это Бисмарк старался всячески вредить Горчакову, выставлял и при каждом случае превозно-

сил рвение и ловкость Шувалова на конгрессе и прямо пророчил его в русские канцлеры.

Мы возвратились на зимовку в Ниццу в начале октября и с нетерпением ожидали признаков занимательного сезона.

В этот раз судьба послала весьма интересного говоруна, Игнатьева. Утомленный суетой последних лет, ущемленный между не имеющим к нему доверием Горчаковым и прямо враждебным к нему Шуваловым, Игнатьев приехал в Ниццу отдохнуть от волнений и двигаться на просторе без опасения ежеминутных препятствий. Некоторое время он был героем дня. На него ходили репортеры, префекты, генералы, и даже ниццкие ветреницы зазывали его в свои салоны для развлечения обычных своих клиентов, утомленных однообразием встречаемых лиц и пустотой взаимных отношений. Как всякая новинка, Игнатьев недолго был фокусом притяжения толпы, скоро сам пресытился овациями и зажил скромно, домашней, семейной жизнью, якшаясь только со старыми знакомыми. Первая встреча наша совпала с несомненным известием об усилениях Бисмарка навязать нам Шувалова, с объявлением Англией войны афганскому эмиру и с сопротивлением болгар восточной Румелии решению Берлинского конгресса отделить их от независимой Болгарии. Восточные дрожжи экс-посла нашего восприняли новую силу брожения, он чувствовал потребность высказываться и, разумеется, нашел во мне внимательного слушателя. Я возражал, но столько, сколько считал нужным для питания говорливости моего собеседника. Мы сходились часто, и для меня сходки эти были чрезвычайно приятны, даже поучительны. Не берусь судить решительно, насколько было правды или неправды в речах обер-мистификатора, отца лжи и Alexandre Dumas – père de la diplomatie,[126] как прозвали Игнатьева в разное время совершенно различные ценители его. Убежден только, что из всего им высказанного можно составить общий абрис последних событий на востоке и впоследствии наполнить его подробностями из более верных источников.

О многом было говорено, и чтобы не сбиться в разнообразных повествованиях, постараюсь изложить рассказы Игнатьева в хронологическом порядке самых происшествий. Период Плевны был опущен. Игнатьев, видимо, избегал его, хотя повторял неоднократно, что не ждал войны, а вел к разложению оттоманского владычества, за которым по силе вещей последовало бы славянское значение.

Когда я спросил Игнатьева, почему наш голос не был слышен в протестах против болгарских ужасов, он ответил мне новым доказательством своей наклонности к хитростям. Посол знал все неистовства турок наперечет, добыл паспорта англичанам и американцам, чтобы они убедились воочию, но сам держался в стороне, чтобы ужасы не показались русским изобретением. Он не переставал, однако ж, ни на минуту действовать. Так, например, известный Иван Вестин, корреспондент «Figaro», приехавший в Константинополь с целью писать против нас, искал случая встретиться с Игнатьевым. На просьбу корреспондента не отказать в материалах для торжества истины, Игнатьев, с поразившей Вестина готовностью, показал ему депеши, только что полученные из Филипполя от Церетелева на французском языке. Вестин, ублаженный таким чистосердечием, начал писать за нас, а правда-то была сообщаема Церетелевым в русских письмах. Хитрости в дипломатических действиях, пожалуй, нужны, но как же хитрить в таких случаях, когда каждый лишний час стоил многих жертв и одно твердое слово могло спасти тысячи несчастных.

На удивление мое, что мы ничего не знали об армии Осман-паши, Игнатьев возразил, что я в совершенном заблуждении. О приближении Османа из Виддина мы знали, как он выразился, ежечасно и побатальонно. Турки стягивались к Плевне постепенно, и румынские власти уведомляли нас весьма точно о движении различных отрядов в этом направлении. Посланный осмотреть Плевну Тутолмин не увидел турок потому, что не вошел в самый

город, и преступное неряшество это прошло Тутолмину только рад того, что он был гувернером детей Великого Князя Николая Николаевича. До похода Османа в Плевну Милан приезжал в главную квартиру. Там и впоследствии в Бухаресте сербский князь умолял, чтобы ему дозволили начать действия, по крайней мере, обложением Виддина. Он рвался доказать государю, что сербы не заслуживают строгого обвинения, взведенного на них московской речью, и в подтверждение своей просьбы прибавлял, что рано или поздно Сербия будет призвана или вынуждена к действию против турок. Милана приняли, как чумного, пригрозили мщением, если ретивостью своей il nous mettera l'Autriche sur le dos,[127] и отпустили оскорбленного, а если бы послушали, не было бы Плевны и 15 тысяч жертв.

Но Плевна была создана нашей непредусмотрительностью и, наконец, разрушена беззаветной храбростью нашего солдата. Ожидая, что турки запросят мира, государь, перед отправлением из армии, хотел оставить главнокомандующему инструкцию касательно переговоров и поручил Игнатьеву редижировать[128] проект наших требований. Игнатьев, по словам его, разочаровал государя, сказавши, что турки еще недостаточно побиты; однако ж, программа требований была им составлена и по его же указанию препровождена Горчакову в Бухарест, чтобы по порядку службы она истекала от канцлера. Игнатьев оставлял главную квартиру и на пути в Россию виделся с канцлером. Горчаков говорил с ним об инструкции главнокомандующему, как о своем произведении.

По поводу сдачи Осман-паши и вследствие моего удивления, что с вестью о сдаче прибыл к государю никем не посланный доброхот Мацлевский, Игнатьев сообщил мне следующие подробности. Государь стоял со свитой на валу одного из укреплений, воздвигнутых вокруг Плевны, и в тревожном состоянии духа ждал конца предсмертной борьбы Османа, уже вышедшего к Виду. Ближайшие войска были посланы на подкрепление наших, схватившихся с Османом по другую сторону города. Кто-то из окружающих царя заметил двух всадников, скачущих во весь опор, и услышал, как отряженные войска при проезде всадников кричали «ура». Государь радостно перевел замиравший дух, и через несколько минут запыленные всадники подскакали к подошве вала. Офицер свалился с лошади с криком «ура» и в видимом изнеможении упал к ногам державного. Едва могли добиться, чтобы он проговорил всеми ожидаемого слова. Наконец, достаточно разыгравши комедию, Мацлевский сообщил радостную весть о сдаче турецкой армии словами, прерываемыми восторженным волнением. Государь спросил: «Правда ли это, так ли? — Сам видел, — возразил Мацлевский и, бросивши шапку в ноги государя, прибавил — Как эта шапка, Осман со всей армией у ног Вашего Величества». Дерзкий доброхот тотчас же просил наградить бывшего с ним казака, уверяя, что без него не нашел бы дороги и не мог бы порадовать Батюшку-Царя.

Государь обратился к Милютину. «Avis au lecteur»,[129] — сказал он, тотчас же навесил казаку Георгия, а ловкого полковника хотел произвести в генерал-майоры. Милютин воспротивился, сказавши, что необходимы справки, и никем не посланный вестник победы получил звание флигель-адъютанта. Потом уже узнали, что счастливец protégé Числовой и состоял в Вагенбурге главнокомандующего. За официальными сведениями о победе послали Петра Витгенштейна, и когда он привез подтверждение, назначили генерал-адъютантом.

По возвращении в Петербург государь стал получать известия о дальнейших и быстрых успехах нашей армии. С другой стороны, ощутительно увеличивалось давление на нас европейских кабинетов. Проживавшего в Киевской губернии Игнатьева вытребовали в Петербург. Приезд его совпал с известием о приближении армии к Адрианополю. В Петербурге вовсе не готовились к столь быстрой развязке и не подумали о проекте мирных условий. Начались

советы, на которых Игнатьев, разумеется, играл роль. Однажды вечером государь призвал его и в большом смятении спросил, что делать. Его поразили быстрые успехи нашей армии на Балканах и за Балканами, тревожили требования Европы и, наконец, беспокоила умственная нищета главнокомандующего. В таком душевном волнении государь объявил Игнатьеву, что посылает его в армию с полномочием на предстоящий мирный трактат, и пожелал знать его мнения о том, чего должно требовать от Порты. Игнатьев, по словам его, à tenu a peu près ce language:[130] «Ваше Величество желали мира и вовсе не хотели распадения Турции. Провидению угодно было решить иначе. Войска ваши отстранили возможность сопротивления со стороны Порты. В Стамбуле с часу на час ждут внутренней революции. Судьба отдает империю оттоманов в ваши руки; вам остается только покориться ее велениям; верно уже написано, чтобы вы были освободителем. Нам не простят, если в Константинополе, так сказать в виду нашей армии, произойдет резня. Нужно идти вперед и занять Стамбул, а затем созвать там европейскую конференцию и решить окончательно. — Занять Константинополь, — возразил государь, — никогда. Я дал слово, что не займу его». Тогда Игнатьев будто предложил занять Буюк-Дере и Буларские линии, чтобы отстранить всякую попытку англичан. Решили послать Николаю Николаевичу телеграмму не останавливаться и не заключать перемирия, уведомляя, вместе с тем, что Игнатьев едет с полномочием. Горчаков и Милютин предложили Игнатьеву редижировать депешу. Составленную телеграмму следовало послать в оба министерства для шифровки. Горчаков, не желая, чтобы в делах был черняк руки Игнатьева, захотел собственноручно переписать депешу. Милютин должен был последовать его примеру, и представилась в Зимнем дворце курьезная картина: Игнатьев, диктующий канцлеру и военному министру редижированную им телеграмму, будто переписчикам.

На пути Игнатьеву велел заехать в Бухарест объявить, что на предстоящих переговорах будут требовать бессарабскую полосу, уступленную по Парижскому трактату. Горчаков, живши в Бухаресте семь месяцев, не высказал положительно этого намерения, но сделал достаточные намеки, и румыны, по словам его, не удивятся. Напротив, румыны не захотели понять намеков и очень удивились. Переговоры задержали Игнатьева в Бухаресте несколько дней, и когда по дороге за Балканы он заехал в Брестовец, наследник объявил, что Игнатьев уже опоздал, что перемирие, вероятно, уже подписано, так как ему, наследнику, велено отступить от Шумлы, выгороженной из демокационной линии. В Шумле не было почти войска. Отбивавшийся с примерным терпением во всю кампанию наследник думал пожать плоды своей стойкости блестящим захватом девственной Шумлы. Дядя — главнокомандующий — лишил его этого утешения, и племянник, без всякой церемонии говоря о дяде, выбирал самые звучные слова из нашего изобилующего нежными выражениями словаря. Так же точно поступили и с Михаилом Николаевичем, чтобы отстранить всякое участие его в заключении мира. По мнению Игнатьева же, демакационную линию в Малой Азии решено было принять от Эрзерума до Требизонда. Кавказцы готовились броситься на Батум и в этот раз были уверены в успехе. Все должно было измениться для удовлетворения самолюбия Николая Николаевича. Напуганный будто депешами Шувалова, беспрестанно телеграфировавшего, что Англия объявит войну, если мы не остановим нашего движения, великий князь заключил наскоро условия перемирия.

Здесь я позволю себе собственное воззрение на действия рассказчика. Отбрасывая подробности, придуманные, может быть, après coup,[131] допускаю, что в общих чертах рассказ Игнатьева верен. Проволочка в переговорах о перемирии, немало дивившая Европу, прихо-

дит на подтверждение уверений Игнатьева, что быстрые успехи наши застали Петербург без программы о мире и что в важный момент этот никто не руководился заранее определенной и утвержденной мыслью. В такой горячий момент, при опасении неловкой поспешности со стороны главнокомандующего, посылают Игнатьева с полномочием отстранить возможные промахи. Как же он, державши первую скрипку, не догадался сказать, что прибытие его в главную квартиру требовало поспешности? Что нерасчетливо было заставлять его терять время в Бухаресте на второстепенный вопрос, который мог быть представлен румынскому правительству другим лицом? Между борзыми советами и ответственным исполнением их огромное расстояние. Предлагая меры решительные, Игнатьев, по-моему, опасался и сам европейских компликаций.[132] Отсюда желание избежать ответственности благовидными проволочками.

Приехал, наконец, Игнатьев в главную квартиру, и что бы ни говорил, конечно, сам способствовал подогнать заключение мира к 18 февраля. Я говорил уже о комическом ожидании подписи мирного трактата в этот памятный для России день. Заношу в мою хронику дополнение к шутовским сценам, разыгравшимся по этому случаю в Сан-Стефано.

Рано утром внезапно вошел в конференцзал августейший главнокомандующий, спросил о ходе переговоров и, ударивши нагайкой по столу, вскрикнул: «Ça m'embête, il faut en finir».[133] Турки оторопели перед этой дипломатической выходкой нового рода. Нужна была вся ловкость Игнатьева, чтобы унять расходившегося полководца. Еще раз попытался Игнатьев привести в исполнение свою петербургскую мечту и предложил радикальное средств. По перемирию турки должны были тотчас очистить придунайские крепости, но не преступали к тому. О Константинополе нельзя было и думать — сам державный противился занятию его, да и Шувалов телеграфировал, что Англия тотчас объявит войну. Игнатьев предложил, чтобы его послали в Порту, где, после укоров, что турки не соблюдают условий перемирия, разорвет их, возвратится в Сан-Стефано, собранным войскам скомандует налево, и через несколько часов высот над буюк-дерскими укреплениями будут в наших руках. Раз вкусивши славы победоносного миротворца, великий князь затопал ногами, уверял, что у него мало войска, и выразил опасение, что турки разобьют его. Он напустил на Игнатьева Павла Шувалова с гвардейской братией, и те пригрозили побить полномочного каменьями, если он продолжит войну. «У нас всего 12 орудий против 70-ти турецких», — твердили ему, мы прибежали сюда из Адрианополя налегке, без парков и обоза. Нечего было делать — начали выправлять хромое дело по возможности.

Вот, по рассказу Игнатьева, его участие в вопросе о занятии пролива. Слова Игнатьева, конечно, не евангелие, но все же наше движение вперед во время переговоров о перемирии и после заключения его, игра в жмурки с прибывшими к армии турецкими полномочными и суетливые переезды дипломатов от Сан-Стефано к Стамбулу и обратно убеждают меня, что в рассказах Игнатьева есть доля правды. А эта картина смятения в Петербурге? Право, списано с натуры. Не подумали, что сделать, покончивши с Портой.

Игнатьев давал мне свои considérants[134] сан-стефанских условий. Меня очень заинтересовали некоторые ссылки, и хотелось исчерпать вопрос до возможной глубины. Оказывается, что в промежутке между Сан-Стефанский трактатом и Берлинским конгрессом у нас с Австрией было соглашение, даже пояснительная карта от Андраши была препровождена Новиковым в Петербург. Вышло недоразумение, и государь послал Игнатьева в Вену.

Недоразумение вышло из неопределенности сношений. О соглашении было говорено, была послана и карта, пояснявшая обмененные идеи, но идеи эти никогда не были формулированы в официальном документе.

Все свои рассказы Игнатьев пересыпал анекдотами. «Никогда не ожидал я, — воскликнул Николай Николаевич, получивший подписанный Сан-Стефанский договор, — быть способным на дипломатические сношения». Поистине он мог дивиться успеху своих нагаечных аргументов. В стратегическом отношении великий князь не сомневалсмя в своей непогрешимости. Когда Радецкий, поноличивши шипкинскую турецкую армию, нагнал главную квартиру в Андреанополе, Николай Николаевич за завтраком начал хвастать свомим распоряжениями и уверял, будто он заставил Радецкого, вопреки его воле, спуститься с Шипки. «Вышло хорошо», — прибавил августейший самохвал и продолжал исчислять свои подвиги, очевидно вызывая Радецкого на одобрение. Скромный шипкинский герой, наконец, потерял терпение. «Действительно удача, — промолвил он, — впрочем, Ваше Высочество, вот уже пять месяцев, с самого дня переправы через Дунай, я постонно убеждаюсь, что велик... Николай Чудотворец».

От Сан-Стефанского договора мы перешли к Берлинскому трактату. Дядюшка не желал, чтобы Игнатьев в нем участвовал, и государь затруднялся, как согласить волю Вильгельма с правом Игнатьева на участие. Ловкий эксперт по восточному вопросу просил не думать о нем, если назначение его встречает малейшие затруднения, но государь возразил, что Горчаков непременно требует участия Игнатьева. Канцлер хотел устранить Шувалова, его неминуемого преемника после Лондонского соглашения. Игнатьев вызвался одолеть настойчивость Горчакова, поехал к нему и объявил, что будет стоять на конгрессе за сан-стефанские условия. Если конгресс отвергнет их, Игнатьев откажется подписать мнение большинства, оправдываясь тем, что человеку, изучавшему 12 лет вопрос на месте, невозможно передавать в потомство за своей подписью документ, нелепость которого выкажется в скором времени. «Et moi? — возразил канцлер. — Quelle sera ma position a mon retour?».[135] «Делайте, что хотите, — отвечал Игнатьев, — а я подам в отставку». Разумеется, Горчаков более не настаивал.

Игнатьев не попал на конгресс, что не помешало ему отнестись критически к подвигам наших представителей на берлинском сходбище. В весьма обстоятельной записке, сходной по содержанию с объяснительным документом, посланным Солсбери из Берлина в Лондон вместе с трактатом, Игнатьев тесно сгруппировал и ясно сопоставил факты. Так сказать, графически он указывает наши потери и уступки. Например, пределы Болгарии, еще до герцеговинского восстания, были определены болгарским экзерхатом и впоследствии подтверждены константинопольской конференцией. Скрытие крепостей было выговорено для сан-стефанской Болгарии, но когда у Болгарии отняли Балканы, Варна и Шумла, очевидно, должны были стать укрепленными. В Берлинском трактате беспрестанно говорится об общеевропейской пользе, об интересах Англии и Австрии, а о русских ни слова. Будто вовсе не было со стороны России никаких жертв. Как бы ни увлекалось воображение Игнатьева, его сравнение обоих трактатов — чрезвычайно талантливый анализ и произведет шум, когда обнаружится. Вообще дипломатическая хроника последнего кризиса, без утайки и снисхождения к различным личностям, будет в высшей степени любопытна. Курьезнее всего, что, употребляя Игнатьева по восточному вопросу, от него многое скрывали или открывали не вовремя. Например, об Андраши-Новиковском соглашении он узнал уже в самый момент выезда в Вену для прекращения возникших по соглашению недоразумений. Мемория Игнатьева написана сдержанно, нет порицаний, но факты там сближены и расставлены по местам, что автор, будто нехотя, клеймит своего соперника Шувалова. Становится ясным, что Петр Андреевич о пользе России на конгрессе не помышлял. По словам Игнатьева, записку его читали государь и наследник; оба изволили выразиться, что в ней на каждой строке пощечина. Стало очень

уж совестно, что усилия России не привели ни к чему достойному ее жертв, и когда болгары восточной Румелии поднялись против решения берлинского конгресса, воротившего их вновь под турка, Дундуков речами и действиями, насколько он действовать способен, побуждал их сопротивляться распоряжениям европейской комиссии, прибывшей в Филиппополь. Как русский комиссар он переехал в Софию, но на прощанье наговорил и наобещал многое. Европа подняла крик, что Россия не хочет выполнять берлинских условий, и дела вновь начали принимать воинственный вид.

Шувалов отдыхал на берлинских лаврах сначала в Вильдбаде, потом в Вене. В Вильдбаде он, конечно, наблюдал за Горчаковым, а в Вене, без сомнения, тасовал карты для будущей игры по компликациям, которые должно было произвести исполнение берлинского договора. В исходе ноября его вытребовали в Ливадию, почти единовременно с Дундуковым. Нужно было укротить взволновавшуюся Европу. Дундукова холили, даже подарили номером «Голоса», в котором была заграничная новость, будто государь недоволен своим комиссаром и сменяет его. На полях газеты значилась высочайшая отметка: «Никогда. Я совершенно уверен в приятеле моем Дундукове и доволен им». Попытались склонить Европу согласиться на присоединение Восточной Румелии к Болгарии и с этой целью послали Шувалова из Ливадии в Пешт, где находился тогда австрийский император со всеми своими министрами. Говорят, даже запросили Бисмарка, согласится ли он на изменение берлинских решений, если его protègè Шувалов будет назначен министром иностранных дел. От железного канцлера требовали слишком большой жертвы и получили отказ. Разумеется, и Австрия не замедлила выказать несогласие. Тогда мы стали уверять Лофтуса, что твердо стоим за берлинский трактат, под условием, чтобы и другие выполняли его в точности. Мы стали ярыми поборниками решений конгресса, а Шувалов не стал министром. На скаку в Пешт он оставил по себе горький след и во флоте. Великий Князь Сергей Александрович был послан государем к сестре, только что разрешившейся от бремени в Кобурге. Он и Шувалов сели в Севастополе на яхту «Ливадия» и вышли в море вечером с намерением попасть на другой день на утренний поезд, отправлявшийся из Одессы. Наступивший туман заставил командира из предосторожности уменьшить ход и отворотить от берега. Шувалов до того порицал действия Кроуна, так выставлял необходимость прибытия в Одессу ранним утром, что бедный Кроун уступил, взял прежний курс и вскоре стал на риф у Тарханкутского маяка, где яхта окончательно была разбита юго-западными бурями. При крушении «Ливадии» обнаружился технический курьез. Смотритель маяка, донося о катастрофе, упомянул в рапорте, что, согласно инструкции Гидрографического департамента, в таком-то часу потушил маячный огонь для исправления горелок, а вновь зажегши фонари, усмотрел яхту на рифе. Ведь этого не допустят и на турецких маяках.

Закулисные подробности пребывания Шувалова в Ливадии не лишены занимательности. В присутствии государя Шувалов выразил удивление нашему объявлению, появившемуся в «Правительственном Вестнике» после берлинской конференции. Гирс, к которому Шувалов относился, утверждая, что правительственный документ этот уничтожал возможность всякого соглашения с Англией, настаивал в несвоевременности его и, наконец, спросил, кто его издал. Припертый к стене Гирс, наконец, ответил, что манифест, или объявление, писано им по приказанию государя. Fableau![136] Опасаясь, чтобы Шувалов в Ливадии не выкосил из-под ног его траву, Горчаков из Бадена написал Гирсу, что совершенно здоров и готов возвратиться в Петербург, но медики советуют ему еще несколько недель мягкого климата, <u>например крымского</u>. Князь просил ответа, за которым Гирс обратился к государю. На этот раз никто не помешал быть твердым, и Гирсу велели не отвечать ничего.

Какое сплетение самолюбий и личных стремлений в этом вопросе между Горчаковым и Шуваловым. Пользуясь слабостью царя, не гнушаются даже иноземного давления русские soi-disant[137] аристократы. Корыстная цель заставляет забывать чувства национальной гордости. Неистовый Бисмарк, привыкший презирать людей, не колеблется в средствах. По счастью, дядюшка, вновь принявший бразды правления в свои руки, из уважения к собственному сану действует осторожнее, он удаляет только неприятных, но навязывает племяннику своих фаворитов. И эти самсолюбцы, назло торгующие честью России для собстивенного возвышения, смеют порицать других, может быть тоже самолюбцев, но только до пределов, допускаемых патриотизмом. Едва ли можно смешивать Игнатьева с Шуваловым. В течение многих лет Игнатьев строил лестницу своего возвышения на том, что считал русскими нуждами, на русском цементе. Себялюбие, упорно сочетаемое с желанием пользы родине, извинительно, а себялюбцы-космополиты просто-напросто шулера. Игнатьев хочет, чтобы его Я занимало других, а Шувалов, чтобы его Я тяготело над другими. Что опаснее?

Всякий видит, что воспоминания мои имеют неподдельный оттенок повременных записок. Одни показания проверяются другими, противоречия есть, но они ничего не запутывают, выставляются факты по мере того, как они приходили ко мне или проходили мимо, привлекая мое внимание. В свое время легко будет определить степень верности различных оценок личностей и заносимых в записки случайностей.

Год близился к концу, а политический горизонт не становился яснее, в особенности страдало все более и более наше народное чувство. В ожидании разрыва с Англией по восточному вопросу мы послали летом посольство в Афганистан. Англичане, со своей стороны, потребовали от эмира, чтобы он принял их представителя. Шир-Али отказал, явно надеясь на наше заступничество. Английские войска двинулись в Афганистан; недовольные правителем афганцы не оказали сопротивление, и мы отозвали посольство по первому требованию Англии. Шир-Али к концу года выехал под защиту Кауфмана. Англичане, по-видимому, весьма легко одолели различные горные проходы, ведущие в сердце страны, и только затруднения в доставке припасов замедляли их успехи. Однако же упрямство Эмира необъяснимо иначе как надеждами на нашу помощь. Занявши англичан в Индии, а главное, поглотивши на время все внимание британского министерства, мы повели к мирному течению дел в Европе. При других обстоятельствах британская наглость не замедлила бы вновь выказаться какой-либо неожиданной решимостью. Поводов было немало. Австрийцы заняли Боснию, и тем только ограничилось исполнение Берлинского трактата. Все остальное осталось в ходу, или, вернее, в выжидании. Болгары по южную сторону Балканов не хотели подчиниться решению конгресса. К определению новых границ Греции не приступали, и наши требования утверждения Портой статей сан-стефанского договора встречали со стороны Порты обычную медленность и проволочки. От восточного вопроса отвлекали правителей безумные попытки недовольных. В октябре стреляли по испанскому королю, а в ноябре пытались убить кинжалом короля Италии при торжественном въезде его в Неаполь. Сидевший с ним в экипаже первый министр Кайроли отвел удар, но сам был ранен в ногу. В начале декабря оправившийся старец Вильгельм снова вступил в должность после торжественного въезда в свою столицу, представлявшего совершенную противоположность въезду нашего государя в Петербург после жизни в Ливадии, случившемуся на другой день берлинского торжества. Раненый Вильгельм тихо ехал по Unter den Linden среди ликующего населения, без малейшей охраны, а нетронутый племянник промчался в Зимний дворец между двух рядов воинства, провожаемый эс-

кадроном конных гвардейских офицеров. Везде встревожились, и если не везде стали принимать меры, утвержденные про предложению Бисмарка удобным германским парламентом, то заговорили о них. Одна Англия оставалась равнодушной, хоть и там писали королеве угрожающие письма. Втихомолку она собирала против нас силы. Бывший товарищ Игнатьева в Константинополе, впоследствии первый полномочный Италии в Берлине, Корти, проезжал через Ниццу из Лондона и уверял Игнатьева, будто англичане предлагали ему союз на случай, если бы мы вздумали откладывать выполнение берлинского трактата.

У нас внутри год завершился удалением от дела Тимашева. При длинном рескрипте дали Владимира, и все министры из совета поехали к усталому труженику выразить сожаление, что между ними одним неспособным менее. Грейгу за контроль над какими-то лесными государственными имениями в царстве Польском дали лесов на многие сотни тысяч. Ему захотелось иметь нового товарища, и старого Шамшина при переходе в сенат наградили лесами же на 300 тысяч. А мы чуть не банкроты, и рубль стоит половину своей ценности.

У нас по флоту важная новость. Чихачев подал проект об употребленииии настоящего флота таким образом, чтобы ежегодно выходила экономия до десяти миллионов на кораблестроение. Разумеется, при таком плане действий уничтожаются все плавания в своих водах, до сих пор придумываемые только с целью доставить средства к жизни большому числу офицеров. Идеи Чихачева многим не понравились. Проект его попался мне в руки, когда я ездил на свидание с Поповым в Специю. Неукротимый Попов, несмотря на недавнюю болезнь, попрежнему катается по Европе и теперь избрал мой район, Италию и Австрию. Мне и самому хотелось сказать мое слово по проекту Чихачева, а просьбы и убеждения Попова, считающего необходимым, чтобы я напоминал о прежней моей прыти, утвердили мою решимость. Давно не спрашивали моих советов, и я принял было твердое намерение не давать их, но трудно отвыкать от привычки выражать свое мнение. Присел на несколько часов и написал управляющему министерством следующее из Ниццы послание.

«Журналы и частные сообщения распространили известие о переменах в организации флота нашего, проектируемых по мысли К. А. Чихачева. Важность вопроса не только для моряка, но для каждого русского налагает на знакомых с предметом нравственную обязанность сказать по этому случаю свое слово. Как бы ни было слабо настоящее, представляемое на соображение Вашему Превосходительству, допускаю надежду, что вы примите решимость мою только за желание помочь тем, которые будут глубже изучать вопрос, имея под рукой данные для проверки выводов Чихачева».

«В одной из докладных записок, поданных мной в разное время предместнику Вашего Превосходительства, я позволил себе не согласиться с заключением лиц, считавших за собой право на государственное воззрение. Разобравши их доводы об искусственности флота в России, я противопоставил им собственный взгляды и аргументы мои закончил следующим выводом: "Значит, задача не в доказательстве искусственности нашего флота, а в более искусном управлении им при наших неблагоприятных условиях". С тех пор, в особенности после подвигов нового поколения моряков, взросших под просвещенным наблюдением генерал-адмирала, всякая мысль о ненадобности флота устранена силой фактов, искусство же в содержании и в потребленииии его на пользу государства требуется не только прежнее, но и несравненно большее. Одна господствовавшая над всеми другими специальность раздробилась на многие, равно важные в целом и стоящие гораздо дороже прежней. Не стану доказывать этого всеми признанного положения и перейду прямо к тому, по мнению моему, верному воззрению, которое

выказано в проекте К. А. Чихачева. Соглашаясь с доводами и заключениями адмирала в общих чертах их и надеясь, что предположения его приведутся в исполнение, я позволю себе дополнить их некоторыми замечаниями».

«Предлагаемый г. Чихачевым резерв я считаю наиболее соответствующим нашим условиям. Сам он говорит, и весьма верно, что резерв этот должен быть способен действовать в момент нужды, а не считаться убежищем неспособностей и утомления. При дальнейшем развитии, или в исполнении проекта, он, без сомнения, укажет на средства к достижению такой действительности, теперь же ограничивается только абрисом различных мер. Средства в этом случае должны быть достойны цели. Главнейший вопрос — в сохранении личности. В распределении ее на резервное время я не могу согласиться с г. Чихачевым, особенно относительно младших чинов. Вероятность возвращения на действительную службу из резерва зависит от двух условий: от сохранения приобретенных познаний, что требуется пользой службы, и от совершенно противного условия — от жертвы приобретенных познаний по легкости найти способностям другое, более выгодное направление. Предлагаемое г. Чихачевым состояние — три года на действительной службе и три года в резерве с содержанием и правом жить по воле — едва ли отвечает у нас складу общественной жизни. Большинство резервных офицеров, живя в провинции, вовсе не будут следить за морским делом в течение трех лет, и, конечно, многие, имея в ресурсе известное содержание, а через три года перспективу большего, неторопливо найдут себе более выгодные занятия. Пример 1863 года, когда призвали отпущенных для службы на коммерческих судах, доказывает верность моих предположений. Нужно непременно дать резервному офицеру средства жизни, но с тем, чтобы в течение резервного времени он поневоле следил, если не за морским делом в строгом смысле, то за его приложениями. В Англии это легко: публичность и общее морское настроение тому способствуют. У нас для достижения цели требуется искусственное давление. Важно также, чтобы к офицеру не прилипала изнеженность, отвычка от обязательной службы и послушания. Долгое пребывание в море заслуживает льгот, но не таких, которые отрывали бы от моря в летах силы и здоровья. Ради всех этих соображений я полагал бы, по окончании трехлетней кампании, давать лейтенантам полтора года льготной жизни, а остальные полтора обращать на службу, не делая изменения в их резервном содержании. Вопрос в том, как и чем занять их, не нарушая расчетов Чихачева. Различные специальности указывают: для артиллеристов приморские форты и заводы; для минеров полевое инженерное ведомство, для механиков различные железные фабрики. Флотские офицеры будут весьма полезны на внутренних водяных путях, даже прикомандирование их к стрелковым батальонам, знакомя с необходимым строем и с современным оружием, поможет действительности флота в случае призыва резервов. Плавание на коммерческих судах так, очевидно, полезно, что офицеров резерва, которые успеют получить место на купеческом флоте, не следует отвлекать от занятия во все три года льготного времени. Все перечисленные в различных ведомствах обязанности не должны ничего стоить ни тем ведомствам, ни морскому. Само собой, молодые офицеры будут занимать второстепенные положения, и если бы случилось, что им дадут там за труд вознаграждение, то в поощрение резервная плата от морского министерства не должна прекращаться. При подобном распределении льготных годов офицеры не всегда успеют сыскать себе уютные береговые места, будут, по возможности, соприкасаться к своему делу и не станут уклоняться от амбаркации. В случае надобности собрать их будет легче».

«Совершенно иное воззрение должно руководить в соображениях о высших чинах. Втянутые долгой службой в колею одностороню-

ности, они не смогут найти себе в России никаких средств жить своей специальностью. В отношении к ним придется уже думать не о мерах удержания на службе, а об удалении с нее, не нарушая требований справедливости. При какой бы то ни было системе нельзя избежать ревностных, неспособных и слабосильных способностей. При деятельном употреблении флота, проектируемом Чихачевым, такие труженики, независимо от их воли, будут засорять линию и мешать государству пользоваться свежими силами. Нельзя, однако ж, безжалостно лишать их средств существования или доставлять им такие, которые изведут их на все остальное время жизни в положение чернорабочего. Их вопли и сетования, как бы ни было мало число их, проникнут во все слои общества, вопли тем более извинительные, что на действительной службе, проведенной большей частью вне отечества, они не могли радеть о собственных делах, что возможно для сухопутных офицеров, даже занятых деятельной службой».

«Чтобы согласить государственные требования с справедливостью и во избежание всяких неправильностей в оценке достоинств долго служивших офицеров, я полагал бы дополнить проект Чихачева о личности законом о пределах лет, в которых человек считается способным к известной деятельности, прилагая его не прежде как после 20 лет службы и не к тем, которые выслужили уже этот срок, а к офицерам, которые достигнут его через известный по издании закона промежуток времени. Адмиралы не должны увольняться от службы иначе как по желанию или по суду, как это делается почти во всех флотах. Найдутся, несмотря на самую деятельную службу, такие, которые не будут отвечать требованиям употребления флота по проекту Чихачева. Их должно включать в особый запасный список, на резервном содержании, предлагаемом в проекте, без права на производство и под условием, в случае нужды быть в распоряжении правительства. Изготовленные по предлагаемой автором проекта системе они будут заслуживать резервного содержания на остаток дней и принесут пользу в обстоятельствах, когда и потухающая энергия воспринимает на короткое время свою жизненность».

«Говоря о чиновней иерархии во флоте, не могу указать на бесполезность чина капитана 2 ранга. Не определяя особенного круга действия, нисколько не облегчая начальства в различных назначениях, чин этот должен исчезнуть вследствие общего естественного закона: «Не может быть того, чему быть нет причины». Нарушение этого закона даже с видимо благой целью никогда не остается безнаказанным. В родственной службе чин полковника, равный чину капитана корабля, достигается несравненно скорее, нежели у нас чин капитана 2 ранга, а последний приравнивается к подполковнику. Без цели и пользы оскорбляется самолюбие служащих тому же знамени».

«При кратчайшем сроке службы матросов, на котором основан расчет Чихачева, следует ускорить изготовление специалистов. Теперь курсы продолжаются два года, тогда как везде восемь месяцев считаются достаточными. Это ведет к перенесению всех школ в море незамерзаемое, т.е. в Черное. Весьма желательно было бы добиться поощрениями, чтобы специалисты оставались на другой срок службы, но меры по этому предмету до сих пор везде оказываются недействительными. Остается по возможности заботиться, чтобы специалисты не терялись в резерве. Многим найдется дело в присмотре за хранящимися в запасе минами и за механизмами резервных судов, но главное, нужно производить сколько можно более специалистов и в возможно короткий срок. Везде ощущаемая надобность в машинистах и кочегарах указывает на необходимость плавающей школы для них».

«Кончая замечания мои относительно личности, прибавлю, что едва ли можно согласиться с мнением К. А. Чихачева относительно освобождения главных командиров от управления в портовых городах гражданской частью.

В наших портах адмиралтейства и здания, принадлежащие флоту, составляют преимущественно город, тогда как в иностранных круг действий главного командира ограничивается осязательно адмиралтейской стеной. Если и можно ожидать столкновений между главным командиром и высшими военными или гражданскими властями, столкновения эти, по летам и положению лиц, будут весьма редки, во всяком случае пристойны; при разбросанности же наших морских учреждений неизбежно будут происходить ежедневные столкновения между второстепенными лицами, не останавливаемыми теми же условиями, и вместо облегчения главного командира, его подвергнут несносной, нарушающей спокойствие духа необходимости входить в мелочные дрязги низших исполнителей. Полезно было бы подчинить главному командиру по управлению гражданской частью ответственного чиновника в ранге вице-губернатора и оставить адмирала по-прежнему главным администратором всего портового района».

«Проект Чихачева о том, что касается материальной части, вызывает на весьма немногие замечания. Соглашаясь с взглядом автора проекта на неотложность создания действующего флота, который мог бы бороться с возможными противниками при равных условиях, прибавлю к аргументам Чихачева следующий. В наше время войны будут коротки. Никакой бюджет не вынесет долгой борьбы при настоящих ее требованиях; скажу даже, никакой народ, как бы ни был высок патриотизм его, при теперешнем тесном соединении частных интересов не вытерпит долгого перерыва в коммерческих и промышленных сношениях. Будущие войны поразят потерями и количеством истребления, но вместе и краткостью. В течение войны нельзя будет создать ничего серьезного, такого, что могло бы решить участь войны на море. Это соображение совершенно изменяет вопрос патриотической наастойчивости создавать все у себя дома. Нужно в данный момент иметь все в исправности, не хуже, чем у других, и если сухопутное ведомство при надобности прибегает к иноземной помощи, морскому это еще извинительнее. Г. Чихачев ограничивает иноземную помощь механизмами. Допуская, что мы можем строить суда не хуже иностранных, думаю, что и в постройке придется прибегнуть к чужому содействию для своевременного приведения плана Чихачева в исполнение».

«Единственным аргументом против заграничных заказов может служить поощрение, оказанное с 1856 года частной промышленности, и траты на устройство казенных заводов. Мне кажется, не может быть спору, что действия эти указывались настоятельной надобностью и по направлению своему были полезны для будущего. Все заведенное казной и часть созданного с ее помощью промышленниками понадобятся для содержания в порядке тех дорогостоящих механизмов, которые доставит нам иностранная промышленность в несравненно лучшем виде, и для создания вспомогательныхв боевых средств, не требующих долгого производства. Касательно частных заводов, один, много два достаточны для надобности флота при существующих казенных. Заботливость о многих едва ли разумна. Австрийское правительство, строящее весь свой флот на частных верфях, покровительствовало двум строительным заведениям и пришло к заключению, что одного достаточно. Правда, флот Австрии менее проектируемого Чихачевым, но зато у нее нет казенных строительных верфей, исключяя двух стапелей в Поле, и вовсе нет государственных заводов, способных производить большие механизмы. Короче, все, что сделано у нас до сих пор в этом отношении, сделано хорошо, но не должно вести к упорству в пользованиии недоброкачественными произведениями или менее совершенными, нежели у противников».

«Заключу мое представление личным обращением к Вашему Превосходительству. Мысли г. Чихачева основательны и проникнуты желанием государственной пользы. Проект

его при наших условиях мне кажется лучше иностранной системы резервов. По нем во всякое время мы будем иметь действительную боевую силу, и из нее легко будет выделять на непредвиденные надобности суда, способные на всякое дело. Кадр десяти тысяч хороших матросов мне кажется достаточным, служебная лестница для офицеров разделена на верное число прочных ступеней, и положение их, с первого взгляда, кажется обеспеченным. Но здесь я обращусь к Вашему Превосходительству как к главному сотруднику генерал-адмирала и почтительно попрошу Вас уделить от многочисленных занятий Ваших несколько часов на спокойное и глубокое размышление. Резерв г. Чихачева действующий; он вызван настоятельностью создать материальный флот, не увеличивая морского бюджета, следовательно, нет ничего общего между попыткой прежних лет и настоящим проектом. Прежний резерв касался устаревших личностей. Вступивши в управление флотом, генерал-адмирал очутился лицом к лицу с двумя затруднениями: новым двигателем военных кораблей и старым, закоренелым предубеждением, чтившим, очевидно, отжившую для боя парусность. С тех пор не произошло общего переворота в морском искусстве, хотя все части подвинулись так быстро, что не знакомому с постоянным развитием их кажутся новыми. Не менее того, нить не прерывалась. Направление, данное генерал-адмиралом, заставило всех заниматься новым делом и продолжать учиться на службе. Этот ответ на призыв августейшего начальника выказался блистательно, хотя в тесном круге действий, в минувшую войну. Мне кажется, в такое время и в таких условиях нужно предпринимать всякую реформу, стараясь первее всего не выказать равнодушия власти к усердным исполнителям ее воли и к тем связям, которые совокупляют власть с исполнителями. Августейший начальник наш, обреченный быть до конца жизни первым действующим моряком России, несмотря на возбудительность подобного положения, конечно, проникнут мыслью, что Россия, с затруднениями и без подобающего значения, все-таки будет существовать без сильного флота, а без могущественного начала справедливости существовать не может».

Мой отзыв на проект Чихачева самому мне казался слабым. Кроме неимения под рукой нужных данных, я не вполне разделял воззрения адмирала-директора. Но, с одной стороны, я был убежден в негодности настоящего флота нашего и в необходимости создать новый, с другой, известная по опыту решимость великого князя попирать личность для выполнения эффектных замыслов (а проект Чихачева сулил эффект громадный) заставляло меня опасаться новой бессмысленной растасовки существующего персонала. В проекте Чихачева я подметил возможность согласить требования необходимости с справедливостью к служащим и с плачевным состоянием наших финансов. Война для нас немыслима на многие годы. Мне показалось, что мы будем иметь время выстроить флот и снова достичь действительности его в массе, несколько умаляемой проектом резерва. Невозможно было добиться одного, не жертвуя несколько другим, и я, по совести, стал на сторону меркантильного автора нового плана.

До конца года я не получал ответа, разве принять за ответ ленту Белого Орла, присланную мне накануне новолетия. Многим эта, как ее называют, генерал-лейтенантская награда показалась необыкновеенной, а мне поистине доставила, по крайней мере, столько же горечи, сколько утешения. Позднее чествование не могло поставить вновь на твердые служебные ноги, с которых сбили случайности и собственные промахи. Спокойствие и средства к жизни, вот чего требовал мой полустарческий эгоизм. Начальство знало это и давало мне повод надеяться. Вышло иначе.

ГЛАВА XI

НАШИ ВНУТРЕННИЕ СМУТЫ. ДЕЛО БАРАНОВА

Волнения между татарами. Проявление чумы. Убийство князя Крапоткина. Открытие тайных типографий. Покушение на жизнь нового шефа жандармов. Покушение на жизнь Государя. Россия в осадном положении. Правительство теряет голову. Покушение на жизнь государя в верной Москве. Правительство замерло в административном смысле. Новые права генерал-губернаторов. Заказ яхты-«поповки». Судное дело Баранова. Затруднения в Англии. Франция и Германия. Отставка Мак-Магона. Германия и Россия; австро-германский союз. Поездка в Италию. Часовая фабрика Патека. Париж; встреча с Великим Князем Константином. Его невольное пребывание в Париже. Болезнь Императрицы. Свидание с Цесаревичем.

В 1879 году обстоятельства так смешивались, наше собственное положение так от них зависело и разнообразилось, что ясность воспоминаний достижима только группировкой фактов в специальные категории. Поэтому я делю воспоминания 1879 год на три рубрики: наши внутренние дела, внешние дела с Европой или в Европе, наконец, мелкие случайности жизни, собственно нас касающиеся.

В начале года произошло волнение между казанскими татарами будто вследствие опасения, что их хотят обратить в христианство. По поводу этих волнений рассказывали мне анекдот о губернаторе Скарятине. Татары сделали складчину в пользу турок. Местный исправник, по приказанию Скарятина, накрыл собранную сумму, которую губернатор представил как пожертвованную усердными магометанскими подданными царя на пользу войны. Татар поблагодарили.

Война кончилась. Приходится сводить счеты. Выказали, что подумали прежде всего об экономии. Назначили полноправную комиссию для сокращения расходов под председательсвтом Абазы из Грейга, графа Баранова, К. К. Грота, барона Николаи, Заблоцкого и Дотровского; комиссии дозволили исповедывать всех, даже министров. Казалось, мы не на шутку принялись за западные приемы. Une vraie commission d'enquête.[138] Но как-то у нас все кончается балагурством, жонглерством, помощью ящиков с двойным дном. Может быть, комиссия и собиралась, может быть и опрашивали в ней министров, только к концу года не замечалось еще никаких следов ее действий. Заключения, вероятно, разбивались об обычные Высочайшие повеления, испрашиваемые каждым министром отдельно.

Административный меч, разящий воду, дело у нас привычное и никого не пугающее.

На беду встряслась настоящая беда. На юге вдруг появилась чума, поздний подарок войны. Обыкновенно в наших схватках с Турцией она свирепствовала во время войны в рядах войска, а тут нежданно проскочила в Астраханскую губернию по окончании уже бранных действий. Много толковали, чума ли то или пятнистый тиф. Даже в Петербурге находили признаки заразы, и по этому случаю вышли у Боткина препирательства с его врачами-коллегами. Ошибку Боткина, уверявшего, что у рабочего Прокофьева настоящая чума, приписывали желанию его, нигилиста по браку, взволновать массы. Прибегли к обычной нашей панацее: послали на место генерала и флигель-адьютантов. По счастью, в этом случае сделали удачный выбор, назначив в зачумленный край Лорис-Меликова. Наука от принятых мер, вероятно, выиграла, но наше благополучие сильно пострадало. Бисмарк, обложивший нашу хлебную торговлю тарифом с 1880 года, воспользовался случаем и просто запер нам всякий вывоз под предлогом заразы. Его примеру последовала Австрия. Мы очутились в карантине относительно всей Европы, несмотря на принятые дома строгие меры. Сожгли фокус язвы-Ветлянку, пригласили иностранных санитаров убедиться воочию в действительности принятых нами предосторожностей. Ничего не брало, торговать нам все-таки не позволяли. В Италии, где я находился в то время, известие о чуме произвело панику. Турция ограждалась от нас, а Италия от всего востока. Меры, принятые наскоро, произвели странное явление: в Италии наши грузы окуривали и корабли томили долгим карантином, а в сохранившем хладнокровие Марселе они свозились беспрепятственно и столь же беспрепятственно перевозились железными дорогами в Италию. Чума будто испугалась, держалась в тех же пределах и скоро прекратилась, а нас обобрали. Нельзя, конечно, винить правительства в ревности охранять подданных от бедствий, но в этом случае ясно высказывалось намерение не столько охранять себя, сколько вредить соседу. Странно, что чума похитила всего 350 жертв и так скоро исчезла в месте зарождения, весьма невыгодном в общем гигиеническом смысле.

Но в бедной России развилась чума другого рода, страшнее азиатской. Нигилистическое учение охватило многих, даже мыслящих, и стало проявляться в текущем году грозными признаками.

Равнодушное правительство, чуждое всякого анализа явлений, сложило руки, и нигилизм возрос в страшного мстителя народного горя и унижения.

В феврале бывший мой товарищ по Северо-Западному краю, князь Крапоткин, отъезжая с бала в Харькове, получил смертельную рану из револьвера. Убийцу не разыскали, и убийство приписывали приговору таинственного комитета, каравшему Кропоткина за дурное обращение с политическими арестантами.

К. К. Грот, посещавший харьковские тюрьмы незадолго до трагического конца Крапоткина, рассказывал мне, что нашел там политических преступников в совершенном отчаянии. Их дурно содержали, кормили так скупо, что доктор из сострадания записывал изнеможенных на более сытную госпитальную порцию, а в довершение жестокости перед окнами содержавшихся воздвигли виселицу.

За убийством Крапоткина последовал ряд преступных попыток. Повторения и безнаказанность их показывали, что заговор сплетен искусно и заговорщики упорствуют не по-русски. Очевидно, однако ж, что общество не сочувствует им, но, недовольное существующим порядком, готово принять иной, из каких бы то ни было рук и фактов он ни истекал.

В Киеве открыли тайную типографию. Пойманные на деле заговорщики сопротивлялись, были убитые.

Одновременно с киевской типографией открыли в Петербурге на Гутуевском острове, в пакгаузе таможенного надзирателя Эпштейна, целый груз прокламаций и типографские

шрифты, а на Охте целую печатню и по этому случаю арестовали некоторых артиллерийских офицеров. Утверждали, будто нашли, наконец, гнездо, из которого выпускались все революционные наказы, но оказалось, что открыли только один из многих притонов нигилизма. Заговорщики продолжали свои подвиги даже смелее, нежели прежде; они пожертвовали Эпштейном, чтобы обмануть пробудившуюся полицию. В половине марта среди белого дня к карете шефа жандармов, Дрентельна, подскакал верхом юноша и выстрелил в экипаж. К счастью, последствий не было, но дерзкий ездовой успел ускакать, несмотря на преследование Дрентельна, и был пойман только в конце года в Таганроге. Его помиловали, т. е. не повесили. Ко времени поимки случилось происшествие, показавшее, что одними казнями дело не поправишь.

2/14 апреля утром у Певческого моста некто Соловьев сделал пять выстрелов по государю, совершавшему обычную утреннюю прогулку. Завидя его, государь, как рассказывали, по предчувствию заключил, что настал его конец. Однако повторенные выстрелы не попали. Испуганного царя привезли во дворец, а преступника предали суду и казнили.

Испуганное правительство объявило почти всю Россию в осадном положении. Назначили генерал-губернаторов в Петербург, Харьков и Одессу, догадавшись, однако ж, употребить на террор героев последней войны — Гурко, Меликова и Тотлебена — и всем генерал-губернаторам дали неограниченную власть. Велели торопиться решением прежних политических дел, и к концу года не привычный к казням русский народ насчитал восемнадцать виселиц. Фанатики шли насмерть с восторгом, как было в первую французскую революцию. Нашелся даже такой, что не дождался публичной казни и в Одесской тюрьме медленно сжег себя над керосиновой лампой, не имея в руках другого орудия, годного для прекращения жизни. Закон и полиция стали бессильны. Злодеи пользовались общим недовольством.

Причины недовольства ясны. Политическое унижение перед иностранными державами и пагубное самовластие в отношении к своим. В то самое время, как недовольство выражалось преступлениями, правительство будто нарочно выказывало, что преступные на него попытки основательны. Абазе понадобилось отделаться от ничего не стоивших облигаций Фастовской дороги. Услужливый Грейг отыскал источник. Выгоды операций государственного банка и при Рейтерне нигде не показывались, шли на личные потехи. Грейг склонил царя дать из них 900 тысяч в заем Абазе, потом уверил, что долг тяготит Абазу безмерно, и предложил возврат заимствованной суммы облигациями дороги, нигде не котировавшимися.

Самая жизнь царской семьи стала предметом насмешек и поруганий.

И какое же правительство решилось так зверствовать? То самое, которое теряло голову при малейшем признаке пробуждения народных сил и добровольно сходило с руля при малейшей опасности в курсе государственного корабля.

Виселицы росли на плацах Киева, Одессы и Петербурга, но в Харькове Меликов иначе понял свое назначение и воспользовался безграничной властью на благосостояние преданного в его руки края — на прокладку дорог, на водопроводы и другие улучшения. Охранительные меры шли в Харькове своим чередом, но без безобразной строгости и без всякого гнева, вызывающего только большие неистовства со стороны нигилистов. От гневной горячки не уцелел и тот, чье назначение быть преимущественно милостивым. Приговоренных в Киеве к расстрелянию царь велел повесить в ответ на колебания Черткова утвердить приговор суда. Вообще рассказывали, что государь ожесточился, лично настаивал, чтобы с содержащимися в крепости обходились жестко и во всем и всех видел измену. При таком настроении царя стали верить слухам, будто Соловьева пытали перед казнью и он выдал многих и многое. Последствия доказали, что все говорившееся об

открытии Соловьевым единомышленников чистая сказка. Он умер восторженным мучеником, как умирали все жертвы нигилистическог учения.

Упорство попыток на жизнь государя помешало ему присутствовать на золотой свадьбе дяди в Берлине. Прусское правительство не ручалось за целость гостя, и представителями семейства Романовых были великие князья Алексей и Михаил Николаевич. Уже позднее, в сентябре, оба императора съехались на границе, в Александрове. Кроме желания поздравить Вильгельма с семейным торжеством, владыки встретились еще вследствие газетной войны, поднятой между обоими государствами, по-видимому, с согласия Бисмарка. У нас просто велели замолчать, и тревога скоро улеглась. Осталось, однако ж, общее впечатление, что это только перемирие и что согласие между Германией и Россией рушено.

В декабре совершенно неожиданно произведено покушение на жизнь Государя в верной Москве, и ученым способом. У Рождественской заставы из купленного злоумышленниками дома провели подкоп под полотно железной дороги и взорвали мину при проходе, как думали, царского поезда. К счастью, от Симферополя поезд, на котором ехал государь, пошел впереди, а не вторым, как полагали заговорщики, и беда разразилась над багажным поездом. Опять речь к родителям в Москве и сетование на дурное воспитание юношества. Обратились, однако ж, и к дельному. Кажется, убедились, что одни меры строгости не поведут ни к чему. Заметны признаки более человеческого воззрения на язву, подтачивающую общество. Начали доискиваться причин озлобления. До московского покушения говорили, будто в наступающее 25-летие дадут кое-какие политические права. Разумеется, после взрыва слухи умолкли.

Пораженное смелостью нигилистов, правительство обомлело и вяло выказывало в течение года свою административную деятельность. Я говорил уже о комиссии по сокращению расходов. Лучшим доказательством ее агонии было пребывание в Ницце в течение всей зимы одного из самых разумных членов, К. К. Грота. Удаление его приписывали размолвке с председателем государственного совета. Грот, честный человек и либерал, но либерал„ опасающийся, что торжество либерализма потревожит его в свитом уже гнезде. И выходит, что новый порядок может быть введен только голяками. Со смертью князя Барятинского составилась кое-какая экономия, но здесь уже не комиссия, а судьба взглянула милостиво на наши бесполезные расходы.

Вообще правительственные действия ограничивались усилиями пресечь внутреннее зло. К сожалению, принятые меры еще более укрепляли его. Были даже меры безумные, например, генерал-губернаторам помимо власти, свойственной военному положению, дали право, ни с кем не сносясь, привлекать в район их самодержавия все губернии, лежащие в пределах местных военных округов. Всех ненасытнее оказался в этом отношении Долгоруков, неспособный водворить какой-либо порядок в одной Москве. Вся Россия разделилась таким образом на временные пашалыки, и я предвижу одну только счастливую случайность, которая может остановить сатрапов, когда два из них станут тянуть к себе ту же губернию. Из пререканий выйдет на божий свет нелепость подобного права кроить Россию, и оно кончится вследствие административного скандала. Пока вся Россия вне закона по поводу дерзости немногих нарушителей его. Все мечутся в страхе вследствие бесстрашия нескольких нарушителей спокойствия. Может быть, славянская натура требует таких чудовищных толчков, может быть, они оправдаются успехом, но все-таки безумно объявлять войну целому народу, всему обществу. А вчера еще освобождали болгар и дали им конституционного князя, приезжавшего в Ливадию перед вступлением на княжение! Хороши приемы, которые он оттуда вывез.

Во флоте две крупные случайности: заказ яхты-«поповки», вместо разбившейся «Лива-

дии», и суд над флигель-адьютантом Барановым по поводу поданной им управляющему министерством дерзкой записки. Оба обстоятельства как наполняющие бюджет общего антиправительственного настроения требуют подробного обзора.

В сентябре в Париже, где проживал на пути из Биарица в Петербург генерал-адмирал, я был поражен известием, что в Англии заказана круглая яхта по чертежам того же кудесника Попова. Впервые заговорил о ней великий князь в Биарице, за обедом, и тогда же сознался, что дело содержалось им в строжайшем секрете, журнального страха ради. Летом в хорошую погоду великий князь прогуливался по Черному морю, и, как бы не доверяя собственной опытности, заставил плавать на ней Лесовского. Такое внимание к судам, оказавшимся бесполезными во время войны, заставило подразумевать хитрость. Действительно, лукавство выразилось жертвой еще нескольких миллионов на поповские шалости – иначе не могу назвать фантазию моего товарища. Великий Князь толковал мне в Париже, что яхта «будет блин, а на блине – обыкновенное судно», а цесаревич, с которым я виделся в Канне вскоре после свидания с генерал-адмиралом, от души пожелал, чтобы этот блин пришелся дядюшке комом.

Барановская история, оказавшаяся к концу года событием, началась еще в прошлом году. Перед войной Баранов писал в одной из газет о негодности броненосцев для военных действий, намекая более нежели прозрачно на дорогие поповки. Не знаю, неудобная ли для министерства настойчивость Баранова или иные соображения побудили задетое статьями начальство дать случай критику проверить его теорию. Никогда не служившего на море Баранова назначили с открытием военных действий командиром «Весты», одного из пароходов, занятых у Русского Общества пароходства и торговли. Как бы в доказательство причудливости судьбы Баранов на купеческой «Весте» стяжал лавры, отбившись от турецкого броненосца с огромной потерей в людях, свидетельствовавшей, что бой был упорный. Главный командир Черноморского флота, Аркас, узнавши о происшествии скоротечным и лаконическим путем проволоки, телеграфировал царю под Плевну и имел неосторожность сравнить дело с подвигом Казарского 1829 года. Радостная весть пришла в самые черные плевненские дни. Очевидцы рассказывали, что царь плакал от радости и показывал телеграмму даже часовым у своей палатки. Разумеется, подражателям Казарского дали те же награды. Уже получивши их, Баранов, дитя своего века, настрочил реляцию, в которой помимо балагурных подробностей о том, как его защищал от выстрелов Голицын своим тучным туловищем, поместил слова: «броненосец постыдно бежал». Тогда же в иностранных газетах явилась статья турецкого адмирала Гобарт-Паши, объявившая, что броненосец был нагружен горючими веществами и следовал с ними в Варну. Только этим можно было объяснить уклонение броненосца от дальнейшего боя. Возбужденный наградами, Баранов выписал реляцию, которой подивились в Европе. Из счастливого смельчака он воздвиг себя в небывалого героя. Общее мнение, всегда чуткое к отечественной славе, чествовало его как рыцаря и la moutarde lui a monté au nez.[139] В публикованных письмах к Баранцову и другим он продолжал тянуть ту же ноту о негодности броненосцев, но уже резче, подпираемый успехом.

С подробностями о битве был послан в Петербург лейтенант Рожественский, произведенный за дело в капитан-лейтенанты и украшенный Георгием. Говорят, Баранов избрал Рожественского, чтобы ублажить офицера, явно не разделявшего мнение командира о собственном подвиге. Как бы то ни было, Рожественский, не отказавшись от наград (да и не могши отказаться), напечатал в журналах письма, низводившие Баранова с пьедестала и объявившие, что случай «Весты» ничего не доказывает, что не броненосец «позорно бежал»,

а уходила «Веста», как и должна была делать, и, уходя, вела беглый бой.

Возвеличенный Баранов оскорбился и просил управляющего министерством назначить следствие и потом предать Рожественского суду за клевету. Что выказало следствие и как велось оно, из дела не обнаружилось, потому что, когда был передан суду Баранов, разбиралась только его записка управляющему, а дела «Весты» запрещено было касаться.

Морское министерство производило следствие девять месяцев и только по истечении их объявило Баранову то, что могло объявить вначале, — именно, что дело не подлежит военно-морскому суду и Баранов может начать его в общих судах. В то же время министерство решило, что призовые деньги за взятый Барановым турецкий пароход «Мерсину» следует дать не одному «взятелю», а распределить на весь Черноморский флот, хотя почти все суда его стояли в то время во льду в Николаеве в Одессе. Назначение призовых денег при существующих положительных узаконениях, с одной стороны, и столь же положительном физическом препятствии влиять на исход дела с флотом, с другой, вышло вопросом спорным. Не менее того, получивши десятки тысяч вместо ожидаемых сотен, Баранов, уже раздраженный решением вопроса, касавшегося его чести, просто сошел с ума. Ему показалось, что по личной ненависти его хотят лишить даже достояния, и в гневном порыве он подал управляющему записку, по моему мнению, не только непристойную, но глупую. В ней неловко перечислялись все его подвиги и указывались заслуги, за которые не было никаких наград. Записку, приводившую в негодование всякого порядочного человека, Баранов просил представить на усмотрение Его Императорского Величества.

Великий Князь Константин был тогда в Париже, но едва ли доклад государю произошел без его ведома. Я слышал даже, что Орлов советовал генерал-адмиралу потушить дело, но безуспешно. Государь велел направить дело судебным порядком.

В исходе декабря Баранов предстал перед военным судом петербургского порта по обвинению в оскорблении начальства. Аудитория состояла из почтенных лиц морского и других ведомств. Обвиняемое подсудимым министерство блистало отсутствием. Присутствующие знали le dessous des cartes,[140] именно, что генерал-адмирал не любил Баранова за антипоповочное направление и еще более за то, что к Баранову был внимателен цесаревич. Несмотря на это, никакой здравомыслящий человек не мог оправдать Баранова, да и самая личность подсудимого мало в ком возбуждала симпатию. По крайней мере, самые компетентные ценители его, моряки, всегда видели в Баранове ловкого пройдоху только, и слава его подвигов нисколько не изменила сложившегося о нем мнения. Когда прочли обвинительные пункты, все дивились, как неглупый человек мог поставить себя в подобное положение. Но Баранову во всем удача. Преследовавший по поручению министерства прокурор Никифоров увлекся до неприличия, придал обвинению характер прежнего, уже вымершего в новых судах кляузничества. Громя поступок Баранова с точки зрения дисциплины, чем и следовало ограничиться, Никифоров коснулся поводов, заставивших, по его мнению, Баранова подать записку, выставил их как бесчестные, сказал, что Баранов хотел дерзко восстановить собственное значение, утерянное после того, как выяснились подробности боя «Весты», короче, дал поводы Баранову коснуться дела, к которому до того касаться не смели.

И наговорил же герой «Весты». Он явно сжег свои корабли и вылил горечь, накопившуюся на душе. Его речь здесь прилагается как образчик вопля оскорбленного самолюбия и как доказательство нелепости игры в либерализм, которую дозволила себе власть, думая всегда иметь в руках козыри. Оказалось, что достаточно одной европейской формы суда, чтобы и в России поразить гонителей, как бы высоко ни стояли они.

Спрашивается, кому и в чем принесло пользу это грустное дело? Министерство вело себя так неловко, что главнейшие основные вопросы, оставшись нерешенными, дают каждому повод выводить свое заключение. Прав ли Рожественский? Не воспользовалось ли его статьей министерство (всякий разумел не честного Лесовского, а генерал-адмирала), чтобы свести ненавистного человека с пьедестала? Насколько входит тут разногласие генерал-адмирала с цесаревичем? Все это вопросы, порожденные гласным судом и не решенные. К ним нужно прибавить важнейший — все награды за дело «Весты» даны государем по собственной оценке. Как же министерство его величества возбудило сомнение, заслуживали ли награжденные оказанных им милостей? Мудрено ли после этого, что отрицатели являются в низших слоях? Друг мой Лесовской, творящий беспрекословно волю Константина, окунулся, ни в чем не повинный, в грязь и сослужил плохую службу флоту, который так любит, а покойный Краббе, о флоте мало думавший, не допустил бы дела, результатом которого вышел только скандал. Баранова уволили со службы.

Судебная хроника

С.-Петербургский военно-морской суд.

(Заседание 18 декабря)

Дело о флигель-адъютанте капитане 1 ранга Н. М. Баранове.

Обвиняемый флигель-адъютант Баранов: Гг. судьи. С того момента, когда я узнал, что нахожусь под следствием, что буду судим, я создал себе план дальнейших моих действий; я решил, что мне перед морским судом юрист-защитник не нужен, но, когда я увидал здесь прочитанный обвинительный акт, я понял, что ввиду его содержания мне необходима могучая юридическая помощь, которую великодушно принял на себя почтенный К. Ф. Хартуляри. Но теперь, по выслушании обвинительной речи г. прокурора, я вижу, что при всей талантливости моего защитника защита его становится невозможной. Защитник может защищать лишь от обвинений, изложенных в обвинительном акте, но от обвинений, высказанных здесь г. прокурором, так сказать, посторонних, защита для меня становится бессильной — я принимаю ее на себя.

Из одного того, что речь г. прокурора продолжалась около двух часов и что г. прокурор в речи своей перебрал почти все события моей долгой 26-летней службы...

Прокурор Никифоров (прерывает). Прошу суд занести в протокол слова подсудимого. Он сказал переврал.

Председатель. Он сказал — перебрал, а не переврал. (В публике волнение и шиканье)

Флигель-адъютант Баранов (продолжает). Я предполагаю, что г. прокурор дал себе труд давно и задолго подготовить им сказанное, но так как все это мной было услышано только сейчас и мне, в свою очередь, нельзя было сделать какие бы ни было подготовления, то я заранее прошу суд быть снисходительным в неизбежной бессвязности моего последнего слова.

Привыкши свято чтить закон, я безропотно подчинялся решению суда в запрещении мне и мной вызванным свидетелям касаться обстоятельств дела, вызвавших мою докладную записку от 15 июля 1879 года. Но г. прокурор в речи своей затронул все до такой степени, что, вероятно, и суд, допустивши речь г. прокурора, не найдет ничего, что бы было запрещено сказать мне. Суд вправе, на основании его убеждений и применяясь к закону, лишить меня всего в настоящем и будущем, но суд не властен в одном — лишить меня моего прошлого, которым я пользуюсь до конфирмации приговора суда.

Существует правило, что с умерших физических членов свиты государя до погребания их снимают вензеля высочайшего имени. Казалось бы, что и г. прокурору следовало бы помнить, что, пока я имею счастье носить вензе-

ля, я для него, как и для каждого, есть флигель-адъютант, капитан 1-го ранга Баранов, а не просто Баранов, как представитель обвинительной власти позволял себе называть себя в своей речи. Вся речь г. прокурора была полна таких выражений, таких инсинуаций и приемов, которые безнаказанно могут быть сказаны только человеком, говорящим их, прикрывая свою личность неприкосновенностью прокурорского стола. Прошу Вас, гг. судьи, поверить мне, что я не из людей, которые при уважении к суду дозволили бы себе воспользоваться примером г. представителя обвинительной власти. Во всем том, что будет мною сказано, я, не злоупотребляя временем и вниманием суда, постараюсь лишь сжато и кратко опровергнуть или существование, или смысл главных из обвинений, возводимых на меня г. прокурором.

Г. прокурор, перечисляя все милости, которыми я был осыпан за представление и разработку скорострельного ружья моего образца, говорит, будто бы, между прочим, мне была предоставлена по цене, мною заявленной, переделка всех ружей и что ружья эти за негодностью их были изъяты из употребления. Г. прокурор позволяет себе это говорить, не стесняясь тем, что сам сознает всю неправду им сказанного. Сегодня на суде прочтена, по требованию самого же г. прокурора, справка морского министерства, гласящая, что ружьями шестилинейного калибра моего образца был вооружен русский флот с 1869 года по 1877 год и что ружья эти, переделочные, были изъяты из употребления по случаю перевооружения всех боевых сил России и снабжения их ружьями малокалиберными, новыми четырехлинейного калибра и что по цене, мною заявленной, мне было представлено изготовить лишь 30 моделей ружей, вся же масса их была непосредственно заказана подрядчику — статскому советнику Путилову. Настолько же правда сказанное г. прокурором относительно истории введения в России металлического патрона и ныне существующего во флоте абордажного револьвера.

Г. прокурор ставит мне в вину и то, что мне министерство, или, вернее, министерство, или вернее министерства, то то, то другое, в свое время выдавали прогоны и подъемные деньги в тех случаях, когда я по ненадобности того или другого ведомства бывал командируем. Не мне судить, но, думаю, и не г. прокурору, хорошо ли я исполнял даваемые мне поручения, а тем особам и ведомствам, которые меня посылали. Если у г. прокурора есть данные о злоупотреблении мною даваемым мне доверием, пусть он их представит суду, а если их нет перед моими глазами, то я их приписываю вымыслу самого г. прокурора, а вас, гг. морские судьи, — лиц, прослуживших более, чем г. прокурор, прошу сказать, слыхали ли вы, чтобы по службе командируемый ездил, не получая прогонных денег.

Потом г. прокурор, силясь, хотя и тщетно, доказать, что я не был прав, обвиняя морское министерство в полной несправедливости раздела призовых денег и не находя под собой ни фактической, ни юридической почвы, хватается даже за философию закона о деле, вряд ли ему близко знакомом. Я никогда не дерзнул бы вдаваться в подобные рассуждения, но теперь г. прокурор меня к тому вынудил. Берущий неприятельский город на сухом пути, по моему убеждению, должен иметь то же право на получение денежного вознаграждения, как и берущий неприятельское судно на море. Отчего это правило, кажущееся справедливым, не вошло в законодательство ни одной страны, я не знаю, но думаю, потому, что, во-первых, города, занимаемые у неприятеля, в большей части случаев по окончании войны им возвращаются. Справедлива ли моя догадка или нет, повторяю, я не знаю, но г. прокурор должен знать, что Высочайшей волей установленное призовое право как обнародованный закон доступно в общности и в частностях всем подданным русского царства и все бывшие мои подчиненные, не дерзая верить возможности по произволу изменять Высочайшую волю, ныне совершающееся деление приза

могут приписывать лишь ошибке, исправить которую, по мнению их, лежит на обязанности моей — старшего товарища, законом именуемого взятелем. В настоящем случае взятия приза подлежит рассмотрению лишь вид обстоятельств, в каких находился пароход «Россия», т. е. был ли этот пароход в отдельном плавании или нет. Глубоко признателен г. прокурору, что он речью своей доставил мне случай внести решение этого вопроса вам, гг. судьи, вам, морские капитаны.

Не мне и не вам подробно очерчивать карту Черного моря, а потому приступаю прямо к делу, т. е. положению судов эскадры, ныне Аркаса, в период времени от дня моего выхода в море до возвращения в Россию с пленным турецким пароходом, т. е. от 11 до 14 декабря 1877 года: а) на Буге, в Николаеве, стояли пароходы «Эльборус» и «Эриклик»; б) в Севастополе — «Веста» и «Константин»; в) в Одессе у платоновского мола во льду — императорская яхта «Ливадия», а напротив ее, тоже во льду, покоились «поповки», а у выхода на рейд — «Россия». 10 декабря я получил предписание генерал-адъютанта Аркаса идти к Босфору и Пендераклии. Там, на турецких водах, на ружейном выстреле от турецкого берега и в нескольких стах верстах от ближайшего русского судна, взята «Россией» «Мерсина».

Представляю вам, гг. судьи, решать, могло ли которое-нибудь из судов эскадры или сам адмирал физически или нравственно помочь мне у берега Анатолии из Херсонской губернии. Потом, буква закона гласит, что на участие в дележе приза имеют право суда той эскадры, часть которой, стоя с ней на якоре, будет отделена для завладения призом. Не справедливо ли в словах этих видеть смысл тот, что адмирал или старший на эскадре, отделяя от себя в погоню за призом, готов силой остающихся судов поддержать исход атаки отделенных. К этому мне остается прибавить, что «Россия» от своего флагмана не могла быть отделена еще и потому, что она в Николаев в вооруженном виде не могла и попасть по двум причинам, до сих пор считающимся непреодолимыми: во-первых, бар реки Буга у Очакова имеет от 12 до 13 футов глубины, а «Россия» в полном грузе сидела от 21 до 23 футов, а во-вторых, «Россия», пользуясь тем, что она имела двигателем винт, а не колеса с поворотными лопастями, как «Ливадия», прорезалась из замерзшей одесской гавани в море.

Г. прокурор говорит, что не отдельность плавания «России» в момент взятия «Мерсины» определена будто бы инспекторским департаментом морского министерства. Против этого я приведу авторитет больший, чем инспекторский департамент, именно ныне во флоте действующий морской устав, утвержденный высочайшей волей; вот что гласит §39-й устава: «Командир корабля, назначенного для отдельного плаванья, получив приказание идти в море, снимается с якоря при первой возможности и, выходя с рейда, посылает установленные рапорты. Если же корабль принадлежит к составу флота или эскадры, то снимается по сигналу флагмана, и в таком случае командир никаких рапортов не посылает». Г. А. Аркас меня не отделил от эскадры и послал не сигналом, а предписанием по той простой причине, что между флагманским кораблем, стоявшим в Николаеве, и «Россией» — в Одессе, по берегу было 122 версты, а водой около 200 и потому сигнал, поднятый в Николаеве, не мог бы быть видим в Одессе.

Г. прокурор, не будучи волен сделать географические изменения, основывает свои нападения еще и на том. что герои Синопа были довольны теми долями призов, которые им были пожалованы, а что я осмеливаюсь свои слабые подвиги ставить выше совершенного под Синопом. В этом г. прокурор почти прав — дела прошлой кампании ставлю выше синопского, и вот почему: в Синоп шли корабли первого флота в мире, флота Лазаревского, флота Черноморского; корабли эти шли уничтожать турецкие фрегаты, корабли эти вел первый адмирал в мире — бессмертный Нахимов, легко подчиненным его было идти заведомо

к ждавшей их славе! На «Весте» же, «Владимире» или «России» служащим нужно было больше мужества, потому что они шли на ничтожных купеческих судах, наскоро вооруженных, против грозного турецкого современного флота, и шли они под командой нуля — меня, а кто я, то вам, морские судьи, сейчас так обязательно пояснил г. прокурор. (В публике слышны возгласы невольного одобрения... Г. председатель берется за колокольчик, публика стихает).

Г. прокурор странным образом пользуется находящимися в суде материалами: делая на них ссылки, он позволяет делать из них выдержки таких выражений, которых в действительности там нет; так, например, г. прокурор, говоря о моей докладной записке, которой я не просил, как говорит г. прокурор, а требовал в прошлом году часть следуемых мне денег, прокурор уверяет, будто бы я просил какой-то милости и будто бы в записке той я говорю, что размер следуемых мне денег есть 30 тысяч. Я очень рад, что г. прокурор для защиты действий морского министерства может прибегать только к таким приемам.

Гг. судьи, записка эта лежит у секретаря, попросите г. секретаря снова прочесть ее, вы там увидите мои слова, которыми я ясно говорю, что закон обязывает морское министерство через два месяца от 26 декабря 1877 года выдать мне третью часть следуемых мне за приз денег, и так как министерство этого не сделало и даже в течение четырех истекших месяцев не окончена оценка приза, то я в апреле 1878 года говорю, что по самому скорейшему расчету мне следует получить не менее 30 тысяч и пр. Последовавшие потом распоряжения главных лиц морского ведомства, лежащие здесь же на столе у секретаря, воочию доказывают, что министерство и не думало оспаривать мое право, опиравшееся на букву закона, и не думаю, чтобы блюстителю законов представлялось право умышленно их игнорировать. В своей речи г. прокурор, по собственному своему умозаключению, быть может по самосозерцанию, приходит к убеждению, что взятие «Мерсины» было пустым, легким делом. Не вам, гг. морские судьи, пояснять мне, прав ли г. прокурор в оценке морского дела, потом г. прокурор предполагает еще и то, что я, прикрываясь личиною ходатайства за сирот и семьи бывших моих подчиненных, хлопочу лишь о себе. Не желая давать гласности массу тех писем, которые у меня здесь, в руках, от людей, служивших под моим начальством, я прошу гг. судей припомнить всем нам известного, бывшего моего помощника, почтенного капитана 2 ранга Григория Суткового, нервы которого не выдержали и который умер при исполнении того легкого дела, которое я ему поручил при взятии «Мерсины», а осиротелая семья его вот эитм письмом просит моего содействия возвратить ей то, что нам дает царский закон и что для них куплено почтенной смертью их почтенного отца (легкая пауза, в публике волнение и крики «браво... браво»... Звонок председателя, и все снова затихает).

Г. прокурор, исполняя трудную должность защитника нелегальных действий, целый час, на все лады, видоизменял слово «награда». Просил ли этих наград я себе, всякий, умеющий читать и понимать писанное поймет и без моих толкований, что же касается до многих, до большинства моих подчиненных, я говорил, говорю и буду повторять, что в то время, когда люди, не слыхавшие ни одного неприятельского выстрела (фамилии их для нас, гг. морские судьи, не секрет), получали награды за военные подвиги, мои подчиненные остались без доказательств участия в делах, бесславных лишь по мнению г. прокурора. Когда я перечисляю имена действительных сподвижников «Весты» и «России», мне г. прокурор силится доказать, что большая часть этих лиц никогда не были представляемы к наградам; с бывшим же мичманом Прудниковым г. прокурор обращается еще бесцеремоннее: он здесь, он в зале морского суда, и мне, бывшему командиру, решается утверждать, что мичман, ныне за

выслугу лет лейтенант, Прудников даже не участвовал в завладении «Мерсиной»! Гг. судьи, я обращаюсь к общему здравому смыслу и к вашей морской компетентности: да выясните же, наконец, мне, как офицер, находящийся одним из вахтенных начальников судна, сталкивающегося с судном неприятельским, офицер умелый и честно участвовавший во всех экспедициях, вдруг оказывается, несмотря на заверения его командира, человеком безучастным в делах! Допустите, гг. судьи, что я сделал подлог, что бывший мичман Прудников во время прошлой кампании находился на луне, а не на «России», за что же инспекторский департамент морского министерства без моего ходатайства присылает медаль светлую Прудникову, которую я вижу на его груди?

К крайнему моему сожалению, здесь, в морском судилище, я не имею чести видеть г. управляющего морским министерством: его превосходительство хотя бы своим молчанием подтвердил, что представление о наградах я лично имел честь ему представить. Но здесь, на столе, лежит удостоверение части моих слов – рапорт главного командира Черноморского флота, удостоверяющий, что из 25 офицеров моего последнего представления награды получили пять.

Г. прокурор игриво относится к экспедиции судов, бывших под моей командой, для помехи остаткам армии Сулеймана-паши морем отступить на Константинополь. Из слов г. прокурора я вижу новые данные для истории войны прошлой; я вижу, что г. прокурору даже известны планы турецкого главнокомандующего. Благодаря этому знанию г. прокурор уверяет, что, во-первых, Сулейман-паша и не хотел отступать морем, а, во-вторых, что крейсерство мое на сообщении Румелии к Босфору было делом даже никому не нужным. Против первого я сказать ничего не имею. Не имел я чести знать планы храброго турецкого паши и, быть может, Сулейман-паша настолько верд был в нежелании пользоваться морским путем, что отказал бы даже в содействии всего русского военного флота, если бы ему таковое было предложено для перехода в Константинополь; но против второго я приведу два авторитета, которых компетентность в деле прошлой войны неизмеримо выше во мнении русского народа, чем компетентность в том же боевом деле г. прокурора петербургского портового суда; авторитеты эти суть их императорские высочества великие князья: командир Рушукского отряда государь наследник цесаревич русского престола и августейший главнокомандующий Дунайской армии Николай Николаевич Старший. Оба великие князья телеграфировали генерал-адъютанту Аркасу о необходимости той экспедиции, надобность которой отрицает г. прокурор.

Критика присуща каждому делу. Когда я с глубокоуважаемыми мной командирами «Владимира» и «Весты», капитанами Снетовым и Грегорашем, шли в экспедицию к берегам Румалии, нас называли сумасшедшими, а теперь, почти через два года, над экспедицией этой официально глумится г. прокурор, представитель здесь законности морского министерства, органа русского правительства!

В речи своей г. прокурор постоянно обвиняет меня документами в голословности, бездоказательности моих слов. Судите, гг. судьи, бездоказательны ли мной сказанные слова, а что не все документы представлены мной суду, в этом вина не моя, потому что г. управляющий морским министерством не удостоил меня письменным ответом на почтительные, ему сделанные вопросы, потому что мне и защитнику моему вами, гг. морские судьи, не разрешено ни видеть до суда, ни касаться на самом суде следственного производства над г. Рожественским, потому что свидетелям, мной, а не судом вызванным, ни храброму СпиропоЛо, ни почтенному доктору Франковскому, по настоянию г. прокурора, здесь, на суде, не дозволено было сказать что-нибудь сверх того, что касается до сущности будто бы сделанно-

го мной оскорбления морского ведомства и клеветы на это ведомство, и если я теперь имею возможность говорить о прошлых делах, то и возможность эта является лишь в виде несвязных реплик на те необъяснимые тирады речи г. прокурора. Г. прокурор укоряет меня в том, что с 1875 года по 1877 год морское министерство мне доверило с чем-то восемьдесят тысяч рублей для производства работ в кронштадтской гавани, при этом г. прокурор говорит, что я будто бы и забыл думать и о работах и об этих деньгах, и инсинуации эти более чем прозрачные, г. прокурор делает в то время, когда перед ним лежит официальный документ за подписью директора канцелярии морского министерства, удостоверяющий, что мной, Барановым, по началу навигации 1877 года произведено работ на пятьдесят с лишком тысяч рублей и что работы эти остановились с начала навигации названного года; гг. судьи, с начала навигации 1877 года я уехал на юг, и хотя бы и неумело, по мнению г. прокурора, воюя там, я не мог руководить работами в Кронштадте.

Неужели можно допустить, чтобы главным лицам морского министерства можно было не знать, что это тот же я, который командовал «Вестой» и «Россией» и которому до этих пор были даваемы поручения на севере, неужели можно допустить, чтобы г. управляющий морским министерством, лично давая приказания заменившему меня в Кронштадте князю Максутову, принимал его, ветерана Петропавловской битвы и давно служащего в морском ведомстве капитана 1 ранга, за меня, бывшего на юге?

Г. прокурор указывает, что я не прав, говоря о неполучении мною назначений после войны, и что я получал и получаю пять тысяч рублей, будучи начальником морского музея и сверх того, будучи назначен состоять при петербургском временном генерал-губернаторе. Против первого я сошлюсь на г. управляющего морским министерством, что de facto я оставил названную должность в мае 1877 года, а de jure я к ней не возвращался, и приказа об этом ни письменного, ни словесного не было; часть же моего содержания по заведыванию музеем я передавал и передаю офицеру, меня в этой должности заменяющему и почему-то до сих пор в этой должности не утвержденному; потом в состав этих пяти тысяч входят: Высочайше пожалованная мне пожизненная пенсия и так называемые свитские столовые деньги. Как те, так и другие я получал бы и не занимая никакой должности, потом и сумма пять тысяч далеко ниже той суммы, которую я получал бы, если бы мне было оставлено, как это сделано для некоторых, то содержание, которое мне принадлежит по праву, если не как командиру отряда, то как командиру судов 1 ранга. Я горжусь, я считаю себе за особую честь состоять при генерал-губернаторе Иосифе Владимировиче Гурко, но назначение это последовало без участия и без почина морского министерства, и никакого особого содержания я не получаю.

Г. прокурор обвиняет меня в каких-то «грязных инсинуациях» против «поповок» и «русских» броненосцев; вероятно, г. прокурор хотел сказать против идеи морского министерства строить таковые суда. Прошу гг. судей обратить внимание, в чем может быть инсинуация, когда, по личному глубокому моему убеждению, печатно я говорил до войны, что в войне поповки участия не примут, потому что принять не могут; во время войны я говорил: поповки участия в войне не принимают, потому что принимать не могут; после войны я говорю: поповки участия на войне не принимали, потому что не могли принимать, несмотря на то, что на судах этих были бравые и храбрые экипажи. Как до войны, так и после нее я громко и сознательно говорю, что «большинство русских броненосцев суть лишь оправдательные документы к ассигнуемым на флот государственным деньгам», говорю я это, гг. морские судьи, потому, что от оборонительного и неплавающего флота, кроме вреда для России, я не жду ничего.

Г. прокурор, думая взвалить на меня подозрения в том, что, начиная иск против лживости содержания статей г. Рожественского, я имел в виду преследование этого офицера в надежде наказания его без суда в дисциплинарном порядке, нет и тысячу раз нет... Приписываемое мне желание принадлежало г. управляющему морским министерством при участии совета г. прокурора Никифорова, в то время бывшего в Петербурге и призывавшегося, за отсутствием главного военно-морского прокурора, к г. управляющему морским министерством. Правда, я хотел, искал и хочу гласного суда с капитан-лейтенантом Рожественским, но суда не юридического, не административного, не карающего г. Рожественского, а суда морских людей, хотя бы целого мира, которым бы понятно было все морское, которые бы, кроме мозга, были бы способны инстинктом их профессии понять, где истина в морском вопросе. Гг. судьи, там, где все зависит от своевременности и исполнения момента команды право или лево на борт, там решение всех знатоков юристов римского права становится бессильным, вот в этом суде мне отказали, вот этот-то отказ в уважении к славе родины и есть тот путь и тот мотив, а не искание новых наград, который привел меня к сознательным, обдуманным действиям, вызвавшим возможность мне быть здесь на скамье подсудимых только для того, чтобы, благодаря двухчасовому поношению меня г. прокурором в суде и годовому глумлению надо мной части русской и иностранной прессы, я смог бы сказать аргументальный протест той неправде, к разоблачению которой действия морского ведомства мне прекратили всякий законный путь. Гг. морские судьи, дела «Весты», «Владимира», «Константина», «Агронавта» и «России» — дела не мои, дела эти суть достояния русского царства. Блестящие удачи этих дел, составляя славу народной гордости, купленные кровью людей, служивших под моим начальством, принадлежат опять-таки не мне, случились не из-за меня: причиной, их вызывающей, были: благоразумные руководства генерал-адъютанта Аркаса и главным образом то беспредельное геройство, та безумная храбрость и та страстная любовь к славе своей родины, которую так ясно понял русский царь и русский народ и которая присуща была тем героям, частью которых я имел честь командовать. Много из моих подчиненных пало расстрелянным, но гордо вившимся, мне доверенным флагом; честь этого флага составляет ту святую святых, которой мы должны дорожить во время мира, так же как мы ее чтили во время войны. Я должен был пасть на эту скамью, но не дать безнаказанно посягать на честь дел, совершенных под флагами, которые мне были доверены. Кровавый мостик «Весты», заваленный кусками разорванных тел моих товарищей, был недостаточно высок, чтобы вся Россия слышала голос командира, выражавшего удивление героям, его подчиненным, воспитанникам не Баранова, а воспитанникам всего русского флота. Мне нужна была вот эта скамья подсудимых, чтобы голос мой мог донестись до сеней и очагов моих бывших подчиненных и засвидетельствовать перед всеми, что благоговею к святой памяти павших и удивляюсь геройскому мужеству, слава богу, оставшихся в живых, бывших моих сослуживцев.

С этой скамьи подсудимых я громко говорю, что я сделал все человеку возможное, чтобы не дать грязнить прошлых дел Черного моря и чтоб семьи и сироты бывших моих товарищей получили то, что им дают правда и закон.

Гг. судьи, я обращаюсь к вам не с просьбой о снисхождении мне в том приговоре, который вам угодно будет постановить, я клянусь, что, ратуя за правое дело, я говорил лишь то, в чем убежден; я далек был от умысла личных оскорблений, но что был я резок, что был не прав в приискании форм моего протеста, я сознавал это и без доказательств г. прокурора. Тягчайшее из вводимых на меня по службе обвинений бесспорно есть усматриваемый г.

прокурором намек на солидарность поступка г. Рожественского с поступками против меня и моих сослуживцев морского министерства, но если этот намек и был моей виной, то вина эта кончается вместе с речью г. прокурора; здесь, в присутствии вас, гг. морские судьи, здесь, перед зерцалом государя императора, г. прокурор не стесняется всю соль своей речи строить на пикантных местах памфлета антипатриотического заблуждения моего бывшего подчиненного. Я пришел сюда сознательной дорогой; карайте меня, но уважайте честь и славу родины, и пока я жив, я безнаказанно и без протеста не позволял, не позволяю и не позволю касаться тех лепестков ее, которые были куплены самоотвержением и кровью героев, бывших моих товарищей и подчиненных. Гг. судьи, я все сказал, мне остается благодарить бога, государя и будто бы оскорбленное мною начальство за сегодняшний день».

Прокурор желал возразить на последнее слово обвиняемого.

Защитник указал на закон, по которому не допускается никаких прений после последнего слова подсудимого.

Прокурор настаивал на возражении, находя, что речь подсудимого произвела впечатление и что за ним остается право последнего слова.

Суд постановил: отказать в ходатайстве прокурора и представить подсудимому сказать, что он желает после заявлений прокурора и возражений на них защиты.

Обвиняемый не желал ничего сказать, а прокурор просил отказ суда занести в протокол.

Суд удалился на совещание и вынес резолюцию.

Внешние дела России носили отпечаток внутренней неурядицы. Чувствуя себя слабыми, мы подписали формальный мир с Турцией без особых затруднений и к положенному Берлинским трактатом сроку очистили всю территорию за Прутом, хотя, приличия ради, делали вид, будто держим себя соответственно праву победителя. Несмотря на назначение в Петербург нового посла, не принадлежащего к консервативной партии, Деффрина, Солсберри сохранял в отношении к нам тот же дерзко обидный тон. Мы написали циркулярное послание, в котором опасались беспорядков по эвакуации Румелии. Солсбери отвечал требованием исполнения Берлинского трактата и укором, будто мы возбуждаем волнение в покидаемом крае. Действительно, Дундуков, переносясь из Филипполя в Софию для устройства свободной Болгарии, наобещал многое болгарам, оставшимся под турком, и до того усердствовал, что был призван в Ливадию для ускромления. Говорили, будто прочитавши в «Голосе» наветы иностранных газет на Дундукова и ожидания европейской прессы, что его сменят, государь послал номер Дундукову с пометкой: «Очень доволен действиями моего приятеля Дундукова». Это не помешало, однако ж, послу Лобанову отречься от слов комиссара. Послали Обручева передать турецким болгарам устно волю государя, чтобы они были покойны и не мешали выполнению берлинских условий и поручились, с нашей стороны, точно следовать им. Но мы не вдруг отступили от идеи о беспорядках и предложили заменить наше занятие Румелии смешанным. Говорили, будто успех во всех этих переговорах принадлежал Шувалову. По-моему, делом заправлял Лобанов; ему удалось устроить так, что турки сами отказались занять Балканы согласно статье Берлинского договора и двинуть войска в волновавшуюся Румелию. Это, конечно, устраняло новые компликации, но было куплено дорогой ценой. Мы предали Афганистан совершенно в руки англичан и, на время по крайней мере, отказались от всякой роли в Средней Азии, хотя к концу года двинули от Каспия против туркменов сильный отряд, шедший волей-неволей по направлению к Мерву. Внешность была соблюдена безукоризненно. Вновь избранный болгарский князь прежде всего явился в Ливидию благодарить освободителя его подданных. Еди-

новременно с ним прибыла болгарская депутация и била царю челом так восторженно, что в Капуе-Ливадии сердце нового Аннибала преисполнилось радостью и ликовало в ущерб разуму. Болгарский же князь, исполнив формальность, поехал вымаливать у Европы прощение за восшествие на престол, воздвигнутый русской кровью.

Действия нашего правительства отличались такой робостью, что меня удивила решимость государя назначить нижегородским генерал-губернатором на время ярмарки ненавистного Европе Игнатьева. По-видимому, экс-дипломат выказал административные способности. За охранение ярмарки его воспели на все лады, наслали ему адресов, стипендий и разных пожертвований. Явно было, что большая доля энтузиазма (впрочем, лавочного) относилась к политику, а не к администратору, и оправдала его воззрения, так противные взглядам наших берлинских Талейранов. Общее положение Европы дозволило бы нам оправиться и поднять голову, если бы наша внутренняя болезнь не парализовала сил.

В начале года англичане вслед за взятием Кабула распустили слух, будто заменивший Шир-Али Якуб-Хан явился в английский лагерь с покорностью. Однако же осуществление преждевременного слуха не заставило себя ждать. Скоро был заключен мир, и неприятели наши торжествовали легкую победу. Миротворец Каваньяри явился послом к афганскому двору и расположился со своей миссией в укрепленном замке после блистательного въезда в покоренный город. В сентябре вдруг вспыхнуло возмущение, и вся миссия была перебита. Англичанам пришлось делать вторую кампанию, свергнуть Якуба, пролить много крови в отмщение, и все-таки в декабре они были атакованы вновь возмутившимися афганами и выгнаны из Кабула. Разумеется, они опять восторжествовали, но борьба обещает принять характер нашей кавказской. Утешились островитяне тем, что единовременно потерпела неудачу наша экспедиция против туркменов. Начальник разных частей князь Долгоруков, граф Борх, князья Витгенштейн и Голицын, пользуясь, вероятно, слабостью Ламакина, заменившего больного Лазарева, действовали каждый по своему усмотрению и после неудачного штурма укрепленного туркменского лагеря должны были отступить прямо к Каспию. Дорого стоившая экспедиция не принесла никакой пользы.

И в Африке англичане потерпели поражение, однако ж, кончили пленением Цетавайо. Сын Людовика-Наполеона, следуя страсти отца к авантюрам, отправился в землю зулусов стяжать военную славу. В ничтожной рекогносцировке, предпринятой без малейших предосторожностей, последний (вероятно) из Наполеонов сложил голову. В холодной Англии зашумели, винили поручика Саггеу, бывшего вместе с принцем, предали его суду и даже хотели наказать примерно. Добирались даже до главнокомандующего, кричали, что он неосмотрительно употреблял юношу, надежду целой политической партии. Не сердились ли англичане, что не стало серьезного претендента, которого можно было бы напустить на Францию в случае нужды?

В Ирландии вновь возникли аграрные волнения. Оппозиция воспользовалась неудачами и подняла ожесточенную войну против Биконсфильда. 70-летний Гладстон без устали объезжал Англию и Шотландию, говорил по 24 часа в сутки и бил на то, чтобы распустили парламент, назначив новые выборы. Несмотря на все усилия, настоящий парламент докончит свое легальное, хотя и не соответствующее обычаю семилетнее существование.

В Франции с начала года республиканцы стали одерживать блестящие успехи. В январе на выборах по случаю обновления третьей части сената они очутились с 53 голосами большинства, тогда как прежде были в меньшинстве. Даже Вандея оказалась республиканской. Как все успевающие, республиканцы выказали в торжестве нетерпение, стали требовать смены недругов республики по всем частям,

даже по судебной, и не остановились перед законом о судейской несменяемости. Dufaure колебался, да и вообще министры не удовлетворили победителей своей программой. К этому прибавилось сопротивление маршала-президента, не желавшего предать прежних товарищей и не согласившегося на смену военных начальников. Кризис кончился отставкой Мак-Магона и выбором Греви. Перемена совершилась спокойно и, думаю, лучше, что она произошла неожиданно, до истечения законного срока. По крайней мере, внезапность устранила приготовления, политический поход, что всегда волнует народ.

Соседняя и потому более интересующая нас Германия в начале года также выказывала слабость, присущую всякой внутренней неурядице. Гонения на социалистов встретили отпор в рейхстаге, отказавшем правительству в предании суду двух депутатов-социалистов, изгнанных из Берлина вследствие военного положения и, несмотря на то, явившихся в заседание. В отвод от домашних дрязг, находчивый Бисмарк раздул свою личную вражду с Горчаковым. Писаки германского канцлера называли нашего шутом, а Горчаков, будто в подтверждение их взгляда, болтал в Вильдбаде с корреспондентом «Soleil» и говорил ему любезности на счет Франции. Франция отмахивалась руками и ногами. Слишком уже захотелось Горчакову «finir comme un aster qui éclaire l'horizon en se couchant et non comme une lampe qui s'éteint».[141]

Личная вражда скоро перенесена Бисмарком на государственную почву. После свидания с издыхавшим в политическом смысле Андраши в Гаштейне Бисмарк отдал ему визит в Вене. После истинно царского приема Бисмарк заключил с Австрией оборонительный союз. Мы утешали себя, что Бисмарк метил во Францию, но радость Солсбери совершившемуся факту скоро открыла или должна была открыть нам глаза. По-моему, следовало бы на время оставить восток Европы, не упуская, конечно, приобретенного там влияния, и перенести рычаг действия в Азию, склонить на свою сторону Персию и вместе угрожать Англии.

Австро-Германский союз был главнейшим политическим актом 1879 года. О падшем хедиве даже и не говорили. Его за долги выпустили на свободу, т. е. выгнали из Египта, и стали англичане и французы править именем его сына. Авось поссорятся.

Лично для меня год был нравственно тяжелый и физически утомленный.

Зима стояла необыкновенно холодная. Метели прекращали не раз сообщение, и мы оставались без почты по нескольку дней сряду. В этом отношении мы впереди, хотя медведи, или лучше потому что медведи. У нас сообщения прерываются часто, но скоро восстанавливаются.

В феврале ездил в Италию. Мне поручили привести в порядок шкуну «Келасуры», оставленную в Неаполе на руках консула, когда средиземная эскадра наша отправилась в Америку перед турецкой войной. К июлю шкуна была готова, переведена в Черное море и затем подарена новому болгарскому князю Александру.

Опять мое имя явилось в журналах, несмотря на мои старания заставить забыть о себе. По поводу мнения моего о чихачевском проекте «Кронштадтский вестник» указал, будто я дал практические советы к приведению проекта в исполнение. Сказать правду, я никак не думал, что беглые заметки мои привлекли чье-нибудь внимание. Их, однако ж, поручили рассмотреть члену комиссии Гр. Бутакову, и от меня потребовали некоторых разъяснений. Служебная жизнь моя положительно кончилась. Грустно вступать в 60-й год, не обеспечивши той, которая делила со мной все время существования и все невзгоды. Минутами хочется приняться за дела, но страх потерять остальное, а главное не успеть кончить, останавливает меня. Светел был бы остаток дней, если бы была уверенность, что по смерти моей жена не потерпит нужды. Нет

нужной бодрости, исчезла энергия, испарилась инициатива. Самое настоящее положение мое неопределенно. Пожалуй, мое упорное отдаление от Вены может привести к неприятной для меня случайности, а как не отдаляться от нее, когда агенты разных правительств доносят там друг на друга и различные нескромности самых правительств предают их. Наш военный агент Фельдман представил правдивый отчет о компании австрийцев в Боснии и Герцеговине. Как-то австрийцы добыли его в Петербурге и Фельдман a été dans de mauvais draps.[142]

В половине июня опять отправились в Aix-les-Bains с грустью в сердце. Оба мы в возбужденном состоянии. Болезнь жены все более и более действует на ее характер, да и мне постоянный кашель напоминает о приближении старости. Различные обстоятельства еще более раздражали меня во время лечения.

Обычные экские развлечения шли своим чередом. Опять прибыли туда на корточный сезон Тур, Бераль и другие генералы от baccara, опять драмы зеленого стола и завывания испевшихся певцов; опять и Лихачев с своими ревматизмами. Почасту толковали о великом князе Константине и его близких. Лихачев указывал на поражающие доказательства его скупости и вообще смотрит на всю семью, как на сумасшедших.

На сентябрь переехали в Женеву, где я выполнил давнее желание осмотреть знаменитую часовую фабрику Патека. До сих пор я полагал, что различные части часового механизма выделываются в Швейцарии враздробь известными мастерами, не только производящими части всю жизнь, но снабжающими ими часовых мастеров наследственно. На фабрике Патека, по крайней мере все, без исключения, производится в собственных мастерских. Сравнительная дешевизна часов объясняется скупым расположением мастерских. Всякий уголок под самую крышу занят станками и инструментами. Различные части, изготовленные на тысячу часов, хранятся в шкафах по категориям, принимая в расчет совершенство отделки, отчего преимущественно и зависит ценность, изменяющаяся от 35 до 5 тысяч франков за часы. 35-франковые посылаются целыми грузами в Америку и приносят большую долю выгод. Хорошие часы по сборке тщательно проверяются в различных температурах и положениях; их кладут попеременно в теплые ящики и ящики со льдом, плашмя, на ребро, вешая вверх и вниз и т. д. Немногие только мастеровые могут выработать по 10 часов в день.

Зашел на великолепную дачу г. Plantamour на самом берегу озера, против Мон-Блана. Богатый хозяин из любви к науке занимается наблюдениями над уровнем Женевского озера и указал мне на явление, еще не объясненное учеными. Воды озера каждые три четверти часа движутся к Вильневу в восточном конце и снова отступают. У Плантамура установлены для наблюдений самые точные автоматические инструменты. В опровержение сложившихся понятий о презрении ученых к жизненному комфорту дача Плантамура содержится в образцовом порядке.

В исходе сентября переехали в Париж. Приятели Батюшковы за нами следовали. В этот раз время мое было преимущественно занято великим князем Константином, проживавшем в Париже после морского купания. Бродя за чем-то по магазинам Лувра, великий князь оступился, разорвал сухожилие левой ноги и должен был лечь. Тотчас призвали известнейших хирургов, и неугомонного ветреника подвергли карантину. Его влекли в Петербурга различны будуарные соображения, которые он выставлял государю в депешах как усердие к обязанности и желание возвратиться к началу сессии государственного совета. Курьезны были лекции, которые он читал Gosselin, чтобы выманить у него дозволение отправиться в путь. Любовные связи тянули великого князя в Россию. Кажется, Лихачев посвящен в них и в парижских наездах патрона служит чем-то вроде maotre des plaisirs,[143] но делает это весьма

пристойно. Лихачев хотел оскорбиться, что заказали новую яхту, помимо его, в Англии, но потом одумался.

Императрица пришла в такое состояние, что ее решили везти на зиму в Канну. По желанию генерал-адмирала я должен был по пути в Ниццу остановиться в Канне, дать императрице подробный отчет о его состоянии. Для вящего убеждения я присутствовал перед самым отправлением на перевязке. Поврежденная нога оказалась очень распухшей, но Великий Князь в нетерпении бранил докторов, уверял, будто они не пускают его единственно из страха критики петербургского факультета, и настаивал на немедленном отъезде. Я советовал терпеть и слушаться медиков. Желая сильнее подействовать на капризного пациента, я представлял ему последствия ребяческой торопливости и всю странность небывалого в его роде явления, если Романов окажется калекой. Меня удивило равнодушие великого князя к замечанию моему, что при императрице нет военного судна. Он отговаривался незнанием того, что делается в Петербурге.

Великий Князь Алексей тотчас меня принял, заговорил о новой яхте и пенял на Попова. Состоя членом технического комитета, он не ездил на заседания, не желая играть роли смиренного слушателя поповских бредней, передаваемых членам как уже одобренных генерал-адмиралом.

Пригласивши меня к завтраку, императрица вовсе не говорила о генерал-адмирале. Ее страдальческий изнуренный вид поразил меня. Ко всему больная безучастна. Горе так и нависло над потухшим взглядом. Рассказывают, что государь сознался своей жене в своей слабости и, облегчивши совесть, не считает нужным даже соблюдать внешнее приличие. Дети удивляются, что один он не замечает положения императрицы. В Ливадии все устроено для удобства наслаждений, и самое управление Россией организовано так, чтобы не прерывалось необходимое для неги спокойствие духа. При нем покорный Гирс, в Петербурге медоточивый Жомини, Горчаков от всего упорно отмалчивается в Бадене, а князь Орлов путешествует для официозных соглашений. В иностранных сношениях полнейшая неурядица.

Непривычная тоска заставляла наших князей часто прогуливаться из Канны в Ниццу, где они особенно излюбили Maison dorée,[144] убежище всех местных и приезжих кокоток. Даже прибывший в Канну из Биарица великий князь Владимир завтракал в Maison dorée со своей женой.

В исходе октября посетил больную мать цесаревич. Он принимал меня очень ласково, и выходила милая цесаревна. Много толковали о флоте и о новой яхте. Цесаревна называла Попова un fou,[145] прибавя, впрочем, что виноваты те, кто его слушает. Я видел наследника в первый раз после войны и сказал ему, что следил за его подвижничеством на Ломе с прерывавшимся дыханием. Откровенный, светлый взгляд невольно притягивает к нашему будущему владыке. Чем-то он будет?

ГЛАВА XII

КОНЧИНА МОЕЙ ЖЕНЫ. ДИКТАТУРА ЛОРИС-МЕЛИКОВА. 1880 Г.

12/24 июля в 13/4 полуночи в Баден-Бадене, в гостинице Stefanien-Bad, скончалась моя Надя после 25-летнего со мною союза.

Предсмертная жизнь жены. Встреча с А. А. Поповым. Мое назначение в Китай. Отмена моего назначения. Переезд наш в Баден. Отъезд в Париж. Сочувствие друзей. Смерть императрицы. Наши внутренние смуты. Взрыв в Зимнем дворце и учреждение Comité de salut publique[146] под главенством графа Лорис-Меликова. Первые шаги диктатора; падение графа Толстого и Грейга. Дело Гартмана. Европа, перемена правительства в Англии; Берлинская конференция; черногорский и греческий вопросы. Мой взгляд на значение Великого Князя Константина. Рескрипт ему по случаю 25-летнего управления флотом. Наша китайская экспедиция. Интернациональная морская демонстрация против Порты. Неудача с яхтой «Ливадия». Разговоры с канцлером в Бадене.

Одинокий, никому не нужный, ни для чего не годный, не способный ни на какие проявления энергии, я живу прошедшим и отворачиваюсь от настоящего.

Моя страдалица, моя верная спутница по верхам удач и трущобам бед, всегда столь же сильная духом, как бренная телом, оставила меня, сохранивши до последней минуты геройское самосознание, удививши твердостью и явивши дивное самоотвержение.

С февраля она уже постоянно ютилась в мягком халате. Несмотря, однако ж, на увеличившуюся слабость, она непременно хотела сопровождать меня в Специю, куда я должен был ехать по службе на несколько дней. Имела ли она предчувствие, что уже недолго быть нам вместе? Не берусь утверждать, ясно было для меня только то, что она не хотела ни на минуту расставаться со мной. Утомленная дорогой, она провела все время в Специи в постели. По возвращении выезды ее, уже ограничивавшиеся прогулкой, становились реже и реже; даже не всегда пользовалась оперой, хотя ездила закутанная, а не одетая.

Кашель ее усиливался. Призванные на помощь ее обычному доктору медики одобряли его лечение, состоявшее (как оказалось) с давнего уже времени в облегчающих только средствах; мне же все сулили, что она окрепнет по окончании критической эпохи. На святой неделе встретилась случайность, последствия которой привили ко мне ни чем не

изгладимое убеждение, что я ускорил смерть моей Нади. Приятель мой Попов проездом из Италии в Париж виделся со мной на станции железной дороги. Носились слухи (казавшиеся неверными), будто некоторые адмиралы наши отказывались идти в Китай, где политические обстоятельства требовали увеличения сил, и война казалась неизбежной. Дивясь такому взгляду на долг, я проговорился и сказал, что хотя разлука с женой в ее болезненном положении была бы для нас обоих истинным несчастьем, если бы нашли нужным послать меня, уже устаревшего, то пошел бы без отговорок. Этот обмен мыслей, казалось, прошел бесследно, но во мне осталась решимость последовать велению судьбы, если выбор падет на меня. Жена огорчилась и сказала, что будет молить его (как всегда выражалась, разумея всемогущего бога), чтобы из болтовни моей с Поповым ничего не вышло. Домашние порядки наши не нарушались.

Внезапно 12/24 мая я получил от министра шифрованную телеграмму следующего содержания:

«Государь одобрил представление генерал-адмирала о назначении Вас начальником нашей эскадры в Китае, если чувствуете достаточно здоровья. Si acceptez venez vite».[147]

Онемели, обнялись, поговорили, и я ответил: «Volonté de l'Empereur sacrée. Répondez si puis arriver dans deux semaines, car je prends avec moi ma femme malade».[148]

Назначение касалось моей служебной чести. Предстояла война. Моя твердая мученица поставила одно только условие, чтобы я взял ее в Петербург и не отпускал до последней минуты, до моего отъезда. Уже в иностранных газетах появились телеграммы о предстоявшем мне назначении. Доктора пришли узнать, правда ли это. Получивши утвердительный ответ, они объявили мне, что я жены уж не увижу, что у нее в высшей степени поражены легкие, вовсе нет крови и самая ничтожная сила отравления желудка. Боже! За что такое страшное наказание!

Я телеграфировал, чтобы ничего не решали до получения письма, в котором тотчас же изложил Лесовскому все отчаяние моего положения и убеждение, что я ускоряю конец жены. Лесовской немедленно отвечал, что ни к чему решительному не будет приступлено, хотя назначение исходит, так сказать, от самого царя. Да воздаст тебе, друг Степан, Бог всемогущий! Я в силах только петь тебе хвалу сердцем.

17/29 мая с скорбью в душе повез я больную мою в Париж, куда просил адресовать ответ на письмо мое. С нами был весь нужный багаж на случай возможности продолжать путь до Петербурга.

В Париж доехали благополучно, но она не могла уже сама войти в квартиру.

Вскоре по приезде были обрадованы депешей Лесовского: «Votre lettre reçue. Général Admiral, tout en regrettant de ne pas vous voir au poste important qu'il vous déstinait, compatit profondément à Votre douleur et ne voit pas de raison suffisante à Vous arracher des soins du Coeur que Vous devez à Votre femme dans sa pénible position. Je Vous écris incessamment».[149]

Жена ликовала, но пришедшее известие о смерти Императрицы, в тождественном с другом моим положении, совершенно расстроило меня и тем подействовало и на нее.

Вслед за депешей Лесовского неизвестный мне доброжелатель прислал приложенную вырезку из «Молвы»,[150] где дружеской рукой одобрялось мое назначение. Мученица моя обрадовалась, схватила приятный документ и вместе с телеграммой Лесовского, вскоре пришедшим письмом его и хвалебным отзывом «Temps»[151] берегла денно и нощно на своем столике до самой смерти. Едва ли найдутся люди, которые обвинят меня в самолюбии или тщеславии за то, что я прилагаю документы к запискам моим. Они для меня драгоценный памятник любви моей Нади. Письмо Лесовского было следующего содержания:

«Дорогой друг, Иван Алексеевич,

Считаю необходимым для твоего успокоения сказать тебе несколько слов о том, с ка-

ким одобрением было принято всеми, начиная с Государя-Императора, изъявление твоей готовности встать во главе предприятия, требующего от главного начальника совокупности многих разнородных достоинств, так равно и сочувствие, и с высоты престола и Его Высочества, с каким были приняты известия твоих первых телеграмм о безотрадном положении здоровья твоей жены. Повторяю, что все это поняли и никто тебя не винит. Заключаю эти строки выражением горячих пожеланий за исцеление той, которая, вероятно, не так строга к тебе, как ты сам. Искренно уважающий и дружески преданный.

С. Лесовской
23 мая».

Лихачев из Лондона поздравил с моим назначением флот. Его строки также были вложены в хранилище.

Наконец, 9 июля н. ст., по настоянию больной, мы двинулись в Баден-Баден в отдельном помещении. Когда ее везли в кресле к вагону, бедняжка лишилась чувств, но тотчас пришла в себя, и мы совершили дорогу благополучно.

Одно время голос ее до того ослабел и говор возбуждал такой кашель, что я просил писать ее, чего ей желалось. Она делала это несколько времени, потом опять заговорила, но книжку хранила при себе и не дозволяла мне до нее дотрагиваться. В ней только я и поведал настоящие предсмертные мысли ее. Любовь ко мне, заботливость о моей участи, нежелание, чтобы я скорбел лишнюю минуту, — вот что водило ее слабеющую руку.

К желанию скрыть от меня свои страдания присоединился после откровенности доктора страх, что она заражает меня своим дыханием. Мне положительно было запрещено входить в ее спальню, дверь из спальни в мою смежную комнату была заперта. Жена не хотела, чтобы я вмешивался в ее распоряжения касательно принимаемой ею пищи, и раз и навсегда велела мне приходить к ней только в три часа пополудни, когда ее приносили в гостиную, большую комнату с отпертыми окнами и балконом.

В таинственном опасении причинить друг другу скорбь мы дожили до 12/24 июля. Накануне еще в шестом часу вечера при обычной беседе в настежь отворенной гостиной дорогая моя улыбалась и силилась шутить.

Ночью по ее зову я тотчас вошел в спальню и, дивясь ее стойкости, стал на колени, как перед святыней, взявши за руку. Была половина второго. Еще раз сказала, что ей легче, и тотчас за тем последнее слово: «Сядь». Я сел, не выпуская руки ее, и немедленно почувствовал, что она тянет мою руку. С моей помощью она поднесла ее к губам, едва ощутительно для меня поцеловала концы пальцев, и я услышал звук, всего более похожий на слабо вырвавшийся из сосуда вскипяченной воды пар. Все это заняло несколько секунд от последнего слова ее. Наступила тишина, объявшая меня ужасом в покое ночи.

В Бадене многие знали нас и после делали мне визиты сочувствия, но горевать со мной никто не пожелал. Извинительно. У всякого довольно своего горя, и немногие способны тратить душу на чужие бедствия.

Друзья Стекль звали к себе в Париж. Я и сам понимал, что не могу оставаться в Бадене; это было бы самоубийством.

В слабости духа, может быть, даже в опасении за жалкий ум мой, я бежал в Париж искать сочувственной опоры истинных друзей.

Добрые Стекль принимали меня ежедневно сердечно, дозволяли горевать в их присутствии и сами горевали. Письма добрых знакомых, оживляя мою скорбь, доставляли мне наслаждение сообщать ее другим с подробностями, но душевные терзания были велики.

Бессонница начинала ослаблять меня, и в Париже еще я решился походить по Швейцарии, надеясь, что усталость и горный воздух приведут в порядок потрясенный организм. Моя прогулка незаметно обратилась в паломничество. Все ходилось по тем местам, где мы бывали вместе молодыми или сравнительно

сильными. Начал с Люцерна, одного из любимых ею пунктов, и пошел на Риги со стороны Цюрихского озера. От Арта поднялся по смелому железному пути, бродил в раздумье по верхушке горы, видел вновь все снежные вершины и голубые озера.

Невдалеке от Люцерна проводила лето приятельница Нади А. Н. Гаевская. Отправился к ней с намерением отдать на память часы, лежавшие на столике часы почти до самой смерти ее. Пароход заворотил в Альтнахтскую ветвь озера и пристал к Станштадту. Отсюда я поднялся на Бигренншток, к одной из изолированных горных гостиниц Швейцарии. Горы и долины по пути улыбались в лучах солнца.

Из Люцерна переехал в Флюлен и пошел по С.-Готардской дороге. Почти всякий раз, что бывали в Швейцарии, мы делали этот путь.

Не доходя до С.-Готарда, я повернул вправо, через фурку к леднику Роны и потом через Гримзель пришел к водопаду Гандека, которым мы любовались когда-то вместе, подъехавши со стороны Бриенцкого озера.

Продолжал мое поклонение по местам дорогих воспоминаний. Гисбах, Интерлакен с окрестностями, Симментальская дорога — все говорило о минувшем невозвратимом счастье. От Саанена поворотил на Château d'eaux к Aigle и потом поплыл в Женеву озером.

Особенно страдал дух мой при перевале через Симплон. Почти все время я шел пешком, в виду снежных вершин, в совершенной тиши. Ни дикое ущелье Гондо, ни шум бешеной Довериа не могли развлечь или отвлечь меня от мысли, ставшей единственной, исключительной.

Я все осматривал, во все углублялся, в Милане, в Венеции, в Поле, стараясь выражать насильственно одолевшую меня тоску, думая устать физически. Писал донесения, вводил в них соображения.

В Венеции, во дворце Дожей, при осмотре расписанного потолка посольской залы на правый глаз мой вдруг словно опустилась завеса. Вообще я чувствовал себя хорошо и не заметил ни малейшей перемены. Через несколько минут глаз начал открываться снизу и вскоре совсем очистился. То же повторилось через неделю на пароходе, при возвращении моем из Полы в Триест.

В Риме Икскуль пытался отвести меня от постоянной думы и, может быть, несколько облегчил бы мое состояние, если бы приказание Великого Князя Константина, отплывшего из Франции на яхте «Ливадия», не заставило меня отправиться в Неаполь приготовить вес нужное к встрече его. Здесь при неопределенности, и, как оказалось, тщетности ожидания, я просто мучился и очень ослабел.

Все еще силясь опомниться, я решился окончательно оставить Ниццу, где столько напоминало мне и хорошее и неприятное, касавшееся Нади. Нанял квартиру в Риме, и когда пришло известие, что великий князь отложил путешествие, переехал в Ниццу для окончательных распоряжений с нашим имуществом. Терзания мои едва выносимы.

Положение императрицы, по тождеству с состоянием моей жены, возбуждало во мне сочувствие не как русского только. К новому году прибыл в Канну Боткин, странно наблюдавший за августейшей больной из далекого Петербурга. Боткин привез от государя письмо, в котором державный супруг звал страдалицу в Россию. В императрице это желание мужа произвело психический переворот. Она беспрестанно выражала то же желание, но после одобрения и подтверждения его государем не захотела оставить Канну, уверяя, что пребывание на юге ей, видимо, полезно. Боткин же говорил мне, что в санитарном смысле решительно все равно, где бы больная ни находилась, что в ее состоянии обыкновенных больных даже не высылают из России, находя бесполезным тревожить их.

17/29 января приехавший из Парижа Великий Князь Николай Николаевич говорил мне, что видел Императрицу накануне в весьма плохом состоянии; вдобавок к слабости свело внутрь ногу, так что больная передви-

галась с большим трудом. Несмотря на это, ее повезли 19/31. Поезд принял на станции весь двор, а потом отошел к вилле, откуда больную понесли закрытой и закрытым временно устроенным ходом. Эта таинственность тотчас повела к грустным вымыслам. Уже через два дня уверяли, что Императрицу перенесли мертвой.

Весьма интересно было бы в библиографическом отношении собрать все выдумки, которыми наделяли иностранные газеты бедную Россию в течение несчастного для нее 1880 года. И в действительности было дурно, а вампиры, прилипшие к нашим бумажным фондам, высасывали последнее металлическое обращение нашей экономической крови, пугая вымыслами, вмиг ронявшими наш курс.

Императрицу поддерживали искусственными мерами. Но неминуемое должно было свершиться. Ходили разные слухи о последних днях ее жизни, но к чему тревожить память усопшей? Достоверно, что она скончалась в совершенном уединении. Даже сторожившая ее женщина не присутствовала в торжественный момент, а государь развлекался в Царском.

В эпоху страданий целой России личные страдания могли бы показаться в царе слабостью, а Россия действительно страдала. Нигилистические безобразия достигли крайних пределов, дальнейшая деятельности самозванных решителей судеб России, очевидно, должна была прекратиться в силу самого неистовства их действий. В январе в Саперной улице открыли тайную типографию. В этот раз полиция напала на гнездо, как выказали последующие судебные следствия и как должно было думать с самого момента открытия. Пойманные на деле заговорщики оказали небывалое сопротивление полиции. Вскоре Россия и вся Европа были поражены известием о взрыве в кордегардии Зимнего дворца, причем убито одиннадцать человек и до 40 или 50 ранено. Государь готовился принять за семейным обедом прибывшего принца Александра Гессенского и, встречая его в одной из зал, был остановлен на пути гулом взрыва и темнотой — все огни мгновенно потухли. На первых порах правители наши оцепенели. К наступавшему дню 25-летия царствования ждали еще больших ужасов, и народ охватило страхом опасного неизвестного. Прокламации нигилистов гласили, что в приближающийся торжественный день запылает столица. Единовременно с этим в немецких газетах публиковали, что намерение наших отрицателей раскрыто берлинской полицией и сообщено заблаговременно правительству нашему; что такое же своевременное сообщение было послано перед взрывом во дворце. Кто бы ни был виновен в непринятии мер предупреждения, возможность подобных попыток в жилище самого государя казалась необычайной дерзостью смущенной Европе, издавна привыкшей видеть владык своих тщательно охраняемыми. У нас некого было винить в едва неудавшемся злодействии. Всем нам известно, какого рода улей Зимний дворец, как в нем многочисленны трутни и с какой легкость входят в него желающие видеть кого-либо в пятитысячном дворцовом населении. Крикнули, было, на полицию, но, во-первых, политической полиции, в точном смысле этого слова, у нас доселе не было по ненадобности, а членам сплетнической полиции — жандармам — нельзя было внезапно, по щучьему велению, превратиться в умных, даже до некоторой степени ученых охранителей, знакомых с средствами преступлений, доставляемыми наукой; во-вторых, крикуны забыли, что дворцы вообще изъяты от наблюдений обыкновенной полиции. Прошлый год, разумеется, дал много предосторожностей, но легко ли перейти вдруг от уверенности, выражавшейся открытыми настежь дверями (а их во дворце немало), к строгому осмотру всех проникающих в градообразное жилище русского царя, упорствующего жить под той же громадной крышей семьянином и представителем 80-миллионного народа,

обязанным на восточные церемонии и приемы? Взрыв, целые месяцы державший Россию в трепете, был простым, естественным, так сказать, следствием старого порядка, издавна укоренившегося в чертогах власти вместе с многими иными безобразиями. Даже в отношении к самому поразительному факту не решились отступить от закоснелых невских привычек. Вся Европа и мы, живущие за границей, тотчас узнали со слов Вердера, телеграфировавшему Вильгельму, что взрыв был злодейским покушением, а Россию в течение двух дней занимали баснями о взрыве газовых труб и, вероятно, держали бы долее в бессмысленной неизвестности, если бы Гурко, движимый служебным самолюбием, не подивился бы в приказе чувством долга, выказанным перебитым и изувеченным караулом. Не легко, значит, отстать от старого, как бы нелепо оно ни было.

А нелепостей под влиянием страха, наведенного предшествующими злодействами революционеров, наделали много. В предшествующие главе я говорил уже, как поделили Россию на пять или шесть полей, как на полях тех воздвигли виселицы и как пяти—шести обыкновенным смертным, облеченным в право бесконтрольного вешанья, поручили бороться с тем же злом, каждому по своему разумению, без предварительного взаимного соглашения, без общих наставлений свыше, просто благословивши на борьбу пеньковой петлей.

Тот же страх, который затмил умы наших правителей, наведя в этот раз столбняк, вынужденное состояние покоя, выгородил в общей сумятице место для размышления. Очевидно, требовалось неотложное единство мер. Пригодность, действительность их уже зависела от выбора лица и лиц, способных осуществить это единство наиболее полезным способом.

Противно всяким догадкам и расчетам выбор царя пал на графа Лорис-Меликова. Я пишу не историю, поэтому дозволю себе и в серьезных вопросах шаловливые воспоминания. Как-то в Ливадии, в 1869 году, в веселом послеобеденном настроении государь, дарящий особой фамильярностью в знак особенного благоволения, обратился к нам, присутствовавшим, с вопросом в шуточном тоне: «Не странно ли? Лорис-Меликов генерал-адъютант!». Удивлявший царя Меликов был налицо. Не знаю, что произошло в его сердце, но помню, что я тотчас же задал себе вопрос: почему же странно видеть генерал-адъютантом боевого и разумного кавказца, а не странно смотреть на здесь стоящих в том же звании облекшегося в схиму личной преданности Рылеева или всегда отзывающегося закуской Воейкова! И вот через десять лет благодушно подсмеивавшийся над армянином с аксельбантами властитель разных земель, в том числе и великой Армении, передал полуазиатцу свой державный скипетр с мольбой княжить и навести порядок. Лорис-Меликов успел уже выказать свою административную сметку в самой России, во время ветлянской чумы, а на харьковском генерал-губернаторстве оказался сатрапом разумным. Конечно, несомненные достоинства его влияли на выбор властелина, закрученного до одурения повторявшимися неистовствами неуловимой шайки злодеев, но, грешный человек, я привык видеть во всех действиях государя на первом плане чисто личные или семейные соображения. Лорис-Меликов, с сдержанностью истого царедворца, хотя вовсе не был им, усвоил все неудачи последней азиатской кампании, а во всем славном, успешном, бесспорно ему принадлежавшим, умел скромно помещаться в лучах Великого Князя Михаила Николаевича. От него не слыхали ни жалоб, ни обвинений и, конечно, подобная скромность в вопросе личной чести и исторического значения ручалась за сдержанность Меликова на поле политического действия. Думаю, что государь пришел к подобным соображениям, передавши временно свою власть подданному. Как он пришел к такой решимости — вопрос иной и стоящий политико-химического разложения, разумеется, в петербургской репорте.

В исходе прошлого лета Меликов обратился к министру внутренних дел с письменной просьбой согласить действия всех генерал-губернаторов. Министр не придумал ничего лучшего для соглашения, как призывать генерал-губернаторов в столицу вразброд, поодиночке. Очередь Меликова подошла к покушению в Зимнем дворце. Рассказывали, что государь не тотчас принял своего харьковского наместника, а когда принял, вышел к нему с приветствием: «Здравствуй, милостивый граф», т. е. никого не повесивший. Наступила пора не шуток. Армянин, с царем в голове, будто коренной русак, тут же выразил сожаление, что его действия не совершенно согласовались с действиями его товарищей, что ничего подобного не было бы при общем направлении всех деятелей, что единство средств было необходимо, — и просил государя прочесть записку, заранее изготовленную и представленную Séance tenante.[152] Через несколько дней Лорис-Меликов, будучи дежурным при государе, удивился, видя в приемной Валуева и Милютина. На списке принимаемых их не было, и на вопрос Меликова оба ответили, что за ними прислал государь. Действительно, по докладе о прибытии председателя комитета министров (им Валуев стал с нового года) и военного министра, царь велел тотчас позвать их в кабинет и приказал Меликову остаться. В немногих словах он выразил намерение учредить для борьбы со злом верховную комиссию, которая ведала бы все действия различных генерал-губернаторов. Облекая ее в чрезвычайные полномочия, государь прибавил, что председательство следует поручить человеку твердому, опытному, и потому опыт его пал на Лорис-Меликова, еще так недавно милостивого графа. Fableau!

Разумеется, в записках этих премущественно проявляется мой собственный взгляд на события и деятелей, взгляд издалека, основанный на опыте, которому минуло уже 10 лет. Беспрестанные сношения с соотечественниками, более или менее вращающимися в нашем административном водовороте, продолжают в некоторой степени нить собственной ответности, но все же, не ощущая на себе последствия перемен, я не могу смотреть на многое с достаточной ясностью. Положение Лорис-Меликова представляется мне, однако ж, весьма определительным в одном смысле. Военная слава его не могла возбудить зависти между обычными деятелями государственных сфер. Останься она военной только, присяжные правители легко помирились бы с ней, зная, как скоро вянут лавровые венки в душной атмосфере мира — там, где не может быть гражданской борьбы и твердости характера не в чем выказаться, разве только в громких неудачах. Вопрос изменялся, когда внезапно выказывались правительственные способности, осененные лучами обаятельной боевой славы. Нарождалась сила, с которой следовало считаться, и сила эта вышла не из заколдованного круга, издавна лишившего, что в нем только должно искать спасение России, не из привилегированной среды прежних товарищей великокняжеских детских забав или участников великокняжеских шалостей, не из угодников старух, почивающих на громких преданиях блестящей молодости или увядших придворных красавиц, не желающих еще почить от дел своих. Нет, сила возникала из неведомых столице кавказских дебрей, принеслась не со скамеек пажеского корпуса и вторгалась в петербургское общество в тривиальном образе никому не известной армянки-наседки с 12 или 14 цыплятами. Легко представить, как заговорил холопский мир, видевший до того спасение только в родном холопстве. Начали точить ножи во всех прихожих, готовить вилы, если не вилки, и от краснобая, вступившего уже одной ногой в туфли первого министра, до правителей канцелярий остальных понеслись ядовитые стерлы в дерзостного армянина, пошатнувшего давние предания, давний обычай. Новый правитель России был un intrus,[153] не свой. Вот личное положение Лорис-Меликова.

Превозмогши все препятствия, честный, хотя и хитрый по роду воин блистательно доказал, что свет не в одном окне, прорубленном Петром в Европу, может быть, не совсем твердой рукой в известный неровный час.

Сделанные за зиму открытия достались новому диктатору как богатый материал для немедленного проявления его деятельности. Не популярничая, без шумих, он тотчас же выказал направление, которым намеревался следовать. Преступления были преступлениями. Оказывать к ним снисхождение было бы незаконно и подлежало бы толкованиям, которыми расшаталась бы вера в правительственную силу. По-моему, Лорис-Меликов выказал на первых же порах беспорное уменье действовать на массы. Нельзя было вдруг отказаться от казней, но на будущее время они должны были совершаться вслед за преступлением, без охлаждающих к нему проволочек, необходимых будто бы для раскрытия всей тайны заговора. Убийцы были фанатики или наемщики, ни в том, ни в другом случае показания их не могли иметь значения.

Свою теорию Меликов в первые же дни выказал осязательно. В него стрелял минский еврей Молодецкий, через два дня уже качавшийся на виселице. Прежние политические следствия привлекали тысячи подозреваемых только лиц, томившихся в тюрьмах или под строгим надзором полиции. Немедленно приступили к очищению хлама, накопившегосмя от излишнего усердия сыщиков. Легко представить впечатление, произведенное во всех концах России возвращением в семейство без вести пропавших отцов, мужей, братьев и во особенности детей. Понимая, что следовало действовать так, чтобы выгородить государя от обвинений в недостатке благости, диктатор с особенной заботливостью исключил из числа членов верховной комиссии всех прежде известных деятелей, кутавших в самодержавную мантию собственные беспутства. Он обратился к обществу и ввел в комиссию несколько членов петербургской думы. Вероятно, они принесли мало пользы, но ловкость удовлетворила общественное мнение. Пресса ощутительно стала свободнее. Некоторые лица и учреждения ссорили царя с народом. Не колеблясь ни минуты, Меликов употребил свое влияние на устранение их. На Пасху рухнул надоевший всей России граф Толстой.

Не возрадовалась вся Россия, когда узнала, что разорил диктатор инквизиционное гнездо III отделения, обративши его в департамент министерства внутренних дел. Этого добивался граф Петр Шувалов, назначая себе в министры, и осуществление желания его, когда о нем уже совершенно забыли, когда не могло быть речи об употреблении его, гарантировало некоторым образом дальнейшее отсутствие Шувалова из правительственных сфер.

Как министр внутренних дел, заведывавший высшей полицией, Лорис-Меликов сопровождал государя в поездках и тем охранял выработанное им влияние от невыгод долгой разлуки с повелителем. В одну из таких поездок он заручился согласием государя на неотложный приступ к сибирской железной дороге, именно в то время, когда в восточной полосе стали ощущать следствия неурожая. Приступ, может быть, приступом и останется, но заботливость державного выказалась весьма кстати по вопросу, занимавшему общее мнение издавна, на что я указал в ответе Е. И. Богдановичу, неутомимому борцу за дорогу, приславшему мне свои патриотические брошюры. Впрочем, будущая сибирская дорога принесла уже несомненную пользу, загородивши дальнейшую дорогу Грейгу. К концу года министр-садовод, противившийся исполнению утвержденного царем по настоянию Меликова проекта, замене Абазой. От Абазы, как от человека делового, ожидают улучшения финансов. На первых порах, как говорится в сонниках, он уничтожил уже ненавистный соляной налог. Возмещение его потребует перемены в других налогах, и, может быть, податный вопрос, все отлагавшийся по политическим причинам, наконец, кончится сообраз-

но государственной логике. С Грейгом простывает и след Шувалова. Пожалуй, можно считать в той же шайке Валуева, но он гибок, неустойчив. Есть слухи, будто его удаляют от председательства в Комитете министров. Победоносцеву, заменившему синодальную половину Толстого (просветительная перешла к Андрею Сабурову), велено присутствовать в комитете министров. Этим Меликов угождает наследнику, безусловно его поддерживающему, вопреки насмешникам, думающим утробой великого князя Владимира, да и не в угоду Константину.

Набег полиции на типографию в Саперном переулке повел, по-видимому, к важным открытиям. Из числа узнанных участников в различных преступлениях некто Гартман появился в Париже и был задержан по требованию нашего посла. Расскажу здесь дело по-своему, как оно представлялось мне при незнании полицейских подробностей, просто как наблюдателю, следившему за тем, что было ясно каждому, и прислушивавшемуся к толкам праздных сожителей моих. Эти сожители, носящие либерализм и консерватизм в одной утробе, не потому что переходы для них выгодны, а просто по халатничеству мысли, по отсутствию всякой умственной дисциплины, в этот раз, противно теории Тютчева, не

«сложили в Ницце вместе с шубой
Всю память о стране родной».

По мнению их, невыдача Гартмана была чуть ли не casus belli. Следовало, по крайней мере, отозвать посла. Мало было у нас внутренних затруднений, нужно было еще de gaite de Coeur лезть на внешние ради одной нижней виселицы.

Орлов потребовал задержания Гартмана и Фрейсине, исполнил требование, не спрося мнения товарищей министров. Основываясь на обещании посла доставить немедленно обвинительные документы, Фрейсине, в свою очередь, поручился, что Гартмана выдадут. Поспешность первого министра, как бы ни судили о ней другие, нам, русским, могла казаться только желанием угодить нашему правительству. Орлов в восторге телеграфировал, что Гартмана выдадут. Нужные документы заставили себя ждать восемь дней. Заключение Гартмана не могло оставаться секретом. Оппозиционные журналы начали бить в набат, выставляя неуместную угодливость французского правительства к требованиям государства, которое не было даже связано с Францией трактатом, о взаимной выдаче преступников. Пришли, наконец, документы и оказались недостаточными не только для доказательства виновности Гартмана, но даже для удовлетворения в его личности. Гартман был арестован под чужим именем. Он уже подвергся предварительному недельному заключению. Дальнейшая задержка его произвела бы кризис в самом местном правительстве, и арестованного выпроводили в Англию, где тот, разумеется, не счел нужным скрывать своего участия в московском взрыве.

Фрейсине поторопился в уверенности, что мы тотчас докажем личность Гартмана и его виновность. Каким же образом правительство, преследующее преступление, не заботилось представить немедленно самые неопровержимые доказательства? Для чего у нас был посол в Париже? Разве он не обязан знать обычае в и постановлений Франции для подобных случаев? Разве он не должен был взвесить, будучи на месте, все побочные обстоятельства? Предстоявшая ему процедура была до крайности проста. Получивши приказание вытребовать Гартмана, он должен был ответить, что учредит за ним надзор, но чтобы прежде выслали обвинительные документы. Имея их в руках, Орлов встретил бы в Фрейсине ту же готовность и, вдобавок, дал бы возможность выполнить петербургскую волю под основательным предлогом несомненности участия Гартмана в преступлении, от которого могла зависеть жизнь многих, а главное, выполнить скоро, почти внезапно, так что сама оппозиция потешилась бы только криком против совершившегося факта, всегда бесплодным и кратков-

ременным. Государь принял отказ за личное оскорбление и, говорят, хотел сместить Орлова, но одумался, и вообще дело, к счастью, не имело никакого влияния на отношения наши с Францией. Случись противное, опять мы бросились бы в объятья дядюшки. Да и Орлов заслуживает большого снисхождения. Наш строй развивает во всех слугах престола и России нерв угодливости. Даже организмы независимые или долженствующие быть такими, Орловы, Шуваловы, Горчаковы и пр., не могут устоять против общей русскому организму слабости. Какое-то нервное раздражение охватывает министров, послов, даже братьев царя, когда представляется случай высказать личную преданность. Торопятся, мало рассуждают, даже лгут, лишь бы заметили, что первым двигателем усердия — желание угодить повелителю.

В России нигилистические действия и в этом году имели трагическую развязку. Саперный переулок оказался дорогой к эшафоту. Еще прежде захватили некоего Гольденберга. Он кончил тем, что сам наложил на себя руки в крепости. Как согласить лютость Гольденберга и решимость его на самоубийство с полным письменным сознанием и раскрытием всех подробностей организации заговора, несомненно им сообщенным до смерти. Его обвинения послужили главнейшими уликами в процессе. Обвиняемые не оправдывались, и перед возвращением государя из Ливадии еще два безумца поплатились жизнью. Но в этот раз опять выразилась правительственная ловкость Лорис-Меликова. Суд приговорил к смертной казни пятерых, государь утвердил приговор только над двумя, покушения которых повели к смерти невинных, исполнявших долг. Между тремя остальными были фанатики, яростно добивавшиеся смерти державного, они были помилованы и потому, что от преступных попыток их не пострадали другие. Самая казнь совершена келейно, в крепости.

В течение года и даже после казни появлялись плакарды и революционные оттиски, но эти попытки никого уже не тревожили. У Александровской станции, на Лозовая-Севастопольской дороге, вследствие показаний Гольденберга, теперь только нашли под полотном два цилиндра с динамитом, положенные в прошлом еще году. Чистая случайность спасла царя. Телега с электрической машиной стояла на месте при проходе поезда, и преступники соединили токи, но проводники оказались недействительными. Говорят, за несколько часов до прохода поезда проезжала по дороге, идущей вдоль чугунки, грузная телега. Почему-то именно в пагубном месте телега катилась не посреди дороги, а по краю канавки, отделявшей ее от железнодорожной насыпи. Проволоки выходили здесь почти наружу, их перерезало колесом, и царь был спасен, может быть, испугом бросившейся в сторону лошади.

Казалось бы, столь беспощадно преследуемый злоумышленниками и столь осязательно хранимый неведомой силой властелин многомиллионного народа должен был бы войти в себя и взвешивать с особенным вниманием и осторожностью все свои намерения. Повторяющиеся неудачи и беды обыкновенно делают человека более чутким, так сказать, яснее видящим, если не ясновидящим. Увы! Некоторые натуры похожи на шлифованную зеркальную поверхность. Сколько не лей воды, все сбегает, не оставляя следов.

В России в течение года произошли и другие случайности, достойные внимания. По отношению их к моим личным служебным обязанностям, я предпочитаю сгруппировать их в конце главы, где доверщу годовую хронику собственной горькой жизни. Теперь же оглянусь кругом и постараюсь вспомнить главнейшие проявления общеевропейского организма.

В Англии публика встретила новый год под впечатлением страшной катастрофы на одной из шотландских железных дорог. Мост через реку Тай, на пути из Эдинбурга в Дэнди, рухнул под поездом в страшную бурю. Nobody remained to tall the tale.[154]

Сигнальщики утверждали, что поезд вступил на мост самым тихим ходом, и видели только искры, посыпавшиеся с моста в образе фейерверка. Наряженные комиссии пришли к истинно англо-саксонскому заключению – что следовало тотчас приступить к возобновлению уничтоженного сообщения. Случайное бедствие скоро кануло в другой случайности, касавшейся уже всего английского народа, – в перемене правительства. Я называю торжество либеральной партии случайностью, потому что все утверждали, будто она не готова принять бразды правления, и сам Биконсфильд был настолько уверен в прочности своей власти, что решился ускорить общие выборы в парламент, хотя срок представительству истекал только в конце года. В половине марта начали доходить к нам в Ниццу бюллетени о выборах. Многочисленные англичане толпились у книжного магазина Galignani Messendger, где выставлялись телеграммы. Ради изучения нравов я постоянно был в числе любопытных и утешал знакомых мне консерваторов дипломатическими любезностями, имевшими на этот раз большую долю истины. Практически John Bull, удовлетворивши шовинизм своей победой над нами в Берлине, неминуемо должен был возвратиться к излюбленной теории дебита и кредита и повалить фантастическую политику романиста-премьера. Англичане, уверенные в силе, имеющие ее всегда готовой, в складе, при надобности и желании встанут во главу забияк, когда захотят. Зачем же держать постоянно ружье у плеча и тратить капитал на мелкий размен, когда они уверены в успехе больших банкирских операций в случае нужды? Но что скажут австро-германцы, рассчитывавшие на поддержку консервативного английского правительства во всех против нас кознях? Я не сомневался, что либералы примут наследие совершившихся фактов с обычной способностью англо-саксонских политических желудков переваривать всякие яства, но не станут питаться свежими блюдами того же рода или, по крайней мере, изменят приправы.

Наравне с консерваторами-англичанами повесили в Ницце носы и революционеры-поляки, впечатлительные верхогляды, весьма чувствительные к изменениям политического барометра. Они уже видели союз России, поборницы произвола, с эгоистической Англией, зная, что и либералы там прежде всего англичане, а потом уже либералы.

Успех либералов был просто торжеством анштлийского здравого смысла. Понятно, что государство, не уверенное в своем могуществе, приобретя случайное значение, пользуется каждым случаем, чтобы сохранить его, но к чему постоянно тратиться на значение Англии с ее подлинным могуществом, при физической охране берегов ее? Сила есть, и сила несомненная. Когда понадобится, развяжут туго набитый кошель и выпустят силу из склада на божий свет под прикрытием громадного флота. Всегда хватит времени исправить недостатки военной организации и поставить на дыбы то же, на что страна тратится ежегодно для сохранения непрерывного значения по системе Биконсфильда.

У нас, по обыкновению, детски-шумно обрадовались перемене козырей в Англии. Гладстон, не желавший стать во главу нового правительства, должен был решиться на то. После подвигов в Шотландии, где он агитировал против Биконсфильда, переносясь с юношеской быстротой из одного места в другое, принимая по нескольку обедов в день и говоря все остальное время суток, 70-летний боец не мог уже закутаться в халат дряхлости, никто не поверил бы ему. Его прошлое обязывало его на изменения консервативной политики, и предлог к изменению он нашел в самом берлинском конгрессе, который принял в наследие. Порта не выполнила еще положительных постановлений конгресса касательно границ Черногории и вовсе не думала об удовлетворении выраженных конгрессом желаний относительно исправления границ Турции с

Грецией. Тотчас заменивши туркофила Ляйерда Гошеном, Гладстон уговорил подлежащих виртуозов дать концерт в том же Берлине, и 4/16 июня собралась конференция для решения дел, пущенных в ход конгрессом, но не доведенных до конца способностью Порты к инерции и усталостью витязей конгресса. Король эллинов в ожидании великих благ от Филэллина Гладстона предпринял путешествие к различным кабинетам Европы, завтракал с Гамбеттой, стоявшим за выгоды Греции, обедал у лорда-мера, принимал адреса и дипломы почетного лондонского гражданина, кланялся железному канцлеру и гибкому поневоле цесарю, даже удостоил просить о помощи размягченный и запыхавшихся от последних усилий Петербург. Везде, как уверял король-скиталец, обещали понудить Турцию удовлетворить Грецию. И действительно, на берлинской конференции греческий вопрос, выразившийся на конгрессе платоническим желанием, стал важнейшим вопросом. Мы отличались равнодушием под личиной навязанной недавней войной умеренности и, по-моему, в этот раз были мудры. Французы ликовали, что конференция принимала проект турецко-греческой границы, ими на конгрессе предложенной, хотя, как бы в доказательство бренности установившегося согласия, англичане тотчас начали спорить, что первоначальная идея граничной линии принадлежит пограничному комиссару Simens'у. Как бы то ни было, конференция решила, чтобы Турция уступила Греции Эпир и Фессалию с Меццовой, Яниной и Лариссой. Турция бойко возразила, что на изъявление желаний конгресса никогда не давала положительного согласия, что греки ее не побили, так ради чего она будет добровольно уступать им свои земли. Турецкий смысл в этом случае был здравым смыслом. Тогда сыгравшиеся музыканты решили начать изготовленную пьесу прелюдией.

Гладстон не мог потерпеть неудачи в самом начале. Единовременное с конференцией поражение англичан в Афганистане Эй-уб-Ханом могло быть истолковано им как случайное последствие следованной от консерваторов политики, но конференция была его детищем. Успех был необходим. Порта не захотела говорить о греческом вопросе, решили вывести ее на диссертацию вопросом черногорским, тоже определенным на берлинском конгрессе. Уступленные черногорцам по конгрессу полосы оказались для передачи неудобными по сопротивлению населения; их хотели заменить сначала участками, известными под кличкой компромисса Корте, по имени придумавшего их итальянского посла; наконец, с согласия самой Порты решили удовлетворить Черную Гору приморской областью Дульсиньо. Но здесь появился новый противник — Албанская лига, ни за что не соглашавшаяся передать Дульсиньо черногорцам, хотя султан и приказывал накрепко, чтобы его желание было выполнено. Неисполнение требования quasi соединенной Европы повело к пресловутой морской демонстрации, в которой мой недипломатический взгляд так распределяет роли. Англия, желая приобрести влияние на Балканском полуострове между вновь возникавшими свободными от турецкого ига народонаселениями, за правду была и теперь готова помогать балканским христианам окончательно стряхнуть мусульманское иго. Греческий вопрос ей особенно важен, и она приближается к нему черногорским. Франция, пытавшаяся ожить политически по воле безответственного Гамбетты и радовавшаяся успеху ее хозяйства, выраженного дважды — на конгрессе и на конференции, — в одиннадцатом часу устрашилась, что участие в демонстрации поведет ее, пока жаждущую мира, к усложнениям, которые потребуют военных с ее стороны действий и тем соблазнят немцев на новые миллиарды, так скоро вновь наросшие на благодатной французской почве. Сочувствие Греции вдруг охладилось, а, может быть, мщение Гладстону, выказавшему в 1870 году полное к Франции равнодушие, играло немалую роль.

Россия, не готовая на решительные действия в собственных интересах, не могла, однако ж, устраниться в деле, обещавшем новые льготы народам, издавна ей покровительствующим. Германия, силившаяся во времени окончания борьбы с Францией делать солдат и деньги, успевала только в солдатах; финансы ее были в неблестящем положении, и она выжидала случая исправить их новыми тарифными мерами Бисмарка или всего вероятнее, насильственным заимствованием у богатого и так недавно побитого соседа. Общая сумятица дала бы к тому удобный случай, но Франция, по-видимому, догадалась. Отклониться от участия в исполнении требований, дважды выраженных в Берлине, было для Германии неудобно, но степень этого участия верно выразилась посылкой для демонстрации одного только Конвета. Австрия, опасаясь, что решимость Гладстона в руку России, а между тем, видя надобность не отказываться фактически от решений конгресса, ею же подписанных, тем более, что к исполнению решений приступали на ее границах, послала в Интернациональный флот равную с прочими эскадру (не захотевши подчинить английскому главнокомандующему адмирала) и сверх того, как хозяин местности, где собирались угрожающие Турции силы, велела своей обычной эволюционной эскадре с адмиралом держаться на месте сбора для возможных услуг. В сущности, ей было важно сохранение мутного на Балканском полуострове Status quo, пока собственные силы, подпертые германскими, внутренние затруднения, ожидаемые во Франции, совершенная финансовая неспособность России и, может быть, новая перемена в английском правительстве укажут ей своевременность выполнения окончательного против России плана продолжения своего владычества от Нового Базара до Эгейского моря. Таким образом, веские по значению истинные ревнители дела, робкие доброжелатели, опасавшиеся за собственное благосостояние, совершенно равнодушные к делу и выглядывавшие только возможность извлечь из него выгоду, охотники до легких, ничего не стоящих земельных приобретений и сердечные простаки, уже привыкшие к жертвам без малейшей для себя пользы, собрались в начале сентября в Гравозе под английское знамя. Итальянцев подвигал столько же принцип национальностей, сколько желание быть в ряду великих держав и надежда на случайность противодействия Австрии.

Порта томила обещаниями и уловками. Могла ли она поступить иначе, зная, что европейское согласие висело если не на ниточке, то на разных нитях, что укротители ее условились ни в каком случае не высаживать военной силы, а некоторые, именно французы, участвуя в концерте, имели положительное приказание даже не стрелять с моря, если бы обстоятельства вынудили главнокомандующего на подобную решимость? Но от британского льва трудно отбиться. Сама Германия уговаривала Порту к незначительной уступке, чтобы избежать большей. Англия предложила воздействовать на Порту захватом Смирны, и султан сделал то, что должен был бы сделать в самом начале, — к концу года Дульсиньо был уступлен; союзники, довольные, что вышли из затруднительного положения, разошлись, большинством считая греческий вопрос похороненным, но... сама Греция, возбужденная обещаниями, что вынудит Европу на вмешательство, делает займы, вербует войско и хочет весной взять обещанное силой. Чем кончится вопрос, поднятый с детской торопливостью, без предварительного согласия в средствах для достижения окончательной цели? Отступит ли Англия, если министерство утвердится в новом влиянии? Разрешение неведомого — доля будущего, но в настоящем и прошедшем явны промахи обязанных быть мудрыми правительств и в особенности дипломатических представителей их. В отплытии нашего адмирала из Кататро в Неаполь вместо Пирея, обычного пункта его пребывания, указуемого родством греческой королевы, я вижу,

что мы не хотим давать грекам повода надеяться на нашу ревностную помощь в вопросе, и признаюсь, вполне оправдываю, что правительство наше предпочло ни на что не обязывающее выжидательное положение. А в Азии английское министерство освободило руки. Роберт разбил наголову зарвавшегося Эйуба, и афганская война может считаться оконченной. Разве возникшие аграрные замешательства в Ирддандии, и на этот раз серьезные, укротят на время Гладстона, по-видимому, добивающегося исторического имени изгнателя мусульман из Европы?

В то время, как Англия, по разбросанности своих владений, занималась преимущественно внешними вопросами, Франция оберегалась всячески от внутренних беспокойств. Национальное собрание почло нужным изгладить память о Коммуне общей амнистией.

В начале года правительство высказалось против меры, но в июне, осиленное общим мнением, согласилось на нее. По этому случаю Гамбетта, оставя президентское кресло, выступил в защиту своих бельвильских избирателей, только что выбравших в городской совет прощенного каторжника. Он уверял, что это последний акт коммунаров и что амнистия заставит забыть их.

По странному ésprit d'A propos[155] впуск из-за моря преступников совпал с первым применением мартовского закона об изгнании монашеских орденов, не представивших свои статуты по требованию правительства. Начали иезуитами. В Rue de Sèvres некоторые сенаторы и депутаты пришли на помощь изгоняемой братии. Повторились знакомые польские сцены. Бабы выли, становились на колени, дамы целовали полы мучеников, а иезуитов все-таки выпроводили без колебаний, выказанных нами во время польского восстания.

В половине июля правительство отвлекло парижан от монашеского вопроса обычным, весьма действительным средством — праздником. 14-го числа торжествовали учреждение республики, причем армии раздавали новые знамена взамен утерянных при разгроме 1870 года. Разумный первый министр, Фрейсине, думал, что общее внимание к мартовским декретам погасло вместе с огнями пышного празднества, и вступил в согласительные переговоры с Ватиканом. Готовился компромисс, вследствие которого различные ордены, под некоторыми условиями, представили бы правительству свои статуты на просмотр и учреждение. Но Фрейсине вел дело тайно, не посоветовавшись с Гамбеттой, и, когда захотел познакомить публику с своими намерениями в речи, произнесенной в Монтобане, поднял в послушном Гамбетте собрании большую бурю. Начали требовать немедленного и полного применения изданных в марте декретов со всей республиканской бесцеремонностью.

Желавший уладить дело без шума, с согласия Папы, Фрейсине должен был выйти в отставку и уступить место радикалу Ферри. Стирающийся президент Греви должен был бы в этом случае возвысить голос, но, по-видимому, нежность к своим владениям в горах Юры, улучшаемым на счет президентского содержания, взяла верх. По-моему, закулисное правительство Гамбетты наделает Франции много бед. Оно сказалось уже в греческом вопросе, поставившем в смешное положение легальные французские власти, только что попытавшиеся занять подобающее Франции место в ряду великих держав. Нет сомнения, Гамбетта уверил короля Георга в помощи Франции, но публика встревожилась, почуяла возможность политических осложнений, войны, и громко высказалась за невмешательство Франции в чужие дела. Правительство, дважды выразившее свою горячность к грекам, должно было в глазах всей Европы отказаться от своих же идей и послало адмирала в состав международной эскадры с приказанием не действовать ни в каком случае, а довольствоваться только присутствием, как признаком того, что Франция не отделяется от Европы.

Германия в течение года, как я сказал уже, растила солдат, а действия Австрии и Италии достаточно выяснены в хронике восточного вопроса.

Собственная моя жизнь так перемежается с служебными обязанностями, что все в ней, наиболее достойное внимания, истекает из служебного моего положения, незначительного в настоящем, но связавшего меня в прошедшем с некоторыми лицами, по-видимому, не забывающими это прошедшее. Я говорил уже о встрече с цесаревичем, приезжавшим навестить больную Императрицу. Тогда же я имел случай беседовать с Великим Князем Алексеем, остающимся, можно сказать, не у дел по опасению дядюшки, чтобы он ближе не присмотрелся к анархии, царствующей в нашей морской администрации. Наследник, сетуя на недействительность флота, откровенно высказал надежду, что новая яхта, заказанная в Англии, не удастся. «По крайней мере, тогда, — прибавил Его Высочество, говоривший в присутствии царевны по-французски, — tout sera bien fini».[156] Великий Князь Алексей, как подчиненный генерал-адмирала и мудро уклоняющийся от всякого вмешательства в семейные трения, был сдержаннее, но откровенно сознался, что не принимает никакого участия в различных комитетах и советах, которыми дядюшка старается выказать, будто он, Алексей, наблюдает за всем происходящим в морском управлении. Назойливость Попова, прекращающего все разногласия и споры объявлением воли генерал-адмирала, видимо, оскорбляет Великого Князя Алексея. Он положил себе правилом не вмешиваться, но считает неприличным быть наряду с другими безмолвным одобрителем фантазии Попова, околдовавшего великого князя Константина. Из разговоров с разными лицами, в особенности с К. К. Гротом, испытавшим на себе председательское гаерство генерал-адмирала в государственном совете, я вывожу свойское, лично мне принадлежащее заключение. Государь при постоянном желании, чтобы все вопросы в совете решались согласно его взгляду, хочет, чтобы соблюдался внешний вид независимости мнений членов совета. Он имеет несомненное право утверждать заключение меньшинства, но предпочитает внешность приличия и всегда рад утвердить мнение большинства. Заручившись предварительно высочайшим желанием, Константин направляет прения, прекращает их, а подчас дерзко останавливает упорных оппонентов, и всегда выходит, что свет, якобы не ведающий намерений властелина, приходит к решениям, сообразным его воле. В этом искусстве подготовлять либеральными с виду средствами исполнение взглядов произвола великий князь Константин, недаром побывавший в школе А. В. Головнина, большой мастер. Вот секрет расположения к нему венценосного брата. Ни семейная к Константину ненависть, ни собственные промах Константина — а их немало — не могут поколебать державного. Брат для него удобен как председатель законодательного учреждения — и флот должен платить за удобство, и миллионы народных денег могут тратиться без малейшей пользы. Все мыслящее ясно видит, что в морском управлении происходит бесполезно изнуряющая сизифова работа; имеющие право громко выражать свои мнения прямо винят необузданного генерал-адмирала, журналы и осторожные критики бьют его по спине Попова, а царь будто не слышит и даже не хочет видеть. Требования китайской экспедиции и интернациональной демонстрации против Порты ясно выказали, что у нас нет морской силы, а государь поторопился весьма лестным рескриптом одобрить совершенное в 25-летнее управление брата окончательное расстройство флота. В рескрипте особенно выставлялось искусство, с которым Великий Князь в последнюю крымскую войну создал в короткое время средства для борьбы с неприятелем. Всем современникам известно, что средства эти, худые или хорошие, созданы не только при деятельном моем участии, но по моей инициативе. Не могу не вспомнить, что на

предложение мое, по возвращении из Англии с вестью о разрыве, приступить тотчас к сооружению флотилии для защиты Кронштадта и столицы, Его Высочество возразил с иронией: «Вот польза посылки вас за границу, вы там насмотритесь разных див и потом думаете, что так сразу можно и у нас творить их». Взгляд этот, впрочем, скоро изменился, и предложение мое было принято. Помяну также и другую аксиому Великого Князя, целиком выведенную из позитивизма черствого воспитателя его Ф. П. Литке и из бессердия А. В. Головнина. Однажды в непринужденной беседе на известной квартире в доме кронштадтского главного командира увлекшийся собственными достоинствами распорядителя тогда еще молодой начальник обмолвился весьма цинически: «Вся суть действий распоряжающегося отраслью государственного управления, — сказал он, — уметь употреблять способных людей на приведение в исполнение своих взглядов; право выжимать из них возможное всегда за ним». Не помню, прибавил ли он, что за ним и право выбрасывать выжатые способности. Во всяком случае, нельзя, к сожалению, отнести этой откровенной и откровенно выраженной теории к молодости безответного оратора. Теперь он уже под бременем лет, и «царское спасибо» доставляло ему случай высказать, что юношеские понятия изменились, однако ж, ни единым словом не помянул он тех, которые трудами своими вписали в юбилейный ему рескрипт самую видную строку.

Производство мое в новый год в вице-адмиралы (после почти 20-летнего пребывания в прежнем чине) дало знакомому мне издавна каннскому кружку и некоторым доброжелателям-соотечественникам в Ницце выказать мне сочувствие. В числе их был князь Н. А. Лобанов, прежний товарищ по военному дому великого князя Константина. Бедняга приехал в Ниццу доживать на солнце остаток страдальческой жизни.

Один из матросов «Пожарского», страдавший неотвязчивой лихорадкой, был свезен в вилла-франкский госпиталь. Главный доктор госпиталя лечил Лобанова и в разговоре признался, что не знает, что делать с русским своим пациентом. Судя по слабому состоянию, он написал привезенного матроса на первую порцию. Через несколько дней больной стал показывать знаками два — дали вторую порцию и так продолжали до четвертой, самой сытной. Больной продолжал жаловаться. «Пожарский» тем временем ушел, и Лобанов тотчас послал в госпиталь своего секретаря. Оказалось, что матрос, подавая знаки, разумел, что его трясло два, три, четыре раза, а его более и более закармливали. Не будь Лобанова, вывели бы несчастного в расход как скончавшегося от лихорадки, а он умер бы просто от незнания французского языка. Хохотал до изнеможения прежде редко улыбавшийся Лобанов, но, несмотря на его жалкое положение, трудно было также удержаться от смеха.

Считая себя моряком потому, что когда-то владел яхтой и имел флотский чин, Лобанов вздыхал над положением нашего флота. Благо было бы, если бы флот заслуживал только вздохи болезненного порицателя всего современного, настоящего. К сожалению, было над чем вздыхать всей России. Две осязательные случайности явно высказали, что 25-летнее управление флотом генерал-адмирала, за которое его только что поблагодарили, привело к совершенному расстройству наших морских сил, а только что набежавшая новая случайность навязывала убеждение, что, несмотря на горький для национального самолюбия урок, правители наши продолжают, без всякого сострадания к русским податным силам, кроить по-своему морские силы наши, увлекаясь призраками в деле столь материальном, как корабли, пушки и машины. Година для меня вдвойне горькая: личное мое счастье безвозвратно утрачено, и единовременно угас последний луч надежды на успех любимого мною дела, которому посвятил большую часть жизни, в котором так долго участвовал духовными моими силами. Все соединилось, чтобы

превратить меня в пустой безвоздушный сосуд, готовый рассыпаться от малейшего внешнего давления.

Еще в начале апреля контр-адмирал Кремер, командующий отрядом в Средиземном море, сказал мне, что получил приказание отправить фрегат «Кн. Пожарский» в Китай. Охраняющие греческую королеву силы наши ограничивались по отплытию «Пожарского» ничтожным колесным пароходом «Эльбрус», которому придавали комическое значение подъемом на нем адмиральского флага. «Пожарский» — устарелый образчик первобытных броненосных судов, не способный принести пользу в дальних морях уже потому, что берет всего на четверо суток угля и с этим скудным запасом может пройти не более 800 миль, а длина Красного моря, требующего исключительно парового хода, 1 100 миль. Но «Пожарский», взятый с средиземной станции, был, по крайней мере, действителен в боевом смысле, экипаж соответствовал чисто военным надобностям; большинство же судов, которыми увеличивали силы в китайских морях, были только что спущены, посылались в огонь прямо со стапеля, с неиспытанными механизмами, с только что набранными командами, с кочегарами и машинистами, страдавшими от морской болезни. Многие высылались в таких условиях в конце года, в самое бурное время, и фрегат «Генерал-Адмирал» едва не погиб в Бискайской бухте от непривычки команды к морю. Суда, возвращавшиеся из Тихого океана после четырехлетнего там пребывания, требовавшие тщательного пересмотра, воротили назад, переменивши на них в Египте экипажи, уничтожив, таким образом, их боевую действительность. Деятельность Кронштадтского порта и рвение офицеров наших выказались бесспорно с самой блестящей стороны, но что же сказать о распорядительности морского управления? Если нашли возможность выслать в год спуска новые суда, почему не приняли давно системы, на которую я неоднократно налегал, почему не подвергали посылаемых в дальние моря крейсеров возможным предварительным испытаниям в Балтийском море и не высылали их следующей весной, при погодах, допускавших осмотреться, не торопясь, и явиться на станцию уже в боевом порядке? Находили извинение в недостаточности бюджетов, а между тем тратили деньги на введение новой науки русского кораблестроения. Для гадательного будущего, представлявшегося весьма гадательным, жертвовали настоящим с его нетерпящими отлагательства требованиями. При всех подобных натяжках едва ли бы собрали у китайских берегов нужную силу, если бы не было наскоро приобретенных в Америке по случаю восточной войны крейсеров и не подоспел на выручку добровольный флот. Из таких лоскутов составили эскадру, назначенную действовать в 15 тысячах миль от своих портов, на глазах завистливых иностранцев, против государства с 400-миллионным наследием. И в чисто тактическом отношении морское министерство выказало непростительное упущение. Строй поднебесной империи таков, что только непосредственное действие на центральную власть может повести к результату. В случае разрыва следовало тотчас проникнуть в реки, внести войну в средоточие империи, ударить на Пекин, а ни одно из посланных судов не могло пройти в Пейхо. С эскадрой был необходим десант, чтобы занять укрепления, которые остались бы в тылу ее при движении внутрь. Ничего подобного не предпринимали. Министерство не могло не знать местных условий войны и торопилось только выслать суда для удовлетворения домашней публики, для того, чтобы выказать свою деятельность, зная, что суда негодны для цели. В случае войны с Китаем требовалась быстрота ударов или думали ограничиться блокадой китайских портов? Но такой образ действий был бы на руку китайскому правительству, открывшему порты европейской торговле по принуждению. Вдобавок он затянул бы войну, и каждому было ясно, что торгующий на сотни миллионов с Китаем ев-

ропейский люд вынудил бы свои правительства на вмешательство. Нельзя же допустить, чтобы наши правители, производя огромные расходы, имели в виду лишь охранение наших владений от нападения китайского флота.

Мне сообщали о лихорадочной деятельности министерства в виду предстоящих военных действий. Возможность стать козлом отпущения вследствие моей беседы с Поповым заставила меня вдумываться в предстоявшие мне случайности. При существовавших условиях, мне казалось, что нас могла спасти только решительность. Я читал многое о Китае, сидел над картами и пришел к заключению, что тотчас по прибытии мне нужно будет выказать китайцам фактически нашу силу, именно занять Чусан или Чифу, рискуя даже гневом отдаленных властей. Предлог к такому, как мне кажется, расчетливому задору можно было создать немедленно, осмотревшись по прибытии. С залогами в руках, необходимыми как места складов для эскадры, было бы удобнее переговаривать с китайцами, и худшее, что могло бы выйти из моего самовластного поступка, было бы отозвание меня и передача захваченных пунктов владетелям. Все-таки в китайцах осталось бы убеждение, что мы можем нанести им вред, когда пожелаем, и что с нами нельзя играть в проволочку, по-восточному. Смотрел я на вопрос и с другой стороны, предполагая, что мне дадут точные и подробные инструкции, не оставляющие ничего собственной инициативе, настаивающие на необходимости быть готовым громить неприятеля, но еще более на осторожности действовать так, чтобы не раздразнить державы, разрушившие китайскую стену большими пожертвованиями и добившиеся права торговли, которое мне неминуемо предстояло ограничить, если не отнять на время войны совершенно. Я мог бы вовлечь Россию в затруднение, а главное, был бы в несносных нравственных тисках между морским министерством, жаждущим, чтобы вверенная мне эскадра выказала пользу и надобность изготовленного им сооружения, и министерством иностранных дел, весьма ревнивым в своей сфере действий и вдобавок скупым на руководства начальникам, которых судьба ставит в зависимотсь от него. Я испытал это в Сирии. Предполагая себя связанным точными наставлениями, я решился перед принятием командования высказать откровенно не только взгляд мой, но и нравственную неспособность мою ко всему неопределенному, изнурительно-выжидательномук положению. Если и затем меня не отвергшли бы, я решился идти с девизом: «Fais ce que dois, advienne ce que poura».[157]

По отказе моем предлагали командование Чихачеву, требуя, чтобы он отправился немедленно. Обширные дела по обществу пароходства и собственные, при многочисленном семействе, не допускали выполнения Чихачевым подобного требования. Тогда пожертвовал собой рыцарь Лесовской. У нас переменить положение министра на командование вдали, пышные чертоги на душные каюты было истинной жертвой, да и везде решимость брать на себя ответственность в 63 года, после долголетней привычки к сравнительной неге, при болезненности сочли бы достойным уважения проявлением чувства долга. То, чему рукоплескали бы в другом, в друге Степане показалось естественным: так привыкли к его служебному рыцарству. В этот раз рыцарсвто его истекло из другого источника, не менее чистого, не менее достойного уважения. При всей строгости понятий его о подчиненности, ответственность перед флотом и собственной совестью за произвольные, лишенные смысла действия бессознательно суетившегося генерал-адмирала стала перед честным слугой России укорительным призраком. Соблюдая все требобания подчиненности, он еще в марте просил государя уволить его от должности по болезни и на возражение державного, что ему дан товарищ (Пещуров), откровенно отвечал, что не одна физическая слабость заставила его утруждать его величество. Лесовской

остался, но воспользовался первым удобным случаем удалиться. Отправляться на войну, в обстоятельствах мной начертанных, противоречило предлогу физической слабости и являло неоспоримую крепость духа. Едва вступивши в командование, бедный друг мой сломал себе ногу в жестокий шторм. Да хранит бог детски чистого Степана и да возвратит его невредимым со славой и, что для него важнее, с спокойным убеждением, что на закате дней выполнил долг. Его назначили главным начальником морских сил в Тихом океане и членом государственного совета при лестном рескрипте.

Понадобился флот и для подоспевшей интернациональной демонстрации. Все державы послали новейшие грозные суда, обшитые броней, установленные громадными орудиями. Даже Италия и Австрия, которых никто не ставил в ряд морских наций, соперничали с англичанами современностью отряженных на общеевропейское растилище кораблей. Мы представили «Светлану», «Аскольд» и «Жемчуг», старые двадцатилетние деревянные суда, которые рассыпались бы от случайного прикосновения к закованным в броню союзникам, и хвастали этим, уверяя, что морские силы наши на все достаточны. В сущности хотели, если турецко-греческий вопрос примет большие размеры, остановить в Средиземном море отправляющиеся к Лесовскому и даже воротить от него некоторые суда. Восточный вопрос еще не кончен и, вероятно, придется видеть, как морское министерство кстати применяет басню дедушки Крылова о тришкином кафтане. Но не стану повторять, причины падения разных деятелей у нас редко серьезные, обрываются на питающем интриги вздоре. Так может случиться и с генерал-адмиралом по поводу неудачи с выстроенной в Англии яхтой «Ливадия».

В то время как присутствие морских сил наших требовалось на различных разделенных большим расстоянием пунктах земного шара, мы дивили мир шумной постройкой в Англии императорской яхты по образцу поповок, не выказавших пригодности своей во время войны. Великий Князь находил время среди забот о появлении русской флотилии на разных морях ездить в Гласгов любоваться детищем самородного русского вымысла, и когда яхта была готова, сел на нее в Бресте, пригласивши с собой интенданта английского флота Houston Steward и знаменитого кума Попова – Reed. Первый опыт на тихой воде устья Клайда дал блистательные результаты. Машина в 12500 тысяч сил гнала яхту по 15 узлов, и Попов писал в «Times», что яхта по спуске стояла долго в мутной воде, загрязнившей дно ее, что по приходе в Севастополь ее поднимут на единственный док, способный принимать подобные суда, и с чистым дном яхта даст результат еще более поразительный. «Синица на море пустилась, и не пришлось ей моря сжечь». В Бискайской бухте новорожденную принял осенний шторм, и вместо Кадикса, куда предполагали плыть из Бреста, зашли в Ферроль, где дивный образчик русской корабельной архитектуры, расшатавшийся от двухдневной бури, остался на зимовку и уже до того изнурил команду беспрестанной выкачкой воды, что теперь посылают в Ферроль еще 80 матросов. Любопытны кунштуки, которыми тешили русскую публику, желая ввести ее в заблуждение насчет истинного состояния яхты. Громкие отчеты о ее плавании писались кумом Ридом из каждого порта. Из Ферроля появилась в «Times» статья, прочтя которую, я тогда же сказал Икскулю, что яхта в Неаполь не придет, что ее просто расшатало, и пояснял ее слабость на волнении, сравнивая с падением ее с волны с ударом о воду человека, бросающегося плашмя. В судно обыкновенной конструкции, при погружении его в воду острой конечностью, попадает волна; плоская, кругообразная «Ливадия» волны не принимает, как писали ее защитники, зато страшно колотится о волну дном, и что-нибудь должно же уступить. Рид говорил, что удары были ужасные (Stremendous), и когда открылась

течь, он приписал ее ударам, но потом, в Ферроле, будто убедился, что течь от пролома дна плававшими обломками, которые офицеры заметили на пути.

Пробило шесть отделений дна, разделенных непроницаемыми переборками. Эту басенку сложили в официальном рапорте и бесстыдно публиковали в назидание русской публике. Очевидно, указывая на первоначальную свою догадку, Рид хотел, чтобы читатели англичане видели, что его, Рида, обмануть нельзя, а соглашаясь с теорией пролома, исполнял требования кумовства. Капитан Верховский, посылавший хвалебные о «Ливадии» письма в «Кронштадтский вестник», вдруг замолк по прибытии в Ферроль. Не имея возможности выехать из Ферроля, великий князь перешел на яхте в соседнюю Коруну, откуда «Ливадия» снова возвратилась в Ферроль, Steward, Reed, строитель Pierce, да и сам изобретатель Попов бежали с нее вместе с великим князем, но Рид, повествуя о переходах между Ферролем и Коруной, сделанных, очевидно, с целью показать, что яхта годна к морю, не упустил прибавить, что расстояние всего несколько десятков миль и море было, как зеркало. Произвели много шуму, путешествие великого князя сделали предметом сношений с подлежащими дворами, везде готовились к торжественной встрече, и самому мне пришлось содействовать несчастной громогласности появления генерал-адмирала в Неаполе. Все кончилось постыдной неудачей. Из Парижа Великий Князь Константин с уверенностью (чтобы не выразиться менее вежливо) доносил государю, что русская корабельная архитектура вышла из опыта блистательно победоносной и что повреждения яхты чистая случайность, но досталось ему в наших журналах, без исключения бивших его по спине Попова. Вспоминаю слова наследника, принимаю в соображение достойные вероятия толки, что государь предоставил ему большое участие в управлении после устроенного Лорис-Меликовым свидания в Ливадии, беру в расчет, что у Константина нет друзей даже в семействе, что моряк царский сын без дела, и думаю, что услуги по государственному совету отныне не будут идти вразрез с надобностями флота в России.

Порицание действий моего даровитого покровителя, всегда ко мне благосклонного malgré moi[158] и только что доставившего мне последнее земное счастье, требует от меня чрезмерного насилования чувств и производит боль душевную, но страдает душа и от всего, заставляющего страдать Россию. Грустно, что столько способностей и, прибавлю, основываясь на близком собственном наблюдении в первые годы деяельности генерал-адмирала, столько благонамеренности переработались сухосердием воспитателя Великого Князя, а еще более влиянием считавшего его только «хорошим орудием» для достижения собственных целей А. В. Головнина, в вредное для государства значение. Истина заставляет меня отделять государственного деятеля от человека, истина вдвойне для меня обязательная.

Я говорил уже о последней поездке моей с женой в Специю. На только что оконченном итальянском броненосце «Duilio» разорвало одно из огромных орудий, впервые поставленных на корабли. В Специю прислали из Рима целую комиссию, и в прениях с членами я напомнил некоторым из них, как однажды, за обедом у принца Томаса Савойского, я пророчил, что итальянцы бросят принятую ими армстронгову систему и обратятся к пушкам, заряжающимся с казны. И в самом деле, после случая на «Duilio» они решили принять общий всем европейским артиллериям способ заряжания.

В мае, перед отъездом в Париж, я ездил в Тулон на спуск крейсера добровольного флота «Ярославль». Многое выказывало, что за постройкой не наблюдал опытный глаз и что заказ сделан наскоро, без предварительного обсуждения, по-теперешнему. Вспомнилось, как, бывало, сидишь по неделям за чертежами, чтобы не забыть внести чего-нибудь нужного в контракт, такого, за что, при поздней догадке,

придется приплачивать лишние казенные деньги. Теперь не так строги, да и опытности мало, или не ее выбирают в подобных случаях.

В Тулоне оказался префектом старый знакомый мой, вице-адмирал Кранц. Рейд защитили молой с фортами на оконечностях и аппаратами для протягивания цепей между молой и материком, с целью заграждения против удалых миноносок. Этих новых пособников истребления поистине можно назвать удалыми. Вслед за борзыми действиями наших мичманов на Дунае заказанная Лихачевым утлая миноноска в Англии под командой Зацаренного, одного из известных фейерверкеров прошлой войны, прошла из Темзы в Николаев вокруг Европы без посторонней помощи. Чего нельзя сделать с такими лихачами? Были бы вожаки. Удача «Батума» (так назвали миноноску) вмиг поселит доверие к судам этого рода в нашей молодежи, готовой верить, лишь бы учителя были похожи на пророков.

В Бадене, до кончины жены, я часто виделся с престарелым канцлером, выбиравшим, как и я, только по иной причине, для прогулок своих самые уединенные аллеи. Он занимался «кустарным» промыслом, забывая не только бремя лет, но и величие седины. «Для меня наступила история, — самодовольно твердил канцлер, — надеюсь, милостивая», — тотчас переходил к своему бескорыстию, хвастал, ккак дважды отказался от 25 тысяч десятин земли на Волге, укорял Коцебу и других, принявших земные дары.

Терпеливо выслушивая сказочки старика, я думал, что действительно требуется что-нибудь изменить в России, если канцлер Империи даже лжет, не краснея. Впрочем, между басенками, старик не мог не высказать, что в деле конгресса вообще Шувалов торопился, что он, Горчаков, исправил и другую ошибку его, присоединив к выговоренному Батумскому округу всю область Ольти. «Шувалов — человек способный, — прибавил князь, — mais il y a quelqu'un qui lui est infiniment superieur — c'est Jignatieff mais c'est un poète!».[159] Неловко было употребить выражение более определительное, только что допустивши собственную фантазию в область вымысла.

Начали мы, было, разговор о флоте, так часто нужном для успехов дипломатии. Князь Горчаков желал бы большой действительности его и спросил меня, можно ли надеяться на нового управляющего министерством, Пещурова? Канцлер перебил мой благоприятный отзыв и перешел к геральдическим достоинствам фамилии Пещуровых, родственной ему по матери.

Моя прогулка по Швейцарии, как я сказал уже, была поклонением, но и там я силился побороть тоску восторженностью к дивной природе, даже утомляющей любознательностью. Не крепкий, удрученный духовно, я карабкался на ледник Роны, шагал через трещины, упорствовал по висящему над пропастями гримзельскому пути, несмотря на головокружение, и входил в технические подробности самодвижущейся железной дороги к Гисбахскому водопаду. Перевалившись в Италию, повторил разом все прежние прогулки по достопримечательностям Венеции и, наконец, видя тщетность развлечений этого рода, принялся за суровое дело. Триест и Пола пройдены мной в подробности, малейшие новости замечены и описаны кому следует. Я работал там и потом в Риме и Неаполе целый месяц — и выработал только утомление.

Примечания

[1] 1870 г.
[2] «Милосердный Бог, взгляни на это!».
[3] Оброчным, подлежащим барщине и зависящим от милости (хозяев).
[4] Ордер на арест (тайно выдаваемый административной властью).
[5] Pays légal.
[6] «Что не требуется договора, достаточно будет протокола вроде Люксембургского, 1867 года».
[7] «Что Бруннов не имел... — Оставьте, мой дорогой, чужие... в покое и постарайтесь иметь при случае свои».
[8] «Что Бруннов хитер, очень хитер, он поймет».
[9] «Что они шалуны (негодники)».
[10] Карниз — так назывался обрывистый берег между Ниццей и Генуей, нависающий над морем.
[11] То есть о Черном море.
[12] В качестве рантье.
[13] Остряки, остроумцы.
[14] Хозяйка дома
[15] «Как это натурально!». «Какое знание деталей!».
[16] Во славу Божию.
[17] Ленивый король.
[18] Исполненный лет и славы.
[19] Являл собой жалкую фигуру.
[20] Execution en effigie - заочная казнь над изображением преступника
[21] В открытую, без хитростей (с открытыми картами).
[22] С птичьего полета
[23] Своего рода негодяй, мошенник.
[24] «Я всегда являюсь достаточно рано, чтобы услышать, что Ее Величество имеет мне сказать».
[25] «Они лучше бы сделали, если бы помолчали оба..и действительно, все замолчали».
[26] Три венценосных (коронованных) главы.
[27] И цветник из принцев.
[28] Покаяние.
[29] Винтовки заговорят сами.
[30] Так сказать.
[31] Ничего не забыли, ничему не научились.
[32] На основе закона
[33] Бесцеремонности.
[34] Неисправимых.
[35] Итальянствующие (ультра-итальянцы, шовинисты).
[36] После меня хоть потоп.
[37] Саркастический термин этот введен англичанами в собственное утешение от поражений, неоднократно нанесенных им Ройтером, Ван-Тромпом и другими. Они старались уверить, будто голландцы всегда дрались пьяные. (Примечание автора).
[38] Фор-штевень (морской термин) — носовая оконечность корпуса корабля, в данном случае сделанная в виде тарана
[39] С позволения сказать «Грозном» броненосце
[40] In stato — Гилдхолл — торговая палата.
[41] В последующем, везде, где автор говорит о минах (самодвижущихся минах), надо понимать, что речь идет о торпеде.
[42] Все эти намеки на скорость создания итальянского флота и на совершенную негодность быстро выстроенных судов вполне относятся и к собственным нашим действиям. И у нас батарейные и башенные фрегаты, лодки и мониторы, созданные большой тратой денег и совершенно негодные в боевом отношении. Тяжесть брони

их легла только на государственное казначейство. (Примечание автора).

[43] Малое море.

[44] Т. е. холодное.

[45] Т. е. одетые в броню.

[46] Приводя меткое указание Сан-Бона, я имел в виду понудить наши власти к заключению о совершенной негодности настоящей нашей броненосной эскадры.

[47] Великий мастер (делец).

[48] Блестящей идеей.

[49] «Как, — возразил Штакельберг, — Вы между тем имели случай говорить с ним по делам, интересовавшим вас обоих. — Я никогда с ним не говорил, я давал ему возможность говорить. — Но вы отвечали. — По его монологам я видел, что генерал принимает меня за дурака, и я не препятствовал ему в этом».

[50] «Что же это вы мне расхваливали 4-й корпус? Что-то не видно этого. — Я знаю наверное, что он еще себя покажет основательно».

[51] «Молодой человек, не заставляйте меня краснеть».

[52] Обмана, вздора.

[53] Шантажа.

[54] «Сегодня Ваш сын выказал себя достойным полученных наград, читайте...».

[55] Чтобы хитрить друг перед другом.

[56] Во что бы то ни стало.

[57] Как учтивый хозяин.

[58] Лично отдает должное своему произведению.

[59] Ударом шпаги.

[60] Он горячится по любому поводу неизменно обуяемый идеей своего монаршего долга.

[61] Не зная, с какой ноги танцевать.

[62] Маленького домика.

[63] В данном случае «в отпевании». De profundis — первые слова покаянного псалма, молитвы за умерших.

[64] Вдруг Джон Буль сыграл одну из своих штучек.

[65] Засвидетельствовать, что видел своими глазами.

[66] Наш спаситель.

[67] Не воинствующих.

[68] Воинствующие.

[69] Сенсационной новостью.

[70] Положение, какое было до войны.

[71] Ударами шпаги по воде.

[72] Это гнусность в лайковых перчатках и белом галстуке, но тем не менее все же гнусность.

[73] Что нужно уметь дерзать.

[74] Не мешать (махнуть рукой).

[75] Навязать Турции перемирие.

[76] Оборотная сторона карт.

[77] Что Россия стреляла в цель.

[78] Главные силы армии.

[79] Умышленно, нарочно.

[80] Повестками.

[81] Французском театре.

[82] Дюма «Иностранка».

[83] Бывшая красавица.

[84] Хотя бы только для того, чтобы доказать ему, что черт не так страшен, как его малюют.

[85] Который уже доказал свои способности.

[86] Дешево и плохо.

[87] Безрассудный поступок.

[88] Русский револьвер дал осечку.

[89] Жомини и бесчестья.

[90] Свободу (буквально — открытый бланк).

[91] Самые большие следствия вызываются самыми малыми причинами.

[92] Дам с толкучки.

[93] Русский револьвер дал осечку, и лондонским протоколом инцидент был исчерпан.

[94] Не приходится спорить, когда делаешь историю.

[95] Делали историю.

[96] На худой конец (в смысле — за неимением лучшего).

[97] Взлеты и падения.

[98] Подчиниться или подать в отставку.

[99] Подать в отставку, отказаться от должности или подчиниться.

[100] «Вольдемар серьезно ранен, мать выезжает к нему. Александр».

[101] «Что рассуждать о мире будут в лесу из штыков».
[102] «Что мы могли на все отважиться (дерзнуть)».
[103] Писаке, грамотею.
[104] Амбаркация — обратная посадка войск на транспорт.
[105] В данном случае речь идет о якорных минах заграждения.
[106] Каперское свидетельство.
[107] «Это невозможно».
[108] Честного маклера.
[109] Его первый опыт оказался почти мастерским.
[110] Повода к войне.
[111] Неожиданный случай.
[112] В предстоящих обстоятельствах.
[113] Что он в восторге поступить в распоряжение русской княгини.
[114] Пушечным мясом.
[115] Перечниц.
[116] Парижские товары.
[117] Так называемыми.
[118] Полеты на аэростате, воспоминания стула.
[119] Профессиональная зависть.
[120] Сварливым, неуживчивым человеком.
[121] Ходит, но не танцует.
[122] «Берлинский трактат был подписан четырьмя перьями: ястреба, двумя — гуся и одним — голубя».
[123] Извините за малость.
[124] С досады.
[125] Спаситель России.
[126] Александр Дюма — отец дипломатии.
[127] Он посадит нам Австрию на спину.
[128] Составить, сочинить.
[129] Имеющие уши да услышат.
[130] Держал примерно такую речь.
[131] После.
[132] Осложнений.
[133] «Это мне надоело, надо с этим покончить».
[134] Соображения, оценки.
[135] «А я?, — возразил канцлер. — Каково будет мое положение по возвращении?».
[136] Картинка!
[137] Так называемые.
[138] Настоящая следственная комиссия.
[139] Горчица ударила ему в нос.
[140] Изнанку карт.
[141] Кончить, как светило, которое, заходя, освещает горизонт, а не как тухнущая лампа.
[142] Попал впросак (сел в лужу).
[143] Сводника.
[144] Золоченый дом.
[145] Сумасшедший.
[146] Комитет общественного спасения.
[147] «Если согласны, приезжайте скорее».
[148] «Воля государя священна. Отвечайте, могу ли приехать через две недели, потому что я беру с собой больную жену».
[149] «Ваше письмо получено. Генерал-адмирал, сожалея, что не видит Вас на ответственном посту, который он Вам предназначал, глубоко сочувствует Вашему горю и не видит достаточной причины отрывать Вас от сердечных забот, которые вы должны (оказывать) Вашей жене в ее тяжелом положении. Пишу Вам немедленно».
[150] «Мы слышали из достоверных источников, что начальником эскадры, посылаемой в китайские воды, назначается вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков, который в настоящее время состоит военно-морским агентом в южно-европейских государствах. Выбор главнокомандующего флотом, действующим в отдаленных морях, при обстоятельствах исключительных — вещь столь важная, что должна интересовать каждого члена нашего общества. Потому нельзя не приветствовать с живейшим удовольствием возвращение вице-адмирала Шестакова к деятельной службе после долговременного отдыха и не высказать уверенности, что лучшего выбора нельзя было сделать при назначении старшего флагмана для командования флотом, собираемым Россией в Тихом океане.

Вице-адмирал Шестаков с самого начала своей службы на море исполнял постоянно трудные и самостоятельные поручения. Будучи еще мичманом, он выполнил громадный кабинетный труд перевода с английского языка на русский морской истории Джемса. Молодым лейтенантом, командуя тендером, он работал вместе с товарищем своим, ныне адмиралом и генерал-адъютантом Г. И. Бутаковым, по поручению покойного адмирала М. П. Лазарева, над составлением лоции Черного и Мраморного морей — труд, за которым оба провели несколько лет в постоянном крейсерстве.

Затем в чине капитан-лейтенанта И. А. Шестаков был послан в Англию для наблюдения за постройкой нескольких пароходов для Черноморского флота, но не успел окончить этой работы по случаю начавшейся Крымской войны. По заключении мира, состоя адъютантом великого князя генерал-адмирала, И. А. Шестаков принимал деятельное участие в деле пересоздания флота и исполнил блистательную работу по постройке четырнадцати паровых корветов, которые затем в течение многих лет несли деятельную службу и на которых получили практическое воспитание несколько поколений моряков. В 1857 году И. А. Шестаков был послан в Соединенные Штаты для постройки фрегата «Генерал-Адмирал», что он исполнил с замечательным успехом, удостоившись назначения флигель-адъютантом.

Затем в 1860 году, командуя фрегатом «Генерал-Адмирал», он был послан к берегам Сирии по случаю беспорядков, происшедших в Дамаске и Ливанских горах, где друзы и арабы-мусульмане произвели злодейства против христианского населения, вырезав до 12 000 человек. Здесь И. А. Шестаков поднял брейд-вымпел и принял под свое командование отряд из четырех фрегатов, двух корветов и шкун. В 1861 году И. А. Шестаков был произведен в контр-адмиралы с назначением в свиту его величества и утвержден начальником эскадры Средиземного моря. В этой обязанности И. А. Шестаков оставался до половины 1862 года, командуя эскадрой нередко при обстоятельствах, требовавших дипломатического искусства и больших познаний международного права.

Затем контр-адмирал Шестаков был назначен помощником главного командира кронштадтского порта и деятельно работал над усилением обороны кронштадтских укреплений по случаю неприязненного положения, принятого Англией и Францией в 1863 году против России. После этого И. А. Шестаков был градоначальником в Таганроге и губернатором в Вильне.

Пробыв три года в отставке, И. А. Шестаков возвратился во флот и был назначен морским агентом в южно-европейских государствах. Обладая большими техническими познаниями, будучи всесторонне образован и владея в совершенстве иностранными языками, вие-адмирал Шестаков представлется именно тем человеком, который нужен для выпадающего на его долю трудного дела».

151 «В случае войны адмирал Шестаков будет, очевидно, призван командовать русским флотом в Китае. Это выдающийся моряк, хорошо известный во Франции, где он провел годы опалы. Он командовал в 1862 году русским флотом в водах Сирии, когда Наполеон отправил туда экспедиционный корпус».

Командующий французским коропусом нахвалиться не мог своими отношениями с адмиралом Шестаковым. После 1862 года адмирал был помощником командующего флотом в Кронштадте и по причине своего независимого харак-

тера имел столкновения с морским министром и вынужден был оставить службу».

[152] Во время заседания, во время присутствия.

[153] Самозванец.

[154] Никого не осталось, чтобы рассказать о происшествии.

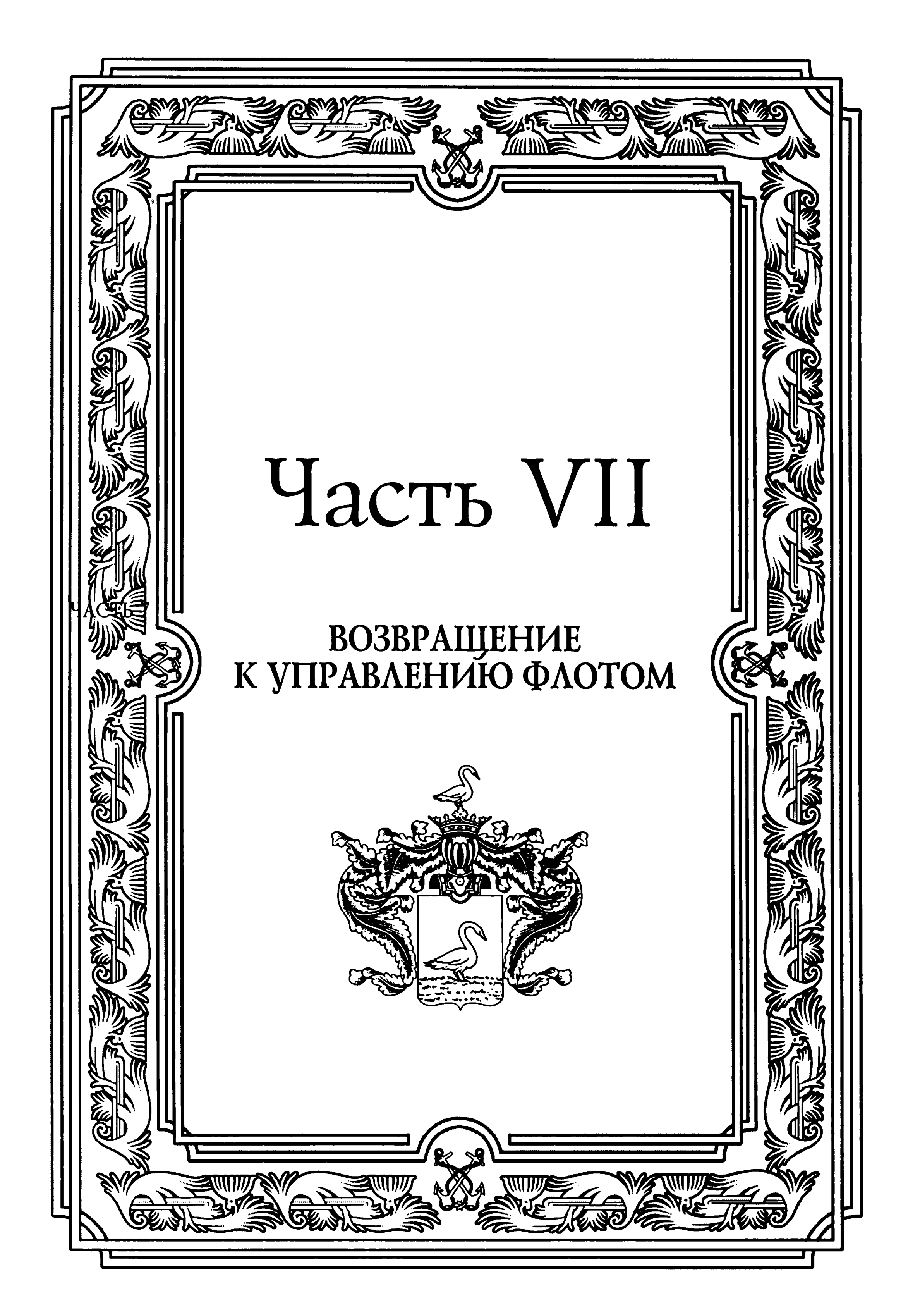
[155] Совпадению.

[156] «Все это закончится».

[157] «Делай, что должен, и пусть случится, что может».

[158] Помимо меня.

[159] «Но есть некто несравненно выше его, это Игнатьев, но это поэт!».



Часть VII

ВОЗВРАЩЕНИЕ К УПРАВЛЕНИЮ ФЛОТОМ

ГЛАВА I

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ОТЕЧЕСТВО

Представление к итальянскому двору. Мой взгляд на усилия Италии стать морской державой. Новый год. Обед в Киринале. Итальянский парламент. Палестинский холм и римская история по Росси. Развалины Остии и граф Орлов-Давидов. Наши временные затруднения с Англией. Случай с князем Цертелевым. 1 марта. Наше правительство теряет голову. П. Шувалов с вестью о воцарении и его странное поведение. Неопределенность нового царствования. Меня присылают для приговора яхты «Ливадия». Встреча с Поповым. Горький Перовский. Первый вид «Ливадии». Плавание на яхте. Прибытие в Севастополь. Плавание на «Ливадии» в Батум. Разрешаю вопрос с Поповым. Встреча с великим князем Михаилом и путешествие с ним в Петербург. Представление новому государю. Подробности бывшего министерского кризиса. Мой отъезд за границу. Эмс, Лорис-Меликов и Баранцев. Встреча с Лесовским. Электрическая выставка. Зовут в Россию. Поездка по Англии и Франции. Возвращаюсь в отечество как раз на выстрел по Черевикову. Вступаю в должность. Комиссия об увеличении морских сил наших.

Итак, я покинул Ниццу, очаровательную для многих, для меня же горькую. Все же, благодаря Ницце, я пользовался счастьем несколько лишних лет.

В Риме я поселился в Via Sistina, над нашим военным агентом Новицким. Тотчас по приезде пришлось подчиниться требованиям официального положения. На вилле Sciara, за Тибром, проживали Великие Князья Сергий и Павел. Молодые хозяева принимали очень мило и занимали гостей с естественной непринужденностью, не переходившей, однако ж, за пределы скромности, свойственной бла говоспитанным людям их возраста.

Грустить и вместе быть обязанным выполнять общественные требования — страшное мучение. Пришлось накануне местного нового года явиться ко двору. Вероятно, в расчете, что большинство собравшихся иностранный представителей в это время у себя мерзнут, натопили приемные комнаты до обморока. Церемония длилась три часа. Познакомился с послами. Германия была налицо в кубической форме Кенделя; Sir Alfred Paget, напоминавший выскочившую из болота жабу, как нельзя более подходил к Англии, этой стране амфибий; герцог de Noailes, маравший громкое имя в оргиях империи, усердно представлял сбив-

шую ее республику. Австриец Wimpfen был прежде в Петербурге. Наш длинный барон Икскуль отличался изящной кокетливой старостью. Король был слишком мил, считал нужным подарить каждого несколькими словами и, разумеется, говорил много пустого; вспомнил столкновение мое с принцем Наполеоном, когда, наследником еще, провожал сестру в Лиссабон, и прибавил, что шурин его «fait maintenant de la politique aussi mal qu'il faisait le marin».[1] В королеве какая-то вертлявость, не отвечающая внешнему достоинству, которого ожидаешь от лиц в подобном положении. На нее навесили все драгоценности кабинета: две диадемы, collier de chien,[2] два ожерелья, чудовищные бриллиантовые серьги и камни по корсажу. Шитый золотом белый трен, унизанный также камнями, — и ни одного пажа, чтоб помогать эволюциям при таком удручающем наряде.

Больно было участвовать в суете мирской. Приступил к усиленному труду. Прения в парламенте касательно состава флота доставили мне обильную пищу. Я читал, считал и писал, бодримый надеждой быть полезным родине, теперь ставшей единственной моей привязанностью. Быстро набегали одна за другой мысли, когда я шагал по комнате, судорожно и нетерпеливо ходила набрасывавшая их рука, но сердце не уступало прав своих. Часто приходило на мысль, что при большей с моей стороны нежности жена прожила бы долее.

Наступили рождественские праздники и соединенные с ними богослужения. Как-то мешалась религиозность с горем, и над всем парил ее дух, ее образ.

Современная политика занимала меня только по навыку. Читал об обострившемся в последнее время греко-турецком вопросе, об ирландской агитации, грозившей Англии, но все это было только усвоенным издавна процессом. Даже наши переговоры с Китаем, устранившие войну, мало занимали меня. Только прямой долг поддерживал во мне жизнь, и когда я отослал в Петербург заключения мои об усилиях Италии стать истинно морской державой, бездонная тоска начала душить меня.

В начале года королевская чета впервые отправилась в свои сицилийские владения. Навстречу двигавшемуся в Неаполь поезду слали телеграммы о состоянии моря. На одной из станций короля известили, что море бушует, что эскадра готова, но просят положительных приказаний. Гумберт передал телеграмму на решение королевы; наследник хотел знать содержание, и мать спросила его, какой дать ответ. Мальчик замялся, и бравая маменька, водя сыновней рукой, ответила: «Sempre avanti, Savoia».[3] Крик крови мгновенно услышала вся Италия, и пылкие сердца итальянцев еще более привязались к Маргарите.

На другой день обедал у великий князей в обществе нескольких русских дам.

Не обошлось без разговоров о новогодних новостях. Не помню, кого украсили, кого произвели. Из всего слышанного осталось только впечатление об усилиях Абазы поправить финансы и о совершенно неожиданном достоинстве борзого Скобелева. С терпением, столь враждебным его кипучей природе, готовился молодой главнокомандующий к верному окончательному удару на туркменцев.

Шевелили разные родные вопросы, как обыкновенно бывает на новогодних сходках. Зарвавшийся в интригах П. А. Шувалов до того не понял положения, которое создал ему несчастный Берлинский конгресс, что, возвратившись в Россию, стал преподавать государю непрошенные советы, уверенный в прежнем авторитете. Вежливая презрительность показала экс-временщику, что песнь его была спета. Невоздержный граф разносил свою невзгоду по дипломатическим салонам.

Говорили также, как наивно попался Николай Николаевич старший, публиковавший в прошлогодней «Revue Nouvelle» различные откровения касательно войны. Прежний военный медик Цион, поселившийся в Париже, lui a tiré les vers du nez.[4] Государю долго не

показывали статьи; наконец все заговорили о ней, и державный закипел гневом. Кто-то произнес имя полковника Gaillard, следившего за действиями в качестве военного агента Франции. Gaillard, уже возвратившийся во Францию, тотчас прибыл в Петербург для личного объяснения с государем, удостоившим его особенным вниманием в главной квартире. Уже обнаружилось, что статья писана Ционом, и государь принял боевого товарища дружески.

3/15 января была панихида по Виктор-Эммануилу. Я сопровождал Великого Князя Сергия. Нас собралось до 2 тысяч человек, и можно было поместить втрое более. Храм пустой, не обещает такой вместимости. Это один из эффектов древнего зодчества. В середине его стоял великолепный катафалк и по углам его древние жертвенники с синим пламенем, относившие впечатление к языческому происхождению здания. Мы сидели в королевской ложе, но, чтоб добраться до нее, еще раз испытали итальянскую халатность. Присланный в распоряжение Великого Князя церемониймейстер без церемоний заставил нас ждать при отъезде из виллы свое пальто, а частного, для короля назначенного входа в Пантеон не подумали осветить, так что мы спускались по узкой лестнице ощупью. Военные депутации все время стояли как вкопанные. И от итальянцев даже мы отстали в чинности и порядке.

Безотчетная скорбь, гнувшая долу, начала уступать место скорби сознательной, рассуждающей. Таким образом, постепенно возвращалась ко мне жизненность.

Великий Князь Николай Николаевич, в разговоре о китайской экспедиции, как-то вспомнил, что начальствование в ней выпадало на мою долю, и прибавил с свойственным ему легкомыслием: «Теперь пошли бы». Боже праведный! А нравственные бури разве ни при чем в обязанности, связанной с тяжкой ответственностью? Или великие князья созданы с другими двигателями, с какими-то особенными страстями?

Для Великих Князей был обед в Кthe Киринале. После пира нас держали на ногах слишком долго. Видно, что королевская чета еще в том возрасте, когда о физических и гигиенических требованиях мало думают. Симпатичная королева, несмотря на торцовой движение, напоминающее вовсе не королев, манила неподдельной любезностью, но горловые звуки требуют напряженного внимания к ее словам. Гумберту хочется красоваться, будто ищет наиболее походящей позы. Само собой, он вел со мной речь о морском, и когда я сказал, что слежу с особым вниманием за прениями в парламенте касательно нового состава флота, заметил: «Nous sommes des poètes en marine comme en toute autre chose»,[5] — разумея увлечения некоторых к кораблям чудовищных размеров. Раскланявшись, августейшая чета удалилась, но в прихожей мы вновь увидели короля с сигарой в зубах и ливрейного лакея с ящиком сигар, предлагавшего нам последовать примеру хозяина. Обычая порицать не могу, но вот еще доказательство отсутствия этикета при итальянском дворе. Придворные дамы, не церемонясь, погружали ручки в сигарный ящик и вылавливали целые пачки сигар для своих мужей или заступавших их место.

Я упомянул об итальянском парламенте. Обстановка совершенно не сошлась с моими ожиданиями. Вместо беспрестанных перерывов, горячности в выражениях и излишней развязности в телодвижениях, которые представлялись мне нераздельными с южной природой и отсутствием в итальянцах всякой сдержанности, я увидел весьма чинное сборище, терпеливо и внимательно выслушивавшее ораторов. Огонь был, но не вспыхивал, как во французской палате неудержимыми выходками. Многое, конечно, зависело от личности президента, Jarini, строго следившего за прениями и вовремя ставившего всех, депутатов и министров на свое место. Jarini имел замашки начальника и вовсе не искал выражений, чтоб остановить зарвавшегося. Не знаю, выдержала бы итальянская палата всенощное

бдение, как английская, сидевшая в это время свыше 40 часов сряду, преодолевая ирландских тормозителей. Парнель и К° сговорились тянуть прения в бесконечности, дабы утомлением заставить членов отложить вопрос о мерах к пресечению ирландских беспорядков. Но итальянские депутаты также невыносливы. Большинство их бедняки. Не получая никакого содержания как представители, многие не имеют средств нанять в столице квартиры на сессию и проводят ночи в вагонах, пользуясь единственным своим правом бесплатного передвижения по железным дорогам.

Старику Орлову-Давыдову как-то понравилось мое товарищество. Мы вместе бродили по римским древностям и даже ездили в Остию. Профессор Росси, кустодий палатинского холма, старый приятель графа, помог нам своей археологической ученостью и посвятил в тайны постепенного развития жилищ цезарей, которые потребовали бы долговременного книжного изучения. Ясно и красноречиво указывал землеед Росси на удары, нанесенные христианством древнему искусству, и с высоты Палатина пояснил воочию, как Павел Фарнезе уготовил Карлу V эффектный въезд в Рим, чтобы он мог обнять при самом вступлении все древние прелести одним взглядом. Заслонявшие вид по скату Палатина здания были безжалостно скрыты, а впоследствии, чтобы изгладить остальные следы язычества, развели по холму сад.

Но еще интереснее топографические исследования Росси. По очеркам местности, по сличению видимого с Тит-Ливием, Тацитом, Вароном и пр., неутомимый исследователь восстановил и назначил графически все нападения на столицу мира, начиная от Порсены. Первые средства для раскопок на Палантине даны Наполеоном III; он отпускал ежегодно 36 тысяч франков.

Не менее заняла меня наша поездка в Остию. Раскопки там идут весьма успешно. С высоты холма, увенчанного храмом Януса, мы окинули взглядом целый вызванный на Божий свет город, вроде уменьшенной Помпеи. К самому храму выходят по великолепной лестнице. Очерк гавани, морские ворота, магазины и театр уже совершенно отрыты. Мелкие украшения и статуи переносятся в музей в хорошо сохранившейся крепости Новой Остии. Оба города соединены аллеей надгробных памятников.

Нас сопровождал один из надсмотрщиков древностей, отставной военный, вовсе не имевший вида лихорадочного субъекта. Чтоб бороться с миазмами, он уже 16 лет принимает хину дважды в день. По всей Италии надзирает за раскопками команда в 250 человек, большей частью отставных военных. Они проходят курс известных приемов под руководством профессора и рассылаются как наблюдатели. Самые раскопки производятся наемным трудом.

Осмотрели также замок Jusano, собственность Chiggini — родственника графа. Въездная аллея заросла травой, парк их морских сосен запущен, и вообще все носит печать забвения. Никто не узнает в Jusano прежнюю Villa Laurentium, так восхищавшую Плиния, впрочем, вероятно, после невыносимого римского зноя.

На выразительных гнилых полях набрели на большую соломенную кибитку. Несколько примитивных очагов пылали пожаром. На них готовилась скудная пища, и в кибитке не было отверстий для выхода дыма, кроме дверей по концам. Люди, дети и птицы помещались вместе, сидя на капителях древних колонн, будто для того, чтоб разность между прежним великолепием и настоящим убожеством выражалась более резко. Показывая рабочих, чичероне наш, уже сын новой Италии, не мог воздержаться от негодования и разразился тирадой против крезов, живущих народным трудом и так мало о народе заботящихся. Крупное землевладение, прикалеванное к породистости, в лице моего спутника-графа, тотчас вытянулось во весь рост и дало дерзкому посягателю на привилегии богатства жесткий урок.

Странный человек, этот граф Орлов-Давыдов. Английские мозги, разведенный в барско-русском духе; сочетание гуманности в широком ее применении с презрением к черни, не выказывающимся фактически, вовсе нет, а составляющим будто органический порок. По дороге он рисовал мне свою родословную, напомнившую сентенцию приятеля моего, его полубрата А. П. Давыдова. Тот уверял, что, по вере графа, бог, решивши создать человека, создал только Барятинских и Орловых-Давыдовых ; все остальное произошло от пыли, падавшей случайно с их одежды.

Современная местная случайность представила графу повод рассказать мне забавный анекдот. Многие итальянские гранды помирились с династией, но не признают государства, не соглашаются с требованиями нового порядка вещей. Маркиза Pallavieini просила короля и королеву удостоить бал ее их присутствием, но не звала министров или, еще хуже, позвала некоторых без жен. Конституционный король не мог признать правильности подобного действия со стороны придворной дамы — не явился по зову. Граф находил, что министры by loyality[6] не должны были в этом случае прятаться за короля, а могли сыскать иной выход, как сыскал его Лужин, приглашенный на бал без жены Александровым. В горевшие огнями залы стрельнинского дома Александрова Лужин явился с кисетом, пристегнутым к пуговице, и трубкой в зубах. Когда удивленный хозяин сказал ему, что у него собралось все высшее общество, Лужин ответил: «А я думал, ты меня зовешь вспомнить старое, на попойку; ведь ты звал меня одного». Хороший урок неучу жизни, но в данному случае труднее было придумать что-либо подобное.

Наши отношения к Англии едва не изменились вследствие корреспонденции, найденной англичанами при взятии Кабула. Столетов заключил с Шир-Али тайный договор и потом, из Ливадии, писал ему враждебные англичанам письма. Корреспонденция захвачена после берлинского трактата, который, впрочем, мог и не дойти еще в азиатскую даль. Газеты завопили о нашем вероломстве, и наши робкие дипломаты заохали над вероятными последствиями случайности. Участие позитивного Икскуля в бесплодных вздохах дивило меня. Я старался доказать, что наши политики ex officio создают себе воображаемые затруднения, избегая, по привычке, откровенности даже в тех случаях, когда ею можно мгновенно устранить недоразумение. Пока во главе нашего правительства были явные враги наши, только что вновь выказавшие свою неприязнь на конгрессе, на нас лежала обязанность принимать меры осторожности; теперь же, с переменой английского министерства, нам не было надобности запасаться оружием обороны.

Впрочем, разумный посол наш, помимо семейных причин, был в это время не в совершенно нормальном состоянии духа вследствие происшествий, более или менее к нему относившихся.

История вышла с знаменитым игнатьевским protégé князем Цертелевым. Дипломат-казак, занимавший место нашего политического агента в Софии, был у маркизы Паулуччи со всеми своими Георгиевскими крестами, зная, что на вечере встретит Великого Князя Николая Николаевича. По отъезде высокого гостя Цертелев отправился к графу Салогубу, весьма неудачно ошибся домом и, упорствуя, чтоб ему отворили дверь, был облит сверху жидкостью, похожей на essence de rose[7] только по цвету. Азиатская кровь вскипела, и князь выразился так шумно, что был отведен в полицию. Там старались его успокоить и отпустили, но Цертелев, несмотря на поздний час, пошел с жалобой сначала к президенту совета министров Кайроли, потом к министру внутренних дел Депретису, от него к Кенделю с просьбой смыть обиду, нанесенную в его лице всему дипломатическому сословию, и, наконец, в 5 час. утра вбежал в кабинет Икскуля. Разбуженный посол, опасаясь, не случилось ли чего-нибудь на Villa

Sciarra, вышел и едва отделался от непрошеного гостя. Комментарии на наглость русского генерального консула, дозволившего себе тревожить все власти по поводу холодного приема в доме терпимости, появились во всех газетах и дошли до безобразия, когда разнеслась по городу молва, что Цертелев требовал, чтоб начальник войск, при преклоненных знаменах, извинился в обиде, нанесенной знаку Св. Георгия. Даже прозорливые дипломаты были поражены выходкой князя и приписывали ее излишнему самомнению, неудовлетворенному самолюбию и т. п. Успокоившись, Цертелев явился к Lady Paged, не зная ее, и просил подписаться в главе списка на праздник, который он задумал дать в Колизее. Все века, со времени основания Рима до наших дней, были бы представлены в соответственной обстановке, при электрическом освещении, в современных одеждах, несомненно верных, так как на месте существуют образцы. Цертелев говорил с жаром, толково и убедительно, так что грандиозность идеи охватила слушательницу, забывшую, что к ней ворвался непрошеный незнакомец. Новая наглость оживила нападки на русского чиновника в высоком положении. Велели следить за ним полиции и скоро убедились, что непогрешимая логики репортеров и мудрые выводы дипломатов относились к несчастному, потерявшему рассудок. Кажется, можно было догадаться ранее.

Около этого времени прибыл в Неаполь фрегат «Герцог Эдинбургский». На нем служил лейтенантом Великий Князь Константин Константинович. Я отправился поблагодарить сына за участие отца в постигшем меня горе. Юноша показался мне очень сердечным. По словам командира, он был весьма точен в исполнении обязанностей и вел себя с большим тактом. Константин в большой дружбе с Сергием, ездившим навстречу ему в Шербург.

Давно не восторгалась душа моя; она жаждала приятных ощущений помимо моей воли, по естеству своему. Только так и могу объяснить удовольствие, испытанное мною при чтении подробностей чествования 80-летия Victor Hugo. Какое, казалось, мне дело до напыщенного прежней славой болтуна-старца, а отрадно было убедиться, что в наше время уже не нужно быть великим истребителем, чтоб заслужить уважение сограждан. По всей Франции, в школах, сняли штрафы и наказания. Какая дивная дань тому, кто всю жизнь свою проповедовал снисхождение и прощение.

И у нас силятся чествовать таланты, но, по привычке, лгут — не чествуют достойных, а демонстрируют. К числу таких фиктивных доказательств уважения принадлежали похороны умершего Достоевского. Не только позволили демонстрировать, но государь дал вдове прежнего ссыльного 2 тысячи рублей пенсии.

Великие Князья Сергий и Павел задумали ехать в Грецию и Иерусалим. Для этого был вытребован в Неаполь начальник отряда в греческих водах контр-адмирал Крэмер. Он выразил мне опасение за «Эдинбургского». Командир, прежний старший офицер Великого Князя Алексия, оказался неспособным командовать в смысле нравственном, и предстоявшее плавание царских детей на фрегате тревожило нас обоих. Набежало непредвиденное затруднение, из которого столь же непредвиденно вывела страшная, громовая случайность — роковое 1 марта.

Около 4 часов пополудни вошел П. Васильчиков с известием, что государь опасно ранен. Мы тотчас же поехали на Villa Sciara. Великие князья извинились, что не могут принять, но вошедший Арсеньев объявил, что получена от наследника депеша: «Empereur gravement blessé, venez vite».[8] «Все кончено», — возразил я. К 9 часам вечера мы собрались уже в церковь на панихиду по усопшем царе. Лишь только я оставил Villa Sciara, получили от Великого Князя Владимира другую депешу: «Empereur deux jambs fracassées, mort aprés courte agonie».[9]

По Риму известие разнеслось поздно вечером и произвело потрясающее впечатление. На другой день по случаю годовщины рождения короля назначены были официальные обеды у министров и большой парад войскам. Король тотчас отменил всякое торжество, исключая парада. Боясь заразительности преступности, королева умоляла Гумберта отложить церемонию, но как истинный сын Савойского дома Гумберт сел на лошадь и шагом впереди свиты поехал на Марсово поле. Оттуда он прислал на станцию железной дороги брата, герцога Аостского, проводить горьких великих князей, отправлявшихся в Петербург. Скорбно было смотреть на юношей.

Через два-три дня проводил я в Россию и Константина Константиновича. На одном с ним поезде отправлялась депутация на похороны. Икскуль, рассерженный, что не послали Аостского, сделал весьма колкие замечания насчет наружности адмирала Франклина, назначенного старшим депутатом. Нельзя же было гонять экс-короля Испании, как почтовую лошадь: он только что возвратился из Берлина.

Скоро разослали всюду почтовых гонцов с вестью о воцарении нового государя. Начали писать из сплетника Петербурга, что Лорис-Меликов всех разочаровал, что государь, по памяти к отцу только, не удалил его тотчас же. Вместе там искали спасения в Баранове и назначили его градоначальником столицы, в явное негодование Великого Князя Константина, создавшего себе из Баранова заклятого врага. Не нужно было, впрочем, угадывать, что с Константином не станут церемониться. Государь, наследником, был свидетелем подвигов дяди в государственном совете, не говоря уже о флоте. Здесь Цесаревич открыто порицал все распоряжения дяди. Прихотливым Константином была принята для дел государственного совета известная формул. Келейно, в Мраморном дворце, вопрос решался заблаговременно и вносился в собрание с заранее изготовленной речью председателя, направлявшей старцев к желаемому решению. Непокорные, дерзавшие «свое мнение иметь», тотчас обрывались. С августейшей безответственностью председатель дерзко останавливал их и садил на место. Приехавший в Рим П. А. Шувалов говорил всем и каждому, что Константину не сдобровать, и столь же явно порицал казнь преступников 1 марта, и не только в русском обществе, но в Киринале, после обеда у короля. Странный посол, порицающий действия своего повелителя.

Когда ослабло первое впечатление мартовской катастрофы, у нас в Риме, да и не в Риме только, старались угадать направление нового властелина. Изданный вступной манифест ничего не предрешал и ничего не обещал. Очевидно, старались не проговориться. Я радовался, что мудрость не покинула правительство в страшный час. Новый царь говорил только, что будет радеть о благе и славе России. Объявление, что Россия, Польша и Финляндия должны быть нераздельны, бодрило охваченное ужасом русское чувство. Народ приветствовал восторженно нового государя, и чужеземцы с удивлением спрашивали, что такое нигилисты, где и в чем их сила, если даже убийство императора не повело их к беспорядкам. Журналы на все лады толковали о политических последствиях перемены царствования для общеевропейских дел. Если манифест оставлял иноземцев в недоумении, то дипломатический циркуляр, разосланный через неделю после воцарения, успокоил умы, в особенности германские. Соседи начали тревожиться между неопределенностью взглядов нового правителя России и совпавшим с нашей переменой успехом внутреннего миллиардного займа во Франции, покрытого пятнадцать раз. В циркуляре мы обещали хранить прежние дружбы и не увлекаться внешними делами, имея столько домашних вопросов, требовавших разрешения. По-моему, следовало тотчас выказать, что мы отдаемся всецело этим вопросам. Удавшееся убийство могло вести к новому, и мы впадали в регентство со всеми его случай-

ностями. Следовало остановить попытки фанатиков чем-либо громким, поражающим. Все-таки ничего не обещая, не своевременно ли было объяснить, что впредь административных ссылок не будет, что все политические преступления будут разбираться судами? Испуганная вместе с остальной Россией, судейская власть не допустила бы снисхождений. Решимость правительства выказала бы всем, что оно намерено руководиться требованиями справедливости и вовсе не носило бы отпечаток страха. Этого не сделали и оставили всех под впечатлением неизвестного, в ожиданиях неудовлетворенных, но оправдывавшихся поражающим доказательством несостоятельности прежнего порядка. Сочли только нужным назначить Великого Князя Владимира начальником гвардии и вверить столицу Баранову, будто это могло успокоить умы, да дали предостережение «Голосу» и «Стране» за то, что они требовали ответственности министров. В своих аргументах «Голос» особенно выставлял яхту «Ливадию», конечно, с целью напомнить новому правителю о вредности Великого Князя Константина. Тотчас после 1 марта начали толковать о совершенном удалении Константина от дел, чего должно было ожидать вследствие постоянно неразумных отношений к его прежнему наследнику.

С нетерпением, или, вернее, в тревоге, ждал я перемен, нераздельных с новым правителем. Сознаюсь, — невольно представлялось, что выведут и меня из десятилетнего бездействия. Внимание ко мне прежнего наследника и доходившие до меня его сетования, что меня не употребляют, ласкали мою скорбную душу надеждами.

Видимое оцепенение правительства тревожило меня. Там скорбь была непозволительна. За усопшим царем оставалась живая Россия. Новый царь не мог предаваться стонам собственной души, когда стонал народ, ждавший облегчений. Я сторожил малейшие поводы, чтоб угадать направление нового царственного ума, и думал, что тотчас изберут новых сотрудников. Старые заплеснили в ложной атмосфере угодливости правителю и его излишней снисходительности, вызванной собственными слабостями. Женские влияния на нового царя пока были немыслимы, и перемена министра казалась неизбежной. Молодость и бодрость власти неминуемо вела к отстранению прежних деятелей, все видевших навыворот, потому что вокруг них извратился самый воздух. Он криво преломлял лучи света или совершенно поглощал их, не допуская до зрителя.

Прибывший в Петербург Б. П. Мансуров убеждал меня сделать усилие к возвращению к деятельности. На убеждение приятеля я отвечал ему чуть не криком души. Никакая деятельность совместно с генерал-адмиралом для меня невозможна, более даже, невыносима; давно уже во мне сложилось убеждение, что он своевольный необузданный фантазер. После долгого и близкого знакомства я радовался даже, что Великий Князь, когда-то видевший во мне «надежду флота», отворотился от меня, найдя более удобных сотрудников. Будто нарочно, возвратясь домой, нашел письмо от А. А. Попова. Ловкий приятель, по поручению генерал-адмирала, писал мне, что, прочтя донесение мое об итальянском судостроении, Великий Князь убедился, что я тот же, что был прежде, и хочет иметь меня сотрудником. Тотчас же вспомнилось мне, как 22 года назад Метлин накануне своего падения просил меня в товарищи. Уже верно суждено мне поддерживать скользящих в пропасть. Попов уведомлял, что я получу приказание проплыть на «Ливадии» в Севастополь с целью представить о яхте беспристрастное мнение. Сотрудничество Константину начиналось, таким образом, щекотливым поручением. Государь негодовал на Великого Князя за заказ яхты, совершившийся вопреки его воле и даже решенный намеренно в его отсутствие. Если помнят, наследником, в Канне он лично высказывал мне свое негодование. С другой стороны, зная, что наследник был всегда ко мне милостив, Кон-

стантин рассчитывал, что, ставши государем, он поверит моим заключениям. Изведав меня с того времени, когда впервые мы встретились на Черном море молодыми людьми, генерал-адмирал был уверен, что я тем более отдамся в его распоряжение, что вообще несклонен нападать на немощного.

Взявши в расчет внимание ко мне Константина, хотя и позднее, и долг мой к новому государю, я тотчас ответил Попову, что «не вижу пользы употребления меня на деятельности при том состоянии духа, в котором нахожусь, но помня, что Великий Князь выразил в прошлом году большое сочувствие к постигшей меня потере, не считаю себя вправе отклонить поручение, какие бы ни были его последствия для себя; только предупреждаю, что теперь я хранитель двух совестей, а не одной своей, и ни по каким соображениям не пожертвую тем, что мне покажется истиной».

2/14 апреля Попов телеграммой давал знать, что мне отправлено уже предписание и что надеется в Пасху видеться со мной в Париже. В газетах уже явилось известие, что мне поручено привести «Ливадию». Стал я судорожно собираться и укладываться, только что расположившись на новой римской квартире. Случилась католическая страстная и Пасха. Едва мог найти рабочих, и тем платил вдесятеро. 4/16 апреля получил письмо от министра, в котором говорилось, что по докладу генерал-адмирала об окончании исправлений на «Ливадии» государь велел мне отправиться на ней вместе с составителем чертежа яхты Поповым в Севастополь, чтоб дать откровенное мнение о ее качествах. Выбор порта, в котором сяду на яхту, предоставлялся моей воле, лишь бы то был порт океана. В этот же день я обедал в Квиринале. Королева уже знала о моем отправлении на легендарную «Ливадию» и выразила надежду увидеть ее в Неаполе. На другой день завтракал у Великого Князя Павла, возвратившегося из Петербурга без брата. Все напутствовали меня сердечными желаниями удачи, будто я отправлялся в опасную экспедицию.

8/12 апреля я оставил Рим. Началось путешествие, в котором все было для меня загадкой. Явно ожидали от меня подпоры, помощи. Не говоря уже, что 17 лет не хотели меня знать, что меняли меня на жуиров и проходимцев, теперь отравляли остаток жизни моей борьбой между требованиями совести и воплями души, склонной во всем видеть обязательство благородности, все прощать, забывать гонения и несправедливости!

В Париже уже знали о данном мне поручении. Толки о дурных отношениях генерал-адмирала к новому государю принимали большую и большую плотность. Лихачев тоже видел в моем назначении желание Великого Князя подпереть шаткое свое положение. По-видимому, не хотели даже выждать 50-летнего его юбилея как генерал-адмирала, а намеревались удалить тотчас, видя в том безотлагательную необходимость.

Попов прибыл единовременно со мной из Петербурга. Назначение мое интересовало всех русских. Старик граф Путятин пришел уговаривать меня быть откровенным в отношении яхты и положить конец безрассудной трате денег на домашние опыты. Он стучался в отверстую дверь. Я решился уже высказать истину, не принимая в соображение могущих произойти для меня последствий.

Перед отправлением в путь, оказавшийся тернистым, память о Наде побудила меня утешить великую скорбь. В Париже, на обратном пути из Петербурга, проживал горький Перовский. Его внезапно вытребовали из Ниццы по государственной надобности. Дочь участвовала в злодействе 1 марта, но отец решительно не знал о том. Еще прежде она судилась в числе 193, была оправдана, но сослана административно в Олонецкую губернию, на пути бежала, распространила слух, будто утонула, переправляясь через реку, и отец уже годы считал ее несуществующей. В Шарльруа из местного журнала бедняк поведал горькую истину. Дочь не захотела видеть его, хотя при-

нимала мать, также вытребованную из Симферополя. Сына, известного либерала, тоже привезли из Крыма в Петербург и содержали, не допрашивая, в бывшем III отделении. Все невзгоды рушились вдруг на старческую голову. Скрывавшийся от чужих глаз горюн был очень тронут моим участием, понял, что воспоминание о жене привело меня к нему, рыдал, как ребенок, и сравнивал мою теплоту с безучастием родственника, Б. Перовского, который счел неудобным с ним видеться.

В кратковременное пребывание мое в Париже Попов, часто меня видевший, показался мне хвастливым и безмерно самонадеянным. Давно не имевши с ним прямых сношений, я дивился перемене, не воображая, что мне скоро придется быть свидетелем, до каких неистовых увлечений может довести человека безответственное самовластье, в особенности когда воспитание и общественное положение не готовили его к значению.

Столкнулся на улице с великим князем Николаем Николаевичем, передавшим мне, что оставил Константина в страшном раздражении. Родные, в особенности Владимир, действовавший по желанию государя, советовали ему тотчас удалиться, и он было согласился, но кто-то дал иной совет, и генерал-адмирал решился на упорство. Сам Николай Николаевич также пил горькую чашу ссылки, и вдобавок нечем было жить.

3 мая переехал в Бордо, сел на речной пароход и, пройдя в виду лучших бордосских лоз до Пульяка, перебрался там на великолепный «Congo», новое произведение общества Messageries. Скоро вышли в океан, и я стал коротать время с товарищем. При всяком случае Попов высказывал свое безграничное влияние на околдованного им Константина. В Париже он уверял, что мне предстоит быть морским министром, что некого более выбрать в случае удаления генерал-адмирала, а на пароходе стал убеждать заменить его в техническом комитете, на что я отвечал, что откажусь по недостатку специальных сведений.

В Коруне нас ожидал офицер с яхты, и мы тотчас же отправились в Ферроль. Плывя узким проливом, соединяющий порт с морем, нетерпеливо ждал я, когда откроется яхта, и готовился к чему-то необычайному. Действительность превзошла даже мои ожидани. За последним мыском показалось трехтрубное чудовище, многоэтажное, обнесенное галереями, увенчанное какими-то причудливыми постройками. «Ливадия» вовсе не давала понятия о корабле, а скорее походила на свадебный каравай, уставленный на ее блине, как на подносе.[10] Отведенные мне каюты давали выход на крутую галерею, манившую к мечтательности. Света и воздуха бездна; все хорошо обдумано, удачно придумано и тщательно выполнено. Не порты,[11] раздражающие только сулением света, а целые окна; не каюты, коробящие в крюк, а комнаты. Везде прохлада и изысканная опрятность. Я мог пользоваться прогулкой вне, по галерее, и внутри по широким коридорам, напоминавшим трактирные переходы.

Произведенные исправления притянули мое певрое внимание. Подивился я смышлености наших матросов и лихости молодежи офицеров. Целые месяцы они работали лежа в ящике, подведенном с большими усилиями под дно яхты, и так скрепили поврежденную часть, что, конечно, не она уже уступила бы ударам волн. Вообще первое впечатление было благоприятное. Я начал уже мечтать о борьбе с глашатаями прессы и с возбужденным ими общим нерасположением к яхте; радовался, что, не жертвуя правдой, может быть помогу моему прежнему покровителю выйти из положения, в которое поставил ему к новому государю эскамотированный[12] у покойного заказ яхты. Не суждено было осуществиться задушевному моему желанию. Конечно, личность Попова, внезапно открывшаяся мне во всей наготе, имела некоторое влияние на мои заключения о его произведении. Как бы то ни было, к концу путешествия мне пришлось высказаться неблагоприятно о произведении

распаленных мозгов товарища и еще менее сочувственно о нем самом. Тяжкая доля, но я счел бесчестным не положить конца его вредному влиянию.

28 апреля (8 мая), в воскресенье, после молебствия, мы вышли в океан при дивной погоде. По мере того, как мы вновь сближались после долгой разлуки и плавания различными путями — он широким фарватером удачи, я между камнями преткновения, — Попов становился откровенней, беспрестанно хвастал расположением к нему покойного государя и своей ловкостью заставить Константина соглашаться на все его затеи. Во всем проглядывало безмерное самолюбие и страсть к безответственному своенравию. Второй П. А. Шувалов, без его светскости, но и без его невежества. Очевидно, приятель хотел поразить меня своим значением. Понимая, что с переменой положения Константина его собственное изменится совершенно, Попов, как многие, из страха не допускающие очевидную опасность, утешал себя надеждой, что ни на что не решается до августа, т. е. до юбилея генерал-адмирала, а время большой примиритель и даже перевершитель. С этих пор в журнале моем не прерывались отметки о характере товарища, с которым пришлось стоять лицом к лицу в течение многих дней. Глаз на глаз с этой дикой натурой, еще более одичавшей в незаслуженном значении, я начал впадать в какое-то озлобление. И от таких людей могла зависеть участь нашего флота и трата государственных миллионсв! Мы плыли, как в пруде, и если б так продолжалось, не было бы повода к какой-либо сделке с совестью.

Вошли мы в розовое Средиземное море, намереваясь пройти прямо в Неаполь, но 30 мая рано утром Попов потревожил только что начавшийся сон мой. Противный восточный ветер обещал разыграться, и уже неприятно поталкивало яхту. Еще в Париже я убеждал товарища не упорствовать в борьбе с бурями, если бы пришлось встретить их, памятуя, что яхту исправлять, негде при ее оригинальной форме, не подчиняющейся общепринятым средствам осушения, а главное, принимая в расчет, что национальное самолюбие не вынесет вторичного исправления в чужом порту яхты, только что выстроенной; что задача наша доставить «Ливадию» благополучно в Севастополь, где и должно подвергнуть ее испытаниями с уверенностью, что повреждения легко исправятся на выстроенном там собственно для яхты плавучем ложе. Далеко, однако ж, была от меня мысль о возвращении в порты при малейших противных обстоятельствах. Я взглянул на небо и на море, не увидел ничего особенно грозного и не согласился на предложение Попова укрыться в Гибралтаре. Он тотчас побил меня моими же доводами, и мы поворотили назад. Погода становилась грозней и грозней и, должен сознаться, мы укрылись недаром. Пять суток дул такой ветер, что не только мы, но случившаяся в Гибралтаре английская эскадра постоянно держала пары. Несмотря на погоду, англичане нахлынули на курьезное произведение нашего кораблестроения. Попов, зная, как у нас в ходу громкие имена, убеждал меня телеграфировать Великому Князю, что яхту осматривали между прочими губернатор лорд Непир Магдала, покоритель Абиссинии, и адмирал Hood, командовавший английской эскадрой. Понимая, что нужна моя помощь, чтоб несколько ослабить недоверие государя к Попову, я телеграфировал: «Le yacht objet de curiosité sympatique».[13] Заношу эту подробность потому только, что впоследствии оказалось, к большому моему огорчению, до какой степени новый царь считает нужным сообщать все, относящееся до флота, случайному моряку Баранову.

Малейшая волна бьет о волну, как о скалу, и едва можно пристать к ней. О погрузке нужного угля на рейде нечего было думать. По совету моему перешли за мол, где и приняли топливо. Вообще яхта стала уже выказываться штилевым судном. Даже великолепные надстройки, на которые Попов преимущественно возлагал свои надежды, в особенности сто-

ловый зал, устроенный по мысли покойного императора, подхваченной, разумеется, Поповым со всем усердием и угодливостью придворного, самые надстройки, говорю я, явно свидетельствовали, что, созидая яхту, мало думали об условиях и требованиях моря. Вода лилась сквозь крыши и палубу, и едва ли возможно когда-нибудь отстранить это. Сильный механизм трясет яхту немилосердно, и дрожание в блине становится уже колебанием в легких верхних надстройках. Попов в рапорте отнес выдержанный нами в порту жестокий ветер к тому времени, когда мы были еще в море, и вообще видел постоянно в природе ужасы. Столько плававши и не раз боровшись с ураганами, он боялся теперь малейшего ветра и волнения; легкий зефир казался ему чуть не штормом и незначительная зыбь страшной могучей волной. И он был добросовестен в своих преувеличениях. Страх потерять все при новых повреждениях яхты до того овладел им, что он видел препятствия и опасность там, где их вовсе не было. Спорить с ним не было ни какой возможности. Он считал себя непогрешимым и видел личного врага в не согласовавшемся с ним собеседнике. Утомленный его нервностью, я объявил, что спорить с ним более не буду, а выражу мое мнение письменно, кому следует по приходе, в Севастополь. Начала злиться душа моя, но ей суждено уже до конца жизни быть снисходительной. Но во всяком положении есть утешение. Люди пропадают на «Ливадии».

На пути из Гибралтара в Неаполь Попов начал склоняться к моим доводам, что генерал-адмиралу нужно будет удалиться от дел. В предчувствии собственного падения он стал еще более несносен с подчиненными, видел в каждом слове их сопротивление или враждебное отношение к его произведению. Когда, по приходе в Неаполь, прибывшие из Рима члены посольства подтвердили слухи о великом князе Константине, Попов стал невозможен. Как утопающий, он хватался за соломинку. Министерство прислало ему повеление осмотреть фрегат «Генерал-Адмирал» и клипер «Опричник», стоявшие в Неаполе, и сообщить мнение, могут ли суда эти продолжать путь на Дальний Восток. Расходы, сделанные командиром «Опричника» в Гавре, обратили на себя внимание министерства. Попову поручалось удостовериться, нужны ли были все работы, произведенные на клипере. В своем пристрастном уме он давно решил уже, что командир «Опричника» человек бесчестный, и просил меня подпереть его мнение о капитане Ивашинцове. Он хотел назначить комиссию из командиров и упрашивал меня быть ее членом. Решительный отказ мой участвовать добровольно в неприятном исследовании рассердил его. Я попросил показать мне предписание министерства и, прочтя его, сказал, что он ошибочно смотрит на данное ему поручение. Министерство не могло желать, чтоб он поверил в Неаполе счеты Ивашинцова в Гавр, и не желало того. Оно, веря опытности Попова, просто поручало ему, и ему одному, убедиться, нужны ли были поделки, произведенные на клипере во Франции. Экономическая сторона вовсе не представлялась его исследованию, и никакой комиссии он составлять был не вправе. Чего бы, впрочем, ни требовали, нужно было убедиться в полезности или бесполезности произведенных работ. Командир, с своей стороны, жаловался на течь и другие неисправности, и Попов решил провести на клипере несколько дней в плавании. По собственному сознанию ему нужна была нравственная помощь, и он звал меня с собой. Готовый протянуть руку сострадания, я согласился с условием, чтоб он вел себя прилично и не заставлял меня краснеть за него и за собственное звание. Слово было дано, но не сдержано, и я оставался уже глухим ко всем его мольбам осматривать совместно фрегат «Генерал-Адмирал» и продолжать осмотр «Опричника». На последнем, в числе других неисправностей, дурно опускался винт. Желая доказать командиру, что тот видел во всем неисправность излюбленного Балтийского завода, ни останав-

ливавшийся не перед чем товарищ мой поднимал неоднократно винт и бросал его с высоты на подушки в старн-постах[14] и это при течи в корме! Просто неистовствовал. Дивился я, как такому человеку могли поручать что-либо, в особенности исследования, от которых зависело доброе имя служащих. Попов проводил теорию, что командир своей опытностью обязан устранять все промахи адмиралтейств и заводов, а не жаловаться на них, и болтливо распространялся на эту тему в своих рапортах, представляя их предварительно на мою рецензию. Советы мои не вели ни к чему. Нужно заметить, что оправдывая все сделанное на «Опричнике» Балтийским заводом, он порицал завод Берда, строивший машину на «Генерал-Адмирал». Впоследствии это употребление двух весов и мер в тех же вопросах мне выяснилось.

Стоянка наша в Неаполе ознаменовалась визитом королевы и наследного принца. Узнавши, что она собирается в Неаполь, и вспомнив о желании видеть яхту, желая также всячески содействовать ослаблению ненависти государя к «Ливадии», я телеграфировал в Рим, что будем ждать приказаний королевы. Действительно, она скоро прибыла в Неаполь и на другой день приняла нас во дворце Capodimonte. Милая Маргарита блеснула своими познаниями. Она понимала значение слова «опричник», слышала об Иоанне Грозном и все это, очевидно, почерпнула из кем-то переданного ей содержания «Князя Серебряного», Толстого.

Положительные вести об удалении Лорис-Меликова, Абазы и Милютина привез из Рима Шевич вместе с манифестом 29 апреля, который ввел меня в недоумение при появлении. Шевич, поселившийся было на «Ливадии», не выдержал Попова одного дня и уехал обратно в Рим, несмотря на предстоявший визит королевы, под предлогом служебной необходимости.

При посещении королевы мне пришлось быть церемониймейстером, хотя я старался стушеваться и направить всю любезность посетительницы на тех, кто участвовал в постройке яхты. «Ливадия» особенно удобна для торжественных приемов. Убранная гирляндами цветов, этими милыми южными средствами украшения, яхта привела в восторг весь двор. Я думал, что прием королевы благоприятно подействует в России, где чутко прислушиваются ко всем иноземным мнениям. Если эффект мог помочь моему товарищу, в нем не было недостатка. Палили до оглушения, отдавали почести, к которым конституционные монархи не привыкли, и продолжали праздник до поздней ночи, осветясь сами электрическими огнями и заставя стоявших на рейде товарищей бросать снопы электрического света на самый город, в особенности на Capodimonte, чтобы продлить впечатления посетительницы.

Прием королевы был последней, лебединой песнью «Ливадии». На пути из Неаполя в Константинополь невольно думалось о предстоявших переменах. Попов, допустивший уже убеждение в удалении генерал-адмирала, стал еще более несносен и однажды у пролива Доро при встрече с пароходом до того потерял голову, что я перестал уже сомневаться в совершенной неспособности его к какой-либо морской деятельности. Он стал посмешищем всей молодежи, переходя от пугливости, соединенной с невыразимой дерзостью, к унизительной фамильярности. Явно товарищ мой был в ненормальном состоянии. Мне перемены могли открыть новое поле. Государь был особенно внимателен ко мне наследником и, как видели выше, понял, что меня не употребляют. Я был вправе ожидать изменения в моем положении и, сознаюсь, увлекся было тщеславными надеждами. Труд мне был необходим, но труд истинный, неподдельный, не петербургский. Много думалось и передумалось — и я пришел к заключению, что в настоящем состоянии духа мне, несчастному, не следует быть в положении, представляющем чужие судьбы в мое распоряжение.

На пути от Дарданелл к Константинополю капитан яхты, давний сотрудник моего обезумевшего товарища, попросил разрешения иметь со мной откровенный разговор. По словам капитана Вогака, положение его становилось невыносимым и даже страшным. Он не мог определить, к чему могут повести безобразия Попова, но чувствовал, что они кончатся недобрым. Я просил Вогака не терять терпения еще на некоторое время, а сам отправился к Попову и объяснил ему, что готовлю измену, что его поведение выказывает человека болезненного, физически неспособного выполнять какие бы то ни было служебные обязанности, что ему нужно удалиться, а до прихода нашего в Россию непременно укромить себя. Несчастный согласился на мои доводы и обещал успокоиться, но по мере приближения к Севастополю становился еще более раздражителен. В пустом разоренном Севастополе, накануне собственного разорения, Попов простер дерзость до непристойного обращения с главным командиром Манганари, по его же влиянию заменившим непокорного Аркаса. Колебания мои кончились; я счел долгом быть откровенным не тольков отношении «Ливадии», но и ее автора.

Уже вышел указ об удалении Великого Князя Константина. Рассчитывая на неизбежное падение Попова, нашлись бы люди, которые изменили бы к нему свои отношения. Могли возникнуть случайности, весьма неприятные не только для Попова, но и для самого Великого Князя, а я считал себя нравственно обязанным оберегать его от дальнейших горечей.

Здесь начинаются мои грустные сношения с лицами царской семьи, разбросанными внезапной бурей по разным углам России.

По приходе в Севастополь обдал меня своими сетованиями Константин. Мы получили приказание его тотчас следовать в Ялту, чтоб идти вместе в Батум за Михаилом Николаевичем, оставлявшим Кавказ. Попов пригласил главного командира Манганари идти на яхте. Была порядочная зыбь при брамсельном ветре.[15] Следовавшая за нами яхта «Штандарт», нами же обобранная, за отсутствием пришедшего на «Ливадию» механика должна была воротиться вследствие неисправности в машине. Мы обогнули Херсонес и поплыли, как в пруде. Метавшийся в отчаянии Попов, по прибытии в Ялту, тотчас телеграфировал управляющему министерством: «Ветер крепкий, зыбь громадная, провожавший нас "Штандарт" воротился». Он торопился уехать в Орианду, сам оставил трап, разбранил офицеров и даже кричал на меня и Манганари. Спокойно, даже кротко, я просил его быть пристойным хотя на то короткое время, которое остается ему распоряжаться. Мы явились вместе к генерал-адмиралу. Нужно сказать, что по приходе в Севастополь Попов удивился, что не готов материал для обшивки «Ливадии» деревом, как было условлено между ним и великим князем. Доки стояли в готовности для поднятия яхты, и Попов мечтал уже кем бы заменить их командира. Удивление Попова перешло в уныние, когда перед уходом из Севастополя он получил от управляющего телеграмму не предпринимать на яхте никаких работ. Являясь, он горько жаловался генерал-адмиралу на приказание управляющего, все еще не веря действительности, и нужно было, чтобы Константин сам поведал ему, что царствованию их настал конец. Но нужно обратиться к генерал-адмиралу.

Великий Князь уехал из Петербурга, не простившись с государем, 12 мая, в самый день закрытия сессии государственного совета, и накануне нашего прихода в Ялту получил через адъютанта своего Гуляева письмо от А. В. Головнина. К обеду он громогласно пригласил одного Попова, опустив Манганари и меня; но лишь только я вышел за дверь, адъютант Бойе нагнал меня и объявил, что Великий Князь рассчитывает, что я буду обедать с ним, что он не желал оскорбить Манганари, исключив его одного.

После обеда, в короткой беседе, Великий Князь рассказал мне содержание письма Го-

ловнина. Неведомый новому императору, Головнин удивился, получив приглашение явиться в Петергоф. Государь велел написать Великому Князю, что ждет от него просьбы об увольнении от обязанностей генерал-адмирала и председателя государственного совета, что «не хотел бы сделать это иначе как по его желанию». Ментор вставил в свое письмо выражения, которые Константин должен был употребить, и прибавил — «это наименьшее, что от вас ожидают». Великий Князь был очень возбужден и, когда я спросил его, что же намерен он делать, отвечал: «Пускай выгонят, отказываться не стану; отец твердил нам, что великие князья должны рождаться и умирать на службе. Я 25 лет управлял флотом, 16 лет вел дела в совете и с самого начала крестьянского вопроса стоял во главе сотрудников брата. Пусть бы отняли флот, понимаю, что нужно дать место Алексию, но выгонять меня из государственного совета, где государь сидел со мной и следил за моими действиями лично, этого я не ожидал. Менять меня на Баранова...» и т. д. «Что же Вы намерены делать? — повторил я. — Буду ждать здесь решения моей участи, а на зиму приеду в Петербург как частный человек, — и, видя, что я пожимаю плечами, прибавил: А как по-твоему?». Такое обращение к моему совету после многолетней ко мне холодности вмиг пробудило прежние мои чувства. «Пускай ведается с Игнатьевыми, — кричал Великий Князь, — если меня выгонят, по крайней мере en bonne compagnie,[16] вместе с Меликовым, Милютиным и Абазой. — Вашим участием в постигшем меня горе, — возразил я, — Вы связали меня с собой духовно. Настала пора доказать Вам мою признательность. Успокойтесь на минуту и выслушайте доводы постороннего лица, стоящего вне водоворота, в котором начинает кружиться новое царствование. Государь может подумать, что я как подданный совершенно в его власти; что он может делать, что хочет, со мной и моим имуществом, даже властвовать над моими мыслями и чувствами. Это злоупотребление самодержавия; нигде в законе нет оправдания подобному произволу. В отношении к Вам всякое самовластие государя законно. Он один решитель судеб Ваших, не как государь только, а как глава семейства никому не дающий отчета в своих поступках. Бороться мне с волей державного невыгодно, может даже быть пагубно; для Вас борьба с царем абсурд. Вы от него всецело зависите. Настоящее положение дел не может длиться; оно наведено страхом, от которого непременно очнутся под опасением династической гибели. Ведите себя так, чтобы возвращение Ваше к деятельности было возможно. Вы говорите о возвращении в Петербург, где присутствие Ваше, очевидно. Нежелательно. Подумайте, возможно ли там пребывание Ваше в настоящих обстоятельствах и в особенности при Вашем характере. У всякого правительства есть недовольные; они будут собираться около Вас, и кончится тем, что уже не ограничатся оскорблением, а прибегнут к коэрции, à la violence.[17] Удалитесь, выезжайте за границу, живите частными человеком», — и когда он возразил, что у него нет средств, я отвечал, за границей жить дешевле, нежели в России при обязанности содержать дворцы и вести соответственный им род жизни; предложил даже собрать подробные сведения относительно будущего его заграничного быта. Великий Князь склонился и поручил мне приступить к водворению его на зиму в Ницце. Тогда же он объявил, что пошлет меня в Петербург тотчас по возвращении из Батума; что нужно мне видеть государя. Не хотелось мне напоминать, что ему уже не следует распоряжаться; это слишком огорчило бы его, и я решился, не сносясь с министерством, выполнить его волю.

Мы отправились в Батум за Михаилом Николаевичем. Из всех дядей он один, как ласковый, пользовался доверием Государя, и Константин чаял от него опоры и помощи. Выветрив негодование на свежем человеке, генерал-адмирал вспомнил, что потревожил меня

для известной цели, и заговорил о яхте. Вместо предисловия он начал выражением желания не влиять на меня собственным мнением. «Ты — лицо постороннее, беспристрастное; зная, что у государя тебя не пересилят сплетни Барановых и журналов, я настоял, чтоб тебя сделали судьей в вопросе», — и вслед за тем начал высказывать свои воззрения с свойственной ему поверхностной логикой, не допускавшей никакого взгляда, кроме его собственного. Я отвечал, что мнение мое о яхте, насколько можно было судить при самых благоприятных обстоятельствах плавания, уже установилось и выражено письменно в донесении на его имя, которое тотчас же представил ему. В течение дня он его прочел. «Значит, ты отвергаешь блин, ниспровергаешь базу! — возразил Великий Князь, и после довольно долгого горячего спора прибавил: Теперь ты это отдаешь уже Алексею, разумеется, не меняя ничего в твоих заключениях; это твое дело». Впрочем, к знаменитому проекту, который должен был нанести удар науке кораблестроения, Великий Князь, видимо, уже охладел и искал в яхте столько того, что представляло возможность сблизиться с государем. С этой целью он уговорил Михаила пройтись на ней и с той же целью уговаривал командира по возвращении из Батума проситься в Одессу, пригласить там через Дундукова известное общество, прокатить его на яхте и тем сковать нужный для видов августейшего изгнанника капитал.

Но на переходе мне предстояло решение вопроса, требовавшего немедленного окончания, — я разумею совершенное отчуждения Попова от яхты, даже от всего, что приводило его в соприкосновение ко флоту, озлобленному долгим его самовластием. Много думал я о поступке, на который решался. Процедил я сквозь горькое, склонное к снисхождению сердце приятельские отношения к Попову, готовность его подавать мне руку помощи, неограниченное к нему доверие Великого Князя, злоупотребление этим доверием, отсутствие всякого вероятия перемены при характере, вышедшем даже из пределов природной дикости, положение самого генерал-адмирала, уже без того печальное, и вошел в каюту Попова, предуведомив, что буду говорить о важном для него вопросе. Бедный маниак понурил голову и совершенно согласился со мной, что ему следует тотчас же отказаться от всякой служебной деятельности. «Объявите это сами Великому Князю, — сказал я, — иначе буду вынужден сообщить ему откровенно мой взгляд». Мы плыли безмятежно и после завтрака уединились с великим князем в одном из курительных павильонов. Он продолжал свои сетования, опровергал мои доводы, когда я не верил влиянию его врага Баранова, и вообще выливал душу, не сознаваясь только в одном, и это одно мне высказал потом Михаил Николаевич. Наш tête-a- tête[18] был нарушен ворвавшимся Поповым. С расстроенной физиономией он судорожно опустился на диван, и когда Великий Князь спросил его: «Quelle mouche vous a piqué?»,[19] — пробормотал: «Позвольте просить Ваше Высочество тотчас по возвращении из Батума отослать меня в Петербург», — вскочил и скрылся. Удивился даже и Великий Князь, привыкший к порывистости своего любимца, и начал допытываться от меня, что случилось с Поповым. «Вызовите его сами на объяснение, — отвечал я, — но вызовите непременно». Переговорив с Поповым, генерал-адмирал продолжал со мной прерванную беседу. «Вчера он имел историю с офицерами, но я постараюсь ее поправить, — сказал Константин, — я велел уже собрать офицеров и команду и хочу поблагодарить их за труды; это изгладить неприятные впечатления. — Дивлюсь вашей находчивости, — отвечал я, — конечно, это исправит многое. — И Попову незачем будет уезжать, — продолжал Великий Князь, — все пойдет по-прежнему. Да и как же без него попробовать док? Кто поднимет яхту?» и т. п. «Поблагодарите прежде тружеников, — возразил я, — а разговор наш позвольте продолжать после».

С свойственной ему ловкостью Великий Князь высказал экипажу, как приятно ему было узнать (разумеется, через Попова же) о рвении, искусстве в деле исправления яхты и прекрасном поведении людей в течение семимесячного пребывания в Испании. Это разогнало сумрачность минуты; но уверенный уже, что Попов снова ворвется разрушительным и вредоносным ураганом, я вошел в каюту самодовольного Великого Князя и продолжал начатый с ним разговор. «Попов не досказался, и мне приходится восполнить его недомолвки. Он обещал мне выказать все, не выполнил обещания и тем вынуждает меня на подробности». Выставя примеры самозабвения Попова, сказавши, что в моем понятии состояние духа его ненормально, я приступил к заключению с жаром, который несколько удивил шаткого моего слушателя. «Из этого Вы видите, что Попов невозможен, не должен оставаться здесь ни минуты во влиятельном положении, и не только здесь, но нигде. Его деятельность должна прекратиться с Вашей, незаметно стушеваться в Вашей катастрофе; в противном случае непременно произойдет громкий скандал. Мелкие душонки, до сих пор терпевшие его оскорбления в чаянии служебных благ, отомстят ему за прежнее собственное перед ним пресмыкательство. Попов, с своей стороны, не вынесет перемены. Последствия для меня очевидны. Уже тогда вправе будут указывать на Вас, как на человека, дурно помещавшего свое доверие. Жалея Попова и берегя себя, Ваше Высочество обязаны удалить его. Повторяю, выйдет служебный скандал; пострадают многие за нарушение дисциплины, и пострадают невинно. Вопрос в положительной неспособности Попова вести какое-либо дело с участием других, в его самоволии, в недостатке всякого воспитания, в его дикости, не знающей пределов с тех пор, как по Вашей воле он пользуется значением, которого никогда не должен был иметь. Подобные люди заставляют ненавидеть употребляющих их». Я хотел немедленно решить дело. Столько раз Попов обещал мне укромиться, измениться — и не держал слова. Удаление Великого Князя само собой изменило бы положение Попова, но поднятие яхты на док представляла возможность печальных случайностей; нужно было устранить ее. Великий Князь согласился, что деятельности Попова настал конец с его собственным падением. «Ведь он мной только и держался, — прибавил Константин Николаевич, — я думаю, ему нужно удалиться». Еще раз я налег на прежние доводы, и было решено, что по возвращении из Батума Великий Князь пригласит Попова пожить в Орианде и отправит оттуда прямо в Петербург. Так и случилось.

Перед входом в Батум на нас налетел жестокий шквал, вполне подтвердивший некоторые мои заключения о яхте. Капитан над портом, Греве, выехал встретить нас, был оторван от берега, и нам пришлось ловить его в кипевшем, как котел, море. Яхта не хотела идти к ветру, когда для спасения Греве того требовалось. Несчастный, грешивший par excès de zele,[20] был, наконец, пойман и лишь только успел выйти с гребцами, шлюпку разбило вдребезги о блин.

Михаил Николаевич, пришедший из Поти накануне, тотчас прибыл к нам со всем штабом, расцеловал меня и, отведя в сторону, спросил: «Не потонем?». Я старался успокоить Великого Князя, севшего на яхту из участия к брату, хотя жена умоляла его не делать этого, и сам Государь убеждал Ольгу Федоровну отклонить мужа от такой решимости. Попову очень не понравилось, что Михаил Николаевич не изъявил и ему радости встречи. К большому прискорбию моему, у товарища оказалась не дикая только натура. Во весь переход он отвратительно угождал гостю, могшему замолвить слово государю. С грустью убедился я, что не одна изобретательность, не одна настойчивость и энергия в проведении идеи дались в удел моему сослуживцу. Коробило быть свидетелем его угодливости.

Михаил Николаевич предложил мне ехать с ним до Петербурга. Я простился сердечно с Константином и вечером 1 июня оставил Севастополь, дорогой по прежним воспоминаниям и теперь еще более памятный по тем ощущениям, которые привелось испытать на его развалинах. На прощание Константин снова просил приискать ему убежище в Ницце, и когда я спросил: «Кому написать о результате? Не Кирееву ли? — Нет, уж никак не Кирееву, — ответил он, — je ne suis pas assez comme il faut pour lui».[21] Киреев, когда-то спасенный великим князем, отказался следовать в Крым, под предлогом, что он ехал в Ориянду не один. Ветер подул от румба нравственности, и человек, не стыдившийся водить Великого Князя в Париже по самым глубоким трущобам, считал неприличным сопутствовать ему в Ориянду, куда перебралось незаконное семейство патрона.

Мы ехали до Москвы двое суток. Везде нас встречали местные и железнодорожные власти. С удовольствием видело я, что отечественное топливо начинает вводиться на наших путях. Это было для меня приятной новостью. Екатеринославский губернатор Дурново показывал овраг у Александровки, где впервые пытались взорвать царский поезд, и много говорили об антиеврейском движении, внезапно охватившем юг. Политического, по словам Дурново, ничего в движении не было; он сообщил в анекдотической форме разные нелепости, которыми подвигали народ на буйство, и радовался, что даже самые преступления совершались именем царя, будто по его воле. По мнению моему, тотчас же выраженному, не было никаких поводов утешаться подобным народным бессмыслием. Оно доказывало, как легко подвигать невежественную массу на все желаемое, и если в данном случае двигали волей царя, так же легко будет поднять ее в противоположность желанию правителя и в ущерб ему.

По дороге Великий Князь Михаил получал письма от жены. В одном из них Ольга Федоровна говорила, что при вступительном экзамене в морском училище некоторым отказали в приеме и что это произвело сенсацию, так как до сих пор покровительство вмешивалось даже в конкурс. Очевидно, буря против прежнего порядка разыгрывалась более и более. Впрочем, мне и прежде люди весьма почтенные говорили, что Таубе взял с Стромилова деньги за помещение его родственника в училище. Таубе был закадычным другом Краббе, и можно вообразить, что они творили вместе.

Михаил Николаевич княжил на Кавказе безответственно, следовательно, вкривь и вкось, 19 лет, но при врожденной скромности Великого Князя княжение это не было так вредно, как могло бы быть. Теперь Кавказ хотели разделить на генерал-губернаторства, но проект нового управления еще не был готов, и молва назначалда времнным наместником одесского генерал-губернатора князя Дундукова. Он почел нужным явиться в Севастополь встретить своего предместника. Михаил, несмотря на скромность, говорил мне, что принял его холодно, так как он не почел нужным потревожиться для визита брату Константину, проживавшему в его генерал-губернаторстве уже несколько недель. Михаил очень радовался, что носились, по словам Дундукова, слухи о назначении меня главным командиром Черноморского флота. «Да его нет, — отвечал я, — и новое назначение будет такое же синекурой, как настоящая моя должность. Обязанность настоящего главного командира состоит единственно во встрече приезжающих на юг высоких гостей. Из двух синекурых я предпочитаю настоящую; она, по крайней мере, избавляет меня от прихожих».

Я благодарил Великого Князя за великодушие к несчастному брату. Несмотря на явно выраженное желание государя, чтоб Михаил не шел на «Ливадии», он положил в сумму убогого лепту самопожертвования и все-таки прошелся на злополучной яхте.

В Москве, где я остановился на 24 часа у Батюшковых, новое горе наслоилось на преж-

ние. Сестра, единственно оставшаяся у меня кровная, была в большом горе. Я не видел ее 22 года. Она вышла замуж и за несколько дней до моего прибытия выдала замуж старшую дочь. Радостное событие совпало с несчастьем. Муж, вследствие невозможности платить в срок по купленному большому имению, лишился способностей. Бедная сестра, в слезах, просила помочь ей; но у меня почти ничего не осталось после фейгинского банкротства. Бывшие небольшие деньги я лихорадочно раздавал и остальные шесть тысяч назначил на стипендию имени жены. От такого назначения я не мог отклонять скудных моих остатков. Обещал помогать в воспитании племянника и уехал с адом в душе.

Рассказы Батюшковых о происшедшем в мае министерском кризисе не помогли отвлечь меня от горьких дум. Впрочем, о случайности этой я скажу в своем месте, основываясь на не подлежащих сомнению данных.

По приезде в Петербург начал обычную жизнь запряженного в служебное дышло. Все время проводил в мундире и в экипаже, являясь к начальству. Все спрашивали, надолго ли. И на ответ мой, что постараюсь уехать сколь можно скорее, сомнительно качали головой. Не одни товарищи по службе свыклись с мыслью, что при перемене царствования мне предстоит видная деятельность. Будто pour fêter mon joyeux avénement[22] в день моего приезда нашли в канале, под Каменным мостом, свежую мину. Вероятно, это остаток прежней попытки, которого не успели выудить.

Новый начальник, Великий Князь Алексий, принял меня по товарищески и тотчас же объявил, что доложит государю о моем прибытии. Алексий подтвердил то, что писал Константину в Орианду, именно, что назначение было для него неожиданно. Вполне верю. Государь, наследником, беспрестанно твердил, что Великие Князья не должны быть во главе управлений. Назначение Алексия, опровергавшее неоднократно выражаемое мнение, было внезапной инспирацией. Великий Князь пенял на свою участь, дивился беспорядку во всех частях управления, сказал, что нужно будет непременно заменить Попова, и коснулся его рапортов из Неаполя о командирах «Генерал-Адмирала» и «Опричника». Я подтвердил его сомнения и прямо просил не обращать внимания на рапорты Попова до должного расследования расходов, сделанных командиром «Опричника». Я сказал Алексию, что Попов человек больной и никакой деятельности продолжать ее может. Как ни хотелось мне выгородить Константина, я не мог, однако ж, не скорбеть о генерал-адмирале, допустившем полусумасшедшего человека распоряжаться флотом в течение многих лет.

Константин просил назначить комиссию для беспристрастного якобы испытания «Ливадии», указавши на лица, не имеющих личного мнения. Государь назначил иных.

Бутаков, Перелешин, Стеценко и все прежние сослуживцы, занимающие более или менее важные обязанности дивились распущенности, дозволенной Константином. Он запутался лично в сделках с разными заводами, в том числе с Балтийским, и, разумеется, все пользовались неловким положением начальника. Еще на «Ливадии» вследствие телеграмм из Петербурга я был свидетелем негодования Попова на Бутакова, не подписавшего контракта с Балтийским заводом на постройку «Мономаха», между тем как фрегат уже давно строился по словесному разрешению генерал-адмирала. Гуляев вследствие предварительных настояний Попова передавал его жалобы и писал, что Константин, при нем, выговаривал Бутакову за медленность. Найдя цену слишком высокой, а главное, узнавши, что на постройку употребляются, опять-таки по словесному разрешению, английское железо вместо выговоренного контрактом русского, Бутаков сначала спорил, когда получил предписание управляющего подписать контракт, просил поручить дело другому. Мономаховский вопрос остался нерешенным до удаления

Константина и был первой занозой для нового начальника, желавшего выгородить имя дяди из сомнительного дела. Я соглашался с Алексием касательно дяди, но соответствовал ликвидировать все дела с заводом, иначе он вступит в управление с колордкой на ногах. Все это было ясно, как день; но как же не было ясно для Алексия, что нельзя оставлять ни на минуту управляющего министерством, который допустил подобную неправильность в миллионном подряде? Прямое дело Пещурова было оформить волю Константина. Не требовалось даже никакого мужества. Не споря о цене, коли он боялся спорить за нее, Пещуров должен был настаивать на заключении контракта и даже заключить его лично, если Бутаков упрямился. Заплатили бы дорого, но по крайней мере определенную цену, а теперь были в руках завода, указывающего на словесное приказание начать постройку, и от этого словесного приказания министерство отказываться не может, ибо в предписании Бутакову упомянуто, что постройка уже начата. «Ликвидация и ликвидация, — повторил я Алексию, — ломать не следует, но должно все изменить».

То же самое на другой день я повторил его величеству. Признаюсь, я ожидал, или, вернее, опасался, что день этот будет для меня знаменателен, но того не пожелала невидимая моя покровительница. В назначенный час явился я в Александрию, где застал военного министра и управляющего министерством иностранных дел. Доклад Гирса длился более, нежели ожидали. Внизу, в маленькой комнате, меня занимал Оом, уверявший, что, несмотря на долгое мое отсутствие в России, обо мне постоянно помнили. Когда вышел Гирс, приехала черногорская княгиня, приглашенная с дочерьми к завтраку. Государь велел мне сказать, что примет в два часа.

В назначенное время я вошел в маленький кабинет Его Величества и пробыл там час двадцать минут. Государь встретил меня милостиво, даже радостно и, посадивши, предложил папироску. Разумеется в продолжение беседы она тухла, и всякий раз державный давал мне огня. После нескольких слов о «Ливадии», сказавши мне, что всего лучше снять с нее машины и поставить на новое судно, а самую яхту обратить в плавучий офицерский клуб, государь начал пенять на управление дяди. Я возразил, что управление это началось блистательно, что через пять лет по вступлении Константина в должность, я сам командовал довольно значительной эскадрой, им созданной, стоял с ней, не краснея, рядом с англичанами и французами в Сирии, и вообще первые годы управления генерал-адмирала возбуждали большие надежды. Не его вина, продолжал я, если его отвлекли от флота. Сначала Польша, потом деятельное участие в государственных делах отдалили Константина от флота. Дело, к которому он готовился, стало для него второстепенным. Нашлись люди, которые воспользовались обстоятельствами и попали незаслуженно в руководители сословия и в решители судеб флота. Между ними встречались и честные, не имевшие личных видов, но лишенные всякого гражданского мужества. Я прямо указал, что уничтожение флота не началось с назначением Краббе, совершенно равнодушного ко всему касавшемуся службы и долга. Я заметил, что царю, забавлявшемуся вместе с другими членами августейшего семейства, хотя, по влиянию жены, не менее других, площадными шутками Краббе, управлявшего 14 лет флотом, замечание мое не понравилось; тем не менее я продолжал развивать мою идею и утверждал, что только при равнодушном ко всему, кроме личного положения, Краббе могли явиться личности, которые довели флот до уничтожения и его главного начальника до положения, заслужившего негодование и гнев его величества. Государь, видимо, ухватился за «гражданское мужество», о котором я говорил, и сказал, что «почтенный Степан Степанович (Лесовской) его не имел и был игрушкой в руках Попова». Когда я сказал, что Лесовской чист как ангел, государь согласился с моим мнением, но назвал его тряпицей. Гнев царя

простирался не только на дядю и Попова, но даже на «поросенка Гуляева». Удивленный, что столь высокий гнев снисходил так низко, я заметил, что Гуляев (капитан корпуса корабельных инженеров, исполнявший архитектурные прихоти Попова) был исполнителем приказаний и в его ничтожном звании следует считать это достоинством. И царю повторил я: «Ломать не должно, но нужно непременно ликвидировать все, чтобы Алексий вступил в должность без оков и затруднений, которые, иначе, будут расти». Государь спросил, говорил ли я с Алексием. И тотчас после ответа моего сказал: «Я не надеюсь на Пещурова; он дела не поправит». Я убежден, что стоило мне отвечать утвердительно, и владыка, уже показавший, как легко расстается с деятелями, не поколебался бы ни минуты относительно Пещурова. Как бы ни были дозволительны подобные средства, сколько бы ни желал я добра новому правителю, мне показалось непристойным создавать на таком материале собственное, может быть, значение, — и я знаменательно замолчал. Нужно вспомнить, что на пути в Александрию в вагоне я сошелся с Баранцовым, провожавшим накануне Милютина и отвечавшим на вопрос мой о том, что творится: «Какая-то сатурналия самодержавия». Действительно, творилось что-то дикое, грозное последствиями. Идея о божьей милости, так резко проведенная в манифесте 29 апреля, не мерилась с часовыми, появлявшимися в кустах при моем проезде. Не менее странно казалось мне прячущееся самодержавие. Какая-то тоска свинцом налегла на душу, и я рвался в чуждую даль, думая облегчить себя удалением. В Александрии везде стражники; на рейде кордон судов, на которых, сказать мимоходом, открыли участников в деяниях нигилистов. Мимо государя водят ежедневно депутации мужиков, чтоб уверить его в народной преданности, а людей, оказавшихся стойкими в честности даже в растлевающее 25-летнее царствование отца, изгоняют без малейшей церемонии.

Хочется смотреть снисходительно на молодого властелина, ошеломленного необычайным воцарением, но тускнеет ум, ноет сердце и горько на душе.

На другой день я откланялся Алексию, спросившему меня о моей аудиенции. Я отвечал, что государь пожелал знать, говорил ли я с Великим Князем. Алексий, в свою очередь, спросил, имею ли я что сказать ему. И на отрицательный мой ответ подал мне руку и пожелал счастливого пути.

Я не тотчас покинул Петербург. Явился в Михайловское поблагодарить Михаила за внимание. В знойный мундирный день веяло прохладой в уютно-великолепном жилище моего августейшего приятеля. Он встретил меня с обычной лаской и, обязанный ехать в Александрию, оставил с женой. И с Ольгой Федоровной разговор пошел на ту же тему. Я настаивал на необходимости облечь разлад государя с дядей в самые мягкие формы, которые не давали бы жадной к злословию публике повода писать свою злонамеренность. Великая княгиня налегала на упрямство государя, жалела, что я не имел случая говорить с императрицей, и обещала убеждать ее в необходимости поступать согласно с выраженным мною взглядом.

Знаменитый Баранов почел обязанностью сделать мне неоднократные визиты и пенял, что я оставил у него карточку. Константин в Orианде говорил, что я очень ошибаюсь, думая, что Баранов не может иметь влияния — и, кажется, действительно ошибался. Государь помнил его изречения и привел мне с удовольствием одно из них: «Наши броненосцы только оправдательные документы». Сам Баранов не замедлил сообщить, что государь показал ему депешу мою из Гибралтара, которую Константин поторопился сообщить в утешение себе.

Старый приятель Головнин, проживавший в Царском, снова меня преследовал. В день представления моего государю звал меня обедать. Между другими я застал там Пещурова.

После обеда Rodin выманивал всех поочередно для таинственных бесед в одну из аллей своего сада. Je faissiais l'aveugle[23] и не предложил себя для мистериозной аудиенции. Это повело к настоятельной просьбе подарить ему вечер перед отправлением. Просьба повторилась письменно с обещанием познакомить меня с подлинными любопытными документами. Накануне отъезда я приехал к интригану, напоминающему мне провинциальному салопницу, переносящую от помещика к помещику семейные сплетни. Разница в том, что салопниц в мое время отправляли на разъездных лошадях, а у Головнина, по прежним отношениям, вечный разъезд. Заранее было приготовлено для назидания моего целое дело. Письмо Константина в ответ на предложение государя через Головнина, наполненное принципами вечной, обязательной для великих князей службы и с исчислением его трудов, не было для меня новостью. Великий Князь в Ориανде сам познакомил меня с содержанием своего ответа. Разумеется, он не прибавил, что ответ был продиктован ментором, и, разумеется, ментор не преминул сам передать мне эту подробность. Государь хотел сделать Алексия генерал-адмиралом и справлялся, бывали ли два генерал адмирала во флоте. Он желал выказать внимание к брату в день именин его, 19 мая, что и подало повод говорить, будто он хотел нанести более чувствительный удар дяде, заменивши его накануне дня Константина и Елены. Головнин возил перед тем ответ Константина царю, и тот обещал сам написать дяде, но до моего отъезда того не сделал. Давая государю отчет в возложенном на него поручении, Головнин сказал, что в предстоящий юбилей своего генерал-адмиральства Константину хотелось бы получить портреты брата и отца, возведшего его в это звание. Временный титул Алексия (главного начальника флота и морского ведомства) был придуман Пещуровым.

Затем Головнин сообщил мне подробности последнего министерского кризиса, подтвержденные впоследствии в Эмсе самим Лорис-Меликовым. Чуя излюбленную интригу, Головнин пригласил к себе обедать Абазу, Милютина, Набокова и Рейтерна. Перед тем министры заручились согласием государя, чтобы о всех важных делах ему докладовалось не иначе как по обсуждении вопроса в комитете министров. Государь радостно объявил о том императрице. Кажется, Лорис-Меликов и Абаза, двинувшие вопрос, поторопились праздновать победу и, как рассказывают, несколько цинически радовались удаче у Нелидовой. Как бы то ни было, в день головнинского обеда Набоков по секрету читал Рейтерну манифест о самодержавии. В тот же вечер, по предварительному условию, министры должны были съехаться у Лорис-Меликова, чтоб облечь в форму выраженное государем согласие на обсуждение меры сообща. Набоков заставил себя долго ждать, и когда Меликов, по приезде его, удивился его неточности, отвечал, что был задержан печатанием манифеста. «Т. е. проектом манифеста, – возразил Меликов, – Нет, вот самый манифест». Не берусь судить о поступке Набокова, согласившегося на общее решение дела и потом скрывшего от товарищей новую царскую волю, хотя счел возможным объявить ее Рейтерну. Всех ошеломило. Оказалось, что манифест издавался с ведома Набокова, Игнатьева и Победоносцева. На первых же днях в министерстве оказался раскол. Меликов подал об увольнении по болезни и тотчас же был уволен. За ним последовал Абаза, но просьба его не была основана на болезни; он прямо выразил убеждение, что без единства министерства он будет вреден. На другой день царь уволил Абазу, «жалея, что не найдена более приличная причина просьбе об увольнении». Милютин не согласился следовать за товарищами, опасаясь подать армии опасный пример скопа, соглашения, но сказал, что воспользуется первым случаем. Перед тем Лорис-Меликов, как сам утверждал мне, уговорил Милютина принять кавказское наместничество, ручаясь, что в совете будет сто-

ять за него, если бы даже Михаил Николаевич и противился переменам, которые, конечно, были необходимы. Несколько дней спустя, когда государь стал говорить сним о наместничестве, Милютин настойчиво попросил увольнения и уехал в свое крымское имение. С Абазой представилась компликация. Подавши в отставку, он не поехал с следующим докладом, а послал товарища, Бунге. Этот пояснил, что выход Абазы все расстроит; что многое им начато, например, ежегодное изъятие из обращения 50 миллионов бумажных денег, решимость не печатать их более, уменьшение выкупных платежей, податной вопрос и наконец самая подать с соли, еще не выказавшая последствий; что нужно, по крайней мере, чтобы сам Абаза провел все эти вопросы окончательно в Государственном совете. Царь велел Абазе быть с следующим докладом, но уволил его, не дождавшись дня доклада. Он оскорбился, что Абаза не выказал готовности исполнить его волю, не отвечал тотчас, что выполнит преданное ему через Бунге приказание. По-моему, и не следовало отвечать. Само собой, Абаза выполнил бы желание государя. Все дело скомкали Игнатьев и Победоносцев, может быть, с помощью неистового Каткова, вытребованного в Гатчино.

Многие винили удалившихся министров, в особенности Абазу, отставка которого стоила нам миллионы через через внезапное падение курса.Утвержали, что не должно поступать конституционно там, где нет конституции,что, удаляясь, министры оставляли поле недостойным. Не могу согласиться с таким воззрением, хотя искренно жалею об удалении опытных деятелей. Снова повторю прежде мной сказанное: именно при самодержавии должны чаще возникать вопросы о портфелях. Нет органа, который выражал бы правителю, что меры его не соответствуют общей позе. Что касается до уступки места другим, какого полезного действия могли ожидать удалившиеся, если на первых же порах, тотчас после согласия действовать сообща, оказались изменники, оставшиеся, несмотря на измену, в министерстве. Очевидно, беспрестанно происходили бы столкновения, и вопрос об удалении негадующих был бы только вопросом времени. Удаление произошло бы незаметно, в проволочку, и не осталось бы даже пользы урока молодому правителю.

Все откровенности Головнина служили тому только, чтоб склонить меня в мою очередь быть с ним откровенным. Ясно было, он хотел выведать результат моего свидания с государем. «Он (царь), наследником, беспрестанно проводил принцип, что Великие Князья не должны быть в главе управления, — говорил голосом кастрата мой собеседник, — и хотел сделать вас морским министром. Это было разумно, а теперь все переменилось со вступлением Алексия, и роль управляющего при нем не соответствует вашему значению». Не было причины мне секретничать, но я воздержался передать искусителю разговор с государем о Пещурове, сказал вскользь, что новому начальнику нужны на первое, по крайней мере, время, прежние помощник, и раскланялся, перечтя еще раз письмо Константина, которое Головнин возил к государю. «26 лет управления флотом, 16 лет председсждательства в Совете, участие с самого начала в крестьянском вопросе» — так исчислял Константин свои заслуги. Он забыл qu'il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre,[24] забыл, как он сам бывал глух ко всем подобным доводам, и не хотел признавать, что ему воздали той же мерой, которой он мерил заслуги других.

Перед отъездом отвел у приятелей Стекль душу, нуждавшуюся в успокоении. Они жили на Сойменском канале, в лесу, среди живописно-дикой природы. Сначала железной дорогой до Выборга, мимо опрятных летних убежищ петербуржцев, потом в экипаже прикатил я к друзьям, вместе с их сыном, служившим в дипломатической канцелярии. До поздней ночи беседовали тихо, безмятежно, вспоминая не существующую уже, и, когда разошлись, безмрачная северная ночь присоедини-

лась к обычной моей бессоннице и выманила меня на свежий воздух. Все двери дома оказались запертымми опьяневшим слугой, и я вылез в окно. Ходил до усталости и присел под березку, дрожавшую от утреннего зефира. Манила было мысль укрепить колеблющийся дух трудом, но условия русского труда слишком тягостны при моем настроении.

Через 24 часа я несся уже на парах в Эмс, а Эмс — преддверие к милому Бадену.

Горе потрясло меня физически. Одышка облегчилась, но беспокоил меня кашель, начавшийся тому три года и значительно усилившийся после потери жены. Я добросовестно исполнял в течение месяца все обязанности эмского пациента; пил, как лошадь, и, как лошадь, ходил; не остановил ни одного холма, ни одной развалины. Отбегала от меня умственная деятельность; хотелось будто заморить ее требованиями, заглушить их подвижностью тела, усталостью. Впрочем, я написал в Эмс мнение мое о будущем составе флота, потребованное Великим Князем Алексием, и отослал его в Петербург. В Эмсе же встретил экс-вице-императора Лорис-Меликова, подтвердившего все откровения Головнина. Лорис договорился до того, что выразил свой политический credo. По его мнению, «все Романовы гроша не стоят, но необходимы для России». О Михаиле Николаевича Лорис был самого невыгодного мнения.

Из моих странствований в долине Лана всего памятней для меня несколько минут, проведенных в Фюрнсте, над скромной гробницей Штейна. Странное честолюбие овладело мной на склоне жизни. Захотелось быть реформатором, разумеется, в возможной для меня сфере действий — во флоте. На листках ежедневника моего за эмское лечение вижу бесконечные планы изменений и нововведений, даже подробные предположения, как совершить их. Вместе с тем беспрерывные слезы и стон души, ни на минуту не забывавшей горя, напоминали, что время мое прошло и что духовные силы мои были годны только на сильную грусть. А есть счастливцы, едва ли когда-либо принимавшие к сердцу свои обязанности, доплывшие в раззолоченных ладьях до конца пути. Один из таких, граф Баранцев, был в Эмсе товарищем моим по водопою. Он только что оставил пост, легко доставивший ему возможные почести, и на вопрос мой о причине смело ответил: «Порядочным людям нужно уходить». Полно, порядочный ли человек этот добряк с виду? Есть и такие, которые считают обязанностью навязывать себя другим.

1 августа лечение мое кончилось, и я бросился в заветный Баден, где провел 18 дней в благочестивом настроении над прахом моей Нади.

Мне, 60-летнему, почерствевшему в жизни, отягченному возможными грехами, было сладко быть ребенком, присаживать ежедневно цветок к ее жилищу, стараться отовсюду видеть его — с Лихтентальской дороги, из парка, с разных пунктов многочисленных баденских прогулок.

С памятью о кончине жены неразрывно связывалось то, что я считал самоотвержением со стороны приятеля моего Лесовского. Он заменил меня в командовании китайской эскадрой и, пробывши год в тамошний водах, поплатившись лично за свою решимость, возвратился в Европу. Лесовской был единственной жертвой экспедиции и на обратном пути домой захотел посоветоваться с парижскими костоправами касательно полученного им увечья. Я застал его в Париже ликующим. Медики отвергали всякую надобность целебных вод и советовали только временный отдых.

Но я забежал несколько вперед. Перед отъездом из Бадена я встретил Рейтерна и провел с ним час—два в интересной беседе. Бывший министр финансов рассказывал, что когда после турецкой войны между нами и Германией затеялась ожесточенная журнальная борьба, государь написал дяде письмо, в котором говорил «qu'ils prépareront a leurs peuples un avenir malheureux s'ils laissent durer les

choses de cette façon».[25] Вильгельм, получивши письмо в Бадене, призвал туда Бисмарка, но тот уклонился и прислал вместо себя Штольберга; сам же спросил Австрию, готова ли она помочь Германии в наступательном против России действии, а Биконсфильда — согласится ли он послать флот в Балтику. Андраши отвечал, что вопрос может решиться получасовым разговором, который и последовал в Гаштейне, а Биконсфильд уклонился; главное же Вильгельм сказал, что готов отказаться от престола, но войны с Россией не начнет. Бисмарк хотел предупредить Россию, будто желавшую войны. К такому заключению привели Бисмарка разговоры в Париже добровольца-дипломата — пылкого Скобелева.

Рейтерн всячески доказывал, что государь был вовлечен в войну против воли, что императрица более всех ей способствовала, даже упрекала Рейтерна в равнодушии к славянам. «Je ne partage pas, madame, Vos sympathies pour les nations slaves en général, — отвечал Рейтерн, — mais il v en'a une que je chérie, c'est la Russie».[26] А во время Плевны та же императрица дивилась, как можно лить столько русской крови.

Говорил мне о Константине Лесовской. Переход к независимости, к нравственной свободе от чувства тяжкой ответственности живил моего приятеля, и мы подолгу беседовали с ним о прошлом и настоящем. Отправление Лесовского в Китай произошло, или лучше подошло, случайно, кстати. Выход его из министерства был решен уже вследствие положительного сопротивления его планам. Вопрос о будущем флоте, оживившийся с назначением Алексия, был поднят им, но отвергнут комитетом министров и государственным советом. Сам Лесовской был тут ни при чем. Морское министерство потеряло всякое доверие своими бреднями. Во всех представлениях его видели заднюю мысль, и мысль нечистую, желание покрыть старый грех или породить новый предлог к трате государственных средств в пользу излюбленных личностей. Поставленный между генерал-адмиралом, поддавшимся, к несчастью, влиянию себялюбцев, и требованиям долга, честный Лесовской не мог долее оставаться в подобном положении и просил государя уволить его. Подошла китайская экспедиция. Не хотели посылать полного адмирала; в мое назначение вмешалась злая судьба — Лесовской предложил свои слабеющие уже силы. Неоднократно убеждал он Константина не вмешиваться в дела Балтийского завода, но другие влияния превозмогли. Было намерение послать в Китай Алексия, но вмешалась дипломатия. Гирс указал на возможность надобности не признать действий начальника эскадры — и Алексий остался командиром гвардейского экипажа. Была также попытка назначить его товарищем управляющего министерством, но наследник (теперь государь) постоянно повторял при докладах, что великие князья не должны быть на постах, соединенных с ответственностью. Действия дяди, нужно признать, давали право на такое разумное заключение.

Перебрали мы многое за две-три недели, проведенные вместе в Париже. Беседы с Лесовским были моим единственным развлечением. Веселая, кипевшая обычной деятельностью всемирная столица для меня будто не существовала. Носились мы и во льдах северной Пальмиры, и под палящим солнцем экватора. Рассчитывая на войну с Китаем, Лесовской велел искать мест, где, не нарушая нейтралитета, могли бы запасаться углем наши пароходы с войсками, которых предполагалось перевести до пяти тысяч. Такие пункты находятся в Зондском Архипелаге, где владения голландцев и других европейцев не разграничены с независимыми туземцами, а эти не подлежат еще никаким международным условиям. Я настаивал на необходимости идти южнее на нашем Дальнем востоке и всячески стараться захватить корейский берег до порта Лазарева включительно, даже выражал удивление, что приятель мой не сделал ни малейшей попытки по случаю предстоящего раз-

рыва с Китаем. Это приходило в голову не одному мне. Французский адмирал Duperré, с которым Лесовской был в приятельских отношениях, неоднократно твердил ему, что нам следует занять незамерзающий порт Лазарева. Были, однако ж, обстоятельства, претившие подобной решимости с нашей стороны. Японцы считают Корею своим достоянием и соглашались на благоприятный для нас нейтралитет лишь с условием, что мы не будем посягать на Корею. С другой стороны, китайцы убеждали корейцев открыть порты всем, чтобы взаимная зависть помешала кому-либо завладеть ими. Вопрос о нашем движении к югу таким образом затрудняется, разве обменять Сахалин на часть корейского берега?

Между разными мелочами Лесовской рассказал мне подробности о получении мной Белого Орла в контр-адмиральском чине, чему не было примера. Государь согласился, но канцлер орденов, граф Адлерберг, вошел с протестом, прочтя приказ, и государь заметил, что представление было неправильно.

По поводу чихачевского проекта Лесовской уверял, что и Алексий соглашался с другими в практичности его, но противился по политической причине. Не будет, в случае надобности, верной военной силы в Кронштадте. Вспомнили, верно, Петра III. Значит, династии ради не будет у нас никогда флота.

На бедного Константина в это время свалилась новая беда. В ночь с 7 на 8 августа сгорело его убежище, Ориандский дворец. Сама судьба гонит его из отечества.

В Париже Лесовской получил известие, что его произвели в адмиралы. На его почтительную благодарную телеграмму Государь ответил очень милым признанием его заслуг, и приятель мой, по новому совету врачей, отправился в Bagniere de Luchon в восторге.

Но, живши даже отшельником, нельзя было не слышать в Париже отголосков местного шума. Бельвильские выборы, на которых покровитель бушующих стихийных сил, Гамбетта, потерпел частное поражение, занимая все умы, но французские умы как-то дешево разделываются даже с важными событиями. Прокричали несколько дней на бульварах новую бельвильскую программу — карикатуру Triboulet, в котором Гамбетта рвал программу той же силой, что в каком-то старом иллюстрированном издании Эол топит флот Тезея, и другую, изображавшую Гамбетту в ванне, поражаемым, подобно Marat, свирепой Louise Michel — петрольщицей, только что возвратившейся из Нумео вследствие амнистии. Тем все и кончилось.

Моя склонность к уединению не исключала, однако ж, полезного, удовлетворявшего жажду познания. Притянула меня к Парижу, кроме желания видеть человека, взявшего на себя предстоявшие мне тягости, всенародная электрическая выставка. Хотелось видеть первое торжество недавно народившейся силы. Инстинкт говорил мне, что более всякой другой она вмешивается во все отправления человеческой жизни, преобразует мир так, что прежний будет казаться догалилеевским заблуждением, создаст новые отношения, завладеет безразличия всеми народами и, может быть, перестроив человечество, сплотит его в один стройный механизм. Механизм — c'est le mot. Пропадет индивидуальность, но к чему она, коли в течение веков служила только причиной раздоров?

У нас неблагоприятные симптомы. Запретили на шесть месяцев «Голос». Искусившийся в цензурных фокусах Краевский думал, что это игнатьевский прием, т. е. кажущаяся строгость, — и начал издавать «Новую газету», тем же шрифтом и того же формата, не скрывая сотрудничество тех же лиц. Нельзя было допустить подобной насмешки над властью — и «Новую газету» зарезали на восьмом номере. Уловка казалась всем слишком наглой, и я удивлялся, как допустили ее, но, по-видимому, долго думали, решиться ли на радикальную меру. Впоследствии я слышал от Моренгейма, что за завтраком у Государя он позволил себе выразить удивление подобной слаборсти

правительства, и его мнение повело к прекращению газеты.

Трудно понять намерения и действия Игнатьева. Недоброй памяти Татищев, прежний секретарь посольства в Вене, явился в Париже каким-то негласным агентом и просил посольство доставить ему случай встретиться с Гамбеттой. Посольство отклонило, хотя Татищев прямо высказывал свое положение. Чего же добивается Игнатьев, употребляя подобных людей?

Наступил день 50-летнего юбилея Константина как генерал-адмирала. Будто в утешение ему послали, или сослали, ненавистного ему Баранова в Архангельск. Ко дню юбилея отправили в Орианду целое посольство: Казакевича, Головачева и пр. В Москве к нему присоединился Б. П. Мансуров. Вместе с рескриптом отвезли изгнаннику желанный двойной портрет. Мне впоследствии рассказывали, что Великий Князь очень расчувствовался и плакал, когда присутствовавший при церемонии Милютин нашпиливал ему знак монаршей милости, напоминавший прежнее значение при отце и в особенности при брате.

Беспрестанные перемены личностей сбили меня с толку. Вертел, гадал, придумывал и пришел к заключению, что государь ребенок. Для развития соображения ему надавали кубиков, чтоб строить фигуры. Может быть, соображение и вырастет.

Жил я в Париже между горем, выставкой и редкими свиданиями с соотечественнками, державшими меня au courant[27] происходившего в России. В посольстве расскажут, как государь на рапорты Лекса положил резолюцию: «К чему искажать наши отечественные названия плохим французским языком? Это такая же чепуха, как вся наша дипломатия». Зубов передаст подробности о крушении Баранова, полетевшего вследствие несогласия с Воронцовым касательно священной дружины. Сходит со сцены Адлерберг. Наступает свидание нового царя с дядей в Данциге, свидание, уготованное втайне, будто что-то непристойное. Поднялась в Египте буйная военная сила и грозит бедной Европе, как всякое волнение на востоке. Передаст Арапетов, что Милютин не хотел подать в отставку коллективно с Лорисом и Абазой, не только потому, что ему, представителю армии, ни в каком случае не следовало решаться на действие, имевшее вид оппозиции, но и потому, что он сам был личность. Думаю, что Милютину, человеку во всем серьезному, показалось, что затеи товарищей имели характер ветрености, необдуманности. Покойный государь накануне конца согласился созвать депутатов, заметив, однако ж, что это поведет к конституции, и высказавши сомнение в пользе меры. Наследник был свидетелем колебаний отца и с этой минуты стал склоняться к абсолютизму или, по крайней мере, усомнился в своевременности перемены.

Меня все занимало, но как-то безучастно, бессознательно, и такое состояние продолжалось до начала сентября.

7/19 я получил предложение, которое вывело меня из нравственной летаргии. Пещуров писал, что Великий Князь Алексий желает, чтоб я был председателем кораблестроительного отделения технического комитета.

«Готов служить во всяком положении, которое Государю угодно будет мне дать, — отвечал я Пещурову, — но прошу предварительно ознакомиться с делом и испытать самого себя». Вновь ставили меня в щекотливое положение с совестью. Только что разделался с «Ливадией», назначают на место Попова, которого я, по намеку Великого Князя Алексия, убедил оставить должность. Страх попасть в зависимое положение, в среду, уже мне чуждую, заставлял брать меры к довольно легкому отступлению. Я настаивал на временности назначения, на пробном его характере, чтобы, в случае неудачи, отойти к прежней скромной обязанности, не мешавшей моему баденскому паломничеству, не отрывавшей меня от дорогой могилы.

Пещуров ответил телеграммой: «Grand Duc veut vous avoir ici; letter suit»,[28] а в письме говорил, что его высочеству угодно, чтобы до возвращения я познакомился с новыми постройками в Англии и Франции, на что считают достаточными по большей мере пять недель.

Мое путешествие длилось 39 дней. Я объехал английские порты, начиная с Гласгова, где ставил новую машину корабль «Петр Великий». Был в Шефильде для броневого производства, у Торникрофта и Ярроу — этих отцов миноносок — и во всех военных адмиралтействах, кроме Пемброкского. Видел «Infexible» и все новейшие произведения английского искусства. Ирландский вопрос был в самом разгаре. Министерство решилось арестовать вожака — Парнеля, и все ждали катаклизма; даже привыкшее к внезапностям в политике посольство наше было охвачено чувством ожидания неизвестного. Меня занимали исключительно технические вопросы и я слушал без особого внимания рассказы и суждения симпатичного приятеля А. П. Давыдова.

Насытившись английскими произведениями, переехал канал и после дневного отдыха в Париже пустился в Шербург, Брест, Лориан, Нант, Indret, Рошефор и Тулон. Везде вставал со светом и целый день спускался и поднимался по лестницам и трапам, утомляя моих чичероне. В Тулоне, в первый раз, почтили мой вице-адмиральский флаг салютом. По прежним отношениям оказал мне эту любезность вице-адмирал Кранц, командовавший эволюционной эскадрой.

Осмотром заводов в Rive de Giers и набоба Шнейдера в Creuzot я кончил непрерывное сорокадневное скитальчество. Зуд физической деятельности, или лучше суетливости, одолел меня. Бессонные ночи в вагонах, беготня по мастерским и заводам в душной угольной атмосфере и, наконец, долгие часы ночи, проводимые в записывании всего замеченного, не только не утомляли 60-летнее тело, а, напротив, живили его. Явно таинственное влияние толкало по необходимому для меня пути. 1 ноября с запасом замечаний отправился на родину издалека, переставшего уже привязывать и прельщать меня.

На рубеже родины приняли любезно, вспомнили прежнее значение, предвидя, может быть, новое, и уютно поместили в цуге, прибывшем благополучно в столицу 4/16 ноября в 6 часов вечера.

Очень хочется передать верно все, что происходило во мне и чувствовалось мной по прибытии в отечество после долгого отсутствия. Как-то особенно внимательно следил я за собой, опасаясь сделать на первых же порах промах, даже по наружности я был робок, неуверен в себе. Отвыкши от военной формы, я казался ученой собакой в костюме.

Перед моим приездом наделал много шуму вопрос о кораблестроении. Прежде я говорил, что излюбленному Константином Балтийскому заводу заказали фрегат и велели порту заключить контракт. Гр. Бутаков, подстрекаемый Копытовым, тоже терпевшим от порядка вещей, установленного при Константине, находил, что условия завода невыгодны для казны. Фрегат рос, а контракта не было. Константин пал; борьба между канцелярией и портом обострилась, перешла в газеты и, по инициативе управляющего министерством, перенесена в адмиралтейств-совет. Синклит старцев решил заключить контракт на условиях, одобренных канцелярией, но порт противился. Бутаков вопреки постановлениям просил какого-то высшего третейского суда между ним и адмиралтейств-советом и, наконец, требовал увольнения, не желая будто позорить своего имени.

По-моему, Бутаков и Копытов просто хотели отплатить Константину и выковырять все, что могло повредить ему, и совсем повалить уже сбитого с ног генерал-адмирала. На требование Бутакова Алексий сказал, что будут большие перемены, но не откровенничал, а просил отложить намерение. Когда я представлялся Пещурову, случайный управляющий

вовсе не имел вида человека, опасающегося за свое положение, и даже весьма неохотно выслушал личные мои надобности. Меня сажали ровно на половинное содержание против прежнего и к заботам по новой затруднительной обязанности прибавляли попечение о хлебе насущном. Великий Князь Алексий принял очень мило, но ровно ничего не сказал и только выразил, что на меня возлагают надежды. То же повторяли товарищи, во власти сущие, утверждая, что меня ждали, что без моего мнения не решатся ни на какие перемены. Алексий счел необходимым, чтобы я представился государю, на что я ответил желанием явиться к императрице, которой не видел летом.

Через несколько дней Пещуров объявил, что выговоренная мной временность стесняет Великого Князя. Я ответил — «делайте что хотите» — и лишь только вышел приказ о моем назначении, получил с юга, от «Друзей правды», письмо, в котором радовались моему назначению как гарантии возрождения Черноморского флота.

Сделал несколько визитов, чтобы сростить давно порванную нить знакомств, и, между прочим, набрел на специально петербургскую современную сцену. Я приехал к старым знакомым Игнатьевым и лишь только уселся с графиней, вбежал какой-то молодой человек в испуге и ужасе. «Там, внизу, сейчас стреляли в Черевина», — пробормотал он и исчез. Пораженный явлением, я спросил графиню: «Кто этот сумасшедший? — и, узнавши, что то был правитель канцелярии Воейков, возразил — Скажите мужу, чтоб он прогнал его». Действительно, нужно было обезуметь, чтобы без малейших предосторожностей бросить подобную тираду жене и матери, знавшей, что «там, внизу» принимал посетителей муж и жили дети. Графиня казалась весьма спокойной, но мгновенно натянутые нервы сдали; она вскочила и хотела тотчас видеть мужа. Николай Павлович в ту же минуту явился с сияющим лицом, велел просить Черевина наверх, и удачно избежавший смерти товарищ министра показал простреляные бок и рукав своего сюртука. Факт доказывал побуждение к действию партии террора.

Не мог я миновать приятеля Попова. Он представлялся весьма довольным своим положением и, желая выгородить себя в моих глазах, рассказал некоторые подробности о великом князе Константине, еще неизвестные. Ухтомский, по словам Попова, начал займом у любовницы Великого Князя стотысячными бумагами, потом занял у самого Константина двести тысяч, из коих любовнице возвратил только 82, по курсу взятых бумаг, обещав уплатить alpari.

Попов убеждал Великого Князя не соглашаться продавать Балтийский завод французской компании, которую Ухтомский с братией будто подставили с ведома Грейга, требовавшего как министр финансов продажи завода в выгодах казны. Попов стращал Константина, что его загрызут. Самая история Рида была поднята Ухтомским (чему я, зная кумовство Попова с Ридом, не верю), который подслуша или узнал разговор Попова с великим князем. Этолин съездил в Англию и уговорил Рида быть дольщиком в заводе. Ал. Апраксин через Попова хотел получить железнодорожную концессию, обманулся, получил ее через Шувалова, который хотел примириться с наследником, и начал мстить Попову и Великому Князю.

Что за грязная путаница!

Вступил я в обязанность, покончивши наскоро с наймом квартиры. По обыкновению попал в руки недобросовестного человека и заплатил очень дорого за разное тряпье — всего до шести тысяч рублей, тогда как на переезд и обзаведение мне отпустили три тысячи.

Начал разбирать дела в комитете и на первых же порах принял участие в заседаниях комиссии под председательством Великого Князя Алексия. Месяц назад, по Высочайшему повелению, состоялась другая комиссия — мать настоящей. Решили в расчете предстоявших политических случайностей увеличить

морские силы наши. Нам предстояло определить, как увеличить их. Составили ареопаг. Казакевич, ленивый по природе, мало ознакомившийся даже с нуждами Кронштадта за десятилетнее в нем царение; преждевременно устаревший Гр. Бутаков, пропитанный злобой и местью ко всему константиновскому и, по верному замечанию Алексия, считавший себя умнее, нежели был на самом деле. Стеценков, непризнанный гений, беспрестанно твердил о том, что делается у других, не указывая, что нужно делать у нас. Попов, скромный поневоле, обращал всякий вопрос в личный. Перелешин все твердил о культуре и, противно истории, утверждал, что мы, некультурные, не можем бороться с культурными соседями. Пузино замолвил только слово о негодности настроенных за последнюю войну миноносок. Брюммер изредка будто палил из пушки: «Ход! Главное — ход!», — и дальше не шел. Пещуров умно безмолвствовал, стараясь лишь снискать одобрение поданной им записки, а всего более употребленного им способа сравнения сил кораблей. Молодой председатель вел себя чрезвычайно сдержанно, давал всем высказываться и очень пристойно останавливал заносившихся в облака. Очевидно, однако ж, он противопоставлял меня Попову и всякий раз, когда тот говорил, обращался ко мне, как бы вызывая на возражение. Это особенно выказалось на втором совещании. Попов держал речь; Пещуров, не желая, чтобы я выказался как боец, скромно поддерживал его. Сущность аргументов Попова была самовосхваление. Он доказывал, что все сделанное превосходно и привело флот наш к превосходству над другими. Образцы, дивные образцы, существовали, и нужно было только продолжать начатое. На третьем заседании он еще более налегал на основательность идей, которые проводил дотоле. Продолжая прежние прения о «Владивостоке» (он более кого-либо шатал вопрос между ним и «Ольгой»), необуздавшийся еще приятель утверждал, что мы ничего не достигнем, пока не свяжем наш крайний восток с Россией железным путем, и даже не выиграем, если при настоящих условиях пойдем на юг, на что в предыдущем заседании Великий Князь подал надежду, объявивши, что корейцы сами желают войти в сношения с нами и, может быть, продадут порт. Попов, повидимому исчахший в долгом молчании, говорил с жаром, не отвлекаясь бесцеремонными перерывами Гр. Бутакова, и, наконец, прямо обратившись ко мне, сказал, что единственный безошибочный для меня путь настойчиво идти прежней дорогой. Я возразил, что мы собрались не критиковать прошедшее, а высказать наши мнения о требованиях настоящего. Не отвергая, само собой, пользы соединения наших восточных владений с внутренней Россией, я заметил, что решение подобных вопросов вне нашей программы, что никто не извинит оба военные ведомства, если не примут немедленных мер к обеспечению нашего единственного военного порта на востоке от легкого захвата неприятелем. Дороги дорогами, а теперь же нужно укрепить порт, снабдить гарнизоном и свезти на место боевые припасы и провизию. В Черном море, говорил я, нам нужны сильные броненосные суда, а в Балтике мореходные броненосцы, способные действовать вне; сфера же кораблей типа «Петра Великого» ограничивается внутренним морем. Налегши на то, чтобы в программу внесли непременным условием способность броненосцев проходить в полном грузу Суэцким и будущим Панамским каналами, я заключил не поддававшимся различным толкованиям profession de foi.[29] На меня выпала доля руководить предстоящими постройками. Не представляя себя достаточно сведущим для решения, насколько практичны возникающие в кораблестроении оригинальные идеи, я подчиняюсь воле, призвавшей меня к делу, с следующими ограничениями: никаких выдумок, никаких фантазий, идущих вразрез с настоящими требованиями науки; производить только испытанное, не подлежащее сомнению. Если это направление

не отвечает ожиданиям, всего лучше скорее избрать другого.

Алексий слушал со вниманием и, собравши нас еще раз, сделал очень удачную выжимку из всего сказанного. Плодом комиссия была программа увеличения флота. Как документ, который может сделаться важным впоследствии, я предлагаю его в конце главы, но вместе помещаю и основную мысль об увеличении наших морских сил, выраженную в прежней комиссии. Во время наших прений последний документ не был мне известен, и дальнейшее знакомство с ним, уже в положении главного исполнителя выработанных идей, показало, что мои свежие взгляды не совсем расходились с воззрениями предшественников.

Представление мое несколько затянулось; я явился к государю и императрице только 26 ноября, в мрачном, недобром памятью, гатчинском дворце. До самых дверей императрицы меня провожал соглядатай. Гофмаршал Голицын пробормотал, что много представляющихся, однако доложил, хотя меня не было в списке.

После нескольких слов приветствия императрица заговорила о «Ливадии». Еще летом государь хотел выказать нерасположение к новой яхте, обративши ее в плавучий клуб для офицеров; да и теперь, по слухам, кипел нетерпением уничтожить последний призрак владычества Константина на русских морях. Я приготовился дать отпор. Мне казалось, что на чужбине неблагоприятно посмотрят на легкость, с которой мы приступаем к многомиллионным сооружениям для того, чтобы тотчас разрушать их. Чтобы вернее достичь цели, я хотел тронуть материнское сердце. «Ливадия», по мнению моему, была прекрасным пловучим помещением. Имея ее, можно было посылать детей купаться в разные пункты Финского залива, не наводя на них тоски тем же «Гапсалем». На вопрос императрицы, занимается ли Алексей, отвечал: «Не тем чем следует; бумаги и все безжизненное не его дело».

В прихожей государя я застал старого виленского знакомого, прелата Жилинского. Непринужденное, чисто светское обращение мое, основанное на прежних виленских отношениях, видимо, не понравилось разжиревшему и принявшему уже некоторую осанку прелату. Надутость его дошла до комизма, когда его позвали к государю вслед за назначавшимся на Кавказ Дундуковым. Жилинский вышел из кабинета величавой поступью, не обращая ни на кого внимания. А давно ли с трудом я мог усадить его у себя в кабинете?

Дежурный флигель-адъютант вышел сказать мне, что государь примет меня одного, в кабинете, позвал вместе всех представлявшихся, а потом ввел меня. Я ехал на свидание с некоторым опасением. Июньская встреча с новым повелителем живо рисовалась в моей памяти. Государь вызвал меня на откровенность, а я отвечал сдержанностью, граничившей с холодностью Мне было совестно перед молодым властелином, ожидавшим, может быть, совета, и я решился в этот раз высказать неподдельное сочувствие. Но все-таки собеседник мой был самодержавный. Раз не угодивши ему, я боялся, что не представится уже случая выказать преданность, как я понимаю ее.

И в этот раз Государь был очень ласков, хотя принял уже на ногах. Просто, но искренно, изъявил радость видеть меня в должности и заговорил о моей последней поездке по портам западной Европы. Я старался поразить тем, что делалось у других, надеясь вызвать решимость приступить и у нас к необходимому. Зашла, разумеется, речь о «Ливадии». Я ответил повторением сказанного императрице, прибавя весьма горячо, «что же о нас подумают, видя, как внезапно мы переходим от созидания к разрушению?». Прощаясь, Государь выразил уверенность, что теперь все пойдет лучше. Поблагодарив Его Величество и оставя мою руку в его руке, я сказал, что в этот раз считаю долгом высказать ему правду. «Лучше не пойдет, — возразил я, — если останется на-

каз 1864 года, очевидно, составленный людьми, никогда флот не знавшими и с целью, чтобы знающие никогда не пытались управлять им. Великий Князь Алексий, сколько я успел заметить, занимается мертвым канцелярским делом и непременно втянется в безжизненные бумаги, когда ему следует вдохнуть в сословие новую жизнь, без чего у вашего величества флота не будет. Вижу, что хотят напугать нового молодого начальника, вторя на все лады, что ломать не следует. Напротив, изменить существующее необходимо; я разумею не бросать прежних деятелей на мостовую, но разъединить их, иначе все будет по-старому». Я сеял на готовую почту. «Советуют не ломать тех, которых сломать нужно», — возразил Государь, уставя на меня свои детски-чистые глаза, и обещал вникнуть во все за зиму. По выходе моем какой-то старичок-генерал непременно хотел со мной познакомиться. Багговут (им он оказался) знал меня по репутации и выразил лестное для меня сочувствие.

Меня жгло передать Алексию разговор мой с Государем. Служебная честность, казалось мне, того требовала. Через два дня при докладе по комитету я сказал, что очень хотел бы передать подробности представления моего государю. Алексий назначил на другой день, потом отложил и, наконец, 2 декабря только позвал меня не в урочный час, вечером. Хотел, вероятно, узнать, верно ли я передам ему разговор с государем. Беседа моя с великим князем не грешила излишней сдержанностью Он весьма хорошо видел, что его хотели всосать в бумажное дело и опутать так, как опутали Константина. Сознавая свою неготовность к посту, он спросил мнения моего, не лучше ли ему отказать. Я отвечал отрицательно. Флот привык к августейшему начальнику; отсутствие такого примется за равнодушие нового Государя ко флоту. Будет и дурное впечатление и противоречие; для всех ясно, что Государь склонен ко всему морскому. Если Великий Князь нуждался в откровенности и ценил ее, я наделил его щедрой рукой и с успокоенной совестью возвратился к делу в скромной сфере председателя кораблестроительного отделения, убежденный, что в этой обязанности кончу земное поприще.

Вот отчет моих действий по приезде в отечество.

Для дополнения его остается сказать несколько слов о свидании моем с различными особами царской фамилии. После 12-летнего перерыва служебная жизнь вновь сводила меня с ними.

Великий Князь Владимир был вежлив, но холоден до презрительности. Говорили о «Ливадии», и мысль моя встретила с его стороны одобрение. Великая Княгиня Ольга Федоровна приняла тотчас, без церемониймейстерского посредничества. Говорила, что нигилисты не унимаются и положение хуже прежнего. Великий Князь Михаил, за сигарами, повел речь о брате и рассказал, как в 1863 году покойный государь хотел послать в Варшаву его, Михаила, и как он смутился, а жена расплакалась. Переговоры происходили в Царском Селе. Вдруг приехал Константин и сам назвался в Варшаву. Я возражал, что при характере генерал-адмирала его легко было подвигнуть на желаемое, а Варшаву ему желали многие, чтоб удалить его из Петербурга, а всего более как casse-coup. Виельпольский соединился с столичными врагами генерал-адмирала, узнавши его предварительно как человека подходящего. Алескей, по словам Михаила, уже высказался против дальнейшего существования Каспийской флотилии. Я отвечал, что поставлю большую свечку Св. Алексию, если это исполнится. Пригласили тут же завтракать и были очень любезны; надолго ли? Не знаю.

Константин в это время был в Вене проездом в Париж. Брат уверял, что он держал себя правильно, преимущественно потому, что австрийский император с большим тактом притворился, будто ничего не знает о немилости своего гостя. По этому поводу Михаил прибавил: «...А брат не прочь бы высказать жалобы». Когда Дундуков приехал утешить его после

ориандского пожара, Константин в ответ сказал ему: «Vous avez vu beaucoup d`exilés et de disgraciés, mais certainement c'est pour la premiere fois que Vous voyez un Grand-Duc dana cette position!».[30]

Видел и Великую Княгиню Александру Иосифовну. Она казалась спокойней. При мне вошел Головнин сообщить покинутой жене вести о муже. Очевидно, располагают батареи к возвращению генерал-адмирала. Неповторимый Николай Николаевич почему-то был уверен, что Константин без меня скучает.

Подступал Новый год. Дело отвлекало от грусти, с которой уже сросся. Труд и грусть — это было мое желание, и оно сбывалось. По совести я не желал лучшего. Судьбе, хочу верить с участием моей покровительницы, угодно было решить иначе.

Примечания

[1] «Занимается сейчас политикой так же плохо, как занимался флотом».

[2] Ошейник.

[3] «Всегда вперед, Савойа».

[4] Выведал у него тайну.

[5] «Мы — поэты в морском деле, как и во всяком другом».

[6] Из лойяльности.

[7] Розовую эссенцию.

[8] «Государь тяжело ранен, приезжайте скорее».

[9] «Государю раздробило обе ноги, умер после короткой агонии».

[10] Постройка состояла из двух частей — подводной, почти круглой, с острыми оконечностями, и надводной, похожей сбоку на любимую покойным царем прежнюю яхту «Ливадию». Подводную часть великий князь Константин, думавший выказывать патриотизм народными названиями, окрестил блином. (Примечание автора).

[11] Прямоугольные отверстия в борту (морской термин).

[12] Вымаленный.

[13] «Яхта является предметом сочувственного любопытства».

[14] Часть набора корпуса корабля, в кормовой части, через которую проходит вал гребного винта.

[15] Ветер, при котором можно нести брамсели (т. е. верхние паруса), по шкале Бофорта — до 6 баллов.

[16] В хорошей компании.

[17] К принуждению (коэрция), к насилию.

[18] Свидание с глазу на глаз.

[19] «Какая муха Вас укусила? ».

[20] От избытка усердия.

[21] «Я недостаточно хорош для него».

[22] В честь моего счастливого прибытия.

[23] Я притворился слепым.

[24] Что нет более глухого, чем тот, кто не хочет слышать.

[25] «Что они приуготовят своим народам злосчастное будущее, если позволят делам продолжаться в том же духе».

[26] «Я не разделяю, сударыня, Ваших симпатий к славянским народам вообще, но одну из них я обожаю, Россию».

[27] В курсе.

[28] «Великий Князь хочет иметь Вас здесь. Письмо следует».

[29] Исповедание веры.

[30] «Вы видели много сосланных и разжалованных (опальных), но, конечно, впервые видите великого князя в таком положении!».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

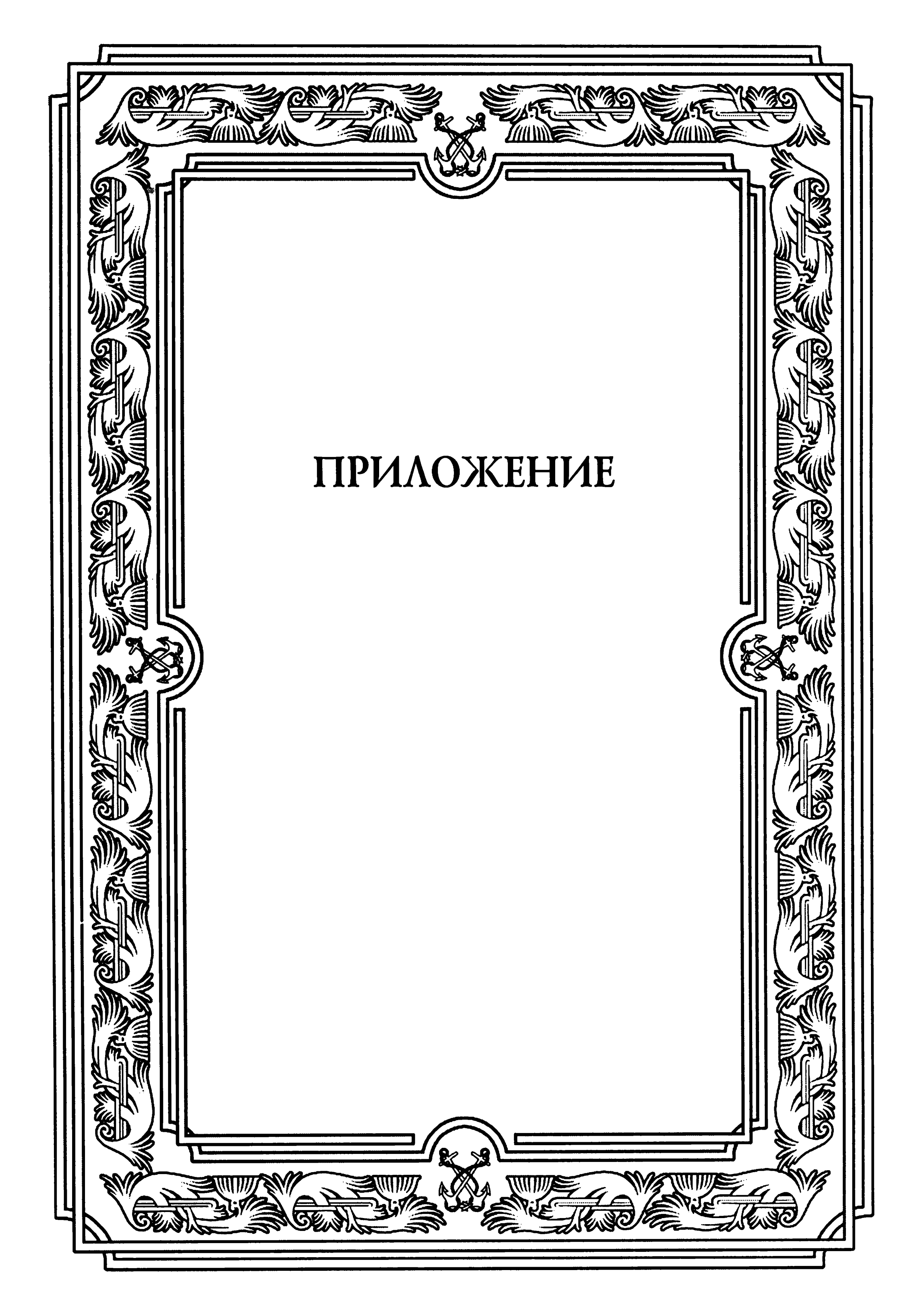
Кончая кажущийся мне правдивым отчет о полвеке обыкновенной жизни моей, вызывая читателя на беспристрастный обо мне приговор, и чтоб помочь ему, сознаюсь в недостатках, которые сам за собой чувствую. Перелистывая замечания отца о детских годах моих и потом идя по следам моей жизни, вспоминая случайности, я прихожу к убеждению, что природа наделила меня гордостью не в меру ни моим способностям, ни положению, унаследованному мною в обществе. Эта гордость претила мне уступать своевременно, заставляла забывать, что для достижения полезных целей требуются жертвы, и что первее всего должно приносить в жертву господствующую страсть свою, как бы ни казалась она извинительна в собственных глазах и в мнении общества. К счастью, я никогда не был честолюбив. Самолюбие одолевало честолюбие. Мне казалось, что при всяком положении моем самую важную роль играло мое Я – и это Я старался я охранять с ревностью, доходившей до неумеренности.

Если б судьба вынесла меня на высоту, с которой я мог бы иметь влияние на дела моей Родины, естественное отвращение к несправедливости, конечно, яснее обрисовало бы мои политические убеждения.

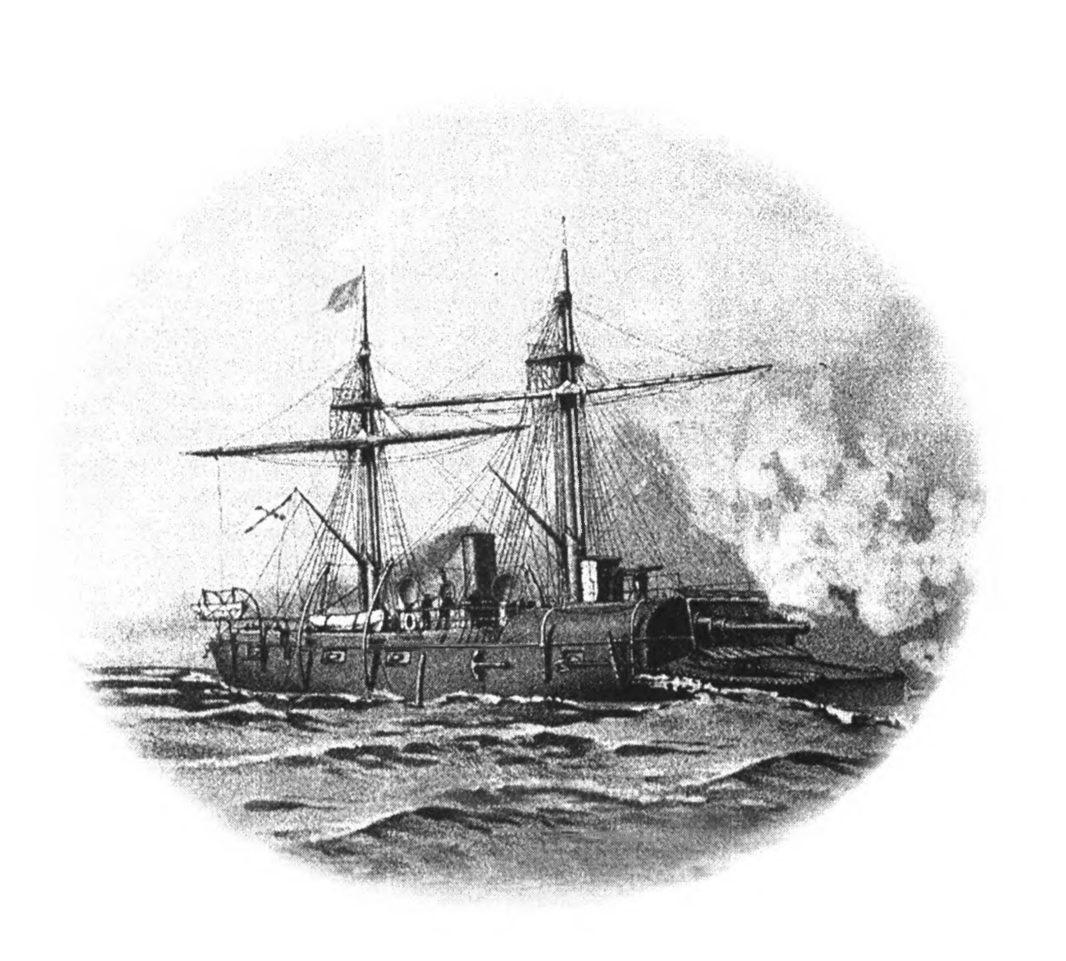
Я мнил гореть при отсутствии воздуха. Желая его всеми фибрами моего существования, что не постигал, до какой степени физический закон горения неприложим у нас в настоящем, и в утешение себе повторяю первую строку избранного мною эпиграфа:

«Мечты дней ранних о добре действительность опередили».

Читающий мои воспоминания решит, насколько я виновен сам, что эти мечты «Бурной зрелостью лишенную покоя юность заменили».



ПРИЛОЖЕНИЕ



Краткая биография И. А. Шестакова

Выписка из «Русского биографического словаря», издаваемого Императорским Русским Историческим обществом, Санкт-Петербург, 1911.

ШЕСТАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, генерал-адъютант, адмирал, управляющий Морским министерством. Родился 1-го апреля 1820 года в сельце Смилове Красненского уезда Смоленской губернии и происходил из небогатого, но старинного дворянского рода. Отец его, капитан-лейтенант Алексей Антонович, тяжело раненный в 1813 г. под Данцигом, оставя морскую службу, поселился в своем родовом имении — сельце Смилове, где и прожил до самой смерти. До десятилетнего возраста И. А. Шестаков воспитывался дома под ближайшим наблюдением отца. Помещенный в 1830 году в Морской кадетский корпус, он вскоре обратил на себя внимание учебного начальства как своими блестящими способностями, так и серьезными познаниями в некоторых предметах, приобретенными им еще дома, и особенно в языках (французском, немецком и английском), так что тогдашний директор корпуса знаменитый И. Ф. Крузенштерн сулил ему блестящую будущность. Произведенный в 1832 году в гардемарины Шестаков два года спустя блестяще выдержал офицерский экзамен, но так как ему было всего 14 лет и 9 месяцев, то он был оставлен еще на год в корпусе и назначен фельдфебелем гардемаринской роты. В это время своими работами он обратил на себя внимание тогдашнего начальника Главного морского штаба князя А. С. Меншикова, который стал часто приглашать его к себе и позволил пользоваться своей библиотекой.

Прошел год, но Ш. не только не был произведен в офицеры, но был от этого производства, пожалуй, еще дальше, чем в 1834 году.

Главной причиной этого были постоянные столкновения, происходившие у него с воспитателями, приведшие, наконец, несмотря на благоволение князя Меншикова, к увольнению в 1836 году Шестакова из корпуса. Тогда его отец обратился к своему другу адмиралу М. П. Лазареву, который согласился принять пылкого юношу в Черноморский флот юнкером. В том же году Шестаков был произведен в гардемарины и крейсировал на корвете «Ифигения» у восточного берега Черного моря. В следующем году он плавал на тендере «Струя», фрегате «Агатополь» и бриге «Аякс», причем принимал участие в занятии мыса Константиновского, за что был награжден знаком отличия военного ордена и произведен (23-го декабря) в мичманы.

Еще через год, плавая на корвете «Ифигения», Шестаков участвовал в высадке десанта и занятии местечка Шанедхо, за что был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

Далее в течение трех лет он плавал на том же корвете и бриге «Фемистокл» по портам Черного и Средиземного морей. Вернувшись в 1841 году в Севастополь, он в том же году снова принимал участие в нескольких сражениях с горцами и получил орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Произ-

веденный 11-го апреля 1843 года в лейтенанты с назначением адъютантом к адмиралу Лазареву Шестаков в этой должности оставался два года, а затем был назначен командиром строившегося тендера «Скорый».

Вооружив тендер под непосредственным руководством Лазарева, Шестаков, по его же предписанию, отправился на тендере к кавказским берегам для выполнения некоторых гидрографических работ. Затем с тою же целью он был командирован в устье р. Буг, в Днепровский лиман и к берегам Анатолии. Произведенные Ш. гидрографические работы дали ему богатый материал для будущего его сочинения «Лоция Черного моря».

23-го апреля 1850 года Ш. был произведен в капитан-лейтенанты, а вслед затем командирован в Англию для наблюдения за строившеюся там паровою шхуною «Аргонавт». Пока достраивалась шхуна, он заканчивал свое сочинение «Лоция Черного моря», за которое был награжден бриллиантовым перстнем, а затем привел «Аргонавта» из Лондона в Николаев, после чего командовал бригом «Тезей». В 1852 году Шестаков вторично был командирован в Англию с поручением заказать там для Черного моря два винтовых корвета и наблюдать за их постройкой.

Прежде чем эти корветы — «Витязь» и «Воин» — были окончены, разгорелась восточная война. И. А. пришлось оставить Англию, а корветы на стапелях еще были перекуплены лондонским адмиралтейством и по окончании их под именами «Казак» и «Татарин» участвовали в делах против русских во время Севастопольской осады. По возвращении в Россию Шестаков 3-го февраля 1854 года бал назначен членом Пароходного комитета, а 6-го декабря произведен в капитаны 2-го ранга.

В течение этого и следующего года он составил чертежи и наблюдал за постройкой 20 экспериментальных винтовых лодок, 75 винтовых канонерских лодок и 14 винтовых корветов. Кроме того, находясь на пароходофрегате «Рюрик», он участвовал в отражении от Кронштадта союзного англо-французского флота.

Назначенный 21-го мая 1855 года адъютантом к Его Императорскому Высочеству генерал-адмиралу И. А. в следующем году (26 августа) был произведен в капитаны 1-го ранга и тогда же командирован в Северо-Американские Соединенные Штаты для наблюдения за постройкой винтового фрегата «Генерал-Адмирал», проект постройки которого и чертежи были им же составлены. Фрегат «Генерал-Адмирал», бывший самым крупным из тогдашних наших паровых судов, строился около двух лет. Первым командиром его был сам Шестаков, который и привел судно в Кронштадт в средине 1859 года. Наградою за выполнение возложенного на него поручения был орден Св. Владимира 3-й степени и звание флигель-адъютанта, которое было пожаловано И. А. 8-го июля 1859 года. Далее он в течение двух лет командовал эскадрой из четырех фрегатов — «Генерал-Адмирал», «Громобой», «Олег» и «Илья Муромец» — в Средиземном море и крейсировал с нею у берегов Сирии для охранения христиан от фанатизма турок, причем 23-го апреля 1861 года был произведен в контр-адмиралы и назначен в свиту Е. И. В. По возвращении в 1862 году в Кронштадт Шестаков был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами и назначен (19-го ноября) членом Морского ученого и Кораблестроительного технического комитетов с оставлением в свите Е. И. В. В следующем 1863 году (17-го апреля) он был произведен на пост помощника главного командира Кронштадтского порта по морской части. Так как по случаю польского восстания в ту пору ежеминутно ожидали разрыва с Францией и Англией и появления эскадр этих держав в виду Кронштадта, шли самые оживленные работы по приведению этой крепости в боевую готовность.

На долю Шестакова, помимо заботы о морской защите крепости, выпало еще снаряжение и вооружение крейсерской эскадры

контр-адмирала С. С. Лесовского. Выполнив блестяще это дело, И. А., однако, вслед затем (29-го июля 1863 г.) оставил пост помощника главного командира Кронштадтского порта. Причиной этого послужило происшедшее у него столкновение с тогдашним управляющим Морским министерством генерал-адъютантом Краббе. Продолжая оставаться в свите Е. И. В. и членом Морского ученого и Кораблестроительного технического комитетов, Ш. в средине 1860 г. ездил за границу в продолжительный отпуск. По возвращении из отпуска он 11-го апреля 1866 года был назначен Таганрогским градоначальником с оставлением в свите Е. И. В. В Таганроге Шестаков прослужил всего около двух лет, но и за этот короткий период времени сумел много сделать для благоустройства города. Сойдясь в это время довольно близко с наказным атаманом Войска донского генерал-адъютантом А. Л. Потаповым, Ш. по назначении последнего виленским генерал-губернатором оставил Таганрог, переехал на службу в Вильно и был 18-го марта 1868 года назначен виленским губернатором с оставлением в свите Его Величества. Первое время Шестаков и Потапов были по-прежнему в дружеских отношениях, но вскоре между ними стали возникать недоразумения, отношения сильно обострились и даже сделались враждебными. Уволенный от должности губернатора и из свиты Его Величества с зачислением по флоту (27-го октября 1869 г.) Ш. уехал за границу, где прожил несколько лет, выйдя 10-го ноября 1869 года в отставку. Между тем вскоре выяснилось, что он далеко не заслужил той тяжелой кары, которую ему пришлось понести из-за столкновения с Потаповым. Поэтому всегда покровительствовавший Шестакову генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич предложил ему снова вступить на морскую службу. Ш. приехал в Петербург и объяснил, что по расстроенному здоровью своей жены вынужден жить постоянно на юге Европы и поэтому он может принять лишь такое место, при котором ему не нужно будет возвращаться в Россию. Ввиду этого решено было создать новую должность временного морского агента в южных государствах Европы — в Австрии и Италии, на которую 12-го февраля 1873 года и был назначен Шестаков.

В течение восьми лет своей службы в этой должности И. А. весьма внимательно следил за развитием и успехами военно-морского дела в Западной Европе, сообщая самые подробные сведения обо всех усовершенствованиях, изобретениях и нововведениях в военно-морской технике, что было тогда особенно важно ввиду возрождения нашего флота и перехода к броненосной системе постройки судов. За свою службу в должности военно-морского агента Ш. был награжден орденами Св. Владимира 2-й степени (в 1875 году) и Белого Орла (в 1879 году) и, кроме того, 1-го января 1880 года был произведен в вице-адмиралы. В 1879 году скончалась супруга И. А. Шестакова (Надежда Алексеевна, урожденная Михайловская), и ничто уже более не удерживало его за границей. Поэтому в 1881 году он возвратился в Петербург и был назначен (16-го ноября того же года) председателем кораблестроительного отделения Морского технического комитета и принял живейшее участие в постройке паровых судов, после того как был поднят вопрос о преобразовании и усилении нашего флота. В конце 1880 года Государственный совет предложил тогдашнему морскому министру А. А. Пещурову представить морскую программу, основанную на определенных соображениях, включая указания на наиболее необходимые для государства типы судов, на нужное время и расходы и на средства, которыми министерство располагает для выполнения программы.

К выработке этой программы и был привлечен И. А. Шестаков, будучи назначен председателем кораблестроительного отделения Морского технического комитета. Близкое знакомство с состоянием военно-морского дела в Европе и Америке и серьезные знания

техники постройки судов новейших типов дали возможность Шестакову после нескольких месяцев упорного труда представить грандиозную программу преобразования и усиления нашего флота. Программу эту, высочайше утвержденную в 1882 году, когда Ш. был уже морским министром, предполагалось выполнить в течение двадцати лет. В ней заявлялось, что России необходимо сверх существующих судов построить 19 первоклассных броненосцев, 4 броненосца 2-го класса, 25 крейсеров различной величины и ряд мелких судов. Расход на все это был исчислен в 216 миллионов руб., из коих 102 миллиона могли быть взяты из обыкновенных ежегодных бюджетов Морского министерства, остальная же сумма должна быть покрыта экстраординарным ассигнованием. Положить начало исполнению этой программы выпало на долю самого же Шестакова, назначенного 11-го января 1882 г. управляющим Морским министерством.

Уже в 1883 году в Черном море были заложены три броненосца весьма крупных по тому времени размеров (10, 150 тонн водоизмещения) — «Чесма, «Синоп» и «Екатерина II». В следующем году в Балтийском море были заложены броненосцы «Александр II» и «Николай I», каждый водоизмещением в 8, 500 тонн. В то же время, кроме броненосцев, строились еще крейсеры «Дмитрий Донской», «Адмирал Нахимов», «Память Азова», «Адмирал Корнилов», «Рында» и другие и целый ряд мореходных канонерских лодок, минных транспортов, миноносцев и судов других типов. Броненосцы «Чесма» и «Екатерина II» были спущены на воду уже в 1885 году; броненосец «Александр II» строился всего три года, а броненосцы «Синоп» и «Николай I» строились по четыре года. Благодаря такому быстрому и успешному судостроительству, причем все крупные суда строились исключительно в России, наш флот во время управления Морским министерством Шестакова, несмотря на исключение из списков многих старых, пришедших в негодность судов, не только не уменьшился, но увеличился по численности судов в полтора раза, а по боевой силе — более чем вдвое. К концу управления министерством Ш-ва число всех судов достигло 1 110.

Наладив дело с построением нового многочисленного и сильного боевого флота, Шестаков обратил внимание на другую весьма важную отрасль военно-морского дела — морские крепости и порты, огромное значение которых он прекрасно сознавал. Каждый год, как только открывалась навигация, Ш. отправлялся для осмотра тех или других портов; эти осмотры имели огромное значение, так как, придя к какому-нибудь решению, министр на месте делал соответствующие распоряжения, благодаря чему совершенно устранялась всякая канцелярская волокита. За время своего сравнительно короткого управления Морским министерством Шестаков объехал все наши военные порты и посетил даже Владивосток. Вполне оценив значение этого порта, он сделал его нашим главным портом в Тихом океане. Но наибольшим вниманием и любовью Ш. пользовался Севастополь, над возрождением которого он много потрудился.

Кроме того, Шестаковым было решено устроить военный порт в Либаве, круглый год доступной для судов, и при том же приступлено к началу работ по постройке. При Ш. был выработан и в 1885 году издан так называемый «Закон о морском цензе», в силу которого для получения каждого чина и права командования судном необходимо проплавать на судах определенное число лет. Все морское управление как центральное, так и портовое, было при Ш. преобразовано: была снова учреждена должность начальника Главного морского штаба, упразднены корпуса штурманов и морской артиллерии, и обязанности офицеров этих корпусов перешли к флотским офицерам.

Корпуса корабельных инженеров и инженер-механиков тоже преобразованы и выделены в полугражданское ведомство. Сибирская флотилия была уменьшена, но зато увели-

чена русская эскадра, постоянно крейсировавшая в водах Тихого океана, начаты были исследования залежей каменного угля в наших восточно-азиатских владениях и проч. Наконец, при Шестакове наш Добровольный флот получил более широкое развитие и приобрел много новых хороших судов. В течение своей службы в должности управляющего Морским министерством И. А. Шестаков 30-го августа 1882 года был пожалован в звание генерал-адъютанта, в следующем году (15-го мая) награжден орденом Св. Александра Невского, в 1886 году после спуска на воду броненосцев «Чесма» и «Екатерина II» Шестакову при весьма милостивом Высочайшем рескрипте пожалованы были бриллиантовые знаки ордена Св. Александра Невского. Последнею полученною И. А. Шестаковым наградою был чин адмирала, в который он был произведен по случаю 50-летия службы в офицерских чинах, незадолго до смерти, 1 января 1888 года.

И. А. Шестаков скончался в Севастополе 21-го ноября 1888 года от паралича сердца на 69-м году от рождения.

Тело его погребено там же, в храме Св. Владимира, в приделе Св. Александра Невского. Характеристикой Ш. могут служить следующие строки телеграммы Императора Александра III, посланной на имя его вдовы в Севастополь 23 ноября 1888 года: «С великою скорбью узнал Я о кончине Ивана Алексеевича. Для государства и для флота в особенности это огромная потеря и трудно заменимая. В нем потерял Я человека, искренне преданного своему делу, человека с теплою душой, широким образованием и обширным государственным умом. Я привык любить и уважать Ивана Алексеевича и знал, что на него могу рассчитывать вполне и что бы ему не поручил, он исполнит свой долг свято, доказательством чему может служить возникновение в краткое время Черноморского флота, энергичная постройка судов Балтийского флота и океанского плавания».

Помимо выдающейся государственной деятельности, И. А. Шестаков является еще довольно известным писателем, автором целого ряда статей по разным вопросам военно-морского дела. Так, в «Морском сборнике» за 1850, 1854–1861, 1864 и 1871 годы им были напечатаны следующие статьи:

1) «Короткий глас в прошедшее», 2) «Еще о тендерах и управление ими», 3) «Опыты, произведенные на английском корабле "Эриклик"», 4) «Обзор действий на море в течение настоящей войны», 5) «Адмирал Нахимов», 6) «Несколько слов на статью г. В. З. об адмирале Нахимове», 7) «Владимир Алексеевич Корнилов», 8) «Взгляд на некоторые вновь предложенные и предлагаемые приспособления», 9) «О военных училищах в Соединенных Северо-Американских Штатах», 10) «Орудия большого калибра», 11) «Замечания на проекты судовой отчетности», 12) «Ответ г. Хитрово (по поводу судовой отчетности и хозяйства)», 13) «Между делом», 14) «Дедушка Миссисипи», 15) «Письмо к редакторам Морского сборника и Кронштадтского вестника, 16) «Вопрос о постройке новых броненосцев в Италии». Некоторые из этих статей подписаны полным именем И. А. Шестакова, другие же – псевдонимом Эксельсиор.

Кроме того, И. А. составил «Лоцию Черного моря», перевел с английского большое сочинение Джемса: «История Английского флота»; напечатал в «Русском Архиве» (за 1873 г. кн. 2) свои воспоминания под заглавием «Полвека обыкновенной жизни» и оставил огромный дневник в 7–8 томов...

Затем ему принадлежит еще несколько статей в «Кронштадтском вестнике», «Николаевском вестнике» и других повременных изданиях...

Е. Я.

Письмо Царовского Адмиралу Флота Советского Союза И. С. Исакову

Иван Степанович, дорогой!

Посылаю Вам выписки из очерка А. К-ч «Из записной книжки моряка», напечатанной в февральской книжке ультраконсервативного журнала «Русский Вестник» (основатель и издатель Катков) за 1894 г. Автор, скрывавшийся под инициалами А. К-ч, Н. Ако-ич, Н. Ака-ич, А. Е. К-ч, судя по его высказываниям, попал во флот в качестве юнкера и много плавал за границей в 60-х и 70-х годах на эскадрах Попова, Шестакова и др. Он признает, что, будучи мичманом, ничего не понимал в политике, но, как явствует из его писаний, и в зрелом возрасте сохранил всю свежесть детски-наивного идеализма и так и не понял до конца жизни, что вся его деятельность была посвящена бурной политике становления капитализма в России и соучастию в капиталистической политике Англии и Соединенных Штатов, где закладывались очаги позже созревшего империализма. Поскольку в нашей литературе мало сведений о пребывании отряда под командованием контр-адмирала Шестакова у берегов Сирии, посылаю Вам рассказ твердолобого К-ч'а, потому что он отлично отражает преломление фактов в кают-компанейском общественном мнении отряда и рассказывает сочно и наглядно. Не вина К-ч'а, что он, по простоте душевной, ошибочно понял, что Шестаков только из симпатии к англичанам поощрял дружбу русских гардемарин с мидшипменами. Шестаков, отнюдь не англофил, в меру своих сил вел независимую от англичан, самостоятельную русскую политику. Он отнюдь не держался англичан, а при первой же возможности сделал попытку выйти из-под английского контроля, ушел в залив Искандерун и занялся боевой подготовкой и, в частности, тренировкой в высадке десанта в стратегически важном районе Средиземного моря...

Из воспоминаний о Шестакове

А. К-ч [он же Н. Ако-ич, А. Е. К-ч]. «Из записной книжки моряка», «Русский Вестник», Москва, 1894, февраль.

.... [стр. 4 книжки журнала]

«Восстание друзов и последовавшая затем резня сирийских христиан-маронитов собрали на Бейрутском рейде флоты целой Европы, в том числе и нашу эскадру, составленную из новейших, лучших фрегатов того времени, под начальством блестящего адмирала, наводившего страх и трепет не только на нас, его подчиненных, но и на более высших чинов в самом Кронштадте и во всех центральных учреждениях морского ведомства [подразумевается Шестаков, автор «Полвека обыкновенной жизни»]. На рейде, беспокойном и открытом для ветров от всех румбов, количеством кораблей постоянно преобладали французы, исправностью же и строгостью службы — англичане и русские. Французский флот был занят доставкой и снабжением десанта, высаженного в количестве шести тысяч человек, по преимуществу алжирской пехоты, расположившейся лагерем в окрестностях Бейрута, по новой дороге в Дамаск, только что проложенной наполеоновскими саперами. Англичане зорко следили за воинами в красных штанах, а мы, имея в данном случае одну цель с Великобританией: не допускать ни в чем и ни чьего преобладания на Востоке, поддерживали во всем ее адмирала. Германского флота тогда еще не было, а журецкий, австрийский, греческий и итальянский дополняли картину, удовлетворяли тщеславию своих бессильных на море правительств и возвышали положение их дипломатических агентов, падких к салютам, адмиральским завтракам и пикникам с дамами. С англичанами мы жили в большой дружбе. Конечно, причиной таких отношений была не политика, о которой мы ничего не думали, а

нечто иное. Крымская кампания и долгая осада Севастополя оставили в английских моряках глубокое впечатление. Адмирал их и командиры [стр. 5 книжки журнала] некоторых кораблей, например «Реноун'а» и «Ахиллес'а», сражались под стенами нашего многострадального города и как честные и доблестные люди имели хороший случай оценить бывших врагов своих. Надо полагать, что это короткое знакомство с черноморцами на поле чести и было причиною, побудившею моряков первого флота в свете относиться с искренним уважением к нам, преемникам традиций и защитникам погона славного Андреевского флага. Нельзя отвергать и сходства характеров и вкусов между английскими и русскими моряками. Они одинаково радушны в кают-компаниях, не скаредны как большая часть других, веселы, любят и умеют покутить на берегу, очертя голову, и угостить на славу своих товарищей. Наш крутой и строгий флагман покровительствовал англо-русской дружбе и нередко оказывал нам, юным гардемаринам, материальную помощь в этом деле. Он призывал к себе старшего в нашей кают-компании и обращался к нему с такой речью: «Я уезжаю на берег и возвращусь завтра. Можете пригласить к себе ваших друзей-англичан и принять их в моей каюте. Мой погреб открыт сегодня для вас, воспользуйтесь тем, что найдете в нем».

В адмиральском буфете были чудный столовый сервиз, вывезенный из Нью-Йорка с фрегатом вместе, едва ли не на сто человек, и великолепное серебро, а в погребе — лучшие вина всех сортов, не исключая и шампанского. Мы знали, что адмирал не пересчитывал пустых бутылок, и пользовались случаем угостить и, что греха таить, угоститься. Мы делали честь запасам нашего грозного амфитриона, сводя с ума его степенного и богобоязненного буфетчика Петра, старого крепостного дворецкого, которому на следующий день вместе с гичешными приходилось водворять порядок в громадной столовой, чистить ковры, исправлять кое-какие аварии при помощи фрегатских столяров и подсчитывать рюмки и бокалы, разбитые в дружеских излияниях с мидшипменами, такими же горячими и увлекающимися молодыми людьми, какими были и мы сами; а самый-то большой старик из нас насчитывал себе лишь девятнадцатый год.

.... [6 стр. книжки журнала]

Одна замечательная черта отличала юных английских моряков того времени от других, с которыми мне пришлось близко сойтись в Бейруте и которые во многом казались образованнее и нас, и англичан, например австрийские. Черта эта заключалась в том, что никто лучше мидшипменов не знал истории своего флота, никто не любил и не умел так увлекательно рассказывать ее эпизоды — всегда кстати и всегда вовремя. Я, например, из этих рассказов до сих помню, что Трафальгарский погром был 21 октября 1805 года, что Нельсон приказал за 1/2 часа перед боем сделать знаменитый сигнал «England confides that every man will do his duty» и затем, по совету флаг-офицера Паско, заменил слово «confides» словом «expects». Мы, русские юнкера и гардемарины, как я теперь только знаю, могли бы тоже кое-что рассказать нашим друзьям; но наши историки и тогда, как теперь, все еще сортировали материалы и отыскивали следы древнего Азова!...

Кроме визитов к англичанам и приемов их у себя, мы имели еще одно развлечение: катание верхом на прекрасных арабских лошадях, отдававшихся в наше распоряжение за ничтожную плату... И вот,... наездники брали лошадей и мчались за город, во [7 стр. книжки] французский лагерь, слушать прекрасную музыку зуавов. В одиннадцать часов с последним катером все мы возвращались на фрегат, чтобы завтра продолжать ту же жизнь по старой заранее известной программе, начиная с подъема брам-стенег и отдачи парусов вместе с флагом и гюйсом.

Кровавые меры, принятые под давлением европейских комиссаров Фуад-пашой в Дамаске и Бейруте, уже в августе приостанови-

ли зверства друзов и успокоили левантинских христиан. Но в Париже не верили в успокоение края, и зуавы не трогались из своего лагеря. А так как ни одно из европейских правительств не желало предоставить Франции преобладания на Востоке, то эскадры продолжали стоять на неудобном рейде сентябрь и октябрь. Наконец, задули жестокие осенние штормы от севера и запада, сообщение с берегом сделалось крайне неудобным, наливки водой — невозможною, и дипломатам вдруг занадобилось личное свидание со своими министрами. Как только выбыли дипломаты из Бейрута, тотчас же не стало и политики, и адмиралы один за другим покинули рейд, уводя с собою корабли в спокойные и излюбленные гавани и предоставляя французам свободу действий в занятом ими месте.

Ушли и мы в залив Искандерун.[1] Там, в хорошо защищенной, но совершенно пустынной бухте Аияс,[2] стал на зимовье наш отряд, состоявший из трех фрегатов, двух черноморских корветов и шхуны.

Потянулись тяжелые зимние дни военно-судовой жизни, разнообразившиеся лишь ученьями, то одиночными, то эскадренными. Паруса ставились и убирались, марсели менялись, тяжелый рангоут спускался и поднимался, флаг-офицеры носились со склянками и записывали моменты... Конечно, все это возбуждало соперничество между судовыми экипажами, марсовыми, шханечными и баковыми и споры в кают-компаниях...

.... [8 стр. книжки журнала]

На рождественских праздниках на фрегате было поставлено несколько пьес Гоголя и Островского, и отряд провел три вечера довольно весело; после представлений были танцы, ужин и жженка. Но мистификация в женских ролях оказалась так велика, что многие влюбились в [9 стр. книжки] импровизированных актрис и ходили из угла в угол разочарованными и повеся нос. Чем бы все это кончилось, я не знаю теперь, так как мы в феврале благодаря все тем же нашим бейрутским друзьям-англичанам преждевременно оставили скучное зимовье. Дело произошло так. Из Лондона зорко следили не только за французами в Сирии, но и за нами, расположившимися свободно в важнейшем стратегическом пункте восточной части Средиземного моря. Аданский паша, принужденный сделать визит адмиралу в Аиясе, казалось, не был удивлен видом на своих владениях бравого русского десанта, любовался им и хвалил выправку матросов и стрельбу их в цель. Этот коварный турецкий вельможа, вероятно, и в Константинополь отправил рапорт, наполненный такими же льстившими отзывами о нашей эскадре и ее деятельности. От Константинополя и до Лондона один только шаг, и прошло не более двух недель, после того как мы отсалютовали паше и он выкурил свою трубку с адмиралом на Аиясском рейде, прибыли «Liffey» и «Doris», два английских фрегата Бейрутской эскадры. При первом же визите вновь пришедших нам сделалось известным, что в их лазаретах лежат больные натуральной оспой, не признаваемой англичанами заразительной и, следовательно, не препятствующей отношениям и посещениям. Оставаясь при своих убеждениях насчет оспы и чувствуя стеснение в некоторых действиях и занятиях, например в своде десанта, адмирал отдал приказание развести пары и сняться с якоря всему отряду. При выходе из залива суда были разосланы в различные порты: в Смирну, Пиреи, Александрию и Вилла-Франку. Нашему фрегату выпало на долю идти в последнюю [стр. 9 книжки журнала].

С подлинным верно.
Царовский
29. 7. 1950...

Комментарии

Адмирал Нельсон, будучи командующим флота в Средиземном море, вопреки указаниям адмиралтейства, около двух лет тщетно преследовал французский флот, совершив длительные переходы в Атлантическом океане, и доходил до островов Вест-Индии.

Американская компания, точнее Российско-Американская компания, торгово-промысловая компания, основанная в 1799 г. купцом Шелеховым в Северной Америке (Аляска) и существовавшая до 1867 г., когда была продана русским правительством США за 7 млн 200 тыс. долларов. Деятельность компании способствовала освоению обширной и неисследованной территории Северной Америки и укреплению русских позиций на Тихом океане. Компания организовала в период с 1803 по 1840 г. 13 кругосветных экспедиций, которые сыграли важную роль в истории географических открытий и во многом обогатили мировую науку в области картографии, океанографии, этнографии и других смежных областях знания.

Английский адмирал Джон Бинг (1704 г.–?) был расстрелян в 1757 г., по приговору военно-морского суда за неудачные действия в сражении у острова Менорка 20 мая 1756 г., хотя эти действия целиком объяснялись стремлением буквально следовать существовавшим в английском флоте ошибочным тактическим взглядам и официальным боевым инструкциям.

Араго (Arago) Виктор (1812–1896), французский политический деятель, адвокат, старший сын известного физика и астронома Доминика-Франсуа Араго. Республиканец-демократ по убеждениям, активный участник революции 1848 г. В 1849 г., будучи послан в Берлин, энергично вступился за арестованного вождя польского восстания в Познани Мирославского и добился его освобождения из тюрьмы. В 1867 г. защищал Березовского, покушавшегося на Александра II в Париже и добился от суда признания смягчающих обстоятельств. С 1880 по 1894 г. был посланником в Берне.

Багратион Петр Романович (1818–1876), князь, генерал-лейтенант, племянник героя Отечественной войны 1812 г. В 1855 г. возглавлял экспедицию по усмирению крестьянских волнений в Воронежской губернии. В 1862–68 гг. был тверским генерал-губернатором. С 1868 г. помощник по гражданской части виленского генерал-губернатора А. Л. Потапова, с 1870 г. лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор.

Баллюзек Лев Федорович (1822–1879), генерал-лейтенант. Участник Кавказской войны и обороны Севастополя. Сопровождал миссии Путятина и Игнатьева, дважды посетил Китай, а в 1861–63 гг. был там министром-резидентом. С 1865 по 1877 г. был военным губернатором Тургайской области.

Баранов Эдуард Трофимович (1811–1884), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник кавказской войны и венгерского похода 1849 г. В 1866–68 гг. был виленским, ковенским, гродненским и минским генерал-губернатором, главным начальником губерний Витебской и Могилевской и командующим войсками Виленского военного округа. С 1868 член Государственного совета.

Барятинский Александр Иванович (1815–1879), князь, фельдмаршал. Участник кавказских войн с 1835 г. С 1853 г. начальник главного штаба Кавказской армии. С 1856 г. командир Кавказского корпуса и наместник

на Кавказе. После пленения Шамиля произведен в генерал-фельдмаршалы. С 1862 г. был не у дел, лечился за границей и умер в Женеве.

Батюшков Помпей Николаевич (1810—1892), в 1850 г. назначен ковенским губернатором, затем был помощником виленского попечителя учебного округа. Проявил себя ярым русификатором и так как вследствие этого враждовал с генерал-губернатором Потаповым, был отставлен от должности. Издал ряд материалов для истории этнографии и археологии Северо-Западного края.

Берг Федор Федорович (1790—1874), граф, фельдмаршал. Участник Отечественной войны и похода на Париж. В 1822 г. руководил экспедицией в районе Аральского моря. В 1828—29 гг. отличился в войне с Турцией. Участник подавления польского восстания 1831 г. Во время венгерского похода представитель при австрийской ставке. С 1855 г. финляндский генерал-губернатор. С 1863 г. сперва помощник, а затем и. д. наместника и главнокомандующего в Польше; принимал активное участие в подавлении восстания 1863 г. В 1865 получил звание генерал-фельдмаршала.

Борромео, аристократический миланский род; в XVI—XVIII вв. славился своим богатством.

Бофор (Beaufort d'Hautpoul) Шарль-Мари-Наполеон (1804—?), французский генерал. В 1840—48 гг. участвовал в военных действиях в Алжире. С 1854 по 1858 г. возглавлял несколько экспедиций против Марокко. Во время войны с Италией в 1859 г. командовал корпусом. В 1860 г. назначен главнокомандующим французским экспедиционным корпусом в Сирии. В январе 1871 г. вместе с Жюлем Фавром был уполномочен вести переговоры о перемирии с Пруссией.

Бофор (Beaufort) Френсис (1774—1857), английский контр-адмирал, гидрограф. В 1829—55 гг. главный гидрограф английского флота. В 1846 г. вышел в отставку.

Буве Франц-Иосиф (1753—1832), известный французский адмирал. Начал службу под командованием адмирала Сюффрена. Отличился в войнах с Англией. За неудачу так называемой Ирландской экспедиции (1796) был лишен чина Директорией в 1797 г. Через пять лет Наполеон вернул ему чин и назначил командиром отряда судов. Имя Буве, по традиции, перешло к одному из линейных кораблей французского флота.

Будберг Андрей Федорович (1820—1881), барон, русский дипломат. С 1844 г. занимал должность секретаря посольства при франкфуртском союзном сейме, а затем в 1848—49 гг. был назначен там же поверенным в делах. С 1851 г. чрезвычайный посланник и полноценный министр при короле прусском и двух великих герцогах. В 1856—58 гг. был посланником в Вене, в 1858—61 гг. снова посланником в Берлине. С 1862 по 1878 г. был посланником в Париже.

Бульвер (Bulwer) Вильям-Генри-Литтон (1801—1872), барон, английский дипломат и писатель, брат известного писателя Эдуарда Бульвера-Литтона. Дипломатическую службу начал в 1827 г.; служил в миссиях и посольствах в Берлине, Вене, Брюсселе, Гааге и Константинополе. В 1848—49 гг. был посланником в Мадриде, затем — в Вашингтоне и Флоренции. В 1855 г. вышел в отставку, но затем в 1858—68 гг. снова был послом в Константинополе. Он издал томик стихов «An autumn in Greese» (о своем путешествии в 1826 г.), «France, literary, cocial, political018» (2 тома, 1833 г.), «Life of lord Byron» (1835) и др.

В 1867 г. во время пребывания Александра II в Париже, в него стрелял, но промахнулся польский революционер Антон Березовский (1847—1907). Березовский был участником польского восстания 1863 г. и после его подавления эмигрировал во Францию. За покушение на Александра II был предан французскому суду и приговорен к пожизненной каторге.

Валуев Петр Александрович (1814—1890), граф, русский государственный деятель.

Будучи на службе в департаменте государственных имуществ, сблизился с крайним реакционером графом М. Н. Муравьевым, вскоре стал «пером оппозиции» (реакционной) и получил пост статс-секретаря. В 1861–68 гг. министр внутренних дел. Проводил политику лавирования между либералами и реакционерами. В 1872–77 гг. министр государственных имуществ. В это время началось и осуществлялось в широких размерах расхищение казенных земель в Уфимской губернии. В 1877–81 гг. был председателем совета министров. Занимался литературной деятельностью. Произведения Валуева лишены художественной ценности.

Васильчиков Виктор Илларионович (1820–1878), князь, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. Участник кавказской войны и венгерского похода 1849 г. Во время обороны Севастополя 1854–55 гг. был начальником штаба севастопольского гарнизона. В 1857 г. был назначен директором канцелярии военного министерства, а через год товарищем военного министра. В 1861–67 гг. находился в заграничном отпуску, а затем вышел в отставку.

Вашингтон (Washington) Джордж (1732–1799), северо-американский государственный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки (1789–97). Во время войны за независимость с Англией был назначен главнокомандующим северо-американской армии. Не проявив крупных дарований полководца, Вашингтон много сделал для организации и снабжения армии и объединения бывших английских колоний в Северной Америке для борьбы с Англией. Добившись поддержки французов, достиг решительной победы над англичанами, обеспечившей независимость США. К концу своей политической деятельности значительно утратил свою популярность враждебным отношением к революционной Франции и экономическими уступками Англии. Именем Вашингтона названы один из штатов, столица и несколько других городов США.

Виктор-Эммануил II (1820–1878), король Сардинии (1849–61), первый король объединенной Италии (1861–78). Фактическим руководителем политики Сардинской монархии был его министра Кавур, в целях объединения Италии под властью Сардинского короля сохранивший от революции 1848 г. конституционный строй и проведший ряд буржуазных реформ. В австро-итальянской войне 1859 г. добился поддержки Франции, уступкой Савойи и Ниццы. Воспользовавшись франко-прусской войной 1870–71 гг., захватил папский Рим и превратил его в столицу объединенной Италии.

Воеводский Аркадий Васильевич (1813–1879), адмирал. Во флоте с 1824 г.; после производства в 1831 г. в мичманы до 1842 г. служил в Балтийском флоте. С 1842 по 1855 г. плавал на Каспийском море и был командиром Астраханской морской станции. В 1855–58 гг. был вице-директором Инспекторского департамента Морского министерства; в 1858 г. произведен в контр-адмиралы с назначением директором кораблестроительного департамента. Произведен в вице-адмиралы в 1866 г. В 1867 г. был назначен главным командиром Петербургского порта, а в 1873 г. членом Адмиралтейств-совета. В адмиралы произведен в год смерти.

Гагарин Павел Павлович (1789–1872), князь, государственный деятель. Начав службу в Московском архиве иностранных дел, впоследствии занимал ряд высоких должностей; с 1831 г. сенатор, с 1844 г. член Государственного совета. В 1848 г. был членом следственной комиссии по делу «петрашевцев». Принимал активное участие в работах секретного комитета по подготовке крестьянской реформы 1861 г. Внесенный им проект так наз. «дарственного» надела, получившего название «нищенского», вел к обезземеливанию крестьян. В 1864–65 гг. состоял председателем Государственного совета, а затем замещал на этом посту вел. кн. Константина во время его отсутствия. В 1866 г. был председателем суда по делу Каракозова.

Гамильтон (Hamilton) Александр (1757—1804), выдающийся политический деятель США. В молодости принял участие в северо-американской войне за независимость, был адъютантом Вашингтона, командовал полком. Совместно с Мадисоном и Джеем составил проект американской конституции. Позднее был министром финансов и командующим армией (1798). Был сторонником сильной центральной власти и широких прав президента. Убит на дуэли.

Гауровиц Иван Самойлович (1803—1882), лейб-медик русского двора, действительный тайный советник, датчанин. В 1825 г. вступил на гражданскую службу, а затем стал врачом Александровского кадетского корпуса. В 1838 г. переведен в морское ведомство с званием гоф-хирурга. В 1854 г. назначен генерал-штаб-доктором Балтийского флота. Через год ему поручено «улучшение и упорядочение санитарной части флотов». В 1856 г. командирован за границу для изучения военно-врачебного дела. В 1859 г. назначен главным инспектором медицинской части морского ведомства. В 1865 г. был в командировке в США. Ему принадлежат несколько печатных трудов.

Гауссман Жорж-Евгений (1809—1891), барон, в течение 16 лет был префектом Парижа и провел большие работы по перестройке города, не столько с целью улучшения или благоустройства, сколько для выселения рабочих на окраины и для затруднения устройства уличных баррикад.

Гастингс Уоррен (Hastings Warren) (1732—1818), генерал-губернатор британской Индии, отличавшийся исключительной жестокостью и осуществлявший колонизацию Индии беспощадными расправами, насилиями и грабежом. За свои действия был предан суду, который тянулся несколько лет и закончился оправданием Гастингса.

Гейман Василий Александрович (1823—1878), генерал-лейтенант. Боевую службу начал в 1845 г. на Кавказе, где отличился во многих операциях. Во время войны с Турцией 1877—78 гг. участвовал в боях по взятию Ардагана, Карса и Эрзерума. Умер от тифа.

Глебов Павел Николаевич (1823—1871), тайный советник, генерал-аудитор флота. Вступив на службу в морское ведомство в 1856 г., Глебов стал одним из видных деятелей судебной реформы во флоте, проводившей в период либеральных увлечений генерал-адмирала вел. кн. Константина Николаевича. После двухлетнего пребывания во Франции для изучения судоустройства в 1860 г. составил упоминаемый Шестаковым проект устава о морском судоустройстве и судопроизводстве. Проект Глебова, вызвавший многочисленные замечания, был с изменениями утвержден в 1867 г.

Голицын Александр Федорович (1796—1864), князь, с 1857 г. был «статс-секретарем у принятия прошений на высочайшее имя»; с 1858 г. председатель комиссии прошений. С 1852 г. член Государственного совета.

Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), князь, известный русский дипломат и государственный деятель. Лицейский друг Пушкина. Начал дипломатическую службу при Нессельроде в 1820 г. Был секретарем посольств в Лондоне, Риме, Берлине, Флоренции, Вене. С 1841 г. чрезвычайный посланник в Штутгарте в течение 12 лет. С 1854 г. посланник в Вене; был представителем России на Венской конференции во время Крымской войны и на Парижском конгрессе. С 1856 г. министр иностранных дел, с 1867 г. государственный канцлер. В 1870 г. добился аннулирования 2-й статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря.

Граббе Николай Павлович (1832—1896) генерал-лейтенант, сын П. Х. Граббе. По окончании Пажеского корпуса в 1850 г. служил на Кавказе, участвовал в ряде экспедиций, трижды совершил переход через Кавказский хребет, последний раз в 1864 г., командуя Мало-Лабинским отрядом, о чем упоминает Шестаков. С 1876 г. отчислен в запас.

Гранвиль (Granville) Джордж (1815–1891), английский политический деятель. В 1840–41 гг. был помощником министра иностранных дел. С 1851 г. министр иностранных дел; в 1852–66 гг. с небольшими перерывами состоял президентом Тайного совета. В 1856 г. был послан на коронацию Александра II. Председательствовал на Лондонской конференции по пересмотру Парижского мира 1856 г. В 1868–70 гг. был министром колоний. С 1870 г. снова стал министром иностранных дел и занимал этот пост до 1874 г. и затем с 1880 по 1885 г. С 1855 г. до конца жизни был лидером либералов в палате лордов.

Грейг Самуил Алексеевич (1827–1887) русский государственный деятель, сын адмирала А. С. Грейга. Начал службу в армии, был адъютантом Меншикова, затем состоял при вел. кн. Константине. С 1856 г. занимал должности вице-директора Комиссариатского департамента Морского министерства, затем вице-директора и директора канцелярии морского министра. В 1866 г. назначен товарищем министра финансов. В 1869 г. командирован за границу. В 1874 г. назначен государственным контролером, а в1877–80 гг. был министром финансов.

Греческий остров Крит (Кандия), отданный Лондонской конференцией 1830 г. под власть египетского паши Мехмета-Али, с 50-х гг. XIX был охвачен непрекращавшимися волнениями. В 1856 г. возникло восстание против турецкого господства, которое было жестоко подавлено. В 1866 г. на Крите вновь вспыхнуло восстание против турецкого владычества под лозунгом присоединения к Греции. Греция готова была оказать восставшим поддержку, но под давлением Англии, имевшей свои виды на Крит, европейские державы заставили Грецию отказаться от помощи повстанцам. Восстание было подавлено, и хотя в 1868 г. Турция номинально предоставила Криту некоторую автономию, фактически угнетение греков не прекращалось и волнения и восстания возникали в течение нескольких десятилетий.

Грот Константин Карлович (1818–1897), статс-секретарь. Был самарским губернатором, членом комиссий, подготовлявших реформу по крестьянскому вопросу. С 1870 г. член Государственного совета.

Грот Яков Карлович (1812–1893), академик, известный филолог и литературовед, старший брат предыдущего. Был преподавателем русского, немецкого яз., истории и географии у Александра III, когда тот был его наследником престола.

Губениус Николай Максимович (?–1871), капитан 1 ранга. Во флоте с 1826 г.; с 1834 г. служил в Черноморском флоте, плавал на различных кораблях и участвовал в боевых действиях у кавказского побережья. В 1854–55 гг. участвовал в обороне Севастополя, состоял при адмирале П. С. Нахимове, был ранен. В 1856 г. назначен помощником капитана, а в 1858 г. капитаном над Петербургском портом.

Джаксон (Jackson) Эндрью (1767–1845), седьмой президент США. Командовал южной армией США в англо-американской войне 1812–14 гг. Победа под Нью-Орлеаном сделала его национальным героем. В 1821 г. назначен губернатором Флориды. В 1829 г. избран президентом США, в 1832 г. был избран президентом во второй раз.

Джей (Jay) Джон (1745–1829), государственный деятель США. В 1782 г. был одним из 5 уполномоченных США по заключению мирного договора с Англией, закончившего войну за независимость. Один из составителей конституции США. В 1794 г. заключил с Англией так называемый «договор Джея», урегулировавший ряд спорных вопросов. Был главным судьей, президентом Конгресса и губернатором штата Нью-Йорк.

Дюбордье (Du Bourdien) Луи-Тома-Рене-Наполеон (1804–1857), французский адмирал. Участник сражения при Наварине. В 1840 г. произведен в капитаны 1 ранга, с 1848 контр-адмирал, с 1851 г. вице-адмирал. Командовал флотом в Алжире, затем был на-

чальником морского округа и главным командиром Тулона.

Дюгамель Михаил Иосифович (1812–1896), адмирал. Во флоте с 1829 г.; до 1836 г. плавал на различных кораблях по Балтийскому морю. В 1837–39 гг. совершил кругосветное плавание на корабле «Св. Николай» из Кронштадта к берегам С. Америки и обратно. В 1840–56 гг., командуя разными кораблями, плавал на Каспийском и Балтийском морях. В 1856–60 гг., командуя отрядом кораблей, плавал в Средиземном и Балтийском морях, а с 1861 г. – в Черном море. В 1868 г. снова переведен в Балтийский флот младшим, а затем старшим флагманом. В 1872 г. назначен членом адмиралтейства.

Дюпюи-де-Лом (Dupuis de L'Ome) (1816–1885), известный французский кораблестроитель. По его труду «Mémoires sur la construction des bâtiments en fer» в 1844 г. был построен во Франции первый железный корабль "Napoléon". В период 1848–52 гг. по его проекту были переделаны в паровые все лучшие парусные корабли и фрегаты французского флота. Будучи главным инспектором кораблестроения, он построил серию броненосных кораблей, первым из которых был «La Gloire», спущенный на воду в 1859 г. Во время осады Парижа в 1870–71 гг. Дюпюи-де-Лом начал строить дирижабль, который испытывался в 1872 г. Ему принадлежит ряд проектов коммерческих пароходов и паровых машин и проект перевозки поездов на пароходе через Па-Де-Кале.

Евдокимов Николай Иванович (1804–1870), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Сын не писаря, как утверждал Шестаков, а рядового солдата из крестьян, выслужившегося в прапорщики. Службу начал рядовым, офицерский чин получил за боевое отличие; выдвинулся во время войны с Персией в 1826 г. В дальнейшем вся его служба с 1830 по 1864 г. прошла в непрерывном участии в кавказской войне. В 1865 г. уволен от всех должностей. Последние годы жил и умер в Пятигорске.

Залесский Василий Онисимович (1782–1833) генерал-майор. В 1794 г. поступил учеником в Херсонское артиллерийское училище, по окончании которого плавал на кораблях Черноморского флота. В 1801–07 гг. участвовал в экспедиции адмирала Д. Н. Сенявина и в крейсерствах на Средиземном и Адриатическом морях. До 1817 г. служил в Черноморском флоте. В 1818–28 гг. был преподавателем «высших наук» в черноморском артиллерийском училище в Николаеве. В 1831 г. назначен начальником артиллерии Черноморского флота. В 1833 г. участвовал в экспедиции на Босфор. Будучи деятельным сотрудником адмирала А. С. Грейга по преобразованию Черноморского флота, Залесский довел организацию морской артиллерии до возможного по тому времени совершенства, что наглядно показала война 1828–29 гг.

Ибервиль Лемуэн (Lemoyne d'Yberville) (1642–1706), капитан флота французской службы, канадец, участник англо-французских войн за обладание Канадой. Один из основателей и губернаторов Луизианы.

Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф, русский дипломат и администратор. Служил в гвардии, участвовал в Севастопольской кампании, был военным атташе при посольствах. В 1859 г. был чрезвычайным посланником в Пекине. С 1864 по 1877 г., с небольшим перерывом, посол в Константинополе. Тщеславный, хвастливый и лживый (у турок он имел прозвище «отца лжи»), Игнатьев был одним из главных инициаторов войны 1877–1878 гг. С 1881 г. стал министром внутренних дел. Крайний реакционер и антисемит, Игнатьев был организатором еврейских погромов и сторонником свирепых мер борьбы с революционным движением. Им изданы «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» (1881) и «Временные правила об евреях» (1882).

Кавур (Cavor) Камилло Бензо (1810–1861), граф, итальянский политический деятель. С 40-х годов XIX в. был одним из вож-

дей монархической умеренно-либеральной партии в период борьбы за воссоединение Италии под властью Савойского дома, возглавлявшего Сардинско-Пьемонтское королевство. С 1850 г. с кратковременными перерывами занимал министерские посты. В целях осуществления своей программы и борьбы с революционным движением, сблизился с Наполеоном III и втянул Сардинию в Крымскую войну.

Канробер (Canrobert) Франсуа (1809–1895), французский маршал. Военную карьеру начал в Алжире, участвуя в различных экспедициях против арабов. В 1850 г. был адъютантом Луи-Наполеона, принимал деятельное участие в декабрьском перевороте 1851 г. Во время Крымской войны командовал дивизией, а после смерти Сент-Арно некоторое время был главнокомандующим французской армией. Его действия отличались нерешительностью и были лишены успеха. Участвовал в австро-итальянской войне 1859 г. Во время франко-прусской войны 1870–71 гг. командовал корпусом, взят в плен при капитуляции Меца. В 1871–76 гг. был вождем бонапартистской партии в Национальном собрании.

Канарис или Канари Константин (1790–1877), греческий государственный деятель, один из героев борьбы за независимость Греции. В 1822 и 1824 гг. уничтожил три турецких корабля путем поджога со шлюпки. В 1848–49 гг. был морским министром и министром-президентом; в 1854–55 гг. и в 1877 г. снова возглавлял министерство. Беранже посвятил ему стихотворение «Буки-аз».

Каракозов Дмитрий Владимирович (1842–1866), революционер. В 1865 г. был исключен из Московского университета за невзнос платы за обучение. Сблизившись с революционным кружком Ишутина и недовольный умеренностью его программы, решил убить царя, надеясь этим вызвать народную революцию. 4 апреля 1866 г. стрелял в Александра II, выходившего из Летнего сада, но промахнулся, т. к. находившийся в окружающей толпе крестьянин Осип Комиссаров толкнул его. Расследованием руководил М. Н. Муравьев. Вместе с Каракозовым судили еще 10 человек (Ишутин и др. члены кружка). 3 сентября Каракозов был казнен. После покушения Каракозова начинается полоса усиленной реакции.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) русский публицист. В студенческие годы был близок с Белинским, Герценом и Бакуниным, сотрудничал в «Отечественных записках» с 1851 г. был редактором «Московских ведомостей», с 1856 г. редактор журнала «Русский вестник». Свои либеральные взгляды резко изменил в 1863 г. в связи с польским восстанием, превратившись в ярого защитника самодержавия, «классической» системы образования, решительного противника земства, суда присяжных и др. учреждений, созданных реформами 60-х годов; таким образом, в 70–80 гг. XIX в. Катков стал одним из наиболее ярких выразителей дворянско-монархической реакции.

Ковалевский Евграф Петрович (1792–1866), в 1858–61 гг. был министром народного просвещения. Непосредственной причиной отказа от министерского поста было несогласие с усилением цензурного режима. С 1858 г. член Государственного совета, где продолжал отстаивать свои взгляды о необходимости всеобщего начального обучения и боролся против системы «классического» образования. Им впервые был разрешен к печати «Кобзарь» Тараса Шевченко.

Кодрингтон (Codrington) Вильям-Джон (1800–1884), английский генерал, сын адмирала Эдуарда Кодрингтона (1770–1851), командовавшего соединенной англо-русско-французской эскадрой в сражении при Наварине (1827). Во время Крымской войны был последним (после Симпсона) командующим английскими войсками в Крыму.

Конфликт между Пруссией и Швейцарией возник в 1856 г., когда роялисты (сторонники прусского короля) под-

няли в Невшателе восстание, требуя восстановления порванных в 1848 г. отношений с Пруссией. (В 1848 г. этот кантон объявил свою независимость от Пруссии и, упразднив власть королевского наместника, ввел демократическую конституцию). Восстание было скоро подавлено. Пруссия, угрожая войной, потребовала от швейцарского правительства прекращения процесса против арестованных и их освобождения. В мае 1867 г. состоялось лондонское соглашение, в силу которого швейцарское правительство было вынуждено прекратить процесс роялистов, объявить им амнистию и признать за прусским королем право на титул князя Невшательского.

К о р ф Модест Андреевич (1800—1876), барон, позднее граф, государственный деятель. Выдвинулся при составлении под руководством М. М. Сперанского свода законов. С 1843 г. член Государственного совета; с 1847 г. начал чтение курса правоведения В. К. Константину, а затем и другим вел. князьям. С 1848 г. член, а с 1855 г. председатель негласного комитета по надзору за книгопечатанием. С 1849 по 1861 гг. директор Публичной библиотеки (в Петербурге), работа которой при нем была значительно улучшена. В 1864 г. назначен председателем департамента законов Государственного совета. По своим политическим взглядам реакционер и крепостник. Ему принадлежит ряд печатных трудов («Жизнь графа Сперанского» и др.).

К р ы ж а н о в с к и й Николай Андреевич (1818—1888), генерал от артиллерии, генерал-адъютант. Участвовал в военных действиях на Кавказе и в Крымской войне, по окончании которой был назначен начальником Михайловского артиллерийского училища и Академии. В 1861—63 гг. занимал должность варшавского военного губернатора. В 1863 г. состоял помощником командира Кронштадтского порта. В следующем году назначен помощником командующего войсками Виленского округа, а в 1865 г. — оренбургским генерал-губернатором и командующим войсками округа. Будучи уволен в 1881 г. в связи с раскрытием множества злоупотреблений, занялся литературными трудами. Кроме специальных статей по артиллерии и фортификации опубликовал роман «Дочь Алаяр-хана» («Русский вестник», 1884), несколько статей с воспоминаниями о Севастопольской обороне и др.

К р ы л о в Александр Дмитриевич (1821—1887), действительный статский советник. В 1848—53 гг. чиновник, а затем управляющий военно-походной по флоту е. и. в. канцелярией, занимался составлением Свода морских постановлений; в 1855—56 гг. директор канцелярии кронштадтского венного генерал-губернатора. С 1859 г. управляющий провиантским департаментом военного министерства; с 1862 г. член комиссии по разбору жалоб, подаваемых военному министру.

К у з н е ц о в Дмитрий Иванович (1805—1889), адмирал. Во флоте с 1817 г., служил почти все годы в Балтийском флоте. В 1854—56 гг. в чине капитана 1 ранга командовал кораблями «Не тронь меня» и «Орел»; в 1854 г. участвовал в обороне Кронштадта. В 1857 г. во главе 1-го Амурского отряда из 3 винтовых корветов и 3 клиперов совершил кругосветное плавание в Тихий океан. В 1860 г. был назначен младшим флагманом Каспийской флотилии, в 1861 г. переведен в Балтийский флот на ту же должность. С 1866 по 1871 г. был вторым комендантом в Кронштадте, а с 1871 г. членом Главного военно-морского суда.

Л а ф а й е т де- (Lafayette) Мари-Жозеф (1757—1834), французский политический деятель. В молодости, командуя отрядом французских добровольцев, участвовал в североамериканской войне за независимость, затем уехал во Францию, где принял активное участие в революциях 1789 и 1830 гг., во время которых командовал Национальной гвардией.

Л е Б а р б ь е де Т е н а н (Le Barbier de Tinant) Мари-Шарль-Альберт (1803—1876), французский адмирал. В начале Крымской войны командовал морской станцией в Леван-

те. В 1860-х гг. командовал французской эскадрой в Средиземном море.

Ле Маршан Гаспар (Le Marshant Gaspard) (1803–1874), английский генерал. В 1847–52 гг. был губернатором Ньюфаундленда, в 1852–57 гг. губернатором Новой Шотландии. С 1859 по 1864 г. губернатор Мальты. В 1865–68 гг. главнокомандующий английскими войсками в Мадрасе.

Лесовской Степан Степанович (1817–1884), адмирал, генерал-адъютант. По окончании Морского корпуса в 1834–38 гг. плавал на Балтийском море, а 1839 г. переведен в Черноморский флот, где служил на различных кораблях до 1853 г. В 1853–55 гг. командуя фрегатом «Диана», совершил кругосветное плавание из Кронштадта к берегам Японии. После гибели «Дианы» во время землетрясения в Симоде выстроил шхуну «Хеда», на которой перешел в Амур, а затем командовал сводным отрядом из экипажей фрегатов «Паллада», «Диана» и «Аврора». После кратковременной службы в Русском обществе пароходства и торговли в 1858–62 гг.. был капитаном над Кронштадтским портом, а затем командирован в Америку для изучения броненосного судостроения. В 1863–1865 гг., командуя эскадрой, совершил переход в Америку в связи с ожидавшейся войной с Англией. В 1864–65 гг. командовал отрядом судов в Средиземном море, а в 1866 г. назначен главным командиром Кронштадтского порта и пробыл в этой должности 6 лет. С 1869 г. был помощником управляющего (адмирала Краббе), а в 1886–80 гг. управляющим Морского министерства, а затем короткое время командовал морскими силами на Тихом океане. Лесовской — видный представитель младшего поколения «лазаревской школы», но даже в те времена имел репутацию жестокого капитана, широко злоупотреблявшего телесными наказаниями и кулачной расправой.

Лидерс Александр Николаевич (1790–1874), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник Аустерлица и Кульма. Отличился в турецкую войну 1828–29 гг. В 1843 г. командовал войсками в северном и нагорном Дагестане против Шамиля. Участник венгерского похода. В конце 1855 г. главнокомандующий Крымской армией. В 1861 г. — и. д. наместника в Польше, где тяжело ранен при покушении, вызванном суровыми мерами, к которым он прибегал для установления «порядка». С 1862 г. — член Государственного совета.

Линь де- (de Ligne) Шарль-Жозеф (1735–1814), принц, бельгийский политический деятель и писатель. Служил во французских и австрийских войсках. В 1782 г. был послан к Екатерине II с поручением и сопровождал ее во время путешествия в Крым. В 1788 г. был прикомандирован к армии Г. А. Потемкина и участвовал в осаде Очакова. Собрание его сочинений (главным образом о военном искусстве) издано в 34 томах (Вена–Дрезден, 1795–1811).

Лихачев Иван Федорович (1826–1907), адмирал. По окончании Морского корпуса в 1844 г. произведен в мичманы и назначен в Черноморский флот. В 1850–51 гг., командуя корветом «Оливуца», совершил кругосветное плавание из Кронштадта на Камчатку. Во время обороны Севастополя в 1854 г. был флаг-офицером вице-адмирала Корнилова. В 1857–67 гг. командовал различными соединениями кораблей, а затем в течение 17 лет до самой отставки был военно-морским агентом в Англии и Франции. Лихачеву принадлежит идея Морского генерального штаба, который был создан в 1906 г. В ряде статей, опубликованных в «Морском сборнике» и др. журналах, он остро критикует недостатки современного ему флота и излагает свои взгляды по вопросам образования и воспитания личного состава и другим актуальным проблемам. Он написал также несколько статей на исторические темы: «Несколько слов о В. А. Корнилове», «В Севастополе — 50 лет назад», «Роль Черноморского флота в Крымскую войну и затопление

наших военных судов в Севастопольской бухте в 1854 г.» и др.

Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824—1896), князь, русский дипломат. Начал дипломатическую карьеру секретарем Берлинского посольства в 1850 г. Был орловским губернатором и затем товарищем министра внутренних дел. В 1859—63 гг. был посланником в Константинополе, в 1879—82 гг. послом в Лондоне, в 1882—95 гг. послом в Вене. В 1895 г. был назначен министром иностранных дел.

Мадисон (Madison) Джемс (1751—1836), четвертый президент Соединенных Штатов Америки (был избран на два срока в 1809—1817 гг.). Его запрещение сношений с Англией и Францией, препятствовавших свободной торговле нейтральных стран, вызвало войну с Англией (1812—1815), во время которой г. Вашингтон был выжжен англичанами. Вместе с Гамильтоном и Джеем составил конституцию США; издал ряд книг.

Максимилиан (1832—1867), эрцгерцог Австрийский брат австрийского императора Франца-Иосифа, сделанный Наполеоном III императором Мексики. В 1862 г. Наполеон III затеял завоевание Мексиканской республики и превращение Мексики в вассальную, зависимую от Франции империю. Под предлогом защиты интересов французских кредиторов Наполеон III вмешался в происходившую в Мексике гражданскую войну, отправив туда войска под командованием генерала Базена, который фактически контролировал действия провозглашенного в 1863 г. императором Мексики Максимилиана. Англия и Испания, принявшие вначале участие в авантюре Наполеона III, отозвали свои эскадры. Под давлением европейской дипломатии и в виду малоуспешной войны в Мексике, Наполеон III должен был отозвать свои войска. Максимилиан попал в руки восставших мексиканских республиканцев и в 1867 г. был расстрелян.

Марси (Marsy) Вильям-Леонард (1786—1857), государственный деятель США, участник войны 1812—15 гг. с Англией. В 1831 г. губернатор штата Нью-Йорк. С 1853 по 1857 г. был государственным секретарем (министром иностранных дел) США.

Мартин (Martin) Вильям Феншау (1801—1895), английский адмирал, сын адмирала флота Thomas Byam Martin'a. В 1853—54 гг. начальник портсмутских доков. В 1860—63 гг. главнокомандующий Средиземноморской эскадрой. В 1866—69 гг. командир Плимута.

Мельников Павел Петрович (1804—1880), министр путей сообщения в 1862—69 гг.; с 1869 г. член Государственного совета.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), граф, генерал-фельдмаршал. В 1836 г. окончил Военную академию. В 1845—56 гг. профессор военной географии в Военной академии, написал ряд научных трудов по военной истории и военной статистике. В 1861—81 гг. был военным министром. Проводил реорганизацию армии на новых началах, вызванных развитием капитализма в России (улучшение военной подготовки армии, улучшение вооружения, введение всеобщей воинской повинности). Главнейшие труды: «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 г.», т. I—V, СПб, 1852—1853; «Первые опыты военной статистики», кн. 1—2, СПб, 1847—1848.

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), государственный деятель, брат Д. А. Милютина. С 1859 г. товарищ министра внутренних дел; принимал активное участие в разработке крестьянской реформы 1861 г., был сторонником освобождения крестьян с землей за выкуп. В 1863 г. правительство Александра II, стремившееся привлечь на свою сторону польских крестьян против бунтовавшей польской шляхты, поручило Милютину разработку крестьянской реформы в Польше. Проведенная в 1864 г. по его проекту реформа создавала для польских крестьян лучшие условия, чем реформа 1861 г. в других областях России. Н. А. Милютин является авто-

ром ряда статистических работ по экономике России.

Морни де- (de-Morny) Шарль-Огюст-Луи-Жозеф (1811—1865), герцог, французский государственный деятель, побочный сын жены Людовика Бонапарта, усыновлен графом Морни. При Людовике Наполеоне министр внутренних дел. Один из руководителей переворота 2 декабря 1851 г. Был послом в России в 1856—57 гг. В 1857—65 гг. был президентом законодательного корпуса. Пользуясь служебным положением, вел крупные финансовые спекуляции. В 1891 г. изданы выдержки из его мемуаров, относящиеся к периоду пребывания в России «Une ambassade en Russia, 1856».

«Морской сборник» — один из старейших ежемесячных журналов. Основан в 1848 г. при Морском ученом комитете. До 1858 г. ввиду исключения журнала из ведения общей цензуры имел известное общественное значение; тираж доходил до 6 000 экз. На страницах журнала обсуждались вопросы, связанные с реформами 60-х годов; печатались статьи Пирогова, Гончарова, Писемского, Островского, Данилевского и др. В последующий период стал чисто ведомственным изданием, рассчитанным на повышение специального образования морских офицеров.

Муравьев-Карсский Николай Николаевич (1794—1886), генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник многих войн (Отечественной, с Персией, Турцией); отличился при подавлении польского восстания 1831 г.; был начальником экспедиционного корпуса, отправленного в 1833 г. на помощь Турции против Мехмета-Али. С 1837 по 1848 г. был в отставке. Вернувшись на службу, участвовал в венгерском походе 1849 г. В 1854 г. назначен кавказским наместником и командующим войсками Кавказского корпуса. Во время Крымской войны овладел крепостью Карс, за что получил орден Георгия 2-й степени и титул Карсского. В 1856 г. вышел в отставку и назначен членом Государственного совета. Ему принадлежит ряд печатных трудов. «Курс фортификации» (1816), «Путешествие в Туркмению и Хиву» (1822), «Русские на Босфоре в 1833 г.» (1874), «Война за Кавказом в 1855 г.» и др., а также обширный дневник, частично опубликованный в «Русском архиве» (в 1868—94 гг.).

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) (Виленский), граф, генерал от инфантерии. В молодости принадлежал к тайному обществу декабристов, с которым порвал после волнений в Семеновском полку. Участвовал в подавлении польского восстания 1831 г., занимал должность витебского вице-губернатора, могилевского и гродненского губернатора. В 1856 г. назначен министром государственных имуществ. Возглавлял партию крепостников, противившихся освобождению крестьян. Во время польского восстания 1863 г. был назначен генерал-губернатором Северо-западного края. Подавил восстание, с исключительной жестокостью расправляясь с повстанцами, за что получил в народе кличку «Муравьева-вешателя» и титул графа от Александра II. Позже был председателем верховной комиссии по делу Каракозова.

Михаил Николаевич (1832—1909), великий князь, генерал-фельдмаршал, четвертый сын Николая I. С 1852 г. генерал-фельдцейхмейстер, но в управлении всей артиллерией фактически вступил в 1856 г. Позже был начальником главного управления военно-учебных заведений, кавказским наместником и командующим Кавказской армией.

Ниель (Niel) Адольф (1802—1869), французский маршал. В 1854 г. участвовал во взятии Бомарзунда. В январе 1855 г. Наполеон III назначил его к себе адъютантом и послал в Крым для ознакомления с положением дел под Севастополем; затем он в качестве начальника инженеров руководил осадой Севастополя; с 1866 г. военный министр.

Николай Николаевич (старший) (1831—1891), великий князь, генерал-фельдмаршал, генерал-инспектор по инженерной части и кавалерии, третий сын Николая I. В

1864–80 гг. занимал должность командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа.

Н о в и к о в Евгений Петрович (1826–1903), русский дипломат. В 1865–70 гг. был посланником в Афинах (Греция). С 1870 по 1874 г. был посланником, а с 1874 по 1879 гг. послом в Вене. В 1879–1882 гг. посол в Константинополе.

Н о р д м а н Федор Давыдович (1805–1881), адмирал русского флота. Окончив корпус в 1823 г., участвовал в Наваринской кампании, затем плавал на разных кораблях в Балтийском и Северном морях. В 1854–55 гг. участвовал в обороне Свеаборга и Кронштадта. В 1859 г., командуя эскадрой, совершил поход из Кронштадта в Средиземное море и обратно; в 1803 г. назначен членом морского аудиториата, в 1867 членом главного военно-морского суда.

О б о л е н с к и й Дмитрий Александрович (1822–1881), князь, службу начал в министерстве юстиции, затем с 1853 г. в течение 10 лет служил в морском министерстве. В 1862 и 1863 гг. состоял председателем комиссии о цензуре, которая составила проект «Устава о книгопечатании», на основании которого в 1865 г. были изданы так называемые «Временные правила о печати», действовавшие до 1905 г. В 1863 г. был назначен директором департамента таможенных сборов, позже был сенатором. По своим взглядам был близок к славянофилам Самарину, Аксакову и др.

О р л о в - Д а в ы д о в Анатолий Владимирович (1837–1905), служил при дворе; занимал должности церемониймейстера, позднее — шталмейстера (в 90-х гг. XIX в.).

О р с и н и (Orsini) Феличе (1809–1858), итальянский мелкобуржуазный революционер-националист. Неоднократно арестовывался и подвергался репрессиям; в 1855 г. был приговорен к смертной казни. Эмигрировав в Лондон, он организовал заговор для покушения на Наполеона III, которого считал главной помехой дела воссоединения Италии. 14 января 1858 г. в Париже заговорщики бросили бомбы в экипаж Наполеона, но император остался невредим. Орсини с двумя товарищами был приговорен к смертной казни и вместе с Пиетри был повешен 13 марта 1858 г.

«П а р у с», еженедельная газета, основанная в Москве в 1859 г. И. С. Аксаковым. Закрыта по приказанию Александра II на втором номере за статью известного историка и публициста М. П. Погодина (1800–1875) «Прошедший год в русской истории», которой указывалось на необходимость возрождения Черноморского флота в противовес влиянию Англии и Франции «на православном Востоке». Мотивировка распоряжения о запрещении газеты: «За непозволительное вмешательство частного лица в виды и соображения правительства».

П а л е н, фон-дер, Константин Иванович (1833–1912), граф, министр юстиции. Начал службу в полиции, затем был псковским губернатором. С 1867 г. по 1878 был министром юстиции. Ярый реакционер и антисемит. При нем проведен ряд мероприятий, направленных против революционного движения, в частности, дознания по так называемым «государственным преступлениям» были переданы в ведение жандармов.

П е л и с ь е (Pelissier) Жан-Жак (1794–1864), герцог, французский маршал. Боевую службу начал в 1823 г. во время франко-испанской войны, в 1828 г. участвовал в экспедиции в Морею, в 1830 г. в завоевании Алжира. С 1839 по 1854 г. участвовал во многих экспедициях в Алжире. В 1854 г. во время карательной экспедиции в Омале, окружив засевших в пещере марокканцев, зажег перед выходами костры и задушил дымом более 500 человек, а оставшихся обезоружил и выселил. Жестокость Пелисье вызвала широкое возмущение, но он остался на своем посту. Во время Крымской войны сменил Канробера на посту главнокомандующего французской армией. Большая самостоятельность и игнорирование приказаний Наполеона III едва не привели к его

смещению, которое не состоялось вследствие успешного окончания войны. В 1858 г. Пелисье был назначен посланником в Лондон, в 1860 — генерал-губернатором Алжира, где и умер.

П е р е л е ш и н Павел Александрович (1821–1901), адмирал, генерал-адъютант. По окончании Морского корпуса в 1837 г. был произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот; плавал на различных кораблях, принимал участие в боевых действиях у кавказского побережья. В чине капитан-лейтенанта на корабле «Париж» участвовал в Синопском сражении. В 1854–55 гг. участвовал в обороне Севастополя, был ранен. В 1856–57 гг. командовал кораблями в Балтийском море. В 1860–66 гг. был таганрогским градоначальником и капитаном бакинского порта. С 1886 г. — командир Гвардейского экипажа. В 1875–76 г. был севастопольским градоначальником, командиром порта и комендантом. С 1881 по 1883 г. был директором инспекторского департамента морского министерства, а затем членом Адмиралтейств-совета. В 1858 г. в «Морском сборнике» напечатана его статья «Несколько слов о характере П. С. Нахимова».

П е щ у р о в Алексей Алексеевич (1834–1891), вице-адмирал. Во флоте с 1848 г. Будучи гардемарином, в 1852–54 гг. участвовал в кругосветном плавании на фрегате «Паллада», а затем плавал на фрегате «Диана» и шхуне «Хеда». В 1857–60 гг. был агентом по заказам Морского министерства в Англии и Франции. В 1860–64 гг., командуя клипером «Гайдамак», совершил кругосветное плавание из Кронштадта в Тихий океан и обратно. После двухлетней командировки в Англию и Америку назначен вице-директором, а в 1875 г. — директором канцелярии Морского министерства. В 1880–82 гг. был управляющим Морским министерством. С 1882 г. по 1890 г. — главный командир флота и портов Черного и Каспийского морей и военный губернатор Николаева. В «Морском сборнике» в 1856–63 гг. напечатан ряд статей Пещурова о его плаваниях и по техническим вопросам.

П о с в е т Константин Николаевич (1819–1899), адмирал, генерал-адъютант. Обучался в Морском корпусе (1831–36), затем служил в Балтийском флоте. В 1850 г. опубликовал труд «Вооружение военных судов». В 1852–54 гг. участвовал в кругосветном плавании на фрегате «Паллада». В 1857 г. участвовал в посольстве адмирала Путятина в Японию; в 1858 г. назначен воспитателем вел. кн. Алексея Александровича. В 1858–70 гг. совершил ряд внутренних и заграничных походов с членами царской семьи; в 1874 г. с отрядом кораблей ходил в Америку, Канаду, Китай и Японию. В 1874–88 гг. был министром путей сообщения. В 1882 г. произведен в адмиралы. Кроме упомянутого труда опубликовал ряд статей в «Морском сборнике».

П о с к о ч и н Иван Васильевич (1805–1886), вице-адмирал. Во флоте с 1816 г.: участвовал в Наваринской кампании (1827). В 1832 г. назначен адъютантом 3 бригады 1 флотской дивизии и плавал на различных кораблях в Балтийском море. В 1841–52 гг. был старшим адъютантом штаба главного командира Кронштадтского порта, а в 1852 г. назначен дежурным штаб-офицером штаба главного командира Кронштадтского порта. В 1856 г. произведен в контр-адмиралы с назначением капитаном над Петербургским портом. В 1858 г. состоял по морскому министерству, через год был зачислен по резервному флоту, а в 1861 г. уволен от службы с производством в вице-адмиралы.

П о т а п о в Александр Львович (1818–1886), генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Поступил в 1835 г. в гвардию; участвовал в венгерском походе 1849 г. и в Крымской войне. В 1860 г. назначен московским обер-полицеймейстером, а в 1861 г. и. д. начальника штаба корпуса жандармов и управляюшего III отделением. С 1864 по 1866 г. был помощником по гражданской части виленского генерал-губернатора и стал ближайшим сотрудником Муравьева. Затем полтора года был наказ-

ным атаманом Войска донского, после чего переведен на должность главного начальника Северо-западного края и командующего войсками Виленского военного округа. На этом посту оставался до 1874 г., когда был назначен шефом жандармов и главным начальником III отделения. С 1876 г. член Государственного совета.

Пу л а с с к и й (Pulaski) Казимир (1748—1779), граф, участник и один из руководителей восстания 1769 г. против короля Станислава-Августа. После первого раздела Польши бежал во Францию, а затем — в Америку, где в качестве добровольца участвовал в войне за независимость США. Отличился в нескольких сражениях. Убит в 1779 г.

Р е й т е р н Михаил Христофорович (1820—1890), русский финансовый деятель периода реформ 60-х годов XIX в. Службу начал в министерстве финансов, затем перешел в министерство юстиции, а в 1854 г. в морское министерство, где примкнул к окружению вел. кн. Константина. В 1855—58 гг. был в ряде заграничных командировок для изучения финансов. С 1859 г. был управляющим министерства финансов, а с 1862 по 1872 г. министром финансов.

Р е н а н (Renan) Эрнест (1823—1892), французский буржуазный ученый, филолог, историк религий. Получил известность своей работой «Жизнь Иисуса» (1863 г.), в которой изображает жизнь и дает биографию Бога-Христа как реального человека, за что возбудил против себя ненависть клерикалов и был лишен кафедры. Другая известная работа Ренана — «История израильского народа» — посвящена изучению исторических корней христианства, зародившегося в Палестине.

Р и г ó (Rigault de Genouville) (1807—1873), французский адмирал. Во флоте с 1827 г.; участвовал в Крымской войне. В 1857 г. командовал морской дивизией в Индо-Китае и овладел Кантоном; затем командовал эскадрой в Средиземном море. В 1868 г. был назначен морским министром.

Р о с т о в ц е в Яков Иванович (1803—1860), русский государственный деятель. Начал свою карьеру доносом на декабристов, с которыми был в молодости близок. Участвовал в войне с Турцией 1828—29 гг. и в подавлении польского восстания 1831 г. С 1859 г. состоял председателем редакционных комиссий по крестьянскому делу, был видным участником подготовки крестьянской реформы 1861 г. По политическим взглядам находился на позициях умеренного либерализма, настаивал на освобождении крестьян с землей, которая должна была выкупаться у помещиков с помощью правительства.

Р у с с к о е о б щ е с т в о п а р о х о д с т в а и т о р г о в л и (РОПиТ), акционерное общество, учрежденное при правительственной поддержке в 1856 г. для организации пароходных сообщений между пунктами Черного и Азовского морей, а также Средиземного и Адриатического. С 60-х годов XIX в. достигло значительного развития и перевозило ежегодно около миллиона пассажиров и десятки миллионов пудов груза, распространив свои операции в Китай, Индию, Японию. Во время военных действий в 1877—78 гг. и русско-японской войны оказало значительную помощь венному флоту пароходами и личным составом.

Р ю й т е р Михаил-Адриан (1607—1676), знаменитый голландский адмирал. Многократно одерживал победы над английским и французским флотами во время англо-голландских войн в 1652—1767 гг.

С а м а р и н Юрий Федорович (1819—1876), славянофил. Крупный помещик. Играл видную роль в проведении крестьянской реформы 1861 г., защищал точку зрения умеренного дворянского либерализма. Автор многочисленных работ, изданных в 12 томах в 1878—1911 гг.

С е р а к о в с к и й Сигизмунд (1826—1863), польский революционер, один из видных руководителей польского восстания 1863 г., офицер русской службы, друг и последователь Н. Г. Чернышевского, друг Т. Г. Шев-

ченко. Будучи студентом Петербургского университета, за участие в польском революционном кружке сослан в Сибирь, а затем за бегство отдан в солдаты. В 1857 г. был помилован и произведен в офицеры. Блестяще окончив военную академию, служил в Генеральном штабе, проявив выдающиеся способности в области военной статистики. Будучи в заграничных командировках, познакомился с Гарибальди. В 1859—60 гг. организовал в Петербурге ряд польских революционных кружков, а с началом восстания 1863 г. руководил борьбой в Ковенской губернии. Будучи в Англии, Сераковский организовал отряд из поляков-добровольцев, который с началом восстания направился в Польшу на английском пароходе. Однако в Мальме (Швеция) на пароход был наложен секвестр. В апреле 1863 г. отряд Сераковского был рассеян. Сераковский был взят в плен и по приговору военного суда повешен.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), видный государственный деятель. В 1809 г. выработал проект государственных преобразований, в котором осторожно проводилась идея конституционной монархии. Протест крупной дворянской знати прервал карьеру Сперанского и его проект был отставлен. В 1812 г. он был отправлен в ссылку. В 1819 г. был назначен сибирским генерал-губернатором; в 1821 г. возвращен в Петербург и сделан членом Государственного совета. В последние годы проставлял самодержавие и работал над составлением Полного собрания законов и Свода законов.

Сражение у Платсбурга произошло 11 декабря 1814 г. во время англо-американской войны 1812—14 гг. Американская флотилия, состоявшая из 1 корвета, 1 брига, 2 шхун и 10 канонерских лодок, под командованием коммодора Мак-Донау была атакована английской флотилией Доуни, имевшей в своем составе лишь на 1 шхуну меньше. Вследствие грубых тактических ошибок англичане были совершенно разбиты (только канонерским лодкам удалось уйти) и потеряли 57 убитыми и 97 ранеными; потери американцев — 69 убитых и 58 раненых. Результатом победы американцев было поспешное отступление английской армии генерала Прево.

Стекль Эдуард Андреевич, русский дипломат. С 1854 г. был и. д. поверенного в делах, а с 1857 по 1869 г. посланником в США.

Стоу (Stowe) Гарриет-Бичер (1811—1896), американская писательница; мировую известность получил ее роман «Хижина дяди Тома» (1852), который оказал значительное влияние на движение за освобождение негров от рабства. В романе дано яркое реалистическое изображение жизни негров и их стремления к освобождению от рабства.

Суворов Александр Аркадьевич (1804—1882), граф Рымникский, князь Италийский, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, внук генералиссимуса А. В. Суворова. Участвовал в войнах с Персией и Турцией. В 1848 г. назначен генерал-губернатором Остзейского края, пробыл в этой должности 14 лет. С 1861 г. — петербургский генерал-губернатор и член Государственного совета. В 1866 г., после покушения Каракозова подал в отставку и был назначен генерал-инспектором всей пехоты.

Татаринов Валериан Александрович (1816—1871), государственный контролер с 1863 г.; принимал участие в связанных с реформами 60-х гг. преобразованиях финансовых и контрольно-ревизионных учреждений.

Таубе Василий Федорович (1817—1880), барон, вице-адмирал, генерал-адъютант. По окончании Морского корпуса в 1835 г. произведен в мичманы и служил в Балтийском флоте; в 1843—1861 гг. командовал различными кораблями. С 1861 г. был начальником штаба главного командира Кронштадтского порта, а с 1867 г. командовал отрядом броненосных судов в Финском заливе. С 1868 по 1871 г. был директором Инспекторского департамента Морского министерства, а затем, не имея штатной должности, состоял членом различных комитетов и комиссий.

Т и м а ш е в Александр Егорович (1818–1893), генерал от кавалерии. В 1856 г. назначен начальником штаба корпуса жандармов и управляющим III отделением. С 1867 г. министр почт и телеграфа и член Государственного совета. В 1868 г. назначен на место П. А. Валуева министром внутренних дел, что знаменовало дальнейшие усиление реакции; был на этом посту до 1878 г. При нем осуществлен ряд мероприятий, направленных к усилению влияния реакции и III отделения на внутреннюю политику (ограничение прав земства, дальнейшее удушение свободы печати и т. д.).

Т о л с т о й Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, обер-прокурор Синода и министр народного просвещения в 1865–80 гг., в 1882–89 гг. министр внутренних дел, шеф жандармов и президент Академии Наук. Крайний реакционер. Фактически ликвидировал реформу народного образования 60-х гг. изданным им положением о начальных народных училищах 1874 г. и уставом гимназий 1871 г. Толстой усиленно насаждал церковно-приходскую школу, превратил гимназию в «классическую» схоластическую школу, лишил университеты автономии, жестоко подавлял студенческое движение, почти уничтожил самостоятельность земства, сильно ограничил свободу печати и т. д. Вместе с Катковым и Победоносцевым возглавил реакционную часть дворянства, стремившуюся к отмене реформ 60-х гг. и восстановлению крепостного права.

Т о р н а у Федор Федорович (1810–1890), барон, генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 1828–29 гг., подавления польского восстания 1831 г., Крымской войны и боевых действий на Кавказе. В 1850–70 гг. был военным агентом в Вене. Автор ряда статей и воспоминаний о Кавказской войне.

Т р е у а р (Tréhouart) Франсуа-Тома (1798–1873), французский адмирал. Участник Наваринского сражения, после которого произведен в лейтенанты. Командовал французским флотом в сражении у Ла-Платы. В 1851 г. назначен морским начальником Бреста. В 1855 г. командовал эскадрой, репатриировавшей французскую армию из Крыма. С 1855 г. член совета адмиралтейства, с 1859 г. сенатор.

Т я н ь ц з и н ь с к и й т р а к т а т заключен в июне 1858 г. Китаем с Англией и Францией после неудачной для него войны. Согласно этому трактату, иностранные государства получили ряд привилегий в Китае: было открыто несколько новых портов для иностранной торговли; Англия получила право торговать по реке Ян-цзы-цзян и назначать, равно как и Франция, дипломатического представителя в Пекин. Почти одновременно был заключен договор России с Китаем на тех же основаниях, что и с другими европейскими государствами.

Т о т л е б е н Эдуард Иванович (1818–1884), граф, инженер-генерал, генерал-адъютант. Военный инженер. Участник войны на Кавказе в 1848–50 гг. (осада Гергебиля, Чоха). С 1854 г. в Дунайской армии, участник действий против Калафата и Силистрии. Особенно отличился в обороне Севастополя. После падения Севастополя укреплял Николаев и затем – Кронштадт. С 1859 г. директор Инженерного департамента военного ведомства. Много сделал для улучшения организации и техники саперного и инженерного дела. Оставил ряд научных трудов. В области строительства крепостей считался общепризнанным авторитетом за границей. В 1878 г. командующий отрядом, а затем и главнокомандующий армией («Адрианопольское сидение»). В 1879 г. назначен одесским ген-губернатором и командующим войсками Одесского округа. С 1880 г. – виленский генерал-губернатор. На этих должностях показал себя крайне реакционным и жестоким администратором, свирепо подавлявшим революционное движение.

Ф а р р а г у т (Farragut) Давид Гласго (1801–1870), адмирал флота США. В молодости участвовал в войне с Англией. Приобрел

славу национального героя успешными действиями против флота южан во время гражданской войны в США 1861—65 гг. В 1866 г. поставлен во главе всего флота США. В 1867 г. во главе эскадры с дипломатической миссией обошел важнейшие порты Европы, посетил также Россию.

Фердинанд VII (1784—1833), испанский король. Был возведен на престол в 1808 г., но Наполеон заставил уступить его Иосифу-Бонапарту. До 1814 г. находился в почетном заключении во Франции. Вернувшись в Испанию, отдал страну в бесконтрольное распоряжение иезуитов и монахов, восстановил инквизицию и беспощадно подавлял малейшее проявление либерализма, заслужив прозвище главного жандарма и тюремщика Испании. При нем Испания потеряла свои южно-американские колонии и превратилась в третьестепенную державу.

Флери (Fleury) Эмиль-Феликс (1815—1884), французский генерал и дипломат, активный участник переворота 2 декабря 1851 г. Был адъютантом Наполеона III. В 1866 г. был посланником в Италии; в 1869—70 гг. — послом в Петербурге.

Франклин (Franklin) Вениамин (1706—1790), американский политический деятель, экономист и физик. Играл видную роль в борьбе американских колоний за независимость, участвовал в составлении Декларации независимости и Конституции США. Выступал за освобождение негров. Как физик Франклин известен исследованиями в области электричества.

Цюрихский трактат, договор между Францией, Австрией и Сардинией, подписанный 10 ноября 1859 г. в Цюрихе и в основном подтверждавший статьи Виллафранкского прелиминарного мирного договора, заключившего австро-итальянскую войну и положившего начало воссоединению Италии. Основная статья Цюрихского трактата передавала Сардинии Ломбардию к западу от р. Минчисо.

Чихачев Николай Матвеевич (1830 г.—1917), адмирал, генерал-адъютант. В 1841 г. поступил в Морской корпус, по окончании которого в 1848 г. произведен в мичманы. В 1850—51 гг. участвовал в кругосветном плавании на корвете «Оливуца», а затем, в амурской экспедиции Г. И. Невельского. В 1853—59 гг. служил на кораблях Сибирской флотилии (в Тихом океане). С 1860 по 1884 г. был директором Русского общества пароходства и торговли. Участвовал в войне 1877—78 г. В 1880 г. произведен в вице-адмиралы. В 1884 г. назначен начальником Главного Морского штаба и, будучи деятельным сотрудником Шестакова, разработал план реорганизации флота. В 1886—88 гг. в виду болезни Шестакова неоднократно замещал, а после смерти Шестакова в 1888 г. занимал пост управляющего морским министерством до 1896 г. В 1898 г. назначен членом комитета Сибирской железной дороги, в 1899 г. председателем совета при министре финансов по делам торгового мореплавания. С 1896 г. был членом Государственного совета (по департаментам государственной экономии и промышленности, наук и торговли).

Шаслу-Лоба (de Chasselop-Laubaut Justin-Napolon), граф, французский политический деятель, занимал пост морского министра в 1851 и 1859—67 гг.

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1796—1853), князь, министр народного просвещения (с 1853 г.), академик, писатель. Окончил морской корпус, участвовал в войне 1813 гг., преподавал в Морском корпусе. С 1824 г. служил в министерстве народного просвещения. По политическим убеждениям — реакционер; им был запрещен доступ в университеты лицам недворянского происхождения, запрещено преподавание философии, поездки за границу с ученой целью и т. д.

Шувалов Петр Андреевич (1827—1889), граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. На военной службе с 1845 г., участвовал в обороне Севастополя. С 1857 по 1860 г. был петербургским обер-полицеймейстером, а затем

назначен директором департамента в министерстве внутренних дел. Будучи ярым противником отмены крепостного права, Шувалов примкнул к реакционной оппозиции. Затем он занимал должности начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением, лифляндского, эстляндского и курляндскго генерал-губернатора и командующего войсками Рижского военного округа. Период 1866—74 гг., когда Шувалов, будучи шефом жандармов и главным начальником III отделения, оказывал значительное влияние на внутреннюю политику, — характеризуется усилением реакции. В 1874 г. Шувалов был назначен послом в Англии; в роли дипломата оказался совершенно бездарным и совершил много серьезных промахов и ошибок во внешней политике. С 1878 г. назначен в Государственный совет.

Щербатов Григорий Алексеевич (1819—1881), князь, с 1848 г. был помощником попечителя, а с 1850 г. попечителем петербургского учебного округа до 1858 г. Одновременно состоял председателем петербургского цензурного комитета. В 1861—64 гг. был петербургским губернским предводителем дворянства; в 70-х гг. гласным петербургской городской думы.

Содержание

Предисловие ... 5
От составителя ... 6
Адмирал Шестаков и его «Воспоминания» ... 9
От редакции ... 30

ТОМ I ... 31
Часть I ... 33
Глава I. Мое детство и юношество ... 34
Глава II. Черноморский флот при М. П. Лазареве ... 49
Глава III. Восток в сороковых годах ... 65
Глава IV. Палермская Одиссея 1845–1846 гг. ... 71
Глава V. Еще Черноморский флот ... 81
Глава VI. Экспедиция вдоль берегов Черного моря ... 89
Глава VII. Плавание у турецких берегов ... 96
Глава VII. Конец экспедиции ... 103

Часть II ... 113
Глава I. Дома и на чужбине ... 114
Глава II. Лондон в 1851 году ... 122
Глава III. Английские порядки ... 131
Глава IV. Париж. Голландия ... 141
Глава V. Восточный вопрос в 1845 году ... 147
Глава VI. Крымская война ... 167
Глава VII. Мое участие в изготовлении средств к сопротивлению неприятелям ... 184
Глава VIII. Смерть императора Николая ... 193

ТОМ II ... 209
Часть III. Командировка в Америку ... 211
Глава I. Свадебная поездка ... 212
Глава II. Новый свет ... 221
Глава III. Народное образование в Штатах ... 230
Глава IV. Американская жизнь ... 238
Глава V. Федеральное правительство и невольничьи штаты ... 248
Глава VI. Зима на Кубе ... 265
Глава VII. Луизиана и Миссисипи ... 282
Глава VIII. Путешествие по Штатам и в Канаду ... 296
Глава IX. Внутренние вопросы флота ... 301

Часть IV. Командование эскадрою в Средиземном море ... 321
Глава I. Возвращение из Америки ... 322
Глава II. Сирийский вопрос 1860 года. Мне вверяют эскадру ... 333

Глава III. Некоторые подробности о моем командовании эскадрою 342
Глава IV. Ход и завершение сирийского вопроса 354
Глава V. Англичане и французы. Мальта и Ницца 365
Глава VI. Различные эпизоды моего командования эскадрою и его окончание 380
Глава VII. Возвращение в Россию. Возвышение и падение 390
Глава VIII. Мое скитальчество по Европе 403
Глава IX. Внутренние вопросы 1864—1866 гг. 416
Глава X. Опять скитаюсь по Европе 427

Часть V. Градоначальство в Таганроге. Губернаторство в Вильне 437
Глава I. Назначение градоначальником в Таганрог 438
Глава II. Первые шаги на гражданской службе 446
Глава III. Действия мои по управлению 455
Глава IV. Усилия восстановить попечительство над Азовским морем 464
Глава V. Назначение губернатором в Вильну 470
Глава VI. Подвиги нового генерал-губернатора Северо-Западного края за 1868 г. 480
Глава VII. Моя борьба с Потаповым 497

ТОМ III 519
Часть VI. Жизнь и работа морского агента в Европе 521
Глава I. Выезд за границу 522
Глава II. Скитальчество по Европе 533
Глава III. Вступление мое вновь на службу 546
Глава IV. Австрийский флот 557
Глава V. Итальянский флот. Минное (торпедное) дело 568
Глава VI. Наша дипломатия и наша политика 581
Глава VII. Замок Штайн. Поездка в Петербург 594
Глава VIII. Война Сербии и Черногории против Турции 601
Глава IX. Война с Турцией (1877 г.) 618
Глава X. После войны (1878 г.) 635
Глава XI. Наши внутренние смуты. Дело Баранова 675
Глава XII. Кончина моей жены. Диктатура Лорис-Меликова. 1880 г. 693

Часть VII. Возвращение к управлению флотом 719
Глава I. Последние дни за границей. Возвращение на службу в Отечнство 720

Заключение 753

Приложение 754
Краткая биография И. А. Шестакова 756
Письмо Царовского Адмиралу Флота Советского Союза И. С. Исакову 761
Комментарии 764

Научное издание

Шестаков Иван Алексеевич

Полвека обыкновенной жизни.
Воспоминания
(1838—1881 гг.)

Редактор Т. В. *Хоронеко*
Корректоры *Е. Б. Глазова, Е. П. Щеглова*
Компьютерная верстка *Н. В. Мироновой*, А. Н. *Миронова*
Переплет и оформление художника А. Н. *Миронова*

Подписано в печать 07.07.2006. Формат 70x100[1]/16.
Гарнитура Лазурского. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 63,7 .Уч-изд.л. 67,0.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1712.

Издательство «Судостроение»
191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 8

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО
«Издательско-полиграфическое предприятие "Искусство России"»
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная. д. 38, корп. 2